This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

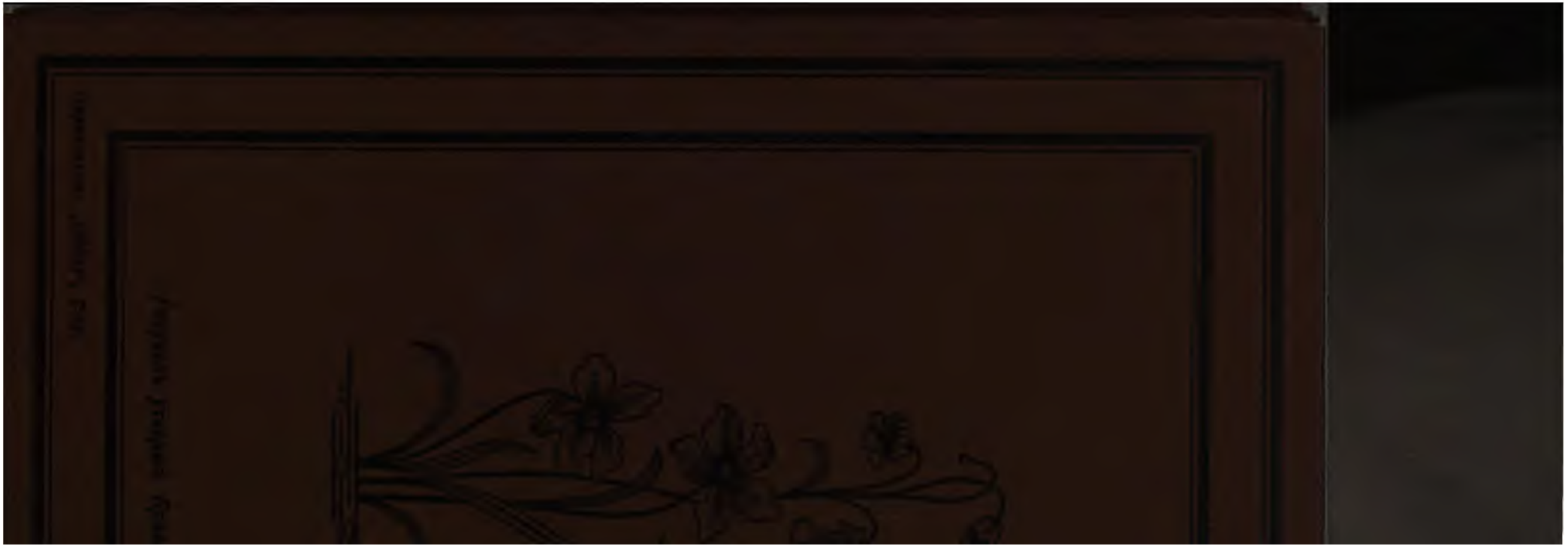
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

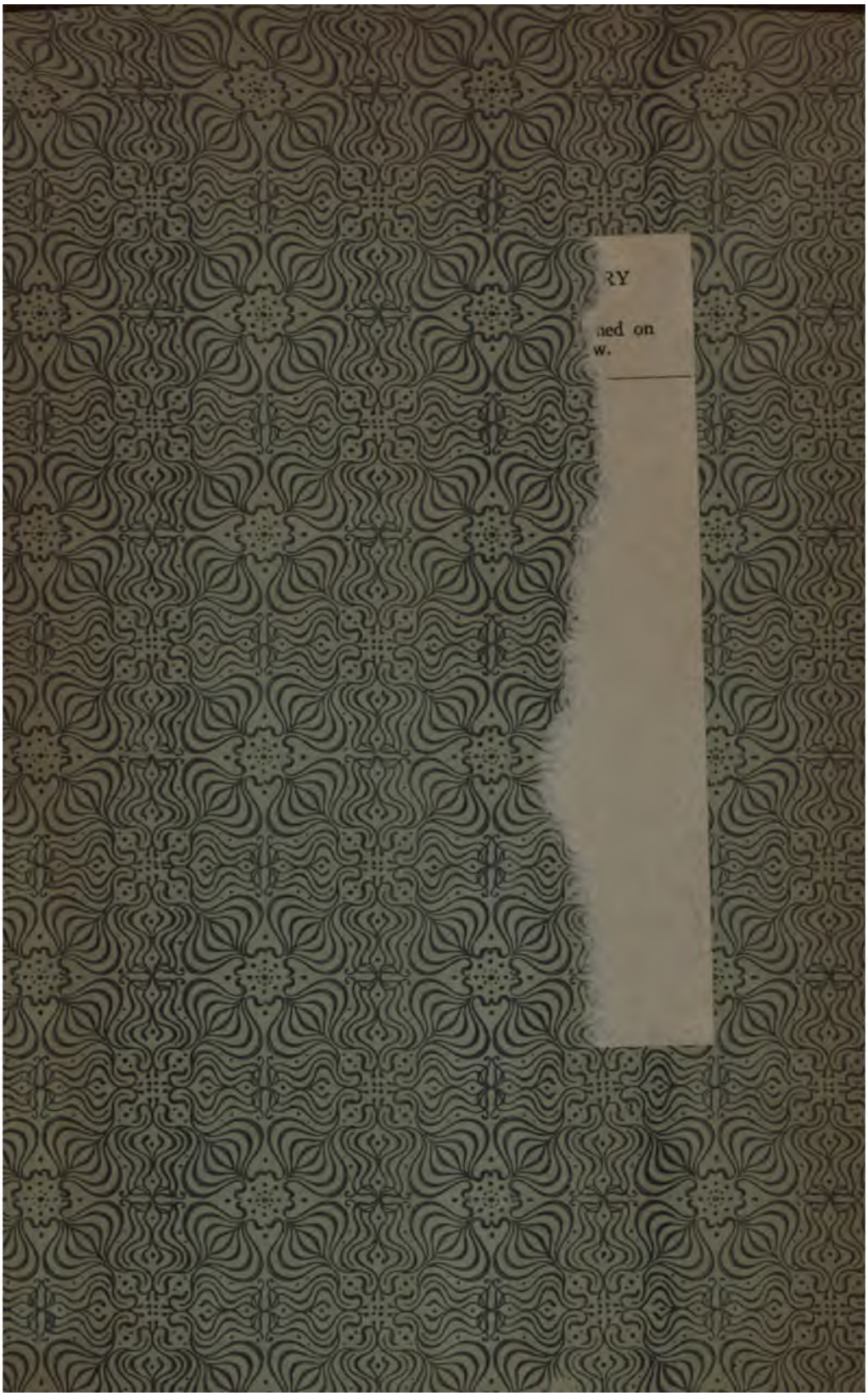


Stanford University Libraries
3 6105 013 376 178

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

OCT 8 '68
JAN 24 '69
FEB 24 '69
SPRING 1979


RY
ned on
w.

891.71
Z631

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

В. А. ЖУКОВСКАГО

ВЪ 12-ТИ ТОМАХЪ.

Подъ редакціей, съ біографическимъ очеркомъ
и примѣчаніями

проф. **А. С. Архангельскаго.**

Съ приложеніемъ портрета Жуковскаго, гравированнаго на стали,
и его факсимиле.

IX.

Приложеніе къ журналу „Нива" за 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

321657

Типографія А. Ф. МАРКСА, Измайловскій просп., № 29.

1797.

—

МЫСЛИ ПРИ ГРОБНИЦѢ.

Уже ночь раскинула покровъ свой, и сребристая луна явилась въ тихомъ своемъ велелѣпіи. Морфей помаваетъ маковою вѣтвію, и сонъ съ цѣлебною чашею ниспускается на землю. Все тихо, все молчитъ въ пространной области творенія; не слышно работы кузнечика, и трели соловья не раздаются уже по рощѣ. Спитъ ратай, спитъ волъ, вѣрный товарищъ трудовъ его, спитъ вся натура. Одинъ я не могу сомкнуть глазъ своихъ, одному мнѣ чуждо всеобщее успокоеніе. Встану и пойду... Какъ величественно это небо, распростертое надъ нами шатромъ, и украшенное міріадами звѣздъ! а луна?.. какъ пріятно на нее смотрѣть! блѣдномерцающій свѣтъ ея производитъ въ душѣ какое-то сладкое уныніе и настроиваетъ ее къ задумчивости... Вездѣ царствуетъ тишина, только тамъ—вдали шепчетъ дремлющій ручеекъ, и едва-едва слышно колебаніе листьевъ. Прекрасно, прекрасно! говорилъ я съ восхищеніемъ, и нечувствительно приближился къ озеру, окруженному древними дубами, коихъ вершины изображались въ тихой и спокойной поверхности водъ, какъ въ чистомъ зеркалѣ. Смотрю на нихъ съ почтеніемъ, иду впередъ, и взору моему представляется полуразвалившаяся гробница. Сѣдой мохъ покрываетъ ее; гнѣзда хищныхъ птицъ находятся въ ея трещинахъ; эмблема смерти — черепъ изсѣченъ вверху, и еще примѣтны нѣкоторые остатки изглаженной надписи. При семъ видѣ я содрогнулся, трепетъ объялъ мое сердце. Но мало по малу бодрость моя возвратилась, страхъ исчезъ, нѣкоторая томность овладѣла мною, и мысль за мыслію тѣснилась въ душѣ моей. Живо почувствовалъ я тутъ ничтожность всего подлунnаго, и вселенная представилась мнѣ гробомъ.

«Смерть, лютая смерть! сказалъ я, прислонившись къ изсохшему дубу: когда утомится рука твоя, когда притупится лезвіе страшной косы твоей, и когда, когда престанешь ты посѣкать все живущее, какъ злаки дубравные?.. Ты неумолима; законъ твой непремѣненъ; ничто не избѣжитъ ударовъ твоихъ; ничто не подвигнетъ тебя на жалость... Тамъ вижу я прекраснаго отрока, подобнаго едва распустившейся розѣ; здѣсь лѣпообразнаго, сановитаго юношу, гордящагося превосходными дарованіями своими. Нѣжные родители не могутъ насмотрѣться на нихъ, не могутъ нарадоваться; они дышутъ, они живутъ, — и надежда, что они будутъ нѣкогда славою своего рода, украшеніемъ своего времени, восхищаетъ чадолюбивое ихъ сердце. Тщетная надежда!.. Одинъ махъ косы твоей — и ихъ нѣтъ... стонъ и вопль раздаются; но ты не внемлешь, и спѣшишь къ новымъ жертвамъ. Спѣшишь—и мужъ добродѣтельный, коего вся жизнь посвящена благотворенію, коего примѣръ есть свѣтильникъ вверху горы стоящій, мужъ, достойный жить цѣлые вѣки, колеблется, падаетъ, и еще разъ взглянувъ глазами любви на оставляемый имъ міръ, закрываетъ ихъ навѣки. Спѣшишь—и столѣтній старецъ, безпечно вчера игравши съ милыми правнучатами, сегодня внослѣдствіе прижимаетъ ихъ къ хладной груди своей, и

сердце его перестастъ биться. Ты спѣшишь далѣе, смерть грозная, и все — отъ хижины до чертоговъ, отъ плуга до скипетра — все гибнетъ подъ сокрушительными ударами косы твоей. И я, и я буду нѣкогда жертвою ненасытной твоей алчности! и кто знаетъ, какъ скоро? Завтра взойдетъ солнце—и, можетъ быть, глаза мои, сомкнутые хладною твоею рукою, не увидятъ его. Оно взойдетъ еще—и вѣтры прахъ мой развѣютъ...»

Тутъ глубокое смущеніе объяло мой духъ, и грудь моя поколебалась отъ вздоховъ—«Но почто смущаться сею мыслію? сказалъ я потомъ: развѣ нѣтъ оплота противъ ужасовъ смерти? Взгляни на сей лазоревой сводъ: тамъ обитель мира; тамъ царство истины; тамъ Отецъ любви. Смерть есть путь въ сію вѣчно блаженную страну. Кто не угнеталъ слабыхъ, кто не притѣснялъ невинныхъ, и на кого горькая слеза сироты не вопіяла на небо; кто всѣхъ любилъ, какъ братій своихъ, всѣмъ по возможности старался дѣлать добро: тому нечего бояться. Смерть для него будетъ торжество, а гробъ лѣствица къ небу. Но вы, злодѣи! трепещите...—«Тутъ глаза мои устремились къ гробницѣ. «Скажи мнѣ, воскликнулъ я: чей прахъ вмѣщаешь ты? чьи кости въ тебѣ почиваютъ? Другъ ли человѣчества спитъ здѣсь сномъ безпробуднымъ, или извергъ естества, притѣснитель себѣ подобныхъ? Скажи: да омочу тлѣніе сіе слезою чувствительности, или да изреку...»

При словѣ семъ вдругъ вспорхнула изъ гробницы вѣщая сова, и стономъ своимъ возмутила царствовавшую окрестъ тишину. Кровь во мнѣ волновалась; голова отяжелѣла; я почувствовалъ нѣкоторую слабость, и медленными шагами, съ растроганнымъ сердцемъ, возвратился въ сельскую свою кущу.—

1798.

МИРЪ И ВОЙНА.

Зазвучали оружія брани; засверкали острые мечи; знамена гордо развѣваются въ воздухѣ, и пернатые шлемы осѣняютъ главы ратниковъ. Соединившись въ единое ополченіе, съ нетерпѣливостію ожидаютъ они знака къ сраженію. Раздается гласъ трубный—и подобно молніи летятъ они на враговъ своихъ; кровь брызжетъ подъ ударами; мечъ, разсѣкая воздухъ, съ свистомъ упадаетъ на крѣпкую броню; она зыблется, и багровая кровь струится по блестящей стали. Стонъ пораженныхъ, мѣшаясь со звукомъ оружій, раздается въ долинѣ, и земля дрожитъ подъ тяжкими стонами противоборцовъ.

Пламя войны все пожираетъ, ничто не сокроется отъ ужаснаго бича брани; тамъ пылаетъ домъ беззащитной вдовицы, и подавляетъ ее своимъ паденіемъ; тамъ стонетъ сирота, лишенный родителей,— тщетно слабое дитя простираетъ невинныя свои руки, дабы испросить себѣ пощады; убійца, жаждущій крови, не смягчается, и съ свирѣпствомъ поражаетъ свою жертву. Заструилась кровь изъ груди младенца, послѣдній вздохъ излетаетъ изъ сердца его, и блѣдность смерти покрываетъ его чело. Тщетно почтенный старецъ дрожащими стопами хочетъ сокрыться отъ ярости ожесточеннаго ратника; извергъ настигаетъ его и, не взирая на сѣдины старца, вонзаетъ дымящійся кровію мечъ въ трепещущее его сердце—онъ падаетъ, и смертный хладъ объемлетъ его чувства. Ужасъ крыломъ своимъ покрываетъ поле брани, и всѣ окрестныя мѣста трепещутъ отъ военныхъ громовъ; всюду отчаяніе и горесть поселились, и радость отвратила блестящій взоръ свой.

Поспѣши, благодѣтельный миръ, поспѣши утушить вражду человѣковъ, осѣни крыломъ твоимъ ратующихъ братій и излей бальзамическій сокъ твой въ сердца, возженныя пламенемъ войны.

Онъ нисходитъ, и свѣтлая струя радости пробѣжала въ сердца, горѣвшія злобою. Ратники, за часъ прежде сего яростно сражавшіеся и безъ жалости убивавшіе другъ друга, тѣ самые ратники съ дружелюбіемъ объемлются — мечъ не блистаетъ болѣе въ ихъ рукахъ, и кровь не

кинитъ уже на свѣтлой стали; все утихло, и радость, окруженная лучами, явилась посреди воинства.

Супруги въ объятіяхъ семействъ своихъ вкушаютъ неизреченныя радости; сынъ на колѣнахъ объемлетъ руку сѣдокласаго родителя, и съ геройскою улыбкою полагаетъ къ стопамъ его залоги своего мужества. Теплыя слезы текутъ изъ очей старца и орошаютъ румяныя щеки юноши, гордящагося таковымъ торжествомъ.

Все радуется, все восхищается...

Воинство вступаетъ во градъ, гдѣ милосердый монархъ, нѣжный отецъ своего народа и тщательно устрояющій блаженство своихъ подданныхъ, съ милостію пріемлетъ дѣтей своихъ и вкупѣ съ ними наслаждается плодами тишины.

Продлися, вожделѣнный миръ, продлися между людей; подъ тихимъ покровомъ твоимъ блаженство ихъ не поколеблется, и они въ тишинѣ будутъ наслаждаться благами жизни и дарами своего Творца.

ЖИЗНЬ И ИСТОЧНИКЪ.

Солнце торжественно появлялось на горизонтѣ, и заря, предшествуя ему, покрывала румянцемъ вершины горъ; природа скинула тихій покровъ ночи, и день на крыльяхъ зефировъ взлетѣлъ на лазурный сводъ неба.

Морфей отлетаетъ въ царство тѣней, и сны, подобно рою пчелъ, послѣдуютъ за нимъ. Природа пробуждается; блестящій царь свѣтилъ, возсѣдая на лучезарной колесницѣ, сѣетъ животворные лучи на поверхность шара; тихая роса блеститъ и мало по малу исчезаетъ на листахъ древесъ, и жаворонокъ, стремяся въ высоту синяго неба, первымъ гимномъ поздравляетъ пробуждающуюся природу

Снизу на возвышенномъ холмѣ, вѣнчающемъ пестрый лугъ; свѣтлый кристаллъ ручейка омываетъ подошву пригорка и оставляетъ перлы на травѣ. Его журчанье трогаетъ мое сердце; голосъ соловья, тихо пробираясь сквозь священный дубовый лѣсъ, куда лучъ солнца не дерзаетъ проникнуть, мѣшается съ гармоніею потока, и эхо далеко его повторяетъ.—Здѣсь, подъ навислыми утесами, въ молчаніи дремлетъ море, и его волны, величественно протекая неизмѣримое пространство, разбиваются о камни. Источникъ, который тамъ, подъ нѣжными сводами душистыхъ цвѣтовъ, скромно извивался черезъ лугъ, вдругъ по голому, неровному утесу кипя низвергается въ море, и струи его пропадаютъ тамъ такъ, какъ часы въ вѣчности.

«Разительная картина жизни!» сказало мое сердце, и флеровая мантія меланхоліи покрыла мои чувства; воображеніе на быстрыхъ крыльяхъ переносило меня изъ одной мысли въ другую, и полетъ его не находилъ предѣловъ.

«Скоро пролетаютъ дни наши, думалъ я, особливо дни счастія; долго текутъ часы несчастій, и ихъ теченіе оставляетъ глубокія черты въ нашемъ сердцѣ.»

«Человѣкъ, вышедъ изъ утробы матери, бываетъ чистъ и непорочень; зло не дерзаетъ осквернить его своимъ прикосновеніемъ, и страсти спятъ въ его душѣ—но это только младенецъ, онъ ничего не знаетъ, ничто не можетъ его тронуть, самая добродѣтель не имѣетъ прелестей въ глазахъ его; жизнь его подобна тому мѣсту, откуда вытекаетъ ручей, подобна зарѣ.—Ахъ! солнце не взошло еще; можетъ быть, облака его закроютъ...»

«Изъ младенчества переступаетъ человѣкъ на стезю юности, и теченіе жизни его уподобляется тогда струямъ ручья, журчащаго уже среди цвѣтовъ; но камушки преграждаютъ путь его, такъ какъ страсти иногда совращаютъ юношу съ истиннаго пути. Если жъ благодѣтельная рука исторгнетъ сіи камни изъ волнъ источника, то бѣгъ его становится прозраченъ и чистъ. Если мудрый наставникъ гласомъ истины извлечетъ изъ неопытнаго сердца юноши жало страстей, то дни его просвѣтятся и солнце благо-

разумія разсѣетъ туманъ заблужденій.— Счастливъ тотъ юноша, который въ златое время своей непорочности посаждаетъ въ своемъ сердцѣ сѣмя добродѣтели; оно пуститъ корни и превратится въ дерево.»

«Теперь источникъ жизни нашей становится быстрѣе, онъ течетъ по голому утесу, совратяся съ благовонныхъ луговъ, и съ шумомъ низвергается въ море. Человѣкъ приходитъ въ мужескія лѣта—и если сѣмя добродѣтели не пустило корней своихъ въ его сердцѣ, если порокъ прежде времени вырвалъ его оттуда, то— несчастный!—море заблужденій, море несчастій его поглощаетъ, и ничто не въ силахъ его оттолѣ исторгнуть; онъ бьется между валовъ его и, думая достигнуть береговъ, только что отъ нихъ удаляется. О человѣкъ! для чего ты не слѣдуешь добродѣтели?»

«Наконецъ приближается старость, и онъ погибаетъ въ пучинѣ. Тиха старость праведника, солнце чистой совѣсти оживляетъ ее своими лучами; оно закатится лишь тогда, когда поцѣлуй смерти похититъ его жизнь.»

«Порочный! какая была цѣль твоя? Вдали предъ тобою спѣлся океанъ бѣдствій, и ты не задрожалъ; тогда только, когда увидѣлъ ты бѣгущую къ тебѣ смерть, тогда ты почувствовалъ ужасъ. Для чего не страшился ты пороковъ? они ужаснѣе смерти. Для чего позволилъ ты развращенію исторгнуть сѣмя добродѣтели изъ твоего сердца? Для чего не далъ ты ему превратиться въ дерево? Ты бы умеръ—заснулъ подъ его тѣнью.»

Смертный! берегись совращаться съ истиннаго пути, иначе ты, подобно источнику, будешь поглощенъ неизмѣримымъ моремъ несчастій.

РѢЧЬ НА АКТѢ ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОМЪ БЛАГОРОДНОМЪ ПАНСІОНѢ, 14 НОЯБРЯ 1798 г.

Любезные товарищи! Никогда еще не посѣщали сердца нашего толь сладкія чувства, какъ въ сіи достопамятныя для насъ минуты. Заслужить отличіе въ благоправіи, въ стремленіи къ добру, къ просвѣщенію; заслужить право первенства между вами, право, утвержденное собственнымъ признаніемъ безпристрастныхъ, невинныхъ сердецъ вашихъ— не есть ли восхитительно, неоцѣненно?— Заслужить!.. Нѣтъ, любезные товарищи! мы не заслужили толь лестнаго преимущества. Самая сія радость, самое сіе восхищеніе, которое вы читаете теперь въ глазахъ нашихъ, не есть ли уже слабость, малодушіе? Такъ, мы недостойны толь отличной оказанной намъ чести. Многіе изъ васъ имѣютъ, можетъ быть, гораздо болѣе права на то первенство, коимъ вы насъ почтили по одному снисхожденію, по одной своей къ намъ любви. Не мы васъ, вы сами себя побѣдили; и поднесенный вами вѣнокъ другимъ приличнѣе бы могъ украшать васъ самихъ. Мы слабы, неопытны, часто претыкаемся и падаемъ. Способности наши очень ограничены, достоинства малозначущи, поступки не такъ чисты и неукоризненны, чтобы можно было поставить ихъ въ образецъ подражанія; и если есть въ насъ что нибудь доброе, то, можетъ быть, единая готовность сдѣлаться нѣкогда прямо добрыми. Вотъ всѣ наши преимущества; вотъ единственное наше право на то драгоцѣнное для насъ первенство, коимъ вы насъ почтили. — Друзья любезные! при подножіи сихъ священныхъ для насъ изображеній *), поставленныхъ здѣсь пламенною нашею благодарностію, еще дерзаемъ мы повторить торжественный обѣтъ свой, что употребимъ всѣ силы, да сѣмя добра, лежащее въ груди нашей, произраститъ спасительные плоды свои; и тѣмъ потщимся доказать, сколь высоко цѣнимъ мы снисходительное ваше о себѣ мнѣніе, и сколь признательность наша чистосердечна. Счастливы, счастливы будемъ, если предохранимъ, кого

*) Здѣсь разумѣются портреты гг. кураторовъ. *Примѣч. въ текстѣ.*

нибудь изъ васъ, хотя отъ одного дурнаго поступка, влекущаго за собою горькія слѣдствія; если умножимъ хотя однимъ зерномъ его познанія; если приближимъ его, хотя на одинъ шагъ, къ добродѣтели.

Священная добродѣтель! не ты ли основаніе прямаго нашего счастія? Не ты ли блюститель нашего спокойствія? не ты ли тотъ чистый, неизсякаемый источникъ, изъ коего почерпаемъ мы, всѣ истинныя свои наслажденія, всѣ радости, восторги, удовольствія? И блаженъ тотъ, кто исполняетъ священные твои уставы! Блаженъ тотъ, кто волнствуетъ подъ побѣдительнымъ знаменемъ твоимъ! Блаженъ! ибо никакія сопротивныя силы не поколеблютъ его, никакія бѣдствія и страданія не одолѣютъ. Душа его свѣтла и безмятежна, какъ покоящаяся при вечерѣ нива. Любезные товарищи! мы всѣ ищемъ пути къ счастію: онъ въ добродѣтели. Я знаю васъ: вкругъ сердца вашего обращается кровь благородная— и вы не можете не разумѣть меня; а сіе ваше вниманіе, сіи неподвижные взоры ваши, на меня устремленные, не показываютъ ли ясно, что вы жаждете заняться со мною, нѣсколько минутъ, симъ драгоцѣннымъ для всѣхъ насъ предметомъ. Повинуюсь—и слабою, дрожащею кистью изображу вамъ нѣкоторыя черты добродѣтели, увѣренъ будучи, что сія картина дѣтской руки моей не останется безъ дѣйствія.

Посмотрите на сего благодѣтеля человѣчества, посмотрите: какъ толпятся вокругъ его несчастные, какъ устремляютъ на него слезящее око благодарности, какъ расцвѣтаетъ веселіемъ томное чело ихъ! Это бѣдные, не имѣвшіе пристанища и получившіе покровъ отъ благодѣтельной руки его. Посмотрите: какъ взоры его чисты, божественны! На лицѣ блеститъ слеза восхищенія; въ душѣ царствуетъ миръ и тишина. Онъ есть благотворное нѣкое существо, обитающее не въ рукотворномъ храмѣ, но въ скиніи сердецъ обязанныхъ. Здѣсь, въ семъ святилищѣ, поставленъ ему олтарь, на коемъ курится чистая, неугасаемая жертва благодарности, олтарь, котораго рука времени не сокрушитъ, и паденіе земли не поколеблетъ. Чистая, непорочная совѣсть друга человѣчества будетъ ему щитомъ противъ ударовъ ожесточеннаго рока, и украшеніемъ во дни счастія. Сонъ его есть сонъ праведника; и хотя бы камень служилъ ему возглавіемъ, хотя бы колючій тернъ былъ ему одромъ, — и тогда бы во всякой ранѣ его тѣла блистала роса душевнаго здравія.

Посмотрите на сего бѣднаго, лишеннаго одежды, пищи, пристанища, но богатаго добрымъ сердцемъ,—посмотрите, съ какою твердостію покоряется онъ опредѣленіямъ судьбы! Сердце его покойно—подобно ясному солнечному дню, когда ни одно облачко не плаваетъ по лазури неба. Подъ соломеннымъ кровомъ своей хижины находитъ онъ то счастіе, коего вельможа ищетъ въ своихъ чертогахъ, и не обрѣтаетъ. Кусокъ хлѣба, которой достаетъ онъ въ потѣ лица своего, сладостнѣе для него роскошной пищи сластолюбца. Сколь часто, съ душевнымъ умиленіемъ, преклонивъ колѣно, устремляетъ онъ взоры свои туда, гдѣ царствуетъ вѣчная любовь, и говоритъ: «Я бѣденъ, я несчастенъ; но Ты благъ, Отецъ небесный! Ты не оставишь меня—и наградишь мое терпѣніе». Такъ говоритъ онъ, и пламенная слеза, катящаяся изъ сердца его, не упадетъ на землю, но проникнетъ небеса и принесется въ жертву Живущему на нихъ. Добродѣтельный человѣкъ твердъ въ несчастіи, непоколебимъ въ напастяхъ, и терпѣливо, безъ ропота, проводитъ бѣдственную жизнь свою... Но можно ли назвать бѣдственною такую жизнь? Нѣтъ! Пускай напыщенный богачъ ступаетъ по златошвейнымъ коврамъ персидскимъ; пускай стѣны чертоговъ его сіяютъ въ златѣ: злато сіе, многоцѣнныя изтканія сіи—они помрачены вздохомъ угнетеннаго, кровію измученнаго раба... Нѣтъ; съ чистымъ сердцемъ, съ тихою со-

вѣстію, предпочту я сѣнистый лѣсъ мраморному дворцу, гдѣ всякой камень, представляющійся глазамъ моимъ, возмутитъ мою душу; гдѣ неумолимое раскаяніе, съ блѣднымъ лицомъ, съ тусклымъ взоромъ, будетъ слѣдовать по стопамъ моимъ... Въ мирномъ убѣжищѣ простоты и невинности, въ тишинѣ лѣсовъ, съ подругою души своей, добродѣтелью, сооружу я изъ согбенныхъ вѣтвей чертогъ свой, и мягкой дернъ— будетъ моимъ престоломъ.

Посмотрите далѣе на сего невинно заключеннаго узника. Мракъ темницы его объемлетъ; но свѣтильникъ добродѣтели ярко сіяетъ во глубинѣ души его. Клочокъ соломы служитъ ему горестнымъ одромъ, и тяжкія оковы обременяютъ его руки. Но взгляните на лицо его: какая небесная радость, какое величіе! Душа его спокойна, и сердце дремлетъ подъ щитомъ совѣсти. Онъ радуется, что скоро достигнетъ цѣли жизненнаго своего странствія; что скоро душа его, оставивъ бренную скинію тѣла, на легкихъ крыліяхъ будетъ протекать небесныя сферы, будетъ плѣняться восхитительною, невѣдомою для смертнаго слуха, гармоніею блаженныхъ небожителей. Каждый звукъ цѣпей напоминаетъ ему теченіе минутъ, приближеніе торжества. Сердце его пламенѣетъ, душа исполняется умиленія, и онъ, въ восторгѣ, цѣлуетъ бременящія его узы. Когда жъ предстанетъ ему смерть и благодѣтельною рукою отверзетъ врата вѣчности; когда расторгнетъ покрывающую глаза его завѣсу, и укажетъ предлежащую ему судьбу,—тогда, со восторгомъ праведника, бросивъ во прахъ бренное свое покрывало, въ объятіяхъ ея устремится онъ туда, въ оныя вѣчноцвѣтущія поля, гдѣ нѣтъ ни зависти, ни злобы, ни мщенія, и гдѣ царствуетъ единая приспѣшивая любовь.

Посмотрите на сего добраго, честнаго поселянина, окруженнаго многочисленнымъ семействомъ. Какъ онъ доволенъ! Желанія его умѣренны, и счастіе обитаетъ въ его хижинѣ. Съ приснотвіемъ дня выходитъ онъ на дѣланіе свое, и съ бодростію, съ удовольствіемъ, принимается за работу. Когда жъ силы его начнутъ слабѣть и востребуютъ подкрѣпленія, онъ возвращается домой; жена и дѣти встрѣчаютъ его, и съ нѣжностію пріемлютъ въ свои объятія. Умѣренный обѣдъ, приправленный дружествомъ и любовію, утолитъ его голодъ; послѣ краткаго отдохновенія, снова принимается онъ за работу, и престаетъ трудиться тогда, когда солнце престаетъ освѣщать землю. Ночь наступаетъ,—сонъ его тихъ и кротокъ, и совѣсть, молчащая въ душѣ его, засыпаетъ съ нимъ вмѣстѣ. Такъ проходитъ его день, такъ пройдетъ и жизнь его. Время рукою своею убѣлитъ власы его и покроетъ чело морщинами. Смерть, сія предвѣстница его блаженства, тихими шагами приближится къ нему, и онъ съ улыбкою непорочности бросится въ ея объятія.

Посмотрите на сего героя, на сего браннаго витязя. Преданность къ государю, ревность къ службѣ, любовь къ славѣ, пламенѣютъ въ груди его. Отечество взываетъ къ нему: спаси меня! и онъ летитъ на поле брани; обнажитъ мечъ—и необоримыя силы валятся. Громъ умолкъ, молнія потухла, побѣда приноситъ свои лавры; но кого увѣнчаетъ она? гдѣ герой нашъ? Онъ здѣсь, любезные товарищи, на сихъ развалинахъ, на сихъ кучахъ пепельныхъ, на сихъ дымящихся кровію тѣлахъ; онъ здѣсь, и проливаетъ слезы. Да будетъ благословенно имя твое, витязь бранный! Сердце твое отверсто состраданію, ты скорбишь о человѣчествѣ, ты любишь добродѣтель...

Но кто изочтетъ лучи солнца- и кто исчислитъ красоты добродѣтели, кто исчислитъ спасительныя ея дѣйствія? О, священная добродѣтель!

Сіяешь ты въ вертепахъ темныхъ,
И въ самыхъ пропастяхъ подземныхъ,
Всегда свѣтла, мила, чиста.
Тебя всюдѣ сопровождаютъ
Надежда, радость и покой;
Вселенну громы поражаютъ,
Но всюду благодать съ тобой.
Ты посишь въ сердцѣ вѣчну радость,

Твоя стихія—миръ и сладость.
Блаженна жизнь, блаженъ твой сонъ.
Сады срѣтаешь въ добряхъ райски,
Зимою дни вкушаешь майски;
Твой манна хлѣбъ, твой холмикъ тронъ...

Да будетъ тронъ сія и въ сердцахъ нашихъ, любезные товарищи! Что просвѣщеніе безъ добродѣтели? Мѣдь звенящая, кимвалъ брящаяй, нечистый, заразительный источникъ. Просвѣщеніе и добродѣтель! — соединимъ ихъ неразрывнымъ союзомъ; да царствуютъ онѣ совокупно въ душахъ нашихъ. Къ сему должны стремиться всѣ мысли и дѣла наши. Сего ожидаетъ отъ насъ отечество, ожидаютъ благотворные наши попечители, которые въ награду за всю свою къ намъ нѣжность, за всю любовь, за всѣ труды, о насъ прилагаемые, ничего больше не желаютъ, какъ только видѣть насъ просвѣщенными, добрыми и прямо счастливыми. Безчисленны къ намъ ихъ благодѣянія; но дѣла ихъ, но добродѣтельный примѣръ ихъ есть то, что мы драгоцѣннѣйшаго отъ нихъ получили.

Воззрите на сіи изображенія. Се ликъ Шувалова! Грозная судьба похитила его отъ насъ; но — сердце еще бьется въ груди нашей, и Шуваловъ тамъ живетъ. Другъ человѣчества! ты достоинъ вѣнка безсмертія; и грядущіе, отдаленные вѣки съ благоговѣніемъ повторятъ имя твое.— Се образъ Мелиссино!.. Любезные товарищи! почто не можемъ мы повергнуться на гробъ его, на сіе вмѣстилище драгоцѣннаго для насъ праха! почто не можемъ окропить его своими слезами! Отъ нихъ возрасли бы на немъ цвѣты, и благоуханіемъ своимъ возвѣстили бы страннику: Здѣсь почіетъ покровитель наукъ. — Шуваловъ! Мелиссино! тѣни ваши, можетъ быть, носятся теперь надъ нами и улыбаются, видя любовь нашу. Божественная улыбка! она побуждаетъ насъ слѣдовать по стопамъ вашимъ, и если можно, вамъ уподобиться. Тѣни священныя! покойтесь въ селеніяхъ праведныхъ; мы не возмутимъ тишины вашей уклоненіемъ отъ пути добродѣтели. Херасковъ, добрый, чувствительный, незабвенный основатель сего благотворнаго мѣста, воспитанію благородныхъ юношей посвященнаго,—Херасковъ съ досточтимыми своими сотрудниками насъ руководствуетъ.

Питомцы толь знаменитыхъ мужей! потщимся заблаговременно пользоваться благодѣтельными поученіями, изъ устъ наставниковъ нашихъ текущими. Время летитъ; и сѣмена мудрости и добродѣтели, насажденныя во дни юности въ умахъ и сердцахъ нашихъ, возрастутъ въ древо великое, коего плоды будемъ мы собирать и въ самой вѣчности.

1800.

КЪ НАДЕЖДѢ.

Надежда, кроткая посланница небесъ! тебя хочу я воспѣть въ восторгѣ души своей. Услышь меня, подруга радости! и ангельская улыбка твоя да будетъ мнѣ наградою.

Тобою—всѣ живутъ и дышутъ, о божественная! Отъ вѣнценосца до пастуха, отъ перваго счастливца до послѣдняго бѣдняка, отверженнаго цѣлымъ міромъ— въ тебѣ находятъ всѣ отраду и услажденіе!

Безъ тебя царь несчастенъ на тронѣ своемъ и уныль среди пышности, среди блеску, его окружающаго, среди хвалебныхъ въ честь ему восклицаній.

Безъ тебя герой хладѣетъ и лишается бодрости своей. Ты одушевляешь его, летящаго на поле брани; и среди окровавленныхъ труповъ, среди дымящихся развалинъ, среди кучъ пепельныхъ, ты показываешь ему растущіе побѣдные лавры.

Ты водишь плугомъ земледѣльца, въ потѣ лица воздѣлывающаго поле свое, и поддерживаешь ослабѣвающую руку его, предвѣщая ему щедрую награду за труды.

Ты управляешь кораблемъ мореходца, плывущаго по зыбкимъ хребтамъ непостоянной и грозной стихіи въ страны отдаленныя, и веселишь сердце его, возвѣщая ему близкій предѣлъ его стран-

ствія, а тамъ — несмѣтныя ожидающія его сокровища.

Ты радуешь нѣжную мать, неусыпно пекущуюся о дѣтяхъ своихъ. Ты говоришь ей, что они будутъ нѣкогда украшеніемъ ея, подпорою; и извлекаешь изъ очей ея слезы восторга.

Ты утѣшаешь нищаго, оставленнаго человѣчествомъ, издыхающаго на голомъ камнѣ. Ты снимаешь благодѣтельною рукою покровъ съ томныхъ очей его, и показываешь ему въ отдаленіи будущее — онъ взираетъ, и видитъ могилу, конецъ своихъ страданій, за нею Бога, вѣчную радость, видитъ — и вооружается твердостію.

Ты озаряешь лучами отрады темницу узника, обремененнаго оковами и не обрѣтающаго сожалѣнія въ сердцахъ братій своихъ. Ты раждаешь бодрость въ унывающей душѣ его, и льешь цѣлительный бальзамъ въ раны его сердца. Ты сопутствуешь ему до послѣдней минуты горестнаго бытія, и провождаешь его даже за предѣлы гроба.

О надежда, усладительница нашихъ горестей! сопутствуй мнѣ на мрачномъ пути сея жизни; сопутствуй до того времени, когда ангелъ смерти, отворивъ таинственныя врата вѣчности, приметъ меня изъ объятій твоихъ, и на крыльяхъ безсмертія понесетъ въ лучшій, блаженный міръ.

МЫСЛИ НА КЛАДБИЩѢ.

Ночь наступаетъ. Молчаніе, одѣянное мракомъ, величественно несется на землю — все безмолвствуетъ подъ кровомъ его ризы.

Луна, собесѣдница горестныхъ, медленно подъемлетъ блѣдное чело свое изъ-за отдаленныхъ горъ; слабо серебрятъ она кремнистыя ихъ вершины, и лучъ ея пробирается въ дремлющій лѣсъ; кажется, тѣни, чада молчаливой ночи, блуждаютъ въ густотѣ его. —

Сѣрыя облачка опушаютъ задумчивый образъ луны — тѣмъ она любезнѣе, тѣмъ привлекательнѣе!.. Трепещущій лучъ ея, преломляясь о нихъ, тихо несется долу.

Здѣсь, въ обителяхъ смерти *), въ долинѣ спокойствія, разливаетъ онъ блѣдное сіяніе на могилы, скрывающія въ нѣдрѣ своемъ почившихъ,—онъ мѣшается съ юными чадами весны, дышущими на нихъ благоуханіемъ, и кажется, хочетъ проникнуть гробные камни, чтобы оживить тлѣніе.

Бьетъ полночь — это часъ смерти — луна на половинѣ пути своего; она прямо надъ моею головою; свѣтъ ея ударяетъ въ узкое окно развалившейся часовни, и рисуетъ рѣшетки ея на руинахъ.

Облокотясь на падшій столбъ, смотрю я вокругъ себя — все молчитъ — почившіе спятъ сномъ безпробуднымъ. Геній уныція, въ бѣлой одеждѣ, съ поникшею главою, сидитъ на гробовыхъ обломкахъ, и стонетъ о бренности всего подлунnаго.

Они спятъ — сіи сыны тлѣнія! они спятъ — и кто ихъ пробудитъ?

Натура, одѣянная мракомъ, дремлетъ на лонѣ полуночи; все молчитъ; ни единый гласъ не взываетъ къ нимъ.

Все молчитъ въ благоговѣйномъ ужасѣ. Пустынной ручей тихо струится по камнямъ; соловей давно остановилъ громкія трели свои — все молчитъ!..

Но се грядетъ утро!.. Съ высоты отдаленныхъ горъ несется благотворное сіяніе его долу. Натура пробуждается: все твореніе возглашаетъ гимны. — Се грядетъ утро! но они спятъ.

Они спятъ, не внемля гласу взывающаго къ нимъ дня; они спятъ — и кто ихъ пробудитъ?

Спите, сыны тлѣнія! еще не время — наступитъ утро безсмертія; жизненный лучъ его проникнетъ въ сердце міра — и вы возстанете отъ сна своего.

Спите, сыны тлѣнія! еще не время...

ИСТИННЫЙ ГЕРОЙ.

Послѣдній лучъ зари угасъ на западѣ, и ночь на крыльяхъ тишины спустилась

*) «На кладбищѣ». *Примѣч. къ тексту.*

на землю; луна въ кроткомъ сіяніи катится по синему своду небесъ, и лучи ея осребряютъ верхи дубовъ.

Стою у чистаго ручья; въ струистомъ кристалѣ его трепещетъ образъ луны; на берегу воздвигнутъ обелискъ—смотрю, и при свѣтѣ луны вижу исписанную сіе надпись: *Побѣдителю.*

Побѣдителю! сказалъ я, и грудь моя поколебалась отъ вздоховъ.—Кто сей побѣдитель? Конечно, убійца тысячъ? И убійцъ называютъ побѣдителями, сооружаютъ имъ памятники для того, чтобъ потомство прославляло имена ихъ!

Нѣтъ! пускай прославляетъ ихъ безумецъ; но тотъ, кто имѣетъ сердце, кто любитъ добродѣтель, тотъ съ ужасомъ отвратитъ взоръ отъ гордаго обелиска, вспомнивъ, сколько жертвъ пало прежде, нежели онъ воздвигнутъ.

Герои! куда стремитесь вы съ обнаженными мечами? за чѣмъ бѣжите? За славою? За призракомъ, котораго вы не достигнете? — Оглянитесь: слѣды ваши обагрены кровію; тѣла убіенныхъ покрываютъ путь вашъ; злоба бѣжитъ съ вами, потрясая пламенникомъ своимъ; природа унываетъ вокругъ васъ, и бѣдствія лютѣя отъ руки вашей.

Гдѣ же сія слава, которой вы такъ алкали? Вѣнецъ на главѣ вашей, пустота въ сердцѣ—вы достигнете предѣла жизни своей; глыба земли покроетъ прахъ вашъ; рука времени низложитъ гордый обелискъ, въ честь вамъ воздвигнутый; и громъ дѣлъ вашихъ, раздавшись, подобно эху умолкнетъ.

Слеза благодарности на могилу—вотъ *вѣнецъ славы!* Благословеніе несчастливца—вотъ *пѣснь торжественная!* Другъ человѣчества — вотъ *истинный герой*, котораго дѣла *въ сердцахъ*, котораго слава *въ вѣчности!*

1803.

О ПУТЕШЕСТВІИ ВЪ МАЛОРОССІЮ.

Вышла новая книга: Путешествіе въ Малороссію, изданное К. П. Шаликовымъ. Я читалъ ее съ примѣчаніемъ, съ удовольствіемъ, и желаю сообщить мысли, которыя при чтеніи родились въ головѣ моей, тому, кто захочетъ узнать ихъ!

При самомъ началѣ путешествія открывается цѣль автора. Changeons de lieu pour nous défaire du temps, говоритъ онъ, и ѣдетъ не съ тѣмъ, чтобы описывать города и провинціи, но съ тѣмъ, чтобы уѣхать отъ времени, и если можно, увезти читателя съ собою.

Не будемъ же искать въ этой книгѣ ни географическихъ, ни топографическихъ описаній... Авторъ думалъ объ одномъ удовольствіи читателя. Изъ отрывковъ его (сія книга составлена изъ отрывковъ) мы не узнаемъ, сколь многолюденъ такой-то городъ, могутъ ли ходить барки по такой-то рѣкѣ, и чѣмъ больше торгуютъ въ такой-то провинціи — мы будемъ бродить вмѣстѣ съ странникомъ, куда глаза глядятъ; взойдемъ вмѣстѣ съ нимъ на крутой берегъ шумящаго Днѣпра, послѣдуемъ глазами за бурнымъ теченіемъ рѣки, вздохнемъ близъ могилы его друга, освѣщенной лучами заходящаго солнца, и вмѣстѣ съ нимъ вспомнимъ о прошедшемъ, которое невозвратно, которое быстро сокрылось и, можетъ быть, унесло наше счастіе.

Кого не трогаетъ чувствительность? Кто не предавался меланхоліи? Кто не мечталъ въ тишинѣ уединенія о своей участи, не строилъ воздушныхъ замковъ, не бросалъ унылаго взора на минувшее время юности? Молодой человѣкъ, съ пламенною душою, хотѣлъ бы, кажется, всю натуру прижать къ своему сердцу. Всюду летаютъ за нимъ мечты, сіи метеоры юнаго воображенія. Взоръ его стремится въ будущее; надежды, желанія волнуютъ его сердце; онъ вопрошаетъ судьбу; хочетъ узнать, что готовится ему за таинственнымъ покровомъ, которымъ закрыта она отъ взоровъ любопытныхъ; самъ за нее отвѣчаетъ себѣ, играетъ призраками, и счастливъ. Но какъ скоротечна сія пылкая, живая молодость! Увядаютъ чувства, и бѣдной человѣкъ,

лишенный магической силы, которая прежде созидала вокругъ него волшебный міръ, напрасно унылымъ взоромъ ищетъ прелестей въ пышной, великолѣпной натурѣ: вокругъ него — развалины! Гробъ и смерть остались для него въ будущемъ; воспоминанія—въ прошедшемъ, воспоминанія прелестныя и вмѣстѣ печальныя...

Ce peu d'instans, helas! et si chers et s'i courts'
Ces fleurs dans un desert, ces temps où le ramène
Le regret du bonheur et même de la peine!

Ахъ! кому не дороги сіи минуты слишкомъ быстрыя, сіи цвѣты увядшіе? И что бы осталось намъ въ этомъ мірѣ, когда бъ, заранѣе положивъ во гробъ свое сердце, мы не могли... Но я, кажется, хотѣлъ говорить о путешествіи господина Шаликова! Возвратимся къ нему.

Всякой скажетъ со мною: пріятно путешествовать! Единообразная, сидячая жизнь наскучитъ; душа наша любитъ перемѣны; одни и тѣ же предметы дѣйствуютъ на нее часъ отъ часу слабѣе, наконецъ перестаютъ дѣйствовать, и она засыпаетъ; всегда новые предметы, безпрестанно ее возбуждая, не даютъ ей придти въ разслабленіе, питаютъ ея силу. Правда, мы можемъ и не выходя изъ горницы быть дѣятельны и всегда находить новыя занятія для ума, души и сердца; не спорю — но если путешествіе доставляетъ намъ новое, пріятнѣйшее средство занимать свою душу, то мы не должны презирать его, и можемъ имъ воспользоваться.

Путешественникъ съ образованною душою, съ чувствительнымъ сердцемъ никогда не узнаетъ скуки. Сцены природы, которая, какъ будто на показъ, выставляетъ передъ нимъ свои богатства; сцены городовъ шумныхъ, въ которыхъ тонкій, наблюдательной взоръ его будетъ слѣдовать за человѣкомъ по лѣстницѣ гражданскихъ состояній, отъ степени работника до степени законодателя—вотъ предметы, которыми займется душа его. Иногда, наскучивъ пестротою городскихъ обществъ, сойдетъ онъ съ блестящаго, многолюднаго театра, удалится въ мирное село, въ хижину земледѣльца, и опытомъ повѣритъ слова сердца своего, что счастіе живетъ въ объятіяхъ природы, въ простотѣ и невинности нравовъ. Скопивъ сокровище новыхъ, разнообразныхъ идей и чувствъ, возвратится къ своимъ пенатамъ, поставитъ свой посохъ въ уголъ своей хижины, и смотря на него, будетъ веселиться воспоминаніями. Онъ будетъ счастливъ, или по крайней мѣрѣ — достоинъ счастія. Кто украсилъ свою душу цвѣтами мудрости, тотъ имѣетъ право не бояться рока, или ожидать его благодѣяній...

Но я опять забылъ свой предметъ, и думаю, что наскучилъ читателю, если, разумѣется, имѣю читателя. Терпѣніе!

Я читалъ, повторяю, Путешествіе г. Шаликова съ удовольствіемъ, и взялъ перо не съ тѣмъ, чтобы написать на него критику, а желая единственно сказать, что я... читалъ его. Человѣкъ, не слишкомъ строгой, не станетъ бранить меня за то, что отнимаю у него двѣ или три минуты, которыя, можетъ быть, и безъ меня были бы потеряны для его удовольствія. Совѣтую всякому любителю русскихъ книгъ познакомиться съ нашимъ путешественникомъ и замѣтить особенно главы: *Могила друга*, *Яковъ садовникъ*. *Физіономія*, *Послѣдній взглядъ на Днѣпръ*, *Монастырь*, *Лѣтній вечеръ въ Малороссіи*; ручаюсь, что онѣ многимъ полюбятся; а между тѣмъ могу и выписать одну изъ нихъ — напримѣръ... «*Лѣтній вечеръ въ Малороссіи*».

«Ежели въ теченіе дня сердце ваше было грустно, печально, то вышедъ при захожденіи солнечномъ въ поле, вы пьете въ здѣшнемъ вечернемъ воздухѣ спасительныя струи Леты — забвенія всего, кромѣ счастія. Какая тишина, какой міръ льется въ душу! Какое благоуханіе, какая прохлада освѣжаетъ чувства! Сладкой восторгъ объемлетъ сердце ваше; цвѣтущія фантазіи окружаютъ воображеніе — вы счастливы, и признаетесь въ

счастіи своемъ! Нѣтъ! на уныломъ вашемъ Сѣверѣ такихъ лѣтнихъ вечеровъ, какъ здѣсь, не бываетъ! Тамъ безконечной день истощитъ всѣ силы, и минутный вечеръ не успѣетъ предложить вамъ своихъ пріятностей; здѣсь—посреди лѣта—въ семь часовъ уже вечеръ — уже время прохлады, свѣжести и счастія.

«Одинъ съ моими мечтами, съ моимъ сердцемъ, иду въ поле или рощу, наслаждаться вечернею природою. Заботы и прискорбія дня исчезаютъ мгновенно въ животворныхъ объятіяхъ ея, — подобно какъ въ объятіяхъ страстной любовницы или нѣжнаго друга; душа моя освобождается отъ всѣхъ тяжелыхъ узъ рока—и я благословляю участь свою.

Смотря на прекрасной разноцвѣтной западъ — на солнце, которое, въ видѣ алаго яхонтоваго шара, съ величественнымъ спокойствіемъ опускается ниже — ниже, думаю о томъ времени, когда смотрѣлъ я на сіе великолѣпное зрѣлище природы изъ оконъ Д... или Т...; множество сладкихъ воспоминаній мнѣ представляется; съ благодарнымъ чувствомъ говорю *прости* миловидному солнцу; оглядываюсь кругомъ; ищу новыхъ прелестей, и вижу въ противоположности его другой, ему подобный шаръ — блѣдную луну, которая—по мѣрѣ того, какъ опускается и тускнетъ затмевающее ее свѣтило—возвышается и получаетъ сіяніе... Такъ счастіе одного смертнаго зиждется на бѣдствіи другаго! такъ меркнетъ одинъ, и уступаетъ блескъ другому!»

«Люди! вотъ образъ судьбы вашей!»— А мы примолвимъ: читатели! вотъ примѣръ слога нашего путешественника! Иной, прочитавъ эту статью, скажетъ самому себѣ: *поѣду въ Малороссію; тамъ такіе прекрасные вечера! Ахъ! если бъ скорѣе пришло лѣто!* Но я скажу ему на ухо: не ѣзди въ Малороссію для однихъ лѣтнихъ прекрасныхъ вечеровъ: они и здѣсь, въ Москвѣ, прекрасны. Выдешь на пространное Дѣвичье Поле; тамъ, гдѣ возвышаются гордыя стѣны Дѣвичьяго монастыря, сядешь на высокомъ берегу свѣтлаго пруда, въ которомъ, какъ въ чистомъ зеркалѣ, изображаются и зубчатыя монастырскія стѣны съ ихъ башнями, и златыя главы церквей, озаренныя заходящимъ солнцемъ, и ясное небо, на которомъ носятся блестящія облака; сядешь, и съ тихимъ, спокойнымъ чувствомъ будешь смотрѣть, какъ солнце, приближаясь къ горизонту, начнетъ блѣднѣть, мало по малу терять свой ослѣпляющій блескъ, и обратясь въ багряный, пламенный шаръ, броситъ послѣдній, умирающій взоръ на тихую рѣку, на отдаленный лѣсъ, на монастырскія стѣны, на золотыя главы церквей, и потухнетъ. А ты, мой любезной читатель, между тѣмъ будешь сидѣть задумавшись, мечтать, прислушиваться къ тихому гласу вечера, къ журчанію водъ, къ дыханію вѣтра, который будетъ колебать тростникъ, растущій на берегу пруда, и струить зеркальную воду; плѣнишься вечеромъ и... забудешь о Малороссіи!

ВАДИМЪ НОВОГОРОДСКІЙ *).

Безмолвныя дубравы, тихія долины, обители меланхоліи! къ вамъ стремлюсь душою, пѣвецъ природы, незнаемый славою! Сокройте меня, сокройте! Радости міра не прельщаютъ моего сердца! радости міра тлѣнны; быстры, какъ тѣни облака, носимаго вихремъ! — Подъ кровомъ неизвѣстнымъ, на лонѣ природы, пускай расцвѣтетъ и увянетъ жизнь моя! Гордый и славный не посѣтятъ моей хижины; взоръ ихъ отвратится съ презрѣніемъ отъ скромной обители пустынника; но бѣдный и гонимый рокомъ приближается къ ней съ тихимъ восторгомъ благодарности; но сирота забвенный благословитъ ее; но добрый, чувствительный мечтатель, другъ мира и добродѣтели,

*) «Молодой авторъ этой пьесы и мой пріятель, г. Жуковскій, извѣстенъ читателямъ «Вѣстника» по Греевой элегіи, имъ переведенной.—К.». *Примѣч. къ тексту.*

найдетъ въ ней счастіе, неизвѣстное гордымъ и славнымъ. Благословляю тебя, жилище спокойствія и свободы! Теките мирно, дни моей жизни! да грозная буря не помрачитъ васъ; будьте ясны, какъ чистое небо въ красотѣ весенней; цвѣти веселіе по слѣдамъ вашимъ; ваши слѣды да не будутъ ужасны, какъ слѣды льва разъяреннаго на пескахъ пустынной Сары!—

Божество сердецъ непорочныхъ, уединеніе! да осѣнятъ меня твои кипарисы! задумчивый мракъ ихъ да погрузитъ мою душу въ меланхолію! Здѣсь, на брегѣ рѣки, медленно льющейся и шумящей, воздвигну тебѣ олтарь изъ дерна, и въ часы торжественнаго безмолвія природы буду мечтать о жизни, смотря на тихія волны, угасающія съ вечернимъ солнцемъ. Здѣсь моя скромная муза робко будетъ звучать на лирѣ, обвитой цвѣтами, посвященной свободѣ и добродѣтели. Здѣсь воображеніе будетъ воспламенять мою душу, и ночь въ угрюмомъ величіи непримѣтно пролетать надъ главою моею! Здѣсь радостный образъ мирнаго счастія плѣнитъ меня своимъ призракомъ, и пепелъ протекшихъ радостей оживится моими слезами сладкими, посвященными воспоминанію; и тѣни сокрытыхъ во гробѣ, услышавъ мой голосъ, ихъ призывающій, покинутъ безмолвныя жилища праха, соединятся со мною оставленнымъ, и будутъ сопутниками, друзьями души моей въ уединенномъ странствіи.

О ты, незабвенный! ты, увядшій въ цвѣтѣ лѣтъ, какъ увядаетъ лилія, прелестная, благовонная! гдѣ слѣды твои въ семъ мірѣ? Жизнь твоя улетѣла, какъ туманъ утренній, озлащенный сіяніемъ солнца. Ахъ! гдѣ обитаетъ безсмертная, преображенная душа твоя? Куда унесенъ ты смертію неизъяснимою? Гдѣ, гдѣ искать тебя? Восхищенный, счастливый тобою, обнималъ я одну тѣнь минутную. Руки мои не опустились еще, а тебя нѣтъ: и уже гробъ твой, безмолвный, непроницаемый, передо мною! Священная тайна Провидѣнія! чье око дерзнетъ въ сію бездну? Смертный исчезаетъ во мракѣ! Ему ли вступить во святилище Безконечнаго? Ему ли вопрошать Неизъяснимаго?—Но горесть, сія жестокая, сія непреклонная, вырываетъ стоны изъ слабаго сердца!—Да не оскорбится милосердіе безпредѣльное: вся душа моя устремлена къ сему невозвратному, навсегда улетѣвшему счастію! Ахъ! гдѣ сіе время наслажденій мирныхъ и безмятежныхъ? Куда дѣвалось сердце, которое любило меня любовію чистѣйшею, мучилось моимъ страданіемъ, восхищалось моимъ блаженствомъ? Гдѣ мой товарищъ на пути неизвѣстномъ? Гдѣ другъ мой, съ которымъ я шелъ рука въ руку, безъ робости, безъ трепета, съ безпечнымъ, веселымъ спокойствіемъ?.. Все исчезло! Никогда, никогда не встрѣтимся въ семъ мірѣ. О другъ мой! ты не усыпишь цвѣтами уединеннаго пути моего; твой милой голосъ не прольетъ отрады въ мою душу. Вотще потускнѣлые взоры мои будутъ искать тебя въ минуту страшную, когда смерть повлечетъ меня ко гробу; вотще буду простирать холодную руку, чтобы въ послѣдній разъ ощутить біеніе твоего сердца: тебя не будетъ! не примешь моего вздоха, не отпустишь меня съ миромъ — ты упредилъ меня, счастливецъ! Рука утѣшительной дружбы закрыла глаза твои; рука нѣжная благословила тебя охладѣвшаго и безчувственнаго. А я, несчастный, я разлученный съ тобою въ рѣшительной часъ сей — не слыхалъ твоихъ стоновъ, не облегчилъ боренія твоего съ смертію; не зрѣлъ, какъ посыпалась земля на безвременный гробъ твой и навѣки тебя сокрыла! Покойся, милый, священный пепелъ! Неужели рука Провидѣнія, милосердая, благодатная, могла угасить навѣки свѣтило души прелестной? Ахъ, нѣтъ! пускай отецъ и друзья терзаются надъ гробомъ нечувствительнымъ; пускай умоляютъ его возвратить свою добычу! Тѣнь веселая и мирная! ты наслаждайся безпримѣснымъ блаженствомъ; носись невидимо надъ нами; простирай къ намъ

руки съ высотъ эѳира... мы твои, твои несомнѣнно!

Въ сей тихой обители сокроется жизнь моя; въ сей тихой обители воздвигну памятникъ тебѣ незабвенному. Я не зрѣлъ твоей могилы; въ отдаленномъ краю осыпаетъ ее весна цвѣтами — но тѣнь твоя надо мною; она собесѣдница безмолвныхъ часовъ моихъ, незримый хранитель моего сердца! — Такъ! въ ея священномъ присутствіи, прахомъ твоимъ любезнымъ, драгоцѣннымъ остаткомъ милой жизни, клянусь быть другомъ добродѣтели. Грознымъ и разъяреннымъ да узрю тебя предъ собою, если порокъ услышитъ хвалу мою, и гордый возселится моимъ униженіемъ. Тихая муза моя непорочна, какъ сама природа: не броситъ цвѣтовъ на стезю недостойнаго; въ вѣнцѣ изъ розъ и вѣтвей дубовыхъ она скитается по тихимъ дубравамъ и съ томнымъ журчаніемъ потоковъ соединяетъ свои пѣсни простыя, нестройныя.

Тебѣ, увидѣвшій на зарѣ прелестной, тебѣ посвящаетъ она первый звукъ своей лиры *). Тихой мѣсяцъ таится въ дымѣ облаковъ прозрачныхъ. Рѣка шумитъ. Все покойно! Задумавшись, опирается муза на камень, обросшій мохомъ, и легкою рукою играетъ на лирѣ. Я пою: эхо раздается; рощи, одѣтыя мракомъ, пробуждаются, и робкая лань трепещетъ на брегѣ рѣки, невидимо журчащей въ кустарникѣ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Оживись, пепелъ протекшаго! Тѣни героевъ и великихъ, возстаньте изъ гробовыхъ развалинъ! Явитесь, явитесь при блескѣ мѣсяца въ грозномъ величіи! Дерзаю пѣть вашу славу; дерзаю сыпать цвѣты на мшистые камни могилъ вашихъ.

Осенній вечеръ спускался на землю. Солнце среди разорванныхъ тучъ катилось въ шумящее озеро Ладоги. На древней вершинѣ чернаго бора сіялъ послѣдній лучъ его. Вѣтеръ вылъ; озеро вздымалось; мрачныя облака летѣли; сѣдые туманы дымились.

На скатѣ скалы, заросшей кустарникомъ и глубоко вдавшейся въ пространное озеро, стояла хижина; дымъ выталъ изъ трубы и разносился бурнымъ вѣтромъ. На порогѣ уединенной хижины сидѣлъ старецъ. Потусклый взоръ его неподвижно устремился на волны; задумчиво склонялъ онъ голову, какъ лунь, сѣдую, на правую руку, опирающуюся на колѣно; въ лѣвой держалъ арфу; борода его и длинные волосы, всклокоченные вѣтромъ, развѣвались. Часто во взорахъ его мелькало быстрое пламя, и лицо мрачное являлось грознымъ и ужаснымъ; часто глубокіе вздохи тѣснили грудь его, лицо опять омрачалось, и взоры снова потухали — онъ ударилъ по струнамъ арфы — сильный, величественный звукъ раздался — струны затрепетали — долго слышалось ихъ томное, умирающее звучаніе — утихли — пустынникъ вздохнулъ, посмотрѣлъ на вечернее, сумрачное небо, на арфу; вздохнулъ опять — заигралъ и запѣлъ:

«Шумите, шумите, осенніе вѣтры, чада угрюмаго Позвизда! *) Обнажайтесь холмы, обнажайтесь дубравы! подымайся, листъ изсохшій, столбомъ съ долины стелитесь, густые туманы! улети, сокройся, веселое лѣто, какъ улетѣло и скрылось мое счастіе! — Давно бѣлѣетъ зима на главѣ слабаго старца; давно исчезла крѣпость его мышцы, и охладѣвшая кровь не волнуется. Нѣтъ мирной тѣни подъ дубомъ, разбитымъ стрѣлою Перуна; нѣтъ жизни и радости въ моемъ сердцѣ, увядшемъ, какъ листъ осенній!

«Пронеслось оно — пронеслось и сокрылось мое счастіе. Слава дней моихъ улетѣла, какъ дымъ, унесенный вѣтромъ. Гдѣ вы, любимцы души моей, чада му-

*) «Сіи трогательныя дань горестной дружбы принесена авторомъ памяти Андрея Ивановича Тургенева, недавно умершаго молодаго человѣка рѣдкихъ достоинствъ. — К.» *Примѣч. къ тексту.*

*) «Борей славянскій». — *Примѣч. къ тексту.*

жества и брани? Разсѣяны по лицу земному, или въ могилахъ покоитесь! — Ахъ! блаженны почившіе сномъ безмятежнымъ: обитель ихъ тиха и безмолвна, какъ часъ полуночи въ долинѣ уединенной. Миръ вамъ, сыны праха!

«Но горе, горе мнѣ, страннику! Одни вѣтры пустынные, одни волны шумящія со мною бесѣдуютъ. Сокрылись любимцы души моей—сокрылись, какъ ясные дни лѣта. Мечъ мой и палица закоснѣли въ праздности; пыль на щитѣ моемъ и шлемѣ. Угасаю, какъ заря на западѣ, какъ уголь истлѣвающій!

«А ты, моя отчизна! ты, незабвенная и въ дикой пустынѣ и на краю гроба! куда дѣвалось твое величіе? Почто утратился блескъ твоей славы? Печаль, какъ туманъ, покрываетъ тебя своимъ мракомъ. Не вижу храбрыхъ сыновъ твоихъ: пали могущіе, или сокрылись. Иноплеменники ругаются надъ твоимъ безсиліемъ; иноплеменники терзаютъ тебя, какъ волки хищные свою добычу. Къ тебѣ, обожаемая, къ тебѣ летятъ мои вздохи. По тебѣ унываю; но кто услышитъ мои стенанія? Кто прольетъ отраду въ изсохшее сердце?

«Посреди скалъ уединенныхъ и безплодныхъ увяну въ горестномъ одиночествѣ: земля не покроетъ костей моихъ; другъ славы не посѣтитъ моей могилы. Набѣжитъ горный вѣтеръ, и прахъ мой разсѣется; пропадутъ слѣды мои, какъ лучи вечерніе на облакахъ летящихъ!..»

Старецъ замолчалъ; звуки арфы его исчезли въ пространномъ воздухѣ — мракъ всюду царствовалъ, и озеро невидимо шумѣло. Долго, уныло задумавшись, сидѣлъ пустынникъ и слушалъ свисты вѣтра; наконецъ всталъ и ушелъ въ хижину. Яркой огонь, пылавшій на очагѣ, освѣщалъ ея стѣны, почернѣвшія отъ дыму, и багровое сіяніе проливалось сквозь узкое окно и отверстія худой двери на мрачную зелень и кустарники, со всѣхъ сторонъ окружавшіе хижину. Старецъ повѣсилъ арфу на стѣну, подлѣ доспѣховъ военныхъ — щита, панцыря, меча и шлема — покрытыхъ ржавчиною и паутиною, придвинулъ къ огню сосновой отрубокъ, служившій ему стуломъ, сѣлъ и началъ грѣть свои руки. Дымъ волновался, какъ паръ, и выходилъ въ узкое отверстіе, на срединѣ потолка оставленное. Старецъ былъ задумчивъ, мраченъ; молчаніе царствовало въ хижинѣ; только изрѣдка прерывалось оно шумомъ вѣтра и печальнымъ крикомъ сверчка.— Вдругъ послышался шорохъ— дверь застучала.—«Впустите странника, потерявшаго дорогу!» сказалъ голосъ. Вся внутренность старца содрогнулась: языкъ, незабвенной, языкъ милой родины, поразилъ слухъ его, долго внимавшій однимъ волнамъ и вѣтрамъ. Со всею живостію молодыхъ лѣтъ, онъ бросился къ двери, оттолкнулъ ее — и незнакомый юноша, прелестный какъ Дагода, величественный какъ Свѣтовидъ, съ лукомъ въ рукѣ, съ колчаномъ за спиною, представился его взорамъ *). Изумленный, долго не могъ онъ произнести ни одного слова, и быстрыми глазами смотрѣлъ на пришельца. Позволь, добрый пустынникъ — сказалъ юноша такимъ голосомъ, отъ котораго запылала вся душа старца — позволь провести ночь въ твоей хижинѣ. Я заблудился; на дворѣ темно и холодно. — «Благословляю приходъ твой, незнакомецъ! войди, согрѣйся. Никогда еще голосъ человѣка не веселилъ меня въ сей дикой пустынѣ. Давно сердце мое не трогалось разговоромъ дружелюбнымъ. Благословляю тебя, странникъ! прижмись къ моей груди.» — Молодой незнакомецъ кинулся обнимать его съ такимъ живымъ, искреннимъ чувствомъ, что пустынникъ на минуту забылся — вообразилъ себя въ объятіяхъ милаго сына. — «Сядь къ огню, добрый юноша! сказалъ онъ: мой ужинъ простъ и невкусенъ, постеля жестка и неспокойна; но ты усталъ и голоденъ» — и юноша, ослабивъ

*) «Дагода — Зефиръ, Свѣтовидъ — богъ свѣта и брани, которому поклонялись славяне острова Рюгена». *Примѣч. къ тексту.*

гетиву своего лука, и снявъ съ плечъ колчанъ, туго набитый стрѣлами, сѣлъ подлѣ очага, на которомъ блестящее пламя развѣвалось и дрова трещали. Старикъ между тѣмъ приготовилъ простый ужинъ, изъ плодовъ лѣсныхъ и сушеной рыбы составленной; разостлалъ на полу медвѣжью кожу и сказалъ своему посѣтителю: «Вотъ все, чѣмъ богата моя хижина. Утоли свой голодъ и успокойся.» Незнакомецъ поблагодарилъ гостепріимнаго пустынника, насытился, пожелалъ ему доброй ночи, и бросясь на медвѣжью кожу, скоро заснулъ глубокимъ сномъ.

Старикъ сидѣлъ задумавшись надъ спящимъ незнакомцемъ; душа его была въ волненіи; сладкія, долго молчавшія струны въ ней оживились. Очарованный взоръ его не могъ отвратиться отъ соннаго полубога, небрежно передъ нимъ простертаго. Сіе лицо выразительное, запечатлѣнное добродушіемъ; сей взглядъ быстрый, пылающій; темнорусые волосы, мягкіе какъ шелкъ, и кудрями по плечамъ разсыпанные; величественный станъ; высокая, бѣлая грудь; нѣжный и мужественный голосъ — все вмѣстѣ производило неизъяснимое дѣйствіе надъ сердцемъ пустынника. Темное воспоминаніе минувшаго погружало его въ тихую меланхолію; казалось, что вся протекшая слава, всѣ протекшія радости и горести заключены были въ одномъ очаровательномъ образѣ, въ образѣ незнакомца, который такъ безмятежно покоился. Онъ пожиралъ его глазами; сердце его трепетало, и слезы градомъ катились. Время быстро и непримѣтно мчалось. Огонь на очагѣ погасъ, мерцали одни угольи, и блѣднымъ, трепещущимъ блистаніемъ озаряли мрачную хижинку — то гасли, то опять оживлялись — наконецъ все исчезло; глубокая тьма и безмолвіе воцарились, и погруженный въ мысли старецъ ничего не чувствовалъ: душа его летала надъ безднами протекшаго. Вдругъ мелькнула заря: онъ опомнился, осмотрѣлся — незнакомецъ еще спалъ, но утро уже цвѣло на восточномъ небѣ и ночь стремилась къ западу.

Онъ вышелъ изъ хижины — все блистало, все было великолѣпно. Не осталось ни одного слѣда ночной непогоды. Утихшее озеро алѣло; берега, озаренные и спокойные, изображались въ немъ, какъ въ зеркалѣ, и трепетали, какъ скоро мгновенный вѣтерокъ пролеталъ надъ тихою водою и къ ней прикасался. На востокѣ парило солнце; голубые, отдаленные лѣса, возвышаясь одинъ надъ другимъ, подобно огромному, необозримому амфитеатру, были покрыты свѣтлымъ, прозрачнымъ туманомъ.

Съ мирною, обновленною душою стоялъ пустынникъ на утесѣ, и безмолвно восхищался великолѣпнымъ зрѣлищемъ. Изумленный, растроганный, онъ долго искалъ причины сей непонятной радости, которая такъ быстро пролилась въ его сердце,— искалъ напрасно. Сей незнакомый, величественный странникъ своимъ явленіемъ очаровалъ всѣ предметы, передъ нимъ разсѣянные; чувство новаго, сильнаго бытія пробудилось въ немъ и пылало.

Наконецъ отворилась дверь хижины — полубогъ явился, оживленный, украшенный мирнымъ спокойствіемъ. Юношеское пламя играло на щекахъ его; смятые, густые волосы вились и развивались; на быстрыхъ глазахъ мелькали еще легкіе оттѣнки сна... Онъ подошелъ къ пустыннику съ онымъ яснымъ плѣняющимъ взоромъ, которой потрясаетъ сердце, и подалъ ему руку. Они обнялися; пожелали другъ другу пріятнаго утра. «Сонъ твой былъ сладокъ и спокоенъ, молодой незнакомецъ,» сказалъ пустынникъ: «живость и свѣжесть блистаютъ на лицѣ твоемъ. Я внутренно веселился, когда ты спалъ — такъ тихо и безпечно. Печаль и заботы неизвѣстны твоему сердцу. Завидная участь! А я, пустынный обитатель утесовъ, я въ первой разъ еще вижу *красное* утро въ семъ безмолвномъ уединеніи. Семь лѣтъ, продолжительныхъ и мрачныхъ, сокрылись, не оставивъ ни одного слѣда радости въ душѣ моей. Приходъ твой, странникъ, оживилъ ее, какъ лучъ весенній изсохшее дерево. Давно,

давно я не былъ такъ счастливъ, такъ веселъ!»

Юноша, которой совѣмъ уже изготовился въ путь, опершись на лукъ свой, пристально смотрѣлъ на старца, и нѣжное состраданіе въ глазахъ его блистало. Ты ошибся, пустынникъ, сказалъ онъ: и мнѣ достался мой удѣлъ печали; молодость не защитила меня отъ горя; пасмурно утро моей жизни! Такъ же, какъ и ты, скрываюсь въ пустынѣ; какъ и ты, оставленъ я міромъ! Уединенной гробъ отца, изгнанника, убитаго печалью, составляетъ все мое богатство. Не зови меня счастливцемъ; не завидуй моему счастію....

«Но кто ты, непзъяспимый?» Воскликнулъ пустынникъ съ видимымъ безпокойствомъ. — Я — Вадимъ....

«Вадимъ? О Перунъ!... Вадимъ!»— Развѣ ты меня знаешь?—«Мнѣ не знать тебя? Сердце мое не обмануло — не обманулось!» повторялъ старецъ, прижимая ко груди молодаго человѣка и смотря ему въ глаза съ восторгомъ: «теперь понимаю, отъ чего такая радость; такое волненіе въ душѣ моей; отъ чего во всю ночь глаза мои не смыкались. Ты, несчастный! ты въ моей хижинѣ, въ моихъ объятіяхъ! Но знаешь ли, кто передъ тобою? Знаешь ли, кто далъ тебѣ пристанище, кто утолилъ твой голодъ, тебя успокоилъ?... Гостомыслъ!»

Вадимъ содрогнулся. «Ты Гостомыслъ»! воскликнулъ онъ, упавъ на колѣна. «Ты Гостомыслъ!» повторилъ онъ, рыдая и прижавъ лицо къ ногамъ пустынника: «о жребій человѣческій!»

Нѣсколько минутъ продолжилось унылое молчаніе. Старецъ, прижавъ ко груди Вадима, осыпалъ поцѣлуями лицо его. «Такъ, юноша!» говорилъ онъ: «Гостомыслъ передъ тобою! Славянскій вождь, убогій, оставленный, покрытый рубищемъ, передъ тобою! Обними меня, обними, какъ сынъ отца обнимаетъ. Твой образъ оживилъ мою душу. Тайное предчувствіе потрясло ее, когда ты вошелъ въ мою хижину, когда устремилъ на меня взоры. Ахъ! мнѣ казалось, что самъ Радегастъ, товарищъ моей славы, отецъ твой, со всѣмъ очарованіемъ юныхъ лѣтъ и красоты цвѣтущей, стоялъ передо мною! Мечта не обманула меня. Это Вадимъ — живый, украшенный образъ героя, любимца души моей!»

Вадимъ, безмолвный и горестный, мрачными глазами смотрѣлъ на пустынника. Сердце его разрывалось. Образъ сего человѣка, пораженнаго рокомъ, но величественнаго на самыхъ развалинахъ величія, приводилъ его въ трепетъ. «Ты Гостомыслъ,» повторялъ онъ: «ты другъ отца моего? Въ сей пустынѣ, въ семъ бѣдномъ рубищѣ?» — И слезы его катились градомъ, и пламенныя уста невольно прижимались къ рукѣ старца.... «Успокойся, Вадимъ! успокойся, сынъ мой! Тебѣ ли проливать слезы? Меня ли оплакивать? Вадимъ! пощади Гостомысла! Твое сожалѣніе да не оскорбитъ его! Кто выше бѣдъ и несчастій, тотъ можетъ ли быть жалокъ? Скажи, что ужаснетъ мою душу въ сей дикой пустынѣ, гдѣ узы ея всѣ разорваны и гдѣ самая слава для нее не существуетъ? О сынъ мой! уже нѣтъ будущаго въ моей жизни: оно печально; желанія, надежды не волнуютъ моего сердца — но память протекшаго для меня священна; ему иногда посвящаю горестные вздохи. Погибшая слава, отчизна горестная, и вы, сокрывшіеся друзья мои, по васъ унываю, по васъ льются мои слезы и по васъ терзаюсь сердцемъ. Но дамъ ли пасть моему духу? Погибнетъ ли мое мужество? Нѣтъ, Вадимъ! нѣтъ, другъ мой! среди утесовъ я свободенъ; среди утесовъ не знаю властелина: кто дерзнетъ пожалѣть о судьбѣ моей?»

Священный ужасъ таился въ груди Вадима и взоръ его неподвижно покоился на лицѣ старца, которое пылало. Въ сію минуту Гостомыслъ, подъ рубищемъ пустынника, подъ сѣдинами лѣтъ, казался божественнымъ и грознымъ.

«Сядемъ — продолжалъ старецъ — сядемъ на сей гранитный отломокъ. Утро ясно и тихо: посвятимъ его сладкимъ воспоминаніямъ. Вадимъ! говори мнѣ объ отцѣ

твоемъ!.. Гдѣ покоится прахъ великаго Радегаста? Въ какой странѣ потухла жизнь его, славная и несчастная? Какимъ случаемъ заведенъ ты въ сію пустыню?»

«Ахъ! сказалъ Вадимъ, устремивъ задумчивый взоръ на южной берегъ Ладожскаго озера: давно покрыты землею кости отца моего. Тихая могила Радегаста заросла травою и скрыта отъ взоровъ человѣческихъ. Тамъ, на сей высокой горѣ, окруженной соснами, онѣмяемой шумящимъ озеромъ, жилъ и угасъ старецъ, изгнанникъ, герой славянскій! Мраченъ и печаленъ былъ вечеръ его жизни. Съ веселымъ сердцемъ онъ встрѣтилъ кончину...»

«Благословляю тебя, могила моего друга!» воскликнулъ Гостомыслъ, поднявшись съ гранита и простерши руки въ ту сторону, гдѣ находился гробъ Радегастовъ.—Быстрый, чувствительный Вадимъ бросился на колѣна, и слезы его на прахъ покатились. Пролетѣла минута священной горести. Пустынникъ прижалъ ко груди пылкаго юношу; они сѣли опять на камень, и Вадимъ продолжалъ:

«Тамъ гніетъ опустѣвшая хижина Радегастова. Старецъ, лишенный отчизны, лишенный силъ тѣлесныхъ и наконецъ зрѣнія, совершалъ путь свой, не слабѣя духомъ. Протекли пять лѣтъ, и ни одна жалоба не вырвалась изъ души его. Три года тому, какъ земля приняла въ свое лоно сего страника, бѣдами не побѣжденнаго... Рука моя закрыла померкшіе глаза Радегаста; рука моя украсила дерномъ священную его могилу... Мирный сонъ безмолвному праху!» — Вадимъ умолкъ, снова отеръ слезы, блеснувшія на щекахъ его, и потомъ продолжалъ:

«Будучи двѣнадцатилѣтнимъ младенцемъ, я скрылся въ пустыню съ отцомъ моимъ. Тамъ, гдѣ шумящій Волховъ съ пѣною ввергается въ озеро и въ немъ исчезаетъ, на крутой горѣ, во мракѣ сосенъ, построили мы хижину. Съ трудомъ питала насъ рыбная ловля. Радегастовъ мечъ, нѣкогда врагамъ ужасный, рубилъ дрова; на щитѣ раскладывали огонь, а въ шлемѣ варили пищу; время текло, и силы мои развивались. Я стрѣлялъ изъ лука, прежде въ цѣль, потомъ въ птицъ, а наконецъ мои стрѣлы, мѣткою, сильною рукою пускаемыя, сдѣлались гибельны для звѣрей свирѣпыхъ. Рѣдко безъ добычи возвращался я къ отцу моему слабому, отягченному болѣзнію и лѣтами.

«Онъ угасалъ непримѣтно, угасалъ, какъ ясный вечеръ на тихомъ небѣ угасаетъ. Наконецъ глаза его померкли. Я пересталъ удаляться отъ хижины, покинулъ свой лукъ и стрѣлы, оставилъ охоту и посвятилъ все время своему немощному старцу Примѣръ человѣка, непоколебимаго и твердаго среди волненій жизни; слова его, убѣдительныя и сильныя, образовали мое сердце: я трепеталъ и хватался за мечъ, когда отецъ мой со всею живостію пылкаго юноши говорилъ о славѣ, о подвигахъ славянъ храбрыхъ; изображалъ ихъ великодушіе, ихъ вѣрность въ дружбѣ, святое почтеніе къ обѣтамъ и клятвамъ. Душа моя пламенѣла; въ восторгѣ я падалъ къ ногамъ Радегаста, и орошалъ ихъ кипящими слезами... О, если бы ты могъ видѣть слѣпаго воина, простирающаго руки къ шумящему Волхову,—благословляющаго ту землю, изъ которой изгнали его неблагодарные!

«Часто, согрѣтый, оживленный лучами солнца, онъ леталъ мыслію въ протекшее; думалъ о тебѣ, Гостомыслъ, и восхищалъ мою душу плѣнительнымъ изображеніемъ твоихъ доблестей. Я боготворилъ тебя въ пустынѣ. Образъ великаго вождя славянъ соединялся въ моемъ сердцѣ со всѣми совершенствами человѣка. Воображая Гостомысла, я воображалъ Перуна въ его могуществѣ и блескѣ».

Тутъ невольный вздохъ вылетѣлъ изъ груди пустынника. Лицо его измѣнилось и взоры, печально устремленные въ землю, померкли. Вадимъ продолжалъ:

«Время текло, дни исчезали. Радегастъ сокрылся изъ моихъ объятій. Далеко отъ взоровъ человѣческихъ цвѣтетъ его могила. Мракъ и спокойствіе надъ нею; сонъ почившаго безмятеженъ.

«Долго въ тоскѣ сердечной я плакалъ надъ мирнымъ гробомъ. Глыба земли, покрывшая нечувствительной пепелъ, казалась мнѣ оживленною: вечеръ и утро находили меня въ горести. Пустота хижины меня ужасала, безмолвіе лѣса приводило въ трепетъ; но я не могъ съ ними разстаться, не могъ покинуть того мѣста, въ которомъ все говорило мнѣ о незабвенномъ. Тѣнь его носилась надо мною; таинственное молчаніе ночи возвѣщало ея присутствіе. Въ шорохѣ листьевъ, потрясаемыхъ вѣтромъ, я слышалъ голосъ знакомый, трогающій сердце: воображеніе оживляло передо мною всѣ предметы.

«Прошелъ годъ, прошелъ другой: ничто не возмутило моей пустынной жизни. Мой лукъ и стрѣлы ужасали звѣрей; опасности меня веселили. Превозмогать трудности, взбираться на крутизны, прыгать съ утеса на утесъ, почиталъ я великою славою, и симъ ограничивалъ свое честолюбіе. Сердце мое было спокойно; я не думалъ, чтобы сіе спокойствіе когда нибудь могло исчезнуть — оно исчезло. Настала весна; природа обновилась, а я увялъ. Скука, жестокая, несносная, мною овладѣла. Безпокойныя желанія во мнѣ пробудились. Я хотѣлъ дѣйствовать, но прежняя дѣятельность казалась мнѣ слишкомъ слабою, единообразною. Слава отца моего, слава героевъ славянскихъ явилась предо мною во всемъ величіи. Сей образъ очаровалъ мою душу. Все для меня исчезло. Вездѣ я видѣлъ воиновъ, вездѣ встрѣчалъ побѣдителей. Гонимый воображеніемъ, я бѣгалъ изъ лѣса въ лѣсъ, по скаламъ, по долинамъ, безъ всякой цѣли, только для того, чтобы не сидѣть на одномъ мѣстѣ.

«Вчера едва озарилось небо утреннимъ свѣтомъ, я вышелъ изъ хижины съ лукомъ и стрѣлами. Гдѣ я бродилъ и какъ здѣсь очутился, не знаю. Мрачная, бурная ночь застала меня среди утесовъ. Звуки арфы поразили слухъ мой — я опомнился, оглянулся, увидѣлъ огонь, хижину, жилище человѣка... Сердце мое затрепетало, кровь запылала... я бѣжалъ, летѣлъ... О Перунъ! Гостомыслъ обиталъ въ сей хижинѣ!

«Мечты мои были прелестны, восхитительны. Я воображалъ себя гражданиномъ великаго Новаграда, воиномъ, побѣдителемъ; видѣлъ Гостомысла въ его величіи, грознымъ полководцемъ; видѣлъ славянъ, благословляющихъ память изгнанника Радегаста,—видѣлъ вѣщцы, летящіе къ ногамъ его сына,—славу, благоденствіе могущаго народа—ужасъ враговъ его... Ты плачешь, Гостомыслъ?»

[Продолженіе и конецъ будутъ напечатаны особливо].

1808.

ПИСЬМО ИЗЪ УѢЗДА КЪ ИЗДАТЕЛЮ.

Поздравляю тебя, любезный другъ, съ новою должностію журналиста! Наши провинціалы обрадовались, когда услышали отъ меня, что ты готовишься быть издателемъ Вѣстника Европы; всѣ предсказываютъ тебѣ успѣхъ; одинъ угрюмый, молчаливый Стародумъ качаетъ головою и говоритъ: молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! подумалъ ли, за какое дѣло берешься! шутка ли выдавать журналъ!

Ты знаешь Стародума—чудакъ, котораго мнѣніе рѣдко согласно съ общимъ, который молчитъ, когда другіе кричатъ, и хмурится, когда другіе смѣются; онъ никогда не споритъ, никогда не вмѣшивается въ общій разговоръ, но слушаетъ и замѣчаетъ,— говоритъ мало и отрывисто, когда матерія для него непривлекательна, — краснорѣчиво и съ жаромъ, когда находитъ въ ней пріятность.

Вчера Стародумъ и нѣкоторые изъ общихъ нашихъ пріятелей провели у меня вечеръ, ужинали, пили за твое здоровье, за столомъ разсуждали о Вѣстникѣ и журналахъ, шумѣли, спорили; Стародумъ по обыкновенію своему сидѣлъ спокойно, на всѣ вопросы отвѣчалъ: да, нѣтъ, кажется, можетъ быть! Наконецъ спорщики унялись, разговоръ сдѣлался порядочнѣе и тише; тутъ оживился безмолвный го-

ній моего Стародума: онъ началъ говорить—сильно и съ живостію; литература его любимая матерія. Мало по малу всѣ замолчали, слушали; я не проронилъ ни одного слова, и записалъ для тебя, что слышалъ.

«Друзья мои — говорилъ Стародумъ— желаю искренно пріятелю нашему успѣховъ; не хочу ихъ предсказывать, опасаясь прослыть худымъ пророкомъ, но буду радоваться имъ отъ добраго сердца; люблю словесность и русскую особенно: въ этомъ случаѣ не стыжусь пристрастія. Всякая хорошая русская книга есть для меня сокровище. Я подписывался и буду подписываться на всѣ русскіе журналы. Нѣкоторые читаю, другіе просматриваю, а на другіе только смотрю, поставляя излишнимъ искать въ нихъ хорошаго содержанія. До сихъ поръ Вѣстникъ Европы—скажу искренно — былъ моимъ любимымъ русскимъ журналомъ; что будетъ впередъ, не знаю: помоги Богъ нашему общему пріятелю!

«Русскіе — говоря только о тѣхъ, которые не знаютъ иностранныхъ языковъ, и слѣдственно должны ограничить себя одною отечественною литературою — любятъ читать; но если судить по выбору чтенія и тѣмъ книгамъ, которыя, предпочтительно предъ другими, печатаются въ типографіяхъ, читаютъ единственно для разсѣянія; подумаешь, что книгою обороняются отъ нападеній скуки. Раскройте Московскія Вѣдомости! о чемъ гремятъ книгопродавцы въ витійственныхъ своихъ прокламаціяхъ? О романахъ ужасныхъ, забавныхъ, чувствительныхъ, сатирическихъ, моральныхъ, и прочее и прочее. Что покупаютъ охотнѣе посѣтители Никольской улицы въ Москвѣ? Романы. Въ чемъ состоитъ достоинство этихъ прославляемыхъ романовъ? Всегда почти въ одномъ великолѣпномъ названіи, которымъ обманываютъ любопытство.

«Какая отъ нихъ польза? Рѣшительно никакой: занятіе безъ вниманія, пустая пища для ума, нѣсколько минутъ, проведенныхъ въ забвеніи самаго себя, безъ скуки и дѣятельности, совершенно потерянныхъ для будущаго—то ли называете, государи мои, чтеніемъ? Нѣтъ! такая привычка занимать разсудокъ пустыми бездѣлками болѣе мѣшаетъ, нежели способствуетъ образованію — и удивительно ли, что романы въ такой у насъ модѣ? Покуда чтеніе будетъ казаться однимъ постороннимъ дѣломъ, которое позволено пренебрегать; пока не будемъ увѣрены, что оно принадлежитъ къ однимъ изъ важнѣйшихъ и самыхъ привлекательныхъ обязанностей образованнаго человѣка, не тѣхъ поръ не можемъ ожидать отъ него никакой существенной пользы, и романы— самые нелѣпые—будутъ стоять на первой полкѣ въ библіотекѣ русскаго читателя. Пускай воспитаніе перемѣнитъ понятія о чтеніи! пускай оно скажетъ просвѣщенному юношѣ: обращеніе съ книгою приготовляетъ къ обращенію съ людьми— и то и другое равно необходимы! въ обществѣ мертвыхъ друзей становившься достойнѣе живыхъ—то и другое требуютъ строгаго выбора! Каждый день нѣсколько часовъ посвяти уединенной бесѣдѣ съ книгою и самимъ собою; читать не есть забываться, не есть избавлять себя отъ тяжкаго времени, но въ тишинѣ и на свободѣ пользоваться благороднѣйшею частію существа своего — мыслію. Въ сіи торжественныя минуты уединенія и умственной дѣятельности ты возвышаешься духомъ, разсудокъ твой озаряется, сердце пріобрѣтаетъ свободу, благородство и смѣлость; самыя горести въ немъ утихаютъ. Читать съ такою цѣлію—дѣйствовать въ уединеніи съ самимъ собою для того, чтобы научить себя дѣйствовать въ обществѣ съ другими—есть совершенствоваться, стремиться къ тому высокому предмету, который назначенъ для тебя Творцомъ, часъ отъ часу болѣе привязываться ко всему доброму и прекрасному... О, друзья мои! какъ далеко отъ такой благородной дѣятельности духа сіе пичтожное, унизительное разсѣяніе, которое обыкновенно мы называемъ чтеніемъ книгъ!

«Дѣло идетъ о журналахъ! Въ Россіи—при такой сильной охотѣ читать, и такомъ пестромъ выборѣ чтенія—хорошій журналъ могъ бы имѣть самыя благодѣтельныя дѣйствія. Обязанность журналиста — подъ маскою занимательнаго и пріятнаго скрывать полезное и поучительное. Средства безчисленны: къ его услугамъ богатства литературы чужестранной и собственной, искусства и науки; бери что угодно и гдѣ угодно; единственное условіе — разборчивость. Имѣя въ виду пользу, но угождая общему вкусу читателей, хотя не подчиняясь ему съ рабскою робостію, предлагаетъ онъ имъ хорошія мысли, чужія и свои, облеченныя разными видами,—иногда разсуждая какъ моралистъ или метафизикъ о предметахъ важныхъ для человѣка; иногда разсказывая повѣсть, въ которой идеальное правилось бы сходствомъ своимъ съ существенностію, которая доставляла бы любопытному удовольствіе сравнивать истину съ вымысломъ, самого себя съ романическимъ лицомъ и, можетъ быть, объяснять многое, въ собственномъ сердцѣ его казавшееся тайною; иногда занимая воображеніе созданіями поэзіи, прелестію стихотворной гармоніи одушевляя мысли и чувства. Политика въ такой землѣ, гдѣ общее мнѣніе покорно дѣятельной власти правительства, не можетъ имѣть особенной привлекательности для умовъ беззаботныхъ и миролюбивыхъ: она питаетъ одно любопытство; и въ такомъ только отношеніи журналистъ описываетъ новѣйшіе и самые важные случаи міра,—листы его, такъ сказать, соединяютъ читателя со всѣми отдаленными и близкими краями земли; съ одной стороны открываютъ передъ глазами его сцену кровопролитія, съ другой сцену благодѣтствія и мира; знакомятъ его съ великими характерами, которыхъ вліяніе, благотворное или гибельное, слишкомъ замѣтно въ системѣ разнообразныхъ происшествій; даютъ понятіи о новыхъ открытіяхъ человѣческаго ума, дѣйствующихъ на благо общества, къ извѣстнымъ способамъ пользоваться жизнію прибавляющихъ новые, или болѣе совершенствующихъ старые. Критика — но, государи мои, какую пользу можетъ приносить въ Россіи критика? Что прикажете критиковать? Посредственные переводы посредственныхъ романовъ? Критика и роскошь — дочери богатства; а мы еще не Крезы въ литературѣ! Замѣтно ли у насъ сіе дѣятельное, повсемѣстное усиліе умовъ, желающихъ производить или пріобрѣтать, которое требовало бы вѣрнаго направленія, которое надлежало бы подчинить законамъ разборчивой критики? Уроки морали ничто безъ опытовъ, и критика самая тонкая ничто безъ образцовъ! А много ли имѣемъ образцовъ великихъ? Нѣтъ, государи мои, сначала дадимъ свободу раскрыться нашимъ геніямъ; потомъ уже, указывая на красоты ихъ и недостатки, можемъ сказать читателю и автору: восхищайся, подражай, будь остороженъ! Въ этихъ трехъ словахъ заключена вся сущность критики. Однимъ словомъ, въ русскомъ журналѣ критика не можетъ занимать почетнаго мѣста, и я не совѣтую молодому пріятелю нашему вооружаться бичомъ Аристарка, хотя не запрещаю иногда обращать вниманіе читателя на нѣкоторыя новыя, замѣчательныя—и потому самому рѣдкія—явленія словесности; довольно дѣла и безъ критики: пускай знакомитъ русскаго читателя съ предметами, достойными его ума; питаетъ живое, раздраженное, нетерпѣливое любопытство его новымъ, привлекательнымъ и небезполезнымъ. Конечно пріятно бы было въ русскомъ журналѣ находить одно русское, собственное, не занятое; но можно ли этого требовать? Самый обширный умъ долженъ ограничить себя нѣкоторымъ только числомъ предметовъ, а первое достоинство журнала разнообразіе; какъ же хотѣть, чтобы журналистъ умѣлъ говорить обо всемъ и съ одинаковою пріятностію? Довольно, если онъ будетъ говорить о чемъ умѣетъ и такъ, какъ долженъ; словомъ, позволимъ ему, когда не имѣетъ своего, занимать насъ чужимъ,

позволимъ собирать, не давая отчета, ученую подать со всѣхъ временъ и народовъ, не будемъ вмѣшиваться въ выборъ; единственное требованіе наше: удовольствія! удовольствія! занятія благороднаго и не пустаго! Таковы обязанности журналиста—исполнитъ ли ихъ нашъ молодой пріятель, не знаю; согласенъ надѣяться хорошаго, а не худаго; Богъ милостивъ! Желалъ бы, для чести журнала его и собственно для себя, находить въ его листахъ произведенія нашихъ лучшихъ писателей, которыхъ стихи и проза такъ часто утѣшали меня въ моей пустынѣ, трогали, веселили, успокоивали мою душу: напримѣръ, и я и всякой истинно русской были бы конечно рады, когда бы какому нибудь доброму человѣку пришла счастливая мысль подслушать, записать и напечатать въ Вѣстникѣ нѣкоторыя монологи старика Силы Андреевича Богатырева, котораго теперь надобно искать не на Красномъ Крыльцѣ, а вѣрно въ какомъ нибудь уединеніи, гдѣ въ нѣдрѣ семейства, довольный самимъ собою, наслаждается онъ яснымъ вечеромъ жизни, работаетъ въ саду, разсказываетъ дѣтямъ о прежнихъ своихъ подвигахъ, учитъ ихъ добру и привязанности къ землѣ русской, и часто, можетъ быть, покоясь одинъ подъ древнимъ прародительскимъ дубомъ, разговариваетъ съ самимъ собою о томъ и о другомъ... Но, виноватъ! я отклонился отъ матеріи; люблю мечтать; на старости лѣтъ бываю иногда ребенкомъ.

«Обращаюсь къ журналамъ. Скажу опять: ожидаю великой пользы отъ хорошаго журнала въ Россіи! Произведенія философіи требуютъ особенной зрѣлости въ читателяхъ: одинъ любопытный, жадный, привыкшій къ дѣятельности умъ ищетъ удовольствія въ бесѣдѣ съ важною мыслію мудреца; творенія поэта цѣнимы однимъ образованнымъ вкусомъ,—иногда великій духъ, опередившій своихъ современниковъ, блистаетъ въ толпѣ ихъ невидимо, и блескъ его замѣчается однимъ сотоществомъ. Безъ нѣкоторой особенной готовности, безъ нѣкотораго пріобрѣтеннаго навыка размышлять и плѣняться изящнымъ, не можемъ пользоваться дарами ума и искусства; въ такомъ случаѣ хорошій журналъ можетъ служить приготовленіемъ. Нерѣдко полезная книга или совсѣмъ или очень долго не выходитъ изъ лавки книгопродавца: ее не читаютъ потому, что не ищутъ; она дѣйствуетъ исподоволь, на нѣкоторыхъ частныхъ людей, и очень медленно; напротивъ, хорошій журналъ дѣйствуетъ вдругъ и на многихъ; однимъ ударомъ приводитъ тысячи головъ въ движеніе. Прочесть толстую книгу отъ доски до доски, не унуская ни на минуту продолжительной нити идей, и такъ, чтобы, закрывъ ее, можно было дать самому себѣ отчетъ, какою дорогою дошелъ до послѣдней мысли писателя, есть важный подвигъ, на который, по мнѣнію моему, не всякой, привыкшій къ легкимъ или пріятнымъ трудамъ, способенъ рѣшиться Сочиненія, обыкновенно помѣщаемыя въ журналахъ, не требуютъ такой утомительной работы вниманія; они вообще кратки, привлекательны своею формою; трудишься не чувствуя труда, слѣдуешь за авторомъ безъ всякой усталости, не замѣчая неволи, съ пріятностію, потому что видишь вблизи конецъ своего поприща; такія легкія, часто возобновляемыя усилія открываютъ дорогу къ труднѣйшимъ и болѣе продолжительнымъ: умъ въ движеніи, любопытство возбуждено, воображеніе и чувства пылаютъ. Итакъ, существенная польза журнала—не говоря уже о пріятности минутнаго занятія—состоитъ въ томъ, что онъ скорѣе всякой другой книги распространяетъ полезныя идеи, образуетъ разборчивость вкуса, и, главное, приманкою новости, разнообразія, легкости, нечувствительно привлекаетъ къ занятіямъ болѣе трудпымъ, усиливаетъ охоту читать и читать съ цѣлію, съ выборомъ, для пользы! А слѣдствія такого чтенія? Какія счастливыя, какія благодѣтельныя!

«Я старъ, друзья мои, къ нему у меня

одна могила; но, будучи прохлажденъ въ моихъ чувствахъ и почти равнодушенъ къ жизни, я еще не охладѣлъ къ добру, и часто юношескія мечты о будущемъ животворятъ увядшее мое сердце. Возможное, близкое благоденствіе отечества моего меня трогаетъ: охота читать книги—очищенная, образованная—сдѣлается общею; просвѣщеніе исправитъ понятія о жизни, о счастіи; лучшая, болѣе благородная дѣятельность оживитъ умы. Что есть просвѣщеніе? Искусство жить, искусство дѣйствовать и совершенствоваться въ томъ кругѣ, въ который заключила насъ рука Промысла; въ самомъ себѣ находить неотъемлемое счастіе. Вообразите жъ такое просвѣщеніе общимъ—и назову ли его мечтою! рано или поздно оно будетъ—вообразите вокругъ себя людей довольныхъ, благодаря убѣжденію просвѣщеннаго ума, тѣмъ участкомъ благъ, большимъ или малымъ, который получили отъ Провидѣнія! Съ успѣхами образованности, состоянія должны придти въ равновѣсіе: земледѣлецъ, купецъ, помѣщикъ, чиновникъ, каждый равно дѣятельный въ своемъ особенномъ кругѣ, и въ сей дѣятельности заключившій свое счастіе, равно увѣренный въ частныхъ преимуществахъ своего особеннаго званія, для котораго онъ приготовленъ; взирающій независтливымъ окомъ на преимущества чуждаго, которое для него несвойственно, сравняются между собою въ стремленіи къ одному и тому же предмету, въ стремленіи образовать, украсить, приближить къ Творческой свою человѣческую натуру. Одинакія понятія о наслажденіяхъ жизнію соединятъ чертоги и хижину! Взглянувъ на первые, будете говорить: тамъ средства находить счастіе разнообразнѣе и тонѣе; взглянувъ на послѣднюю, скажете: здѣсь средства находить счастіе простѣе и легче; но тамъ и здѣсь живутъ съ одинакою цѣлію. Человѣкъ непросвѣщенный, человѣкъ непонимающій достоинства жизни, незнакомъ самому себѣ; одни обстоятельства даютъ ему счастіе; оно зависитъ отъ вѣтреннаго мнѣнія людей, не можетъ существовать безъ свидѣтелей; онъ чувствуетъ себя слишкомъ слабымъ для того, чтобы опереться на одномъ себѣ—просвѣщеніе уничтожаетъ сей обманъ; оно показываетъ человѣку, что самъ онъ всего выше, всего привлекательнѣе въ семъ множествѣ разнообразныхъ предметовъ, представляющихся ему въ жизни. Просвѣщеніе стѣсняетъ сильныя, непорочныя связи; но разрываетъ слабыя или низкія: тогда увидите людей менѣе разсѣянныхъ въ шумномъ, обширномъ кругу свѣта, всему предпочитающихъ мирный и тѣсный кругъ семейства; въ семействахъ будетъ заключено сладкое счастіе, дѣятельность, награды, все, къ чему стремимся, къ чему привязано сердце, что радуетъ, возвеличиваетъ душу; понятія о супружествѣ очистятся; супружество не будетъ соединеніемъ однихъ приличій, но радостнымъ, нераздѣлимымъ товариществомъ на пути къ счастію, въ единомъ дѣятельномъ искапіи совершенства; жилище двухъ супруговъ не будетъ мѣстомъ стеченія праздполюбцевъ, но мирнымъ святилищемъ невидимаго счастія, гдѣ обитаетъ невинность, куда летитъ дружба, гдѣ благодарностію хранится любовь, гдѣ часто восхищенный супругъ, простертый у ногъ своей супруги, глубокимъ, безмолвнымъ чувствомъ благодаритъ ее за тѣ радости, за то очарованіе, которыя разливаются окрестъ ея присутствія. Воспитанію — высокой, пренебреженной обязанности человѣка въ священномъ званіи отца, обязанности, сближающей его съ Творцомъ, который и счастіемъ и несчастіемъ воспитываетъ человѣческій родъ—воспитанію возвратятся отнятыя права; любовь матери не будетъ однимъ врожденнымъ, непобѣдимымъ чувствомъ, но дѣятельностію просвѣщенною, основанною на правилахъ, дѣятельностію, имѣющею предметъ великій—образованіе совершеннаго! Молодая женщина, привязанная къ своему званію, не будетъ легкомысленныхъ забавъ предпочитать материнскимъ заботамъ, пере-

мѣчтивыхъ удовольствій разсѣянности постоянному счастію семейственной жизни; равнодушный наемникъ не займетъ ея мѣста; несчастіе отказаться отъ лучшихъ наслажденій человѣческихъ, наслажденій отца или матери, не будетъ покупаемо цѣною золота... Но, друзья мои, замѣчаю, что я нечувствительно очутился на треножникѣ Пиѳіи; старость еще не прохладила моей головы—на краю гроба предсказываю золотой вѣкъ!»

Глаза добраго Стародума сверкали; я забылъ объ его сѣдинахъ, видѣлъ передъ собою пылкаго молодаго человѣка, плѣняемаго всѣми пріятными призраками надежды и воображенія, и съ чувствомъ пожималъ его руку.

«Мой другъ, — сказалъ онъ мнѣ съ любезнымъ простосердечіемъ — пожелай отъ меня счастія общему нашему пріятелю! Онъ посвятилъ себя такому званію, которое уважаю. Любить истинное и прекрасное, наслаждаясь ими, умѣть ихъ изображать, стремиться къ нимъ самому и силою краснорѣчія увлекать за собою другихъ—вотъ благородное назначеніе писателя! Счастливъ, когда Провидѣніе, наградивши его талантомъ, одарило и сердцемъ, способнымъ любить высокое, чуждымъ привязанностей унизительныхъ. Скажи молодому пріятелю нашему о томъ, что слышалъ отъ меня: онъ вѣрно уважитъ совѣты старика, въ глазахъ котораго ни лѣта, ни опытность не обезобразили міра; который при концѣ своихъ дней еще съ наслажденіемъ смотритъ на оставляемую имъ землю, и съ радостнымъ чувствомъ, съ волненіемъ участія слѣдитъ глазами за пылкимъ юношею, который—воспаленный духомъ, влекомый надеждою, наполненный желаніемъ дѣйствовать для собственнаго и чужаго добра смѣло бросается въ открытое, для него еще новое и, можетъ быть, опасное поприще.

«Нашъ другъ, посвящая себя трудамъ писателя, долженъ забыть пріятную разсѣянность большаго свѣтскаго круга: желаніе въ немъ блистать противно спокойнымъ занятіямъ автора. И можно ли съ симъ чистымъ, вѣрнымъ, всегда одинаковымъ удовольствіемъ, которое неразлучно съ дѣятельностію ума, производящаго или пріобрѣтающаго новое, соединить безпокойное удовольствіе, доставляемое успѣхами въ свѣтѣ, побѣдами самолюбія, непрочными, слишкомъ непродолжительными для того, чтобы наслаждаться ими безъ волненія: одно уничтожаетъ другое! Ограничивъ себя уединеніемъ, гдѣ мысли сохраняютъ свободу, а чувства первоначальную живость и свѣжесть, онъ долженъ только мимоходомъ, изъ любопытства, для заимствованія нѣкоторой пріятной образованности, необходимо нужной писателю, заглядывать въ свѣтъ, сбирать въ немъ потребный запасъ, и снова съ добычею возвращаться въ уединеніе; уединеніе пусть будетъ главнымъ театромъ его дѣйствій, когда желаетъ произвести нѣчто полезное для общества! Разсѣянность мѣшаетъ трудолюбію.

«Но можно ли—ты скажешь—совершенно отдѣлиться отъ людей, заключить себя въ четырехъ стѣнахъ, жить съ однѣми безмолвными идеями, съ одними воздушными созданіями воображенія? Даетъ ли одиночество счастіе? Кто жъ награждаетъ писателя, когда не люди, и гдѣ же слава его, когда не въ обществѣ?—Мой другъ! я не хочу запереть пріятеля нашего въ келью, но говорю ему: чѣмъ менѣе кругъ, тѣмъ связи привлекательнѣе и сильнѣе. Ищи людей, которые способнѣе другихъ цѣнить твои работы: ихъ судъ есть голосъ современниковъ и приговоръ потомства. Имѣй друзей, согласныхъ съ тобою въ образѣ чувства, въ желаніи дѣйствовать и въ выборѣ цѣли; въ минуты уединеннаго труда помни о своихъ товарищахъ, которые—быть можетъ въ разныхъ сторонахъ земли—живутъ, думаютъ, дѣйствуютъ одинаково съ тобою, которые видятъ тебя, которыхъ жизнь твоя должна быть достойна, съ которыми совокупно исполнишь важное условіе бытія: любить и

распространять добро! ихъ голосъ будетъ возбуждать тебя къ трудамъ, и дружеская осторожность предупреждать твои ошибки. Имѣй въ виду семейство, въ которомъ, со временемъ, на самомъ дѣлѣ ты могъ бы исполнить всѣ лучшія мечты, озаряющія твою душу въ часы уединеннаго размышленія; съ сладостнымъ ожиданіемъ разсѣевай скуку временнаго одиночества; воображая, что дѣйствуешь въ глазахъ избраннаго, достойнаго любви, привязаннаго къ тебѣ сердцемъ существа, которое слѣдуетъ за тобою взоромъ, понимаетъ тебя, съ тобою раздѣляетъ надежды, живетъ, образуется твоими мыслями, которое нѣкогда за все наградитъ тебя счастіемъ, ты будешь дѣйствовать съ успѣхомъ, наслажденіемъ, неутомимо; ничто неблагородное не коснется твоей души; перо твое изобразитъ одни высокія мысли, достойныя современниковъ, которыя не умрутъ и для потомства!.. Однимъ словомъ, мой другъ, скажи пріятелю нашему, чтобы онъ опасался разсѣянія чрезмѣрнаго. Я сказалъ, гдѣ онъ можетъ искать отдыха, ободренія, образованія и награды.

«А слава?.. Но что такое слава? Одобреніе всеобщее, тихій приговоръ немногихъ, который съ покорностію повторяетъ безчисленная толпа велухъ; въ дали она привлекательна, въ близи ничтожна. Удались отъ того театра, на которомъ она раздается безъ выбора, когда не хочешь, чтобы животворящая мечта о ней исчезла. Непристрастная, заслуженная похвала избранныхъ, которыхъ великое мнѣніе управляетъ общимъ и можетъ его замѣнить: вотъ слава истинная, продолжительная, достойная исканія! И можно ли предпочесть ей минутные успѣхи, получаемые въ толпѣ, которой рукоплесканія повинуются незнанному побужденію? Разбери достоинство сихъ случайныхъ похвалъ: одинъ хвалитъ изъ дружбы; другой изъ жалости; третій изъ противорѣчія; четвертый въ надеждѣ подкупить; пятый отъ равнодушія: для него все равно, хвалить или не хвалить, что скажется прежде, что прежде услышитъ отъ другихъ; шестой изъ зависти, желая оскорбить или унизить соперника; многіе ли потому, что истинно любятъ прекрасное и радуются, когда его замѣчаютъ? Скажи жъ, достойны ли уваженія такія похвалы? Не должно ли съ презирающимъ чувствомъ жалости смотрѣть на бѣдныхъ претендентовъ безсмертія, которые сумму такихъ похвалъ называютъ славою; которые заботятся, употребляютъ хитрости, разсыпаютъ ласкательства — для чего? Для того, чтобы изъ милости имъ бросили принадлежащее по праву; на колѣняхъ требуютъ вѣнка! Нѣтъ, мой другъ, кто неспособенъ опереться на благородное чувство собственнаго достоинства; кому не довольно утѣшительной хвалы немногихъ, но просвѣщенныхъ судей — необходимой потому, что человѣческая слабость требуетъ подпоры — кто сими двумя щитами не можетъ отразить оскорбленій зависти и клеветы; для кого все равно производить хорошее или худое, лишь бы похитить успѣхъ: тотъ долженъ отказаться отъ мнимыхъ своихъ правъ на славу! Онъ будетъ торжествовать, благодаря невѣжеству и легкомыслію, но торжество его не оставитъ и признака слѣдовъ; никогда не достигнетъ онъ благородной цѣли писателя — пользы, распространенія идей, благодѣтельныхъ для человѣчества, наслажденій, совершенствующихъ душу

«Еще одно слово, другъ мой, и замолчу. Пріятель нашъ, когда не ошибаюсь, согласенъ со мною въ понятіяхъ о славѣ; надѣюсь, что онъ не унизитъ себя исканіемъ награды недостойной: но, можетъ быть и другія награды похититъ у него судьба! но, можетъ быть, назначено ему ограничить себя однимъ собою, и будущее не озарено для него никакимъ счастливымъ, никакимъ подкрѣпляющимъ ожиданіемъ: тогда, мой другъ [и если я отгадалъ, то сожалѣю о немъ во глубинѣ души; желалъ бы подать ему руку, но хилая, трепещущая рука старца не можетъ служить подпорою: не долго про-

буду на землѣ, и дружба наша была бы однимъ печальнымъ приготовленіемъ къ разлукѣ!], тогда пусть ищетъ замѣны въ собственной дѣятельности; въ томъ удовольствіи, которое неразлучно съ любовію къ прекрасному, съ трудами ума, съ работами воображенія; въ той неотъемлемой наградѣ, которая, вопреки самой несправедливости людей, вопреки зависти и клеветѣ, заключена во внутреннемъ спокойномъ увѣреніи, что исполняешь свою должность, какъ человѣкъ — совершенствуя свою натуру, какъ гражданинъ—трудясь съ намѣреніемъ [иногда мечтательнымъ, всегда благороднымъ] приносить отечеству пользу, большую или малую, смотря по обширности дарованій. Мечта потомства—можетъ ли она служить прибѣжищемъ при недостаткѣ наградъ ближайшихъ и болѣе драгоцѣнныхъ, не знаю!—мечта потомства пускай, хотя въ отдаленіи, предъ нимъ блистаетъ. Но крайней мѣрѣ [говорю убѣжденный моимъ сердцемъ] въ минуту прекращенія бытія—тогда, когда ничего, кромѣ прискорбія о прошедшемъ, не остается для человѣка, когда онъ чувствуетъ, что всему конецъ, но силится еще удержать летящую жизнь—мечта потомства должна быть прибѣжищемъ утѣшительнымъ: она воспламеняетъ угасающую душу его, удаливъ отъ нее страшную мысль небытія, и въ мірѣ, который онъ покидаетъ, представляя очамъ его не гробъ—печальной признакъ его ничтожества, но памятникъ — неизгладимый слѣдъ его жизни. Въ минуту рѣшительной борьбы онъ полонъ надеждою на прошедшее, какъ нѣкогда надеждою на будущее: одна непримѣтно смѣняетъ другую и нечувствительно, забывшись, еще наслаждаясь нѣкоторымъ образомъ жизнію, которая вся заключена для него въ однихъ воспоминаніяхъ, имъ оставляемыхъ, съ отрадою переходитъ онъ въ усыпительныя объятія смерти.»

Стародумъ пересталъ говорить—я не отвѣчалъ ни слова, и могъ ли отвѣчать?—мы разстались. Еще растроганный его краснорѣчіемъ, я сѣлъ писать къ тебѣ письмо, и даю обѣщаніе самому себѣ, всякой разъ, когда невольная унылость во мнѣ поселится, когда почувствую нужду въ подпорѣ, идти къ Стародуму: душа старика еще пылаетъ!

ИЗЪЯСНЕНІЕ КАРТИНКИ.

Судьба управляетъ теченіемъ жизни, очарованной привлекательными, но тщетными мечтами—вотъ содержаніе аллегорической картинки французскаго живописца Караффа, которая заслужила общее одобреніе знатоковъ въ Парижѣ. Достоинства ея: простота расположенія, живость краскъ, искусная смѣсь тѣни и свѣта (clair-obscur), выразительный характеръ лицъ и,—главное,—совершенное согласіе аллегорическаго образа съ тою мыслію, для которой онъ, такъ сказать, служитъ наружною, видимою формою. Эта картина пріятна и потому, что въ ней находили, и потому, что прибавляешь къ ней воображеніемъ. Юная, беззаботная, погруженная въ дремоту Жизнь плыветъ на легкомъ суднѣ по неизвѣстнымъ водамъ; Судьба, въ видѣ старика, сидитъ на кормѣ, правитъ весломъ и держитъ парусъ, надутый попутнымъ вѣтромъ; Время, другой старикъ, задумчивый, мрачный, съ неподвижными крылами, съ поникшимъ, неотвратимо устремленнымъ на роковые часы взоромъ, обвитый змѣею [эмблема вѣчности], сидитъ у мачты и считаетъ падающія песчинки... Привлекательная, возбуждающая меланхолическія мысли картина!.. Смотря на прелестную Жизнь, которая такъ безпечно лежитъ на краю бездны, спрашиваешь, откуда и куда влекутъ ее сіи два таинственные старца? Легкая ладія со всѣхъ сторонъ окружена мракомъ; блѣдный лучъ, лющійся изъ промежутка облаковъ, не свѣтитъ на пути, а только озаряетъ прозрачный парусъ, на которомъ мелькаютъ магическіе призраки; единый только неизвѣстный блескъ ихъ и изрѣдка меланхоли-

ческій образъ Времени замѣтны для взора путницы, обремененнаго сумракомъ дремоты: но бездна, въ которую половина одежды ея уже погрузилась; но старецъ, у ногъ котораго она простерта, который, смотря на нее изъ-подъ таинственной повязки, одинъ, назади, всѣмъ управляетъ; но ломкость ладіи, но ужасъ окрестнаго мрака: она ихъ не видитъ; ея спокойствіе въ незнаніи; одни привидѣнія, развѣваемыя въ глазахъ ея дыханіемъ вѣтерка, для нее существуютъ! Обманутая волшебнымъ сномъ, она мечтаетъ, что сама произвольно за ними стремится; ее веселитъ надежда, сладкая надежда ихъ настигнуть—надежда, иногда возмущаемая грознымъ присутствіемъ Времени. На парусѣ, который не весь еще распустился, легкіе призраки смѣняются одинъ другимъ: призракъ любви уступаетъ уже призраку фортуны — какой послѣдуетъ за ними? Но, можетъ быть, непостоянныя облака сольются, сопутствующій лучъ и съ нимъ милыя, обманчивыя мечты угаснутъ! Быть можетъ, подымется вихрь, ладія не погибнетъ, но тонкій парусъ сорвется его порывомъ! Что озаритъ тогда печальную мрачность? И гдѣ сія неизвѣстная пристань, къ которой рано или поздно ладія примчится? Быть можетъ, близко-стрегущій подъ волнами утесъ: въ него ударится ладія и разлетится въ прахъ! Быть можетъ, въ дали... Таинственный Кормщикъ ихъ видитъ, но онъ молчитъ и правитъ неутомимо кормою. Наступитъ время, когда онъ самъ, переломивъ весло и сбросивъ съ головы повязку, торжественно скажетъ: Путница, пробудись! Когда упылый, неподвижный товарищъ его незапно возстанетъ съ мѣста, разобьетъ часы, накинетъ на нее свой очарованный поясъ и улетитъ—тогда разсѣется непроницаемая мгла! Изумленная увидитъ, какимъ путемъ, на какомъ легкомъ челнокѣ, къ какому брегу пристала; увидитъ лицомъ къ лицу Невѣдомаго Правителя ладіи; будетъ искать глазами опыхъ призраковъ, которыми такъ беззаботно плѣнялась, и глазамъ ея, при новомъ, яркомъ свѣтѣ, представится одинъ бѣлый парусъ, на которомъ уже все невидимою рукою изглажено.

ТРИ СЕСТРЫ.

ВИДѢНІЕ МИНВАНЫ.

Вся наша жизнь была бы однимъ послѣдствіемъ скучныхъ и несвязныхъ сновидѣній, когда бы съ настоящимъ не соединялись тѣсно ни будущее, ни прошедшее — три неразлучныя эпохи: одна украшаетъ другую, одна отъ другой заимствуетъ прелесть.

Нынѣ минуло мнѣ пятнадцать лѣтъ; я гуляла по берегу рѣки; пріятное, меланхолическое воспоминаніе о прошедшемъ наполняло мою душу — тогда была я счастлива, я счастлива и теперь, и въ будущемъ предчувствую одно счастіе. Прошедшее, настоящее и будущее сливалися для меня въ одно сладостное чувство.

Солнце спокойно склонялось къ голубымъ холмамъ; вечерніе лучи его золотили поверхность озера; мелкіе острова, на немъ разсѣянные, будучи осыпаны розовымъ блескомъ запада, казались воспламененными и прозрачными. Вечерній вѣтерокъ разливалъ прохладу: все успокоивалось; стада бѣжали съ полей, пастушій рогъ вторилъ отдаленному соловью, и пѣсня рыбака, который плылъ одинъ на маленькой лодкѣ посреди озера, неслась ко мнѣ по гладкой поверхности водъ.

Я шла задумавшись—нечувствительно очутилась у зеленой дубовой рощи, растущей на полугорѣ, и вдругъ вижу передъ собою трехъ молодыхъ дѣвушекъ, совершенно сходныхъ лицомъ, прекрасныхъ, цвѣтущихъ, какъ майскій день. Одна сидѣла подъ старымъ дубомъ, облокотившись на урну, обвитую лиліями, незабудками и кипарисомъ; другая лежала небрежно на травѣ подъ розовымъ кустомъ, а третья смотрѣла на заходящее солнце:

въ глазахъ ея блистало какое-то сверхъестественное пламя; величественное лицо, озаренное лучами солнца, казалось нечеловѣческимъ. Я удивилась, не знала, идти ли къ нимъ, или удалиться; но одна изъ нихъ—та, которая лежала подъ розовымъ кустомъ, — подлетѣла ко мнѣ, какъ легкій вѣтерокъ, и, улыбаясь, сказала: милый другъ, не удаляйся, пойдемъ со мною, я познакомлю тебя съ сестрами. Сядь подъ этотъ розовый кустъ: розы мои такъ же чисты и нѣжны, какъ твоя красота; ихъ сладкій запахъ такъ же привлекателенъ, какъ непорочность твоей души, и самая жизнь твоя не иное что, какъ распускающаяся роза. Да сохранятся вѣчно ея пріятность, ароматы и свѣжесть!

Мы взялись за руки и побѣжали; новая знакомка моя, подавая мнѣ розу, сказала: подарокъ въ день твоего рожденія! Старшая сестра—та, которая сидѣла подъ дубомъ, облокотившись на урну, устремила на меня задумчивый взглядъ, и душа моя невольно наполнилась унынiемъ, когда я всмотрѣлась въ черты ея лица, веселаго, но вмѣстѣ и прискорбнаго; тайная сила влекла меня къ ея сердцу, но я не смѣла приблизиться и молчала.

«Ты насъ не знаешь, мой милый другъ, сказала она мнѣ ласково: мы сестры. Я называюсь *Прошедшее;* имя средней сестры, которая подарила тебѣ розу, *Настоящее,* а младшей *Будущее;* иначе называютъ насъ: *Вчера, Нынѣ, Завтра.* Мы неразлучны; тотъ, кого полюбитъ одна, становится любезенъ и другимъ; противный одной необходимо долженъ быть противенъ и прочимъ.

«Милая Минвана, прекрасное созданіе природы, ты будешь намъ любезна — ты рождена для счастія; святое Провидѣніе сохранитъ тебя на пути жизни.

«Теперь, начиная только жить, ты можешь и должна любить одну сестру мою *Нынѣ,* пріятную, живую. Другъ мой, играй душистыми розами, которыя даритъ она тебѣ съ веселою улыбкою; знай, о Минвана, что свѣжесть и ароматы ихъ не исчезнутъ, доколѣ въ сердцѣ твоемъ, еще спокойномъ и чистомъ, сохранится невинность.

«Дружась съ сестрою моею *Нынѣ,* ты приготовишься любить и меня и сестру мою *Завтра;* наступитъ, наступитъ время, когда почувствуешь, что дружба наша для тебя необходима — желанія и надежды откроются въ безмятежной твоей душѣ, а розы настоящаго... никогда не родятся безъ шиповъ.

Тогда, мой другъ, моя привлекательная, тихая Минвана, веселая *Завтра* да будетъ твоимъ прибѣжищемъ! Смотри... она указываетъ тебѣ на отдаленный западъ: тамъ сіяетъ величественное солнце, тамъ ясный закатъ напоминаетъ объ ясномъ утрѣ!

«Мой другъ, наслаждаясь непорочно розами *настоящаго,* ты будешь съ веселіемъ чистымъ, съ надеждою безмятежною смотрѣть на сію привлекательную отдаленность *будущаго*: веселіе и надежда сопутницы непорочности.

«А если, мой другъ, обманутая красотою розы, уколешься ея шипами; то спокойная довѣренность къ сестрѣ моей *Завтра,* единый взглядъ на очаровательные предметы, которые она открываетъ вдали, должны усладить твое страданіе. Но такое услажденіе получаетъ одна непорочность.

«Иногда — о! сохрани тебя Творецъ моя невинная Минвана—иногда непріязненный жребій затмеваетъ утѣшительный блескъ отдаленнаго, будущее скрывается; самое настоящее, утративъ свою веселость, облекаетъ себя покровомъ печали... Минвана, сестры мои, привлекательныя лицомъ, непостоянны; люби ихъ, но берегись измѣны!

«Въ сіи минуты испытанія, минуты одиночества души я буду съ тобою .. во мнѣ ищи утѣшителя и друга. Я твоя. *Прошедшее* съ тобою неразлучно. Близъ урны моей оживетъ для тебя утраченное въ настоящемъ и замѣнятся веселые призраки будущаго; близъ урны моей

подъ сумракомъ кипариса, обитаетъ воспоминаніе, которое говоритъ о томъ, что было и чего уже нѣтъ; задумчивая меланхолія, которая наслаждается скорбію, любитъ одно минувшее, поется мыслію надъ гробами, и въ сѣтованіи о мертвыхъ находитъ сладость. Съ невинностію, твоею подругою, приди подъ сумракъ моего кипариса: въ бесѣдѣ моей найдешь отраду. Близъ урны моей ты будешь наслаждаться сама собою, и нечувствительно съ лица настоящаго спадетъ покровъ печали; прискорбная *Нынѣ* опять улыбнется, и вѣтреная *Завтра* опять прилетитъ къ тебѣ съ своими мечтами.

«О мой другъ, придетъ время оставить цвѣтущую долину жизни; тогда ни горестныя моленія дружбы помедлить, не удаляться, ни тщетная привязанность къ прелестному бытію, которое угасаетъ, ничто не удержитъ тебя посреди милыхъ, покидаемыхъ навѣки.

«Тогда явимся предъ тобою вмѣстѣ, въ новомъ сіяніи, преображенныя, навсегда неразлучныя. Какимъ восхитительнымъ блескомъ озарится для тебя отдаленіе будущаго! Безсмертіе, оправданіе надеждъ и вѣры, награда... О Минвана, вся твоя жизнь да будетъ приготовленіемъ къ сей минутѣ.

«Иди, мой другъ, иди, не опасаясь той неизвѣстности, которою покрыты пути сей жизни: небесное Провидѣніе твой хранитель. Вѣрь его присутствію, вѣрь его наградамъ. Счастіе неотъемлемый удѣлъ непорочности: но гдѣ, и когда?.... Это тайна».

Она замолчала. Въ эту минуту закатилось солнце; и небо, и воды, и поля померкли. Ищу глазами прелестныхъ богинь, но привидѣніе исчезло... чувствую одно вѣяніе вѣтерка, благовоніе лилій и розъ, слышу одну гармонію источника, тихо льющагося у ногъ моихъ по камнямъ.

КТО ИСТИННО ДОБРЫЙ И СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ?

Одинъ тотъ, кто способенъ наслаждаться семейственною жизнію, есть прямо добрый и слѣдовательно прямо счастливый человѣкъ.

Свѣтъ называютъ театромъ — каждый изъ насъ въ одно время и дѣйствующій и зритель. Актеры стараются блеснуть искусствомъ; зрители восклицаютъ: великій умъ, чудесное дарованіе. Но мало однихъ блистательныхъ успѣховъ на театрѣ свѣта, чтобъ пріобрѣсть благородное названіе: *добрый*, чтобы имѣть право именоваться *счастливымъ*.

Ты съ честію служишь отечеству; судья справедливый—все приговоры твои сходны съ приговорами закона и совѣсти; смѣлый, благоразумный полководецъ — никто не видалъ, чтобы ты блѣднѣлъ въ виду непріятеля, чтобы терялъ присутствіе духа въ минуту неуспѣха или замѣшательства. Въ обществѣ называютъ тебя пріятнымъ, ласковымъ, забавнымъ; нельзя не плѣниться твоимъ разговоромъ; все, окружающее тебя, оживлено твоимъ остроуміемъ, твоими словами, взглядами, усмѣшками. Говорю смѣло: умный, дѣятельный, любезный, необыкновенный человѣкъ. Скажу ли: добрый и счастливый?

Нѣтъ: я вижу тебя на сценѣ, въ уборѣ, въ минуту *представленія*, въ минуту торжества; прельщаюсь однимъ наружнымъ, временнымъ твоимъ блескомъ. Ты дѣйствуешь не собственною силою, ты окруженъ безчисленными подпорами: общее мнѣніе хранитель твоихъ добродѣтелей; быть можетъ, источникъ ихъ единое твое честолюбіе. Хочу ли узнать совершенно твой характеръ — я долженъ послѣдовать за тобою во внутренность семейства. Семейство есть тихое, сокрытое отъ людей попроще, на которомъ совершаются самые благородные, самые безкорыстные подвиги добродѣтельнаго. Здѣсь человѣкъ одинъ—всѣ призраки исчезли;

онъ дѣйствуетъ, безъ свидѣтелей, въ кругу знакомцевъ, слишкомъ короткихъ, слѣдственно для него не страшныхъ; не можетъ удивлять ложнымъ блескомъ; не слышитъ рукоплесканій; онъ можетъ наслаждаться однимъ скромнымъ, для другихъ непримѣтнымъ, но сладостнымъ и неотъемлемымъ счастіемъ. Здѣсь онъ снимаетъ съ себя заимствованные покровы; свободно предается естественнымъ своимъ склонностямъ; никому, кромѣ самого себя, не даетъ отчета; и если я вижу его спокойнымъ, веселымъ, неизмѣняемымъ въ тѣсномъ кругу любезныхъ; когда приходъ его къ супругѣ и дѣтямъ есть сладостная минута общаго торжества; когда отъ взора его развеселяются лица домашнихъ; когда, возвращаясь изъ путешествія, приноситъ онъ въ домъ свой новую жизнь, новую дѣятельность, новое счастіе; когда замѣчаю окрестъ него порядокъ, спокойствіе, довѣренность, любовь — тогда рѣшительно говорю: онъ добръ, онъ счастливъ!

Великіе подвиги въ присутствіи многочисленныхъ свидѣтелей бываютъ нерѣдко однимъ чрезвычайнымъ *усиліемъ*. Нерѣдко человѣкъ, котораго дѣятельность и обширный умъ въ дѣлахъ государственныхъ, котораго пріятность и живость въ блестящемъ кругу свѣта приводятъ насъ въ изумленіе, бываетъ задумчивъ и скученъ среди своихъ домашнихъ, гдѣ онъ свободенъ, гдѣ надобно дѣйствовать безъ всякаго внѣшняго возбужденія, гдѣ все почерпается во внутренности души, гдѣ можешь быть веселъ только тогда, когда сердце твое наполнено чистыми, живыми, неизмѣняющимися ни въ какихъ обстоятельствахъ жизни чувствами.

Быть счастливымъ есть наслаждаться самимъ собою — гдѣ же сіе счастіе, какъ не въ семействѣ, и что его источникъ, какъ не спокойное, невинное, доброе сердце? Человѣкъ-гражданинъ, пользуясь покровомъ общества, трудами своими покупаетъ у него почести и отличія; но *добрый* получаетъ сіи отличія и почести на ряду съ *недобрымъ*, имѣющимъ одинаковое съ нимъ искусство, дѣятельность, скажу — дарованіе. Въ чемъ же его преимущество собственное, ни съ кѣмъ не раздѣляемое? Въ счастіи добраго сердца, въ тѣхъ наслажденіяхъ, которыя вкушаетъ онъ въ кругу семейственномъ — плодъ, заповѣданный для порочнаго.

Не имѣвъ добраго сердца, можно быть въ нѣкоторомъ отношеніи добрымъ гражданиномъ: будь съ дарованіемъ, и будешь успѣшно дѣйствовать на той сценѣ, которая окружена безчисленною толпою судей, любопытныхъ и строгихъ. Честолюбіе замѣнитъ для тебя внутреннюю доброту; и та и другая причины произведутъ одинакое видимое дѣйствіе. Но быть хорошимъ семьяниномъ въ полномъ значеніи сего слова, добрымъ супругомъ, отцомъ, покровителемъ своихъ домашнихъ, говорю безъ исключенія, нельзя, не имѣвъ добраго, нѣжнаго, чувствительнаго сердца. Семейство есть малый свѣтъ, въ которомъ должны мы исполнять въ маломъ видѣ всѣ разнообразныя обязанности, налагаемыя на насъ большимъ свѣтомъ; но съ тѣмъ различіемъ, что здѣсь не можетъ быть заблужденія насчетъ заслуги, здѣсь видятъ тебя такимъ точно, каковъ ты въ самомъ дѣлѣ. И вотъ причина того печальнаго отдѣленія, въ которомъ многіе, такъ называемые, счастливцы міра, живутъ отъ тихаго, уединеннаго семейственнаго круга; они боятся вступить въ его святилище. Что принесутъ они въ него съ собою? Мертвое, или испорченное сердце, чуждое наслажденій невинныхъ, смутное посреди спокойствія и порядка, непостоянное посреди удовольствій однообразныхъ, но сладостныхъ для души ясной, веселой и непорочной.

Ты ищешь вѣрнаго счастія? Почитай обязанностію быть дѣятельнымъ для пользы отечества; но лучшія твои наслажденія, но самыя драгоцѣнныя награды твои да будутъ заключены для тебя въ нѣдрѣ семейства: если душа твоя невинна, если пылаетъ въ ней тихое пламя добра, то въ мирномъ семействѣ найдешь безмятежное, постоянное счастіе. Гдѣ можешь

любить съ такою полнотою, съ такою взаимностію, съ такимъ забвеніемъ самого себя? Гдѣ можешь быть столь добродѣтельнымъ и столь непосредственно получать за добродѣтели твои воздаяніе? Гдѣ найдешь такихъ вѣрныхъ и согласныхъ съ тобою товарищей и въ радости и въ печали? Стремись воображеніемъ къ сему блаженству, когда еще его не имѣешь; образуй для него свою душу; помни, что оно существуетъ для одного невиннаго, благороднаго, исполненнаго высокими чувствами сердца; благодѣтельная, животворящая мечта о немъ да будетъ сопутницею твоихъ юношескихъ лѣтъ. Совершенствуя себя для мирной обители семейства, ты избѣжишь опасной заразы разврата: плѣнишься ли блестящимъ безобразіемъ порока, имѣя передъ глазами тѣ чистыя наслажденія, ту благородную дѣятельность, которыя неразлучны съ семейственною жизнію? И если твой выборъ уже сдѣланъ, если душа твоя замѣтила существо для нея необходимое: то окружи себя его воспоминаніемъ; воспоминаніе о немъ будетъ твоею добродѣтелію, твоею совѣстію! Такъ, если Провидѣніе опредѣлило тебѣ насладиться симъ благомъ рѣдкимъ—но рѣдкимъ потому, что рѣдки сіи люди, которые полагали бы въ немъ первую и самую благородную цѣль своей жизни, которые минутнаго, живѣйшаго наслажденія, или невѣрной и блистательнѣйшей выгоды не предпочли бы сему спокойному, скромному и неразлучному со всѣми добродѣтелями счастію — если Провидѣніе, говорю, опредѣлило тебѣ насладиться симъ благомъ: то смѣло можешь присвоить себѣ титулъ счастливца; ты возвратишь сему титлу все утраченное его достоинство: на языкѣ твоемъ счастіе будетъ знаменовать добродѣтель, наслажденіе самимъ собою, прямое просвѣщеніе, истинную мудрость.

Какое зрѣлище, возвышающее душу, представляетъ намъ добрый семьянинъ—истинно добрый и счастливый человѣкъ! Войдите въ его домъ, веселый, скромный, гдѣ царствуетъ опрятность и чистота: при первомъ шагѣ не окружаетъ ли васъ какое-то неизъяснимое, невидимое, трогательное очарованіе? Не чувствуете ли во глубинѣ души того утѣшительнаго спокойствія, того внутренняго наслажденія собственнымъ бытіемъ, которое всегда возбуждаетъ въ васъ присутствіе счастія? Вы видите передъ собой довольныя лица, плѣняетесь окружающимъ васъ порядкомъ; здѣсь время пролетаетъ быстро; для каждой минуты есть собственное необходимое занятіе; минуты отдѣльнаго труда приготовляютъ къ минутамъ свиданія, къ минутамъ общаго удовольствія, и всякій трудъ приноситъ съ собою свою награду. Послѣдуйте за добрымъ семьяниномъ и въ свѣтъ, гдѣ исполняетъ онъ обязанности гражданина, и въ домъ его, гдѣ онъ представляется вамъ супругомъ, отцомъ, хозяиномъ, и въ уединенный кабинетъ, гдѣ онъ остается одинъ съ собою, и къ смертному одру, на которомъ онъ ожидаетъ конца, спокойный, увѣренный въ бытіи Божества, которое неотрицаемо для сердца, испытавшаго прямую любовь, уповающій на безсмертіе, которое ощутительно для сердца, испытавшаго прямую любовь—вездѣ вы его найдете одинакимъ. Въ тѣхъ самыхъ чувствахъ, которыя дѣлаютъ его счастливымъ посреди домашнихъ, хранится и чистый источникъ гражданскихъ его добродѣтелей. Разлучаясь на время съ своимъ семействомъ, для исполненія обязанностей въ свѣтѣ, онъ соединенъ съ своими любезными нѣжнымъ, никогда не покидающимъ его сердца о нихъ воспоминаніемъ; ихъ мысленное присутствіе хранитъ его во всѣхъ рѣшительныхъ случаяхъ жизни. Какъ можетъ онъ не дорожить непорочностію своего имени, котораго слава есть слава его любезныхъ? Какъ можетъ не уклоняться отъ зла, когда онъ долженъ приходить невиннымъ передъ судилище безпристрастное, для него драгоцѣнное и святое, передъ судилище своего семейства, гдѣ обитаетъ его неизмѣнный товарищъ, который вмѣстѣ съ нимъ, одною дорогою стремится къ одной и той же цѣли—къ счастію, осно-

званному на совершенствѣ моральномъ, который не узнаетъ его, унизившагося порокомъ, котораго довольный, одобряющій взоръ есть самая утѣшительная для него награда. Но всѣ обязанности, всѣ удовольствія свѣта почитаетъ онъ только посторонними: главная дѣятельность его внутри семейства — мирная, счастливая дѣятельность, которая животворитъ душу его, отдаляетъ отъ него уныльство и скуку, возвышаетъ ее, усиливаетъ, исцѣляетъ. Онъ веселъ, онъ спокоенъ среди порядка и тишины, которые окрестъ него царствуютъ. Перенеситесь мысленно въ обитель согласныхъ супруговъ, согласныхъ въ понятіи своемъ о жизни, согласныхъ въ выборѣ способовъ ею наслаждаться—здѣсь минуты заботъ не имѣютъ того безпокойства, которое преслѣдуетъ насъ, когда трудимся для однихъ себя: они услаждаются трогательнымъ воспоминаніемъ о существахъ, намъ любезныхъ, которымъ посвятили мы всю свою жизнь; здѣсь всякое благородное чувство души становится живѣе, возвышеннѣе, непорочнѣе — благотворительность награждается не однимъ тайнымъ одобреніемъ сердца, но вмѣстѣ и нѣжнымъ участіемъ милаго существа, которое въ глазахъ твоихъ есть образъ всѣхъ добродѣтелей; оно сопутствуетъ тебѣ въ жилище печальнаго и нищаго; ты дѣйствуешь не въ одномъ невидимомъ присутствіи Промысла: ты видишь передъ собою его посланника въ своемъ товарищѣ, къ которому относишь всякое доброе дѣло, всякое доброе чувство. Что можетъ быть трогательнѣе и пламеннѣе молитвы, произносимой въ присутствіи милой супруги вмѣстѣ съ нею, въ полнотѣ своего счастія? Для кого можетъ быть ощутительнѣе Провидѣніе, для кого легче любить своего Создателя, какъ не для нѣжнаго супруга и отца, окруженнаго драгоцѣннѣйшими залогами ихъ милосердія? Молитва одинокаго человѣка есть требованіе; молитва семьянина есть благодарность.

Но, представляя себѣ счастіе, должно воображать и горестныя потери. Супругъ нерѣдко, и слишкомъ рано, лишается супруги; отецъ переживаетъ дѣтей — утраты незамѣняемыя; ибо онѣ разрушаютъ главное счастіе жизни, къ которому относили мы всякое другое. Но развѣ съ утратою любезныхъ теряется для насъ воспоминаніе? Развѣ тому, кто наслаждался настоящимъ, не остается меланхолической, усладительной привязанности къ прошедшему? Ты жилъ для нихъ; ты жилъ вмѣстѣ съ ними; ты радостно летѣлъ къ своей цѣли, окруженный милыми существами: спутники твои исчезли... но ты самъ не измѣнился; поприще твое опустѣло... но оно все то же, и та же цѣль представляется глазамъ твоимъ въ отдаленіи; стремись къ ней, окруженный знакомыми, дружественными тѣнями! Кто разъ наслодился семейственными радостями, тотъ никогда не узнаетъ уже одиночества; горесть будетъ для него нѣкоторымъ образомъ любовію.

О НОВОЙ КНИГѢ:

УЧИЛИЩЕ БѢДНЫХЪ, СОЧИНЕНІЕ ГОСПОЖИ ЛЕПРЕНСЪ ДЕ БОМОНЪ. ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО НАСТАСЬИ ПЛЕЩЕЕВОЙ. 2 ЧАСТИ. ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЛАТОНА БЕКЕТОВА.

Издатель «Вѣстника» почитаетъ за долгъ сказать нѣсколько словъ объ этой книгѣ, по многимъ отношеніямъ весьма полезной.

Въ Россіи, со времени размноженія школъ, средства просвѣщенія сдѣлались общими—купцы, ремесленники, даже простые земледѣльцы начинаютъ учиться, читаютъ, слѣдовательно образуются. Просвѣщеніе—что бы ни говорили о немъ суровые люди, которые судятъ о вещахъ по одному только ихъ злоупотребленію—необходимо для человѣка во всякомъ состояніи, и можетъ быть благодѣтельно въ самой хижинѣ земледѣльца. Я разумѣю подъ именемъ просвѣщенія пріобрѣтеніе настоящаго понятія о жизни, знаніе лучшихъ и удобнѣйшихъ средствъ ею пользоваться, усовершенствованіе бытія своего, физическаго и моральнаго. Человѣкъ, въ какомъ бы тѣсномъ кругу ни заклю-

чила его судьба, имѣетъ умъ, требующій занятія, удовольствія, образованія, слѣдовательно могущій быть просвѣщеннымъ, болѣе или менѣе. Не говоря о тѣхъ классахъ людей, которымъ потому именно необходимо просвѣщеніе, что они выше другихъ состояніемъ (слѣдовательно, должны быть выше и образованностію), скажемъ, что люди низкіе — ремесленники, земледѣльцы — должны быть до нѣкоторой степени образованы. Мы видимъ ихъ провождающихъ дни свои въ трудѣ и заботахъ: сохранить тѣлесную свою жизнь, не умереть съ голоду, имѣть уголъ, не быть нагимъ — вотъ цѣль, для которой почитаетъ себя созданнымъ бѣдный работникъ. Будемъ ли съ нимъ согласны? Скажемъ ли, что понятія благородныя и наслажденія болѣе достойныя человѣка принадлежатъ только тѣмъ, которыхъ судьба наградила нѣкоторымъ достаткомъ? Конечно, ремесленникъ и земледѣлецъ, утомленные тяжкою работою, имѣютъ мало времени думать; обыкновенно свободныя минуты ихъ посвящены или бездѣйственному отдыху, или удовольствію шумному. Но просвѣщеніе простаго ремесленника или земледѣльца, которыхъ вся дѣятельность ограничена грубою работою въ тѣсномъ кругу ихъ семейства, не должно почитать ни многосложнымъ, ни многообъемлющимъ; простыя понятія чистой морали, весьма необширныя, но вообще для каждаго человѣка необходимыя; знакомство съ нѣкоторыми пріятными чувствами, которыя, трогая сердце и оставляя на немъ слѣды неизгладимые, дѣлаютъ его добрѣе и чище; точнѣйшее свѣдѣніе о тѣхъ вещахъ, которыя принадлежатъ къ особенному званію каждаго — напр., для ремесленника о его ремеслѣ, для земледѣльца о земледѣліи — вотъ просвѣщеніе людей, простыхъ и ограниченныхъ. Смотря на грубыя занятія ихъ, на шумныя, часто отвратительныя и вредныя ихъ удовольствія, осмѣлимся ли сказать, что натура, безпристрастная благотворительница всѣхъ тварей своихъ, навсегда отказала имъ въ наслажденіяхъ благородныхъ? Но развѣ не имѣютъ они собственнаго своего счастія? спросите вы. Конечно, имѣютъ! Но сіи люди, которые довольствуются счастіемъ грубымъ, ужели неспособны постигать счастія высшаго? Ремесленникъ, который находитъ удовольствіе свое въ пьянствѣ, именно отъ того, что лучшее удовольствіе неизвѣстно ему, ужели осужденъ навсегда сохранить сіе несчастное, погибельное для него невѣжество? И можетъ ли быть такое состояніе въ обществѣ человѣческомъ, въ которомъ бы человѣкъ, существо умное и способное совершенствоваться, ничѣмъ инымъ не долженъ былъ отличаться отъ грубаго скота, кромѣ образа?

Какого же просвѣщенія требую для простолюдиновъ? Ограниченнаго, приличнаго ихъ скромному жребію просвѣщенія, которое научило бы ихъ наслаждаться жизнію въ томъ самомъ кругу, въ которомъ помѣщены они судьбою, и наслаждаться достойнымъ человѣчества образомъ! Слѣдовательно, не учености! И нужно ли земледѣльцу занимать себя предметами, слишкомъ отъ него отдаленными, украшающими разсудокъ, привлекательными для любопытства, но вообще не приносящими никакой существенной пользы? Излишество для него вредно! Занятія глубокомысленнаго ума требуютъ свободы и праздности: они отвлекли бы его, а, можетъ быть, и навсегда отвратили бы отъ главныхъ, соединенныхъ съ его званіемъ упражненій; желаю, напротивъ, чтобы онъ, по мѣрѣ распространенія понятій своихъ, болѣе и болѣе привязывался къ своему жребію, научался понимать его преимущества, ими наслаждаться, или сносить несчастія, необходимо съ нимъ соединенныя: просвѣщеніе должно убѣдить его, что онъ можетъ быть счастливъ, можетъ быть человѣкомъ во всѣхъ состояніяхъ. Нѣтъ, не желаю для него учености! но знаю, что нѣкоторыя истины, нѣкоторыя чувства для него не могутъ быть чужды. Всякой земледѣлецъ, всякой ремесленникъ можетъ возноситься душою къ Божеству, не такъ какъ умствующій метафизикъ,

по такъ какъ благодарный сынъ природы, знакомый съ благодѣяніями своего Создателя, въ простотѣ сердца, неиспорченнаго и мирнаго. Великолѣпіе натуры закрыто ли для его взоровъ? Ему недостаетъ одного вниманія! Хочу, чтобы онъ не лишенъ былъ наслажденій сердца, удовольствій ума; хочу, чтобы не предпочиталъ имъ, или, за недостаткомъ ихъ, не былъ принужденъ искать чувственныхъ забавъ, убійственныхъ для души и умерщвляющихъ самое тѣлесное здоровье. Скажите, такое просвѣщеніе противно ли состоянію ремесленника, земледѣльца и имъ подобныхъ?

Въ Россіи, съ заведеніемъ уѣздныхъ и сельскихъ школъ, открыта къ нему дорога для всякаго простолюдина! Русскіе купцы, мѣщане, ремесленники — не говорю о земледѣльцахъ, которыхъ судьба зависнтъ отъ помѣщиковъ — учатъ дѣтей читать и писать. Кругъ воспитанія ихъ самый ограниченный. Спрашиваю, однако: какую истинную пользу можетъ имъ принести такое воспитаніе? Много ли, напримѣръ, имѣемъ такихъ книгъ, которыя были бы для нихъ прямо полезны? Вышедъ изъ училища, они принуждены или отказаться отъ чтенія, или обременять свою голову понятіями, для нихъ ненужными, нерѣдко весьма вредными. Напр., какую пищу найдетъ простолюдинъ въ исторіи, представляющей ему такія происшествія, въ которыхъ ему несвойственно принимать участія? Романы, привлекательные для свѣтскаго человѣка, именно потому, что онъ находитъ въ нихъ ту самую сцену, на которой и самъ играетъ какую-нибудь роль, знакомятъ простолюдина съ людьми, отдѣленными отъ него званіемъ, обычаями, образованностію; воображеніе переноситъ его въ такой міръ, изъ котораго навсегда онъ исключенъ судьбою; невольно дѣлаетъ сравненіе онъ между собою и мечтательными героями романовъ, и, можетъ быть, научается не уважать самого себя въ ограниченномъ своемъ состояніи. То же почти можно сказать и о другихъ книгахъ, которыя или писаны языкомъ слишкомъ высокимъ для людей, привыкшихъ выражаться просто, или разсуждаютъ о предметахъ имъ чуждыхъ. Словомъ, мы не имѣемъ еще полезныхъ для простолюдина книгъ, и вѣроятно, что еще долго не будемъ имѣть ихъ. Много ли найдется писателей, которые захотѣли бы жертвовать талантомъ своимъ такому кругу людей, которыхъ одобреніе не можетъ быть удовлетворительно для авторскаго самолюбія? Но быть полезнымъ, конечно, благороднѣе, нежели быть славнымъ; и человѣкъ съ дарованіемъ, который захочетъ посвятить нѣсколько лѣтъ жизни своей единственно тому, чтобъ языкомъ простымъ и понятнымъ проповѣдывать счастіе въ хижинахъ земледѣльца, въ обителяхъ нищеты и невѣжества, чтобъ разбудить въ простыхъ и грубыхъ сердцахъ благородныя чувства, и познакомить ихъ съ наслажденіями истинными: такой человѣкъ, безъ сомнѣнія, не пріобрѣтетъ имени писателя славнаго — ибо онъ рождается только въ кругу образованнаго свѣта — но онъ найдетъ награду во внутреннемъ убѣжденіи своего сердца, которое скажетъ ему: ты былъ полезенъ! ты безкорыстный благотворитель бѣдныхъ! они воздадутъ тебѣ не громкими рукоплесканіями, но собственнымъ своимъ счастіемъ, къ которому дорога указана имъ тобою.

Библіотека поселянъ, ремесленниковъ и имъ подобныхъ не можетъ быть многочисленна. Желаю, чтобы она составлена была изъ такихъ книгъ, которыя, не отвлекая ихъ отъ ограниченнаго ихъ состоянія, напротивъ, всегда устремляя на него мысли ихъ,—открывали имъ способъ находить въ немъ счастіе, имъ возможное. Самыми необходимыми почитаю слѣдующія: 1) *Катихизисъ морали* — предложенной просто, безъ всякаго витійства, объясняемой примѣрами—но примѣрами, взятыми изъ жизни тѣхъ людей, для которыхъ она предлагаема — и что всего важнѣе, основанной на правилахъ свя-

щеннаго христіанскаго ученія; 2) *Общія понятія о натурѣ, о главныхъ ея законахъ, о нѣкоторыхъ явленіяхъ небесныхъ* — совершенное невѣжество, въ этомъ отношеніи, бываетъ причиною многихъ смѣшныхъ и даже вредныхъ предразсудковъ. 3) *Энциклопедія ремесленниковъ и земледѣльцевъ* — въ этой книгѣ была бы предложена, ясно и кратко, теорія земледѣлія и всѣхъ ремеслъ, т. е. всѣ главныя и нужныя ремесленнику и земледѣльцу для успѣшнаго исполненія ихъ обязанностей правила. 4) *Повѣсти и сказки*, которыхъ герои были бы взяты изъ состоянія низкаго, и представлены на сценѣ, знакомой самимъ читателямъ: эта книга была бы необходимымъ дополненіемъ къ *Катихизису морали*. 5) *Общія правила, какъ сохранять свое здоровье*,— нужныя для тѣхъ людей, которымъ здоровье такъ дорого и которые, потерявъ его однажды, уже не имѣютъ почти никакихъ способовъ возстановить его снова. Наконецъ, 6) *народныя стихотворенія*, въ которыхъ воображеніе поэта украсило бы природу, непривлекательную для грубыхъ очей простолюдина; въ душу его, вмѣстѣ съ стихами, врѣзались бы нѣкоторыя высокія понятія о Божествѣ; мысли его пріобрѣли бы нѣкоторую живость, а чувства сдѣлались нѣжнѣе. Вотъ книги, которыя желалъ бы я найти во всякой уѣздной и деревенской школѣ; которыми въ праздное время желалъ бы занять ремесленника, земледѣльца и слугу, принужденнаго посвятить всю свою жизнь на исполненіе воли другихъ; вотъ чтеніе, которое могло бы быть истинно для нихъ полезно. Желаю—и, быть можетъ, сіе желаніе не останется тщетнымъ — чтобы нѣкоторые изъ соотечественниковъ моихъ, воспламененные человѣколюбіемъ, соединились для распространенія благодѣтельнаго свѣта въ умахъ бѣдныхъ своихъ согражданъ, осужденныхъ проводить всѣ дни свои въ тяжкомъ трудѣ, и ограничившихъ всю дѣятельность свою сохраненіемъ одной тѣлесной жизни! Мы имѣемъ Академію Наукъ и Художествъ, почему же не можемъ имѣть Академія для просвѣщенія простолюдиновъ?

Книга, которая подала намъ поводъ къ сему разсужденію — *Училище бѣдныхъ* — можетъ занимать одно изъ первыхъ мѣстъ въ библіотекѣ простолюдина: она заключаетъ въ себѣ всѣ главныя правила практической морали, сдѣланной искусствомъ автора привлекательною для такихъ людей, которые вообще или не любятъ читать, или читаютъ одни пустыя сказки. Почтенная переводчица, которая посвятила общей пользѣ нѣсколько дней своей старости, безъ сомнѣнія заслуживаетъ благодарность отъ всѣхъ, желающихъ добра человѣчеству. Книга ея не будетъ занимательна для свѣтскихъ людей; но простодушный ремесленникъ съ жадностію прочтетъ ее въ своемъ семействѣ, и въ сердцѣ его дѣтей укоренится чувство правоты и богопочтенія; но всякой добрый господинъ захочетъ имѣть ее въ своемъ домѣ, для того, чтобы слуги его научились изъ нея любить порядокъ, покорность, и быть довольными скромнымъ своимъ удѣломъ. Переводчица посвятила свой трудъ императрицѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ. «Воззрѣніе вашего императорскаго величества на слабое мое приношеніе—говоритъ она въ заключеніи своего письма—воспламенитъ и другихъ къ сочиненіямъ или переводамъ, полезнымъ для образованія простолюдиновъ!» Желаемъ искренно, чтобы сія надежда добраго сердца была исполнена, и чтобы, наконецъ, въ Россіи и самыя хижины земледѣльцевъ сдѣлались жилищемъ людей образованныхъ, слѣдовательно счастливыхъ и знающихъ цѣну своего счастія!

ПИСАТЕЛЬ ВЪ ОБЩЕСТВѢ.

Положеніе писателя въ большомъ свѣтѣ кажется вамъ затруднительнымъ; вы говорите, что онъ не долженъ надѣяться въ немъ успѣха: мнѣніе, слишкомъ неограниченное. Вопреки ему, позволяю себѣ утверждать, что и писатель наравнѣ со всѣми можетъ съ успѣхомъ играть свою роль на сценѣ большого свѣта.

Прежде всего опредѣлимъ для самихъ себя: что называется обыкновенно большимъ свѣтомъ? что значитъ имѣть въ немъ успѣхъ? какими средствами успѣхъ сей пріобрѣтается?

Слово: большой свѣтъ, означаетъ кругъ людей отборныхъ—не скажу лучшихъ—превосходныхъ предъ другими состояніемъ, образованностію, саномъ, происхожденіемъ; это республика, имѣющая особенные свои законы, покорная собственному, идеальному и всякую минуту произвольно смѣняемому правителю — модѣ, гдѣ существуетъ общее мнѣніе, гдѣ царствуетъ разборчивый вкусъ, гдѣ раздаются всѣ награды, гдѣ происходитъ оцѣнка и добродѣтелей и талантовъ. Вообразите множество людей обоего пола, одаренныхъ отъ фортуны или избыткомъ, или знатностью, соединенныхъ одни съ другими естественною склонностью къ общежитію, поставляющихъ цѣлію своего соединенія одно удовольствіе, заключенное въ томъ единственно, чтобы взаимно другъ другу нравиться—и вы получите довольно ясное понятіе о томъ, что называете большимъ свѣтомъ. Слѣдовательно, свѣтскій человѣкъ есть тотъ, который имѣетъ сношеніе, всегдашнее и болѣе или менѣе тѣсное съ людьми, принадлежащими къ большому свѣту, которому обыкновенія и законы сей идеальной республики извѣстны въ точность — и тотъ единственно, кто, пользуясь удовольствіями свѣта, умѣетъ самъ доставлять ихъ; кто, обладая общими, отъ всѣхъ признанными за дѣйствительные, способами нравиться, имѣетъ сверхъ того собственные, одному ему свойственные и заключающіеся въ особенности его ума, характера и способностей: тотъ единственно, говорю, можетъ съ одобреніемъ играть свою роль на семъ обширномъ театрѣ, гдѣ всякій есть въ одно время и дѣйствующій и зритель. Два рода успѣховъ свѣтскихъ. Къ первому надлежитъ причислить сіи мгновенныя торжества, пріобрѣтаемыя блестящими, но мелкими средствами. Представьте человѣка, устремившаго всѣ мысли свои на то единственно, чтобъ нравиться всегда, во всякомъ мѣстѣ и всѣмъ. наружностію, одеждою, краснорѣчіемъ языка, лица, движеній; онъ съ удивительнымъ присутствіемъ духа обращаетъ на пользу свою всякое обстоятельство; умѣетъ въ разговорѣ своемъ быть и забавнымъ и важнымъ; неподражаемъ въ мелкихъ вещахъ: въ искусствѣ разсказать привлекательно и быстро анекдотъ или повѣсть, оживить своею изобрѣтательностію общественныя забавы, представить важное смѣшнымъ, или смѣшное важнымъ, сказать пріятнымъ образомъ лестное слово; онъ перелетаетъ изъ одного общества въ другое; одушевляетъ каждое мгновеннымъ своимъ присутствіемъ; исчезаетъ въ одномъ, чтобы явиться въ другомъ и снова исчезнуть; такого человѣка называютъ любезнымъ; ищутъ его для того, что онъ нуженъ для увеселеній общественныхъ; онъ имѣетъ въ свѣтѣ успѣхъ; никто не думаетъ о моральномъ его характерѣ; ему благодарны за то удовольствіе, которое доставляетъ онъ другимъ въ ту минуту, когда онъ съ ними. Другого рода успѣхъ, болѣе твердый и съ большею трудностію пріобрѣтаемый, основанъ на уваженіи, которое имѣютъ въ обществѣ къ уму и качествамъ моральнымъ. Чтобъ заслужить его, необходимо нужно усовершенствовать свой характеръ, имѣть правила твердыя, разсудокъ образованный, быть дѣятельнымъ для блага общаго; съ сими важными преимуществами надлежитъ соединять и мелкое, совершенно необходимое для пріобрѣтенія отъ общества благосклонности, искусство обращаться пріятно. Конечно, тотъ, кто имѣетъ въ виду одну благородную цѣль: заслужить всеобщее уваженіе качествами и поступками превосходными, отстанетъ въ нѣкоторыхъ мелочахъ отъ человѣка, употребившаго всѣ дарованія свои на то исключительно, чтобы усовершенствовать себя въ искусствѣ быть пріятнымъ; конечно, нѣкоторые мелкіе способы послѣдняго могутъ быть или неизвѣстны первому, или оставлены имъ безъ вниманія; но въ томъ же самомъ

обществѣ, въ которомъ послѣдній будетъ восхищать другихъ своею любезностію, тайное предпочтеніе всегда останется на сторонѣ перваго: къ нему будутъ привязаны чувствомъ постояннымъ, чувствомъ, которое не уменьшится и въ его присутствіи; ибо своимъ обхожденіемъ простымъ, но пріятнымъ, онъ будетъ соотвѣтствовать своему характеру. Понятіе о человѣкѣ только любезномъ должно мѣняться съ тѣми обстоятельствами, въ которыхъ онъ представляется обществу, о немъ не имѣютъ общаго мнѣнія; привязанность къ нему или уменьшается, или исчезаетъ въ ту самую минуту, въ которую онъ самъ скрывается отъ вашихъ взоровъ; онъ долженъ непремѣнно быть на сценѣ, чтобы могли о немъ помнить, или ему удивляться.

Теперь спрашиваемъ: почему писателю невозможно искать въ обществѣ успѣха? и званіе писателя противорѣчитъ ли состоянію человѣка свѣтскаго? Вы скажете, можетъ быть: всякій писатель обыкновенными занятіями своими слишкомъ отдѣленъ отъ жизни свѣтской, шумной, разнообразной и неразлучной съ разсѣянностію. Согласенъ, если подъ именемъ свѣтской жизни разумѣете вы скучное состояніе праздныхъ, которые посвятили себя однимъ удовольствіямъ общественнымъ, которые безпрестанно живутъ внѣ себя, не имѣютъ ни занятія собственнаго, ни должности государственной; которыхъ девизъ — быть пріятными безъ пользы, а иногда и со вредомъ другихъ. Но вы видѣли, что успѣхъ въ свѣтѣ — не эфемерный, но истинный и продолжительный — соединенъ необходимо съ дѣятельностію полезною и качествами высокими. Нѣтъ человѣка, который назывался бы просто свѣтскимъ: каждый имѣетъ, или долженъ имѣть особенное занятіе, которое на время отдѣляетъ его отъ свѣта и требуетъ уединенія болѣе или менѣе продолжительнаго; многіе подчинены обязанностямъ по службѣ, и всѣ вообще семейственнымъ заботамъ. Обязанность писателя привязываетъ его къ уединенному кабинету — но разлучаетъ ли она его съ обществомъ, и можетъ ли воспрепятствовать быть ему членомъ большаго свѣта наравнѣ съ другими, имѣющими каждый особенныя свои заботы и должности? Конечно, писатель, такъ же какъ и всѣ, избравшіе какую нибудь важную цѣль, не можетъ пріобрѣсти сего легкаго, пріятнаго блеска, которымъ украшены люди, почитающіе, такъ сказать, единственнымъ своимъ ремесломъ искусство жить въ свѣтѣ; но онъ обладаетъ способами нравиться столь же дѣйствительными и безъ сомнѣнія благороднѣйшими.

Писатель — потому единственно, что онъ писатель — лишенъ ли качествъ человѣка любезнаго? Будучи одаренъ богатствомъ мыслей, которыя умѣетъ выражать лучше другаго на бумагѣ, долженъ ли онъ именно потому не имѣть способности выражаться съ пріятностію въ разговорѣ? И, обращаясь большую часть времени въ своемъ кабинетѣ съ книгами, осужденъ ли необходимо быть страннымъ и неискуснымъ въ обращеніи съ людьми? Не думаю, чтобъ одно было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ другаго.

Вы утверждаете, что авторъ, вступая въ общество, долженъ быть непремѣнно жертвою коварнаго любопытства мужчинъ и взыскательнаго самолюбія женщинъ: мнѣніе сіе почитаю не совсѣмъ справедливымъ. Писатель свѣтскій человѣкъ, будучи всегда въ свѣтѣ, не можетъ возбуждать особеннаго вниманія именно потому, что лицо его уже знакомо, и что онъ играетъ одинакую роль со всѣми: роль собесѣдника, примѣняющагося къ другимъ своимъ обхожденіемъ, своею наружностію, своимъ тономъ. Въ свѣтѣ не любятъ отличій, неохотно показываютъ удивленіе, и рѣдкій бываетъ въ немъ предметомъ любопытства, которое само по себѣ есть уже знакъ отличія. Въ свѣтѣ ни отъ кого не требуютъ много, можетъ быть, потому, что высокія требованія неразлучны съ признаніемъ великаго превосходства; а люди, особенно свѣтскіе, хотя вообще справедливые, не любятъ

никогда обнаруживать такого признанія.

Прибавимъ: писатель имѣетъ въ обществѣ существенное преимущество предъ людьми болѣе свѣтскими; онъ можетъ порядочнѣе и лучше мыслить. Отъ умственной работы, которой посвящена бо́льшая часть его дня, пріучается онъ обдумывать тѣ предметы, которые свѣтскій человѣкъ только что замѣчаетъ; будучи весьма часто одинъ съ собою, онъ имѣетъ гораздо болѣе времени возобновлять воспоминаніемъ то, что видѣлъ глазами; привычка приводить въ порядокъ, предлагать въ связи и выражать съ точностію свои мысли, даетъ понятіямъ его особенную ясность, опредѣленность и полноту, которыхъ никогда не могутъ имѣть понятія человѣка, исключительно занимающагося свѣтомъ: послѣдній, по причинѣ разнообразія предметовъ, мелькающихъ мимо него съ чрезвычайною быстротою, принужденъ, такъ сказать, ловить ихъ на лету и устремлять на нихъ вниманіе свое только мимоходомъ. Уединеніе дѣлаетъ писателя глубокомысленнымъ; въ обществѣ пріучается онъ размышлять быстро, и наконецъ, заимствуетъ въ немъ искусство украшать легкими и пріятными выраженіями самыя глубокія свои мысли. Конечно, всякій писатель отъ образа своей жизни, болѣе или менѣе ограниченнаго, долженъ быть нѣсколько отъ другихъ отличенъ — но развѣ отличіе и странность одно и то же? И нѣкоторое несходство съ другими, если оно не разительно, а только что замѣтно, развѣ не имѣетъ своей пріятности? Человѣку естественно любить разнообразіе. Привыкнувъ мѣшать уединеніе съ свѣтскою жизнію, писатель удобнѣе другихъ можетъ сохранить особенность своей физіономіи; конечно, онъ будетъ имѣть съ другими нѣкоторое несходство, но въ то же время не отдѣлится отъ нихъ рѣзкою (слѣдовательно непріятною) съ ними противоположностью. Оригинальность, разумѣется натуральная, неподдѣланная, имѣетъ въ себѣ нѣчто любезное. Напримѣръ, задумчивая молчаливость, если она впрочемъ соединена съ пріятнымъ умомъ, и не происходитъ ни отъ неловкости, ни отъ угрюмаго характера, понравится именно потому, что она служитъ легкою противоположностію веселому и слишкомъ вѣтреному многорѣчію людей свѣтскихъ.

Отъ чего же, спросите вы, бо́льшая часть писателей не имѣетъ никакого успѣха въ свѣтѣ, неловки въ обращеніи, и вообще менѣе уважаемы, нежели ихъ книги? Отъ трехъ причинъ, изъ которыхъ двѣ — общія писателю со всѣми: отъ страстной привязанности къ своему искусству, отъ самолюбія, отъ ограниченности состоянія.

Всякая страсть, наполняя человѣческую душу предметомъ единственно ей любезнымъ, отдѣляетъ ее отъ всего внѣшняго и сему предмету чуждаго. Напримѣръ, взгляните на страстно-влюбленнаго: каковъ онъ въ обществѣ? Молчаливъ, разсѣянъ, на лицѣ его написано задумчивое уныніе; свѣтская принужденность для него мучительна, мысли его тамъ, гдѣ его сердце; начните съ нимъ говорить: онъ будетъ вамъ отвѣчать несвязно, или безъ смысла; онъ скученъ, тяжелъ и страненъ. Таковъ честолюбивый, преданный тайнымъ своимъ замысламъ; таковъ и писатель, исключительно прилѣпленный къ своимъ идеямъ. Онъ неохотно является въ общество, и, находясь въ немъ, всегда бываетъ отъ него въ отсутствіи: въ шумную толпу людей переноситъ онъ уединеніе своего кабинета. Онъ неспособенъ примѣняться къ другимъ, и часто оскорбляетъ ихъ своимъ разсѣяніемъ или грубымъ пренебреженіемъ обыкновенныхъ, ему одному незамѣтныхъ, приличій; не можетъ говорить пріятно потому, что неспособенъ внимательно слушать: въ то время, когда вы съ нимъ говорите, онъ, можетъ быть, занятъ разрѣшеніемъ философическаго вопроса, или описываетъ въ воображеніи спокойный вечеръ, тоску оспоротѣвшей любви, очарованный замокъ Альцины. Воображая, что предметы, ему любезные, для всѣхъ одинаково привлекательны, онъ утомляетъ ими ваше вни-

любить съ такою полнотою, съ такою взаимностію, съ такимъ забвеніемъ самого себя? Гдѣ можешь быть столь добродѣтельнымъ и столь непосредственно получать за добродѣтели твои воздаяніе? Гдѣ найдешь такихъ вѣрныхъ и согласныхъ съ тобою товарищей и въ радости и въ печали? Стремись воображеніемъ къ сему блаженству, когда еще его не имѣешь; образуй для него свою душу; помни, что оно существуетъ для одного невиннаго, благороднаго, исполненнаго высокими чувствами сердца; благодѣтельная, животворящая мечта о немъ да будетъ сопутницею твоихъ юношескихъ лѣтъ. Совершенствуя себя для мирной обители семейства, ты избѣжишь опасной заразы разврата: плѣнишься ли блестящимъ безобразіемъ порока, имѣя передъ глазами тѣ чистыя наслажденія, ту благородную дѣятельность, которыя неразлучны съ семейственною жизнію? И если твой выборъ уже сдѣланъ, если душа твоя замѣтила существо для нея необходимое: то окружи себя его воспоминаніемъ; воспоминаніе о немъ будетъ твоею добродѣтелію, твоею совѣстію! Такъ, если Провидѣніе опредѣлило тебѣ насладиться симъ благомъ рѣдкимъ—но рѣдкимъ потому, что рѣдки сіи люди, которые полагали бы въ немъ первую и самую благородную цѣль своей жизни, которые минутнаго, живѣйшаго наслажденія, или невѣрной и блистательнѣйшей выгоды не предпочли бы сему спокойному, скромному и неразлучному со всѣми добродѣтелями счастію — если Провидѣніе, говорю, опредѣлило тебѣ насладиться симъ благомъ: то смѣло можешь присвоить себѣ титулъ счастливца; ты возвратишь сему титлу все утраченное его достоинство: на языкѣ твоемъ счастіе будетъ знаменовать добродѣтель, наслажденіе самимъ собою, прямое просвѣщеніе, истинную мудрость.

Какое зрѣлище, возвышающее душу, представляетъ намъ добрый семьянинъ—истинно добрый и счастливый человѣкъ! Войдите въ его домъ, веселый, скромный, гдѣ царствуетъ опрятность и чистота: при первомъ шагѣ не окружаетъ ли васъ какое-то неизъяснимое, невидимое, трогательное очарованіе? Не чувствуете ли во глубинѣ души того утѣшительнаго спокойствія, того внутренняго наслажденія собственнымъ бытіемъ, которое всегда возбуждаетъ въ васъ присутствіе счастія? Вы видите передъ собой довольныя лица, плѣняетесь окружающимъ васъ порядкомъ; здѣсь время пролетаетъ быстро; для каждой минуты есть собственное необходимое занятіе; минуты отдѣльнаго труда приготовляютъ къ минутамъ свиданія, къ минутамъ общаго удовольствія, и всякій трудъ приноситъ съ собою свою награду. Послѣдуйте за добрымъ семьяниномъ—и въ свѣтъ, гдѣ исполняетъ онъ обязанности гражданина, и въ домъ его, гдѣ онъ представляется вамъ супругомъ, отцомъ, хозяиномъ, и въ уединенный кабинетъ, гдѣ онъ остается одинъ съ собою, и къ смертному одру, на которомъ онъ ожидаетъ конца, спокойный, увѣренный въ бытіи Божества, которое неотрицаемо для сердца, испытавшаго прямую любовь, уповающій на безсмертіе, которое ощутительно для сердца, испытавшаго прямую любовь—вездѣ вы его найдете одинакимъ. Въ тѣхъ самыхъ чувствахъ, которыя дѣлаютъ его счастливымъ посреди домашнихъ, хранится и чистый источникъ гражданскихъ его добродѣтелей. Разлучаясь на время съ своимъ семействомъ, для исполненія обязанностей въ свѣтѣ, онъ соединенъ съ своими любезными нѣжнымъ, никогда не покидающимъ его сердца о нихъ воспоминаніемъ; ихъ мысленное присутствіе хранитъ его во всѣхъ рѣшительныхъ случаяхъ жизни. Какъ можетъ онъ не дорожить непорочностію своего имени, котораго слава есть слава его любезныхъ? Какъ можетъ не уклоняться отъ зла, когда онъ долженъ приходить невиннымъ передъ судилище безпристрастное, для него драгоцѣнное и святое, передъ судилище своего семейства, гдѣ обитаетъ его неизмѣнный товарищъ, который вмѣстѣ съ нимъ, одною дорогою стремится къ одной и той же цѣли—къ счастію, осно-

ванному на совершенствѣ моральномъ, который не узнаетъ его, унизившагося порокомъ, котораго довольный, одобряющій взоръ есть самая утѣшительная для него награда. Но всѣ обязанности, всѣ удовольствія свѣта почитаетъ онъ только посторонними: главная дѣятельность его внутри семейства — мирная, счастливая дѣятельность, которая животворитъ душу его, отдаляетъ отъ него уныльство и скуку, возвышаетъ ее, усиливаетъ, исцѣляетъ. Онъ веселъ, онъ спокоенъ среди порядка и тишины, которые окрестъ него царствуютъ. Перенеситесь мысленно въ обитель согласныхъ супруговъ, согласныхъ въ понятіи своемъ о жизни, согласныхъ въ выборѣ способовъ ею наслаждаться—здѣсь минуты заботъ не имѣютъ того безпокойства, которое преслѣдуетъ насъ, когда трудимся для однихъ себя: они услаждаются трогательнымъ воспоминаніемъ о существахъ, намъ любезныхъ, которымъ посвятили мы всю свою жизнь; здѣсь всякое благородное чувство души становится живѣе, возвышеннѣе, непорочнѣе — благотворительность награждается не однимъ тайнымъ одобреніемъ сердца, но вмѣстѣ и нѣжнымъ участіемъ милаго существа, которое въ глазахъ твоихъ есть образъ всѣхъ добродѣтелей; оно сопутствуетъ тебѣ въ жилище печальнаго и нищаго; ты дѣйствуешь не въ одномъ невидимомъ присутствіи Промысла: ты видишь передъ собою его посланника въ своемъ товарищѣ, къ которому относишь всякое доброе дѣло, всякое доброе чувство. Что можетъ быть трогательнѣе и пламеннѣе молитвы, произносимой въ присутствіи милой супруги вмѣстѣ съ нею, въ полнотѣ своего счастія? Для кого можетъ быть ощутительнѣе Провидѣніе, для кого легче любить своего Создателя, какъ не для нѣжнаго супруга и отца, окруженнаго драгоцѣннѣйшими залогами ихъ милосердія? Молитва одинокаго человѣка есть требованіе; молитва семьянина есть благодарность.

Но, представляя себѣ счастіе, должно воображать и горестныя потери. Супругъ нерѣдко, и слишкомъ рано, лишается супруги; отецъ переживаетъ дѣтей — утраты незамѣняемыя; ибо онѣ разрушаютъ главное счастіе жизни, къ которому относили мы всякое другое. Но развѣ съ утратою любезныхъ теряется для насъ воспоминаніе? Развѣ тому, кто наслаждался настоящимъ, не остается меланхолической, усладительной привязанности къ прошедшему? Ты жилъ для нихъ; ты жилъ вмѣстѣ съ ними; ты радостно летѣлъ къ своей цѣли, окруженный милыми существами: спутники твои исчезли... но ты самъ не измѣнился; поприще твое опустѣло... но оно все то же, и та же цѣль представляется глазамъ твоимъ въ отдаленіи; стремись къ ней, окруженный знакомыми, дружественными тѣнями! Кто разъ насладился семейственными радостями, тотъ никогда не узнаетъ уже одиночества; горесть будетъ для него нѣкоторымъ образомъ любовію.

О НОВОЙ КНИГѢ:

УЧИЛИЩЕ БѢДНЫХЪ, СОЧИНЕНІЕ ГОСПОЖИ ЛЕ ПРЕНСЪ ДЕ БОМОНЪ. ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО НАСТАСЬИ ПЛЕЩЕЕВОЙ. 2 ЧАСТИ. ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЛАТОНА БЕКЕТОВА.

Издатель «Вѣстника» почитаетъ за долгъ сказать нѣсколько словъ объ этой книгѣ, по многимъ отношеніямъ весьма полезной.

Въ Россіи, со времени размноженія школъ, средства просвѣщенія сдѣлались общими—купцы, ремесленники, даже простые земледѣльцы начинаютъ учиться, читаютъ, слѣдовательно образуются. Просвѣщеніе—что бы ни говорили о немъ суровые люди, которые судятъ о вещахъ по одному только ихъ злоупотребленію—необходимо для человѣка во всякомъ состояніи, и можетъ быть благодѣтельно въ самой хижинѣ земледѣльца. Я разумѣю подъ именемъ просвѣщенія пріобрѣтеніе настоящаго понятія о жизни, знаніе лучшихъ и удобнѣйшихъ средствъ ею пользоваться, усовершенствованіе бытія своего, физическаго и моральнаго. Человѣкъ, въ какомъ бы тѣсномъ кругу ни заключа-

чила его судьба, имѣетъ умъ, требующій занятія, удовольствія, образованія, слѣдовательно могущій быть просвѣщеннымъ, болѣе или менѣе. Не говоря о тѣхъ классахъ людей, которымъ потому именно необходимо просвѣщеніе, что они выше другихъ состояніемъ (слѣдовательно, должны быть выше и образованностію), скажемъ, что люди низкіе — ремесленники, земледѣльцы — должны быть до нѣкоторой степени образованы. Мы видимъ ихъ провождающихъ дни свои въ трудѣ и заботахъ: сохранить тѣлесную свою жизнь, не умереть съ голоду, имѣть уголъ, не быть нагимъ — вотъ цѣль, для которой почитаетъ себя созданнымъ бѣдный работникъ. Будемъ ли съ нимъ согласны? Скажемъ ли, что понятія благородныя и наслажденія болѣе достойныя человѣка принадлежатъ только тѣмъ, которыхъ судьба наградила нѣкоторымъ достаткомъ? Конечно, ремесленникъ и земледѣлецъ, утомленные тяжкою работою, имѣютъ мало времени думать; обыкновенно свободныя минуты ихъ посвящены или бездѣйственному отдыху, или удовольствію шумному. Но просвѣщеніе простаго ремесленника или земледѣльца, которыхъ вся дѣятельность ограничена грубою работою въ тѣсномъ кругу ихъ семейства, не должно почитать ни многосложнымъ, ни многообъемлющимъ; простыя понятія чистой морали, весьма необширныя, но вообще для каждаго человѣка необходимыя; знакомство съ нѣкоторыми пріятными чувствами, которыя, трогая сердце и оставляя на немъ слѣды неизгладимые, дѣлаютъ его добрѣе и чище; точнѣйшее свѣдѣніе о тѣхъ вещахъ, которыя принадлежатъ къ особенному званію каждаго — напр., для ремесленника о его ремеслѣ, для земледѣльца о земледѣліи — вотъ просвѣщеніе людей, простыхъ и ограниченныхъ. Смотря на грубыя занятія ихъ, на шумныя, часто отвратительныя и вредныя ихъ удовольствія, осмѣлимся ли сказать, что натура, безпристрастная благотворительница всѣхъ тварей своихъ, навсегда отказала имъ въ наслажденіяхъ благородныхъ? Но развѣ не имѣютъ они собственнаго своего счастія? спросите вы. Конечно, имѣютъ! Но сіи люди, которые довольствуются счастіемъ грубымъ, ужели неспособны постигать счастія высшаго? Ремесленникъ, который находитъ удовольствіе свое въ пьянствѣ, именно отъ того, что лучшее удовольствіе неизвѣстно ему, ужели осужденъ навсегда сохранить сіе несчастное, погибельное для него невѣжество? И можетъ ли быть такое состояніе въ обществѣ человѣческомъ, въ которомъ бы человѣкъ, существо умное и способное совершенствоваться, ничѣмъ инымъ не долженъ былъ отличаться отъ грубаго скота, кромѣ образа?

Какого же просвѣщенія требую для простолюдиновъ? Ограниченнаго, приличнаго ихъ скромному жребію просвѣщенія, которое научило бы ихъ наслаждаться жизнію въ томъ самомъ кругу, въ которомъ помѣщены они судьбою, и наслаждаться достойнымъ человѣчества образомъ! Слѣдовательно, не учености! И нужно ли земледѣльцу занимать себя предметами, слишкомъ отъ него отдаленными, украшающими разсудокъ, привлекательными для любопытства, но вообще не приносящими никакой существенной пользы? Излишество для него вредно! Занятія глубокомысленнаго ума требуютъ свободы и праздности: они отвлекли бы его, а, можетъ быть, и навсегда отвратили бы отъ главныхъ, соединенныхъ съ его званіемъ упражненій; желаю, напротивъ, чтобы онъ, по мѣрѣ распространенія понятій своихъ, болѣе и болѣе привязывался къ своему жребію, научался понимать его преимущества, ими наслаждаться, или сносить несчастія, необходимо съ нимъ соединенныя: просвѣщеніе должно убѣдить его, что онъ можетъ быть счастливъ, можетъ быть человѣкомъ во всѣхъ состояніяхъ. Нѣтъ, не желаю для него учености! но знаю, что нѣкоторыя истины, нѣкоторыя чувства для него не могутъ быть чужды. Всякой земледѣлецъ, всякой ремесленникъ можетъ возноситься душою къ Божеству, не такъ какъ умствующій метафизикъ,

по такъ какъ благодарный сынъ природы, знакомый съ благодѣяніями своего Создателя, къ простотѣ сердца, неиспорченнаго и мирнаго. Великолѣпіе натуры закрыто ли для его взоровъ? Ему недостаетъ одного вниманія! Хочу, чтобы онъ не лишенъ былъ наслажденій сердца, удовольствій ума; хочу, чтобы не предпочиталъ имъ, или, за недостаткомъ ихъ, не былъ принужденъ искать чувственныхъ забавъ, убійственныхъ для души и умерщвляющихъ самое тѣлесное здоровье. Скажите, такое просвѣщеніе противно ли состоянію ремесленника, земледѣльца и имъ подобныхъ?

Въ Россіи, съ заведеніемъ уѣздныхъ и сельскихъ школъ, открыта къ нему дорога для всякаго простолюдина! Русскіе купцы, мѣщане, ремесленники — не говорю о земледѣльцахъ, которыхъ судьба зависитъ отъ помѣщиковъ — учатъ дѣтей читать и писать. Кругъ воспитанія ихъ самый ограниченный. Спрашиваю, однако: какую истинную пользу можетъ имъ принести такое воспитаніе? Много ли, напримѣръ, имѣемъ такихъ книгъ, которыя были бы для нихъ прямо полезны? Вышедъ изъ училища, они принуждены или отказаться отъ чтенія, или обременять свою голову понятіями, для нихъ ненужными, нерѣдко весьма вредными. Напр., какую пищу найдетъ простолюдинъ въ исторіи, представляющей ему такія происшествія, въ которыхъ ему несвойственно принимать участія? Романы, привлекательные для свѣтскаго человѣка, именно потому, что онъ находитъ въ нихъ ту самую сцену, на которой и самъ играетъ какую-нибудь роль, знакомятъ простолюдина съ людьми, отдѣленными отъ него званіемъ, обычаями, образованностію; воображеніе переноситъ его въ такой міръ, изъ котораго навсегда онъ исключенъ судьбою; невольно дѣлаетъ сравненіе онъ между собою и мечтательными героями романовъ, и, можетъ быть, научается не уважать самого себя въ ограниченномъ своемъ *состояніи. То же почти можно* сказать и о другихъ книгахъ, которыя или писаны языкомъ слишкомъ высокимъ для людей, привыкшихъ выражаться просто, или разсуждаютъ о предметахъ имъ чуждыхъ. Словомъ, мы не имѣемъ еще полезныхъ для простолюдина книгъ, и, вѣроятно, что еще долго не будемъ имѣть ихъ. Много ли найдется писателей, которые захотѣли бы жертвовать талантомъ своимъ такому кругу людей, которыхъ одобреніе не можетъ быть удовлетворительно для авторскаго самолюбія? Но быть полезнымъ, конечно, благороднѣе, нежели быть славнымъ; и человѣкъ съ дарованіемъ, который захочетъ посвятить нѣсколько лѣтъ жизни своей единственно тому, чтобъ языкомъ простымъ и понятнымъ проповѣдывать счастіе въ хижинахъ земледѣльца, въ обителяхъ нищеты и невѣжества, чтобъ разбудить въ простыхъ и грубыхъ сердцахъ благородныя чувства, и познакомить ихъ съ наслажденіями истинными: такой человѣкъ, безъ сомнѣнія, не пріобрѣтетъ имени писателя славнаго — нѣтъ онъ рождается только въ кругу образованнаго свѣта — но онъ найдетъ награду во внутреннемъ убѣжденіи своего сердца, которое скажетъ ему: ты былъ полезенъ! ты безкорыстный благотворитель бѣдныхъ! они воздадутъ тебѣ не громкими рукоплесканіями, но собственнымъ своимъ счастіемъ, къ которому дорога указана имъ тобою.

Библіотека поселянъ, ремесленниковъ и имъ подобныхъ не можетъ быть многочисленна. Желаю, чтобы она составлена была изъ такихъ книгъ, которыя, не отвлекая ихъ отъ ограниченнаго ихъ состоянія, напротивъ, всегда устремляя на него мысли ихъ,— открывали имъ способъ находить въ немъ счастіе, имъ возможное. Самыми необходимыми почитаю слѣдующія: 1) *Катихизисъ морали* — предложенной просто, безъ всякаго витійства, объясняемой примѣрами — но примѣрами, взятыми изъ жизни тѣхъ людей, для которыхъ она преподаваема — и что всего важнѣе, основанной на правилахъ сча-

щеннаго христіанскаго ученія; 2) *Общія понятія о натурѣ, о главныхъ ея законахъ, о нѣкоторыхъ явленіяхъ небесныхъ* — совершенное невѣжество, въ этомъ отношеніи, бываетъ причиною многихъ смѣшныхъ и даже вредныхъ предразсудковъ. 3) *Энциклопедія ремесленниковъ и земледѣльцевъ* — въ этой книгѣ была бы предложена, ясно и кратко, теорія земледѣлія и всѣхъ ремеслъ, т. е. всѣ главныя и нужныя ремесленнику и земледѣльцу для успѣшнаго исполненія ихъ обязанностей правила. 4) *Повѣсти и сказки*, которыхъ герои были бы взяты изъ состоянія низкаго, и представлены на сценѣ, знакомой самимъ читателямъ: эта книга была бы необходимымъ дополненіемъ къ *Катихизису морали*. 5) *Общія правила, какъ сохранять свое здоровье*,— нужныя для тѣхъ людей, которымъ здоровье такъ дорого и которые, потерявъ его однажды, уже не имѣютъ почти никакихъ способовъ возстановить его снова. Наконецъ, 6) *народныя стихотворенія*, въ которыхъ воображеніе поэта украсило бы природу, непривлекательную для грубыхъ очей простолюдина; въ душу его, вмѣстѣ съ стихами, врѣзались бы нѣкоторыя высокія понятія о Божествѣ; мысли его пріобрѣли бы нѣкоторую живость, а чувства сдѣлались нѣжнѣе. Вотъ книги, которыя желалъ бы я найти во всякой уѣздной и деревенской школѣ; которыми въ праздное время желалъ бы занять ремесленника, земледѣльца и слугу, принужденнаго посвятить всю свою жизнь на исполненіе воли другихъ; вотъ чтеніе, которое могло бы быть истинно для нихъ полезно. Желаю—и, быть можетъ, сіе желаніе не останется тщетнымъ — чтобы нѣкоторые изъ соотечественниковъ моихъ, воспламененные человѣколюбіемъ, соединились для распространенія благодѣтельнаго свѣта въ умахъ бѣдныхъ своихъ согражданъ, осужденныхъ проводить всѣ дни свои въ тяжкомъ трудѣ, и ограничившихъ всю дѣятельность свою сохраненіемъ одной тѣлесной жизни! Мы имѣемъ Академію Наукъ и Художествъ, почему же не можемъ имѣть Академіи для просвѣщенія простолюдиновъ?

Книга, которая подала намъ поводъ къ сему разсужденію — *Училище бѣдныхъ* — можетъ занимать одно изъ первыхъ мѣстъ въ библіотекѣ простолюдина: она заключаетъ въ себѣ всѣ главныя правила практической морали, сдѣланной искусствомъ автора привлекательною для такихъ людей, которые вообще или не любятъ читать, или читаютъ однѣ пустыя сказки. Почтенная переводчица, которая посвятила общей пользѣ нѣсколько дней своей старости, безъ сомнѣнія заслуживаетъ благодарность отъ всѣхъ, желающихъ добра человѣчеству. Книга ея не будетъ занимательна для свѣтскихъ людей; но простодушный ремесленникъ съ жадностію прочтетъ ее въ своемъ семействѣ, и въ сердцѣ его дѣтей укоренится чувство правоты и богопочтенія; но всякой добрый господинъ захочетъ имѣть ее въ своемъ домѣ, для того, чтобы слуги его научились изъ нея любить порядокъ, покорность, и быть довольными скромнымъ своимъ удѣломъ. Переводчица посвятила свой трудъ императрицѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ. «Воззрѣніе вашего императорскаго величества на слабое мое приношеніе—говоритъ она въ заключеніи своего письма—воспламенитъ и другихъ къ сочиненіямъ или переводамъ, полезнымъ для образованія простолюдиновъ!» Желаемъ искренно, чтобы сія надежда добраго сердца была исполнена, и чтобы, наконецъ, въ Россіи и самыя хижины земледѣльцевъ сдѣлались жилищемъ людей образованныхъ, слѣдовательно счастливыхъ и знающихъ цѣну своего счастія!

ПИСАТЕЛЬ ВЪ ОБЩЕСТВѢ.

Положеніе писателя въ большомъ свѣтѣ кажется вамъ затруднительнымъ; вы говорите, что онъ не долженъ надѣяться въ немъ успѣха: мнѣніе, слишкомъ неограниченное. Вопреки ему, позволяю себѣ утверждать, что и писатель наравнѣ со всѣми можетъ съ успѣхомъ играть свою роль на сценѣ большого свѣта.

Прежде всего опредѣлимъ для самихъ себя: что называется обыкновенно большимъ свѣтомъ? что значитъ имѣть въ немъ успѣхъ? какими средствами успѣхъ сей пріобрѣтается?

Слово: большой свѣтъ, означаетъ кругъ людей отборныхъ—не скажу лучшихъ—превосходныхъ предъ другими состояніемъ, образованностію, саномъ, происхожденіемъ; это республика, имѣющая особенные свои законы, покорная собственному, идеальному и всякую минуту произвольно смѣняемому правителю — модѣ, гдѣ существуетъ общее мнѣніе, гдѣ царствуетъ разборчивый вкусъ, гдѣ раздаются всѣ награды, гдѣ происходитъ оцѣнка и добродѣтелей и талантовъ. Вообразите множество людей обоего пола, одаренныхъ отъ фортуны или избыткомъ, или знатностью, соединенныхъ одни съ другими естественною склонностью къ общежитію, поставляющихъ цѣлію своего соединенія одно удовольствіе, заключенное въ томъ единственно, чтобы взаимно другъ другу нравиться—и вы получите довольно ясное понятіе о томъ, что называете большимъ свѣтомъ. Слѣдовательно, свѣтскій человѣкъ есть тотъ, который имѣетъ сношеніе, всегдашнее и болѣе или менѣе тѣсное съ людьми, принадлежащими къ большому свѣту, которому обыкновенія и законы сей идеальной республики извѣстны въ точность — и тотъ единственно, кто, пользуясь удовольствіями свѣта, умѣетъ самъ доставлять ихъ; кто, обладая общими, отъ всѣхъ признанными за дѣйствительные, способами нравиться, имѣетъ сверхъ того собственные, одному ему свойственные и заключающіеся въ особенности его ума, характера и способностей: тотъ единственно, говорю, можетъ съ одобреніемъ играть свою ролю на семъ обширномъ театрѣ, гдѣ всякій есть въ одно время и дѣйствующій и зритель. Два рода успѣховъ свѣтскихъ. Къ первому падлежитъ причислить сіи мгновенныя торжества, пріобрѣтаемыя блестящими, но мелкими средствами. Представьте человѣка, устремившаго всѣ мысли свои на то единственно, чтобъ нравиться всегда, во всякомъ мѣстѣ и всѣмъ: наружностію, одеждою, краснорѣчіемъ языка, лица, движеній; онъ съ удивительнымъ присутствіемъ духа обращаетъ на пользу свою всякое обстоятельство; умѣетъ въ разговорѣ своемъ быть и забавнымъ и важнымъ; неподражаемъ въ мелкихъ вещахъ: въ искусствѣ разсказать привлекательно и быстро анекдотъ или повѣсть, оживить своею изобрѣтательностію общественныя забавы, представить важное смѣшнымъ, или смѣшное важнымъ, сказать пріятнымъ образомъ лестное слово; онъ перелетаетъ изъ одного общества въ другое; одушевляетъ каждое мгновеннымъ своимъ присутствіемъ; исчезаетъ въ одномъ, чтобы явиться въ другомъ и снова исчезнуть; такого человѣка называютъ любезнымъ; ищутъ его для того, что онъ нуженъ для увеселеній общественныхъ; онъ имѣетъ въ свѣтѣ успѣхъ; никто не думаетъ о моральномъ его характерѣ; ему благодарны за то удовольствіе, которое доставляетъ онъ другимъ въ ту минуту, когда онъ съ ними. Другого рода успѣхъ, болѣе твердый и съ большею трудностію пріобрѣтаемый, основанъ на уваженіи, которое имѣютъ въ обществѣ къ уму и качествамъ моральнымъ. Чтобъ заслужить его, необходимо нужно усовершенствовать свой характеръ, имѣть правила твердыя, разсудокъ образованный, быть дѣятельнымъ для блага общаго; съ сими важными преимуществами надлежитъ соединять и мелкое, совершенно необходимое для пріобрѣтенія отъ общества благосклонности, искусство обращаться пріятно. Конечно, тотъ, кто имѣетъ въ виду одну благородную цѣль: заслужить всеобщее уваженіе качествами и поступками превосходными, отстанетъ въ нѣкоторыхъ мелочахъ отъ человѣка, употребившаго всѣ дарованія свои на то исключительно, чтобы усовершенствовать себя въ искусствѣ быть пріятнымъ; конечно, нѣкоторые мелкіе способы послѣдняго могутъ быть или неизвѣстны первому, или оставлены имъ безъ вниманія; но въ томъ же самомъ

обществѣ, въ которомъ послѣдній будетъ восхищать другихъ своею любезностію, тайное предпочтеніе всегда останется на сторонѣ перваго: къ нему будутъ привязаны чувствомъ постояннымъ, чувствомъ, которое не уменьшится и въ его присутствіи; но своимъ обхожденіемъ простымъ, но пріятнымъ, онъ будетъ соотвѣтствовать своему характеру. Понятіе о человѣкѣ только любезномъ должно мѣняться съ тѣми обстоятельствами, въ которыхъ онъ представляется обществу, о немъ не имѣютъ общаго мнѣнія; привязанность къ нему или уменьшается, или исчезаетъ въ ту самую минуту, въ которую онъ самъ скрывается отъ вашихъ взоровъ; онъ долженъ непремѣнно быть на сценѣ, чтобы могли о немъ помнить, или ему удивляться.

Теперь спрашиваемъ: почему писателю невозможно искать въ обществѣ успѣха? и знаніе писателя противорѣчитъ ли состоянію человѣка свѣтскаго? Вы скажете, можетъ быть: всякій писатель обыкновенными занятіями своими слишкомъ отдѣленъ отъ жизни свѣтской, шумной, разнообразной и неразлучной съ разсѣянностію. Согласенъ, если подъ именемъ свѣтской жизни разумѣете вы скучное состояніе праздныхъ, которые посвятили себя однимъ удовольствіямъ общественнымъ, которые безпрестанно живутъ внѣ себя, не имѣютъ ни занятія собственнаго, ни должности государственной; которыхъ девизъ — быть пріятными безъ пользы, а иногда и со вредомъ другихъ. Но вы видѣли, что успѣхъ въ свѣтѣ — не эфемерный, но истинный и продолжительный — соединенъ необходимо съ дѣятельностію полезною и качествами высокими. Нѣтъ человѣка, который назывался бы просто свѣтскимъ: каждый имѣетъ, или долженъ имѣть особенное занятіе, которое на время отдѣляетъ его отъ свѣта и требуетъ уединенія болѣе или менѣе продолжительнаго; многіе подчинены обязанностямъ по службѣ, и всѣ вообще семейственнымъ заботамъ. Обязанность писателя *привязываетъ* его къ уединенному кабинету — но разлучаетъ ли она его съ обществомъ, и можетъ ли воспрепятствовать быть ему членомъ большаго свѣта наравнѣ съ другими, имѣющими каждый особенныя свои заботы и должности? Конечно, писатель, такъ же какъ и всѣ, избравшіе какую нибудь важную цѣль, не можетъ пріобрѣсти сего легкаго, пріятнаго блеска, которымъ украшены люди, почитающіе, такъ сказать, единственнымъ своимъ ремесломъ искусство жить въ свѣтѣ; но онъ обладаетъ способами нравиться столь же дѣйствительными и безъ сомнѣнія благороднѣйшими.

Писатель — потому единственно, что онъ писатель — лишенъ ли качествъ человѣка любезнаго? Будучи одаренъ богатствомъ мыслей, которыя умѣетъ выражать лучше другаго на бумагѣ, долженъ ли онъ именно потому не имѣть способности выражаться съ пріятностію въ разговорѣ? И, обращаясь большую часть времени въ своемъ кабинетѣ съ книгами, осужденъ ли необходимо быть страннымъ и неискуснымъ въ обращеніи съ людьми? Не думаю, чтобъ одно было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ другаго.

Вы утверждаете, что авторъ, вступая въ общество, долженъ быть непремѣнно жертвою коварнаго любопытства мужчинъ и взыскательнаго самолюбія женщинъ: мнѣніе сіе почитаю не совсѣмъ справедливымъ. Писатель свѣтскій человѣкъ, будучи всегда въ свѣтѣ, не можетъ возбуждать особеннаго вниманія именно потому, что лицо его уже знакомо, и что онъ играетъ одинакую роль со всѣми: роль собесѣдника, примѣняющагося къ другимъ своимъ обхожденіемъ, своею наружностію, своимъ тономъ. Въ свѣтѣ не любятъ отличій, неохотно показываютъ удивленіе, и рѣдкій бываетъ къ нему предметомъ любопытства, которое само по себѣ есть уже знакъ отличія. Въ свѣтѣ ни отъ кого не требуютъ много, можетъ быть, потому, что высокія требованія неразлучны съ признаніемъ великаго превосходства; а люди, особенно свѣтскіе, хотя вообще справедливые, не любятъ

никогда обнаруживать такого признанія.

Прибавимъ: писатель имѣетъ въ обществѣ существенное преимущество предъ людьми болѣе свѣтскими; онъ можетъ порядочнѣе и лучше мыслить. Отъ умственной работы, которой посвящена бо́льшая часть его дня, пріучается онъ обдумывать тѣ предметы, которые свѣтскій человѣкъ только что замѣчаетъ; будучи весьма часто одинъ съ собою, онъ имѣетъ гораздо болѣе времени возобновлять воспоминаніемъ то, что видѣлъ глазами; привычка приводить въ порядокъ, предлагать въ связи и выражать съ точностію свои мысли, даетъ понятіямъ его особенную ясность, опредѣленность и полноту, которыхъ никогда не могутъ имѣть понятія человѣка, исключительно занимающагося свѣтомъ: послѣдній, по причинѣ разнообразія предметовъ, мелькающихъ мимо него съ чрезвычайною быстротою, принужденъ, такъ сказать, ловить ихъ на лету и устремлять на нихъ вниманіе свое только мимоходомъ. Уединеніе дѣлаетъ писателя глубокомысленнымъ; въ обществѣ пріучается онъ размышлять быстро, и наконецъ, заимствуетъ въ немъ искусство украшать легкими и пріятными выраженіями самыя глубокія свои мысли. Конечно, всякій писатель отъ образа своей жизни, болѣе или менѣе ограниченнаго, долженъ быть нѣсколько отъ другихъ отличенъ — но развѣ отличіе и странность одно и то же? И нѣкоторое несходство съ другими, если оно не разительно, а только что замѣтно, развѣ не имѣетъ своей пріятности? Человѣку естественно любить разнообразіе. Привыкнувъ мѣшать уединеніе съ свѣтскою жизнію, писатель удобнѣе другихъ можетъ сохранить особенность своей физіономіи; конечно, онъ будетъ имѣть съ другими нѣкоторое несходство, но въ то же время не отдѣлится отъ нихъ рѣзкою (слѣдовательно непріятною) съ ними противоположностью. Оригинальность, разумѣется натуральная, неподдѣланная, имѣетъ въ себѣ нѣчто любезное. Напримѣръ, задумчивая молчаливость, если она впрочемъ соединена съ пріятнымъ умомъ, и не происходитъ ни отъ неловкости, ни отъ угрюмаго характера, понравится именно потому, что она служитъ легкою противоположностію веселому и слишкомъ вѣтреному многорѣчію людей свѣтскихъ.

Отъ чего же, спросите вы, бо́льшая часть писателей не имѣетъ никакого успѣха въ свѣтѣ, неловки въ обращеніи, и вообще менѣе уважаемы, нежели ихъ книги? Отъ трехъ причинъ, изъ которыхъ двѣ — общія писателю со всѣми: отъ страстной привязанности къ своему искусству, отъ самолюбія, отъ ограниченности состоянія.

Всякая страсть, наполняя человѣческую душу предметомъ единственно ей любезнымъ, отдѣляетъ ее отъ всего внѣшняго и сему предмету чуждаго. Напримѣръ, взгляните на страстно-влюбленнаго: каковъ онъ въ обществѣ? Молчаливъ, разсѣянъ, на лицѣ его написано задумчивое уныніе; свѣтская принужденность для него мучительна, мысли его тамъ, гдѣ его сердце; начните съ нимъ говорить: онъ будетъ вамъ отвѣчать несвязно, или безъ смысла; онъ скученъ, тяжелъ и страненъ. Таковъ честолюбивый, преданный тайнымъ своимъ замысламъ; таковъ и писатель, исключительно прилѣпленный къ своимъ идеямъ. Онъ неохотно является въ общество, и, находясь въ немъ, всегда бываетъ отъ него въ отсутствіи: въ шумную толпу людей переноситъ онъ уединеніе своего кабинета. Онъ неспособенъ примѣняться къ другимъ, и часто оскорбляетъ ихъ своимъ разсѣяніемъ или грубымъ пренебреженіемъ обыкновенныхъ, ему одному непзвѣстныхъ, приличій; не можетъ говорить пріятно потому, что неспособенъ внимательно слушать: въ то время, когда вы съ нимъ говорите, онъ, можетъ быть, занятъ разрѣшеніемъ философическаго вопроса, или описываетъ въ воображеніи спокойный вечеръ, тоску осиротѣвшей любви, очарованный замокъ Альцины. Воображая, что предметы, ему любезные, для всѣхъ одинаково привлекательны, онъ утомляетъ ими ваше вни-

маніе, и перестаетъ васъ слушать, когда начинаете говорить ему о томъ, что важно для васъ самихъ. Имѣетъ ли такой человѣкъ нужду въ обществѣ, которое, можно сказать, для него не существуетъ? Онъ обитаетъ въ особенномъ, ему одному знакомомъ, или имъ самимъ сотворенномъ мірѣ; существа идеальныя всегдашніе его собесѣдники; онъ ограниченъ въ самыхъ естественныхъ своихъ потребностяхъ: все то, что ему нужно, находится въ немъ самомъ, въ его идеяхъ, въ мечтахъ его воспламененнаго воображенія.

Другою причиною неуспѣховъ писателя въ свѣтѣ полагаю чрезмѣрность самолюбія, свойственнаго ему со всѣми другими людьми, но вообще въ писателяхъ болѣе ослѣпленнаго, примѣтнаго и смѣшнаго. Напримѣръ, взгляните на людей свѣтскихъ: одинъ, обманувши нѣсколько слабыхъ или вѣтреныхъ женщинъ, увѣряетъ себя, что уже ни одна изъ нихъ не можетъ быть для него необѣдима; онъ страненъ своимъ излишнимъ уваженіемъ къ самому себѣ, своею самолюбивою надежностію на красоту свою и любезность; другой, сказавши нѣсколько острыхъ словъ, замѣченныхъ въ одномъ обществѣ и повторенныхъ его друзьями въ другомъ и третьемъ, обманывая себя самолюбіемъ, не открываетъ рта безъ того, чтобы не сказать остроты; ищетъ за каждое имъ произнесенное слово лестнаго одобренія въ глазахъ своихъ слушателей, и вмѣсто того, чтобы нравиться, бываетъ осмѣянъ. Таковъ и писатель, сдѣлавшись славнымъ по нѣкоторымъ превосходнымъ сочиненіямъ, онъ входитъ въ общество *торжествующимъ*, онъ требуетъ отъ другихъ удивленія, какъ дани, ему принадлежащей; онъ говоритъ рѣшительно, воображая, что мнѣніе его должно имѣть перевѣсъ, что его ожидаютъ, что оно не можетъ не быть принято съ уваженіемъ; гордяся авторскими успѣхами, онъ смѣшиваетъ ихъ съ успѣхами свѣтскими, и вмѣсто того, чтобы примѣняться къ другимъ, воображаетъ, напротивъ, что другіе должны примѣняться къ нему. Вы смотрите на него пристально: онъ думаетъ, что вы ищете на его лицѣ того великаго ума, который сіяетъ въ его твореніяхъ. Вы молчаливы при немъ: это отъ робости, чтобы не сказать въ присутствіи великаго человѣка чего нибудь глупаго. Вы разговорчивы—какое сомнѣніе? Вы хотите отличиться при немъ краснорѣчіемъ, познаніями, остроуміемъ. Два человѣка, ему незнакомые, шепчутъ, сидя въ углу; одинъ изъ нихъ безъ всякаго намѣренія на него взглянулъ—довольно: они о немъ говорятъ, они удивляются и прозѣ его, и стихамъ, они въ восторгѣ отъ чрезвычайнаго таланта его. Такой человѣкъ долженъ натурально казаться педантомъ, смѣшнымъ, тяжелымъ, неловкимъ; онъ вооружаетъ противъ себя самолюбіе, подвергается гоненіямъ зависти, и, отдѣляя себя отъ толпы для того, чтобы ему удивлялись, становится, напротивъ, предметомъ колкихъ насмѣшекъ и наблюденій коварныхъ. Прибавимъ: самолюбіе автора гораздо замѣтнѣе и смѣшнѣе самолюбія прелестниковъ, остряковъ и имъ подобныхъ, тонкаго, искуснаго и болѣе скрытнаго. Они всегда въ свѣтѣ, слѣдовательно, и самыя странности ихъ менѣе разительны; ихъ суетная гордость прикрыта маскою простоты; они только изрѣдка себѣ измѣняютъ. Напротивъ, писатель, будучи весьма часто одинъ, и слѣдственно сохранивъ болѣе собственнаго въ своемъ характерѣ и обращеніи, отличнѣе отъ другихъ и въ смѣшномъ, и въ странномъ. Свѣтскій человѣкъ, научившись замѣчать, по многократному замѣчанію за другими, смѣшную сторону собственнаго своего самолюбія, умѣетъ ее и украшать цвѣтами пріятнаго — писатель въ этомъ случаѣ простодушнѣе; будучи невнимателенъ къ другимъ и слѣпъ къ самому себѣ, онъ не старается и не умѣетъ скрывать самолюбія своего, слѣдственно обнаруживаетъ его во всей его странности.

Третья причина случайная: ограниченность состоянія. Она можетъ мѣшать писателю наравнѣ съ другими пользоваться

выгодами и удовлетворять требованіямъ свѣтской жизни. Лишенный способовъ играть одинакую ролю съ людьми, одаренными избыткомъ, и будучи не въ состояніи доставлять имъ тѣ удовольствія, которыя самъ отъ нихъ получаетъ, писатель—которому вмѣстѣ съ дарованіемъ досталась въ удѣлъ и бѣдность—принужденъ являться въ общество изрѣдка, и то не иначе, какъ зритель, не имѣющій никакой тѣсной связи съ дѣйствующими на сценѣ его лицами. Сія необходимость быть простымъ зрителемъ препятствуетъ ему пріобрѣсть искусство обхожденія, познакомиться съ приличіями, узнать всѣ нужные обряды свѣтской жизни. Онъ не имѣетъ ничего общаго съ людьми, составляющими большой свѣтъ, отчужденъ отъ нихъ своимъ состояніемъ, своими обстоятельствами, для нихъ неизвѣстными; являясь на глаза ихъ рѣдко, онъ всегда кажется имъ новымъ лицомъ, слѣдовательно всегда обращаетъ на себя ихъ вниманіе, но вниманіе, производимое не достоинствами личными, а только новостью предмета, простое, можетъ быть, оскорбительное любопытство. Чувствуя свое одиночество и свое неравенство въ способахъ наслаждаться свѣтскою жизнію даже съ такими людьми, которые во всемъ другомъ его ниже, но поддержаны въ свѣтѣ или богатствомъ, или знатнымъ родомъ, чувствуя свое невѣжество въ наукѣ жить, извѣстной всегда тому, кто имѣетъ и можетъ только имѣть сношеніе съ большимъ свѣтомъ, онъ дѣлается робокъ, недовѣрчивъ къ самому себѣ, слѣдовательно, и неловокъ, и страненъ; непріятность играемой въ обществѣ роли прилѣпляетъ его часъ отъ часу болѣе къ уединенію, часъ отъ часу болѣе отчуждаетъ отъ свѣта; и слѣдовательно дѣлаетъ его часъ отъ часу неспособнѣе имѣть въ немъ какой нибудь успѣхъ.

Но писатель, который отъ ограниченности своего состоянія не имѣетъ способовъ наслаждаться пріятностями большаго свѣта, ужели долженъ почитать потерю свою весьма важною? Нѣтъ, конечно. Свѣтская жизнь имѣетъ много привлекательнаго, но только для тѣхъ, которымъ даны средства пользоваться всѣми ея преимуществами безъ исключенія. Человѣкъ, желающій, несмотря на препятствія, бѣдностію ему положенныя, оспаривать у нихъ счастливцевъ удовольствія, на которыя, такъ сказать, сама фортуна дала имъ полное право, получить въ награду одно оскорбительное чувство собственнаго безсилія. Писатель съ дарованіемъ истиннымъ щедро вознагражденъ природою за всѣ обиды пристрастной фортуны. Имѣя въ виду одни благородныя занятія мыслящаго, богатаго чувствомъ и любовію ко всему прекрасному человѣка, онъ будетъ въ тишинѣ души довольствоваться скромнымъ своимъ удѣломъ, своею дѣятельностью въ маломъ кругѣ; онъ будетъ довольствоваться распространеніемъ своего ума и ограниченіемъ своего сердца. Утрату разнообразія въ удовольствіяхъ замѣнитъ онъ продолжительностію ихъ и полнотою. Для него человѣческое общество раздѣлено будетъ на два круга: одинъ обширный, въ который онъ входитъ изрѣдка съ твердою рѣшимостію, быть просто зрителемъ спокойнымъ, холоднымъ, безъ всякихъ честолюбивыхъ требованій и надеждъ, безъ всякаго соперничества съ людьми, желающими въ немъ торжествовать, равнодушный къ собственнымъ своимъ неуспѣхамъ, желающій единственно пріобрѣтенія нѣкоторыхъ новыхъ понятій, нѣкоторой образованности, необходимой его таланту; онъ будетъ не замѣченъ, это вѣрно; зато не будетъ и страненъ: ибо въ свѣтѣ находятъ странными одни усилія самолюбивыхъ, безполезно желающихъ отличить себя предъ другими какимъ нибудь превосходствомъ; тихая скромность будетъ его украшеніемъ. Вся дѣятельность его въ семъ кругѣ ограничится единственно тѣмъ вліяніемъ, которое онъ можетъ имѣть на него посредствомъ своего таланта. Другой кругъ—тѣсный, есть тотъ, въ которомъ онъ счастливъ, любимъ и любитъ, гдѣ онъ имѣетъ успѣхъ безъ всякаго усилія, не

прибѣгая къ утонченному и коварному искуству; тамъ его уединеніе, гдѣ онъ наслаждается жизнію, въ трудѣ безмятежномъ и полезномъ, гдѣ онъ бесѣдуетъ съ самимъ собою, гдѣ онъ высокими чувствами и мыслями совершенствуетъ душу свою, гдѣ онъ ввѣряетъ бумагѣ сокровище собственныхъ мыслей и чувствъ для пользы современниковъ, быть можетъ, и для пользы потомковъ; тамъ его друзья, соединенные съ нимъ одинакою дѣятельностію, сходствомъ жребія, склонностей, дарованій; ихъ строгая разборчивость его образуетъ, ихъ благодѣтельное соревнованіе животворитъ въ немъ творческій пламень, въ ихъ искренней похвалѣ его воздаяніе и слава; тамъ, наконецъ, его семейство. Для писателя, болѣе нежели для кого нибудь, необходимы семейственныя связи; привязанный къ одному мѣсту своими упражненіями, онъ долженъ около себя находить тѣ удовольствія, которыя природа сдѣлала необходимыми для души человѣческой; въ уединенномъ жилищѣ своемъ, послѣ продолжительнаго умственнаго труда, онъ долженъ слышать трогательный голосъ своихъ любезныхъ; онъ долженъ въ кругу ихъ отдыхать, въ кругу ихъ находить новыя силы для новой работы; не имѣя вдали ничего достойнаго исканія, онъ долженъ вблизи, около себя соединить все драгоцѣннѣйшее для его сердца; вселенная, со всѣми ея радостями, должна быть заключена въ той мирной обители, гдѣ онъ мыслитъ и гдѣ онъ любитъ.

ТРИ ПОЯСА.

[русская сказка].

Въ царствованіе великаго князя Владиміра, неподалеку отъ Кіева, на берегу быстраго Днѣпра, въ уединенной хижинѣ жили три молодыя дѣвушки, сиротки, очень дружныя между собою; одна называлась Пересвѣтою, другая Мирославою, а третья Людмилою. Пересвѣта и Мирослава были прекрасны, какъ майской день; сосѣди называли ихъ алыми розами, отъ чего онѣ сдѣлались нѣсколько самолюбивы. Людмила была не красавица, никто ея не хвалилъ, и подруги ея, которыхъ она любила всѣмъ сердцемъ, твердили ей каждый божій день: Людмила, бѣдная Людмила, ты никогда не выйдешь замужъ. Кто тебя полюбитъ; ты не красавица и не богата. Добрая Людмила вѣрила имъ въ простотѣ сердца, и не печалилась. «Онѣ говорятъ правду; я никогда не выйду замужъ. Что жъ нужды? Я буду любить Пересвѣту и Мирославу болѣе всего на свѣтѣ, буду ими любима: какого счастія желать мнѣ болѣе?» Такъ думала простосердечная Людмила, и чистая душа ея была спокойна. Ей минуло пятнадцать лѣтъ, но еще никакое смутное желаніе не волновало невиннаго ея сердца: любить своихъ подругъ, ходить за цвѣтами, распѣвать пѣсни, какъ нѣжная малиновка — таковы были всѣ удовольствія доброй Людмилы.

Въ одинъ день всѣ три подруги гуляли по берегу ручья, осѣненнаго соснами и березами. Пересвѣта и Мирослава рвали цвѣты для украшенія головы своей, и Людмила также рвала ихъ — для Пересвѣты и Мирославы: она воображала, что ей неприлично думать объ украшеніи. Вдругъ видятъ онѣ на берегу ручья старушку, которая спала глубокимъ сномъ; солнечные лучи падали прямо на ея голову, сѣдую и почти лишенную волосъ. Пересвѣта и Мирослава засмѣялись. — Сестрица, сказала одна, какова покажется тебѣ эта красавица? — Лучше тебя, Мирослава! — И тебя, Пересвѣта! Шафранъ едва ли превзойдетъ желтизною эти прекрасныя щеки, покрытыя пріятными морщинами. А этотъ носъ, Пересвѣта, не правда ли, что онъ очень скромно пригнулся къ подбородку? — Сказать правду, и подбородокъ отвѣчаетъ своею фигурою красивому носу. Они срослись, сестрица... Въ продолженіе разговора и та и другая безпрестанно смѣялись. — Ахъ, сестрицы, сказала тихая Людмила: намъ непристало смѣяться надъ этою старушкою. Что она вамъ сдѣлала? Она стара:

ся ли это вина? И вы состарѣетесь въ свою очередь: для чего же смѣяться надъ тѣмъ недостаткомъ, который непремѣнно будете имѣть сами. Смѣяться надъ старыми значитъ прежде времени смѣяться надъ собою. Будьте разсудительны, скажу лучше, будьте жалостливы. Посмотрите, какъ солнце палитъ голову этой бѣдной женщины. Наломаемъ березовыхъ вѣтокъ, сплетемъ вокругъ нея маленькой шалашъ, чтобъ сонъ ея могъ быть и спокоенъ и безопасенъ. Проснувшись, она благословитъ насъ, будетъ за насъ молиться; а Небо всегда исполняетъ молитвы стариковъ и нищихъ, такъ говорила мнѣ покойная матушка.—Пересвѣта и Мирослава почувствовали вину свою; онѣ наломали вмѣстѣ съ Людмилою березовыхъ вѣтокъ, сплели шалашъ и прикрыли имъ голову спящей. Она скоро проснулась, увидѣла надъ собою тѣнь, удивилась, начала осматриваться—передъ нею стояли Пересвѣта, Мирослава и Людмила. «Благодарю васъ, милыя незнакомки, сказала она: приближьтесь, хочу оставить вамъ памятникъ моей благодарности. Вотъ три пояса: каждая изъ васъ можетъ выбрать для себя тотъ, который покажется ей лучше и болѣе къ лицу». Старушка кладетъ на траву три пояса: два изъ нихъ были чрезвычайно богаты, изъ крупнаго жемчуга и алмазовъ; третій былъ простая, необыкновенной бѣлизны лента, украшенная фіалками. Пересвѣта и Мирослава бросились на жемчугъ и алмазы; Людмилѣ досталась бѣлая лента.—Благодарю тебя, сказала она старушкѣ: этотъ простой уборъ мнѣ приличнѣе. Пересвѣта и Мирослава прекрасны лицомъ: имъ должно имѣть и одежду прекрасную; а для меня довольно простой и самой скромной.—«Ты говоришь правду, мой другъ, сказала старушка Людмилѣ, надѣвая на нее поясъ; никогда, ни за какія сокровища въ свѣтѣ не снимай съ себя этой ленты; не вѣрь людямъ, которые будутъ говорить, что онъ тебѣ не къ лицу; остерегайся обольщенія гордости: потерявъ этотъ поясъ, ты потеряешь и счастіе, съ нимъ неразлучное».—Людмила поцѣловала старушку и дала ей слово не отдавать никому подарка. Старушка исчезла. Пересвѣта и Мирослава не могли вслушаться въ ея слова; онѣ съ восхищеніемъ разсматривали свои жемчуги и алмазы, и едва успѣли сказать, что онѣ очень ей благодарны.

Пересвѣта и Мирослава взялись за руки и побѣжали въ свою хижину. Людмила, замѣтивъ, что онѣ имѣли между собою тайну, шла за ними издали. «Не правда ли—сказала наконецъ Мирослава, оборотясь къ Людмилѣ—что эта смѣшная старушка сдѣлала тебѣ чрезвычайно богатой подарокъ?» — Не богатый, но очень для меня пріятный; я не люблю пышности.—«Но для чего бы ей не сравнять тебя съ нами?» — Я объ этомъ не подумала. То, что мнѣ даютъ, пріятнѣе для меня того, въ чемъ мнѣ отказываютъ.—«Посмотри, какъ наши алмазы блистаютъ».—Посмотрите на мою ленту, какъ она бѣла!—«И тебѣ не завидно?»—Можно ли завидовать тѣмъ, которыхъ любишь? Я довольна, если вы счастливы.—«Ты добрая дѣвушка, Людмила. Останься дома, а мы пойдемъ въ Кіевъ покупать новыя платья: наши слишкомъ бѣдны для такихъ поясовъ, которые украшены алмазами и жемчугомъ. За одну жемчужину можемъ купить десять паръ самаго богатаго платья».—Пересвѣта и Мирослава пошли въ Кіевъ; Людмила осталась дома поливать цвѣты и кормить своихъ птичекъ.

Ввечеру Мирослава и Пересвѣта возвратились въ хижину съ великимъ запасомъ богатыхъ уборовъ. «Важная новость, сестрица — сказала Пересвѣта Людмилѣ: молодой князь Святославъ, Владиміровъ сынъ, прекрасный, какъ весенній день, и храбрый, какъ богатырь Добрыня, хочетъ выбирать себѣ невѣсту. Множество красавицъ, боярскихъ дочерей и даже простыхъ поселянокъ, собираются въ Кіевъ изъ дальнихъ русскихъ городовъ, изъ деревень и хижинъ. Кто жъ запретитъ и намъ искать руки прекраснаго князя Святослава? Богъ далъ намъ кра-

соту, а добрая старушка наградила насъ богатствомъ. Мирослава и я хотимъ переселиться въ Кіевъ: каждая изъ насъ, благодаря своему драгоцѣнному поясу, можетъ съ честію и отличіемъ показаться въ люди. Мы рѣшились, и завтра отправляемся въ Кіевъ. И ты, добродушная Людмила, можешь за нами послѣдовать; ты будешь смотрѣть за нашимъ домомъ, а наконецъ увидишь и церемонію выбора, которая должна быть чрезвычайно великолѣпна».—Охотно исполню ваше желаніе, сестрицы, отвѣчала съ веселою улыбкою Людмила; буду служить вамъ отъ всего сердца: ваше удовольствіе составляетъ мое счастіе. Старайтесь плѣнить прекраснаго князя, а я буду молить Бога, чтобы Онъ склонилъ къ вамъ его сердце.

Что сказано, то и сдѣлано. Подруги на другой день, рано поутру, отправились въ Кіевъ. Мирослава и Пересвѣта объявили себя дочерями богатыхъ новогородскихъ посадниковъ. Одинъ изъ бояръ Владиміровыхъ записалъ имена ихъ въ число желающихъ представить себя на выборъ князю Святославу. Людмила не показалась никому; она молилась Богу о счастіи своихъ подругъ, шила имъ платья, низала для нихъ ожерелья, выкладывала золотымъ галуномъ и алмазами ихъ сарафаны; забывая самую себя, она жила для однѣхъ милыхъ подругъ своихъ.

Наконецъ наступилъ торжественный день выбора. Ввечеру дворецъ великаго князя Владиміра освѣтился тысячами свѣтильниковъ; палата, назначенная для торжества, обита была малиновымъ бархатомъ; скамейки, на которыхъ надлежало сидѣть красавицамъ, иногороднымъ и кіевскимъ, были покрыты шелковыми коврами съ золотою бахромою; а для великаго князя Владиміра и князя Святослава приготовили возвышенное мѣсто, на которомъ стояли два кресла изъ слоновой кости съ золотою насѣчкою. На улицѣ, ведущей къ княжескому двору, тѣснилось множество народа, и горѣли огни разноцвѣтные. Наконецъ зазвучали бубны—представилось зрѣлище восхитительное: сто красавицъ, цвѣтущихъ, какъ весенніе розы, идутъ попарно, среди восхищенной толпы кіевлянъ, ко дворцу великаго князя; каждая изъ нихъ имѣетъ при себѣ прислужницу: Людмила сопутствуетъ Пересвѣтѣ и Мирославѣ. Людмила одѣта была въ бѣлое платье, и опоясана своимъ поясомъ; русые волосы ея, заплетенные косою, были перевиты простою лентою. Она приближилась съ сильнымъ трепетомъ сердца къ палатѣ князя Владиміра, сѣла позади своихъ подругъ и съ тайнымъ, робкимъ предчувствіемъ смотрѣла на дверь, въ которую должны были войти великій князь Владиміръ и сынъ его Святославъ прекрасный. Долго царствовала глубокая тишина въ княжеской палатѣ. Вдругъ заиграла военная музыка; двери растворились съ шумомъ; входятъ попарно бояре и богатыри, одни въ богатыхъ парчевыхъ платьяхъ, другіе въ великолѣпныхъ военныхъ доспѣхахъ, въ золотыхъ кольчугахъ, въ блестящихъ шлемахъ, осѣненныхъ бѣлыми перьями. Они раздѣляются и становятся по обѣимъ сторонамъ княжескаго трона. Утихаетъ бранная музыка; играютъ нѣжныя флейты; всѣ глаза обращены на отверстыя двери—вдругъ является князь Владиміръ въ богатомъ княжескомъ уборѣ; онъ ведетъ за руку молодаго Святослава, одѣтаго просто, съ открытою головою, съ разбросанными по плечамъ свѣтлорусыми кудрями, прелестнаго, цвѣтущаго молодостію: на щекахъ его игралъ румянецъ, свѣжій, какъ весенняя роза; въ глазахъ большихъ, черныхъ и осѣненныхъ густыми рѣсницами, сіяло нѣжное пламя; станъ его былъ гибокъ и строенъ, походка величественна, всѣ движенія пріятны. Ахъ, Людмила, бѣдная Людмила, что сдѣлалось съ твоимъ сердцемъ при первомъ взглядѣ на прекраснаго юношу? Для чего я не красавица, для чего я не богата? подумала она, вздохнула, опустила глаза на грудь свою, которая волновалась сильнѣе прежняго; но скоро опять, противъ воли, устремила ихъ на прелестнаго

князя, который стоялъ одинъ, посреди обширной палаты, прекрасный какъ ангелъ въ видѣ человѣка... Но что же она почувствовала?.. Вся душа ея пришла въ волненіе... глаза ея встрѣтились съ глазами прекраснаго Святослава. О Небо, онъ подходитъ къ ней... Мирослава и Пересвѣта встаютъ, думая, что выборъ долженъ пасть на одну изъ нихъ... Святославъ подаетъ руку Людмилѣ. «Вотъ она, говоритъ онъ, вотъ та, которая представлялась душѣ моей и наяву и въ мечтахъ сновидѣнія. Ей отдаю и руку и сердце.» Людмила едва не лишилась памяти; она не вѣрила своимъ ушамъ, трепетала, блѣднѣла, краснѣла... Святославъ подводитъ нареченную свою невѣсту къ великому князю Владиміру, потомъ сажаетъ ее подлѣ его на кресло изъ слоновой кости съ золотою насѣчкою. Въ палатѣ послышался ропотъ. «Какой выборъ!» шептали оскорбленныя красавицы, смотря на скромную Людмилу, одѣтую просто и совсѣмъ неимущую красоты блестящей. Пересвѣта и Мирослава были внѣ себя отъ досады и зависти.—Кто бы это подумалъ, говорили онѣ одна другой: намъ предпочесть Людмилу; какое ослѣпленіе! — Мужчины также смотрѣли на Людмилу, но чувства ихъ были другаго рода.—Какъ она прелестна! восклицали и старики и молодые: какая привлекательная скромность, какой невинный взглядъ, какая нѣжная, милая душа изображается на лицѣ ея, пріятномъ, какъ душистая маткина-душка! Людмила сама не понимала того нѣжнаго чувства, которымъ наполнено было ея сердце; она не смѣла взглянуть на прекраснаго князя Святослава, и еще болѣе украшала себя милымъ своимъ смятеніемъ. Святославъ пожималъ ея руку и ободрялъ ее пламеннымъ своимъ взглядомъ.

Но великій князь Владиміръ началъ говорить, и все утихло.—Сынъ мой, сказалъ онъ прекрасному Святославу: твой выборъ пріятенъ моему родительскому сердцу; но красота не одно достоинство супруги; хочу, чтобы она соединена была съ качествами и дарованіями болѣе надежными. Избранная тобою невѣста превосходитъ всѣхъ другихъ прелестями лица: посмотримъ, сравняются ли онѣ съ нею дарованіями и умомъ.—Людмила поблѣднѣла, услышавъ слова великаго князя Владиміра. «Ахъ! воскликнула она — я ничему не училась! Это минутное торжество послужитъ только къ тому, чтобы доказать всему свѣту мое невѣжество. Отпусти меня, великій князь Владиміръ; я пришла сюда не для того, чтобы оспоривать у другихъ, болѣе достойныхъ, то счастіе, для котораго я не рождена судьбою; я пришла насладиться счастіемъ милыхъ подругъ моихъ. Отпусти меня; мой жребій скрываться въ бѣдной хижинѣ, ходить за цвѣтами, довольствоваться удѣломъ низкимъ, и никогда не мечтать о пышномъ тронѣ.» Князь Владиміръ посмотрѣлъ съ улыбкою благоволенія на скромную Людмилу и приказалъ ей остаться на своемъ мѣстѣ. Приносятъ стройныя гусли. Всѣ красавицы, каждая въ свою очередь, пѣли пѣсни въ похвалу храбрыхъ витязей, или въ похвалу нѣжной любви; каждая изображала то чувство, которое влекло ея душу къ прекрасному князю Святославу. Пришла очередь Людмилы: она блѣднѣетъ, трепещетъ; вдругъ кто-то, невидимый, шепчетъ ей на ухо: Людмила, ободрись; хранительные взоры мои надъ тобою. Спой ту пѣсню, которую научила тебя твоя мать; ты еще не знаешь, какими дарованіями наградила тебя природа. Людмила узнаетъ голосъ благодѣтельной волшебницы—той старушки, которая подарила ей поясъ. Она идетъ къ гуслямъ, садится—о чудо! пальцы ея съ легкостію вѣтерка летаютъ по струнамъ; голосъ ея имѣетъ чистоту и звонкость соловьинаго: онъ льется въ душу, онъ возбуждаетъ въ ней сладкое восхищеніе, погружаетъ ее въ задумчивость, производитъ въ ней томную мечтательность. Людмила поетъ ту пѣсню, которую нѣжная мать пѣвала, качая ее въ колыбели:

Роза, весенній цвѣтъ,
Скройся подъ тѣнь
Рощи развѣсистой.
Бойся лучей
Солнца палящаго,
Нѣжный цвѣтокъ!
Такъ мотылекъ златой
Розѣ шепталъ.

*

Розѣ невнятенъ былъ
Скромный совѣтъ;
Роза плѣняется
Блескомъ однимъ!
«Солнце блестящее
Любитъ меня;
Мнѣ ли, красавицѣ,
Тѣни искать?»

*

Гордость безумная!
Бѣдный цвѣтокъ!
Солнце разсыпало
Гибельный лучъ:
Роза поникнула
Пышной главой,
Листья поблекнули,
Запахъ исчезъ.

*

Дѣвица красная,
Нѣжный цвѣтокъ!
Розы надменныя
Помни примѣръ.
Маткиной-душкою
Скромно цвѣти,
Съ мирной невинностью,
Цвѣтомъ души.

*

Данный судьбиною
Скромный удѣлъ,
Дѣвица красная,
Счастье твое!
Въ рощѣ скрывался,
Ясный ручей,
Бури не вѣдая,
Мирно журчитъ!

Людмила замолчала; но голосъ ея отдавался еще въ сердцахъ слушателей. Молодой князь, въ неописанномъ восхищеніи, прижимаетъ ее къ сердцу: «нѣтъ, ты не можешь быть смертная; ты ангелъ, слетѣвшій съ неба для того, чтобы сдѣлать счастливымъ Святослава!» — «Ахъ, я бѣдная Людмила; сама не постигаю того, что дѣлается со мною; какое-нибудь очарованіе ослѣпило ваши взоры. Вы думаете, что я красавица; это обманъ, я никогда не бывала прекрасною. Святославъ, ты хочешь возвести меня на тронъ; но я рождена поселянкою, рождена для бѣдной и неизвѣстной хижины.»

Опять заиграла музыка и началась пляска. Соперницы Людмилы очаровали зрителей своими пріятными движеніями, своею легкостію, своею быстротою; но Людмила, снова ободренная голосомъ волшебницы, затмила искусство прелестію простоты: во всѣхъ ея движеніяхъ было что-то очаровательное — скромность, соединенная съ милою веселостію. Она являла глазамъ невинность, играющую съ удовольствіемъ; зрители не могли довольно на нее насмотрѣться; сердца летѣли за нею вслѣдъ... Но музыка замолчала... Людмила, съ потупленными глазами, съ разгорѣвшимся румянцемъ на щекахъ, сѣла на свое мѣсто, не смѣла радоваться, не смѣла взглянуть на Святослава прекраснаго.

Давно уже прошла половина ночи. Великій князь беретъ Святослава за руку, и они выходятъ изъ палаты съ боярами и богатырями; красавицы удалились — но еще испытаніе не окончилось: оно должно было продолжаться три дни сряду. Людмилу отвели въ дворцовый теремъ, убранный великолѣпно; приставили къ ней множество прислужницъ. Она осталась одна, погруженная въ задумчивость, съ новыми, доселѣ незнакомыми ей чувствами, и съ милымъ образомъ прелестнаго Святослава въ душѣ своей.

И мы, оставя на время Людмилу, вспомнимъ о двухъ подругахъ ея, Пересвѣтѣ и Мирославѣ. «Могли ли мы это вообразить! — сказала Мирослава Пересвѣтѣ, возвратившись съ нею домой: Намъ предпочесть Людмилу! Конечно, они слѣпы. Нельзя, чтобы это было естественно! Какъ ты думаешь, Пересвѣта? Не скрывается ли какой-нибудь талисманъ въ томъ поясѣ, который подарила ей старая волшебница? Будучи къ намъ столь щедрою, могла ли она позабыть Людмилу? Конечно, простой ея поясъ драгоцѣннѣе нашихъ, осыпанныхъ жемчугомъ и алмазами. Замѣтила ли ты, какъ

онъ блисталъ на ней вчера ввечеру?»— Такъ, Мирослава, ты говоришь правду: Людмила имѣетъ талисманъ, которому сама не знаетъ цѣны—должно его похитить. Тогда увидимъ, помрачитъ ли она и тебя и меня своими дарованіями, своею красотою.

На другой день, рано поутру, Пересвѣта и Мирослава идутъ въ теремъ Людмилы: она бросается къ нимъ въ объятія, цѣлуетъ ихъ съ восторгомъ и краснѣетъ, внимая неискреннимъ ихъ поздравленіямъ. «Милыя подруги—говоритъ имъ скромная Людмила: сама стыжусь тѣхъ почестей, которыми вчера была я осыпана; сама не понимаю, какъ могли предпочесть меня, бѣдную некрасивую Людмилу, вамъ, прекраснымъ, богатымъ, достойнымъ всякаго предпочтенія» —Добрая Людмила, отвѣчала Мирослава: странное для тебя, кажется для насъ весьма естественнымъ; мы не завидуемъ, но искренно радуемся твоему счастію. Время открыть тебѣ глаза: перестань почитать себя не красавицею. Богъ наградилъ тебя лицомъ прелестнымъ; изъ любви къ тебѣ, называли мы тебя дурною—похвалы могли бы испортить твое невинное сердце. Теперь притворство безполезно, и тебѣ наконецъ должно узнать, милая Людмила, что ты превосходишь всѣхъ другихъ женщинъ красотою, любезностію, дарованіями. — «Сестрицы, не смѣетесь ли вы надо мной?»—Ахъ, мой другъ, какъ можешь это о насъ подумать? Мы говоримъ истинную правду. Но позволь намъ сдѣлать тебѣ одно дружеское замѣчаніе: ты имѣешь два недостатка, весьма важныхъ и препятствующихъ тебѣ воспользоваться дарами природы: ты слишкомъ застѣнчива и слишкомъ небрежна въ своей одеждѣ. Нынче ввечеру опять будемъ представлены великому князю Владиміру и сыну его, Святославу прекрасному; говорятъ, что въ Кіевъ пріѣхала какая-то псковитянка, ангелъ красотою и чрезвычайно искусная въ одеждѣ: бойся, чтобы она не похитила у тебя любви прекраснаго Святослава; нарядись какъ можно лучше. Красотѣ твоей приличны и одежда пышная; мы принесли тебѣ на выборъ нѣсколько платьевъ. Надѣнь то, которое покажется тебѣ къ лицу, а мы будемъ радоваться твоей побѣдѣ».

Мирослава и Пересвѣта разстилаютъ передъ глазами Людмилы нѣсколько великолѣпныхъ уборовъ. Новое чувство родилось въ душѣ невинной дѣвушки: она вообразила себя первою красавицею во всей русской землѣ, и покраснѣла, взглянувши на простой и бѣдной уборъ свой. Она примѣряла принесенныя платья одно за другимъ; выбрала самое великолѣпное; хотѣла надѣть богатый поясъ сверхъ бѣлой ленты, которую получила въ подарокъ отъ старушки, но по несчастію поясъ былъ слишкомъ малъ— Пересвѣта и Мирослава уговариваютъ ее пожертвовать бѣдною лентою пышному жемчужному поясу. Людмила колеблется. Наконецъ уступаетъ ихъ требованіямъ— отдаетъ Пересвѣтѣ бѣлую ленту и надѣваетъ жемчужный поясъ.—Какой стройный, прелестный станъ! восклицаютъ обѣ подруги. Эта псковитянка явилась въ Кіевъ только для того, чтобъ сдѣлать еще славнѣе торжество нашей Людмилы. Прости, милая подруга; ввечеру увидимся во дворцѣ князя Владиміра.—Онѣ разлучились. Людмила, въ восхищеніи отъ новаго богатаго убора, любуется на самую себя въ зеркало, примѣриваетъ жемчужный поясъ, и бѣлая лента совсѣмъ забыта. Ахъ, Людмила! и ты занимаешься красотою своею, какъ суетная, надменная прелестница, и ты смотришься въ зеркало—а прежде и въ свѣтлый ручей смотрѣла ты только для того, чтобы любоваться его чистотою, легкими струйками и блестящими камушками, на днѣ его разсыпанными.

Наконецъ наступила желанная минута. Красавицы, бояре и богатыри стекаются въ палату великаго князя Владиміра. Святославъ прекрасный съ волненіемъ сердца смотритъ на дверь, въ которую должна войти Людмила—раздаются пріят-

ные звуки флейты—входитъ Людмила, покрытая бѣлымъ покрываломъ и окруженная множествомъ прислужницъ, богато одѣтыхъ. Святославъ летитъ къ ней навстрѣчу, нетерпѣливою рукою срываетъ съ головы ея бѣлый покровъ... Боже, какая перемѣна! Онъ не узнаетъ Людмилы.—Что вижу! восклицаетъ изумленный Святославъ. Кто ты, незнакомка, и гдѣ моя Людмила?—«Я Людмила; ужели ты не узналъ меня, Святославъ прекрасный?»—Ты Людмила? Не можетъ быть, это обманъ!—Ропотъ негодованія послышался въ княжеской палатѣ; никто не узнаетъ Людмилы. Святославъ удалился: онъ ищетъ смятенными взорами въ толпѣ красавицъ прекрасной дѣвицы, плѣнившей его душу, но князь Владиміръ подымаетъ руку, и все опять умолкло.—Ты называешь себя Людмилою, говоритъ онъ Людмилѣ, трепещущей и печальной: вѣрю твоимъ словамъ; вѣрю, что красота твоя могла измѣниться въ теченіе одного дня, но дарованія твои должны быть неизмѣнны. Подайте гусли; садись и спой намъ ту самую пѣсню, которую ты пѣла вчера.—Людмила, нѣсколько ободренная, подходитъ къ гуслямъ—о чудо! пальцы ея неподвижны, голосъ дикъ и непріятенъ. Князь Владиміръ въ великомъ гнѣвѣ встаетъ съ престола, приказываетъ Людмилѣ удалиться—испытаніе отложено до слѣдующаго вечера.

Что сдѣлалось съ тобою, несчастная, добросердечная Людмила? Ты плачешь, ты мучишься отчаяніемъ, ты страждешь безнадежною любовію! Гдѣ твое прежнее спокойствіе, гдѣ прежняя безпечность невинной души твоей? Сиротка, заливаясь слезами, оставляетъ Кіевъ и спѣшитъ укрыться въ бѣдную свою хижину, на берегъ свѣтлаго источника, подъ сѣнь развѣсистыхъ березъ, въ которыхъ провела она цвѣтущую свою молодость. «Зачѣмъ, зачѣмъ я оставляла тебя, спокойная моя хижина!» такъ думала бѣдная Людмила, идя черезъ рощу, по знакомой, *излучистой тропинкѣ. Приближается* къ хижинѣ и видитъ, что въ ней горитъ огонь—испугалась—не знаетъ, войти ли въ нее или нѣтъ. Наконецъ рѣшилась—отворяетъ дверь: что же? Въ хижинѣ сидитъ старушка волшебница, ея знакомка. Людмила остолбенѣла отъ удивленія, нѣсколько минутъ не говорила ни слова; наконецъ пришла въ себя и залилась горькими слезами.—«Ахъ! сказала она старушкѣ: ты одна причиною моего несчастія! Для чего погибельнымъ своимъ очарованіемъ возвела ты меня вчера на тронъ, котораго я не искала, о которомъ никогда не могла думать? и для чего теперь, когда плѣнительная надежда ослѣпила мою душу, когда любовь, произведенная тобою въ моемъ сердцѣ, сдѣлалась для меня драгоцѣннѣе и самыхъ почестей трона, я вдругъ лишена всего, покрыта стыдомъ—и отъ кого же? Отъ тебя, которой я не сдѣлала никакого зла, которой, напротивъ, хотѣла сдѣлать добро, не ожидая никакой за то награды? Ахъ, для чего обольстила ты глаза прекраснаго Святослава? Для чего вложила мнѣ въ душу безнадежную любовь? Что ты будешь теперь, бѣдная Людмила, въ своей уединенной хижинѣ? Прекрасныя мѣста, въ которыхъ я родилась и провела мою молодость, теперь вы для меня темница! Душа моя въ стѣнахъ пышнаго града Кіева. Никогда не забуду о томъ, чего я лишилась, чѣмъ обладала одну минуту. Какое земное счастіе можетъ служить замѣною того милаго взора, который устремилъ на меня Святославъ прекрасный, которымъ воспламенилось мое сердце, прежде спокойное, прежде веселое. Ахъ, душистые мои цвѣты, вы увянете—кто будетъ васъ поливать, кто будетъ за вами смотрѣть? Милыя, голосистыя птички, вы перестанете слетаться къ моей хижинѣ—кто будетъ приносить вамъ зерна и вторить вамъ своею веселою пѣсенкою? Буду сидѣть на большой дорогѣ, смотрѣть на отдаленный Кіевъ-градъ и посылать въ него свою душу Что сдѣлала я тебѣ, волшебница, чѣмъ навлекла на себя твое гоненіе!»—Выслу-

най меня, добросердечная Людмила, отвѣчала волшебница: мнѣ легко передъ тобой оправдаться. Я полюбила тебя съ перваго взгляда и, въ знакъ благодарности, подарила тебѣ очарованный поясъ, который имѣетъ силу украшать всякую женщину. Дѣвушка, обладающая имъ, торжествуетъ надъ всѣми своими соперницами, имѣетъ всѣ пріятности, всѣ дарованія: но безъ него и пріятности и дарованія сіи теряютъ всю свою силу: имъ удивляются, но перестаютъ ихъ любить. Для чего же, Людмила, не сберегла ты даннаго мною тебѣ сокровища? Для чего поясъ скромности промѣняла на поясъ суетности? Лишась талисмана, которому ты была обязана своимъ торжествомъ, ты потеряла и прелести, съ нимъ соединенныя; самые взоры твоего любовника не могли узнать тебя въ новомъ твоемъ нарядѣ. — «Ахъ! воскликнула Людмила: бѣдная, жалкая моя участь! я сама всему причиною, сама лишила себя своего счастія! Нѣтъ, уже никогда не видать мнѣ прежняго времени. Улетѣло веселіе души моей; умчались вы, прежнія мои радости; никогда не переставать мнѣ обливаться слезами: другая овладѣетъ теперь дýшою Святослава прекраснаго.» Людмила закрыла обѣими руками лицо свое и плакала горько. — Утѣшься, мой другъ, сказала волшебница, взявъ ее за руку съ нѣжною улыбкою; тебя обманули твоя неопытность и хитрость завистливыхъ твоихъ подругъ, Мирославы и Пересвѣты; но ты невинна въ сердцѣ. Возвращаю тебѣ потерянный поясъ. Я слѣдовала невидимо за Пересвѣтою и Мирославою, когда онѣ пошли отъ тебя со своею добычею. Между ними начался ужасный споръ: каждая хотѣла имѣть поясъ, но онъ не достался ни одной: я унесла его, и теперь возвращаю той, которая одна достойна обладать имъ по своему добросердечію и своей скромности.—Людмила бросилась цѣловать руки благодѣтельной волшебницы, которая обтерла ей слезы, поцѣловала ее въ розовыя щеки и опоясала своею очарованною лентою.

Вдругъ, по слову волшебницы, кровля низенькой хижины разступилась; глазамъ изумленной Людмилы предстала великолѣпная колесница, въ которую запряжены были два оленя съ серебряною шерстію, съ золотыми рогами и крыльями. На мѣстѣ безобразной старушки явилась молодая женщина, восхитительной красоты, одѣтая въ очарованную одежду, изъ розовыхъ лучей сотканную, и опоясанная бѣлымъ поясомъ, на которомъ блистали золотые знаки зодіака. Добрада — такъ называлась волшебница—посадила Людмилу въ колесницу; златорогіе олени распустили свои золотыя крылья, и менѣе, нежели въ мигъ, колесница очутилась передъ стѣнами великолѣпнаго града Кіева. Волшебница привела Людмилу въ уединенный теремъ, запретила ей выходить изъ него до наступленія вечера, благословила ее, и скрылась.

Наступилъ вечеръ. Людмила, одѣтая очень просто, опоясанная бѣлою лентою, вошла въ палату великаго князя Владиміра и сѣла на прежнее свое мѣсто, позади Пересвѣты и Мирославы. Онѣ ее не примѣтили; онѣ смѣялись между собою надъ глупою ея легковѣрностію, и говорили другъ другу о гордыхъ своихъ надеждахъ. Но Людмила не думала о нихъ; взоры ея видѣли одного Святослава. Онъ сидѣлъ подлѣ великаго князя Владиміра, на креслахъ изъ слоновой кости съ золотою насѣчкою, задумавшись, склонивши на руку свою голову, не удостоивая ни однимъ взглядомъ окружавшихъ его красавицъ: душа его требовала одной Людмилы, одинъ очаровательный образъ Людмилы носился передъ нимъ, какъ милый, плѣнительный призракъ потерянаго блаженства! Вдругъ—о радость! онъ видитъ ее на томъ же самомъ мѣстѣ, на которомъ увидѣлъ въ первый разъ, въ той же простой одеждѣ; видитъ ее, съ сердечною, нѣжною любовію устремившую на него свои взоры. О Людмила! восклицаетъ онъ и бросается передъ нею на колѣна. — Да здравствуетъ прелестная Людмила! воскликнули единогласно бояре,

богатыри и витязи. Святославъ, внѣ себя отъ восхищенія, прижимаетъ къ сердцу милую свою невѣсту, которая съ своимъ потупленнымъ взоромъ, съ пылающими щеками своими, казалась ангеломъ красоты и непорочности, подводитъ ее къ престолу великаго князя Владиміра и сажаетъ по правую руку его на кресло изъ слоновой кости съ золотою насѣчкою. Пересвѣта и Мирослава поблѣднѣли отъ зависти и досады. Заиграла музыка, и всѣ опять должны были уступить Людмилѣ въ искусствѣ пляски и пѣнія. Опять затмила она своихъ соперницъ, которыя всѣ единодушно, выключая однѣхъ Пересвѣты и Мирославы, согласились признать ее побѣдительницею, и даже радовались ея побѣдѣ: столь сильны очарованія скромной красоты, добродушія, непорочности. Вдругъ раздается въ палатѣ пронзительный вопль... Что такое? Страшныя змѣи, съ отверстою пастію, съ острымъ жаломъ, съ горящими глазами обвивались вокругъ Пересвѣты и Мирославы—вмѣсто жемчужныхъ поясовъ... Людмила бросается къ нимъ на помощь, желаетъ спасти ихъ отъ угрызенія ихъ страшныхъ чудовищъ; ея усилія напрасны. Зрители цѣпенѣютъ отъ ужаса. Вдругъ послышалось тихое пѣніе, соединенное съ звуками магическихъ струнъ; въ воздухѣ распространился пріятный запахъ розъ и полевыхъ фіалокъ — предстала волшебница Добрада, окруженная тихимъ розовымъ сіяніемъ. Людмила бросилась передъ нею на колѣна. Спаси Пересвѣту и Мирославу! воскликнула она, простирая къ ней руки. «Добрая Людмила, отвѣчала волшебница: соглашаюсь простить имъ изъ любви къ тебѣ. Змѣи, которыми онѣ обвиты, суть ядовитыя змѣи самолюбія и зависти. Прикоснись къ нимъ своею бѣлою лентою, и онѣ исчезнутъ». Людмила исполнила приказаніе Добрады, и змѣи исчезли. Пересвѣта и Мирослава кинулись въ объятія своей добросердечной подруги; онѣ поклялись питать къ ней искреннюю дружбу; онѣ полюбили ту, которую за минуту ненавидѣли, *которую желали ввергнуть въ погибель.*

Великій князь Владиміръ благословилъ своего сына и Людмилу.—О Святославъ, сказала прелестная невѣста прелестному жениху своему, показывая на волшебницу Добраду: вотъ моя благодѣтельница, вотъ та, которой обязана я твоимъ сердцемъ! Ахъ, за три дни передъ симъ была я не иное что, какъ бѣдная Людмила, простая поселянка; но теперь?.. Нѣтъ, никогда не была бы я замѣчена взорами Святослава прекраснаго, когда бы могущество благодѣтельной Добрады не украсило меня тѣми пріятностями, тѣми дарованіями, въ которыхъ мнѣ отказала природа. Такъ, Святославъ, въ этомъ очарованномъ поясѣ заключены и красота моя и всѣ мои таланты.

Скромное сіе признаніе украсило еще болѣе въ глазахъ Святослава его прелестную Людмилу.—Другъ мой, сказала Добрада, храни этотъ поясъ, драгоцѣнный даръ моей дружбы: ничто не можетъ лучше его украсить женщины, гдѣ бы она ни была, въ бѣдной ли хижинѣ, въ чертогахъ ли княжескихъ; поясъ его, ты будешь обожаема своимъ супругомъ, своими друзьями и подданными, обожаема до послѣдней минуты.

Добрада исчезла. Нужно ли сказывать о томъ, что случилось послѣ? И можно ли вообразить, чтобы Святославъ не былъ счастливъ, обладая Людмилою?

1809.

МАРЬИНА РОЩА.

СТАРИННОЕ ПРЕДАНІЕ.

Тихій и прохладный вечеръ заступалъ уже мѣсто палящаго дня, когда Усладъ, молодой пѣвецъ, приблизился къ берегамъ Москвы-рѣки, на которыхъ провелъ онъ дни своей цвѣтущей юности. Гладкая поверхность водъ, тихо лобзаемая легкимъ вѣтеркомъ, покрыта была розовымъ сіяніемъ запада: въ зеркалѣ ихъ отражались съ одной стороны дремучій лѣсъ и теремъ грознаго Рогдая, окруженный высокимъ дубовымъ тыномъ — (онъ былъ

построенъ на крутой горѣ — тамъ, гдѣ нынѣ видимъ зубчатыя стѣны Кремля, великолѣпные чертоги древнихъ русскихъ царей, соборы съ златыми главами и колокольню Иванъ-Великій] — съ другой зеленые берега, покрытые кустарникомъ и осыпанные низкими хижинами земледѣльцевъ. Повсюду царствовало спокойствіе; воздухъ былъ растворенъ благоуханіемъ цвѣтущей липы: иногда во глубинѣ лѣса раздавался голосъ соловья, или печальное пѣніе иволги; иногда непостоянный вѣтерокъ потрясалъ вершины деревъ; иногда робкій кроликъ, испуганный шорохомъ, бросался въ кустарникъ и шумѣлъ засохшими вѣтками. Уладъ шелъ по тропинкѣ, извивавшейся между деревьями; душа его, наполненная воспоминаніями, погружена была въ задумчивость. Время прошедшее, время, въ которое находилъ онъ себя счастливымъ, представилось мыслямъ его со всѣмъ минувшимъ своимъ очарованіемъ. Гдѣ ты, моя радость? воскликнулъ печальный Уладъ; гдѣ ты, прежнее время? Прихожу на то же мѣсто, на которомъ нѣкогда называлъ я жизнь свою веселіемъ: тѣнистая роща, свѣтлая рѣка, зеленые берега, вы не измѣнились; но, счастіе мое, тебя ужъ нѣтъ. По-прежнему благовонная липа разливаетъ свой сладостный запахъ, по-прежнему звонкій соловей или пустынная иволга поютъ во глубинѣ дремучаго лѣса; а тотъ, кто нѣкогда услаждался благовоніемъ цвѣтущей липы, или, задумавшись при гласѣ звонкаго соловья и стонѣ пустынной иволги, живѣе мечталъ о своемъ счастіи, тотъ уже не похожъ на самого себя. Ахъ! не узнаете вы меня, мѣста прелестныя; очи мои потускли отъ скорби, ланиты мои поблѣднѣли, лицо мое помрачилось унынiемъ... Уладъ приближается къ берегамъ свѣтлаго ручья *), который, журча и сверкая, бѣжалъ по золотому песку въ зеленомъ кустарникѣ и сливался съ Москвою; онъ увидѣлъ на крутизнѣ горы уединенный теремъ грозпаго Рогдая. Послѣднее блистаніе вечера играло еще на тесовой кровлѣ верхней свѣтлицы и на острыхъ концахъ высокаго тына; вершины древнихъ дубовъ, березъ и липъ, которыми покрыта была вся гора, восходящія одна надъ другими, мало по малу омрачались, наконецъ потемнѣли совсѣмъ; на одномъ только теремѣ, который, подобно великану, возвышался надъ лѣсомъ, оставалось умирающее мерцаніе; наконецъ и оно померкло, повсюду распространился сумракъ. Уладъ, увидя Рогдаевъ теремъ, затрепеталъ, остановился, долго смотрѣлъ на него въ молчаніи, неподвижный, мрачный, сложивъ крестообразно руки; наконецъ слезы покатились ручьями изъ глазъ его... Ахъ, Марія! воскликнулъ онъ; вздохнулъ изъ глубины сердца, и голова его склонилась ко груди.

Молодой Уладъ родился на берегу Москвы-рѣки въ бѣдной хижинѣ, отъ честныхъ родителей. Природа наградила его прекрасною душою, прекраснымъ лицомъ и дарованіемъ слагать прекрасныя пѣсни. Часто, простертый на берегу свѣтлой Москвы и смотря на ея серебряныя волны, провожалъ онъ вечернюю зарю звонкимъ своимъ рожкомъ. Пріятные звуки раздавались по берегамъ и повторяемы были отголосками сѣнистой рощи. Молодыя сельскія дѣвушки любили слушать Улада, когда онъ простыми стихами прославлялъ весну, спокойствіе земледѣльческихъ хижинъ, свободу поднебесныхъ ласточекъ, нѣжность дубравныхъ горлицъ, или изображалъ пріятность маткиной-душки, которой запахъ сравнивалъ онъ съ милою душою чадолюбивой матери. Уладъ былъ всѣхъ пріятнѣе на посидѣлкахъ; никто не умѣлъ такъ хорошо разсказывать страшныхъ сказокъ, отъ которыхъ робкія дѣвушки трепетали и прижимались къ своимъ матерямъ, а на головѣ молодыхъ мужчинъ становились волосы дыбомъ; ни съ кѣмъ такъ не любили играть въ хороводы и въ разныя игры, какъ съ милымъ, веселымъ, добросердечнымъ Уладомъ. Въ селѣ называли его соловьемъ. Старушки переставали хну-

*) «Нынѣ мутная Неглинная». *Примѣч. въ текстѣ.*

риться и бранить своихъ дочерей, когда приходилъ къ нимъ Уладъ; а старики въ его присутствіи оживлялись и чувствовали себя молодыми. Сельскія дѣвушки засматривались на Услада, который имѣлъ лицо прелестное, черные глаза, омраченные длинными рѣсницами, нѣжные сіяющіе подъ черными густыми бровями; свѣтлорусые волосы, которые легкими кудрями разсыпались по прекрасному лбу, вились вокругъ открытой шеи, бѣлой какъ снѣгъ, и оттѣняли свѣжія, румяныя, какъ молодая роза, щеки. Но чаще другихъ и съ чувствомъ болѣе нѣжнымъ смотрѣла на него прекрасная Марія. Хижина ея построена была на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ быстрый ручей сливался съ прозрачною Москвою. Маріи минуло пятнадцать лѣтъ; она имѣла доброе сердце, но была совершенный младенецъ: все ее веселило, все трогало и увлекало.—Она любила свою старую мать болѣе самой себя; часто смотрѣла ей въ глаза и говорила со слезами: матушка, другъ мой: я готова отдать тебѣ свою душу. Она плакала, когда старушка была или больна, или печальна; но въ то же самое время бездѣлица могла овладѣть ея вниманіемъ, она бросалась за пестрымъ мотылькомъ, или смѣялась отъ добраго сердца, когда слышала забавное слово, замѣчала уродливое лицо. Марія была чувствительна: никакое нѣжное чувство не могло изгладиться въ сердцѣ ея, но оно могло быть забыто [правда на короткое время] для всякаго новаго, даже слабѣйшаго впечатлѣнія.

Добрая Марія цвѣла, какъ полевая фіалка, подъ сѣнью родительской хижины, хранимая любовію матери. Съ нѣкотораго времени душа ея наполнена была тайнымъ пламенемъ, которымъ оживотворены были въ ней всѣ другія чувства — любовію къ прекрасному Уладу; но это чувство не мѣшало ей быть веселою по-прежнему, по-прежнему поливать свои цвѣты, кормить свою малиновку, распѣвать веселыя пѣсенки, когда она сидѣла вмѣстѣ съ матерью за прялкою на порогѣ хижины, и смѣяться отъ всей души, когда подружки разсказывали ей смѣшныя сказки. Прекрасный пѣвецъ ощущалъ нѣжную томность въ груди своей, когда смотрѣлъ въ глаза добросердечной Маріи. Ахъ! онъ любилъ ее страстно. Милый ея образъ носился передъ нимъ, когда онъ засыпалъ; онъ представлялся ему въ сновидѣніи; онъ видѣлъ его при первомъ блескѣ восходящаго утра. Уладъ былъ задумчивъ, когда былъ съ нею розно, задумчивъ, когда видѣлъ ее передъ собою живую, рѣзвую, веселую. Марія вздыхала, на лицѣ ея изображалось глубокое, сердечное чувство, когда глаза ея встрѣчались съ глазами Услада. Она радовалась, когда Уладъ увѣрялъ ее въ нѣжной своей любви; цѣловала его въ розовыя щеки и говорила ему: добрый Уладъ, ты мое счастіе.

Однажды, вечернею порою, пѣвецъ игралъ на рожкѣ своемъ, простертый на берегу источника, въ виду Маріиной хижины. Марія, услышавъ знакомые звуки, взяла кувшинъ и пошла за водою къ свѣтлому источнику. Поровнявшись съ Уладомъ, она поставила кувшинъ на зеленую траву, сѣла подлѣ своего друга, поцѣловала его въ пламенную щеку и, окруживъ его бѣлою рукою, склонила къ нему на плечо свою прелестную голову. Они задумались. Вечеръ былъ тихъ и ясенъ; роща, одушевленная возвратившеюся весною, была наполнена запахомъ черемухи, благовоннымъ дыханіемъ ландышей, маткиной-душки и травъ ароматныхъ; вѣтерокъ порхалъ по деревьямъ; соловьи свистали вдалекѣ; въ воздухѣ слышалось жужжаніе насѣкомыхъ; легкія струйки источника, озлащаемыя заходящимъ солнцемъ, которое проникало сквозь рѣдкія деревья, сливали нѣжное свое плесканіе съ шорохомъ тростника и трепетаніемъ цвѣтущаго шиповника, осѣнявшаго низкіе берега источника: всѣ сіи звуки производили вмѣстѣ единую очаровательную гармонію, которая трогала душу и погружала ее въ задумчивое мечтаніе. Уладъ и Марія долго молчали, упоенные любовію.

Ахъ, Марія! — сказалъ наконецъ Усладъ—люблю тебя болѣе своей жизни. Помнишь ли ту минуту, къ которую мы встрѣтились на берегу свѣтлаго источника? Ты пришла зачерпнуть въ кувшинъ свѣжей воды, заслушалась соловья и стояла въ задумчивости подъ тою развѣсистою березою—я возвращался изъ Новагорода, былъ утомленъ путемъ и зноемъ; ты утолила мою жажду и посмотрѣла на меня такимъ ласковымъ взглядомъ, что сердце мое наполнилось въ ту минуту неизъяснимою сладостію. Ахъ! съ той минуты я пересталъ владѣть своею душою; съ той минуты единственное мое счастіе быть съ тобою, или о тебѣ думать. Тобою прекрасный Божій міръ сдѣлался для меня еще прекраснѣе. Во всемъ, что радуетъ мою душу, нахожу я твой милый образъ. Твой голосъ усладительнѣе для меня воркованія иволги, когда внимаю ему при блескѣ заходящаго солнца; походка твоя легче игриваго весенняго вѣтерка, когда онъ пролетаетъ надъ поверхностію спокойной Москвы-рѣки, или колышетъ нѣжную травку. Чувствуя въ рощѣ запахъ *ночной красавицы*, я думаю: онъ такъ же пріятенъ, какъ сладостное дыханіе моей Маріи. Свѣтитъ ли полная луна сквозь частую рощу, я погружаюсь въ задумчивость: мнѣ кажется, что въ свѣтломъ ея мерцаніи летаетъ надо мною твой образъ, что я окруженъ твоимъ невидимымъ присутствіемъ. Часто въ минуту воцаряющагося вечера, забываюсь по цѣлому часу вблизи твоей хижины; сокрытый кустами шиповника, смотрю на тебя, когда ты сидишь у дверей имѣстѣ съ твоею матерью, озаренная розовымъ сіяніемъ вечера; мать твоя перебираетъ долгіе свѣтлорусые твои волосы, заплетаетъ ихъ въ косы, цѣлуетъ тебя, называетъ своею радостію; а ты расѣваешь, какъ соловей, или подымаешь на свою мать нѣжный, невинный, исполненный сердечной задумчивости взоръ, тогда... но, милый другъ, прелестная, добросердечная моя Марія, могу ли сказать, что я тогда чувствую? Ахъ! въ эту минуту не нахожу въ себѣ души; она стремится къ тебѣ, она исполнена частѣйшею, непорочною къ тебѣ любовію.— Такъ говорилъ Усладъ. Марія не отвѣчала; но она вздохнула, крѣпче обхватила его бѣлою рукою, нѣжнѣе прижала ко груди его прелестную свою голову. Мы соединимся, продолжалъ Усладъ, когда исполнится тебѣ шестнадцать лѣтъ. Шесть разъ полная луна должна освѣтить вершины деревъ прежде, нежели ты будешь моею; тогда нѣжная твоя мать переселится въ нашу хижину; старость ея пройдетъ спокойно, какъ вечеръ яснаго дня... Теперь, мой милый другъ, продолжалъ Усладъ, помолчавъ минуту, я долженъ на время съ тобою разлучиться. Старый Пересвѣтъ, мой благодѣтель, мой наставникъ, идетъ отсюда въ свою отчизну, къ своимъ ближнимъ и сродникамъ—я долженъ его проводить: ибо мы, вѣроятно, разстаемся навѣки. Путешествіе мое продолжится до третьей полной луны. Марія, не забывай меня въ отсутствіи. Когда взойдетъ луна,—въ эту минуту золотые рога мѣсяца мелькнули изъ тучи надъ кровлею Рогдаева терема — когда озлатятся струистыя волны, приди на берегъ источника и думай объ Усладѣ: душа его будетъ надъ тобою. Въ каждомъ пріятномъ звукѣ, съ которымъ прольется въ душу твою сладостная унылость, внимай нѣжному голосу его сердца.—Марія плакала; Усладъ умолкнулъ; они встали. Пѣвецъ поднялъ глаза на высокій Рогдаевъ теремъ — черная туча надъ нимъ неслась; невольно печаль овладѣла его душою: туча сія казалась ему подобіемъ его жребія. О! что ты принесешь мнѣ, время будущее, время далекое, время неизвѣстное? подумалъ онъ. Быстрая молнія раздвоила тучу пламенною браздою; облака вспыхнули и вдругъ угасли; сердце Услада стѣснилось; онъ бросилъ на Марію задумчивый взглядъ: на миловидномъ ея лицѣ изображена была робость; взоры ея, устремленные на тучу, какъ будто искали на ней слѣдовъ пролетѣвшей молніи; она вздохнула, поцѣловала Услада, и медленно

пошла въ свою хижину. Усладъ сѣлъ въ свою лодку, переправился на другой берегъ Москвы, на которомъ находилась его хижина, простерся на траву, печально опустилъ на руку свою голову и долго смотрѣлъ на хижину Маріи, въ которой свѣтился огонекъ, иногда затмеваемый легкою тѣнію. Наконецъ сіяніе исчезло. Усладъ закрылъ руками глаза и заплакалъ: ему казалось, что въ эту минуту угасло счастіе жизни его, что для него уже не было на свѣтѣ Маріи.

Утренняя заря не застала Услада на берегахъ свѣтлой Москвы. Въ первые два дни Марія не переставала крушиться и плакать. Потупивъ голову, закрывъ передникомъ прискорбныя очи свои, орошенныя слезами, сидѣла печальная на порогѣ хижины и не внимала утѣшеніямъ своей добросердечной матери. На третій день пошла она къ источнику. Вдругъ представляется взору ея незнакомый витязь: на немъ сіяла блестящая броня, голова покрыта была шишакомъ, на плечахъ лежала медвѣжья кожа. Лицо неизвѣстнаго было величественно и сурово: глаза, глубоко впавшіе, ярко блистали изъ-подъ густыхъ бровей; черная всклокоченная борода закрывала до половины смуглыя щеки его. Марія оторопѣла. Незнакомецъ поглядѣлъ на нее пристально. Кто ты, красная дѣвица? спросилъ онъ. Марія испугалась громозвучнаго голоса, не посмѣла поднять стоихъ глазъ и побѣжала опрометью въ хижину. Витязь послѣдовалъ за нею.

То былъ Рогдай, славный могучій богатырь. Ему принадлежали обширныя поля, между которыми извивалась прозрачная Москва; ему принадлежалъ высокій теремъ, окруженный дубовымъ тыномъ. Онъ долго служилъ могущественною мышцею великому Новгороду; сподвижники называли его: Рогдай *булатная рука;* а прочіе люди: Рогдай *жестокое сердце;* ибо ни одно человѣколюбивое чувство не было ему извѣстно, никогда на челѣ его не разглаживались морщины; грозный, *неукротимый во гнѣвѣ*, ни воплн, ни улыбка невиннаго младенца не проницали въ его неприступную душу. Умертвивъ на соборищѣ народномъ одного изъ знаменитѣйшихъ посадниковъ Новогородскихъ, и принужденный поспѣшно съ вѣрною дружиною сокрыться изъ великаго града, пошелъ онъ въ знаменитый Кіевъ, къ великому князю Владиміру, дабы служить ему вмѣстѣ съ богатырями Ильею, Чурилою и Добрынею. Желая на перепутьи посѣтить свое наслѣдіе и отеческій теремъ, въ которомъ провелъ младенческія лѣта, явился онъ на берегахъ Москвы-рѣки, дни черезъ два по отшествіи пѣвца Услада.

Новое чувство открылось въ душѣ Рогдая въ ту минуту, когда онъ встрѣтился у источника съ Маріею; онъ началъ каждый день посѣщать хижину ея матери. Разговаривая съ старушкою, бросалъ онъ косвенные взгляды на прелестную дочь ея, которая, потупивъ голову, краснѣя и трепеща, сидѣла за пряжею и роняла изъ рукъ веретено, всякій разъ, когда робкіе взоры ея встрѣчались печально съ задумчивыми взорами Рогдая, въ которыхъ пылало мрачное пламя. Неутолимая страсть, сопутствуемая мукою желаній и тайнымъ волненіемъ ревности, свирѣпствовала въ сердцѣ грознаго витязя. Впервые почувствовалъ онъ желаніе быть любимымъ, впервые научился смягчать громозвучный свой голосъ; иногда на устахъ его показывалась усмѣшка; вездѣ и всякую минуту онъ думалъ о Маріи; искалъ ее на берегу источника, во глубинѣ рощи; слѣдовалъ за нею въ село, и даже нерѣдко, чтобъ угодить ей, вмѣшивался въ веселыя игры поселянъ и поселянокъ. Всякій день приносили ей богатые дары отъ Рогдая: иногда жемчужное блестящее ожерелье, иногда шелковый сарафанъ, обшитый богатымъ галуномъ, иногда ленту съ серебряною бахромою, серьги, золотой перстень. Марія, говорилъ ей грозный витязь, отдай мнѣ свое сердце, я сдѣлаю твое счастіе. Тебѣ будутъ принадлежать мои сокровища, мой теремъ, мои поля и рощи. Будешь хо-

дить въ серебрѣ и золотѣ. Повезу тебя въ великолѣпный градъ Кіевъ, покажу тебѣ великаго князя Владиміра; увидишь богатырскія игры, затмишь собою всѣхъ кіевскихъ красавицъ, будешь украшеніемъ княжескихъ палатъ и радостію всего града Кіева... Что происходило въ твоемъ сердцѣ, что думала ты, добрая Марія? Сначала она тосковала и плакала. Усладъ, милый Усладъ, для чего нѣтъ тебя со мною? говорила она, смотря на струистый источникъ, при которомъ они разстались. Увы! она уже чувствовала, что присутствіе Услада было необходимо, чтобъ сохранить въ сердцѣ ея прежнюю къ нему привязанность. Воображая Услада, она воображала счастіе жизни своей; но думая о Рогдаѣ, видѣла въ мысляхъ своихъ одни безчисленныя богатства его, пышный градъ Кіевъ [о которомъ слыхала только въ сказкахъ], славныхъ богатырей, блистаніе великолѣпнаго дворца княжескаго, и никогда не думала о самомъ Рогдаѣ: ибо никогда сердце ея не могло бы поколебаться между прекраснымъ Усладомъ и грознымъ витяземъ, котораго мрачный образъ приводилъ ее въ трепетъ. Но, увы! ослѣпленный разсудокъ ослѣпилъ и нѣжное сердце Маріи; въ продолженіе перваго мѣсяца она всякій Божій день приходила къ источнику вспоминать объ Усладѣ—и всякій разъ встрѣчала на берегахъ его витязя Рогдая. Наступилъ другой мѣсяцъ, и Марія съ большимъ уже вниманіемъ начала слушать Рогдаевы предложенія: въ душѣ ея, которая прежде была такъ непорочна, родились гордыя мечты о блескѣ, богатствѣ и торжествѣ ея прелестей. Наступилъ третій мѣсяцъ — и Марія отдала руку свою Рогдаю... Ахъ! кто бы это подумалъ, добрая Марія? Но для чего же обвинять ея доброе сердце? Оно никогда не измѣняло Усладу. Ты обманывалась, Марія, когда увѣряла себя, что болѣе не любишь своего друга. Скоро исчезнетъ твое ослѣпленіе; скоро опять воскреснетъ въ душѣ твоей прежнее чувство любви, къ которому ты привыкла, которымъ была такъ счастлива... что будешь тогда, невинная, обманутая, несчастная Марія?

Усладъ приближался уже къ мѣсту своей родины; ужъ видѣлъ онъ вдалекѣ высокій Рогдаевъ теремъ, видѣлъ дымъ, вьющійся надъ кровлями хижинъ и озлащенный сіяніемъ восходящаго утра. Душа его наполнена была смутными чувствами радости, любви, нетерпѣнія. Въ эту минуту повстрѣчался ему пастухъ, который гналъ стадо на паству и пѣлъ утреннюю свою пѣсню—они узнали другъ друга. Бѣдный Усладъ, зачѣмъ воротился ты на свою родину, воскликнулъ пастухъ. Усладъ поблѣднѣлъ. Что сдѣлалось? спросилъ онъ измѣнившимся голосомъ. Много воды утекло съ того времени, какъ ты оставилъ наше селеніе, отвѣчалъ пастухъ. Марія твоя перелетная птичка; она покинула родимое гнѣздышко и хочетъ летѣть на чужую сторону; она разлюбила тебя; она отдала свою душу богатому и могучему витязю Рогдаю! Ахъ! бѣдный Усладъ, для чего возвращался ты на свою родину? Пастухъ посмотрѣлъ на него съ состраданіемъ, вздохнулъ, опять погналъ свое стадо, опять запѣлъ свою утреннюю пѣсню. Усладъ не могъ отвѣчать ему ни слова: стоялъ, какъ убитый громомъ, и долго неподвижными очами смотрѣлъ на волны, въ которыхъ отражалось чистое небо. Жаворонокъ кружился и пѣлъ подъ облаками; утренній вѣтерокъ дышалъ ему въ лицо; съ полей подымались благовонія цвѣтовъ и травъ. Усладъ ничего не чувствовалъ. Солнце взошло; первые лучи его заиграли на кровлѣ высокаго терема: нечаянно взоры Услада на нее устремились; вся душа его пришла въ волненіе; онъ бросился на траву, залился слезами, и цѣлый день пролежалъ на одномъ мѣстѣ неподвижно, вздыхалъ и терзался. Наступилъ вечеръ. Земледѣльцы и пастухи пришли съ полей. Веселые голоса ихъ пробудили Услада. Онъ всталъ, опять устремилъ глаза на теремъ, смотрѣлъ на него долго, наконецъ снялъ съ груди пучокъ засохшихъ ландышей, перевязанныхъ волосами Маріи, который похранилъ

она ему накануѣ разлуки, бросилъ его въ рѣку, нѣсколько минутъ слѣдовалъ за нимъ глазами по теченію волнъ, потомъ, потупивъ голову, стараясь удерживать стѣснившіеся въ груди вздохи, пошелъ назадъ, чтобы никогда, никогда не возвращаться въ то мѣсто, гдѣ все, что радовало его въ жизни, погибло навѣки.

Прошла осень, прошла зима — Усладъ скитался по городамъ и селеніямъ. Увы! онъ думалъ забыть прежнее время, забыть утраченное свое счастіе — напрасно! Въ тѣхъ самыхъ пѣснях, которыми веселилъ онъ горожанъ и сельскихъ жителей, чтобы избавить себя отъ голодной смерти, изображались милыя чувства, нѣкогда услаждавшія душу его, изображенъ былъ тотъ счастливый край, гдѣ прежде встрѣчалъ онъ съ веселіемъ каждое утро, провожалъ съ надеждою каждый вечеръ. Наступила весна, и вся любовь, которую онъ почиталъ почти угасшею, опять воспламенилась въ душѣ его. Нѣтъ, воскликнулъ Услад, я не могу дышать въ разлукѣ съ нею; гдѣ бы я ни былъ, вездѣ мой жребій — угаснуть въ любви, увянуть въ страданіи; здѣсь, на чужой сторонѣ, все для меня чужое; а тамъ, въ отчизнѣ моей, все мнѣ другъ, все было свидѣтелемъ моего счастія, все будетъ повѣреннымъ моей скорби. Не буду съ нею встрѣчаться; но буду съ нею вмѣстѣ, но буду скитаться вокругъ ея жилища, невидимо слѣдовать за нею во глубину рощи, иногда внимать ея голосу, дышать вѣтеркомъ, освѣжающимъ ея грудь, или волнующимъ ея свѣтлые кудри, оронять слезами слѣды, оставленные на муравѣ легкими ея стопами, въ упоеніи, сокрытый мракомъ ночи, смотрѣть на свѣтъ ея лампады, горящей передъ образомъ и проницающей сквозь окна ея свѣтлицы, и вмѣстѣ съ нею молить Божію Матерь о счастіи жизни ея. Такъ, моя родина, и вы, отческія рощи, и вы, цвѣтущіе берега Москвы, опять увидите возвратившагося къ вамъ Услада; возвращусь къ вамъ, чтобъ увянуть на вашемъ лонѣ, *увянуть тамъ, гдѣ расцвѣло* и увяло мое веселіе. Ахъ, видя, какъ другой владѣетъ моимъ счастіемъ, скорѣе умру съ печали. Утро взойдетъ, ранняя ласточка взовьется подъ облака, вѣтерокъ побѣжитъ по вершинамъ деревъ, и листья осенніе посыплются съ шумомъ; тогда, Марія, ты взглянешь въ окно высокаго терема и скажешь: утренняя ласточка, для чего ты поднялась такъ рано? Вѣтерокъ осенній, для чего разсыпаешь ты красоту дубравы? Для чего въ душѣ моей тоска неизвѣстная? Ты выдешь разсѣять печаль свою въ полѣ; тамъ, близъ тропинки излучистой, на краю кладбища, подъ сѣнію древнихъ березъ, увидишь свѣжую могилу; ты устремишь на нее задумчивые взоры. Здѣсь положили пѣвца Услада, скажутъ тебѣ сельскія дѣвушки, печально собравшіяся вокругъ могилы. Ты вспомнишь прежнія наши радости, вспомнишь пѣвца Услада; пріунывши, возвратишься въ свой теремъ, вздохнешь изъ глубины сердца и скажешь: онъ меня любилъ, но его уже нѣтъ.

Солнце почти закатилось, когда Услад остановился на берегу источника, въ виду Рогдаева терема.

Долго въ унылой задумчивости смотрѣлъ онъ на жилище Маріи; взоры его искали сіянія лампады въ окнѣ уединенной ея свѣтлицы... напрасно; глубокая мрачность царствовала въ теремѣ витязя Рогдая. Уже на занадѣ исчезала послѣдняя полоса вечерней зари, на востокѣ показывалась полная луна, подобная зареву отдаленнаго пожара: весь теремъ покрылся ея сіяніемъ. Услад могъ ясно видѣть, что задвижныя окна были всѣ раскрыты; что крѣпкія тесовыя ворота, не заложенныя затворомъ, ходили на желѣзныхъ петляхъ — невольно робость проникнула въ его душу. Что это значитъ? подумалъ онъ. Отъ чего такая мрачность въ Рогдаевомъ теремѣ? Что сдѣлалось съ тобой, Марія?—Услад переходитъ источникъ вбродъ, и по тропинкѣ, вьющейся въ кустахъ, идетъ на высоту горы — часто останавливается — слушаетъ — ничего не слышитъ — однѣ только легкія струйки

ручья переливаются съ журчаніемъ по песку, изрѣдка стучитъ стрекоза, изрѣдка увядшій листокъ срывается съ дерева и съ трепетаніемъ падаетъ на землю. Что предвѣщаешь ты мнѣ, тишина ужасная? вопрошалъ Усладъ, осматриваясь съ робостію, и видя вокругъ себя одно печальное запустѣніе. Вдругъ послышался ему близкій шорохъ... кто-то бѣжалъ... сухіе листья хрустѣли подъ ногами... шорохъ приблизился... Усладъ прячется въ кусты... видитъ женщину... луна освѣтила ея лицо... Нѣвецъ узнаетъ добродушную Ольгу, любимую подругу Маріи... бросается къ ней навстрѣчу... Ольга закричала, закрыла обѣими руками лицо... Защитите меня, силы небесныя, воскликнула она: привидѣніе, душа Усладова! — Ноги ея подкосились, она упала бы на траву, когда бы Усладъ не принялъ ея въ объятія. «Что съ тобою сдѣлалось, добрая Ольга? Отъ чего боишься Услада». — Ольга дрожала, какъ листъ, не смѣла отворить глазъ, крестилась, читала про себя молитву. — «Опомнись, милая Ольга, погляди на меня. Я не мертвецъ, я Усладъ, живой Усладъ, возвратился въ свою отчизну, хочу увидѣть Марію». Звуки знакомаго голоса ободрили нѣсколько робкую дѣвушку — нѣсколько минутъ не могла она придти въ себя отъ испуга, наконецъ мало по малу осмѣлилась отворить глаза... Точно ли вижу Услада? спросила она. Въ самомъ дѣлѣ, его лицо, его пріятные взоры, его знакомый голосъ. Ахъ! добрый Усладъ, зачѣмъ ты здѣсь?.. Но удалимся отъ этого мѣста—мнѣ страшно. Скоро будетъ полночь; никто изъ нашихъ поселянъ не ходитъ сюда въ это время: я сама нечаянно запоздала въ рощѣ; удалимся, Усладъ; это мѣсто ужасно.— Ольга побѣжала впередъ, потащивъ за собою Услада, и чрезъ двѣ минуты находились они уже на берегу свѣтлаго источника. — «Ольга, сказалъ Усладъ, я не пойду и не пущу тебя далѣе: хочу знать, отъ чего такъ страшенъ тебѣ Рогдаевъ теремъ, и что сдѣлалось съ Маріею?» —Ахъ! добрый Усладъ, о чемъ ты у меня спрашиваешь! — «Говори, милая Ольга, именемъ Бога прошу тебя; неизвѣстность мучительнѣе смерти.» —Хорошо, Усладъ, слушай. Садись ко мнѣ ближе; здѣсь не такъ страшно: я вижу на томъ берегу источника нашу хижину. — Они сѣли. Усладъ трепеталъ: сердце предсказывало ему что-то ужасное.

Много, Усладъ, очень много перемѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ ты оставилъ нашу деревню — такъ начала говорить Ольга. Дорого бѣдная моя подруга заплатила за свое легкомысліе. Ахъ! милосердое небо, для чего, не спросясь съ душою своею, повѣрила она коварнымъ обѣщаніямъ обольстителя?.. Усладъ, Марія твоя ни на одну минуту не переставала о тебѣ помнить. Что же дѣлать, если она, какъ младенецъ, прельстилась золотыми парчами, жемчугомъ, лентами, которыми дарилъ ее грозный Рогдай, и суетною надеждою сіять своими прелестями въ великолѣпномъ градѣ Кіевѣ? Увы! она сама обманывала себя, когда почитала прежнюю любовь свою угасшею, а гордые свои замыслы привязанностію къ грозному Рогдаю. Нѣтъ, Усладъ, не обижай ея такою мыслію: никогда Маріино сердце не было перемѣнчиво; и можно ли, другъ мой, забыть тѣ сладкія чувства, которыми животворится душа наша въ лучшіе годы жизни, съ которыми соединены всѣ наши надежды на счастіе, которыми земля претворяется для насъ въ царство небесное? Ни одной минуты веселія не видала она съ той поры, какъ принуждена была оставить родительскую хижину. Слушай: ввечеру наканунѣ того дня, въ который надлежало ей идти къ вѣнцу в въ церкви Божіей передъ святымъ алтаремъ навсегда отдать себя Рогдаю, поклявшись тайно, что позабудетъ Услада навѣки, я навѣстила мою подругу; но гдѣ же нашла ее? Здѣсь на берегу свѣтлаго источника, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ ты, Усладъ, въ послѣдній разъ съ нею простился. Она сидѣла въ унынiи, склонивъ ко груди прелестную свою голову, съ потухнувшими глазами, [illegible]

щеками, какъ будто приговоренная къ смерти. Ахъ! Услышь, еще не вступила она въ Рогдаевъ теремъ, а уже мечты удовольствій, которыя найти въ немъ она воображала, для нея исчезли: одна только мысль о томъ, что была она готова утратить, одно минувшее время, одне погибшія радости наполняли ея прискорбную душу. Увидя меня, она встала, подала мнѣ знакъ, чтобы я за нею послѣдовала, и молча пошла въ свою хижину. Матери ея не было дома; свѣчка горѣла передъ образомъ Богоматери.—Молись вмѣстѣ со мною, сказала Марія, и упала на землю, обливаясь слезами. Святая утѣшительница, воскликнула она, молю не о себѣ; для меня уже нѣтъ счастія: не желаю, не буду искать его, я сама отъ него отказалась; но будь Твое милосердіе надъ милымъ, оставленнымъ, осиротѣвшимъ другомъ моимъ; храни его, Покровительница несчастныхъ.—На другое утро принесли къ ней богатые дары отъ Рогдая: она посмотрѣла на нихъ съ равнодушіемъ. Сельскія дѣвушки пѣли веселыя пѣсни у дверей ея хижины: Марія, казалось, имъ не внимала. Мать убирала ее къ вѣнцу, ласкала словами и взорами: Марія устремляла на нее умильные глаза, цѣловала ея руки, вздыхала, утирала слезы и не говорила ни слова. Грозный Рогдай изумился, когда она вошла въ церковь, печальная, блѣдная какъ полотно, и съ трепетомъ подала ему руку. Лицо ужаснаго витязя во все продолженіе вѣнчальнаго обряда было мрачно: съ суровымъ подозрѣніемъ разсматривалъ онъ свою невѣсту, которая стояла предъ алтаремъ, какъ жертва, приведенная на закланіе. Ихъ обвѣнчали. Услышь, я повторяю: ни единою радостію не наслаждалась твоя Марія съ той самой минуты, въ которую оставила родительскую хижину. Мы видѣлись съ нею каждый Божій день: всегда находила я ее погруженную въ задумчивость. Иногда, вечернею порою, она сидѣла на скатѣ горы и пѣла прекрасныя твои пѣсни; иногда съ прискорбіемъ останавливалась на берегу источника; но чаще всего приходила къ рѣкѣ, смотрѣть на отдаленную твою хижину. Суровость витязя Рогдая приводила ее въ трепетъ: онъ любилъ ее страстною любовію, но самая нѣжность его имѣла въ себѣ что-то жестокое. Простодушная Марія, которой слова и взоры всегда согласны были съ тайнымъ расположеніемъ сердца, отвѣтствовала на любовь его одною тихою покорностію: она подходила къ нему только тогда, когда онъ самъ приказывалъ ей приблизиться; не смѣла къ нему ласкаться, а только съ смиреніемъ принимала его надменныя ласки. Увы, несчастная Марія, которая прежде была такъ весела и рѣзва, которая прыгала отъ удовольствія въ кругу игривыхъ своихъ подругъ, Марія почти никогда уже не улыбалась, и въ самой улыбкѣ ея изображено было душевное прискорбіе. Рогдай замѣтилъ ея тоску; часто съ видомъ угрюмаго подозрѣнія устремлялъ онъ свои взоры на блѣдное лицо Маріи: она содрогалась и потупляла глаза свои въ землю. Часто хотѣлъ онъ спросить ее о причинѣ такой непрерывной унылости, начиналъ говорить и уходилъ, не кончивъ вопроса—и что могла бы отвѣчать ему Марія? Прошло три недѣли. Въ одно утро [мы сидѣли вмѣстѣ съ Маріею и низали жемчужное ожерелье для ея матери] приходитъ онъ въ ея свѣтлицу. «Марія, говоритъ онъ, послѣ завтра мы ѣдемъ въ Кіевъ: будь готова». Марія поблѣднѣла; руки ея опустились, хотѣла отвѣчать, и слезы побѣжали изъ глазъ ея ручьями. Что это значитъ? загремѣлъ ужаснымъ голосомъ витязь. — Марія схватила его руку [въ первый разъ позволила она себѣ такую смѣлость]. Ради Бога, воскликнула она, устремивъ на него умильный взоръ, пробудь здѣсь еще одинъ мѣсяцъ, одинъ только мѣсяцъ; дай мнѣ познакомиться съ печальною мыслію, что я должна разстаться съ своею родиною, навсегда покинуть свою мать, моихъ подругъ, мои отеческія поля и рощи. Прижавши прекрасное лицо свое къ рукѣ ужаснаго витязя, она оросила

ее слезами. Какое сердце могло бы не тронуться умоляющимъ стенаніемъ Маріи? Нѣсколько минутъ молчалъ суровый Рогдай: въ сумрачныхъ взорахъ его блеснуло чувство. Не могу отказать тебѣ, Марія, отвѣчалъ онъ, смягчивши голосъ, мнѣ сладко тебя утѣшить. Согласенъ, еще на нѣсяцъ остаюсь въ этихъ мѣстахъ; но, Марія—тутъ устремилъ онъ на нее подозрительный взглядъ—ты худо отвѣчаешь на страстную мою любовь: горе тебѣ, если не одна привязанность къ матери, подругамъ и отчизнѣ удерживаетъ тебя въ этомъ мѣстѣ. Онъ удалился. Марія посмотрѣла на меня и не сказала ни слова: мы обѣ вздохнули.

Прошло еще двѣ недѣли—самыя печальныя для бѣдной Маріи. Она старалась удалить отъ себя воспоминанія объ Усладѣ, но всякую минуту противъ воли своей думала: онъ скоро возвратится, онъ придетъ отдать мнѣ свою душу, исполненный сладкой надежды, исполненный прежней любви, а я... Она томилась въ тоскѣ и слезахъ, и не могла утаить ни тоски, ни слезъ своихъ отъ Рогдая; онъ видѣлъ ея печаль—но онъ молчалъ, и грозные взоры его часъ отъ часу становились мрачнѣе; страшная ревность свирѣпствовала въ его сердцѣ. Марія, говорилъ онъ иногда, устремивъ на нее пристальное око, душа твоя неспокойна, совѣсть тебя обличаетъ: взоры мои тебѣ ужасны. Марія, восклицалъ онъ иногда громозвучнымъ голосомъ, отъ котораго несчастная цѣпенѣла: я люблю тебя страстно... но горе, если ты меня обманула!

Наконецъ наступило время твоего возвращенія, и бѣдная Марія совсѣмъ потеряла спокойствіе. Увы! она боялась ужаснаго Рогдая, боялась твоего милаго присутствія, боялась собственнаго своего сердца: малѣйшій шорохъ заставлялъ ее содрогаться. Она не хотѣла, она страшилась тебя увидѣть; но, Услада, не смотря на то, какъ будто ожидая тебя, не отходила она отъ окна своей свѣтлицы, по цѣлымъ часамъ проснживала на берегу Москвы, устремивъ неподвижные взоры на противную сторону рѣки, туда, гдѣ видима соломенная кровля твоей хижины. Въ одно утро—это случилось на другой день послѣ твоей встрѣчи съ пастухомъ нашего села—нанѣщаю ее, нахожу одну, печальную по-прежнему, на берегу Москвы, на томъ же самомъ мѣстѣ, на которое приходила она и вчера и всякій день; сказываю, что тебя видѣли наканунѣ; что ты, узнавши о ея замужствѣ, не захотѣлъ войти въ деревню; что ты удалился неизвѣстно куда. Марія заплакала: Ангелъ хранитель, сопутствуй ему, сказала она; пусть будетъ онъ счастливъ; пускай, если можетъ, забудетъ Марію. Она устремила глаза на небо. Мы стояли тогда на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ волны образуютъ мелкій заливъ, разливаясь по свѣтлымъ каменкамъ, съ тихимъ плесканіемъ—одна волна прикатилась почти къ самымъ ногамъ Маріи—разсыпалась—что-то оставила на пескѣ—я наклоняюсь—вижу пучокъ увядшихъ ландышей, перевязанный волосами—подымаю его—показываю Маріи: Боже мой, какія слова изобразятъ ея ужасъ! Казалось, что грозное привидѣніе представилось ея взору, волосы поднялись на головѣ ея дыбомъ, затрепетала, поблѣднѣла: это мои волосы, воскликнула она. Услада цѣтъ на свѣтѣ: онъ бросился въ рѣку. Она упала къ ногамъ моимъ безъ памяти. Въ эту минуту показался Рогдай: подходитъ, видитъ безчувственную Марію, поднимаетъ ее; смотритъ съ недоумѣніемъ ей въ лицо; оно покрыто было блѣдностію смерти; снимаетъ съ головы шишакъ, велитъ мнѣ зачерпнуть въ него воды, и орошаетъ ею голову Маріи, которая, какъ увядшая роза, наклонена была на правое плечо.—Нѣсколько минутъ старались мы привести ее въ чувство; наконецъ Марія отворила глаза—но глаза ея были мутны; она посмотрѣла на Рогдая—и не узнала его. Ахъ! Услада, сказала она умирающимъ голосомъ, я любила тебя болѣе жизни; послѣднія радости, послѣднія надежды,

простите! Какъ описать то дѣйствіе, которое произвели слова ея на душѣ грознаго Рогдая? Лицо его побагровѣло, глаза его засверкали, какъ уголья; онъ страшно заскрежеталъ зубами. Усладъ, воскликнулъ онъ, задыхаясь отъ бѣшенства, кто Усладъ? Что ты сказала, несчастная?—Но Марія была какъ помѣшанная; она не чувствовала, что Рогдай стоялъ передъ нею; съ судорожнымъ движеніемъ прижимала она его руку къ сердцу и говорила; на что мнѣ жить? Я любила его болѣе моей жизни: все кончилось! Рогдай затрепеталъ; въ изступленіи обхватилъ онъ ее одною рукой поперекъ тѣла и помчалъ, какъ дикій волкъ свою добычу, на высоту горы, къ ужасному своему терему. Я хотѣла за ними послѣдовать. Прочь! заревѣлъ онъ охриплымъ голосомъ, блеснувъ на меня звѣрскими глазами—ноги мои подкосились. Съ той поры, Усладъ, ни разу не видала я нашей Маріи... Ввечеру прихожу опять къ горѣ, смотрю на высокій теремъ—все было въ немъ тихо, какъ будто въ могилѣ—свѣтлица Маріи казалась пустою—я долго прислушивалась—но все молчало—ничто, кромѣ трепетанія волнъ и шороха дубравныхъ листьевъ, не доходило до моего слуха—кровь леденѣла въ моихъ жилахъ.—Боже мой, думала я, что сдѣлали они съ тобою, несчастная Марія? Три дни сряду приходила я къ терему: то же молчаніе, та же пустота. Куда дѣвалась Марія? Гдѣ витязь Рогдай? спрашивали наши поселяне. Одинъ изъ нихъ осмѣлился войти въ самый теремъ; но онъ не нашелъ ни витязя, ни Маріи, ни служителей Рогдаевыхъ: повсюду царствовала пустота, стѣны были голы, всѣ утвари домашнія исчезли—казалось, что никогда нога человѣческая не заходила въ эту обитель молчанія. Увы! Усладъ, съ того времени мы ничего не знаемъ объ участи твоей Маріи. Никто изъ поселянъ не смѣетъ приближаться къ Рогдаеву терему. Горе заблудившемуся пѣшеходцу, который отважится зайти въ него полуночною порою! Божіе проклятіе постигло этотъ вертепъ злодѣйствъ, говоритъ нашъ сельскій священникъ. Мы смотримъ на него изъ-за рѣки, содрогаемся и молимъ Небеснаго Царя, чтобы Онъ успокоилъ душу Маріи. Бѣдная мать ея умерла съ печали: мнѣ суждено было отъ Бога заступить при ней мѣсто дочери; я посадила на могилѣ ея шиповникъ и молодую липу. Усладъ, кто знаетъ? можетъ быть, она уже встрѣтилась теперь на томъ свѣтѣ съ своею Маріею.

Ольга перестала говорить; Усладъ не могъ отвѣчать ей ни слова. Несчастный сидѣлъ, потупивъ голову, закрывъ руками лицо состояніе души его было ужасно; нѣсколько минутъ продолжалось печальное безмолвіе. Усладъ посмотрѣлъ на Маринну подругу: она плакала, онъ поцѣловалъ ее въ щеку. Милая Ольга, сказалъ онъ, возвратись къ своей матери; конечно безпокоитъ ее теперь долговременное твое отсутствіе; оставь меня, я никогда не сойду съ этой горы: она должна быть моимъ гробомъ. Богъ съ тобою, добросердечная Ольга; будь счастлива; скажи въ деревнѣ, что бѣдный Усладъ живъ, что онъ возвратился, что онъ умретъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ мучилась и погибла его несчастная Марія. Они поцѣловались опять. Ольга переправилась на другой берегъ источника; Усладъ пошелъ по извилистой тропинкѣ на высоту горы, къ ужасному терему.

Полночь была уже близко—полная луна, достигшая вершины неба, сіяла почти надъ самою головою Услада. Онъ приближается къ терему; входитъ въ широкія ворота, растворенныя настежь—они скрыпѣли и хлопали; входитъ на дворъ—все пусто и тихо. Дорога отъ воротъ до крыльца, окруженнаго высокими перилами, покрыта крапивою, полынью и репейникомъ. Усладъ съ трудомъ передвигаетъ ноги, наконецъ вступаетъ на крыльцо, идетъ въ двери... Дикая лисица, испуганная приходомъ человѣческимъ, давно не возмущавшимъ сего пустыннаго мѣста, бросилась въ вы-

сокую траву, сверкнувъ на него глазами; филинъ, пробужденный шорохомъ, встрепенулся, захлопалъ крыльями, полетѣлъ на кровлю и завылъ... Уладъ почувствовалъ робость и началъ осматриваться. При свѣтѣ луны увидѣлъ онъ себя въ обширной горницѣ, въ которой находился длинный столъ, приставленный къ стѣнѣ; двѣ или три скамейки, лежавшія на полу; пустой поставецъ, гдѣ прежде находились образа, и на полу разбросанные черепки разбитыхъ глиняныхъ кружекъ: здѣсь грозный Рогдай угощалъ иногда поселянъ и поселянокъ своей деревни. Уладъ прошелъ еще двѣ или три горницы: вездѣ представлялись глазамъ его голыя стѣны, вездѣ царствовала тишина, изрѣдка нарушаемая шумомъ летучихъ мышей, которые быстро надъ нимъ порхали. Наконецъ онъ видитъ маленькую дверь и узкую лѣстницу, обвившуюся винтомъ вокругъ столба: сердце его сильно затрепетало— эта лѣстница вела въ свѣтлицу Маріи. Уладъ идетъ по ступенямъ, входитъ въ свѣтлицу, ярко озаренную лучами луны, которая ударяла прямо въ раскрытыя окна. Душа его наполнилась невъяснимымъ прискорбіемъ, когда онъ увидѣлъ себя въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ бѣдная Марія провела послѣдніе дни своей жизни, встрѣчая утро со вздохами, провожая вечеръ съ упыніемъ. Онъ находилъ горестное удовольствіе дышать тѣмъ воздухомъ, которымъ нѣкогда она дышала; какъ будто чувствовалъ, что въ тихой полуночной прохладѣ разливалось вокругъ него ея присутствіе. Все было ею наполнено—на все устремлялъ онъ съ неописаннымъ волненіемъ взоры свои; ибо вездѣ мечтались ему слѣды милаго бытія утраченной Маріи. Въ одномъ углу брошены были ея пяльцы съ недоконченнымъ шитьемъ, которое все почти истлѣло. Въ другомъ что-то блистало — Уладъ приближается: смотритъ—что же? Находитъ тотъ самый образъ Богоматери въ серебряномъ окладѣ, который привезъ онъ ей изъ Кіева, и который Марія, до самой *разлуки съ Уладомъ*, носила на шеѣ; онъ упалъ передъ нимъ на землю, заплакалъ, снялъ его съ стѣны, поцѣловалъ и положилъ на грудь свою. Онъ сѣлъ подъ окно — глаза его устремились на Москву, которая тихо вилась подъ горою, отражая въ волнахъ своихъ и берега, покрытые лѣсомъ, и спиее небо, усыпанное легкими серебристыми облаками; окрестности, одѣтыя прозрачною пеленою свѣтлаго сумрака, были спокойны; все молчало — и воздухъ, и воды, и рощи. Уладъ задумался; минувшее предстало его воображенію, какъ легкій призракъ; онъ видѣлъ Марію, прежде цвѣтущую, потомъ увядающую во цвѣтѣ лѣтъ. Здѣсь, думалъ онъ, сидѣла она въ уныніи подъ окномъ, смотрѣла въ туманную даль и посылала ко мнѣ свои вздохи; здѣсь, проливая слезы, молилася передъ святою иконою; здѣсь, о Боже милосердый, можетъ быть, на самомъ этомъ мѣстѣ убійца... Онъ содрогнулся; ужасъ проникнулъ всѣ его члены; ему мечталось слышать стенанія, выходящія какъ будто изъ могилы; мечталось, что скорбное, тоскующее привидѣніе бродило по горницамъ оставленнаго терема; жилы его сильно бились; кровь, устремившаяся въ голову, производила въ ушахъ его звуки, подобные погребальному стону. Часъ полночи, всеобщее безмолвіе, мрачность и пустота ужаснаго терема—все приготовляло душу его къ чему-то необычайному: таинственное ожиданіе наполняло ее. Уладъ сидитъ неподвижно... прислушивается... все молчитъ... ни звука... ни шороха... Вдругъ отъ дубравы подымается тихій вѣтерокъ: листочки окрестныхъ деревьевъ зашевелились, ясная луна затуманилась, по всѣмъ окрестностямъ пробѣжалъ сумракъ, какое-то легкое, почти нечувствительное дуновеніе прикоснулось къ пламеннымъ щекамъ Улада и заиграло въ его разбросанныхъ кудряхъ: казалось, что въ воздухѣ распространилось благовонное дыханіе весны, и разливалась пріятная, едва слышимая гармонія подобная звукамъ далекой арфы. Уладъ поднимаетъ глаза... что же! О

ужасъ! о радость!.. онъ видитъ... видитъ передъ собою Марію—свѣтлый, воздушный призракъ, сіяющій розовымъ блескомъ; одежда ея, прозрачная, какъ утреннее облако, летящее передъ зарею, разстилалась по воздуху струями; лицо ея, блѣдное, какъ чистая лилія, казалось прискорбнымъ, на милыхъ устахъ видима была унылая улыбка; задумчивый взоръ ея стремился къ Уладу. Священный ужасъ наполнилъ его сердце. «Ты ли, душа моей Маріи? воскликнулъ онъ, простирая къ привидѣнію трепещущія руки. О! скажи, для чего покинула ты селенія неба? Велишь ли мнѣ разлучиться съ жизнію? Хочешь ли пріобщить меня къ своему блаженству?» Онъ умолкъ—отвѣта не было. Но призракъ, казалось, хотѣлъ, чтобы Уладъ за нимъ послѣдовалъ—одною рукою указывалъ на дремучій лѣсъ, другою, простертою къ Уладу, манилъ его за собою. Уладъ осмѣлился ступить нѣсколько шаговъ... привидѣніе полетѣло... Уладъ остановился... и вмѣстѣ съ нимъ остановился, призракъ, опять устремивъ на него умоляющіе взоры... Уладъ былъ въ нерѣшимости... не зналъ, идти ли ему, или нѣтъ... наконецъ ободрился... пошелъ... руководствуемый таинственнымъ вождемъ, вышелъ на пустынный дворъ, за ворота, наконецъ въ дремучій лѣсъ, который на нѣсколько верстъ простирался позади Рогдаева терема. Входитъ во глубину лѣса—тишина и мрачность окрестъ него царствуютъ; ни одно живое твореніе не представляется взору его; дикіе дубравные звѣри, какъ будто чувствуя присутствіе безплотнаго духа, ему сопутствующаго, уклоняются отъ стези его съ робостію... храня глубокое безмолвіе, идетъ онъ за блѣднымъ, улетающимъ сіяніемъ... нѣсколько часовъ продолжалось его уединенное шествіе... вдругъ видитъ рѣку, вьющуюся подъ сѣнію древнихъ дубовъ, развѣсившихся березъ и мрачныхъ елей... устремляетъ глаза на свѣтлую свою сопутницу... она остановилась... печаль, прежде напечатлѣнная по взорахъ ея, уже исчезла: они сіяли небеснымъ веселіемъ... привидѣніе указываетъ ему на небо... улыбается... простираетъ къ нему объятія... и вдругъ, какъ легкая утренняя мечта, исчезаетъ въ воздушной пустынѣ. Все помрачилось; Уладъ остался одинъ, въ глуши дремучаго лѣса, въ странѣ ужасной и дикой... осматривается... видитъ вблизи сверкающій огонекъ... идетъ... глазамъ его представляется низенькая хижина, покрытая соломою... онъ отворяетъ дверь... дряхлый старикъ молится передъ Распятіемъ, при свѣтѣ почника... скрыпъ двери заставилъ его оглянуться... онъ посмотрѣлъ пристально Уладу въ лицо... улыбнулся и подалъ ему руку.

Благословляю приходъ твой, сказалъ отшельникъ; давно пророческое сновидѣніе возвѣстило мнѣ его въ этой пустынѣ. Въ лицѣ твоемъ узнаю того вождя, который нѣсколько разъ являлся мнѣ въ полуночное время, когда въ спокойномъ снѣ отдыхалъ я послѣ трудовъ и молитвы.—Кто ты, старецъ? спросилъ Уладъ, исполненный умиленія и тайнаго страха.—Смиренный отшельникъ Аркадій, отвѣчалъ старикъ. Два года, какъ поселился я на берегу свѣтлой Яузы, въ этой уединенной хижинѣ. Здѣсь провожу дни свои въ молитвѣ, оплакиваю прошедшія заблужденія и спасаюсь. Приди въ обитель мою, несчастный труженикъ: въ ней обрѣтешь утраченное спокойствіе, а съ нимъ и желанное забвеніе прошедшаго. Скажи мнѣ, кто указалъ тебѣ дорогу къ моей неизвѣстной хижинѣ?—Уладъ описалъ ему несчастія своей жизни.—Такъ, воскликнулъ Аркадій, выслушавъ повѣсть Уладa, здѣсь на берегу Яузы покоится несчастная твоя Марія; мнѣ назначило Божіе Провидѣніе принять послѣдніе взоры ея и примирить съ небомъ ея отлетающую душу. Слушай: въ одно утро я собиралъ коренья на берегу Яузы; внезапно поразили слухъ мой жалобныя стенанія... Иду... шагахъ въ пятидесяти нахожу женщину, молодую, прекрасную, плавающую въ крови—это была твоя Марія; вдали раздавался кон-

скій тонетъ; воинъ, одѣтый въ панцырь, мелькалъ между деревьями; онъ вскорѣ исчезъ въ густотѣ лѣса—то былъ убійца Рогдай. Беру въ объятія умирающую Марію—увы! послѣдняя минута ея уже наступила, уста и щеки ея поблѣднѣли, глаза смыкались. Медленно подняла на меня угасающій взоръ. Прими мою душу, благослови меня, сказала она, усиливаясь приложить руку мою къ сердцу. Я перекрестилъ ее—умирающая посмотрѣла на меня съ благодарностію: Ангелъ утѣшитель, сказала она, простирая ко мнѣ объятія, молись о душѣ моей, молись объ Усладѣ. Взоры ея потухли, голова наклонилась на плечо—она скончалась. Могила ея близко. Ты скоро увидишь ее, Усладъ; заря начинаетъ уже заниматься.—Ахъ! несчастная, воскликнулъ Усладъ. Какая участь! И этотъ убійца живъ!.. Нѣтъ, Божій угодникъ, клянусь у ногъ твоихъ... Усладъ, не клянись напрасно, отвѣтствовалъ старецъ; небесное правосудіе наказало Рогдая: онъ утонулъ во глубинѣ Яузы, куда занесенъ былъ конемъ своимъ, испугавшимся дикаго волка. Усмири свое сердце, другъ мой; скажи имѣстѣ со мною: вѣчное милосердіе да помилуетъ убійцу Маріи!—Усладъ утихнулъ. Очи мои прояснились, воскликнулъ онъ и простерся къ ногамъ священнаго старца. Она сохранила ко мнѣ любовь и за гробомъ. Отецъ мой, тебѣ, воспоминанію и служенію Бога посвятится отнынѣ остатокъ моей жизни.

Заря освѣтила небо, и лѣсъ оживился утреннимъ пѣніемъ птицъ. Старецъ повелъ Услада на берегъ Яузы и, указавъ на деревянный крестъ, сказалъ: здѣсь положена твоя Марія. Усладъ упалъ на колѣна, прижалъ лицо свое, орошенное слезами, къ свѣжему дерну. Милый другъ, воскликнулъ онъ, Богъ не судилъ намъ дѣлиться жизнію: ты прежде меня покинула землю; но ты оставила мнѣ драгоцѣнный залогъ твоего бытія—безвременную твою могилу. Не для того ли праведная душа твоя оставляла небо, чтобъ *указать мнѣ мое пристанище* и прекратить безотрадное странничество мое въ мірѣ? Повинуюсь тебѣ, священный, утѣшительный голосъ потеряннаго моего друга; не будетъ прискорбна для меня жизнь, посвященная гробу моей Маріи: она обратится въ ожиданіе сладкое, въ утѣшительную надежду на близкій конецъ разлуки.

Усладъ поселился въ обители Аркадія: на гробѣ Маріи построили они часовню во имя Богоматери. Прошелъ одинъ годъ, и Усладъ закрылъ глаза святому отшельнику. Еще нѣсколько лѣтъ ожидалъ онъ кончины своей въ пустынномъ лѣсѣ; наконецъ и его послѣдняя минута наступила: онъ умеръ, приклонивъ голову къ тому камню, которымъ рука его украсила могилу Маріи.

И хижина отшельника Аркадія, и скромная часовня Богоматери, и камень, нѣкогда покрывавшій могилу Маріи—все исчезло; одно только наименованіе *Марьиной Рощи* сохранено для насъ вѣрнымъ преданіемъ. Проѣзжая по Троицкой дорогѣ, взойдите на Мытищинскій водоводъ—вправѣ представится глазамъ вашимъ синѣющійся лѣсъ; тамъ, гдѣ прозрачная рѣка Яуза однимъ изгибомъ своимъ прикасается къ рощѣ и отражаетъ въ тихихъ волнахъ и древніе сѣнистые дубы и бѣдныя хижины, разсыпанныя по берегамъ ея—тамъ нѣкогда погибла несчастная Марія; тамъ сооружена была надъ гробомъ ея часовня во имя Богоматери; тамъ наконецъ и Усладъ кончилъ печальный остатокъ своей жизни.

ДВА СЛОВА ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ

[«ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ»].

Издатель имѣлъ удовольствіе получить изъ Петербурга стихи: *Надпись къ портрету моего друга П. С.* Онъ почитаетъ за долгъ напечатать ихъ въ Вѣстникѣ, позволяя себѣ однако сдѣлать поправку, которая безъ сомнѣнія будетъ пріятна и для самого автора. Вотъ стихи:

Багряная заря, румяный неба цвѣтъ,
Тѣнь рощи, въ ночь потокъ, сверкающій въ долинѣ,
Надъ печкой соловей, три граціи въ картинѣ—
Вотъ все его добро... и счастливъ! онъ поэтъ!
Семенъ Ист...минъ *).

Въ чемъ же состоитъ поправка? Въ бездѣлицѣ. Проспимъ нашихъ читателей перемѣнить два слова, и вмѣсто имени, подписаннаго подъ стихами, **Семенъ Ист...минъ**, прочесть просто: **Иванъ Дмитріевъ**; а въ доказательство, что наше требованіе не безразсудно, развернуть второй томъ книги, подъ заглавіемъ: **Сочиненія И. Дмитріева**, на 87 страницѣ—тамъ найдутъ они ту же самую надпись, напечатанную четкими Бекетовскими литерами. Но каждому свое! Старый сочинитель написалъ *янтарная заря*, а новый отдастъ преимущество слову *багряная* — слава ему! однимъ искуснымъ **маневромъ** пера онъ взялъ въ полонъ четыре прекрасные стиха, которыми разсудилъ наградить своего друга. Побѣда неоспоримая! но—смѣемъ прибавить—примѣръ опасный! Что если какому нибудь другому, автору, или самому же господину Ист...мину придетъ въ голову, *переписавъ* **Душеньку** Богдановича, поставить въ заглавіи, вмѣсто слова **Душенька**, другое, собственнаго рукодѣлья, напримѣръ: **Душечка**, и выдать эту поэму въ свѣтъ подъ своимъ именемъ... кто осмѣлится тогда заспорить? И титулъ *оригинальнаго* автора не долженъ ли уступить титулу *побѣдоноснаго*, такъ какъ иногда, къ несчастію людей, право *наслѣдника* короны уступаетъ праву ея *похитителя*? Дѣло ясное! Но горе нашимъ писателямъ—и прозаистамъ и стихотворцамъ — которыхъ сочиненія уже напечатаны и извѣстны публикѣ. Можно сказать, что они еще ожидаютъ своихъ сочинителей, или могутъ имѣть множество новыхъ, которые, въ отношеніи къ старымъ, будутъ тоже, что многіе изъ нынѣшнихъ графовъ, князей и барововъ въ отношеніи къ своимъ родоначальникамъ, съ тою только разницею, что послѣдніе пользуются именемъ своихъ предковъ, не имѣя иногда ихъ добродѣтелей, а первые будутъ пользоваться *добродѣтелями* своихъ праотцевъ, не имѣя ихъ имени. Какъ бы то ни было, но теперь пускай кто хочетъ надѣется на славу, а мы осмѣливаемся утверждать, что слава—дымъ, и что стремиться за нею есть то же, что бѣжать въ мракѣ ночи за летучимъ огнемъ, которой заводитъ—въ болото. И какъ узнать будущее? Кто, напримѣръ, поручится, что нашему старику **Ломоносову** не назначено судьбою дойти до потомства подъ именемъ какого нибудь Кубышкина, Мартышкина, или Суздрикова?

Едва лишь что сказать удастся мнѣ счастливо,
Какъ древность заворчитъ съ досадой: что за диво!
Я то же до тебя сказала и давно!
«Смѣшна беззубая! вольно
Ей послѣ не прійти, увѣждѣ!
Тогда бъ сказалъ я то же прежде!

Эта эпиграмма написана не даромъ! Давно молодые стихотворцы обвиняютъ, и едва ли не справедливо, старыхъ въ томъ, что они родились ранѣе ихъ, и завладѣвши лучшими помѣстьями на Парнасѣ, не оставили имъ почти ни одного свободнаго уголка, въ которомъ могли бы они помѣститься съ семействомъ собственныхъ своихъ стиховъ: балладъ, шарадъ, дистиховъ, акростиховъ, сонетовъ, куплетовъ и такъ далѣе, отъ надписи къ портрету до самой огромной эпической поэмы. Иные не довольствуются однѣми тщетными жалобами; но утѣшаютъ себя за потерянное право старшинства нѣкоторыми *искусными похищеніями*. И кто, повторяю, можетъ предузнать будущее? Откройте исторію! Происшествія политическаго міра не даютъ ли нѣкотораго понятія о томъ, что можетъ случиться въ мірѣ стихотворномъ? Судьба великаго Рима какъ

*) «Въ оригиналѣ выставлено все имя». *Примѣч. къ тексту.*

извѣстна: онъ возрасталъ, усиливался, наконецъ овладѣлъ вселенною—для чего же? Не для того ли, чтобы достаться въ добычу варварамъ, которые нѣсколько вѣковъ таились во глубинѣ германскихъ лѣсовъ, и вдругъ устремились на него, какъ волки на добычу свою, будучи сдвинуты съ мѣста выгнанными другими варварами, Богъ знаетъ кѣмъ и за что, изъ степей азіатскихъ. Кто бы, напримѣръ, могъ подумать, что нападеніе орды гунновъ на орду готѳовъ и переходъ послѣднихъ черезъ Дунай причинитъ погибель Западной Римской Имперіи?—Но оно такъ! и слѣдствіемъ сего происшествія, весьма неважнаго съ перваго взгляда, было совершенное уничтоженіе римской власти на Западѣ, всеобщая перемѣна въ нравахъ, правленіи, въ самыхъ наименованіяхъ земель и народовъ, горестный упадокъ наукъ и художествъ. Перенеситесь же изъ политическаго міра въ міръ стихотворный — почему не вообразить вамъ, что гдѣ-нибудь, въ неизвѣстной глуши Парнасса, скрывается орда стихотворцевъ-гунновъ, готовая при первомъ побудительномъ движеніи устремиться на владѣнія стихотворцевъ-римлянъ, ихъ разорить, присвоить и, уничтоживъ прежнихъ владѣльцевъ, погрузить самыя имена ихъ въ бездну забвенія? Le présent est gros de l'avenir, сказалъ, кажется, Декартъ. Поэты и прозаисты, будьте осторожны, готѳы уже за Дунаемъ!

ПЕЧАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВІЕ,

случившееся въ началѣ 1809 года.

«Описывая вамъ горестную судьбу моего знакомца—такъ говоритъ одинъ неизвѣстный въ письмѣ своемъ къ издателю Вѣстника—желаю, чтобы и читатели вашего журнала объ ней узнали. Для чего? спросите вы—признаться, я въ этомъ не умѣю дать себѣ вѣрнаго отчета; я слишкомъ увѣренъ, что жребій несчастнаго моего друга не можетъ перемѣниться; но сердцу моему необходимо *сообщить кому-нибудь и горесть* свою и то мучительное негодованіе, которымъ оно наполнено! Сверхъ того утѣшаю себя мыслію, что низкій злодѣй, разрушившій навсегда счастіе двухъ добрыхъ твореній, прочитавъ эти строки, ужаснется самого себя, и страшный свѣтъ проникнетъ во мрачную душу его, можетъ быть спокойную отъ совершеннаго безчувствія.

«Лиза была дворовая дѣвушка. Госпожа N** воспитала ее вмѣстѣ съ своею дочерью. Она имѣла прекрасное лицо, умъ здравой, сердце наполненное чувствами, необыкновенными въ ея состояніи и еще болѣе образованными воспитаніемъ. Лиза, осужденная жить въ рабствѣ, съ малолѣтства привыкла пользоваться преимуществами людей свободныхъ и превышающихъ ее своимъ родомъ и званіемъ. Дѣвица N** вышла замужъ; Лиза досталась ей въ приданое. Въ домѣ W**—новаго ея господина—увидѣла она Ліодора (моего пріятеля), пылкаго, добросердечнаго, благороднаго—увидѣла, полюбила,—сердце ея безъ всякой осторожности плѣнилось тѣмъ чувствомъ, котораго еще она не понимала, и которое втайнѣ влекло ее къ одному, любезнѣйшему предмету—мудрено ли! добрая Лиза имѣла не болѣе пятнадцати лѣтъ, и была еще такъ неопытна. И Ліодоръ почувствовалъ къ ней склонность—а склонность сія въ короткое время сдѣлалась страстію, но страстію нѣжною, почтительною, непорочною. Ліодоръ, осьмнадцатилѣтній юноша, имѣлъ пламенную душу; любовь значила для него счастіе, и привязанность его къ Лизѣ была источникомъ всѣхъ лучшихъ его чувствъ, всѣхъ благороднѣйшихъ его поступковъ. Два года продолжалась ихъ тайная связь, основанная на счастливомъ согласіи двухъ нѣжныхъ сердецъ, которыя не желали болѣе ничего, кромѣ спокойнаго наслажденія собственными чувствами. Ліодоръ и Лиза видались очень часто, и каждой день сильнѣе увѣряли себя, что были необходимы другъ для друга.

«Въ концѣ послѣдняго года явился въ домѣ господина W** полковникъ Т***,

вдовецъ, похоронившій двухъ женъ, человѣкъ грубой, скупой и чрезвычайно непріятный наружностію. Онъ увидѣлъ Лизу и полюбилъ ее—что значитъ полюбилъ? Почувствовалъ нѣкоторое раздраженіе въ душѣ своей, привыкшей къ однимъ удовольствіямъ грубымъ, и совершенно почти усыпленной. Лиза не замѣчала выразительныхъ взглядовъ господина полковника — и могла ли она замѣчать ихъ? Она была такъ невинна, а нѣжная привязанность къ Ліодору занимала всю ея душу. Полковникъ Z*** сдѣлался неотступнѣе, наконецъ объяснился—Лиза отвѣчала ему презрѣніемъ. Это раздражило человѣка, непривыкшаго отказывать себѣ ни въ одномъ желаніи. Могъ ли онъ вообразить, чтобъ бѣдная Лиза, рожденная *рабою*, способна была чувствовать благородіе, нежели онъ, старый дворянинъ и полковникъ! Онъ началъ за нею присматривать; скоро замѣтилъ, что она любила и была любима—ревность, которая въ сердцѣ нѣжномъ и страстномъ есть тяжкая скорбь, уничтожающая въ немъ самую привязанность къ жизни, въ сердцѣ жестокомъ и способномъ чувствовать одни желанія грубыя, есть бѣшенство, ненависть и мщеніе. Полковникъ Z*** рѣшился погубить бѣдную Лизу. Онъ сообщилъ господину W** свои замѣчанія и, разумѣется, очернилъ въ глазахъ его непорочную привязанность Лизы къ Ліодору. Молодую дѣвушку лишили прежней ея свободы. Она перестала видаться съ Ліодоромъ, или видалась съ нимъ окруженная свидѣтелями подозрительными, предубѣжденными, несправедливыми — одно только блѣдное лицо, одни только номерклые и унылые взоры ея говорили бѣдному Ліодору, что онъ любимъ, любимъ по-прежнему, любовію нѣжнѣйшею. Въ самомъ страданіи находили они нѣкоторую сладость, ибо сіе страданіе было для нихъ любовію. Но полковникъ Z*** не могъ довольствоваться однимъ несчастіемъ *своего соперника — воспламененная чувственность его требовала полной* жертвы. И что священно для человѣка безъ правилъ, развратнаго и незнакомаго ни съ однимъ движеніемъ добродѣтельнымъ! Полковникъ Z*** обманулъ и родственника своего, господина W**, увѣрилъ этого добродушнаго человѣка, что Лиза дала обѣщаніе Ліодору уѣхать съ нимъ въ Петербургъ, что все уже изготовлено къ побѣгу... однимъ словомъ, господинъ W**, желая, можетъ быть, избавить себя отъ непріятнаго безпокойства и, вѣроятно, не подозрѣвая злодѣйскихъ умысловъ родственника своего, согласился, чтобы несчастную Лизу отвезли въ подмосковную полковника Z***, находящуюся въ 17 верстахъ отъ столицы. Можете ли вообразить тотъ ужасъ, который наполнилъ душу этой бѣдной жертвы, когда объявили ей волю ея господина? Она занемогла жестокою горячкою но что же? Надъ нею не сжалились въ бреду и безпамятствѣ отвезли ее въ подмосковную полковника Z***—это случилось 28 февраля, и съ тѣхъ самыхъ поръ участь ея покрыта для меня ужасною неизвѣстностію. Но участь Ліодора... ахъ, несчастный! Полковникъ Z*** распустилъ вездѣ слухъ, что Лиза продана ему господиномъ W**; этотъ слухъ дошелъ и до Ліодора... есть люди, которыхъ сильная горесть погружаетъ въ какую-то мертвую безчувственность, въ какое-то страшное бездѣйствіе, уничтожающія въ нихъ и память и мысли и самую тѣлесную силу. Таковы были первыя чувства Ліодора — и счастливъ ненавистный его убійца. Но Ліодоръ съ того времени не приходилъ уже въ прежнее положеніе сначала онъ былъ задумчивъ, мраченъ, ни къ чему не внимателенъ, глаза его были тусклы и мертвы, лицо покрыто ужасною блѣдностію, онъ не говорилъ ни слова, казался безчувственнымъ и даже спокойнымъ; но осьмаго марта замѣтили въ немъ признаки сумасшествія. Увы! этотъ несчастный совершенно потерялъ разсудокъ; но онъ сохранилъ всю прежнюю свою кротость сумасшествіе Ліодора тихое и унылое: безпрестанно начинаетъ

говоритъ о мученіи своего сердца, о любви, о прежнемъ своемъ счастіи, твердитъ всякую минуту ея имя и задумывается. На сихъ дняхъ я былъ у его отца—ахъ! онъ имѣетъ еще отца, и какимъ жребіемъ наказало Провидѣніе этого старца: при концѣ жизни быть надзирателемъ сумасшедшаго сына! Какого жъ сына? Прелестнаго юноши, которымъ онъ утѣшался, въ которомъ заключены были послѣднія надежды его жизни! Причина сумасшествія Ліодорова была ему еще неизвѣстна—я разсказалъ ему обо всемъ. Мы оба заливались слезами, въ присутствіи бѣднаго Ліодора, который ничего не чувствовалъ и безпрестанно, съ выраженіемъ нѣжнѣйшей, глубокой страсти, твердилъ имя своей Лизы, называлъ ее своимъ ангеломъ, своимъ другомъ, своею жизнію. Ахъ! сказалъ мнѣ старикъ, Богъ терпитъ пороки и злобу; но такое безвинное, варварское гоненіе рано или поздно будетъ наказано Его правосудіемъ! Я не желаю мстить господину полковнику Z***, но я боюся узнать его!—Онъ подошелъ къ Ліодору: несчастный, какъ будто почувствовавъ, что горестный отецъ принимаетъ участіе въ его жребіи, протянулъ къ нему руки, прижался къ его сердцу и залился слезами.

«Скажите, милостивый государь, какого имени достоинъ, по вашему мнѣнію, полковникъ Z***? Онъ болѣе, нежели похититель чужой собственности: потерянную вещь, какъ бы ни была она драгоцѣнна, можно забыть или замѣнить ее другою—но что замѣнитъ потерю того блага, съ которымъ сопряжены были всѣ наши надежды, все наше счастіе? Онъ болѣе, нежели убійца: похититель жизни причиняетъ намъ одно минутное зло; но похититель счастія, оставляя намъ жизнь, даритъ насъ однимъ безполезнымъ благомъ, однимъ мучительнымъ чувствомъ нашей утраты. Извѣстна казнь, опредѣленная законами похитителю и убійцѣ; но что, скажите, опредѣлитъ законъ злодѣю, *по наружности правому* передъ его зерцаломъ, сластолюбцу, коварному клеветнику, хитрому губителю непорочности, скрывающему себя подъ личиною правоты и чести? Порочный достойнѣе наказанія, нежели преступникъ—и ему однако нѣтъ наказанія! Не говорите мнѣ о презрѣніи свѣта—свѣтъ равнодушенъ и беззаботенъ. Его легко обманешь наружностію; и кто возьметъ на себя разсматривать настоящія причины поступковъ? Въ свѣтѣ презираютъ злодѣя—но показываютъ презрѣніе только къ тѣмъ, которые не имѣютъ ни достатка, ни блеску, сопряженнаго съ чиномъ или знатностію рода. А что нужды злодѣю въ томъ презрѣніи, которое онъ заслуживаетъ, но которое отъ него скрываютъ! Полковникъ Z*** имѣетъ достатокъ; онъ можетъ угостить въ домѣ своемъ двадцать или тридцать человѣкъ—чего же болѣе? Онъ спокоенъ насчетъ общаго мнѣнія; а уваженіе нѣкоторыхъ честныхъ *чудаковъ* такъ же для него мало значитъ, какъ и уваженіе собственное. Не говорите мнѣ объ упрекахъ совѣсти—душа, пріученная къ чувствамъ грубымъ, засыпаетъ и дѣлается неспособною къ благороднымъ страданіямъ совѣсти! Я увѣренъ, что всякой закоренѣлый злодѣй спокоенъ въ сердцѣ своемъ [не говорю счастливъ], и даже почитаетъ себя правымъ по тѣхъ поръ, пока окружающіе его, по наружности, его оправдываютъ или по крайней мѣрѣ его не обвиняютъ—а много ли въ нынѣшнемъ свѣтѣ рыцарей честности и добродѣтели? Всякой старается быть честнымъ и добрымъ для себя, не заботясь о томъ, какъ его ближній! беззаботность гибельная и слишкомъ выгодная для людей порочныхъ. Итакъ, милостивый государь, нельзя надѣяться, чтобы полковникъ Z*** наказанъ былъ или строгостію законовъ, или презрѣніемъ всеобщимъ; весьма даже вѣроятно, что самая совѣсть его спокойна—я не знаю, долго ли продолжится это спокойствіе—но я желалъ бы увидѣть этого человѣка на одрѣ смертномъ.»

Издатель позволяетъ себѣ сдѣлать при этомъ случаѣ одно замѣчаніе насчетъ

нѣкоторыхъ мнимыхъ благотвореній, весьма обыкновенныхъ въ свѣтѣ. Многіе изъ русскихъ дворянъ имѣютъ при себѣ такъ называемыхъ *фаворитовъ*. Что это значитъ? Они выбираютъ или мальчика или дѣвочку изъ состоянія служителей, приближаютъ ихъ къ своей *особѣ*, даютъ имъ воспитаніе, имъ неприличное, позволяютъ имъ пользоваться преимуществами, имъ непринадлежащими, и—оставляютъ ихъ въ прежней *зависимости*. То ли называется благотвореніемъ? Человѣкъ *зависимый*, знакомый съ чувствами и понятіями людей *независимыхъ*, несчастливъ навѣки, если не будетъ дано ему благо, все превышающее—свобода! Для чего развиваете въ бѣдномъ слугѣ познанія и таланты? Для того ли, чтобы онъ могъ яснѣе почувствовать, современемъ, что Провидѣніе наградило его такимъ удѣломъ, въ которомъ и таланты его и познанія должны угаснуть безплодно? Если вы образуете его единственно для себя, то ваше благотвореніе есть самый жестокой эгоизмъ, или лучше сказать злодѣйство, украшенное блестящею личиною благодѣтельности! Просвѣщеніе должно возвышать человѣка въ собственныхъ его глазахъ—а что унизительнѣе рабства! Вы замѣчаете въ своемъ человѣкѣ дарованія и умъ необыкновенный — итакъ, прежде нежели рѣшитесь открыть ему тайну его сокровища, возвратите ему свободу! или убійственное чувство рабства уничтожитъ всѣ ваши о немъ попеченія. Вы или укажете ему дорогу къ испорченности и разврату; или душа его—если она неспособна привязаться къ пороку—увянетъ отъ тайной скорби, всегда неразлучной съ униженіемъ. Примѣры безчисленны. Я знаю одного живописца — онъ былъ крѣпостной человѣкъ добраго господина, получилъ хорошее образованіе, жилъ на волѣ и пользовался талантомъ своимъ, но еще не имѣлъ свободы. Что же? Господинъ его умеръ — и этотъ бѣднякъ достался другому, вѣроятно не имѣющему особеннаго уваженія къ человѣчеству. *Новый господинъ* взялъ его въ домъ и теперь этотъ человѣкъ, который прежде принимаемъ былъ съ отличіемъ и въ лучшемъ обществѣ, потому что вмѣстѣ съ своимъ талантомъ имѣлъ и наружность весьма благородную—ѣздитъ въ ливреѣ за каретою, разлученъ съ женою, которая отдана въ приданое за дочерью господина его—я встрѣтился съ нимъ въ одной лавкѣ, и едва могъ узнать его въ новомъ нарядѣ, а еще болѣе по непріятному запаху вина, которое, вѣроятно, служитъ ему нѣкоторымъ утѣшеніемъ въ горестной его участи. Гдѣ же плоды благотвореній, оказанныхъ ему *добрымъ* его господиномъ? Повторяю: такія благотворенія гибельны и по большей части бываютъ причиною одного разврата. Отчего, напримѣръ, замѣчаютъ въ простыхъ крестьянахъ менѣе испорченности, нежели въ дворовыхъ людяхъ, близкихъ къ господамъ своимъ? Не оттого ли, что послѣдніе, сохраняя свое рабство, имѣютъ яснѣйшее понятіе о состояніи людей свободныхъ, и научаясь презирать собственное, досадуютъ на судьбу свою—а ихъ развращеніе не есть ли необходимое слѣдствіе сей тайной досады, невольно отравляющей душу? Анекдотъ, сообщенный издателю отъ неизвѣстнаго, можетъ быть страшнымъ урокомъ для многихъ, такъ называемыхъ благотворителей. Для чего эта погибшая Лиза получила понятіе о такомъ счастіи, о которомъ, вѣроятно, никогда бы не могла подумать, если бъ безразсудная благотворительность ея госпожи не извлекла ее изъ состоянія простой служанки? Для чего воспитали ее съ такимъ тщаніемъ? Для того ли, чтобы она съ живѣйшимъ ужасомъ могла теперь осматривать ту бездну, въ которую низвергнута коварною злобою развратника? Кто жъ настоящіе ея губители? Не тѣ ли самые, которые, можетъ быть, въ свѣтѣ присвоиваютъ себѣ великолѣпное титло ея благотворителей?

О БАСНѢ И БАСНЯХЪ КРЫЛОВА.

Что въ наше время называется баснею? Стихотворный разсказъ происшествія, въ

которомъ дѣйствующими лицами обыкновенно бываютъ или животныя, или твари неодушевленныя. Цѣль сего разсказа — впечатлѣніе въ умѣ какой нибудь нравственной истины, заимствуемой изъ общежитія, и слѣдовательно болѣе или менѣе полезной.

Отвлеченная истина, предлагаемая простымъ и вообще для рѣдкихъ пріятнымъ языкомъ философа-моралиста, дѣйствуя на одинъ способности умственныя, оставляетъ въ душѣ человѣческой одинъ только легкій и слишкомъ скоро исчезающій слѣдъ. Та же самая истина, представленная въ дѣйствіи, и слѣдовательно пробуждающая въ насъ и чувство и воображеніе, принимаетъ въ глазахъ нашихъ образъ вещественный, впечатлѣвается въ разсудкѣ сильнѣе и должна сохраниться въ немъ долѣе. Какое сравненіе между сухимъ понятіемъ, облеченнымъ въ простую одежду словъ, и тѣмъ же самымъ понятіемъ, одушевленнымъ, украшеннымъ пріятностію вымысла, имѣющимъ отличительную, замѣтную для воображенія нашего форму? — Таковъ главный *предметъ* баснописца.

Дѣйствующими лицами въ баснѣ бываютъ обыкновенно или животныя, лишенныя разсудка, или творенія неодушевленныя. Полагаю тому четыре главныя причины. Первая: *особенность характера*, которою каждое животное отлично одно отъ другаго. Басня есть мораль въ дѣйствіи; въ ней общія понятія нравственности, извлекаемыя изъ общежитія, примѣняются, какъ сказано выше, къ случаю частному, и посредствомъ сего примѣненія дѣлаются ощутительнѣе. Тотъ міръ, который находимъ въ баснѣ, есть нѣкоторымъ образомъ чистое зеркало, въ которомъ отражается *міръ человѣческій*. Животныя представляютъ въ ней человѣка, но человѣка въ нѣкоторыхъ только отношеніяхъ, съ нѣкоторыми свойствами, и каждое животное, имѣя при себѣ свой неотъемлемый постоянный характеръ, есть, такъ сказать, *готовое* и для каждаго ясное изображеніе какъ человѣка, такъ и характера, ему принадлежащаго. Вы заставляете дѣйствовать волка — я вижу кровожаднаго хищника; выводите на сцену лисицу — я вижу льстеца или обманщика — и вы избавлены отъ труда прибѣгать къ излишнему объясненію. Второе: перенося воображеніе читателя въ новый мечтательный міръ, вы доставляете ему удовольствіе *сравнивать* вымышленное съ существующимъ (которому первое служитъ подобіемъ), а удовольствіе сравненія дѣлаетъ и самую мораль привлекательною. Третье: басня есть нравственный *урокъ*, который, съ помощію скотовъ и вещей неодушевленныхъ, даете вы человѣку, представляя ему въ примѣръ существа, отличныя отъ него натурою, и совершенно для него чуждыя, вы щадите его самолюбіе, вы заставляете его судить безпристрастно, и онъ нечувствительно произноситъ строгій приговоръ надъ самимъ собою. Четвертое: *прелесть чудеснаго*. На ту сцену, на которой привыкли мы видѣть дѣйствующимъ человѣка, выводите вы могуществомъ поэзіи такія творенія, которыя въ существенности удалены отъ нея природою — чудесность, столь же для насъ пріятная, какъ и въ эпической поэмѣ дѣйствіе сверхъестественныхъ силъ, духовъ, сильфовъ, гномовъ и имъ подобныхъ. Разительность чудеснаго сообщается нѣкоторымъ образомъ и той морали, которая сокрыта подъ нимъ стихотворцемъ: а читатель, чтобы достигнуть до этой морали, согласенъ и самую чудесность принимать за естественное.

Напрасно приписываютъ изобрѣтеніе басни рабству *), а честь сего изобрѣтенія отдаютъ въ особенности какому-то азіятскому народу. Не знаю, почему рабамъ

*) Il est vraisemblable que les fables, dans le goût de celles qu'on attribue à Ésope et qui sont plus anciennes que lui, furent inventées en Asie par les premiers peuples subjugués; des hommes libres n'auraient pas eu toujours besoin de déguiser la vérité: on ne peut parler à un tyran qu'en paraboles, encore ce détour même est-il dangereux. *Voltaire. Questions sur l'Encyclopédie. Art. Fable.* Примѣч. въ текстѣ.

приличнѣе употреблять иносказанія, нежели свободнымъ. Если невольникъ, опасаясь раздражить тирана, принужденъ скрывать истину подъ маскою вымысла, то человѣкъ свободный, въ угожденіе самолюбію — другаго рода тирану и, можетъ быть, еще болѣе взыскательному — не менѣе обязанъ украшать предлагаемое имъ наставленіе формою пріятною. Въ обоихъ случаяхъ положеніе моралиста одинаково. Что же касается до изобрѣтенія, то басня, кажется намъ, принадлежитъ не одному народу въ особенности, а всѣмъ вообще, равно какъ и всѣ другіе роды поэзіи. Вѣроятно, что прежде она была собственностію не стихотворца, а оратора и философа. И ораторъ и философъ, разсуждая о предметахъ политики и нравственности, употребляли, для большей ясности, сравненія и примѣры, заимствованные изъ общежитія или природы. Отъ простаго примѣра, въ которомъ представляемо было одно только сходство идеи предлагаемой съ предметомъ заимствованнымъ, легко могли перейти къ баснѣ, въ которой предлагаемая истина выводима изъ *дѣйствія* вымышленнаго, но имѣющаго отношеніе къ дѣйствію настоящему и, такъ сказать, заступающему его мѣсто [ибо, для произведенія сильнѣйшаго впечатлѣнія, дѣйствіе вымышленное должно быть принимаемо въ баснѣ (условно) за сбыточное, возможное, и какъ будто въ самомъ дѣлѣ случившееся]. Примѣръ объясняетъ мысль, но онъ сливается съ ея предложеніемъ и, такъ сказать, въ немъ исчезаетъ. Басня есть нѣчто отдѣльное и цѣлое, она заключаетъ въ себѣ дѣйствіе для насъ привлекательное — отъ сей отдѣльности и цѣлости и самая мораль получаетъ характеръ отличительный; а, будучи выводима изъ дѣйствія привлекательнаго, сама становится для насъ привлекательнѣе.

Въ исторіи басни можно замѣтить *три* главныя эпохи: первая, когда она была не иное что, какъ простой реторическій способъ, примѣръ, сравненіе; вторая, когда получила бытіе отдѣльное и сдѣлалась однимъ изъ дѣйствительнѣйшихъ способовъ предложенія моральной истины для оратора или философа нравственнаго — таковы басни, извѣстныя намъ подъ именемъ Эзоповыхъ, Федровы и въ наше время Лессинговы; третья, когда изъ области краснорѣчія перешла она въ область поэзіи, то есть получила ту форму, которой обязана въ наше время Лафонтену и его подражателямъ, а въ древности Горацію *). Древніе философы — [древнихъ баснописцевъ надлежитъ скорѣе причислить къ простымъ моралистамъ, нежели къ поэтамъ] — не сочиняли басень; они разсказывали ихъ при случаѣ, примѣняя ихъ къ обстоятельствамъ или къ той истинѣ, которую доказать были намѣрены; они хотѣли не нравиться своимъ разсказомъ, а просто наставлять, и для того, употребляя басню, какъ способъ убѣжденія, менѣе заботились о формѣ ея, нежели о согласіи своего вымысла съ моральною истиною, изъ него извлекаемою, или тѣмъ случаемъ, заимствованнымъ изъ общежитія, которому онъ служилъ подобіемъ. Слѣдственно отличительный характеръ басень древнихъ должна быть краткость. Моралистъ, имѣя въ предметѣ: запечатлѣть въ умѣ читателя или слушателя извѣстное правило практической морали, долженъ необходимо избѣгать всякой излишности въ разсказѣ — слѣдовательно всякое *украшеніе* почитать излишностію. Языкъ его долженъ быть самый простой и краткій — слѣдовательно проза [Федръ писалъ въ стихахъ; но его стихи отличны отъ простой прозы однимъ только размѣромъ]; наконецъ, заставляя дѣйствовать скотовъ и тварей неодушевленныхъ, онъ долженъ употреблять ихъ какъ одни *аллегорическіе образы* тѣхъ характеровъ, которые намѣренъ изобразить — слѣдовательно къ одномъ только отношеніи къ симъ характерамъ, а не давать каждому характера собственнаго, ему принадлежащаго, неотносительнаго, что отвлекло бы вниманіе отъ главнаго предмета, то есть,

*) Сатира VI, книга II. *Примѣч. въ текстѣ.*

отъ морали, и обратило бы его на принадлежность, то есть, на тѣ аллегорическія лица, которыя входятъ въ составъ басни. Лучшимъ образцомъ такихъ басенъ могутъ быть, по мнѣнію моему, Лессинговы. — Но, сдѣлавшись собственностію стихотворца, басня перемѣнила и форму: что прежде было простою принадлежностію — я говорю о дѣйствіи — то сдѣлалось главнымъ и столь же важнымъ для стихотворца, какъ и самая мораль. Поэзію называютъ *подражаніемъ природѣ*; цѣль ея: *нравиться* воображенію, образуя, разсудокъ и сердце — слѣдовательно и баснописецъ-поэтъ необходимо долженъ, подражая той природѣ, которую беретъ за образецъ, *нравиться* воображенію своимъ подражаніемъ. Итакъ, въ баснѣ стихотворной я долженъ подъ личиною вымысла находить существенный міръ со всѣми его отрѣнками; животныя, герои басни, представляютъ людей: слѣдовательно они должны для воображенія моего сохранить не только собственный данный природою имъ образъ, но вмѣстѣ и относительный, данный имъ стихотворцемъ, такъ чтобы я видѣлъ предъ собою въ одномъ и томъ же лицѣ и животное и тотъ человѣческій характеръ, которому оно служитъ изображеніемъ, со всѣми ихъ отличительными чертами. — Баснописецъ-поэтъ составляетъ *одинъ фантастическій* міръ изъ *двухъ существенныхъ*: въ одномъ изъ сихъ послѣднихъ заимствуетъ онъ характеры, свойства моральныя и самое дѣйствіе, въ другомъ одни только лица. Чего же я отъ него требую? Чтобы онъ плѣнялъ мое воображеніе вѣрнымъ изображеніемъ лицъ; чтобы онъ своимъ разсказомъ принудилъ меня принимать въ нихъ живое участіе; чтобы овладѣлъ и вниманіемъ моимъ и чувствомъ, заставляя ихъ дѣйствовать согласно съ моральными свойствами, имъ данными; чтобы волшебствомъ поэзіи увлекъ меня вмѣстѣ съ собою въ тотъ мысленный міръ, который созданъ его воображеніемъ, и сдѣлалъ на время, такъ сказать, согражданиномъ его обитателей; и чтобы, наконецъ, удовлетворилъ разсудку моему какою нибудь моральною истиною, которая не иное что, какъ цѣль, къ которой привелъ онъ меня стезею цвѣтущею. Таковы басни стихотворцевъ новѣйшихъ, и въ особенности Лафонтеновы.

Изъ всего, сказаннаго выше, слѣдуетъ, что басня [не смотря на Лессингово, нѣсколько натянутое раздѣленіе] можетъ быть естественно: или *прозаическая*, въ которой вымыселъ безъ всякихъ украшеній, ограниченный однимъ простымъ разсказомъ, служитъ только прозрачнымъ покровомъ нравственной истины; или *стихотворная*, въ которой вымыселъ украшенъ всѣми богатствами поэзіи, въ которой главный предметъ стихотворца: запечатлѣвая въ умѣ нравственную истину, нравиться воображенію и трогать чувство.

Что же, спрашиваемъ, составляетъ совершенство басни? Въ прозаической — краткость, ясный слогъ, соотвѣтственность вымышленнаго происшествія той морали, которая должна быть изъ него извлекаема. Но стихотворная? Она требуетъ гораздо болѣе, и мы, чтобъ получить нѣкоторое понятіе о совершенствѣ ея, возьмемъ за того стихотворца, который, первый показавъ образецъ стихотворной басни, остался навсегда образцомъ неподражаемымъ — я говорю о Лафонтенѣ. Опредѣливъ характеръ сего единственнаго стихотворца, мы въ то же время опредѣлимъ и истинный характеръ *совершенной* басни.

Нельзя, мнѣ кажется, достигнуть до надлежащаго превосходства въ семъ родѣ стихотворенія, не имѣвъ того характера, который находимъ въ Лафонтенѣ, получившемъ отъ современниковъ наименованіе *добродушнаго*. Баснописецъ есть сынъ природы, предпочтительно предъ всѣми другими стихотворцами. Самый обыкновенный умъ способенъ украсить нравоученіе вымысломъ, вывесть на сцену скотовъ и дать языкъ вещамъ неодушевленнымъ — но будетъ ли въ произведеніяхъ его та прелесть, которую находимъ въ баснихъ и вообще во всѣхъ сочиненіяхъ Лафонтена? Чтобъ принимать живое уча-

стіе къ тѣхъ маловажныхъ предметахъ, которые должны *овладѣть вниманіемъ* баснописца, и сдѣлать ихъ занимательными для самаго хладнокровнаго читателя, надлежитъ имѣть сію неискусственную чувствительность невиннаго сердца, которая привязываетъ его ко всѣмъ созданіямъ природы безъ изъятія; сію полноту души, съ которою бываемъ мы счастливы при совершенномъ недостаткѣ преимуществъ, доставляемыхъ и обществомъ и фортуною, съ которою мы веселы въ уединеніи, и заняты, не имѣя никакого дѣла: сіе расположеніе къ добру, съ которымъ все представляется намъ и въ обществѣ и въ природѣ прекраснымъ, потому что все бываетъ тогда украшено въ глазахъ нашихъ собственнымъ нашимъ чувствомъ; сію беззаботность, которая оставляетъ намъ полную свободу заниматься съ удовольствіемъ такими вещами, которыя для другихъ какъ будто не существуютъ, или кажутся презрѣнными; сіе *простодушіе*, которое увѣряетъ насъ, что всѣ имѣютъ одинакое съ нами чувство и всѣ способны принимать одинакое съ нами участіе въ тѣхъ предметахъ, которые для насъ одни привлекательны; тогда вся природа наполнена для насъ существами знакомыми и любезными нашему сердцу; всѣ творенія составляютъ наше семейство — мы трогаемся судьбою увядающаго цвѣтка, раздѣляемъ заботливость ласточки, свивающей для малютокъ своихъ гнѣздо, наслаждаемся, внимая пѣнію пустыннаго соловья, и сожалѣемъ о немъ, будучи *искренно увѣрены*, что и онъ имѣетъ свои потери; чувства сіи живы, потому что душа, наполненная ими, будучи истинно непорочна, предается имъ съ младенческою беззаботностію, не развлекаема никакимъ посторонним безпокойствомъ, никакою возмутительною страстію. Таковъ характеръ Лафонтена. Можно ли жъ удивляться, что басни его имѣютъ для всѣхъ неизъяснимую прелесть? Лафонтенъ разсказываетъ намъ о тѣхъ существахъ, которыя къ нему близки, и первый совершенно увѣренъ въ истинѣ своего разсказа. Подумаешь, что натура наименовала его историкомъ того міра, въ который онъ переселился воображеніемъ; онъ разсказываетъ съ чувствомъ о своей родинѣ; онъ хочетъ и васъ заставить полюбить ту сторону, которая ему такъ мила и знакома; онъ говоритъ съ вами не для того, чтобъ быть вашимъ наставникомъ, но для того, что ему весело говорить; не ищите въ баснях его морали — ея нѣтъ! — но вы найдете въ нихъ его душу, которая вся изливается передъ вами въ прелестныхъ чувствахъ, въ простыхъ, для всякаго ясныхъ мысляхъ, безъ умысла, безъ искусства; вы слышите милаго младенца, исполненнаго высокой мудрости; научаясь любить его, становитесь сами и лучше и довольнѣе собственнымъ бытіемъ, и нечувствительно находите все вокругъ себя прекраснымъ. Читая Лафонтена, замѣчаемъ въ душѣ своей то чувство, которое обыкновенно производитъ въ ней присутствіе скромнаго, милаго, совершенно добродушнаго мудреца — она спокойна, счастлива, довольна и природою и собою. Съ такимъ единственнымъ характеромъ Лафонтенъ соединялъ и дарованія поэта въ высочайшей степени. Что называю дарованіемъ поэта? Воображеніе, представляющее предметы живо и съ самой привлекательной стороны, способность изображать сіи предметы для другихъ приличными имъ красками, и такъ, что бы они представлялись имъ съ такою же ясностію, съ какою и намъ самимъ представляются; способность | въ особенности необходимая баснописцу | разсказывать просто, пріятно, безъ принужденія, но разсказывать языкомъ стихотворнымъ, то есть, украшая безъ всякой натяжки простой разсказъ выраженіями высокими, поэтическими вымыслами, картинами, и разнообразя его смѣлыми оборотами. Таковъ Лафонтенъ въ своихъ басняхъ. Никто не умѣетъ столь непринужденно переходить отъ простаго предмета къ высокому, отъ обыкновеннаго разсказа къ стихотворному, никто не имѣетъ такого разнообразія оборотовъ; такой живописности выраженій,

такого искусства сливать съ простымъ описаніемъ остроумныя мысли или нѣжныя чувства. Найдите въ баснѣ: *Ястребы и Голуби* (Livre VII. Fable VIII.) описаніе сраженія; читая его, можете вообразить, что дѣло идетъ о римлянахъ и германцахъ: такъ много въ немъ поэзіи; но тонъ стихотворца ни мало не покажется вамъ неприличнымъ его предмету. Отъ чего это? Отъ того, что онъ воображеніемъ присутствуетъ при томъ происшествіи, которое описываетъ, и первый совершенно увѣренъ въ его важности; не мыслитъ васъ обманывать, но самъ обмануть. Въ этой же баснѣ замѣтите вы удивительное искусство Лафонтена: занимаясь однимъ предметомъ, изображать мимоходомъ предметы посторонніе и пріятные; онъ говоритъ о ястребахъ:

Certain sujet fit naître la dispute
Chez les oiseaux — non ceux que le prin-
temps
Mène à sa cour et qui sous la feuillée,
Par leur exemple et leurs sons éclatants
Font que Vénus est en nous réveillée, и
проч.

Вашему воображенію представляются первыя минуты весны: вы видите молодыя деревья, подъ которыми поютъ птицы, и со всѣмъ тѣмъ ваше вниманіе не отвлечено отъ главнаго предмета; ибо эта прелестная картина естественно сливается съ описаніемъ главнымъ. Далѣе, говоря о голубяхъ, Лафонтенъ одною чертою изображаетъ и ихъ наружность и ихъ характеръ:

. . . . . Nation
Au col changeant, au cœur tendre et fidèle.

Въ первомъ полустишіи картина; въ послѣднемъ трогательное нѣжное чувство; стихотворецъ, изображая предметы, сообщаетъ вамъ и то пріятное расположеніе души, съ какимъ онъ самъ на нихъ смотритъ. Таково неподражаемое искусство Лафонтена.

Изъ всего, что сказано выше, легко можно вывести общія правила для баснописца. Оставляя этотъ трудъ нашимъ читателямъ, мы обратимъ глаза на *Басни Крылова*, которыя подали намъ поводъ къ симъ разсужденіямъ *). Чтобы опредѣлить характеръ нашего стихотворца, надлежитъ разсматривать басни его не съ той точки зрѣнія, съ какой обыкновенно смотримъ на басни Лафонтена. Лафонтенъ, который не выдумалъ ни одной собственной басни, почитается, не взирая на то, поэтомъ оригинальнымъ. Причина ясна: Лафонтенъ, заимствуя у другихъ вымыслы, ни у кого не заимствовалъ ни той прелести слога, ни тѣхъ чувствъ, ни тѣхъ мыслей, ни тѣхъ истинно стихотворныхъ картинъ, ни того характера *простоты*, которыми украсилъ и, такъ сказать, обратилъ въ свою собственность заимствованное. *Разсказъ* принадлежитъ Лафонтену; а въ стихотворной баснѣ разсказъ есть главное. Крыловъ, напротивъ, занялъ у Лафонтена [въ большей части басень своихъ] и вымыселъ и разсказъ: слѣдственно можетъ имѣть права на имя автора оригинальнаго по одному только искусству присвоивать себѣ чужія мысли, чужія чувства и чужой геній. Не опасаясь никакого возраженія, мы позволяемъ себѣ утверждать рѣшительно, что подражатель-стихотворецъ можетъ быть авторомъ *оригинальнымъ*, хотя бы онъ не написалъ и ничего собственнаго. Переводчикъ въ *прозѣ* есть рабъ; переводчикъ *въ стихахъ* — соперникъ. Вы видите двухъ актеровъ, которые занимаютъ искусство декламаціи у третьяго; одинъ подражаетъ съ рабскою точностію и взорамъ и тѣлодвиженіямъ образца своего; другой напротивъ, стараясь сравниться съ нимъ въ превосходствѣ представленія одинакой роли, употребляетъ способы *собственные*, ему одному приличные. Поэтъ оригинальный воспламеняется идеаломъ, который находитъ *у себя въ воображеніи*; поэтъ-подражатель въ такой же степени воспламеняется образцомъ своимъ, который заступаетъ для него тогда мѣсто идеала собственнаго:

*) Здѣсь говорится о *первомъ* изданіи Крылова, въ одной книжкѣ, 1808 года. *Примѣч. къ тексту.*

слѣдственно переводчикъ, уступая образцу своему пальму изобрѣтательности, долженъ необходимо имѣть почти одинакое съ нимъ воображеніе, одинакое искусство слога, одинакую силу въ умѣ и чувствахъ. Скажу болѣе: подражатель, не будучи изобрѣтателемъ въ *цѣломъ*, долженъ имъ быть непремѣнно *по частямъ*; прекрасное рѣдко переходитъ изъ одного языка въ другой, не утративъ нисколько своего совершенства: что же обязанъ дѣлать переводчикъ? Находить у себя въ воображеніи такія красоты, которыя бы могли служить *замѣною*, слѣдовательно производить *собственное*, равно и превосходное: не значитъ ли это быть творцомъ? И не потребно ли для того имѣть дарованіе писателя оригинальнаго? Замѣтимъ, что для переводчика басни оригинальность такого рода гораздо нужнѣе, нежели для переводчика оды, эпопеи и другихъ *возвышенныхъ* стихотвореній. Всѣ языки имѣютъ между собою нѣкоторое сходство въ высокомъ, и совершенно отличны одинъ отъ другаго въ простомъ, или, лучше сказать, въ простонародномъ. Оды и прочія возвышенныя стихотворенія могутъ быть переведены довольно близко, не потерявъ своей оригинальности; напротивъ басня [въ которую, надобно замѣтить, входятъ и красоты, принадлежащія всѣмъ другимъ родамъ стихотворства] будетъ совершенно испорчена переводомъ близкимъ. Что жъ долженъ дѣлать баснописецъ-подражатель? Творить въ подражаніи своемъ красоты, отвѣчающія тѣмъ, которыя онъ находитъ въ подлинникѣ. А если онъ не имѣетъ ни чувства, ни воображенія того стихотворца, которому подражаетъ, что будетъ его переводъ? Смѣшная карикатура прекраснаго подлинника.

Мы позволяемъ себѣ утверждать, что Крыловъ можетъ быть причисленъ къ переводчикамъ искуснымъ, и потому точно заслуживаетъ имя стихотворца оригинальнаго. Слогъ басенъ его вообще легокъ, чистъ и всегда пріятенъ. Онъ разсказываетъ свободно, и нерѣдко съ *тѣмъ милымъ простодушіемъ*, которое такъ плѣнительно въ Лафонтенѣ. Онъ имѣетъ гибкій слогъ, который всегда примѣняетъ къ своему предмету: то возвышается въ описаніи величественномъ, то трогаетъ насъ простымъ изображеніемъ нѣжнаго чувства, то забавляетъ смѣшнымъ выраженіемъ или оборотомъ. Онъ искусенъ въ живописи — имѣя даръ воображать весьма живо предметы свои, онъ умѣетъ и переселять ихъ въ воображеніе читателя; каждое дѣйствующее въ баснѣ его лицо имѣетъ характеръ и образъ, ему одному приличные; читатель точно присутствуетъ мысленно при томъ дѣйствіи, которое описываетъ стихотворецъ.

Лучшими баснями изъ XXIII, имѣющихъ каждая свое достоинство, почитаемъ слѣдующія: *Два Голубя*, *Невѣста*, *Стрекоза и Муравей*, *Пустынникъ и Медвѣдь*, *Лягушки, просящія царя*.

Два Голубя, басня, переведенная изъ Лафонтена, кажется намъ *почти* столько же совершенною, какъ и басня Дмитріева того же имени: въ обѣихъ разсказъ равно пріятенъ; въ послѣдней болѣе неэзіи, краткости и силы въ слогѣ; зато въ первой, если не ошибаемся, чувства выражены съ большимъ простодушіемъ.

Два голубя, какъ два родные брата жили;
Другъ безъ друга они не ѣли и не пили;
Гдѣ видишь одного, другой ужъ вѣрно тамъ;
И радость и печаль, все было пополамъ.
Не видѣли они, какъ время пролетало:
Бывало грустно имъ, а скучно не бывало.

Въ этихъ шести стихахъ, которые всѣ принадлежатъ подражателю, распространенъ одинъ прекрасный стихъ Лафонтена:

Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre.

но они вѣрно не покажутся никому излишними. Можно ли пріятнѣе представить счастливое согласіе двухъ друзей? Вотъ то, что называется замѣнить красоты подлинника собственными. Вы конечно замѣтили послѣдній, простой и нѣжный стихъ:

Бывало грустно имъ, а скучно не бывало.

Ну, кажется, куда бъ хотѣть
Или отъ милой, иль отъ друга? -
Нѣтъ, вздумалъ странствовать одинъ изъ
них: летѣть.

И этихъ стиховъ нѣтъ въ подлинникѣ— но они милы тѣмъ простодушіемъ, съ какимъ выражается въ нихъ нѣжное чувство.

Хотите ли картинъ? Вотъ изображеніе бури въ одномъ живописномъ стихѣ:

Вдругъ въ встрѣчу дождь и громъ;
Подъ нимъ, какъ океанъ, синѣетъ степь кругомъ.

Вотъ изображеніе опасности голубка-путешественника, котораго преслѣдуетъ ястребъ:

Ужъ когти хищные надъ нимъ распущены;
Ужъ холодомъ въ него съ широкихъ крыльевъ пашетъ.

Въ Лафонтенѣ этихъ стиховъ нѣтъ; но подражатель, кажется, хотѣлъ замѣнить ими другіе два, нѣсколько ослабленные имъ въ переводѣ:

...Quand des nues
Fond á son tour un aigle aux ailes étendues.

Сожалѣемъ также, что онъ выпустилъ прекрасный стихъ, который переведенъ такъ удачно у Дмитріева:

Le pigeon profita du conflit des voleurs—
Итакъ, благодаря стеченію воронъ.

Стихъ тѣмъ болѣе важный, что въ немъ стихотворецъ мимоходомъ одною чертою напоминаетъ намъ о томъ, что дѣлается въ свѣтѣ, гдѣ иногда раздоръ злодѣевъ бываетъ спасеніемъ невинности. Это искусство *намекать* принадлежитъ въ особенности Лафонтену. Заключеніе басни прекрасно въ обоихъ переводахъ, съ тою только разницею, что Крыловъ замѣнилъ стихи подлинника собственными, а Дмитріевъ перевелъ очень близко Лафонтена и съ нимъ сравнился. Выпишемъ и тѣ и другіе:

Князя охоту видѣть свѣтъ,
Поплелся кое-какъ домой безъ новыхъ бѣдъ...
Счастливъ еще: его тамъ дружба ожидаетъ!
Къ отрадѣ онъ своей
Услугу, лѣкаря и помощь видитъ въ ней;
Съ ней скоро и бѣды и горе забываетъ.
О вы, которые объѣхать свѣтъ вокругъ
Желаніемъ горите,
Вы эту басенку прочтите,
И въ дальній путь такой пускайтеся не вдругъ:
Что бъ ни сулило вамъ воображенье ваше—
Не вѣрьте, той земли не сыщете вы краше,
Гдѣ ваша милая и гдѣ живетъ вашъ другъ.
Крыловъ.

О вы, которыхъ богъ любви соединилъ,
Хотите ль странствовать? Забудьте гордый Нилъ
И далѣ ближняго ручья не разлучайтесь.
Чѣмъ любоваться вамъ? Другъ другомъ восхищайтесь;
Пускай одинъ въ другомъ находитъ каждый часъ
Прекрасный, новый міръ, всегда разнообразный.
Бываетъ ли въ любви хоть мигъ для сердца праздный?
Любовь, повѣрьте мнѣ, все замѣнитъ для васъ.
Я самъ любилъ—тогда за лугъ уединенный,
Присутствіемъ моей любезной озаренный,
Я не хотѣлъ бы взять ни мраморныхъ палатъ,
Ни царства въ небесахъ... Придете ль вы назадъ,
Минуты радостей, минуты восхищеній?
Иль буду я одинъ воспоминаньемъ жить?
Ужель прошла пора столь милыхъ обольщеній,
И полно мнѣ любить?
Дмитріевъ.

Послѣдніе стихи лучше первыхъ — но должно ли ихъ и сравнивать? Крыловъ, не желая переводить снова, а можетъ быть и не надѣясь перевести лучше то, что переведено какъ нельзя лучше, замѣнилъ красоту подлинника собственною. Заключеніе басни его [если не сравнивать его ни съ Лафонтеновымъ, ни съ переводомъ Дмитріева] прекрасно само по себѣ. Напримѣръ, послѣ подробнаго описанія несчастій голубка-путешественника, не тронетъ ли васъ этотъ одинъ прекрасный и нѣжный стихъ?

Счастливъ еще: его тамъ дружба ожидаетъ.

Авторъ поставилъ одно имя дружбы въ противоположность живой картинѣ страданія, и вы спокойны насчетъ печальнаго странника. Поэтъ далъ полную волю вашему воображенію представить вамъ всѣ тѣ отрады, которыя найдетъ голубокъ его, возвратившись къ своему другу. Здѣсь всякая подробность была бы излишнею и только ослабила бы главное дѣйствіе. Посредственный писатель, вѣроятно, воспользовался бы этимъ случаемъ, чтобы наскучить читателю обыкновенными ис-

раженіями чувства—но истинное дарованіе воздержнѣе: оно обнаруживается и въ томъ, что поэтъ описываетъ, и въ томъ, о чемъ онъ умалчиваетъ, полагаясь на чувство читателя. Послѣдніе три стиха прелестны своею простотою и нѣжностію.

Выпишемъ еще нѣсколько примѣровъ. Вотъ прекрасное изображеніе моровой язвы:

Лютѣйшій бичъ небесъ, природы ужасъ, моръ
Свирѣпствуетъ въ лѣсахъ: уныли звѣри;
Въ адъ распахнулись настежь двери;
Смерть рыщетъ по полямъ, по рвамъ, по высямъ горъ;
Вездѣ разметаны ея свирѣпства жертвы;
На часъ по тысячѣ валится ихъ;
А тѣ, которые въ живыхъ,
Такой же части жди, чуть ходятъ полумертвы.
Тѣ жъ звѣри, да не тѣ въ бѣдѣ великой той:
Не давитъ волкъ овецъ, и смиренъ какъ святой;
Давъ курамъ роздыхъ и покой,
Лиса постится въ подземельѣ;
И пища имъ на умъ нейдетъ;
Съ голубкой голубь врозь живетъ;
Любви вномнѣ больше нѣтъ;
А безъ любви какое ужъ веселье!

Крыловъ занялъ у Лафонтена искусство смѣшивать съ простымъ и легкимъ разсказомъ картины, истинно стихотворныя:

Смерть рыщетъ по полямъ, по рвамъ, по высямъ горъ;
Вездѣ разметаны ея свирѣпства жертвы.

два стиха, которые не испортили бы никакого описанія моровой язвы въ эпической поэмѣ.

Не давитъ волкъ овецъ, и смиренъ какъ святой;
Давъ курамъ роздыхъ и покой,
Лиса постится въ подземельѣ.

Здѣсь разсказъ стихотворный забавенъ и легокъ, но онъ не составляетъ непріятной противоположности съ поэтическою картиною язвы. А въ слѣдующихъ трехъ стихахъ съ простымъ описаніемъ сливается нѣжное чувство:

Съ голубкой голубь врозь живетъ;
Любви въ помнѣ больше нѣтъ,
А безъ любви какое ужъ веселье!

Это переводъ, и самый лучшій, прекрасныхъ Лафонтеновыхъ стиховъ:

Les tourterelles se fuyaient:
Plus d'amour, partant plus de joie!

Какая разница съ переводомъ Княжнина, который однако не дуренъ:

И горлицы другъ друга убѣгаютъ,
Нѣтъ болѣе любви въ лѣсахъ и нѣтъ утѣхъ!

Вотъ еще нѣсколько примѣровъ; мы оставляемъ замѣтить въ нихъ красоты самимъ читателямъ.

Примѣръ разговора. Стрекоза пришла съ просьбою къ Муравью:

Не оставь меня, кумъ милой;
Дай ты мнѣ собраться съ силой,
И до вешнихъ только дней
Прокорми и обогрѣй.
«Кумушка, мнѣ странно *это!*
«Да работала ль ты въ лѣто?»
Говоритъ ей Муравей.
«До того ль, голубчикъ, было:
Въ мягкихъ муравахъ у насъ
Нѣсни, рѣзвость всякой часъ,
Такъ что голову вскружило! и проч.

Лягушки просили у Юпитера царя — и Юпитеръ

Далъ имъ царя—летитъ къ нимъ съ шумомъ царь съ небесъ;
И плотно такъ онъ треснулся на царство,
Что ходенемъ пошло тряснно государство.
Со всѣхъ лягушки ногъ
Въ испугѣ поскакались,
Кто какъ успѣлъ, куда кто могъ,
И шепотомъ царю по кельямъ дивовались.
И подлинно, что царь на диво былъ имъ данъ:
Не суетливъ, не вертопрашенъ,
Степенепъ, молчаливъ и важенъ;
Дородствомъ, ростомъ великанъ;
Ну, посмотрѣть, такъ это чудо!
Одно въ царѣ лишь было худо:
Царь этотъ былъ осиновый чурбанъ.
Сначала, чтя его особу превысоку,
Не смѣетъ подступить изъ подданныхъ никто;
Чуть смѣютъ на него глядѣть онѣ—и то
Украдкой, издали, сквозь аиръ и осоку.
Но такъ какъ въ свѣтѣ чуда нѣтъ,
Къ которому не приглядѣлся бъ свѣтъ,
То и онѣ—сперва отъ страха отдохнули,
Потомъ къ царю подползть съ преданностью дерзнули;
Сперва передъ царемъ ничкомъ;
А тамъ, кто посмѣлѣй, дай сѣсть къ нему бочкомъ,
Дай попытаться сѣсть съ нимъ рядомъ;
А тамъ, которые еще поудалѣй,

Къ царю садятся ужъ и задомъ.
Царь терпитъ все, по милости своей.
Немного погодя, посмотришь, кто захочетъ,
Тотъ на него и вскочитъ.

Можно забыть, что читаешь стихи: такъ этотъ разсказъ легокъ, простъ и свободенъ. Между тѣмъ какая поэзія! Я разумѣю здѣсь подъ словомъ *поэзія* искусство представлять предметы такъ живо, что они кажутся присутственными.

Что ходенемъ пошло трясинно государство...

живопись въ самыхъ звукахъ! Два длинныхъ слова: *ходенемъ* и *трясинно*, прекрасно изображаютъ потрясеніе болота.

Со всѣхъ лягушки ногъ
Въ испугѣ пометались,
Кто какъ успѣлъ, куда кто могъ.

Въ послѣднемъ стихѣ, напротивъ, красота состоитъ въ искусномъ соединеніи односложныхъ словъ, которыя своею гармоніею представляютъ скачки и прыганье. Вся эта тирада есть образецъ легкаго, пріятнаго и живописнаго разсказа. Смѣемъ даже утверждать, что здѣсь подражаніе превосходитъ подлинникъ; а это весьма много, ибо Лафонтенова басня прекрасна; въ стихахъ послѣдняго, кажется, менѣе живописи, и самый разсказъ его не столь забавенъ. Еще одинъ или два примѣра — и кончимъ.

Жилъ нѣкто человѣкъ безродной, *одинакой*,
Вдали отъ города, въ глуши.
Про жизнь пустынную какъ сладко не пиши,
А въ одиночествѣ способенъ жить не всякой;
Утѣшно намъ и грусть и радость раздѣлить.
Мнѣ скажутъ: а лужокъ, а темная дуброва,
Пригорки, ручейки и мурава шелкова?—
Прекрасны, что и говорить!
А все прискучатся, какъ не съ кѣмъ молвить слова.

Вотъ истинное простодушіе Лафонтена, который вѣрно не могъ бы выразиться лучше, когда бы родился русскимъ. Замѣтимъ однако здѣсь ошибку: Крыловъ употребилъ слово *одинакой* [съ кѣмъ или съ чѣмъ-нибудь совершенно сходный] вмѣсто слова *одинокой* [не имѣющій ни родства, ни связей]. Далѣе, авторъ описываетъ пустынника и друга его медвѣдя. Первый усталъ отъ прогулки; послѣдній предлагаетъ *ему заснуть:*

Пустынникъ былъ стоворчивъ, легъ, зѣвнулъ,
Да тотчасъ и заснулъ.
А Миша на часахъ, да онъ и не безъ дѣла:
У друга на носу муха сѣла—
Онъ друга обмахнулъ—
Взглянулъ—
А муха на щекѣ—согналъ—а муха снова
У друга на носу.

Здѣсь подражаніе несравненно лучше подлинника. Лафонтенъ сказалъ просто:

Sur le bout de son nez une (муха) allant se placer,
Mit l'ours au désespoir — il eut beau la chasser!

Какая разница! Въ переводѣ картина, и картина совершенная. Стихи летаютъ вмѣстѣ съ мухою. Непосредственно за ними слѣдуютъ другіе, изображающіе противное, медлительность медвѣдя; здѣсь всѣ слова длинныя, стихи тянутся:

Вотъ Мишинька, не говоря ни слова,
Увѣсистый булыжникъ въ лапы сгрёбъ,
Присѣлъ на корточки, не переводитъ духу,
Самъ думаетъ: молчи жъ, ужъ я тебя постругу!
И у друга на лбу подкарауля муху,
Что силы есть, хватъ друга камнемъ въ лобъ.

Всѣ эти слова: *Мишинька, увѣсистый, булыжникъ, корточки, переводитъ, думаетъ, и у друга, подкарауля,* прекрасно изображаютъ медлительность и осторожность: за пятью длинными, тяжелыми стихами слѣдуетъ быстро полустишіе:

— Хватъ друга камнемъ въ лобъ.

Это молнія, это ударъ! Вотъ истинная живопись, и какая противоположность послѣдней картины съ первою.

Но довольно; читатели могутъ сами развернуть *Басни Крылова* и замѣтить въ нихъ тѣ красоты, о которыхъ мы не сказали ни слова за неимѣніемъ времени и мѣста. Сдѣлаемъ общее замѣчаніе о недостаткахъ. Слогъ Крылова кажется намъ въ иныхъ мѣстахъ растянутымъ и слабымъ [зато мы нигдѣ не замѣтили ни малѣйшей принужденности въ разсказѣ]; попадаются погрѣшности противъ языка, выраженія, противныя вкусу, грубыя и тѣмъ болѣе замѣтныя, что слогъ вообще вездѣ и легокъ и пріятенъ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮБЕЗНОМУ ИЗДАТЕЛЮ АГЛАИ.

Я отвѣчаю нѣсколько поздно на два пріятныя слова критика, помѣщенныя въ Аглаѣ любезнымъ ея издателемъ — прошу у него извиненія: отсутствіе мое изъ Москвы причиною такой медлительности. Вы угадали, любезной критикъ: самолюбіе мое не оскорбилось, и, правду сказать, я не умѣю вообразить, какъ можетъ полезное замѣчаніе, сдѣланное просто, безъ всякаго вида насмѣшки, съ любезною, можетъ быть слишкомъ осторожною скромностію, и [что всего важнѣе] по требованію женщинъ, которыя однѣ имѣютъ право быть нашими судіями, когда желаемъ написать что-нибудь пріятное, какъ можетъ такое замѣчаніе быть оскорбительнымъ для самолюбія! Напротивъ, прочитавъ вашу критику, я пожелалъ искренно, чтобы издатели журналовъ, подражая вамъ въ скромности и учтивости, чаще переписывались другъ съ другомъ; чтобы они, такъ сказать, составили согласное, исполненное взаимнаго доброжелательства семейство авторовъ, семейство, въ которомъ каждый членъ, имѣя въ виду и пользу и усовершенствованіе другихъ сочленовъ своихъ, безъ всякаго пристрастія замѣчалъ бы ихъ ошибки, предлагалъ имъ свои замѣчанія не повелительнымъ языкомъ учителя, не съ колкою насмѣшливостію соперника, но съ кроткою, благородною непринужденностію любителя истины: такой оборонительный и наступательный союзъ журналистовъ, безъ всякаго сомнѣнія, принесъ бы великую пользу ихъ авторскимъ дарованіямъ. Самолюбіе наше весьма обманчиво — говорю по собственному многократному опыту — очарованное зеркало его представляетъ нашимъ глазамъ однѣ только пріятныя стороны предметовъ, а непріятныя или украшаетъ, или дѣлаетъ совсѣмъ незамѣтными для нашего взора. Молчаніе публики, благодаря убѣжденію коварнаго самолюбія, можетъ легко показаться автору одобреніемъ; онъ перестаетъ быть осторожнымъ, спускаетъ себѣ съ благосклонностію тѣ ошибки, на которыя читатели его смотрятъ съ равнодушіемъ—а благосклонность сія не должна ли наконецъ погубить или унизить и его дарованія? Скажу откровенно: слышать справедливый упрекъ въ присутствіи многихъ свидѣтелей [ибо авторъ, и въ особенности журналистъ, всегда на сценѣ болѣе или менѣе обширной], едва ли можетъ быть для насъ пріятно, по крайней мѣрѣ въ первую минуту. Но если мы имѣемъ въ виду одно только усовершенствованіе своего таланта, если мы уважаемъ одну только похвалу заслуженную, и если [что также очень важно] нашъ критикъ говоритъ съ нами не для того, чтобы насъ оскорбить или осмѣять, а для того, чтобы показать намъ истинный путь, съ котораго мы сбились: то мы послѣ минутной досады на собственную ошибку и, если угодно, на того, кто обнаружилъ ее передъ цѣлымъ свѣтомъ — сами поспѣшимъ въ ней признаться, потому что *признаніе половина исправленія*, останемся благодарными своему просвѣтителю, и выиграемъ много, сдѣлавшись осторожнѣе. Осторожность и робость — великая разница. Будучи соединена съ дѣятельнымъ прилежаніемъ, первая несомнѣнно приведетъ насъ къ успѣху.

Теперь позвольте мнѣ обратиться къ вашей критикѣ, за которую благодарю искренно и васъ и тѣхъ любезныхъ женщинъ, которыя поручили вамъ сообщить мнѣ ее посредствомъ Аглаи. «Марія, по мнѣнію ихъ, не могла *ронять веретена*, сидя за *самопрялкою*, ибо веретена не было въ рукахъ ея; а если оно было, то Марія сидѣла просто за пряжею». Замѣчаніе истинное, и я не смѣю сказать противъ него ни слова. Но пожалуйте жъ вмѣстѣ со мною объ участи историка, желающаго быть вѣрнымъ, и имянно оттого впадающаго въ грубыя ошибки. Повѣсть: *Марьина Роща*, основана вся на древнихъ рукописяхъ и преданіяхъ; въ ней не найдете вы ни

одного выраженія, ни одной мысли, которая собственно принадлежала бы новому издателю; все заимствовано имъ изъ древнихъ записокъ—и онѣ-то сдѣлали его преступникомъ противъ здраваго смысла. Въ одномъ изъ старинныхъ манускриптовъ, кажется современномъ великому князю Владиміру, сказано именно, что Марія *сидѣла за самопрялкою;* въ другомъ, принадлежащемъ, если не ошибаюсь, ко временамъ Владиміра Мономаха, говорится о *веретенѣ* къ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ первый историкъ упоминаетъ о самопрялкѣ—явное несогласіе въ происшествіяхъ! Что жъ сдѣлалъ новый историкъ? Онъ вздумалъ одною чертою пера согласить несогласное, въ угодность одному изъ своихъ Геродотовъ поставивъ самопрялку, а въ удовольствіе другому прибавивъ къ ней веретено и, надобно признаться, естественною вѣроятностію пожертвовалъ вѣрности исторической—несчастіе, нерѣдко бывающее и съ важными историками, которые въ наше время описываютъ происшествія, случившіяся за десять вѣковъ до Рождества Христова! Нерѣдко мы ошибаемся и оттого, что ищемъ вдали той истины, которая у насъ передъ глазами.—Для чего бы, напримѣръ, и мнѣ, вмѣсто того, чтобы умирать со скуки надъ пыльными, едва понятными записками древнихъ бытописателей, не спросить у первой попавшейся мнѣ крестьянки: имѣетъ ли она въ рукахъ веретено въ то время, когда сидитъ за самопрялкою? Она отвѣчала бы мнѣ рѣшительнѣе всякаго манускрипта, современнаго великому князю Владиміру.—Виноватъ! нечего и говорить; но повторяю, признаніе половина исправленія! Что же касается до маленькаго негодованія нашихъ любезныхъ дамъ, которымъ показалось смѣшнымъ, что витязь Рогдай вмѣстѣ съ золотыми нарчами дарилъ Марію лентами и бисеромъ, а не жемчугомъ и богатыми ожерельями: то оно конечно дѣлаетъ имъ честь! Но историкъ не можетъ *принять его на свой счетъ; онъ самъ досадовалъ на* Рогдая за скупость его и неразборчивый вкусъ, однако принужденъ былъ повиноваться строгой исторіи, и вмѣсто жемчуга и ожерельевъ—написать, скрѣпивъ сердце, бисеръ и ленты.

Теперь остается мнѣ [отвѣчать вамъ, какъ справедливому и любезному критику], поблагодарить васъ, какъ добраго пріятеля, за то желаніе, которымъ вы заключаете свое письмо. Сказанное вами о успѣхахъ моихъ въ трудахъ кабинета и жизни принимаю за одно доброжелательство благороднаго сердца, и желалъ бы найти въ немъ вѣрное предвѣщаніе, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ послѣднему; ибо что принадлежитъ до трудовъ кабинета, свободныхъ, уединенныхъ и невинныхъ, то [вы знаете это по собственному опыту] никакой блистательный успѣхъ не можетъ быть предпочтенъ тому скромному и тихому наслажденію, которое съ нимъ неразлучно: слѣдовательно они могутъ быть нашимъ счастіемъ, или, если хотите, нѣкоторою замѣною нашего счастія и тогда, когда не будутъ увѣнчаны успѣхомъ.

МОСКОВСКІЯ ЗАПИСКИ.

I.

[дѣвица жоржъ въ расиновой федрѣ].

Ноября 4-го видѣли мы на московскомъ театрѣ въ первый разъ славную дѣвицу Жоржъ Веймеръ, въ ролѣ Расиновой Федры; 14 ноября та же трагедія представлена была въ другой разъ.

Эта роль можетъ назваться осколкомъ трагическаго таланта въ актрисѣ. Страсть Федры — единственная по своей силѣ — изображена Расиномъ съ такимъ совершенствомъ, какого, можетъ быть, не найдемъ ни въ одномъ произведеніи стихотворцевъ, и древнихъ и новыхъ. Авторъ имѣлъ искусство [но искусство, извѣстное однимъ только геніямъ первой степени], основать всю трагедію свою не на происшествіяхъ необычайныхъ, возбуждающихъ любопытство, изумленіе, ужасъ, но просто на одной сильной страсти, ко-

торой раскрытіе, оттѣнки и измѣненія составляютъ единственно сущность его трагедіи. И какая страсть! Съ перваго взгляда отвратительная, не могущая произвести никакого участія — страсть супруги Тезеевой къ Тезееву сыну. Естественно ли желать, чтобы она могла быть увѣнчана успѣхомъ? И, несмотря на то, на участіи къ этой страсти основана вся трагедія. Въ чемъ же состоитъ очарованіе Федры? Отчего, видя ее, не находимъ въ себѣ того непріятнаго чувства, которое производитъ въ насъ присутствіе ужаснаго преступника, но болѣе наполнены тою сострадательною нѣжностію, съ какою взираемъ на существо невинное и несчастное, и, погружаясь въ меланхолію, готовы сказать вмѣстѣ съ Шекспировою Офеліею:

O what a noble mind is here o'erthrown!

Когда бы Федра сама желала удовлетворенія страсти своей; когда бы она сама не гнушалась сею гораздо болѣе, нежели зритель: тогда не могли бы мы видѣть ее безъ отвращенія на сценѣ — но она жертва, и жертва самая трогательная преступленія непроизвольнаго! Въ какую минуту является она передъ глазами зрителя! Утомленная безполезною борьбою съ сердцемъ своимъ, потерявъ и силу, и мужество, и привязанность къ жизни, она приходитъ взглянуть въ послѣдній разъ на солнце, на лучезарнаго своего прародителя, съ которымъ прощается навѣки. Поэту не осталось, повидимому, ничего прибавить къ изображенію этой страсти; ибо она уже не можетъ усилиться — но она можетъ представлена быть въ новыхъ оттѣнкахъ. Ложные слухи о Тезеевой смерти и материнская нѣжность опять возвращаютъ Федру къ жизни: смерть, послѣднее благо свое, приноситъ она въ жертву дѣтямъ, и сія же материнская нѣжность приводитъ ее къ Ипполиту; но здѣсь ожидало ее то мстительное божество, которое *посѣяло въ душѣ ея виновный пламень. Федра приходитъ просить покровительства* своему сыну, и можетъ говорить объ одной только своей любви; гибельное признаніе сдѣлано—а Тезей живъ! Какое положеніе для существа, созданнаго любить добродѣтель, и столько времени боровшагося съ судьбою, чтобы удалить отъ себя преступленіе! И только сею минутою ужаса, когда самая способность чувствовать и мыслить была уничтожена въ душѣ Федры, могла воспользоваться Энона, чтобы оклеветать Ипполита — Федра приходитъ въ себя и первая мысль ея: спасемъ невинность! Она стремится къ Тезею — новый ужасъ! Она узнаетъ, что Ипполитъ чувствителенъ, но чувствителенъ къ другой! Этотъ ударъ послѣдній! Федрѣ оставалось только почувствовать муку ревности; восклицаніе: il faut perdre Aricie! вырывается не изъ сердца ея: это вопль изступленія, но оно продолжается недолго; въ Федрѣ остается одна только ненависть, сильнѣйшая прежняго, къ жизни, и ненависть къ себѣ самой она умираетъ, но ея послѣднее слово: Ипполитъ невиненъ! Во все продолженіе трагедіи она только несчастна: сердце ея ни на минуту не участвовало въ томъ преступленіи, въ которое она ввергнута была помѣшательствомъ страсти.

Выраженіе такихъ характеровъ, каковъ характеръ Федры, столь трудное для стихотворца, есть въ то же время и самое трудное для актера: поэтъ, не имѣя пособія въ происшествіяхъ, поддерживающихъ вниманіе и любопытство, долженъ поработить душу и зрителя и читателя своего вѣрнымъ изображеніемъ страсти, которая тогда только можетъ быть привлекательна, когда почерпнута изъ самой натуры, когда удержанъ естественный ея ходъ, когда всѣ ея измѣненія вѣроятны, и когда между сильными и главными ея положеніями соблюдена необходимая постепенность, служащая, такъ сказать, нитію соединенія одного съ другимъ. Что въ стихотворцѣ слогъ, то въ актерѣ тѣлодвиженія, голосъ, лицо; но знаніе натуры, воображеніе и чувство, какъ въ

томъ, такъ и въ другомъ, должны быть почти одинаковы, съ тою только разницею, что первый, будучи творцомъ, руководствуетъ послѣдняго, а самъ не слѣдуетъ никому, кромѣ одного изобрѣтательнаго своего генія. Поэтъ, не имѣя чувствительности и знанія природы, не изобразитъ намъ сильнаго характера со всѣми его оттѣнками; актеръ, не имѣющій ни того, ни другаго, или не пойметъ намѣреній поэта, или не будетъ способенъ наполнитьсѧ его чувствами до такой степени, чтобы, забывъ въ себѣ актера, совершенно переселиться въ характеръ и положеніе представляемаго имъ лица.

Судьба иныхъ трагедій рѣшена бываетъ, можно сказать, однимъ только счастливымъ выборомъ трагическаго происшествія. Напримѣръ, въ Ламотовой *Инесѣ*, посредственной по слогу и плану, трогаетъ насъ одно положеніе главныхъ лицъ; и актриса, представляющая Инесу, даже не имѣя таланта превосходнаго, всегда возбудитъ чувствительность въ зрителѣ, ибо онъ уже предубѣжденъ въ ея пользу трогательнымъ ея положеніемъ. Но Федра... надобно быть такимъ великимъ поэтомъ, каковъ Расинъ, чтобы плѣнить насъ изображеніемъ страсти ея— и надобно быть актрисою превосходною, чтобы представить намъ Федру такою точно, какою изобразилъ ее стихотворецъ. Почти во всѣхъ другихъ трагедіяхъ положенія измѣняются и страсти въ нѣкоторыя только минуты восходятъ на высочайшую степень; напримѣръ, страсть Герміоны тогда только обнаруживается во всей своей силѣ, когда сія оскорбленная принцесса говоритъ въ послѣдній разъ съ Пирромъ; и она доходитъ до изступленія, когда Орестъ объявляетъ Герміонѣ о смерти Пирра: въ другія минуты она спокойнѣе и болѣе скрыта въ глубинѣ души; любовь Заиры есть тихая нѣжность, тогда только обращающаяся въ страданіе, когда сердце Заиры начинаетъ колебаться между привязанностію къ Орозману и должностію христіанки. И актриса, представляющая или Герміону, или Заиру, находитъ великое пособіе въ тѣхъ положеніяхъ, которыя стихотворецъ даетъ симъ лицамъ: она заимствуетъ силу отъ роли. Напротивъ, страсть Федры возведена уже на высочайшую степень свою, такъ сказать, прежде, нежели Федра является передъ глазами зрителя; нѣтъ постепенности; она одинакова отъ первой сцены до послѣдней: это изступленіе, это болѣзнь; актриса, кромѣ тѣхъ частныхъ положеній, въ которыя приходитъ она въ продолженіе трагедіи, имѣетъ собственное, главное, такъ сказать, независящее отъ обстоятельствъ трагическихъ и только измѣняемое ими: она должна быть въ изступленіи уже за сценою и сохранить это изступленіе до конца трагедіи, сохраняя притомъ и необходимые оттѣнки его; напримѣръ, Федра въ присутствіи Ипполита не можетъ быть тою Федрою, которую мы видѣли за минуту съ Эноною, но страсть ея все та же. И все искусство актрисы, представляющей это лицо, состоитъ въ томъ, чтобы она, не выходя ни на минуту изъ главнаго своего положенія, умѣла примѣнять его къ тому чувству, которое стихотворецъ, согласуясь съ обстоятельствами, влагаетъ въ уста ея.

Надобно отдать справедливость дѣвицѣ Жоржъ. Она исполнила почти всѣ сіи требованія въ ролѣ Федры: зрители ни на минуту не могли забыть, что они видятъ передъ собою несчастную жертву непроизвольной страсти. Федра явилась, поддерживаемая Эноною—[мы увидѣли величественную женщину, въ прекрасномъ бѣломъ платьѣ, съ маленькою золотою діадимою на головѣ, въ богатой мантіи, лицо греческое, станъ царицы, руки прелестныя]—ея походка; блѣдность ея лица, слѣдствіе внутренней скорби; глаза мутные, лишенные послѣдняго блеска, но полные выраженія тайной страсти — все изображало Федру, палимую внутреннимъ, неестественнымъ пламенемъ. Она сѣла, наклонила голову,

Энона ей говорила, но слова Эноны не доходили до ея слуха; вся душа ея погружена была въ то горестное чувство любви, которое сливалось въ ней съ желаніемъ смерти.

Vous haïssez le jour que vous veniez chercher!

говоритъ Энона. Федра, вмѣсто того, чтобы ей отвѣчать, обращается къ солнцу:

Noble et brillant auteur d'une triste famille!
Toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille,
Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois,
Soleil, je te viens voir pour la dernière fois!

Эти слова, прекрасно выраженныя, сказаны были, если не ошибаюсь, слишкомъ торжественно и съ чувствомъ горести сильной; а я желалъ бы найти въ нихъ болѣе выраженія тихой унылости, ибо они изливаются изъ страстной души, растроганной мыслію о близкой смерти. Федра, за минуту, погружена была въ горестное размышленіе о своемъ жребіи: жизнь представлялась ей бременемъ тяжкимъ, и на лицѣ ея написано было отчаяніе мрачное, нѣсколько угрюмое; но слова Эноны:

Vous haïssez le jour que vous veniez chercher!

пробудили въ ней мысль о смерти — мысль, трогательная для того, кто въ жизни видитъ одно страданіе и потерялъ всѣ надежды [ибо она представляетъ ему тихое убѣжище]; но вмѣстѣ съ этою мыслію соединяется въ немъ и другая, столь же трогательная, о разлукѣ съ тѣмъ, что ему дорого; а сіи послѣдняя устремляетъ душу его и къ тѣмъ предметамъ любви, которые онъ готовъ оставить: все это производитъ не горесть, а тихое уныніе. Надобно замѣтить, что стихи:

Noble et brillant auteur и проч.

служатъ приготовленіемъ къ той мечтательности, въ которую Федра погружается черезъ минуту—мечтательности, которая, *безъ сего приготовленія*, была бы несообразна съ прежнимъ угрюмымъ ея отчаяніемъ. Сказавъ солнцу: прости! Федра, по естественной связи чувствъ, переносится мыслію къ Ипполиту — ибо лишиться жизни и Ипполита для нея одно и то же — но при этомъ воспоминаніи изглаживается въ ней всякое другое чувство, и остается одна любовь: она видитъ его передъ собою; ей представляются тѣ минуты мучительнаго наслажденія, когда, уединенная, подъ тѣнію лѣсовъ, питаясь своею страстію, она слѣдовала взорами за Ипполитомъ, летящимъ въ отдаленіи на колесницѣ.

On vous voit moins souvent, orgueilleux et sauvage
Tantôt faire voler un char sur le rivage
и проч

говоритъ Терамень, въ первой сценѣ Ипполиту. Расинъ, который имѣлъ искусство ко всему приготовлять своего зрителя заранѣе, хотѣлъ вѣроятно объяснить этими стихами то, что говоритъ Федра въ сценѣ съ Эноною:

Dieux, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts!
Quand pourrai-je, au travers d'une noble poussière,
Suivre de l'oeil un char fuyant dans la carrière?

Въ этомъ мѣстѣ дѣвица Жоржъ была восхитительна! Слова Эноны:

Quoi, vous ne perdrez point cette cruelle envie?
Vous verrai-je toujours, renonçant à la vie,
Faire de votre mort les funestes apprêts?

не коснулись ея вниманія; глаза ея, прежде мрачные и совершенно потухшіе, послѣ словъ:

Soleil, je te viens voir pour la dernière fois!

мало по малу начали оживляться, и они уже блистали [не блистали тѣмъ яркимъ огнемъ, который выражаетъ не радость, а сильный безпорядокъ душевный], когда она сказала:

Dieux, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts и проч.,

и зритель, прежде нежели она произнесла

эти слова, былъ уже приготовленъ къ чувству необыкновенному: онъ угадывалъ, что душа Федры занята была какимъ-то внезапнымъ видѣніемъ, и то, что она сказала, только объяснило его темную догадку. Вотъ что значитъ наблюдать постепенность въ переходѣ отъ одного движенія къ другому! Но это искусство извѣстно однимъ только великимъ артистамъ.

Quoi, madame!

воскликнула Энона—въ минуту, смятеніе и ужасъ заступили мѣсто любви на лицѣ Федры, всѣ черты ея перемѣнились: этотъ быстрый переходъ изъ одного состоянія въ другое, совершенно ему противное, выраженъ былъ прекрасно.

Энона умоляетъ Федру вѣрить ей свою тайну; она бросается на колѣна:

Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés.
Par vos faibles genoux que je tiens embrassés.
Délivrez mon ésprit de ce funeste doute!

Въ продолженіе этихъ стиховъ, жестокая борьба изображена была на лицѣ Федры, котораго всѣ мускулы казались напряженными,—но Энона замолчала, и Федра была уже спокойна, ибо отчаянная рѣшимость заступила въ ней мѣсто мучительнаго волненія; она приблизила свое лицо къ лицу Эноны—

Tu le veux—

сказала она съ глубокимъ чувствомъ; казалось, что слова сіи выражали: безумная! чего ты хочешь? и она приближила свое лицо къ Энонѣ, какъ будто для того, чтобы разсмотрѣть въ глазахъ ея, точно ли желаетъ она открыть такую страшную тайну;

—lève-toi!

Во второе представленіе эти два слова произнесены были гораздо лучше, нежели въ первое. Тогда Федра, сказавши: tu le veux, прибавила съ поспѣшностію: lève-toi! и быстрымъ движеніемъ руки подняла Энону: въ голосѣ ея чувствительна была одна только рѣшимость! Но въ послѣдній разъ, послѣ двухъ первыхъ словъ [tu le veux], она отвратила глаза отъ Эноны, сдѣлала тихое движеніе рукою и произнесла съ глубокимъ упыніемъ, послѣ минутнаго молчанія: lève-toi! Самый звукъ ея голоса приготовлялъ уже зрителя къ тому, что онъ услышитъ; а глаза ея въ то жъ время говорили: какое признаніе должна я сдѣлать, и для чего принуждена я его сдѣлать!

Tu vas ouir le comble des horreurs
J'aime...

J'aime Hippolyte, хотѣла она сказать—и быстрота, съ какою произнесено было слово: j'aime, показывала, что она спѣшила избавить себя отъ тягостнаго признанія; но при имени Ипполита рѣшимость ея исчезла; она смутилась, затрепетала:

— A ce nom fatal je tremble, je frissonne...
J'aime...

послѣднее слово сказано было тихо и съ робостію, такъ, какъ и слѣдующія:

Tu connais ce fils de l'Amazone,
Ce prince si longtemps par moi-même opprimé?

она хотѣла, чтобы Энона ее угадала, но въ то жъ время страшилась ея проницательности.

C'est toi qui l'as nommé!

она произнесла это разительное слово робкимъ, почти невнятнымъ голосомъ, съ стыдомъ, ужасомъ и отвращеніемъ; она не смѣла обратить глаза на Энону, и движеніемъ руки хотѣла, какъ будто, ее отъ себя удалить, ибо слова Эноны:

Hippolyte? Grands dieux!

были и для нея какою-то ужасною новостію, которой она ожидала, но которую все еще слишкомъ рано услышала.

Монологъ:

Mon mal vient de plus loin etc.

прочтенъ былъ во второй разъ несравненно лучше, нежели въ первый; надобно было слѣдовать за движеніями лица актрисы, чтобы раздѣлять съ нею всѣ тѣ чувства, которыя выражала она словами:

En vain sur les autels ma main brûlait l'encens:
Quand ma bouche implorait le nom de la déesse,
J'adorais Hippolyte; et, le voyant sans cesse,
Même au pied des autels que je faisais fumer,
J'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer.

Въ эту минуту глаза ея, оживленные, блестящіе, выражали все изступленіе любви; она видѣла предъ собою того бога, котораго именовать не смѣла.

Въ четвертой сценѣ, когда Панопа извѣщаетъ ее о смерти Тезеевой, она произноситъ одно только слово: Ciel! но эта сцена едва ли не одна изъ самыхъ трудныхъ; и надобно признаться, что дѣвица Жоржъ показала въ ней дарованіе актрисы превосходной, которая ни на минуту не удаляется отъ характера и положенія своей роли.

Третья сцена оканчивается стихами:

Je t'ai tout avoué; je ne m'en repens pas:
Pourvu que de ma mort respectant les approches
Tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches,
Et que tes vains secours cessent de rappeler
Un reste de chaleur tout prêt a s'exhaler.

Положеніе Федры все то же, какое и въ началѣ сцены; вдругъ слышитъ она отъ Панопы, что Тезея нѣтъ:

Hippolyte son fils vient d'apprendre sa mort.

Она говоритъ одно только слово: Ciel! но какимъ голосомъ и съ какимъ видомъ? Обыкновенная актриса приняла бы это извѣстіе съ громкимъ восклицаніемъ, которымъ выразила бы одно только то, что оно *поразило* ее, какъ новость. Но слово: Ciel! выражаетъ совсѣмъ иное. Тезеева смерть не можетъ быть сама по себѣ ужасною для Федры; ибо для нея нѣтъ уже несчастія — она рѣшилась умереть! она можетъ на нее дѣйствовать только потому, что имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ главному и единственному ея чувству. И голосомъ тихимъ, съ видомъ сомнѣнія, нерѣшительности, какъ будто стараясь проникнуть въ то будущее, которое вдругъ совершенно измѣнилось для нее съ смертію ея супруга, но еще не имѣя никакой ясной мысли и не позволяя себѣ останавливаться на той, которая одна противъ воли въ душѣ ея пробуждается, она говоритъ: ciel! Это слово заключаетъ въ себѣ цѣлое положеніе. Произнеся его, Федра остается погруженною въ задумчивость — она мечтаетъ — въ душѣ ея стѣснилось множество смутныхъ мыслей и чувствъ; но при словахъ Эноны:

Votre flamme devient une flamme ordinaire!

она пробуждается — глаза ея блистаютъ, и зритель угадываетъ, что Энона встрѣтила то чувство, на которомъ Федра не смѣла остановиться. Она съ жадностію пріемлетъ и одобряетъ тѣ совѣты, которые страшилась сама себѣ сдѣлать; она уже согласна остаться жить и жить для пользы сына — но это одинъ обманъ! Нѣжностію матери украшаетъ она въ своихъ глазахъ виновную любовь къ Ипполиту: она остается жить для одного только Ипполита. Таковы чувства, которыя дѣвица Жоржъ прекрасно выразила нѣмою игрою своею въ IV и V сценахъ перваго акта.

Этихъ замѣчаній довольно. Скажемъ вообще, что Федра во второй разъ была гораздо лучше представлена, нежели въ первой [здѣсь разумѣю одну дѣвицу Жоржъ]; изступленіе ревности въ четвертомъ актѣ и слѣдующее за нимъ отчаяніе выражены были сильнѣе. Чувство, съ какимъ сказанъ былъ стихъ [III актъ, сцена I]:

Quoique Scythe et barbare, elle a pourtant aimé,

привело зрителей въ восхищеніе: его произнесла сама Федра, которая слишкомъ знаетъ, что такое страстная любовь, и которая живетъ одною любовію. Замѣтимъ еще одно выраженіе. Федра, мучимая ревностію, говоритъ:

Ah! douleur non encore éprouvée;
A quel nouveau tourment je me suis réservée!
Tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes transports,
La fureur de mes feux, l'horreur de mes remords,
Et d'un refus cruel l'insupportable injure,
N'était qu'un faible essai du tourment que j'endure.
Ils s'aiment! Par quel charme ont-ils trompé mes yeux?
Comment se sont-ils vus? depuis quand? dans quels lieux?
Tu le savais: pourquoi me laissais-tu séduire?

Выраженіе: tu le savais принадлежитъ къ тѣмъ немногимъ высокимъ [sublime] выраженіямъ чувства или мыслей, которыя изумляютъ насъ въ великихъ трагикахъ; его можно поставить на ряду съ qu'il mourut стараго Горація, съ qui te l'a dit Герміоны и съ he has no childern Макдуффа въ Шекспировомъ Макбетѣ. Федра говоритъ Эноне: tu le savais, а она сама, за нѣсколько часовъ, въ первый разъ сказала ей о любви своей—вотъ сумасшествіе ревности, вотъ изступленіе страстной души, совершенно разстроенной и все обвиняющей въ своемъ страданіи. Въ этомъ мѣстѣ игра дѣвицы Жоржъ была несравненна.

Теперь позволимъ себѣ замѣтить то, что кажется намъ недостаткомъ въ игрѣ этой актрисы; она иногда излишне заботится о своей наружности; напримѣръ, въ самыхъ сильныхъ мѣстахъ не забываетъ она поправлять свое покрывало, волосы, порфиру; также замѣтно иногда, что она хочетъ плѣнить глаза живописнымъ своимъ положеніемъ. Такая заботливость не усиливаетъ, а развѣ только ослабляетъ то чувство, которое игрою своею производитъ она въ сердцѣ зрителя: Федра, оправляющая на себѣ порфиру, въ ту самую минуту, когда она, забывшись, открываетъ страсть свою Ипполиту, сама выводитъ насъ изъ очарованія, и мы находимъ въ ней одну только актрису. Дѣвица Жоржъ, кажется, не имѣетъ причины бояться, чтобы зрители, смотря на выразительное лицо ея, могли не забыть объ ея платьѣ: чѣмъ менѣе будетъ она думать о дѣйствіи на глаза, тѣмъ болѣе будетъ дѣйствовать на сердце.

Нѣкоторые изъ зрителей недовольны ея декламаціею; они называютъ ее пѣніемъ. Не беремъ на себя рѣшить, справедливо ли они мыслятъ; но спрашиваемъ: можно ли считать стихи какъ прозу, и особливо стихи трагическіе? Языкъ трагедіи, въ особенности французской, совершенно отличенъ отъ того простаго языка, который употребляемъ въ общежитіи [онъ гораздо пышнѣе, украшеннѣе, ибо онъ стихотворный]: такой необыкновенный языкъ не требуетъ ли и выраженія необыкновеннаго? Декламація грековъ, какъ извѣстно, весьма близко подходила къ пѣнію, а языкъ трагиковъ греческихъ [по увѣренію знатоковъ греческаго языка] несравненно простѣе, нежели языкъ трагиковъ французскихъ. Стихи шестистопные съ риѳмами, съ цезурою слишкомъ ощутительною, были бы, если не ошибаюсь, испорчены простою прозаическою декламаціею; простота обыкновеннаго разговора не можетъ согласоваться съ пышностію стихотворною: такое соединеніе неестественно; отъ него могло бы произойти одно только безобразіе.

Время не позволяетъ намъ ничего сказать о представленіи *Меропы*. Дѣвица Жоржъ въ нѣкоторыхъ сценахъ, особливо въ той, гдѣ она говоритъ съ Эгистомъ, не зная, что онъ ея сынъ, и въ сценѣ между ею, Эгистомъ и Полифонтомъ была несравненна. Какъ истинная мать и какъ величественная царица, упала къ ногамъ она убійцы Кресфонта, воскликнувъ:

Que vous faut-il de plus—Mérope est à vos pieds!

А въ ту минуту, когда молодой герой осыпаетъ Полифонта упреками, на лицѣ ея изобразились и ужасъ, производимый дерзостію Эгиста, котораго жизнь была въ рукахъ тирана, и гордое восхищеніе матери, плѣняющейся неустрашимостію милаго сына. Въ первомъ актѣ, если не ошибаюсь, казалась она излишне го-

рестною: такая преждевременная горесть ослабила нѣсколько то дѣйствіе, которое могло бы имѣть на зрителя ея отчаяніе въ концѣ втораго акта, когда извѣщаютъ ее о мнимой смерти Эгиста.— Многіе изъ зрителей также замѣтили, что она и въ роли *прекрасной поселянки Катерины* была нѣсколько Мероною.

Заключимъ: мы опредѣляемъ превосходство трагедіи по тому впечатлѣнію, которое она оставляетъ въ нашей душѣ; и это впечатлѣніе тогда только можетъ быть сильно, когда поражаютъ насъ не одинѣ отдѣльныя красоты, но когда вся трагедія — въ содержаніи, планѣ, слогѣ, характерахъ — имѣетъ надлежащее превосходство: тогда мелкія погрѣшности или остаются незамѣтными, или имѣютъ на насъ самое слабое дѣйствіе, не уменьшающее главнаго и общаго. То же самое можно сказать и объ игрѣ трагическаго актера: если выходимъ изъ театра съ душою растроганною, и если это впечатлѣніе столь сильно, что оно нѣсколько времени не оставляетъ насъ и посреди разсѣянія, или даже препятствуетъ ему предаваться, то мы имѣемъ право назвать актера превосходнымъ — слѣдовательно имя актрисы превосходной принадлежитъ дѣвицѣ Жоржъ по праву; но степени сего превосходства опредѣлить не можемъ: она опредѣляется только по сравненію.

II.

ДѢВИЦА ЖОРЖЪ ВЪ ДИДОНѢ ЛЕФРАНА ДЕ ПОМПИНЬЯНА.

Скажемъ нѣсколько словъ о самой трагедіи. Лефранъ заимствовалъ главныя и самыя разительныя положенія у Виргилія; но онъ имѣлъ искусство охладить и сдѣлать непривлекательнымъ все то, что восхищаетъ насъ въ Энеидѣ. Надлежало быть Расиномъ — то есть имѣть необыкновенный даръ поэта, знакомаго съ человѣческимъ *сердцемъ* и способнаго изображать *его страсти живыми красками*— чтобы плѣнить насъ страданіями Дидоны: Лефранъ не имѣлъ сего дара, и его Дидона скучна отъ начала до конца, несмотря на многіе блестящіе стихи и близкое въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подражаніе Виргилію.

Главная погрѣшность Лефрана, если не ошибаюсь, состоитъ въ томъ, что онъ, желая выставить Дидону, забылъ совершенно объ Энеѣ. Какая была его цѣль? Растрогать несчастною страстію Дидоны! Но для того, чтобы эту страсть сдѣлать для насъ привлекательною, надлежало и самый предметъ этой страсти представить ея достойнымъ; чтобъ возбудить сожалѣніе къ Дидонѣ оставленной, надлежало насъ прежде убѣдить, что любовь Энея могла бы составить ея счастіе, и наслажденія счастливой любви на минуту противоположить ея горестямъ. Если бы мы видѣли въ Энеѣ страстнаго любовника и героя, обожающаго славу наравнѣ съ Дидоною; когда бы эти двѣ страсти одинаково господствовали въ его сердцѣ, но послѣдняя была бы на время подчинена первой, такъ, чтобы Эней въ своемъ ослѣпленіи почиталъ и боговъ сообщниками его сердца; если бы въ ту минуту, когда онъ является на сцену, увидѣли мы его восхищеннаго своею любовію къ Дидонѣ, счастливаго своимъ ослѣпленіемъ, счастливаго мыслію, что онъ получитъ вѣнецъ изъ милой руки, что будетъ защитникомъ ея трона, что онъ усилитъ ея могущество, что слава его не будетъ раздѣльна съ ея славою, и наконецъ, если бы онъ началъ бороться съ своею страстію не прежде, какъ послѣ приговора боговъ, опредѣлившихъ ему удалиться: тогда бы и зритель могъ бы наполниться чувствами Дидоны; ея восхищеніе было бы для него понятно, а горесть ея [незапный, почему и разительный переломъ судьбы], въ ту минуту, когда она теряетъ Энея, подѣйствовала бы на него сильно, ибо тогда онъ былъ бы увѣренъ, что вмѣстѣ съ Энеемъ исчезло и все ея счастіе.

Что же видимъ напротивъ въ Лефрановомъ Энеѣ? Любовника безъ любви,

героя безъ сильной привязанности къ славѣ. Страсть Дидоны почитаетъ онъ благодѣяніемъ, а собственная любовь его не иное что, какъ благодарность.— Эней честный человѣкъ, думаетъ зритель, но жаль, что Дидона его любитъ! онъ не имѣетъ для нее сердца!

Первая обязанность трагика состоитъ въ томъ, чтобы онъ какъ можно скорѣе познакомилъ зрителя съ господствующею страстію своихъ лицъ; ибо на участіи къ этой страсти основано все дѣйствіе, производимое на насъ трагедіею: мы непремѣнно должны знать, чего желаютъ наши герои и что имъ противно, чтобы раздѣлять ихъ желанія и за нихъ бояться. И вотъ какъ Лефранъ знакомитъ насъ съ страстію Энея:

Je jouis à regret des bi enfaits de la reine;
. . . . . .
Que m'annonce ce trouble, et qu'en dois-je augurer?
Quoi! de ces lieux encore faudra-t-il que je parte?
Se peut-il que le ciel, que Junon m'en écarte,
Que je sois sans asyle, et que les seuls Troyens
Perdent dans l'univers le droit de citoyens?

Это первыя слова Энея. Эней въ нерѣшимости, слѣдовательно онъ не имѣетъ страсти. Возможность разлуки съ Дидоною сама собою представляется его душѣ; она предупредила приговоръ боговъ. Мысль—

Quoi! de ces lieux encore faudra-t-il que je parte?

была бы ударомъ убійственнымъ для любовника страстнаго, но для него естественное слѣдствіе той унылости, которою онъ наполненъ; онъ боится, чтобы Юнона опять не повелѣла ему оставить Карѳагену—боится не потому, чтобы разлука съ Дидоною ужасала его, а потому единственно, что ему уже наскучило странствовать по морямъ съ своими троянами! Таковъ полубогъ, воспламенившій Дидону! Холодность его одинакова во все продолженіе трагедіи: она совершенно уничтожаетъ то дѣйствіе, которое могла бы имѣть на зрителя сначала страстная нѣжность, потомъ упреки и горесть Дидоны. Любовь, съ одной стороны пламенная, съ другой ощущаемая слабо, всегда отвратительна на сценѣ: она можетъ быть благородна, слѣдственно и привлекательна, или отъ взаимности, или отъ неразлучнаго съ нею страданія; напротивъ низка, почему и отвратительна, если [какъ бы впрочемъ ни была сильно представлена] устремляется на предметъ, ея недостойный. Дидона могла бы тронуть зрителя, когда бы Эней и ему казался такимъ же точно, каковъ онъ въ глазахъ Дидоны; но зритель, благодаря поэту, не можетъ раздѣлять ослѣпленія любовницы, и чувства ея теряютъ для него всю свою силу. Напримѣръ, нельзя удержаться отъ нѣкотораго невольнаго отвращенія, когда Дидона говоритъ Энею:

Je devrais te haïr, ingrat! et je t'adore!

Что нашла она достойнаго обожанія въ этомъ жалкомъ человѣкѣ? спрашиваетъ зритель, и онъ то же думаетъ во все продолженіе трагедіи. Помпиньянъ, изображая Дидону, имѣлъ передъ глазами четвертую книгу Энеиды; но характеръ Энея надобно было сотворить, а это превосходило его талантъ, и онъ изъ трагическаго происшествія сдѣлалъ весьма холодную трагедію. Много бы можно было сказать о ея планѣ и ходѣ, характерѣ Ярба, о лицѣ Мадгербала, совершенно лишнемъ, о слогѣ поэта—но мы пишемъ не критику; итакъ, ограничимъ себя одними общими замѣчаніями о двухъ главныхъ характерахъ сей трагедіи, обратимся къ дѣвицѣ Жоржъ.

Мы имѣли удовольствіе видѣть ее два раза въ ролѣ Дидоны, и во второй разъ [такъ же какъ и въ Федрѣ] играла она гораздо лучше, нежели въ первый. Тогда чувствительна была въ ней какая-то разсѣянность; она дѣлала скачки въ переходѣ изъ одного чувства въ другое: первая сцена съ Ярбомъ декламирована была слишкомъ на распѣвъ, и голосомъ однообразнымъ: мы видѣли не Дидону, а дѣ-

вицу Жоржъ, которая читала выученное наизустъ, безъ всякаго отношенія къ тому, что сказано было за минуту Ярбомъ. Но въ послѣдній разъ это однообразіе было менѣе ощутительно — зато стихи:

J'entends et vois ce qu'on m'annonce:
Je sais combien les rois doivent être irrités
D'une paix, d'un hymen trop souvent rejetés;
Un refus est pour eux le signal de la guerre.
Autour de mes remparts ensanglanter la terre,
Iarbe, je le vois, est tout prêt d'éclater;
Je l'attends sans me plaindre, et sans le redouter

произнесены были нѣсколько плачевнымъ голосомъ — такой тонъ едва ли приличенъ Дидонѣ: она отдастъ престолъ свой Энею, въ которомъ будетъ имѣть мужественнаго защитника, и мысль объ Энеѣ должна быть въ душѣ ея, когда она говоритъ съ Ярбомъ, на предложенія котораго отвѣчала, за нѣсколько минутъ, какъ гордая царица. Слова

Je l'attends sans me plaindre—

также были сказаны голосомъ жалобнымъ: такая несообразность выраженія съ мыслію была тѣмъ ощутительнѣе, что полустишіе

— et sans le redouter

произнесено было съ твердостію и величіемъ.

Еще два замѣчанія такого-жъ рода. Въ сценѣ съ Элизою и Барсе не слишкомъ ли живо изображаетъ дѣвица Жоржъ разрушеніе Трои?

Même après le danger on craint pour ce qu'on aime...
Je crois voir le combats que j'entends raconter;
Je frémis pour Enée, et je cours l'arrêter;
Tantôt sous ces remparts que la Grèce environne
Je le vois affronter les fureurs de Bellone;
Je le suis, et des Grecs défiant le courroux,
Je prétends sur moi seule attirer tous leurs coups:
Mais bientôt sur ses pas je vole épouvantée
Dans les murs saccagés de Troie ensanglantée:
Tout n'est à mes regards qu'un vaste embrasement:
A travers mille feux je cherche mon amant!

Когда Мерона описываетъ Исменѣ ту страшную ночь, въ которую Кресфонтъ и дѣти ея были умерщвлены передъ ея глазами, тогда всѣ ужасы убійства должны возобновиться въ ея воображеніи: она сама была ихъ зрительницею; она можетъ видѣть передъ собою умирающаго Кресфонта, и всѣ ея движенія должны быть живописны; но Дидона была только въ мысляхъ свидѣтельницею разоренія Трои: обстоятельства его не должны представляться ей живо, а развѣ только въ отношеніи къ Энею, ибо въ пылающей Троѣ видитъ она одного только Энея; слѣдовательно, говоря:

Je le suis, et des Grecs défiant le courroux,
Je prétends sur moi seule attirer tous leurs coups—

она должна останавливаться воображеніемъ не на грекахъ, преслѣдующихъ Энея, а на самомъ Энеѣ, и лицомъ своимъ выражать не ужасъ, но страстное чувство любовницы, которая съ восхищеніемъ готова умереть за того, кѣмъ полно ея сердце.

Tout n'est à mes regards qu'un vaste embrasement!

Этого стиха не надлежало бы слишкомъ отдѣлять отъ прочихъ; тутъ живописность совсѣмъ не у мѣста: поразивъ воображеніе зрителя предметомъ посторонимъ, отвлечетъ необходимо душу его отъ главнаго чувства — того, которое должна произвести въ ней страсть Дидоны.

Въ концѣ IV сцены III акта Дидона говоритъ Мадгербалу:

Oui, malgré les malheurs où son courroux nous jette,
Allez, et que ma garde assure sa retraite;
Que ce prince, à l'abri de toute trahison,
Accable, s'il le peut, mais respecte Didon.

J'aime mieux, au péril d'une guerre barbare,
Que l'univers, témoin du sort qu'on me prépare,
Condamne un vain excès de générosité,
Que s'il me reprochait la moindre lâcheté.

Эти стихи дѣвица Жоржъ произнесла съ тѣмъ благородствомъ, которое приличио царицѣ: на лицѣ и въ глазахъ ея блистало величіе; но тотчасъ послѣ стиха [при которомъ выходитъ Мадгербалъ]:

Que s'il me reprochait la moindre lâcheté—

она обращается къ Элизѣ:

Ah! c'est trop retenir ma douleur et mes larmes,

и въ этомъ переходѣ къ другому чувству, кажется, не соблюдена была надлежащая постепенность. Важный голосъ вдругъ перемѣнился на жалобный и плачевный; величественное лицо вдругъ сдѣлалось печальнымъ; а эти два стиха, если не ошибаюсь, надлежало бы отдѣлить одинъ отъ другаго краткимъ молчаніемъ и, говоря:

Ah! c'est trop retenir ma douleur et mes larmes,

сохранить по крайней мѣрѣ въ голосѣ нѣсколько того принужденнаго спокойствія, съ которымъ Дидона за минуту говорила Мадгербалу о Ярбѣ.

Въ двухъ сценахъ съ Энеемъ и въ послѣдней, когда Мадгербалъ приноситъ Дидонѣ извѣстіе объ отъѣздѣ Энея [лучшихъ во всей трагедіи], игра дѣвицы Жоржъ была прекрасна, особливо въ послѣдній разъ. Надобно однако замѣтить вообще, что нѣжность выражаетъ она не такъ счастливо, какъ сильную горесть и негодованіе. Натура создала ее для характеровъ важныхъ, гордыхъ, великихъ: величіе можно назвать ея принадлежностію; она царица наружностію, движеніями, станомъ, лицомъ; но она гораздо меньше имѣетъ способности для характеровъ нѣжныхъ. Въ голосѣ ея, звонкомъ и чистомъ, нѣтъ довольно мягкости, нѣтъ звуковъ, трогающихъ душу; *нѣтъ слезъ, какъ говоритъ* Лагарпъ о молодой актрисѣ Госсенъ, которая, въ золотое время французскаго театра, восхищала Парижъ, играя Занру. Дѣвица Жоржъ можетъ производить удивленіе, поражать, а не трогать; она менѣе дѣйствуетъ на зрителя въ такія минуты, когда изображаетъ или меланхолію страсти, или одно тихое чувство любви, или то состояніе души, когда отчаяніе смѣшано въ ней съ нѣжностію. Напримѣръ, въ Федрѣ [быть можетъ единственная роля страстной любовницы, приличная таланту дѣвицы Жоржъ, ибо любовь Федры есть одно страданіе и никогда не переходитъ въ нѣжность], когда игра ея самая слабая? Въ ту минуту, когда Федра говоритъ Эноѣ о своихъ дѣтяхъ, когда сильное отчаяніе должно уступить въ ней мѣсто меланхолической скорби. И въ Дидонѣ всѣ нѣжныя черты любви были выражены нѣсколько слабо. Зато дѣвица Жоржъ торжествуетъ въ тѣхъ сценахъ, которыя требуютъ величія и силы; въ незапныхъ переходахъ изъ одного чувства въ другое противное, напримѣръ, изъ спокойствія въ ужасъ, отъ радости къ сильной печали. Игрою лица трогаетъ она гораздо болѣе, нежели голосомъ и движеніями; глаза ея прелестны, когда они или вдругъ воспламеняются яркимъ огнемъ сильнаго чувства, или наполняются мало по малу тѣмъ легкимъ, почти невидимымъ пламенемъ, которое противъ воли измѣняетъ глубокому чувству сердца.

Эней приходитъ изъ храма, гдѣ слышалъ онъ приговоръ боговъ, повелѣвающихъ ему удалиться; онъ говоритъ Дидонѣ:

Que vous dirai-je enfin? Accablé de douleur,
Déchiré par l'amour, entraîné par l'honneur...

и на лицѣ ея изображалось робкое ожиданіе, соединенное съ предчувствіемъ ужаснаго:

Qu'avez-vous résolu?

спрашиваетъ она такимъ голосомъ, въ которомъ ощутительно было, что она

страшится отвѣта, хотя уже предузнала его. Эней отвѣчаетъ:

Plaignez plutôt mon ame!
Tout parlait contre vous, tout condamnait ma flamme,
Ma gloire, mes sujets, nos prêtres et mon fils...

и нерѣшимость, которая приводила въ движеніе лицо Дидоны, исчезла; оно быстро измѣнилось; глаза ея, за минуту оживленные ожиданіемъ, вдругъ потухли.

N'achevez pas, cruel! vous avez tout promis!..

сказала она голосомъ слабымъ, которымъ прекрасно выражено было незапное изнеможеніе и сердца и силъ тѣлесныхъ. Въ выраженіи стиховъ:

Est-il bien vrai? ce jour va donc nous séparer?
Qui me consolera dans mes douleurs profondes?
Mon cœur, mon triste cœur vous suivra sur les ondes;
Et d'une vaine gloire occupé tout entier,
Au fond de l'univers vous irez m'oublier!..

M'oublier!..

желалъ бы я найти болѣе меланхолической чувствительности, нежели горести сильной, тѣмъ болѣе, что ихъ надлежало непремѣнно замѣтнымъ оттѣнкомъ отдѣлить отъ послѣдняго слова:

M'oublier!

Въ первыхъ пяти стихахъ Дидона говоритъ объ одной только разлукѣ, и сердце ея тронуто сильно; но это чувство болѣе унылое, нежели горестное: разлука не столь ужасаетъ ее, какъ забвеніе, и только на словѣ: m'oublier унылость должна была обратиться въ горесть. Это слово сказано было прекрасно; но оно несравненно сильнѣе тронуло бы зрителя, когда бы предыдущіе стихи не ослабили его дѣйствія, именно потому, что были произнесены такимъ же тономъ, какъ и оно.

Въ шестой сценѣ третьяго дѣйствія, когда оскорбленная Дидона дѣлаетъ упреки Энею, и въ послѣдней пятаго, когда, узнавъ объ Энеевомъ отъѣздѣ, она осыпаетъ его проклятіями [и та и другая почерпнуты изъ Виргилія] игра дѣвицы Жоржъ была превосходна. Стихи:

Non, tu n'es point le sang des héros, ni des dieux!
. . . . . .
Il faut d'autres raisons pour convaincre une amante!
. . . . . .
Tes dieux sont le parjure et l'infidelité!
[acte III, scène VI].
Tremble, ingrat! je mourrai; mais ma haine vivra!
. . . . . .
Et moi je te déclare une guerre immortelle!
[acte V, scène IV]—

произнесены были съ необыкновенною выразительностію; но мы замѣтимъ здѣсь опять, что роли нѣжныхъ любовницъ несвойственны таланту дѣвицы Жоржъ: Агриппина, Аталія, Клеопатра [въ Корнелевой Родогунѣ], Семирамида—вотъ характеры, единственно ей принадлежащіе.

«Династія Вестрисовъ есть чудный феноменъ, говоритъ одинъ французскій журналистъ [Жофруа],—въ ней великое дарованіе, вопреки опытамъ всѣхъ вѣковъ, переходитъ по прямой линіи отъ отца къ сыну—дарованіе прыгать и плѣнять глаза чудесными прыжками. Вестрисъ *Великій*, или *I-й*, имѣлъ достойнаго преемника въ своемъ сынѣ; Вестрисъ II произвелъ въ свою очередь Вестриса III, или Армана Вестриса; но дѣдъ оставилъ уже бренный міръ: онъ живетъ только въ памяти знатоковъ, а внукъ танцуетъ теперь за Альпійскими горами. Богиня Терпсихора, любезная повелительница всего, что имѣетъ легкія ноги, погружена была въ уныніе—вдругъ появился у двора ея принцъ крови изъ дома Вестрисовъ, Карлъ Вестрисъ, или Вестрисъ IV, восхитительный прыгунъ двѣнадцати лѣтъ, и милая, нѣсколько пріунывшая богиня танцевъ опять начинаетъ улыбаться!»... Оставимъ улыбать-

ся парижскую Терпсихору, а господина Жофруа считать по пальцамъ великихъ людей Вестрисовой династіи — сѣверная Терпсихора не завидуетъ южной, ибо она имѣетъ при дворѣ своемъ *Дюпора*, ни *I*, ни *II*, ни *III*, а просто *единственнаго*. Побѣдивъ въ Парижѣ Вестриса, царя Вестрисовъ, онъ разсудилъ промѣнять югъ на сѣверъ, и теперь жители снѣжнаго Петербурга не жалуются болѣе на зиму за то, что она разлучаетъ ихъ на цѣлые пять мѣсяцевъ съ зефирами: благодаря Дюпору, они, каждую недѣлю два раза, имѣютъ удовольствіе видѣть самого бога зефировъ въ театрѣ; иногда представляется онъ имъ въ собственномъ своемъ видѣ, съ бабочкиными крыльями, легкій, милый, привлекательный, одаренный всѣми пріятностями, какими онъ обладалъ въ старину, по словамъ историка басни, блаженной памяти Овидія; иногда въ образѣ Адониса, пламеннаго обожателя Венеры [хотя нѣсколько робкаго въ присутствіи Марса, извѣстнаго грубіяна]; иногда въ видѣ забавнаго цирюльника Фигаро, иногда [чему не скоро повѣритъ потомство] въ русскомъ кафтанѣ синяго цвѣта, обшитомъ серебрянымъ галуномъ, въ сапогахъ съ красными сафьянными отворотами. Все это не доказываетъ ли неоспоримо, что вѣкъ Овидіевыхъ превращеній еще не миновался? И Дюноръ, который вѣчно Зефиръ, несмотря на его чудесныя превращенія, не достоинъ ли, по справедливости, имѣть какого нибудь Овидія своимъ біографомъ? Сообщаемъ нашимъ читателямъ его портретъ, списанный съ натуры и весьма сходно однимъ французскимъ живописцемъ [или поэтомъ, что все равно] по имени Бершу:

Jamais Zéphur humain ne parut si léger:
Dans tous les autres vents rampant dans la carrière,
On avait reconnu le poids de la matière;
Mais lui seul, dégagé des terrestres liens,
Parait en tout semblable, aux dieux aériens,
Du parterre charmé l'œil peut le suivre à peine
Parmi les jeunes fleurs qu'agite son haleine!

Этотъ любезный Зефиръ удивлялъ, и, по увѣренію людей, которые обо всемъ знаютъ и все слышатъ, еще нѣсколько времяни будетъ удивлять Москву своею легкостію и своими превращеніями, вмѣстѣ съ тремя подругами богини Терпсихоры, которыя разсудили пожаловать къ намъ incognito, подъ скромными именами Сенклеръ, Новицкой, Иконниной — но публика московская, какъ извѣстно, весьма проницательная, очень скоро замѣтила обманъ.

Не странно ли? Г. Фрожеръ, имѣющій отличный комическій талантъ, выбралъ для бенефиса своего такую піесу, въ которой нельзя было ему показать никакого таланта: пародію Латушевой *Ифигеніи въ Таврида*. Если вѣрить строгимъ Аристархамъ, то всякая пародія [надобно замѣтить, что эти господа называютъ пародію злоупотребленіемъ драматическаго искусства], можетъ имѣть нѣкоторую пріятность только тогда, когда представляютъ тотчасъ послѣ той трагедіи или драмы, на которую она сдѣлана. Но мы, не видавши Латушева Ореста, могли ли смотрѣть съ удовольствіемъ на Ореста Фаварова [авторъ пародіи, если вѣрить театральному объявленію, и Вуазенопова, если вѣрить исторіи]? Господинъ Фрожеръ смѣшилъ насъ очень много, это правда; но только не игрою, а тѣмъ единственно, что онъ выступилъ на сцену въ греческомъ платьѣ и важнымъ голосомъ декламировалъ вздорные стихи. Много дарованія показалъ и господинъ Дюкло, ибо онъ представлялъ Пилада въ огромной прическѣ, съ буклями, въ пудрѣ, въ какомъ-то бѣломъ балахонѣ, и хотѣлъ поднять Тоаса на воздухъ вилами, какъ обыкновенную копну сѣна. Всѣхъ лучше играла госпожа Фурезъ: она старалась представить намъ въ каррикатурѣ дѣвицу Жоржъ, и мы въ самомъ дѣлѣ имѣли удовольствіе видѣть—каррикатуру дѣвицы Жоржъ.

III.

Дѣвица Жоржъ въ Вольтеровой Семирамидѣ.

Вольтеръ есть самый разительный изъ трагиковъ французскихъ; frappez fort plutôt que juste! говорилъ онъ [Лагарпу, если не ошибаюсь]. И почти во всѣхъ своихъ трагедіяхъ держался онъ этого правила: потрясши душу зрителя ударами сильными, онъ ее порабощалъ. Корнель удивляетъ высокостію мыслей и чувствъ; но удивленіе, дѣйствуя на одинъ только разсудокъ, именно потому не можетъ оставить глубокаго слѣда на сердцѣ: его продолжительность утомляетъ. Расинъ трогаетъ до глубины души; но онъ постепенно приводитъ насъ къ сильному чувству; онъ наполняетъ имъ всю душу, слѣдовательно дѣйствуетъ медленнѣе: оно глубокое, полное, а потому и не разительное. Вольтеръ, напротивъ, достигаетъ до сердца съ помощію воображенія: покоривъ насъ силою, онъ почитаетъ позволеннымъ пренебрегать тѣ мелкія подробности и оттѣнки, которыя сильное чувство могли бы сдѣлать глубокимъ и продолжительнымъ. Изъ трагедій Расиновыхъ выходишь съ живѣйшею чувствительностію, въ расположеніи меланхолическомъ; послѣ трагедій Вольтеровыхъ сердце поражено и воображеніе пылаетъ.

La vérité terrible est du ciel descendue,
Et du sein des tombeaux la vengeance est venue.

На этихъ двухъ стихахъ, можно сказать, основана вся Семирамида; но это основаніе передъ глазами критики. Напрасно стихотворецъ выводитъ мщеніе изъ гроба и заставляетъ Небо заботиться объ открытіи страшной тайны: великій жрецъ Ороэсъ знаетъ давно, что Семирамида и Ассуръ убійцы Нина; слѣдовательно все то, для чего разрушены законы природы, спокойствіе могилы возмущено и тѣнь оставляетъ гробовой пепелъ, могло бы исполнено быть самыми простыми, человѣческими средствами: именно съ помощію двухъ понятныхъ словъ изъ устъ жреца Ороэса; слѣдовательно трагикъ построилъ воздушный замокъ: онъ ужасаетъ насъ китайскими тѣнями. Несмотря однако на этотъ великій недостатокъ, и также несмотря на то, что въ Семирамидѣ истинное дѣйствіе начинается только въ концѣ третьяго акта, эта трагедія оставляетъ на душѣ зрителя впечатлѣніе чрезвычайно сильное. Въ чемъ же очарованіе стихотворца? Въ слогѣ его, которымъ онъ воспламеняетъ воображеніе: мы окружены какою-то страшною таинственностію, и ожиданіе сверхъестественнаго производитъ непроизвольный трепетъ въ сердцѣ; въ изображеніи великаго характера; въ положеніяхъ разительныхъ, ужасныхъ и вмѣстѣ трогающихъ душу, и наконецъ въ великолѣпіи зрѣлища. Послѣ того, когда мы уже узнали, что Семирамида мать Арзаса; что Нинова тѣнь требуетъ мщенія, которому надлежитъ совершиться во глубинѣ его гроба, и отъ руки Ниніаса, еще не знающаго, кто нареченъ жертвою отъ Неба, когда Семирамида входитъ въ этотъ ужасный гробъ, и когда Ниніасъ, обманутый Аземою, которая сказываетъ ему, что Ассуръ скрывается во гробѣ Нина, восклицаетъ, обнаживъ мечъ:

Grands dieux! tout est donc éclairci!
Mon coeur est rassuré, la victime est ici! —

кто изъ зрителей не содрогается отъ ужаса! И какая потомъ картина!.. Семирамида, блѣдная, полумертвая, медленно идущая изъ глубины гроба, при блескѣ молній, и наконецъ умирающая на рукахъ своего сына, своего убійцы... Можетъ быть, ни въ какой другой трагедіи не найдемъ ничего, что бы поражало и сердце и вмѣстѣ воображеніе такъ сильно, какъ два послѣдніе акта Семирамиды; но также и ни въ одной трагедіи сила впечатлѣнія не зависитъ такъ много отъ пышности зрѣлища и соотвѣтствованія декорацій воображенію поэта и зрителя: Ниновъ гробъ есть *дѣйствующее лицо* въ Семирамидѣ; онъ долженъ поражать насъ огромностію и величіемъ своей архитектуры:

Ce vaste mausolée où repose Ninus!

Когда Ниніасъ входитъ въ него съ обнаженнымъ мечомъ, какъ мститель, ведомый Небомъ, тогда и воображеніе зрителя невольно слѣдуетъ за нимъ во глубину могильнаго мрака, гдѣ совершается мщеніе ужасное; но спрашиваемъ: будетъ ли воображеніе обмануто, и слѣдственно одна изъ самыхъ разительныхъ сценъ трагедіи не потеряетъ ли свое дѣйствіе, если этотъ гробъ не иное что, какъ низкая испещренная какими-то знаками пирамида, на двухъ или трехъ ступеняхъ, съ смѣшными перилами, на которыя наброшенъ лоскутъ краснаго сукна; и когда сквозь отворенныя двери, ведущія въ мрачное подземелье, видишь заднюю кулису и людей, подлѣ нее стоящихъ? Сцена, въ которой Семирамида избираетъ себѣ супруга передъ народомъ, жрецами и вельможами Вавилона, есть одна изъ самыхъ величественныхъ сценъ трагедіи; но она только насмѣшитъ, если за тропомъ, вмѣсто многочисленнаго народа, увидимъ не болѣе десяти воиновъ, и если вельможи Семирамидины будутъ сидѣть на креслахъ изъ краснаго дерева, такихъ точно, на какихъ вельможи XIX вѣка сидятъ, въ часы отдохновенья, за бостономъ. Также очень много зависитъ и отъ того убора, въ какомъ является Нинова тѣнь посреди собранія чиновниковъ и народа: если мы увидимъ маленькую человѣческую фигуру, если на нее, вмѣсто гробовой одежды, обширной, влекущейся по землѣ, будетъ накинутъ мѣшокъ темнаго цвѣта; если этотъ, *ужасный, мстительный духъ*, выходя изъ гроба, будетъ съ благоразумною осторожностію смотрѣть подъ ноги, чтобы не зацѣпиться за порогъ, и если наконецъ, проговоривъ нѣсколько словъ такимъ голосомъ, какимъ обыкновенные смертные говорятъ о погодѣ, сочтетъ *онъ* за нужное оборотиться ко всѣмъ спиною, чтобы войти опять въ гробъ, а не слетѣть въ него стремглавъ по ступенямъ—тогда мы будемъ имѣть удовольствіе посмѣяться отъ доброй души въ такой сценѣ, въ которой стихотворцу хотѣлось насъ уморить отъ страха.

Дѣвица Жоржъ торжествуетъ въ Семирамидѣ: природа одарила ее тѣмъ величіемъ, которымъ воображеніе наше украшаетъ славную царицу Вавилона. Какимъ разительнымъ взглядомъ отвѣчаетъ она Ассуру (въ VII сценѣ II акта), когда онъ говоритъ ей:

Quand la terre obéit, que craignez-vous des dieux?

Она указываетъ на гробницу Нина [котораго Ассуръ отравилъ ядомъ], и послѣ минутнаго молчанія, во время котораго пристально разсматриваетъ она лицо Ассура, произноситъ:

La cendre de Ninus repose en cette enceinte
Et vous me demandez le sujet de ma crainte?
Vous!

Вся великость Семирамиды выражена была въ стихѣ:

Telle est ma volonté, constante, irrévocable!

Но слѣдующіе стихи:

C'est à vous de juger si le Dieu, qui m'accable
A laissé quelque force à mes sens interdits;
Si vous reconnaissez encor Sémiramis,—

были выражены, если не ошибаюсь, нѣсколько слабо; особенно послѣдній, который надлежало бы отдѣлить отъ прочихъ, ударивъ на слово: Sémiramis, былъ, такъ сказать, потерянъ между предыдущими и послѣдующими. Превосходные стихи:

Le don de mon empire et de ma liberté
Est l'acte le plus grand de mon autorité!—

сказаны были съ какою-то неприличною въ этомъ мѣстѣ живостію: ихъ надлежало бы произнести спокойнѣе, голосомъ твердымъ, съ величіемъ повелительницы самовластной.

Вообще въ Семирамидѣ игра дѣвицы Жоржъ, отъ начала до конца, кромѣ нѣкоторыхъ, весьма немногихъ мѣстъ, отвѣчала тому великому характеру, который изобразилъ намъ стихотворецъ; невозможно было не удивляться ея прелестной наружности, когда *она* взошла на тронъ [который, замѣтимъ, *не* весьма достоинъ былъ такой Семирамиды] и

оперлась съ величіемъ царицы на золотой скипетръ, врученный ей Отаною; нельзя было не содрогнуться отъ ужаса, когда она показалась въ дверяхъ гроба, окруженная пламенемъ молніи, блѣдная, издыхающая — эта картина была бы несравненна, когда бы Ниновъ мавзолей имѣлъ нѣсколько болѣе сходства съ Ниновымъ мавзолеемъ.

Но въ послѣднихъ стихахъ, полныхъ чувства, раздирающихъ душу, прямо трагическихъ, когда Семирамида, видя простертаго у ногъ ея Ниніаса, прощаетъ ему свою смерть, игра дѣвицы Жоржъ не во всемъ соотвѣтствовала положенію умирающей матери.

Mon fils, n'achève pas!
Je te pardonne tout, si, pour grâce dernière,
Une si chère main ferme au moins ma paupière,—

здѣсь въ звукѣ ея голоса не было той нѣжности, того глубокаго материнскаго чувства, которымъ должна бы наполнена быть душа умирающей Семирамиды; напротивъ въ немъ ощутительна была одна только слабость, происходящая отъ приближенія смерти. Но стихи:

D'une mère expirante approchez-vous tous
Donnez moi votre main... [deux;

тронули до слезъ — глаза Семирамиды были уже тусклы; она искала той милой руки, которую хотѣла еще разъ прижать къ своему сердцу.

Vivez, régnez heureux:
Cet espoir me console, il mêle quelque joie
Aux horreurs de la mort où mon ame est en proie.
Je la sens... elle vient... Songe à Sémiramis,
Ne hais point sa mémoire: ô mon fils! mon cher fils!..
C'en est fait.

Всѣ эти стихи были произнесены умирающимъ голосомъ, въ которомъ ощутительна была одна только слабость смерти и [что весьма, какъ я думаю, здѣсь неприлично] со слезами. Разлука въ минуту смерти не можетъ сопряжена быть съ тою горестію, въ какую повергаетъ насъ та разлука, послѣ которой мы представляемъ себѣ еще нѣсколько продолжительныхъ лѣтъ одинокой жизни, лишенной всего, что дѣлало намъ ее драгоцѣнною въ союзѣ съ милыми существами. По настоящему, для умирающаго нѣтъ разлуки, и минута смерти есть для него, можно сказать, минута наслажденія, *прискорбнаго потому, что она послѣдняя, но все наслажденія, ибо* для него съ потерею счастія соединена и потеря жизни; слѣдовательно онъ не можетъ страшиться ужаснаго чувства утраты: онъ самъ исчезаетъ въ ту минуту, когда исчезаетъ для него все любезное. Я желалъ бы найти въ послѣднихъ словахъ Семирамиды болѣе той любви, съ которою сердце матери должно останавливаться, въ послѣднюю минуту, на милыхъ покидаемыхъ ею дѣтяхъ; и желалъ бы, чтобы она, сказавъ съ сердечною нѣжностію:

Songe à Sémiramis,

на минуту замолчала, устремила бы тусклые глаза на лицо сына, какъ будто желая переселить въ него угасающую душу *свою*, и потомъ прибавила бы нѣжнымъ, умоляющимъ голосомъ:

Ne hais point sa mémoire...

и наконецъ съ послѣднимъ излiяніемъ любви:

ô mon fils! mon cher fils!..

тогда бы слова:

C'en est fait,

произнесенныя вдругъ, ослабѣвшимъ голосомъ, разительно изобразили совершенное прекращеніе жизни.

О КРИТИКѢ.

[письмо къ издателямъ «вѣстника европы»].

Будучи усерднымъ читателемъ вашего журнала и желая вамъ искренно успѣха въ его изданіи, почитаю обязанностію сообщить вамъ слышанный мною недавно любопытный разговоръ, котораго поводомъ было ваше объявленіе о Вѣстникѣ на слѣдующій годъ, напечатанное въ московскихъ газетахъ.

Я обѣдалъ на сихъ дняхъ у одного

моего знакомца. Это человѣкъ стараго времени, совсѣмъ неученый, но одаренный здравымъ разсудкомъ; онъ не знаетъ иностранныхъ языковъ, но любитъ читать, и всѣ хорошія русскія книги [оригинальныя и переведенныя] прочиталъ отъ доски до доски; любитъ поэзію—но одну русскую, ибо иностранныхъ поэтовъ знаетъ только по слуху, или въ нѣкоторыхъ переводахъ [слѣдовательно, почти не знаетъ; ибо вы сами признаетесь, что большую часть переводовъ можно сравнить съ *ложными слухами*, которые и самую истину нерѣдко превращаютъ для насъ въ небылицу]. Онъ имѣетъ что-то похожее на вкусъ, но по справедливости можно назвать его суевѣромъ во мнѣніяхъ о словесности, ибо все старое кажется ему прекраснымъ потому единственно, что оно старое. Вообще онъ большой неохотникъ до критики: умѣя чувствовать изящное, онъ мало оскорбляется тѣмъ, что оно бываетъ иногда *смѣшано* съ дурнымъ; скажу болѣе: самое дурное, отъ своего смѣшенія съ хорошимъ, бываетъ для него или сносно, или и совсѣмъ незамѣтно. У него нашелъ я общаго нашего знакомца, умнаго и весьма образованнаго человѣка. Онъ не авторъ, но судитъ съ великою основательностію о произведеніяхъ писателей. Онъ любитъ изящную словесность и въ особенности занимался ея теоріею; его мнѣнія о поэтахъ, ораторахъ и вообще о произведеніяхъ искусства основаны на правилахъ вѣрнаго и образованнаго вкуса.

Разсуждая о литературѣ, коснулись и нашего Вѣстника. «Вотъ новость, сказалъ мой *Стародумъ* [назову его *Стародумомъ*], подавая общему пріятелю нашему тотъ листокъ газетъ, въ которомъ помѣщено наше объявленіе. Издатели располагаются угощать насъ критикою: весьма любопытствую знать, что изъ этого выйдетъ; но, признаюсь вамъ, ничего добраго не обѣщаю себѣ отъ критики: что пользы нападать на писателей, которыхъ и безъ того у насъ очень немного? И нужно ли заводить междоусобія въ спокойной республикѣ литературы, превращать ее въ поле сраженія, на которомъ одинакое безславіе ожидаетъ и побѣдителя и побѣжденнаго; а насъ читателей, сдѣлавшихся просто зрителями, принуждать смотрѣть, смѣяться и, можетъ быть, презирать жалкихъ людей, забавляющихъ насъ своими ссорами? И ссору автора съ критикомъ не можно ли по справедливости сравнить съ сраженіемъ пѣтуховъ, забавнымъ только для тѣхъ, которые на него смотрятъ и держатъ большой закладъ? Я твердо увѣренъ, что такія забавныя ссоры много вредятъ литературѣ и необходимо унижаютъ почтенный характеръ писателя.»

Позвольте съ вами не согласиться [отвѣчалъ нашъ общій пріятель]. Увѣряю васъ, что вы испугали себя привидѣніемъ: или я ошибаюсь, или понятіе, составленное вами о критикѣ, весьма несправедливо. *Ссора, сраженіе, междоусобія*—всѣ эти ужасныя слова, которыми вы окружили миролюбивое слово: *критика*, совсѣмъ не принадлежатъ къ ея *сути*. Критика есть сужденіе, основанное на правилахъ образованнаго вкуса, безпристрастное и свободное. Вы читаете поэму, смотрите на картину, слушаете сонату—чувствуете удовольствіе или неудовольствіе—вотъ вкусъ; разбираете причину того и другаго — вотъ критика. И все ваше несходство съ настоящимъ критикомъ состоитъ единственно въ томъ, что вы разсуждаете наединѣ съ собою о такомъ предметѣ, о которомъ онъ говоритъ въ присутствіи многихъ, имѣющихъ полное право соглашаться съ нимъ, или не соглашаться — значитъ ли это заводить междоусобіе въ спокойной республикѣ литературы? И почему жъ унизительно говорить свое мнѣніе вслухъ о такомъ предметѣ, который можно назвать собственностію строгаго мнѣнія. Разумѣю здѣсь всѣ произведенія словесности и изящныхъ художествъ.

«Но прошу покорно замѣтить, не сами ли вы уничтожили пользу критики, сказавъ, что каждый читатель есть самъ по себѣ уже критикъ? Позволено ли *одному*

представлять цѣлое общество? И не безумное ли высокомѣріе почитать себя голосомъ публики, или присвоивать себѣ способность давать законы ея сужденіямъ?» - - И въ этомъ случаѣ позволяю себѣ думать различно съ вами. Напрасно приписываете вы критику неприличное намѣреніе быть законодателемъ мнѣній. Положеніе автора можно съ одной стороны сравнить съ положеніемъ человѣка, разговаривающаго въ обществѣ: первый говоритъ большими монологами, на которые или не даютъ ему отвѣта, или отвѣчаютъ ему въ критикѣ; другой выражается въ нѣсколькихъ словахъ, слышитъ отвѣты, дѣлаетъ возраженія—то же, что критика: отвѣчать на бумагѣ, отвѣчать на словахъ, не .все ли равно? Гдѣ же намѣреніе быть законодателемъ мнѣній? Одно необходимое условіе — учтивость. Предлагайте мысли свои, не думая, чтобы онѣ были неопровержимы. Правда, что каждый читатель есть самъ по себѣ критикъ, ибо онъ думаетъ и судитъ о томъ, что читаетъ; но слѣдуетъ ли изъ того, чтобы критика была безполезна? Я сомнѣваюсь. Два рода читателей: одни, закрывая прочтенную ими книгу, остаются съ темнымъ и весьма безпорядочнымъ о ней понятіемъ –это происходитъ или отъ непривычки мыслить въ связи, или отъ нѣкоторой безпечности, которая препятствуетъ имъ слѣдовать своимъ вниманіемъ за мыслями автора и разбирать впечатлѣнія, въ нихъ производимыя красотами или недостатками его творенія; другіе читаютъ, мыслятъ, чувствуютъ, замѣчаютъ прекрасное, видятъ погрѣшности — и въ головѣ ихъ остается порядочное, полное понятіе о томъ, что они читали. Нѣкоторые, прибавлю, судятъ криво и косо о произведеніяхъ изящнаго, потому, что вкусъ ихъ и разсудокъ или испорчены предубѣжденіями, или весьма еще мало образованы и требуютъ направленія. Для первыхъ благоразумная критика полезна бываетъ тѣмъ, что она можетъ служить Аріадниною нитію ихъ разсудку и чувству, которыя безъ того потерялись бы въ лабиринтѣ безпорядочныхъ понятій и впечатлѣній; она облегчаетъ для нихъ работу ума; соединяетъ и приводитъ въ систему то, что имъ представлялось безъ связи и по частямъ, побѣждаетъ ихъ безпечность и, избавляя вниманіе отъ тягостнаго усилія, приводитъ ихъ кратчайшимъ путемъ къ той цѣли, къ которой не могли бы они достигнуть безъ указателя. Другимъ доставляетъ она случай сравнивать собственныя понятія съ чужими, болѣе или менѣе основательными, и слѣдовательно представляетъ имъ съ другой точки зрѣнія тѣ предметы, которые они уже съ одной или съ нѣкоторыхъ разсматривали; отъ такого сравненія раждаются новыя понятія, или объясняются и становятся положительнѣе старыя. Но главная и существенная польза критики состоитъ въ распространеніи вкуса, и въ этомъ отношеніи она есть одна изъ важнѣйшихъ отраслей изящной словесности, прибавлю, и философіи моральной. Что такое вкусъ? Чувство и знаніе красоты въ произведеніяхъ искусства, имѣющаго цѣлію подражаніе природѣ нравственной и физической. Научась живѣе чувствовать красоты подражанія, мы необходимо становимся чувствительнѣе и къ красотамъ образца. Человѣкъ съ образованнымъ вкусомъ [который всегда основывается на чувствѣ и только *управляемъ* бываетъ разсудкомъ], долженъ быть и въ своей нравственности выше необразованнаго. Критика, распространяя истинныя понятія вкуса, образуетъ въ то же время и самое моральное чувство; *добро,* красота моральная въ самой натурѣ, отвѣчаетъ тому, что называется *изящнымъ* въ подражаніяхъ искусства; слѣдовательно съ усовершенствованіемъ одного соединяется и усовершенствованіе другаго. Изъ всего, мною сказаннаго, можете заключить, что званіе критика и весьма важное и весьма трудное. Вотъ идеалъ, составленный мною о его характерѣ: истинный критикъ, будучи одаренъ отъ природы глубокимъ и тонкимъ чувствомъ изящнаго, имѣетъ

[illegible] для опредѣленія степеней превосходства. Этого не довольно: чтобы судить о произведеніяхъ искусства, которыя не иное что, какъ подражаніе природѣ, надлежитъ хорошо быть знакомымъ и съ самымъ предметомъ подражанія — съ природою. Возьмите въ примѣръ самый высокій изъ всѣхъ родовъ поэзіи: эпическую поэму. Въ ней видите нравственный міръ со всѣми его страстями, и міръ физическій со всѣми его прелестями и великолѣпіемъ. Спрашиваю: будетъ ли въ состояніи критикъ опредѣлить достоинство стихотворца въ изображеніи страстей и характеровъ, если ни дѣйствія страстей, ни тайны характеровъ, которые надлежитъ наблюдать въ самомъ человѣкѣ, ему неизвѣстны? Замѣтитъ ли онъ вѣрность или невѣрность въ изображеніяхъ физической природы, если иногда самъ не восхищался ея красотами, если очарованіе вечера, или спокойное величіе утра, или пріятность тѣнистыхъ долинъ, или ужасы дикихъ утесовъ, неподвижныхъ посреди низпадающихъ съ вершины ихъ водопадовъ, не имѣютъ ничего привлекательнаго для его сердца? Истинный критикъ долженъ быть и моралистъ-философъ и прямо чувствителенъ къ красо-

[illegible]

«Надобно согласиться, что ваше изображеніе критика можетъ привести въ отчаяніе и самаго неустрашимаго рыцаря критики; и я имѣю причину думать, что господа издатели Вѣстника, которые такъ смѣло выступили на сцену критики въ своей газетной прокламаціи, не близки къ вашему идеалу. Извините, я повторяю, что сказалъ: но позвольте мнѣ сдѣлать одно замѣчаніе: изъ всѣхъ вашихъ разсужденій не имѣю ли я права заключить, что критикомъ (такимъ, какого вы описали) можетъ быть одинъ только художникъ? Кому лучше живописца судить о живописи, и лучше поэта о стихотворствѣ? Артисту, болѣе нежели другимъ, должны быть извѣстны всѣ тайны его искусства, и не должно ли напередъ самому написать что-нибудь превосходное, чтобы имѣть способность и право критиковать произведенія искусства?»

Замѣчаніе ваше, если хотите, и справедливо и нѣтъ. Хорошій артистъ не можетъ не быть и хорошимъ судьею своего искусства, это правда; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы способность разсматривать произведенія искусства непремѣнно соединена была съ способностію

производить изящное. Лагарпъ посредственный трагикъ; но кому лучше его извѣстна теорія драматическаго искусства? И его примѣчанія на трагедіи Расина и Вольтера не лучше ли несравненно тѣхъ примѣчаній, которыя великій Корнель, сей превосходный трагикъ, написалъ на собственныя свои трагедіи? Творецъ дѣйствуетъ по вдохновенію: онъ быстро угадываетъ тѣ красоты, которыя критикъ, руководствуемый чувствомъ изящнаго, съ медлительностію разсудка разсматриваетъ въ самомъ ихъ происхожденіи. Сія медлительность въ работѣ *разбирающаго* вкуса едва ли сообразна съ быстротою *творческаго* духа; и мы не всегда находимъ ихъ соединенными въ одномъ и томъ же человѣкѣ. Способность восхищаться красотою, способность угадывать тотъ путь, по которому творческій геній дошелъ до своей цѣли, то есть, до произведенія изящнаго, не есть еще творческій геній — она степенію ниже; не всякому дано отъ природы производить великое; но тотъ всѣхъ ближе къ великому, кто лучше другихъ угадываетъ его тайны. И если бы надлежало выбирать, то я поручилъ бы послѣднему быть толкователемъ перваго, ибо онъ способнѣе входить въ такія подробности, которыя первый, объемлющій все однимъ взглядомъ и въ цѣломъ, пренебрегъ бы, какъ безполезныя, а потому и не объяснилъ бы намъ удовлетворительно своего образа дѣйствовать.

«Благодаря вамъ, я помирился съ критикою — но должно признаться, что не всѣ расположены къ ней такъ милостиво, какъ вы. Я именовалъ бы нѣкоторыхъ извѣстныхъ писателей, которые ненавидятъ какъ самую критику, такъ и важныхъ господъ критиковъ. Напримѣръ Фильдингъ [котораго прекрасный романъ, лучшій изъ всѣхъ романовъ, умерщвленъ для насъ русскихъ въ безбожномъ переводѣ] называетъ ихъ публичными клеветниками, немилосердо марающими *доброе имя* книгъ. Едва ли можно перечесть тѣ пріятные титулы, которыми ихъ награждаютъ: это завистники, ядовитые пасквилянты, непріятели славы, и прочее, и прочее. Что скажете?»

Скажу, что все это относится къ одному только злоупотребленію критики, и что имена завистниковъ, ядовитыхъ пасквилантовъ, непріятелей славы, принадлежатъ единственно такимъ людямъ, которые вооружаются критикою не для пользы вкуса, а въ угожденіе собственнымъ своимъ страстямъ: зависти, мщенію и пр. Но это самозванцы-критики, и ихъ то смѣшныя ссоры съ писателями можно по справедливости сравнить съ сраженіемъ пѣтуховъ, забавнымъ для однихъ только зрителей. Нѣкоторые изъ нихъ нападаютъ на превосходнаго автора изъ одной ненависти къ превосходству; другіе отмщаютъ, на счетъ вкуса, за личное оскорбленіе; иные [и, кажется, бо́льшая часть] имѣютъ въ виду одно остроуміе, и колкостями, насчетъ хорошаго и дурнаго безъ разбора, угождаютъ врожденной насмѣшливости читателя. Такихъ забавныхъ или презрительныхъ актеровъ было весьма много на сценѣ французской литературы, и нѣкоторые [напримѣръ Фреронъ] прославились своимъ безславіемъ. У насъ еще ничего подобнаго не бывало, вѣроятно потому, что мы не богаты произведеніями собственными, можетъ быть, также и потому, что русскіе нѣсколько равнодушны ко всему русскому; а критика и хорошая и дурная существуетъ только тамъ, гдѣ литература есть одинъ изъ любимыхъ предметовъ всеобщаго вниманія. Какъ бы то ни было, злоупотребленіе вещи не унижаетъ ея достоинства. Но прибавлю, званіе критика соединено само по себѣ съ нѣкоторыми неизбѣжными опасностями: критикъ имѣетъ дѣло съ самолюбіемъ, и, что всего важнѣе, съ самолюбіемъ авторскимъ [которое по своей раздражительности занимаетъ первую степень между всѣми родами самолюбія]; слѣдственно онъ всегда подверженъ опасности оскорблять и самымъ скромнымъ и самымъ умѣреннымъ сужденіемъ. Въ такомъ случаѣ спасутъ его одни слѣдую-

щія правила: пусть будетъ онъ совершенно безпристрастенъ [безпристрастіе можно назвать *честностію* критика]; пускай имѣетъ въ виду единую пользу искусства, остерегается предубѣжденія и не позволяетъ себѣ быть судьею въ такихъ случаяхъ, въ которыхъ какая-нибудь личность нечувствительно можетъ замѣшать въ приговоръ его пристрастіе. Думаю также, что, разбирая произведенія изящныя, онъ долженъ болѣе останавливаться на красотахъ, нежели на погрѣшностяхъ, и, замѣчая только одне важныя ошибки, выставлять превосходное: ибо всякая новая красота есть пріобрѣтеніе искусства, есть новый шагъ его къ совершенству. Наконецъ языкъ его долженъ быть важенъ и простъ, и только въ необходимыхъ случаяхъ [когда простое убѣжденіе недостаточно] позволяется ему употребить оружіе насмѣшки. Насмѣшка производитъ не убѣжденіе, а предубѣжденіе; она должна быть только пособіемъ здравой логики, и тѣмъ болѣе опасна, что можетъ унизить самое превосходное. Извѣстно, что забавные софизмы Вольтера повредили для многихъ важнымъ и спасительнымъ истинамъ христіанства.

«Всѣ мнѣнія ваши справедливы; но спрашиваю: много ли найдетъ случаевъ такой критикъ, какого вы описали, примѣнять свой идеалъ изящнаго къ произведеніямъ нашихъ писателей и художниковъ? Нельзя ли по справедливости подозрѣвать, что онъ совсѣмъ останется у насъ безъ дѣла?»

Ваша правда, мы еще не богаты произведеніями превосходными; наша словесность едва начинаетъ выходить изъ младенчества; оригинальныхъ русскихъ книгъ весьма немного [я говорю объ однѣхъ хорошихъ]: зато какое множество переводовъ, и какихъ переводовъ! Ихъ смѣло можно назвать *оригиналами;* ибо они совершенно никакого не имѣютъ сходства съ подлинниками. Что же дѣлать критику посреди сего наводненія, въ которомъ утопаетъ наша несчастная словесность? Говорить объ искусствѣ и слогѣ, разсматривая такія книги, въ которыхъ нѣтъ и слѣдовъ искусства и слога, значило бы сражаться съ вѣтряными мельницами. Но я и разсматриваніе вздорныхъ книгъ, за неимѣніемъ хорошихъ, не почитаю совсѣмъ безполезнымъ. Критика можетъ быть у насъ *приготовленіемъ* къ хорошему. Разбирая, и, если угодно, осмѣивая безобразные переводы романовъ, которыми книгопродавцы безъ всякой пощады насъ угощаютъ, она сдѣлаетъ насъ по крайней мѣрѣ взыскательными, по крайней мѣрѣ научитъ называть дурное дурнымъ; а чтобы познакомить насъ съ истинно прекраснымъ, пускай обращаетъ наше вниманіе на произведенія старыхъ, или давно уже извѣстныхъ классическихъ писателей нашихъ. Въ сочиненіяхъ Ломоносова, Державина, Дмитріева, Карамзина и еще нѣкоторыхъ новѣйшихъ найдутся образцы, довольно близкіе къ тому идеалу изящнаго, который долженъ существовать въ головѣ каждаго критика. Причины же небогатства нашей словесности...

Разговоръ былъ прерванъ на самомъ этомъ мѣстѣ прибытіемъ нѣсколькихъ посторонніхъ людей. Я простился съ моимъ знакомцемъ, побѣжалъ домой и записалъ для васъ слышанное: надѣюсь, что нѣкоторыя мысли моего почтеннаго адвоката критики будутъ полезны и для васъ.

О САТИРѢ
И
САТИРАХЪ КАНТЕМИРА.

Кантемиръ принадлежитъ къ немногимъ классическимъ стихотворцамъ Россіи; но рѣдкій изъ русскихъ развертываетъ его сатиры, ибо старинный слогъ его пугаетъ читателя, который ищетъ въ стихахъ одного легкаго удовольствія. Кантемира можно сравнить съ такимъ человѣкомъ, котораго суровая наружность сначала не предвѣщаетъ ничего добраго; но съ которымъ надобно познакомиться короче, чтобъ полюбить его характеръ, и потомъ

дить наслажденіе въ его бесѣдѣ. Обративши на сего стихотворца вниманіе нашихъ читателей, мы надѣемся заслужить отъ нихъ благодарность; но предварительно позволяемъ себѣ войти въ нѣкоторыя разсужденія о сатирѣ.

Какой предметъ сатиры? Осмѣяніе человѣческихъ заблужденій, глупостей и пороковъ. Смѣхъ производитъ веселость, а веселость почитается однимъ изъ счастливѣйшихъ состояній человѣческаго духа. Во всѣхъ намъ извѣстныхъ языкахъ, говоритъ Аддисонъ, находимъ метафору: *поля смѣются*, *луга смѣются;* это служитъ доказательствомъ, что смѣхъ, самъ по себѣ, есть что-то и привлекательное и любезное. Смѣхъ оживляетъ душу, или, разсѣвая мрачность ея, когда она обремененна печалію, или возбуждая въ ней дѣятельность и силу, когда она утомлена умственною, трудною работою. По словамъ Сульцера, смѣхъ бываетъ двоякаго рода: или чистый, просто располагающій насъ къ веселости; или сложный, то есть, соединенный съ чувствами и понятіями посторонними. Предметъ, самъ по себѣ забавный, заставляетъ насъ смѣяться и болѣе ничего: вотъ чистый смѣхъ; но если подъ личиною смѣшнаго сарывается что нибудь отвратительное, или достойное презрѣнія, тогда необходимо со смѣхомъ должно соединиться въ нашей душѣ и чувство досады, негодованія, отвращенія: вотъ что называется смѣхомъ сложнымъ. Дарованіе смѣшить остроумно принадлежитъ весьма немногимъ. Рѣдкій имѣетъ способность замѣчать смѣшныя стороны вещей, находить неожиданное сходство между предметами, ни мало не сходными, или соединять такіе предметы, которыхъ соединеніе или неестественно или чудесно; а все это составляетъ сущность смѣшнаго. Съ перваго взгляда сія шутливость, или колкая, или живая, покажется свойствомъ человѣка веселаго: но веселость есть характеръ, а дарованіе находить въ предметахъ забавную сторону, или созидать воображеніемъ предметы смѣшные, есть принадлежность ума, неразлучная съ другими важнѣйшими его качествами. Человѣкъ, по характеру своему веселый, все видитъ съ хорошей стороны; и люди и міръ принимаютъ на себя, такъ сказать, цвѣтъ его сердца; все для него ясно; онъ можетъ смѣяться, потому что смѣхъ и радость почти одно и то же: но онъ менѣе способенъ замѣчать смѣшное, то есть, противорѣчащее нашему понятію и чувству, ибо для сего необходимо нужно имѣть нѣсколько того ѣдкаго остроумія, которое несообразно съ характеромъ кроткой и снисходительной веселости. Напротивъ, человѣкъ, имѣющій даръ насмѣшки, почти всегда имѣетъ и характеръ важный и умъ глубокомысленный. Чтобы найти въ предметѣ смѣшную, для обыкновеннаго взора незамѣтную сторону, надлежитъ разсмотрѣть его со всѣхъ сторонъ, а для сего потребны размышленіе и проницательная тонкость; чтобы замѣтить, въ чемъ удаляется тотъ или другой характеръ, тотъ или другой поступокъ отъ правилъ и понятій истинныхъ, и потомъ сіе отдаленіе представить смѣшнымъ, потребно имѣть ясное и полное понятіе о вещахъ, колкое остроуміе, духъ наблюдательный и воображеніе живое: все это болѣе или менѣе не принадлежитъ къ характеру ясной и можетъ быть нѣсколько легкомысленной веселости. Изъ всего сказаннаго выше слѣдуетъ, что дарованіе замѣчать смѣшныя стороны предметовъ, соединенное съ искусствомъ изображать ихъ разительно для другихъ, есть дарованіе геніевъ рѣдкихъ.

И сіе дарованіе можетъ быть или благодѣтельно или вредно, какъ въ общежитіи, такъ и въ словесности---но кругъ вреда и пользы, отъ него проистекающихъ, несравненно обширнѣе въ послѣдней. Насмѣшка сильнѣе всѣхъ философическихъ убѣжденій опровергаетъ упорный предразсудокъ и дѣйствуетъ на порокъ: осмѣянное становится въ глазахъ нашихъ низкимъ; а вмѣстѣ съ уваженіемъ къ вещи теряется и наша къ ней привязанность. Не должно думать однако, чтобы насмѣшка могла исправить порочнаго:

она только *открываетъ* ему дурныя стороны его и, можетъ быть, живѣе только даетъ чувствовать необходимость украсить ихъ личиною пріятнаго. Но цѣль моралиста—какимъ бы онъ оружіемъ ни дѣйствовалъ, насмѣшкою или простымъ убѣжденіемъ, — не есть невозможное исправленіе порока, а только предохраненіе отъ него души неиспорченной, или исцѣленіе такой, которая, введена будучи въ обманъ силою примѣра, предразсудка и навыка, не смотря на то, сохранила ей свойственное расположеніе къ добру. Насмѣшка есть оружіе *предохранительное*; ничто лучше ея не охлаждаетъ воображенія, излишне воспламененнаго; она побѣждаетъ и тамъ, гдѣ усилія степеннаго разсудка остаются безплодны. Съ другой стороны, дарованіе смѣяться можетъ быть весьма вреднымъ, если не будетъ оно соединено съ характеромъ благороднымъ и уваженіемъ чистой морали: ибо все то, что мы почитаемъ священнымъ, можетъ унижено быть въ глазахъ нашихъ дѣйствіемъ насмѣшки.

Философы и поэты употребляютъ оружіе насмѣшки для пользы нравовъ. Сатирикъ и комикъ имѣютъ то сходство съ моралистомъ-философомъ, что они дѣйствуютъ для одной цѣли, которой однако достигаютъ различными путями. Моралистъ разсуждаетъ и, убѣждая умъ, говоритъ сердцу; напротивъ, комикъ и сатирикъ осмѣиваютъ моральное безобразіе, и тѣмъ болѣе привязываютъ насъ къ красотѣ моральной, которая становится ощутительнѣе отъ противоположности. Различіе между сатирою и комедіею заключается въ одной только формѣ: въ комедіи мы видимъ *передъ глазами* тѣ оригиналы и тѣ пороки, которые сатирикъ представляетъ одному только *воображенію*: тамъ они сами выходятъ на сцену и сами себя обличаютъ; а здѣсь выходитъ на сцену поэтъ, который или забавляетъ насъ своими колкими шутками, или производитъ въ душѣ нашей благодѣтельное негодованіе. Изъ всего сказаннаго выше можно легко составить себѣ понятіе о характерѣ сатирическаго стихотворца и комика. Они необходимо должны имѣть духъ наблюдательный, глубокое знаніе человѣческаго сердца, и рѣдкимъ извѣстное искусство представлять въ смѣшномъ все то, что несогласно съ правилами и понятіями чистой морали. Искусство осмѣивать остроумно тогда только бываетъ истинно полезнымъ, когда оно соединено съ высокостію чувствъ, неиспорченнымъ сердцемъ и твердымъ уваженіемъ обязанностей человѣка и гражданина. Истинный сатирикъ и стихотворецъ комическій должны ненавидѣть изображаемые ими пороки; но если сія ненависть будетъ произведеніемъ не сильной привязанности къ добру, а одного только расположенія все находить или смѣшнымъ, или низкимъ; если они будутъ смотрѣть на міръ и на человѣка съ угрюмостію и пристрастіемъ мизантроповъ, а не съ добрымъ чувствомъ друзей человѣчества, которые желаютъ, чтобы все передъ глазами ихъ наслаждалось счастіемъ, и потому только ненавидятъ порокъ, что онъ есть главнѣйшій противникъ сего счастія: тогда они посѣяютъ въ сердцахъ своихъ читателей одно только мрачное чувство ненависти, которое можетъ быть благодѣтельно не иначе, какъ будучи въ равновѣсіи съ услаждительнымъ чувствомъ любви: ненависть стѣсняетъ душу, напротивъ любовь ее животворитъ и располагаетъ къ дѣятельности полезной. Сердечный жаръ, какъ говоритъ Сульцеръ, долженъ быть музою сатирика. Это справедливо: и въ ту минуту, когда онъ попираетъ ногами порокъ, или осмѣиваетъ глупость, или забавляется насмѣшливостію странности, я долженъ замѣчать въ душѣ его и любовь къ добродѣтели, и чувствительность, и благородное уваженіе ко всему прекрасному. На этихъ только условіяхъ и въ обществѣ бываетъ терпимъ колкій насмѣшникъ; ибо тогда всѣ тѣ, которые сами имѣютъ характеръ благородный, могутъ полагаться на его справедливость, но тотъ, кто всѣмъ безъ разбора жертвуетъ своему остроумію, особ-

ходимо удалять отъ себя всякое доброе сердце; онъ непроизвольно обнаруживаетъ предъ нимъ собственную бѣдность свою въ чувствахъ высокихъ и оскорбляетъ его своею жестокостію. Такое и дѣйствіе сатиры, въ которой замѣчаемъ одно желаніе и искусство порицать, и не находимъ ничего питательнаго для сердца.

Сатира, собственно такъ называемая, отлична отъ всѣхъ другихъ сатирическихъ произведеній — и въ прозѣ и въ стихахъ — своею дидактическою формою. Вольтеровъ *Кандидъ*, Сервантовъ *Донъ Кихотъ*, Эразмова *Похвала дурачеству*, Свифтовъ *Гулливеръ*, Ботлеровъ *Гудибрасъ*, Мольеровъ *Тартюфъ*, имѣютъ предметомъ, какъ и сатира, осмѣяніе пороковъ и глупостей: но *Кандидъ*, *Гулливеръ* и *Донъ Кихотъ* романы, *Гудибрасъ* поэма, *Тартюфъ* комедія. Сатира должна быть сатирою, слѣдовательно, имѣть собственную, ей одной принадлежащую форму. Сатирикъ, можно сказать, заимствуетъ эту форму у философа; но онъ заимствуетъ какъ стихотворецъ, и сверхъ того пользуется нѣкоторыми особенными способами. Избравши предметъ свой, онъ примѣняется къ нему топомъ, слогомъ и расположеніемъ; напримѣръ: нападая на странности, онъ вооружается легкою и колкою шуткою, смѣшитъ и исцѣляетъ пріятнымъ лѣкарствомъ смѣха; напротивъ, имѣя въ виду какой нибудь вредный, заразительный порокъ, онъ возвышаетъ тонъ, выражается съ жаромъ, и тогда самая насмѣшка его принимаетъ на себя наружность негодованія. Все это будетъ ощутительнѣе, когда мы взглянемъ и сатиры Горація и Ювенала. Теперь скажемъ нѣсколько словъ о тѣхъ предметахъ, которыми всего приличнѣе заниматься сатирику. Онъ долженъ изъ безчисленнаго множества пороковъ, странностей и заблужденій выбирать только такіе, которыхъ вліяніе и общее и самое обширное; частныя заблужденія и пороки, будучи мало замѣтны, потому именно и не могутъ быть заразительны: ибо они происходятъ по большей части отъ нѣкоторыхъ особенныхъ недостатковъ ума и характера, которые надлежитъ почитать исключеніями. Личность есть то же, что низкое мщеніе; она уничтожаетъ нашу довѣренность къ сатирику, который въ глазахъ нашихъ долженъ быть проповѣдникомъ истины и добрыхъ нравовъ. Одинъ человѣкъ не можетъ быть образцомъ для другихъ ни въ добрѣ, ни въ злѣ: стихотворецъ изображаетъ намъ только то, что свойственно всему человѣчеству, соблюдая однако всѣ тѣ отличія, которыя человѣческая натура заимствуетъ отъ нравовъ и обычаевъ его вѣка: слѣдовательно, будучи наблюдателемъ тонкимъ, онъ долженъ изображать человѣка вообще, то есть, представлять намъ въ добродѣтеляхъ и въ порокахъ идеалъ цѣлаго, составленный изъ множества мелкихъ, въ разное время замѣченныхъ имъ частей: таковы должны быть нравственныя картины сатирика. Личная сатира только что оскорбляетъ; а оскорбленіе почти никогда не можетъ быть дѣйствительнымъ лѣкарствомъ. Не думаю также, чтобы въ сатирахъ было полезно нападать на пороки, слишкомъ отвратительные и потому именно выходящіе изъ порядка натуры: такія картины только что возмущаютъ чувство; но польза ихъ весьма ограниченная, ибо нѣтъ никому нужды остерегаться отъ того, что необходимо должно казаться неестественнымъ и производитъ отвращеніе.

Эшенбургъ раздѣляетъ сатиры на *важныя* и *веселыя*. Въ первыхъ стихотворецъ сражается только съ такими пороками, которые гибельны для общества: слогъ его долженъ быть силенъ, *негодованіе* должно быть его геніемъ. Въ сатирахъ веселыхъ стихотворецъ имѣетъ передъ глазами одни забавныя странности, одни пороки смѣшные, и слогъ его долженъ быть легокъ, исполненъ того остроумія, которое Цицеронъ называетъ солью. Важная сатира можетъ въ иныя минуты заимствовать легкость у веселой, а веселая заимствовать силу у важной; разнообразіе почитается одною изъ главныхъ

прелестей слога. Замѣтимъ здѣсь, что важная сатира вообще легче для стихотворца, нежели веселая, именно потому, что въ первой изображаетъ онъ такіе предметы, которыхъ характеръ разителенъ, слѣдовательно и болѣе замѣтенъ; а въ послѣдней занимается мелкими, слѣдовательно требующими особенной остроты зрѣнія и занимательности предметами.

Чтобъ получить яснѣйшее понятіе о томъ, какова должна быть истинная сатира, надлежитъ разсмотрѣть характеры тѣхъ стихотворцевъ, которыхъ сатиры почитаются самыми совершенными; слѣдовательно характеры Горація и Ювенала, которымъ всѣ лучшіе новѣйшіе сатирики, напр. Буало, Попъ и нашъ Кантемиръ болѣе или менѣе подражали.

Гораціевы сатиры можно назвать сокровищемъ опытной нравственности, полезной для всякаго, во всякое время, во всѣхъ обстоятельствахъ жизни. Характеръ сего поэта- веселость, чувствительность, пріятная и остроумная шутливость. Онъ живетъ въ свѣтѣ и смотритъ на него глазами философа, знающаго истинную цѣну жизни, привязаннаго къ удовольствіямъ непорочнымъ и свободѣ, имѣющаго проницательный умъ, характеръ откровенный и, наконецъ, способность *видѣть* недостатки людей, не оскорбляться ими, и только находить ихъ забавными. Посреди разсѣянности и шума придворной жизни, онъ сохранилъ въ душѣ своей привязанность къ простымъ наслажденіямъ природы. Онъ забавляется надъ глупостями, заблужденіями и пороками; но онъ не взыскателенъ, не выдаетъ себя за строгаго законодателя правовъ и имѣетъ ту снисходительность, которая и самые непріятные упреки дѣлаетъ привлекательными; его простосердечіе и любезный характеръ примиряютъ насъ съ колкостію его остроумія — и вы охотно соглашаетесь у него учиться, потому что онъ говоритъ отъ сердца, по опыту, и забавляетъ насъ, предлагая намъ правоученіе полезное; его философія не имѣетъ цѣлію моральнаго совершенства стоиковъ, надъ которыми онъ позволяетъ себѣ иногда смѣяться; она заключаетъ въ себѣ искусство пользоваться благами жизни, быть истинно независимымъ и любить природу. Со стороны стихотворной, сатиры его почитаются совершеннѣйшими изъ всѣхъ намъ извѣстныхъ. Формы его чрезвычайно разнообразны: иногда говоритъ онъ самъ, иногда выводитъ на сцену постороннія лица, иногда разсказываетъ читателю своему басню. Его описанія чрезвычайно живы; но онъ только прикасается къ описываемому предмету, и никогда не утомляетъ вниманія; изображая характеръ, онъ представляетъ одинъ главныя и самыя нужныя черты его живою, но легкою кистію. Онъ имѣетъ даръ, говоря уму, оживлять воображеніе и прикасаться къ сердцу — и мысли его всегда согрѣты пламенемъ чувства. Однимъ словомъ, прочитавъ его сатиры [надобно къ нимъ причислить и посланія, изъ которыхъ нѣкоторыя ни въ чемъ не разнствуютъ съ сатирою], вы остаетесь съ лучшимъ знаніемъ свѣта, съ яснѣйшимъ понятіемъ о жизни и съ большимъ расположеніемъ ко всему доброму.

Ювеналъ имѣетъ характеръ совсѣмъ противоположный Горацію: онъ бичъ порочныхъ и порока. Читая сатиры его, увѣряемся, что Ювеналъ имѣлъ пламенную, исполненную любви къ добродѣтели душу; но въ то же время и нѣкоторую угрюмость, которая заставляла его смотрѣть на предметы съ дурной только стороны ихъ: представляя ихъ глазамъ читателя, онъ съ намѣреніемъ увеличивалъ ихъ безобразіе. — Онъ родился при императорѣ Калигулѣ; но сатиры его, изъ которыхъ дошло до насъ только шестнадцать, всѣ написаны во времена Траяна или Адріана, слѣдовательно въ глубокой старости. Сіи обстоятельства объясняютъ намъ и то, отчего сатирикъ вездѣ представляется нашимъ глазамъ, какъ строгій судья, и нигдѣ не утѣшаетъ насъ веселою философіею чувствительнаго человѣка. Ювеналъ, стоикъ характеромъ,

оперлась съ величіемъ царицы на золотой скипетръ, врученный ей Отаною; нельзя было не содрогнуться отъ ужаса, когда она показалась въ дверяхъ гроба, окруженная пламенемъ молніи, блѣдная, издыхающая — эта картина была бы несравненна, когда бы Ниновъ мавзолей имѣлъ нѣсколько болѣе сходства съ Ниновымъ мавзолеемъ.

Но въ послѣднихъ стихахъ, полныхъ чувства, раздирающихъ душу, прямо трагическихъ, когда Семирамида, видя простертаго у ногъ ея Ниніаса, прощаетъ ему свою смерть, игра дѣвицы Жоржъ не во всемъ соотвѣтствовала положенію умирающей матери.

Mon fils, n'achève pas!
Je te pardonne tout, si, pour grâce dernière,
Une si chère main ferme au moins ma paupière,—

здѣсь въ звукѣ ея голоса не было той нѣжности, того глубокаго материнскаго чувства, которымъ должна бы наполнена быть душа умирающей Семирамиды; напротивъ въ немъ ощутительна была одна только слабость, происходящая отъ приближенія смерти. Но стихи:

D'une mère expirante approchez-vous tous
Donnez moi votre main... [deux;

тронули до слезъ — глаза Семирамиды были уже тусклы; она искала той милой руки, которую хотѣла еще разъ прижать къ своему сердцу.

Vivez, régnez heureux:
Cet espoir me console, il mêle quelque joie
Aux horreurs de la mort où mon ame est en proie.
Je la sens... elle vient... Songe à Sémiramis,
Ne hais point sa mémoire: ô mon fils! mon cher fils!..
C'en est fait.

Всѣ эти стихи были произнесены умирающимъ голосомъ, въ которомъ ощутительна была одна только слабость смерти и [что весьма, какъ я думаю, здѣсь неприлично] со слезами. Разлука въ минуту смерти не можетъ сопряжена быть съ тою горестію, въ какую повергаетъ насъ та разлука, послѣ которой мы представляемъ себѣ еще нѣсколько продолжительныхъ лѣтъ одинокой жизни, лишенной всего, что дѣлало намъ ее драгоцѣнною въ союзѣ съ милыми существами. По настоящему, для умирающаго нѣтъ разлуки, и минута смерти есть для него, можно сказать, минута наслажденія, *прискорбнаго потому, что она послѣдняя, но все наслажденія, ибо* для него съ потерею счастія соединена и потеря жизни; слѣдовательно онъ не можетъ страшиться ужаснаго чувства утраты: онъ самъ исчезаетъ въ ту минуту, когда исчезаетъ для него все любезное. Я желалъ бы найти въ послѣднихъ словахъ Семирамиды болѣе той любви, съ которою сердце матери должно останавливаться, въ послѣднюю минуту, на милыхъ покидаемыхъ ею дѣтяхъ; я желалъ бы, чтобы она, сказавъ съ сердечною нѣжностію:

Songe à Sémiramis,

на минуту замолчала, устремила бы тусклые глаза на лицо сына, какъ будто желая переселить въ него угасающую душу *свою*, и потомъ прибавила бы нѣжнымъ, умоляющимъ голосомъ:

Ne hais point sa mémoire...

и наконецъ съ послѣднимъ излія̀ніемъ любви:

ô mon fils! mon cher fils!..

тогда бы слова:

C'en est fait,

произнесенныя вдругъ, ослабѣвшимъ голосомъ, разительно изобразили совершенное прекращеніе жизни.

О КРИТИКѢ.

[письмо къ издателямъ «вѣстника европы»].

Будучи усерднымъ читателемъ нашего журнала и желая вамъ искренно успѣха въ его изданіи, почитаю обязанностію сообщить вамъ слышанный мною недавно любопытный разговоръ, котораго поводомъ было ваше объявленіе о Вѣстникѣ на слѣдующій годъ, напечатанное въ московскихъ газетахъ.

Я обѣдалъ на сихъ дняхъ у одного

моего знакомца. Это человѣкъ стараго времени, совсѣмъ неученый, но одаренный здравымъ разсудкомъ; онъ не знаетъ иностранныхъ языковъ, но любитъ читать, и всѣ хорошія русскія книги [оригинальныя и переведенныя] прочиталъ отъ доски до доски; любитъ поэзію—но одну русскую, ибо иностранныхъ поэтовъ знаетъ только по слуху, или въ нѣкоторыхъ переводахъ [слѣдовательно, почти не знаетъ; ибо вы сами признаетесь, что бо́льшую часть переводовъ можно сравнить съ *ложными слухами*, которые и самую истину нерѣдко превращаютъ для насъ въ небылицу]. Онъ имѣетъ что-то похожее на вкусъ, но по справедливости можно назвать его суевѣромъ во мнѣніяхъ о словесности, ибо все старое кажется ему прекраснымъ потому единственно, что оно старое. Вообще онъ большой неохотникъ до критики: умѣя чувствовать изящное, онъ мало оскорбляется тѣмъ, что оно бываетъ иногда *смѣшано* съ дурнымъ; скажу болѣе: самое дурное, отъ своего смѣшенія съ хорошимъ, бываетъ для него или сносно, или и совсѣмъ незамѣтно. У него нашелъ я общаго нашего знакомца, умнаго и весьма образованнаго человѣка. Онъ не авторъ, но судитъ съ великою основательностію о произведеніяхъ писателей. Онъ любитъ изящную словесность и въ особенности занимался ея теоріею; его мнѣнія о поэтахъ, ораторахъ и вообще о произведеніяхъ искусства основаны на правилахъ вѣрнаго и образованнаго вкуса.

Разсуждая о литературѣ, коснулись и нашего Вѣстника. «Вотъ новость, сказалъ мой *Стародумъ* [назову его *Стародумомъ*], подавая общему пріятелю нашему тотъ листокъ газетъ, въ которомъ помѣщено ваше объявленіе. Издатели располагаются угощать насъ критикою: весьма любопытствую знать, что изъ этого выйдетъ; но, признаюсь вамъ, ничего добраго не обѣщаю себѣ отъ критики: что пользы нападать на писателей, которыхъ и безъ того у насъ очень немного? И нужно ли заводить междоусобія въ спокойной республикѣ литературы, превращать ее въ поле сраженія, на которомъ одинакое безславіе ожидаетъ и побѣдителя и побѣжденнаго; а насъ читателей, сдѣлавшихся просто зрителями, принуждать смотрѣть, смѣяться и, можетъ быть, презирать жалкихъ людей, забавляющихъ насъ своими ссорами? И ссору автора съ критикомъ не можно ли по справедливости сравнить съ сраженіемъ нѣтуховъ, забавнымъ только для тѣхъ, которые на него смотрятъ и держатъ большой закладъ? Я твердо увѣренъ, что такія забавныя ссоры много вредятъ литературѣ и необходимо унижаютъ почтенный характеръ писателя.»

Позвольте съ вами не согласиться [отвѣчалъ нашъ общій пріятель]. Увѣряю васъ, что вы испугали себя привидѣніемъ: или я ошибаюсь, или понятіе, составленное вами о критикѣ, весьма несправедливо. *Ссора, сраженіе, междоусобія*— всѣ эти ужасныя слова, которыми вы окружили миролюбивое слово: *критика*, совсѣмъ не принадлежатъ къ ея *свитѣ*. Критика есть сужденіе, основанное на правилахъ образованнаго вкуса, безпристрастное и свободное. Вы читаете поэму, смотрите на картину, слушаете сонату— чувствуете удовольствіе или неудовольствіе—вотъ вкусъ; разбираете причину того и другаго — вотъ критика. И все ваше несходство съ настоящимъ критикомъ состоитъ единственно въ томъ, что вы разсуждаете наединѣ съ собою о такомъ предметѣ, о которомъ онъ говоритъ въ присутствіи многихъ, имѣющихъ полное право соглашаться съ нимъ, или не соглашаться — значитъ ли это заводить междоусобіе въ спокойной республикѣ литературы? И почему жъ унизительно говорить свое мнѣніе вслухъ о такомъ предметѣ, который можно назвать собственностію строгаго мнѣнія. Разумѣю здѣсь всѣ произведенія словесности и изящныхъ художествъ.

«Но прошу покорно замѣтить, не сами ли вы уничтожили пользу критики, сказавъ, что каждый читатель есть самъ по себѣ уже критикъ? Позволено ли *одному*

представлять цѣлое общество? И не безумное ли высокомѣріе почитать себя голосомъ публики, или присвоивать себѣ способность давать законы ея сужденіямъ?» — И въ этомъ случаѣ позволяю себѣ думать различно съ вами. Напрасно приписываете вы критику неприличное намѣреніе быть законодателемъ мнѣній. Положеніе автора можно съ одной стороны сравнить съ положеніемъ человѣка, разговаривающаго въ обществѣ: первый говоритъ большими монологами, на которые или не даютъ ему отвѣта, или отвѣчаютъ ему въ критикѣ; другой выражается въ нѣсколькихъ словахъ, слышитъ отвѣты, дѣлаетъ возраженія—то же, что критика: отвѣчать на бумагѣ, отвѣчать на словахъ, не все ли равно? Гдѣ же намѣреніе быть законодателемъ мнѣній? Одно необходимое условіе — учтивость. Предлагайте мысли свои, не думая, чтобы онѣ были неопровержимы. Правда, что каждый читатель есть самъ по себѣ критикъ, ибо онъ думаетъ и судитъ о томъ, что читаетъ; но слѣдуетъ ли изъ того, чтобы критика была безполезна? Я сомнѣваюсь. Два рода читателей: одни, закрывая прочтенную ими книгу, остаются съ темнымъ и весьма безпорядочнымъ о ней понятіемъ—это происходитъ или отъ непривычки мыслить въ связи, или отъ нѣкоторой безпечности, которая препятствуетъ имъ слѣдовать своимъ вниманіемъ за мыслями автора и разбирать впечатлѣнія, въ нихъ производимыя красотами или недостатками его творенія; другіе читаютъ, мыслятъ, чувствуютъ, замѣчаютъ прекрасное, видятъ погрѣшности — и въ головѣ ихъ остается порядочное, полное понятіе о томъ, что они читали. Нѣкоторые, прибавлю, судятъ криво и косо о произведеніяхъ изящнаго, потому, что вкусъ ихъ и разсудокъ или испорчены предубѣжденіями, или весьма еще мало образованы и требуютъ направленія. Для первыхъ благоразумная критика полезна бываетъ тѣмъ, что она можетъ служить Аріадниною нитію ихъ разсудку и чувству, которыя безъ того потерялись бы въ лабиринтѣ безпорядочныхъ понятій и впечатлѣній; она облегчаетъ для нихъ работу ума; соединяетъ и приводитъ въ систему то, что имъ представлялось безъ связи и по частямъ, побѣждаетъ ихъ безпечность и, избавляя вниманіе отъ тягостнаго усилія, приводитъ ихъ кратчайшимъ путемъ къ той цѣли, къ которой не могли бы они достигнуть безъ указателя. Другимъ доставляетъ она случай сравнивать собственныя понятія съ чужими, болѣе или менѣе основательными, и слѣдовательно представляетъ имъ съ другой точки зрѣнія тѣ предметы, которые они уже съ одной или съ нѣкоторыхъ разсматривали; отъ такого сравненія раждаются новыя понятія, или объясняются и становятся положительнѣе старыя. Но главная и существенная польза критики состоитъ въ распространеніи вкуса, и въ этомъ отношеніи она есть одна изъ важнѣйшихъ отраслей изящной словесности, прибавлю, и философіи моральной. Что такое вкусъ? Чувство и знаніе красоты въ произведеніяхъ искусства, имѣющаго цѣлію подражаніе природѣ нравственной и физической. Научась живѣе чувствовать красоты подражанія, мы необходимо становимся чувствительнѣе и къ красотамъ образца. Человѣкъ съ образованнымъ вкусомъ [который всегда основывается на чувствѣ и только *управляемъ* бываетъ разсудкомъ], долженъ быть и въ своей нравственности выше необразованнаго. Критика, распространяя истинныя понятія вкуса, образуетъ въ то же время и самое моральное чувство; *добро*, красота моральная въ самой натурѣ, отвѣчаетъ тому, что называется *изящнымъ* въ подражаніяхъ искусства; слѣдовательно съ усовершенствованіемъ одного соединяется и усовершенствованіе другаго. Изъ всего, мною сказаннаго, можете заключить, что званіе критика и весьма важное и весьма трудное. Вотъ идеалъ, составленный мною о его характерѣ: истинный критикъ, будучи одаренъ отъ природы глубокимъ и тонкимъ чувствомъ изящнаго, имѣетъ

проницательный и вѣрный умъ, которымъ руководствуется въ своихъ сужденіяхъ; чувство показываетъ ему красоту тамъ, гдѣ она есть, во всѣхъ ея оттѣнкахъ и самыхъ нѣжныхъ и самыхъ нечувствительныхъ; разсудокъ опредѣляетъ истинную цѣну ея и не даетъ ему ослѣпляться ложнымъ блескомъ, иногда замѣняющимъ прямо изящное. Онъ знаетъ всѣ правила искусства, знакомъ съ превосходнѣйшими образцами изящнаго; но въ сужденіяхъ своихъ не подчиняется рабски ни образцамъ, ни правиламъ; въ душѣ его существуетъ собственный идеалъ совершенства, такъ сказать, составленный изъ всѣхъ красотъ, замѣченныхъ имъ въ произведеніяхъ изящнаго, идеалъ, съ которымъ онъ сравниваетъ всякое новое произведеніе художника, идеалъ *возможнаго*, служащій ему вѣрнымъ указателемъ для опредѣленія степеней превосходства. Этого не довольно: чтобы судить о произведеніяхъ искусства, которыя не иное что, какъ подражаніе природѣ, надлежитъ хорошо быть знакомымъ и съ самымъ предметомъ подражанія — съ природою. Возьмите въ примѣръ самый высокій изъ всѣхъ родовъ поэзіи: эпическую поэму. Въ ней видите нравственный міръ со всѣми его страстями, и міръ физическій со всѣми его прелестями и великолѣпіемъ. Спрашиваю: будетъ ли въ состояніи критикъ опредѣлить достоинство стихотворца въ изображеніи страстей и характеровъ, если ни дѣйствія страстей, ни тайны характеровъ, которые надлежитъ наблюдать въ самомъ человѣкѣ, ему неизвѣстны? Замѣтитъ ли онъ вѣрность или невѣрность въ изображеніяхъ физической природы, если иногда самъ не восхищался ея красотами, если очарованіе вечера, или спокойное величіе утра, или пріятность тѣнистыхъ долинъ, или ужасы дикихъ утесовъ, неподвижныхъ посреди ниспадающихъ съ вершины ихъ водопадовъ, не имѣютъ ничего привлекательнаго для его сердца? Истинный критикъ долженъ быть и моралистъ-философъ и прямо чувствителенъ къ красотамъ природы. Скажу болѣе: онъ долженъ быть и самъ *морально-добрымъ*, или по крайней мѣрѣ имѣть въ душѣ своей рѣшительное расположеніе къ добру; ибо доброта моральная, какъ я уже сказалъ прежде, служитъ основаніемъ чувству изящнаго, и послѣднее, не будучи соединено съ первымъ, никогда не можетъ имѣть надлежащей вѣрности. Наконецъ хочу найти въ немъ пламенную любовь къ искусству: онъ долженъ имѣть о немъ понятіе высокое; въ противномъ случаѣ никогда не составится въ головѣ его тотъ идеалъ совершенства, безъ котораго мысли его не будутъ ни живы, ни убѣдительны. Само по себѣ разумѣется, что критиковъ, близкихъ къ моему идеалу, весьма немного: Лонгины, Джонсоны, Аддисоны, Лагарпы, Лессинги такъ же рѣдки, какъ и великіе художники, которыхъ твореніямъ они научили насъ удивляться.

«Надобно согласиться, что ваше изображеніе критика можетъ привести въ отчаяніе и самаго неустрашимаго рыцаря критики; и я имѣю причину думать, что господа издатели Вѣстника, которые такъ смѣло выступили на сцену критики въ своей газетной прокламаціи, не близки къ вашему идеалу—[извините, я повторяю, что слышалъ] — но позвольте мнѣ сдѣлать одно замѣчаніе: изъ всѣхъ вашихъ разсужденій не имѣю ли я права заключить, что критикомъ [такимъ, какого вы описали] можетъ быть одинъ только художникъ? Кому лучше живописца судить о живописи, и лучше поэта о стихотворствѣ? Артисту, болѣе нежели другимъ, должны быть извѣстны всѣ тайны его искусства, и не должно ли напередъ самому написать что-нибудь превосходное, чтобы имѣть способность и право критиковать произведенія искусства?»

Замѣчаніе ваше, если хотите, и справедливо и нѣтъ. Хорошій артистъ не можетъ не быть и хорошимъ судьею своего искусства, это правда; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы способность разсматривать произведенія искусства непремѣнно соединена была съ способностію

производить изящное. Лагарпъ посредственный трагикъ; но кому лучше его извѣстна теорія драматическаго искусства? И его примѣчанія на трагедіи Расина и Вольтера не лучше ли несравненно тѣхъ примѣчаній, которыя великій Корнель, сей превосходный трагикъ, написалъ на собственныя свои трагедіи? Творецъ дѣйствуетъ по вдохновенію: онъ быстро угадываетъ тѣ красоты, которыя критикъ, руководствуемый чувствомъ изящнаго, съ медлительностію разсудка разсматриваетъ въ самомъ ихъ происхожденіи. Сія медлительность въ работѣ *разбирающаго* вкуса едва ли сообразна съ быстротою *творческаго* духа; и мы не всегда находимъ ихъ соединенными въ одномъ и томъ же человѣкѣ. Способность восхищаться красотою, способность угадывать тотъ путь, по которому творческій геній дошелъ до своей цѣли, то есть, до произведенія изящнаго, не есть еще творческій геній — она степенію ниже; не всякому дано отъ природы производить великое; но тотъ всѣхъ ближе къ великому, кто лучше другихъ угадываетъ его тайны. И если бы надлежало выбирать, то я поручилъ бы послѣднему быть толкователемъ перваго, ибо онъ способнѣе входить въ такія подробности, которыя первый, объемлющій все однимъ взглядомъ и въ цѣломъ, пренебрегъ бы, какъ безполезныя, а потому и не объяснилъ бы намъ удовлетворительно своего образа дѣйствовать.

«Благодаря вамъ, я помирился съ критикою но должно признаться, что не всѣ расположены къ ней такъ милостиво, какъ вы. Я именовалъ бы нѣкоторыхъ извѣстныхъ писателей, которые ненавидятъ какъ самую критику, такъ и важныхъ господъ критиковъ. Напримѣръ Фильдингъ [котораго прекрасный романъ, лучшій изъ всѣхъ романовъ, умерщвленъ для насъ русскихъ въ безбожномъ переводѣ] называетъ ихъ публичными клеветниками, немилосердо марающими *доброе имя* книгъ. Едва ли можно перечесть тѣ пріятные титулы, которыми ихъ награждаютъ: это завистники, ядовитые пасквилянты, непріятели славы, и прочее, и прочее. Что скажете?»

Скажу, что все это относится къ одному только злоупотребленію критики, и что имена завистниковъ, ядовитыхъ пасквилантовъ, непріятелей славы, принадлежатъ единственно такимъ людямъ, которые вооружаются критикою не для пользы вкуса, а въ угожденіе собственнымъ своимъ страстямъ: зависти, мщенію и пр. Но это самозванцы-критики, и ихъ-то смѣшныя ссоры съ писателями можно по справедливости сравнить съ сраженіемъ пѣтуховъ, забавнымъ для однихъ только зрителей. Нѣкоторые изъ нихъ нападаютъ на превосходнаго автора изъ одной ненависти къ превосходству; другіе отмщаютъ, на счетъ вкуса, за личное оскорбленіе; иные [и, кажется, большая часть] имѣютъ въ виду одно остроуміе, и колкостями, насчетъ хорошаго и дурнаго безъ разбора, угождаютъ врожденной насмѣшливости читателя. Такихъ забавныхъ или презрительныхъ актеровъ было весьма много на сценѣ французской литературы, и нѣкоторые [напримѣръ Фреронъ] прославились своимъ безславіемъ. У насъ еще ничего подобнаго не бывало, вѣроятно потому, что мы не богаты произведеніями собственными, можетъ быть, также и потому, что русскіе нѣсколько равнодушны ко всему русскому; а критика и хорошая и дурная существуетъ только тамъ, гдѣ литература есть одинъ изъ любимыхъ предметовъ всеобщаго вниманія. Какъ бы то ни было, злоупотребленіе вещи не унижаетъ ея достоинства. Но прибавлю, званіе критика соединено само по себѣ съ нѣкоторыми неизбѣжными опасностями: критикъ имѣетъ дѣло съ самолюбіемъ, и, что всего важнѣе, съ самолюбіемъ авторскимъ [которое по своей раздражительности занимаетъ первую степень между всѣми родами самолюбія]; слѣдственно онъ всегда подверженъ опасности оскорблять и самымъ скромнымъ и самымъ умѣреннымъ сужденіемъ. Въ такомъ случаѣ спасутъ его одни слѣдую-

щія правила: пусть будетъ онъ совершенно безпристрастенъ [безпристрастіе можно назвать *честностію* критика]; пускай имѣетъ въ виду единую пользу искусства, остерегается предубѣжденія и не позволяетъ себѣ быть судьею въ такихъ случаяхъ, въ которыхъ какая-нибудь личность нечувствительно можетъ замѣшать въ приговоръ его пристрастіе. Думаю также, что, разбирая произведенія изящныя, онъ долженъ болѣе останавливаться на красотахъ, нежели на погрѣшностяхъ, и, замѣчая только одинѣ важныя ошибки, выставлять превосходное: ибо всякая новая красота есть пріобрѣтеніе искусства, есть новый шагъ его къ совершенству. Наконецъ языкъ его долженъ быть важенъ и простъ, и только въ необходимыхъ случаяхъ [когда простое убѣжденіе недостаточно] позволяется ему употребить оружіе насмѣшки. Насмѣшка производитъ не убѣжденіе, а предубѣжденіе; она должна быть только пособіемъ здравой логики, и тѣмъ болѣе опасна, что можетъ унизить самое превосходное. Извѣстно, что забавные софизмы Вольтера повредили для многихъ важнымъ и спасительнымъ истинамъ христіанства.

«Всѣ мнѣнія ваши справедливы; но спрашиваю: много ли найдетъ случаевъ такой критикъ, какого вы описали, примѣнять свой идеалъ изящнаго къ произведеніямъ нашихъ писателей и художниковъ? Нельзя ли по справедливости подозрѣвать, что онъ совсѣмъ останется у насъ безъ дѣла?»

Ваша правда, мы еще не богаты произведеніями превосходными; наша словесность едва начинаетъ выходить изъ младенчества; оригинальныхъ русскихъ книгъ весьма немного [я говорю объ однѣхъ хорошихъ]: зато какое множество переводовъ, и какихъ переводовъ! Ихъ смѣло можно назвать *оригиналами;* ибо они совершенно никакого не имѣютъ сходства съ подлинниками. Что же дѣлать критику посреди сего наводненія, въ которомъ утопаетъ наша несчастная словесность? Говорить объ искусствѣ и слогѣ, разсматривая такія книги, въ которыхъ нѣтъ и слѣдовъ искусства и слога, значило бы сражаться съ вѣтряными мельницами. Но я и разсматриваніе вздорныхъ книгъ, за неимѣніемъ хорошихъ, не почитаю совсѣмъ безполезнымъ. Критика можетъ быть у насъ *приготовленіемъ* къ хорошему. Разбирая, и, если угодно, осмѣивая безобразные переводы романовъ, которыми книгопродавцы безъ всякой пощады насъ угощаютъ, она сдѣлаетъ насъ по крайней мѣрѣ взыскательными, по крайней мѣрѣ научитъ называть дурное дурнымъ; а чтобы познакомить насъ съ истинно прекраснымъ, пускай обращаетъ наше вниманіе на произведенія старыхъ, или давно уже извѣстныхъ классическихъ писателей нашихъ. Въ сочиненіяхъ Ломоносова, Державина, Дмитріева, Карамзина и еще нѣкоторыхъ новѣйшихъ найдутся образцы, довольно близкіе къ тому идеалу изящнаго, который долженъ существовать въ головѣ каждаго критика. Причины же небогатства нашей словесности...

Разговоръ былъ прерванъ на самомъ этомъ мѣстѣ прибытіемъ нѣсколькихъ посторонніхъ людей. Я простился съ моимъ знакомцемъ, побѣжалъ домой и записалъ для васъ слышанное: надѣюсь, что нѣкоторыя мысли моего почтеннаго адвоката критики будутъ полезны и для васъ.

О САТИРѢ
И
САТИРАХЪ КАНТЕМИРА.

Кантемиръ принадлежитъ къ немногимъ классическимъ стихотворцамъ Россіи; но рѣдкій изъ русскихъ развертываетъ его сатиры, ибо старинный слогъ его пугаетъ читателя, который ищетъ въ стихахъ одного легкаго удовольствія. Кантемира можно сравнить съ такимъ человѣкомъ, котораго суровая наружность сначала не предвѣщаетъ ничего добраго; но съ которымъ надобно познакомиться короче, чтобъ полюбить его характеръ, и потомъ нахо-

дить наслажденіе въ его бесѣдѣ. Обративши на сего стихотворца вниманіе нашихъ читателей, мы надѣемся заслужить отъ нихъ благодарность; но предварительно позволимъ себѣ войти въ нѣкоторыя разсужденія о сатирѣ.

Какой предметъ сатиры? Осмѣяніе человѣческихъ заблужденій, глупостей и пороковъ. Смѣхъ производитъ веселость, а веселость почитается однимъ изъ счастливѣйшихъ состояній человѣческаго духа. Во всѣхъ намъ извѣстныхъ языкахъ, говоритъ Аддиссонъ, находимъ метафору: *поля смѣются, луга смѣются;* это служитъ доказательствомъ, что смѣхъ, самъ по себѣ, есть что-то и привлекательное и любезное. Смѣхъ оживляетъ душу, или, разсѣвая мрачность ея, когда она обремененна печалію, или возбуждая въ ней дѣятельность и силу, когда она утомлена умственною, трудною работою. По словамъ Сульцера, смѣхъ бываетъ двоякаго рода: или чистый, просто располагающій насъ къ веселости; или сложный, то есть, соединенный съ чувствами и понятіями посторонними. Предметъ, самъ по себѣ забавный, заставляетъ насъ смѣяться и болѣе ничего: вотъ чистый смѣхъ; но если подъ личиною смѣшнаго сарывается что нибудь отвратительное, или достойное презрѣнія, тогда необходимо со смѣхомъ должно соединиться въ нашей душѣ и чувство досады, негодованія, отвращенія: вотъ что называется смѣхомъ сложнымъ. Дарованіе смѣшить остроумно принадлежитъ весьма немногимъ. Рѣдкій имѣетъ способность замѣчать смѣшныя стороны вещей, находить неожиданное сходство между предметами, ни мало не сходными, или соединять такіе предметы, которыхъ соединеніе или неестественно или чудесно; а все это составляетъ сущность смѣшнаго. Съ перваго взгляда сія шутливость, или колкая, или живая, покажется свойствомъ человѣка веселаго: но веселость есть характеръ, а дарованіе находить въ предметахъ забавную сторону, или созидать воображеніемъ предметы смѣшные, есть принадлежность ума, неразлучная съ другими важнѣйшими его качествами. Человѣкъ, по характеру своему веселый, все видитъ съ хорошей стороны; и люди и міръ принимаютъ на себя, такъ сказать, цвѣтъ его сердца; все для него ясно; онъ можетъ смѣяться, потому что смѣхъ и радость почти одно и то же: но онъ менѣе способенъ замѣчать смѣшное, то есть, противорѣчащее нашему понятію и чувству, ибо для сего необходимо нужно имѣть нѣсколько того ѣдкаго остроумія, которое несообразно съ характеромъ кроткой и снисходительной веселости. Напротивъ, человѣкъ, имѣющій даръ насмѣшки, почти всегда имѣетъ и характеръ важный и умъ глубокомысленный. Чтобы найти въ предметѣ смѣшную, для обыкновеннаго взора незамѣтную сторону, надлежитъ разсмотрѣть его со всѣхъ сторонъ, а для сего потребны размышленіе и проницательная тонкость; чтобы замѣтить, въ чемъ удаляется тотъ или другой характеръ, тотъ или другой поступокъ отъ правилъ и понятій истинныхъ, и потомъ сіе отдаленіе представить смѣшнымъ, потребно имѣть ясное и полное понятіе о вещахъ, колкое остроуміе, духъ наблюдательный и воображеніе живое: все это болѣе или менѣе не принадлежитъ къ характеру ясной и можетъ быть нѣсколько легкомысленной веселости. Изъ всего сказаннаго выше слѣдуетъ, что дарованіе замѣчать смѣшныя стороны предметовъ, соединенное съ искусствомъ изображать ихъ разительно для другихъ, есть дарованіе геніевъ рѣдкихъ.

И сіе дарованіе можетъ быть или благодѣтельно или вредно, какъ въ общежитіи, такъ и въ словесности---но кругъ вреда и пользы, отъ него проистекающихъ, несравненно обширнѣе въ послѣдней. Насмѣшка сильнѣе всѣхъ философическихъ убѣжденій опровергаетъ упорный предразсудокъ и дѣйствуетъ на порокъ: осмѣянное становится въ глазахъ нашихъ низкимъ; а вмѣстѣ съ уваженіемъ къ вещи теряется и наша къ ней привязанность. Не должно думать однако, чтобы насмѣшка могла исправить порочнаго:

она только *открываетъ* ему дурныя стороны его и, можетъ быть, живѣе только даетъ чувствовать необходимость украсить ихъ личиною пріятнаго. Но цѣль моралиста—какимъ бы онъ оружіемъ ни дѣйствовалъ, насмѣшкою или простымъ убѣжденіемъ, — не есть невозможное исправленіе порока, а только предохраненіе отъ него души неиспорченной, или исцѣленіе такой, которая, введена будучи въ обманъ силою примѣра, предразсудка и навыка, не смотря на то, сохранила ей свойственное расположеніе къ добру. Насмѣшка есть оружіе *предохранительное*; ничто лучше ея не охлаждаетъ воображенія, излишне воспламененнаго; она побѣждаетъ и тамъ, гдѣ усилія степеннаго разсудка остаются безплодны. Съ другой стороны, дарованіе смѣяться можетъ быть весьма вреднымъ, если не будетъ оно соединено съ характеромъ благороднымъ и уваженіемъ чистой морали: ибо все то, что мы почитаемъ священнымъ, можетъ унижено быть въ глазахъ нашихъ дѣйствіемъ насмѣшки.

Философы и поэты употребляютъ оружіе насмѣшки для пользы нравовъ. Сатирикъ и комикъ имѣютъ то сходство съ моралистомъ-философомъ, что они дѣйствуютъ для одной цѣли, которой однако достигаютъ различными путями. Моралистъ разсуждаетъ и, убѣждая умъ, говоритъ сердцу; напротивъ, комикъ и сатирикъ осмѣиваютъ моральное безобразіе, и тѣмъ болѣе привязываютъ насъ къ красотѣ моральной, которая становится ощутительнѣе отъ противоположности. Различіе между сатирою и комедіею заключается въ одной только формѣ: въ комедіи мы видимъ *передъ глазами* тѣ оригиналы и тѣ пороки, которые сатирикъ представляетъ одному только *воображенію*: тамъ онѣ сами выходятъ на сцену и сами себя обличаютъ; а здѣсь выходитъ на сцену поэтъ, который или забавляетъ насъ своими колкими шутками, или производитъ въ душѣ нашей благодѣтельное негодованіе. Изъ всего сказаннаго выше можно легко составить себѣ понятіе о характерѣ сатирическаго стихотворца и комика. Они необходимо должны имѣть духъ наблюдательный, глубокое знаніе человѣческаго сердца, и рѣдкимъ извѣстно искусство представлять въ смѣшномъ все то, что несогласно съ правилами и понятіями чистой морали. Искусство осмѣивать остроумно тогда только бываетъ истинно полезнымъ, когда оно соединено съ высокостію чувствъ, неиспорченнымъ сердцемъ и твердымъ уваженіемъ обязанностей человѣка и гражданина. Истинный сатирикъ и стихотворецъ комическій должны ненавидѣть изображаемые ими пороки; но если сія ненависть будетъ произведеніемъ не сильной привязанности къ добру, а одного только расположенія все находить или смѣшнымъ, или низкимъ; если они будутъ смотрѣть на міръ и на человѣка съ угрюмостію и пристрастіемъ мизантроповъ, а не съ добрымъ чувствомъ друзей человѣчества, которые желаютъ, чтобы все передъ глазами ихъ наслаждалось счастіемъ, и потому только ненавидятъ порокъ, что онъ есть главнѣйшій противникъ сего счастія: тогда они поселяютъ въ сердцахъ своихъ читателей одно только мрачное чувство ненависти, которое можетъ быть благодѣтельно не иначе, какъ будучи въ равновѣсіи съ усладительнымъ чувствомъ любви: ненависть стѣсняетъ душу, напротивъ любовь ее животворитъ и располагаетъ къ дѣятельности полезной. Сердечный жаръ, какъ говоритъ Сульцеръ, долженъ быть музою сатирика. Это справедливо: и въ ту минуту, когда онъ попираетъ ногами порокъ, или осмѣиваетъ глупость, или забавляется насчетъ странности, я долженъ замѣчать въ душѣ его и любовь къ добродѣтели, и чувствительность, и благородное уваженіе ко всему прекрасному. На этихъ только условіяхъ и въ обществѣ бываетъ терпимъ колкій насмѣшникъ; ибо тогда всѣ тѣ, которые сами имѣютъ характеръ благородный, могутъ полагаться на его справедливость, но тотъ, кто всѣмъ безъ разбора жертвуетъ своему остроумію, необ-

ходимо удалять отъ себя всякое доброе сердце; онъ непроизвольно обнаруживаетъ предъ нимъ собственную бѣдность свою въ чувствахъ высокихъ и оскорбляетъ его своею жестокостію. Такое и дѣйствіе сатиры, въ которой замѣчаемъ одно желаніе и искусство порицать, и не находимъ ничего питательнаго для сердца.

Сатира, собственно такъ называемая, отлична отъ всѣхъ другихъ сатирическихъ произведеній и въ прозѣ и въ стихахъ — своею дидактическою формою. Вольтеровъ *Кандидъ*, Сервантовъ *Донъ Кихотъ*, Эразмова *Похвала дурачеству*, Свифтовъ *Гулливеръ*, Ботлеровъ *Гудибрасъ*, Мольеровъ *Тартюфъ*, имѣютъ предметомъ, какъ и сатира, осмѣяніе пороковъ и глупостей: но *Кандидъ*, *Гулливеръ* и *Донъ Кихотъ* романы, *Гудибрасъ* поэма, *Тартюфъ* комедія. Сатира должна быть сатирою, слѣдовательно, имѣть собственную, ей одной принадлежащую форму. Сатирикъ, можно сказать, заимствуетъ эту форму у философа; но онъ заимствуетъ какъ стихотворецъ, и сверхъ того пользуется нѣкоторыми особенными способами. Избравши предметъ свой, онъ примѣняется къ нему тономъ, слогомъ и расположеніемъ; напримѣръ: нападая на странности, онъ вооружается легкою и колкою шуткою, смѣшитъ и исцѣляетъ пріятнымъ лѣкарствомъ смѣха; напротивъ, имѣя въ виду какой нибудь вредный, заразительный порокъ, онъ возвышаетъ тонъ, выражается съ жаромъ, и тогда самая насмѣшка его принимаетъ на себя наружность негодованія. Все это будетъ ощутительнѣе, когда мы взглянемъ и сатиры Горація и Ювенала. Теперь скажемъ нѣсколько словъ о тѣхъ предметахъ, которыми всего приличнѣе заниматься сатирику. Онъ долженъ изъ безчисленнаго множества пороковъ, странностей и заблужденій выбирать только такіе, которыхъ вліяніе и общее и самое обширное; частныя заблужденія и пороки, будучи мало замѣтны, потому именно и не могутъ быть заразительны: ибо они происходятъ по большей части отъ нѣкоторыхъ особенныхъ недостатковъ ума и характера, которые надлежитъ почитать исключеніями. Личность есть то же, что низкое мщеніе; она уничтожаетъ нашу довѣренность къ сатирику, который въ глазахъ нашихъ долженъ быть проповѣдникомъ истины и добрыхъ правовъ. Одинъ человѣкъ не можетъ быть образцомъ для другихъ ни въ добрѣ, ни въ злѣ: стихотворецъ изображаетъ намъ только то, что свойственно всему человѣчеству, соблюдая однако всѣ тѣ отличія, которыя человѣческая натура заимствуетъ отъ правовъ и обычаевъ его вѣка: слѣдовательно, будучи наблюдателемъ тонкимъ, онъ долженъ изображать человѣка вообще, то есть, представлять намъ въ добродѣтеляхъ и въ порокахъ идеалъ цѣлаго, составленный изъ множества мелкихъ, въ разное время замѣченныхъ имъ частей: таковы должны быть нравственныя картины сатирика. Личная сатира только что оскорбляетъ; а оскорбленіе почти никогда не можетъ быть дѣйствительнымъ лѣкарствомъ. Не думаю также, чтобы въ сатирахъ было полезно нападать на пороки, слишкомъ отвратительные и потому именно выходящіе изъ порядка натуры: такія картины только что возмущаютъ чувство; но польза ихъ весьма ограниченная, ибо нѣтъ никому нужды остерегаться отъ того, что необходимо должно казаться несогласнымъ и производитъ отвращеніе.

Эшенбургъ раздѣляетъ сатиры на *важныя* и *веселыя*. Въ первыхъ стихотворецъ сражается только съ такими пороками, которые гибельны для общества: слогъ его долженъ быть силенъ, *негодованіе* должно быть его геніемъ. Въ сатирахъ веселыхъ стихотворецъ имѣетъ передъ глазами одни забавныя странности, одни пороки смѣшные, и слогъ его долженъ быть легокъ, исполненъ того остроумія, которое Цицеронъ называетъ солью. Важная сатира можетъ въ иныя минуты заимствовать легкость у веселой, а веселая заимствовать силу у важной; разнообразіе почитается одною изъ главныхъ

пролестей слога. Замѣтимъ здѣсь, что важная сатира вообще легче для стихотворца, нежели веселая, именно потому, что въ первой изображаетъ онъ такіе предметы, которыхъ характеръ разителенъ, слѣдовательно и болѣе замѣтенъ; а въ послѣдней занимается мелкими, слѣдовательно требующими особенной остроты зрѣнія и занимательности предметами.

Чтобъ получить яснѣйшее понятіе о томъ, какова должна быть истинная сатира, надлежитъ разсмотрѣть характеры тѣхъ стихотворцевъ, которыхъ сатиры почитаются самыми совершенными; слѣдовательно характеры Горація и Ювенала, которымъ всѣ лучшіе новѣйшіе сатирики, напр. Буало, Попъ и нашъ Кантемиръ болѣе или менѣе подражали.

Гораціевы сатиры можно назвать сокровищемъ опытной нравственности, полезной для всякаго, во всякое время, во всѣхъ обстоятельствахъ жизни. Характеръ сего поэта — веселость, чувствительность, пріятная и остроумная шутливость. Онъ живетъ въ свѣтѣ и смотритъ на него глазами философа, знающаго истинную цѣну жизни, привязаннаго къ удовольствіямъ непорочнымъ и свободѣ, имѣющаго проницательный умъ, характеръ откровенный и, наконецъ, способность *видѣть* недостатки людей, не оскорбляться ими, и только находить ихъ забавными. Посреди разсѣянности и шума придворной жизни, онъ сохранилъ въ душѣ своей привязанность къ простымъ наслажденіямъ природы. Онъ забавляется надъ глупостями, заблужденіями и пороками; но онъ не взыскателенъ, не выдастъ себя за строгаго законодателя нравовъ и имѣетъ ту снисходительность, которая и самые непріятные упреки дѣлаетъ привлекательными; его простосердечіе и любезный характеръ примиряютъ насъ съ колкостію его остроумія — и вы охотно соглашаетесь у него учиться, потому что онъ говоритъ отъ сердца, по опыту, и забавляетъ васъ, предлагая вамъ нравоученіе полезное; его философія не имѣетъ цѣлію моральнаго совершенства стоиковъ, надъ которыми онъ позволяетъ себѣ иногда смѣяться; она заключаетъ въ себѣ искусство пользоваться благами жизни, быть истинно независимымъ и любить природу. Со стороны стихотворной, сатиры его почитаются совершеннѣйшими изъ всѣхъ намъ извѣстныхъ. Формы его чрезвычайно разнообразны: иногда говоритъ онъ самъ, иногда выводитъ на сцену постороннія лица, иногда разсказываетъ читателю своему басню. Его описанія чрезвычайно живы; но онъ только прикасается къ описываемому предмету, и никогда не утомляетъ вниманія; изображая характеръ, онъ представляетъ одинъ главныя и самыя нужныя черты его живою, но легкою кистію. Онъ имѣетъ даръ, говоря уму, оживлять воображеніе и прикасаться къ сердцу — и мысли его всегда согрѣты пламенемъ чувства. Однимъ словомъ, прочитавъ его сатиры [надобно къ нимъ причислить и посланія, изъ которыхъ нѣкоторыя ни въ чемъ не разнствуютъ съ сатирою], вы остаетесь съ лучшимъ знаніемъ свѣта, съ яснѣйшимъ понятіемъ о жизни и съ большимъ расположеніемъ ко всему доброму.

Ювеналъ имѣетъ характеръ совсѣмъ противоположный Гораціеву: онъ бичъ порочныхъ и порока. Читая сатиры его, увѣряемся, что Ювеналъ имѣлъ пламенную, исполненную любви къ добродѣтели душу; но въ то же время и нѣкоторую угрюмость, которая заставляла его смотрѣть на предметы съ дурной только стороны ихъ: представляя ихъ глазамъ читателя, онъ съ намѣреніемъ увеличивалъ ихъ безобразіе. Онъ родился при императорѣ Калигулѣ; но сатиры его, изъ которыхъ дошло до насъ только шестнадцать, всѣ написаны во времена Траяна или Адріана, слѣдовательно въ глубокой старости. Сіи обстоятельства объясняютъ намъ и то, отчего сатирикъ вездѣ представляется нашимъ глазамъ, какъ строгій судья, и нигдѣ не утѣшаетъ насъ веселою философіею чувствительнаго человѣка. Ювеналъ, стоикъ характеромъ,

видѣлъ всѣ ужасы Клавдіева, Неронова и потомъ Домиціанова царствованій: онъ былъ свидѣтелемъ, съ одной стороны, неограниченнаго деспотизма, съ другой самой отвратительной низости, самаго отвратительнаго разврата, и въ душѣ его мало по малу скоплялось сокровище негодованія, которое усиливалось въ тишинѣ принужденнаго безмолвія. Сатиры его можно наименовать мщеніемъ пламенной души, которая долго не смѣла себя обнаружить, долго роптала противъ своей неволи, и вдругъ, получивъ свободу, спѣшитъ воспользоваться ею неограниченно. Старость и привычка къ чувствамъ прискорбнымъ лишили его способности замѣчать хорошія стороны вещей; онъ видитъ одно безобразіе, онъ выражаетъ или негодованіе, или презрѣніе. Онъ не философъ: будучи сильно поражаемъ картиною окружающаго его разврата, онъ не имѣетъ того душевнаго спокойствія, которое необходимо для философа, бесѣдующаго съ самимъ собою; но онъ превосходный живописецъ; въ слогѣ его находимъ силу и высокость его характера:

Juvenal, élevé dans les cris de l'école,
Poussa jusqu'à l'excès sa mordante hyperbole.

Одни предпочитаютъ Ювенала Горацію, другіе отдаютъ преимущество послѣднему. Не разбирая, на чьей сторонѣ справедливость, мы можемъ замѣтить, что каждый изъ сихъ стихотворцевъ имѣетъ совершенно особенный характеръ. Горацій почти никогда не опечаливаетъ души разительнымъ изображеніемъ порока; онъ только забавляетъ насчетъ его безобразія и сверхъ того противополагаетъ ему тѣ добродѣтели, которыя нужны въ общежитіи. Ювеналъ производитъ въ душѣ отвращеніе къ пороку и, переливая въ нее то пламя, которымъ собственная его душа наполнена, даетъ ей и большую твердость и большую силу; но Горацій, представляя намъ вездѣ одни привлекательные предметы, привязываетъ насъ къ жизни и научаетъ довольствоваться своимъ жребіемъ; а Ювеналъ напротивъ, окружая насъ предметами отвратительными, производитъ въ душѣ нашей какую-то мрачность. Первый осмѣиваетъ странности глупыхъ людей, но приближаетъ насъ къ добрымъ; послѣдній, представляя нашимъ глазамъ одинъ порокъ, дѣлаетъ насъ недовѣрчивыми и къ самой добродѣтели. Въ сатирахъ Горація знакомишься и съ самимъ Гораціемъ, съ его образомъ жизни, привычками, упражненіями; въ сатирахъ Ювенала никогда не видишь самого поэта; ибо ничто постороннее не отвлекаетъ нашего вниманія отъ тѣхъ ужасныхъ картинъ, которыя представляются воображенію стихотворца. Кто хочетъ научиться искусству жить съ людьми, кто хочетъ почувствовать прямую пріятность жизни, тотъ вытверди наизусть Горація и слѣдуй его правиламъ: кому нужна подпора посреди несчастій житейскихъ, кто, будучи оскорбляемъ пороками, желаетъ облегчить свою душу излитіемъ таящагося во глубинѣ ея негодованія, тотъ разверни Ювенала, и онъ найдетъ въ немъ обильную для себя пищу.

Опредѣливъ достоинство сихъ сатириковъ, которые почитаются образцовыми, обратимся къ нашему Кантемиру. Мы имѣемъ въ Кантемирѣ нашего Ювенала и Горація. Сатиры его чрезвычайно пріятны [онѣ писаны *слогами*, такъ же какъ и псалмы Симеона Полоцкаго и почти всѣ старинныя русскія пѣсни], въ нихъ виденъ не только остроумный философъ, знающій человѣческое сердце и свѣтъ, но вмѣстѣ и стихотворецъ искусный, умѣющій владѣть языкомъ своимъ [весьма пріятнымъ, хотя онъ и устарѣлъ], и живописецъ, вѣрно изображающій для нашего воображенія тѣ предметы, которые самого его поражали.

Кантемиръ оставилъ намъ восемь сатиръ. Мы выпишемъ для нашихъ читателей *всю* первую, одну изъ лучшихъ, въ которой стихотворецъ нападаетъ на глупыхъ или пристрастныхъ невѣждъ, порицающихъ ученіе. Сатирикъ обращается къ уму своему. Надобно замѣ-

тить, что предлагаемая здѣсь сатира написана имъ на двадцатомъ году:

Уме недозрѣлый, плодъ недолгой науки,
Покойся, не понуждай къ перу мои руки:
Не писавъ, летящи дни вѣка проводити
Можно, и славу достать, хоть творцемъ
не слыти.
Ведутъ къ ней нетрудные въ нашъ вѣкъ
пути многи,
На которыхъ смѣлыя не запнутся ноги:
Всѣхъ непріятнѣе тотъ, что босы проклали
Девять сестръ; многи на немъ силу потеряли,
Не дошедъ; нужно на немъ потѣть и томиться,
И въ тѣхъ трудахъ всѣхъ тебя, какъ мору,
чужится,
Смѣется, глушается. Кто надъ столомъ
гнется,
Ніяя на книгу глаза, большихъ не добьется
Назвать, ни разцвѣчена мрамором саду;
Овцы не прибавитъ онъ къ отцовскому стаду

Правда, въ нашемъ молодомъ монархѣ *)
надежда
Всходитъ музамъ не мала; со стыдомъ невѣжда
Бѣжитъ его. Аполлонъ славы въ немъ защиту
Своей не слабу почуялъ; чтяща свою свиту
Видѣлъ его самого, и во всемъ обильно
Тщится множить жителей парнасскихъ онъ
сильно.
Но та бѣда: многіе въ царѣ похваляютъ
За страхъ то, что въ поданномъ дерзко осуждаютъ.

«Расколы и ереси науки суть дѣти;
Больше преть, кому далось больше разумѣти;
Приходитъ въ безбожіе, кто надъ книгою
таетъ:
Критонъ съ чотками въ рукахъ ворчитъ и
вадыхаетъ,
И проситъ свята душа съ горькими слезами
Смотрѣть, сколь сѣмя наукъ вредно между
нами:
Дѣти наши, что предъ тѣмъ тихи и покорны
Праотческимъ шли слѣдомъ, къ Божіей проворны
Службѣ, съ страхомъ слушая, что сами не
знали,
Теперь къ церкви соблазну, библію честь
стали;
Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, при-
Мало вѣры подая священному чину; [чину,
Потеряли добрый нравъ, забыли пить квасу,
Не прибьешь ихъ палкою къ соленому мясу;
Уже свѣчекъ не кладутъ, постныхъ дней
не знаютъ;
Мірскую въ церковныхъ власть рукахъ
лишну чаютъ,
Шепча, что тѣмъ, кто мірской жизни ужъ
отстали,
Помѣстья и вотчины весьма не пристали».

Сильванъ другую вину наукамъ находитъ.
Ученіе, говоритъ, намъ голодъ наводитъ;
Живали мы прежъ сего, не зная латыни,
Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ мы нынѣ;
Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали;
Перенявъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли.
Буде рѣчь моя слаба, буде въ ней нѣтъ чину,
Ни связи, должно ль о томъ тужить дворянину?
Доводъ, порядокъ въ словахъ, подлыхъ то
есть дѣло;
Знатнымъ полно подтверждать, иль отрицать смѣло.
Съ ума сошелъ, кто души силу и предѣлы
Испытуетъ, кто въ поту томится дни цѣлы,
Чтобъ строй міра и вещей вывѣдать премѣну,
Иль причину: глупо онъ лѣпитъ горохъ въ
стѣну.
Приростетъ ли мнѣ съ того день въ жизни,
иль въ ящикъ
Хотя грошъ? Могу ль чрезъ то узнать,
что прикащикъ,
Что дворецкой крадетъ въ годъ, какъ прибавить воду
Въ мой прудъ, какъ бочекъ число съ винаго заводу?
Не умнѣе, кто глазъ, полонъ безпокойства,
Коптитъ, нечасъ при огнѣ, чтобъ вызнать
рудъ свойства;
Вѣдь не теперь мы твердимъ, что буки,
что вѣди;
Можно знать различіе злата, сребра, мѣди.
Травъ, болѣзней знаніе—все то голы враки.
Глава ль болитъ: тому врачъ ищетъ въ
рукѣ знаки.
Всему въ насъ виновна кровь, буде ему вѣру
Нять хощешь: слабѣемъ ли—кровь тихо
чрезмѣру
Течетъ; если спѣшно—жаръ въ тѣлѣ, отвѣтъ смѣло
Даетъ, хотя внутрь никто видѣлъ живо тѣло.
А пока въ баснях такихъ время онъ проводитъ,
Лучшій сокъ изъ нашего мѣшка въ его
входитъ.
Къ чему звѣздъ теченіе числить, и ни къ
дѣлу,
Ни къ стати за однимъ ночь пятномъ не
спать цѣлу?
За любопытствомъ однимъ лишиться покою,
Ища солнце ль движется, или мы съ землею?
Въ Часовникѣ можно честь на всякой день
году

*) Петръ II. *Примѣч. въ текстѣ.*

Число мѣсяца и часъ солнечнаго всхода.
Землю въ четверти дѣлить безъ Эвклида
смыслимъ;
Сколько копѣекъ въ рублѣ, безъ алгебры
счислимъ.
Сильванъ одно знаніе слично людямъ хвалить,
Что учитъ множить доходъ, а расходы малить;
Трудиться въ томъ, съ чего вдругъ карманъ не толстѣетъ,
Гражданству вреднымъ весьма безумствомъ
звать смѣетъ.

Румяный, трижды рыгнувъ, Лука подпѣваетъ:
Наука содружество людей разрушаетъ;
Люди мы къ сообществу Божія тварь стали,
Не въ нашу пользу одну смысла дарь пріяли.
Что же пользы иному, когда я запруся
Въ чуланъ, для мертвыхъ друзей живущихъ лишуся?
Когда все содружество, вся моя ватага
Будетъ чернило, перо, песокъ да бумага?
Въ веселья, въ пиры мы жизнь должны проводжати;
И такъ она не долга, на что коротати,
Крушиться надъ книгою и повреждать очи?
Не лучше ли съ кубкомъ дни прогулять и ночи?
Вино, даръ божественный, мною въ немъ провору:
Дружить людей, подаетъ поводъ къ разговору,
Веселитъ, всѣ тяжкія мысли отымаетъ,
Скудость знаетъ облегчать, слабыхъ ободряетъ,
Жестокихъ мягчитъ сердца, угрюмость отводитъ,
Любовникъ легче виномъ въ цѣль свою доходитъ.
Когда по небу сохой бразды водить станутъ,
А съ поверхности земли звѣзды ужъ проглянутъ,
Когда будутъ течь къ ключамъ своимъ быстры рѣки
И возвратятся назадъ минувшіе вѣки,
Когда въ постъ черпецъ одну ѣсть станетъ визигу:
Тогда, оставя стаканъ, примуся за книгу.

Медоръ тужитъ, что чрезчуръ бумаги исходитъ
На письмо, на печать книгъ, а ему приходитъ
Что не во что запертѣть забитые кудри;
Не смѣнитъ на Сенеку онъ фунтъ доброй пудры:
Предъ Егоромъ *) духъ денегъ Виргилій не стоитъ;
Рексу, не Цицерону похвала достоитъ.

*) Егоръ, славный сапожникъ въ Москвѣ, умершій въ 1729, а Рексъ также славный московскій портной, нѣмецъ. *Примѣч. съ тжсть.*

Вотъ часть рѣчей, что по всякъ день звенятъ мнѣ въ уши;
Вотъ для чего я, уме, нѣмѣе быть клуши
Совѣтую. Когда нѣтъ пользы, ободряетъ
Къ трудамъ хвала; безъ того сердце унываетъ.
Сколько жъ больше имѣю хвалъ да хулы терпѣти!
Трудящій то, нежь пьяницѣ вина не имѣти,
Нежли не славить пону святую недѣлю,
Нежли купцу пиво пить не въ три пуда хмѣлю.

Знаю, что можешь, уме, смѣло мнѣ представить,
Что трудно злонравному добродѣтель славить:
Что щеголь, скупецъ, ханжа и такимъ подобны
Науку должны хулить; да рѣчи ихъ злобны
Умнымъ людямъ не уставъ, плюнуть на нихъ можно.
Изряденъ, хваленъ твой судъ; такъ бы то быть должно
Да въ нашъ вѣкъ злобныхъ слова умными владѣютъ,
А къ тому жъ не только тѣхъ науки имѣютъ
Недрузей, которыхъ я, краткости радѣя.
Исчель, иль правду сказать, могъ исчесть смѣлѣе.
Полно ль того? Райскихъ врать ключари святые,
И имъ же Осмисъ вѣки вѣрила златые,
Мало любять, чуть не всѣ истину прикрасу.
Епископомъ хощешь быть: убирися въ рясу,
Сверхъ той тѣло съ гордостью риза полосата
Пусть прикроетъ, позѣвъ цѣпь на шею отъ злата,
Клобукомъ покрой главу, брюхо бородою,
Клюку пышно повели вести передъ тобою;
Въ каретѣ раздувшися, когда сердце съ гнѣву
Трещитъ, всѣхъ благословлять пудь праву и лѣву.
Долженъ архипастыремъ всякъ ти въ сихъ познати
Знакахъ, благоговѣйно отцомъ называти.
Что въ наукѣ, что съ нея пользы церкви будетъ?
Инокъ, пища проповѣдь, вышись позабудетъ?
Отъ чего доходамъ вредъ; а въ нихъ церкви
Лучшія основаны, и вся ея слава. [права
Хочешь ли судьею стать: вадѣнь парикъ съ узлами,
Брани того, кто просить съ пустыми руками;
Твердо сердце бѣдныхъ пусть слезы презираетъ;
Сни на стулъ, когда дьякъ выписку читаетъ.
Если жъ кто вспомнить тебѣ гражданскіе уставы
Иль естественный законъ, иль народны нравы,

Плюнь ему въ рожу, скажи, что вретъ околёсну,
Налагая на судей ту тягость несносну,
Что подьячимъ должно лѣзть на бумажны горы,
А судьѣ довольно знать крѣпить приговоры.
Къ намъ не долго время то, въ коемъ предсѣдала
Надъ всѣмъ мудрость, и вѣнцы одна раздѣляла,
Будучи способъ одна къ вышнему восходу.
Златый вѣкъ то нашего не достигнулъ роду.
Гордость, лѣность, богатство мудрость одолѣло;
Науку невѣжество мѣстомъ ужъ посѣло:
Подъ митрой гордится то, въ шитомъ платьѣ ходитъ,
Судитъ за краснымъ столомъ, смѣло полки водитъ.
Наука ободрана, въ лоскутахъ обшита,
Изо всѣхъ почти домовъ съ ругательствомъ сбита;
Знаться съ нею не хотятъ, бѣгутъ ея дружбы,
Какъ въ морѣ страдавшіе корабельной службы.
Всѣ кричатъ: никакой плодъ не виденъ съ науки;
Ученыхъ хоть голова полна, пусты руки.
Коли кто карты мѣшать, разныхъ винъ вкусъ знаетъ,
Танцуетъ, на дудочкѣ пѣсни три играетъ,
Смыслитъ искусно прибрать въ своемъ платьѣ цвѣты,
Тому ужъ и въ самыя молодыя лѣты
Всякая высша степень мзда ужъ не велика,
Седьми мудрецовъ себя достойнымъ мнитъ лика.
Нѣтъ правды въ людяхъ, кричитъ безмозглый церковникъ;
Еще не епископомъ я, а знаю Часовникъ,
Псалтырь и Посланія бѣгло честь умѣю,
Въ Златоустѣ не запнусь, хоть не разумѣю.
Воинъ ропщетъ, что своимъ полкомъ не владѣетъ,
Когда ужъ имя свое подписать умѣетъ.
Писецъ тужитъ, за сукномъ что не сидитъ красномъ;
Смысля дѣло набѣло списать письмомъ яснымъ.
Обидно себѣ быть мнитъ въ незнати старѣти,
Кому въ родѣ семъ бояръ случилось имѣти,
И двѣ тысячи дворовъ за собой считаетъ,
Хотя впрочемъ ни читать, ни писать не знаетъ.
Таковы слыша слова и примѣры видя,
Молчи, уме, не скучай, въ незнатности сидя:
Безстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
Кто въ тихомъ своемъ углу молчаливъ таится.
Коли что дала ти знать мудрость всеблагая,
Весели тайно себя, въ себѣ разсуждая
Пользу наукъ; що ищи, изъясняя тую,
Вмѣсто похвалъ, что ты ждешь, достать хулу злую.

Эта сатира написана была противу тѣхъ, которые своею привязанностію къ старинным предразсудкамъ противились распространенію наукъ, введенныхъ въ предѣлы Россіи Петромъ Великимъ. Сатирикъ, имѣя въ предметѣ осмѣять безразсудныхъ хулителей просвѣщенія, вмѣсто того, чтобъ доказывать намъ логически пользу его, притворно беретъ сторону глупцовъ и невѣждъ, объявившихъ ему войну, выводитъ ихъ на сцену и каждаго заставляетъ говорить языкомъ, приличнымъ его характеру. Такимъ нескуснымъ расположеніемъ стихотворецъ избавилъ себя отъ сухости и однообразія. Мы видимъ нѣсколько забавныхъ чудаковъ, которые нелѣпыми разсужденіями своими еще болѣе привязываютъ насъ къ тому предмету, который хотятъ унизить и обезобразить въ глазахъ нашихъ.

Приходитъ въ безбожіе, кто надъ книгой таетъ.
. . . . . .
Дѣти наши, что предъ тѣмъ тихи и покорны,
Праотческимъ шли слѣдомъ, къ Божіей проворны
Службѣ, съ страхомъ слушая, что сами не знали,
Теперь къ церкви соблазну, библію честь стали.
. . . . . .
Потеряли добрый нравъ, забыли пить квасу, и проч.

говоритъ ханжа *Критонъ*, для котораго читать библію, или хотѣть понимать то, что слушаешь въ церкви; значитъ быть безбожнымъ; а не пить квасу по примѣру прадѣдовъ, значитъ быть развратнымъ. Кто жъ не повѣритъ *Критону*? И какъ не согласиться съ корыстолюбивымъ богачемъ *Сильваномъ*, который увѣряетъ насъ, что:

Съ ума сошелъ, кто души силу и предѣлы
Испытуетъ, кто въ поту томится дни цѣлы,
Чтобъ строй міра и вещей вынѣдать премѣну,
Иль причину; глупо онъ лѣпитъ горохъ въ стѣну.
Приростетъ ли мнѣ съ того день въ жизни, иль въ ящикъ

Хотя грошъ? Могу ль чрезъ то узнать, что прикащикъ,
Что дворецкой крадетъ въ годъ? Какъ прибавить воду
Въ мой прудъ? Какъ бочекъ число съ винаго заводу?
. . . . . .
Травъ, болѣзней знаніе—все то голы враки.
Глава ль болитъ: тому врачъ ищетъ въ руке знаки.
. . . . . .
А пока въ баснях такихъ время онъ проводитъ,
Лучшій сокъ изъ нашего мѣшка въ его входитъ.

Стихъ:

Глава ль болитъ: тому врачъ ищетъ въ рукѣ знаки.

очень забавенъ. Заключеніе:

Таковы слыша слова и примѣры видя,
Молчи, уме, не скучай, въ незнатности сидя.
Безстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
Кто въ тихомъ своемъ углу молчаливъ таится.
Коли что дала ти знать мудрость всеблагая,
Весели тайно себя, въ себѣ разсуждая
Пользу наукъ; не ищи, изъясняя тую,
Вмѣсто похвалъ, что ты ждешь, достать хулу злую.

удовлетворительно для друзей просвѣщенія. Стихотворецъ не сказалъ ни слова въ пользу наукъ, но онъ выставилъ безумство ихъ порицателей, и всякій повторитъ за нимъ съ сердечнымъ убѣжденіемъ:

Безстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
Кто въ тихомъ своемъ углу молчаливъ таится.

Сатиры Кантемировы можно раздѣлить на два класса: на *философическія* и *живописныя:* въ однѣхъ, и именно въ VI, VII, сатирикъ представляется намъ философомъ; а въ другихъ [I, II, III, V], искуснымъ живописцемъ людей порочныхъ. Мысли свои, почерпнутыя изъ общежитія, выражаетъ онъ сильно и кратко, и почти всегда оживляетъ ихъ или картинами, или сравненіями; всѣ характеры его изображены рѣзкою кистію: иногда, можетъ быть, замѣчаешь въ его изображеніяхъ и описаніяхъ излишнее обиліе. Формы его весьма разнообразны; онъ или разсуждаетъ самъ, или выводитъ на сцену актёровъ, или забавляетъ *насъ вымысломъ, или* пишетъ посланіе. По *языку* и *стихосложенію* Кантемиръ долженъ быть причисленъ къ стихотворцамъ старинным; но по *искусству* онъ принадлежитъ къ новѣйшимъ и самымъ образованнымъ. Читая сатиры его, видишь предъ собою ученика Горація и Ювеналовъ, знакомаго со всѣми правилами стихотворства, со всѣми превосходными образцами древней и новой поэзіи. Онъ никогда не отдаляется отъ матеріи, никогда не употребляетъ четырехъ словъ, какъ скоро можетъ выразиться тремя; онъ чувствителенъ къ гармоніи стихотворной; онъ знаетъ, что всякое выраженіе заимствуетъ силу свою отъ того мѣста, на которомъ оно поставлено, его украшенія всѣ *необходимы:* онъ употребляетъ ихъ не для пустаго блеска, а для того, чтобы усилить или объяснить свою мысль. Въ слогѣ его болѣе силы, нежели колкости; онъ не смѣется, не хочетъ забавлять, но чертами разительными изображаетъ смѣшное, и колетъ иногда неожиданно, мимоходомъ. Напримѣръ, пьяница Лука говоритъ:

Какъ скоро по небу сохой бразды водить станутъ,
А съ поверхности земли звѣзды ужо проглянутъ,
Когда будутъ течь къ ключамъ своимъ быстры рѣки,
И возвратятся назадъ минувшіе вѣки,
Когда въ постъ чернецъ одну пость стинетъ вязигу.
Тогда, оставя стаканъ, примуся за книгу.

Здѣсь стихотворецъ, какъ будто безъ намѣренія, кольнулъ невоздержныхъ монаховъ: невозможность питаться одною вязигою въ великій постъ напоминаетъ онъ послѣ невозможности возвратить минувшіе вѣки. Такое сближеніе очень забавно.

Мы предложимъ нашимъ читателямъ нѣсколько примѣровъ изъ слѣдующихъ сатиръ, чтобы дать имъ яснѣйшее понятіе объ искусствѣ Кантемира въ выраженіяхъ *мыслей;* въ *описаніяхъ* и *сравненіяхъ* стихотворныхъ и въ изображеніи *характеровъ.*

Вотъ заключеніе пятой сатиры. Стихотворецъ уступилъ свою роль лѣсному

сатиру, одѣтому въ модное платье и присланному отъ бога Пана въ городъ для того, чтобы, наглядѣвшись на людей и возвратившись въ лѣсъ, забавлять его въ скучные часы разсказами объ ихъ дурачествахъ. Сатиръ, описавши Періергу нѣкоторую часть того, что видѣлъ и слышалъ между людьми, заключаетъ:

Несчастныхъ страстей рабы отъ дѣтства до гроба!
Гордость, зависть мучитъ васъ, лакомство и злоба,
Съ самолюбіемъ вещей тщетныхъ тяусна воля;
Къ свободѣ охотники, впилась въ васъ неволя;
Такъ, какъ легкое перо, конмъ вѣтръ играетъ,
Летуча и различна мысль ваша бываетъ;
То богатства ищете, то деньги мѣшаютъ,
То грустно быть одному, то люди скучаютъ;
Не знаете сами, что хотѣть; теперь тое
Хвалите, потомъ сіе, съ мѣста на другое
Переб'ѣгая мѣсто; и, что паче дивно,
Вдругъ одно желаніе другому противно.
Малый въ лѣто муравей потѣетъ, томится,
Зерно за зерномъ таща, и наполнять тщится
Свой анбаръ; когда же міръ унывать безплоденъ
Мразами пачнетъ, съ гнѣзда станетъ непроходенъ,
Въ зиму наслаждался тѣмъ, что нажилъ лѣтомъ;
А вы, что мните ся ума одарены свѣтомъ,
Въ темнотѣ вѣкъ бродите; не въ время прилежни,
Въ ненужномъ потѣете, а въ потребномъ лежни.
Коротокъ жизни предѣлъ, велики затѣи;
Своей сами тишинѣ глупые злодѣи,
Состояніемъ своимъ всегда недовольны.
Купецъ, у кого анбаръ и сундуки полны
Богатствъ всякихъ, и можетъ жить себѣ въ покоѣ
И въ довольствѣ, вотъ не спитъ и мыслитъ иное,
Думая, какъ бы ему сдѣлаться судьею;
Куды де хорошо быть въ людяхъ головою:
И чтятъ тебя, и даютъ, постою не знаешь;
Много ль, мало ль, для себя всегда собираешь.
Ставъ судьею, ужъ купцу не мало завидитъ,
Когда по несчастію пусто въ мѣшкѣ видитъ,
И слыша просителей у дверей вздыхати,
Долженъ встать, не выспавшись, съ теплыя кроватн.
Боже мой, говоритъ онъ, что я не посадской?
Чортъ бы взялъ и чинъ и честь, въ коихъ животъ адской.
Пахарь, соху ведучи, или оброкъ считая,
Не однажды приздохнетъ, слезы отирая:
За что де меня Творецъ не сдѣлалъ солдатомъ?
Не ходилъ бы въ сермѣ, но въ платьѣ богатомъ,
Зналъ бы лишь одно свое ружье, да капрала,
На правежѣ бы нога моя не стояла,
Для меня бъ свинья моя только поросилась,
Съ коровы мнѣ бъ молоко, мнѣ бъ куря носилась;
А то все прикащикъ, стряпчикъ, княгинѣ
Понеси въ поклонъ, а самъ жирѣй на мякинѣ.
Пришелъ поборъ, пахаря вписали въ солдаты:
Не однажды дымныя вспомнитъ ужъ палаты,
Проклинаетъ жизнь свою въ зеленомъ кафтанѣ,
Десятью заплачетъ въ день по сѣромъ жупанѣ.
Толь не житье было мнѣ, говоритъ, въ крестьянствѣ?
Правда, тогда не ходилъ я въ такомъ убранствѣ;
Да лѣтомъ въ подклетѣ я, на печи зимою
Сыпалъ, въ дождикъ изъ избы я вонъ ни ногою;
Заплачу подушное, оброкъ господину,
Какую жъ больше найду я тужить причину?
Щей горшокъ, да самъ большой, хозяинъ и дома;
Хлѣба у меня чрезъ годъ, а скотамъ солома.
Дальня ѣзда мнѣ была съѣздить въ торгъ для соли.
Иль въ праздникъ пойти въ село, и то съ доброй воли:
А теперь чортъ не житье, волочись по снѣгу,
Все бы рубашка бѣла, а вымыть чѣмъ, нѣту;
Ходи въ штанахъ, возися за ружьемъ пострѣлымъ,
И гдѣ до смерти всѣхъ бьютъ, надобно быть смѣлымъ.
Ни выспаться нѣкогда, часто нѣтъ что кушать;
Наряжать мнѣ все собой, а сотерыхъ слушать.
Чернецъ тотъ, кой день назадъ чрезмѣрну охоту
Имѣлъ ходить въ клобукѣ, и всяку работу
Къ церкви легку сказывалъ, прося со слезами,
Чтобъ и онъ съ небесными былъ въ щотѣ чинами,
Сего дня не то поетъ, радъ бы скинуть рясу,
Скучили ужъ сухари, полетѣлъ бы къ мясу;
Радъ къ чорту въ товарищи, лишь бы бѣлымъ быти:
Нѣтъ мочи ужъ ангеломъ въ слабомъ тѣлѣ жити.

Стихотворецъ сначала разсуждаетъ просто о непостоянствѣ человѣческихъ желаній; потомъ выводитъ на сцену самыхъ недовольныхъ, и мысли его одушевлены

прекрасною драматическою сценою. Въ этомъ мѣстѣ подражалъ онъ Горацію [Сат. I, кн. 1]. Вотъ нѣсколько *мыслей* объ умѣренности и спокойствіи; вы подумаете, что съ вами бесѣдуетъ Горацій; но Кантемиръ почерпалъ свою философію въ собственномъ своемъ сердцѣ:

Тотъ въ сей жизни лишь блаженъ, кто, малымъ доволенъ,
Въ тишинѣ знаетъ прожить, отъ суетныхъ воленъ
Мыслей, что мучатъ другихъ, и топчетъ надежну
Стезю добродѣтели, къ концу неизбѣжну.
Небольшой домъ, на своемъ построенный [полѣ,
Даетъ нужное моей умѣренной волѣ,
Не скудный, не лишній кормъ, и средню забаву
Гдѣ бъ съ другомъ честнымъ я могъ, по моему праву
Выбраннымъ, въ лишни часы прогнать скуки бремя.
Гдѣ бъ, отъ шуму отдаленъ, прочее все время
Провождать межъ мертвыми греки и латины.
Изслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины
И учась знать образцомъ другихъ, что полезно,
Что вредно въ нравахъ, что въ нихъ гнусно иль любезно:
Го одно желанія мои составляетъ.
Богатство, высокій чинъ, что въ очахъ блистаетъ
Предъ неискусною толпой, многія печали
Наноситъ и ищущимъ, и тѣмъ, кто достали.
Кто бъ не смѣялся тому, кой стежку жестоку
Топчетъ, дѣля весь въ поту на гору высоку,
Коей вершина остра такъ, что осторожно
Сколь стопы не утверждать, съ покоемъ не можно
Устоять, и всякій вѣтръ, кой дышетъ, опасный,
Порываетъ бѣднаго въ стремнины ужасны?
Любочестный однако мужъ на него походитъ.
. . . . . .
Еще, если бъ наша жизнь на два, на три вѣки
Тянулась, не столько бы глупы человѣки
Казалися, мнѣнію служа безразсудну,
Меньшу въ пользу большія времени часть трудну
Снося, и довольно дней поправить имѣя
Себя, когда прежніе прожили шалѣя.
Да лихъ человѣкъ, родясь, имѣетъ насилу
Время оглядѣться вкругъ, и полѣзть въ могилу.
И столь короткую жизнь еще ущербляютъ
Младенство, старость, болѣзнь; а дни такъ летаю,
Что напрасно будешь ждать себѣ ихъ возврату.
Что жъ столь тяжкій сносить трудъ за столь малу плату
Я имѣю, и терять золотое время,
Оставляя изъ дня въ день злонравія сѣмя
Изъ сердца искоренять? Пропадутъ степени
Пышны и сокровища, какъ за пусты тѣни
Басенный песъ опустилъ изъ зубъ кусокъ мяса.
Добродѣтель лучшая есть наша украса,
Тишина ума при ней, и своя мнѣ воля
Всего драгоцѣннѣе. Кому богатствъ доля
Пала и славы, тѣхъ трехъ благъ долженъ лишиться,
Хоть бы крайней гибели и могъ ущититься.
Глупо изъ младенчества мы обыкли боятся
Нищеты, презрѣнія, и тѣ всего мнятся
Зла горчае; для того бѣжимъ мы въ другую
Крайность, а должно бъ въ вещахъ знать мѣру прямую.
Всяко однако жъ предѣлъ свой дѣло имѣетъ:
Кто прейдетъ, кто не дойдетъ, подобно шалѣетъ.
. . . . . .
Можешь безъ скудости жить, богатствъ не имѣя
Лишнихъ, и въ тихомъ углу покоенъ сѣдя;
Можешь славу получить, хоть бы за собою
Полкъ людей ты не водилъ, хоть бы предъ тобою
Народъ шапки не снималъ, хоть бы ты таскался
Пѣшъ, и одинъ бы слуга тебя лишь боялся.
Мудрая малымъ прожить природа насъ учитъ
Въ довольствѣ, коль лакомство разумъ нашъ не мучитъ.
Достать не трудно доходъ не великъ и сходенъ
Съ состояніемъ твоимъ; а потомъ свободенъ
Отъ прихотной зависти, тамъ остановися.
Степенямъ блистающихъ именъ не дивися
И богатствъ большихъ; живи тихъ, ища, что честно,
Что и тебѣ и другимъ пользуетъ нелестно
Къ правовъ исправленью; слава твоя вѣчно
Между добрыми людьми жить будетъ конечно.
Да хоть бы невѣдомъ дни скончалъ и по смерти
Свѣту остался забытъ; силенъ ты былъ стерти
Зубъ зависти, ни трудовъ твоихъ мзда пропала:
Добрымъ быть собою, мзда есть уже не мала.

Вотъ еще нѣсколько мыслей; онѣ почерпнуты изъ сатиры о *воспитаніи*. Вы увидите, что Кантемиръ имѣлъ самыя основательныя понятія о семъ важ-

номъ предметѣ, и нѣкоторыя мысли его должны быть аксіомами для всякаго воспитателя.

Начало сатиры прекрасно. Это VII, писанная къ князю *Никитѣ Юрьевичу Трубецкому*. Если придетъ мнѣ въ голову увѣрять хапжу, говоритъ сатирикъ, что онъ однимъ постомъ и молитвою не войдетъ въ рай, то онъ,

Вспылавъ, ревность наградитъ мою симъ
ответомъ:
Напрасно, молокососъ, сушься съ совѣтомъ.
И дѣло онъ говоритъ. Еще я тридцатый
Не видѣлъ возврат зимы, еще черноватый
Ни одинъ на головѣ волосъ не сѣдѣетъ,
Мнѣ ли въ такомъ возрастѣ поправлять
довлѣетъ
Сѣдыхъ, пожилыхъ людей, кои чтутъ съ
очками,
И чуть три зуба сберечь могли за губами;
Кои помнятъ моръ въ Москвѣ, и, какъ
сего года,
Дѣла Чигиринскаго сказуютъ похода?

И въ самомъ дѣлѣ, какъ не быть тому совершенно умнымъ, кто *едва три зуба сберегъ за губами?* Люди упрямы, продолжаетъ сатирикъ: они увѣрены, что всякій, считающій себѣ за шестьдесятъ лѣтъ, *потянетъ умомъ трехъ молодыхъ*, хотя извѣстно, что разсудокъ не всегда ждетъ старости. Но мало ли подобныхъ заблужденій? Одинъ любитъ въ поступкахъ своихъ слѣдовать предписаніямъ здраваго ума; другой, напротивъ, не замѣчаетъ своихъ ошибокъ; а третій, и замѣчая ихъ, не умѣетъ бороться съ *упрямою силою*, и всякой въ оправданіе свое говоритъ, что природы одолѣть невозможно.

Испыталъ ли истину онъ въ томъ осторожно?
Не знаю, Никита, другъ; то одно я знаю,
Что если я добрую лѣнивъ запускаю
Землю свою, обростетъ худою травою;
Если прилежно вспашу, довольно покрою
Навозомъ песчаную, жирнѣе ужъ станетъ,
И довольный плодъ отъ ней тотъ трудъ
мой достанетъ.
Каково бъ отъ природы сердце намъ ни
пало,
Есть, есть время нѣкое, въ кое злу немало
Склонность уймемъ, буде всю истребить не
можемъ,
И утвердиться въ добрѣ доброму поможемъ.
Время то суть первыя младенчества лѣта.
Чутко ухо, зорокъ глазъ новый житель
свѣта
Ялитъ; всяка вещь ему примѣтна, все
ново
Будучи, все съ жадностью сердце въ немъ
готово
Принять: что туды вскользнетъ, скоро вкоренится,
Буде руки приложить повадка потщится;
На веревкѣ силою повадки тащуемъ.

Петръ Великій старался ввести въ Россію воспитаніе: имъ заведены училища. Но полезному часто бываетъ предпочтено то, что *ласкаетъ лакомымъ чувствамъ*.

Кучу къ кучѣ прикопить, домъ построить
пышной,
Развести садъ и заводъ, расчистить лѣсъ
линной,
Дѣтямъ ужъ богатое оставить наслѣдство
Печемся, потѣемъ въ томъ; каково жъ ихъ
дѣтство
Проходитъ, рѣдко на умъ двумъ или тремъ
всходитъ;
И у кого не одна въ бездѣлкахъ исходитъ
Тысяча, малѣйшаго расхода жалѣетъ
Къ наставленію дѣтей: когда же шалѣетъ
Сынъ, въ возрастъ пришедъ, отецъ тужитъ
и стыдится.
Напрасно вину свалить съ плечъ своихъ
онъ тщится:
Богатства сыну копилъ, презрилъ въ сердцѣ
нравы
Добры всѣять. Богатъ сынъ будетъ, но
безъ славы
Проживетъ, мало любимъ и свѣтомъ презрѣнный,
Буде въ истлю не вбѣжитъ плутъ ужъ совершенный.

Главное дѣло воспитанія состоитъ въ томъ, чтобы, украшая умъ свѣдѣніями, сохранить въ чистотѣ сердце и дать характеръ любезный.

Судъ трудный мудро рѣшить, исчислять
приходы
Пространна царства, сравнить съ оными
расходы
Однимъ почти почеркомъ; въ безднахъ безопасный
Водныхъ предызбрать путь, гдѣ бури ужасны;
Небесъ числить всякаго удобно свѣтила
Путь и бѣглость, и того, сколь велика сила

Надъ другимъ, въ твари всему знать нету
причину,
Мудрымъ зваться дастъ тебѣ, и, можетъ
быть, къ чину
Вышнему покажетъ слѣдъ; народъ будетъ
цѣлый
Искуснымъ вождемъ тя звать, зря царства
предѣлы
Тобою расширены, и пражін рати
И городы стерты въ прахъ: но буде уняти
Не знаешь ярость твою, буде непріятенъ
Къ тебѣ доступъ, и тебѣ плачъ бѣдныхъ
невнятенъ,
Ежели волю твою не правитъ смыслъ
правый,
Словомъ ежели твои развратны суть нравы,
Дивиться станетъ тебѣ; но любить не ста-
нетъ.
Хвалы твоя изъ его устъ нужда потянетъ.
Пользы своей лишь въ тебѣ искать онъ
потщится,
Гнушаясь тобой, и той готовъ отщетиться,
Только бъ тебя свалить съ плечъ. Слава
увядаетъ
Твоя въ малъ часъ; позабытъ человѣкъ
бываетъ
Скоро ненавидимый, и мало жалѣетъ
Кто объ немъ, когда ему черный день
приспѣетъ.
Добродѣтель лишь одна можетъ намъ до-
ставить
Покойну совѣсть, предѣлъ прихотямъ уста-
вить,
Повадить тихо смотрѣть счастья грудь и
спину,
И неизбѣжную ждать безстрашно кончину.

Привычку къ доброму надлежитъ вко-
ренять съ младенчества: ученость должна
уступить чистотѣ нравовъ. Доброе сердце
съ простымъ умомъ гораздо лучше, не-
жели остроуміе при испорченномъ сердцѣ.

Завсегда дѣтямъ тверди строгіе уставы,
Наскучишь, истребишь въ нихъ всяку лю-
бовь славы.
Если часто предъ людьми обличать ихъ
станешь:
Дай имъ время играть: самъ себя обманешь.
Буде станешь торопить лишно спѣша дѣло;
Наздишь исправлять можешь ты ихъ смѣло:
Ласковость больше въ одинъ часъ дѣтей
исправитъ,
Нежъ суровость въ цѣлый годъ; кто часто
заставитъ
Дрожать сына передъ собой, хвальну въ
немъ загладитъ
Смѣлость, и безвременно торопѣтъ повадить.
Счастливъ, кто надеждою похвалъ возбудить
злость
Младенца; много къ тому примѣръ пособ-
ляетъ.
Относятъ къ сердцу глаза вѣсть уха скорѣе.

Примѣръ сильнѣе всякаго наставленія. Дѣти, умѣя все замѣчать, умѣютъ и по-дражать тому, что замѣчаютъ; наставляй ихъ примѣромъ:

Одинъ добродѣтелей хвальную дорогу
Топчетъ, ни надежда свесть съ нея, ни
страхъ ногу
Его не могли; въ своей должности онъ
вѣренъ
И прилеженъ, ласковъ, тихъ, и въ словахъ
умѣренъ;
Ни чьей бѣдности смотрѣть сухими глаза-
ми
Не можетъ; сердцемъ дастъ, что дастъ
руками.
Другой гордостью надутъ, яростенъ, не-
щаденъ,
Готовъ и отца предать, къ большимъ мѣш-
камъ жаденъ,
Казну крадетъ царскую, и, тѣмъ сломя
шею,
Весь уже сѣдъ, въ петлю бѣжитъ, въ казнь
должну злодѣю.
Въ томъ по счастью добры примѣры скрѣ-
пили
Совѣтъ: въ семъ примѣры злы оной истре-
били.
Если бъ я сыновію имѣлъ унять скупость,
Описавъ злонравія и гнусность и глупость,
Смотри, сказалъ бы ему, сколь Игнатій
бѣденъ
Надъ кучею злата; сухъ, печаленъ и бѣ-
денъ,
Всякой часъ мучитъ себя! Мнишь ли ты
счастливу
Жизнь въ обильствѣ такову? Если бъ чрез-
чуръ тщиву
Руку его усмотрѣлъ, пальцемъ указалъ бы
Тюрьму, гдѣ сидитъ Клеархъ, и всю раз-
сказалъ бы
Потомъ жизнь Клеархову чрезмѣру про-
хладну.

Всего болѣе надлежитъ быть осторож-
нымъ въ выборѣ наставниковъ, и опа-
саться, чтобы дѣти не были окружены
такими людьми, которые могутъ повре-
дить имъ своимъ характеромъ, своимъ
образомъ мыслей и проч.; но сами роди-
тели въ особенности должны имѣть чистую
нравственность, чтобы дѣти ихъ не были
испорчены:

. . . . . Родителей злѣе
Всѣхъ примѣръ. Часто дѣти были бы
честнѣе,

Если бъ и мать и отецъ предъ младенцемъ знали
Собой владѣть и языкъ свой въ уздѣ держали.
Правдой и неправдою мнѣ копится куча
Денегъ, и степень достать высоку жизнь муча.
Нужусь поляка, во снѣ, въ пирахъ провождаю,
Въ сластяхъ всякихъ по уши себя погружаю;
Однихъ счастливыми я зову лишь обильныхъ,
И сотью то въ часъ твердя, завидую сильныхъ
Своевольству я людей, и дружбу ихъ тщуся
Всячески снискать себѣ, убогимъ смѣюся:
А однако жъ требую, чтобъ сынъ мой доволенъ
Былъ малымъ, чтобъ смиренъ былъ и собою воленъ;
Зналъ обуздать похоти, и съ одними знался
Благонравными, и тѣмъ подражать лишь тщался.
По водѣ тогда мои вотще пишутъ вилы;
Домашній, показанный часто примѣръ, силы
Будетъ важной, и идти станетъ сынъ тропою,
Котору протоптану видитъ предъ собою.

И съ какимъ лицомъ журить сына ты посмѣешь,
Когда своимъ наставлять его не умѣешь
Примѣромъ, когда въ тебѣ видитъ то всечасно,
Что винишь, и ищетъ онъ, что хвалишь, напрасно!
Если молодаго мать рака обличаетъ
Кривой ходъ: «прямо сама поди, отвѣчаетъ;
«Я за тобой поплыву и подражать стану.»
Нельзя добрымъ быть? Будь золъ дѣтямъ не къ изъяну.
Лучше же отъ всякаго убѣгать порока,
Если нельзя, скрой его отъ младенча ока.
Когда гостя ждешь къ себѣ, одинъ очищаетъ
Слуга твой дворъ и крыльцо, другой подметаетъ
И убираетъ весь домъ, третій третъ посуду;
Ты самъ вездѣ суешься, обѣгаешь сюду,
Кричишь, безпокоишься, боясь, чтобъ не встрѣтилъ
Глазъ гостевъ малѣйшій соръ, чтобъ не примѣтилъ
Малѣйшу нечистоту; а ты же не тщишься
Поберечь младенцевъ глазъ, ему не стыдишься
Открыть твою срамоту. Гостя ближе дѣти,
Большу бережь ты для нихъ долженъ бы имѣти.

Представленные примѣры показываютъ камъ въ Кантемирѣ превосходнаго философа-моралиста: мысли его ясны; онъ выражаетъ ихъ сильно и съ живостію стихотворца. Остается представить нѣсколько примѣровъ его искусства въ *описаніяхъ* и въ изображеніи *характеровъ*. Филаретъ и Евгеній разговариваютъ о благородствѣ [II сатира]. Евгеній, досадуя на фортуну, которая благопріятствуетъ Туллію, Трифону и Дамону, имѣющимъ незнатное происхожденіе, исчисляетъ достоинства своихъ предковъ и въ заключеніи *описываетъ* славу своего покойнаго родителя:

Знатны ужъ предки мои были въ царство Ольги,
И съ тѣхъ временъ по сихъ поръ въ углу не сидѣли.
Государства лучшими чинами владѣли.
Разсмотри гербовники, граматъ виды разны,
Книгу родословную, записки приказны;
Съ прадѣдова прадѣда, чтобъ начать поближе,
Думнаго, намѣстника никто не былъ ниже;
Искусны въ мирѣ, въ войнѣ разсудно и смѣло
Вершили ружьемъ, умомъ не одно тѣ дѣло.
Взгляни на пространны стѣны нашей залы,
Увидишь, какъ рвали строй, какъ ломали валы;
Въ судѣ чисты руки ихъ; помнитъ челобитчикъ
Милость ихъ, и помнитъ злу остуду обидчикъ.
А батюшка ужъ всѣмъ верхъ; какъ его не стало,
Государства правое плечо съ нимъ отпало.
Какъ батюшка выѣдетъ, всякъ долой съ дороги
И, шапочку спявъ, ему головою въ ноги;
Всегда за нимъ выборна таскалася свита,
Что на день рано съ утра крестова набита
Тѣми, которыхъ народъ почитаетъ,
И отъ которыхъ нашъ братъ милость ожидаетъ.
Сколько разъ не смѣя тѣ приступать къ намъ сами,
Дворецкому кланялись съ полными руками?
И когда батюшка къ нимъ промолвитъ хоть слово,
Заторопѣвъ, онѣмѣвъ, слезы у инова
Текли изъ глазъ съ радости, иной неспокоенъ
Всѣмъ наскучилъ, хвастая, что былъ онъ достоенъ
Съ временщикомъ говорить, и весь веселился

Домъ его, какъ бы имъ кладъ богатый явился,
Самъ ужъ суди, какъ легко мнѣ должно казаться,
Столь славны предки имѣвъ, забытымъ остаться?
Послѣднимъ видѣть себя, куды глазъ ни вскину?

Стихотворецъ выводитъ на сцену глупца, надутаго знатностію; но не трудится описывать его характеръ; ибо онъ самъ обнаруживаетъ себя своими забавными разсужденіями. Какія преимущества знатнаго вельможи наиболѣе прельщаютъ его душу? Онъ сказалъ только мимоходомъ о томъ, что его предки были:

Искусны въ мирѣ, въ войнѣ . . . .

По батюшка его *всѣмъ верхъ; съ нимъ отцало правое плечо государства! Бывало, когда выѣдетъ, всякой бѣжитъ домой съ дороги; его дворецкому кланялись съ поясъ; его слово дѣлало счастливымъ на недѣлю того, кто удостоивался его услышать.* Нужно ли послѣ всего этого стихотворцу сказывать своимъ читателямъ, что Евгеній его есть сустный глупецъ, не имѣющій понятія о прямомъ благородствѣ? Далѣе, Филаретъ описываетъ смѣшной образъ жизни Евгенія въ противоположность великимъ дѣламъ его предковъ:

Потрись на оселку, другъ, покажи въ чемъ славу
Крови собой, и твою жалобу быть праву.
Пѣлъ пѣтухъ, встала заря, лучи освѣтили
Солнца верхи горъ, тогда войско выводили
На поле предки твои: а ты подъ парчею,
Углубленъ мягко въ пуху тѣломъ и душею,
Грозно сопешь; когда дня пробѣгутъ двѣ доли,
Зѣвнешь, растворишь глаза, высунишься до воли,
Тянешься ужъ часъ другой. нѣжишься, сжидая
Пойла, что плетъ Индія, или везутъ съ Китая,
Изъ постели къ зеркалу однимъ спрыгнешь скокомъ;
Тамъ ужъ въ попеченіи и трудѣ глубокомъ,
Женскихъ достойную плечъ завѣску на спину
Вскинувъ, волосъ съ волосомъ прибираешь къ чину,
Часть ихъ надъ лоскимъ лбомъ торчать будутъ сановиты,
По румянымъ часть щекамъ въ колечки завиты
Свободно станутъ играть, часть уйдетъ за темя
Въ мѣшокъ. Дивится тому строенію племя
Тебѣ подобныхъ; ты самъ, новый Нарциссъ, жадно
Глотаешь очами себя, нога жмется складно
Въ тѣсномъ башмакѣ твоя, потъ со слугъ валится,
Въ двѣ мозоли и тебѣ краса становится;
Избитъ полъ и подъ башмакъ стерто много мѣлу.
Деревню вздѣнешь потомъ на себя ты цѣлу.
Не столько стоитъ народъ римлянъ пристойно
Основать, какъ выбрать цвѣтъ и парчу, и стройно
Сшить кафтанъ по правиламъ щегольства и моды:
Пора, мѣсто, и твоя разсмотрѣны годы,
Чтобъ лѣтамъ сходенъ былъ цвѣтъ, чтобъ тебѣ къ образу
Нѣжну зеленъ въ городѣ не досажалъ глазу,
Чтобъ бархатъ не отягчалъ въ лѣтню пору тѣло,
Чтобъ тафта не хластала среди зимы смѣло;
Но зналъ бы всякъ свой предѣлъ, право и законы,
Какъ искусные попы всякаго дни звоны.

Вотъ изображеніе военачальника:

Много вышнихъ требуетъ свойствъ чинъ воеводы.
И много разныхъ искуствъ: и входъ и исходы,
И мѣсто годно къ бою видитъ однимъ взглядомъ;
Линіей безопасности не опоенъ ядомъ,
Остръ, проницаетъ враговъ тайные сонѣты,
Временно предупреждать удобенъ навѣты,
О обильности въ своемъ таборѣ печется
Неусыпно, и любовь ему предпочтется
Войска, и не будетъ за страхъ ненавидимъ;
Отцомъ невинный народъ зоветъ, не обиждимъ
Его жадностью; врагамъ однимъ лишь ужасенъ;
Тихимъ правомъ и умомъ и храбростью красенъ;
Не спѣшитъ дѣло начать, начавъ производитъ
Смѣло и скоро; не столь бѣгло перунъ сходитъ,
Страшно гремя. Въ счастіи умѣренъ быть знаетъ,
Терпѣливъ въ нуждѣ, въ бѣдствіе твердъ, не унываетъ,

Ты тѣхъ добродѣтелей, тѣхъ чуть имя знаній,
Слыхалъ ли? Самыхъ числу дивишься ты званій;
И въ одинъ всѣхъ мозгъ вмѣстить смертныхъ столь многихъ трудно,
Сказь дворецкому не красть, иль судьѣ жить скудно.

Слѣдующее описаніе безразсудной забывчивости нѣкоторыхъ стариковъ весьма забавно:

Видѣлъ я столѣтняго старика въ постели,
Въ которомъ лѣта весь видъ человѣка съѣли,
И на трупъ больше похожъ; на бороду плюетъ,
Однако жъ дряхлой рукой и въ очкахъ рисуетъ.
Что такое? Вѣдь не гробъ, чтобы ему кстати;
Съ огородомъ пышный домъ, гдѣ бъ въ лѣто гулять.
А другой, видя, что смерть грозитъ ужъ косою,
Не мысля, что сдѣлаться имѣетъ съ душою,
Хоть чуть видятъ слабые бумагу ужъ взгляды,
Начнетъ писать похоронъ своихъ всѣ обряды,
Сколько архипастырей, поповъ и причету
Предъ гробомъ церковнаго, и сколько по счету
Пойдетъ за гробомъ родни съ горькими слезами,
Съ какими и сколькими провожать свѣчами,
Гдѣ зарыть и какой гробъ, лампаду златую
Свѣсить иль сребряну, и надпись какую
Сочинить, чтобъ всякому давалъ знать слогъ внятный,
Что лежащій подъ ней прахъ былъ господинъ знатный.

Вотъ *характеры* гордеца *Иркана*, злословнаго *Созима*, льстеца *Трофима*, подозрительнаго *Невѣя* и завистника *Зоила:*

Въ палату вшедши Иркань, гдѣ много народу,
Раздвинетъ всѣхъ, какъ корабль плывущъ свѣчетъ воду,
И хоть бы зналъ, что много злата съ плечъ убудетъ,
Нужно продраться впередъ; позади не будетъ.
Садится ли гдѣ за столъ, то то, то другое
Блюдо передъ себя подать велитъ, снять иное;
Приходятъ изъ его рукъ съ здоровьями кубки;
Зависѣть отъ его словъ всѣхъ должны поступки.
Распявивъ грудь, бровь поднявъ, когда знакъ ти окомъ
Подастъ за низкій поклонъ, въ почтеньи глубокомъ
Имѣетъ тя: ибо съ кѣмъ проговорить слово
Удается не всегда, не всегда готово.
Мнитъ онъ, что вещество то, что плоть ему дало,
Было не такое же, но нѣчто сіяло
Предъ прочими; и была та фарфорна глина,
Съ чего онъ, а съ чего мы—навозная тина.
Созимъ, смотря на него, злобно скалитъ зубы,
И шепчутъ мнѣ на ухо ядовиты губы:
«Гораздо бъ приличнѣе Иркань пратомою
«Помнилъ бабушку свою и дѣда съ сумою,
«Умѣряя по семьѣ строй свой и походку;
«Гораздо бъ приличнѣе зашилъ себѣ глотку,
«Чтобъ хотя одинъ глупецъ обмануться станомъ
«Его могъ, а не весь свѣтъ окрестилъ болваномъ.»
Созимъ дѣло говоритъ; но Иркану бъ мочно
Дружескій подать совѣтъ, чѣмъ ему заочно
Насмѣхаться безъ плода; но о всѣхъ такъ судитъ
Строго Созимъ. «Чистую удачливо удитъ
«Золотомъ мягкій Сильванъ супругу сосѣда;
«У Прокофья голоденъ вышелъ изъ обѣда;
«Настя румяна, бѣла своими трудами,
«Красота ея въ ларцѣ лежитъ за ключами;
«Клементій судья собой взяться не умѣетъ
«Ни за что, и безъ очковъ дьяка честь не смѣетъ.»
Ни возрастъ, ни чинъ, ни другъ, ни самъ ближній кровный
Языкъ Созимовъ унять не могутъ злословный.
Я несчастливымъ тотъ день себѣ быть считаю,
Когда случится мнѣ съ нимъ сойтись; ибо знаю,
Что, какъ скоро съ глазъ его сойду, ужъ готово
Столь злобное жъ обо мнѣ будетъ ему слово.

Сообществу язва онъ; но больше ужасенъ
Трофимъ съ сладкимъ языкомъ и больше опасенъ:
Можетъ въ умныхъ клевета пороки заставить
Нечувствительны предъ тѣмъ полезно исправить;
Трофимъ надсаждаясь все хвалить безъ разбору,
И множитъ число глупцовъ. Вѣру дасмъ скору
Похвалямъ мы о себѣ, и въ сердцѣ [illegible]

Истребятъ до корени, буде въ немъ какая
Крылась къ добродѣтели ревность много-трудна.
Самолюбіемъ душа ни одна не скудна,
И однимъ свидѣтелемъ совершенно часмъ
Хвальными себя, за тѣмъ въ пути уны-ваемъ.
Не успѣлъ Титъ растворить устъ, Трофимъ дивится,
Искусной рѣчи его, прилежно трудится
И самъ слушать, и другихъ къ тому при-нуждаетъ,
Боясь чихнуть, пль дохнуть, пока рѣчь скончаетъ,
Котору мнѣ выслушать нельзя не зѣвая.
У Тита на ужинѣ пальцы полизая,
Небеснымъ всякой зоветъ кусокъ, хоть противенъ
Ему, гадитъ; нигдѣ онъ не видалъ столь дивенъ
Чинъ и столько чистоту; все у Тита чудно
Въ домѣ, и самъ домъ почесть раемъ ужъ не трудно.
Если бъ Титова жена Парису знакома
Была, Менелаева пряла бъ пряжу дома.
Всѣ до облакъ Титовы дѣла возвышаетъ;
Титъ высморкать носъ кривой весьма умно знаетъ.
И не отличенъ ему Титъ одинъ: но равно
Всякому льститъ, все ему чудно и преславно
И мнитъ, что тѣмъ способомъ любимъ всѣмъ бываетъ.

. . . . . .

Невій босъ и безъ портокъ съ постели встанетъ,
Пятью и десятью въ ночь осмотритъ прилежно,
Заперты ли окна всѣ и двери надежно,
На мѣстѣ ли кабинетъ и сундукъ и ящикъ.
Сотью шлетъ въ деревню онъ извѣдать. прикащикъ
Не крадетъ ли за очьми; за дворецкимъ ходитъ
Самъ тайно въ рядъ; за собой слугъ своихъ не водитъ,
Чтобъ, гдѣ беретъ, гдѣ кладетъ онъ деньги, не знали.
Котелъ сосѣду ссудилъ, тотчасъ думы вспали,
Что слуга уйдетъ съ котломъ, тотчасъ шлетъ другаго
По пятамъ за нимъ смотрѣть, и, спустя немного,
Пришло въ умъ, что самъ сосѣдъ въ котлѣ отпереться
Можетъ; воротить слугу третій шлется.
Вскинетъ ли глазъ на кого жена ненарочно,
Невій часть, что тому ужъ ожидать мочно
Все сть жены, и за тѣмъ душу свою мучитъ;
Дѣтей мать долги копить потаенно учитъ;
Другъ шепчетъ о чемъ съ другимъ—Невію навѣты
Строятъ, или смѣются тѣ. Мѣряетъ отвѣты
Долго на всякой вопросъ, боясь обмана
Во всемъ: подозрителенъ весь свѣтъ, и изъяна
Вездѣ опасается. Въ такомъ непрестанно
Безпокойствѣ жизнь свою пурить окаянно.
Я бъ на такомъ не хотѣлъ принять договорѣ
Ни самый царскій престолъ; скучило бъ вскорѣ
И царско титло. Суму предпочту въ покоѣ
И бѣдство я временно, сколь бы то ни злое,
Тревогѣ, волненію ума непрестанну,
Хоть бы въ богатство вели, въ славу нескаванну.
Часто быть обмануту предпочту конечно,
Нежель недовѣріемъ мучить себя вѣчно.

Не меньше мучитъ себя Зоилъ нашъ угрюмый:
Что ни видитъ у кого, то новыя думы,
Нова печаль и не спитъ бѣдный цѣлы ночи.
Недавно закинувъ онъ завистныя очи
Въ сосѣдній дворъ, и видя, что домишко строитъ,
Который, хоть дорого цѣнитъ, ста не стоитъ
Рублей, поблѣднѣлъ весь вдругъ и, въ себѣ неволенъ,
Горячкою заболѣлъ, по сю пору боленъ.
У бѣднаго воина, что двадцать лѣтъ служитъ,
Ощупавъ въ карманѣ рубль, еще теперь тужитъ.
Удалось ли кому въ чинъ неважный добиться,
Хвалятъ ли кого — ворчитъ и злобно дивится
Слѣпому суду людей, что свойства столь плохи
Высоко цѣнитъ. Въ чужихъ рукахъ хлѣба крохи
Большимъ ломтемъ кажутся. Суму у убогихъ,
Бороду у черпеца завидитъ, и въ многихъ
Случаяхъ..... Да не пора ль, Муза моя, губы
Прижавъ, кончить нашу рѣчь?..

Сихъ примѣровъ весьма довольно для того, чтобы имѣть ясное понятіе о стихотворномъ искусствѣ и дарованіи Кантемира. Какъ сатирикъ, онъ можетъ занимать средину между Гораціемъ и Ювеналомъ. Онъ не имѣетъ той живости, того пріятнаго остроумія, той колкой и при томъ неоскорбительной насмѣшливости, какую мы замѣчаемъ въ Горацiи;

по онъ имѣетъ его философію, и съ такимъ же чувствомъ говоритъ о простотѣ, умѣренности и тѣхъ веселыхъ досугахъ, которые мы, не будучи обременяемы посторонними заботами, посвящаемъ удовольствію и размышленію. И въ самыхъ обстоятельствахъ жизни имѣетъ онъ нѣкоторое сходство съ Гораціемъ: и тотъ и другой жили у двора; но Горацій, какъ простой зритель, а Кантемиръ, какъ зритель и дѣйствующій. Горація удерживала при дворѣ благодарность къ Меценату, а Кантемира важнѣйшія дѣла государственныя. Для перваго стихотворство было занятіемъ главнымъ, для послѣдняго было оно отдохновеніемъ. Горацій думалъ единственно о томъ, какъ наслаждаться жизнію: разнообразіе удовольствій оживляло и самое воображеніе стихотворца. Кантемиръ, будучи обремененъ обязанностію государственнаго человѣка, наслаждался болѣе одною мыслію. Философія перваго живѣе, и мысли болѣе согрѣты пламенемъ чувства: говоря о природѣ, онъ восхищаетъ васъ прелестными описаніями природы; онъ увлекаетъ васъ за собою въ сельское свое уединеніе; вы видите рощи его, слушаете вмѣстѣ съ нимъ пѣніе птицъ и журчаніе источника. Философія послѣдняго не такъ трогательна: онъ разсуждаетъ о тѣхъ же предметахъ, но съ важностію мыслящаго человѣка; онъ говоритъ о посредственности, спокойствіи, беззаботности, какъ добрый философъ, истинно чувствующій всю ихъ цѣну, но пользующійся ими весьма рѣдко. Въ слогѣ имѣетъ онъ, если не ошибаюсь, болѣе сходства съ Ювеналомъ: и тотъ и другой богаты описаніями, и тотъ и другой иногда утомляютъ насъ излишнимъ обиліемъ; но всѣ описанія римскаго сатирика носятъ на себѣ отпечатокъ его характера суроваго и гнѣвнаго: Ювеналъ съ намѣреніемъ увеличиваетъ то безобразіе, которое хочетъ сдѣлать для насъ отвратительнымъ; но тѣмъ самымъ, можетъ быть, уменьшаетъ и нашу къ себѣ довѣренность. Кантемиръ умѣреннѣе и безпристрастнѣе: онъ описываетъ то, что видитъ, и какъ видитъ; онъ смѣшитъ чаще, нежели Ювеналъ, и почти никогда не опечаливаетъ безполезнымъ изображеніемъ отвратительныхъ ужасовъ. И въ самыхъ планахъ своихъ Кантемиръ имѣетъ болѣе сходства съ Ювеналомъ, нежели съ Гораціемъ: характеръ послѣдняго есть непринужденность и разнообразіе; характеръ Ювенала порядокъ. Такой же порядокъ находимъ и въ Кантемировыхъ планахъ: если, напримѣръ, сатирикъ начинаетъ разсуждать, то уже во все продолженіе сатиры не перемѣняетъ тона, и переходитъ безъ великихъ скачковъ отъ одной мысли къ другой; начиная изображать характеры или описывать, онъ вводитъ васъ, такъ сказать, въ галерею портретовъ, разставленныхъ въ порядкѣ, и показываетъ ихъ одинъ за другимъ: все это, вѣроятно, могло бы произвести нѣкоторое однообразіе, когда бы сатирикъ не имѣлъ истинно-стихотворнаго слога, не оживлялъ своихъ разсужденій картинами и не былъ живописецъ превосходный.

1808—1809.

РЕДАКТОРСКІЯ ЗАМѢТКИ ПРИ СТАТЬЯХЪ «ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ» 1808—1809 гг.

I.

Издатель искренно благодаритъ почтеннаго незнакомца за присланный ему анекдотъ. Онъ вмѣстѣ съ нимъ осмѣливается надѣяться, что новая, или правильнѣе сказать, старинная прародительская и очень недавно возобновленная мода, предпочитать русское иностранному, найдетъ [какъ онъ сказалъ въ своемъ письмѣ] послѣдователей въ Россіи; что, можетъ быть, современемъ рѣшимся называть Россію отечествомъ, русскія добродѣтели—добродѣтелями, русскія дарованія дарованіями; не будемъ удивляться, когда нѣкоторые чудаки начнутъ публично говорить, что наши сограждане имѣютъ собственный умъ, которымъ порядочно

дѣйствуютъ при случаѣ; что они сами способны воспитывать дѣтей, учить ихъ правиламъ чести, закону Божію, и даже въ состояніи готовить французскіе соусы или шить французскіе чепцы a l'inexprimable. Придетъ время, что въ прибавленіи Московскихъ Вѣдомостей не будутъ печатать: потребны садовникъ, коровница и мадамъ или мамзель для обученія дѣтей!

II.

Этотъ путешественникъ есть Николай Ѳедоровичъ Алферовъ, [о которомъ упомянуто въ № 23 «Моск. Вѣд.» нынѣшняго года], молодой архитекторъ изъ дворянъ, съ особеннымъ талантомъ, страстно привязанный къ своему искусству, но по несчастію лишенный средства усовершенствовать свое дарованіе. Онъ воспитанникъ дворянина Слободско-Украинской губерніи, почтеннаго Александра Александровича Палицына, извѣстнаго по своимъ упражненіямъ въ литературѣ и свободныхъ художествахъ. Любопытство, пламенная любовь къ изящному, благородное честолюбіе заслужить въ отечествѣ своемъ имя, заставили его предпринять продолжительное, сопряженное со всѣми трудностями путешествіе. Памятники древности, особенно великолѣпныя развалины зданій, которыми украшена Италія и Греція, составляютъ главный предметъ его вниманія. Этотъ необыкновенный молодой человѣкъ — въ которомъ [почему знать!] могъ бы со временемъ образоваться русскій Винкельманъ, когда бы обстоятельства способствовали развитію дара его и не умерщвляли его генія—оставилъ Россію съ обширнымъ предпріятіемъ, осмотрѣть [имѣя въ предметѣ одно искусство свое, архитектуру] величественные остатки Рима, Аѳинъ, Геркуланума, Агригента и другіе памятники древнихъ вѣковъ; потомъ объѣздить Египетъ, Африку, Индію; короче, составить для себя ясную идею о томъ, какова была и есть архитектура во всѣхъ вѣкахъ и народахъ; сравнить восточное зодчество съ западнымъ, древнее съ новымъ; зданія просвѣщенныхъ народовъ съ безобразными зданіями полупросвѣщенныхъ или дикихъ; видѣть его во всѣхъ измѣненіяхъ, производимыхъ образомъ жизни, нравами, понятіями, совершенствомъ и несовершенствомъ гражданской жизни, и потомъ возвратиться въ отечество съ богатствомъ открытій, съ обширнымъ запасомъ новыхъ идей, съ большею образованностію, съ сильнѣйшимъ желаніемъ трудиться для пользы общей. Усовершенствованіе, или, если позволено такъ выразиться, созданіе настоящей [можетъ быть, еще несуществующей] отечественной архитектуры, т. е. согласной съ нашимъ климатомъ, обычаями, образомъ жизни — есть цѣль, которую предположилъ себѣ молодой путешественникъ; и сильное желаніе, съ которымъ онъ къ ней стремится, и мужественное постоянство, съ какимъ старается побѣдить всѣ трудности, представляющіяся ему въ путешествіи, и горесть, въ которую повергаетъ его иногда несчастная мысль [къ сожалѣнію, слишкомъ часто оправдываемая обстоятельствами], что онъ не въ силахъ достигнуть своего предмета, служатъ, по моему мнѣнію, самыми несомнѣнными признаками таланта необыкновеннаго. Одно дарованіе бываетъ источникомъ такой рѣшительной, страстной привязанности къ искусству; одно дарованіе можетъ бороться съ фортуною и побѣждать ее. Человѣкъ, не имѣющій въ душѣ своей той всемогущей силы, которая влечетъ его неодолимо къ одному избранному для него натурою предмету, спокойно покоряется обстоятельствамъ; но тотъ, кто чувствуетъ въ душѣ своей сію врожденную силу, или навѣкъ остается несчастнымъ, если по волѣ непріязненнаго жребія принужденъ съ нею бороться и истощать ее безплодно; или, превозмогая всѣ обстоятельства, самъ прокладываетъ себѣ дорогу среди препятствій и затрудненій. Что жъ, если обстоятельства будутъ ему благопріятны! что жъ, если геній его можетъ развиться и дѣйствовать свободно! Сама натура велѣла путе-

шественнику нашему быть артистомъ!— Но обстоятельства ему противны и поприще дѣятельности для него закрыто! Нужда—проводникъ его въ трудномъ путешествіи! Онъ ищетъ усовершенствовать себя въ благородномъ искусствѣ, и—долженъ бояться голодной смерти! Онъ предается многимъ опасностямъ для того, чтобы со временемъ принести отечеству своему пользу, а, можетъ быть, и нѣчто прибавить ко славѣ его своими трудами— и отечество, которое никогда не лишало воздаянія достойныхъ сыновъ своихъ, объ немъ не знаетъ, оставило его безъ покрова... Но можетъ ли быть, чтобы оно пренебрегло человѣка, исполненнаго благородной привязанности къ его пользѣ и, по несчастію, забытаго фортуною? Можетъ ли быть, чтобы оно допустило угаснуть такому дарованію, которымъ со временемъ могло бы гордиться? Россія въ великодушномъ ободреніи раждающихся талантовъ и справедливомъ воздаяніи трудовъ полезныхъ, равняется со всѣми просвѣщенными народами Европы: монархъ ея требуетъ только случая благотворительствовать; самые чужеземцы гордятся его наградами!—Благодаря патріотизму нѣкоторыхъ дворянъ Слободской Украинской губерніи, молодой Алферовъ имѣлъ способы, хотя весьма ограниченные, продолжать свое путешествіе. Мы увѣрены, что многіе изъ соотечественниковъ нашихъ, русскіе въ сердцѣ и прямо привязанные ко всему, что можетъ хотя отчасти, съ какой бы то ни было стороны, способствовать возвышенію ихъ отечества, обрадуются сему случаю удовлетворить любезнѣйшей и самой благородной склонности сердца своего—благотворительности. Издатель «Вѣстника Европы» сочелъ бы за особенное счастіе быть ихъ посредникомъ; но онъ не имѣетъ никакого сношенія съ молодымъ Алферовымъ. Почтенный издатель «Русск. Вѣстника», С. Н. Глинка, готовъ принять на себя эту пріятную обязанность, которую, вѣроятно, не замедлитъ возложить на него нѣкоторые изъ благородныхъ нашихъ соотечественниковъ. — Бывшій россійскій министръ въ Константинополѣ, тайный совѣтникъ Андрей Яковлевичъ Италинской, выражается насчетъ г-на Алферова слѣдующимъ образомъ въ письмѣ, писанномъ изъ Тріеста, отъ 4 февраля 1808 къ В. Н. К.: «Спѣшу удовлетворить желанію вашему знать о поведеніи г-на Алферова, талантахъ его и о употребленіи имъ времени. По первымъ двумъ соотвѣтствуетъ онъ совершенно пріемлемому въ немъ благодѣтелями его участію, и заслуживаетъ дальнѣйшее къ себѣ ихъ благоволеніе. Относительно же употребленія имъ времени, извѣстно мнѣ, что будучи въ Аѳинахъ, занимался онъ безпрестанно усовершить таланты свои, а по засвидѣтельствованію мнѣ извѣстнаго артиста г-на Лузіери, пріобрѣлъ довольно искусства; но чѣмъ потомъ занимался по прибытіи своемъ въ Корфу и какъ проводилъ время свое, не былъ я увѣдомленъ ни отъ кого.—

III.

Извините, милостивая государыня! то чувство, которое почитали вы любовію, кажется намъ, было не иное что, какъ сильное желаніе нравиться. Послѣ печальной зимы и скучныхъ провинціальныхъ лицъ, явленіе весны и съ нею пріятнаго парижскаго лица, съ блестящими, краснорѣчивыми глазами, съ привѣтливою улыбкою, можетъ показаться очаровательнымъ. Удовольствіе, которое противъ воли находишь въ обществѣ молодаго человѣка, должно быть слишкомъ живо, когда оно непосредственно слѣдуетъ за скукою зимнихъ мѣсяцевъ, проведенныхъ въ пустомъ замкѣ, и весьма простительно принять его за настоящую любовь: привѣтствія, соединенныя съ нѣжнымъ взглядомъ и трогательною гармоніею пріятнаго голоса, дѣйствуютъ совсѣмъ иначе на сердце пятнадцатилѣтней дѣвушки, нежели шумъ холоднаго сѣвернаго вѣтра, отъ котораго стучатъ готическія окны и хлопаютъ желѣзные ставни; и мы не увидимся, если первыя пока-

жутся истинною мелодіею любви для той, которая цѣлые три мѣсяца осуждена была внимать однимъ послѣднимъ. Всѣ сіи обстоятельства легко могли обмануть любезную искательницу *меланхоліи*. Она, по совѣсти, можетъ насъ увѣрять, что испытала прямую *любовь;* столь же естественно ей удивляться, что вмѣстѣ съ любовію не чувствовала она меланхоліи; наконецъ, весьма позволительно ей утверждать, что меланхолія есть прибѣжище любви праздной, т. е. счастливой и еще постоянной. Мы, съ своей стороны, отваживаемся замѣтить, что любовь, разумѣется истинная, та, которая объемлетъ сердце и не даетъ въ немъ мѣста никакому другому чувству, и счастливая и несчастная, неразлучна съ меланхоліею, несовмѣстною, напротивъ, съ желаніемъ нравиться—сказать кокетствомъ было бы грубо; но говоря языкомъ нашихъ прародителей, которые никогда не таили правды, и основываясь на ихъ священномъ правилѣ: *Тому, кто солжетъ, да будетъ стыдно*—осмѣлимся признаться нашей остроумной сочинительницѣ, что истинную любовь ея почитаемъ истиннымъ кокетствомъ, слѣдовательно охотно увольняемъ ее отъ меланхоліи. Желаніе нравиться—возвратимся къ учтивости нашихъ современниковъ—оживляетъ, приводитъ въ волненіе, въ безпокойство, слѣдовательно не даетъ мѣста меланхоліи, тихой, ограничивающей душу тѣмъ единственнымъ чувствомъ, которымъ она полна, которое для нее дорого, отъ котораго она отдѣлиться не въ силахъ. Любовь, и счастливая и несчастная [выключаю одно несчастіе мучительной ревности], до тѣхъ поръ, пока она остается любовію, необходимо соединена съ меланхоліею. Меланхолія не есть ни горесть, ни радость: я назвалъ бы ее оттѣнкомъ веселія на сердцѣ печальнаго, оттѣнкомъ унынія на душѣ счастливца. Любовь, и счастливая и несчастная, съ той самой минуты, въ которую поселяется она въ сердцѣ, усиливается въ немъ безпрестанно, и та минута, въ которую это стремленіе прекращается, или уничтожаетъ ее на вѣки, или обращаетъ ее въ тихую, неизмѣняемую привязанность: въ обоихъ случаяхъ она теряетъ имя любви, и тогда только отдѣляется отъ нее меланхолія. Счастіе любви есть наслажденіе меланхолическое: то, что чувствуешь въ настоящую минуту, менѣе того, что будешь или что желалъ бы чувствовать въ слѣдующую: ты счастливъ, но стремишься къ большему, болѣе совершенному счастію, слѣдовательно въ самомъ своемъ упоеніи ощутителенъ для тебя какой-то недостатокъ, который вливаетъ въ душу твою тихое уныніе, придающее болѣе живости самому наслажденію; ты не находишь словъ для изображенія тайнаго состоянія души твоей, и это самое безсиліе погружаетъ тебя въ задумчивость! И когда же счастливая любовь выражалась веселіемъ? Когда не замѣняла она изобильнаго языка ораторовъ томностію меланхолическаго взгляда, задумчивымъ безмолвіемъ, чувствомъ непримѣтно разливающимся по лицу и понятнымъ для одного только взора, тихимъ звукомъ голоса, слышнымъ и отзывающимся въ одномъ только сердцѣ? Пока любовь возрастаетъ, по тѣхъ поръ она неразлучна съ надеждою: надѣяться и не довѣрять почти одно и то же, а невѣрная надежда въ самую минуту счастія соединена съ унынiемъ меланхоліи. Я говорилъ объ одной любви счастливой, т. е. раздѣляемой и не гонимой судьбою. Любовь несчастная, любовь, наполняющая душу, но разлученная съ сладкою надеждою жить для того, что намъ любезно, слишкомъ скоро умертвила бы наше бытіе, когда бы отдѣлена была отъ меланхоліи, отъ сего непонятнаго очарованія, которое придаетъ неизъяснимую прелесть самымъ мученіямъ. Невидимая цѣпь привязываетъ тебя къ твоей горести; въ ней твое бытіе; утративъ ее, ты самъ уничтоженъ, ибо все то, что прежде наполняло твою душу, вдругъ исчезаетъ... и какой любовникъ предпочтетъ мертвую пустоту сію животворному, ничѣмъ незамѣняемому терзанію своей страсти? Говоря о несча-

стіяхъ любви, я воображаю только одни препятствія жребія: несчастіе утратить то, что украшало бы нашу жизнь, что для насъ всего выше, всего святѣе, чему нѣтъ никакой замѣны, и утратить безъ надежды возврата, навѣки—такое несчастіе можетъ отвратить душу отъ привязанности къ жизни, ибо жизнь мила не собою, но тѣми привязанностями, которыми животворится наше сердце; но это самое чувство отвращенія отъ жизни можетъ имѣть нѣкоторую сладость, меланхолическую, драгоцѣнную, благо единственное; сладость, заключенную въ мысли, что ты любимъ, хотя не долженъ мечтать о соединеніи; или въ мысли, которая не даетъ тебѣ счастія, но въ то же время не даетъ и совершенно разрушиться заблужденію души твоей; въ мысли, что сердце, отнятое у тебя судьбою, еще свободно, еще спокойно, еще не отдано; невозможность владѣть ими тебя терзаетъ, но тайный голосъ тебѣ говоритъ въ то же время: перемѣнись твой жребій, и, можетъ быть, она была бы твоею! Ты призываешь смерть, ты весслишься, примѣчая, что жизнь твоя, въ которой нѣтъ уже будущаго, начинаетъ гаснуть и наконецъ угасаетъ, но разлучаясь съ нею и останавливая на ней послѣдній, меланхолическій взглядъ, ты говоришь: жизнь моя могла бы быть прелестна! Пока человѣкъ упрекаетъ одну только судьбу, по тѣхъ поръ остается ему нѣкоторая обманчивая надежда на перемѣну: и въ сихъ-то упрекахъ, и въ семъ-то обманчивомъ ожиданіи перемѣны заключено тайное меланхолическое наслажденіе, которое самую горесть дѣлаетъ для него драгоцѣнною. Но если мысль о взаимности, существующей, или только возможной, отдѣлена отъ любви,—тогда исчезаетъ и то, что въ самой горести было усладительно для сердца: ты чувствуешь одно утомительное отвращеніе отъ жизни; говоря самому себѣ: я для нее ничто, никогда бытіе мое не будетъ необходимо для ея счастія, ты ощущаешь себя слишкомъ одинокимъ, оставленнымъ; самое уваженіе къ самому себѣ нѣкоторымъ образомъ теряется: оскорбительная мысль быть ничѣмъ для того существа, въ которомъ заключается для насъ все, уничтожаетъ самихъ насъ передъ собственными нашими глазами; ты разстаешься съ жизнію безъ сожалѣнія, равнодушный, увѣренный, что въ ней ничто не можетъ уже перемѣниться, что никакія обстоятельства не дадутъ тебѣ единственнаго, незамѣняемаго счастія: любви существа любимаго. Вотъ единственный случай, въ которомъ меланхолія разлучается съ любовію и уступаетъ мѣсто унынію мрачному; во всякомъ другомъ—выключаю одно мучительное состояніе ревности—онѣ нераздѣльны. Итакъ—любезная искательница меланхоліи, говоря, что не имѣла ее вмѣстѣ съ любовію, доказываетъ намъ только то, что она—не любила.

IV.

Фенелонъ имѣлъ несчастіе пережить своего питомца (Герцога Бурбонскаго). Услышавъ о смерти его, воскликнулъ онъ въ сокрушеніи сердца: «всѣ радости мои на землѣ миновались!» и самъ очень скоро послѣдовалъ за нимъ въ могилу. Не знаю, воздвигла ли Франція памятникъ образователю этого принца, котораго царствованіе, вѣроятно, избавило бы ее отъ многихъ несчастій, постигшихъ вмѣстѣ съ нею и всю Европу. Въ нашемъ отечествѣ многіе умѣютъ удивляться добродѣтелямъ сего человѣка, истинно великаго какъ дѣятельностію для блага людей, такъ и искусствомъ изображать свои мысли и чувства языкомъ, для всѣхъ равно привлекательнымъ. Я видѣлъ въ саду И. В. Л. [*Ив. Вл. Лопухина*], находящемся верстахъ въ 30 отъ Москвы, въ подмосковномъ его селѣ Савинскомъ, скромную урну, посвященную памяти Фенелона. На ровномъ мѣстѣ, гдѣ прежде было топкое болото, явились тѣнистыя рощи, пересѣкаемыя прекрасными дорожками и орошенныя чистою, прозрачною какъ кристаллъ водою. Расположеніе сада прекрасно; лучшее въ немъ мѣсто есть

Юнонъ островъ. Вы видите большое пространство воды. Берегъ осѣненъ рощею, въ которой мелькаетъ *Руссова хижина!* На самой срединѣ озера *Юнонъ островъ*, съ пустынническою хижиною и нѣсколькими памятниками, между которыми замѣтите мраморную урну, посвященную *Фенелону*. На одной сторонѣ урны изображена госпожа Гюйонъ, другъ Фенелона, а на другой Ж. Ж. Руссо, стоящій въ размышленіи передъ бюстомъ Камбрейскаго архіепископа. Артистъ выбралъ ту самую минуту, въ которую женевскій философъ воскликнулъ: «для чего не могу быть слугою Фенелона, чтобы удостоиться быть его камердинеромъ!» Островъ осѣненъ разными деревьями: елями, липами, березами и другими; его положеніе чрезвычайно живописно: всего пріятнѣе быть на немъ во время ночи, когда сіяетъ полная луна, воды спокойны и рощи, окружающія берегъ, отражаются въ нихъ какъ въ чистомъ зеркалѣ! Это мѣсто невольно склоняетъ васъ къ какому-то унылому, пріятному размышленію.

1810.

РАДАМИСТЪ И ЗЕНОБІЯ,

трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ,

сочиненіе Кребильйона.

Переведъ съ французскаго Степанъ Висковатовъ.

Переводить стихотворца можетъ одинъ только стихотворецъ. — «Какая премудрость! воскликнетъ читатель. Конечно, хотите вы намъ сказать, что Роденъ концертъ можетъ разыгрывать одинъ только тотъ, кто умѣетъ играть на скрыпкѣ? Благодаримъ за открытіе!» — Государи мои! намъ надобно объясниться. Всякой скрыпачъ охотно согласенъ будетъ, въ удовольствіе ваше, проскрыпѣть на скрыпицѣ своей Роденъ концертъ, если вы возьмете на себя трудъ учтивымъ образомъ уговорить его на этотъ подвигъ. Но я желаю знать, будете ли вы слушать этого виртуоза съ тѣмъ восхищеніемъ, которое производила въ васъ Родева скрыпка, одушевленная его дарованіемъ? Чтобъ замѣтить для васъ Роде, надобно, если не ошибаюсь, имѣть не одни бѣглые пальцы его, но имѣть и его душу. Переводя стихотворца, весьма полезно присоединить къ основательному понятію о риѳмахъ богатыхъ и бѣдныхъ, о цезурѣ, о грамматикѣ, о томъ языкѣ, съ котораго переводишь и еще о томъ, на которой переводишь, и дарованіе стихотворное — и чѣмъ оно ближе къ дарованію образца, тѣмъ лучше для подражателя; но я позволяю себѣ думать, что оно непремѣнно должно быть съ нимъ одинаково. — «А что называете вы дарованіемъ стихотворнымъ?» — Способность воображать и чувствовать сильно, соединенную съ способностію находить въ языкѣ своемъ такія выраженія, которыя соотвѣтствовали бы тому, что чувствуешь и воображаешь! Напримѣръ: вамъ угодно обогатить русской языкъ превосходнымъ стихотвореніемъ иностраннымъ — трагедіею, баснею, одою, поэмою. Прежде нежели вы рѣшитесь на ужасное и невозвратное чернилопролитіе — успокойтесь передъ самимъ собою чистосердечно въ благодѣтельномъ увѣреніи, что богъ парнасскій васъ слышитъ, что предъ очами его никакая стихотворная совѣсть закрыта быть не можетъ; спросите у себя: чувствую ли я въ душѣ своей тотъ пламень, которымъ наполнена душа моего поэта, видимая въ его сочиненіи? Могу ли съ необыкновенною живостію, со всѣхъ сторонъ, со всѣми оттѣнками, замѣтными для одного только стихотворнаго взора, представлять себѣ тотъ предметъ, который въ подлинникѣ моемъ изображенъ съ такимъ превосходствомъ? Чувствуешь, можешь, скажетъ вамъ совѣсть. Спросите въ другой разъ, въ третій — она повторитъ отвѣтъ свой. Тогда прибавьте еще нѣсколько вопросовъ, менѣе важныхъ — однако важныхъ: знаю ли я грамматику? знакомъ ли съ хореями, ямбами и даже анапестами? имѣю ли разборчивое ухо, легко оскорбляемое скрыномъ и визгомъ

проклятыхъ отъ Аполлона словъ? врагъ ли я бомбаста? противна ли мнѣ галиматья, и прочее и прочее. И если ваша совѣсть опять не усумнится сказать, что вы съ одной стороны имѣете всѣ вышеозначенныя добродѣтели грамматическія, синтаксическія и просодическія, а съ другой совершенно чисты отъ всякаго поползновенія на галиматью, бомбастъ и прочіе смертные грѣхи стихотворцевъ—то вамъ остается только очинить перо, не пожалѣть чернилъ, и я увѣряю васъ, что всѣ патріоты, люди со вкусомъ, порадуются на вашего новорожденнаго младенца, и вамъ отъ всей души пожелаютъ прилежанія и плодовитости. Скажу вамъ, если вы не знаете—но вы безъ сомнѣнія уже это знаете—что переводчикъ стихотворца есть въ нѣкоторомъ смыслѣ самъ творецъ оригинальный. Конечно, первая мысль, на которой основано зданіе стихотворное, и планъ этого зданія принадлежатъ не ему — и надобно признаться, что планъ великое, едва ли не главное дѣло, особливо въ эпической поэмѣ, трагедіи, комедіи, ибо отъ него зависитъ дѣйствіе цѣлаго—но, уступивъ это почетное преимущество оригинальному автору, переводчикъ остается творцомъ выраженія, ибо для выраженія имѣетъ онъ уже собственные матеріалы, которыми пользоваться долженъ самъ, безъ всякаго руководства и безъ всякаго пособія посторонняго.—«А выраженія автора оригинальнаго?» — Ихъ не найдетъ онъ въ собственномъ своемъ языкѣ; ихъ долженъ онъ сотворить. А сотворить ихъ можетъ только тогда, когда, наполнившись идеаломъ, представляющимся ему въ твореніи переводимаго имъ поэта, преобразитъ его, такъ сказать, въ созданіе собственнаго воображенія; когда, руководствуемый авторомъ оригинальнымъ, повторитъ съ начала до конца работу его генія—но сія способность дѣйствовать одинаково съ творческимъ геніемъ не есть ли сама по себѣ уже творческая способность? Чтобъ перевесть искусно Лафонтеневу басню, необходимо надобно имѣть и собственное воображеніе и собственное чувство одинакія, или почти одинакія съ Лафонтеневыми. Плѣнитъ ли меня переводъ Горація посланія, если переводчикъ не будетъ одаренъ любезнымъ воображеніемъ римскаго поэта, одушевляющимъ самыя обыкновенныя мысли его, если не будетъ ему знакома та привлекательная философія, а въ сердцѣ его не будетъ ни той меланхолической нѣжности, ни того глубокаго чувства натуры, которыми столь часто приводитъ насъ въ восхищеніе Горацій! Но отъ посланія и басни—какой переходъ къ трагедіи! Переводчикъ, обязанный прежде всего понимать своего автора, тогда только можетъ понять его совершенно, когда человѣческая натура, служившая образцомъ для трагика, будетъ и ему близко знакома, когда онъ въ состояніи будетъ сличить съ подлинникомъ списокъ. Онъ долженъ говорить языкомъ страстей; слѣдовательно и самые законы страстей должны быть ему извѣстны. Къ изображенію страстей трагическихъ онъ долженъ быть приготовленъ разематріваніемъ страстей естественныхъ—наука сія почти такъ же нужна для него, какъ и синтаксисъ и просодія! Въ противномъ случаѣ изображаемые имъ герои, не смотря на пособіе оригинала, при всемъ богатствѣ риѳмъ, при самомъ усердномъ наблюденіи цезуры и знаковъ препинанія, будутъ говорить—безсмыслицу! Не думаю, чтобы это утѣшно было для слушателей.

Открываю русскій переводъ *Радамиста и Зенобіи*. Если вы не варваръ, если родители ваши не позабыли научить васъ языку Депрео и Расина, то вы должны знать, что эта трагедія, сочиненная покойнымъ Кребильйономъ есть лучшее произведеніе сего трагика и одна изъ самыхъ лучшихъ между трагедіями французовъ. Мы взглянемъ мимоходомъ на подлинникъ, дабы получить понятіе о томъ неполинскомъ подвигѣ, на который отважился господинъ переводчикъ.

Ему надлежало изобразить характеръ Радамиста, одно изъ тѣхъ необычайныхъ созданій природы, въ которомъ все

поражаетъ, все сильно и все ужасно. Каждое желаніе его есть страсть, и каждая страсть есть буря, и двѣ самыя разрушительныя въ немъ господствуютъ: любовь—какая жъ любовь? страданіе распаленной души, неутоляемое никакою надеждою. Зенобіи для него уже нѣтъ! Въ ту самую минуту, когда она представлялась ему существомъ восхитительнымъ, когда говорила ему нѣжнѣйшія слова любви, онъ умертвилъ ее въ изступленіи ревности; но вотъ ужасный и непзъяснимый законъ великой страсти: чувство невозвратимой утраты навѣки привязало его къ тому незабвенному благу, которое для него погибло; угрызеніе совѣсти, воспоминаніе, ненависть къ жизни, все было для него любовію; онъ обожалъ безмолвную тѣнь; пылалъ къ безчувственному праху; и съ этою страстію соединялась въ душѣ его другая, ею произведенная, слѣдственно непобѣдимая — ненависть къ виновнику преступленій его и бѣдствій Но этотъ виновникъ—его отецъ! Напрасно вопіетъ иногда въ сердцѣ его голосъ природы. Надежда отмстить замѣнила для него надежду насладиться любовію—два бога владычествуютъ его душою, Зенобія и мщеніе. И эта Зенобія жива: чудесная судьба привела ее ко двору Фаразмана, Радамистова отца. Вмѣстѣ съ другими увѣрена она въ погибели своего супруга; уже въ сердце ея начинаетъ вкрадываться нѣжная склонность къ брату его, великодушному, благородному Арзаму; но Фаразманъ, жестокій и ужасный, плѣнился ея красотою; онъ предлагалъ ей руку — и въ эту минуту является при дворѣ его Радамистъ, влекомый жаждою мщенія, сокрытый подъ видомъ Иеронова посла, никому неизвѣстный, ибо и самъ Фаразманъ отлучилъ его отъ себя еще младенцемъ.

Надлежало имѣть дарованія великаго стихотворца, дабы создать Радамистовъ характеръ, и потомъ изобразить его съ соотвѣтствующею ему силою. Почти такого же дарованія требовалось и отъ переводчика, дабы въ языкѣ своемъ найти выраженія, приличныя тѣмъ ужаснымъ страстямъ, которыя бунтуютъ въ душѣ Радамиста; такія страсти суть необычайные метеоры нравственнаго міра, необычайные, однако основанные на обыкновенныхъ законахъ его и ими объясняемые. Но чтобы ихъ постигнуть и потомъ объяснить, надлежитъ имѣть воображеніе быстрое и взоръ дальновидный. И Кребильйонъ имѣлъ ихъ—а переводчикъ его? Увидимъ.

Гіеронъ, посланникъ Арменіи, встрѣчается съ Радамистомъ (дѣйст. II, явл. I) — онъ узнаетъ его, ибо Радамистъ, усыновленный Митридатомъ, царемъ Арменіи, отцомъ Зенобіи, съ самаго младенчества жилъ при дворѣ сего государя. Какъ умертвилъ онъ Митридата, и какъ наконецъ очутился посланникомъ Перона при дворѣ Фаразмана, о томъ узнаете изъ самой трагедіи.—Ты ли это, Радамистъ? спрашиваетъ Гіеронъ. Тебя почитали мертвымъ, но ты живъ! Какая счастливая судьба спасла тебя отъ погибели?

И вотъ отвѣтъ Кребильйонова Радамиста:

Hiéron, plût aux dieux, que la main ennemie,
Qui me ravit le sceptre, eût terminé ma vie!
Mais le ciel m'a laissé, pour prix de ma fureur,
Des jours qu'il a tissu de tristesse et d'horreur.
Loin de faire éclater ton zèle ni ta joie,
Pour un roi malheureux que le sort te renvoie,
Ne me regarde plus que comme un furieux,
Trop digne du courroux des hommes et des dieux,
Qu'a proscrit dés longtemps la vengeance céleste;
De crimes, de remords assemblage funeste;
Indigne de la vie, et de ton amitié,
Objet digne d'horreur, mais digne de pitié;
Traître envers la nature, envers l'amour perfide,
Usurpateur, ingrat, parjure, parricide –
Sans les remords affreux, qui déchirent mon coeur,
Hiéron, j'oublierais qu'il est un ciel vengeur.

Вотъ отвѣтъ русскаго Радамиста:

О! если бы враги, похитя мой вѣнецъ,
Могли бъ и смерть мнѣ дать, мученіямъ конецъ?

Но, Гіеронъ, судьбы, карая злодѣянье,
Продлили жизнь мою — въ позоръ мнѣ, въ наказанье!
Злосчастнаго царя теперь ты зря въ живыхъ,
Не радуйся, восплачь о бѣдствіяхъ моихъ.
Узри во мнѣ предметъ, достойный грозна мщенья
И смертныхъ и боговъ. — Соборъ зри преступленья,
Раскаянія, мукъ... ужаснѣйшій соборъ!
Не смѣю обращать ко небесамъ мой взоръ.
Преступникъ я любви, злодѣй моей породы;
Убійца—хищникъ я—страшилище природы!
И если бъ мукѣ мнѣ престали духъ томить,
Что боги мстятъ за зло! — и то бъ я могъ забыть.

Одна эта статья можетъ увѣрить васъ, что переводчикъ совсѣмъ не вошелъ въ Радамистовъ характеръ. Судите сами: русскій Радамистъ начинаетъ восклицаніемъ:

О! если бы враги, и проч.

Не думаю, чтобы такая живость была у мѣста въ началѣ. Свирѣпое отчаяніе Радамиста, глубокое, но не живое чувство есть нѣкоторымъ образомъ спокойствіе; онъ долженъ выдти изъ него не вдругъ— и первымъ его словамъ надлежало бы соотвѣтствовать такому ужасному состоянію духа. Перечитайте въ оригиналѣ отъ стиха:

Hiéron, plût aux dieux, que la main ennemie—

до стиха:

Ne me regarde plus que comme un furieux

въ нихъ не найдете вы той быстроты, которая прилична сильному движенію сердца; они составляютъ одинъ періодъ, котораго члены всѣ очень тѣсно между собою связаны; хотя вы и увидите, что стихъ:

Loin de faire éclater ton zèle, ni ta joie

отдѣленъ отъ предыдущаго — но онъ соединяется съ нимъ умственною связью. И читая эти стихи, не чувствуете ли вы, что сильное волненіе сокрыто подъ тишиною обманчивою; это волненіе совершенно обнаруживается на словѣ: furieux, которое какъ будто даетъ свободу стѣсненной душѣ Радамиста; и слѣдующіе за оными стихи всѣ до одного быстры, каждый изъ нихъ отдѣльный; предыдущій усиливается послѣдующимъ, и быстрота сія до самаго конца возрастаетъ; сначала каждое чувство изображается стихомъ полнымъ, потомъ стѣсняются они въ полустишія, наконецъ, что слово, то чувство:

Usurpateur, ingrat, parjure, parricide —

И на послѣднемъ Радамистъ останавливается, ибо онъ не можетъ идти далѣе; онъ прибавляетъ съ большимъ спокойствіемъ:

Sans les remords affreux qui déchirent mon coeur,
Hiéron, j'oublirais qu'il est un ciel vengeur.

Таково искусство великаго трагика, полнаго изображаемою имъ страстію; онъ выражаетъ ее не одними словами, но вмѣстѣ и расположеніемъ словъ. Посмотримъ теперь на искусство нашего переводчика.

Напрасно въ стихахъ его будете вы искать сего механизма, столь много соотвѣтствующаго теченію страсти; быстрота оригинала совершенно исчезла въ переводѣ:

Но, Гіеронъ, судьбы, карая злодѣянье,
Продлили жизнь мою—въ позоръ мнѣ, въ наказанье!

Можно ли слабѣе перевести два стиха, необыкновенно сильные:

Mais le ciel m'a laissé, pour prix de ma fureur
Des jours, qu'il a tissu de tristesse et d'horreur.

Небо оставило ему жизнь въ награду за его бѣшенство, а не продлило ее! Не забудьте, что передъ вами говоритъ Радамистъ, ненавидящій, презирающій жизнь свою. Это презрѣніе приписываетъ онъ и самимъ богамъ. Они оставили ему жизнь—слѣдовательно пренебрегли ее; продлить ее, было бы обратить на нее вниманіе. Далѣе, что значатъ слова: въ позоръ мнѣ, въ наказанье, послѣ того, когда уже сказано выше: карая злодѣянье? и желаю знать, какимъ волшебствомъ очутился въ этомъ мѣстѣ позоръ? Для Радамиста нѣтъ позора; всѣ

его несчастія въ немъ самомъ—отчаянный независимый отъ мнѣнія. Tristesse et horreur, горесть и ужасъ—вотъ его мучители. И какъ прекрасно въ двухъ словахъ соединилъ Кребильйонъ всѣ разнообразныя муки своего Радамиста. Горесть—въ душѣ его пылаетъ страсть безнадежная, воспоминаніе о благѣ погибшемъ безпрестанно его преслѣдуетъ, желаніе распаляется въ немъ безнадежностію. Ужасъ—онъ убійца Зенобіи! и въ сердцѣ его свирѣпствуетъ неодолимая жажда мщенія, противъ котораго напрасно вооружается голосъ природы! Слѣдующіе два стиха:

Злосчастнаго царя теперь ты зря въ живыхъ,
Не радуйся, восплачь о бѣдствіяхъ моихъ—

имѣютъ особенное свое достоинство: они забавны, и Гіерону трудненько было бы послѣ такихъ двухъ стишковъ восплакать.

Не смѣю обращать ко небесамъ мой взоръ!

Истинный Радамистъ, то есть Кребильйоновъ, этого не говоритъ, и говорить не можетъ; одинъ тотъ не смѣетъ взирать на небо, кому ужасны мстительные боги,—казнь была бы для Радамиста благомъ. Но въ предыдущемъ стихѣ читаете вы ужаснѣйшій соборъ, и тотчасъ догадываетесь, что русской Радамистъ для собора не смѣетъ устремлять на небо взора! Это дѣло другое; мы позволяемъ себѣ однако здѣсь замѣтить, что Радамисту, имѣющему такія сильныя страсти, едва ли свойственно быть покорнымъ слугою риѳмы. Но, увы! прочитавъ слѣдующіе два стиха, мы совершенно увѣримся, что грозная риѳма повелѣваетъ имъ съ самовластіемъ восточнаго деспота; что эта соперница Зенобіи можетъ заставить его иногда говорить и безмыслицу:

Преступникъ я любви, злодѣй моей породы;
Убійца—хищникъ я—страшилище природы!

Немилосердая! по крайней мѣрѣ въ первыхъ двухъ стихахъ Радамистъ, угождая прихотямъ ея, страшился глядѣть на небо — это еще сносно. Теперь же, для того, чтобы имѣть удовольствіе преобразить его въ какого-то непзъяснимаго злодѣя своей породы, она велитъ ему безъ стыда называть себя пугаломъ, страшилищемъ природы; а ему надлежало бы просто быть клятвопреступникомъ, неблагодарнымъ, ибо таковъ онъ въ оригиналѣ и въ натурѣ:

Usurpateur, ingrat, parjure, parricide.

Таковъ русской Радамистъ при первомъ выходѣ на театръ, и въ томъ явленіи, въ которомъ обнаруживаетъ онъ весь чрезвычайный характеръ свой и всю ужасную свою участь. Оставивъ его съ Гіерономъ, замѣтимъ, что стихи, произносимые Фаразманомъ въ слѣдующей сценѣ, разительные своею силою:

Est-ce la guerre enfin que Neron me déclare?
Qu'il ne s'y trompe pas: la pompe de ces lieux,
Vous le voyez assez, n'éblouit point les yeux.
Jusques aux courtisans qui me rendent hommage,
Mon palais, tout ici n'a qu'un faste sauvage.
La nature, marâtre en ces affreux climats,
Ne produit, au lieu d'or, que du fer, des soldats.
Son sein tout hérissé n'offre aux desirs de l'homme
Rien qui puisse tenter l'avarice de Rome—

переведены такъ:

Иль наконецъ Неронъ объявитъ мнѣ войну!
Пускай не льстятъ себя — въ странахъ моей державы,
Нѣтъ блесковъ пышности, нѣтъ роскоши отравы,
Которая всегда глаза римлянъ слѣпитъ;
Мой дворъ, мои вожди имѣютъ дикій видъ.
Не мать природа намъ — она насъ не ласкаетъ!
Намъ злата не даритъ... но воиновъ раждаетъ.
Изъ хладныхъ нѣдръ своихъ желѣзо намъ дастъ.
Здѣсь алчности римлянъ ни малой пищи нѣтъ.

И русскіе стихи, можетъ быть, сами по себѣ не дурны; но что же они въ сравненіи съ оригиналомъ? Я могу ошибаться— но эти девять стиховъ доказываютъ мнѣ

что переводчикъ не весьма силенъ въ живописи стихотворной. Какъ могъ бы онъ въ противномъ случаѣ превосходные стихи Кребильйона:

La nature, marâtre en ces affreux climats,
Ne produit au lieu d'or, que du fer, des soldats;
Son sein tout hérissé n'offre aux desirs de l'homme
Rien qui puisse tenter l'avarice de Rome—

въ которыхъ и самые звуки представляютъ воображенію нашему какую-то грозную, дикую природу, перевести слѣдующими слабыми, неживописными стихами:

Не мать природа намъ—она насъ не ласкаетъ!
Намъ злата не даритъ... но воиновъ раждаетъ.
Изъ хладныхъ нѣдръ своихъ желѣзо намъ даетъ.
Здѣсь алчности римлянъ ни малой пищи нѣтъ.

Природу весьма позволено и въ стихахъ и въ прозѣ называть матерью; но представлять ее въ видѣ матери, которая ласкаетъ или не ласкаетъ свое дѣтище, не будетъ ли уже близко къ карикатурѣ! Требовалось перевести живописный стихъ:

La nature, marâtre en ces affreux climats—

если бы переводчикъ сказалъ:

Природа мачиха въ ужасной сей странѣ—

онъ перевелъ бы ближе, но также бы неудачно. Дѣло не въ томъ, чтобы каждое отдѣльное слово оригинала было изображено такимъ же отдѣльнымъ и тоже значущимъ словомъ въ переводѣ—marâtre мачиха, affreux ужасный: всѣ эти слова, съ нѣкоторымъ терпѣніемъ, весьма удачно найдешь въ лексиконѣ—но въ томъ, чтобы стихъ переведенный такое жъ производилъ на душѣ читателя впечатлѣніе въ цѣломъ, какъ и стихъ оригинальный; чтобы, напримѣръ, слова: marâtre, affreux, удивительно сильныя во французскомъ, были если не переведены, то непремѣнно замѣнены другими, имѣющими соотвѣтственную имъ силу въ русскомъ—но такихъ словъ надобно искать не въ лексиконѣ, а въ воображеніи стихотворномъ, и вотъ одинъ изъ безчисленныхъ случаевъ, въ которыхъ переводчикъ необходимо долженъ быть самъ творцомъ оригинальнымъ.

Послѣднее замѣчаніе. Фаразманъ, не зная, кто Радамистъ, умертвилъ его собственною своею рукою. Умирающаго Радамиста приносятъ въ чертоги царя. За чѣмъ идешь сюда? восклицаетъ Фаразманъ, который, при всей жестокости характера своего, чувствуетъ какое-то непонятное для него сожалѣніе къ этой жертвѣ. Хочу умереть въ твоемъ присутствіи, отвѣчаетъ Радамистъ Кребильйоновъ:

...je viens expirer à vos yeux.

Слова сіи чрезвычайно трогательны. Радамистъ, котораго непріязненная судьба ввергнула въ страшныя преступленія, исторгнувши изъ границъ сильныя страсти его, является здѣсь такимъ, каковъ онъ созданъ природою—чувствительнымъ, способнымъ любить, и даже нѣжнымъ. Умирая, онъ хочетъ увидѣть въ убійцѣ своемъ отца; онъ хочетъ вкусить послѣднее наслажденіе любви, простивъ жестокому истребителю своего счастія. Кребильйонъ намѣренъ былъ сдѣлать въ нашихъ глазахъ любезнымъ того Радамиста, который за минуту ужасалъ насъ своимъ характеромъ, и ему удалось; а переводчикъ? Русскій Фаразманъ восклицаетъ:

О лютости моей злосчастнѣйшая жертва!
За чѣмъ ведутъ тебя? Что мнишь найти ты здѣсь?..

Радамистъ.

Смерть!
Хочу, чтобы ты могъ мою кончину зрѣть!

Новая и чрезвычайно обидная несправедливость рифмы! Она принудила переводчика стромоздить Фаразманову послѣдній стихъ изъ шести стопъ съ половиною, и за этотъ трудъ заплатила ему очень скупо убогимъ словцомъ *зрѣть*, которое совсѣмъ не можетъ быть рифмою къ *смерть*. Достойное возмездіе переводчику за собственную несправедливость его [къ] Радамисту!

Что мнишь найти ты здѣсь?—Смерть!

Но онъ уже ее нашелъ — онъ умираетъ!

Хочу, чтобы ты могъ мою кончину зрѣть!

и слѣдовательно мучиться, видя кончину твоего сына. Такое ли чувство въ истинномъ Радамистѣ? И эта послѣдняя черта не служитъ ли новымъ доказательствомъ, что переводчикъ совсѣмъ не вошелъ въ характеръ своего героя, и что онъ слѣдовательно не исполнилъ одного изъ главныхъ условій переводчика-трагика.

Но время кончить. Скажемъ, что въ этомъ переводѣ есть и нѣсколько сильныхъ стиховъ; но ихъ число весьма невелико. Замѣтимъ одинъ самый лучшій. Радамистъ, описывая Гіерону любовь свою къ мертвой Зенобіи, говоритъ:

Ко умноженью мукъ злосчастная любовь,
Снѣдая сердце мнѣ, мою волнуя кровь,
Мнѣ невозвратную потерю представляла —
Ко праху хладному душа моя пылала!

Послѣдній стихъ удивительно счастливъ и выразителенъ; и не смотря на этотъ прекрасный стихъ, мы должны признаться, что Кребильйоновъ Радамистъ ожидаетъ еще искуснаго переводчика.

1811.

ЭЛЕКТРА И ОРЕСТЪ.

ТРАГЕДІЯ ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ, СОЧИНЕНІЕ АЛЕКСАНДРА ГРУЗИНЦОВА.

«Напечатавъ новую сію трагедію, взятую изъ греческаго театра, я ласкаю себя надеждою, что она принята будетъ столь же благосклонно любителями россійскаго слова, сколь одобряема была зрителями. Смѣло могу сказать, что изданіемъ трагедіи сей я приношу пользу россійской словесности: тѣ изъ соотечественниковъ моихъ, которые, не находясь въ здѣшней столицѣ *), не могли видѣть ее на театрѣ, или тѣ, которымъ, по незнанію иностранныхъ языковъ, красоты греческихъ драматическихъ сочиненій неизвѣстны, возблагодарятъ конечно не разъ за изданіе Электры и Ореста, ибо сія есть первая совершенно греческая трагедія, появившаяся на россійскомъ театрѣ. О красотахъ оной не для чего говорить, всякой изъ моихъ читателей имѣетъ ее предъ глазами; довольно и того сказать, что Софоклъ, лучшій изъ греческихъ трагиковъ, славился и понынѣ извѣстенъ еще Эдиномъ и Электрою.

«Изъ числа сочинителей, подражавшихъ Софоклу, Александръ Николаевичъ Грузинцовъ неоспоримо болѣе всѣхъ почувствовалъ красоты греческаго стихотворца, и твореніе его весьма подходитъ къ трагедіи Софокловой; въ разсужденіи расположенія по справедливости должно назвать россійскую Электру превосходной. Пожалѣемъ только, что нашъ стихотворецъ не сохранилъ перваго явленія Софокловой трагедіи, содержащаго въ себѣ одно изъ лучшихъ трагическихъ изложеній, и конечно черезъ то нанесъ онъ нѣкоторый вредъ своему сочиненію; но похвалимъ напротивъ того нашего трагика за то, что переимѣнилъ онъ въ своей трагедіи правоученіе, находящееся въ греческой, противное и правамъ нашимъ и закону нашему: въ ней злобная царица тщеславится своими преступленіями, Орестъ убиваетъ хладнокровно Клитемнестру и дочь поощряетъ брата своего къ умерщвленію матери. Подивимся еще болѣе свойствамъ, даннымъ аргосской царицѣ въ россійской трагедіи: до г. Грузинцова никто не умѣлъ обогатить лица Клитемнестры, женщины толико преступной, столь благородными чувствами.

«Къ крайнему сожалѣнію моему, за недостаткомъ времени, не могу сдѣлать я подробнаго разсмотрѣнія трагедіи Александра Николаевича Грузинцова, въ которой при маловажныхъ погрѣшностяхъ въ разсужденіи стихотворенія, находятся неисчетныя красоты».

Такъ говоритъ издатель новой трагедіи *Электра и Орестъ*, которой критическимъ разборомъ желаемъ занять чита-

*) «Трагедія представлена была въ первый разъ въ С.-Петербургѣ. И.» *Примѣч. къ тексту.*

телей «Вѣстника». И этотъ неизвѣстный издатель конечно заслуживаетъ нашу благодарность: отъ самого сочинителя мы никогда не узнали бы, что его Электра «есть первая совершенно греческая трагедія, появившаяся на россійскомъ театрѣ»; что «онъ неоспоримо болѣе всѣхъ почувствовалъ красоты греческаго стихотворца»; что «въ разсужденіи расположенія по справедливости должно назвать россійскую Электру превосходною», и что «никто прежде г. Грузинцова не умѣлъ обогатить лица Клитемнестры, женщины толико преступной, столь благородными чувствами.» Такой языкъ, не свойственный скромности автора, приличенъ нѣжности его друга; но дружба, и самая нѣжная, никогда не избавляетъ насъ отъ справедливости и безпристрастія. Посмотримъ же, можетъ ли нѣжный другъ Александра Николаевича Грузинцова быть названъ и безпристрастнымъ и справедливымъ?

«Электра и Орестъ есть первая совершенно греческая трагедія, появившаяся на россійскомъ театрѣ?» Просимъ господина издателя объяснить намъ, что разумѣетъ онъ подъ словомъ: совершенно греческая трагедія? По формѣ своей русская «Электра» принадлежитъ неоспоримо къ трагедіямъ новымъ; а потому, что содержаніе ея почерпнуто изъ трагедій Эсхила, Софокла и Эврипида, не можетъ она быть у насъ признана первою, совершенно греческою, ибо мы уже видѣли на русскомъ театрѣ двѣ трагедіи, заимствованныя отъ грековъ, *Эдипа въ Аѳинахъ* и *Поликсену;* и первая, о которой имѣемъ право судить рѣшительно, потому что она уже напечатана, со многихъ сторонъ кажется намъ произведеніемъ прекраснымъ, означающимъ истинное дарованіе трагика. Первое доказательство, что дружба неизвѣстнаго издателя отступила немного отъ безпристрастія и справедливости!

«Въ разсужденіи расположенія по справедливости должно назвать русскую Электру превосходной... До г. Грузинцова никто не умѣлъ обогатить лица Клитемнестры благородными чувствами». Увидимъ.

Трагику, при выборѣ содержанія драмы, предоставляются двѣ дороги: онъ можетъ или самъ изобрѣсти свою басню, расположить ее и обработать, руководствуясь однимъ собственнымъ геніемъ; или послѣдовать за другими, то есть, обработать такую басню, надъ которою уже многіе прежде его трудились. Въ первомъ случаѣ онъ совершенно свободенъ; онъ самъ находитъ тѣ способы, которыми можетъ произвести трагическое дѣйствіе, и пользуется съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ по мѣрѣ своего дарованія. Въ послѣднемъ случаѣ, имѣя передъ глазами уже готовый образецъ, онъ видитъ все то, что прежде его сдѣлано было другимъ, и можетъ судить, умѣлъ ли предшественникъ его съ надлежащимъ искусствомъ употребить въ пользу свою тѣ средства, которыя представлялись ему въ его содержаніи: онъ можетъ присвоить себѣ его красоты и остеречь себя отъ его погрѣшностей. Главнѣйшая обязанность его состоитъ въ томъ, чтобы матеріалы, прежде его обработанные, болѣе усовершенствовать, или по крайней мѣрѣ не испортить. При выборѣ же новыхъ способовъ необходимо требуется, чтобы сіи способы, имъ найденные, были не только новые, но и лучшіе; если жъ напротивъ онъ не умѣлъ воспользоваться пособіями, которыя предлагали ему его предшественники—обезобразилъ ихъ красоты, замѣнилъ ихъ средства собственными, менѣе удачными, и перемѣнивъ ихъ порядокъ, единственно для того, чтобы не могли назвать его рабскимъ подражателемъ, сдѣлалъ теченіе драмы своей болѣе смутнымъ, то это будетъ неоспоримымъ доказательствомъ, что онъ имѣетъ весьма посредственное дарованіе трагика, и что онъ напрасно трудилъ твореніемъ своимъ Мельпомену.

Содержаніе Электры принадлежитъ къ самымъ трагическимъ, и представляетъ

обширное поле дарованіямъ стихотворца. Оно обработано было превосходнѣйшими трагиками древности и временъ новѣйшихъ: Эсхиломъ, Софокломъ, Эврипидомъ, Кребильйономъ, Вольтеромъ, Альфіери и нѣкоторыми другими. Слѣдовательно новому автору Электры въ твореніяхъ предшественниковъ его представлялись великія пособія; оставалось ими воспользоваться.

Эсхилъ, первый образователь трагедіи, принявшій, такъ сказать, ее изъ колыбели, нашелъ въ содержаніи Электры одно только то, что сильно дѣйствуетъ на воображеніе: доказательство, что и самое искусство его было еще во младенчествѣ, то есть, что оно еще далеко было отъ истинной цѣли своей—трогать и ужасать разительнымъ изображеніемъ страстей человѣческихъ. Въ Эсхиловыхъ *Хосфорахъ* мы видимъ дѣтей, убивающихъ мать въ отмщеніе за отца, по грозному опредѣленію неизбѣжнаго рока—ужасное *происшествіе* со всѣми ужасными его обстоятельствами! Электра, посланная Клитемнестрою съ дарами на гробъ Агамемноновъ, дабы умилостивить его раздраженную тѣнь, и вмѣсто того у самаго гроба сего призывающая мщеніе на главу своей матери; Орестъ, узнанный Электрою, колеблющійся между желаніемъ отмстить и чувствомъ природы, и наконецъ уступившій силѣ небесъ и Электрѣ, клянущейся быть убійцею матери; убійство Клитемнестры, совершенное съ хладнокровіемъ, приводящимъ въ трепетъ; и наконецъ изступленіе Ореста, окруженнаго Эвменидами — все это производитъ въ зрителѣ ужасъ, но только одинъ ужасъ, не смѣшанный ни съ какимъ посторонимъ благороднѣйшимъ ощущеніемъ. Софоклъ, знакомый уже съ истинною цѣлію своего искусства, основалъ все дѣйствіе трагедіи своей на томъ высокомъ характерѣ, который изобразилъ онъ въ лицѣ Электры: убійство Эгиста и Клитемнестры можно почесть одною только необходимою принадлежностію Софокловой драмы: душа ея одна Электра, твердая, пылающая мщеніемъ, окруженная несчастіями, величественная въ горестномъ униженіи, и главное намѣреніе стихотворца состоитъ единственно въ томъ, чтобы представить этотъ великой характеръ въ различныхъ положеніяхъ, заставляющихъ различнымъ образомъ его раскрываться. Сіи-то разнообразные виды одного и того же характера составляютъ всю прелесть трагедіи Софокловой; ибо съ той минуты, въ которую зритель, оставивъ Электру, принужденъ обратить вниманіе свое на главное *происшествіе*—на убійство Эгиста и Клитемнестры—прелесть сія почти исчезаетъ, и слабое участіе любопытства заступаетъ мѣсто сильнѣйшаго, которое производила въ насъ высокимъ характеромъ своимъ Электра. Эврипидъ и Кребильйонъ совершенно обезобразили этотъ характеръ; первый отдалилъ вниманіе зрителя, устремивши оное на обстоятельства посторонія, почти не принадлежащія къ дѣйствію главному; послѣдній, давши Электрѣ сей неприличную страсть, ослабилъ и самую ту, которая одна была ей прилична—ошибки сіи показываютъ намъ, что *новое* не всегда еще можетъ быть *лучшимъ*. И Вольтеръ въ своемъ *Орестѣ*—не думая перемѣнять то, что было уже превосходно, то есть, сохранивъ характеръ Электры во всей его силѣ и простотѣ—старался усовершенствовать тѣ только части избраннаго имъ предмета, которыя нѣсколько пренебрежены были Софокломъ. Онъ обратилъ вниманіе на Клитемнестру и Эгиста. Клитемнестра Софоклова является на театрѣ для одной Электры; закоренѣлость ея въ преступленіи дѣлаетъ ее почти отвратительною для зрителя—Вольтеръ, поселивши въ душѣ своей Клитемнестры муку раскаянія, сдѣлалъ и ее лицомъ привлекательнымъ: его Электра поражаетъ необыкновенною силою характера, а Клитемнестра возбуждаетъ въ зрителѣ невольное состраданіе: сіи разнообразныя чувства [если они только не уничтожаются одно другимъ] могутъ почесться душою трагедіи.

Эгистъ Софокловъ, ничтожное лицо, является только для того, чтобы умереть отъ руки Ореста; Эгистъ Вольтеровъ есть одна изъ главнѣйшихъ пружинъ трагедіи: давши ему характеръ подозрительнаго, дѣятельнаго и жестокаго тирана, стихотворецъ усилилъ и самое участіе любопытства, которое въ Софокловой Электрѣ весьма слабо, ибо никакая опасность не угрожаетъ Оресту и никакое препятствіе не возбраняетъ ему умертвить Эгиста. Альфіери также представилъ Клитемнестру, мучимую раскаяніемъ; но онъ не умѣлъ, кажется, сохранить въ изображеніи этого чувства надлежащей средины: сожалѣніе, производимое его Клитемнестрою, соединено съ презрѣніемъ, и первое почти уничтожается послѣднимъ. За то онъ лучше всѣхъ предшественниковъ своихъ изобразилъ Ореста; онъ далъ ему то свирѣпое бѣшенство, ту сильную жажду мщенія, которыя составляютъ отличительную черту его характера, и съ этой одной стороны онъ превосходитъ Вольтера, которому уступаетъ во всемъ другомъ, и въ ходѣ драмы и въ изображеніи важныхъ характеровъ Электры, Эгиста и Клитемнестры. Наконецъ изъ рукъ Эсхила, Софокла, Эврипида, Кребильйона, Вольтера и Альфіери Электра перешла въ руки А. Н. Грузинцова. Неизвѣстный издатель его трагедіи хочетъ, если не ошибаемся, заставить насъ думать, что А. Н. болѣе подражалъ Софоклу; но мы, сличивши его Электру со всѣми трагедіями такого же содержанія, должны были увѣриться, что онъ вообще слѣдовалъ Вольтеру, изъ котораго переводилъ цѣлыя явленія, перемѣнивъ однако въ нѣкоторыхъ частяхъ его ходъ. Далѣе, г. издатель старается насъ увѣрить, что А. Н. первый сотворилъ характеръ Клитемнестры, удалившись отъ того образца, который ему представлялся въ Софоклѣ—и въ этомъ случаѣ кажется намъ, что дружба завела г-на издателя въ нѣкоторое заблужденіе. Вольтерова Клитемнестра безъ всякаго сомнѣнія служила моделью для русской Правда, что подражатель нѣсколько отдалился отъ образца своего; но хороши ли сдѣланныя имъ перемѣны—мы это увидимъ ниже.

Г. Грузинцовъ прежде всего показываетъ намъ Ореста и Пилада. Орестъ, повинуясь богамъ, повелѣвающимъ ему отмстить убійцамъ Агамемнона, приближался уже на кораблѣ къ Аргосу, но волны разбили корабль; его сокровища, воины, оружіе, все было поглощено моремъ: осталась одна только урна, заключающая въ себѣ прахъ Плисѳена [Эгистова сына, убитаго въ Эпидаврѣ Орестомъ], Агамемноновъ мечъ

И перстень, коимъ перстъ Атридовъ украшался,
И риза, въ коей онъ отъ рукъ убійцъ скончался.

Орестъ выходитъ съ Пиладомъ на берегъ; они не знаютъ, въ какую страну занесла ихъ буря, видятъ старца—это Форбасъ, служитель храма, который сказываетъ пришельцамъ, что они неподалеку отъ Аргоса, близъ гроба Агамемнона, близъ древнихъ его чертоговъ, въ которыхъ обитаетъ Эгистъ—Орестъ въ волненіи. Гдѣ Электра? спрашиваетъ онъ у Форбаса.

Электра здѣсь живетъ въ темницѣ заключена.

Орестъ хочетъ летѣть къ ней на помощь; Пиладъ, болѣе осторожный, удерживаетъ его, напомнивъ о завѣтѣ боговъ, запрещающихъ ему открываться до совершенія мести. «Веди насъ во храмъ, говоритъ онъ Форбасу: первый долгъ нашъ возблагодарить безсмертныхъ за чудесное наше спасеніе на моряхъ Эпидаврскихъ».—Пойдемъ! восклицаетъ Орестъ,

Пойдемъ во храмъ, потомъ къ гробницѣ роковой,
Гдѣ скрытъ убійцами поверженный прой;
Я тризну совершить надъ гробомъ симъ желаю.

Сіи двѣ сцены взяты изъ Вольтера; но въ Орестѣ Вольтеровомъ составляютъ онѣ начало втораго дѣйствія, а въ русской Электрѣ ими открывается трагедія. Сира-

шиваемъ: хорошо ли сдѣлалъ подражатель, перемѣнивши этотъ порядокъ? Едва ли. Въ первомъ актѣ Вольтера мы видимъ Атридовъ гробъ, мы видимъ то мѣсто, на которомъ онъ палъ подъ кинжалами убійцъ вѣроломныхъ, и сіи убійцы на самомъ этомъ мѣстѣ, ругаясь надъ прахомъ его, вопіющимъ о мщеніи, торжествуютъ день его гибели; между тѣмъ несчастные дѣти его страждутъ—Ифиза, младшая дочь Агамемнонова, уединенно оплакиваетъ отца своего въ запустѣвшихъ его чертогахъ; Электра въ цѣпяхъ; Орестъ скитается въ странахъ непзвѣстныхъ: все это прекрасно знакомитъ насъ съ происшествіями прежде бывшими, и зритель вмѣстѣ съ Электрою начинаетъ желать прибытія Орестова. Напротивъ въ трагедіи господина Грузинцова при видѣ Ореста мы только узнаемъ, что онъ приходитъ для мщенія; но важность этого мщенія не можетъ еще быть для насъ ощутительна, ибо мы не знакомы ни съ горестною судьбою Электры, ни съ тѣми преступниками, которыхъ наказанія могли бы желать вмѣстѣ съ Орестомъ. И сіи двѣ первыя сцены, прекрасныя у Вольтера, будучи не на мѣстѣ въ трагедіи господина Грузинцова, теряютъ дѣйствіе свое совершенно.

Въ третьемъ явленіи приходитъ Клитемнестра — Форбасъ спѣшитъ удалить пришельцевъ; но Клитемнестра ихъ видѣла. Кто они? спрашиваетъ она у Форбаса.

Кто странники сіи, къ странѣ пришедши сей,
Съ которыми ты здѣсь бесѣдовалъ предъ мною,
Кто родомъ таковы, какой сюда судьбою,
Или намѣреньемъ какимъ приведены?

Форбасъ.

Противнымъ вѣтромъ къ симъ брегамъ принесены.
Гдѣ ихъ отечество и кто они, не знаю,
И безъ различья всѣхъ несчастныхъ призираю

Клитемнестра.

Кто можетъ быть меня несчастнѣй изъ людей?
О, сколько бѣдъ и мукъ на тронѣ для царей!

Здѣсь подражатель хотѣлъ быть оригинальнымъ, и ему удалось. Но можно ли такую удачу назвать счастливою? Не думаю! Поневолѣ вспомнишь слова Пирра: еще одна побѣда, и я погибъ! въ Вольтеровой трагедіи вмѣстѣ съ Клитемнестрою приходитъ и Эгистъ—мы знаемъ уже его характеръ подозрительный и свирѣпый, слѣдовательно приходъ его долженъ насъ привести въ ужасъ, ибо все предыдущее заставило насъ принимать живое участіе въ судьбѣ Ореста. У господина Грузинцова напротивъ приходъ Клитемнестры не производитъ никакого дѣйствія—она мать, ее не боишься; а вопросъ ея показываетъ одно только любопытство—ибо Клитемнестра, выслушавъ отвѣтъ Форбасовъ, тотчасъ забываетъ о пришельцахъ, и начинаетъ томить и читателя и зрителя элегическою исповѣдью своихъ преступленій, въ этомъ мѣстѣ весьма неприличною, ибо Форбасъ ни почему не можетъ быть повѣреннымъ Клитемнестры.—И эта сцена тѣмъ болѣе заставляетъ насъ негодовать на прихотливое желаніе господина сочинителя быть оригинальнымъ въ такое время, когда всего бы лучше было остаться смиреннымъ подражателемъ, что она замѣняетъ превосходную сцену Вольтеровой трагедіи, ту именно, въ которой мы въ первый разъ знакомимся съ Клитемнестрою и видимъ характеръ ея въ противоположности съ характеромъ Электры. Вольтеръ представляетъ намъ въ Клитемнестрѣ мать, привязанную къ дѣтямъ своимъ чувствами природы, но отдаленную отъ нихъ своимъ преступленіемъ; она очень мало говоритъ о раскаяніи, но зритель видитъ, что она несчастна, и онъ сожалѣетъ объ ней: напротивъ признаніе слишкомъ ясное было бы для нее унизительно, оно произвело бы одно только отвращеніе. Господинъ Грузинцовъ этого не подумалъ, и вотъ что его Клитемнестра говоритъ Форбасу:

Когда мой духъ пылалъ любовью побѣжденный,

Не представлялся мнѣ супругъ мой пораженный;
Средь роскошей вела благополучны дни,
Питали страшну мысль восторги лишь одни.
Предавшись въ плѣнъ мечтамъ, въ блаженствѣ утопала
И въ счастіи себѣ подобныхъ не считала,
Но время рушитъ все и за собой влечетъ.
Сей огнь во мнѣ потухъ; я вижу бездну бѣдъ!
Со трепетомъ души прошедше вспоминаю,
Злодѣйство признаю и судъ боговъ читаю.

Едва ли можно безъ непріятнаго ощущенія слушать старую Клитемнестру, говорящую старому служителю алтаря: что духъ ея пылалъ, что она средь роскошей вела благополучны дни, что страстную мысль ея питали одни восторги, что она, предавшись въ плѣнъ мечтамъ, утопала въ блаженствѣ. И что же ея раскаяніе? Слѣдствіе изнуренія чувствъ; время, лишивъ ее способности наслаждаться, напомнило ей, что надобно подумать о раскаяніи, о спасеніи души, и она готова спасаться; по первому слову Форбаса соглашается освободить изъ темницы Электру, которую, несмотря на жестокія угрызенія совѣсти, по сіе время держала подъ крѣпкимъ присмотромъ; между тѣмъ приказываетъ Форбасу пріуготовить алтарь богамъ, мстящимъ за преступленія. Форбасъ упрямится, совѣтуетъ оставить мстящихъ боговъ въ покоѣ: Клитемнестра горячится; напоминаетъ Форбасу, что онъ можетъ раздражить свою царицу; надобно повиноваться, и Форбасъ повинуется, и алтарь будетъ готовъ въ III явленіи третьяго акта, и Клитемнестра будетъ говорить передъ нимъ слѣдующую галиматью:

О тѣнь Атридова! героя грозна тѣнь!
Для тризны въ честь твою сей посвящаю день.
Молю тебя, да снимъ твой ярый гнѣвъ смягчится,
Да мертвый мой супругъ со мною примирится.
При жизни ты умѣлъ преступниковъ прощать,
По смерти ль будешь имъ изъ гроба отомщать:
Судьба меня съ *тобой на вѣки* разлучила;
На время въ сердцѣ семъ я чувства умертвила;
Минуту предъ тобой измѣнницей была,
Минуту... но сей мигъ я съ вѣчностью спрягла...
. . . . . .

Боги отвѣчаютъ Клитемнестрѣ громомъ! какого другаго отвѣта могла она ожидать за такіе стихи, особливо за мигъ, спряженный съ вѣчностью? И подивитесь ея безстыдству: Эгистова супруга, убійца Агамемнонова, Клитемнестра въ присутствіи множества богомольцевъ, въ присутствіи Электры, стоящей [конечно для симметріи] вмѣстѣ съ Хризотеміею на колѣнахъ предъ алтаремъ, Клитемнестра называетъ Агамемнона супругомъ, съ которымъ разлучила ее судьба, передъ которымъ она была измѣнницей минуту. Такова ли должна быть истинная Клитемнестра?

Мы хотѣли сначала разсмотрѣть всѣ пять актовъ этой трагедіи; но такой подробный разборъ могъ бы завести насъ слишкомъ далеко; сверхъ того и предыдущихъ замѣчаній кажется довольно будетъ для доказательства, что неизвѣстный издатель Электры напрасно называетъ ходъ ея превосходнымъ, ибо и самыя первыя сцены этой трагедіи уже показываютъ, что авторъ ея, желая сдѣлать лучше Вольтера, сдѣлалъ гораздо хуже. Гдѣ же превосходство? Что жъ касается до характера Клитемнестры, то А. Н. Грузинцовъ безъ сомнѣнія имѣетъ право называть себя его творцомъ: портить старое, превосходное, не есть ли творить новое дурное?—

1818.

О НОВОЙ КНИГѢ

[ПАРРОТА: ENTRETIENS SUR LA PHYSIQUE].

Профессоръ дерптскаго университета, г. Парротъ, поручилъ мнѣ пріятную обязанность распространить между русскими и въ особенности между московскими читателями извѣстіе о сочиненной имъ книгѣ «Entretiens sur la Physique».—Раз-

говоры о физикѣ. Лучшимъ для сего средствомъ почитаю напечатать увѣдомленіе объ ней въ вашемъ журналѣ: онъ у всѣхъ въ рукахъ, и публика имѣетъ довѣренность къ его издателю. Выписываю то, что говоритъ самъ авторъ въ своемъ объявленіи, напечатанномъ особенно на французскомъ языкѣ.

«Наука есть принадлежность человѣка; но не одинъ ученый долженъ пользоваться плодами ея: всѣ классы человѣческаго общества, по мѣрѣ своихъ потребностей, имѣютъ на нихъ право; въ особенности физикѣ, котораго наука должна возбуждать вниманіе всеобщее, обязанъ знакомить свѣтскаго человѣка съ ея успѣхами, обязанъ истребить ложное мнѣніе, утверждающее, что знанія физическія неприступны по причинѣ глубокихъ умствованій и трудныхъ исчисленій, съ ними неразлучныхъ. Правда, что истина физическая должна предварительно пройти сквозь сумракъ гипотезъ и сомнѣній, сквозь длинный рядъ опытовъ, сквозь лабиринтъ исчисленій; но изъ сей лабораторіи ума человѣческаго она должна наконецъ появляться облеченная въ простоту, ясность, величіе, привлекательныя для разсудка, легко поражающія воображеніе.

«Такова цѣль сочинителя книги: *Разговоры о физикѣ*. Онъ выбралъ форму разговора, дабы избѣжать сухости и однообразія въ слогѣ, дабы владѣть вниманіемъ, не утомляя его, дабы имѣть способъ украшать цвѣтами предметъ свой, столь богатый и разнообразный, что вся трудность состоитъ только въ выборѣ лучшаго и нужнѣйшаго.

«Книга сія не есть систематическій трактатъ о физикѣ, въ коемъ обыкновенно представляется каждая теорема отдѣльно, но ясное и точное изображеніе физическихъ и химическихъ законовъ природы и главнѣйшаго ихъ примѣненія.

«Она будетъ состоять изъ двухъ частей. Въ первой — изъясненіе извѣстныхъ законовъ природы, разсматриваемыхъ въ общихъ свойствахъ матеріи, въ феноменахъ движенія жидкихъ и твердыхъ тѣлъ, въ феноменахъ теплоты, свѣта, состава и раздробленія тѣлъ, электрической силы, магнита. Во второй — примѣненіе сихъ законовъ ко главнымъ явленіямъ природы. Въ сей послѣдней части заключается: 1-е, физика земли, которая разсматриваетъ нашу планету сначала въ отношеніи къ ея формѣ, величинѣ и къ дѣйствіямъ тяжести; потомъ въ отношеніи къ ея поверхности, составленной изъ горъ, пещеръ, волкановъ, рѣкъ, озеръ и морей; наконецъ въ отношеніи къ безчисленнымъ и важнымъ явленіямъ нашей атмосферы; 2-е, главныя системы геологіи, которая изображаетъ великими чертами исторію измѣненій земнаго шара, и старается разрѣшить, какимъ образомъ сіи измѣненія произвели напослѣдокъ видимую нами ея поверхность; наконецъ 3-е, астрономія. Подъ именемъ ея физика перелистаетъ отъ скромной обители человѣка къ небу, разсматриваетъ безчисленныя звѣзды его, изъясняетъ чудесныя движенія нашей земли и планетъ, ей сопутствующихъ въ постоянномъ ея теченіи вокругъ нашего солнца.

«Картина природы, объемлющая безконечно-великое и безконечно-малое, являющая чудесную связь между явленіями и неизмѣнными законами, коимъ они всѣ вообще покоряются, изображающая передъ глазами человѣка все его величіе, но въ то же время и ограниченность его силъ и слабость его зрѣнія — такая картина необходимо оживляетъ въ насъ чувство Божества, открывающагося человѣку въ такомъ величіи, чувство высокое, источникъ чистѣйшихъ, блаженнѣйшихъ наслажденій».

Прибавлю нѣсколько словъ: когда я находился въ Дерптѣ, то почтенный авторъ, удостоивающій меня дружбы своей, самъ читалъ мнѣ первый томъ своей книги. Цѣль ея: сдѣлать физику пріятною, для незнающихъ предложить ея истины простымъ, привлекательнымъ, для всякаго равно понятнымъ языкомъ — имѣю нѣкоторое право сказать, что

авторъ совершенно достигъ этой цѣли. Будучи совершенно незнающимъ въ его наукѣ, я слушалъ его съ наслажденіемъ. Онъ умѣлъ оживить пріятностію слога сухость своей матеріи — и первая часть особенно представляла ему почти непобѣдимыя трудности: надлежало говорить о главныхъ, общихъ свойствахъ тѣлъ, о тяжести, равновѣсіи, дѣлимости, плотности и проч.—предметы отвлеченные, привлекательные для немногихъ— и всѣ сіи трудности побѣждены счастливо. Особенный характеръ слога его есть ясность. Съ благоразумною умѣренностію выбралъ онъ занимательнѣйшіе между безчисленнымъ множествомъ предметовъ своей науки, и выбралъ такъ, что читатель его получаетъ полное понятіе о томъ, что́ узнать ему необходимо: онъ слѣдуетъ безъ труда за мыслями автора, или лучше сказать невольно вмѣшивается въ разсужденія разговаривающихъ лицъ; умъ его не безъ дѣйствія, но сіе дѣйствіе не тягостное: онъ остается доволенъ и собою и своимъ наставникомъ,—и въ награду за легкій трудъ получаетъ полныя и ясныя понятія, знакомится съ окружающими его тайнами природы, находитъ и жизнь и чудеса тамъ, гдѣ прежде для незнанія его было все мертво и обыкновенно. Могутъ подумать, что авторъ, выбравъ форму разговора, идетъ по слѣдамъ Фонтенеля; но между ими великая розница, сколько могу судить по одному бѣглому чтенію. Фонтенель хотѣлъ доказать, что обо всемъ можно говорить языкомъ острымъ и шутливымъ: его Разговоры о множествѣ міровъ — блестящая игрушка. Нашъ авторъ не имѣетъ этой хвастливости: онъ болѣе думаетъ о наукѣ своей, нежели о самомъ себѣ: не хочетъ ослѣплять остротою ума и красками слога, но употребляетъ ихъ, какъ средство необходимое, дабы овладѣть вниманіемъ. Въ Разговорахъ Фонтенелевыхъ дивятся Фонтенелю; Разговоры о физикѣ заставятъ [illegible] физику.

Всѣ шесть томовъ этого [illegible] сочиненія готовы. Почтенный сочинитель, чтобы имѣть средство напечатать книгу свою, ибо ея напечатаніе должно стоить большихъ издержекъ, считаетъ за нужное открыть на нее подписку. Должно надѣяться, что русская публика для собственнаго удовольствія поддержитъ его полезное предпріятіе. Подписка для московскихъ читателей и для иногородныхъ открывается въ московскомъ почтамтѣ, въ газетной экспедиціи. Подписавшіеся платятъ за шесть томовъ на простой хорошей бумагѣ 40 руб., а на писчей 50 рублей; при подпискѣ получаютъ они билетъ, по которому и будетъ выдана имъ книга, какъ скоро о выходѣ ея напечатается въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ».

1826.

ПЛАНЪ УЧЕНІЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ПОНЯТІЯ.

Цѣль воспитанія вообще и ученія въ особенности есть образованіе для добродѣтели.

Воспитаніе образуетъ для добродѣтели: 1) Пробужденіемъ, развитіемъ и сбереженіемъ добрыхъ качествъ, данныхъ природою, дѣйствуя на умъ и сердце, и заставляя ихъ дѣйствовать. 2) Образованіемъ изъ сихъ качествъ характера нравственнаго, обращая добро въ привычку и подкрѣпляя привычку правилами разума, воспламененіемъ сердца и силою религіи. 3) Предохраненіемъ отъ зла, устраняя все вредное, могущее ослабить естественную склонность къ добру, и содержа душу, сколько возможно, въ спасительной и приготовленности къ злу. 4) Искорененіемъ [illegible] побужденій и [illegible], препятствуя имъ обратиться въ привычку и побѣждая [illegible] привычками добрыми.

Ученіе образуетъ для добродѣтели, [illegible] 1) Съ тѣмъ, что [illegible] 2) Съ тѣмъ, что [illegible]

3) Съ тѣмъ, что онъ быть долженъ, какъ существо нравственное. 4) Съ тѣмъ, для чего онъ предназначенъ, какъ существо безсмертное.

Въ постепенномъ разрѣшеніи сихъ четырехъ вопросовъ заключается весь планъ ученія.

ПРОДОЛЖЕНІЕ УЧЕНІЯ.

Воспитаніе начинается съ колыбели. ученіе съ отрочества, то и другое продолжается до начала молодыхъ лѣтъ. Тогда судьба принимаетъ питомца изъ рукъ воспитателя и наставника и продолжаетъ его земное воспитаніе до гроба: долгъ воспитателя и наставника состоитъ единственно въ томъ, чтобъ сдѣлать питомца своего способнымъ внимать постановленіямъ судьбы и воспользоваться ими съ достоинствомъ человѣка. Кто умѣлъ имъ послѣдовать, тотъ совершилъ земное свое назначеніе и зналъ добродѣтель. Здѣсь говорится объ одномъ ученіи. Полагаю, что оно будетъ продолжаться отъ 8-ми до 20-ти лѣтъ. Его можно раздѣлить на три главныхъ періода.

ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ. ОТРОЧЕСТВО.

Отъ 8-ми до 13-ти лѣтъ.

УЧЕНІЕ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ.

Сей періодъ можно сравнить съ приготовленіемъ къ путешествію: надобно дать въ руки компасъ, познакомить съ картою, снабдить орудіями, нужными для пріобрѣтенія свѣдѣній и для открытій.

I. Компасъ. Предварительное образованіе ума: практическая логика.

Образованіе сердца: развитіе нравственнаго чувства посредствомъ первыхъ понятій религіи.

II. Карта. Знанія. Сообщеніе вкратцѣ, въ связи, въ ясной и полной системѣ, сообразуясь съ понятіемъ воспитанника, наблюдая нужную постепенность всѣхъ тѣхъ познаній, которыя послѣ должны быть предложены ему отдѣльно, какъ *науки со всѣми* необходимыми подробностями. *Отвѣтъ въ связи* на четыре вопроса жизни: гдѣ я? что я? что я быть долженъ и къ чему предназначенъ?

III. Орудія. Языки способны дополнять самому сообщенныя знанія знаніями, собственно пріобрѣтенными — талантами.

ВТОРОЙ ПЕРІОДЪ. ЮНОШЕСТВО.

Отъ 13-ти до 18-ти лѣтъ.

УЧЕНІЕ ПОДРОБНОЕ.

Продолжая сравненіе, назовемъ сей періодъ самымъ путешествіемъ. Путеводный компасъ въ рукахъ. Карта извѣстна. Дороги означены. Нѣтъ опасности заблудиться: умъ приготовленъ, любопытство пробуждено. Не опасаясь смутности и безпорядка въ понятіяхъ, воспитанникъ можетъ обращать все свое вниманіе на каждый предметъ отдѣльно.

Подробное преподаваніе наукъ, нужныхъ воспитаннику, какъ члену просвѣщеннаго общества.

Болѣе подробное преподаваніе такихъ наукъ, которыя наиболѣе нужны ему по его назначенію.

1-е. Науки антропологическія, имѣющія предметомъ человѣка: Исторія. Географія, то есть этнографія и статистика. Политика. Философія.

2-е. Науки онтологическія, имѣющія предметомъ вещь: Математика. Естественная исторія и технологія [физическая географія]. Физика.

ТРЕТІЙ ПЕРІОДЪ. ПЕРВЫЕ ГОДЫ МОЛОДОСТИ.

Отъ 18-ти до 20-ти лѣтъ.

УЧЕНІЕ ПРИМѢНИТЕЛЬНОЕ.

Этотъ періодъ мы сравнимъ съ окончаніемъ путешествія. Свѣдѣнія собраны, остается ихъ обозрѣть, привести въ порядокъ и опредѣлить какое должно быть сдѣлано изъ нихъ употребленіе. Въ этомъ періодѣ воспитанникъ болѣе дѣйствуетъ самъ, нежели пріобрѣтаетъ отъ наставника. Онъ уже не занимается никакою наукою отдѣльно, онъ самъ составляетъ

для себя коренныя правила жизни, которыя не иное что, какъ произведеніе всего, что дали ему воспитаніе и ученіе. Этотъ періодъ долженъ быть посвященъ занятіямъ собственнымъ и чтенію немногихъ истинно-классическихъ книгъ, предпочтительно такихъ, кои могутъ познакомить питомца съ высокимъ его назначеніемъ и страною, которой онъ долженъ посвятить жизнь свою.

1) Обозрѣніе знаній, пріобрѣтенныхъ во второмъ періодѣ. 2) Взглядъ на мѣсто, занимаемое въ обществѣ, и на обязанности, съ нимъ соединенныя. 3) Отчетъ въ самомъ себѣ передъ самимъ собою и утвержденіе правилъ, необходимыхъ для дѣятельности добродѣтельной. 4) Идеалъ человѣка вообще и своего званія въ особенности.

ПОДРОБНЫЙ ПЛАНЪ УЧЕНІЯ ВЪ ПЕРВОМЪ ПЕРІОДѢ.

I. ПРЕДМЕТЫ УЧЕНІЯ, ИХЪ КЛАССИФИКАЦІЯ И ПОРЯДОКЪ, МЕТОДА ПРЕПОДАВАНІЯ.

Если, какъ то бываетъ обыкновенно, занимать воспитанника вдругъ многими предметами, имѣющими между собою связь, но отдѣльными одинъ отъ другаго въ преподаваніи, то въ головѣ его необходимо произойдетъ безпорядокъ, многое будетъ непонятно, много останется промежутковъ, ничѣмъ не наполненныхъ.

По нашему плану, въ первомъ періодѣ, предметы ученія должны быть преподаваемы въ ихъ естественной связи, не совокупно, а по порядку, съ сохраненіемъ надлежащей постепенности, переходя отъ легкаго къ трудному, такъ, чтобы въ головѣ воспитанника, по истеченіи перваго періода, могла остаться полная система приготовительныхъ знаній.

Рядомъ съ предметами главными должны идти: для образованія ума—практическая логика, не составляющая особенной науки, но способствующая пріобрѣтать знанія; для образованія сердца—начальныя понятія нравственности, основанной на религіи христіанской, и языки, не имѣющіе никакой связи съ предметами главными, слѣдовательно—имъ не мѣшающіе. Сверхъ того, съ предметами ученія соединяется пріобрѣтеніе нѣкоторыхъ пріятныхъ талантовъ и—для развитія силъ тѣлесныхъ—гимнастика и ручная работа. Посему предметы ученія въ первомъ періодѣ можно раздѣлить на 4 класса.

КЛАССЪ ПЕРВЫЙ.

а) Для образованія ума: практическая логика.

б) Для образованія сердца: начало нравственности христіанской.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА.

1) Упражненіе вниманія. Основаніе геометріи: объясненіе линій, фигуръ, тѣлъ.

2) Упражненіе ума. Разрѣшеніе первыхъ теоремъ геометріи. Не самому наставнику разрѣшать ихъ, но постепенными вопросами доводить воспитанника до ихъ разрѣшенія.

Счетъ. Руководствоваться таблицами Песталоцци, примѣняя ихъ безпрестанно къ головному счету и ко счету цифрами. Заимствовать задачи изъ обыкновенной жизни и изъ предметовъ знакомыхъ.

Философическая грамматика, примѣненная къ русскому языку. Руководствоваться грамматикою Сасси. Анализъ словъ. Анализъ фразъ. Составленіе фразъ. Выраженіе мыслей, словесное и письменное. Декламація.

3) Извлеченіе правилъ изъ упражненій практическихъ.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА.

Начало нравственности христіанской. Избранныя библейскія повѣсти.

Главные факты священной исторіи древняго и новаго завѣта.

Простой разсказъ безъ всякихъ посторонніхъ разсужденій, въ связи хронологической. Извлеченіе изъ фактовъ правилъ нравственности, основанной на ученіи Спасителя.

КЛАССЪ ВТОРОЙ.

Система знаній. Нить, ихъ связующую, составляютъ сіи четыре вопроса: Гдѣ я? Что я? Что быть долженъ? Къ чему предназначенъ? Чтобы познакомиться съ человѣкомъ, надлежитъ прежде узнать то, что его окружаетъ; чтобы лучше узнать, понять, привести въ порядокъ и удержать въ памяти исторію дѣйствій человѣческихъ, надлежитъ прежде обозрѣть ту сцену, на которой онъ дѣйствовалъ, и не иначе, какъ узнавши, что былъ человѣкъ, можно опредѣлить для себя, что онъ быть можетъ, быть долженъ, къ чему предназначенъ. Это порядокъ естественный, въ немъ заключается и самый порядокъ ученія.

Первый вопросъ: Гдѣ я и что меня окружаетъ?

1) Общія понятія о тѣлахъ.

2) Тѣла небесныя.

3) Земля въ отношеніи къ другимъ тѣламъ небеснымъ. Астрономическая и математическая географія.

4) Земля отдѣльно и главныя ея части. Воздухъ, вода, суша, система водъ и суши.

Физическая географія. Рисованіе картъ, имѣя въ виду одну физическую географію.

5) Произведенія земли.

Природа и ея главные законы.—Общія понятія о физикѣ и химіи.—Произведенія природы.

Общія понятія о минералогіи и геологіи.

Общія понятія о ботаникѣ.

Общія понятія о зоологіи.

Переходъ къ человѣку.

Второй вопросъ: Что я?

1) Человѣкъ отдѣльно.

Физическій.—Общія понятія о строеніи человѣческаго тѣла.

Нравственный.—Общія понятія психологіи.

2) Человѣкъ въ отношеніи къ окружающей его природѣ.—Нужды человѣческія и употребленіе произведеній природы для ихъ удовлетворенія.—Технологія.

3) Человѣкъ въ отношеніи къ человѣку. Потребность общежитія. Языкъ. Семейство. Народъ въ естественномъ состояніи. Естественное право. Постепенное образованіе общества политическаго. Начало политики.

4) Ходъ измѣненій человѣческаго общества. Исторія вмѣстѣ съ географіею.

5) Нынѣшнее состояніе человѣческаго общества. Новѣйшая географія и статистика.

Третій вопросъ: Что я быть долженъ?

1) Человѣкъ, какъ существо нравственное, и его обязанности. Нравственность частная: мораль.

2) Человѣкъ, какъ членъ общества, и его обязанности въ семъ отношеніи.—Нравственность общественная: политика.

Четвертый вопросъ: Къ чему я предназначенъ?

1) Человѣкъ, какъ существо духовное и безсмертное. Метафизика.

2) Человѣкъ, какъ существо, постигающее Бога. Богопознаніе: Религія естественная. Религія откровенная.

NB. Здѣсь показана одна только нить, связующая предметы ученія въ первомъ періодѣ: для преподаванія каждаго предмета наставникъ сдѣлаетъ для себя особенные подробные планы.

МЕТОДА.

1) Форма преподаванія.

Разговорная. Вмѣсто того, чтобы преподавать самому въ связи—доводить постепенными вопросами ученика до того, чтобы онъ самъ выражалъ съ надлежащею ясностію то, о чемъ ему предлагать желаемъ.

Учебная. Предлагать въ связи, просто, въ строгомъ порядкѣ.

NB. Смотря по предмету, употреблять ту или другую форму или соединять обѣ.

2) Правила преподаванія.

Наблюденіе постепенности. Переходить отъ легкаго къ трудному, отъ

извѣстнаго къ неизвѣстному. Возбужденіе собственной дѣятельности воспитанника. Чтобы онъ какъ можно болѣе находилъ самъ, а не механически затверживалъ чужое. Сохраненіе надлежащей мѣры. Одно нужнѣйшее; какъ можно менѣе такого, что впослѣдствіи можетъ быть забыто; сохранять полноту, избѣгать излишнихъ подробностей, обременительныхъ для памяти и развлекающихъ вниманіе. Облегченіе труда. Возбуждать къ труду пособіями, порядкомъ, методою, которыя облегчатъ его, отъ него не избавляя, и, способствуя дѣятельности ума, не дѣлаютъ его лѣнивымъ. Пріятность преподаванія. Стараться сдѣлать и предметъ ученія и самое ученіе привлекательными, возбуждая любопытство, владѣя вниманіемъ, питая воображеніе, говоря сердцу, словомъ— сколько можно, дѣйствуя на всего человѣка.

3) Утвержденіе въ памяти преподаваемаго. Сколько можно избѣгать механическаго ученія наизустъ. Употреблять этотъ способъ только для изощренія памяти, но утверждать въ ней выученное:

Методическимъ раздѣленіемъ предметовъ.

Соединеніемъ чувственнаго съ умственнымъ. Рисунки. Карты. Таблицы.

Частымъ повтореніемъ. Оно не должно быть рабскимъ повтореніемъ словъ-слово сказаннаго прежде, а только новымъ образомъ съ новой стороны того же предмета. Вопросы по порядку. Вопросы въ разбивку. Сбивчивые вопросы. Обозрѣніе въ связи.

Окруженіемъ воспитанника — предметами, безпрестанно напоминающими во время свободное о томъ, что занимало его въ часы ученія.

Соединеніемъ изученія языковъ съ главною цѣлію. Чтобы воспитанникъ на другомъ языкѣ и слышалъ и самъ говорилъ о томъ, что уже было ему предложено на языкѣ природномъ.

Соединеніемъ самыхъ игръ съ нѣкоторою учебною цѣлію. Волшебный фонарь. Фантасмагорія. Косморама.

КЛАССЪ ТРЕТІЙ.

Языки: французскій, нѣмецкій, англійскій и польскій; къ первому періоду принадлежитъ одна только матеріальная часть изученія языковъ, т.-е.: a) Утвержденіе въ правописаніи. b) Правильное произношеніе. c) Практическое пріобрѣтеніе навыка говорить и понимать, что говорятъ. d) Легкія упражненія въ слогѣ.

Правописаніе. Диктованіе фразъ, заимствованныхъ изъ главной лекціи. Исправленіе ошибокъ. Заставлять ученика самого исправлять. Переписывать исправленное.

NB. Симъ способомъ воспитанникъ не только научится писать правильно, но и самъ для себя напишетъ на разныхъ языкахъ то, что было ему преподаваемо на русскомъ.

Произношеніе. Чтеніе простое для правильнаго произношенія. Чтеніе съ выраженіемъ: декламація. Чтеніе наизустъ легкихъ стихотвореній. Пріобрѣтеніе навыка говорить. Ученіе наизустъ словъ: заимствованныхъ изъ общежитія; заимствованныхъ изъ главной лекціи. Составленіе фразъ: фразъ, употребительныхъ въ общежитіи; фразъ, заимствованныхъ изъ главной лекціи.

NB. Симъ послѣднимъ способомъ не только пріобрѣтется навыкъ говорить,— ибо ученикъ и учитель всегда будутъ имѣть готовые матеріалы для вопросовъ, отвѣтовъ и объясненій, слѣдовательно, для разговора въ связи; но въ то же время, какъ уже замѣчено выше, утвердятся въ памяти, объяснятся и дополнятся пріобрѣтенныя знанія.

Упражненіе въ слогѣ. Предметы для сочиненія можно также заимствовать изъ главной лекціи: ученикъ будетъ писать о томъ, что знаетъ, слѣдовательно, будетъ выражать свои мысли и располагать ихъ ясно и правильно. Сею методою изученія языковъ надлежитъ руководствоваться во

все продолженіе перваго періода. Къ концу его накопится большой запасъ правильныхъ фразъ. Тогда нетрудно будетъ приступить къ грамматикѣ и знанія практическія утвердить правилами теоріи. Надобно только, чтобы одна общая, философическая грамматика служила основаніемъ для всѣхъ прочихъ [лучшею кажется мнѣ грамматика Саси, переведенная на нѣмецкій языкъ Сатеромъ] и чтобы для языковъ иностранныхъ принята была за основаніе та же система, которая руководствовала въ изученіи языка природнаго.

КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Пріятные таланты. Гимнастика. Ручная работа. Таланты. Рисованіе. Рисованіе съ натуры и съ гипсовъ: тѣлъ геометрическихъ; ландшафтовъ. Отдѣльныя части, деревья, зданія.

Правила архитектуры. Части соединенныя, полные ландшафты. Правила перспективы. Животныхъ и человѣка. Отдѣльныя части. Цѣлыя фигуры. Правила анатоміи. Группы. Иллюминованіе: рисунковъ, коихъ содержаніе заимствовать изъ главной лекціи, особенно—изъ натуральной исторіи, изъ географіи, изъ исторіи, изъ миѳологіи.

NB. Здѣсь необходимо слѣдовать порядку главной лекціи, чтобы рисованіемъ дополнять въ связи преподаваемое въ часы уроковъ.

Сочиненіе рисунковъ. Музыка. Гимнастика. Цѣль гимнастическихъ упражненій есть не одно развитіе и укрѣпленіе силъ тѣлесныхъ, но въ то же время и дарованіе мужества и способовъ владѣть собою во всѣхъ обстоятельствахъ жизни. Сія важная часть воспитанія требуетъ методическаго плана, какъ и другія. Великій князь не долженъ ничего дѣлать безъ правилъ: каждый предметъ его ученія долженъ безпрестанно ему напоминать, что во всемъ главное есть правило. Необходимо нужно найти человѣка, который бы могъ руководствовать гимнастическими упражненіями по строгой методѣ. Эта часть особенно принадлежитъ воспитанію.

Ручная работа: токарное или столярное мастерство.

NB. Не приспособить ли ручною работою къ кораблестроенію? Великій князь могъ бы, играя, самъ построить маленькій корабль, и такимъ образомъ познакомиться съ матеріальною частію навигаціи.

Чтеніе. Рядомъ съ ученьемъ должно необходимо идти и чтеніе. Надобно читать мало, въ порядкѣ, одно полезное: нѣтъ ничего вреднѣе привычки читать все, что ни попадетъ въ руки. Это приводитъ въ безпорядокъ идеи и портитъ вкусъ. Для дѣтей множество написано книгъ. Есть много хорошаго на нѣмецкомъ, англійскомъ и французскомъ языкахъ, но почти нѣтъ ничего на русскомъ. Почитаю необходимымъ сдѣлать строгій выборъ изъ сего множества матеріаловъ, многое перевесть на русскій, нужное написать по русски, все привести въ порядокъ, сообразуясь съ планомъ ученія, и такимъ образомъ составить избранную библіотеку дѣтскаго чтенія для перваго періода. Сія библіотека можетъ состоять изъ трехъ отдѣленій.

I-е отдѣленіе. Курсъ учебный. Лекціи въ ихъ связи и порядкѣ. Карты, рисунки, таблицы.

II-е отдѣленіе. Чтеніе пріятное. Собраніе такихъ сочиненій, которыя пріятно бы занимали умъ, говорили воображенію, оживляли нравственное чувство и образовали вкусъ. Въ ихъ расположеніи надлежитъ сохранить постепенность, сообразуясь съ возрастомъ и понятіемъ воспитанника.

III-е отдѣленіе. Чтеніе наставительное. Собраніе такихъ сочиненій, которыхъ содержаніе соотвѣтствовало бы главной лекціи и которыя были бы расположены согласно съ планомъ ея, такъ, чтобы воспитанникъ, въ часы свободные, могъ самъ дополнять пріятнымъ чтеніемъ преподаваемое въ часы ученія.

II. ВРЕМЯ.

Время надлежитъ раздѣлить на учебное и неучебное. Для того и для другаго должны быть свои занятія, порядочно расположенныя.

ВРЕМЯ УЧЕБНОЕ.

Оно раздѣляется на два періода. 1-й періодъ отъ 1-го января до половины іюня. 2-й періодъ отъ 1-го августа до 25-го декабря.

РАСПОЛОЖЕНІЕ УЧЕБНАГО ВРЕМЕНИ.

Вставать въ 6 часовъ. Отъ 6-ти до 7-ми часовъ: молитва, завтракъ, обозрѣніе того, что надлежитъ сдѣлать въ теченіи дня. Пріуготовленіе всего нужнаго для слѣдующаго урока. Отъ 7-ми до 9-ти ученіе. По окончаніи сего все привести въ порядокъ и все приготовить для слѣдующаго урока. Отъ 9-ти до 10-ти отдыхъ. Визиты. Отъ 10-ти до 12-ти ученіе. По окончаніи сего все привести въ порядокъ. Отъ 12-ти до 2-хъ прогулка. Отъ 2-хъ до 3-хъ обѣдъ. Все приготовить къ слѣдующему уроку. Отъ 3-хъ до 5-ти: отдыхъ, игры, прогулка. Отъ 5-ти до 7-ми ученіе. По окончаніи сего все привести въ порядокъ. Отъ 7-ми до 8-ми гимнастика или игры. Отъ 8 до 9-ти ужинъ. Отъ 9-ти до 10-ти обозрѣніе прошедшаго дня. Журналъ.

ВРЕМЯ НЕУЧЕБНОЕ.

1. Праздничные дни: Воскресные дни. Дни рожденія и именинъ Государя Императора, государыни императрицъ, великаго князя. Святая недѣля: первые четыре дня. Святки отъ Р. Х. до Новаго года.

2. Вакація отъ половины іюня до 1-го августа.

Расположеніе неучебнаго времени. Въ праздничные дни. Вставать въ 6 часовъ. Отъ 6-ти до 7-ми: молитва, завтракъ, чтеніе. Отъ 7-ми до 9-ти ручная работа. По окончаніи все привести въ порядокъ. Отъ 9-ти до 10-ти отдыхъ. Визиты. Отъ 10-ти до 12-ти гимнастика или чтеніе. Отъ 12-ти до 2-хъ прогулка. NB. Давъ время отдохнуть послѣ гимнастическихъ упражненій. Отъ 2-хъ до 3-хъ обѣдъ. Отъ 3-хъ до 6-ти игры. Отъ 6-ти до 8-ми чтеніе. Ученіе игры (?) разъ въ недѣлю или въ мѣсяцъ. Отъ 8-ми до 9-ти ужинъ. Отъ 9-ти до 10-ти обозрѣніе прошедшаго дня. Журналъ.

ВО ВРЕМЯ ВАКАЦІИ.

Сіе время не худо бы посвятить исключительно практическому изученію военнаго искусства. Предлагаю для сего нѣкоторыя общія мысли. Петръ Великій имѣлъ свой потѣшный полкъ: онъ находилъ въ немъ одну забаву, но эта забава, быть можетъ, образовала Полтавскаго героя и создателя русской арміи; будущему наслѣднику его престола и въ этомъ подражать великому своему праотцу. — Можно составить маленькій временной корпусъ изъ хорошо-воспитанныхъ дѣтей, числомъ отъ 100 до 200, и снабдить его всѣмъ, что входитъ въ составъ арміи. Такой корпусъ и потѣшный полкъ существовалъ бы не болѣе шести недѣль въ году: отъ половины іюня до послѣднихъ чиселъ іюля. Все это время могло бы быть посвящено разнообразной военной дѣятельности, а не одной механической. Великій князь узналъ бы на опытѣ службу и всѣ ея оттѣнки. И сіе занятіе, которое могло бы мѣшать и вредить его ученію, когда бы оно во всякое время было соединено съ нимъ, сдѣлалось бы новымъ, весьма дѣйствительнымъ средствомъ образованія, когда бы совершенно отъ остальнаго ученія отдѣлилось, когда бы ему посвящено было только такое время года, въ которое всякое другое занятіе обременительно. Каждая вакація могла бы составлять полную кампанію и каждая кампанія могла бы имѣть предметомъ особенную часть военнаго искусства: напримѣръ, первая кампанія была бы посвящена просто фронтовой службѣ; во вторую занимались бы полевыми укрѣпленіями; въ слѣдующую — артиллеріею; даже могла бы войти въ этотъ порядокъ и навигація. Царскосель-

скій прудъ легко можно обратить въ океанъ всемірный, на которомъ двѣ маленькія яхты могутъ въ одинъ день совершить путешествіе вокругъ свѣта. Такимъ образомъ великій князь, играя и переходя всѣ степени военнаго человѣка, отъ солдата до генерала, познакомился бы со всѣми подробностями службы военной. Наконецъ, могли бы постепенно дойти до самой тактики и стратегіи. Игры сіи практически приготовили бы къ методическому изученію наукъ военныхъ, коими великій князь можетъ заняться только во 2-мъ періодѣ, познакомившись предварительно съ математикою. Одно только необходимое условіе — чтобы сіи военныя наставительныя игры принадлежали исключительно одной эпохѣ года и нисколько не вмѣшивались въ остальное ученье, которое въ противномъ случаѣ разстроятъ совершенно, ибо уничтожатъ вниманіе. Ихъ главная польза было бы не одно пріобрѣтеніе свѣдѣній военныхъ, но и укрѣпленіе силъ физическихъ, и нравственное образованіе. Великому князю должно быть не простымъ солдатомъ, а мужемъ, достойнымъ престола Россіи. И здѣсь цѣлью было бы не одно знаніе фрунта, механически пріобрѣтаемое, но и дѣятельное пробужденіе высокихъ человѣческихъ качествъ—смѣлости, терпѣнія, расторопности, присутствія духа, осторожности, рѣшительности, хладнокровія, словомъ — всего, что составляетъ война въ истинномъ, прекрасномъ знаменованіи сего слова. Великій князь былъ бы въ толпѣ людей, имѣлъ бы товарищей, наравнѣ съ другими несъ бы тягость долга и службы: все это самымъ благотворнымъ образомъ могло бы дѣйствовать на его умъ и сердце, развернуло бы въ немъ все чистое, человѣческое, и укоренило бы его характеръ. Само по себѣ разумѣется, что начальство надъ такимъ корпусомъ должно быть поручено человѣку искусному, который могъ бы изъ игрушки сдѣлать наставленіе полезное и умѣлъ бы забавою дѣйствовать на душу, пробуждая въ ней спящія высокія качества. Такого рода забава не должна быть одна механическая экзерциція солдата, безплодная, если не убійственная, для нравственнаго человѣка: съ нею во власти наставника весь человѣкъ и всѣ его силы. Образованіе такого корпуса воннонъдѣтей—не бездѣлица; надобно ихъ знать, надобно умѣть управлять ими, надобно въ настоящемъ готовить будущее. Наставникъ долженъ понимать, что здѣсь въ забавѣ дѣтской таится геройзмъ мужа. И самъ онъ долженъ быть не простымъ знатокомъ фрунта, привыкшимъ видѣть въ солдатѣ одну машину, но просвѣщеннымъ знатокомъ военнаго дѣла, способнымъ понимать, что во власти его душа будущаго повелителя милліоновъ, можетъ быть—назначеннаго нѣкогда стать передъ русскою арміею и рѣшить судьбу народовъ. Такой человѣкъ долженъ быть не только знакомъ съ механическими подробностями службы военной — мелкими и развѣ только потому принадлежащими государю, что онъ, какъ Петръ Великій, не долженъ быть чуждъ никакихъ подробностей,—но и съ высокимъ назначеніемъ воина, которое онъ долженъ знать не изъ военнаго устава, но изъ всемірной исторіи, изъ дѣлъ Аннибала, Юлія Кесаря, Густава Адольфа, Фридриха. Скажу болѣе, при выборѣ таковаго наставника надобно смотрѣть не на одни знанія военныя, но и вообще на просвѣщеніе и характеръ нравственный, дабы, наставляя, онъ могъ и воспламенять душу ко всему великому и героическому. Однимъ словомъ, сію часть воспитанія великаго князя почитаю одною изъ самыхъ важныхъ: симъ способомъ онъ можетъ или быть навсегда испорченъ, то есть обращенъ въ мелочнаго солдата, или быть образованъ для истиннаго геройзма, для чести своего вѣка, для твердаго блага Россіи. Сіи военныя игры могутъ начаться въ первомъ періодѣ и продолжаться до окончанія втораго.

III. ЛИЦА.

Надзиратель за особою великаго князя. Помощникъ надзирателя. Надзиратель за ученіемъ великаго князя. При немъ: переводчикъ. Рисовщикъ. Писарь.

Учители въ первомъ періодѣ: учитель французскаго языка и счета. Учитель нѣмецкаго языка. Учитель польскаго языка. Учитель англійскаго языка. Учитель рисованія. Учитель танцованія. Учитель гимнастики. Мастеровой для ручной работы.

Ихъ должности.

NB. Здѣсь говорится объ одпѣхъ должностяхъ лицъ, коимъ будетъ поручено ученіе великаго князя, ибо предлагается одинъ только планъ ученія, а не всего воспитанія.

Должность надзирателя за ученіемъ великаго князя вообще: онъ наблюдаетъ [вмѣстѣ съ надзирателемъ за особою великаго князя] за ходомъ ученія и вмѣстѣ съ нимъ выбираетъ учителей.

Въ первомъ періодѣ: онъ беретъ на себя I-й и II-й классы предметовъ ученія; наблюдаетъ, чтобы учители, каждый по своей части, для сохраненія полноты и единства въ ученіи, совершенно сообразовались съ его планомъ.

Во второмъ періодѣ: онъ присутствуетъ при главныхъ урокахъ; онъ служитъ репетиторомъ великому князю, то есть учится съ нимъ вмѣстѣ и помогаетъ ему преподаваемое учителями обращать въ свою собственность.

Онъ беретъ на себя особенно преподаваніе россійскаго языка и упражняетъ великаго князя въ русскомъ слогѣ.

Въ третьемъ періодѣ: онъ вмѣстѣ съ великимъ княземъ составляетъ обозрѣніе всего пройденнаго во второмъ періодѣ, то есть помогаетъ ему подвесть итогъ подъ суммы, собранныя во всѣ годы его ученія.

Если на меня будетъ возложена обязанность надзирателя за ученіемъ его высочества, то мнѣ для успѣшнаго ея исполненія нужно имѣть нѣкоторыя пособія. По моему плану, объемлющему весьма много предметовъ [изъ которыхъ съ нѣкоторыми я еще самъ долженъ познакомиться], мнѣ надобно весьма много приготовляться къ часамъ учебнымъ — чтеніемъ, выписками, составленіемъ собственнаго учебнаго курса. Сверхъ того, по методѣ, мною избранной и которой пользу я знаю уже на опытѣ, для утвержденія въ памяти великому князю преподаваемаго на лекціяхъ, я долженъ самъ составлять много рисунковъ, картъ и таблицъ. Одно уже ихъ составленіе беретъ много времени; если же возьму на себя и переписываніе на-чисто и приготовленіе чистыхъ рисунковъ и картъ, то потеряю безполезнымъ образомъ часы, нужные мнѣ для приготовительныхъ моихъ занятій. Мнѣ необходимо имѣть рисовщика и переписчика, которые исключительно посвятили бы себя моему дѣлу. О необходимости составить избранную библіотеку дѣтскаго чтенія сказано выше. Сія работа требуетъ особеннаго вниманія; самъ ею заняться не могу: не буду имѣть времени. Но могу ею руководствовать. Нужно имѣть переводчика, который трудился бы подъ моимъ руководствомъ и по моему плану.

Должности учителей:

Въ первомъ періодѣ. Учители сообразуются въ планѣ своемъ съ главнымъ планомъ надзирателя.

Во второмъ періодѣ. Учители должны быть каждый профессоромъ своего дѣла; каждый долженъ дѣйствовать свободно, по собственному плану. Обязанность надзирателя: составлять цѣлое изъ ихъ разнообразныхъ уроковъ, согласуясь съ своимъ особеннымъ планомъ.

IV. ПОСОБІЯ.

ПРЕДМЕТЫ УЧЕНІЯ.

Библіотека: книги учебныя, лексиконы, избранныя классическія книги избранныя русскія книги.

Карты: новѣйшія лучшія карты,—генеральныя и спеціальныя; подробныя карты Россіи,—планы городовъ и мѣстъ.

Эстампы: виды городовъ и мѣстъ.

Архитектурные эстампы. Портреты знаменитыхъ людей. Костюмы древніе и новые. Изображеніе предметовъ натуральной исторіи.

Историческіе эстампы. Миѳологическія изображенія. Образцы для рисованія. Гипсы для рисованія. Маленькій физическій кабинетъ. Маленькій минералогическій кабинетъ. Технологическій кабинетъ. Нѣкоторые модели и рельефы. Предметы, нужные для гимнастики. Инструменты, нужные для ручной работы. Предметы, нужные для игръ учебныхъ. Lanterne magique. Фантасмагорія. Косморама.

Помѣщеніе. Расположеніе учебной комнаты должно соотвѣтствовать плану ученія. Учебная комната есть главная сцена дѣятельности воспитанника: въ ней онъ живетъ, трудится, мыслитъ и веселится — все въ ней должно способствовать его занятіямъ. Расположеніе учебной комнаты должно поручить тому, кто будетъ имѣть надзоръ за ученіемъ.

1. Въ ней долженъ быть методическій порядокъ, одинъ разъ навсегда установленный. Такой порядокъ не только помогаетъ работѣ, но и спасаетъ много времени и можетъ произвести благодѣтельную привычку, весьма полезную для будущаго.

2. Въ учебной комнатѣ должны быть соединены всѣ предметы учебные, расположенные такъ, чтобы всегда, безъ нарушенія порядка, было легко имѣть ихъ подъ рукою.

3. Все, что нужно укоренить въ памяти, должно быть всегда на виду, дабы то, что въ нѣкоторые опредѣленные часы преподается на лекціяхъ, было въ часы свободные — всегда, но нечувствительнымъ образомъ, безъ напряженія вниманія — повторяемо предметами, окружающими воспитанника.

4. Для гимнастическихъ упражненій, для игръ учебныхъ и другихъ должна быть отведена особенная большая горница. Не худо имѣть и особенную мастерскую, въ которой бы можно было *работать на просторѣ*, въ которой были бы соединены всѣ инструменты, нужные для ручной работы.

НѢКОТОРЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ.

Ученіе, по предложенному плану, тогда только можетъ имѣть успѣхъ совершенный, когда ничто, ни въ какомъ случаѣ, не будетъ нарушать порядка, одинъ разъ навсегда установленнаго; когда и особа, и время, и все окружающее великаго князя — будутъ, безъ всякаго ограниченія, подчинены тѣмъ людямъ, коимъ его высочество будетъ порученъ довѣренностію Государя. Государь Императоръ, конфирмовавъ сей планъ, да благоволитъ быть первымъ безпрекословнымъ его исполнителемъ.

Дверь учебной горницы, въ продолженіе лекцій, должна быть неприкосновенна; никто не долженъ себѣ позволять въ нее входить въ то время, которое великій князь будетъ посвящать занятію: изъ этого правила не должно быть ни для кого исключенія. Великій князь пріучится дорожить своимъ временемъ, когда увидитъ, что имъ дорожатъ и другіе, и что въ порядкѣ часовъ соблюдается строжайшая точность. Его высочество въ продолженіе своего воспитанія долженъ привыкнуть не почитать ничего выше своихъ обязанностей. Онъ долженъ идти впередъ постояннымъ и равнымъ шагомъ: порядокъ непарушимый есть главное для сего условіе. Осмѣлюсь сказать откровенно: частые переѣзды изъ мѣста въ мѣсто кажутся мнѣ весьма вредными для занятій великаго князя. Намъ надобно имѣть одно постоянное мѣстопребываніе — въ Петербургѣ зимою и одно, такое же, внѣ Петербурга, лѣтомъ. Въ противномъ случаѣ порядокъ нарушится и нельзя отвѣчать за успѣхъ ученія. Переѣзды будутъ мѣшать и вредить вниманію, будутъ препятствовать полнотѣ и необходимому спокойствію упражненій; вмѣсто устроенной учебной комнаты, будемъ имѣть одинъ станціи, въ которыхъ нельзя имѣть подъ рукою всѣхъ предметовъ

ученія: все это произведетъ привычку къ непостоянству и безпокойную охоту перемѣнять мѣсто, весьма вредную для будущаго. Самимъ наставникамъ нельзя будетъ дѣйствовать, какъ бы они желали: могутъ ли они всюду перевозить съ собою всѣ вещи для приготовленія своего къ лекціямъ? могутъ ли имѣть вездѣ просторъ, необходимый для собственныхъ занятій? А это не бездѣлица: здѣсь о наставникахъ такъ же нужно думать, какъ о воспитанникѣ. Безполезно требовать отъ нихъ невозможнаго. И со всею готовностію повиноваться высшей волѣ, они не будутъ въ состояніи ее исполнить и не должны отвѣчать за неуспѣхъ своихъ усилій.

Теперь прогулки его высочества имѣютъ цѣлью одно движеніе, полезны для здоровья. Современемъ можно будетъ соединить съ ними цѣль наставительную: можно будетъ ихъ посвящать на обозрѣніе разныхъ публичныхъ заведеній, зданій, кабинетовъ, мануфактуръ и проч. Но къ каждому такому обозрѣнію нужно быть предварительно приготовленнымъ: въ противномъ случаѣ, обозрѣватель можетъ привыкнуть довольствоваться поверхностными понятіями и смотрѣть безъ вниманія—невѣжество не имѣетъ любопытства. Но для таковыхъ наставительныхъ прогулокъ, требующихъ времени свободнаго, надлежитъ, по возможности, выбирать дни не учебные: въ противномъ случаѣ онѣ будутъ разстраивать установленный порядокъ часовъ—святыню, къ которой ни подъ какимъ предлогомъ прикасаться не должно.

Дабы имѣть понятіе о ходѣ и успѣхахъ ученія, должны быть установлены экзамены, ежемѣсячные и полугодовые; ежемѣсячные должны производиться въ присутствіи государыни императрицы; полугодовые [въ половинѣ іюня и въ концѣ декабря], если возможно, въ присутствіи самого государя императора.

На учебномъ столѣ должна лежать настольная книга, въ которую учители, по *окончаніи каждой лекціи*, будутъ записывать, каково было во время ея поведеніе и ученіе великаго князя. Осмѣливаюсь прибавить здѣсь одно замѣчаніе: изъявляемое одобреніе государя императора должно быть величайшею наградою для нашего воспитанника, а изъявленное неодобреніе его величества самымъ тяжкимъ наказаніемъ. Надобно весьма дорожить симъ важнымъ средствомъ. Смѣю думать, что государь императоръ не долженъ никогда хвалить великаго князя за прилежаніе, а просто оказывать свое удовольствіе ласковымъ обращеніемъ, безъ всякаго выраженія сего удовольствія. Таковое выраженіе должно быть предоставлено для немногихъ случаевъ. Чѣмъ будетъ оно рѣже, тѣмъ болѣе будетъ имѣть цѣны, тѣмъ сильнѣе будетъ дѣйствіе. Великому князю надлежитъ привыкать видѣть въ исполненіи своихъ обязанностей простую необходимость, не заслуживающую никакого особеннаго одобренія: такая привычка образуетъ твердость характера. Каждый отдѣльный хорошій поступокъ весьма маловаженъ: одно только продолжительное постоянство въ добрѣ заслуживаетъ вниманіе и хвалу. Его высочество долженъ пріучиться дѣйствовать безъ награды: мысль объ отцѣ должна быть его тайною совѣстью. Тогда только одобреніе отца будетъ для него благодѣтельнымъ счастіемъ и дѣйствительнымъ поощреніемъ къ новымъ усиліямъ. То же самое можно сказать и о выраженіи родительскаго неодобренія. Его высочество долженъ трепетать при мысли объ упрекѣ отца. Государь будетъ всегда знать о его мелкихъ проступкахъ, но пускай это будетъ тайною между его величествомъ и наставниками; пускай воспитанникъ чувствуетъ вину свою и самъ наказываетъ себя тягостнымъ своимъ чувствомъ. Но испытать явный гнѣвъ отца должно быть для него случаемъ единственнымъ въ жизни. Если когда нибудь дойдетъ до такой крайности, то лѣкарство будетъ спасительно и исцѣленіе несомнѣнно. Здѣсь у мѣста сказать нѣсколько словъ о подаркахъ, дѣлаемыхъ въ разное время

великому князю. Они непремѣнно должны входить въ общій планъ ученія и, такъ сказать, за нимъ слѣдовать. Имѣя много безполезнаго, становишься равнодушнымъ къ полезному. Великому князю не должно давать ничего такого, что не можетъ быть ему нужно въ настоящую минуту: получая преждевременно такую вещь, которую можетъ онъ цѣнить только послѣ, онъ будетъ смотрѣть на нее безъ вниманія; она успѣетъ потерять для него всю свою новость прежде нежели сдѣлаться ему извѣстною, и въ надлежащее время не возбудитъ желаемаго любопытства.

Если высочайшею довѣренностію государя мнѣ будетъ порученъ надзоръ за ученіемъ его высочества, то смѣю просить его величество утвердить меня въ моемъ званіи и дать мнѣ принадлежащее мнѣ имя, дабы я имѣлъ и право и полную свободу дѣйствовать. Въ чемъ состоитъ моя должность по сему званію, о томъ уже сказано выше. Здѣсь почитаю необходимымъ представить на судъ государя императора мой собственный образъ мыслей, чтобы его величеству было извѣстно—какъ я понимаю мою обязанность, въ какомъ духѣ желаю исполнить ее.

Не отвѣчая за свои способности, отвѣчаю за любовь мою къ моему дѣлу. Я могу дѣйствовать на нравственность великаго князя однимъ только образованіемъ его мыслей. Его характеръ въ рукахъ воспитателя. И воспитатель и наставникъ идутъ къ одной цѣли, но каждый имѣетъ свой особенный кругъ дѣйствія и долженъ знать свои границы. Мой кругъ дѣйствія есть руководствовать великаго князя въ пріобрѣтеніи нужныхъ ему познаній, дабы послѣ, вмѣстѣ съ нимъ, изъ всей ихъ суммы извлечь необходимыя для него правила жизни.

Во первыхъ, скажу: его высочеству нужно быть не ученымъ, а просвѣщеннымъ. Просвѣщеніе должно познакомить его только со всѣмъ тѣмъ, что въ его время необходимо для общаго блага и, въ благѣ общемъ, для его собственнаго. Просвѣщеніе въ истинномъ смыслѣ есть многообъемлющее знаніе, соединенное съ нравственностію. Человѣкъ знающій, но не нравственный — будетъ вредить, ибо худо употребитъ извѣстные ему способы дѣйствія. Человѣкъ нравственный, но невѣжда—будетъ вредить, ибо и съ добрыми намѣреніями не будетъ знать способовъ дѣйствія. Просвѣщеніе соединитъ знаніе съ правилами. Оно необходимо для частнаго человѣка, ибо каждый на своемъ мѣстѣ долженъ знать, что дѣлать и какъ поступать. Оно необходимо для народа, ибо народъ просвѣщенный болѣе привязанъ къ закону, въ которомъ заключается его нравственность, и къ порядку, въ которомъ заключается его благоденствіе и безопасность. Оно необходимо для народоправителя, ибо одно оно дастъ способы властвовать благотворно.

Сокровищница просвѣщенія царскаго есть исторія, наставляющая опытами прошедшаго, ими объясняющая настоящее и предсказывающая будущее. Она знакомитъ государя съ нуждами его страны и его вѣка. Она должна быть главною наукою наслѣдника престола. Исторія, освѣщенная религіею, воспламенитъ въ немъ любовь къ великому, стремленіе къ благотворной славѣ, уваженіе къ человѣчеству, и дастъ ему высокое понятіе о его санѣ. Изъ нея извлечетъ онъ правила дѣятельности царской. Сихъ главныхъ правилъ не много. Исторія познакомитъ наслѣдника престола съ судьбою народовъ и, объяснивъ причины ихъ бѣдствій и благоденствія во всѣхъ временахъ, должна сказать ему въ заключеніе: вѣрь, что власть царя происходитъ отъ Бога, но вѣрь сему какъ вѣрили Маркъ Аврелій и Генрихъ Великій; сію вѣру имѣлъ и Іоаннъ Грозный, но въ душѣ его она была губительною насмѣшкою надъ Божествомъ и человѣчествомъ. Уважай законъ и научи уважать его своимъ примѣромъ: законъ, пренебрегаемый царемъ, не будетъ хранимъ и народомъ. Люби и распространяй просвѣщеніе: оно — силь-

нѣйшая подпора благонамѣренной власти; народъ безъ просвѣщенія есть народъ безъ достоинства; имъ кажется легко управлять только тому, кто хочетъ властвовать для одной власти—но изъ слѣпыхъ рабовъ легче сдѣлать свирѣпыхъ мятежниковъ, нежели изъ подданныхъ просвѣщенныхъ, умѣющихъ цѣнить благо порядка и законовъ. Уважай общее мнѣніе: оно часто бываетъ просвѣтителемъ монарха; оно вѣрнѣйшій помощникъ его, ибо строжайшій и безпристрастный судія исполнителей его воли; мысли могутъ быть мятежны, когда правительство притѣснительно или безпечно; общее мнѣніе всегда на сторонѣ правосуднаго государя. Люби свободу, то есть правосудіе, ибо въ немъ и милосердіе царей и свобода народовъ; свобода и порядокъ — одно и то же; любовь царя къ свободѣ утверждаетъ любовь къ повиновенію въ подданныхъ. Владычествуй не силою, а порядкомъ: истинное могущество государя не въ числѣ его воиновъ, а въ благоденствіи народа. Будь вѣренъ слову: безъ довѣренности нѣтъ уваженія, неуважаемый—безсиленъ. Окружай себя достойными тебя помощниками: слѣпое самолюбіе царя, удаляющее отъ него людей превосходныхъ, предаетъ его на жертву корыстолюбивымъ рабамъ, губителямъ его чести и народнаго блага. Уважай народъ свой: тогда онъ сдѣлается достойнымъ уваженія. Люби народъ свой: безъ любви царя къ народу нѣтъ любви народа къ царю. Не обманывайся на счетъ людей и всего земнаго, но имѣй въ душѣ идеалъ прекраснаго — вѣрь добродѣтели! Сія вѣра есть вѣра въ Бога! Она защититъ душу твою отъ презрѣнія къ человѣчеству, столь пагубнаго въ правителѣ людей. Наконецъ, въ заключеніе слова Іоанна Мюллера, которыми онъ оканчиваетъ свою «Всемірную Исторію»: «Умѣренность — порядокъ, а смыслъ ихъ: не упускай никогда изъ глазъ своей цѣли; подвигайся впередъ не быстро, но постоянно; строй безъ спѣха, но для вѣковъ; исправляй не разрушая; не упреждай своего вѣка, и не отставай отъ него; не будь его рабомъ, но свободно съ нимъ соглашайся: будешь владѣть имъ, когда не презришь его совѣта; будешь его жертвою или окружишь себя жертвами, если хочешь его переспилить».

Таковы главныя правила, которыя наслѣдникъ престола долженъ современемъ извлечь для себя изъ исторіи: свободное изложеніе ихъ передъ государемъ есть въ то же время и моя исповѣдь.

Государь! можетъ быть, прежде я бы не съ такою довѣренностію къ вамъ употребилъ сей языкъ свободный! Но теперь, послѣ того, что случилось, смѣлая искренность съ вами не стоитъ никакого усилія. Вы познакомили съ собою Россію; вы доказали намъ, что можете благу общему жертвовать собою; въ минуту опасную вы ввѣрились своему народу; вашей неустрашимости обязаны мы сохраненіемъ спасительнаго царскаго трона; съ этой минуты видимъ дѣятельность, имѣемъ право надѣяться временъ прекрасныхъ, порядка, законовъ, просвѣщенія, всего, что было въ душѣ Александра. При такихъ надеждахъ и мнѣ, какъ вѣрному подданному царя, какъ вѣрному сыну отечества, усладительнѣе приступить къ священному своему дѣлу. Содѣйствуйте, государь, его успѣху, помогая наставникамъ въ непарушимомъ исполненіи ихъ плана. Царствуя для блага Россіи, вы будете царствовать и для вашего сына: онъ будетъ спокойно возрастать подъ благотворнымъ вліяніемъ правленія мужественнаго; современемъ отъ васъ же научится высшему искусству; а наслѣдіемъ его будетъ устроенная Россія и люди, образованные вами для поддержанія съ нимъ вмѣстѣ сего устройства.

ПРИМѢЧАНІЯ.

Изъясненіе картинки.

Статья была написана Жуковскимъ по поводу помѣщенія въ „Вѣстникѣ Европы“ рисунка съ картины Караффа. „Картина Караффа, замѣчаетъ Тихонравовъ, послужила лишь внѣшнимъ поводомъ къ тому, чтобы съ полною искренностью высказать то, что происходитъ въ душѣ поэта, что составляло его задушевныя вѣрованія въ эту эпоху...“ Изслѣдователь справедливо называетъ статью „исповѣдью“, отрывкомъ изъ автобіографіи поэта...“

Два слова отъ издателя „Вѣстника Европы“.

„Два слова“ были помѣщены въ „В. Евр.“ 1809, № 8 (стр. 125—130), а въ № 8 того же года въ журналѣ было отъ Семена Истомина заявлено, что нѣкоихъ стиховъ въ редакцію онъ не посылалъ, что вообще все это сдѣлано кѣмъ-то другимъ, желавшимъ ему повредить, надъ нимъ посмѣяться („В. Евр.“ 1809, № 8, стр. 262—264). Къ заявленію Истомина „издатель“-Жуковскій присоединилъ: „Издатель желалъ бы охотно выслать господину Истомину оригиналъ присланныхъ къ нему отъ его имени стиховъ, но онъ не могъ найти его между бумагами. Господинъ Истоминъ можетъ, и не зная имени того глупца, который подшутилъ надъ нимъ такъ грубо, заплатить ему за обиду его прощеніемъ и презрѣніемъ“.

Благодарность любезному издателю „Аглаи“.

Издателемъ сборника „Аглая“ былъ кн. П. И. Шаликовъ.

Редакторскія замѣтки при статьяхъ „Вѣстника Европы“ 1808—1809 гг.

Изъ четырехъ этихъ замѣтокъ, помѣщенныхъ въ видѣ примѣчаній, *первая* находится при статьѣ: *Письмо къ издателю*, о подвигѣ русскаго самоотверженія, при наводненіи въ Якутскѣ,—напечатанной въ „В. Евр.“ 1808 г., № 5; *вторая*, о И. Ѳ. Алферовѣ,—при статьѣ: *Два письма русскаго путешественника изъ Константинополя и Лондона* [„В. Евр.“, 1808, № 7—11]; *третья*, о меланхоліи,—является примѣчаніемъ къ статьѣ: *Меланхолія. Сочиненіе женщины, которая никогда не бывала въ меланхоліи* [„В. Евр.“, 1808, № 12]; *четвертая*—при статьѣ: *Фенелонъ, воспитатель герцога Бургонскаго* [„В. Евр.“, 1809, № 4]. Находящіеся въ послѣдней статьѣ инициалы: *И. В. Л.*, означаютъ: Ив. Вл. Лопухинъ.

Радамистъ и Зенобія.

П. Ж. Кребильйонъ († 1762)—одинъ изъ извѣстнѣйшихъ драматическихъ писателей первой половины XVIII в. *Radamiste et Zenobie* была одной изъ лучшихъ его трагедій. Переводчикъ трагедіи—Степанъ Ивановичъ Висковатовъ, въ свое время издавшій не мало различныхъ драматическихъ сочиненій, а также стихотвореній, занималъ мѣсто переводчика при дирекціи петербургскихъ театровъ. Лѣтомъ 1831 года Висковатовъ пропалъ безъ вѣсти.

Электра и Орестъ.

А. Н. Грузинцевъ—плодовитый, но довольно бездарный писатель двухъ первыхъ десятилѣтій XIX вѣка. Трагедія его *Электра и Орестъ* была представлена на петербургской сценѣ въ ноябрѣ 1809 года. Рецензія Жуковскаго вызвала возраженіе (тогда же напечатанное въ „В. Евр.“),—неизвѣстный авторъ котораго называетъ Жуковскаго мелочнымъ писателемъ, завистливо относящимся къ „успѣхамъ хорошаго творенія“...

Изъ альбомовъ гр. С. А. Самойловой.

Считаемъ не лишнимъ привести здѣсь недавно Н. К. Кульманомъ отрывки, читаемые въ автографныхъ альбомахъ, находящихся въ библіотекѣ графовъ Бобринскихъ и подаренныхъ нѣкогда Жуковскимъ гр. С. А. Самойловой, одной изъ фрейлинъ императрицы Маріи Ѳеодоровны, въ 1821 году вышедшей замужъ за гр. А. А. Бобринскаго. Какъ справедливо замѣчено г. Кульманомъ,—отрывки эти „прекрасно характеризуютъ основныя черты міровоззрѣнія Жуковскаго“... Отрывки помѣчены *20 августа 1819 г.*,—*17 сентября 1819 г.* и *7 октября* того же года. Приводимъ ихъ въ этомъ порядкѣ.

„...И когда-то сказалъ: *счастіе жизни состоитъ не изъ отдѣльныхъ наслажденій, но изъ наслажденій съ воспоминаніемъ*, и эти наслажденія сравнилъ я съ фонарями, зажженными ночью на улицѣ: они раздѣлены промежутками, но эти промежутки *освѣщены*, и вся улица свѣтла, хотя *не вся* составлена изъ свѣта. Такъ и *счастіе жизни! Наслажденіе — фонарь*, зажженный на дорогѣ жизни; *воспоминаніе — свѣтъ*, а *счастіе—рядъ* этихъ фонарей, этихъ прекрасныхъ свѣтлыхъ воспоминаній, которыя всю жизнь озаряютъ. Надежда—пустое слово; она привлекательна только для неопытности, которая не знаетъ еще жизни, для которой вся прелесть этого слова заключена въ его непостижимости. И что надежда? Безпокойное, хотя не рѣдко сладостное ожиданіе чего-то въ будущемъ; такое ожиданіе только вредно: оно уничтожаетъ настоящее. Позабудь о будущемъ, чтобы жить какъ должно; пользуйся настоящею минутою, ибо только она есть вѣрное средство къ прекрасному! Зажигай свой фонарь, не заботясь о тѣхъ, кои Провидѣніе дастъ зажечь послѣ: въ свое время ты оглянешься, и за тобою будетъ прекрасная, свѣтлая дорога! Между настоящею минутою и неизвѣстнымъ предѣломъ жизни помѣсти не *надежду*, а *Провидѣніе*: переходя отъ одной, озаренной яркимъ воспоминаніемъ минуты, къ другой, такой же, нечувствительно дойдешь до этого предѣла, за которымъ вѣрное, неизмѣнное будущее. Объ немъ можно думать безъ волненія, оно не мѣшаетъ жизни! Но что же ждѣшнее будущее? Приходитъ ли оно когда-нибудь такимъ, какимъ мы его себѣ воображаемъ? На что же ему вѣрить и объ немъ заботиться? Прошедшее же пускай идетъ съ нами *рядомъ!* Пусть будетъ нашимъ добрымъ утѣшителемъ, ободряющимъ спутникомъ!

Для сердца прошедшее вѣчно!

Можно нѣкоторымъ образомъ сказать, что существуетъ только то, чего ужъ нѣтъ! Будущее можетъ не быть; настоящее можетъ и должно перемѣниться; одно прошедшее неподвержено непримѣнимости: воспоминаніе бережетъ его; и если это воспоминаніе чистое, то оно есть ангелъ-хранитель нашего счастія; оно утѣшаетъ наши горести; оно озаряетъ предъ нами неизвѣстность будущаго. Ясный фонарь на дорогѣ жизни... Что онъ? Одно ли наслажденіе, столь же быстрое и тлѣнное, какъ продетающая минута? О, нѣтъ! доброе чувство, высокая мысль, прекрасное дѣло—имъ одинъ принадлежитъ воспоминаніе! Эти свѣтлыя минуты, въ которыя мы жили сердцемъ, созданнымъ для прекраснаго, высокаго и добраго, можно назвать минутами божественнаго откровенія: въ эти минуты Божество неотрицаемо. Я назвалъ бы каждое прекрасное чувство, каждую высокую, сердцемъ внушенную мысль *Богомъ!* Не Онъ ли говоритъ въ нихъ душѣ человѣческой: *Я здѣсь!* И какъ въ такую минуту не отвѣчать Ему: *вторую Господи!* И рядъ такихъ минутъ, въ которыя Божество, блеснувъ предъ тобою собственнымъ же твоимъ чувствомъ, не угасло, но оставило тебѣ *сѣмя свое* въ воспоминаніи, рядъ фонарей — вотъ счастіе! и оно вѣчно, какъ сердце его, съ его неизгладимыми воспоминаніями!

Еще одна мысль, которая здѣсь у мѣста: жизнь есть *воспитаніе*. Все въ ней служитъ урокомъ. *Цѣль* жизни—знать хорошо урокъ свой, чтобы не постыдить себя передъ Верховнымъ Учителемъ. *Гдѣ* придется употребить уроки Его въ пользу, знаетъ только Онъ. Что Онъ учитъ *не напрасно* – это вѣрно, и въ *знаніи этого*, основанномъ на чувствѣ, вся наша вѣра.

Павловскъ, 29 августа, 1819 г.

17 сентября 1819 г.

„Вы позволили мнѣ сдѣлать вамъ подарокъ въ день вашего ангела: я вздумалъ подарить васъ такою книгою, которая могла бы служить вамъ вмѣсто *руководства въ чтеніи другихъ книгъ* и добрымъ, вѣрнымъ товарищемъ на цѣлую жизнь. Книга, которую я для этого выбралъ, которой пользу *отчасти* знаю по собственному опыту (я прочиталъ ее въ первый разъ въ такое время, когда мнѣ былъ очень нуженъ ободрительный совѣтникъ), по своему *заглавію* прилична дню вашего ангела, а по своему содержанію прилична вамъ. При ней Библія, необходимая для того, чтобы прочитать ее съ пользою: я выбралъ нѣмецкую для того, что авторъ ссылается всегда на библію нѣмецкую: вамъ легче будетъ отыскивать тѣ мѣста, на которыя онъ въ ней указываетъ. Приложенную же *бѣлую книгу* вы наполните *своимъ*. Я началъ ее нѣкоторыми собственными мыслями, которыя набросалъ безъ порядка и связи. Пусть будутъ онѣ здѣсь вмѣсто предисловія. Сіе ихъ достоинство состоитъ въ томъ, что онѣ произведены искреннимъ желаніемъ вамъ такого счастія, на которое имѣете право болѣе многихъ и которое можете найти легче многихъ: надобно только на него *посмотрѣть со вниманіемъ* и оно ваше"...

Wisser, ein erhabner Sinn
Legt das *Grosse* in das Leben
Und er *sucht es nicht* darinn.

„Это *великое*, это *прекрасное* таится въ насъ самихъ и жизнь дана для того, чтобы узнать его тайну: въ этомъ *узнаніи* вся ея цѣль; оно одно составляетъ прямое ея достоинство. Жизнь есть училище, въ которое душа входитъ младенцемъ, изъ котораго должна выйти возмужалою и созрѣвшею.

„Можно сказать, что вокругъ насъ ничто не существуетъ отдѣльно: все беретъ образъ души нашей; все ея отголосокъ; все оживляетъ она тѣмъ бытіемъ, которое въ ней самой таится.

„Мыслить, чувствовать—вотъ прямая (внутренняя) жизнь наша. Она *только обнаруживается* посредствомъ дѣйствія, которымъ, такъ сказать, мы связаны съ тѣмъ, что насъ окружаетъ. Чѣмъ болѣе совершенства въ мысляхъ и чувствахъ, тѣмъ лучше и вѣрнѣе наши дѣйствія. Если далимъ себѣ первое, то послѣднее само собою будетъ ея послѣдствіемъ.

„Счастіе жизни—красота души, неизмѣняющаяся посреди перемѣнчивыхъ случаевъ жизни.

„Съ каждою новою мыслію, съ каждымъ новымъ чувствомъ прибавляется къ душѣ нѣчто такое, чего въ ней еще не было. Это нѣчто становится ея вѣчною, неотъемлемою собственностію.

„Мысли и чувства, въ равное время посѣщавшія душу, сливаются въ ея сущность и составляютъ наконецъ ея величіе или низость, ея красоту или безобразіе. Такимъ образомъ, можно сказать, что наша душа, отдѣльно, сама по себѣ существующая, есть въ то же время и произведеніе всего, что посредствомъ мысли и чувства вошло въ нее въ теченіе жизни: произведеніе болѣе или менѣе совершенное и *пріобрѣтеніе этого совершенства*, для коего единственно дана человѣку его земная жизнь, зависитъ отъ насъ самихъ. Провидѣніе есть только всемогущій нашъ *помощникъ*: оно только предлагаетъ намъ способы, только поддерживаетъ или усиливаетъ наше стремленіе; но пользоваться предлагаемыми способами, но повиноваться святому стремленію — это предоставлено намъ самимъ и здѣсь мы неограниченно свободны.

„Два способа пріобрѣтать сіе совершенство: *извлекать прекрасное изъ опытовъ жизни; извлекать прекрасное изъ самого себя.*

„*Опыты жизни*—здѣсь мы не иное что, какъ путешественники по землѣ Провидѣнія. Оно съ заботливою попечительностію окружаетъ насъ житейскими встрѣчами. Добро и зло, великое и малое, все есть его посланникъ, есть испытатель и слѣдовательно совершенствователь души нашей. Отъ насъ требуетъ оно только прекраснаго. Всякій случай жизни есть *средство* къ прекрасному; не наше дѣло вступаться въ распоряженіе сихъ предлагаемыхъ намъ средствъ — мы должны и можемъ только *исполнять требованія* Промысла. Скажу опять—мы *не властны* въ выборѣ средствъ, то есть въ выборѣ тѣхъ случаевъ счастливыхъ или несчастныхъ, тѣхъ радостей или печалей, которыя должны посѣтить насъ въ жизни, — это дѣло Провидѣнія! Но мы *властны* во всякомъ случаѣ вслушиваться въ одобрительный его голосъ, во всякомъ случаѣ понять его высокое требованіе и свободно исполнить то, чего оно требуетъ. Опыты жизни, съ этой стороны разсматриваемые, представляются въ блескѣ величественномъ; жизнь въ этомъ случаѣ есть нѣчто святое и драгоцѣнное. Въ такомъ понятіи объ жизни заключается наша *твердость*, болѣе нужная въ мелкихъ, ежедневныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ легко забыться, нежели въ случаяхъ важныхъ, пробуждающихъ всю нашу душу и заставляющихъ ее вооружиться всѣми своими силами. — Итакъ, при каждомъ представляющемся опытѣ жизни (въ этотъ разрядъ входитъ все, что *внѣ* насъ: и люди, насъ окружающіе, и вся необъятная природа), при каждомъ представляющемся опытѣ жизни спрашивать: *что прекраснаго можно извлечь изъ него?* Внутренній голосъ всегда откликнется на вопросъ нашъ. *Вслушаться и исполнить!* Душа сдѣлается выше, и мы на шагъ приближимся къ своему назначенію. Найденное прекрасное сдѣлается *нашимъ*. Свѣтлый фонарь загорится и не угаснетъ. А мы *впередъ!* чтобы зажечь новый, такой же неугасимый.

„*Извлекать прекрасное изъ самого себя* — быть съ *собою*, разбирать свою жизнь, свои обязанности, свое прошедшее и будущее, въ присутствіи строгаго свидѣтеля, *совѣсти*, въ присутствіи великаго ободрителя, *Бога*. Внутренность нашей души—безопасное, всегда вѣрное наше прибѣжище и въ счастіи, и въ несчастіи. Кому знакомъ этотъ пріютъ, кому легко находить въ него дорогу, тотъ истинно независимъ; тотъ, смиренно покоряясь своей судьбѣ, никогда не будетъ ни рабомъ ея, ни жертвою. Внутренность души нашей—здѣсь наше владычество; въ это святилище впускаемъ мы однихъ только избранныхъ; все, что *внѣ* его, покорствуетъ судьбѣ; все, что *въ немъ*, то наше и независимо. *Быть съ собою* значитъ давать себѣ отчетъ въ томъ, каковы мы, что пріобрѣ-

ли въ теченіе, прошедшей жизни своей, что можемъ и должны пріобрѣсти еще въ будущемъ. *Быть съ собою* значитъ давать бытію своему полноту и твердость, цѣнить и объяснять то, что насъ окружаетъ, отдѣляться отъ внѣшняго, чтобы знакомиться со внутреннимъ. Но быть съ собою можно только въ *уединеніи*, въ которомъ, можно сказать, настоящая жизнь наша. Оно одно даетъ намъ необходимую свободу мыслить и чувствовать, въ него приносимъ ту добычу, которую собираемъ посреди свѣта, въ немъ пользуемся сокровищемъ, нами скопленнымъ, и въ немъ только узнаемъ истинную цѣну самой свѣтской жизни.

„Одинъ изъ дѣйствительнѣйшихъ способовъ *быть съ собою есть чтеніе*. Если чтеніе почитать только однимъ занятіемъ, однимъ лѣкарствомъ отъ скуки, то оно не иное что, какъ разсѣянность, принадлежащая къ безчисленному множеству мелочей, развлекающихъ нашу душу посреди свѣта. Но совсѣмъ напротивъ: чтеніе есть одна изъ *важнѣйшихъ нашихъ обязанностей*. Миллеръ говоритъ: Lesen ist nichts; lesen und denken—etwas; lesen, denken und fühlen—die Vollkommenheit. Читать надобно съ тою же цѣлію, съ какою надобно жить, то есть для усовершенствованія души своей. Книги—идеальный свѣтъ посреди свѣта существеннаго. Но въ существенномъ мы зависимы отъ всего, что насъ окружаетъ; мы повластны ни выбирать, ни перемѣнять тѣхъ людей, съ коими насъ сводитъ судьба наша, мы непроизвольно принимаемъ тѣ впечатлѣнія, которыя даетъ намъ все окружающее насъ и отъ насъ независимое; мы свободны только *извлекать нравственное добро* изъ сихъ неподвластныхъ намъ впечатлѣній. Въ книгахъ напротивъ! въ нихъ, можно сказать, повторяется тотъ же міръ и съ тѣми же впечатлѣніями, но здѣсь мы уже *властны въ выборѣ;* здѣсь можемъ окружать себя только тѣмъ, что сходно съ нашею цѣлію, что близко нашей душѣ, что можетъ ее возвысить и усовершенствовать. Съ книгою въ рукѣ, не сходя съ мѣста, мы приближаемъ къ себѣ все, что есть, было и можетъ быть прекраснаго въ природѣ, и это *все* единственно для того, чтобы *приковать* его душѣ, чтобы дать ей достоинство для счастія и несчастія, чтобы освѣтить передъ нею дѣйствію жизнь, чтобы ее приготовить для жизни будущей, вѣрной, хотя и неизвѣстной. Чтеніе въ этомъ смыслѣ есть *дѣятельность высокая, одно изъ твердѣйшихъ основаній нашей нравственности.*

„*Чтеніе для женщины* не то, что *чтеніе для мужчины*. Кругъ мужчины обширный и многообъемлющій. Сверхъ общей цѣли человѣчества, *нравственнаго образованія*, онъ можетъ имѣть и множество другихъ, особенныхъ, какъ человѣкъ государственный, какъ ученый и прочее. Кругъ женщины ограниченный. Въ него входитъ одно только *просто человѣческое*. Ей нужно только пріобрѣсти то, что на нѣмецкомъ языкѣ такъ прекрасно называется Weiblichkeit и для чего нѣтъ еще выраженія въ языкѣ нашемъ. Въ этомъ словѣ и вижу всю прекрасную жизнь женщины: простоту, искусственность глубокаго чувства, просвѣщеннаго знаніемъ; знакомство со всѣмъ, что есть лучшаго въ природѣ и въ обществѣ; богатство свѣдѣній не для блеска, но для скромнаго внутренняго наслажденія, для мирнаго, я бы сказалъ, *стыдливаго* сіянія посреди немногихъ, ей принадлежащихъ любовію. Женщина создана для семейства — въ немъ ея дѣятельность, чистая, всегда полезная, всегда благодатная! Въ свѣтѣ она должна только находить минутный отдыхъ и то для одного разнообразія, для живѣйшаго почувствованія цѣны прямого, ею одною творимаго счастія. Ей нужны только тѣ знанія, которыя могутъ быть *полезны въ тѣсномъ кругу домашнихъ;* она въ выборѣ ихъ должна ограничить себя однимъ только *лучшимъ* и это лучшее должна она перелить въ свою душу, дабы нравственнымъ добромъ, ею пріобрѣтеннымъ, счастливить *немногихъ избранныхъ*. Чтеніе для мужчины весьма часто бываетъ скучною, утомительною работою, чтеніе женщины всегда можетъ быть чистымъ наслажденіемъ, и за сіе наслажденіе получаетъ она еще награду: *усовершенствованіе нравственное*, то именно, что составляетъ цѣль бытія человѣческаго.

„Итакъ, въ короткихъ словахъ: читать одно *лучшее* и читать *не для разсѣянія*, а для того, чтобы чтеніемъ *дополнять уроки жизни;* очистить и возвысить душу, дать мыслямъ ясность, порядокъ и полноту; ясно постигнуть свою цѣль и безпрестанно усиливать свое къ ней стремленіе; читать не много, но много *мыслить*, дабы чужое обратить въ собственное. Читать въ нѣкоторомъ *порядкѣ*".

„Маленькая книжка, которую здѣсь прилагаю, можетъ быть прекраснымъ основаніемъ чтенія въ такомъ смыслѣ. *Вѣра, любовь, надежда*, а сказать однимъ словомъ, высокая *мудрость*—это цѣль жизни; таково содержаніе этой книжки. Въ ней мало для чтенія, зато много для размышленія. Въ ней приведено въ одинъ ясный порядокъ все то, что заключается въ разныхъ книгахъ Святаго Писанія.—*Религія истинная и нравственное совершенство одно и то же:* кто возвышаетъ душу свою, тотъ сближается съ Богомъ. Къ этому *все* должно вести насъ въ жизни — и *всѣ* другія книги должны быть для васъ только дополненіемъ *этой*. Сперва прочитать ее, но, чтобы прочитать какъ должно, надобно выписать изъ библіи всѣ тѣ мѣста, на которыя ссылается авторъ, и точно въ томъ порядкѣ, въ какомъ онъ назначилъ: такимъ образомъ, все существенное Святаго Писанія, то именно, что можетъ быть всегда примѣнено къ дѣятельной жизни, будетъ для васъ соединено въ одно порядочное цѣлое. Этой работы будетъ надолго: положите себѣ за правило каждый день *наполнить одну страницу выписками*, этого довольно: день не будетъ потеранъ. Когда всѣ выписки кончатся, то перечитать книжку *вмѣстѣ съ ними* — это окончательное чтеніе все возобновитъ въ мысляхъ и все приведетъ въ порядокъ. Но эти выписки не займутъ *всей* этой бѣлой книги, останется большая половина ея бѣлою: она для *дополненій*. Что найдете въ другихъ книгахъ прямо прекраснаго, такого, что можетъ быть годно для *зажженія свѣтлаго фонаря*, то записывайте сюда; но еще болѣе записывайте то, что придумаете сами; вамъ не будетъ недостатка въ прекрасныхъ мысляхъ и чувствахъ. Такимъ образомъ, эта книжка, данная намъ въ минуту сердечнаго желанія вамъ добра, въ минуту надежды, что это желаніе сбудется, эта книжка будетъ современемъ заключать въ себѣ сокровище *добраго* и *прекраснаго*, будетъ повѣреннымъ и свидѣтелемъ вашей жизни, доброму и прекрасному посвященной. А я повторю здѣсь сказанное прежде:

Я вѣрю—ваше сердце встрѣтитъ
Прямую предесть жизни сей,
И рядъ веселыхъ фонарей
Дорогу вашу всю освѣтитъ.
Пусть друга-ангела рука
Ихъ зажигаетъ передъ вами...
А я, хотя *издалека*
За вами слѣдуя глазами,
Васъ буду сердцемъ провожать
И благодарно ихъ считать.

„P. S. 7 *октября*. Написавши все это, я былъ нѣсколько времени въ нерѣшимости, отдавать ли вамъ мою книгу или нѣтъ. Признаюсь въ слабости: *ложный стыдъ* меня удерживалъ. Дарить библію осьмнадцатилѣтнюю дѣвушку, утомлять ея вниманіе совѣтами... и посмотрѣлъ на себя глазами свѣта и показался смѣшнымъ самому себѣ. И въ этомъ я *виноватъ* передъ вами. Въ чистотѣ и безкорыстности моего намѣренія заключено и его оправданіе. Могу быть страннымъ, только не въ вашихъ глазахъ. Если еще не имѣю права сказать: *я знаю васъ!* то могу сказать: *я васъ предчувствую!* то есть, я вижу васъ *такою*, какою вы быть можете, въ увѣреніи, что мое предчувствіе сбудется. Эта надежда оправдываетъ и мой выборъ. Къ тому же я и не безъ награды: *помыслить вслухъ для васъ и вмѣстѣ съ вами о добромъ есть счастіе*. Вы *не должны* жить, какъ живутъ обыкновенно; жизнь ваша должна быть *пре-*

красною, а все прекрасное жизни можно выразить однимъ словомъ: *религія!* (изъ этого понятія исключается все, что есть суевѣріе, все, что выдумано слабымъ невѣжествомъ; религія – сближеніе съ Божествомъ посредствомъ мысли, чувства, долга!). Чѣмъ ранѣе этотъ товарищъ присоединится къ жизни, тѣмъ она яснѣе, счастливѣе, выше—и чтеніе съ выборомъ, съ порядкомъ, съ постоянствомъ есть одно изъ вѣрнѣйшихъ средствъ пронавести это товарищество. Религія, необходимая человѣку вообще, для женщины въ особенности служитъ самымъ надежнымъ помощникомъ: она беретъ для нея характеръ нѣжнѣйшій, ея особенному характеру болѣе соотвѣтствующій; она теряетъ для нея все метафизическое, отвлеченное и обращается въ глубокое, ясное, животворное чувство, которое убѣдительнѣе всякаго умозрѣнія; она оживляетъ для нея ея должности и даетъ ей сладостную твердость для мелкихъ, ежедневныхъ пожертвованій, которымъ женщина, по своему положенію въ свѣтѣ, безпрестанно бываетъ подвержена. Чѣмъ ранѣе войдетъ она въ ея жизнь, тѣмъ жизнь ея сдѣлается вѣрнѣе и безопаснѣе, тѣмъ плодовитѣе будетъ она истинными, непеременчивыми наслажденіями. Мы почти на каждомъ шагу встрѣчаемъ женщинъ, которыя, посвятивъ свѣжую свою молодость легкомысленной разсѣянности свѣта, истощивъ ею лучшія свои чувства, передаются религіи въ такое время, когда свѣтъ покидаетъ ихъ: но этотъ переходъ принужденный! Онѣ приносятъ усталую душу въ святилище, съ ними входитъ туда сожалѣніе о томъ, что для нихъ невозвратно потеряно, и небесное дѣлается для нихъ насильственною, слѣдовательно, неудовлетворительною замѣною земнаго, все еще любезнаго, хотя уже имъ давно чуждаго. Онѣ добровольныя изгнанницы, тоскующія втайнѣ по отчизнѣ, ими покинутой. И по большей части ихъ запоздалая религія бываетъ соединена съ нетерпимостью (intolerance) и съ суевѣріемъ, недостойнымъ души человѣческой. Небесное должно быть съ земнымъ неразлучно: не уничтожая его, оно только его освящаетъ! Это два товарища, ведущіе насъ къ одной и той же цѣли. Не въ позднее осеннее время жизни, но въ первой молодости весенней, когда душа еще *въ цвѣту,* должны мы познакомиться съ религіей. Она не противна свѣту, не требуетъ затворничества; напротивъ, она очищаетъ и еще болѣе усиливаетъ всѣ наши житейскія связи. Но узнанная въ молодости, безъ принужденія, а по естественному стремленію души, она обращается въ ея сущность, становится радостнымъ, безмятежнымъ *бытіемъ внутреннимъ въ отношеніи къ намъ самимъ* и дѣятельною *любовію въ отношеніи ко всему, что насъ окружаетъ.* И такая только жизнь можетъ быть *вамъ* прилична. Теперь ваша душа *въ полномъ цвѣту!* Съ запасомъ прекрасныхъ качествъ (способовъ счастія) стоите вы у начала дороги, ведущей въ обѣтованную землю; какъ не пожелать, чтобы вы пошли по ней, окруженныя всѣми прямыми, достойными васъ благами жизни! Наша душа, какъ магнитъ, имѣетъ притягательную силу для всего прекраснаго (но она можетъ имѣть и силу отрицательную, какъ тотъ же магнитъ). Этой притягательной силы въ душѣ вашей много! Давайте ей пищу: все прекрасное прильнетъ къ ней само собою. [См. Н. К. Кульмана, рукописи В. А. Жуковскаго, хранящіяся въ библіотекѣ гр. А. А. и А. А. Бобринскихъ. Извѣстія II отд. И. Ак. Наукъ, т. V, СПВ., 1900, кн. 4, стр. 1081—1083. 1103—1112].

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

1797.

Мысли при гробницѣ 3

1798.

Миръ и война 4
Жизнь и источникъ 5
Рѣчь на актѣ въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, 14 ноября 1798 г. 6

1800.

Къ надеждѣ 9
Мысли на кладбищѣ 10
Истинный герой. . . . . —

1803.

О путешествіи въ Малороссію. . . . 11
Вадимъ Новогородскій. 13

1808.

Письмо изъ уѣзда къ издателю . . . 20
Изъясненіе картинки 27
Три сестры 28
Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ 30
О новой книгѣ: (Училище бѣдныхъ, сочиненіе госпожи Ле пренсъ де Бомонъ) 33
Писатель въ обществѣ 36
Три пояса (русская сказка) 42

стр.

1809.

Марьина роща (старинное преданіе) . 50
Два слова отъ издателя 63
Печальное происшествіе 65
О баснѣ и баснях Крылова 68
Московскія записки 79
О критикѣ (письмо къ издателямъ «Вѣстника Европы») 94
О сатирѣ и сатирахъ Кантемира. . . 99

1808—1809.

Редакторскія замѣтки при статьяхъ «Вѣстника Европы» 1808—1809 гг. 117

1810.

Радамистъ и Зенобія 122

1811.

Электра и Орестъ 128

1818.

О новой книгѣ (Паррота: Entretiens sur la phisique) 133
Планъ ученія Его Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича 135
Примѣчанія 148

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

В. А. ЖУКОВСКАГО

ВЪ 12-ТИ ТОМАХЪ.

Подъ редакціей, съ біографическимъ очеркомъ
и примѣчаніями

проф. **А. С. Архангельскаго.**

Съ приложеніемъ портрета Жуковскаго, гравированнаго на стали,
и его факсимиле.

X.

Приложеніе къ журналу „Нива“ за 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Измайловскій просп., № 29.

1826.

—

СОКРАЩЕННЫЙ ПЛАНЪ УЧЕНІЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА,

СООБЩЕННЫЙ В. А. ЖУКОВСКИМЪ, ВО ФРАНЦУЗСКОМЪ ЕГО ПИСЬМѢ КЪ Ф. А. ЖИЛЛЮ, ИЗЪ ДРЕЗДЕНА. 1826 ГОДА.

Lettre adressée à Gille.

J'aurais voulu vous avoir auprès de moi, mon cher ami, au moment où je lisais votre dernière lettre et la copie de la première; je vous aurais serré la main bien cordialement, tellement cette lecture m'a fait plaisir et m'a tranquillisé l'esprit sur tout ce qui se fait et se fera en mon absence. Ce que vous me dites sur la marche de vos occupations et sur votre méthode d'enseignement est tout-a-fait conforme à mes idées; c'est comme si nous nous étions concertés pour écrire ensemble cette excellente lettre. Grâce à la tranquillité d'esprit que vous m'avez procurée, je suis à présent parfaitement content de ma situation: libre de toute pensée inquiétante, je puis me consacrer à mon travail avec pleine sérénité d'âme, et vraiment ce travail a pour moi un charme indéfinissable. Pour tout autre il paraîtrait sec, pour moi il a l'attrait de mes occupations poétiques d'autrefois; et plus nous avancerons, plus ce travail gagnera en intérêt et perdra de sa sécheresse, tout aussi bien pour vous que pour moi. Nous avons le même but, nous sommes d'accord dans nos idées sur les moyens d'y parvenir, nous nous convenons parfaitement, nous pouvons nous donner franchement la main pour parcourir ensemble d'un pied ferme la même carrière. Et quelle belle carrière! Quelle attrayante activité! Comme elle suffit pour contenter l'âme et l'agrandir! En un mot, nous sommes à présent maîtres de nous créer un bonheur à nous, calme, pur, noble, indépendant du reste des hommes, car il est tout dans un beau devoir, et ce devoir, par lui-même, n'a rien de sec ni de sévère, au contraire, il est d'une nature douce: en le remplissant, on développe ses sentiments les plus tendres, on en jouit et on se perfectionne soi-même. Telles sont les idées agréables qui me bercent à présent dans ma solitude de Dresde, et elles ne sont pas des illusions. Je mène un genre de vie très-agréable. J'occupe une petite maisonnette avec les Tourgueneff; nous tenons ménage ensemble. Tous mes instants sont strictement réglés: le matin à 4 heures, ou 4 heures et demie, je me lève et je commence par boire deux verres d'eau de Marienbad, et je me promène une demi heure dans ma chambre. Après cela je me mets à mon travail qui dure jusqu'à huit heures. A huit heures, déjeuner, cigarre, une promenade d'une heure par la chambre, toilette, et après, encore une heure de promenade dehors. Tout cela me conduit aux dix heures. Je me remets de nouveau à mon travail qui dure depuis dix heures jusqu'à une heure. Entre une heure et deux, je dîne avec mes camarades, et après dîner nous restons ordinairement ensemble jusqu'à 4 heures à babiller, à lire, à fumer et même à dormir [un petit quart d'heure tout au plus; j'ai abandonné ma mauvaise habitude de

dormir deux heures après dîner]. A quatre heures, commence de nouveau une promenade qui dure jusqu'à six. A six, revenu à la maison, je recommence mon travail et le prolonge jusqu'à neuf. A neuf, je me couche pour me réveiller de nouveau à quatre. Tel'e est ma conduite pendant une seule journée, et telle elle sera pendant tout cet hiver jusqu'au commencement d'avril, époque à laquelle je prétends quitter Dresde pour aller à Paris et y passer un mois avant de recommencer ma cure. Dans ma lettre à sa Majesté l'Impératrice, j'ai expliqué les raisons qui rendent pour moi ce voyage nécessaire. Venons à présent au sujet principal de ma lettre à vous. Franchement après avoir lu la vôtre, j'ai pensé qu'il serait superflu de vous en dire davantage; mais pour mettre plus d'unité dans ce que nous faisons, pour mieux concerter nos idées, pour me mettre moi-même plus clairement au fait de ce qu'il nous faut, je pense qu'il ne sera pas superflu de récapituler en général le plan que nous avons adopté, et de vous communiquer mes idées sur ce qui peut être fait dans l'intervalle de mon absence.

Je ne sais pas si vous avez la traduction de ce plan. Ce que je sais, c'est que cette traduction n'est pas très exacte. Voici un extrait que j'ai fait moi-même. Il s'agit seulement de l'Instruction:

1. Le but de l'Instruction est de faire connaître:

1. Ce qui nous entoure.
2. Ce que nous sommes.
3. Ce que nous devons être ici bas.
4. Ce qui est notre destination supérieure.

La résolution de ces quatre questions comprend toute la masse de nos connaissances, embrasse toute la masse de nos connaissances.

Elles sont ici présentées dans leur suite naturelle, qui doit déterminer la marche de l'Instruction même.

2. Durée de l'Instruction.

Je suppose qu'elle durera depuis 8 ans jusqu'à 20. Je divise cette période en trois périodes principales:

1-re période de 8 à 13 ou 14 ans. Enfance. Instruction préparatoire. Je compare cette période aux préparatifs d'un voyage. Il faut s'armer d'une boussole, faire connaissance avec la carte, et se munir des instruments nécessaires pour pouvoir faire des découvertes.

Exercices préliminaires de la raison, comme base de toute instruction Logique.

Développement pratique du sentiment moral Instruction religieuse.

Carte. Système général de connaissances présentées dans une liaison successive, d'après l'ordre que prescrit la résolution de ces quatre questions: «Où suis-je? Que suis-je? Que dois-je être? A quoi suis-je prédestiné?»

Instruments. Langues considérées comme moyens de compléter soi-même les connaissances communiquées par les maîtres.

2-e période de 14 à 18 ans. Jeunesse. Instruction détaillée. En poursuivant la comparaison, nous donnerons à cette période le nom de «voyage muni». La boussole est entre les mains, la carte est connue, les instruments prêts. On ne court plus le risque de s'égarer: la raison est exercée, la curiosité est éveillée. Sans craindre de mettre du désordre dans les idées de l'élève, on peut l'occuper de chaque objet d'instruction isolément. Ils sont déjà tous liés dans sa tête par l'instruction préliminaire. Il connaît le plan que chacun d'eux doit occuper et peut porter toute son attention sur les détails.

3-e période de 18 à 20 ans. Instruction applicative. On peut la comparer à «l'arrivée au port». Les connaissances sont rassemblées, les découvertes faites. Il s'agit de les mettre en ordre et de déterminer leur application. C'est le moment où l'élève doit, en jetant un coup d'œil sur la place qu'il occupe dans le monde, se rendre compte de soi-même, de ses moyens acquis, et des moyens qu'il doit acquérir pour occuper dignement sa place. Dans

cette période, il travaillera plus seul et son travail principal seront la lecture et la méditation.

Détails sur la première période.

Ordinairement on occupe les enfants de plusieurs objets à la fois, en portant leur attention sur chacun en particulier. On a des classes de Géographie, d'Histoire, de Grammaire, de Mathématiques etc. Cela doit nécessairement produire du désordre dans les idées. Plusieurs objets paraitront obscurs et la liaison entre eux manquera. D'après notre plan dans la première période tout doit être successif. L'instruction précédente doit préparer celle qui suit, et le tout ensemble former un système complet solidement lié dans toutes ses parties. Ce système une fois établi dans la tête de l'élève, l'instruction détaillée et scientifique de la période suivante complétera les idées qui ont été seulement indiquées dans la première. Ainsi donc le caractère de la première période est liaison systématique; en ensemble, elle ne fait que préparer une base solide. Le caractère de la deuxième période est amplification isolément de chaque objet et plénitude de details; elle bâtit sur les bases préparées par la première.

Nous partagerons les études dans cette première période, en quatre classes principales:

1-re classe—Exercice de la raison et du sentiment moral.

2-me classe—Système des connaissances.

3-me — —Langues.

4-me — —Talents.

1-re Classe.

a) Exercice de la raison: Logique pratique.

1. Exercice de l'attention: les premiers éléments de Géométrie, explication des lignes, des figures, des corps.

2. Exercice du raisonnement: a) Solution des premiers théorèmes de géométrie. Ce n'est pas le maître qui montrera cette solution. Il amènera toujours successivement l'élève à faire lui-même cette solution. La même méthode doit être suivie dans toutes les études qui regardent le raisonnement: chaque principe doit être amené par des questions qui exprimeront la marche que prend la pensée pour arriver à un résultat. On procédera plus lentement, il est vrai, mais on aura un résultat plus solide. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais peu et bien. Ce que l'élève perdra en quantité de demi-connaissances, il le gagnera en capacité d'en acquérir à la suite soi-même et de bonnes. b) Calcul de tête. Procéder graduellement du facile au difficile. Tirer les données des choses qui sont déjà connues à l'enfant. Tâcher de lui rendre les solutions intéressantes, en récapitulant en même temps ce qu'il a déjà appris dans ses leçons. Calculer les hauteurs des montagnes, les distances des planètes. Exemples tirés du peu de physique, d'astronomie et de géographie qu'il sait. Calcul d'après les tables historiques. c) Grammaire philosophique adaptée à l'étude de la langue russe, récapitulée après en français, anglais, allemand et latin. Prendre pour modèle la grammaire de Sylvestre de Sacy. Analyse des mots et des phrases. Composition des phrases. Exposition de ses idées par écrit et verbalement. Déclamation.

3. Déduction des principes théoriques de la logique, tirés de l'instruction pratique ou logique proprement dite.

b) Exercice du sentiment moral:

1) Instruction religieuse: a) Principaux faits de l'histoire sainte racontés simplement et avec choix. Tâcher de conserver l'ordre chronologique et d'allier le tout avec la géographie de la terre sainte. b) Morale chrétienne, tirée de la doctrine du Sauveur, autant qu'elle peut être à la portée de l'enfance.

2-e classe.

Système des connaissances.

Le fil qui les réunit forme ces quatre questions présentés dans l'ordre qui suit: Où suis-je? Que suis-je? Que dois-je être? A quoi suis-je prédestiné? Leur solution complète doit remplir toute la pre-

mière période. Pour avoir une idée claire de ce que nous sommes, il faut commencer par faire connaissance intime avec ce qui nous entoure. Il faut donc d'abord répondre à la question: Où suis-je?—Coup d'œil sur les corps qui nous environnent, sur la terre que nous habitons, sur les productions de cette terre, sur leur cause ou la nature, sur les lois de la nature, enfin sur tout ce qui, n'étant pas homme, est néanmoins en rapport avec l'homme. Après avoir parcouru la scène que l'homme occupe, où il agit, où il se développe, on arrive naturellement à l'homme même; ainsi bien préparé à le connaître, on commence à résoudre la question: Que suis-je? Question qui regarde autant le présent que le passé, le physique et le moral de l'homme: Que dois-je être? Cette question est naturellement déduite de la précédente: après avoir considéré quelle est la nature de l'homme, en quels rapports il se trouve avec les objets qui l'environnent, ce qu'il est pris isolément, ce qu'il est en rapport avec ses semblables, comment il est parvenu au développement où nous le voyons, et quel usage il fait de sa nature et de ses facultés, nous sommes en état de bien comprendre ce qu'il doit être, c'est-a-dire, de ses actions qui nous sont connues et qui sont des faits, déduire ses devoirs, qui sont des principes. Parvenus à ce point, nous serons plus en état de prononcer sur la destination supérieure de l'homme, de quitter avec lui le monde visible, de le mettre en rapport avec son Créateur, et, tâchant de deviner la nature immortelle de son âme, de répondre autant qu'il est possible à la dernière question: A quoi suis-je prédestiné?

Première question: Où suis-je? 1) notions générales sur les corps. 2) Corps célestes. Premiers éléments d'astronomie. 3) La terre considérée comme corps céleste: Eléments de la géographie mathématique. 4) La terre considérée en elle-même et ses parties constitutives: l'air, l'atmosphère, l'eau, le continent. Elé*ments de la géographie* physique.

Dessins des cartes, ayant en vue la seule géographie physique. Il faut tâcher, autant qu'il est possible, de suivre une marche simple, ne pas trop diversifier les objets, et n'empiéter sur ce qui doit suivre qu'autant qu'il sera nécessaire pour rendre clair ou intéressant l'objet dont on s'occupe. 5) Productions de la terre. Eléments de Minéralogie, de Botanique, de Zoologie—Nature et ses principales lois. Eléments de Physique et de Chimie. La terre regardée comme nature matérielle. Eléments de Physique et de Chimie. Règne animal. Passage à l'homme.

Deuxième question: Que suis-je? Que suis-je comme être isolé, comme partie de la nature, qui m'environne? L'homme physique. Description du corps humain. Eléments d'anatomie. L'homme en état de santé. L'homme en état de maladie. Principes pour conserver le corps. La vie, la mort. L'homme moral— Eléments de Psychologie. Les sens. Les sensations. L'attention. La réflexion. Le raisonnement. La pensée. L'âme. Les facultés de l'âme. Que suis-je en rapport avec la nature? L'homme selon les climats—Races. Castes. Histoire naturelle de l'homme. Usage des productions de la nature. Eléments de l'ethnologie. Que suis-je en rapport avec mes semblables? L'homme isolé et l'homme sauvage—Sociabilité. Premier degré de société. Famille. Causes de la société. Besoins. Premiers effets de ces sociétés. Langue. Lois patriarcales. Propriété. Eléments de droit naturel. Degrés de société: Les peuples sauvages: nomades, pasteurs, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs Civilisation et ses différents effets: lois, commerce, gouvernements, sciences, arts, métiers, religions etc. Préliminaires de l'histoire. Quels changements a essuyé la société humaine? Histoire et géographie progressive. Quel est l'état de société actuel?—Géographie et statistique modernes.

Troisième question: Que dois-je être? Morale particulière: ethique. Morale publique: Politique.

Quatrième question: A quoi suis-je

prédestiné? 1) L'homme comme être spirituel et immortel—La haute métaphysique. 2) L'homme comme être qui conçoit Dieu—Religion révélée et naturelle.

Classe III.

Langues. Orthographe.

1) Etude pratique: Orthographe. Prononciation. Conversation. Traduction.

2) Etude théorique: Grammaire. Comparaison de plusieurs langues. Leurs différences grammaticales.

Classe IV.

Talents. Gymnastique. Travail manuel.

Les occupations, qui forment ces différentes classes, doivent marcher de front. Elles ne dépendent pas l'une de l'autre, mais peuvent s'entr'aider. Dans la 1-re classe on développe en général les facultés intellectuelles et morales, conditions nécessaires pour pouvoir acquérir les connaissances. Dans la seconde classe on pose une base solide des connaissances en les présentant dans une suite naturelle, en les faisant dériver l'une de l'autre, et en formant un système complet. Dans la troisième classe on présente les moyens d'acquérir des connaissances nouvelles, et on récapitule les connaissances acquises, en exprimant dans une langue étrangère ce qui a été déjà exprimé dans la langue maternelle. La quatrième classe n'est qu'un supplément nécessaire.

A présent quelques mots sur la méthode d'enseignement en général:

1) Manière d'enseignement: a) En forme de conversation: au lieu d'enseigner simplement et présenter les idées déjà toutes formées, il faut tâcher d'amener l'élève, par des questions successives, au meme résultat, en faisant faire à son esprit le même chemin que le maître a du faire pour parvenir à ce résultat. b) En forme de proposition: proposer les objets où il ne s'agit pas de raisonnement, mais de faits simples, avec clarté, précision, et surtout avec ordre: les diviser et subdiviser bien méthodiquement, pour donner à la mémoire plus de facilité à les retenir. Reunir les deux manières selon les objets dont on s'occupe.

2) Règles à suivre dans l'enseignement: a) Tâcher que l'enseignement soit graduel: toujours procéder du facile au difficile, du connu à l'inconnu. Ne jamais faire de sauts, ne jamais laisser de lacunes. b) Exciter l'activité de l'élève: qu'il ne reste jamais simple auditeur, recevant machinalement ce qu'on lui dit. Il faut qu'il pense lui-même; qu'aidé du maître, il trouve le plus souvent par soi-même ce qu'on lui présente, au lieu de l'accepter aveuglément. c) Ne pas outrepasser une certaine mesure: Enseigner seulement ce qui est indispensable, ce qui doit rester, ce qui ne doit jamais être oublié dans la suite, ne jamais se perdre dans trop de détails qui s'appesantissent sur la mémoire et détournent l'attention de l'objet principal, mais aussi éviter d'être trop sec: trouver le milieu entre l'abondance et la pauvreté de détails. d) Faciliter le travail: Exciter au travail en l'allégeant par l'ordre, par la méthode, par des moyens qui frappent les sens; en un mot, aider l'esprit dans son travail, de manière qu'il ne soit ni rebuté par la difficulté, ni rendu indolent par la trop grande facilité. a) Rendre le travail agréable: Il le sera lorsque, en enseignant, on tâchera d'agir sur l'homme en entier, en s'emparant de l'attention, en réveillant la curiosité, en faisant agir la raison, en nourrissant l'imagination, en parlant au cœur, en un mot, en mettant en activité toutes les facultés morales.

3) Moyens d'imprimer l'enseignement dans la mémoire:

a) Par la division méthodique des objets. b) Par les objets qui frappent les sens: Dessins, cartes, tableaux. c) Par la répétition: Questions par ordre, questions sans ordre, questions embarrassantes, réunion à l'examen de plusieurs objets différents; récapitulation en masse sans aider l'élève par des questions qui lui indiqueraient sa marche. d) En réunissant l'étude des langues à l'enseignement

principal: Que l'étude des langues étrangères, ne soit autre chose qu'une récapitulation continuelle de ce qui sera enseigné dans la langue maternelle.

4) Quelques mots sur la méthode à suivre dans l'enseignement des langues:

a) Orthographe. Dicter des phrases dont le sujet doit être emprunté aux leçons principales. Au lieu de corriger les fautes, les indiquer seulement à l'élève, pour qu'il les devine et les corrige lui-même. Lui faire trouver des fautes dans des phrases écrites exprès incorrectement. Lui faire transcrire ce qui a été dicté et corriger. De cette manière, il aura peu à peu écrit, en plusieurs langues, tout ce qui lui sera enseigné dans la sienne.

b) Prononciation. Lecture simple pour accoutumer à prononcer correctement; peu à peu elle conduira à la lecture avec expression, ou à la déclamation. Apprendre par cœur quelques poésies faciles.

c) Conversation. Apprendre par cœur les modles plus usités dans la vie ordinaire, des mots tirés de la leçon principale. Former des phrases sur les objets de la vie familière, sur les objets tirés de la leçon principale: celle-ci pourra fournir ample matière de conversations.

d) Style. Choisir les thèmes des compositions dans la leçon principale. Qu'elles soient d'abord très-courtes: après, on exigera plus de développement. L'élève, en écrivant sur ce qu'il a déjà appris, et sur quoi sa pensée a été déjà exercée, s'accoutumera à s'exprimer clairement, avec précision et méthode.

e) A la suite de ces études pratiques, viendra la grammaire qui sera enseignée en même temps que celle de la langue russe, d'après la même méthode, et ne sera autre chose qu'un cours de logique pratique. Cela s'entend de soi-même que l'enfant aura déjà reçu quelques notions préliminaires de grammaire, qui sont indispensables pour qu'on se puisse entendre.

Tel est l'aperçu général de notre plan d'études. Règle principale, c'est la même que vous avez exprimée dans votre lettre: peu mais bien, plutôt que beaucoup mais mal. Il ne s'agit pas pour nous de briller par l'apparence du succès. En général, nous devons seulement penser à placer des bases solides. Il faut donner des idées claires, les bien lier entre elles, et produire le goût de l'étude. Cela sera la meilleure préparation aux études détaillées qui seront d'autant plus rapides; en un mot, ce que nous perdrons en vitesse à présent, nous le gagnerons en solidité, et le temps dépensé à présent, sera doublement regagné après. Je vous communique ce plan, non pour vous dire quelque chose de nouveau— d'après votre lettre, je vois que nous sommes tout à fait dans les mêmes idées--- mais plutôt pour réunir dans quelques pages ces idées sur lesquelles nous devons être d'accord et qui se modifieront encore beaucoup dans l'application. Parlons maintenant sur ce qu'il nous faut faire à présent. Où en sommes nous? Nous avons déjà fait, d'après ce plan, quelques pas dans chacune des IV classes. Dans la première, le calcul de tête a déjà exercé l'attention de notre élève et préparé son esprit au raisonnement. Il faut le continuer jusqu'à mon retour. Dans la seconde classe, nous en sommes à résoudre la première question: Où suis-je? Il a reçu quelques notions générales sur les corps et leur propriété. Il a fait connaissance avec les corps qui se trouvent hors de la terre. Il a considéré la terre comme faisant partie de ces corps célestes et dans ses rapports avec eux. Enfin il a commencé à considérer la terre en elle-même dans ses parties principales, dans l'air qui l'entoure, dans l'eau et les continents qui forment sa superficie. C'est jusque là que je suis parvenu dans mes leçons. Il y a déjà beaucoup de fait dans la troisième classe: il commence à comprendre l'allemand et le français. Il faut tâcher qu'il fasse le plus de progrès possibles dans ces langues pendant que je n'y serai pas. Cela facilitera extrêmement nos travaux communs après mon retour. Je conseillerais même d'ajouter à l'étude de ces deux lan-

gues, celle de l'anglais. Revenons aux occupations de la deuxième classe, qui contient la leçon principale. D'abord, il faut bien récapituler ce qui a été jusqu'ici enseigné en russe, pour que rien ne s'oublie. Cette récapitulation fournira en même temps beaucoup d'exercice pratique dans le français et l'allemand. La récapitulation finie, il faut procéder en avant, d'après l'ordre indiqué dans ce plan. Il s'agit de continuer à résoudre la 1-ère question. Après avoir fait connaissance avec la superficie de la terre, après avoir bien imprimé dans la mémoire les systèmes des eaux et des montagnes, on doit présenter un tableau général de cette terre, comme masse encore déserte, n'offrant rien que ses eaux et ses continents, différents de forme et d'étendue. Ce tableau rassemblera, en un seul tout, ce qu'on a jusqu'ici considéré isolément. Il faut faire succéder à ce tableau celui de la terre remplie de ses différentes productions, les présenter en masse et donner l'idée de ce qu'on appelle: Nature. Cela conduit tout droit aux lois de cette nature, ou à la physique et à la chimie. On peut facilement choisir dans ces deux sciences tout ce qui peut être mis à la portée de l'enfance. [La méthode d'enseignement peut rendre tout compréhensible, j'en ai eu déjà l'expérience avec l'électricité]. Après avoir présenté un système clair de lois physiques et chimiques, on doit tourner l'attention vers les productions de la nature en détail, en commençant par la minéralogie, et en finissant par la zoologie. Arrivé à ce terme, on aura résolu la première question; on aura parlé de tout ce qui n'étant pas homme, est en rapport avec lui, et sert à déterminer la place qu'il occupe dans la nature. On finit le tout de nouveau par un tableau général présentant la nature telle qu'elle est détachée de l'homme, riche de productions, mais déserte, inculte et sauvage. Cela préparera la curiosité à l'apparition de l'homme et c'est avec la description de l'homme physique qu'on doit commencer la résolution de la question suivante; mais ce dont j'ai parlé jusqu'ici suffira: cela sera même beaucoup trop pour vos occupations pendant mon absence. Je suppose qu'à présent vous êtes jusqu'au cou dans les mers, les rivières, les montagnes, les volcans etc. Il sera très bien de continuer [comme vous l'avez déjà fait jusqu'ici] en se tenant fermement au fil principal, d'animer les objets en y ajoutant quelques détails, qui, sans anticiper ce qui viendra après, donneront pourtant de l'intérêt aux occupations présentes et fixeront même les objets dans la mémoire; par exemple en parlant des fleuves et en gravant bien leurs systèmes au moyen des cartes [avec lettres et sans lettres, et qui peuvent être toutes dessinées par le Grand Duc lui-même, ce qui est l'objet principal] vous pourrez en passant faire quelque description du Nil, du Rhin, du Niagara; vous pourrez même indiquer quelques villes remarquables, anciennes ou modernes qui se trouvent sur telle ou telle rivière. Vous observerez la même chose, lorsqu'il s'agira des mers, des montagnes. Il y a tant à dire sur la navigation, sur les phénomènes dans les différentes zones, sur les naufrages, sur les découvertes, sur les aventures de quelques navigateurs, sur les formes des montagnes, sur les beautés de la nature qu'on trouve dans les différents pays montagneux, sur les chutes des montagnes [Goldau], sur les traditions et les contes populaires qui ont régné et qui régnent parmi les montagnards [Le Harz, les Riesengebirge et Rüberg, Olympe, Parnasse]. En un mot, la nature est riche mais il faut seulement être très sobre et ne jamais perdre de vue l'objet principal, qui n'est autre chose que d'imprimer bien dans la mémoire tout ce qui constitue la surface du globe et le système des eaux et des continents. Quelques-uns pourront trouver singulier que nous voulions occuper un enfant de physique et de chimie. Je crois que vous serez de mon avis: un enfant comprendra toujours beaucoup mieux ce qui parle à ses yeux que ce qui parle uniquement à sa raison. En raisonnant sur

une expérience, on présente quelque chose de réel, de palpable, et on accoutume à penser en intéressant l'attention en éveillant la curiosité. L'histoire elle-même ne peut avoir pour l'enfant autant d'attrait que la physique et l'histoire de la nature. Son âme n'est pas assez développée pour s'intéresser à la destinée des hommes et des peuples qu'il ne peut voir que dans son imagination, tandis que les expériences de physique et de chimie sont devant ses yeux, les productions de la nature sont présentes, et à chaque instant du jour, il peut trouver occasion d'appliquer ce qu'on lui enseigne à ce qui l'environne. Ainsi ayant fini avec la surface de la terre, vous parlerez de la nature et de ses lois physiques et chimiques [ayant préparé ces leçons par un coup d'œil général sur les différentes productions de la nature]. Je crois qu'il serait bon pour cela de préparer des cahiers et des dessins pareils à ceux qui ont été faits par moi. Pour la physique et la chimie, vous vous servirez de l'ouvrage de Biot et de Bendare que vous trouverez dans ma bibliothèque. Il faut seulement se tenir aux choses purement pratiques et exclure tout ce qui peut exiger des connaissances préliminaires en mathématiques. Pour les expériences qui doivent suivre et soutenir l'enseignement, il faut se servir de Rospini, ne faire que les expériences les plus nécessaires et en très petit nombre. Pour l'enseignement de l'histoire Naturelle, vous vous servirez de l'excellent ouvrage élementaire de Bloumenbach; il se trouve aussi dans ma bibliothèque: Je ne sais s'il en existe une traduction française; vous pouvez faire traduire ce petit volume: pendant que vous vous occuperez de vos leçons de physique, la traduction peut être terminée. Vous commencerez par la minéralogie. Pour cet objet, il faut absolument former un petit cabinet. La classification doit être double, d'après les signalements et d'après les espèces. Je vous recommande pour cela M. Chemiot, avec lequel j'ai déjà parlé sur ce sujet, et qui saura bien vous arranger le tout [Kozloff vous indiquera sa demeure]. Le petit cabinet que nous possédons déjà n'est qu'un joujou. Il ne pourra donner aucune idée claire, mais on pourra le faire entrer dans la collection nouvelle. Pour la Botanique et pour la Zoologie, il faut se contenter des gravures. On peut former pourtant soi-même des herbiers, d'après le système indiqué dans Blumenbach. Pour cela, vous pourrez vous adresser au jardinier de Pavlovsk, homme très instruit et qui saura bien vous aider. J'ai indiqué trop d'objets, je suis sûr que vous n'en pourrez parcourir que le quart, mais il faut faire les préparatifs d'avance en fait de cahiers, dessins et collections nécessaires. J'en profiterai à mon retour et je compléterai par mon travail sur le vôtre. Je vous prie seulement que lorsque les collections seront faites, de ne pas faire faire ni armoires, ni aucun nouveau meuble dans nos chambres d'étude: laissez tout cela jusqu'à mon retour. Comme l'arrangement des chambres doit être particulièrement adapté aux grands tableaux de l'histoire, desquels je m'occupe à présent, il faut que ces tableaux soient prêts d'avance, et que d'après eux, je fasse moi-même le plan de l'arrangement. Communiquez cela à M. Mörder que je prie instamment de ne faire faire aucun nouveau meuble pour le Grand-Duc pendant mon absence. J'ai demandé permission à S. M. l'Empereur de faire ici toutes les collections nécessaires pour nos études. Lorsque nous aurons rassemblé tout ce qu'il nous faut, il sera plus facile d'en faire l'arrangement, et nous le ferons de concert. Vous aurez besoin pour vos occupations présentes de cartes. Je ne sais pas si je vous en ai fourni à mon départ; vous trouverez et cartes et livres dans mon cabinet. Chemiot vous y introduira. Tous les livres d'étude se trouvent dans les deux armoires de ma petite chambre. Prenez tout ce qui vous paraîtra nécessaire.

Voilà tout ce que j'ai cru devoir vous dire sur vos occupations en mon absence. Ce n'est pas une instruction, vous n'en avez pas besoin: j'ai voulu seulement vous communiquer mes pensées, pour les éclairci-

en même temps pour moi. Je m'occupe à présent de mes préparatifs historiques: j'espère achever tout ce qui a rapport à l'histoire ancienne, mais je ne crois pas qu'à mon arrivée je puisse commencer ces leçons historiques. Je vous pris donc de m'indiquer dans votre réponse jusqu'où à peu près comptez-vous pouvoir aller, pour que je sache d'avance avec quoi je devrai commencer immédiatement après mon retour. Je vous prie aussi de tenir un journal de vos occupations et de me faire l'amitié de me l'envoyer tous les mois. De cette manière, je pourrai de loin suivre votre marche, et j'arrangerai d'après elle mes préparatifs.

1827.

ПРОЭКТЪ ПЛАНА УЧЕНІЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА,

составленный В. А. Жуковскимъ, для представленія государю императору Николаю Павловичу, въ 1827 г.

Я не могу начать тотчасъ, по пріѣздѣ моемъ, уроковъ моихъ съ его высочествомъ. Долженъ сдѣлать нѣкоторыя необходимыя приготовленія. Въ бытность мою въ Дрезденѣ я не потерялъ своего времени; много приготовилъ; но это касается до уроковъ еще отдаленныхъ. Теперь же долженъ написать тетради текущихъ уроковъ, прошу позволенія у вашего императорскаго величества начать свои лекціи съ новаго года. Имѣю нужду въ переписчикѣ и въ рисовщикѣ, ибо самъ всего не могу дѣлать, и долженъ буду въ противномъ случаѣ потерять много времени, нужнаго для моихъ плановъ.

Я не могу преподавать лекцій по всѣмъ предметамъ, входящимъ въ планъ ученія великаго князя. Этого нельзя и требовать. Одними буду заниматься самъ; для другихъ нужны будутъ особые учители; въ послѣднемъ случаѣ я буду только присутствовать при ученіи, и мое дѣло будетъ состоять въ томъ, чтобы преподаваемое другими было согласовано съ моимъ планомъ и утверждалось въ памяти великаго князя. Прошу позволенія выбирать тѣхъ учителей по мѣрѣ того, какъ будетъ въ нихъ нужда.

Почитаю необходимымъ ученіе латинскаго языка: на семъ ученіи будетъ основано ученіе всѣхъ другихъ языковъ и оно весьма, весьма имъ облегчится, ибо латинскій языкъ есть отецъ большей части европейскихъ. Прошу убѣдительно высочайшаго на сіе соизволенія. Смѣю увѣрить, что метода будетъ избрана самая легчайшая, и что ученіе латинскаго языка вмѣсто того, чтобы обременять великаго князя скучнымъ трудомъ, послужитъ къ его образованію. Въ необходимости сего ученія я увѣренъ. Я не считаю для великаго князя нужною ученость, но онъ долженъ имѣть основательное просвѣщеніе; но латинскій языкъ есть одно изъ дѣйствительныхъ средствъ развитія умственныхъ способностей, а въ классикахъ латинскихъ источникъ истиннаго просвѣщенія. Все дѣло состоитъ въ выборѣ учителя. Мнѣ говорили въ Берлинѣ о прекрасномъ учителѣ. Если ваше величество позволите, то напишу объ немъ; а такой человѣкъ будетъ полезенъ намъ и во многомъ другомъ.

Прошу ваше величество опредѣлить сумму ежегодную на покупку вновь выходящихъ книгъ, иностранныхъ и русскихъ, также и журналовъ; мы имѣемъ теперь все для насъ нужное; но мы должны не отставать отъ Европы въ ея литературѣ. Все новое, лучшее, должно входить въ составъ нашей библіотеки.

Первые уроки, коими по плану моему я долженъ буду заняться съ великимъ княземъ, будутъ имѣть предметомъ естественныя науки. Нужно составить физическій, минералогическій и технологическій кабинетъ. Въ нихъ должно быть одно самонужнѣйшее.

О томъ, что нужно будетъ сдѣлать для статистики и изученія правъ, буду имѣть честь представить особенную записку. Сими предметами его высочество будетъ заниматься во второмъ періодѣ своего

ученія; но нужно сдѣлать предварительныя приготовленія. Осенью представлю особенную записку.

I. Первый періодъ.
2) Ученіе классное. } Два періода.
Въ Россіи.
Въ путешествіи.

Гдѣ я?
Природа.
Ея законы.
Физика. } Богъ въ природѣ.
Химія.
Ея исторія:
Минералогія.
Ботаника.
Зоологія.

Что я I. Человѣкъ.
Остеологія.
Антропологія. } Откровеніе.
Палеонтологія.
2. Въ отношеніи къ человѣку:
Естественное право.
Общество и его виды:
Дикое.
Образованное.
I Въ отношеніи къ природѣ:
Технологія.

Что я былъ.
Исторія; исторія священная.

Что я быть долженъ.
Нравственность частная. } Христіанская нравственность.
Нравственность публичная.

Къ чему предназначенъ.
Метафизика } Религія откровенія.
О безсмертіи души.
О Богѣ.

II. Періодъ.
1. Математическія, военныя науки и естественныя науки. } Безъ [практики].
2. Права.
3. Исторія и политическія науки.
Государственная экономія.
Статистика.
4. Русская исторія и русская статистика... Путешествіе по Россіи.
5. Изящныя искусства. Безъ исторіи.
6. Изящныя и классическая литературы. Чтеніе.
7. Философія. Чтеніе.

½10		1827—1828 г.		11	
11	1 періодъ.	1828—	9	12	1 періодъ.
12		9—	30	13	
13		30—	31	14	
14		31—	32	15	
15	2 періодъ	32—	33	16	2 періодъ
16	1-я ½.	33—	34	17	1-я ½.
17	2 періодъ	34—	35	18	2 періодъ
18	2-я ½.	35—	36	19	2-я ½.
				20 г. Путеш. по Россіи.	

Вообще почитаю необходимымъ, чтобы опредѣлена была годовая сумма на всѣ могущія случиться нужныя издержки для ученія великаго князя, кромѣ особенной, также ежегодной, суммы на книги и журналы. Сихъ издержекъ опредѣлить теперь нельзя но сумма на нихъ должна быть ассигнована и въ полномъ распоряженіи тѣхъ, коимъ поручено воспитаніе великаго князя. Числа учителей теперь также опредѣлить нельзя, ибо не всѣ они будутъ въ одно время нужны; и плата имъ должна быть не годовая, а по урокамъ. И такъ настоитъ намъ три рода суммъ: одна на плату учителямъ неопредѣленная и двѣ опредѣленныя на покупку книгъ и на издержки. На книги 10.000, на издержки 25.000. Нужно опредѣлить годовое жалованье писарю и рисовщику. Единовременно на составленіе физическаго, минералогическаго и технологическаго кабинета.

Еще особенно прошу дать повелѣніе Зауервейду помогать мнѣ въ составленіи нужныхъ рисунковъ. Будучи занятъ другими работами, онъ не будетъ имѣть достаточнаго времени для нашего дѣла, но та работа, которую можетъ онъ дѣлать со мною, конечно, важнѣе той, на которую теперь онъ употребляетъ время и въ которой можетъ быть замѣненъ другими.

Наши труды вмѣстѣ могутъ составить со временемъ полный курсъ предварительнаго ученія, который можетъ быть полезнымъ и вообще для публичнаго преподаванія.

Мердеръ	6000.
Жуковскій	6000.
Павскій	5000.
Жиль	5000.
Шамбо	5000.
Альфри	4000.
Постель[съ]	5000.
Рейнгольдъ	4000.
Зауервейтъ	4000.
	44000.

Теперь на первый случай нуженъ учитель для перваго начала математики. Въ половинѣ текущаго года надобно будетъ имѣть учителя для естественной исторіи. Фусъ. Соловьевъ. Фишеръ.

Миѣ. Русская грамматика.
Физика.
Исторія человѣка.
Исторія и географія.

Ежегодно:

На книги	10.000.
На естеств. науки	5.000.
На разныя издержки	10.000.
На учителей	15.000.
Писцу и рисовщику по 2.500	5.000

Единовременно:
На физическій.
На минералогическій.
На составленіе технологическаго кабинета.

Нужно будетъ гравировать или литографировать карты и таблицы, по мѣрѣ того, какъ онѣ будутъ составляться, и на сіи издержки должна быть опредѣлена особенная сумма.

ЗАПИСКА В. А. ЖУКОВСКАГО О Н. И. ТУРГЕНЕВѢ.

Тургеневъ осужденъ за то, что «былъ членомъ тайнаго общества, что участвовалъ въ учрежденіи, возстановленіи, въ распространеніи онаго принятіемъ членовъ, въ умыслѣ ввести въ Россію республиканское правленіе и, наконецъ, за то, «что, удалясь за границу, по призыву правительства къ оправданію, не явился, чѣмъ и подтвердилъ сдѣланныя на него показанія».

Для осужденія нужны несомнѣнныя доказательства вины. Для несомнѣннаго доказательства нужны факты (faits), подтвержденные ясными, согласными показаніями свидѣтелей и собственнымъ признаніемъ виновнаго. И показанія свидѣтелей, и собственное признаніе только подтверждаютъ факты, но замѣнить ихъ они не могутъ. Безъ фактовъ ни показанія свидѣтелей, ни собственное признаніе не удовлетворительны, и осужденіе на нихъ однихъ утверждено быть не можетъ.

Тургеневъ осужденъ по однимъ только показаніямъ свидѣтелей, вообще несогласныхъ между собою. Фактовъ, его обвиняющихъ, нѣтъ. Собственнаго же признанія его быть не могло, ибо онъ осужденъ въ отсутствіи. Напротивъ, въ своемъ объясненіи, присланномъ еще до суда, онъ опровергалъ всѣ показанія, въ то время ему извѣстныя. Но его объясненіе не было принято. Итакъ, главнаго, на чемъ бы по закону могло быть основано и утверждено обвиненіе Тургенева, то есть, фактовъ, нѣтъ. Слѣдственно его обвиненіе никакого твердаго основанія имѣть не можетъ; почему равномѣрно и осужденіе его не можетъ быть законнымъ.

Что видно изъ показаній имъ самимъ подтвержденныхъ и что остается доказаннымъ?

То, что Тургеневъ принадлежалъ къ тайному обществу. Если онъ принадлежалъ къ тайному обществу, то изъ сего слѣдуетъ, что онъ былъ и на совѣщаніяхъ, что могъ быть президентомъ общества и могъ принимать членовъ. Все это не дѣлаетъ его виновнымъ, если то общество, къ коему онъ принадлежалъ, не имѣло въ себѣ ничего преступнаго, если въ уставѣ сего общества была означена одна общеполезная цѣль, согласная съ общимъ порядкомъ.

Къ какому обществу принадлежалъ Тургеневъ?

Къ обществу, которое называло себя «Союзомъ Благоденствія» и коего цѣль, всѣмъ членамъ вообще извѣстная, была изложена въ уставѣ его, называвшемся *Зеленою Книгою*. Уставъ сей, служащій фактомъ, достаточнымъ для обвиненія, извѣстенъ. Въ немъ нѣтъ ничего преступнаго. Тургеневъ не былъ учредителемъ сего общества; онъ вступилъ въ общество уже учрежденное. Но если бы онъ и былъ учредителемъ сего, а не другаго общества, съ его извѣстной цѣлію, то и въ этомъ еще не было бы никакого преступленія. Въ это же общество Тургеневъ принялъ одного члена Митькова. Это столь же мало преступно, какъ и самое участіе въ обществѣ. Принятіе другаго члена Николаевскаго ничѣмъ не доказано; а третій Толстой далъ свидѣтельство, что никогда не былъ принятъ Тургеневымъ.

Итакъ, изъ всѣхъ показаній на Тургенева и изъ собственнаго его признанія несомнѣнно явствуетъ только то, что онъ былъ членомъ тайнаго общества, не имѣвшаго, по своему уставу, никакой преступной цѣли; что онъ былъ членомъ въ такое время, когда въ Россіи тайныя общества еще не были запрещены правительствомъ; наконецъ, что онъ былъ членомъ тогда, когда сіе общество, и по самому донесенію Слѣдственной Комиссіи, не имѣло никакой преступной дѣятельности, оказавшейся въ немъ со вступленія въ него Рылѣева, а Рылѣевъ вступилъ не въ первое, а уже въ возобновленное общество. Первое же было уничтожено самимъ Тургеневымъ, и ничѣмъ не доказано, былъ ли онъ установителемъ втораго.

Итакъ, Тургеневъ еще не преступникъ потому, что онъ былъ членомъ тайнаго общества. Онъ будетъ преступникомъ только тогда, когда будетъ доказано фактами, что онъ зналъ тайную, особенную цѣль общества и, зная оную, участвовалъ въ замыслахъ тѣхъ, коимъ съ самаго начала сего общества сія тайная, преступная цѣль была извѣстна. Фактовъ, доказывающихъ, что Тургеневъ зналъ сію цѣль, не находится. Тургеневъ утверждаетъ, что онъ не зналъ и не могъ знать сей цѣли. Остаются одни показанія свидѣтелей.

Показанія сообщителей, утверждающихъ, что Тургеневъ зналъ преступную цѣль общества, достаточны ли для сего обвиненія?

Судъ призналъ важными, хотя для обвиненія недостаточными, только два показанія: Нестеля и Рылѣева. Но показаніе Нестеля, приводящаго одну только фразу, сказанную Тургеневымъ безъ яснаго означенія, по какому случаю сказана была сія фраза, подтверждается двумя, не подтверждается тремя и отвергается четвертымъ. Если противъ невинности говорятъ три, а въ пользу невинности четыре, на чью сторону должно перейти безпристрастное правосудіе? Показаніе же Рылѣева опровергается обстоятельствами или фактомъ. Рылѣевъ говоритъ, показывая на Тургенева, о такомъ засѣданіи общества, въ коемъ находился Торсонъ. Торсонъ принятъ въ общество въ 1825-мъ году [смотри Донесеніе Слѣдственной Комиссіи], а Тургеневъ оставилъ Россію въ началѣ 1824-го. Если бы взяли сію справку, то она уничтожила бы неосновательное показаніе Рылѣева. Между тѣмъ на сихъ двухъ показаніяхъ, изъ коихъ первое слишкомъ сомнительно, а послѣднее явно ложно, основано обвиненіе и утвержденъ приговоръ Тургенева, тогда какъ судьи, видя ихъ ничтожность, должны бы были только убѣдиться, что для обвиненія въ преступленіи уголовномъ, нельзя основываться на словахъ людей, кои не могутъ помнить, что и съ кѣмъ говорили они за нѣсколько лѣтъ, что для этого нужны факты и что, если нѣтъ фактовъ, надлежитъ, по крайней мѣрѣ, остаться въ сомнѣніи насчетъ обвиняемаго, когда дѣло идетъ о чести и жизни.

Но Тургеневъ удалился за границу и требуемый къ суду не явился. Под-

тверждаетъ ли это обвиненіе и достаточно ли для произнесенія приговора?

Во-первыхъ Тургеневъ не удалился за границу, какъ будто укрываясь отъ правосудія. За два года до кончины покойнаго императора былъ онъ по болѣзни принужденъ покинуть Россію. Нѣсколько разъ прежде того просилъ онъ отпуска и все былъ удерживаемъ государемъ императоромъ, который, наконецъ, увидя необходимость отпустить его, благоволилъ дать ему при отпускѣ чинъ и деньги на дорогу. И неоднократно потомъ его величество изъявлялъ желаніе, чтобы Тургеневъ скорѣе возвратился. Значитъ ли это бѣжать за границу отъ наказанія? Напротивъ, если бы Тургеневъ имѣлъ приписываемые ему замыслы, онъ не помыслилъ бы удалиться, а счелъ бы необходимымъ остаться, дабы содѣйствовать успѣху сихъ замысловъ.—Во-вторыхъ, Тургеневъ не явился. Это есть дѣйствительная вина; но вина совершенно отдѣльная отъ того, въ чемъ онъ былъ обвиненъ и за что произнесли надъ нимъ приговоръ. Неявка къ суду не есть еще замышленіе противъ жизни государя и противъ установленнаго порядка.

Излагаю исторически обстоятельства. Тургеневъ находился въ Парижѣ, когда случилось происшествіе 14 декабря. Но онъ былъ тогда уже на отъѣздѣ въ Англію, и отъѣздъ сей не былъ слѣдствіемъ извѣстія, полученнаго изъ Россіи, а давно принятое намѣреніе, чему служитъ доказательствомъ и то, что онъ задолго передъ тѣмъ въ Карлсбадѣ разспрашивалъ Блудова о жизни въ Англіи и сообщилъ ему намѣреніе туда ѣхать; и я самъ не задолго передъ тѣмъ послалъ ему отъ генерала Вильсона рекомендательныя письма въ Шотландію. О чемъ говорили письма, полученныя изъ Россіи? О возмущеніи нѣсколькихъ солдатъ, по случаю присяги государю императору. Въ этомъ извѣстіи не было еще ничего относительнаго къ тому тайному обществу, въ коемъ находился Тургеневъ. Онъ уѣхалъ въ Англію, не зная еще подробностей происшествія. Въ Англіи по слухамъ дошло до него извѣстіе объ открывшемся заговорѣ, объ участіи въ семъ заговорѣ членовъ его общества и, наконецъ, о томъ, что и его имя стоитъ въ спискѣ заговорщиковъ. Старшій братъ его, съ нимъ находившійся въ Лондонѣ, немедленно отправился въ Парижъ, а оттуда въ Петербургъ, дабы узнать обстоятельства сего дѣла. Пріѣхавъ въ Петербургъ, услышалъ онъ, что всѣ обвиняютъ брата его въ соучастіи въ заговорѣ противъ правительства. Тогда только въ первый разъ узналъ онъ о существованіи тайнаго общества и о томъ, что братъ его былъ онаго членомъ. Зная болѣзнь брата и въ совершенномъ невѣдѣніи насчетъ того, какъ и до какой степени принадлежалъ онъ къ обществу, онъ умолялъ брата своего въ письмахъ не ѣздить въ Петербургъ, ибо страшился за его жизнь, будучи увѣренъ, что поѣздка совершенно уничтожитъ его разстроенное здоровье; но въ то же время онъ требовалъ, чтобы онъ прислалъ отъ себя объясненіе насчетъ участія своего въ тайномъ обществѣ. Тургеневъ, въ то время еще неприглашенный отъ правительства явиться, написалъ на память, что̀ зналъ, и не могъ ничего написать полнаго, ибо еще не могъ знать подробностей, не имѣя въ рукахъ Донесенія Слѣдственной Комиссіи, которое тогда еще не было обнародовано, и не воображая никакъ того, что̀ было для него до тѣхъ поръ тайною. Если онъ говорилъ въ своемъ объясненіи о тайномъ обществѣ, въ коемъ участвовалъ, слегка: то говорилъ объ немъ то, что тогда думалъ и чего не могъ бы говорить, когда бы зналъ всѣ подробности и имѣлъ въ рукахъ Донесеніе Слѣдственной Комиссіи. Но сія же самая легкость объясненія служитъ доказательствомъ въ его пользу: могъ ли бы онъ говорить такимъ языкомъ, когда бы внутренно убѣжденъ былъ въ важности того, о чемъ говорилъ и что тогда уже должно было быть извѣстнымъ правительству? Безъ всякаго сомнѣнія, онъ употребилъ бы другой

языкъ, если бы зналъ себя виновнымъ и зналъ всю обширность преступленія, въ коемъ полагали его участникомъ. Это объясненіе, на кое судъ не обратилъ вниманія, было уже послано, когда пришелъ къ Тургеневу князь Горчаковъ съ требованіемъ, чтобы онъ явился къ суду и съ изъявленіемъ, что его немедленно огласятъ государственнымъ преступникомъ, если онъ откажется явиться. Повторяю, Тургеневъ виноватъ, что не явился; но смѣю прибавить: онъ въ этомъ случаѣ виноватъ болѣе противъ себя, нежели противъ правительства. Вина его противъ правительства состоитъ въ ослушаніи. Сіе ослушаніе можетъ быть изъяснено недовѣрчивостію къ судьямъ и мыслію, что предубѣжденіе, насчетъ его существующее, могло быть ему гибельно, несмотря на его невинность.

Не оправдывая сего ослушанія, замѣчу, что убѣжденія брата не ѣздить могли и должны были произвести въ немъ перѣшимость, а изъявленіе именемъ правительства, что онъ, если откажется явиться, будетъ немедленно [слѣдственно безъ суда] оглашенъ государственнымъ преступникомъ, должно было необходимо усилить его недовѣрчивость. Однимъ словомъ, изъ неявки Тургенева явствуетъ одно только то, что онъ ослушался правительства. Насчетъ же преступленія, въ коемъ онъ былъ обвиненъ, изъ сей неявки равно можно заключить, что онъ побоялся суда, или потому, что виноватъ, или потому что, будучи невиненъ, не вѣрилъ безпристрастію судей. И то и другое равно вѣроятно, слѣдственно равно сомнительно; слѣдственно изъ сей неявки нельзя извлечь никакого рѣшительнаго убѣжденія для произнесенія приговора.

Но въ приговорѣ стоитъ: Тургеневъ къ оправданію не явился, чѣмъ и подтвердилъ сдѣланныя на него показанія. Это значитъ, другими словами, Тургеневъ не явился, слѣдственно онъ виновенъ въ замыслахъ *противъ правительства и жизни государя*. Итакъ, то, что онъ сказалъ въ свою пользу, было не только отвергнуто, но даже не принято, а его отсутствіе принято было за подтвержденіе. Но когда же неявка можетъ быть доказательствомъ? Присутствіе обвиненнаго можетъ быть даже ненужно для произнесенія надъ нимъ приговора, если противъ него убѣдительно свидѣтельствуютъ факты. Если же фактовъ нѣтъ, если существуютъ одни только показанія, и если въ сихъ показаніяхъ есть еще противорѣчіе или несогласіе: то неявка можетъ только возбудить одно сомнѣніе, то есть воспрепятствовать произнести и pro и contra; но положительнаго она ничего не представляетъ. Напротивъ, неявка Тургенева вся ко вреду его, и сю, повторяю, виноватъ онъ противъ себя еще болѣе, нежели противъ правительства. Во всемъ, что противъ него показано на допросахъ, гораздо болѣе матеріаловъ для его оправданія, нежели для его осужденія. На очной ставкѣ съ обвинителями онъ уничтожилъ бы ихъ неосновательныя показанія.

Итакъ, своею неявкою онъ положилъ только препятствіе суду оправдать его, но не далъ никакого новаго повода къ обвиненію; ибо неявка не можетъ дать его, будучи одинакимъ препятствіемъ, какъ для обвиненія, такъ и для оправданія. Теперь вопросъ: неявка сама по себѣ есть ли вина? Что такое вина? То, что законъ предварительно призналъ виною и чему онъ предварительно опредѣлилъ наказаніе. Но неявка въ дѣлахъ уголовныхъ подлежитъ ли у насъ наказанію? Нѣтъ! Слѣдовательно, законъ, не опредѣливъ наказанія за неявку, не призналъ ея предварительно виною. Слѣдовательно неявка не есть сама по себѣ вина. Какъ же можетъ она подтверждать обвиненіе въ преступленіи уголовномъ? Когда судятъ человѣка, обвиняемаго въ преступленіи уголовномъ, когда нѣтъ фактовъ, убѣждающихъ въ его виновности, когда нѣтъ согласія въ дѣлаемыхъ на него показаніяхъ, когда нѣтъ его присутствія для собственнаго признанія въ винѣ

или для опроверженія обвиненія: тогда надлежитъ обратить вниманіе на все, что можетъ служить, какъ для его оправданія, такъ и для его осужденія. Цѣль безпристрастнаго суда есть не обвиненіе и не оправданіе, а одна правда, правда или карающая, или освобождающая обвиненнаго, чистая, ясная, никакому сомнѣнію не подлежащая правда. Отысканіе вины и отысканіе невинности равно должны быть для суда святы, ибо и въ томъ и въ другомъ равно можетъ заключаться правда. Почему же не принято было судомъ объясненіе Тургенева? Оно не написано ни на чье лицо и не по формѣ, но оно писано самимъ обвиненнымъ и могло бы служить документомъ pro или contra. Если бы это объясненіе было опровергнуто и найдено несправедливымъ, оно послужило бы для обвиненія; если бы, напротивъ, найдено было основательнымъ, то послужило бы къ оправданію; и въ томъ и въ другомъ случаѣ послужило бы къ отысканію главнаго, то есть правды. Отвергнувъ его, судъ лишилъ себя возможности произнести рѣшительно; ибо онъ не обратилъ вниманія на то, что сказалъ обвиненный къ свою пользу. Если онъ призналъ сіе объясненіе маловажнымъ и не стоющимъ вниманія потому только, что обвиненный ослушался явиться, то поступилъ несправедливо и не имѣлъ права на такой поступокъ, ибо неявка не имѣла ничего общаго съ судимою виною: она давала право суду признать неявившагося только отсутственнымъ и ослушнымъ, но не заговорщикомъ и цареубійцею. Напротивъ, обязанность суда—принимать въ пользу обвиненнаго все, что ни встрѣтится, гдѣ, какъ и подъ какою формою оно ни встрѣтится. Если судъ могъ уважить несогласныя и одно другому противорѣчащія показанія свидѣтелей [признанныя недостаточными къ обвиненію самими судьями], то по тому же правилу былъ онъ обязанъ уважить и объясненіе самого обвиненнаго, не смотря на его отсутствіе; скажу болѣе, потому именно, что онъ былъ въ отсутствіи: ибо, если неявка съ одной стороны обременяла обвиненнаго новою виною [виною, не имѣющею ничего общаго съ тѣмъ, за что его судили], то съ другой стороны она же сдѣлала его и болѣе беззащитнымъ и слѣдственно налагала на судъ, нѣкоторымъ образомъ, обязанность заступить его мѣсто, удвоить осторожность и дѣйствовать столько же въ пользу отсутствующаго, сколько и противъ него, ибо онъ самъ не могъ за себя дѣйствовать. Такимъ, такимъ только образомъ дѣйствія возможно было суду достигнуть главной, единственной цѣли своей: отысканія правды.

Общее слѣдствіе.

Доказано, что Тургеневъ былъ членомъ Общества Благодѣтелей, въ уставѣ коего нѣтъ никакой явной преступной цѣли.

Не доказано, чтобы тайная и преступная цѣль Общества Благодѣтелей, извѣстная многимъ изъ членовъ, была извѣстна и Тургеневу, ибо:

1-е. Фактовъ, обвиняющихъ Тургенева въ знаніи сей преступной цѣли, не находится.

2-е. Изъ двухъ показаній на Тургенева, единственно признанныхъ отъ судей важными, хотя къ уваженію недостаточными, одно отвергается самими показателями, а другое, по самимъ обстоятельствамъ, явно ложное.

3-е. Тургеневъ не только ни въ чемъ не признался, но отвергнулъ всякое участіе съ своей стороны въ замыслахъ преступныхъ; онъ судимъ былъ въ отсутствіи, и его объясненіе не было принято.

4-е. Неявка Тургенева, принятая за подтвержденіе показаній и за доказательство преступленія, не можетъ быть ни подтвержденіемъ показаній, кои сами по себѣ ничтожны, ни доказательствомъ преступленія, существованіе коего ни на какихъ фактахъ не основано.

Слѣдственно Тургеневъ не можетъ быть осужденъ какъ преступникъ, замышлявшій цареубійство и ниспроверженіе установленнаго въ Россіи порядка.

*

Все сказанное выше основано единственно на разсмотрѣніи приговора, произнесеннаго надъ Тургеневымъ, и причинъ, побудившихъ судей произнести оный. Изъ сего разсмотрѣнія остается яснымъ только то, что Тургеневъ ни въ какую изъ означенныхъ судомъ категорій не входитъ и что нельзя рѣшить, былъ ли онъ участникомъ въ преступныхъ замыслахъ людей, съ коими въ одномъ обществѣ находился. Слѣдуетъ вопросъ:

Могъ ли Тургеневъ быть когда нибудь участникомъ въ подобныхъ замыслахъ?

Всякой, кто знаетъ его, рѣшительно скажетъ: не могъ! Тургеневъ, это правда, всегда имѣлъ образъ мыслей свободный, но никогда не любилъ необузданности, ибо всегда выше всего уважалъ законъ. Можетъ быть, въ первой молодости, возвратясь изъ чужихъ краевъ въ Россію, по окончаніи наукъ въ Геттингенѣ, и еще мало знакомый съ тѣмъ, что можетъ быть полезно и нужно его отечеству, онъ былъ, какъ молодой, неопытный человѣкъ, привязанъ къ общимъ идеямъ свободы; могъ быть привязанъ къ нимъ съ энтузіазмомъ, и этотъ энтузіазмъ могъ ослѣпить его разсудокъ; но никакой энтузіазмъ не могъ ослѣпить его сердца и изъ нравственнаго человѣка, который до тѣхъ поръ слѣдовалъ строгимъ правиламъ, сдѣлать низкаго предателя, способнаго одною рукою принимать благодѣянія, а другою заносить ножъ на своего благотворителя. Это подтвердятъ со мною всѣ, которые знаютъ Тургенева лично и которымъ извѣстна прошедшая жизнь его, вся посвященная строгому исполненію долга. Повторяю, по характеру своему Тургеневъ не могъ участвовать ни въ какихъ замыслахъ преступныхъ, не могъ дать согласія своего ни на какое убійство. Но и самый образъ мыслей его былъ въ совершенной противоположности съ сими замыслами. По своему образу *мыслей онъ не могъ* желать введенія республики или конституціоннаго правленія въ Россіи; ибо это было бы въ противорѣчіи съ главнымъ его желаніемъ, которое направляло всѣ его дѣйствія, съ желаніемъ, чтобы въ Россіи уничтожено было рабство помѣщичьихъ крестьянъ. Онъ утверждалъ, что свободу крестьянамъ въ Россіи можетъ приготовить и даровать одна только самодержавная власть; онъ страстно желалъ этой свободы, слѣдовательно не могъ желать того, что ее, по его убѣжденію, сдѣлало бы невозможною, то есть уничтоженія самодержавной власти; слѣдовательно не могъ и принимать участія въ замыслахъ, коихъ преступною цѣлію было уничтоженіе самодержавія и съ нимъ измѣненіе существующаго порядка въ Россіи.

По характеру своему онъ ни на что преступное не способенъ: ни мыслію, ни дѣломъ. Этому, повторяю, служитъ свидѣтельствомъ цѣлая жизнь его. Пускай укажутъ хотя на одинъ поступокъ, въ которомъ было бы что нибудь уклоняющееся отъ правилъ строжайшей нравственности. Пускай взглянутъ на его службу. Кто съ большею совѣстностію работалъ? Кто болѣе собою жертвовалъ долгу? И не признавалъ ли этого, наконецъ, самъ покойный государь, который при отъѣздѣ Тургенева по болѣзни за границу осыпалъ его благодѣяніями и нѣсколько разъ говорилъ Карамзину, что желаетъ его возвращенія, дабы сверхъ другихъ дѣлъ возложить на него и нѣкоторыя части по законодательству, а покойному государю былъ извѣстенъ вообще образъ мыслей Тургенева. Онъ принялъ съ благосклонностію его проэктъ объ освобожденіи крестьянъ, представленный ему графомъ Милорадовичемъ. Другія же мысли Тургенева почиталъ онъ свободными и совѣтовалъ ему мягостно отъ нихъ отказаться. Но въ чемъ же состояли сіи свободныя мысли? Всѣ болѣе или менѣе относились къ главной, то есть къ освобожденію крестьянъ. Но о республикѣ въ Россіи и объ измѣненіи къ ней существующаго порядка

онъ не думалъ и не могъ думать. О многомъ, что дѣлалось въ Россіи и въ Европѣ, изъявлялъ онъ свое мнѣніе, но не такъ, какъ замыслитель республики, а какъ и всѣ другіе *).

Что же произвело насчетъ Тургенева особенное предубѣжденіе? Почему ему особенно приписываласъ необузданность мнѣній? Почему онъ могъ прослыть якобинцемъ? Именно та же мысль о необходимости освобожденія крестьянъ, которую онъ выражалъ всегда съ совершенной независимостію. Мысль сія имѣетъ слишкомъ много противниковъ въ Россіи, ибо она оскорбляетъ общій интересъ и потому именно должна казаться враждебною и возмутительною. Не разсматривая сей мысли въ ней самой, замѣчу только одно, что она сама по себѣ далека отъ мысли о измѣненіи порядка и заговора противъ жизни государя; но что весьма легко смѣшать съ понятіемъ о свободѣ крестьянъ понятіе о любви къ необузданности, о республикѣ и назвать якобинцемъ того, кто говоритъ, что людей продавать не должно. Тургеневъ же велъ жизнь одинокую, занимался только должностію; въ обществѣ знали его немногіе, слѣдственно знали только по слухамъ, по пересказамъ другихъ, изъ коихъ одни увеличивали или искажали то, что онъ могъ говорить; а другіе, будучи вообще оскорбляемы тѣмъ, что онъ говорилъ, изъясняли слова его по своему. Все это утвердило въ обществѣ ложное объ немъ понятіе. Онъ слылъ якобинцемъ, тогда какъ всѣ его правила и дѣйствія были совершенно противоположны якобинству. Сіи же слухи могли дать о немъ и ложное понятіе государю; но государь зналъ его и по службѣ, которой уже ничто не могло исказить предъ нимъ, ибо на сіе онъ имѣлъ ясные факты, и онъ отличилъ человѣка, извѣстнаго ему по однимъ слухамъ, отъ того, коего зналъ на дѣлѣ: онъ отдалъ Тургеневу справедливость, осыпалъ его благодѣяніями, имѣлъ довѣренность къ его характеру и изъявилъ желаніе дать ему болѣе обширную дѣятельность по службѣ.

Сія исключительная, страстная привязанность Тургенева къ одной идеѣ весьма естественно объяснятъ, почему онъ, несмотря на здравый умъ свой, на характеръ твердый и на дѣльныя свои занятія и никогда не бывъ вѣтренымъ энтузіастомъ, могъ вступить въ общество молодыхъ людей, которое самъ почиталъ малозначущимъ, отъ коего не могъ ожидать никакой существенной пользы и никакого успѣха по той цѣли, которую, какъ онъ думалъ, оно себѣ предположило. Онъ хотѣлъ просто имѣть вліяніе на мнѣнія, хотѣлъ распространить нѣсколько здравыхъ идей и особенно произвести въ сочленахъ своихъ убѣжденіе въ пользу свободы крестьянъ. Это ему сначала удалось на словахъ; но когда онъ увидѣлъ неудачу на дѣлѣ, то совершенно охолодѣлъ къ обществу. Можно сказать, что онъ къ сему обществу и принадлежалъ и не принадлежалъ. Принадлежалъ потому, что разъ былъ въ него принятъ, находился на пяти или шести засѣданіяхъ и разсуждалъ въ сихъ засѣданіяхъ съ другими о томъ, какую бы дѣятельность придумать для общества, для достиженія предполагаемой цѣли, означенной въ «Зеленой Книгѣ». Не принадлежалъ, потому что былъ убѣжденъ въ пустотѣ и безполезности Общества, не занимался имъ внѣ засѣданій, ибо занятъ былъ по службѣ, и, наконецъ, совершенно къ нему охолодѣлъ, увидѣвъ, сколь его убѣжденія насчетъ освобожденія крестьянъ остались безплодны.

Теперь вопросъ: *могъ ли онъ, будучи членомъ общества, не знать о томъ, что было главною, тайною цѣлію первыхъ его учредителей?* Это утверждается всѣмъ сказаннымъ выше. Во-первыхъ, и при вступленіи своемъ въ общество онъ не уважалъ его; это неуваженіе усилилось впослѣдствіи и обратилось въ совершенное равнодушіе. Но это же равно-

*) Извѣстно, какъ свободно всѣ тогда говорили въ обществѣ насчетъ правительства. *Примѣчаніе В. А. Жуковскаго.*

душіе естественно произвело и совершенное невниманіе къ тому, что таилось въ головахъ нѣкоторыхъ членовъ. И какъ можно было угадать эту тайну? Изъ вольныхъ разговоровъ членовъ между собою? Но такіе разговоры Тургеневъ слышалъ и внѣ общества: они были просто болтовня, а не заговоръ. Изъ сообщенія умысловъ? Но сего сообщенія явно не было, ибо главные злоумышленники не измѣняли себѣ; а Тургеневу, коего особенный образъ мыслей, противорѣчащій ихъ тайному и возмутительному, былъ имъ извѣстенъ, они могли открыть менѣе, нежели кому нибудь другому. Имѣть же его въ Обществѣ считали они выгоднымъ, ибо имъ было извѣстно всеобщее къ нему уваженіе членовъ. Но также извѣстно изъ собственнаго ихъ признанія, что они другъ друга обманывали, называя сообщниками своими многихъ, кои никогда не думали участвовать въ ихъ умыслахъ. Во-вторыхъ, Тургеневъ вступилъ въ Общество тогда, когда и по самому Донесенію Слѣдственной Комиссіи оно еще не было преступнымъ [преступленіе нѣкоторыхъ не есть еще преступленіе всего Общества]. Онъ и вышелъ изъ него, когда еще оно таковымъ не было. Весьма возможно, что и въ бытность его въ Обществѣ замыслы вредные могли уже сдѣлаться извѣстными большему числу членовъ, нежели какъ то было въ началѣ; но это еще не доказываетъ, что онъ зналъ о сихъ замыслахъ.

Это можно изъяснить примѣромъ. Въ 1816 году завелось Общество Арзамасское, которое было не иное что, какъ литературная шутка; оно состояло сначала изъ 12 или 15 членовъ; число ихъ впослѣдствіи увеличилось до 25. Разъ въ недѣлю оно собиралось. Кто прочтетъ протоколы засѣданій и рѣчи членовъ, тотъ найдетъ въ нихъ совершенную галиматію; и дѣйствительно, они были галиматьею. Но въ 1817 году въ это общество были приняты Орловъ, Тургеневъ *и, наконецъ,* Никита Муравьевъ. Въ послѣднихъ своихъ засѣданіяхъ Общество, составленное изъ литераторовъ, начало разсуждать о томъ, какъ бы изъ шутки сдѣлать дѣло, и положено было выдавать литературный и политическій журналъ: но члены разъѣхались, и планъ журнала не составился. Теперь вопросъ: въ 1817 году вступилъ въ Арзамасское общество Муравьевъ. Онъ имѣлъ уже тогда всѣ тѣ мысли, кои занимали его, какъ члена Общества Благодѣнствія. Что, если бы журналъ Арзамасскаго Общества состоялся, и однимъ изъ издателей онаго былъ Никита Муравьевъ. Справедливо ли было бы назвать арзамасцевъ участниками злоумышленія, послѣ открывшагося, потому только, что Муравьевъ былъ ихъ сочленомъ? Справедливо ли было бы думать, что его особенные замыслы были имъ извѣстны? Скажу болѣе: если бы Общество Арзамасское продолжалось и если бы журналъ его состоялся, то вѣроятно Муравьевъ, будучи членомъ его, по правилу, принятому его соумышленниками, сталъ бы увѣрять прочихъ, что арзамасцамъ извѣстны ихъ замыслы и что они готовы имъ содѣйствовать; ибо «Арзамасъ» былъ составленъ изъ людей, имѣвшихъ въ Россіи извѣстность: самъ Карамзинъ бывалъ на ихъ засѣданіяхъ и отъ души смѣялся, слушая шутовскіе ихъ рѣчи и протоколы. Сія ложь была бы неизбѣжнымъ приговоромъ арзамасцевъ; они бы признаны были заговорщиками, а Общество ихъ вѣтвію преступнаго, Сѣвернаго или Южнаго. И если бы съ такимъ предубѣжденіемъ прочтены были протоколы и всѣ бумаги Арзамасскаго Общества, то они только бы подтвердили сіе мнѣніе. Никто бы не повѣрилъ, что оно не имѣло никакого умысла. Галиматья показалась бы маскою чего нибудь важнаго, и въ шуткахъ увидѣли бы намѣреніе преступное. Никто бы не повѣрилъ, что можно собираться разъ въ недѣлю для того только, чтобы читать галиматью. Фразы, не имѣющія для постороннихъ никакого смысла, показались бы тайными, имѣющими свой ключъ,

извѣстный однимъ членамъ. Имя Новый Арзамазъ, кое давало себѣ общество, получило бы смыслъ республики. А въ Бесѣдѣ русскаго слова и Академіи, надъ коими забавлялись члены, увидѣли бы Россію и правительство.

Въ чемъ убѣждаетъ этотъ примѣръ? Въ томъ, что особенныя мнѣнія нѣкоторыхъ частныхъ членовъ Общества не могутъ быть приписаны всему Обществу, что цѣлое Общество не можетъ быть названо преступнымъ потому только, что нѣкоторые члены его преступники, и, наконецъ, что можно быть въ Обществѣ и не знать о замыслахъ нѣкоторыхъ его членовъ.

Итакъ, весьма естественно было Тургеневу, и по неуваженію его къ самому Обществу, и по множеству занятій своихъ по службѣ, и по малому участію своему въ занятіяхъ Общества, не знать о томъ, что думали главные его учредители, что дѣлалось въ нѣкоторыхъ засѣданіяхъ и что, наконецъ, сдѣлалось замысломъ многихъ. Особливо, когда вспомнимъ ходъ Общества и разныя его эпохи. Дѣятельность Тургенева, которая вся ограничивается пятью засѣданіями, на коихъ онъ присутствовалъ и послѣднимъ [на коемъ онъ былъ президентомъ и въ коемъ уничтожилось Общество], вся принадлежитъ къ періоду отъ вступленія его до разрушенія Общества въ генварѣ 1821 года. Что же оказалось преступнаго въ этомъ періодѣ? Какими фактами подтверждается участіе Тургенева въ умыслахъ противъ правительства? Нѣсколько голословныхъ показаній, не принятыхъ и судомъ. Вотъ все! А показаніе Пестеля само собою уничтожается; это доказано выше.

Почему же нѣкоторые члены, убѣжденные преступники, показываютъ такъ рѣшительно, что Тургеневъ зналъ ихъ замыслы?

Это можно объяснить самымъ естественнымъ образомъ, даже не предполагая въ сихъ обвинителяхъ намѣренія клеветать на невиннаго. Всѣ они говорятъ о *томъ, что было задолго до того* времени, въ которое должны были дать отвѣтъ предъ судилищемъ. И о чемъ же говорятъ? Не о происшествіяхъ, подтвержденныхъ документами, а просто о разговорахъ. Тургеневъ покинулъ Россію въ началѣ 1824, а допросы происходили въ концѣ 1825 года, и въ показаніяхъ преступниковъ, одно съ другимъ несогласныхъ и часто одно другому противорѣчащихъ, упоминается только о разговорахъ въ разное время бывшихъ, по крайней мѣрѣ, за два года, о разговорахъ, о коихъ одинъ говоритъ, какъ присутствовавшій, то, что другой, какъ присутствовавшій, отвергаетъ. А многіе говорятъ только по слухамъ.

И кто же эти обвинители? Тѣ самые, которые признались, что и другъ друга часто обманывали насчетъ другъ друга! Сверхъ того, развѣ не часто случается, что мы свои предположенія насчетъ другаго, основанныя на частномъ нашемъ убѣжденіи, принимаемъ за нѣчто вѣрное и увѣрены бываемъ, что другіе такъ думаютъ потому только, что мы такъ думаемъ. Подобныя показанія могутъ ли быть достаточны для суда, и можно ли на нихъ основать приговоръ въ отсутствіи обвиненнаго? Сдѣлаю здѣсь особенное замѣчаніе на Пестеля. Онъ могъ быть и, вѣроятно, былъ личнымъ врагомъ Тургенева, ибо Тургеневъ былъ одною изъ главныхъ причинъ осужденія отца его. Весьма вѣроятно, что чувство мщенія руководствовало имъ въ его показаніяхъ на Тургенева. Это одно предположеніе, но оно правдоподобнымъ образомъ объясняетъ упрямство Пестеля въ клеветѣ на отсутствующаго.

Если Тургеневъ былъ равнодушенъ къ Обществу и почиталъ его малозначущимъ, то какъ могъ стараться о его распространеніи, какъ могъ принимать членовъ?

Но это принятіе ограничивается однимъ Митьковымъ, и Митькова Тургеневъ не убѣждалъ вступить въ Общество: онъ только по просьбѣ самого Митькова далъ ему такъ-называемую «Зеле-

ную Книгу». Толстой самъ объявляетъ, что никогда Тургеневымъ принятъ не былъ, а принятіе Миклашевскаго, ничѣмъ не доказанное, отвергаетъ самъ Тургеневъ. Но если бы сіи члены и всѣ приняты были Тургеневымъ, то это принятіе было бы въ такое время, когда Общество было просто «Союзомъ Благодѣтельствія», безъ всякой другой явной цѣли, кромѣ означенной въ «Зеленой Книгѣ».

Что Тургеневъ не заботился о принятіи членовъ именно потому, что не уважалъ и самаго Общества и не считалъ его ни на что годнымъ, тому могу быть свидѣтельствомъ я. Въ 1818 году, въ бытность мою вмѣстѣ съ дворомъ въ Москвѣ, познакомился я, не помню у кого въ домѣ, съ Александромъ Муравьевымъ. Былъ за столомъ общій разговоръ о Россіи, о средствахъ распространить въ ней просвѣщеніе; въ семъ разговорѣ участвовалъ и я. Можетъ быть, то, что я говорилъ, понравилось Муравьеву. Дни черезъ два онъ пришелъ ко мнѣ и сказалъ, что существуетъ Общество, коего цѣль есть распространеніе возможнаго добра въ отечествѣ, предложилъ мнѣ быть его членомъ и оставилъ у меня «Зеленую Книгу», взявъ съ меня обѣщаніе не говорить никому о существованіи Общества. Я прочиталъ уставъ. Цѣль Общества показалась мнѣ благонамѣренною; но я не вступилъ въ него, не потому, чтобы почиталъ его преступнымъ или вреднымъ, но потому только, что не хотѣлъ на себя налагать никакой зависимости Я возвратилъ Александру Муравьеву уставъ и болѣе съ нимъ въ Москвѣ не видался. Нѣсколько времени спустя, по возвращеніи моемъ въ Петербургъ, находясь у Николая Тургенева, я спросилъ у него, знаетъ ли онъ о существованіи Общества и что объ немъ скажетъ. Не помню точнаго его отвѣта, но знаю только то, что онъ не сказалъ ничего въ его пользу и не продолжилъ объ немъ разговора. Такъ ли бы поступилъ онъ, если бы желалъ *ревностно распространенія* Общества и *былъ заботливымъ набирателемъ* членовъ? Онъ, конечно бы, началъ убѣждать меня вступить въ него, увидя изъ словъ моихъ, что я знаю о его существованіи; и если бы онъ имѣлъ намѣреніе, какъ членъ Общества, быть издателемъ журнала, то онъ бы обрадовался случаю сдѣлать и меня участникомъ въ семъ изданіи.

Но это изданіе журнала есть нѣчто совершенно отдѣльное отъ самаго Общества. И можно ли видѣть въ изданіи журнала что-нибудь преступное? Развѣ у насъ журналъ можетъ быть выдаваемъ безъ цензуры? Развѣ журналъ у насъ можетъ быть средствомъ возмущенія умовъ? Явно только то, что Тургеневъ, бывъ членомъ «Союза Благодѣтельствія», хотѣлъ выдавать журналъ литературы и политики; но онъ не могъ симъ журналомъ надѣяться возмутить умы, ибо это ни въ какомъ случаѣ не было возможно.

Въ Донесеніи Слѣдственной Комиссіи сказано, что составлявшіе коренную Петербургскую управу имѣли намѣреніе дѣйствовать на умы изданіемъ особеннаго дешеваго журнала, пѣсень, каррикатуръ и хотѣли для того имѣть литографію и тайную типографію въ отдаленной отъ столицы деревнѣ. А въ примѣчаніи сказано: «изданіе журнала предпринималъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Тургеневъ. Есть нѣсколько возмутительныхъ пѣсень, кои тогда были сочинены» и прочее. Ужасно подумать, что на семъ могло быть основано обвиненіе Тургенева въ замыслѣ возмущать умы изданіемъ журнала. Изъ замѣчанія можно подумать, что Общество Тургеневу поручило изданіе журнала и что онъ, согласясь на это, предпринималъ изданіе. Но въ самомъ показаніи стоитъ, что журналъ хотѣли выдавать безъ позволенія правительства и печатать въ тайной типографіи, въ отдаленной отъ столицы деревнѣ и раздавать подъ рукою. Какъ же Тургеневъ могъ быть издателемъ такого журнала? Тургеневъ предпринималъ издавать журналъ въ Петербургѣ и явно приглашалъ къ соучастію въ изданіи его членовъ и не-членовъ Общества,

извѣстныхъ литераторовъ. Какая связь между его памѣреніемъ и тѣмъ, кое имѣли члены по собственному ихъ показанію? Но по связи, находящейся между текстомъ Донесенія Слѣдственной Комиссіи и означеннымъ мною примѣчаніемъ, можно подумать, что Тургеневъ принялъ отъ общества порученіе издавать тайный журналъ и что могъ участвовать въ сочиненіи пѣсень возмутительныхъ, въ это же время распространенныхъ. При малѣйшемъ вниманіи можно убѣдиться, что этой связи не существуетъ. Но примѣчаніе между тѣмъ написано и могло послужить къ обвиненію, по крайней мѣрѣ, произвести вредное предубѣжденіе противъ обвиняемаго.

Весьма надобно сожалѣть, что при самомъ началѣ дѣйствія Комиссіи никто не подумалъ взять бумагъ Тургенева, оставленныхъ имъ на той квартирѣ, кою онъ занималъ до отъѣзда своего за границу. Между сими бумагами нашли бы нѣкоторые проекты сочиненій политическихъ, планы піесъ для журнала и, что всего важнѣе, дневныя записки Тургенева, въ коихъ онъ давалъ себѣ отчетъ во всемъ томъ, что съ нимъ было до самаго его отъѣзда. Все это послужило бы, чтобы дать суду ясное понятіе о характерѣ и образѣ мыслей отсутствующаго обвиненнаго. Между прочими бумагами находится планъ сочиненія о тѣхъ перемѣнахъ, кои правительство могло бы сдѣлать для Россіи [въ этой статьѣ говорится и о конституціи], а въ журналѣ замѣчательно между прочимъ слѣдующее: «*1822. 16-е августа. На сихъ дняхъ вышелъ рескриптъ о закрытіи масонскихъ ложъ и о запрещеніи всякихъ тайныхъ обществъ. О ложахъ, говорятъ, сожалѣютъ нѣкоторые тайные масоны. О тайныхъ обществахъ никто не говоритъ; ибо никто ихъ не знаетъ и не думаетъ, чтобъ они были и могли быть въ Россіи. И подлинно: послѣднее запрещеніе кажется лишнее*». Сіи дневныя записки Тургеневъ велъ для себя; ихъ не читали и его братья. Могъ ли бы онъ написать въ 1822 году такое замѣчаніе, если бы думалъ, что Общество, къ коему онъ принадлежитъ, хотя и тайное, имѣло какую-нибудь малѣйшую важность?

*

Если все сказанное въ сей запискѣ не убѣдитъ въ совершенной невинности Тургенева, то, по крайней мѣрѣ, можетъ оно произвести сомнѣніе въ совершенной его виновности, можетъ заставить подумать, что онъ оправдался бы во всемъ, или, по крайней мѣрѣ, въ главномъ, если бы явился на судъ; что его главная вина, коей оправдать нельзя, есть неявка и что за неявку осужденъ онъ какъ за умыселъ на цареубійство и бунтъ.

Итакъ, если по обстоятельствамъ нельзя уже снять съ него приговора [по крайней мѣрѣ теперь нельзя], то самая справедливость требуетъ облегчить его положеніе: онъ боленъ, пребываніе въ Англіи будетъ для него убійственно. Если государь окажетъ ему милость, повелѣвъ миссіямъ не тревожить его нигдѣ въ Европѣ внѣ Россіи, то сія милость будетъ въ то же время и справедливостію.

1829.

ИЗЪ «СОБИРАТЕЛЯ» 1829 г.

I. ПОЛЬЗА ИСТОРІИ ДЛЯ ГОСУДАРЕЙ.

Сокровище просвѣщенія царскаго есть Исторія, наставляющая опытами прошедшаго, ими объясняющая настоящее и предсказывающая будущее. Она знакомитъ государя съ нуждами его страны и его вѣка. Она должна быть главною его наукою. Освященная религіею, она воспламенитъ въ немъ любовь къ великому, стремленіе къ благотворной славѣ, уваженіе къ человѣчеству, и дастъ ему высокое понятіе о его санѣ. Изъ нее извлечетъ онъ правила дѣятельности царской. Сихъ главныхъ правилъ немного. Познакомивъ съ судьбою народовъ и объяснивъ причины ихъ бѣдствій и сла-

годенствія во всѣхъ временахъ, Исторія должна сказать ему въ заключеніе: *Вѣрь, что власть царя происходитъ отъ Бога*, но вѣрь сему не для того, чтобы поставить себя выше суда людей, а для того, чтобы подчинить себя верховному суду Бога; вѣрь сему, какъ Людовикъ XII и Генрихъ Великій; сію вѣру имѣлъ и Іоаннъ Грозный, но въ душѣ его она была губительною насмѣшкою надъ Божествомъ и человѣчествомъ. *Уважай законъ и научи его уважать своимъ примѣромъ:* законъ, пренебрегаемый царемъ, не будетъ хранимъ и народомъ. *Люби и распространяй просвѣщеніе:* оно сильнѣйшая подпора благонамѣренной власти; народъ безъ просвѣщенія есть народъ безъ достоинства; имъ кажется легко управлять только тому, кто хочетъ властвовать для одной власти; но изъ *сильныхъ* рабовъ легче сдѣлать свирѣпыхъ мятежниковъ, нежели изъ подданныхъ *просвѣщенныхъ*, умѣющихъ цѣнить благо порядка и законовъ. *Уважай общее мнѣніе:* оно часто бываетъ просвѣтителемъ монарха; оно вѣрнѣйшій помощникъ его, ибо строжайшій судія исполнителей его воли; мысли могутъ быть мятежны, когда правительство притѣснительно или нерадиво; общее мнѣніе всегда на сторонѣ правосуднаго государя. *Люби свободу:* то есть уважай и личную безопасность и права и мысли каждаго, и охраняй ихъ закономъ отъ самовластія исполнителей закона, кои подъ видомъ угожденія волѣ царя утѣсняютъ человѣчество въ подданныхъ. Свобода и непарушимость закона одно и то же. Любовь къ свободѣ въ царѣ утверждаетъ любовь къ повиновенію въ подданныхъ. *Властвуй не силою, а порядкомъ:* истинное могущество государя не въ числѣ его воиновъ, а въ твердомъ благосостояніи народа. *Будь вѣренъ слову:* безъ довѣренности нѣтъ уваженія, неуважаемый безсиленъ. *Окружай себя достойными тебя помощниками:* заблужденіе царя, удаляющее отъ него людей превосходныхъ, предаетъ его на жертву корыстолюбивымъ рабамъ, губителямъ его чести и народнаго блага. *Уважай народъ свой:* тогда онъ сдѣлается достойнымъ уваженія. *Люби народъ свой:* безъ любви царя къ народу нѣтъ любви народа къ царю. *Не обманывайся на счетъ людей и всего земнаго, но имѣй въ душѣ идеалъ прекраснаго — вѣрь добродѣтели!* Сія вѣра есть вѣра въ Бога, она защититъ душу твою отъ презрѣнія къ человѣчеству, столь пагубнаго въ правителѣ людей. Наконецъ, въ заключеніе слова Іоанна Мюллера, коими онъ оканчиваетъ свою Всемірную Исторію: *умѣренность! порядокъ!* а смыслъ ихъ: не упускай никогда изъ виду своей цѣли; подвигайся впередъ, не быстро, но постоянно; строй безъ спѣха, но для вѣковъ; исправляй не разрушая; не упреждай своего вѣка, но и не отставай отъ него; не будь его рабомъ, но свободно и могущественно съ нимъ соглашайся: будешь владѣть имъ, когда не презришь его совѣта; будешь его жертвою, или окружишь себя жертвами, когда захочешь его пересилить.

. . .

II. Климатъ физическій и нравственный.

Душа государя есть то же для нравственной жизни народа, что климатъ для жизни физической человѣка.

На снѣгахъ Лапландіи человѣкъ не живетъ, а прозябаетъ: видъ его печаленъ, умъ ограниченъ, Исторія молчитъ объ немъ. Степи африканскія совершенно необитаемы: съ ужасомъ проходятъ по нихъ необъятнымъ равнинамъ каравапы, не оставляя по себѣ и слѣдовъ: иногда только, засыпанные пескомъ, задушенные знойнымъ вѣтромъ, они остаются ужасными свидѣтелями того, что страна сія не создана для человѣка. Степи Южной Америки были бы такъ же безлюдны: но тамъ расцвѣтаетъ гостепріимная пальма; цѣлый народъ тѣснится вокругъ нее, она даетъ ему жилище, одежду, прохладу, пищу и питіе.

Таковъ дѣйствіе климата на жизнь

человѣка; таково же и дѣйствіе души государя на нравственное бытіе народа; она *опредѣляетъ*, чему быть кругомъ престола: снѣжнымъ ли пустынямъ Лапландіи, среди которыхъ человѣкъ только что прозябаетъ; печальнымъ ли степямъ Африки, на конхъ кости одинѣ свидѣтельствуютъ о бытіи человѣка, — или пышнымъ странамъ, гдѣ все живетъ, гдѣ все достигаетъ своего развитія, возбуждаемое властію благотворною, которая порядкомъ хранитъ свободу и свободою животворитъ порядокъ.

1831.

ВЗГЛЯДЪ НА ЗЕМЛЮ СЪ НЕБА.

Есть свѣтлая сторона. Мы ея не знаемъ, но вѣримъ, что она есть. И сія вѣра подобна дѣйствію начинающагося утра на затворенныя очи спящаго юноши, когда еще играютъ надъ нимъ сновидѣнія ночи.

Въ сей сторонѣ обитаютъ первенцы любви Божіей. Ихъ бытіе для насъ непостижимо. Они блаженствуютъ въ созерцаніи яснаго для нихъ Создателя.

Однажды, посреди великолѣпнаго созданія, одинъ изъ сихъ обитателей свѣта стоялъ, преклоня взоры, въ задумчивомъ размышленіи.

Что съ тобою, братъ мой? спросилъ подлетѣвшій къ нему товарищъ блаженства. На лицѣ твоемъ что-то не здѣшнее. Какое видѣніе наполняетъ и какъ будто тревожитъ твою душу?

«Братъ мой!—отвѣчалъ вопрошенный— я на мгновеніе отвратилъ глаза мои отъ окружающаго насъ свѣта; я погрузился во глубину бездны, и чувство, никогда не испытанное, наполнило душу мою. Доселѣ она знала одну спокойную радость—теперь она растрогана; доселѣ я только обожалъ Создателя—теперь мое чистое обожаніе обратилось въ благодарность, соединенную съ сладкимъ упованіемъ.

«Отклоня вниманіе отъ окружающаго насъ лучезарнаго океана, я взглянулъ на одну изъ капель, брызжущихъ отъ безчисленныхъ волнъ его. И что же! Каждая изъ сихъ капель есть бездна свѣтилъ, и каждое изъ сихъ свѣтилъ, едва примѣтныхъ моему взору, окружено милліонами другихъ, кружащихся около него легкою, свѣтлою пылью и въ порядкѣ повинующихся ему, какъ владыкѣ.

«Я устремилъ вниманіе на одну изъ сихъ свѣтлыхъ пылинокъ. и что же опять увидѣлъ? Она, какъ и всѣ другія, даетъ жизнь своему особенному міру; пылинки, несравненно мельчайшія и уже не свѣтлыя, а только озаренныя, около нея движутся въ удивительномъ устройствѣ: я видѣлъ, какъ одинѣ изъ нихъ рождались и были въ минуту рожденія совершенно темныя, какъ другія мало по малу свѣтлѣли, какъ нѣкоторыя, обратившись въ свѣтлыя, пріобщались къ другимъ, подобно имъ сіяющимъ, и какъ около нихъ начиналось новое рожденіе.

На одной изъ сихъ темныхъ, только что родившихся пылинокъ остановился взоръ мой. Немного прошло мгновеній, и уже она нѣсколько тысячъ разъ обратилась кругомъ своего свѣтила, кругомъ той лучезарной пылинки, которая исчезаетъ въ вихрѣ свѣтлаго праха, окружающаго каждую изъ тѣхъ болѣе лучезарныхъ пылинокъ, кои безчисленно блещутъ въ замѣченной мною каплѣ.

«И что же произошло въ сіи столь быстрыя мгновенья? Сначала, повинуясь движенію, влекущему ее около владычествующаго ею блистательнаго средоточія, сія бѣдная пылинка была сама по себѣ мрачною и какъ будто мертвою. Вдругъ началось на ней движеніе; поверхность ея нѣсколько разъ измѣнилась; наконецъ все пришло въ порядокъ; движеніе утихло; она получила нѣкоторый постоянный образъ, и нѣсколько времени поверхность ея была какъ будто пустынною, и все, что на ней происходило, казалось свойственнымъ *ничтожному* бытію пылинки... Но вдругъ нѣчто таинственное тамъ совершилось: съ высоты моей, съ сладост-

нымъ участіемъ брата, почувствовалъ я, что тамъ на пылинкѣ, ничтожной, началась жизнь, подобная моей жизни, и что посреди ея ничтожества тихо раздалось то Имя, которое здѣсь столь громозвучно поражаетъ насъ среди нашего величія, раздалось и было услышано! И я увидѣлъ живыя творенія, увидѣлъ, какъ они начались, какъ размножались, какъ исчезали, уступая мѣсто одни другимъ, какъ наконецъ овладѣли всею поверхностію своего непримѣтнаго міра, и какъ все на поверхности его снова преобразилось.

«Но сіи живыя творенія сначала казались мнѣ окруженными какимъ-то мракомъ, мнѣ самому непонятнымъ. И вдругъ увидѣлъ я лучъ, сверкнувшій надъ поверхностію ихъ пылинки. И лучъ сей показался мнѣ свѣтозарнѣе всей окружающей меня бездны свѣта.

«О милый братъ! что же пылинка сія, темная, исчезающая въ одной изъ сіяющихъ капель того свѣтозарнаго океана, который передъ нами волнуется, котораго пламенныя волны громомъ своимъ сливаются въ нѣснопѣніе Вседержителю? И что мгновенные обитатели сей пылинки?

«Но они живутъ и живутъ чудесною жизнію. И въ бренной своей жизни они имѣютъ еще и то, чего мы въ величіи своемъ не имѣемъ. Наша участь есть безмятежное блаженство; а имъ—имъ дано страданіе! При семъ словѣ благоговѣйный трепетъ наполняетъ душу мою. Страданіе—для нихъ оно непостижимо, а я съ высоты моей постигаю всю божественную его тайну. Страданіе, творецъ великаго—оно знакомитъ ихъ съ тѣмъ, чего мы никогда въ безмятежномъ блаженствѣ нашемъ не узнаемъ; съ таинственнымъ вдохновеніемъ вѣры, съ утѣхою надежды, съ сладостнымъ упоеніемъ любви.

«Мы, обитатели свѣта, мы въ своей безмятежной вѣчности не вѣдаемъ тѣхъ волненій, той борьбы, того стремленія къ лучшему, которыя наполняютъ минутную жизнь ихъ во прахѣ. Что для насъ *есть*, что для насъ *всегда* было—то еще для нихъ *будетъ*: о томъ усладительно говоритъ имъ надежда! Создатель поселилъ насъ вблизи Своего непроницаемаго святилища, и мы Его *знаемъ*—для нихъ же Онъ скрылъ Себя въ таинственномъ мракѣ смятеннаго бытія ихъ: заключенные въ тѣсныхъ предѣлахъ своего ничтожнаго міра, они не постигаютъ и еще не могутъ постигать Его всеобъемлющаго Промысла; но они Его чувствуютъ, они къ Нему стремятся сквозь тысячи преградъ, отдѣляющихъ отъ Него ихъ душу, и они нѣкогда найдутъ Его и такъ же постигнутъ, какъ мы Его постигаемъ. Ихъ вѣра есть побѣда, одерживаемая душою и возвышающая душу. Здѣсь, блаженствуя любовію къ Создателю, мы не властны не любить Его, столь близкаго къ намъ, столь совершенно намъ понятнаго. А ихъ любовь, во прахѣ, въ ничтожествѣ, въ страданіи—какое чудесное преобразованіе даруетъ она бытію ихъ въ этомъ прахѣ! какъ украшаетъ она для нихъ и самый прахъ, гдѣ посреди измѣненія и тлѣнности все говоритъ имъ о Промыслѣ вѣчномъ.

«И что же?.. Съ симъ таинствомъ страданія, образующаго душу, соединяется другое столь же великое таинство смерти, которая всему, что окружаетъ ихъ въ тѣсныхъ предѣлахъ обитаемой ими пылинки, даетъ и цѣну и прелесть. Смерть, страшилище мечтательное, ужасомъ утраты привязываетъ ихъ къ бытію мгновенному. Содрогаясь передъ нею, они тѣмъ сильнѣе, какъ будто къ сокровищу, ничѣмъ не замѣняемому, прилѣпляются къ бѣдному своему праху, и тѣмъ охотнѣе пріемлютъ уроки испытующаго ихъ страданія.

«Но въ минуту разлуки съ жизнію, они узнаютъ и тайну смерти: она является имъ, уже не страшилищемъ, губителемъ настоящаго и будущаго, а яснымъ воспоминаніемъ минувшаго, которое съ ними вмѣстѣ вылетаетъ изъ праха, вѣчный товарищъ новой жизни.

«Вотъ что, мой братъ, погрузило меня въ унылое размышленіе, столь изумившее тебя посреди окружающаго насъ блаженства. Нѣсколько мгновеній я прожилъ иною жизнію. Минутный обитатель праха, я испыталъ все, что тамъ называется жизнію: понялъ въ страданіи сладость надежды, спокойствіе вѣры, веселіе любви, понялъ знаменованіе смерти... и насладился тѣмъ, чего нѣтъ въ безмятежномъ нашемъ величіи.

«И теперь какое новое зрѣлище предо мною! Итакъ, всѣ яркія капли сего лучезарнаго океана суть бездны міровъ оживленныхъ! Итакъ, сіи трепещущія въ каждой каплѣ пылинки суть храмы Вседержителя, равно великолѣпные съ нашимъ небомъ! Итакъ, каждая пылинка кипитъ живыми созданіями, которыя всѣ наши братья!»

Онъ умолкнулъ... онъ поднялъ глаза... передъ нимъ явилось опять *все* міроздапіе, необъятный океанъ свѣта, коего волны быстро летѣли и гармоническимъ громомъ своимъ славили Вседержителя.

1834.

К. К. МЁРДЕРЪ. *)

24 марта [1834 года] скончался въ Римѣ генералъ-адъютантъ Карлъ Карловичъ Мёрдеръ, послѣ пятидневной горячки, причиненной простудою. Покинувъ холодный климатъ петербургскій, для возстановленія силъ своихъ, разстроенныхъ припадками болѣзни, уже неисцѣлимой, хотя еще не смертельной, онъ провелъ все лѣто прошедшаго года на водахъ въ Баденъ-Баденѣ; осенью переселился въ Италію, прожилъ всю зиму въ Римѣ, въ началѣ весны посѣтилъ Неаполь и, возвратившись въ Римъ, собирался уже послѣ Пасхи отправиться снова къ водамъ въ Германію, дабы потомъ ѣхать обратно въ Россію. Но Провидѣнію угодно было устроить иначе. Слѣдующія подробности о послѣднихъ дняхъ и кончинѣ генерала Мёрдера заимствованы изъ писемъ очевидца *):

«18-го числа, въ самый день Пасхи, пошелъ онъ на площадь св. Петра смотрѣть церемонію папскаго благословенія; былъ бодръ и веселъ, но, разгоряченный сильнымъ жаромъ того дня, вѣроятно, простудился ввечеру, когда осматривалъ иллюминацію купола Базилики, ибо, возвратясь домой, почувствовалъ сильную усталость и разслабленіе, легъ въ постелю, и болѣе уже не покидалъ ея. На другой день открылась жестокая горячка. Лучшіе доктора Рима были призваны, но напрасно: ничто уже не могло спасти его. 23-го марта, въ 12-мъ часу утра, пригласили пастора для причащенія его св. Таинъ; онъ былъ въ памяти, но говорить уже не могъ, только два ручья слезъ показывали его умиленіе и святыя чувства истиннаго христіанина. Въ пять часовъ собрались доктора и рѣшили пустить ему кровь, чтобы облегчить его дыханіе; но то была слишкомъ слабая помощь. Біеніе сердца увеличивалось безпрестанно, и къ полночи сдѣлалось такъ сильно, что его можно было слышать въ двухъ шагахъ; больной лежалъ неподвижно, безъ чувствъ; руки и ноги хладѣли; наконецъ, въ половинѣ перваго часа утра, сердце его остановилось—онъ скончался. Лицо мертваго сохранило нѣсколько минутъ слѣды минувшихъ страданій; но скоро они изгладились: на немъ распространилось выраженіе добродушія, тихости; явилась улыбка; такимъ оно и осталось. Погребеніе совершено было 26-го марта, на англійскомъ кладбищѣ, близъ Цестіевой пирамиды. Вмѣстѣ со вдовой и дочерью покойнаго, и всѣ русскіе, находившіеся въ Римѣ, провожали его тѣло. У стѣны кладбища были выстроены папскіе гренадеры и

*) Статья помѣщена безъ всякаго заглавія, въ ряду «Внутреннихъ Извѣстій». *Прим. ред.*

*) А. В. Устинова, который, на пути своемъ изъ Италіи, встрѣтился съ генераломъ Мёрдеромъ въ Баденъ-Баденѣ, съ нимъ вмѣстѣ поѣхалъ обратно въ Италію, не отходилъ отъ него во все время послѣдней его болѣзни, и имѣлъ горестное утѣшеніе закрыть глаза своему другу и благотворителю. *Примѣчаніе къ тексту.*

драгуны. При двухъ стахъ выстрѣлахъ гробъ былъ опущенъ въ могилу и засыпанъ землею».

Такъ, вдалекѣ отъ отечества, кончилъ дни свои незабвенный нашъ Мёрдеръ. Изъ сорока шести лѣтъ жизни своей посвятилъ онъ тридцать на службу государю, и послѣднія десять провелъ безотлучно при особѣ его высочества наслѣдника, коего воспитаніе было ему ввѣрено. Отмѣнно здравый умъ, рѣдкое добродушіе и живая чувствительность, соединенные съ холодною твердостію воли и неизмѣннымъ спокойствіемъ души, таковы были отличительныя черты его характера. Съ сими свойствами, дарованными природою, соединялъ онъ ясныя правила, извлеченныя имъ изъ опытовъ жизни, правила, отъ коихъ ничто никогда не могло отклонить его въ поступкахъ. Спокойно и смиренно дѣйствовалъ онъ въ кругу своихъ обязанностей, руководимый одною совѣстію, вѣрный долгу, безъ честолюбія, безъ видовъ корысти, строгій съ самимъ собою и удивительно добродушный съ другими. Десять лѣтъ, проведенныхъ имъ при великомъ князѣ, конечно оставили глубокіе слѣды на душѣ его воспитанника; но въ данномъ имъ воспитаніи не было ничего искусственнаго: вся тайна состояла въ благодѣтельномъ, тихомъ, но безпрестанномъ дѣйствіи прекрасной души его, дѣйствіи, которое можно сравнить съ благораствореніемъ воздуха, необходимымъ для жизни и полнаго развитія растеній. Его питомецъ былъ любимъ нѣжно, жилъ подъ святымъ вліяніемъ прямодушія, честности, благородства; онъ окруженъ былъ порядкомъ; самая строгость принимала съ нимъ выраженіе нѣжности; онъ слышалъ одинъ голосъ правды, видѣлъ одно безкорыстіе— могла ли душа его, отъ природы благородная, не сохраниться свѣжею и непорочною, могла ли не полюбить добра, могла ли въ то же время не пріобрѣсти и уваженія къ человѣчеству, столь *необходимаго во всякой жизни*, особливо въ *жизни близъ трона и на тронѣ?*

Будемъ же радоваться, что душа наслѣдника Россіи на разсвѣтѣ своемъ встрѣтилась и породнилась съ прекрасною душою Мёрдера. Провидѣніе разлучило ихъ въ минуту, важную для обоихъ. Все земное кончилось для одного въ то время, когда другой вступалъ во храмъ для первой присяги на жизнь земную. Одинъ, при переходѣ въ лучшій міръ, простился съ здѣшнимъ, произнося свое любимое, здѣшнее имя: *Александръ... Александръ...* невнятно повторялъ тупѣющій языкъ его въ то время, когда прерывалось его дыханіе, и смерть къ нему приближалась. Другой, при переходѣ изъ отрочества въ юность, встрѣченный пѣніемъ: *Христосъ воскресе*, передъ святымъ Евангеліемъ, окруженный величіями земными, произносилъ присягу свою въ такую минуту, когда надъ нимъ совершилось уже первое несчастіе жизни [тогда еще ему неизвѣстное], утрата любимаго друга. Одинъ, безпорочно исполнивъ свое земное дѣло, имѣлъ завидное счастіе заснуть сномъ смертнымъ такъ тихо, какъ младенецъ засыпаетъ сномъ колыбельнымъ; имя его чисто, и память его будетъ любима. Другой... да сохранится его жизнь навсегда въ теперешней своей непорочности; да будетъ она вся прекрасна, какъ ея утро, расцвѣтшее подъ кроткимъ вліяніемъ хранительной дружбы и чистыхъ семейственныхъ нравовъ; вся величественна и полна высокаго значенія, какъ сія первая присяга во храмѣ; да будутъ наконецъ и самыя испытанія, необходимо съ нею соединенныя, подобны сей утратѣ друга, услаждаемой великимъ словомъ: *Христосъ воскресе!* [Издаемъ по тексту газеты].

ВОСПОМИНАНІЕ

о торжествѣ 30-го августа 1834 года.

Я готовился быть свидѣтелемъ торжества великолѣпнаго: но торжество видѣнное мною, превзошло мое ожиданіе. Оно такъ же колоссально, какъ тотъ памят-

никъ, передъ которымъ происходило, и какъ Россія, которая вся въ немъ изобразилась. Я чувствовалъ вдохновеніе, но это было не творческое вдохновеніе поэта, украшающее или преобразующее существенность: то было поразительное чувство высокаго, неотдѣлимое отъ предмета, его возбудившаго; такое же чувство, какое потрясло мою душу, когда представились мнѣ въ первый разъ Альпы, когда я увидѣлъ Римъ посреди его запустѣвшей равнины, когда подходилъ ко храму св. Петра, и остановился подъ его изумительнымъ сводомъ. Здѣсь поэзія безмолвна, и близость предмета давитъ воображеніе, напрасно хотящее втѣснить его въ слова и звуки. Здѣсь можно только описывать, и чѣмъ простѣе, чѣмъ вѣрнѣе будетъ описаніе, тѣмъ болѣе будетъ въ немъ поэзіи.

Все соединилось, чтобы дать сему торжеству значительность глубокую. День наканунѣ былъ утомительно душенъ; къ ночи все небо задернулось громовыми тучами; воздухъ давилъ, какъ свинецъ; тучи шумѣли; Нева подымалась, и былъ въ волнахъ ея голосъ; наконецъ запылала гроза; молніи за молніями, зажигаясь въ тысячѣ мѣстахъ, какъ будто стояли надъ городомъ, однѣ зубчатыми стрѣлами крестили небо, другія вспыхивали, какъ багровые снопы, иныя широкимъ пожаромъ зажигали цѣлую массу облаковъ, и въ этомъ безпрестанномъ, быстромъ переходѣ изъ мрака въ блескъ, чудеснымъ образомъ являлись и пропадали зданія, кровли и башни, и вырѣзывались на яркомъ свѣтѣ шатающіяся мачты кораблей, и сверкала громада колонны, которая вдругъ выходила вся изъ темноты, бросала минутную тѣнь на озаренную кругомъ ея площадь, и вмѣстѣ съ нею пропадала, чтобъ снова блеснуть и исчезнуть. И въ этомъ явленіи было какое-то невыразимое знаменованіе: невольно испуганная мысль переносилась къ тѣмъ временамъ нашествія вражескаго, когда губительная гроза поднялась надъ Россіею, надъ нею разразилась, и быстро исчезла, оставя ей славу и миръ. Было что-то похожее на незыблемость Промысла въ этой колоннѣ, которая, не будучи еще открытою, уже стояла на своемъ мѣстѣ посреди окружающаго ее мрака и бури, твердая, какъ тайная воля спасающаго Бога, дабы на другой день, подъ блескомъ очищеннаго неба, торжественно явиться символомъ совершившагося Божія обѣта.

И дѣйствительно, эта ночная гроза только очистила небо, и какъ будто приготовила послѣдовавшее за нею торжество. Солнце на другой день взошло великолѣпно; по свѣтлой лазури еще бродили разорванныя облака, но они не скрывали ни неба, ни солнца. Въ девять часовъ утра уже вся площадь колонны окружена была безчисленными толпами народа; весь Зимній дворецъ отъ кровли до подошвы, весь экзерциргаузъ, обращенный въ амфитеатръ, все полукруглое зданіе, противолежащее дворцу, коего подошва также обвита была амфитеатромъ, всѣ смежные съ нимъ домы, весь бульваръ, кровли и высокая башня Адмиралтейства наполнены, унизаны, загромождены были народомъ, и представляли зрѣлище удивительное, чудесно оживляемое сіяніемъ солнца, которое безпрестанно скрывалось за облаками и изъ нихъ выходило. И посреди этой одушевленной ограды широкою пустынею простиралась площадь, и длинная тѣнь колонны, на ней уединенно воздвигавшейся съ покровеннымъ своимъ пьедесталомъ, непримѣтно передвигалась по свѣтлому дну ея, какъ будто знаменуя идущее время. А между тѣмъ, вблизи, никому непримѣтно, стояла въ оружьѣ стотысячная армія. И никакое перо не можетъ описать величія той минуты, когда, по тремъ пушечнымъ выстрѣламъ, вдругъ изъ всѣхъ улицъ, какъ будто изъ земли рожденныя, стройными громадами, съ барабаннымъ громомъ, подъ звукомъ Парижскаго марша, пошли колонны русскаго войска: вдругъ тишина обратилась во что-то, не имѣющее имени; это было не шумъ, не гулъ, не звукъ, но тяжкій, мѣрный, потрясающій душу

шагъ, спокойное приближеніе силы, непобѣдимой и въ то же время покорной. Густыми волнами лилося войско и заливало площадь, но въ этомъ разливѣ былъ изумительный порядокъ; глаза видѣли многочисленность и огромность движущейся массы; но самое разительное въ этомъ зрѣлищѣ было то, чего не могли видѣть глаза: тайное присутствіе Воли, которая все однимъ мановеніемъ двигала и направляла. Войска сошлись, построились; государь, объѣхавъ ряды ихъ, сталъ противъ колонны, имѣя подлѣ себя принца Вильгельма прусскаго; и въ эту минуту на дворцовомъ балконѣ явились хоругви, вслѣдъ за ними священный соборъ и государыня императрица со всѣмъ императорскимъ домомъ; войска отдали честь: одна быстрая молнія блеснула по всѣмъ оружіямъ, однимъ общимъ потрясеніемъ дрогнули всѣ колонны, и продолжительный громъ барабановъ покатился какъ чудное эхо. И трепетъ благоговѣнія проникнулъ душу, когда вдругъ съ начавшимся молебствіемъ невыразимая тишина повсемѣстно распространилась. Небо было чисто; солнечный свѣтъ спокойно лежалъ на неподвижномъ войскѣ, на тихомъ народѣ и на колоннѣ, которая лучезарнымъ, крестоноснымъ своимъ ангеломъ ярко отражалась отъ лазури небесной. И въ этой тишинѣ всѣмъ слышная молитва священнослужителя съ повременнымъ торжественнымъ пѣніемъ клира, и въ общемъ колѣнопреклоненіи войска, народа и предъ ними ихъ государя, чудесное слияніе земнаго могущества, простертаго во прахъ, съ таинственнымъ могуществомъ креста, надъ нимъ восходящаго: и невидимое сопричастіе чего-то безъименнаго, чего-то выражающаго все, что намъ драгоцѣнно, чего-то шепчущаго душѣ: *Россія, слава минувшая, слава грядущая*; наконецъ умилительно слово *вѣчная память* и имя Александра, и вслѣдъ за нимъ упавшая завѣса колонны, и громозвучное, продолжительное *ура*, соединенное съ залпами пяти сотъ пушекъ, отъ которыхъ весь воздухъ превратился въ торжественную бурю славы... для изображенія такой минуты нѣтъ словъ, и самое воспоминаніе о ней уничтожаетъ дарованіе описателя... Нельзя было смотрѣть безъ глубокаго душевнаго умиленія на государя, смиренно стоящаго на колѣняхъ впереди сего многочисленнаго войска, сдвинутаго словомъ его къ подножію сооруженнаго имъ колосса. Онъ молился о братѣ, и все въ эту минуту говорило о земной славѣ сего державнаго брата: и монументъ, носящій его имя, и колѣнопреклоненная русская армія, видавшая его въ такія великія минуты передъ своими рядами, и народъ, посреди котораго онъ жилъ, благодушный, всѣмъ доступный, и трогательное присутствіе сего принца прусскаго, который представлялъ намъ цѣлую дружественную націю съ благороднымъ ея Государемъ, сподвижникомъ нашего Александра, и самое воспоминаніе, въ коемъ возобновлялись времена минувшія: Бородино, роковая слава Москвы, всенародный Лейпцигскій бой, Парижъ, Наполеоновъ гробъ, обхваченный океаномъ... все, все говорило объ немъ, а его самого тутъ не было, и сіе отсутствіе погружало душу въ какую-то невыразимую задумчивость: она какъ будто чувствовала, что близко то мѣсто, мѣсто уединенное, мѣсто покоя, безмолвія и мрака, гдѣ царь великій спитъ во гробѣ; и невольно перелетала она въ тотъ далекій, столь прежде незнаменитый уголокъ Россіи, гдѣ такъ смиренно, такъ въ сторонѣ отъ всякаго блеска царской славы, на рукахъ одной сокрушенной супруги, закрылъ онъ глаза, и откуда совершилъ послѣдній свой путь чрезъ Россію, затворенный во гробѣ и безотвѣтный на призывающій его голосъ народа. Какъ поразительна была въ эту минуту сія противоположность житейскаго величія, пышнаго, но скоропреходящаго, съ величіемъ смерти, мрачнымъ, но неизмѣннымъ; и сколь краснорѣчивъ былъ въ виду того и другаго сей ангелъ, который, непричастно всему, что окружало его, стоялъ между землею и небомъ,

принадлежа одной своимъ монументальнымъ гранитомъ, изображающимъ то, чего уже нѣтъ, а другому лучезарнымъ своимъ крестомъ, символомъ того, что всегда и навѣки. — По совершеніи молебствія начался ходъ вокругъ монумента; первосвятитель окропилъ его святою водою; и вслѣдъ за симъ, по одному слову всколебались всѣ колонны арміи; съ невѣроятною быстротою вся площадь очистилась; на ступеняхъ монумента остались одни немногіе ветераны Александровой арміи, прежде храбрые участники славныхъ битвъ его времени, теперь заслуженные часовые великаго его монумента. Начался церемоніальный маршъ: русское войско пошло мимо Александровой колонны; два часа продолжалось сіе великолѣпное, единственное въ мірѣ зрѣлище; наконецъ войска прошли; звукъ оружія и громъ барабанный умолкли: народъ на ступеняхъ амфитеатровъ и на кровляхъ зданій исчезъ. Въ вечеру долго по улицамъ освѣщеннаго города бродили шумящія толпы; наконецъ освѣщеніе угасло, улицы опустѣли; на безлюдной площади остался величественный колоссъ одинъ съ своимъ часовымъ; и все было спокойно въ сумракѣ ночи; лишь только на темномъ, звѣздами усыпанномъ небѣ, въ блескѣ луны сіялъ крестоносный ангелъ.

Такъ миновалось видѣніе удивительнаго дня сего: душа, имъ взволнованная, долго не могла утихнуть, какъ море послѣ бури, но море, коего каждая волна имѣла какой-то великій образъ. И дѣйствительно, то, что мы видѣли въ этотъ чудный день, было не одно торжество кратковременное, но все наше минувшее, вдругъ передъ нами повторенное. Чему надлежало совершиться въ Россіи, чтобы въ такомъ городѣ, такое собраніе народа, такое войско могли соединиться у подножія такой колонны?.. Тамъ, на берегу Невы, подымается скала, дикая и безобразная, и на той скалѣ всадникъ, столь же почти огромный, какъ сама она; и этотъ всадникъ, достигнувъ высоты, осадилъ могучаго коня своего на краю стремнины; и на этой скалѣ написано Петръ, и рядомъ съ нимъ Екатерина; и въ виду этой скалы воздвигнута нынѣ другая, несравненно огромнѣе, но уже не дикая, изъ безобразныхъ камней набросанная громада, а стройная, величественная, искусствомъ округленная колонна; и ей подножіемъ служатъ бронзовые трофеи войны и мира, и на высотѣ ея уже не человѣкъ скороходящій, а вѣчный сіяющій ангелъ, и подъ крестомъ сего ангела издыхаетъ то чудовище, которое тамъ, на скалѣ, полу-раздавленное, извивается подъ копытами конскими; и между сими двумя монументами [вокругъ которыхъ подъемлются зданія великолѣпныя, и Нева кипитъ всемірною торговлею], однимъ мановеніемъ царскимъ сдвинута была стотысячная армія, и въ этой стотысячной арміи подъ одними орлами и русскій и полякъ, и ливонецъ и финнъ, и татаринъ и калмыкъ, и черкесъ и боецъ закавказскій; и эта армія прошла отъ Торнео до Арарата, отъ Парижа до Адріанополя, и громкому *ура* ея отвѣчали пушки съ кораблей Чесмы и Наварина... Не вся ли это Россія? Россія, созданная вѣками, бѣдствіями, побѣдою? Россія, прежде безобразная скала, набросанная медленнымъ временемъ, мало по малу, подъ громомъ древнихъ междоусобій, подъ шумомъ половецкихъ набѣговъ, подъ гнетомъ татарскаго ига, въ бояхъ литовскихъ, сплоченная самодержавіемъ, слитая воедино и обтесанная рукою Петра, и нынѣ стройная, единственная въ свѣтѣ своею огромностію колонна? И ангелъ, вѣнчающій колонну сію, не то ли онъ знаменуетъ, что дни боеваго созданія для насъ миновались, что все для могущества сдѣлано, что завоевательный мечъ въ ножнахъ и не иначе выйдетъ изъ нихъ, какъ только для сохраненія; что наступило время *созданія мирнаго;* что Россія, все свое взявшая, извнѣ безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страхъ, а стражъ породнившейся съ нею Европы, вступила нынѣ въ новый великій періодъ бытія своего, въ періодъ развитія

внутренняго, твердой законности, безмятежнаго пріобрѣтенія всѣхъ сокровищъ общежитія; что, опираясь всѣмъ Западомъ на просвѣщенную Европу, всѣмъ Югомъ на богатую Азію, всѣмъ Сѣверомъ и Востокомъ на два океана, богатая и бодрымъ народомъ, и землею для тройнаго народонаселенія, и всѣми дарами природы для животворной промышленности, она, какъ удобренное поле, кипитъ брошенною въ нѣдра ея жизнію, и готова произрастить богатую жатву гражданскаго благодѣянія, ввѣренная самодержавію, коимъ нѣкогда была создана и упрочена ея сила, и коего символъ нынѣ воздвигнутъ передъ нею царемъ ея въ лицѣ сего крестоноснаго ангела, а имя его: *Божія Правда*.

ЧЕРТЫ ИСТОРІИ ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

(отрывокъ).

ДРЕВНЯЯ ИСТОРІЯ.

Исторія Государства Россійскаго объемлетъ цѣлое тысячелѣтіе. Въ теченіе сего времени изъ малой области, населенной нѣсколькими племенами славянскими и финскими и заключавшейся въ тѣсныхъ предѣлахъ между озерами Чудскимъ, Ладожскимъ и Бѣлымъ, верховьями Двины, Днѣпра, Окою и Волгою, образовалась сія великая монархія, простирающаяся съ запада на востокъ отъ Балтійскаго моря до Восточнаго океана, а съ сѣвера на югъ отъ Ледовитаго моря до Чернаго, Каспійскаго и до высокихъ горныхъ хребтовъ, идущихъ черезъ всю среднюю Азію. «При взглядѣ «на пространство сей державы, мысль «цѣпенѣетъ [говоритъ Карамзинъ]. Ни«когда Римъ въ своемъ величіи не могъ «равняться съ нею [обширностію], го«сподствуя отъ Тибра до Кавказа, Эльбы «и песковъ африканскихъ. Не удиви«тельно ли, какъ земли, раздѣленныя «вѣчными преградами естества, неизмѣ«римыми пустынями и лѣсами непрохо«димыми, хладными и жаркими клима«тами, какъ Астрахань и Лапландія, Си«бирь и Бессарабія, могли составить одну «державу съ Москвою? Менѣе ли чудесна «и смѣсь ея жителей, разноплеменныхъ, «разновидныхъ и столь удаленныхъ другъ «отъ друга въ степеняхъ образованія? «Подобно Америкѣ, Россія имѣетъ своихъ «дикихъ; подобно другимъ странамъ «Европы, являетъ плодъ долговременной «гражданской жизни. Не надобно быть «русскимъ: надобно только мыслить, что«бы съ любопытствомъ читать преданія «народа, который смѣлостію и мужествомъ «снискалъ господство надъ девятою ча«стію міра, открылъ страны, никому до«толѣ неизвѣстныя, внесъ ихъ въ общую «систему географіи, исторіи и просвѣтилъ «божественною вѣрою.» Исторія изъясняетъ намъ, что *былъ* сей народъ *прежде*, что онъ *теперь*, и къ чему *можетъ достигнуть*, пользуясь своею нравственною силою и всѣми богатствами, которыми изобилуютъ обширныя страны, ему подвластныя.

I.

862—1054.

На пространствѣ сѣверо-восточной Европы, извѣстной въ древности подъ общимъ именемъ Скиѳіи, между болотами, озерами и горами сѣвера, подъ сѣнію лѣсовъ непроходимыхъ, по берегамъ великихъ, неизвѣдомыхъ рѣкъ, среди обширныхъ степей полуденныхъ странствуютъ долгое время дикіе народы, безъимянные въ исторіи. Въ первые вѣки послѣ Р. Х. сей мракъ начинаетъ рѣдѣть: узнаютъ о бытіи одноплеменныхъ *славянъ*, *вендовъ* и *антовъ*. Имя народа славянскаго становится страшно-знаменитымъ въ лѣтописяхъ византійскихъ. Разныя племена его, населяющія подъ разными именами пространство между Балтійскимъ и Чернымъ морями, являются здѣсь независимыми, такъ подъ игомъ народовъ, попеременно приходящихъ изъ средней Азіи съ войною, опустошеніемъ и рабствомъ. Наконецъ въ половинѣ IX вѣка, въ нѣдрѣ сихъ разноименныхъ славянскихъ племенъ раждается Россія и получаетъ имя свое отъ смѣлыхъ завоевателей скандинавскихъ. Три брата, Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, при-

ходятъ *изъ-за моря* съ сильною дружиною варяго-россовъ: призванные добровольно славянами новогородскими, кривичами, Чудью и Весью, они утверждаютъ свое владычество силою. Рюрикъ, по смерти братьевъ, становится единымъ верховнымъ властителемъ на сѣверѣ; онъ усмиряетъ возмутившійся Новгородъ и, утвердивъ въ немъ столицу юнаго государства, дѣлитъ земли, ему подвластныя, между своими варяжскими сподвижниками. Два изъ нихъ, вѣроятно обдѣленные и недовольные, Аскольдъ и Диръ, идутъ на югъ искать добычи и славы; они основываютъ свое владычество на величественныхъ берегахъ Днѣпра, въ цвѣтущей землѣ полянской, въ Кіевѣ, равнодревнемъ съ сѣвернымъ Новымъ-городомъ. Ихъ нападеніе на Константинополь, чудомъ отраженное, знакомитъ кіевскихъ жителей съ вѣрою христіанскою, а смѣлыхъ витязей русскихъ съ путемъ въ отдаленную Грецію.

Олегъ, старшій въ родѣ послѣ Рюрика, наслѣдуетъ престолъ его вмѣсто малолѣтняго Игоря и тѣмъ подаетъ бѣдственный *примѣръ наслѣдованія* для временъ грядущихъ. Его вопиственное мужество полагаетъ твердое основаніе могуществу Россіи. Присвоивъ кровавымъ предательствомъ южную кіевскую область, онъ рядомъ быстрыхъ завоеваній соединяетъ ее съ сѣверною областію Новогородскою и Балтійское море съ Черпымъ; наноситъ сильный ударъ Козарской державѣ; устрашаетъ грознымъ своимъ явленіемъ Константинополь, беретъ богатую дань съ императора, заключаетъ съ нимъ первый торговый договоръ и, пригвоздивъ ко вратамъ Царяграда огромный сѣверный щитъ свой, со славою возвращается въ Россію, строитъ для утвержденія власти города или крѣпости въ земляхъ, ему покорныхъ, учреждаетъ налоги и наконецъ умираетъ съ именемъ *вѣщаго* или мудраго. Въ его время проходятъ мимо Кіева угры: вытѣсненные изъ жилищъ своихъ печенѣгами, они утверждаются въ древней Панноніи и образуютъ нынѣшнюю Венгрію.

Игорь, преемникъ Олега, исходный съ нимъ ни умомъ ни мужествомъ, двукратно покушается противъ Царяграда: въ первый разъ онъ побѣжденъ греческимъ огнемъ и бурею, во второй преклоненъ къ миру дарами испуганнаго императора. Возмутивъ жестокимъ хищничествомъ свирѣпыхъ древлянъ, онъ погибаетъ въ землѣ ихъ безъ славы. Въ его княженіе Россія узнаетъ дикихъ печенѣговъ: ограбивъ всѣ южныя области отъ Дона до Алуты, они отрѣзываютъ на долгое время Россію отъ Чернаго моря.

Ольга, супруга Игорева, *звѣзда предъ солнцемъ, заря предъ свѣтомъ*, какъ называетъ ее лѣтописецъ, мудро правительствуетъ во дни малолѣтства отрока Святослава. Отмстивъ древлянамъ за убіеніе Игоря совершеннымъ покореніемъ земли ихъ, она предпринимаетъ, для учрежденія общаго порядка, путешествіе по сѣверной Россіи, гдѣ долго сохраняется память ея въ благодарныхъ преданіяхъ. И она идетъ въ Константинополь, но уже не съ войною и разореніемъ, а съ мирнымъ исканіемъ чистой добычи: *спасительнаго христіанства*. Принявъ святое крещеніе отъ руки патріарха, она возвращается въ Кіевъ, но тщетно убѣждаетъ сына своего Святослава послѣдовать ея примѣру: дикаго юношу плѣняетъ одна война. Презирая опасность, перенося, какъ простой воинъ, и нужду, и трудъ, и холодъ, и зной, онъ быстро завоевываетъ обширныя области, на востокъ отъ Днѣпра лежащія, уничтожаетъ владычество козарскаго хана овладѣніемъ столицы его Саркела, проницаетъ до самаго Кавказа, побѣдивъ у подошвы его касоговъ и ясовъ, и наконецъ утверждаетъ владычество на берегахъ Киммерійскаго Воспора, покореніемъ древней Таматархи или Тмуторокапя. Призванный въ Болгарію, онъ беретъ столицу ея Переяславецъ и многіе города на берегахъ Дуная. Опасность Кіева, угрожаемаго печенѣгами, призываетъ его на время въ Россію; укротя враговъ и предавъ землѣ тѣло умершей матери Ольги, онъ снова спѣшитъ на

югъ, привлекающій его прелестями своего климата, и для огражденія Россіи отъ нападенія варваровъ, дѣлитъ ее между сыновьями. Но завоеванія его, безполезныя для отечества, ввергаютъ и самого завоевателя въ погибель: въ Болгаріи встрѣчаетъ онъ достойнаго себя соперника въ императорѣ Цимисхіи, кому уступаетъ побѣду, но не славу; и наконецъ, принужденный возвратиться въ отечество, падаетъ при шумѣ днѣпровскихъ пороговъ отъ руки презрѣннаго печенѣга, жертвою собственнаго неосторожнаго безстрашія.

Россія, утративъ еще при жизни своего князя всѣ безполезныя завоеванія его на Дунаѣ, становится по смерти его театромъ междоусобій, произведенныхъ ея раздробленіемъ на удѣлы. Братъ возстаетъ на брата; Олегъ погибаетъ отъ Ярополка, вооруженнаго мщеніемъ вождя Свѣнельда; Владиміръ, устрашенный властолюбіемъ брата, бѣжитъ за море, приводитъ оттуда сильную дружину варяжскую, идетъ на Ярополка, и, покоривъ на пути княжество Полоцкое, довершаетъ съ помощью предателя междоусобіе братоубійствомъ. Но симъ злодѣяніемъ, оставившимъ кровавое пятно на великой памяти Владиміра, раздробленная Россія опять соединяется и власть единодержавная достается рукѣ, ея достойной. Удаливъ изъ Россіи варяговъ, союзниковъ смѣлыхъ, но опасныхъ, Владиміръ съ собственными дружинами распространяетъ предѣлы отечества: на западъ, гдѣ покорена Ливонія, обложены данями литовцы и ятвяги, завоеваны города червенскіе, и на востокъ, гдѣ Волга, за которою властвуютъ болгары, становится крайнимъ предѣломъ Государства Россійскаго. Первыя времена княженія Владимірова ознаменованы его слѣпымъ усердіемъ къ идолопоклонству, явившимъ въ Кіевѣ первыхъ и послѣднихъ мучениковъ христіанства, и его необузданнымъ женолюбіемъ, вооружившимъ на убійство руку Рогнѣды, великодушно прощенной супругомъ — преступленіе, *положившее начало особенному* княжеству Полоцкому. Въ слѣдующіе годы Владиміръ является преобразователемъ и самого себя и Россіи. Оружіемъ пріобрѣтаетъ онъ для нея лучшее изъ благъ: христіанство. Устрашивъ завоеваніемъ Херсона греческихъ императоровъ Василія и Константина, онъ вступаетъ въ супружество съ сестрою ихъ Анною; сіе супружество освящено таинствомъ крещенія, и вслѣдъ за нимъ вся Россія, по мановенію князя своего, озаряется христіанствомъ. Сіе великое событіе навсегда рѣшитъ судьбу нашего отечества: съ христіанствомъ начинается въ Россіи образованіе гражданское, просвѣщеніе ума, укрощеніе дикихъ нравовъ; христіанство должно составлять единственно твердый союзъ отечества нашего во времена бѣдственнаго раздробленія; христіанство спасетъ его, если не отъ рабства, то отъ совершенной погибели въ рабствѣ, и наконецъ христіанство, навсегда отдѣливъ Россію отъ варварскихъ, неподвижныхъ въ образованіи народовъ Азіи, приготовитъ ее въ теченіе вѣковъ къ торжественному вступленію въ семейство народовъ Европы. Крестившись и крестивъ Россію, Владиміръ заботится о заведеніи училищъ, нужныхъ для образованія духовныхъ пастырей, наставниковъ вѣры и нравственности: вводятся въ употребленіе священныя книги, еще въ девятомъ вѣкѣ переведенныя на языкъ славянскій; начинается словесность и съ построеніемъ церквей входитъ въ Россію греческое искусство. Но сіи мирныя заботы о благѣ внутреннемъ нарушаются войнами съ свирѣпыми печенѣгами, и наконецъ Владиміръ, положивъ просвѣщеніемъ вѣры основаніе истинному могуществу Россіи, самъ потрясаетъ сіе могущество раздѣленіемъ государства между сыновьями и первый долженъ видѣть погибельныя слѣдствія ошибки своей, произведенной понятіями его вѣка: Ярославъ возмущается противъ отца, избавленнаго смертію отъ ужасовъ такого междоусобія.

Но Провидѣніе, заботясь о Россіи, употребляетъ самыя сіи междоусобія, дабы

сохранить, хотя на время, ея могущество и образумить ея властителей: Святополкъ, усыновленный племянникъ Владимірокъ, тремя братоубійствами соединяетъ подъ одну державу южныя области Россіи. Но рука, обагренная кровію братьевъ, недостойна владычества: Ярославъ съ великодушными, незлопамятными новогородцами поражаетъ Святополка; напрасно призываетъ онъ Болеслава храбраго и вводитъ иноплеменниковъ въ нѣдра отечества — минутное торжество, дарованное ему побѣдою Болеслава, уничтожено предательствомъ, удалившимъ отъ него сильнаго союзника; напрасно зоветъ онъ на помощь грабителей печенѣговъ — побѣжденный на берегахъ Альты метящею кровію Бориса и дружинами Ярополка, онъ бѣжитъ и бѣдственно погибаетъ въ пустыняхъ богемскихъ, въ безумствѣ раскаянія и страха, съ ненавистнымъ прозваніемъ *окаяннаго*.

Ярославъ, достойный наслѣдникъ Владиміра, заслуживаетъ въ потомствѣ славное имя законодателя. Два междоусобія, мгновенно поколебавшія его княженіе, не разрушаютъ могущественнаго единства Россіи. На сѣверѣ мятежъ полоцкаго князя Брячислава утушенъ побѣдою и княжество Полоцкое приведено въ подданство. На югѣ вооружается великодушный, честолюбивый Мстиславъ, побѣдитель касоговъ и разрушитель владычества козаровъ въ Тавридѣ: битва у Листвена, успѣшная для Мстислава, производитъ раздѣлъ Россіи на двѣ великія области, разграниченныя теченіемъ Днѣпра; но смерть Мстислава, предупрежденнаго во гробъ цвѣтущимъ сыномъ Евстафіемъ, соединяетъ опять сіи области подъ одну державу. Ярославъ, могущественный единовластитель, господствуетъ съ благоразумiемъ и твердостію, не увеличиваетъ пространства Россіи побѣдами, но возвращаетъ ей все утраченное въ смутные годы Святополка; Ливонія усмирена, черпенскіе города снова взяты, Царьградъ приведенъ въ трепетъ за оскорбленіе народнаго права въ посланникѣ русскомъ и сила печенѣговъ навсегда истреблена побѣдою близъ Кіева. Продолжая, по примѣру Владиміра, дѣйствовать для распространенія вѣры христіанской заведеніемъ училищъ, созданіемъ храмовъ и монастырей, переводомъ священныхъ книгъ съ греческаго и размноженіемъ ихъ списковъ для пользы общей, Ярославъ первый даруетъ Россіи *письменные законы*. При немъ начинается самобытность великаго Новагорода: льготныя грамоты, данныя Новогородцамъ признательностію Ярослава, раждаютъ ту буйную, гордую свободу, которая около пяти вѣковъ возвеличиваетъ и волнуетъ Новгородъ и наконецъ падаетъ передъ могуществомъ единодержавнаго Іоанна. Но Ярославъ, послѣдователь Владиміра въ дѣлахъ правленія мудраго, слѣдуетъ ему и въ гибельной его ошибкѣ: онъ раздѣляетъ Россію между сыновьями. Умирающій голосъ отца, завѣщавшаго имъ на одрѣ смертномъ *согласіе* и *покорность старшему въ родѣ*, умолкаетъ уже для перваго поколѣнія, и тѣнь великаго князя, поставленная главою надъ раздѣленнымъ обширнымъ государствомъ, уважаемая нѣсколько времени самоотверженною добродѣтелію Мономаха, исчезаетъ наконецъ среди беззаконныхъ разбоевъ междоусобія.

Въ сіи два вѣка, протекшіе отъ призванія варяговъ до смерти великаго Ярослава, Россія дѣлаетъ *шагъ исполинскій* на поприщѣ могущества и просвѣщенія. Благопріятныя обстоятельства способствуютъ сему быстрому развитію. Сей періодъ, несмотря на нѣкоторыя исключенія, можетъ назваться періодомъ *могущественнаго единовластія*. Господствуютъ князья мужественные и мудрые, и величайшіе изъ нихъ, господствуя долго, имѣютъ время и для завоеваній внѣшнихъ, нужныхъ силѣ, и для утвержденія силы порядкомъ внутреннимъ. Первыя междоусобія болѣе благодѣтельны для Россіи, нежели вредны: они истребляютъ властителей слабыхъ, оставляя на сценѣ властителей твердыхъ и мудрыхъ; Олегъ и Ярополкъ уступаютъ мѣсто великому

Владиміру; злодѣйства презрѣннаго Святополка, губителя трехъ братьевъ, и смерть великодушнаго Мстислава очищаютъ престолъ великому Ярославу. Сіи кратковременныя междоусобія проходятъ, какъ минутныя бури, не потрясая государства. Между тѣмъ христіанство сливаетъ части въ единое цѣлое, торговля пробуждаетъ промышленность и готовитъ просвѣщеніе. Самыя внѣшнія обстоятельства благопріятствуютъ сему величественному развитію; Россія уже образуетъ державу великую, а на предѣлахъ ея нѣтъ сосѣдовъ опасныхъ: Ливонія покорена; дикая, обложенная данію Литва существуетъ однимъ только именемъ, Польша не опасна; венгры далеко, и оружіе ихъ устремлено на разореніе Европы; имперія греческая, не грозная силою, полезна своимъ просвѣщеніемъ и торговлею; одни печенѣги свирѣпствуютъ нѣсколько времени на отдаленномъ югѣ, но и они уничтожены оружіемъ; болгары не смѣютъ переступить за Волгу. Таково состояніе Россіи при смерти законодателя Ярослава.

Но Ярославъ раздробляетъ ее на части, и внутренняя сила ея разрушается, а въ ней самой таятся сѣмена погибели, кои наконецъ созрѣваютъ, оплодотворенныя междоусобіями. На семъ необъятномъ пространствѣ, которое занимаетъ тогдашняя Россія, видимъ почти пустыню, покрытую болотами и лѣсами непроходимыми, безъ дорогъ и сообщеній. Рѣдкіе города суть не иное что, какъ укрѣпленные станы; немногіе изъ нихъ, при великихъ рѣкахъ стоящіе, оживлены торговлею. Народы, населяющіе сіи пустыни, чужды другъ другу. Трудность сообщеній препятствуетъ быстрому дѣйствію воли властителей. Нравы дики, и самое вліяніе христіанства мало еще ощутительно: одна правительственная сила его дѣйствуетъ, но сила нравственная почти ничтожна. И могло ли быть иначе въ сіи первые вѣки грубаго гражданства? Въ сіи вѣки то же самое представляетъ намъ и вся остальная Европа. Ярославъ, умирая, дѣлитъ Россію, но могъ ли онъ не раздѣлить ея? Какъ *собственность*, она принадлежитъ сыновьямъ его по праву, а чистое понятіе о *благѣ народномъ* еще не существуетъ. Среди кровавыхъ междоусобій, подъ игомъ иноземнаго рабства, подъ гнетомъ образовательныхъ бѣдствій, посылаемыхъ непытующимъ Промысломъ, опредѣлено ему родиться и созрѣть, дабы наконецъ, озаривъ душу Петра и Екатерины, даровать прямое достоинство русскому народу.

II.

1034—1237.

Вмѣстѣ съ Ярославомъ древняя Россія потребляетъ свое имущество и благосостояніе. Государство раздѣлено; великое княжество съ двумя столицами, богатымъ Кіевомъ и полусвободнымъ Новымъ-городомъ, отдано Изяславу; подъ нимъ владычествуютъ: въ Черниговѣ Святославъ, въ Переяславлѣ Всеволодъ, въ области Смоленской Вячеславъ, во Владимірѣ Игорь, въ Полоцкѣ Всеславъ. Первыя десять лѣтъ проходятъ въ грозномъ, предвѣщающемъ бурю спокойствіи, встревоженныя однимъ появленіемъ дикихъ половцевъ, которые, поработивши меньше дикихъ печенѣговъ, ставятъ безчисленныя вежи свои на пространныхъ степяхъ отъ южнаго Буга до Волги. Всеславъ Полоцкій первый подымаетъ знамя войны междоусобной: онъ разбитъ на Нѣманѣ, гдѣ, по словамъ древняго нѣснопѣвца, *стлали снопы головами, молотили цѣпами, жизнь на току клали, вѣяли душу отъ тѣла;* но его предательское заключеніе въ оковы отмщено и пораженіемъ на Альтѣ, гдѣ Ярославичи постыдно разбиты ордами половцевъ, и бунтомъ кіевскимъ, возведшимъ Всеслава изъ темницы на тронъ великокняжескій, и бѣгствомъ Изяслава въ Польшу. Скоро изгнанникъ возвращается съ ляхами; Всеславъ бѣжитъ въ свою очередь, и Кіевъ, окровавленный звѣрскою свирѣпостію Мстислава, съ покорностію пріемлетъ возстановленнаго великаго князя. Но, кроткій

сердцемъ, онъ слишкомъ слабъ для утвержденія власти державной и сею бѣдственною слабостію пользуется властолюбивый братъ его Святославъ Черниговскій: обольстивъ слабодушнаго Всеволода Переяславскаго, онъ соединяется съ нимъ на вторичное низверженіе великаго князя— Ярославовъ завѣтъ нарушенъ, великокняжеское достоинство поругано, Изяславъ изгнанъ. Ограбленный Болеславомъ польскимъ, безполезно обласканный императоромъ Генрихомъ IV [который самъ скоро потомъ осужденъ бороться съ подобнымъ бѣдствіемъ], онъ напрасно прибѣгаетъ къ посредничеству могущественнаго папы Григорія VII, малодушно суля ему за потерянный тронъ свой покорность Россіи духовному владычеству Рима. Смерть похитителя возвращаетъ нѣнецъ изгнаннику: Всеволодъ встрѣчаетъ его съ миромъ и живые братья дѣлятъ Россію на счетъ потомства умершихъ. Князья обдѣленные, сыновья Святослава, Игоря, Владиміра и Вячеслава, собираются въ отдаленномъ Тмуторокани [отрѣзанномъ отъ Россіи степями половецкими] и тамъ, замышляя добыть оружіемъ наслѣдіе отцовъ своихъ, научаются необходимостію дружиться съ дикими варварами на разореніе отечества. Первый Олегъ, по словамъ древняго пѣвца, *ступя въ златый стремень въ Тмутороканѣ, начинаетъ мечомъ крамолу ковать и стрѣлы по землѣ сѣять; тогда повсюду возрастаетъ усобица; и въ княжескихъ распряхъ сокращается вѣкъ человѣческій, на поляхъ оратаи рѣдко перекликаются; граютъ одни враны и галки рѣчь свою говорятъ, слетаяся на добычу.* Соединенный съ Борисомъ Вячеславичемъ, Олегъ вводитъ въ нѣдра отечества толпы половецкія: Черниговъ взятъ, окрестныя области опустошены; но Изяславъ, не памятуя зла, заступается за брата Всеволода, нѣкогда его изгнавшаго; вмѣстѣ съ нимъ и съ сыномъ его Мономахомъ, уже знаменитымъ, онъ поражаетъ хищниковъ; Борисъ падаетъ въ битвѣ, Олегъ уходитъ обратно въ Тмуторокань, а Изяславъ платитъ жизнію за побѣду, и тронъ великокняжескій достается Всеволоду. Въ сіе княженіе братство иноковъ, поселившихся вокругъ пещеры святаго Антонія, основываетъ монастырь Печерскій; первымъ игуменомъ его избранъ Варлаамъ, внукъ знаменитаго Вышаты, а вторымъ св. Ѳеодосій, законодатель всѣхъ монастырей Россійскихъ.

Правленіе Всеволода, не имѣвшаго дара властвовать, ознаменовано мятежами князей обдѣленныхъ: Олегъ съ братомъ Романомъ снова наводитъ половцевъ на Россію; но Романъ погибаетъ отъ свирѣпыхъ своихъ союзниковъ, а Олегъ насильно отвезенъ ими въ Грецію. Онъ скоро возвращается и отнимаетъ Воспорскую область у завладѣвшихъ оною Володаря и Давида. Послѣдній, захвативъ Олешье, грабитъ берега Днѣпра, но успокоивается, получивъ въ удѣлъ Дорогобужъ Волынскій, къ коему скоро присоединенъ Владиміръ, утраченный возмутившимся Ярополкомъ, младшимъ сыномъ Изяслава, который падаетъ отъ меча убійцы; а съ утвержденіемъ мужественныхъ Ростиславичей въ Перемышлѣ и Теребовлѣ начинается знаменитая впослѣдствіи Галицкая область. Побѣды Мономаха надъ половцами, на берегахъ Роси и Хороля, даютъ нѣкоторый блескъ ничтожному времени Всеволода, который, совершенно разслабленный духомъ въ послѣдніе годы свои, *не государь, а тѣнь государя*, предаетъ свои области на произволъ тіуновъ и вельможъ, хищныхъ подобно половцамъ, и наконецъ умираетъ, уважаемый однимъ только великимъ своимъ сыномъ.

Мономахъ, сильный любовію народа и славою побѣдъ, могъ бы сѣсть на престолъ отца своего; но жертвуетъ властію святости права, и великокняжеское достоинство получаетъ старшій въ родѣ Святополкъ-Михаилъ, князь безъ добродѣтелей, вѣроломный, корыстолюбивый, надменный въ счастіи, малодушный въ бѣдствіи, и Россія могла бы погибнуть въ его княженіе, взволнованное междоусобіями,

когда бы не сохранила ее сильная рука Мономахова. Олегъ, пользуясь несчастіемъ князей, разбитыхъ половцами, снова соединяется съ толпами сихъ варваровъ и подступаетъ къ стѣнамъ Чернигова, своей отчины; тамъ княжитъ Мономахъ; онъ страшится кровопролитія и, сказавъ: *да не радуются враги отечества*, добровольно отдаетъ Черниговъ Олегу, а самъ удаляется въ наслѣдственный Переяславль, упраздненный погибелью брата его Ростислава. Но спокойствіе не водворяется. Съ одной стороны свирѣпствуютъ половцы: войско русскихъ князей, соединенныхъ Мономахомъ на спасеніе отечества, входитъ въ ихъ степи и тамъ наноситъ имъ первый сильный ударъ; но славу сей побѣды затмеваетъ предательное убіеніе вождей половецкихъ. Съ другой стороны мятежный Олегъ воюетъ съ сыновьями Мономаха, изъ коихъ одинъ, Изяславъ, падаетъ въ битвѣ, наказанный за неправедное хищничество; а другой, мужественный, благородный Мстиславъ, побѣдитель Олега, самъ ходатайствуетъ за побѣжденнаго и миритъ его наконецъ съ отцомъ своимъ. Созванные Мономахомъ, князья собираются на торжественномъ съѣздѣ въ Любечѣ, мирно разсуждаютъ о средствахъ успокоить Россію, разстаются друзьями, и миръ сей немедленно нарушенъ дерзкимъ предательствомъ: ослѣпленіе добраго, великодушнаго Василька приводитъ въ ужасъ Россію; снова загорается междоусобіе; Ростиславичи мстятъ за брата; самъ палачъ его Святополкъ возстаетъ на сообщника своего Давида: наконецъ новый княжескій съѣздъ въ Кіевѣ производитъ новый, болѣе постоянный миръ, и все могущество князей, воспламеняемыхъ Мономахомъ, опять обращается на хищныхъ половцевъ: два знаменитыхъ похода во внутренность степей ихъ ознаменованы побѣдами; варвары приведены въ трепетъ; но съ сего времени далекій Тмуторокань, оставленный имъ въ жертву, навсегда исчезаетъ для Россіи.

Призванный кіевлянами на престолъ, упразднившійся по смерти Святополка, Мономахъ вторично являетъ примѣръ смиренія и праволюбія, отказавшись отъ власти верховной въ пользу старшаго рода Святославичей; но убѣжденный и бунтомъ народа и произвольнымъ согласіемъ князей, его уважающихъ, онъ возлагаетъ на себя вѣнецъ великокняжескій. Его княженіе подобно великой душѣ его, благостной и твердой: грозно для враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ, и мирно для отечества, отдыхающаго подъ его державою. Сыновья его одерживаютъ побѣды въ Ливоніи, поражаютъ болгаровъ и половцевъ; сама Греція трепещетъ его оружія, и знаменитый Алексій Комнинъ спѣшитъ почтить его дарами: онъ присылаетъ ему вѣнецъ, златую цѣпь и бармы Константина Мономаха. Предупрежденный во гробъ и горделивымъ Олегомъ, мирнымъ въ его княженіе, и кроткимъ братомъ его Давидомъ, и мужественными сыновьями Ростислава, *славный благими нравами и побѣдами за русскую землю*, онъ умираетъ, оставивъ Россію сыну, достойному отца, и память его долго живетъ въ благодарной любви народной; спустя болѣе вѣка по смерти его, говоритъ сѣтующій о немъ пѣвецъ: *а стараго Владиміра нельзя было пригвоздить къ горамъ кіевскимъ*. И Провидѣніе, какъ бы награждая добродѣтели прадѣда въ самыхъ отдаленныхъ внукахъ, бережетъ потомство его среди всѣхъ ужасовъ, ниспосланныхъ имъ на наше отечество: изъ племени Мономахова исходятъ всѣ великіе мужи древней Россіи; одни, ея ободрители въ бѣдствіяхъ, *свѣтоносцы во мракѣ*, стоятъ за нее твердо и мужественно борятся съ губящею ее судьбою; другіе, болѣе счастливые, на прахѣ первыхъ, на краеугольномъ камени самодержавія зиждутъ ея дорого-купленное величіе.

Мстиславъ Владиміровичъ, прозванный *Великимъ* и достойный сего наименованія, княжитъ слишкомъ недолго къ несчастію Россіи. Побѣдитель половцевъ, загнанныхъ его оружіемъ далеко за Волгу, смиритель внутреннихъ междоусобій, за-

воеватель отдѣлившагося отъ державы Россійской княженія Полоцкаго [коего безпокойные князья, взятые въ плѣнъ, высланы въ Грецію], онъ властвуетъ, какъ Мономахъ; но до гроба оплакиваетъ единственную вину свою, нарушеніе завѣта отцовскаго: *давши клятву, храните ее.* Верховный судія князей удѣльныхъ, онъ не даетъ управы прибѣгающему подъ защиту его Ярославу Черниговскому: Всеволодъ, хищникъ Чернигова, не наказанный, сохраняетъ свою добычу, а Ярославъ оканчиваетъ дни свои въ Муромѣ, который вмѣстѣ съ Рязанью достается его сыновьямъ, и съ сего времени начинаются особенныя княженія Рязанское и Муромское.

Съ кончиною Мстислава угасаютъ послѣдніе свѣтлые дни древней Россіи. Слабая рука Ярополка не можетъ соединять распадающейся державы. Съ одной стороны мятежные Ольговичи начинаютъ сію столь безславную въ лѣтописяхъ нашихъ борьбу съ Мономаховымъ домомъ, полезную для однихъ грабительствовавшихъ вмѣстѣ съ ними половцевъ и длившуюся болѣе вѣка; съ другой новогородцы, похитивъ съ изгнаніемъ Всеволода [присвоеннаго отдѣлившимся отъ нихъ Псковомъ] неограниченное право избранія посадниковъ, стѣсняютъ верховную власть князей своихъ, которые съ сего времени становятся жалкимъ игралищемъ народнаго буйства, и мостъ черезъ Волховъ обращается въ поприще боя, на которомъ, при громѣ вѣчеваго колокола, бунтующая чернь мечомъ добываетъ управу; наконецъ возраждается и уничтоженное Мстиславомъ княжество Полоцкое, дабы на западномъ углу Россіи, среди обширнаго волненія мятежей всеобщихъ, быть непрестанно добычею частныхъ междоусобныхъ разбоевъ. — И уже по смерти Ярополка, княжившаго не болѣе семи лѣтъ, Ольгово племя похищаетъ [на столько же времени] престолъ Мономаховъ. Завладѣвшій имъ Всеволодъ Ольговичъ, мятежный и хитрый, но воинъ искусный и государь твердый, примиреніемъ съ [illegible] каго Мстислава [illegible] власть верховн[illegible] дальскій оста[illegible] тѣмъ новогор[illegible] томками Олега и Мономаха, играютъ князьями своими, и [illegible] избраніями, ссы[illegible] питаютъ пламень [illegible]. Тогда же является новый [illegible] западъ: Владимірко, воинственный государь, непримиримый въ злобѣ, надежный въ союзѣ, хищничествомъ [illegible] княжество Галицкое; ограбленный имъ Іоаннъ Берладникъ находитъ убѣжище въ Кіевѣ и ссоритъ съ нимъ великаго князя. Одолѣвъ его въ первой войнѣ, Всеволодъ начинаетъ другую и, не докончивъ ея, умираетъ, утвердивъ клятвою князей и бояръ престолъ великокняжескій за братомъ своимъ Игоремъ. Но хилый Игорь остается на немъ не болѣе пятнадцати дней: любовь народная къ Мономахову племени, наглые грабежи любимцевъ княжескихъ, медлительность союзниковъ, измѣна бояръ и войска предаютъ его плѣнникомъ въ руки Изяслава; съ престола черезъ темницу вступаетъ онъ въ келью схимника и скоро потомъ погибаетъ въ бунтѣ народномъ, а Изяславъ, мимо дядей своихъ Вячеслава и Георгія, восходитъ на тронъ Мономаховъ. — Сей мужественный князь, который въ лучшія времена былъ бы красою престола и славою отечества, долженъ, въ немногіе годы своего княженія, не властвовать, а только бороться за тронъ свой съ врагами, отвсюду его осаждающими. Здѣсь Давидовичи и Ольговичи, то враждующіе за него между собою, то соединенные противъ него съ безпокойнымъ, медлительнымъ, вѣроломнымъ Георгіемъ, который одинъ изъ потомковъ Мономаховыхъ для выгодъ властолюбія осрамляетъ себя союзомъ съ грабителями половецкими; тамъ мужественный Владимірко Галицкій, вѣрный союзникъ Георгія, и умный сынъ его Ярославъ долго препятствуютъ Изяславу утвердиться на тронѣ. То побѣдитель, то

побѣжденный, то князь, то изгнанникъ, онъ наконецъ одолѣваетъ непримиримаго Георгія Суздальскаго и удерживается въ Кіевѣ, опершись на право старшаго дяди, благодушнаго Вячеслава, который, будучи призванъ имъ на престолъ отцовскій, себя именуетъ великимъ княземъ, а племяннику уступаетъ дѣйствительное владычество. Но побѣдивъ наконецъ опаснаго Владимірка, который, давши обѣтъ сохранять миръ, нарушаетъ его и наказанъ внезапною смертію за дерзкую насмѣшку надъ святынею клятвы, онъ долженъ, послѣ войны съ его сыномъ, готовиться къ новой войнѣ съ Георгіемъ и умираетъ въ силѣ мужества, оплаканный народомъ, съ прекраснымъ именемъ *царя славнаго, господина добраго, отца своихъ подданныхъ*.—Ростиславъ Смоленскій, призванный кіевлянами на престолъ своего брата, долженъ немедленно вооружиться противъ Черниговскаго Изяслава, замышляющаго похитить верховное владычество: схоронивъ умершаго внезапно Вячеслава, великаго князя однимъ только именемъ, онъ соединяется съ племянникомъ, мужественнымъ Мстиславомъ, и идетъ на врага своего; но, устрашенный его силою, оскорбляетъ пылкаго союзника постыднымъ и безусѣшнымъ предложеніемъ мира, и войско его бѣжитъ, еще до битвы обезоруженное малодушіемъ своего князя. Кіевляне зовутъ Изяслава, но Георгій уже приближается къ Кіеву съ суздальскими дружинами и половцами: Изяславъ уступаетъ силѣ и праву; а Георгій, наконецъ достигнувшій цѣли безпокойнаго властолюбія, для коей столь долго мутилъ и предавалъ на разграбленіе отечество, княжитъ не болѣе двухъ лѣтъ, и сіи два года возмущены тревогами вражды съ князьями, новогородскимъ бунтомъ, половецкими разбоями. Смерть застаетъ его, угрожаемаго войною, но безъ заботно веселящагося на пирѣ, и народъ наказываетъ его бездыханный трупъ за бѣдствія отечества, за посрамленіе Мономаховой чести союзомъ съ ненавистными *варварами*. Князь безславный, Георгій памятенъ Россіи, какъ строитель Москвы, какъ образователь Сѣвера, гдѣ долго объ немъ говорили и поля обработанныя, и лѣса прорѣзанные дорогами и многіе города, имъ основанные, Юрьевъ-Польскій, Переяславль-Залѣсскій, которыхъ имена утѣшали его воображеніе воспоминаніемъ о любимыхъ странахъ полуденныхъ.—Изяславъ Черниговскій, коимъ опять на два года было устранено Мономахово племя отъ престола великокняжескаго, теряетъ все въ несчастной войнѣ за Берладника съ галицкимъ Ярославомъ. Онъ бѣжитъ, и Ростиславъ [тогда уже старшій въ Мономаховомъ родѣ] снова на тронѣ. Тщетно изгнанникъ, переходя изъ области въ область, грабительствуетъ вмѣстѣ съ союзными половцами, вспомоществуемый подобно ему безпріютнымъ Берладникомъ; тщетно призываетъ на помощь Андрея Суздальскаго, который еще въ смутныя времена отца своего, славный уже подвигами мужества, удалился въ сѣверную свою область и тамъ, далеко отъ тревогъ междоусобія, въ тишинѣ созидалъ могущество Владиміра, скоро потомъ ниспровергнувшее Кіевъ: довольный покорностію Новагорода, который пріемлетъ отъ руки его князя, Андрей съ равнодушіемъ смотритъ на распри князей южныхъ, благопріятныя замысламъ его властолюбія. Тогда съ толпами своихъ половцевъ и съ дружинами князя черниговскаго, Изяславъ осаждаетъ въ Бѣлгородѣ великаго князя, но разбитый Мстиславомъ и венграми бѣжитъ и гибнетъ отъ руки простаго воина безъ славы, оплаканный самими врагами своими. Гибель Изяслава губитъ Берладника: скоро послѣ него умираетъ и Святославъ Ольговичъ, знаменитый любовію къ брату, несчастному Игорю, постоянный врагъ Мономаховичей, но всегдашній союзникъ Георгія: смерть его очищаетъ мѣсто другому Святославу, который, мятежный и коварный, какъ отецъ его Всеволодъ, наслѣдуетъ семейственную вражду Ольговичей къ Мономахову дому и жадность ихъ властвовать

Кіевомъ. Но Кіевъ уже приближается къ концу своему: бодрый Андрей, изгнавшій братьевъ своихъ въ Грецію, побѣдитель сосѣдственныхъ болгаровъ, единовластвуя въ Суздалѣ, смотритъ съ полуподъятымъ оружіемъ на падающую столицу юга.— Пылкій и мужественный Мстиславъ Изяславичъ садится на престолъ Ростислава, умершаго въ старыхъ лѣтахъ, и, усмиривъ мятежнаго дядю Владиміра [котораго право на достоинство великокняжеское уничтожено общимъ къ нему презрѣніемъ], спѣшитъ созвать князей противъ грабительствующихъ половцевъ. Союзное войско ихъ проницаетъ въ степи и тамъ на берегахъ Орели празднуетъ Пасху и побѣду; но тамъ же коварные клеветники ссорятъ съ союзниками Мстислава. Оставленный ими, онъ возбуждаетъ противъ себя негодованіе Андрея, согласившись послать своего сына Романа въ Новгородъ, озлобившій суздальскаго князя изгнаніемъ покровительствуемаго имъ Святослава. Наступаетъ рѣшительная минута Кіева: съ войскомъ одиннадцати князей, Андреевъ сынъ Мстиславъ окружаетъ древнюю столицу, и въ первый разъ Кіевъ, дотолѣ всегда произвольно отворявшій врагамъ *златыя врата* свои, взятъ приступомъ; россіяне свирѣпствуютъ въ немъ, какъ половцы; домы сожжены; церкви разрушены и ограблены; Мстиславъ Изяславичъ, оставивъ жену, сына, бояръ плѣнниками въ рукахъ побѣдителей, уходитъ въ Волынію; Кіевъ, лишенный на вѣки первенства между городами россійскими, отданъ Глѣбу, Андрееву брату, и бѣдный, сѣверный Владиміръ заступаетъ мѣсто древней, славной, дотолѣ богатой и великолѣпной столицы юга.

На развалинахъ Кіева утверждается могущество великаго княжества Суздальскаго или Владимірскаго. При самомъ началѣ его являются государи великіе, достойные Владиміра и Ярослава, но Россія временъ ихъ уже не Владимірова, не Ярославова: разорванная на части, она представляетъ обширное, окровавленное поле битвы, по которому мчатся съ огнемъ и мечомъ опустошители, свои и чужіе. Разоряемыя области пустѣютъ; города сокрушаются; народъ, или орудіе или добыча грабителей, свидѣтель, участникъ и жертва самовольной неправды и гнуснаго вѣроломства князей, не вѣдая сладости мира, не имѣя вѣрной собственности, униженный рабствомъ, свирѣпѣетъ, теряетъ и нравы, и вѣру, и чувство человѣчества, и самая вѣрность его князьямъ необузданнымъ есть не иное что, какъ ненадежная покорность силѣ. И между тѣмъ... въ глубинѣ отдаленнаго востока, на степяхъ неизвѣстныхъ кочуютъ орды татаръ: еще подвластные чуждому игу, они уже порываются сокрушить его и ждутъ Чингисхана.

Андрей, спокойно единовластвуя въ области Суздальской, повелѣваетъ и отдаленнымъ югомъ, но тамъ мятежи возраждаются непрерывно. Изгнанникъ Мстиславъ покушается добыть утраченный Кіевъ, но умираетъ, не довершивъ предпріятія, въ началѣ успѣшнаго. Мѣсто его заступаютъ бодрые Ростиславичи, новые соперники Олеговыхъ внуковъ, предводимыхъ мятежнымъ Святославомъ. Между тѣмъ Андрей, могущественный въ Суздалѣ, замышляетъ утвердить власть свою на сѣверѣ покореніемъ Новагорода, управляемаго вопреки ему Романомъ, столь знаменитымъ впослѣдствіи: многочисленное войско подъ предводительствомъ Мстислава, разрушившаго Кіевъ, идетъ къ Новугороду и все на пути разоряетъ. Но великій Новгородъ твердо стоитъ за права свои, за честь народа, за славу предковъ — и войско Мстислава, разбитое мужествомъ ратнымъ и чудомъ небеснымъ, обращается въ бѣгство: что не взято въ плѣнъ, то гибнетъ на возвратномъ пути отъ голода въ земляхъ, грабительствомъ обращенныхъ въ пустыню. Въ сіе время Ростиславичи съ согласія Андреева господствуютъ въ Кіевѣ, но скоро союзъ между ими и суздальскимъ княземъ разрушенъ. Возбужденный Олеговымъ внукомъ, Андрей вооружаетъ сильное войско. Ввѣренное послѣднему сыну его Георгію, оно соеди-

няется съ дружинами Святослава Черниговскаго и имъ предводимое завоевываетъ Кіевъ; но оно покрываетъ себя стыдомъ при осадѣ ничтожнаго Вышегорода, гдѣ храбрость Мстислава Ростиславича торжествуетъ надъ безчисленными дружинами Андрея. Съ разстроенными ихъ остатками Георгій возвращается въ Суздаль, и твердый отецъ его смиряется передъ новымъ бѣдствіемъ, видя въ немъ наказаніе Неба за поруганіе святыни церковной въ Кіевѣ. Южная столица отдана Ярославу Луцкому, союзнику и предателю Андрея, но постыдный миръ, заключенный имъ съ Святославомъ Черниговскимъ, побуждаетъ Ростиславичей снова прибѣгнуть къ суздальскому князю и снова союзъ ихъ готовъ утвердиться... но вдругъ Андрей погибаетъ отъ ножа любимцевъ и слугъ своихъ: Суздальская область бунтуетъ; бездыханный трупъ государя, славнаго, мужественнаго, справедливаго и до конца дней своихъ любимаго, поруганъ; ненависть народная праху властителя мститъ за насилія вельможъ его.

Сіе убійство князя едва не наноситъ смертнаго удара и юному его княжеству, столь недавно сильному, а вдругъ раздробленному; Ростиславичи племени Георгіева, нареченные князьями на владимірскомъ вѣчѣ, враждуютъ за него съ Михаиломъ, Андреевымъ братомъ. Минутное торжество сихъ князей неопытныхъ уничтожается грабительствомъ ихъ бояръ и собственною ихъ жадностью корысти. Приведенный въ ужасъ поруганіемъ чудотворной иконы вышегородской, безумно отданной Глѣбу Рязанскому, Владиміръ, соперникъ Ростова, призываетъ Михаила: Ростиславичи изгнаны, усмиренный Глѣбъ возвращаетъ священную свою добычу, и тишина водворяется въ Суздальской области подъ властію князя, достойнаго власти. Но онъ княжитъ не болѣе двухъ лѣтъ: на тронъ его восходитъ двадцатилѣтній Всеволодъ, третій именемъ, прославленный въ лѣтописяхъ титломъ *Великаго*.

Княженіе Всеволода начинается междоусобіемъ съ Ростиславичами сѣверными: ненависть древняго Ростова къ юному Владиміру вооружаетъ ихъ противъ великаго князя; но они побѣждены и взяты въ плѣнъ вмѣстѣ съ союзникомъ своимъ Глѣбомъ Рязанскимъ; Глѣбъ умираетъ въ темницѣ; а Ростиславичи, ослѣпленные взбунтовавшимися владимірцами, возвращаютъ свободу и, чудомъ прозрѣвшіе, приняты Новымъ-городомъ. Раздраженный симъ своевольствомъ, Всеволодъ мститъ новогородцамъ разореніемъ областей ихъ; а они, ему въ досаду, призываютъ храбраго Мстислава Ростиславича, *всегда готоваго на дѣла великія*, который, ознаменовавъ кратковременное княженіе свое побѣдами въ Эстоніи, умираетъ, приготовляясь къ подвигамъ новымъ. Избраніе на мѣсто его сына Святославова ссоритъ великаго князя съ Олеговымъ внукомъ. Святославъ, княжившій тогда въ Кіевѣ, добровольно уступленномъ ему Ростиславичами, замысливъ изгнать ихъ изъ всѣхъ городовъ днѣпровскихъ, начинаетъ войну и съ ними и съ великимъ княземъ: но Всеволодъ, встрѣтивъ его въ Суздальской области, одерживаетъ побѣду безъ сраженія и Святославъ удаляется въ Новгородъ, гдѣ принятъ какъ побѣдитель; а въ области Днѣпровской, гдѣ за враждующихъ князей съ обѣихъ сторонъ дерутся наемники ихъ половцы, Кіевъ по-прежнему остается за Святославомъ, а Ростиславичи удерживаютъ города днѣпровскіе. Покорность Новагорода, снова признавшаго верховную власть Всеволода, миритъ его съ Святославомъ. Тогда оружіе южныхъ князей обращается противъ общихъ враговъ: они одерживаютъ знаменитую побѣду надъ половцами на берегахъ Орели. Но сія побѣда возбуждаетъ завистливое славолюбіе не участвовавшихъ въ ней князей сѣверскихъ. Игорь, не устрашенный затменіемъ солнечнымъ, которое *тьмою путь ему прегородило, ступаетъ въ златое стремя*, спѣша *къ Дону великому*, дабы *преломить копье конецъ поля половецкаго и испить шеломомъ Дона.*

Къ нему присоединяется удалый братъ его Всеволодъ, *яръ туръ* въ битвѣ, съ дружинами курянъ, *отважныхъ кметей, подъ трубами повитыхъ, подъ шеломами взлельянныхъ, концомъ копья вскормленныхъ, скачущихъ по полю сърыми волками, ища себѣ чести, а князю славы.* Отважепные побѣдою въ первой битвѣ, князья русскіе неосторожно вступаютъ во глубину степей: *дремлетъ храброе гнѣздо Олегово, далеко залетѣвъ*, и половцы бѣгутъ имъ на встрѣчу *неотновыми дорогами*, стекаясь *отъ Дона, отъ моря, отъ всѣхъ странъ.* Князья съ дружинами окружены: *варвары крикомъ поля́ преграждаютъ, а витязи русскіе щитами червленными;* наконецъ начинается бой отчаянный, продолжавшійся три дни: *съ утра до вечера, съ вечера до свѣта, летаютъ стрѣлы каленыя, гремятъ сабли о шлемы, трещатъ булатныя копья, черна земля подъ копытами залита кровію, костями посѣяна; на третій день падаютъ знамена Игоревы; недостаетъ вина кроваваго и русскіе храбрые воины, миръ докончавши и сватовъ попоивши, кладутъ свои головы за русскую землю, а Игорь, разлучившійся съ милымъ братомъ Всеволодомъ на брегѣ быстрой Каялы*, вмѣстѣ съ нимъ и съ сыномъ отведенъ плѣнникомъ въ половецкую землю. Скоро послѣ сего народнаго бѣдствія умираетъ Святославъ, состарѣвшій въ мятежахъ и коварствѣ, непостоянный въ союзѣ, врагъ чужихъ, своихъ и отечества для выгоды личной, но государь умный, цѣломудренный, трезвый и по наружности христіанинъ усердный. По смерти его снова загорается война междоусобная между Ростиславичами, овладѣвшими Кіевомъ [имъ помогаетъ великій князь], и Святославовымъ братомъ Ярославомъ [съ нимъ соединяется Романъ Волынскій]; но миръ особенный, заключенный не въ пользу Ростиславичей Всеволодомъ, который никого изъ враждующихъ не хочетъ усилить успѣхомъ, и смерть самого Ярослава прекращаютъ войну сію. И сей миръ скоро опять нарушенъ: Всеволодъ Чермный, сынъ Святослава, беретъ Кіевъ и оскорбляетъ самого великаго князя изгнаніемъ сына его изъ южнаго Переяславля. Всеволодъ подымаетъ оружіе; но, дошедъ съ войскомъ до Москвы, съ пути на Черниговъ, вдругъ обращается на Рязань: ввергнувъ въ оковы князей рязанскихъ, обвиненныхъ въ предательствѣ, онъ разрушаетъ упорствующій Пронскъ и однимъ ударомъ присвоиваетъ себѣ всю Рязанскую область. Между тѣмъ Всеволодъ Чермный усмиренъ и Рюрикъ Ростиславичъ снова въ Кіевѣ; но онъ уступаетъ его добровольно Чермному, беретъ въ замѣну Черниговъ и миръ утверждается между Ростиславичами, Олеговымъ родомъ и великимъ княземъ. Въ сіе время Новгородъ, дотолѣ безусловно покорный владычеству Всеволода, смирившаго наконецъ буйное вѣче, дерзновенно свергаетъ власть его и отдается Мстиславу, сыну *храбраго* и столь же храброму. Всеволодъ, благоразумно умѣренный, избѣгаетъ новой войны, не метитъ новогородцамъ и остается въ согласіи съ Мстиславомъ. Наконецъ сей великій государь умираетъ не въ глубокой старости, княживши болѣе 35 лѣтъ, твердо и счастливо, *не обинуясь лица сильныхъ и не туне нося мечъ ему Богомъ данный*, благій для добрыхъ, строгій для злыхъ, иногда жестокій во мщеніи, въ битвахъ мужественный, въ каждой побѣдитель, но и въ мужествѣ всегда осторожный, наконецъ могучій единовластитель въ своей области, если не въ цѣлой Россіи, *сильный веслами Волгу раскропить и шеломами Донъ вычерпать.* Въ гнѣвѣ на старшаго сына своего Константина онъ предъ смертію отдаетъ престолъ второму сыну Георгію и тѣмъ поселяетъ несогласіе между братьями.

Въ его знаменитое княженіе [коимъ утвердилось могущество сѣвернаго Владиміра, а сану великокняжескому возвращено утраченное уваженіе] происходятъ великія перемѣны въ области Галицкой. По долгомъ счастливомъ правленіи уми-

рость Ярославъ Галицкій, прозванный за умъ и за краснорѣчіе *осмомысломъ*, одинъ изъ достойнѣйшихъ государей своего времени, умѣвшій постигнуть, что государство внутреннимъ устройствомъ надежнѣе утверждается, нежели силою воинскою, другъ тишины, но всегда готовый къ войнѣ, которую велъ не самъ, а черезъ бояръ своихъ, увѣренный, что для государя дѣла гражданскія важнѣе военныхъ; наконецъ счастливый на тронѣ, но несчастный въ семейственной жизни супругою и сыномъ. Древній пѣвецъ, обращаясь къ нему, говоритъ: *высоко сѣдиши ты на златокованномъ престолѣ, подперъ Угорскія горы своими полками желѣзными, заступивъ путь королю, затворивъ Дунаю ворота; грозы твои по землямъ текутъ: отворяеши врата Кіеву; стрѣляеши съ отцовскаго златаго престола въ земли далекія.* Ярославовъ развратный сынъ Владиміръ, устраненный отъ престола отцомъ, но возведенный на него боярами и скоро ими низверженный, ищетъ защиты у венгровъ, находитъ одну неволю и Галицкая область покоряется Андрею, королю венгерскому. Озлобленный бунтомъ за Берладникова сына [разбитаго, плѣненнаго венграми и скоро умершаго въ плѣнѣ отъ яда], Андрей жестокимъ тираннствомъ своимъ обращаетъ народъ къ отверженному имъ Владиміру, который, спасшись бѣгствомъ изъ неволи, съ помощью ляховъ восходитъ опять на престолъ галицкій и сохраняетъ его до смерти подъ защитою сильнаго Всеволода. Съ кончиною Владиміра угасаетъ знаменитое племя галицкихъ Ростиславичей и мужественный Романъ Волынскій возводитъ на галицкій тронъ Мономахово потомство. Государь великій, но тиранъ свирѣпый, ненавидимый боярами и народомъ, но твердый помощью ляховъ, Романъ удерживаетъ въ сильной рукѣ своей господство, дружится съ Андреемъ Венгерскимъ, воюетъ во Оракіи съ половцами за имперію, на Днѣпрѣ съ Ольговичами и съ тестемъ Рюрикомъ Кіевскимъ [который имъ схваченъ и постриженъ], и наконецъ погибаетъ въ Польшѣ. Память о немъ долго сохраняется и въ его собственной Волынской области, гдѣ, властвуя безъ тиранства, онъ умѣлъ пріобрѣсть любовь народную, и въ земляхъ сосѣдственныхъ, испытавшихъ его оружіе и жестокость [особенно въ Литвѣ, гдѣ еще долго послѣ него жила пословица: *Романе, Романе, не добромъ живеши, Литвою орешь*], и въ Галиціи, гдѣ ненависть народная къ отцу обращается на его семейство. Смерть Романа оставляетъ Галицкую землю на произволъ мятежей внутреннихъ и властолюбія сосѣдовъ, Ольговичей, поляковъ и венгровъ. Малолѣтные сыновья его Давидъ и Василько скитаются безъ пріюта съ своею матерью, прославленною великодушіемъ въ бѣдствіи, а ихъ наслѣдіе достается князьямъ сѣверскимъ, сыновьямъ Игоря, которыхъ безумное междоусобіе скоро предаетъ Галичъ тиранству венгровъ. Соединенные бѣдствіемъ, Игоревичи возвращаютъ престолъ и снова теряютъ его отъ своей безразсудной свирѣпости, вооружившей на нихъ всеобщую ненависть: бояре зовутъ Даніила: съ помощью Андрея Венгерскаго мужественный отрокъ восходитъ на тронъ Романовъ: а сыновья Игоря [кромѣ Владиміра, спасшагося бѣгствомъ], выданные измѣною венгровъ, мучительски умерщвлены мстительными боярами.

При восшествіи на престолъ Георгія Всеволодовича, освободившаго изъ заточенія князей рязанскихъ, область Владимірская является раздробленною на нѣсколько удѣловъ: между Константиномъ и Георгіемъ загорается междоусобіе, но оно скоро прекращено ненадежнымъ миромъ. Въ то время въ Новѣгородѣ владычествуетъ мужественный Мстиславъ. Къ его защитѣ прибѣгаютъ сыновья и племянники умершаго Рюрика Ростиславича, изгнанные изъ городовъ днѣпровскихъ Всеволодомъ Чермнымъ. Подобно отцу, *всегда готовый на дѣла великія*, Мстиславъ вооружается, идетъ на югъ съ дружинами новогородскими и смоленскими,

война рѣшена однимъ ударомъ, утраченныя области возвращены Ростиславовымъ внукамъ, а Всеволодъ Чермный, изгнанный изъ Кіева, умираетъ въ Черниговѣ, оставивъ престолъ сыну Михаилу. Тогда Мстиславъ, уже давно обратившій тайные замыслы на отдаленный, мятежами растерзанный Галичъ, удаляется въ южную Россію, ободривъ опечаленныхъ новогородцевъ обѣтомъ явиться къ нимъ по первому крику народнаго бѣдствія. Сія минута скоро наступаетъ. Ярославъ Всеволодовичъ Переяславскій, зять Мстислава, призванный на его мѣсто, князь умный и бодрый, но жестокій, начинаетъ княженіе свое строгостію: поссорясь съ новогородцами, онъ удаляется въ Торжокъ и явною враждою, заточеніемъ и ссылкою многихъ гражданъ, бѣдствіемъ голода, имъ самимъ произведеннаго, доводитъ Новгородъ до отчаянія; народъ вопіетъ; князь его неумолимъ; вдругъ на дворѣ Ярославовомъ является вѣрный Мстиславъ; Новгородъ оживаетъ; знамя войны воздвигнуто и славная Липецкая битва, отмстивъ Ярославу, рѣшитъ въ то же время и судьбу великаго княжества Владимірскаго: Георгій, державшій сторону Ярослава [и вмѣстѣ съ нимъ передъ битвою въ шатрѣ своемъ раздѣлившій Россію], низверженъ, а старшій братъ его Константинъ, Мстиславовъ союзникъ, возведенъ на престолъ владимірскій.

Сей князь благодушный, заступникъ за Ярослава передъ раздраженнымъ его тестемъ, примиренный съ Георгіемъ, который нареченъ отъ него наслѣдникомъ, властвуетъ кротко, и возбуждаетъ въ князьяхъ, боярахъ, гражданахъ и своихъ домашнихъ искреннюю къ себѣ любовь; но, чуждый и справедливой строгости, оставляетъ ненаказаннымъ страшное преступленіе князей Рязанскихъ, Глѣба и Константина, совершившихъ разомъ шесть братоубійствъ на дружескомъ пиршествѣ, которое уготовали они для погибели своихъ родственниковъ. Избѣгнувъ суда человѣческаго, Глѣбъ не избѣгаетъ суда небеснаго: надъ нимъ совершается бѣдствіе древняго Святополка; пораженный Ингваремъ Рязанскимъ, онъ бѣжитъ въ половецкія степи и тамъ погибаетъ, обезумленный мстящею совѣстію. Константинъ, послѣ трехлѣтняго мирнаго властвованія, умираетъ, оплаканный всѣмъ народомъ, и Георгій Всеволодовичъ вторично восходитъ на тронъ отца своего.

Роковое имя сего князя невольно возбуждаетъ въ душѣ благоговѣйный трепетъ: оно говоритъ о ужаснѣйшемъ бѣдствіи нашего отечества, о *началѣ временъ*, передъ коими всѣ минувшія, столь смятенныя и тяжкія, должны казаться золотыми: оно невольно обращаетъ мысль и на судьбу всего человѣчества. Произнося его, воспоминаемъ, что въ жизни народовъ, какъ и въ жизни природы, бываютъ сіи волканическія потрясенія, коихъ никакая человѣческая мудрость ни отвратить, ни преодолѣть не въ силахъ: надолго исчезаетъ общее благоденствіе и цѣлыя столѣтія проходятъ въ бѣдствіяхъ прежде, нежели новое счастливѣйшее поколѣніе мирно расцвѣтетъ на лонѣ минувшихъ лѣтъ, надъ безмолвными остатками предковъ, ею нѣкогда поглощенныхъ. Зло порождаетъ наконецъ благо. И о семъ *необходимомъ*, быстромъ или позднемъ, *произрастеніи блага* на почвѣ бѣдствій, удобряемой бодрствующимъ Провидѣніемъ, утѣшительно проповѣдуетъ намъ исторія. Извлекая изъ событій свои наставленія, она говоритъ *человѣчеству:* ничто не зиждется слабою волею человѣка; одинъ есть вѣрный, сильный, но медленный создатель лучшаго — *Время!* Оно послушно единому Богу. Она говоритъ *властителямъ:* будьте согласны съ вашимъ вѣкомъ; идите съ нимъ вмѣстѣ: впереди, но ровнымъ шагомъ; отстанете — онъ васъ покинетъ; повлечете его быстро впередъ — ниспровергнете все и себя; осмѣлитесь преградить ему дорогу — онъ васъ раздавитъ. Ваше могущество не въ одномъ державномъ владычествѣ — оно и въ достоинствѣ и въ благоденствіи вашего народа. Она говоритъ *народамъ:* покоряйте порядку, соединяйте съ достоинствомъ

и твердостію бремя настоящаго; свергнуть его силою есть произвольно отворить жерло волкана: лава его можетъ быть плодотворна, но для временъ отдаленныхъ; губить настоящее для пользы грядущаго есть преступленіе безумства, которое прихотливо зажигаетъ домъ свой, въ надеждѣ, что изъ пепла его воздвигнется лучшій. Наконецъ, она говоритъ *каждому*: храни святыню клятвы и закона; знай *свое* мѣсто на землѣ и стой на немъ твердо; какъ человѣкъ, образуй себя для высшаго міра и твори, что велитъ совѣсть, просвѣщенная христіанствомъ; какъ гражданинъ, совершай вполнѣ, что велитъ особенный долгъ твой; люби общее благо, но заботься только о вѣренномъ тебѣ частномъ; тамъ нѣтъ закона, гдѣ каждый законодатель; тамъ нѣтъ свободы, гдѣ каждый властитель; гдѣ каждый на своемъ мѣстѣ покоренъ закону, тамъ и для всѣхъ совокупно нѣтъ другаго властителя, кромѣ закона. Таковы совѣты исторіи, которымъ мы *властны* послѣдовать. Но она говоритъ намъ и о *неизбѣжномъ*, о такомъ, гдѣ наша воля ничто передъ высшею, все одолѣвающею силою. Она говоритъ намъ, что бываютъ времена *темныя*, въ коихъ для самаго зоркаго ока видимо одно только испытующее Провидѣніе и невидимы тайные пути его. Счастливъ властитель, счастливъ народъ, коихъ подобныя времена застаютъ неразслабленными, которые въ стремительномъ ихъ потокѣ не теряютъ ни собственнаго достоинства, ни дѣятельности бодрой, ни сладкой надежды на лучшее. Чтобъ вѣрить сему лучшему, довольно произнести одно слово: *Богъ!* Исторія человѣчества есть Богъ въ своихъ дѣйствіяхъ. — Сіи темныя времена испытанія наступаютъ для Россіи во дни Георгія Всеволодовича: но они застаютъ Россію разслабленною: нѣтъ единства, нѣтъ союза, нѣтъ правовъ, нѣтъ истинной силы властителей, нѣтъ достоинства народнаго, нѣтъ государства. Такая Россія способна ли устоять передъ нашествіемъ великаго *бѣдствія, и что должно* съ нею совершиться, когда сіе великое бѣдствіе одолѣетъ ее?

Въ началѣ Георгіева княженія мы видимъ храбраго Мстислава еще княземъ новогородскимъ; но скоро онъ опять удаляется въ южную Россію, призванный бѣдствіями Галицкой области. Тамъ бунтуютъ мятежные бояре; юноша Даніилъ лишенъ престола; великодушная мать его должна спасаться бѣгствомъ; венгры, поляки [другъ другу завидующіе, но согласные въ намѣреніи задушить раждающееся могущество Галича], Мстиславъ Нѣмый, Александръ Бѣльскій и вельможа галицкій Владиславъ волнуютъ и рвутъ на части бѣдную область; наконецъ, съ общаго согласія она отдана Коломану Венгерскому; поляки получаютъ свои участки, а сыновья Романовы ограничены удѣлами въ Волыніи: миръ возстановленъ, но скоро опять нарушенъ утѣсненіемъ вѣры народной и враждою Андрея съ Лешкомъ Польскимъ, который, утративъ галицкіе удѣлы свои, обращается наконецъ къ Мстиславу Новогородскому, дабы его мужествомъ сокрушить владычество венгровъ. Мстиславъ является, быстро завоевываетъ Галичъ, усыновляетъ Даніила, отдавъ за него свою дочь; но скоро долженъ воевать съ соединившимися противъ него ляхами и венграми, сначала побѣжденъ, потомъ, усиленный союзомъ съ половцами, одерживаетъ рѣшительную побѣду, беретъ въ плѣнъ самого Коломана и [болѣе воинъ, нежели политикъ], повѣривъ хитрымъ совѣтамъ вельможи Судислава, заключаетъ миръ, выгодный для одного побѣжденнаго короля венгерскаго, коего малолѣтному сыну обѣщана въ супружество другая дочь Мстислава и вмѣстѣ съ нею, какъ приданое, вся Галицкая область.

Между тѣмъ Новгородъ, покинутый мужественнымъ княземъ своимъ, борется со внутренними неустройствами и съ нападеніями враговъ внѣшнихъ. Еще во время Всеволода Великаго, по слѣдамъ Мейнгарда, перваго латинскаго проповѣдника и строителя первой латинской церкви

въ Ливоніи, является тамъ властолюбивый Альбертъ, воинъ епископъ, основатель Риги и ордена Меченосцевъ. Южная Ливонія покорена мечомъ кресту; Альбертъ раздѣляетъ ее съ своими рыцарями, признающими верховную власть его, и вездѣ воздвигаются крѣпкіе замки воинственныхъ поборниковъ вѣры. Съ другой стороны являются литовцы, дотолѣ данники Россіи, теперь враги опасные, возмужавшіе въ бѣдственныхъ ея междоусобіяхъ. Тогда же на берегахъ сѣверной Эстоніи утверждаются датчане, коихъ мужественный король Вальдемаръ строитъ Колывань или Ревель, и грабительствуютъ шведы, уже испытавшіе силу новогородцевъ, которые, пристанъ къ берегамъ Швеціи, недалеко отъ Стокгольма, разрушили до основанія городъ Одиновъ Сигтуну. Принужденные бороться съ сосѣдами сильными, новогородцы призываютъ наконецъ своего бывшаго врага, Ярослава Всеволодовича, который вноситъ войну въ сѣверную Ливонію, гдѣ продолжаютъ свирѣпствовать шведы и датчане, и гдѣ наконецъ отчаяніе народа, вспыхнувшее въ общемъ бунтѣ, ниспровергаетъ Спасителевъ Крестъ, водруженный кровавымъ мечомъ враждующихъ между собою пришельцевъ.

Въ сіе-то смутное время, въ первый разъ, въ 1224 году, по всей Россіи раздается слухъ о татарахъ. Орды моголовъ, дотолѣ таившіяся въ отдаленной Азіи подъ игомъ татаръ-ніучей, но вдругъ освобожденныя сильною рукою Чингисхана и вмѣстѣ съ нимъ непобѣдимые, подъ грознымъ именемъ монголо-татаръ, быстро завоевываютъ все необъятное пространство Азіи отъ Аральскаго моря до Инда. Еще громъ распадающихся царствъ не достигъ до Россіи, беззаботно терзающей свою внутренность, а Чингисхановы завоеватели уже проникаютъ сквозь ущелія Кавказа и, побѣдивъ антовъ, преслѣдуя половцевъ, подходятъ къ южнымъ ея предѣламъ. Ея князья, взволнованные ужасомъ бѣглецовъ половецкихъ, *безразсудно вступаются* за прежнихъ грабителей земли русской. Со всѣхъ сторонъ изъ южной Россіи [преступно оставленной на произволъ судьбы великимъ княземъ] сходятся войска на берега Днѣпра. Умерщвленіе пословъ татарскихъ рѣшитъ войну, а гибельное честолюбіе вождя, Мстислава Галицкаго, который одинъ хотѣлъ схватить побѣду, и бѣгство малодушныхъ половцевъ рѣшитъ плачевную битву на Калкѣ. Русское войско съ шестью князьями истреблено; Мстиславъ и вѣрный сподвижникъ его Даніилъ спасаются бѣгствомъ въ Галичъ, а ополченіе татаръ [коего вожди, сидя на плѣнныхъ, раздавленныхъ подъ досками князьяхъ, празднуютъ на полѣ битвы побѣду] преслѣдуетъ бѣгущихъ до Днѣпра, но вдругъ обращается на востокъ и исчезаетъ, какъ страшное привидѣніе.

Сей громовой ударъ остерегающаго Промысла пробудилъ ли Россію? Нѣтъ! увлекаемые рокомъ, ея князья безумными распрями продолжаютъ изнурять силы свои, столь нужныя для отраженія вооружающагося на нихъ поработителя. Бунтующій Новгородъ, принужденный сражаться съ ливонскими рыцарями и отбивать нападенія литовцевъ, болѣе и болѣе дерзкихъ, опустошаемый голодомъ и моромъ, колеблющійся между враждующими за него Ярославомъ Всеволодовичемъ и Михаиломъ Черниговскимъ, наконецъ остается во власти перваго, который скоро потомъ, сдѣлавшись кіевскимъ княземъ, повѣряетъ его юному сыну Александру, столь знаменитому впослѣдствіи. Между тѣмъ въ Галицкой области горитъ война. Мстиславъ, ея обладатель, ссорится съ нареченнымъ зятемъ, Андреевымъ сыномъ, и, побѣдивъ его, снова неблагоразумнымъ миромъ теряетъ всѣ выгоды побѣды: супружество Мстиславовой дочери съ побѣжденнымъ княземъ утверждаетъ за венграми Галицкую область. Черезъ нѣсколько времени Мстиславъ умираетъ, горько раскаиваясь въ несправедливости къ пренебреженному имъ Даніилу. Сей бодрый князь оружіемъ добываетъ Галичъ, беретъ къ плѣну

Андрея, великодушно возвращаетъ ему свободу, но, одолѣвши брата его Белу, самъ, побѣжденный коварствомъ бояръ и хитрымъ сосѣдомъ Александромъ Бѣльзскимъ, принужденъ уступить Андрею престолъ и снова по смерти Андреевой на него восходитъ, избранный, вопреки боярамъ, любовію народа. Но онъ владычествуетъ недолго: пораженный половцами въ несчастной войнѣ съ Михаиломъ Черниговскимъ за кіевскаго князя Владиміра [взятаго варварами въ плѣнъ], онъ теряетъ и Галичъ, завоеванный Михаиломъ. Напрасно предлагаетъ онъ союзъ и покорность венгерскому королю Белѣ, наслѣднику Андрея: раздробленіе Галицкой области полезнѣе венграмъ союза съ единовластными князьями ея, и Михаилъ остается въ Галичѣ, а сынъ Романовъ принужденъ довольствоваться однимъ Перемышлемъ.

Такъ проходятъ тринадцать лѣтъ послѣ кровавой битвы на Калкѣ. Между тѣмъ Чингисханъ умираетъ. Октай, его сынъ, наслѣдуетъ могущество и завоевательные замыслы отца своего. Посланный имъ Батый съ тремя стами тысячъ моголовъ идетъ къ сѣвернымъ берегамъ Каспійскаго моря, и скоро потомъ приближается къ Волгѣ. Ниспровергнувъ столицу болгаровъ, онъ быстро вторгается въ предѣлы Россіи. Первою жертвою варваровъ становятся южныя области Рязани, преданной имъ виновною беззаботностію Георгія: Пронскъ, Бѣлгородъ, Изяславецъ истреблены; Рязань погибаетъ вмѣстѣ съ своимъ княземъ и всѣмъ народомъ. Батый, изумленный мужествомъ Евпатія, напавшаго съ горстію храбрыхъ на все его ополченіе, устремляется къ сѣверу, поражаетъ русское войско въ коломенской битвѣ, жжетъ Москву, разрушаетъ Владиміръ [гдѣ сыновья великаго князя, Всеволодъ и Мстиславъ, гибнутъ среди дружины, а все остальное семейство его во пламени], и страшно подвигается впередъ, какъ огненная лава. Городецъ Волжскій, Костромской Галичъ, Ростовъ, Ярославль, Юрьевъ-Польскій, Переяславль-Залѣсскій, Дмитровъ и еще четырнадцать городовъ разомъ разрушены; наконецъ на берегахъ Сити, вмѣстѣ съ русскимъ войскомъ и великимъ княземъ, погибаетъ послѣдняя надежда Россіи: плѣненный Василько зарѣзанъ и брошенъ въ лѣсу, Волокъ-Ламскій, Тверь, Торжокъ сожжены; Новгородъ ждетъ истребленія. Но за сто верстъ отъ сего города, устрашенный лѣсами и болотами сѣвера, Батый внезапно обращается на югъ и, уничтоживъ Козельскъ, коего мужественные жители падаютъ всѣ на трупахъ пораженныхъ ими враговъ, уходитъ къ Дону въ половецкія степи. Ярославъ Всеволодовичъ спѣшитъ изъ Кіева принять достоинство великокняжеское на развалинахъ сокрушеннаго Владиміра.

Что представляется намъ, когда обращаемъ глаза на сіи неполные два вѣка, протекшіе отъ смерти Ярослава до истребительнаго Батыева нашествія? Печальное зрѣлище великой державы, влекомой самими властителями ея къ безднѣ погибели. Въ концѣ сего періода мы видимъ Россію въ совершенномъ безсиліи; но еще ни одна изъ областей ея не тронута мечомъ иноземнаго завоевателя, ибо сосѣды, хотя уже болѣе опасные, не достигли еще всего своего могущества. Еще Литва, столь грозная для нея впослѣдствіи, высылаетъ на нее однѣ нестройныя, легко отражаемыя толпы разбойниковъ; на западныхъ предѣлахъ, противъ поляковъ и венгровъ, счастливымъ случаемъ, стоятъ на стражѣ князья мужественные: Владимірко, Ярославъ, Романъ Волынскій и Мстиславъ Новогородскій; епископы рижскіе и меченосцы только что начинаютъ утверждаться въ упорствующей Ливоніи; болгары, невоинственные какъ и прежде, неподвижны за Волгою; сами половцы, главные враги сего времени, ослабленные счастливыми побѣдами Мономаха, Мстиславовъ и Всеволода, страшны однимъ грабительствомъ и союзами съ враждующими между собою князьями, а не силою завоевательною. Однимъ словомъ, еще *вся* Ярославова Россія сущс-

ствуетъ, а могущество ея уже исчезло.

Что утверждаетъ могущество государства? Устройство внутреннее, плодъ долговременнаго мира. Подъ сѣнію мира мужаетъ *власть* верховная; твердою *законностію* утверждается на *частномъ* благоденствіи благоденствіе *общее*; становятся ясны взаимныя *отношенія* между государемъ и подданными: любовь и уваженіе властителя къ народу производитъ любовь и уваженіе народа къ властителю; тогда глубоко врѣзывается въ сердца и любовь къ отечеству, не то естественное чувство, коимъ лапландецъ прикованъ къ снѣжнымъ сугробамъ сѣвера, а бедуинъ къ раскаленнымъ пескамъ пустыни; но высокое чувство благороднаго гражданина, для котораго въ одно слово: *отечество*, соединяется все, что драгоцѣнно душѣ человѣческой—и небо отчизны, и счастливая подъ нимъ страна отцовъ и братьевъ, и величіе властителя, неразлучное съ величіемъ народа, съ благоденствіемъ всѣхъ, съ достоинствомъ каждаго, и свобода, хранимая закономъ, и просвѣщеніе, болѣе и болѣе объясняющее высокое назначеніе человѣка, и религія, на все кладущая лучезарную печать свою, и въ минувшемъ славный примѣръ отцовъ, великихъ гражданскою доблестію, или мужествомъ браннымъ, или творческою мыслію, и въ настоящемъ чувство высокой, дѣятельно-полезной, ничѣмъ не стѣсняемой жизни, и въ будущемъ спокойное ожиданіе лучшаго. Съ такою любовію къ отечеству въ душѣ государя—благоденствіе народное твердо, въ душѣ народа — могущество государя непотрясаемо.

Но что же могло породить ее въ сіи времена раздоровъ, буйнаго самовластія и неразлучнаго съ нимъ безначалія? Понятіе о благѣ народа, начинавшее разсвѣтать въ душѣ Владиміра и Ярослава—которые, властвуя долго, могли постигнуть великія обязанности властителей—затмевается совершенно для ихъ послѣдователей. Князья воюютъ между собою и своими враждами разоряютъ отечество или предаютъ его на произволъ иноземныхъ грабителей. Напрасно въ сей общей битвѣ раздается примирительный голосъ Мономаха: его душа, пролетѣвшая, какъ свѣтлый призракъ благодѣтствія, надъ мрачнымъ полемъ бѣдствій всеобщихъ, оставляетъ одно умилительное воспоминаніе потомкамъ; но жребій отечества не измѣняется. Князья съ неограниченною, но мало надежною властію, народъ съ безусловнымъ, но часто мятежнымъ рабствомъ, соединенные безъ любви взаимной единою необходимостію, ожесточаются среди междоусобій, ежеминутно возжигаемыхъ или жадностію хищничествомъ, или неопредѣленностію наслѣдственнаго права, или родовою ненавистію, или прихотливымъ буйствомъ и мужествомъ безпокойнымъ. Въ семъ необузданномъ мятежѣ страстей *нравственная сила* государства исчезаетъ. Тѣнь христіанства, одинъ языкъ и общая ненависть ко врагамъ невѣрнымъ составляютъ еще слабую связь разрушеннаго государственнаго тѣла; но добродѣтели гражданскія не существуютъ: развращаемые хищничествомъ, предательствомъ и притѣсненіями князей, ожесточаемые ненаказаннымъ грабительствомъ бояръ и любимцевъ княжескихъ, нравы народа свирѣпѣютъ; любовь къ отечеству гаснетъ и самое безмолвное рабство нерѣдко является раздраженнымъ бунтомъ. Одно только мужество *личное* зрѣетъ; но и оно не иное что, какъ дикая удалость, питаемая корыстію или мятежнымъ желаніемъ славы. Съ нравственною силою государства разрушается и его *сила матеріяльная*. Падаетъ величіе Кіева и сѣверный Владиміръ заступаетъ его мѣсто. Но сіе событіе, печальное въ настоящемъ, спасительно для будущаго. Андрей, утвердивши престолъ во Владимірѣ, предаетъ полуденную Россію на произволъ междоусобій внутреннихъ: но, оставшись въ Кіевѣ, онъ вѣроятно не одолѣлъ бы многочисленныхъ враговъ своихъ, а сѣверная Россія не могла бы образоваться и сдѣлаться наконецъ могущественно-самобытною. Удалясь на сѣ-

верѣ, менѣе взволнованный мятежами, не столь привлекательный для жадныхъ грабителей, не угрожаемый сосѣдами сильными, онъ сосредоточиваетъ въ немъ силу великокняжескую и приготовляетъ его нѣкогда быть колыбелью *единодержавія*. Но примѣръ Андрея, постигшаго сію спасительную мысль единодержавія, мало дѣйствуетъ на его послѣдователей: самъ великій Всеволодъ, умѣвшій присвоить себѣ власть единую, дѣлитъ наслѣдіе Андреево между дѣтьми, неспособными властвовать; а сынъ его Георгій своею преступною безпечностію о благѣ общемъ губитъ себя и Россію. Тогда начинается грозное испытаніе варварскаго иноземнаго рабства, продолжавшееся болѣе двухъ столѣтій.

Что же, однимъ словомъ, низвергло отечество наше въ сіе долговременное бѣдствіе? Съ одной стороны *разробленіе* государства, которымъ уничтожилась его сила матеріяльная; съ другой несчастное *отношеніе государей къ подданнымъ*, которымъ въ самомъ зародышѣ умерщвлена была его нравственная сила. Мы увидимъ, что съ утвержденіемъ *первой* и постепеннымъ развитіемъ *послѣдней* въ могучее *самодержавіе* Россія воскреснетъ, собственною силою возвратитъ свободу, и наконецъ, облагороженная великою душою нѣкоторыхъ государей, займетъ свое мѣсто между образованными державами Европы, дабы нѣкогда сравниться съ ними во всемъ, что составляетъ истинное достоинство всякаго государства.

. . . . . .

1835.

ПИСЬМО КАРАМЗИНА КЪ ГРАФУ КАПОДИСТРІЯ.

КЪ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Письмо, сообщаемое мною вамъ, достойно того, чтобъ знали о немъ всѣ, кому драгоцѣнна память Карамзина: выражая прекрасную душу его, оно короче познакомитъ съ нимъ самимъ всѣхъ тѣхъ, кто знали его по однимъ сочиненіямъ; въ тѣхъ же, кто имѣли счастіе знать его самого, оно пробудитъ трогательное, сладкое воспоминаніе. Въ концѣ этого письма онъ съ безпокойствомъ, но и съ надеждою, говоритъ о болѣзни государя Александра Павловича въ Таганрогѣ и мимоходомъ упоминаетъ о печали императрицы Елисаветы Алексѣевны по случаю смерти короля Баварскаго... а въ эту минуту и государя, столь ему любезнаго, уже не было на свѣтѣ, и смертельное горе уже стремило ко гробу овдовѣвшую императрицу, и въ немъ самомъ уже начиналась та болѣзнь, которая черезъ нѣсколько мѣсяцевъ должна была положить его въ могилу. Первое извѣстіе о кончинѣ государя принесено было ему мною: услышавъ о ней, онъ сталъ на колѣни, поднялъ глаза къ небу, молчалъ, молился мыслію, потомъ горько заплакалъ. Но онъ и самъ уже былъ на краю гроба, когда ему сказали, что и государыня Елисавета Алексѣевна скончалась. Я желалъ бы, но не умѣю, описать его въ эту минуту: желалъ бы найти выраженіе для наименованія того набожнаго, покорнаго [уже потухающаго] взгляда, который онъ, не сказавъ ни слова, поднялъ къ небу, какъ будто провожая туда милую душу, и того движенія руки, которымъ онъ какъ будто передавалъ ее Всевышнему. Въ это время онъ находился въ таврическомъ дворцѣ, куда переселили его въ началѣ весны, дабы онъ могъ свободнѣе пользоваться свѣжимъ воздухомъ. Было рѣшено, что онъ отправится въ южную Францію; былъ готовъ фрегатъ, для перевезенія его въ Марсель. И онъ ни мало не подозрѣвалъ, чтобы смерть его была такъ близка; онъ занимался настоящимъ; думалъ о будущемъ, думалъ о довершеніи великаго труда своего. Благодаря отеческой заботливости государя Николая Павловича, который, какъ истинный представитель своего народа, изъявилъ Ка-

рамзину, въ достойной его наградѣ, благодарность свою и Россіи, онъ былъ избавленъ отъ всякаго безпокойства о судьбѣ своего семейства *). Съ какою-то младенческою ясностію души онъ дѣлалъ планы для своей заграничной жизни. «Теперь я богатъ», говорилъ онъ: «могу завести себѣ верховую лошадь: постоянное движеніе поможетъ мнѣ возстановить мое здоровье». Но было опредѣлено иначе; онъ не пережилъ мая. Принужденный также по причинѣ болѣзни покинуть въ началѣ сего мѣсяца Россію, я не имѣлъ отрады быть при немъ въ послѣднюю его минуту; но я съ глубокимъ благоговѣніемъ видѣлъ его приближающагося къ сей минутѣ; я видѣлъ умирающаго Карамзина, и никогда это видѣніе не изгладится изъ души моей. При мысли о концѣ такого человѣка, о переходѣ такой души въ тотъ міръ, гдѣ у *Отца обителей много*, всѣ наши понятія о жизни, смерти и безсмертіи преображаются для насъ во что-то свѣтло-очевидное. Кто зналъ внутреннюю жизнь Карамзина, кто зналъ, какъ онъ всегда былъ непорочень въ своихъ побужденіяхъ, какъ въ немъ всѣ живыя, независимыя отъ воли движенія сердца были, по какому-то естественному сродству, согласны съ правилами строгаго разума; какъ твердый его разумъ всегда смягченъ былъ нѣжнѣйшимъ чувствомъ, какой онъ былъ [при всей высокой своей мудрости] простосердечный младенецъ, и какъ верховная мысль о Богѣ всѣмъ владычествовала въ его жизни, управляя его желаніями и дѣйствіями, озаряя

*) Напомнимъ читателямъ высочайшій рескриптъ, данный на имя исторіографа, за девять дней до его кончины:

Николай Михайловичъ! Разстроенное здоровье ваше принуждаетъ васъ покинуть на время отечество, и искать благопріятнѣйшаго для васъ климата. Почитаю за удовольствіе изъяснить вамъ Мое искреннее желаніе, чтобы вы скоро къ намъ возвратились съ обновленными силами, и могли снова дѣйствовать для пользы и чести Отечества, какъ дѣйствовали донынѣ. Въ то же время, и за покойнаго Государя; знавшаго на опытѣ вашу благородную, безкорыстную къ Нему привязанность, и за Себя самого, и за Россію, изъявляю вамъ признательность, которую вы заслуживаете и своею жизнію, какъ гражданинъ, и своими трудами, какъ писатель. Императоръ Александръ сказалъ вамъ: Русскій народъ достоинъ знать свою Исторію. Исторія, вами написанная, достойна Русскаго народа. Исполняю то, что желалъ, чего не успѣлъ исполнить Братъ Мой. Въ приложенной бумагѣ найдете вы изъявленіе воли Моей, которое, будучи съ Моей стороны одною только справедливостію, есть для Меня и священное завѣщаніе Императора Александра. Желаю, чтобы путешествіе было вамъ полезно и чтобы оно возвратило вамъ силы, для довершенія главнаго дѣла вашей жизни. Пребываю вамъ всегда благосклонный.

Николай.

Въ Царскомъ Селѣ,
Мая 13 дня 1826 года.

Растроганный столь неожиданною милостію, Карамзинъ, уже на смертномъ одрѣ, собравъ послѣднія силы, слабѣющею рукою выразилъ глубокую къ Монарху благодарность въ слѣдующихъ строкахъ:

Всемилостивѣйшій Государь!

Рескриптъ, которымъ Вы меня осчастливили третьяго дня, написанный столь прекрасно, съ такимъ благоволеніемъ—съ воспоминаніемъ въ немъ о незабвенномъ Александрѣ, съ хвалою смиренному исторіографу сверхъ его достоинства омочилъ слезами блѣдное мое лицо. Прочитавъ Указъ къ министру финансовъ, я не вѣрилъ своимъ глазамъ: благодѣяніе чрезмѣрно; никогда скромныя мои желанія такъ далеко не простирались. Изумленіе скоро обратилось однако жъ въ умиленіе живѣйшей благодарности: если самъ уже не буду пользоваться плодами такой Царской, безпримѣрной у насъ щедрости, то закрою глаза спокойно: судьба моего семейства рѣшена наисчастливѣйшимъ образомъ. Дай Богъ, чтобы фамилія Карамзиныхъ, осыпанная милостями двухъ Монарховъ, заслужила имя *отрадной* и ревностной къ Царскому Дому. О! какъ желаю выздоровѣть, чтобы скорѣе возвратиться въ Петербургъ, чтобы посвятить послѣдніе дни мои Вамъ, безцѣнный Государь, и любезному Отечеству. Вчера не могъ я писать. И нынѣ голова моя слаба. Видомъ, говорятъ, я поправляюсь, но слабость не выпускаетъ меня изъ полулюдей. Заключу тѣмъ: милости, благодѣянія Ваши ко мнѣ такъ чрезвычайны, что я и здоровый не умѣлъ бы выразить вполнѣ моей признательности.

Повергаюсь и проч.

труды его генія, проникая житейскія его радости и печали, и соединяя все его бытіе въ одну гармонію, которая только съ послѣднимъ вздохомъ его умолкла для земли, дабы на вѣки продолжаться въ мірѣ иномъ; словомъ, кто имѣлъ счастіе проникнуть въ тайну души Карамзина, для того зрѣлище смерти его было освященіемъ всего, что есть прекраснаго и высокаго въ жизни, и подтвержденіемъ всего, что вѣра обѣщаетъ намъ за гробомъ. На камнѣ, покрывающемъ остатки Карамзина, вырѣзаны слова Спасителя: *блаженни чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ.*

Письмо къ графу Каподистрія написано на французскомъ языкѣ; я прилагаю къ нему и свой переводъ: онъ не удаченъ, но для меня было наслажденіемъ особеннаго рода выражать мысли Карамзина на томъ языкѣ, который имъ созданъ и котораго еще никому не удалось перенять у него.

Cher et respectable ami,

Nous avons revu l'aimable B....avec encore plus de plaisir qu'à l'ordinaire: il nous a parlé de vous. Nous avons commencé par des questions sur votre santé, votre air l'expression physique de ce qui ne l'est pas—nous avons été satisfaits; mais bien d'autres questions, immédiatement sur l'état de votre belle âme, sur les opérations de votre esprit actif, sur votre manière frappante d'envisager les événements du temps, sont restées, hélas! sans réponse. Cependant en écoutant notre ami commun, qui me rendait compte de ses entretiens avec vous, j'ai cru quelquefois vous entendre parler vous-même. Que je lui envie ces moments délicieux, passés avec vous! Mes années, qui s'accumulent, ma santé, qui chancelle, les circonstances fâcheuses, qui nous séparent et qui durent toujours, tout cela est peu fait pour relever en moi l'espérance de voir revenir le passé. Pour m'en consoler, je me dis: «Quoique loin de nous, il pense quelquefois à nous, et nous sommes immortels». Le contact des âmes ne cesse point à notre dissolution matérielle. Celui qui, survit conserve un souvenir, et celui qui s'en va acquiert peut-être plus qu'il ne perd. Les voyageurs d'icibas sont trop distraits et n'ont pas le loisir de cultiver l'amitié: ce n'est qu'après avoir déposé nos bâtons que nous serons tous à nos affections, et tout ce que nous perdons dans le temps sera rattrapé dans l'éternité. De pareils soliloques m'occupent à présent plus que les conversations de la société, et entretiennent la chaleur de mon âme, dont j'ai encore besoin pour ma famille, pour mes amis et pour mon histoire qui s'achève [legs à la postérité, si elle en veut; sinon, non]. Oui, je vieillis sans m'éteindre encore [cela viendra peut-être]. Oh! que j'aime encore mes compagnons de voyage! que je plains leur misère et que je suis tout pitié pour tant d'individus et pour tant de nations!.. Nous venons seulement de quitter Tsarskoé-Sélo, où nous sommes restés dans une profonde solitude pendant plus de deux mois: que j'étais loin de l'ennui, quand je ne souffrais pas physiquement! Que de jouissances je trouvais dans ce loisir de tous les jours, au sein de ma famille, et quelquefois tout seul! Le travail, la lecture, les promenades automnales et souvent nocturnes avaient un véritable charme pour moi. Sans craindre extrêmement la mort, l'envisageant quelquefois avec une certaine affection et aimant à répéter avec Rousseau: «qui s'endort dans les bras d'un père, n'est pas en souci du réveil», je savoure encore la douceur de l'existence terrestre, à ma façon, qui échappe à l'envie. Touchant à la fin de ma carrière, je remercie Dieu de ma destinée. Je me trompe peut-être, mais ma conscience est tranquille. La chère patrie n'a rien à me reprocher; j'étais toujours prêt à la servir sans compromettre mon caractère dont je dois répondre à cette même Russie: eh bien, je n'ai fait que l'histoire de ses siècles barbares; on ne m'a vu ni aux champs de bataille, ni dans les conseils d'état; mais comme je ne suis ni poltron, ni paresseux, je me dis: «le Ciel ne l'a pas voulu», et sans être ridi-

enlement fier de mon métier d'auteur, je me vois sans honte parmi nos généraux et ministres... Je m'arrête: c'est parler trop pour une visite que je vous fais d'ici à Genève. La brièveté de la vie invite au laconisme; mais que voulez-vous? L'idée même qu'on ne vit pas assez longtemps pour beaucoup bavarder nous rend quelquefois bavards avec nos amis.

Je passe à l'historique. Votre souvenir vit en Russie. L'Impératrice Elisabeth m'a chargé expressément de vous parler de l'intérêt sincère qu'Elle vous porte: Elle est si vraie! Il n'est pas moins vrai que l'Empereur a toujours la même idée de votre âme et de vos talents éminents. Nous ayant une fois honorés d'une visite en ville, Il a beaucoup, beaucoup parlé de vous avec un sentiment qui m'a satisfait. Je suis plus que jamais attaché à Lui, sans prétendre à aucune faveur particulière, à aucune influence, c'est-à-dire, sans me mettre en peine de ce que je n'en ai aucune. Dieu seul lit au fond des âmes.— Vous parlerai-je de notre inquiétude actuelle, qui peut se dissiper, comme je l'espère, avant que vous receviez cette lettre? Notre cher et bon Empereur a une fièvre de refroidissement à Taganrog: cette maladie n'est point dangereuse, mais notre cœur en est toujours alarmé. Quant à l'Impératrice Elisabeth, Elle a eu la bonté de m'écrire du 3 novembre qu'Elle se sentait mieux, quoique dans ce moment Elle soit bien affligée de la mort du Roi de Bavière...

Переводъ.

Свиданіе съ любезнымъ Б.....мъ было для меня пріятнѣе обыкновеннаго: онъ много разсказывалъ намъ объ васъ; всѣ подробности о вашемъ здоровьѣ, о вашемъ наружномъ видѣ [матеріальномъ выраженіи нематеріальнаго], были для насъ удовлетворительны. Но, къ сожалѣнію, многіе вопросы о состояніи прекрасной души вашей, о занятіяхъ дѣятельнаго вашего ума, о вашемъ столь всегда вѣрномъ образѣ мыслей насчетъ происшествій нашего времени, остались безъ отвѣта. Слушая однако нашего общаго друга, который такъ живо передавалъ мнѣ свои разговоры съ вами, я иногда забывался: мнѣ казалось, что слышу васъ самихъ. Какъ завидно для меня то счастіе, которымъ онъ наслаждался въ вашемъ обществѣ. Мои скопляющіеся годы, шаткость моего здоровья, печальныя обстоятельства, насъ разлучающія и которымъ конца не вижу, все это заставляетъ меня думать, что прошедшее для меня уже не возвратится. Но въ утѣшеніе себѣ говорю: «хотя онъ и далеко, но онъ объ насъ помнитъ: «а мы безсмертны. Соединеніе душъ не «прекращается съ жизнію матеріальною: «переживши́й сохраняетъ воспоминаніе; «отшедшій, быть можетъ, болѣе выигры-«ваетъ, нежели теряетъ. Земные путе-«шественники слишкомъ разсѣяны: имъ «нѣтъ досуга заботиться о дружбѣ; не «прежде, какъ бросивъ свой посохъ, мы «можемъ предаться вполнѣ привязан-«ностямъ своего сердца; тогда растерян-«ное во времени будетъ отыскано въ «вѣчности».—Такіе разговоры съ самимъ собою занимаютъ меня теперь гораздо болѣе всѣхъ разговоровъ въ обществѣ: они сохраняютъ теплоту моей души, которая мнѣ еще нужна для моего милаго семейства, для моихъ друзей, для моей Исторіи, подвигающейся къ окончанію [даръ отъ меня потомству, если оно его приметъ, если же нѣтъ, то нѣтъ]. Такъ! я старѣюсь, не угасая [быть можетъ, придетъ и то]. О! какъ я люблю еще моихъ товарищей путешествія! какъ трогаетъ меня ихъ бѣдная участь! какъ вся душа моя полна жалости для столькихъ ближнихъ, для столькихъ народовъ!..

Мы на сихъ дняхъ переѣхали въ Петербургъ изъ Царскаго Села, гдѣ прожили болѣе двухъ мѣсяцевъ въ непарушимомъ уединеніи: какъ далеко была отъ меня скука въ тѣ минуты, когда я не страдалъ физически! Сколько глубокихъ наслажденій находилъ я въ этомъ

ежедневномъ досугѣ, въ кругу моего семейства, иногда одинъ совершенно. Работа, чтеніе, осенніе, не рѣдко ночныя прогулки имѣли для меня прелесть неизъяснимую. Не слишкомъ боясь смерти, иногда смотря на нее съ какимъ-то радушіемъ и любя повторять съ Ж. Ж. Руссо, *что засыпающій на рукахъ отца безпечень о своемъ пробужденіи*, я допиваю по каплямъ сладкое бытіе земное; я радуюсь имъ по-своему, непримѣтно для зависти. Подходя къ концу жизни, я благодарю Бога за все, что Онъ мнѣ даровалъ въ ней; можетъ быть, ошибаюсь, но совѣсть моя спокойна; милое отечество ни въ чемъ не упрекнетъ меня; я всегда былъ готовъ служить ему, сохраняя достоинство своего характера, за который ему же обязанъ отвѣтствовать: и что же? я могъ описать одни только варварскія времена его исторіи; меня не видали ни на полѣ сраженія, ни въ совѣтахъ государственныхъ; зная однако, что я не трусъ и не лѣнивецъ, говорю самому себѣ: «такъ было угодно Богу»; и не имѣя смѣшной авторской спеси, вхожу не стыдясь въ общество нашихъ генераловъ и нашихъ министровъ... Но довольно! я заговорился, и кажется слишкомъ много для одного минутнаго свиданія съ вами въ вашей Женевѣ. Краткость жизни требуетъ лаконизма; но что же дѣлать? и самая мысль, что мы такъ мало имѣемъ здѣсь времени для многословія, заставляетъ насъ иногда быть неумѣренно многословными съ нашими друзьями.

Перейду теперь къ историческому: воспоминаніе объ васъ живетъ въ Россіи. Государыня Елисавета Алексѣевна поручила мнѣ написать вамъ, что она продолжаетъ по-прежнему принимать въ васъ искреннее участіе: она такъ прямодушна! И государь ни мало къ вамъ не перемѣнился; онъ знаетъ цѣну вашей души и вашихъ высокихъ дарованій. Удостоивъ насъ однажды въ городѣ своимъ посѣщеніемъ, онъ много, много объ васъ говорилъ, и съ такимъ чувствомъ, которое меня порадовало. Я люблю его болѣе и болѣе, не помышляя ни о какихъ милостяхъ, ни о какомъ вліяніи, то есть, не тревожа себя ни мало тѣмъ, что никакого вліянія не имѣю. Богъ одинъ читаетъ во глубинѣ сердца!.. Говорить ли вамъ о нашемъ теперешнемъ мучительномъ безпокойствѣ, которое, надѣюсь, пройдетъ прежде, нежели вы получите письмо мое? Нашъ любезный, нашъ добрый императоръ боленъ простудною лихорадкою въ Таганрогѣ: болѣзнь не опасная, но сердце дрожитъ за него. А государыня Елисавета Алексѣевна, въ письмѣ отъ 3 ноября, которое я имѣлъ счастіе получить отъ нея, увѣдомляетъ насъ, что чувствуетъ себя гораздо лучше: она очень огорчена смертію короля Баварскаго...

1837.

ПОСЛѢДНІЯ МИНУТЫ ПУШКИНА.

Россія потеряла Пушкина въ ту минуту, когда геній его, созрѣвшій въ опытахъ жизни размышленіемъ и наукою, готовился дѣйствовать полною силою— потеря невозвратная и ничѣмъ невознаградимая. Что бы онъ написалъ, если бъ судьба такъ незапно не сорвала его съ славной, едва начатой имъ дороги? Въ бумагахъ, послѣ него оставшихся, найдено много начатаго, весьма мало конченнаго; съ благоговѣйною любовію къ его памяти мы сохранимъ все, что можно будетъ сохранить изъ сихъ драгоцѣнныхъ остатковъ, и они въ свое время будутъ изданы въ свѣтъ *). Здѣсь сообщаются читателямъ извѣстія о послѣднихъ минутахъ его жизни. Они описаны просто и подробно въ письмѣ къ несчастному отцу его.

*) Это исполнено. *Примѣч. къ тексту.*

ПИСЬМО КЪ С. Л. ПУШКИНУ.

15 февраля 1837.

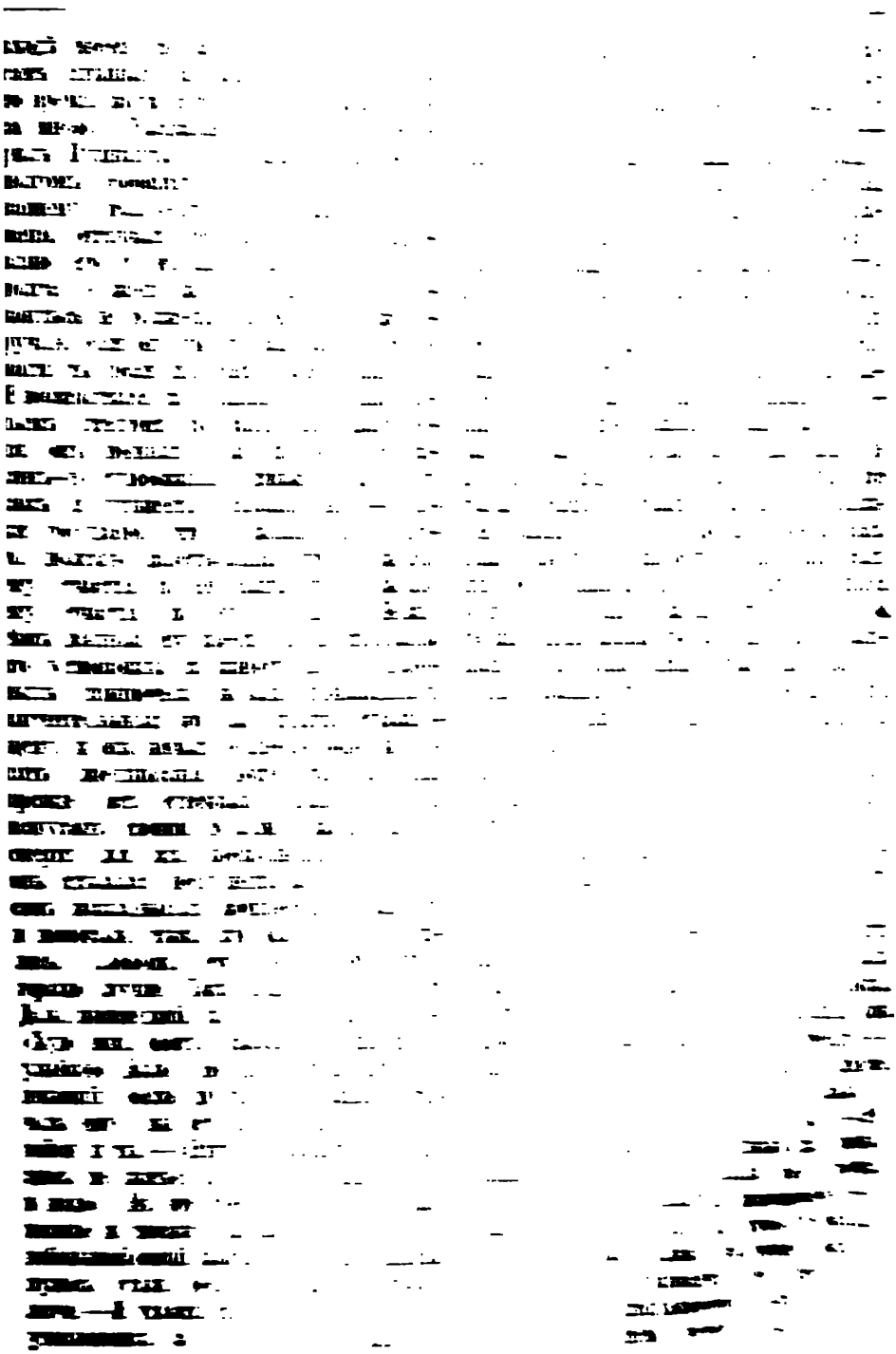
Я не имѣлъ духу писать къ тебѣ, мой бѣдный Сергѣй Львовичъ. Что могъ я тебѣ сказать, угнетенный нашимъ общимъ несчастіемъ, которое упало на насъ, какъ обвалъ, и всѣхъ раздавило? Нашего Пушкина нѣтъ! Это къ несчастію вѣрно; но все еще кажется невѣроятнымъ. Мысль, что его нѣтъ, еще не можетъ войти въ порядокъ обыкновенныхъ, ясныхъ, ежедневныхъ мыслей; еще по привычкѣ продолжаешь искать его; еще такъ естественно ожидать съ нимъ встрѣчи въ нѣкоторые условные часы; еще посреди нашихъ разговоровъ какъ будто отзывается его голосъ, какъ будто раздастся его живой, ребячески веселый смѣхъ, и тамъ, гдѣ онъ бывалъ ежедневно, ничто не перемѣнилось, нѣтъ и признаковъ бѣдственной утраты, все въ обыкновенномъ порядкѣ, все на своемъ мѣстѣ; а онъ пропалъ, и навсегда — непостижимо! Въ одну минуту погибла сильная, крѣпкая жизнь, полная генія, свѣтлая надеждами. Не говорю о тебѣ, бѣдный и дряхлый отецъ, не говорю о насъ, горюющихъ его друзьяхъ — Россія лишилась своего любимаго, національнаго поэта. Онъ пропалъ для нея въ ту минуту, когда его созрѣваніе совершилось; пропалъ, достигнувъ до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь съ кипучею, иногда безпорядочною, силою молодости, тревожимой геніемъ, предается болѣе спокойной, болѣе образовательной силѣ зрѣлаго мужества, столь же свѣжей, какъ и первая, можетъ быть, не столь порывистой, но болѣе творческой. У кого изъ русскихъ съ его смертію не оторвалось чего-то роднаго отъ сердца? [И между всѣми русскими особенную потерю въ немъ сдѣлалъ самъ государь. При началѣ своего царствованія онъ его себѣ присвоилъ; онъ развязалъ руки ему въ то время, когда онъ былъ раздраженъ несчастіемъ, имъ самимъ на себя навлеченнымъ; онъ слѣдилъ за нимъ до послѣдняго его часа; бывали минуты, въ которыя, какъ буйный, еще неостепенившійся ребенокъ, онъ навлекалъ на себя неудовольствіе своего хранителя; но во всѣхъ изъявленіяхъ неудовольствія со стороны государя было что-то нѣжное, отеческое. Послѣ каждаго подобнаго случая связь между ними усиливалась въ одномъ чувствомъ испытаннаго имъ наслажденія простить, въ другомъ живымъ движеніемъ благодарности, которая болѣе и болѣе проникала душу Пушкина и, наконецъ, слилась въ ней съ поэзіею. Государь потерялъ въ немъ свое созданіе, своего поэта, который принадлежалъ бы славѣ его царствованія, какъ Державинъ славѣ Екатерины, а Карамзинъ славѣ Александра. И государь до послѣдней минуты Пушкина, остался вѣренъ своему благотворенію. Онъ отозвался умирающему на послѣдній земной крикъ его; и какъ отозвался! Какое русское сердце не затрепетало благодарностію на этотъ голосъ царскій? Въ этомъ голосѣ выразилось не одно личное, трогательное чувство, но вмѣстѣ и любовь къ народной славѣ, и высокій приговоръ нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народной]. Слава нынѣшняго царствованія утратила въ немъ своего поэта, который принадлежалъ бы ему, какъ Державинъ славѣ Екатерининой, а Карамзинъ славѣ Александровой.

Первыя минуты ужаснаго горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебѣ все, что было въ послѣднія минуты твоего сына, что я видѣлъ самъ, что мнѣ разсказывали другіе очевидцы. Въ среду, 27 числа января, въ десять часовъ вечера, пріѣхалъ я къ князю Вяземскому. Мнѣ сказываютъ, что и онъ и княгиня у Пушкиныхъ, а Валуевъ, къ которому я зашелъ, встрѣчаетъ меня словами: получили ли вы записку княгини? За вами давно послали; поѣзжайте къ Пушкину: онъ умираетъ. Оглушенный этимъ извѣстіемъ, я побѣжалъ съ лѣстницы. Пріѣз-

жаю къ Пушкину. Въ его прихожей, передъ дверями его кабинета, нахожу докторовъ Арендта и Спасскаго: князя Вяземскаго, князя Мещерскаго. На вопросъ: каковъ онъ? Арендтъ отвѣчалъ мнѣ: очень плохъ: умретъ непремѣнно. Вотъ что разсказали мнѣ о случившемся: Въ шесть часовъ послѣ обѣда Пушкинъ привезенъ былъ въ этомъ отчаянномъ положеніи домой подполковникомъ Данзасомъ, его лицейскимъ товарищемъ. Камердинеръ принялъ его изъ кареты на руки и понесъ на лѣстницу. «Грустно тебѣ нести меня?» спросилъ у него Пушкинъ. Его внесли въ кабинетъ: онъ самъ велѣлъ подать себѣ чистое бѣлье: раздѣлся, и легъ на диванъ. Въ то время, когда его укладывали, жена, ни о чемъ не знавшая, хотѣла войти: но онъ громкимъ голосомъ закричалъ: n'entrez pas; il y a du monde chez moi. Онъ боялся ее испугать. Жена вошла уже тогда, когда онъ лежалъ совѣмъ раздѣтый. Послали за докторами. Арендта не нашли: пріѣхали Шольцъ и Задлеръ. Пушкинъ велѣлъ всѣмъ выйти [въ то время у него были Данзасъ и Плетневъ].—«Плохо со мною, сказалъ онъ, подавая руку Шольцу. Его осмотрѣли, и Задлеръ уѣхалъ за нужными инструментами. Оставшись съ Шольцемъ, Пушкинъ спросилъ: «Что вы думаете о моемъ положеніи?» скажите откровенно. Не могу отъ васъ скрыть, вы въ опасности. Скажите лучше, умираю. Считаю долгомъ не скрывать и того. Но услышимъ мнѣніе Арендта и Саломона, за которыми послано. «Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi, сказалъ Пушкинъ, замолчавъ, потеръ рукою лобъ, потомъ прибавилъ: il faut que j'arrange ma maison.» «Не желаете ли видѣть кого изъ вашихъ ближнихъ?» спросилъ Шольцъ. «Прощайте, друзья! сказалъ Пушкинъ, обративъ глаза на свою библіотеку. Съ кѣмъ онъ прощался въ эту минуту, съ живыми ли друзьями, или съ мертвыми, не знаю. Онъ, немного погодя, спросилъ: «Развѣ вы думаете, что я часу не проживу?»—«О нѣтъ! но я полагалъ, что вамъ будетъ пріятно увидѣть кого-нибудь изъ вашихъ. Господинъ Плетневъ здѣсь.—«Да, но я желалъ бы и Жуковскаго. Дайте мнѣ воды: тошнитъ.. — Шольцъ, тронувъ пульсъ, нашелъ, что рука была холодна, а пульсъ слабъ и скоръ: онъ выпилъ за питьемъ, и послали за мною. Меня въ это время не было дома; и не знаю, какъ это случилось, но ко мнѣ не приходилъ никто. Между тѣмъ пріѣхали Задлеръ и Саломонъ. Шольцъ оставилъ больнаго, который добродушно пожалъ ему руку, но не сказалъ ни слова. Скоро потомъ явился Арендтъ. Онъ съ перваго взгляда увѣрился, что не было никакой надежды. Начали прикладывать холодныя со льдомъ примочки на животъ и давать прохладительное питье: это произвело желанное дѣйствіе: больной поуспокоился. Передъ отъѣздомъ Арендта, онъ сказалъ ему: «Попросите государя, чтобъ онъ меня простилъ». Арендтъ уѣхалъ поручивъ его Спасскому, домовому его доктору, который во всю ту ночь не отходилъ отъ его постели.—«Плохо мнѣ», сказалъ Пушкинъ, когда подошелъ къ нему Спасскій. Спасскій старался его успокоить: но Пушкинъ махнулъ рукой отрицательно. Съ этой минуты онъ какъ будто пересталъ заботиться о себѣ и всѣ его мысли обратились на жену.—«Не давайте излишнихъ надеждъ женѣ, говорилъ онъ Спасскому: не скрывайте отъ нея, въ чемъ дѣло; она не притворщица; вы ее хорошо знаете. Впрочемъ, дѣлайте со мною, что хотите, я на все согласенъ и на все готовъ». Въ это время уже собрались князь Вяземскій, княгиня, Тургеневъ, графъ Вielьгорскій и я. Княгиня была съ женою, которой состояніе было невыразимо; какъ привидѣніе иногда прокрадывалась она въ ту горницу, гдѣ лежалъ ея умирающій мужъ; онъ не могъ ея видѣть [онъ лежалъ на диванѣ лицомъ отъ оконъ и двери]; но всякій разъ, когда она входила, или только останавливалась у дверей, онъ чувствовалъ ея присутствіе.—«Жена здѣсь? говорилъ

онъ: отведите ее». Онъ боялся допускать ее къ себѣ, ибо не хотѣлъ, чтобъ она могла замѣтить его страданія, которыя съ удивительнымъ мужествомъ переносилъ.—«Что дѣлаетъ жена? спросилъ онъ однажды у Спасскаго. Она бѣдная безвинно терпитъ; въ свѣтѣ ее заѣдятъ». Вообще съ начала до конца своихъ страданій [кромѣ двухъ или трехъ часовъ первой ночи, въ которые они превзошли всякую мѣру человѣческаго терпѣнія] онъ былъ удивительно твердъ.—Я былъ въ тридцати сраженіяхъ, говорилъ докторъ Арендтъ, я видѣлъ много умирающихъ, но мало видѣлъ подобнаго. И особенно замѣчательно то, что въ эти послѣдніе часы жизни онъ какъ будто сдѣлался иной: буря, которая за нѣсколько часовъ волновала его душу неодолимою страстію, исчезла, не оставивъ въ ней и слѣда; ни слова, ниже воспоминанія о случившемся. Но вотъ черта чрезвычайно трогательная. Наканунѣ получилъ онъ пригласительный билетъ на погребеніе Гречева сына. Онъ вспомнилъ объ этомъ посреди своего страданія.—«Если увидите Греча, сказалъ онъ Спасскому, поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участіе въ его потерѣ». У него спросили: желаетъ ли исповѣдаться и причаститься? Онъ согласился охотно и положено было призвать священника утромъ. Въ полночь докторъ Арендтъ возвратился. [Покинувъ Пушкина, онъ отправился во дворецъ, но не засталъ государя, который былъ въ театрѣ; онъ сказалъ камердинеру, чтобъ по возвращеніи его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи пріѣзжаетъ къ Арендту отъ государя фельдъегерь съ повелѣніемъ немедленно ѣхать къ Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государемъ къ нему написанное, и тотъ часъ обо всемъ донести. —«Я не лягу, я буду ждать»,—приказывалъ государь Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же стояло въ этомъ письмѣ? «Если Богъ не велитъ намъ болѣе увидѣться, посылаю тебѣ мое прощеніе, и вмѣстѣ мой совѣтъ: исполнить долгъ христіанскій. О женѣ и дѣтяхъ не безпокойся: я ихъ беру на свое попеченіе». Какъ бы я желалъ выразить простыми словами то, что у меня движется въ душѣ при перечитываніи этихъ немногихъ строкъ. Какой трогательный конецъ земной связи между царемъ и тѣмъ, кого онъ когда-то отечески присвоилъ и кого до послѣдней минуты не покинулъ! Какъ много прекраснаго, человѣческаго въ этомъ порывѣ, въ этой поспѣшности захватить душу Пушкина на отлетѣ, очистить ее для будущей жизни и ободрить послѣднимъ земнымъ утѣшеніемъ. *Я не лягу, я буду ждать!* О чемъ же онъ думалъ въ эти минуты ожиданія? Гдѣ онъ былъ своею мыслію? О, конечно, передъ постелею умирающаго, его добрымъ, земнымъ геніемъ, его духовнымъ отцомъ, его примирителемъ съ небомъ и собою. Умирающій немедленно исполнилъ уже угаданное желаніе государя. Послали за священникомъ въ ближнюю церковь. Пушкинъ исповѣдался и причастился съ глубокимъ чувствомъ. Когда Арендтъ прочиталъ ему письмо государя, то онъ вмѣсто отвѣта поцѣловалъ его и долго не выпускалъ изъ рукъ; но Арендтъ не могъ его ему оставить. Нѣсколько разъ Пушкинъ повторялъ: «Отдайте мнѣ это письмо, я хочу умереть съ нимъ. Письмо! Гдѣ письмо? Арендтъ успокоилъ его обѣщаніемъ испросить на это позволенія у государя. Онъ скоро потомъ уѣхалъ]. То, что отъ него услышалъ умирающій, обрадовало, успокоило и укрѣпило его душу. Исполняя желаніе, уже угаданное, въ которомъ выражалась трогательная заботливость о его судьбѣ и за гробомъ, онъ исповѣдался и причастился святыхъ Таинъ. До пяти часовъ утра въ его положеніи не произошло никакой перемѣны. Но около пяти часовъ боль въ животѣ сдѣлалась нестерпимою и сила ея одолѣла силу души; онъ началъ стонать; послали опять за Арендтомъ. Но пріѣздѣ его нашли нужнымъ

поставить промывательное; но оно не помогло и только что усилило страданія, которыя наконецъ дошли до крайней степени и продолжались до семи часовъ утра. Что было бы съ бѣдною женою, если бы она, въ теченіе этихъ двухъ вѣковыхъ часовъ, могла слышать его стоны? Я увѣренъ, что ея разсудокъ не вынесъ бы этой душевной пытки. Но вотъ что случилось: она, въ совершенномъ изнуреніи, лежала въ гостиной, у самыхъ дверей, которыя одинъ отдѣляли ее отъ постели мужа. При первомъ страшномъ крикѣ его, княгиня Вяземская, бывшая въ той же горницѣ, бросилась къ ней, опасаясь, чтобъ съ нею чего не сдѣлалось. Но она лежала неподвижно [хотя за минуту говорила]; тяжелый летаргическій сонъ овладѣлъ ею, и этотъ сонъ, какъ будто нарочно посланный свыше, миновался въ ту самую минуту, когда раздалось послѣднее стенаніе за дверями. Но въ эти минуты жесточайшаго испытанія, по словамъ Спасскаго и Арендта, во всей силѣ оказалась твердость души умирающаго: готовый вскрикнуть, онъ только стоналъ, боясь, какъ онъ говорилъ самъ, чтобы жена не услышала, чтобъ ея не испугать. Къ семи часамъ боль утихла. Надобно замѣтить, что во все это время и до самаго конца, мысли его были свѣтлы и память свѣжа. Еще до начала сильной боли онъ подозвалъ къ себѣ Спасскаго, велѣлъ подать какую-то бумагу, его рукою написанную, и заставилъ ее сжечь. Потомъ призвалъ Данзаса и продиктовалъ ему записку о нѣкоторыхъ долгахъ своихъ. Это его однако изнурило, и послѣ онъ уже не могъ сдѣлать никакихъ другихъ распоряженій. Когда по утру кончились его нестерпимыя страданія, онъ сказалъ Спасскому: «Жену! позовите жену!»— Этой прощальной минуты я тебѣ не стану описывать. Потомъ потребовалъ дѣтей; они спали; ихъ привели и принесли къ нему полусонныхъ. Онъ на каждаго обращалъ глаза молча, клалъ ему на голову руку, крестилъ и потомъ движеніемъ руки отсылалъ прочь.— «Кто здѣсь?» спросилъ онъ у Спасскаго и Данзаса. Назвали меня и Вяземскаго.— «Позовите», сказалъ онъ слабымъ голосомъ. Я подошелъ, взялъ его похолодѣвшую руку, поцѣловалъ ее: сказать ему ничего я не могъ; онъ махнулъ рукою, я отошелъ. [Но черезъ минуту я возвратился къ его постелѣ и спросилъ у него: можетъ быть, увижу государя; что мнѣ сказать ему отъ тебя?— «Скажи, отвѣчалъ онъ, что мнѣ жаль умереть; былъ бы весь его»...] Но онъ опять подозвалъ меня: «Скажи государю, промолвилъ онъ, что мнѣ жаль умереть; былъ бы весь его. Скажи, что я ему желаю долгаго, долгаго царствованія, что я ему желаю счастія въ его сынѣ, счастія въ его Россіи»... Эти слова говорилъ онъ слабо, отрывисто, но явственно. Потомъ простился онъ съ Вяземскимъ. Въ эту минуту пріѣхалъ графъ Віельгорскій и вошелъ къ нему, и также впослѣдніе подалъ ему живую руку. Было очевидно, что онъ спѣшилъ сдѣлать свой послѣдній земной разсчетъ и какъ будто подслушивалъ шаги приближающейся смерти. Взявши себя за пульсъ, онъ сказалъ Спасскому: «Смерть идетъ». Когда подошелъ къ нему Тургеневъ, онъ посмотрѣлъ на него два раза пристально, пожалъ ему руку; казалось, хотѣлъ что-то сказать, но махнулъ рукою и только прошолвилъ: «Карамзину!»—Ея не было, за нею немедленно послали, и она скоро пріѣхала. Свиданіе ихъ продолжалось только минуту; но когда Катерина Андреевна отошла отъ постели, онъ ее кликнулъ и сказалъ: «Перекрестите меня», потомъ поцѣловалъ у ней руку. [Въ это время пріѣхалъ докторъ Арендтъ— «Жду царскаго слова, чтобы умереть спокойно», сказалъ ему Пушкинъ. Это было для меня указаніемъ, и я рѣшился въ ту же минуту ѣхать къ государю, чтобы извѣстить его величество о томъ, что слышалъ. Сходя съ крыльца, я встрѣтился съ фельдъегеремъ, посланнымъ за мною отъ самого государя. «Извини, что я тебя потревожилъ», — сказалъ онъ мнѣ, при



другіе—и люди всѣхъ состояній, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство національной, общей скорби выражалось въ этомъ движеніи. Число приходящихъ сдѣлалось наконецъ такъ велико, что дверь прихожей [которая была подлѣ кабинета, гдѣ лежалъ умирающій] безпрестанно отворялась и затворялась; это безпокоило страждущаго; и мы придумали запереть эту дверь, задвинули ее изъ сѣней залавкомъ и вмѣсто ее отворили другую узенькую прямо съ лѣстницы въ буфетъ; а гостиную, гдѣ находилась жена, отгородили отъ столовой ширмами. Съ этой минуты буфетъ былъ безпрестанно набитъ народомъ; въ столовую же входили только знакомые. На лицахъ выражалось простодушное участіе; очень многіе плакали... [Государь Императоръ получалъ извѣстія отъ доктора Арендта [который разъ по шести въ день и по нѣсколько разъ ночью пріѣзжалъ навѣстить больнаго]; государыня великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мнѣ нѣсколько записокъ, на которыя я отдавалъ подробный отчетъ ея высочеству согласно съ ходомъ болѣзни. Такое участіе трогательно, но оно естественно; естественно и въ государѣ, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была [а въ этомъ отличительная черта нынѣшняго государя: онъ любитъ все русское; онъ ставитъ новые памятники и бережетъ старые]; естественно и въ націи, которая въ этомъ случаѣ не только за одно съ своимъ государемъ, но этою общею любовію къ отечественной славѣ укореняется между ими нравственная связь: государю естественно гордиться своимъ народомъ, какъ скоро этотъ народъ понимаетъ его высокое чувство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, любитъ то, что славно отличаетъ его отъ другихъ народовъ или ставитъ съ ними на ряду; народу естественно быть благодарнымъ своему государю за любовь къ отечественной славѣ и за великое выраженіе сей любви, ибо въ своемъ государѣ онъ видитъ представителя своей чести. Однимъ словомъ, сіи изъявленія общаго участія нашихъ добрыхъ русскихъ меня глубоко трогали, но не удивляли. Участіе иноземцевъ было для меня усладительною печальностію. Мы теряли свое: мудрено ли, что мы горевали? Но ихъ что такъ трогало? Что думалъ этотъ почтенный Барантъ? стоя долго въ унынiи посреди прихожей, гдѣ около его шептали съ печальными лицами о томъ, что дѣлалось за дверями? Отгадать не трудно. Геній есть общее добро; въ поклоненіи генію — всѣ народы родня; и когда онъ безвременно покидаетъ землю, всѣ провожаютъ его съ одинакою братскою скорбію. Пушкинъ по своему генію былъ собственностію не одной Россіи, но и цѣлой Европы; потому-то и посолъ Франціи [самъ знаменитый писатель] приходилъ къ дверямъ его съ печалію собственною, и о нашемъ Пушкинѣ пожалѣлъ какъ будто о своемъ. Потому же и Люцероде, саксонскій посланникъ сказалъ собравшимся у него гостямъ въ понедѣльникъ въ вечеру: «Нынче у меня танцовать не будутъ, нынче были похороны Пушкина»]. Такое изъявленіе общей скорби меня глубоко трогало; въ русскихъ, которымъ дорога отечественная слава, оно было неудивительно; но участіе иноземцевъ было для меня усладительною печальностію. Мы теряли свое: мудрено ли, что мы горевали? Но ихъ что такъ трогало? Отвѣчать нетрудно. Геній есть общее добро; въ поклоненіи генію всѣ народы родня; и когда онъ безвременно покидаетъ землю, всѣ провожаютъ его съ одинакою братскою скорбію. Пушкинъ, по своему генію, былъ собственностію не одной Россіи, но и цѣлой Европы; потому-то и многіе иноземцы приходили къ двери его съ печалію собственною, и о нашемъ Пушкинѣ пожалѣли, какъ будто о своемъ. Возвращаюсь къ своему описанію. Послалъ Даля ободрить жену надеждою, Пушкинъ самъ не имѣлъ никакой. Однажды спросилъ онъ: который часъ? и на отвѣтъ Даля продолжалъ прерывающимся голосомъ:

«Долго ли.... мнѣ... такъ мучиться?... Пожалуйста.... поскорѣй!....» Это повторилъ онъ нѣсколько разъ послѣ: «Скоро ли конецъ?» и всегда прибавлялъ: «пожалуйста поскорѣй!» Но вообще [послѣ мукъ первой ночи, продолжавшихся два часа] онъ былъ удивительно терпѣливъ. Когда тоска и боль его одолѣвали, онъ дѣлалъ движенія руками или отрывисто кряхтѣлъ, но такъ, что почти его не могли слышать.—Терпѣть надо, другъ, дѣлать нечего, сказалъ ему Даль, но не стыдись боли своей, стонай, тебѣ будетъ легче.—«Нѣтъ, онъ отвѣчалъ прерывчиво: нѣтъ.... не надо.... стонать.... жена.... услышитъ.... смѣшно же.... чтобъ этотъ.... вздоръ меня.... пересилилъ..... не хочу».—Я покинулъ его въ пять часовъ утра, и черезъ два часа возвратился. Видѣвъ, что ночь была довольно спокойна, я пошелъ къ себѣ почти съ надеждою; но возвратясь, нашелъ иное. Арендтъ сказалъ мнѣ рѣшительно, что все кончено, и что ему не пережить дня. Дѣйствительно, пульсъ ослабѣлъ и началъ унадать примѣтно; руки начали стыть. Онъ лежалъ съ закрытыми глазами; иногда только подымалъ руки, чтобы взять льду и потереть имъ лобъ. Ударило два часа пополудни, и въ Пушкинѣ осталось жизни только на три четверти часа. Онъ открылъ глаза и попросилъ мочепой морошки. Когда ее принесли, онъ сказалъ внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормитъ». Она пришла, опустилась на колѣни у изголовья, поднесла ему ложечку, другую морошки, потомъ прижалась лицомъ къ лицу его; Пушкинъ погладилъ ее по головѣ и сказалъ: «Ну, ну, ничего; слава Богу, все хорошо; поди».—Спокойное выраженіе лица его и твердость голоса обманули бѣдную жену; она вышла какъ будто просіявшая отъ радости.—Вотъ увидите, сказала она доктору Спасскому: онъ будетъ живъ; онъ не умретъ.—А въ эту минуту уже начался послѣдній процессъ жизни. Я стоялъ вмѣстѣ съ графомъ Вielьгорскимъ у постели въ головахъ; сбоку стоялъ Тургеневъ. Даль шепнулъ мнѣ: отходитъ. Но мысли его были свѣтлы. Изрѣдка только полудремотное забытье ихъ отуманивало; разъ онъ подалъ руку Далю, и пожимая ее, проговорилъ: «Ну, подымай же меня, пойдемъ, да выше, выше.... ну, пойдемъ!» Но очнувшись, онъ сказалъ: «Мнѣ было пригрезилось, что я съ тобой лѣзу вверхъ по этимъ книгамъ и полкамъ! высоко.... и голова закружилась». Немного погодя, онъ опять, не раскрывая глазъ, сталъ искать Далеву руку и, потянувъ ее, сказалъ: «Ну, пойдемъ же, пожалуйста; да вмѣстѣ».—Даль, по просьбѣ его, взялъ его подъ мышки и приподнялъ повыше; и вдругъ, какъ будто проснувшись, онъ быстро раскрылъ глаза, лицо его прояснилось и онъ сказалъ: «Кончена жизнь!» Даль, не разслушавъ, отвѣчалъ: да, кончено; мы тебя поворотили.—«Жизнь кончена!» повторилъ онъ внятно и положительно.—«Тяжело дышать, давитъ!» были послѣднія слова его. Я не сводилъ съ него глазъ, и замѣтилъ въ эту минуту, что движеніе груди, доселѣ тихое, сдѣлалось прерывчивымъ. Оно скоро прекратилось. Я смотрѣлъ внимательно; ждалъ послѣдняго вздоха; но я его не примѣтилъ. Тишина, его объявшая, показалась мнѣ успокоеніемъ, а его уже не было. Всѣ надъ нимъ молчали. Минуты черезъ двѣ я спросилъ: «что онъ?» —Кончилось! отвѣчалъ мнѣ Даль *). Такъ тихо, такъ спокойно удалилась душа его. Мы долго стояли надъ нимъ, молча, не шевелясь, не смѣя нарушить таинства смерти, которое совершалось передъ нами во всей умилительной святынѣ своей. Когда всѣ ушли, я сѣлъ передъ нимъ, и долго, одинъ, смотрѣлъ ему въ лицо. Никогда на этомъ лицѣ я не видалъ ничего подобнаго тому, что было на немъ въ эту первую минуту смерти. Голова его нѣсколько наклонилась; руки, въ которыхъ было за нѣсколько минутъ какое-то судорожное движеніе, были спокойно протянуты, какъ будто упавшія

*) Въ три четверти третьяго часа пополудни, 29 января. *Примѣч. въ текстѣ.*

для отдыха послѣ тяжелаго труда. Но что выражалось на его лицѣ, я сказать словами не умѣю. Оно было для меня такъ ново и въ то же время такъ знакомо. Это не было ни сонъ, ни покой; не было выраженіе ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выраженіе поэтическое, нѣтъ! какая-то важная, удивительная мысль на немъ развивалась; что-то похожее на видѣніе, на какое-то полное, глубоко-удовлетворяющее знаніе. Вематриваясь въ него, мнѣ все хотѣлось у него спросить: что видишь другъ? И что бы онъ отвѣчалъ мнѣ, если бы могъ на минуту воскреснуть? Вотъ минуты въ жизни нашей, которыя вполнѣ достойны названія великихъ. Въ эту минуту, можно сказать, я увидѣлъ лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо смерти безъ покрывала. Какую печать на него наложила она! и какъ удивительно высказала на немъ и свою и его тайну! Я увѣряю тебя, что никогда на лицѣ его не видалъ я выраженія такой глубокой величественной, торжественной мысли. Она, конечно, таилась въ немъ и прежде, будучи свойственна его высокой природѣ; но въ этой чистотѣ обнаружилась только тогда, когда все земное отдѣлилось отъ него съ прикосновеніемъ смерти. Таковъ былъ конецъ нашего Пушкина. Опишу въ немногихъ словахъ то, что было послѣ. Къ счастію, я вспомнилъ въ-время, что надобно съ него снять маску; это было исполнено немедленно; черты его еще не успѣли измѣниться. Конечно, того перваго выраженія, которое дала имъ смерть, въ нихъ не сохранилось; но все мы имѣемъ отпечатокъ привлекательный, изображающій не смерть, а тихій, величественный сонъ. [Спустя три четверти часа послѣ кончины (во все это время я не отходилъ отъ мертваго, мнѣ хотѣлось вглядѣться въ прекрасное лицо его) тѣло вынесли въ ближнюю горницу, а я, исполнія повелѣніе государя императора, запечаталъ кабинетъ своею печатью]. Не буду разсказывать того, что сдѣлалось съ бѣдною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, графъ и графиня Строгановы. Графъ взялъ на себя всѣ распоряженія похоронъ. Побывъ еще нѣсколько времени въ домѣ, я поѣхалъ къ Вільгорскому обѣдать; у него собрались и всѣ другіе, видѣвшіе послѣднюю минуту Пушкина; и онъ самъ былъ приглашенъ за три дня къ этому обѣду.... праздновать день моего рожденія. [Въ вечеру, увлеченный необходимостію, пошелъ я къ государю, чтобы донести ему о томъ, какъ умеръ Пушкинъ; онъ выслушалъ меня наединѣ въ своемъ кабинетѣ; этого прекраснаго часа въ моей жизни я никогда не забуду]. На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками въ гробъ; а на слѣдующій день, въ вечеру, перенесли его въ Конюшенную церковь. И въ эти оба дня та горница, гдѣ онъ лежалъ во гробѣ, была безпрестанно полна народомъ. Конечно, болѣе десяти тысячъ человѣкъ перебывало въ ней, чтобы взглянуть на него: многіе плакали; иные долго останавливались и какъ будто хотѣли всмотрѣться въ лицо его; было что-то разительное въ его неподвижности, посреди этого движенія, и что-то умилительно-таинственное въ той молитвѣ, которая такъ тихо, такъ однозвучно слышалась посреди этого смутнаго говора. [И особенно глубоко тронуло мнѣ душу то, что государь какъ будто сопричутствовалъ посреди своихъ русскихъ, которые такъ просто, такъ смиренно и съ нимъ за одно выражали скорбь свою о утратѣ славнаго соотечественника; всѣмъ уже было извѣстно, какъ государь утѣшилъ послѣднія минуты Пушкина, какое онъ принялъ участіе въ его христіанскомъ покаяніи, что онъ сдѣлалъ для его сиротъ, какъ почтилъ своего поэта и что въ то же время (какъ судія, какъ верховный блюститель нравственности) произнесъ въ осужденіе тому бѣдственному дѣлу, которое такъ внезапно лишило насъ Пушкина. Рѣдкій изъ посѣтителей, помолясь передъ гро-

бомъ, не помолился въ то же время за государя, и можно сказать, что это изъявленіе національной печали о поэтѣ было самымъ трогательнымъ прославленіемъ его великодушнаго покровителя]. Отпѣваніе происходило 1-го февраля. Многіе изъ нашихъ знатныхъ господъ и многіе изъ иностранныхъ министровъ были въ церкви. Мы на рукахъ отнесли гробъ въ подвалъ, гдѣ надлежало ему остаться до отправленія изъ города. 3-го февраля въ десять часовъ вечера, собрались мы въ послѣдній разъ къ тому, что еще для насъ осталось отъ Пушкина; отпѣли послѣднюю панихиду: ящикъ съ гробомъ поставили на сани; въ полночь сани тронулись: при свѣтѣ мѣсяца я провожалъ ихъ нѣсколько времени глазами; скоро онѣ поворотили за уголъ дома; и все, что было на землѣ Пушкинъ, навсегда пропало изъ глазъ моихъ.

1838.

ПОЖАРЪ ЗИМНЯГО ДВОРЦА

17-го декабря 1837 года.

[illegible] Петербурга съ печалью встрѣтили 1838-й годъ. Не пришли они по старому обычаю въ Зимній дворецъ, гдѣ [illegible]

[illegible]

есть что-то невыразимое: какъ будто глазами видишь судьбу земную во всѣхъ ея перемѣнахъ: изъ счастія въ бѣдствіе, изъ блеска во мракъ, изъ славы въ упадокъ. Какой-то чудный, всемірный образъ стоитъ передъ тобою и говоритъ тебѣ то, чего не выразитъ словомъ языкъ человѣческій.

Зимній дворецъ, какъ зданіе, какъ царское жилище, можетъ быть, не имѣлъ подобнаго въ цѣлой Европѣ. Своею огромностію онъ соотвѣтствовалъ той обширной имперіи, которой силамъ служилъ средоточіемъ. Суровымъ величіемъ своей архитектурою, изображалъ онъ могущественный народъ, столь недавно вступившій въ среду образованныхъ націй, но еще сохранившій свой первобытный, нѣкогда дикій образъ, а внутреннимъ своимъ великолѣпіемъ напоминалъ о той неисчерпаемой жизни, которая кипитъ во внутренности Россіи. Иноземецъ, посѣщавшій столицу Сѣвера, останавливался въ изумленіи передъ его громадою. Быть можетъ, взыскательный вкусъ, разсматривая его по частямъ, могъ оскорбиться и нѣкоторою нестройностію изъ [illegible] и нестрогою [illegible]

[illegible]

ежедневномъ досугѣ, въ кругу моего семейства, иногда одинъ совершенно. Работа, чтеніе, осенніе, не рѣдко ночныя прогулки имѣли для меня прелесть неизъяснимую. Не слишкомъ боясь смерти, иногда смотря на нее съ какимъ-то радушіемъ и любя повторять съ Ж. Ж. Руссо, *что засыпающій на рукахъ отца беззаботенъ о своемъ пробужденіи*, я допиваю по каплямъ сладкое бытіе земное; я радуюсь имъ по-своему, непримѣтно для зависти. Подходя къ концу жизни, я благодарю Бога за все, что Онъ мнѣ даровалъ въ ней; можетъ быть, ошибаюсь, но совѣсть моя спокойна; милое отечество ни въ чемъ не упрекнетъ меня; я всегда былъ готовъ служить ему, сохраняя достоинство своего характера, за который ему же обязанъ отвѣтствовать: и что же? я могъ описать одни только варварскія времена его исторіи; меня не видали ни на полѣ сраженія, ни въ совѣтахъ государственныхъ; зная однако, что я не трусъ и не лѣнивецъ, говорю самому себѣ: «такъ было угодно Богу»; и не имѣя смѣшной авторской спеси, вхожу не стыдясь въ общество нашихъ генераловъ и нашихъ министровъ... Но довольно! я заговорился, и кажется слишкомъ много для одного минутнаго свиданія съ вами въ вашей Женевѣ. Краткость жизни требуетъ лаконизма; но что же дѣлать? и самая мысль, что мы такъ мало имѣемъ здѣсь времени для многословія, заставляетъ насъ иногда быть неумѣренно многословными съ нашими друзьями.

Перейду теперь къ историческому: воспоминаніе объ васъ живетъ въ Россіи. Государыня Елисавета Алексѣевна поручила мнѣ написать вамъ, что она продолжаетъ по-прежнему принимать въ васъ искреннее участіе: она такъ прямодушна! И государь ни мало къ вамъ не перемѣнился; онъ знаетъ цѣну вашей души и вашихъ высокихъ дарованій. Удостоивъ насъ однажды въ городѣ своимъ посѣщеніемъ, онъ много, много объ васъ говорилъ, и съ такимъ чувствомъ, которое меня порадовало. Я люблю его болѣе и болѣе, не помышляя ни о какихъ милостяхъ, ни о какомъ вліяніи, то есть, не тревожа себя ни мало тѣмъ, что никакого вліянія не имѣю. Богъ одинъ читаетъ во глубинѣ сердца!.. Говорить ли вамъ о нашемъ теперешнемъ мучительномъ безпокойствѣ, которое, надѣюсь, пройдетъ прежде, нежели вы получите письмо мое? Нашъ любезный, нашъ добрый императоръ боленъ простудною лихорадкою въ Таганрогѣ: болѣзнь не опасная, но сердце дрожитъ за него. А государыня Елисавета Алексѣевна, въ письмѣ отъ 3 ноября, которое я имѣлъ счастіе получить отъ нея, увѣдомляетъ насъ, что чувствуетъ себя гораздо лучше: она очень огорчена смертію короля Баварскаго...

1837.

ПОСЛѢДНІЯ МИНУТЫ ПУШКИНА.

Россія потеряла Пушкина въ ту минуту, когда геній его, созрѣвшій въ опытахъ жизни размышленіемъ и наукою, готовился дѣйствовать полною силою — потеря невозвратная и ничѣмъ невознаградимая. Что бы онъ написалъ, если бъ судьба такъ незапно не сорвала его съ славной, едва начатой имъ дороги? Въ бумагахъ, послѣ него оставшихся, найдено много начатаго, весьма мало конченнаго; съ благоговѣйною любовію къ его памяти мы сохранимъ все, что можно будетъ сохранить изъ сихъ драгоцѣнныхъ остатковъ, и они въ свое время будутъ изданы въ свѣтъ *). Здѣсь сообщаются читателямъ извѣстія о послѣднихъ минутахъ его жизни. Они описаны просто и подробно въ письмѣ къ несчастному отцу его.

*) Это исполнено. *Примѣч. къ тексту.*

ПИСЬМО КЪ С. Л. ПУШКИНУ.

15 февраля 1837.

Я не имѣлъ духу писать къ тебѣ, мой бѣдный Сергѣй Львовичъ. Что могъ я тебѣ сказать, угнетенный нашимъ общимъ несчастіемъ, которое упало на насъ, какъ обвалъ, и всѣхъ раздавило? Нашего Пушкина нѣтъ! Это къ несчастію вѣрно; но все еще кажется невѣроятнымъ. Мысль, что его нѣтъ, еще не можетъ войти въ порядокъ обыкновенныхъ, ясныхъ, ежедневныхъ мыслей; еще по привычкѣ продолжаешь искать его; еще такъ естественно ожидать съ нимъ встрѣчи въ нѣкоторые условные часы; еще посреди нашихъ разговоровъ какъ будто отзывается его голосъ, какъ будто раздастся его живой, ребячески веселый смѣхъ, и тамъ, гдѣ онъ бывалъ ежедневно, ничто не перемѣнилось, нѣтъ и признаковъ бѣдственной утраты, все въ обыкновенномъ порядкѣ, все на своемъ мѣстѣ; а онъ пропалъ, и навсегда—непостижимо! Въ одну минуту погибла сильная, крѣпкая жизнь, полная генія, свѣтлая надеждами. Не говорю о тебѣ, бѣдный и дряхлый отецъ, не говорю о насъ, горюющихъ его друзьяхъ — Россія лишилась своего любимаго, національнаго поэта. Онъ пропалъ для нея въ ту минуту, когда его созрѣваніе совершилось; пропалъ, достигнувъ до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь съ юностью, иногда безпорядочною, силою молодости, тревожимой геніемъ, предается болѣе спокойной, болѣе образовательной силѣ зрѣлаго мужества, столь же свѣжей, какъ и первая, можетъ быть, не столь порывистой, но болѣе творческой. У кого изъ русскихъ съ его смертію не оторвалось чего-то роднаго отъ сердца? [И между всѣми русскими особенную потерю въ немъ сдѣлалъ самъ государь. При началѣ своего царствованія онъ его себѣ присвоилъ; онъ развязалъ руки ему въ то время, когда онъ былъ раздраженъ несчастіемъ, имъ самимъ на себя навлеченнымъ; онъ слѣдилъ за нимъ до послѣдняго его часа; бывали минуты, въ которыя, какъ буйный, еще неостепенившійся ребенокъ, онъ навлекалъ на себя неудовольствіе своего хранителя: но во всѣхъ изъявленіяхъ неудовольствія со стороны государя было что-то нѣжное, отеческое. Послѣ каждаго подобнаго случая связь между ими усиливалась въ одномъ чувствомъ испытаннаго имъ наслажденія простить, въ другомъ живымъ движеніемъ благодарности, которая болѣе и болѣе проникала душу Пушкина и, наконецъ, слилась въ ней съ поэзіею. Государь потерялъ въ немъ свое созданіе, своего поэта, который принадлежалъ бы славѣ его царствованія, какъ Державинъ славѣ Екатерины, а Карамзинъ славѣ Александра. И государь до послѣдней минуты Пушкина, остался вѣренъ своему благотворенію. Онъ отозвался умирающему на послѣдній земной крикъ его; и какъ отозвался! Какое русское сердце не затрепетало благодарностію на этотъ голосъ царскій? Въ этомъ голосѣ выразилось не одно личное, трогательное чувство, но вмѣстѣ и любовь къ народной славѣ, и высокій приговоръ нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народной]. Слава нынѣшняго царствованія утратила въ немъ своего поэта, который принадлежалъ бы ему, какъ Державинъ славѣ Екатерининой, а Карамзинъ славѣ Александрова.

Первыя минуты ужаснаго горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебѣ все, что было въ послѣднія минуты твоего сына, что я видѣлъ самъ, что мнѣ разсказывали другіе очевидцы. Въ среду, 27 числа января, въ десять часовъ вечера, пріѣхалъ я къ князю Вяземскому. Мнѣ сказываютъ, что и онъ и княгиня у Пушкиныхъ, а Валуевъ, къ которому я зашелъ, встрѣчаетъ меня словами: получили ли вы записку княгини? За вами давно послали; поѣзжайте къ Пушкину: онъ умираетъ. Оглушенный этимъ извѣстіемъ, я побѣжалъ съ лѣстницы. Пріѣз-

жаю къ Пушкину. Въ его прихожей, передъ дверями его кабинета, нахожу докторовъ Арендта и Спасскаго; князя Вяземскаго, князя Мещерскаго. На вопросъ: каковъ онъ? Арендтъ отвѣчалъ мнѣ: очень плохъ; умретъ непремѣнно. Вотъ что разсказали мнѣ о случившемся: Въ шесть часовъ послѣ обѣда Пушкинъ привезенъ былъ въ этомъ отчаянномъ положеніи домой подполковникомъ Данзасомъ, его лицейскимъ товарищемъ. Камердинеръ принялъ его изъ кареты на руки и понесъ на лѣстницу.—Грустно тебѣ нести меня? спросилъ у него Пушкинъ. Его внесли въ кабинетъ; онъ самъ велѣлъ подать себѣ чистое бѣлье; раздѣлся, и легъ на диванъ. Въ то время, когда его укладывали, жена, ни о чемъ не знавшая, хотѣла войти; но онъ громкимъ голосомъ закричалъ: n'entrez pas; il y a du monde chez moi. Онъ боялся ее испугать. Жена вошла уже тогда, когда онъ лежалъ совсѣмъ раздѣтый. Послали за докторами. Арендта не нашли; пріѣхали Шольцъ и Задлеръ. Пушкинъ велѣлъ всѣмъ выйти [въ то время у него были Данзасъ и Плетневъ].—Плохо со мною, сказалъ онъ, подавая руку Шольцу. Его осмотрѣли, и Задлеръ уѣхалъ за нужными инструментами. Оставшись съ Шольцемъ, Пушкинъ спросилъ: «Что вы думаете о моемъ положеніи?» скажите откровенно. Не могу отъ васъ скрыть, вы въ опасности. Скажите лучше, умираю. Считаю долгомъ не скрывать и того. Но услышимъ мнѣніе Арендта и Саломона, за которыми послано. – Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi, сказалъ Пушкинъ, замолчавъ, потеръ рукою лобъ, потомъ прибавилъ: il faut que j'arrange ma maison.—Не желаете ли видѣть кого изъ вашихъ ближнихъ? спросилъ Шольцъ.—Прощайте, друзья! сказалъ Пушкинъ, обративъ глаза на свою библіотеку. Съ кѣмъ онъ прощался въ эту минуту, съ живыми ли друзьями, или съ мертвыми, не знаю. Онъ, немного погодя, спросилъ: «Развѣ вы думаете, что я часу не проживу?»—О нѣтъ! но я полагалъ, что вамъ будетъ пріятно увидѣть кого-нибудь изъ вашихъ. Господинъ Плетневъ здѣсь.—«Да, но я желалъ бы и Жуковскаго. Дайте мнѣ воды; тошнитъ». — Шольцъ, тронувъ пульсъ, нашелъ, что рука была холодна, а пульсъ слабъ и скоръ; онъ вышелъ за питьемъ, и послали за мною. Меня въ это время не было дома; и не знаю, какъ это случилось, но ко мнѣ не приходилъ никто. Между тѣмъ пріѣхали Задлеръ и Саломонъ. Шольцъ оставилъ больнаго, который добродушно пожалъ ему руку, но не сказалъ ни слова. Скоро потомъ явился Арендтъ. Онъ съ перваго взгляда увѣрился, что не было никакой надежды. Начали прикладывать холодныя со льдомъ примочки на животъ и давать прохладительное питье: это произвело желанное дѣйствіе: больной поуспокоился. Передъ отъѣздомъ Арендта, онъ сказалъ ему: «Попросите государя, чтобъ онъ меня простилъ». Арендтъ уѣхалъ поручивъ его Спасскому, домовому его доктору, который во всю ту ночь не отходилъ отъ его постели.—«Плохо мнѣ», сказалъ Пушкинъ, когда подошелъ къ нему Спасскій. Спасскій старался его успокоить; но Пушкинъ махнулъ рукой отрицательно. Съ этой минуты онъ какъ будто пересталъ заботиться о себѣ и всѣ его мысли обратились на жену.—«Не давайте излишнихъ надеждъ женѣ, говорилъ онъ Спасскому: не скрывайте отъ нея, въ чемъ дѣло; она не притворщица; вы ее хорошо знаете. Впрочемъ, дѣлайте со мною, что хотите, я на все согласенъ и на все готовъ». Въ это время уже собрались князь Вяземскій, княгиня, Тургеневъ, графъ Вѣльгорскій и я. Княгиня была съ женою, которой состояніе было невыразимо; какъ привидѣніе иногда прокрадывалась она въ ту горницу, гдѣ лежалъ ея умирающій мужъ; онъ не могъ ея видѣть [онъ лежалъ на диванѣ лицомъ отъ оконъ и двери]; но всякій разъ, когда она входила, или только останавливалась у дверей, онъ чувствовалъ ея присутствіе.—«Жена здѣсь? говорилъ

онъ: отведите ее». Онъ боялся допускать ее къ себѣ, ибо не хотѣлъ, чтобъ она могла замѣтить его страданія, которыя съ удивительнымъ мужествомъ переносилъ.—«Что дѣлаетъ жена? спросилъ онъ однажды у Спасскаго. Она бѣдная безвинно терпитъ; въ свѣтѣ ее злѣятъ». Вообще съ начала до конца своихъ страданій [кромѣ двухъ или трехъ часовъ первой ночи, въ которые они превзошли всякую мѣру человѣческаго терпѣнія] онъ былъ удивительно твердъ.—Я былъ въ тридцати сраженіяхъ, говорилъ докторъ Арендтъ, я видѣлъ много умирающихъ, но мало видѣлъ подобнаго. И особенно замѣчательно то, что въ эти послѣдніе часы жизни онъ какъ будто сдѣлался иной: буря, которая за нѣсколько часовъ волновала его душу неодолимою страстію, исчезла, не оставивъ въ ней и слѣда; ни слова, ниже воспоминанія о случившемся. Но вотъ черта чрезвычайно трогательная. Наканунѣ получилъ онъ пригласительный билетъ на погребеніе Гречева сына. Онъ вспомнилъ объ этомъ посреди своего страданія.—«Если увидите Греча, сказалъ онъ Спасскому, поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участіе въ его потерѣ». У него спросили: желаетъ ли исповѣдаться и причаститься? Онъ согласился охотно и положено было призвать священника утромъ. Въ полночь докторъ Арендтъ возвратился. [Покинувъ Пушкина, онъ отправился во дворецъ, но не засталъ государя, который былъ въ театрѣ; онъ сказалъ камердинеру, чтобъ по возвращеніи его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи пріѣзжаетъ къ Арендту отъ государя фельдъегерь съ повелѣніемъ немедленно ѣхать къ Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государемъ къ нему написанное, и тотъ часъ обо всемъ донести. —«Я не лягу, я буду ждать»,—приказывалъ государь Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же стоило въ этомъ письмѣ? «Если Богъ не велитъ намъ болѣе увидѣться, посылаю тебѣ мое прощеніе, и вмѣстѣ мой совѣтъ: исполнить долгъ христіанскій. О женѣ и дѣтяхъ не безпокойся: я ихъ беру на свое попеченіе». Какъ бы я желалъ выразить простыми словами то, что у меня движется въ душѣ при перечитываніи этихъ немногихъ строкъ. Какой трогательный конецъ земной связи между царемъ и тѣмъ, кого онъ когда-то отечески присвоилъ и кого до послѣдней минуты не покинулъ! Какъ много прекраснаго, человѣческаго въ этомъ порывѣ, въ этой поспѣшности захватить душу Пушкина на отлетѣ, очистить ее для будущей жизни и ободрить послѣднимъ земнымъ утѣшеніемъ. *Я не лягу, я буду ждать!* О чемъ же онъ думалъ въ эти минуты ожиданія? Гдѣ онъ былъ своею мыслію? О, конечно, передъ постелею умирающаго, его добрымъ, земнымъ геніемъ, его духовнымъ отцомъ, его примирителемъ съ небомъ и собою. Умирающій немедленно исполнилъ уже угаданное желаніе государя. Послали за священникомъ въ ближнюю церковь. Пушкинъ исповѣдался и причастился съ глубокимъ чувствомъ. Когда Арендтъ прочиталъ ему письмо государя, то онъ вмѣсто отвѣта поцѣловалъ его и долго не выпускалъ изъ рукъ; но Арендтъ не могъ его ему оставить. Нѣсколько разъ Пушкинъ повторялъ: «Отдайте мнѣ это письмо, я хочу умереть съ нимъ. Письмо! Гдѣ письмо? Арендтъ успокоилъ его обѣщаніемъ испросить на это позволеніе у государя. Онъ скоро потомъ уѣхалъ]. То, что отъ него услышалъ умирающій, обрадовало, успокоило и укрѣпило его душу. Исполняя желаніе, уже угаданное, въ которомъ выражалась трогательная заботливость о его судьбѣ и за гробомъ, онъ исповѣдался и причастился святыхъ Таинъ. До пяти часовъ утра въ его положеніи не произошло никакой перемѣны. Но около пяти часовъ боль въ животѣ сдѣлалась нестерпимою и сила ея одолѣла силу души; онъ началъ стонать; послали опять за Арендтомъ. По пріѣздѣ его нашли нужнымъ

поставить промывательное; но оно не помогло и только что усилило страданія, которыя наконецъ дошли до крайней степени и продолжались до семи часовъ утра. Что было бы съ бѣдною женою, если бы она, въ теченіе этихъ двухъ вѣковыхъ часовъ, могла слышать его стоны? Я увѣренъ, что ея разсудокъ не вынесъ бы этой душевной пытки. Но вотъ что случилось: она, въ совершенномъ изнуреніи, лежала въ гостиной, у самыхъ дверей, которыя одѣ отдѣляли ее отъ постели мужа. При первомъ страшномъ крикѣ его, княгиня Вяземская, бывшая въ той же горницѣ, бросилась къ ней, опасаясь, чтобъ съ нею чего не сдѣлалось. Но она лежала неподвижно [хотя за минуту говорила]; тяжелый летаргическій сонъ овладѣлъ ею, и этотъ сонъ, какъ будто нарочно посланный свыше, миновался въ ту самую минуту, когда раздалось послѣднее стенаніе за дверями. Но въ эти минуты жесточайшаго испытанія, по словамъ Спасскаго и Арендта, во всей силѣ оказалась твердость души умирающаго: готовый вскрикнуть, онъ только стоналъ, боясь, какъ онъ говорилъ самъ, чтобы жена не услышала, чтобъ ея не испугать. Къ семи часамъ боль утихла. Надобно замѣтить, что во все это время и до самаго конца, мысли его были свѣтлы и память свѣжа. Еще до начала сильной боли онъ подозвалъ къ себѣ Спасскаго, велѣлъ подать какую-то бумагу, его рукою написанную, и заставилъ ее сжечь. Потомъ призвалъ Данзаса и продиктовалъ ему записку о нѣкоторыхъ долгахъ своихъ. Это его однако изнурило, и послѣ онъ уже не могъ сдѣлать никакихъ другихъ распоряженій. Когда по утру кончились его нестерпимыя страданія, онъ сказалъ Спасскому: «Жену! позовите жену!»— Этой прощальной минуты я тебѣ не стану описывать. Потомъ потребовалъ дѣтей; они спали; ихъ привели и принесли къ нему полусонныхъ. Онъ на каждаго обращивалъ глаза молча, клалъ ему на голову руку, крестилъ и потомъ движеніемъ руки отсылалъ прочь.— «Кто здѣсь?» спросилъ онъ у Спасскаго и Данзаса. Назвали меня и Вяземскаго.— «Позовите», сказалъ онъ слабымъ голосомъ. Я подошелъ, взялъ его похолодѣвшую руку, поцѣловалъ ее: сказать ему ничего я не могъ: онъ махнулъ рукою, я отошелъ. [Но черезъ минуту я возвратился къ его постелѣ и спросилъ у него: можетъ быть, увижу государя; что мнѣ сказать ему отъ тебя?— «Скажи, отвѣчалъ онъ, что мнѣ жаль умереть; былъ бы весь его»...] Но онъ опять подозвалъ меня: «Скажи государю, промолвилъ онъ, что мнѣ жаль умереть; былъ бы весь его. Скажи, что я ему желаю долгаго, долгаго царствованія, что я ему желаю счастія въ его сынѣ, счастія въ его Россіи»... Эти слова говорилъ онъ слабо, отрывисто, но явственно. Потомъ простился онъ съ Вяземскимъ. Въ эту минуту пріѣхалъ графъ Вielьгорскій и вошелъ къ нему, и также впослѣдніе подалъ ему живому руку. Было очевидно, что онъ спѣшилъ сдѣлать свой послѣдній земной разсчетъ и какъ будто подслушивалъ шаги приближающейся смерти. Взявши себя за пульсъ, онъ сказалъ Спасскому: «Смерть идетъ». Когда подошелъ къ нему Тургеневъ, онъ посмотрѣлъ на него два раза пристально, пожалъ ему руку; казалось, хотѣлъ что-то сказать, но махнулъ рукою и только промолвилъ: «Карамзину!»—Ея не было, за нею немедленно послали, и она скоро пріѣхала. Свиданіе ихъ продолжалось только минуту; но когда Катерина Андреевна отошла отъ постели, онъ ее кликнулъ и сказалъ: «Перекрестите меня», потомъ поцѣловалъ у ней руку. [Въ это время пріѣхалъ докторъ Арендтъ— «Жду царскаго слова, чтобы умереть спокойно», сказалъ ему Пушкинъ. Это было для меня указаніемъ, и я рѣшился въ ту же минуту ѣхать къ государю, чтобы извѣстить его величество о томъ, что слышалъ. Сходя съ крыльца, я встрѣтился съ фельдъегеремъ, посланнымъ за мною отъ самого государя. «Извини, что я тебя потревожилъ», — сказалъ онъ мнѣ, при

входѣ моемъ въ кабинетъ.—«Государь, я самъ спѣшилъ къ вашему величеству въ то время, когда встрѣтился съ посланнымъ за мною». Разсказавъ о томъ, что говорилъ Пушкинъ, я прибавилъ: «я счелъ долгомъ сообщить эти слова немедленно вашему величеству».—«Скажи ему отъ меня, отвѣчалъ государь, что я поздравляю его съ исполненіемъ христіанскаго долга; о женѣ же и дѣтяхъ онъ безпокоиться не долженъ: они мои. Тебѣ же поручаю, если онъ умретъ, запечатать его бумаги; ты послѣ ихъ самъ разсмотришь».— Я возвратился къ Пушкину съ утѣшительнымъ отвѣтомъ государя. Выслушавъ меня, онъ поднялъ руки къ небу съ какимъ-то судорожнымъ движеніемъ. «Вотъ какъ я утѣшенъ!» сказалъ онъ.—Скажи государю, что я желаю ему долгаго, долгаго царствованія, что я желаю ему счастія въ его сынѣ, что я желаю ему счастія въ его Россіи»]. Между тѣмъ данный ему пріемъ опіума нѣсколько его успокоилъ; къ животу вмѣсто холодныхъ примочекъ начали прикладывать мягчительныя; это было пріятно страждущему, и онъ началъ безпрекословно исполнять предписанія докторовъ, которыя прежде всѣ отвергалъ упрямо, будучи пепуганъ своими мѣками и жадно желая смерти для ихъ прекращенія. Но тутъ онъ сдѣлался послушенъ, какъ ребенокъ; самъ накладывалъ компрессы на животъ и помогалъ тѣмъ, кто около него суетились. Словомъ, ему повидимому стало гораздо лучше. Такъ нашелъ его докторъ Даль, пришедшій къ нему въ два часа.— «Худо мнѣ, братъ», сказалъ Пушкинъ съ улыбкою Далю. Но Даль, дѣйствительно имѣвшій болѣе другихъ надежды, отвѣчалъ ему: мы всѣ надѣемся, не отчаявайся и ты.—«Нѣтъ! возразилъ онъ, мнѣ здѣсь не житье; я умру; да видно такъ и надо». Въ это время пульсъ его былъ полнѣе и тверже; началъ показываться небольшой общій жаръ. Поставили піявки; пульсъ сталъ ровнѣе, рѣже и гораздо легче.—Я ухватился, говоритъ Даль, какъ утопленникъ за соломенку, робкимъ голосомъ провозгласилъ надежду и обманулъ было и себя и другихъ. Пушкинъ, замѣтивъ, что Даль былъ пободрѣе, взялъ его за руку и спросилъ: «Никого тутъ нѣтъ?»— Никого. — «Даль, скажи мнѣ правду, скоро ли я умру?»—Мы за тебя надѣемся, Пушкинъ, право надѣемся.— «Ну, спасибо!» отвѣчалъ онъ. Но, повидимому, только однажды и обольстился онъ утѣшеніемъ надежды; ни прежде, ни послѣ этой минуты онъ ей не вѣрилъ. Почти всю ночь [на 29 число, эту ночь всю Даль просидѣлъ у его постели, а я, Вяземскій и Вѣльгорскій въ ближней горницѣ] онъ продержалъ Даля за руку; часто бралъ по ложечкѣ воды или по крупинкѣ льда въ ротъ, и всегда все дѣлалъ самъ: снималъ стаканъ съ ближней полки, теръ себѣ виски льдомъ, самъ накладывалъ на животъ припарки, самъ ихъ перемѣнялъ, и проч. Онъ мучился менѣе отъ боли, нежели отъ чрезмѣрной тоски. «Ахъ! какая тоска! [иногда восклицалъ онъ, закидывая руки на голову], сердце изнываетъ!»—Тогда просилъ онъ, чтобы подняли его, или поворотили на бокъ, или поправили ему подушку; и не давъ кончить этого, останавливалъ обыкновенно словами: «Ну! такъ — хорошо; вотъ и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо;» или: «постой—не надо— потяни меня только за руку—ну вотъ и хорошо, и прекрасно!» [все это его точныя выраженія].—Вообще, говоритъ Даль, въ обращеніи со мною онъ былъ повадливъ и послушенъ, какъ ребенокъ, и дѣлалъ все, что я хотѣлъ. Однажды онъ спросилъ у Даля: «Кто у жены моей?»— Даль отвѣчалъ: много добрыхъ людей принимаютъ въ тебѣ участіе; зала и передняя полны съ утра до ночи.—«Ну спасибо, отвѣчалъ онъ, однако же, поди, скажи женѣ, что все слава Богу легко; а то ей тамъ, пожалуй, наговорятъ.»— Даль его не обманулъ. Съ утра 28 числа, въ которое разнеслась по городу вѣсть, что Пушкинъ умираетъ, его передняя была полна приходящихъ; одни освѣдомлялись о немъ черезъ посланныхъ;

другіе—и люди всѣхъ состояній, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство національной, общей скорби выражалось въ этомъ движеніи. Число приходящихъ сдѣлалось наконецъ такъ велико, что дверь прихожей [которая была подлѣ кабинета, гдѣ лежалъ умирающій] безпрестанно отворялась и затворялась; это безпокоило страждущаго; и мы придумали запереть эту дверь, задвинули ее изъ сѣней залавкомъ и вмѣсто ее отворили другую узенькую прямо съ лѣстницы въ буфетъ; а гостиную, гдѣ находилась жена, отгородили отъ столовой ширмами. Съ этой минуты буфетъ былъ безпрестанно набитъ народомъ; въ столовую же входили только знакомые. На лицахъ выражалось простодушное участіе; очень многіе плакали... [Государь Императоръ получалъ извѣстія отъ доктора Арендта [который разъ по шести въ день и по нѣскольку разъ ночью пріѣзжалъ навѣстить больнаго]; государыня великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мнѣ нѣсколько записокъ, на которыя я отдавалъ подробный отчетъ ея высочеству согласно съ ходомъ болѣзни. Такое участіе трогательно, но оно естественно; естественно и въ государѣ, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была [а въ этомъ отличительная черта нынѣшняго государя: онъ любитъ все русское; онъ ставитъ новые памятники и бережетъ старые]; естественно и въ націи, которая въ этомъ случаѣ не только за одно съ своимъ государемъ, но этою общею любовію къ отечественной славѣ укореняется между ими нравственная связь: государю естественно гордиться своимъ народомъ, какъ скоро этотъ народъ понимаетъ его высокое чувство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, любитъ то, что славно отличаетъ его отъ другихъ народовъ или ставитъ съ ними на ряду; народу естественно быть благодарнымъ своему государю за любовь къ отечественной славѣ и за великое выраженіе сей любви, ибо въ своемъ государѣ онъ видитъ представителя своей чести. Однимъ словомъ, сіи изъявленія общаго участія нашихъ добрыхъ русскихъ меня глубоко трогали, но не удивляли. Участіе иноземцевъ было для меня усладительною нечаянностію. Мы теряли свое: мудрено ли, что мы горевали? Но ихъ что такъ трогало? Что думалъ этотъ почтенный Барантъ? стоя долго въ унынін посреди прихожей, гдѣ около его шептали съ печальными лицами о томъ, что дѣлалось за дверями? Отгадать не трудно. Геній есть общее добро; въ поклоненіи генію — всѣ народы родня; и когда онъ безвременно покидаетъ землю, всѣ провожаютъ его съ одинакою братскою скорбію. Пушкинъ по своему генію былъ собственностію не одной Россіи, но и цѣлой Европы; потому-то и посолъ Франціи [самъ знаменитый писатель] приходилъ къ дверямъ его съ печалію собственною, и о нашемъ Пушкинѣ пожалѣлъ какъ будто о своемъ. Потому же и Люцероде, саксонскій посланникъ, сказалъ собравшимся у него гостямъ въ понедѣльникъ въ вечеру: «Нынче у меня танцовать не будутъ, нынче были похороны Пушкина»]. Такое изъявленіе общей скорби меня глубоко трогало; въ русскихъ, которымъ дорога отечественная слава, оно было неудивительно; но участіе иноземцевъ было для меня усладительною нечаянностію. Мы теряли свое: мудрено ли, что мы горевали? Но ихъ что такъ трогало? Отвѣчать нетрудно. Геній есть общее добро; въ поклоненіи генію всѣ народы родня; и когда онъ безвременно покидаетъ землю, всѣ провожаютъ его съ одинакою братскою скорбію. Пушкинъ, по своему генію, былъ собственностію не одной Россіи, но и цѣлой Европы; потому-то и многіе иноземцы приходили къ двери его съ печалію собственною, и о нашемъ Пушкинѣ пожалѣли, какъ будто о своемъ. Возвращаюсь къ своему описанію. Пославъ Даля ободрить жену надеждою, Пушкинъ самъ не имѣлъ никакой. Однажды спросилъ онъ: который часъ? и на отвѣтъ Даля продолжалъ прерывающимся голосомъ:

«Долго ли.... мнѣ... такъ мучиться?... Пожалуйста.... поскорѣй!....» Это повторилъ онъ нѣсколько разъ послѣ: «Скоро ли конецъ?» и всегда прибавлялъ: «пожалуйста поскорѣй!» По вообще [послѣ мукъ первой ночи, продолжавшихся два часа] онъ былъ удивительно терпѣливъ. Когда тоска и боль его одолѣвали, онъ дѣлалъ движенія руками или отрывисто крихтѣлъ, но такъ, что почти его не могли слышать.—Терпѣть надо, другъ, дѣлать нечего, сказалъ ему Даль, но не стыдись боли своей, стонай, тебѣ будетъ легче.—«Нѣтъ, онъ отвѣчалъ прерывчиво: нѣтъ.... не надо.... стонать.... жена.... услышитъ.... смѣшно же.... чтобъ этотъ.... вздоръ меня.... переслилъ..... не хочу».—Я покинулъ его въ пять часовъ утра, и черезъ два часа возвратился. Видѣвъ, что ночь была довольно спокойна, я пошелъ къ себѣ почти съ надеждою; но возвратясь, нашелъ иное. Арендтъ сказалъ мнѣ рѣшительно, что все кончено, и что ему не пережить дня. Дѣйствительно, пульсъ ослабѣлъ и началъ упадать примѣтно; руки начали стыть. Онъ лежалъ съ закрытыми глазами; иногда только подымалъ руки, чтобы взять льду и потереть имъ лобъ. Ударило два часа пополудни, и въ Пушкинѣ осталось жизни только на три четверти часа. Онъ открылъ глаза и попросилъ моченой морошки. Когда ее принесли, онъ сказалъ внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормитъ». Она пришла, опустилась на колѣни у изголовья, поднесла ему ложечку, другую морошки, потомъ прижалась лицомъ къ лицу его; Пушкинъ погладилъ ее по головѣ и сказалъ: «Ну, ну, ничего; слава Богу, все хорошо; поди».—Спокойное выраженіе лица его и твердость голоса обманули бѣдную жену; она вышла какъ будто просіявшая отъ радости.—Вотъ увидите, сказала она доктору Спасскому: онъ будетъ живъ; онъ не умретъ.—А въ эту минуту уже начался послѣдній процессъ жизни. Я стоялъ вмѣстѣ съ графомъ Вѣльгорскимъ у постели въ головахъ; сбоку стоялъ Тургеневъ. Даль шепнулъ мнѣ: отходитъ. Но мысли его были свѣтлы. Изрѣдка только полудремотное забытье ихъ отуманивало; разъ онъ подалъ руку Далю, и пожимая ее, проговорилъ: «Ну, подымай же меня, пойдемъ, да выше, выше.... ну, пойдемъ!» Но очнувшись, онъ сказалъ: «Мнѣ было пригрезилось, что я съ тобой лѣзу вверхъ по этимъ книгамъ и полкамъ! высоко.... и голова закружилась». Немного погодя, онъ опять, не раскрывая глазъ, сталъ искать Далеву руку и, потянувъ ее, сказалъ: «Ну, пойдемъ же, пожалуйста; да вмѣстѣ».—Даль, по просьбѣ его, взялъ его подъ мышки и приподнялъ повыше; и вдругъ, какъ будто проснувшись, онъ быстро раскрылъ глаза, лицо его прояснилось и онъ сказалъ: «Кончена жизнь!» Даль, не разслушавъ, отвѣчалъ: да, кончено; мы тебя поворотили.—«Жизнь кончена!» повторилъ онъ внятно и положительно.—«Тяжело дышать, давитъ!» были послѣднія слова его. Я не сводилъ съ него глазъ, и замѣтилъ въ эту минуту, что движеніе груди, доселѣ тихое, сдѣлалось прерывчивымъ. Оно скоро прекратилось. Я смотрѣлъ внимательно; ждалъ послѣдняго вздоха; но я его не примѣтилъ. Тишина, его объявшая, показалась мнѣ успокоеніемъ, а его уже не было. Всѣ надъ нимъ молчали. Минуты черезъ двѣ я спросилъ: «что онъ?» —Кончилось! отвѣчалъ мнѣ Даль *). Такъ тихо, такъ спокойно удалилась душа его. Мы долго стояли надъ нимъ, молча, не шевелясь, не смѣя нарушить таинства смерти, которое совершалось передъ нами во всей умилительной святынѣ своей. Когда всѣ ушли, я сѣлъ передъ нимъ, и долго, одинъ, смотрѣлъ ему въ лицо. Никогда на этомъ лицѣ я не видалъ ничего подобнаго тому, что было на немъ въ эту первую минуту смерти. Голова его нѣсколько наклонилась; руки, въ которыхъ было за нѣсколько минутъ какое-то судорожное движеніе, были спокойно протянуты, какъ будто упавшія

*) Въ три четверти третьяго часа пополудни, 29 января. *Примѣч. въ текстѣ.*

для отдыха послѣ тяжелаго труда. Но что выражалось на его лицѣ, я сказать словами не умѣю. Оно было для меня такъ ново и въ то же время такъ знакомо. Это не было ни сонъ, ни покой; не было выраженіе ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выраженіе поэтическое, нѣтъ! какая-то важная, удивительная мысль на немъ развивалась; что-то похожее на видѣніе, на какое-то полное, глубоко-удовлетворяющее знаніе. Всматриваясь въ него, мнѣ все хотѣлось у него спросить: что видишь другъ? И что бы онъ отвѣчалъ мнѣ, если бы могъ на минуту воскреснуть? Вотъ минуты въ жизни нашей, которыя вполнѣ достойны названія великихъ. Въ эту минуту, можно сказать, я увидѣлъ лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо смерти безъ покрывала. Какую печать на него наложила она! и какъ удивительно высказала на немъ и свою и его тайну! Я увѣряю тебя, что никогда на лицѣ его не видалъ я выраженія такой глубокой величественной, торжественной мысли. Она, конечно, таилась въ немъ и прежде, будучи свойственна его высокой природѣ; но въ этой чистотѣ обнаружилась только тогда, когда все земное отдѣлилось отъ него съ прикосновеніемъ смерти. Таковъ былъ конецъ нашего Пушкина. — Опишу въ немногихъ словахъ то, что было послѣ. Къ счастію, я вспомнилъ во-время, что надобно съ него снять маску; это было исполнено немедленно; черты его еще не успѣли измѣниться. Конечно, того перваго выраженія, которое дала имъ смерть, въ нихъ не сохранилось; но все мы имѣемъ отпечатокъ привлекательный, изображающій не смерть, а тихій, величественный сонъ. [Спустя три четверти часа послѣ кончины (во все это время я не отходилъ отъ мертваго, мнѣ хотѣлось вглядѣться въ прекрасное лицо его) тѣло вынесли въ ближнюю горницу, а я, исполня повелѣніе государя императора, запечаталъ кабинетъ своею печатью]. Не буду разсказывать того, что сдѣлалось съ бѣдною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, графъ и графиня Строгановы. Графъ взялъ на себя всѣ распоряженія похоронъ. Побывъ еще нѣсколько времени въ домѣ, я поѣхалъ къ Вѣльгорскому обѣдать; у него собрались и всѣ другіе, видѣвшіе послѣднюю минуту Пушкина; и онъ самъ былъ приглашенъ за три дня къ этому обѣду.... праздновать день моего рожденія. [Въ вечеру, увлеченный необходимостію, пошелъ, я къ государю, чтобы донести ему о томъ, какъ умеръ Пушкинъ; онъ выслушалъ меня наединѣ въ своемъ кабинетѣ; этого прекраснаго часа въ моей жизни я никогда не забуду]. На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками въ гробъ; а на слѣдующій день, въ вечеру, перенесли его въ Конюшенную церковь. И въ эти оба дня та горница, гдѣ онъ лежалъ во гробѣ, была безпрестанно полна народомъ. Конечно, болѣе десяти тысячъ человѣкъ перебывало въ ней, чтобы взглянуть на него: многіе плакали; иные долго останавливались и какъ будто хотѣли всмотрѣться въ лицо его; было что-то разительное въ его неподвижности, посреди этого движенія, и что-то умилительно-таинственное въ той молитвѣ, которая такъ тихо, такъ однозвучно слышалась посреди этого смутнаго говора. [И особенно глубоко тронуло мнѣ душу то, что государь какъ будто соприсутствовалъ посреди своихъ русскихъ, которые такъ просто, такъ смиренно и съ нимъ за одно выражали скорбь свою о утратѣ славнаго соотечественника; всѣмъ уже было извѣстно, какъ государь утѣшилъ послѣднія минуты Пушкина, какое онъ принялъ участіе въ его христіанскомъ покаяніи, что онъ сдѣлалъ для его сироть, какъ почтилъ своего поэта и что въ то же время (какъ судія, какъ верховный блюститель нравственности) произнесъ въ осужденіе тому бѣдственному дѣлу, которое такъ внезапно лишило насъ Пушкина. Рѣдкій изъ посѣтителей, помолясь передъ гро-

бомъ, не помолился въ то же время за государя, и можно сказать, что это изъявленіе національной печали о поэтѣ было самымъ трогательнымъ прославленіемъ его великодушнаго покровителя]. Отпѣваніе происходило 1-го февраля. Многіе изъ нашихъ знатныхъ господъ и многіе изъ иностранныхъ министровъ были въ церкви. Мы на рукахъ отнесли гробъ въ подвалъ, гдѣ надлежало ему остаться до отправленія изъ города. 3-го февраля въ десять часовъ вечера, собравшись мы въ послѣдній разъ къ тому, что еще для насъ осталось отъ Пушкина: отпѣли послѣднюю панихиду: ящикъ съ гробомъ поставили на сани; въ полночь сани тронулись: при свѣтѣ мѣсяца я провожалъ ихъ нѣсколько времени глазами; скоро онѣ поворотили за уголъ дома; и все, что было на землѣ Пушкинъ, навсегда пропало изъ глазъ моихъ.

1838.

ПОЖАРЪ ЗИМНЯГО ДВОРЦА

17-го декабря 1837 года.

Жители Петербурга съ печалію встрѣтили 1838-й годъ. Не пришли они, по старому обычаю, въ Зимній дворецъ, гдѣ донынѣ болѣе двадцати тысячъ гостей собирались на семейный праздникъ царя своего, дабы поздравить его съ наступающимъ новымъ годомъ. Зимній дворецъ, величественное жилище императоровъ русскихъ, великолѣпнѣйшее и почти самое древнее зданіе сѣверной столицы, не существуетъ. Смотря на сіи обгорѣлыя стѣны, въ коихъ за нѣсколько дней блистало такое великолѣпіе, кипѣла такая жизнь, и кои теперь такъ пусты и мрачны, ощущаешь въ душѣ невольное благоговѣніе; не знаешь, чему дивиться, величію ли того, что погибло и что въ самыхъ развалинахъ своихъ является еще столь твердымъ; могуществу ли силы, которая такъ легко и такъ быстро уничтожила то, что казалося вѣчнымъ.

Такъ, въ зрѣлищѣ сихъ развалинъ есть что-то невыразимое: какъ будто глазами видишь судьбу земную во всѣхъ ея перемѣнахъ — изъ счастія въ бѣдствіе, изъ блеска во мракъ, изъ славы въ упадокъ. Какой-то чудный, всемірный образъ стоитъ передъ тобою и говоритъ тебѣ то, чего не выразитъ словомъ языкъ человѣческій.

Зимній дворецъ, какъ зданіе, какъ царское жилище, можетъ быть, не имѣлъ подобнаго въ цѣлой Европѣ. Своею огромностію онъ соотвѣтствовалъ той обширной имперіи, которой силамъ служилъ средоточіемъ. Суровымъ величіемъ, своей архитектурою, изображалъ онъ могущественный народъ, столь недавно вступившій въ среду образованныхъ націй, но еще сохранившій свой первобытный, нѣкогда дикій образъ; а внутреннимъ своимъ великолѣпіемъ напоминалъ о той неисчерпаемой жизни, которая кипитъ во внутренности Россіи. Иноземецъ, посѣщавшій столицу Сѣвера, останавливался въ изумленіи передъ его громадою. Быть можетъ, взыскательный вкусъ, разсматривая его по частямъ, могъ оскорбиться и нѣкоторою нестройностію ихъ состава, и пестротою обветшалыхъ украшеній, и мелкостью безчисленныхъ колоннъ, и множествомъ колоссальныхъ статуй, стоявшихъ на этой массѣ какъ лѣсъ на скалѣ огромной; но цѣлое зданіе представляло какую-то разительную, гигантскую стройность: при видѣ Зимняго дворца всегда вспоминалась поэтическая мысль того зодчаго, который изъ горы Аѳоса хотѣлъ вытесать статую Александра.

Но если Зимній дворецъ изумлялъ иноземца какъ чудный памятникъ искусства, то для насъ русскихъ имѣлъ онъ совсѣмъ иное значеніе. Зимній дворецъ былъ для насъ представителемъ всего отечественнаго, русскаго, нашего. Для всѣхъ насъ вмѣстѣ онъ былъ то же, что для каждаго изъ насъ въ особенности домъ отеческій, гдѣ мы были молоды, откуда пустились въ жизнь, куда изъ всѣхъ угловъ земли, изъ всѣхъ тревогъ житейскихъ переносились душою, какъ будто

въ пріютъ покоя. Кто изъ насъ съ тѣхъ поръ, какъ началъ себя помнить, не думалъ часто и съ одинакимъ, всѣмъ намъ общимъ чувствомъ, о томъ, что происходило въ этомъ царскомъ жилищѣ, и хотя каждый имѣлъ свои особенныя заботы, съ другими не раздѣляемыя, но эти общія заботы о царскомъ бытѣ, въ томъ мѣстѣ, съ которымъ мы всѣ, и близкіе и далекіе, изъ дѣтства такъ свыклись, было для всѣхъ насъ какою-то родственною связію, и теперь, при мысли, что Зимній дворецъ нашъ не существуетъ, пробуждается въ душѣ что-то похожее на сиротство, и кажется, какъ будто насъ что-то разрознило.

Въ отношеніи историческомъ Зимній дворецъ былъ то же для новой нашей исторіи, что Кремль для нашей исторіи древней. Кремль говоритъ о живыхъ, младенческихъ и юношескихъ лѣтахъ русскаго царства: смотря на стѣны его и башни, на Грановитую палату, на святые соборы, и слушая чудный голосъ колоколовъ, во всѣ времена одинаково съ нами слышанный и отцами и дѣдами, разгорячаешься воображеніемъ и чувствуешь себя такъ же разстроеннымъ, какъ при мысли о собственныхъ поэтическихъ лѣтахъ молодости. Здѣсь вся поэзія нашей исторіи. Но видъ Зимняго дворца, который своею громадою [гдѣ великанское время минувшихъ такъ чудно сливалось съ строгою правильностію настоящаго] такъ могущественно, такъ одиноко возвышался посреди всѣхъ окружавшихъ его зданій, говорилъ менѣе воображенію нежели мысли. Здѣсь представлялась уже возмужавшая Россія, Россія сплоченная вѣками въ твердую, грубую массу, такою перешедшая въ руки Петра, имъ приневоленная Европѣ и со временъ его до нашихъ, подъ рукою своихъ императоровъ, завоеваніями, давшими ей все, что ей нужно, достигнувшая крайнихъ предѣловъ своего матеріальнаго могущества. Здѣсь вся новѣйшая Россія въ блистательнѣйшіе дни европейской ея жизни.

Здѣсь самодержавіе, перешедшее отъ царей къ императорамъ, слившись съ законностію и уваженіемъ къ человѣчеству, преобразовалось изъ древняго безотчетнаго самовластія во власть благотворную, животворную, образовательную, на твердой неприкосновенности которой стоитъ бытіе Россіи, и внѣшняя сила ея и внутреннее ея благоденствіе. Отсюда истекли всѣ тѣ законы и тѣ политическія измѣненія, кои въ послѣднее восьмидесятилѣтіе возвеличили, образовали, утвердили Россію и приготовили для нея великое будущее.

Здѣсь жила Екатерина, первая вступившая въ стѣны дворца, воздвигнутыя Елисаветою, но при ней еще не населенныя. Имя Екатерины и теперь глубоко отзывается въ каждомъ русскомъ сердцѣ. Хотя уже почти всѣ соучастники ея царствованія сошли со сцены, но преданіе о ней живо: оно перешло къ намъ изъ первыхъ рукъ, во всей своей свѣжести, ибо каждый, чья жизнь началась въ ея царствованіе, кто ее видѣлъ, еще болѣе тотъ, кто имѣлъ счастіе къ ней приближаться, и теперь говоритъ объ ней съ тѣмъ пламеннымъ вдохновеніемъ любви, съ которымъ нѣкогда говорила о ней вся Россія. Здѣсь произошли важнѣйшія явленія царственной жизни Екатерины, которая по искусству царствованія стоитъ на первой степени между всѣми государями славными въ исторіи: здѣсь начертала она свой *Наказъ*, и попынѣ служащій основаніемъ нашего гражданскаго порядка; отсюда устроила она свою обширную имперію, отсюда посылала своихъ полководцевъ на сѣверъ, западъ и югъ за побѣдою, завоеваніями или славою. Здѣсь на каждомъ шагу могли мы слѣдовать за государственною и частною ея жизнію; мы знали, гдѣ былъ ея кабинетъ, въ которомъ уединенные часы свои посвящала она глубокимъ размышленіямъ и всеобъемлющимъ трудамъ царицы, мы знали, гдѣ являлась она во всемъ блескѣ самодержавной владычицы передъ собраніемъ представителей импе-

рін, между которыми блистали Потемкины, Румянцовы, Суворовы, Вяземскіе, Панины и Безбородко; знали, гдѣ она съ царскаго трона принимала пословъ Европы и Востока, гдѣ совершались ея пышные праздники, гдѣ были ея веселыя вечеринки, гдѣ она слушала вдохновенныя пѣсни своего Державина, гдѣ наконецъ отборный кругъ ея общества, изъ просвѣщеннѣйшихъ соотечественниковъ и иноземцевъ составленный, былъ услаждаемъ ея остроумною и въ самой легкости глубокомысленною бесѣдою.

Изъ Зимняго дворца императоръ Павелъ послалъ Суворова испытать возмужавшую силу Россіи противъ возрастающаго могущества Франціи и начать за горами Альпійскими то, что впослѣдствіи довершено подъ стѣнами Парижа.

Зимній дворецъ былъ свидѣтелемъ и свѣтлыхъ и темныхъ временъ Александра I. Здѣсь, вдохновенный Промысломъ, уже предавшимъ во власть его жребій Европы, рѣшилъ онъ судьбу своей имперіи великимъ русскимъ словомъ: *не положу оружія, пока хотя единый врагъ останется на земли моей*, и отдалъ Москву за Россію. Сюда возвратился онъ, совершивши чудную всемірную войну, благословенный свыше, увѣнчанный такою славою, какая ни одному изъ предшественниковъ его не доставалась, и въ этой славѣ смиренный передъ избравшимъ его Богомъ. Здѣсь видѣли мы его и въ страшную минуту испытанія, когда столица его, обхваченная наводненіемъ, трепетала и гибла. Въ эту роковую минуту явился онъ въ той красотѣ своей, по которой принадлежалъ онъ къ лучшимъ изъ всѣхъ украшавшихъ землю созданій. Изъ оконъ дворца смотрѣлъ онъ на разрушеніе, производимое волнами, и горько плакалъ, порываясь спасать погибающихъ и чувствуя всю ничтожность своей власти передъ бездушнымъ могуществомъ стихіи. И всѣмъ намъ памятно, съ какою заботливостію, съ какимъ простодушнымъ, родственнымъ участіемъ являлся онъ повсюду, гдѣ только побывало несчастіе, особенно на развалинахъ хижинъ, дабы загладить слѣды разоренія, возвратить утраченное ими, утѣшить горе о невозвратномъ. И въ народѣ, одаренномъ памятію сердца, живо преданіе о сихъ прекрасныхъ дняхъ Александра, быть можетъ, лучшихъ въ жизни его не по блестящимъ дѣламъ царя, а по тайнымъ человѣческимъ чувствамъ, и если исторія, провозглашающая только славное міра сего, скажетъ о нихъ не громко, то— есть другое, высшее судилище, предъ которымъ и тайныя страданія души также имѣютъ свое великолѣпіе и свою знаменитость.

Въ Зимнемъ дворцѣ проводила и кончила жизнь свою современница и соучастница всѣхъ царствованій, коихъ событіямъ онъ былъ свидѣтель: здѣсь жила государыня Марія Ѳедоровна, супругою наслѣдника имперіи, императрицею, матерью двухъ императоровъ. Сначала вся ея дѣятельность сосредоточивалась въ тѣсномъ домашнемъ кругѣ: вмѣстѣ съ прекрасными сыновьями и дочерями своими, сама [и до позднихъ лѣтъ] величественно прекрасная, она сначала была, такъ сказать, однимъ только отблескомъ великой Сѣверной Царицы, которая приводила въ неописанный восторгъ и русскаго и чужеземца, когда, окруженная очарованіемъ исторической славы своей [придававшая лицу ея характеръ чего-то не земнаго], являлась она передъ ними въ сопутствіи внуковъ и внучекъ, прелестныхъ и красотою и молодостію и тою надеждою, которая въ лицѣ ихъ такъ сладостно говорила сердцу. И въ этомъ же дворцѣ, когда не стало Екатерины Великой, увидѣли мы императрицу Марію Ѳедоровну матерью другаго семейства,— цѣлой Россіи. Приготовленная къ исполненію сихъ всеобъемлющихъ обязанностей строгимъ исполненіемъ должностей домашнихъ, она предалась имъ съ безпримѣрнымъ самоотверженіемъ, и должность стала для нея религіею. Съ одной стороны, принявши подъ свой покровъ сиротство, нищету, вдовство и бо-

лѣзнь, она сдѣлалась благотворительницею настоящею; съ другой, принявъ на себя заботы о женскомъ воспитаніи въ Россіи, она явилась Провидѣніемъ домашней жизни и нравовъ семейныхъ русскаго народа и положила прочное основаніе будущему его благоденствію, коего источникъ есть нравственность женъ и просвѣщенная дѣятельность матерей семейства. И сколько разъ она сама, счастливая и достойная счастія мать, въ великолѣпной дворцовой церкви присутствовала на радостныхъ праздникахъ семейныхъ, то подносила своихъ милыхъ младенцевъ къ св. причастію, то благословляла браки сыновей и дочерей своихъ, то предстояла св. купели, держа на рукахъ своихъ внука или внуку. Наконецъ, въ томъ же Зимнемъ дворцѣ, гдѣ ни одинъ изъ ея современниковъ не провелъ столько лѣтъ какъ она, прекратилась и чистая жизнь ея. И памятна еще намъ та ночь, въ которую императрица Марія Оедоровна покинула землю: кто видѣлъ ее черезъ нѣсколько минутъ послѣ кончины, тотъ былъ пораженъ и глубоко растроганъ выраженіемъ ея лица, удивительно просвѣтлѣвшаго, какъ будто бы на немъ величіе земное вдругъ перешло въ величіе небесное.

Изъ дверей Зимняго дворца императоръ Николай Павловичъ вышелъ на площадь, кипящую народомъ, въ первую и самую рѣшительную минуту своего царствованія, и эта минута какъ долгіе годы познакомила Россію съ новымъ ея императоромъ и Европу съ достойнымъ преемникомъ Александра.

Намъ памятно, какое зрѣлище въ день сей представило собраніе чиновъ имперіи, соединившихся въ залахъ дворцовыхъ для молитвы за возцаряющагося государя, памятны и мертвая тишина, тогда оцѣпенявшая сіе блестящее многолюдство, и мрачность лицъ, столь разительная при блескѣ одеждъ торжественныхъ, и шопотъ тревожныхъ вѣстей, и тяжкая безызвѣстность о государѣ, который съ утра до приближенія ночи простоялъ въ виду бунтовщиковъ на ружейный выстрѣлъ отъ ихъ фронта, и общее движеніе всѣхъ, когда узнали, что государь возвратился, что бунтъ уничтоженъ, и наконецъ всего памятнѣе та минута, въ которую онъ къ намъ вышелъ, рука объ руку съ императрицею, — онъ съ какимъ-то новымъ, никогда дотолѣ невиданнымъ на лицѣ его напечатлѣніемъ, она съ глубокою преданностію въ волю Промысла, съ смиренною возвышенностію надъ судьбою и съ удивительнымъ выраженіемъ всего, что въ этотъ день перешло черезъ ея душу, и между ими наслѣдникъ, тогда еще младенецъ, ясный и беззаботный какъ надежда.

И въ этомъ же дворцѣ, гдѣ такимъ великимъ событіемъ ознаменовалось воцареніе Николая, прошли и первыя двѣнадцать лѣтъ его царствованія, столь богатаго тяжкими испытаніями для государя, но столь обильнаго дѣлами благотворными для народа. Здѣсь совершилось замышленное Петромъ, приготовленное Екатериною и тщетно предпринятое Александромъ: воздвигнуто стройное, всѣмъ доступное зданіе русскихъ законовъ и тѣмъ положено начало законности, безъ коей нѣтъ въ государствѣ вѣрнаго благоденствія. Наконецъ, въ теченіе послѣднихъ двѣнадцати лѣтъ, подъ кровомъ Зимняго дворца мы съ умиленіемъ видѣли то, что рѣдко встрѣчается и въ смиренномъ жилищѣ частнаго человѣка, счастливую домашнюю жизнь, величественный примѣръ всего нравственнаго для цѣлой имперіи. Нѣжнѣйшее согласіе супружеское, основанное на взаимномъ уваженіи другъ къ другу, заботливость отца и матери о дѣтяхъ, не скучающая никакими подробностями, ихъ ребяческая ласковость съ тѣми, кои еще во младенчествѣ, ихъ попечительная заботливость о тѣхъ, кои достигли отроческихъ лѣтъ и коихъ воспитаніе предъ глазами родителей совершается, ихъ довѣрчивое товарищество съ тѣми, кои уже вошли въ возрастъ; съ другой стороны нѣжная къ нимъ привязанность дѣтей, которымъ ни-

гдѣ и ни съ кѣмъ такъ не бываетъ весело, такъ не бываетъ свободно, какъ съ добрымъ отцомъ и милою матерью и самымъ царскимъ величіемъ, только усиливающимъ въ дѣтяхъ сердечное благоговѣніе—вотъ то прекрасное, чего были свидѣтелями эти стѣны, столь прежде пышныя, столь нынѣ печальныя. Какъ ни горестно видѣть въ развалинахъ тѣ величественные чертоги, которые такъ блистали во дни торжественные, но они скоро воздвигнутся снова и, можетъ быть, великолѣпнѣе прежнихъ; но то, что было освящено воспоминаніемъ лучшаго и драгоцѣннѣйшаго въ жизни,—убѣжища многихъ лѣтъ, изъ одного царскаго колѣна перешедшія къ другому, свидѣтели дѣтскихъ игръ, первыхъ уроковъ, семейныхъ праздниковъ, они исчезли невозвратно и никакому зодчему не построить ихъ по прежнему. Былъ въ Зимнемъ дворцѣ рядъ горницъ, черезъ которыя ежедневно проходилъ государь Николай Павловичъ, начиная царственный день свой: въ однихъ колыбели окружены были дѣтскими игрушками; въ другихъ учебные предметы говорили о занятіяхъ болѣе строгихъ соотвѣтственно разнымъ возрастамъ; въ другихъ являлось уже все, что принадлежало расцвѣтшему юношеству, готовящемуся къ дѣятельности житейской.—И проходя чрезъ нихъ, счастливый отецъ встрѣчаемъ былъ голосами любви, столь плѣнительными и въ радостномъ ребяческомъ крикѣ и въ сердечномъ привѣтѣ юношества. Изъ всѣхъ сихъ горницъ особенно драгоцѣнны по воспоминаніямъ, съ ними соединявшимся, тѣ, въ коихъ провелъ свою молодость императоръ Александръ, которыя при немъ перешли къ его младшимъ братьямъ и наконецъ при нынѣшнемъ государѣ достались цесаревичу. Изъ этого пріюта первыхъ лѣтъ, ознаменованныхъ такимъ безпечальнымъ счастіемъ, наслѣдникъ русской имперіи пустился въ путь, указанный ему его государемъ. Ни одному изъ предшественниковъ императора Николая Павловича не даровалъ Богъ счастія показать такого милаго сына такой великой имперіи. Мысль высокая и вмѣстѣ трогательная, которую съ глубокою благодарностію къ царю своему вполнѣ поняла Россія. Она увидѣла въ этой поспѣшности государя познакомить молодаго наслѣдника съ его будущею имперіею всю нѣжную заботливость и отца о сынѣ и государя о царствѣ. Она поняла, почему именно теперь, а не въ другое время, и почти всю огромную Россію въ немногіе мѣсяцы захотѣлъ показать государь своему сыну. Если царю необходимо быть любимымъ отъ своего народа, то ему еще необходимѣе любить народъ свой. Но сіе пламя любви не всякой душѣ дается, и счастлива та, въ которой пробудится она рано. Такова была очевидно мысль государя: наслѣдникъ во всемъ цвѣтѣ молодости, съ душою, еще не тронутою никакою заботою житейскою, никакимъ болѣзненнымъ опытомъ, мѣшающимъ вѣрѣ въ человѣчество, былъ отданъ имъ, такъ сказать, съ рукъ на руки Россіи, и она приняла его на руки съ неописанною любовію. Ни одинъ изъ русскихъ государей не давалъ такого праздника своему царству; и все, отъ Балтійскаго моря до Чернаго, отъ предѣловъ Польши до глубины Сибири, во всѣхъ областяхъ, орошаемыхъ великими нашими рѣками, Волгою, Камою, Иртышомъ, Днѣпромъ и Дономъ, сдѣлалось одинакимъ чувствомъ, и это чувство не было ни любопытство, пробуждаемое въ толпѣ явленіемъ необычайнаго, ни робкое раболѣпство, ни своекорыстная надежда: это чувство было святая любовь русскаго народа, глубокая религія, переходящая къ нему по преданію отъ предковъ, религія, врѣзанная ему въ душу его судьбою, воспитанная въ немъ и свѣтлыми и темными временами его жизни, нѣчто такое, чего никакая власть произвести не можетъ, что есть драгоцѣннѣйшее сокровище русскаго самодержца, твердѣйшая опора самодержавія, на чемъ незыблемо стоитъ Россія. Такое чувство встрѣчаю наслѣдника, и онъ принялъ его на сердце

свое въ такую пору жизни, когда всѣ впечатлѣнія неизгладимо въ насъ остаются. Въ зрѣлые годы свои онъ опять и не разъ увидитъ Россію, и увидитъ ее съ пользою инаго рода; но такой союзъ, какой заключенъ между ими нынѣ, заключается только въ свѣжія лѣта молодости, душою новою и жаждущею любить. И въ зрѣлые годы свои онъ не забудетъ, что Россія была его первою любовію, и никогда не перестанутъ въ памяти его отзываться тѣ благословенія, съ которыми еще безъ всякой личной заслуги своей, а только потому, что онъ святыня, сынъ государя, онъ былъ повсюду принятъ добрымъ, умнымъ, вѣрнымъ русскимъ народомъ. Совершивъ благополучно сіе путешествіе, продолжавшееся болѣе семи мѣсяцевъ, наслѣдникъ и государь императоръ, обозрѣвши со своей стороны западныя и южныя области отъ устьевъ Невы до подошвы Арарата, соединились со всѣмъ императорскимъ семействомъ въ Москвѣ, гдѣ пробыли нѣсколько недѣль, и наконецъ всѣ вмѣстѣ возвратились въ Петербургъ, гдѣ ожидало ихъ, повидимому, сладкое отдохновеніе подъ кровлею царственнаго Зимняго дворца. И вдругъ это могущественное зданіе, со всѣмъ своимъ великолѣпіемъ, исчезло въ нѣсколько часовъ, какъ бѣдная хижина.

Хотя обстоятельства сего событія, ужаснувшаго Петербургъ и горестнаго для цѣлой Россіи, уже описаны другими, но мы почитаемъ не лишнимъ сообщить читателямъ то, что было и намъ разсказано очевидцами. Здѣсь всякая подробность драгоцѣнна: мы даже не боимся повторить уже извѣстное, ибо желаемъ составить нѣчто цѣлое и полное: намъ кажется, что мы исполняемъ священный долгъ передъ отечествомъ, отдавая послѣднюю честь великому жилищу Екатерины и Александра, и платимъ сладкую дань благодарности всеобщей, скорбя о разрушеніи царскаго дома, гдѣ государь Николай Павловичъ былъ двѣнадцать лѣтъ такъ счастливъ въ своемъ семействѣ.

17-го декабря 1837 года ознаменовалось симъ бѣдственнымъ происшествіемъ. Было восемь часовъ вечера. Государь императоръ съ ея величествомъ императрицею, съ ихъ высочествами наслѣдникомъ, великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ и великою княжною Маріею Николаевною находился въ театрѣ, когда ему донесено было, что въ Зимнемъ дворцѣ горитъ. Государь немедленно покинулъ театръ и вмѣстѣ съ великими князьями отправился на мѣсто пожара. Повидимому не представлялось большой трудности остановить его дѣйствіе, но онъ уже начиналъ распространяться; уже Фельдмаршальская зала была вся въ огнѣ; зала Петра Великаго загоралась и пламя начинало показываться въ Бѣлой залѣ.

Первою заботою государя императора была безопасность его семейства. Великіе князья Константинъ, Николай и Михаилъ Николаевичи и великія княжны Ольга и Александра Николаевны находились въ Зимнемъ дворцѣ: имъ было приказано немедленно переѣхать въ Собственный его величества дворецъ. Въ это время государыня императрица уже возвратилась изъ театра. Она была встрѣчена въ Большой Морской великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, посланнымъ къ ней отъ государя императора съ извѣщеніемъ о случившемся.—Гдѣ дѣти? былъ первый вопросъ ея величества.—Государь приказалъ перевезти ихъ въ Собственный дворецъ; онъ желаетъ, чтобы и ваше величество ѣхали туда же.—Но перевезены ли дѣти?—Еще нѣтъ, но скоро.—Скажите государю, что мое мѣсто тамъ, гдѣ мои дѣти, и что я до тѣхъ поръ не покину дворца, пока они не будутъ отправлены, отвѣчала государыня и поѣхала на пожаръ. На лѣстницѣ она была встрѣчена всѣми дѣтьми своими; младшихъ несли на рукахъ, полусонныхъ. Государыня отпустила ихъ, а сама прямо пошла къ одной изъ своихъ фрейлинъ, которая жила въ нижнемъ этажѣ и лежала въ постелѣ больная. Императрица при себѣ отправила ее изъ дворца и потомъ уже

пошла [вмѣстѣ съ великою княжною Маріею Николаевною] въ свои комнаты, отъ коихъ пожаръ еще былъ далеко.— Долго изъ оконъ, обращенныхъ на внутренній дворъ, смотрѣла она, какъ на противоположной сторонѣ свирѣствовало пламя, какъ оно разрушило Бѣлую и Фельдмаршальскую залы и какъ начало приближаться къ той сторонѣ, гдѣ жило императорское семейство. Наконецъ явился государь императоръ и говоритъ императрицѣ и великой княжнѣ: «Уѣзжайте, черезъ минуту огонь будетъ здѣсь». Они простились. Государь опять пошелъ на пожаръ. А государыня рѣшилась переѣхать въ домъ министерства иностранныхъ дѣлъ, изъ оконъ коего можно было глазами слѣдовать за дѣйствіемъ пламени. Но прежде нежели совсѣмъ оставить дворецъ, она захотѣла проститься съ своимъ погибающимъ жилищемъ: зашла въ свой кабинетъ и въ дѣтскія горницы, въ коихъ при свѣтѣ пожарнаго зарева все еще было такъ спокойно, и помолившись въ послѣдній разъ въ малой дворцовой церкви, въ коей столько времени все семейство ея собиралось на молитву, съ благодарною горестію покинула тѣ мѣста, гдѣ на каждомъ шагу являлись ей милыя воспоминанія, гдѣ она встрѣчена была невѣстою, гдѣ была привѣтствована императрицею, гдѣ провела мирные, первые годы супружескаго и материнскаго счастія, о коемъ молится вся Россія. Въ домѣ министерства иностранныхъ дѣлъ государыня пробыла до той минуты, въ которую наслѣдникъ извѣстилъ ея величество, что для спасенія дворца не осталось никакой надежды.

Вторымъ распоряженіемъ государя императора было послать за войсками; первый баталіонъ л.-г. преображенскаго полка, какъ ближайшій, явился прежде другихъ, и въ одну минуту знамена гвардейскія и всѣ портреты, украшавшіе залу Фельдмаршальскую и галлерею 1812 года, сняты и вынесены. Въ то же время заложены были кирпичомъ двѣ двери, дабы отдѣлить пылающую часть дворца отъ той, куда еще пламя не успѣло проникнуть; а часть собравшагося войска была отправлена на кровлю, дабы, разломавъ ее, успѣшнѣе противудѣйствовать расширенію пожара. Но здѣсь всѣ усилія остались тщетны. Густой дымъ, развиваясь вихремъ по всему чердаку, препятствовалъ видѣть и дышать, и не допустилъ никого приступить къ дѣлу. Тогда стало очевидно, что спасеніе дворца уже невозможно. Государь императоръ, не желая подвергать опасности солдатъ, которые дѣйствовали съ неимовѣрною отважностію и съ удивительнымъ самоотверженіемъ, отдалъ повелѣніе, чтобы всѣ сошли съ кровли и спѣшили спасать изъ внутреннихъ комнатъ то, что спасти было возможно. Воля его величества была исполнена съ быстротою и точностію, достойными удивленія. Всѣ, отъ генерала до простаго солдата, принялись за дѣло; никто себя не жалѣлъ. Священныя утвари, образа и ризы обѣихъ церквей, императорскіе брилліанты, картины, драгоцѣнныя убранства дворца и всѣ вещи, принадлежащія царской фамиліи, были взяты и отнесены, частію къ Александровской колоннѣ, частію въ адмиралтейство.

Въ это время государь императоръ былъ увѣдомленъ, что въ Галерной гавани загорѣлось нѣсколько хижинъ. Онъ немедленно послалъ на спасеніе оныхъ наслѣдника. А самъ, рѣшившись пожертвовать главнымъ зданіемъ Зимняго дворца, которымъ пламя совершенно овладѣло, приказалъ исключительно обратить всѣ усилія на защиту Эрмитажа. Немедленно крыши галлерей, соединявшихъ сіе отдѣленіе дворца съ главнымъ корпусомъ, были разрушены, всякое сообщеніе между ними прервано. Такимъ образомъ пожаръ не достигъ къ Эрмитажу, хотя все пламя стремилось прямо на него по направленію сильнаго вѣтра. Здѣсь особенно оказалась неустрашимая спокойность пожарныхъ и солдатъ; они, можно сказать, вступили въ рукопашный бой съ огнемъ и отважно закладывали окна и двери, несмотря на пламя и дымъ, которые съ

ними боролись, но ихъ не отразили. Всѣ они дѣйствовали подъ особеннымъ надзоромъ его высочества великаго князя Михаила Павловича.

Между тѣмъ пожаръ, усиливаемый порывистымъ вѣтромъ, бѣжалъ по потолкамъ верхняго этажа; они разомъ во многихъ мѣстахъ загорались, и падая съ громомъ, зажигали полы и потолки средняго яруса, которые въ свою очередь низвергались огромными огненными грудами на крѣпкіе своды нижняго этажа, большею частію оставшагося цѣлымъ. Зрѣлище, по сказанію очевидцевъ, было неописанное: посреди Петербурга всныхнулъ волканъ. Сначала объята была пламенемъ та сторона дворца, которая обращена къ Невѣ; противуположная сторона представляла темную громаду, надъ косою пылало и дымилось ночное небо: отсюда можно было слѣдовать за постепеннымъ распространеніемъ пожара; можно было видѣть, какъ онъ, пробираясь по кровлѣ, проникнулъ въ верхній ярусъ; какъ въ среднемъ ярусѣ все еще было темно [только горѣло нѣсколько почниковъ и люди бѣгали со свѣчами по комнатамъ], въ то время какъ надъ нимъ все уже пылало и разрушалось; какъ вдругъ загорѣлись потолки и начали падать съ громомъ, пламенемъ, искрами и вихремъ дыма, и какъ наконецъ потоки огня полилися отвсюду, наполнили внутренность зданія и бросились въ окна. Тогда вся громада дворца представляла огромный костеръ, съ котораго пламя то восходило къ небу высокимъ столбомъ, подъ тяжкими тучами чернаго дыма, то волновалось какъ море, коего волны вскакивали огромными, зубчатыми языками, то вспыхивало сноиомъ безчисленныхъ ракетъ, которыя сыпали огненный дождь на всѣ окрестныя зданія. Въ этомъ явленіи было что-то невыразимое: дворецъ и въ самомъ разрушеніи своемъ какъ будто неприкосновенно вырѣзывался со всѣми своими окнами, колоннами и статуями неподвижною черною громадою на яркомъ трепетномъ пламени. А во внутренности его происходило что-то неестественное: какая-то адская сила тамъ господствовала, какіе-то враждебные духи, слетѣвшіе на добычу и надъ ней разыгравшіеся, бѣшено мчались повсюду, сталкивались, разлетались, прядали съ колонны на колонну, прилипали къ люстрамъ, бѣгали по кровлѣ, обвивались около статуй, выскакивали въ окна и боролись съ людьми, которые мелькали черными тѣнями, пробѣгая по яркому пламени. И въ то время, когда сей ужасный пожаръ представлялъ такую разительную картину борьбы противуположныхъ силъ, разрушенія и гибели, другая картина приводила въ умиленіе душу своимъ торжественнымъ, тихимъ величіемъ. За цѣпью полковъ, окружавшихъ дворцовую площадь, стоялъ народъ безчисленною толпою въ мертвомъ молчаніи. Передъ глазами его горѣло жилище царя: общая всѣмъ святыня погибала; объятая благоговѣйною скорбію, толпа стояла неподвижно; слышны были одни глубокіе вздохи, и всѣ молились за государя.

Пожаръ, начавшійся въ 8-мъ часовъ вечера, продолжался во всей своей силѣ до восхожденія солнца, и только въ эту минуту государь императоръ изволилъ возвратиться къ своему семейству.

Такъ разрушился нашъ Зимній дворецъ, великолѣпный представитель послѣднихъ славныхъ временъ Россіи. Все, что можетъ быть снова сооружено, погибло съ главнымъ зданіемъ; но сокровища Эрмитажа, которыя въ теченіе столькихъ лѣтъ были собираемы государями русскими и конхъ утрату ничто бы не замѣнило, всѣ безъ изъятія спасены. Утѣшеніемъ въ семъ печальномъ событіи можетъ послужить то, что никто изъ многочисленныхъ жителей дворца не погибъ, и что весьма многіе изъ нихъ спасли свое достояніе.

Но сіе величественное царское жилище, нынѣ представляющее одни обгорѣлыя развалины, скоро возобновится въ новомъ блескѣ. Опять въ великій день Свѣтлаго праздника будемъ, по старому обычаю, собираться на поздравленіе царя въ той

великолѣпной дворцовой церкви. Опять будемъ видѣть русскаго царя, встрѣчающаго новый годъ въ свѣтлыхъ чертогахъ своихъ вмѣстѣ съ своимъ народомъ. Опять, передъ спасеннымъ изображеніемъ Александра, будемъ воспоминать времена великой русской славы, пѣть многолѣтіе царю царствующему, возглашать вѣчную память Благословенному и славить его войско, нѣкогда столь храбро отстоявшее Россію. Наконецъ опять посреди этихъ возобновленныхъ палатъ императорскихъ, увидимъ добраго отца народа веселымъ семьянином, окруженнаго мирнымъ домашнимъ счастіемъ, которое да продлитъ Богъ для блага Россіи.

И царь и его Россія съ благоговѣніемъ приняли новое испытаніе, ниспосланное имъ всемогущимъ Промыслом. и это испытаніе, съ одной стороны, даровало случай царю явить предъ лицомъ народа своего покорность Божіей власти; съ другой народу съ новою силою выразить любовь свою къ царю, и такимъ образомъ узами скорби еще сильнѣе скрѣпился союзъ между державнымъ отцомъ и вѣрными дѣтьми его.

Январь 1838 года.

РѢЧЬ И. А. КРЫЛОВУ.

2 ФЕВРАЛЯ 1838.

Любовь къ словесности, входящей въ составъ благоденствія и славы отечества, соединила насъ здѣсь въ эту минуту. Иванъ Андреевичъ! Мы выражаемъ эту нами общую любовь, единодушно празднуя день вашего рожденія. Нашъ праздникъ, на который собрались здѣсь немногіе, есть праздникъ національный; когда бы можно было пригласить на него всю Россію, она приняла бы въ немъ участіе съ тѣмъ самымъ чувствомъ, которое всѣхъ насъ въ эту минуту оживляетъ, и вы отъ насъ немногихъ услышите голосъ всѣхъ своихъ современниковъ. Мы благодаримъ васъ во-первыхъ за самихъ себя: за столь многія счастливыя минуты, проведенныя въ бесѣдѣ съ вашимъ геніемъ; благодаримъ за нашихъ юношей, прошлаго, настоящаго и будущихъ поколѣній, которые съ вашимъ именемъ начали и будутъ начинать любить отечественный языкъ, понимать изящное и знакомиться съ чистою мудростію жизни; благодаримъ за русскій народъ, которому въ стихотвореніяхъ своихъ вы такъ вѣрно высказали его умъ и съ такою прелестію дали столько глубокихъ наставленій; наконецъ благодаримъ васъ и за знаменитость вашего имени: оно сокровище отечества и вписано имъ въ лѣтописи его славы. Но, выражая передъ вами тѣ чувства, которыя всѣ находящіеся здѣсь со мною раздѣляютъ, не могу не подумать съ глубокою скорбію, что на праздникѣ нашемъ не достаетъ двухъ, которыхъ присутствіе было бы его украшеніемъ и которыхъ потеря еще такъ свѣжа въ нашемъ сердцѣ. Одинъ, знаменитый предшественникъ вашъ на избранной вами дорогѣ, недавно кончилъ прекрасную свою жизнь, достигнувъ старости глубокой, оставивъ по себѣ славное, любезное отечеству имя. Другой, едва расцвѣтшій, и въ немногіе годы нажившій славу народную, вдругъ исчезъ, похищенный у надеждъ, возбужденныхъ въ отечествѣ его геніемъ. Воспоминаніе о Дмитріевѣ и Пушкинѣ само собою сливается съ отечественнымъ праздникомъ Крылова. Заключу желаніемъ, которое да исполнитъ Провидѣніе, чтобы вы, патріархъ нашихъ писателей, продолжали многіе годы наслаждаться цвѣтущею старостію, и радовать насъ произведеніями творческаго ума своего, для котораго еще не было и никогда не будетъ старости. Оглядываясь спокойнымъ окомъ на прошедшее, продолжайте извлекать изъ него тѣ поэтическіе уроки мудрости, которыми такъ давно и такъ плѣнительно поучаете вы современниковъ, уроки, которые дойдутъ до потомства и никогда не потеряютъ въ немъ своей силы и свѣжести: ибо они обратились въ народныя пословицы; а народныя пословицы живутъ съ народами и ихъ переживаютъ.

1840.

О СТИХОТВОРЕНІЯХЪ И. И. КОЗЛОВА.

Иванъ Ивановичъ Козловъ кончилъ болѣзненную жизнь свою. Около двадцати лѣтъ былъ онъ прикованъ къ своей постели, слѣпый, неподвижный и безпрестанно страждущій; но, глубоко проникнутый смиреніемъ христіанскимъ, онъ переносилъ бѣдственную свою участь съ терпѣніемъ удивительнымъ — и Божій Промыслъ, пославшій ему тяжкое испытаніе, даровалъ ему въ то же время и великую отраду: поразивъ его болѣзнію, разлучившею его навсегда съ внѣшнимъ міромъ и со всѣми его радостями, столь намъ измѣняющими, открылъ Онъ помраченному взору его міръ внутренній, разнообразный и неизмѣнный, міръ поэзіи, озаренный вѣрою, очищенный страданіемъ. Имѣя память необыкновенную [великое счастіе для слѣпаго], Козловъ сохранилъ во глубинѣ души все свое прошедшее; онъ жилъ имъ въ настоящемъ и до послѣдней минуты сберегъ всю свѣжесть и теплоту любящаго сердца. Несчастіе сдѣлало его поэтомъ и годы страданій были самыми дѣятельными годами ума его. Знавши прежде совершенно французскій и италіанскій языки, онъ уже на одрѣ болѣзни, лишенный зрѣнія, выучился по-англійски и по-нѣмецки — и все, что прочиталъ онъ на сихъ языкахъ, осталось врѣзаннымъ въ его памяти: онъ зналъ наизусть всего Байрона, всѣ поэмы Вальтера-Скотта, лучшія мѣста изъ Шекспира, такъ же, какъ прежде всего Расина, Тасса и главныя мѣста изъ Данта. Но лучшимъ и самымъ постояннымъ утѣшеніемъ страдальческой его жизни было то, что онъ съ такою же вѣрностію могъ читать на-память и все Евангеліе и всѣ наши молитвы, столь спасительныя въ счастіи, столь отрадныя въ печали. Такимъ образомъ жизнь его, физически разрушенная, при безпрестанномъ, часто мучительномъ чувствѣ болѣзни, была раздѣлена между религіею и поэзіею, которыя цѣлебнымъ своимъ вдохновеніемъ заговаривали въ немъ и душевныя скорби и тѣлесныя муки. Но онъ не былъ чуждъ и обыкновенной ежедневной жизни: все, что дѣлалось въ свѣтѣ, возбуждало его участіе — и онъ нерѣдко заботился о внѣшнемъ мірѣ съ какимъ-то ребяческимъ любопытствомъ. Съ той самой поры, въ которую параличъ лишилъ его и ногъ и зрѣнія, физическія страданія его не только не умолкали, но, безпрестанно усиливаясь, въ послѣднее время нерѣдко доходили до крайней степени; они однако почти не имѣли вліянія на его душу, которая всегда ихъ побѣждала, а въ промежуткахъ спокойствія дѣйствовала съ юношескою свѣжестію. Только дней за десять до смерти сильныя страданія успокоились, но вмѣстѣ съ ними какъ будто заснула и душа. Смерть подошла къ нему тихимъ шагомъ; онъ забылся на рукахъ ея и жизнь его кончилась непримѣтно *).

Поэтическія произведенія Козлова, плодъ вдохновенія и страданія, извѣстны нашимъ читателямъ. Многія изъ нихъ ознаменованы печатію благороднаго дарованія; прелесть многихъ заключается въ томъ, что они съ величайшею вѣрностію выражаютъ правду, состояніе души глубоко-страждущей, глубоко-вѣрующей и смиренной. Никто не могъ читать ихъ безъ нѣжнаго участія къ поэту, который, открывая тайну своихъ страданій, въ то же время и умилялъ насъ, дѣля съ нами тѣ высокія утѣшенія, кои почерпалъ во глубинѣ поэтической души своей. Слѣ-

*) До послѣдней минуты онъ сохранилъ свою память: но связи уже не было въ его мысляхъ. Переставъ страдать, онъ чувствовалъ безпрестанно какое-то безпокойство, поминутно требовалъ къ себѣ жену, дочь и сына: чего-то у нихъ просилъ, успокоивался, получивъ отъ нихъ отвѣтъ, и черезъ минуту опять ихъ кликалъ. Однажды, услышавъ мой голосъ, онъ подозвалъ меня, прочиталъ мнѣ стихъ: *и мертвый страшенъ былъ лицомъ!* и прибавилъ: *вотъ что ты завтра здѣсь увидишь*. Въ послѣдніе два дня онъ не могъ уже и говорить; наконецъ мало по малу овладѣлъ имъ сонъ смертный.

Примѣчаніе къ тексту.

дующая молитва написана имъ весьма незадолго до смерти; это послѣдній звукъ его арфы:

Прости мнѣ, Боже, прегрѣшенья,
И духъ мой томный обнови;
Дай мнѣ терпѣть мои мученья
Въ надеждѣ, вѣрѣ и любви.

Не страшны мнѣ мои страданья,
Они залогъ любви святой;
Но дай, чтобъ пламенной душой
Я могъ лить слезы покаянья.

Взгляни на сердца нищету:
Дай Магдалины жаръ священный;
Дай Іоанна чистоту;
Дай мнѣ донесть вѣнецъ мой тлѣнный,
Подъ игомъ тяжкаго креста,
Къ ногамъ Спасителя Христа.

Вмѣстѣ съ тяжкимъ крестомъ болѣзни, Козловъ обремененъ былъ и крестомъ бѣдности, не менѣе тяжкимъ. Окруженный любящимъ его семействомъ, которое въ свою очередь любилъ съ величайшею нѣжностію, онъ въ послѣдніе годы особенно занимался судьбою своей дочери, которой, несмотря на скудныя средства, успѣлъ дать прекрасное воспитаніе, и которая въ свою очередь съ любовію помогала ему переносить и скуку слѣпоты и тяжесть болѣзни. Исполненный этою нѣжною заботою о будущемъ милой дочери, Козловъ ей завѣщалъ всѣ поэтическія свои произведенія и мнѣ поручилъ быть исполнителемъ сего завѣщанія.

Приступая къ совершенію воли его съ твердою надеждою на помощь моихъ соотечественниковъ, я собралъ всѣ стихотворенія Козлова. Это цвѣты, расцвѣтшіе на полѣ скорби: это мечты, слезы, стоны и молитвы отца вырвавшіеся изъ души его или въ минуты тяжкихъ мукъ, или въ промежутки короткаго отъ нихъ отдохновенія, и обращающіеся теперь въ благословеніе его дочери; это цѣлая страдальческая жизнь, выраженная поэзіею и нынѣ оставленная, когда уже самъ поэтъ въ могилѣ, въ наслѣдство его дочери, на память любви, въ воздаяніе за любовь. Умершій вѣритъ сіе наслѣдство заботливости бывшихъ своихъ согражданъ, и я спѣшу, его именемъ, пригласить ихъ исполнить ту надежду, которую онъ мысленно возложилъ на нихъ, приготовляясь разстаться съ жизнію. Ихъ сердце почувствуетъ всю высокую законность подобнаго наслѣдства, и упованіе, утѣшавшее страдальца незадолго предъ его смертію, конечно не будетъ обмануто ни его бывшими друзьями, ни тѣми, кто, зная его участь, не могли остаться къ ней равнодушными, ни тѣми, кто знали его по однимъ только поэтическимъ его произведеніямъ.

Стихотворенія Козлова, въ двухъ томахъ, будутъ изданы по подпискѣ, которая принимается въ книжномъ магазинѣ А. Смирдина. Цѣна подписная 15 рублей ассигнаціями. Новыя, еще неизданныя стихотворенія, составятъ болѣе трети послѣдняго тома.

1845—1850.

О СМЕРТИ.

Изъ письма къ Н. В. Гоголю.

. . . . . .

.....Въ послѣднемъ письмѣ моемъ я обѣщался перечитывать твою книгу съ карандашомъ въ рукахъ, дабы записывать и потомъ сообщать тебѣ черезъ почту все, что мнѣ во время этого чтенія могло бы приходить въ голову. Такая работа весьма мнѣ по вкусу; не нужно дѣлать никакого плана; не нужно готовить себя ни къ какому трудному авторскому подвигу; просто лови мысли на лету: что поймаешь, то и твое. Но до сихъ поръ я не могъ исполнить своего обѣщанія: причину этого найдешь въ прилагаемомъ траурномъ объявленіи . . . . . .

. . . . . .Все было чисто, умилительно, дѣвственно въ этой [говоря человѣческимъ языкомъ] безвременной смерти. «Смерть только для живыхъ есть зло», сказалъ Карамзинъ. Это и правда, и нѣтъ. Правда, потому что не мертвые насъ теряютъ, а мы живые теряемъ мертвыхъ [и чѣмъ болѣе было къ нимъ любви, тѣмъ то-

рестнѣе ихъ утрата; чѣмъ тѣснѣе были съ ними узы, тѣмъ болѣзненнѣе ихъ разрывъ]; здѣсь смерть дѣйствительное зло для однихъ живыхъ [то есть для живыхъ, оставшихся на землѣ, а не для живыхъ, ушедшихъ за гробъ]. Можно даже сказать, что отнятое у оставшихся все отдается ушедшимъ.

Для первыхъ видѣніе земное исчезло; мѣсто, такъ мило занятое, опустѣло; глаза не видятъ, ухо не слышитъ, самое сообщеніе душъ [невидимому] прекратилось. Для послѣднихъ, напротивъ, все это сдѣлалось непосредственнѣе, свободнѣе, тѣснѣе: душа съ своими земными сокровищами, съ своими воспоминаніями, съ своею любовію, съ нею слитыми и ей, такъ сказать, укрѣпленными смертію, переходитъ въ міръ безъ пространства и времени; она слышитъ безъ слуха, видитъ безъ очей, всегда и вездѣ можетъ соприсутствовать душѣ ею любимой, не отлученная отъ нея никакимъ разстояніемъ. Здѣсь очевидно, что выигрышъ на сторонѣ мертвыхъ: живымъ этотъ языкъ духовный еще не можетъ быть внятенъ, и то, что по настоящему сдѣлалось болѣе ихъ собственностью, кажется имъ не существующимъ, потому что оно имъ невидимо. Но въ то же время смерть есть великое благо и для живыхъ, и тѣмъ бо́льшее благо, чѣмъ милѣе намъ былъ нашъ умершій. Но это можетъ постигать одинъ только христіанствомъ проникнутый разумъ. И какую великую силу пріобрѣтаетъ убѣжденіе разума, когда оно становится опытомъ сердца. Пока мы сами еще не испытали никакой болѣзненной утраты, мы съ умиленіемъ слушаемъ голосъ Спасителя, исходящій намъ изъ Евангелія, и можемъ мыслію постигать великое значеніе человѣческой жизни. Но когда надъ нами самими совершается ударъ свыше, какъ иначе дѣлается тогда понятенъ сердцу этотъ евангельскій голосъ; уже не въ листахъ книги мы ищемъ тогда Спасителя, Онъ Самъ насъ находитъ, Онъ Самъ становится къ намъ лицомъ къ лицу; цѣною бѣдствія покупаемъ мы лицезрѣніе Бога. Но дорога ли эта цѣна въ сравненіи съ тѣмъ сокровищемъ, которое мы за нее пріобрѣтаемъ? — Все это я прежде думалъ; теперь я это видѣлъ, и опытъ близкаго мнѣ сердца сдѣлался моимъ собственнымъ опытомъ. Я видѣлъ и слышалъ отца въ ту минуту, когда закрылись глаза его любимой дочери, отца-христіанина. Но здѣсь всего проще повторить его слова, сказанныя имъ своей семьѣ въ первую минуту горькой утраты: «Великое дѣло милости Божіей надъ нами совершилось; мы своими глазами видѣли, какъ наша милая дочь перешла къ Небесному Отцу своему; она принесла Ему чистую, ничѣмъ житейскимъ непотревоженную и съ Нимъ примиренную душу. И теперь мы знаемъ, безъ всякаго земнаго сомнѣнія, знаемъ, что ей дано все то, чего бы никакою силою нашей любви мы не могли ни дать, ни сохранить ей въ здѣшней жизни. Мы знаемъ, что это данное навсегда ей останется, что превратности жизни для нея миновались, что для нея уже нѣтъ ничего невѣрнаго: ни страха въ настоящемъ, ни тревоги за будущее. Мы можемъ только благодарить и славить. И послѣ такого яснаго узнанія милости неизреченной, не позволимъ себѣ никогда ни пожалѣть, что она отъ насъ взята, ни пожелать, чтобы она была съ нами. Будемъ смиренны, и чтобы наше горе никогда не пересилило нашей теперешней радости, за себя будемъ покорны, за нее радостны и благодарны». Таково земное бѣдствіе въ присутствіи христіанства; безъ него оно бы раздавило душу; при немъ человѣческій мракъ обращается въ утѣшительный свѣтъ Божій.

20 февраля
4 марта 1847.

О МОЛИТВѢ.

письмо къ н. в. гоголю.

Я обѣщалъ прислать тебѣ замѣчанія на твою книгу—и остался до сихъ поръ при одномъ обѣщаніи; съ того времени прошло почти годъ. Приступая наконецъ

къ исполненію обѣщаннаго, повторяю сказанное мною тогда, что я намѣренъ писать не критику на твою книгу, а только то, что будетъ мнѣ приходить случайно въ мысли по поводу твоихъ мыслей; иногда, само собою разумѣется, придется сказать слова два pro или contra о содержаніи самой книги, сдѣлать критическую придирку и проч.; но на все это нѣтъ у меня никакого плана — что напишется, какъ напишется, тутъ весь и планъ. Притомъ же слишкомъ взыскательная критика относительно твоей книги совсѣмъ неумѣстна: ты напечаталъ отрывки изъ писемъ [которыхъ не имѣлъ намѣренія печатать]. Характеръ писемъ есть свобода, какъ въ ходѣ мыслей, такъ и въ ихъ выраженіи; кто выдаетъ письма въ печать, тотъ необходимо долженъ сохранить имъ этотъ характеръ свободной неприготовленности; здѣсь сама небрежность имѣетъ прелесть: она есть даже достоинство. Въ письмахъ выражаются не однѣ мысли, но и вся личность писателя: его голосъ, его жесты, его физіогномія; къ слогу писемъ особенно относится то, что говоритъ Бюффонъ вообще о слогѣ: «le style c'est l'homme» [«слогъ — человѣкъ»]. Въ письмѣ каждая мысль наша, легко набросанная на бумагу, есть живое новорожденное дитя: переправлять съ строгою отчетливостію ея выраженіе для печати, значитъ натягивать морщины старости на свѣжее лицо младенца. Правда, когда няня выноситъ ребенка изъ дѣтской въ гостиную, она его прежде умоетъ и одѣнетъ, но все одежда его должна быть дѣтская, а не парикъ отца и не чепецъ матери. И печатая письма, надобно конечно и пріумыть и пріодѣть слогъ, но такъ, чтобы младенчество не перерядилось въ старость.

Кстати о слогѣ и о придирчивой критикѣ. Живучи за границею и не получая нашихъ журналовъ, я не могъ знать, что было въ нихъ напечатано о твоей книгѣ — читалъ одну прекрасную статью князя Вяземскаго, въ которой, не осыпая тебя риторными похвалами, но и не скрывая слабыхъ сторонъ твоихъ, онъ такъ мужественно, такъ трогательно защищаетъ и твое произведеніе и твой характеръ противъ нападковъ несправедливости. По чтеніе этой статьи заставило меня заключить, что тебѣ крѣпко досталось отъ нашихъ аристарховъ; и я, признаться, попенялъ самому себѣ за то, что въ одномъ случаѣ не предохранилъ тебя отъ ихъ ударовъ, тѣмъ болѣе чувствительныхъ, что они подѣломъ тебѣ достались: именно винюсь въ томъ, что не присовѣтовалъ тебѣ уничтожить твое *заклинаніе* и многое переправить въ твоемъ *предисловіи*. Когда ты мнѣ читалъ и то и другое — имѣя тебя самого передъ глазами, я былъ занятъ твоею личностью, и зная, какъ все мною слышанное было искреннимъ выраженіемъ тебя самого, зная, какъ ты далекъ отъ всякаго самохвальства, отъ всякаго смѣшнаго самобоготворенія, я находилъ привлекательнымъ то, что послѣ, когда [вмѣсто самого автора] явилась передъ мною мертвая печатная книга и воображенію моему представилась наша читающая публика, сидящая чиномъ на креслахъ и стульяхъ кругомъ чтеца, и въ арріергардѣ фаланга журналистовъ, вооруженныхъ дрекольемъ порицанія и крючьями придирки, то многое, мнѣ прежде показавшееся столь привлекательно-оригинальнымъ, представилось страннымъ и непріличнымъ. За то и твой смиренный вызовъ: простить тебѣ твои грѣхи вольные и невольные и съ тобою христіански примириться, возбудилъ въ твоихъ нищущихъ собратіяхъ одну нехристіанскую насмѣшку и весьма языческое злоязычіе. Да и самъ я, вспомнивъ о твоемъ *предисловіи*, намѣренъ пристать на минуту къ твоимъ порицателямъ. Это послужитъ тебѣ доказательствомъ, что я пишу какъ перо велитъ: взявъ его въ руки, я еще не зналъ, какое будетъ содержаніе письма моего.

Одно мѣсто въ заключеніи твоего *предисловія* меня останавливаетъ; въ немъ есть

или неточность выраженія, или самая выраженная мысль фальшива. Ты просишь, чтобы за тебя, идущаго въ путь далекій, въ отечествѣ молились, просишь молитвы, какъ отъ тѣхъ, которые смиренно не вѣруютъ въ силу молитвъ своихъ, такъ и отъ тѣхъ, которые не вѣруютъ вовсе въ молитву, и даже не считаютъ ее нужною,—другими словами: ты просишь отъ нихъ невозможнаго, того, что имъ вовсе чуждо, чего они ни имѣть, ни дать не могутъ, чего даже отъ нихъ и просить не должно потому, что въ томъ видѣ, въ какомъ бы они его дали, если бы дать могли, оно не можетъ быть никѣмъ желаемо и не принесетъ желающему никакой пользы. Можетъ ли быть молитва безъ вѣры въ молитву? И для кого можетъ быть дѣйствительна подобная молитва, если только здѣсь у мѣста имя молитвы? Что же хотѣлъ ты сказать? Не понимаю. Молитва не можетъ существовать безъ молящагося; она тогда только получаетъ жизнь, когда слова, ее выражающія, выражаютъ въ то же время и душу ихъ произносящаго: тогда совершается таинство смиренія передъ Богомъ въ душѣ человѣческой, таинство для насъ непонятное, таинство, силою котораго Всемогущій, всякое добро творящій по одной своей мудрости и благости, такъ сказать, покоряется бѣдному слову человѣка. Въ чемъ же это таинство, въ чемъ его сила? Въ вѣрѣ, приводящей въ движеніе горы; въ смиреніи, предающемъ насъ безъизъятно въ сильную руку Бога. Такой молитвы Онъ Самъ отъ насъ требуетъ; такая молитва заключается въ неисчерпаемой глубинѣ тѣхъ словъ, которыя Самъ Онъ научилъ произносить насъ, человѣчески давъ ихъ человѣку, дабы онъ могъ непосредственно соединиться съ сердцемъ Бога. Но и эти живыя слова, изъ устъ Божіихъ намъ исшедшія, не будутъ имѣть никакой живительной силы, если не будутъ словами смиренно вѣрующаго сердца.

Богъ требуетъ отъ насъ молитвы. На что Ему наша молитва? спросить умствователь. Нужно ли Его преклонять на милость, когда Онъ по существу своему есть милость верховная? Нужно ли и Ему Самому устанавливать между собою и человѣкомъ обрядъ моленія съ словесною формою молитвы? Нужно ли говорить человѣку: ты прежде потребуй, тогда Я дамъ,—когда Ему все, для человѣка необходимое, напередъ извѣстно и когда всѣ благія даянія сами собою изъ Него истекаютъ? Въ отвѣтъ на сіи вопросы умствователя, христіанинъ, вмѣсто всякаго объясненія, укажетъ молча на Евангеліе, гдѣ сказано: молитесь. А что сказано въ Евангеліи, то есть истина, безъ согласія ума доказанная вѣрою. Но и умъ согласенъ будетъ съ словами евангельскими, если напередъ постановить, что умъ не изъ своихъ заключеній извлекаетъ убѣжденіе въ бытіи Божіемъ, а напротивъ всѣ свои выводы опираетъ на главной, коренной, центральной идеѣ, принятой за аксіому, что Богъ существуетъ—не метафизическій Богъ пантеизма, безжизненная идея, но Богъ живой, тройственный, лицо самобытное, Богъ, во всякое мгновеніе вѣчнаго своего бытія, на всякомъ пунктѣ неизмѣримости, весь присутственный, постоянно, непрерывно, сознательно дѣйствующій, какъ на каждую пылинку созданія своего отдѣльно, такъ и на все свое созданіе въ совокупности. При такомъ признаніи бытія Божія, которое есть въ то же время и откровеніе, всѣ для нашей ограниченности несогласимыя противорѣчія исчезаютъ; умъ останавливается передъ указанными ему границами, признаетъ неотрицаемость истинъ, одна другую исключающихъ, и смиренно передаетъ вѣрѣ ихъ согласованіе, силѣ его неподвластное.

Не входя въ безполезное согласованіе противорѣчущихъ другъ другу, но въ существѣ своемъ неоспоримыхъ истинъ, и принимая съ смиренною вѣрою слова Евангелія, мы должны сказать, что въ семъ требованіи отъ насъ молитвы выражается вся благость Бога живаго. Тогда какъ тамъ въ небесахъ, въ не-

измѣримости пространства, посреди этого не имѣющаго береговъ океана, въ которомъ каждая капля есть солнце, неисчислимымъ звѣздамъ указываются пути ихъ, и на каждой звѣздѣ устроивается судьба каждаго ея атома по законамъ, однажды даннымъ и вѣчно хранимымъ [не механическою необходимостію, а промыслительнымъ, любящимъ всемогуществомъ], здѣсь, на нашей земной пылинкѣ, совершается великое дѣло спасенія души человѣческой; вѣчный Богъ вступаетъ въ братство съ минутнымъ жителемъ земной пылинки, вселяетъ божественное всемогущество въ скинію человѣческой ничтожности, чтобы дать душѣ человѣческой въ себѣ отца, и покоряетъ свою благость силѣ человѣческаго слова, говоря ему: Молися; когда въ твоей молитвѣ будетъ душа твоя, тогда и Я въ твоей молитвѣ буду съ твоею душою. Тебѣ молитва нужна какъ Моя къ тебѣ любовь, а Мнѣ твоя молитва нужна какъ твоя любовь ко Мнѣ... Нужна, нужна Богу! Здѣсь является передъ нами во всей своей наготѣ бѣдный языкъ человѣка, который тѣ же слова, какими выражается наша ничтожность, употребляетъ для выраженія неизглаголанности Божіей.

Остановимся на этомъ предметѣ. Когда мы умствуемъ о существѣ Бога, то есть, когда нашъ умъ, ограниченный тѣснымъ кругомъ, одними собственными способами силится обнять необъятное и, такъ сказать, въ атомъ слова втѣснить созданіе и создателя, мы безпрестанно попадаемъ на истины неразрѣшимо-противорѣчущія одна другой. Сія неразрѣшимость не принадлежитъ существу самой истины,—она есть только наша естественная неспособность собственными силами найти разрѣшеніе. Мы можемъ путемъ ума добираться до частныхъ, отдѣльныхъ, относительныхъ истинъ, можемъ даже обнимать однимъ взглядомъ тотъ историческій порядокъ, въ которомъ эти истины одна за другою, или одна изъ другой слѣдуютъ; но цѣлаго, но слiянія всѣхъ истинъ въ одну общую, основную, положительную, все проникающую своимъ свѣтомъ, нашъ умъ обнять не можетъ; всякой результатъ нашихъ умствованій есть не иное что, какъ послѣднее звено цѣпи — все одинъ отрывокъ. Когда мы умствуемъ о Богѣ, мы, съ своей точки во времени и пространствѣ, смотримъ на вѣчное и неизмѣримое глазами, привыкшими видѣть одно преходящее и ограниченное; для выраженія сего вѣчнаго и неизмѣримаго мы употребляемъ языкъ, котораго каждое слово есть знаменіе временнаго и мелкаго. Чтобы постигнуть Бога и Его свойства, надлежитъ стать на Его мѣсто: иначе мы будемъ всюду видѣть однѣ отрывочныя, одна другой противуположныя, слѣдственно одна другую исключающія истины, но въ то же время будетъ всегда въ насъ тревожное, темное чувство, что истина верховная таинственно соприсутствуетъ нашему сомнѣнію, что она, вопреки всѣмъ явнымъ противорѣчіямъ, неотрицаема, но что для насъ она не уловима и нашему убѣжденію не доступна. Какое тогда прибѣжище останется уму, если только онъ въ своей гордости не разсѣчетъ Гордіева узла дерзостнымъ отрицаніемъ? Вѣра въ откровеніе. Откровеніе есть голосъ, слышимый съ Божія мѣста: оно дополняетъ знаніе, миритъ противорѣчія и ставитъ насъ лицомъ къ лицу передъ вѣчною истиною. Одинъ разъ только эта истина сама явилась на землѣ глазамъ человѣка; и онъ ее видѣлъ безъ покрывала, и не узналъ ее. Когда Спаситель стоялъ передъ судилищемъ Пилата и Пилатъ спросилъ у него, употребивъ, какъ римлянинъ, языкъ Рима: Quid est veritas? Что есть истина?—Господь не отвѣтствовалъ. Но въ отвѣтѣ Его, если бы Онъ восхотѣлъ дать отвѣтъ, заключались бы всѣ буквы слова вопроса съ перемѣною только ихъ порядка: est vir, qui adest, — есть мужъ, который предстоитъ. Истина есть Богъ, а нашъ умъ есть этотъ вопрошающій Пилатъ, который и не подозрѣваетъ, что отвѣтъ на

вопросъ его заключается въ самомъ его вопросѣ [попеже настоящій порядокъ ему неизвѣстенъ] и, предѣдая гордо на судилищѣ, не узнаетъ божественнаго откровенія, ему предстоящаго въ образѣ этого Всемогущаго Узника, котораго скоро съ самовластіемъ безпощаднымъ предастъ поруганію и смерти.

Однажды [это было въ Висбаденѣ] я шелъ передъ вечеромъ по берегу узкаго канала; небо задернуто было синими облаками, изъ-подъ которыхъ съ чистаго горизонта сіяло заходящее солнце и золотило зданія, деревья и зелень; этотъ яркой блескъ составлялъ прекрасную противоположность съ холодною мрачностью неба. Вдругъ передо мною вода канала, дотолѣ спокойно неподвижная и стоявшая вровень съ берегами [отъ плотины, которою былъ каналъ перерѣзанъ], быстро и съ шумнымъ кипѣніемъ перелилась черезъ край плотины въ жерло водопровода [которымъ она далѣе текла подъ землею]. На мѣстѣ перелома, передъ самымъ темнымъ жерломъ подземнаго свода, сверкала на солнцѣ яркая, движущаяся полоса, и на этой полосѣ, отъ быстраго низверженія воды, взлетали безчисленными, разной величины пылинками сіяющія капли; однѣ подымались высоко, другія густо кипѣли на самомъ переломѣ, и всѣ онѣ на взлетѣ и на паденіи яркими звѣздочками отдѣлялись отъ темноты подземнаго свода, которымъ поглощалась вся влажная масса; мгновенное ихъ появленіе, болѣе или менѣе быстрое, вдругъ прекращалось, уступая другому такому же, и всѣ исчезали вмѣстѣ съ волною, ихъ породившею, во тьмѣ подземелья. Это было для меня чуднымъ, символическимъ видѣніемъ. Съ своего мѣста, однимъ взглядомъ я обнималъ движеніе безчисленныхъ міровъ; эти свѣтлыя, мгновенныя капли, эти атомическія звѣзды, всѣ конечно населенныя микроскопическими жителями [ибо здѣсь все преисполнено жизни], совершали, каждая какъ самобытный міръ, свой кругъ опредѣленный и каждый изъ обитателей всѣхъ этихъ минутныхъ міровъ также совершалъ свой полный переходъ отъ рожденія къ смерти,—все это мнѣ представлялось разомъ съ той высшей точки зрѣнія, внѣ того тѣснаго пространства, на которомъ происходило видимое мною движеніе; я все могъ обозрѣть въ совокупности однимъ взглядомъ [хотя подробности были недоступны слабому моему зрѣнію]. Тамъ все [отъ неимовѣрной быстроты движенія] сливалось для меня во едино: не было ни настоящаго, ни прошедшаго, ни будущаго; я разомъ видѣлъ начало и конецъ, но видѣлъ конечно слѣпыми глазами, не постигая видимаго; тогда какъ въ то же время непримѣтные жители безчисленныхъ водяныхъ пылинокъ, такъ быстро подымавшихся на узкой полосѣ свѣта, между двумя темными глубинами, имѣли каждый свою полную жизнь, свое начало и конецъ, свои годы, свои мгновенія; но то, что было имъ полною жизнію на ихъ мѣстѣ, то было менѣе нежели тѣнью мгновенія на моемъ. И какая разница между моими о нихъ понятіями, съ моей точки зрѣнія, и тѣми, какія они могли имѣть о себѣ на своей. Я видѣлъ вдругъ и начало и конецъ того, что для нихъ было только послѣдствіе, только переходъ, отъ начала къ концу. Я, такъ сказать, смотрѣлъ на нихъ изъ вѣчности, они же смотрѣли на себя во времени. Теперь вообразимъ ангела, стоящаго превыше мірозданія, посреди безчисленнаго множества созвѣздій — яркихъ брызговъ, взлетающихъ съ великаго потока, озаряемаго незаходимымъ солнцемъ; что будетъ передъ глазами его наша земная капля? Что будутъ наши мгновенія, наши тысячелѣтія? Что будетъ рожденіе, могущество и паденіе нашихъ великихъ имперій? Однимъ словомъ, что будетъ онъ видѣть съ своего мѣста — не то же ли, что я видѣлъ съ моего, когда смотрѣлъ на мелкіе брызги водоема? И въ то же время, съ своего мѣста не будетъ ли онъ такъ же далеко отъ вѣчности, какъ мы на своемъ

далеко и отъ него и отъ той же неизглаголанной вѣчности и отъ ея источника Бога, для Котораго нѣтъ измѣненій, нѣтъ конца и начала, нѣтъ противорѣчій, для Котораго все есть постоянство, жизнь, свѣтъ и истина? Но чистый ангелъ, созерцающій лицо Бога, исчезаетъ предъ нимъ въ блаженствѣ смиренія, а мы?..

P. S. Еще нѣсколько словъ о томъ же предметѣ.

Безъ самоотверженія нѣтъ молитвы; безъ молитвы нѣтъ самоотверженія. Для чего мы здѣсь? Для того ли, чтобъ предаваться разнообразнымъ впечатлѣніямъ внѣшняго, принадлежать каждому вполнѣ на минуту, и потомъ вполнѣ — вслѣдъ за сими быстрыми минутами, какъ онѣ— исчезнуть? Если бы это было такъ, то можно бы было утвердительно сказать, что мы созданіе случая, который самъ есть нѣчто несущественное. Нѣтъ, мы здѣсь для Бога. Тотъ, Кто, создавъ насъ, вложилъ въ нашу душу стремленіе Его постигнуть и съ Нимъ соединиться, не могъ насъ ни для чего инаго создать, какъ для Самого Себя. Такъ говоритъ здравый философствующій умъ. Но онъ только угадываетъ истину. Откровеніе являетъ ее въ самомъ фактѣ. Мы созданы Богомъ для Бога, мы помѣщены Имъ въ этомъ мірѣ, гдѣ каждому изъ насъ Онъ указалъ свое мѣсто и свой кругъ дѣйствія, для того, чтобы посреди сихъ измѣняющихся, мгновенныхъ, насъ увлекающихъ явленій, постоянно искать Бога, неизмѣнно къ Нему стремиться и въ Немъ одномъ пребывать мыслію, волею и дѣйствіемъ; для того, чтобы всѣ сіи вѣчныя, но отрывочно въ разныя мгновенія временнаго бытія собранныя о Немъ понятія, сіе извлеченіе вѣчнаго изъ временнаго, слившись съ душою, по существу своему съ Нимъ однородною, ее очистили, возвысили, преобразовали и съ нею на всю вѣчность перешли въ иную, высшую жизнь; однимъ словомъ: мы здѣсь для самоотверженія. Чтобы отвергнуться самого себя, надлежитъ стать предъ лицомъ Бога и въ Его присутствіи постигнуть всю ничтожность и насъ самихъ и всего насъ окружающаго и все несказанное блаженство присутствія Божія, или, лучше сказать, нашей принадлежности Богу, Который самъ такъ благостно намъ дается. Сіе предстаніе души предъ лицо Бога есть молитва, и она бываетъ только тогда, когда передъ душою нашею нѣтъ ничего кромѣ Бога — слѣдовательно, когда мы вполнѣ самихъ себя и всего насъ окружающаго отверглись. Итакъ, самоотверженіемъ мы приходимъ къ молитвѣ, а молитва, будучи высшею степенью самоотверженія, усиливаетъ его въ душѣ нашей и имъ насъ совершенствуетъ. Молитва Господня есть голосъ и выраженіе чистѣйшаго самоотверженія; уже и потому это такъ, что человѣкъ получилъ эту молитву изъ устъ самого Бога-Спасителя. Одинъ только Спаситель, то есть Богъ любящій, могъ научить человѣка предаться Богу Создателю, то есть Богу Отцу, и дать Ему истинное, исключительно Ему принадлежащее имя Отца, сущаго на небесѣхъ. Молясь, мы должны не просить у Бога того, что ему одному принадлежитъ, а отдавать Богу то, что наше. Въ словахъ: *Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ*, заключается полное самоотверженіе, какое только бываетъ въ младенцѣ, безсознательно привыкшемъ повиноваться отцу своему; есть не только покореніе своей воли волѣ сильнѣйшей, любящей и любимой, но и спокойное, беззаботное незнаніе своей воли, дающее чистому сердцу младенца тотъ полный, имъ еще не постигнутый, но глубоко его проникающій миръ, который обращаетъ его свѣжую жизнь въ блаженство, и которымъ такъ сладостно для насъ воспоминаніе дѣтскихъ лѣтъ нашихъ. *Да святится имя Твое*—имя Отца, имя небеснаго Отца. Что значитъ слово: *да святится?* Да будетъ произносимо устами сыновними такъ, какъ имя Божіе произносимо быть должно, съ полнымъ уничтоженіемъ всего собственнаго, съ

полнымъ ощущеніемъ всей святости этого имени и взаимнаго отношенія между Отцомъ небеснымъ и сыномъ земнымъ, отношенія, которое съ одной стороны есть благость всемогущая и любовь спасающая и правда высшая, а съ другой— полное уничтоженіе своей воли и признаніе одной воли всевышней, полное, самоотверженное преданіе себя и всего въ сію волю. *Да пріидетъ царствіе Твое*—да все живущее и мыслящее совокупно отвергнется себя и да каждая отдѣльная воля сольется со всѣми другими въ одно всеобщее повиновеніе волѣ верховной. *Да будетъ воля Твоя на земли, яко на небеси* — то же самое, но въ отношеніи къ каждому человѣку отдѣльно и къ земной судьбѣ его: для насъ въ этой жизни нѣтъ ничего самобытно-существеннаго, ничего такого, что бы могло имѣть для насъ цѣну по своему положительному достоинству: все имѣетъ значеніе только по отношенію къ Богу; всѣ наши здѣшнія блага, и то, что мы называемъ ошибочно счастьемъ, и то, что наша слабость именуетъ бѣдствіемъ, все есть одно знаменіе Бога, есть его воля въ разныхъ видахъ, есть явленіе, происходящее передъ нами только для того, чтобы мы имѣли поводъ сказать самоотверженнымъ сердцемъ: *да будетъ воля Твоя. Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь* — дай намъ въ это мгновеніе то, что намъ въ это мгновеніе нужно; не одинъ хлѣбъ, утоляющій голодъ тѣлесный, но и хлѣбъ, утоляющій голодъ души: чистыя мысли и чувства, спокойствіе въ присутствіи бѣды и горя, терпѣніе въ испытаніи, память долга въ рѣшительную минуту выбора воли, однимъ словомъ, самоотверженіе, то есть произвольное, во всякую минуту, безъ малѣйшаго тревожнаго взгляда за границу этой минуты, въ душѣ пребывающее преданіе себя въ хранящую волю Бога. *Не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго* — то же самое, только въ смыслѣ нашей внутренней жизни: тамъ самозабвеніе относительно всѣхъ событій житейскихъ, извнѣ на насъ дѣйствующихъ, здѣсь самоотверженіе относительно событій внутреннихъ, то есть дѣйствій нашей души, свободной, слѣдственно подлежащей искушенію, но искушенію, не Богомъ посылаемому [понеже Богъ не творитъ зла и не влечетъ ко злу], а искушенію, составляющему необходимое условіе нашей свободной воли, которая тогда только теряетъ свою естественную шаткость, когда вполнѣ, произвольно сливается съ волею Бога и въ ней исчезаетъ. Но и самая сія произвольность дается ей Богомъ, все дающимъ: Онъ одинъ, молитвою призванный, можетъ отвесть нашу душу отъ бездны искушенія, на краю которой идетъ дорога нашей земной жизни, и подать ей руку, когда, упадшая въ эту бездну, она призоветъ Его утопая.

О ПОЭТѢ И СОВРЕМЕННОМЪ ЕГО ЗНАЧЕНІИ.

письмо къ н. в. гоголю.

Прекрасное, трогательное письмо твое застало меня за твоею книгою: я былъ занятъ прикрѣпленіемъ къ бумагѣ нѣкоторыхъ мыслей, которыя бродили въ головѣ при чтеніи твоей статьи о томъ, что такое слово; твое письмо пришло кстати: оно дополняетъ печатную статью — а написанное мною на твое разсужденіе о важности слова, будетъ въ то же время и отвѣтомъ на письмо твое.

Стихи Державина:

За слова меня пусть гложетъ,
За дѣла сатирикъ чтитъ,

служащіе, такъ сказать, темою твоей статьи, не имѣютъ, по моему мнѣнію, никакого яснаго смысла: ошибки писателя не извиняются его человѣческими добродѣтелями; и самолюбіе поэта, оскорбленное критикою, не утѣшится, когда онъ самъ себѣ или его аристархъ ему скажетъ: ты негодный поэтъ, но человѣкъ почтенный.

Но то, что̀ сказалъ Пушкинъ о сти-

хахъ Державина, весьма значительно — оно будетъ теперь главнымъ предметомъ моей съ тобою бесѣды. Прошу однако не пугаться, ибо я намѣренъ, какъ говорится, начать съ яицъ Леды; хочу длиннымъ обходомъ придти съ тобою къ выраженію Пушкина: слова поэта суть уже дѣла его.

Не имѣя возможности постигнуть существа духовнаго въ немъ самомъ и выразить матеріальнымъ словомъ его нераздѣлимости, его единства, мы дробимъ нашу душу на разныя способности, дѣлимъ ее, такъ сказать, на участки и къ каждому изъ нихъ приписываемъ особенную, отдѣльную ея способность. Говоря о тѣлѣ, мы можемъ опредѣленно означать и всѣ его опредѣленно въ немъ дѣйствующіе члены: мы говоримъ: голова, глаза, рука, нога и прочее; но говоря: умъ, воля и тому подобное, мы разными именами означаемъ одно и то же, то есть всю душу, въ разныхъ только образахъ ея дѣйствія; нѣтъ такой особенной части въ душѣ, которая была бы только умъ или воля, все это — вся душа, полная, всегда нераздѣлимо дѣйствующая. Мы только для немощи принуждены прибѣгнуть къ раздробленію единства на части. Душа мыслитъ, избираетъ [то есть, отвергаетъ или принимаетъ], творитъ, вѣруетъ; сіи разные образы дѣйствія одной и той же души мы называемъ: умъ, воля, творчество, вѣра.

Умъ [говоря языкомъ обыкновеннымъ, то есть, раздробляя наше духовное единство на способности отдѣльныя] есть самая низшая, но въ то же время и самая многообъемлющая, основная, всѣ дѣйствія другихъ способностей проникающая и опредѣляющая способность души нашей. Онъ дѣйствуетъ въ предѣлахъ матеріальнаго міра, опредѣляетъ форму, измѣряетъ движеніе, изъ вещественныхъ формъ извлекаетъ понятія общія и изъ движенія законъ [то есть изъ того, что всегда бываетъ, то, что всегда должно быть], изъ неизмѣняющагося неизмѣнное. Я назвалъ умъ низшею способностію души потому, что онъ совершенно подчиненъ закону необходимости: первый пунктъ [le point de départ], передовое положеніе [Vordersatz] могутъ нѣкоторымъ образомъ быть избраны произвольно; произвольность можетъ быть также и въ болѣе или менѣе упорномъ пребываніи на избранномъ пути, но самый этотъ путь [то есть, весь ходъ ума, все сцѣпленіе выводовъ съ ихъ необходимымъ результатомъ] отъ ума независимъ — путь ума есть путь по желѣзной дорогѣ: здѣсь свободенъ только выборъ мѣста въ вагонѣ, то есть, выборъ перваго пункта отбытія; все остальное повинуется желѣзной силѣ релей, разъ скованныхъ и къ землѣ навсегда прикрѣпленныхъ. Мы быстро, и повидимому произвольно, движемся впередъ; но эта произвольность мнимая: мы не властны ни перемѣнить движенія, ни управлять имъ; самая сила влекущаго насъ паровоза есть только сила, а не власть, и бѣда, если она хоть на мигъ покинетъ направленіе, въ началѣ пути ею полученное. Во-вторыхъ, нашъ умъ есть способность низшая и потому, что онъ ничего изъ самого себя не извлекаетъ, что всѣ его созданія, сколь ни кажутся они самобытными, извлечены изъ внѣшняго, вещественнаго міра, суть, такъ сказать, умственное потомство матеріальности въ первомъ, десятомъ, двадцатомъ колѣнѣ. Воля стоитъ степенью выше ума: она свободна; но объемъ ея дѣйствій гораздо ограниченнѣе: она только избираетъ или отвергаетъ, руководствуясь закономъ нравственнымъ [котораго постиженіе и опредѣленіе есть дѣло ума], но руководствуясь самобытно, то есть, имѣя власть рѣшить согласно или несогласно съ симъ закономъ. Она выражается въ нашихъ дѣйствіяхъ, и ею только получаемъ мы характеръ существъ нравственныхъ. Третья способность души, творчество, потому должна быть поставлена степенью выше ума и воли, что ея дѣйствія не слѣдуютъ никакому чуж-

дому побужденію, а непосредственно изъ души истекаютъ—въ ней наиболѣе выражается божественность происхожденія души человѣческой, котораго признакъ есть сіе стремленіе творить изъ себя, себя выражать въ своемъ созданіи, безъ всякаго посторонняго повода, по одному только вдохновенію, которое не есть ни умъ, ни воля, но и то и другое, соединенное съ чѣмъ-то самобытнымъ, такъ сказать, свыше, безъ вѣдома нашего, на насъ налетающимъ, другому высшему порядку принадлежащимъ. Наконецъ вѣра, то есть способность принимать божественное откровеніе. Она есть самобытнѣйшая способность души человѣческой: здѣсь нашъ умъ смиряется, воля властвуетъ безъ произвола, творчество пріобрѣтаетъ характеръ созерцанія, словомъ, все сливается въ одно, въ вѣру, въ свободное преданіе души непосредственно открывающемуся ей Богу.

Теперь мы дошли до крайней точки нашего обхода, и можемъ, возвратясь назадъ, сказать что-нибудь путное о выраженіи Пушкина: слова поэта суть уже его дѣла. Для этого надобно однако еще предварительно объяснить: что такое дѣла поэта, что такое поэтъ или художникъ, что есть художество и гдѣ его источникъ?

Я позволяю себѣ здѣсь повторить то, что было мною сказано въ другомъ мѣстѣ: «Руссо говоритъ: Il n'y a de beau que ce qui n'est pas—прекрасно только то, чего нѣтъ. Это не значитъ: только то, что не существуетъ; прекрасное существуетъ, но его нѣтъ, ибо оно, такъ сказать, намъ является единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы намъ сказаться, оживить, обновить душу—но его ни удержать, ни разглядѣть, ни постигнуть мы не можемъ; оно не имѣетъ ни имени, ни образа; оно посѣщаетъ насъ въ лучшія минуты жизни — величественное зрѣлище природы, еще болѣе величественное зрѣлище души человѣческой, очарованіе счастія, вдохновеніе несчастія и проч. производятъ въ насъ сіи живыя ощущенія прекраснаго, и весьма понятно, почему почти всегда соединяется съ нимъ грусть — но грусть, не приводящая въ уныніе, а животворная, сладкая, какое-то смутное стремленіе: это происходитъ отъ его скоротечности, отъ его невыразимости, отъ его необъятности. Прекрасно только то, чего нѣтъ—въ эти минуты тревожно-живаго чувства стремишься не къ тому, чѣмъ оно произведено и что передъ тобою, но къ чему-то лучшему, тайному, далекому, что съ нимъ соединяется и чего въ немъ нѣтъ, но что гдѣ-то, и для одной души твоей, существуетъ. И это стремленіе есть одно изъ невыразимыхъ доказательствъ безсмертія: иначе отчего бы въ минуту наслажденія не имѣть полноты и ясности наслажденія? Нѣтъ! эта грусть убѣдительно говоритъ намъ, что прекрасное здѣсь не дома, что оно только мимопролетающій благовѣститель лучшаго; оно есть восхитительная тоска по отчизнѣ, темная память о утраченномъ, искомомъ и со временемъ достижимомъ Эдемѣ; оно дѣйствуетъ на нашу душу не однимъ присутственнымъ настоящимъ, но и неяснымъ, въ одно мгновеніе сліяннымъ воспоминаніемъ всего прекраснаго въ прошедшемъ и тайнымъ ожиданіемъ лучшаго въ будущемъ.

А когда насъ покидаетъ,
Въ даръ любви у насъ въ виду
Въ нашемъ небѣ зажигаетъ
Онъ [геній красоты] прощальную звѣзду.

Эта прощальная, навсегда остающаяся въ нашемъ небѣ звѣзда есть знакъ, что прекрасное было въ нашей жизни, и вмѣстѣ знакъ, что оно не къ нашей жизни принадлежитъ! Звѣзда на темномъ небѣ—она не сойдетъ на землю, но утѣшительно сіяетъ намъ изъ дали, и нѣкоторымъ образомъ сближаетъ насъ съ тѣмъ небомъ, съ котораго неподвижно намъ свѣтитъ! Жизнь наша есть, такъ сказать, ночь подъ звѣзднымъ небомъ,—наша душа въ минуты вдохновенныя открываетъ новыя звѣзды; эти звѣзды не даютъ и не должны давать намъ пол-

наго свѣта, но украшая наше небо, знакомя съ нимъ, служатъ въ то же время и путеводителями по землѣ!

Это прекрасное, котораго нѣтъ въ окружающемъ насъ вещественномъ мірѣ, но которое въ немъ находитъ душа наша, пробуждаетъ ея творческую силу. Душа бесѣдуетъ съ созданіемъ, и созданіе ей откликается. Но что же этотъ отзывъ созданія? Не голосъ ли самого создателя? Всѣ мелкія, разрозненныя части видимаго міра сливаются въ одно гармоническое цѣлое, въ одинъ, самъ по себѣ несущественный, но ясно душою нашею видимый образъ. Что же этотъ несущественный образъ? Красота. Что же красота? Ощущеніе и слышаніе душою Бога въ созданіи. И въ ней, истекшей отъ Бога, живетъ стремленіе творить по образу и подобію Творца своего, то есть влагать самое себя въ свое созданіе. Но Создатель всего извлекъ это все изъ самого себя: небытіе стало бытіемъ. Человѣкъ не можетъ творить изъ ничего: онъ только можетъ своими, заимствованными изъ созданія, средствами повторять то, что Богъ создалъ своею всемогущею волею. Сей произвольный актъ творенія есть возвышенная жизнь души: цѣлью ея можетъ быть не иное что, какъ осуществленіе того прекраснаго, котораго тайну душа открываетъ въ твореніи Бога и которое стремится явно выразить въ твореніи собственномъ. Сіе ощущеніе и выраженіе прекраснаго, сіе пересозданіе своими средствами созданія Божія есть художество. Что же такое художникъ? Творецъ; и цѣль его не иное что, какъ самое это твореніе, свободное, вдохновенное, ни съ какимъ посторонними видомъ не соединенное. Въ чемъ состоитъ актъ творенія? Въ осуществленіи идеи Творца. Верховный художникъ, въ самомъ себѣ почерпнулъ и идею и матеріалъ созданія; земной художникъ, творя, такъ же осуществляетъ свою идею, но матеріалы и для самой идеи и для ея осуществленія онъ заимствуетъ уже изъ существующаго, ему подлежащаго творенія Божія; творитъ же онъ потому, что по натурѣ души своей ощущаетъ въ себѣ къ тому неодолимое, врожденное стремленіе. Какіе его способы и матеріалы? Способы: художество въ разныхъ видахъ, поэзія, живопись, музыка, ваяніе; его матеріалы: слово, краска, согласіе звуковъ, твердая масса. Самое высшее изъ произведеній художествъ есть то, когда художникъ выражаетъ не только собственную идею, но въ своей идеѣ и самого верховнаго Творца; самое низшее то, когда онъ съ рабскою точностію повторяетъ видимое твореніе; между сими двумя крайностями оттѣнки безчисленны, начиная отъ сходнаго во всѣхъ подробностяхъ изображенія наѣскомаго до вдохновеннаго изображенія Троицы. Красота художественнаго произведенія состоитъ въ истинѣ выраженія, то есть, въ ясности идеи и въ ея гармоническомъ согласіи съ матеріальнымъ художественнымъ ея образомъ, который съ своей стороны долженъ быть согласенъ съ образцомъ, заимствованнымъ изъ созданія внѣшняго. Художество въ тѣсномъ смыслѣ довольствуется только этою относительною истиною; но художество въ обширномъ, высшемъ значеніи имѣетъ предметомъ красоту высшую. Переводя на свое второбытное созданіе то, что онъ находитъ вокругъ себя въ созданіи первобытномъ, художникъ, повторяю, долженъ выражать не одну собственную, человѣческую идею, не одну свою душу, но въ ней и идею Создателя, духъ Божій, все созданное проникающій.

Оставивъ всѣ прочія художества въ сторонѣ, обратимся теперь къ тому, котораго матеріалъ есть слово и которое между всѣми должно занимать высшую степень, ибо оно непосредственнѣе всѣхъ ихъ изъ души истекаетъ — къ поэзіи: матеріалы другихъ заимствуются извнѣ, матеріалъ поэта слово [образъ, тѣло идеи] прямо изъ души переходитъ въ форму матеріальную; прибавлю: всѣ другія художества не иное что, какъ поэзія въ разныхъ видахъ.

Итакъ, слово. Основываясь на томъ, что̀ сказано выше о художникѣ и художествѣ, мы должны согласиться, что выраженіе Пушкина: слова поэта суть уже его дѣла, заключаетъ въ себѣ смыслъ глубокій. Такъ: слова поэта—дѣла поэта. Не принадлежа къ разряду дѣлъ, заключающихся въ тѣсномъ кругу ежедневнаго, они могутъ быть разсматриваемы и въ смыслѣ художественнаго произведенія [болѣе тѣснымъ] и въ смыслѣ самого художника [болѣе обширномъ]. Въ первомъ отношеніи, если художественныя произведенія удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ искусства, то художникъ правъ: онъ совершилъ свое дѣло, произведя прекрасное, которое одно есть предметъ художества. Въ другомъ, обширнѣйшемъ смыслѣ, дѣла художника относятся не къ одному его произведенію, но къ его особенному высшему призванію.

Обыкновенно, разсуждая о художествахъ, оставляютъ въ сторонѣ художника, и творца рознятъ съ твореніемъ. Можно ли допускать или оправдывать такой разрывъ, не знаю по крайней мѣрѣ не въ теоріи, опредѣляющей не то, что̀ можетъ быть и бываетъ, а то, что̀ всегда должно быть. Поэтъ творитъ словомъ, и это творческое слово, вызванное вдохновеніемъ изъ идеи, могущественно владѣвшей душою поэта, стремительно переходя въ другую душу, производитъ въ ней такое же вдохновеніе и ее также могущественно объемлетъ; это дѣйствіе не есть ни умственное, ни нравственное — оно просто власть, которой мы ни силою воли, ни силою разсудка отразить не можемъ. Поэзія, дѣйствуя на душу, не даетъ ей ничего опредѣленнаго: это не есть ни пріобрѣтеніе какой-нибудь новой, логически обработанной идеи, ни возбужденіе нравственнаго чувства, ни его утвержденіе положительнымъ правиломъ; нѣтъ! это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое дѣйствіе откровенной красоты, которая всю душу обхватываетъ и въ ней оставляетъ слѣды неизгладимые, благотворные или разрушительные, смотря по свойству художественнаго произведенія, или, вѣрнѣе, смотря по духу самого художника.

Если такова дѣйствіе поэзіи—то сила производить его, данная поэту, должна быть не иное что, какъ призваніе отъ Бога, есть, такъ сказать, вызовъ отъ Создателя вступить съ Нимъ въ товарищество созданія. Творецъ вложилъ свой духъ въ твореніе: поэтъ, его посланникъ, ищетъ, находитъ и открываетъ другимъ повсемѣстное присутствіе духа Божія. Таковъ истинный смыслъ его призванія, его великаго дара, который въ то же время есть и страшное искушеніе, ибо въ сей силѣ для полета высокаго заключается и опасность паденія глубокаго.

Вопросъ: исполнитъ ли поэтъ свое призваніе, если, живя съ откровенными очами посреди чудесъ творенія, будетъ имѣть предметомъ одну только роскошь этой внутренней поэтической жизни и то несказанное самонаслажденіе, которое вполнѣ объемлетъ и удовлетворяетъ душу въ тѣ минуты, когда она горитъ вдохновеніемъ творчества? Исполнитъ ли поэтъ свое призваніе, когда съ одной стороны будетъ имѣть въ виду одно только художественное совершенство произведеній своихъ, а съ другой только успѣхъ, т. е. гордое самоубѣжденіе въ своемъ превосходствѣ, и чародѣйную сладость хвалы и славы? Есть что-то чувственное, что-то унизительное, есть какое-то эгоистическое сибаритство въ этомъ самообготвореніи, въ этой оргіи самолюбія, въ этомъ упоеніи самонаслажденія, которое въ своихъ дѣйствіяхъ такъ же гибельно для души, какъ пьянство для силы тѣлесной.

Спросятъ: кто же изъ поэтовъ вполнѣ осуществилъ идеалъ поэта? Отвѣтъ самый простой: никто. Еще не одинъ ангелъ не сходилъ съ неба играть передъ людьми на лирѣ и печатать свои стихотворенія у Дидота или Глазунова. Но здѣсь главное не въ достиженіи, а въ стремленіи достигнуть. Въ произведеніяхъ художества мы наслаждаемся красотою созданія, пре-

лестію частей, гармоніею цѣлаго, и тому подобное, но все это есть одна низшая, такъ сказать, матеріальная сторона нашего наслажденія: мы можемъ дать себѣ отчетъ въ томъ, что насъ увлекаетъ, можемъ указать на возвышенность или пріятность содержанія, на точность, живость, необыкновенность выраженія, на музыку словъ; но то, что безотчетно и неуловимо, и что, однако, всему этому даетъ жизнь, это есть духъ поэта, въ созданіи его тайно соприсутственный! И если онъ есть духъ чистоты, если художественное созданіе [какой бы впрочемъ ни былъ предметъ его] проникнуто имъ такъ же, какъ образецъ его, Божіе созданіе, духомъ Создателя, то и дѣйствіе его [дѣло поэта, заключенное въ его словѣ] будетъ благодатно, какъ дѣйствіе неизглаголаннаго мірозданія на душу, отверстую его святынѣ. Не въ томъ, что составляетъ содержаніе поэтическаго произведенія, заключается его нравственно-образовательное на насъ вліяніе, а въ томъ, что есть самъ поэтъ [сколько бы, повторяю, его личность ни далека была отъ избраннаго имъ предмета]: увлекаемые прелестью его созданія, мы нечувствительно проникаемся его вѣрою, его любовію, его возвышенностію и чистотою, и онѣ по тайному сродству остаются въ сліяніи съ нами, какъ послѣдній результатъ поэтическаго наслажденія.

Что же, спросятъ, неужели поэтъ долженъ ограничиться одними гимнами Богу и всякое другое поэтическое созданіе считать за грѣхъ противъ божества и человѣчества? Отвѣтъ простой: не произноси имени Бога, но знай Его, вѣрь Ему, иди къ Нему, веди къ Нему — тогда, что бы ни встрѣтилось на пути твоемъ откровенному оку, и что бы ни было это встрѣченное — высокое или мелкое, прекрасное или безобразное, многозначущее или легкое, забавное или мрачное — все оно, прошедъ черезъ твою душу, пріобрѣтаетъ ея характеръ, не измѣнивъ въ то же время и собственнаго. Поэтъ въ выборѣ предмета не подверженъ никакому обязующему направленію. Поэзія живетъ свободою; утративъ непринужденность [похожую часто на причудливость и своевольство], она теряетъ прелесть; всякое намѣреніе произвести то или другое опредѣленное, постороннее дѣйствіе, нравственное, поучительное или [какъ нынѣче мода] политическое, даетъ движеніямъ фантазіи какую-то неповоротливость и неловкость.—тогда какъ она должна легкокрылою ласточкою, съ криками радости, летать между небомъ и землею, всѣ посѣщать климаты и уносить за собою нашу душу въ этотъ чистый эѳиръ высоты, на освѣжительную, беззаботную прогулку по всему поднебесью.

Но поэтъ, свободный въ выборѣ предмета, не свободенъ отдѣлить отъ него самого себя: что скрыто внутри его души, то будетъ вложено тайно, безпамѣренно и даже противунамѣренно и въ его созданіе; что онъ самъ, то будетъ и его созданіе. Если онъ чистъ, то и мы не осквернимся, какіе бы образы, нечистые или чудовищные, ни представлялъ онъ намъ, какъ художникъ; но и самое святое подѣйствуетъ на насъ какъ отрава, когда оно намъ выльется изъ сосуда души отравленной. Съ благодарностію сердца укажу на нашего современника Вальтера Скотта. Поэтъ въ прямомъ значеніи сего званія—онъ будетъ жить во всѣ времена благотворителемъ души человѣческой. Какой разнообразный міръ обхваченъ его геніемъ! Онъ до всего коснулся, отъ самаго низкаго и безобразнаго до самаго возвышеннаго и божественнаго, и все изобразилъ съ простодушною вѣрностію, нигдѣ не нарушилъ съ намѣреніемъ истины, нигдѣ не оскорбилъ красоты, во всемъ удовлетворилъ требованіямъ искусства. Но посреди этого очарованнаго міра самое очаровательное есть онъ самъ—его свѣтлая, чистая, младенчески вѣрующая душа; ея присутствіе разлито въ его твореніяхъ, какъ воздухъ на высотахъ горныхъ, гдѣ дышется такъ легко, освѣжительно и цѣлебно. Его поэзія предаешься безъ всякой тревоги, съ нимъ вмѣстѣ вѣруешь

святому, любишь добро, постигаешь красоту, и знаешь, какое назначеніе души твоей; онъ представляетъ тебѣ во всей наготѣ и зло и развратъ, но ты ими не заражаешься, съ тобою сквозь толпу очумленную идетъ проводникъ, заразѣ ея недоступный и тебя сопутствіемъ своимъ берегущій. Цѣль художественнаго произведенія достигнута: ты былъ пораженъ, приведенъ въ ужасъ, смѣялся, плакалъ, словомъ: ты насладился красотою созданія поэтическаго; но въ то же время душа твоя проникнута довольствомъ другаго рода: она вполнѣ спокойна, какъ будто болѣе утвержденная въ томъ, что все ея лучшее вѣрно. Съ такою же благодарностію сердца укажу на Карамзина, котораго непорочная душа прошла по землѣ какъ ангелъ свѣта, и отъ котораго осталось отечеству, въ созданной имъ его Исторіи, вѣчное завѣщаніе на вѣру въ Бога, на любовь ко благу и правдѣ, на благоговѣніе предъ всѣмъ высокимъ и прекраснымъ.

Съ другой стороны обратимъ взоръ на Байрона—духъ высокій, могучій, но духъ отрицанія, гордости и презрѣнія. Его геній имѣетъ прелесть Мильтонова сатаны, столь поражающаго своимъ помраченнымъ величіемъ; но у Мильтона эта прелесть не иное что, какъ поэтическій образъ, только увеселяющій воображеніе; а въ Байронѣ она есть сила, стремительно влекущая насъ въ бездну сатанинскаго паденія. Но Байронъ сколь ни тревожитъ умъ, ни повергаетъ въ безнадежность сердце, ни волнуетъ чувственность, его геній все имѣетъ высокость необычайную [можетъ быть, отъ того еще и губительнѣе сила его поэзіи]: мы чувствуемъ, что рука судьбы опрокинула созданіе благородное и что онъ прямодушенъ въ своей всеобъемлющей ненависти—передъ нами титанъ Прометей, прикованный къ скалѣ Кавказа и гордо клянущій Зевеса, котораго коршунъ рветъ его внутренность.

Не что сказать о... [я не назову его, но тѣмъ для него хуже, если онъ будетъ тобою угаданъ въ моемъ изображеніи], что сказать объ этомъ хулителѣ всякой святыни, которой откровеніе такъ напрасно было ему ниспослано въ его поэтическомъ дарованіи и въ томъ чародѣйномъ могуществѣ слова, котораго, можетъ быть, ни одинъ изъ писателей Германіи не имѣлъ въ такой силѣ! Это уже не судьба, разрушившая бѣдствіями душу высокую и произведшая въ ней бунтъ противъ испытующаго Бога, это не падшій ангелъ свѣта, въ упоеніи гордости отрицающій то, что знаетъ и чему не можетъ не вѣрить: это свободный собиратель и провозвѣститель всего низкаго, отвратительнаго и развратнаго, это полное отсутствіе чистоты, нахальное ругательство надъ поэтическою красотою и даже надъ собственнымъ дарованіемъ ее угадывать и выражать словомъ, это презрѣніе всякой святыни и циническое, безстыдно-дерзкое противу нея богохульство, дабы, оскорбивъ всѣхъ, кому она драгоцѣнна, угодить всѣмъ поклонникамъ разврата, это вызовъ на буйство, на невѣріе, на угожденіе чувственности, на разнузданіе всѣхъ страстей, на отрицаніе всякой власти — это не падшій ангелъ свѣта, но темный демонъ, насмѣшливо являющійся въ образѣ свѣтломъ, чтобы прелестію красоты заманить насъ въ свою грязную бездну. Не произнося анаѳемы надъ человѣкомъ, нельзя не предать проклятію такого злоупотребленія лучшихъ даровъ Создателя. Сколько непорочныхъ душъ растлила эта демоническая поэзія, обезобразившая передъ ними Божій ликъ, напечатлѣнный въ твореніи, и загрязнившая въ самомъ источникѣ жизнь ихъ, предавъ ее одной грубой чувственности.

Изъ всего сказаннаго выше легко опредѣлить, что такое дѣло поэта—какъ въ тѣсномъ, такъ и въ обширномъ его значеніи. Съ одной стороны, то есть въ тѣсномъ смыслѣ художественнаго произведенія, оно состоитъ въ одномъ исполненіи, болѣе или менѣе совершенномъ, условій искусства: съ другой, то есть въ обширномъ смыслѣ самаго художества, оно заключаетъ въ себѣ

и дѣйствіе, производимое духомъ поэта. **Подтверждая** здѣсь то, что такъ прекрасно и справедливо сказалъ ты въ письмѣ своемъ, назвавъ искусство **примиреніемъ съ жизнію**, спрашиваю: поэзія въ наше время соотвѣтствуетъ ли этому опредѣленію? Нѣтъ! Поэзія нашего времени имѣетъ и весь его характеръ — характеръ вулканической разрушительности въ корифеяхъ и матеріальной плоскости въ ихъ послѣдователяхъ. Уже нѣтъ той поэзіи, которая нѣкогда была возвеличеніемъ, убранствомъ и утѣхою жизни, которая съ одной стороны стремила душу къ высокому, идеальному и благородствовала жизнь, украшая ея строгую, часто печальную существенность лилейнымъ вѣнкомъ надежды, а съ другой беззаботно играла съ жизнію, забавляя ее, какъ младенца, фантастическими созданіями, свѣтлыми видѣніями, подобными въ красотѣ своей минутнымъ цвѣтамъ луга, радующимъ взоръ и претворяющимъ въ благовоніе воздухъ. Такое беззаботное наслажденіе поэзіею теперь называется ребячествомъ. Меланхолическая разочарованность Байрона, столь очаровательная въ его изображеніяхъ и столь плѣняющая глубокою [хотя иногда и вымышленною] грустью поэта — истощившись въ приторныхъ подражаніяхъ — уступила мѣсто равнодушію, которое уже не презрѣніе и не богохульный бунтъ гордости [въ нихъ есть еще что-то поэтическое, потому что есть сила], а пошлая разслабленность души, произведенная не бурею страстей и не бѣдствіями жизни, а просто неспособностію вѣрить, любить, постигать высокое, неспособностію предаваться какому бы то ни было очарованію. Это самодѣльное равнодушіе, которымъ такъ кокетствуютъ въ наше время поэты, относится къ мрачной разочарованности Байрона, какъ мелкая, искусственная развалина небывалаго замка къ огромнымъ обломкамъ Колизея, сокрушеннаго силою вѣковъ, набѣгами народовъ и молніями неба. Теперь поэзія служитъ мелкому эгоизму; она покинула свой идеальный міръ и, вмѣшавшись въ толпу, потворствуетъ ея страстямъ, льститъ ея деспотическому буйству и, промѣнявъ таинственное святилище своего храма [къ которому доступъ бывалъ отворенъ однимъ только посвященнымъ] на шумную торговую площадь, поетъ возмутительныя пѣсни толпящимся на ней партіямъ.

Не должно ли, смотря съ унынiемъ и тревогою на то, что кругомъ насъ происходитъ, терять вѣру въ поэзію и въ ея великое земное назначеніе? Нѣтъ! и посреди судорогъ нашего времени, не заботясь о славѣ, нынѣ уже нежеланной и даже невозможной [поелику она раздается всѣмъ и каждому, на площади, подкупными судьями въ отреньяхъ], не думая о корысти, которая всѣхъ очумила, поэтъ, вѣрный своему призванію, скрываясь отъ толпы, неповѣдуетъ своему генію:

Не счастія, не славы здѣсь
Ищу я — быть хочу крыломъ могучимъ,
Подъемлющимъ родныя мнѣ сердца
На высоту,—зарей, побѣду дня
Предвозвѣщающей, великихъ думъ
Воспламенителемъ, глаголомъ правды,
Лѣкарствомъ душъ, безвѣріемъ крушимыхъ,
И сторожемъ нетлѣнной той завѣсы,
Которою предъ нами горній міръ
Задернутъ, чтобъ порой для смертныхъ глазъ
Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей ея красѣ небесной—
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!

Онъ не впадаетъ въ разочарованность, видя, какъ торжествуютъ разочаровители; онъ думаетъ про себя:

Что мнѣ до нихъ,
Безчувственныхъ жильцовъ земли иль дерзкихъ
Губителей всего святаго! Мнѣ
Они чужіе. Для чего Творецъ
Такой имъ жалкій жребій избралъ, это
Извѣстно одному Ему; Онъ благъ
И справедливъ; обителей есть много
Въ дому Отца — всѣмъ будетъ воздаянье.
Но для чего сюда Онъ ихъ послалъ —
О, это мнѣ понятно. Здѣсь безъ нихъ
Была ли бы для душъ, покорныхъ Богу,
Возможна та святая брань, въ которой

Мы на землѣ для неба созрѣваемъ?
Мы не за тѣмъ ли здѣсь, чтобы средь тяжкихъ
Скорбей, гоненій, видя торжество
Порока, силу зла, и слыша хохотъ
Безстыднаго разврата иль насмѣшку
Безвѣрія, изъ этой бездны вынесть
Въ душѣ неоскверненной вѣру въ Бога?..
Поэзія религіи небесной
Сестра земная, свѣтолучезарный
Маякъ, самимъ Создателемъ зажженный,
Чтобъ мы во тьмѣ житейскихъ бурь не сбились
Съ пути. Поэтъ, на пламени его
Свой факелъ зажигай! Твои всѣ братья
Съ тобою заодно засвѣтятъ каждый
Хранительный свой огнь, и будутъ здѣсь
Они во всѣхъ странахъ и временахъ
Для всѣхъ племенъ звѣздами путевыми;
При блескѣ ихъ, что̀ бъ труженикъ земной
Ни испыталъ—душой онъ не падетъ,
И вѣра въ лучшее въ немъ не погибнетъ.
И пусть разрушено земное счастье,
Обмануты ласкавшія надежды
И чистыя обруганы мечты... —
Объ нихъ ли сѣтовать? Таковъ удѣлъ
Всего, всего прекраснаго земнаго!..
Но не умретъ живая пѣснь твоя;
Во всѣхъ вѣкахъ и поколѣньяхъ будутъ
Ей отвѣчать возвышенныя души...
Поэтъ, будь твердъ! душою не дремли!
Поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли.

29 генваря 1848.
Франкфуртъ на Майнѣ.

НѢЧТО О ПРИВИДѢНІЯХЪ.

Вѣрить или не вѣрить привидѣніямъ? Прежде нежели отвѣчать на этотъ вопросъ, надлежитъ опредѣлить, что̀ такое привидѣніе? Я видѣлъ, значитъ: моимъ открытымъ глазамъ, на яву, представился предметъ, подлежащій чувству зрѣнія; мнѣ приснилось, значитъ: я видѣлъ не на яву, съ закрытыми глазами, предметъ, не подлежащій чувству зрѣнія; мнѣ привидѣлось, значитъ: я видѣлъ на яву, открытыми глазами, предметъ, не подлежащій чувству зрѣнія. Итакъ, привидѣніе есть вещественное явленіе предмета невещественнаго. Если этотъ предметъ, который намъ въ минуту видѣнія кажется существеннымъ и отъ насъ отдѣльнымъ, есть не иное что, какъ нѣчто, внутри насъ самихъ происходящее, то онъ самъ по себѣ не существуетъ: здѣсь нѣтъ еще привидѣнія. Оно бываетъ тогда, когда передъ нами совершается явленіе существъ духовныхъ, намъ видимыхъ, но не подлежащихъ чувству зрѣнія. Итакъ, вѣрить ли привидѣніямъ? значитъ: вѣрить ли дѣйствительности такихъ существъ и ихъ чувственному съ нами сообщенію? Когда мы спимъ, дѣйствіе внѣшняго на насъ прекращается; и видя сонъ, мы видимъ безъ предмета, не употребляя на то органовъ зрѣнія. Если бы сновидѣнія были не такъ обыкновенны, если бы имѣть ихъ могли весьма немногіе, и тѣ весьма рѣдко, то и сновидѣнія казались бы намъ невѣроятными, ибо въ нихъ есть нѣчто, противурѣчащее естественному порядку. Бываютъ сны на яву, которые весьма близко подходятъ къ тому, что̀ мы назвали привидѣніемъ. Иногда еще глаза не закрылись, еще всѣ окружающіе насъ предметы намъ видимы, а уже сонъ овладѣлъ нами, и уже въ сновидѣніи, въ которое мы перешли нечувствительно, совершается передъ нами что-то, совсѣмъ отличное отъ того состоянія, въ которомъ мы были за минуту, что-то странное, всегда болѣе или менѣе приводящее въ ужасъ; и если мы проснемся, не замѣтивъ быстраго нашего перехода отъ бдѣнія ко сну и наоборотъ, то легко можемъ остаться съ мыслію, что съ нами случилось нѣчто неестественное. Вотъ примѣръ: покойный А. М. Дружининъ [бывшій, кажется, въ Москвѣ главнымъ директоромъ училищъ] разсказалъ мнѣ слѣдующій замѣчательный случай:

Я былъ [такъ говорилъ онъ] коротко знакомъ съ докторомъ Берковичемъ. Однажды [это было зимою] онъ пригласилъ меня вмѣстѣ съ г-жею Перецъ къ себѣ на вечеръ; мы провели этотъ вечеръ весьма весело и особенно веселъ былъ самъ хозяинъ. Пробило десять часовъ; жена Берковича сказала ему: «поди, посмотри, накрываютъ ли на столъ? Пора ужинать». Дверь изъ гостиной вела прямо въ столовую. Берковичъ вышелъ и черезъ минуту возвратился. «Скоро ли?»

спросила жена. Онъ молча кивнулъ головою. Я посмотрѣлъ на него и увидѣлъ, что онъ былъ блѣденъ, какъ полотно; веселость его пропала; во весь остатокъ вечера онъ не сказалъ почти ни слова. Сѣли за столъ, отужинали. Госпожа Перецъ собралась ѣхать къ себѣ и Берковичъ пошелъ проводить свою гостью съ крыльца. Сажая ее въ карету, онъ попалъ ногами въ снѣгъ, который лежалъ сугробами кругомъ подъѣзда [во весь день была жестокая метель]; весьма вѣроятно, что въ эту минуту онъ простудился. На другой день пришли мнѣ сказать, что Берковичъ въ постели и что онъ зоветъ меня къ себѣ; я самъ хотѣлъ его навѣстить, ибо меня тревожила грустная мрачность, замѣченная мною въ немъ наканунѣ. И вотъ что онъ мнѣ отвѣчалъ, когда я у него спросилъ о ея причинѣ: мнѣ скоро умереть; я видѣлъ своими глазами смерть мою. Когда вчера я вышелъ изъ гостиной въ столовую, чтобы узнать, скоро ли подадутъ ужинъ, я увидѣлъ, что столъ накрытъ, что на столѣ гробъ, окруженный свѣчами, и что въ гробу лежу я самъ. Будь увѣренъ, что вы скоро меня похороните.—И дѣйствительно, Берковичъ черезъ короткое время умеръ».

Весьма вѣроятно, что въ тѣлѣ его ужъ былъ зародышъ болѣзни; простуда развила болѣзнь, а болѣзнь, съ помощію воображенія, испуганнаго призракомъ, произвела смерть. Но что же было этотъ призракъ? Сонъ на яву, видѣніе несущественнаго образа, такое же, какое бываетъ, когда сновидѣніемъ выражается или тревожное состояніе души нашей или болѣзненное разстройство нашего тѣла. Здѣсь было не иное что, какъ сновидѣніе въ состояніи бодрствованія, происшедшее отъ той же причины, какая по большей части производитъ всякое другое сновидѣніе; здѣсь видѣніе не отдѣлено отъ видящаго, видѣніе безъ предмета; здѣсь нѣтъ еще привидѣнія въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы его опредѣлили, хотя и есть въ самомъ событіи что-то необычайное, естественному порядку не принадлежащее.

Бываютъ другаго рода видѣнія на яву, видѣнія образовъ, дѣйствительно отъ насъ отдѣльныхъ и кажущихся намъ внѣ насъ существующими, самобытными, хотя на самомъ дѣлѣ они не могутъ имѣть ни существенности, ни самобытности. Къ сему роду принадлежитъ извѣстное видѣніе короля шведскаго Карла XI. Что онъ видѣлъ, то было описано имъ самимъ. Этотъ актъ скрѣпленъ подписью самого короля и двухъ или трехъ находившихся при немъ свидѣтелей. Я читалъ его въ нѣмецкомъ литературномъ переводѣ, сдѣланномъ по требованію *К. П.* Не имѣя теперь передъ глазами этого перевода, я долженъ слѣдовать повѣствованію Проспера Мериме, которое во всемъ главномъ вѣрно, хотя Мериме, по образу и подобію своихъ соотечественниковъ, не могъ воздержаться, чтобы не украсить простой истины вымысломъ нѣкоторыхъ живописныхъ обстоятельствъ. Разскажу коротко и просто. Въ то время, когда случилось описываемое здѣсь происшествіе, король Карлъ XI, знаменитый отецъ Карла XII, жилъ въ старомъ стокгольмскомъ дворцѣ [новый, нынѣ существующій и имъ заложенный, еще не былъ достроенъ]. Этотъ дворецъ имѣлъ форму подковы; на концѣ одного флигеля былъ кабинетъ короля, на концѣ другаго, окнами прямо противъ кабинета королевскаго, находилась палата государственныхъ штатовъ. Было поздно; король сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ передъ каминомъ; съ нимъ, по словамъ Мериме, находились камергеръ Браге и докторъ Баумгартенъ [въ оригинальномъ актѣ названы, кажется, другіе]; король былъ задумчивъ и мраченъ; вставъ съ мѣста, онъ началъ, не говоря ни слова, ходить взадъ и впередъ по горницѣ. Вдругъ онъ остановился: онъ увидѣлъ, что въ окнахъ противолежащей палаты былъ яркій свѣтъ; это не могло быть отъ луны—луна не свѣтила и на небѣ лежали тучи; это не могъ быть пожаръ—сіяніе было спокой-

пое и не имѣло багряности пожарной; нельзя было также подумать, что тамъ какой-нибудь изъ слугъ придворныхъ ходилъ съ факеломъ—отъ одного факела не произошло бы такого яркаго, повсемѣстнаго освѣщенія. «Видите ли?» спросилъ король своихъ собесѣдниковъ. «Что это значитъ?» Всѣ были изумлены, и никто не могъ придумать объясненія видимому. «Велите позвать кастеляна, чтобы онъ принесъ и ключъ отъ палаты». Кастелянъ явился; король пошелъ съ нимъ вмѣстѣ черезъ дворецъ, провожаемый и другими, которые несли свѣчи. Вступивши въ пространную переднюю палаты, они увидѣли, что она вся была обтянута чернымъ сукномъ; изъ-подъ дверей палаты яркою полосою свѣтилось. Король приказалъ кастеляну отворить дверь, но примѣтя, что онъ, дрожа отъ страха, не могъ попасть ключомъ въ замочную скважину, взялъ ключъ изъ его руки и, сказавъ: «съ нами Богъ», самъ отперъ двери. Онъ смѣло вошелъ въ палату; за нимъ всѣ другіе. Они увидѣли, что палата была освѣщена множествомъ свѣчъ и что въ ней происходилъ совѣтъ государственныхъ штатовъ. Члены молча сидѣли вдоль стѣнъ на банкетахъ; всѣ были въ траурѣ. Посреди палаты, кругомъ стола, покрытаго чернымъ сукномъ, засѣдали судьи, также одѣтые въ трауръ; ихъ президентъ имѣлъ передъ собою раскрытую книгу. На тронѣ, находившемся прямо противъ входа, лежалъ мертвый, покрытый порфирою; близъ него былъ виденъ юноша, имѣвшій на головѣ корону и въ рукѣ скипетръ; съ нимъ рядомъ стоялъ человѣкъ зрѣлыхъ лѣтъ, въ старинной одеждѣ администраторовъ шведскихъ; на полу между столомъ и тропомъ лежала плаха и при ней топоръ. Въ ту минуту, когда король вступилъ въ палату, президентъ ударилъ рукою по книгѣ; по этому знаку боковая дверь отворилась, изъ нея вышло нѣсколько человѣкъ благородной наружности, въ богатыхъ одеждахъ, но руки ихъ были связаны назадъ; за ними слѣдовалъ палачъ. Тотъ, кто между ними казался главнымъ, взглянулъ на трупъ, лежавшій на тронѣ: изъ раны трупа брызнула кровь, какъ будто въ обличеніе убійства, и обличенный смѣло приблизился къ плахѣ, положилъ на нее голову, палачъ взмахнулъ топоръ, отрубленная голова запрыгала, и перекатившись черезъ всю палату, остановилась у ногъ короля: капли крови упала на одну изъ его туфель. До сей минуты онъ стоялъ неподвижно, смотря въ безмолвномъ изумленіи на происходившее; но тутъ онъ сдѣлалъ быстро нѣсколько шаговъ впередъ и громко воскликнулъ, обратясь къ тому, кто имѣлъ на себѣ одежду администратора: «Если ты отъ Бога, говори, а если отъ другаго, исчезни». Тогда послышался голосъ: «Король Карлъ! Эта кровь не при тебѣ...» [тутъ звуки сдѣлались менѣе внятны] «еще пять царствованій... горе потомству Вазы!» Голосъ замолчалъ, и въ эту минуту всѣ образы начали, какъ туманъ, рѣдѣть и дѣлаться прозрачнѣе; скоро все исчезло, осталась одна пустая палата, темно освѣщенная свѣчами, горѣвшими въ рукахъ сопутниковъ Карла. — Король возвратился въ свой кабинетъ; онъ не могъ сомнѣваться въ существенности видѣнія, котораго неоспоримымъ свидѣтельствомъ была капля крови, запекшаяся на его туфлѣ. Полный еще свѣжаго впечатлѣнія, онъ тутъ же записалъ со всѣми подробностями то, что видѣлъ, скрѣпилъ описаніе своею подписью, съ нимъ вмѣстѣ подписались и всѣ другіе свидѣтели. Этотъ актъ находится въ государственномъ архивѣ шведскомъ. Пять царствованій прошли и горе, произнесенное надъ потомствомъ Вазы, совершилось: потомство Вазы утратило корону Швеціи. А казнь убійцы, трупъ на тронѣ, старый администраторъ и коронованный юноша прямо указываютъ на Анкерштрема, на застрѣленнаго имъ Густава III, на Карла XIII, бывшаго регентомъ и королемъ, и на послѣдняго Вазу, Густава Адольфа, своимъ упрямствомъ свергнутаго съ престола, по своимъ высокимъ

характеромъ достойнаго лучшей участи *).

*) Вотъ нѣсколько замѣчательныхъ подробностей объ этомъ королѣ: онѣ заимствованы изъ рукописи, изъ дневныхъ записокъ Гакстгаузена, извѣстнаго своею прекрасною книгою о Россіи, книгою, въ которой онъ вѣрнѣе и безпристрастнѣе всѣхъ иностранцевъ, и даже лучше большей части русскихъ, оцѣнилъ наше отечество.

«Въ послѣднихъ числахъ сентября 1832 года—пишетъ Гакстгаузенъ,—пріѣхалъ я въ Ахенъ: по причинѣ холеры тамъ было весьма мало иностранцевъ. Въ трактирѣ Bellevue, въ которомъ мнѣ должно было прожить съ недѣлю, я не встрѣтилъ ни одного проѣзжаго. Будучи принужденъ по своимъ дѣламъ сидѣть за работою въ своей горницѣ, я не имѣлъ никакого общества и рѣшился познакомиться съ своими хозяевами, съ которыми проводилъ по вечерамъ досужное время. Хозяинъ былъ трактирщикъ и болѣе ничего; хозяйка была необразованная, но честнаго, стариннаго обычая женщина, добрая, простодушная, набожная и весьма словоохотливая; старшая дочь ихъ, дѣвушка 15 или 16 лѣтъ, хотя и не красавица, была привлекательна своею смышленостью, живостью, ласковою довѣрчивостью, и притомъ имѣла удивительное дарованіе разсказывать.

«Въ одинъ вечеръ зашла рѣчь о послѣднемъ королѣ шведскомъ и о его низверженіи съ трона; тутъ я узналъ отъ дочери моихъ хозяевъ, что онъ за годъ передъ тѣмъ прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ ихъ домѣ. И вотъ что она мнѣ разсказала:

«Однажды, въ вечеру, вошелъ къ намъ въ двери человѣкъ замѣчательной наружности, довольно бѣдно одѣтый, съ маленькимъ чемоданомъ подъ мышкою: онъ попросилъ, чтобы ему отвели небольшую каморку на дворъ окнами. Въ горницѣ тогда не случилось никого, кромѣ меня: я указала ему его квартиру. Несмотря на бѣдность его одежды, я догадалась, что онъ былъ человѣкъ не простаго происхожденія. И уходя, я спросила: «не прикажетъ ли онъ еще чего?» Онъ улыбнулся и отвѣчалъ: «нѣтъ, мое дитя, я ничего не приказываю ни тебѣ, ни другимъ: но я бы желалъ попросить тебя, чтобы ты мнѣ принесла немного зелени отъ обѣда вашихъ слугъ, я очень голоденъ, но имъ только то, за что могу заплатить». Я принесла ему зелени. Онъ спросилъ: «давно ли я служу въ домѣ?» Узнавъ же, что я хозяйская дочь, вскочилъ въ сердцахъ съ своего мѣста и спросилъ опять: «ты вѣрно обо мнѣ знаешь?»—«Нѣтъ,—отвѣчала я,—вы не сказали своего имени и еще не дали намъ своего паспорта». Тутъ онъ отворотился отъ меня съ досадою и сказалъ: «поди, я вижу, что и ты за мною шпіонствуешь». Когда же отецъ получилъ отъ него паспортъ, мы увидѣли, что гость нашъ былъ полковникъ Густавсонъ, прежній король шведскій. Мы хотѣли отвести ему горницу получше, приносить ему другую пищу, ему служить и проч.; онъ во всемъ съ большою досадою отказалъ намъ. Въ первое время онъ выходилъ только одинъ разъ въ день изъ горницы для прогулки: въ горницу же къ нему никто не смѣлъ войти, когда онъ тамъ находился: онъ самъ бралъ свой завтракъ, состоявшій изъ стакана молока и булки, и свой обѣдъ, который былъ не иное что, какъ блюдо зелени на 3 крейцера: всякой разъ послѣ обѣда онъ платилъ за обѣдъ и за завтракъ; при всемъ этомъ никогда не говорилъ ни слова. Однажды [проживъ уже недѣли двѣ въ нашемъ домѣ], пришелъ онъ по обыкновенію за своимъ обѣдомъ: въ кухнѣ тогда не случилось никого, кромѣ меня: къ зелени я прибавила кусокъ битаго мяса: увидя это, онъ сказалъ мнѣ, чтобы я взяла мясо назадъ, что онъ за него заплатить не можетъ. «Никто не требуетъ платы,—отвѣчала я:—но если вы ничего кромѣ зелени ѣсть не будете, то ваше здоровье разстроится непремѣнно; не презирайте же того, что вамъ отъ добраго сердца предлагаютъ. Это ужъ было бы слишкомъ гордо». Онъ улыбнулся и отвѣчалъ: «нѣтъ, мое дитя, съ тобою гордымъ я не буду». И съ этихъ поръ онъ позволялъ мнѣ всякой разъ прибавлять кусокъ мяса къ блюду его зелени, но только мнѣ одной: когда въ мое отсутствіе хотѣла тоже сдѣлать кухарка, онъ съ досадой ей отказывалъ. Со мною становился онъ часъ отъ часу ласковѣе. Однажды простудившись, онъ принужденъ былъ не выходить изъ горницы; я принесла ему его завтракъ, потомъ его обѣдъ, онъ сѣлался со мною разговорчивѣе, посадилъ меня, даже позволилъ мнѣ, чтобы я пришла къ нему послѣ обѣда съ своею работою часа на два; кончилось тѣмъ, что онъ согласился проводить свои вечера съ нами. Когда однако приходилъ къ намъ кто посторонній, онъ удалялся: сначала и присутствіе отца моего было ему непріятно. Мнѣ же онъ разсказывалъ много о себѣ, но только все о своей молодости и о своихъ путешествіяхъ въ послѣдніе годы; онъ даже дружески отвѣчалъ мнѣ, входилъ со мною въ объясненія, когда я позволила себѣ дѣлать замѣчанія на нѣкоторыя его странности. Напримѣръ: я замѣтила, что изъ

Неоспоримое свидѣтельство утверждаетъ дѣйствительность сего событія, и все, что оно пророчествовало, совершилось; но само по себѣ оно навсегда останется непостижимымъ для нашего разума. Здѣсь нѣчто, еще не бывшее, принимаетъ за-

долго до своего событія существенный образъ, видимый многими; и что же этотъ образъ? Онъ не духъ, пребывавшій нѣкогда въ живомъ тѣлѣ и продолжающій жить и являться, когда явленіе матеріальной жизни уже прекратилось. Здѣсь, напротивъ, является видимо образъ чего-то не бывшаго, а только возможнаго; что-то символическое пріемлетъ характеръ вещественнаго; это духъ происшествія, а не существа отдѣльнаго, цѣльный образъ чего-то сборнаго, никакой личности не имѣющаго; это воздушная картина, соединяющая въ однѣхъ рамахъ портреты, списанные кѣмъ-то съ лицъ, которыхъ еще нѣтъ и которыя когда-то будутъ.

Наконецъ привидѣнія въ собственномъ смыслѣ, то есть явленія духовъ, явленія, въ которыхъ существа безтѣлесныя, самобытныя, произвольно представляются глазамъ нашимъ, при полномъ дѣйствіи нашихъ чувственныхъ органовъ, при полномъ нашемъ сознаніи, что мы дѣйствительно видимъ [или слышимъ] то, что у насъ совершается передъ глазами. Разскажу два случая. Преданіе говоритъ, что въ XVII вѣкѣ, въ Дюссельдорфѣ, въ герцогскомъ замкѣ совершилось великое преступленіе. Тогда женою герцога юлихъ-кливе-бергскаго, молодаго Іоанна Вильгельма, была Якоба, принцесса баденская. Она имѣла сердечную привязанность къ графу Мандеру, но ее выдали насильно за герцога. По наущенію герцоговой се-

---

многихъ писемъ, которыя къ нему приходили, онъ принималъ только тѣ, на которыхъ его адресъ и особенно его имя Густавсонъ были написаны правильно; при малѣйшей неправильности адреса письмо было съ досадою отвергнуто. Это привело однажды въ затрудненіе и меня, когда я въ его отсутствіе приняла письмо, на которомъ вмѣсто Gustavson стояло Gustawson; я никакъ не могла уговорить его распечатать это письмо. Когда же я послѣ у него спросила: «для чего не принимаетъ онъ такихъ писемъ, которыя очевидно были къ нему и которыхъ неправильный адресъ была просто ошибка, безъ всякаго намѣренія сдѣлать ему непріятность?» Онъ взялъ меня ласково за руку и сказалъ: «я знаю, моя милая, что ты благоразумна и понятлива; потому и соглашаюсь объяснить тебѣ, для чего я это дѣлаю. Вотъ видишь ли: я родился государемъ, я былъ королемъ по праву, данному мнѣ отъ Бога, а короли съ своей стороны имѣютъ право давать каждому имя въ его неотъемлемую, вѣчную собственность. Когда я потерялъ свою корону, я въ послѣдній разъ воспользовался моимъ королевскимъ правомъ и далъ себѣ имя: это имя есть моя послѣдняя, моя единственная, неотъемлемая собственность; оно сохранится въ памяти людей, и кто его у меня отымаетъ или беретъ изъ него хотя одну букву, тотъ дѣлаетъ мнѣ смертельную обиду».

«Онъ не принималъ ни отъ кого ни малѣйшей услуги; напримѣръ: самъ чистилъ свое платье и свои сапоги. Когда я спросила: зачѣмъ онъ это дѣлаетъ?» Онъ отвѣчалъ: «нѣсколько времени послѣ, какъ я потерялъ корону, при мнѣ еще были слуги; но когда мое имущество поуменьшилось, я долженъ былъ ихъ отпустить и довольствоваться помощію слугъ трактирныхъ. Наконецъ я совсѣмъ обѣднѣлъ, и вотъ что со мною однажды случилось во Франкфуртѣ: я поставилъ въ вечеру сапоги свои передъ дверями моей горницы для того, чтобы ихъ вычистилъ дворникъ; на другое утро нашелъ я ихъ невычищенными, тогда какъ тѣ, которые стояли у дверей моего сосѣда, были чисты. Тутъ я въ первый разъ узналъ, что такое человѣческое презрѣніе, и съ того времени не принимаю и не терплю отъ людей никакой услуги».

«Когда онъ съ нами проводилъ вечера безъ посторонннихъ, онъ былъ разговорчивъ, и говорилъ иногда по нѣскольку часовъ, сначала въ связи, порядочно и ясно, потомъ путался въ словахъ, и можно было замѣтить, что въ головѣ его было много странныхъ идей, имъ преобладавшихъ; во время разговора онъ обыкновенно ходилъ взадъ и впередъ по горницѣ. Иногда бывалъ онъ въ сильномъ раздраженіи, иногда становился до крайности подозрителенъ и во всемъ видѣлъ злой противъ себя умыслъ; напримѣръ: когда мальчишки играли и шумѣли передъ его окнами, онъ говорилъ съ великою досадою, что они подосланы правительствомъ его сердить и мучить, что правительство было подкуплено его родными. Напротивъ, извѣстно, что его родные употребляли всѣ средства съ нимъ сблизиться и ему помогать, но что онъ съ гордостію отвергалъ всякую ихъ помощь и всякое съ ними сближеніе. Увидя, что мы, прощаясь съ нимъ, плакали, подарилъ онъ мнѣ маленькую желѣзную цѣпочку, на которой носилъ прежде часы; отдавая ее, онъ сказалъ мнѣ: прошу тебя это беречь; это послѣдній подарокъ обѣднѣвшаго короля». — *Примѣч. къ тексту.*

стры, Сибиллы, жестоко ненавидѣвшей Якобу, сія послѣдняя была обвинена въ нарушеніи супружеской вѣрности; ее предали суду, заключили въ темницу, но прежде нежели виновность ея [весьма впрочемъ сомнительная] могла быть доказана судомъ, она вдругъ умерла скоропостижно; ее поспѣшно схоронили. Это произвело подозрѣніе, что смерть ея была неестественная и что виновницею этой смерти была Сибилла. Теперь замокъ герцоговъ бергскихъ, сцена этихъ древнихъ ужасовъ, обращенъ въ академію живописи; онъ столица знаменитой Дюссельдорфской школы; въ немъ царствуетъ мирный геній искусства. Но преданіе о давнишнемъ убійствѣ, подъ кровлею его совершившемся, сохранилось въ народѣ — и не одно преданіе: сама преступница, казнимая гнѣвомъ небеснымъ, посѣщаетъ мрачною тѣнью то мѣсто, которое было свидѣтелемъ ея злодѣйствія. Однимъ является она видимо; другіе не видятъ ея, а только слышатъ; иныхъ какимъ нибудь знакомъ она извѣщаетъ о своемъ таинственномъ присутствіи. Вотъ что между прочимъ случилось съ живописцемъ Бланкомъ [это разсказано мнѣ однимъ изъ его академическихъ товарищей]. Онъ сидѣлъ за работою въ длинной залѣ, гдѣ находится картинная галлерея и гдѣ обыкновенно бываетъ выставка живописи; изъ нея съ одной стороны ходъ на парадное крыльцо, а съ другой двери въ меньшую залу академіи, составляющую съ другими горницами довольно длинную анфиладу. Начинало смеркаться; живописецъ былъ занятъ своею работою, спѣша ее кончить до наступленія темноты — вдругъ онъ слышитъ, что двери, ведущія съ крыльца къ галлерею, отворились, и что мимо его кто-то проходитъ, а кто — не видно. По шороху платья [похожему на шумъ отъ атласнаго шлейфа]—женщина. Она идетъ черезъ галлерею къ залѣ, отворяетъ ее, идетъ далѣе черезъ всю анфиладу, и слышно, какъ всѣ двери одна за другою отворяются и затворяются; и наконецъ все утихаетъ. Бланкъ остается въ изумленіи; преданіе о бродящей душѣ Сибиллы приходитъ ему на память... Но вотъ, пока онъ размышляетъ о томъ, что случилось, ему слышится, что самая дальняя дверь анфилады снова отворилась, и что къ слѣдующей двери подходятъ... Въ ужасѣ онъ бросаетъ свою работу и спѣшитъ выдти изъ галлереи дверями, ведущими на крыльцо, дабы не встрѣтиться съ страшною гостьей. Это происшествіе заставляетъ думать, что покойная, или безпокойная, Сибилла, посѣщающая невидимкою прежнее свое жилище, еще не износила и не скинула своего стариннаго атласнаго платья, котораго шорохъ извѣщаетъ живыхъ о страшныхъ прогулкахъ мертвой. Въ 1841 году, когда я находился въ Дюссельдорфѣ, профессоръ Зонъ писалъ портретъ жены моей; каждый день въ одиннадцать часовъ утра я приходилъ съ женою въ его рабочую, гдѣ сидѣніе для портрета продолжалось около двухъ часовъ. Корридоръ, изъ котораго ведетъ дверь въ эту рабочую, находится въ верхнемъ этажѣ академіи; къ нему изъ нижняго этажа, отъ парадная крыльца также идетъ корридоръ, упирающійся въ узкую, довольно крутую лѣстницу, соединяющую средній этажъ съ верхнимъ; эта лѣстница примыкаетъ въ верху къ небольшой площадкѣ, мимо которой надобно проходить къ рабочимъ многихъ живописцевъ и которая составляетъ въ верхнемъ корридорѣ пустое отдѣленіе, не имѣющее никакого выхода. Однажды, идя въ опредѣленное время съ женою къ живописцу Зону, мы всходили по узкой лѣстницѣ, я впереди, жена за мною. Вдругъ, ставъ ногою на послѣднюю ступень, я увидѣлъ, что отъ меня что-то черное бросилось вправо и быстро исчезло въ углу описанной мною выше площадки; какой оно имѣло образъ, не знаю: передъ глазами моими мелькнула черная полоса. Что это? спросили мы разомъ, я у жены, а жена у меня. Отвѣта не могло быть никакого. Но жена не только что видѣла, она въ то же время и слышала; и это обстоятельство для

ней осталось особенно памятно тѣмъ, что, подошедши къ лѣстницѣ и желая мнѣ что-то сказать, она оглянулась, дабы узнать, не было ли кого въ нижнемъ корридорѣ; тамъ было пусто. Когда же она, всходя за мною по лѣстницѣ, хотѣла начать говорить, ей послышалось, что кто-то за нею шелъ и такъ близко, что она боялась оборотить голову, дабы лицомъ своимъ не столкнуться съ лицомъ неучтиваго своего спутника, и почти чувствовала, какъ нога его поспѣшно занимала мѣсто ея ноги при каждомъ ея шагѣ; въ то же время ей слышался явственно какъ будто шорохъ отъ шелковаго платья. На верхней ступени лѣстницы она вмѣстѣ со мною увидѣла черную полосу, мелькнувшую мимо насъ на площадку; когда же оглянулась, за нею не шелъ никто, въ корридорѣ было по прежнему пусто. Здѣсь разсказаны со всею историческою вѣрностью однѣ подробности того, что съ нами случилось — а что случилось, мы не знаемъ. Опираясь на преданіе, о которомъ тогда только въ первый разъ услышалъ я отъ профессора Зона, можно бы было подумать, что духъ Сибиллы удостоилъ насъ своего вниманія и хотѣлъ на себя обратить наше; но въ подобныхъ случаяхъ всего вѣрнѣе не дѣлать никакихъ объясненій. — Другой случай. Вотъ что разсказывалъ мнѣ о себѣ покойный Н. Н. Муравьевъ, человѣкъ необыкновеннаго ума, просвѣщенный и нимало не суевѣрный. «Я учился въ Геттингенѣ, такъ говорилъ мнѣ Муравьевъ [не помню только, геттингенскій ли университетъ былъ имъ названъ, или другой]; между студентами былъ англичанинъ Стюартъ, смѣшной чудакъ, надъ которымъ его товарищи, и я съ другими, нерѣдко шутили. Однажды онъ похвасталъ, что его нельзя ничѣмъ испугать; я побился съ нимъ объ закладъ, что его испугаю, и это мнѣ удалось; самолюбіе Стюарта было сильно обижено, и онъ обѣщался мнѣ отплатить. Прошло съ тѣхъ поръ довольно времени; Стюартъ покинулъ университетъ, я забылъ о случившемся. Однажды, послѣ трудной работы надъ разрѣшеніемъ математической проблемы, я легъ довольно поздно въ постелю; что воображеніе мое не было ничѣмъ разгорячено, тому свидѣтель моя сухая, отрезвляющая умъ работа. Было за полночь, когда я кончилъ ее; полная луна сіяла въ мои окна; въ горницѣ былъ яркій свѣтъ. Противъ моей постели у противоположной стѣны находился мой рабочій столъ и передъ нимъ большія кресла; въ стѣнѣ, направо отъ стола, противъ оконъ была дверь, которую, ложась въ постель, я заперъ ключомъ изнутри; въ одномъ углу стояла моя сабля. Я скоро заснулъ, но спалъ не долго; какъ будто кѣмъ пробужденный, подымаю голову, и что же вижу?.. Въ моихъ креслахъ, передъ столомъ моимъ, сидитъ человѣческая фигура и пристально на меня смотритъ. Мнѣ тотчасъ въ мысли пришелъ Стюартъ и обѣщанное имъ мщеніе. «Это ты, Стюартъ, закричалъ я; ни чуть не страшно: напрасно трудился, шутка твоя не удалась». Но мнимый Стюартъ сидѣлъ неподвижно, уставивъ на меня темные глаза свои. Я сказалъ: «довольно, Стюартъ, поди вонъ, я хочу спать». Онъ не далъ отвѣта и продолжалъ сидѣть по прежнему. Я разсердился. «Говорятъ тебѣ, поди вонъ, не мѣшай мнѣ», сказалъ я. Онъ все ни слова и все неподвиженъ по прежнему. «Стюартъ, я не шучу; въ послѣдній разъ говорю тебѣ, поди вонъ; будетъ плохо». Такъ закричалъ я, чувствуя, къ великой досадѣ своей, что меня отъ ужаса подирало по кожѣ. Но гость мой продолжалъ по прежнему пристально смотрѣть на меня и сидѣлъ недвижимо, какъ мраморный. Тутъ въ судорожномъ страхѣ я вскочилъ съ постели, схватилъ свою саблю, кинулся на сидѣвшаго и далъ ему сильный ударъ: сабля пролетѣла сквозь туловище его, какъ будто сквозь воздухъ; онъ не пошатнулся и продолжалъ смотрѣть на меня по прежнему. Въ неописанномъ ужасѣ, я началъ отъ него пятиться къ моей постели, сѣлъ на нее, опершись на

свою саблю, и, какъ будто околдованный сверхъестественною силою, просидѣлъ всю ночь передъ своимъ страшнымъ гостемъ, который, недвижимъ, какъ холодная смерть, упиралъ въ меня темные глаза свои и буровилъ ими всю мою душу. Занялось утро; онъ всталъ, медленными шагами пошелъ къ дверямъ и исчезъ—отворилъ ли ихъ или нѣтъ, не помню; очнувшись, я подхожу къ нимъ: онѣ заперты изнутри. Что это было, и теперь не знаю; о Стюартѣ же ни прежде, ни послѣ я не имѣлъ никакого слуха».

Къ сему роду явленій относится въ особенности нашъ вопросъ: вѣрить или не вѣрить привидѣніямъ? Множество событій, достаточно засвидѣтельствованныхъ, побуждаютъ насъ отвѣчать утвердительно; съ другой стороны невѣроятность самыхъ событій, выходящихъ изъ обыкновеннаго порядка вещей, склоняютъ насъ къ отрицанію. Что же выбрать? Ни то, ни другое. Хотя весьма многія доказательства въ пользу дѣйствительности привидѣній имѣютъ такую же силу, какую имѣютъ и всѣ другія доказательства историческія, на основаніи которыхъ мы признаемъ за истину происшествія, совершившіяся за многіе вѣки прежде насъ; хотя нѣтъ причины принимать за невозможное то, чего мы вполнѣ изъяснить не можемъ, и за несуществующее то, что не подлежитъ нашимъ чувствамъ, сіи явленія все останутся для насъ навсегда между да и нѣтъ. Въ этой невозможности пріобрѣсть насчетъ ихъ убѣжденіе выражается для насъ законъ самого Создателя, Который, помѣстивъ насъ на землѣ, дабы мы къ здѣшнему, а не къ другому какому порядку принадлежали, отдѣлилъ насъ отъ иного міра таинственною завѣсою. Эта завѣса непроницаема; она порою сама передъ нами приподымается, дабы мы знали, что за нею не пусто; но нашею силою никогда быть раздернута не можетъ. Если бы хотя одно явленіе духа, говоритъ Р.[ейтеръ], могло быть доказано такъ убѣдительно, что оно для всего свѣта безъ изъятія сдѣлалось бы несомнѣнно, то вѣра въ безсмертіе души превратилась бы для всѣхъ въ очевидность. Это правда; но сей-то очевидности намъ и имѣть не должно. Міръ духовный есть таинственный міръ вѣры; очевидность принадлежитъ міру матеріальному: она есть достояніе здѣшней жизни, заключенной въ предѣлахъ пространства и времени; наше верховное сокровище—знаніе, что Богъ существуетъ и что душа безсмертна, отдано на сохраненіе не мелкому рабу необходимости, уму, а вѣрѣ, которая есть высшее выраженіе человѣческой свободы. Эти явленія духовъ, непостижимыя разсудку нашему, строющему свои доказательства и извлекающему свои умственные выводы изъ матеріальнаго, суть, такъ сказать, лучи свѣта, иногда проникающіе сквозь завѣсу, которою мы отдѣлены отъ духовнаго міра; они будятъ душу посреди лѣниваго покоя земной очевидности, они обѣщаютъ ей нѣчто высшее, но его не даютъ ей, дабы не произвести въ ней раздора съ тѣмъ, что ей дано здѣсь, и чѣмъ она здѣсь должна быть ограничена и опредѣлена въ своихъ дѣйствіяхъ. Вотъ причина, почему и всякое явленіе духа производитъ въ насъ чувство ужаса, непохожаго ни на какой земной ужасъ. По настоящему всякое такое явленіе должно бы насъ разовать, какъ явленіе друга изъ земли дальней, какъ вѣсть желанная — напротивъ, при немъ мы чувствуемъ себя въ присутствіи чего-то, намъ чужаго, съ нами разнороднаго, намъ недоступнаго, имѣющаго для души нашей такой же холодъ, какой имѣетъ мертвый трупъ для нашего осязанія. Это взглядъ въ глубину бездоннаго, гдѣ нѣтъ жизни, гдѣ ничто не имѣетъ образа, гдѣ все непривосновенно — такой ужасъ не есть ли явный знакъ, что принадлежащее иному міру должно быть намъ недоступно, пока мы сами принадлежимъ здѣшнему, и что оно можетъ быть нашимъ по одной только вѣрѣ? Итакъ, не отрицая ни существованія духовъ, ни возможности ихъ сообщенія съ

нами, не будемъ преслѣдовать ихъ тайны своими умствованіями, вредными, часто гибельными для нашего разума; будемъ съ смиренною вѣрою стоять передъ опущенною завѣсою, будемъ радоваться ея трепетаніемъ, убѣждающимъ насъ, что за нею есть жизнь, но не дерзнемъ и желать ея губительнаго разторженія: оно было бы для насъ вѣроубійствомъ.

Въ заключеніе скажемъ о нѣкоторыхъ особенаго рода видѣніяхъ, которыя составляютъ средину между обыкновенными сновидѣніями [то есть призраками, отъ насъ неотдѣльными и не имѣющими никакой самобытности] и настоящими привидѣніями [то есть призраками самобытными и отъ насъ отдѣльными]. Сіи видѣнія бываютъ двоякаго рода: въ однихъ наше близкое будущее, или то, что уже совершилось [то есть наше, еще намъ невѣдомое, настоящее], предварительно сказываются душѣ нашей: сей безсловесный разговоръ чего-то съ нашею душою мы называемъ предчувствіемъ, въ которомъ, какъ будто прежде самаго событія, подходитъ къ намъ его тѣнь, чтобы намъ предвозвѣстить его приближеніе и насъ приготовить къ его принятію. Въ другихъ или совершается непосредственное сообщеніе душъ, разрозненныхъ пространствомъ, соединенное съ видимымъ образомъ, дѣйствующимъ на наши чувственные органы, или самой душѣ является нѣчто, изъ глубины ея непосредственно исходящее. Первыя изъ сихъ видѣній суть просто предчувствія, какъ сказано выше; послѣднія особенно принадлежатъ минутѣ смертной, минутѣ, въ которую душа, готовая покинуть здѣшній міръ и стоящая на порогѣ иного міра, полуотрѣшенная отъ тѣла, уже не зависитъ отъ пространства и мѣста, и дѣйствуетъ непосредственнѣе, сливая тамъ и здѣсь во едино. Иногда уходящая душа, въ исполненіе даннаго обѣта, возвѣщаетъ свое отбытіе какимъ нибудь видимымъ знакомъ — здѣсь выражается только вѣсть о смерти; иногда безплотный образъ милаго намъ человѣка неожиданно является передъ глазами, и это явленіе, всегда современное минутѣ смертной, есть какъ будто послѣдній взглядъ прощальный, послѣдній знакъ любви въ предѣлахъ здѣшняго міра на свиданіе въ жизни вѣчной; иногда, наконецъ, въ вашей душѣ совершается нѣчто необычайное, которое не иное что, какъ сама олицетворяющаяся передъ нами наша смерть. О такихъ событіяхъ, выходящихъ изъ обыкновеннаго порядка и для насъ непзъяснимыхъ, есть много разсказовъ, не подверженныхъ никакому сомнѣнію; мы ограничимся здѣсь описаніемъ двухъ случаевъ. Первый изъ нихъ я разскажу въ двухъ словахъ: онъ не требуетъ никакихъ объясненій. За истину повѣствованія ручаюсь.—Въ Москвѣ одна грустная мать сидѣла ночью надъ колыбелью своего больнаго сына: все ея вниманіе обращено было на страждущаго младенца, и все, что не онъ, было въ такую минуту далеко отъ ея сердца. Вдругъ она видитъ, что въ дверяхъ ея горницы стоитъ ея родственница М. [которая въ это время находилась въ Лифляндіи и не могла отъ беременности предпринять путешествіе]; явленіе было такъ живо, что оно побѣдило страданіе матери. «Ахъ, М., это ты?» закричала она, кинувшись на встрѣчу нежданной посѣтительницѣ. Но ея уже не было. Въ эту самую ночь, въ этотъ самый часъ М. умерла родами въ Дерптѣ.

Вотъ другой случай: онъ имѣетъ глубокое психологическое значеніе; я долженъ разсказать его со всѣми подробностями. Во Франкфуртѣ на Майнѣ, въ смутное время первой революціонной войны все вооружалось на отраженіе приближающейся французской арміи. Нѣкто Гофманъ, молодой человѣкъ, недавно обрученный съ Маріанною Р., которую нѣжно любилъ и которая всею душою была къ нему привязана, схватилъ, какъ и другіе, ружье и саблю, чтобы идти на защиту города— онъ упалъ мертвый отъ перваго непріятельскаго выстрѣла. Неожиданная вѣсть объ этомъ страшнымъ образомъ поразила

невѣсту: услышавъ, что женихъ убитъ, Маріанна поблѣднѣла, но она не заплакала, и никакая жалоба не сошла съ языка ея; въ ней во мгновеніе исчезла память, духовная жизнь ея вдругъ остановилась, одна тѣлесная жизнь осталась неприкосновенною. Съ этой поры все окружающее дѣйствовало на нее, такъ сказать, мимоходомъ, не производя въ ней ни радостнаго, ни горестнаго участія; одни настоящія, матеріальныя нужды были ей ощутительны; но все прошедшее, все былое въ жизни вдругъ задернулось покрываломъ; о будущемъ же и самое понятіе пропало: она не ждала ничего, и это неожиданіе было не слѣдствіе отчаяннаго горя, а просто неспособность желать, параличъ, незапно обхватившій душу, которая въ ней сохранилась только для того, чтобы механически служить живому тѣлу, какъ служитъ пружина автомату, имѣющему всѣ признаки существа живаго. Состояніе Маріанны Р. не могло быть названо сумасшествіемъ: въ ней не было ничего разстроеннаго, она была тиха, смиренна, никого ничѣмъ не тревожила; но ни въ комъ и ни въ чемъ не принимала участія и жила въ кругу людей, какъ будто не примѣчая, что она съ ними; и всѣ, знавшіе грустную причину случившейся съ нею перемѣны, оказывали ей нѣжное вниманіе, заботились о ней, какъ о безпомощномъ, осиротѣвшемъ ребенкѣ. Такъ провела Маріанна болѣе тридцати лѣтъ; въ послѣдніе годы особенно привязалась она къ молодой дочери хозяина того дома, въ которомъ жила, Луиза Д. [такъ называлась эта дѣвушка] навѣщала ее часто, и ей одной оказывала Маріанна что-то похожее на дружбу. Вдругъ Луиза начала примѣчать какую-то необыкновенную живость въ Маріаннѣ, дотолѣ тихой и ни на что не обращавшей вниманія; казалось, что ее безпрестанно тревожила какая-то мысль, для нея самой непонятная; можно было также подумать, что въ ея тѣлѣ работала болѣзнь. Со дня на день сія тревога становилась сильнѣе и постояннѣе. Однажды, когда Луиза по обыкновенію своему принесла обѣдъ Маріаннѣ, послѣдняя сказала ей съ таинственнымъ видомъ: «знаешь ли что, Луиза?.. Онъ написалъ ко мнѣ... Онъ ко мнѣ будетъ...»— Кто онъ? спросила Луиза.—«Онъ... онъ...» отвѣчала та, потирая лобъ и напрасно стараясь вспомнить... «ты знаешь... онъ... я жду его...» Болѣе она не могла сказать ничего. «Я жду... онъ будетъ... онъ писалъ ко мнѣ», эти слова она повторила съ видимымъ волненіемъ; воспоминаніе тѣснилось въ ея душу, но душа еще была затворена для него. Дня черезъ три Маріанна сказала Луизѣ: «приходи ко мнѣ завтра... я жду его... онъ будетъ у меня завтракать». И когда на другой день Луиза пришла, она увидѣла, что Маріанна сидѣла въ своемъ праздничномъ платьѣ за накрытымъ столикомъ; глаза ея были ярки, щеки горѣли, она смотрѣла быстро на двери. Вдругъ, подавъ знакъ рукою Луизѣ, чтобы молчала и не шевелилась, она сказала ей шопотомъ: «слушай... слушай... онъ идетъ...» Вдругъ глаза ея вспыхнули, руки стремительно протянулись къ дверямъ, она вскрикнула громко: «Гофманъ!» и упала мертвая на полъ.

Главныя обстоятельства этого замѣчательнаго событія разсказаны мнѣ почти очевидцемъ. Оно есть одинъ изъ тѣхъ случаевъ, въ которые намъ удается проникнуть взглядомъ за таинственную завѣсу, отдѣляющую насъ отъ міра духовнаго. Въ ту минуту, когда эта нѣжная, любящая душа такъ неожиданно потеряла все, что было ея истинною жизнію, она какъ будто оторвалась отъ всего житейскаго; но разрывъ ея съ тѣломъ не совершился: она осталась еще, такъ сказать, по одному механическому сцѣпленію, принадлежностію жизни тѣлесной; но все, что въ ней принадлежало жизни духовной и чего главною стихіею была эта любовь, ею вполнѣ обладавшая, вдругъ съ утратою предмета любви оцѣпенѣло. И пока тѣлесная жизнь была полна, пока въ составѣ тѣла не было никакого раз-

стройства, но тѣхъ поръ эта скованная, совершенно подвластная тѣлу душа, ни въ чемъ себя не проявляла: она была узникомъ, невидимо обитавшимъ въ темницѣ тѣла, съ однимъ темнымъ самоощущеніемъ, безъ всякаго самопознанія. Вдругъ начинается процессъ разрушенія матеріальной власти тѣла. Съ развитіемъ болѣзни и съ постепеннымъ приближеніемъ смерти, мало по малу совершается освобожденіе души, въ ней оживаетъ память прошедшаго, сперва смутно, потомъ яснѣе, яснѣе... «Онъ будетъ... я жду его... онъ ко мнѣ писалъ...» все это еще одни слова сквозь сонъ, но слова, означающія близкое пробужденіе жизни... и вдругъ въ послѣднемъ словѣ, въ произнесеніи имени, въ узнаніи образа, давно забытаго, полное воскресеніе жизни и съ нимъ конечное отрѣшеніе души отъ тѣла—смерть. Что же такое смерть? Свобода, положительная свобода, свобода души: ея полное самоузнаніе съ сохраненіемъ всего, что ей дала временная жизнь и что ее здѣсь довершило для жизни вѣчной, съ отпаденіемъ отъ нея всего, что не принадлежитъ ея существу, что было однимъ переходнымъ, для нея испытательнымъ и образовательнымъ, но по своей натурѣ ничтожнымъ, здѣшнимъ ея достояніемъ.

О МЕЛАНХОЛІИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ ПОЭЗІИ.

1. ОТРЫВОКЪ ПИСЬМА.

Въ Москвитянинѣ было напечатано мое письмо о переводѣ Гомеровой Одиссеи. Въ немъ между прочимъ сказано слѣдующее:

... «Какое очарованіе въ этой работѣ, къ этомъ подслушиваніи первыхъ вздоховъ Андіомены, рождающейся изъ пѣны моря [ибо она есть символъ Гомеровой поэзіи], въ этомъ простодушіи слова, въ этой первобытности нравовъ, въ этой смѣси дикаго съ высокимъ, вдохновеннымъ и прелестнымъ, въ этой жи*вописности безъ излишества*, въ этой незатѣйливости и непорочности выраженія, въ этой болтовнѣ, часто черезъ чуръ подробной, но принадлежащей характеру безыскусственности и простоты, и особенно въ этой меланхоліи, которая нечувствительно, безъ вѣдома поэта, кипящаго и живущаго съ окружающимъ его міромъ, все проникаетъ, ибо эта меланхолія не есть дѣло фантазіи, созидающей произвольно грустныя, безпричинныя сѣтованія, а заключается въ самой природѣ вещей тогдашняго міра, въ которомъ все имѣло жизнь, пластически могучую въ настоящемъ, но и все было ничтожно, ибо душа не имѣла за границей міра своего будущаго и улетала съ земли безжизненнымъ призракомъ; и вѣра въ безсмертіе, посреди этого кипѣнія жизни настоящей, никому не шептала своихъ великихъ, всеоживляющихъ утѣшеній. Кажется, что г-жа Сталь первая произнесла, что съ религіею христіанскою вошла въ поэзію и вообще въ литературу меланхолія. Не думаю, чтобы это было справедливо. Что такое меланхолія? Грустное чувство, объемлющее душу при видѣ измѣняемости и непрочности благъ житейскихъ, чувство или предчувствіе утраты невозвратимой и неизбѣжной. Такимъ чувствомъ была проникнута свѣтлая жизнь языческой древности, свѣтлая, какъ украшенная жертва, ведомая съ музыкою, пѣніемъ и пляскою на закланіе. Эта незамѣняемость здѣшней жизни, разъ утраченной, есть характеръ древности и ея поэзіи; эта незамѣняемость есть источникъ глубокой меланхоліи, никогда не выражающейся въ жизни, но всегда присутственной тайно, за то весьма часто выражающейся въ поэзіи. Кто изъ поэтовъ имѣетъ болѣе меланхоліи Горація? Но Горацієва меланхолія понятна; она его естественная, неискусственная физіономія, тогда какъ меланхолія поэтовъ новѣйшихъ поэтовъ бываетъ часто одно кривляніе. Христіанство и въ этомъ отношеніи, какъ и во всякомъ другомъ, произвело рѣшительный переворотъ: тамъ, гдѣ есть Евангеліе, не можетъ уже быть

той меланхоліи, о которой я говорилъ выше, которой все запечатлѣно въ доевангельскомъ мірѣ; теперь лучшее, верховное, все замѣняющее благо — то, что одно неизмѣнно, одно существенно, дано одинъ разъ навсегда душѣ человѣческой Евангеліемъ. Правда, мы можемъ и теперь, какъ и древніе, говорить: земное на минуту, все измѣняется, все гибнетъ; но мы говоримъ такъ о погибели однихъ внѣшнихъ, чуждыхъ намъ призраковъ, замѣняемыхъ для насъ вѣрнымъ, негибнущимъ, существеннымъ, внутреннимъ, нашимъ; а древніе говорили о гибели того, что, разъ погибнувъ, уже ничѣмъ замѣняемо не было.

2. замѣчанія на письмо.

На эту статью были сдѣланы весьма остроумныя замѣчанія; прилагаю ихъ здѣсь съ моимъ на нихъ отвѣтомъ:

«Съ большимъ удовольствіемъ читалъ я въ Москвитянинѣ твои стихи и письмо, твою поэтическую исповѣдь. Что же касается до меланхоліи, то правъ и ты и права г-жа Сталь. Впрочемъ такъ и быть должно: нѣтъ ничего безусловнаго и отдѣльно цѣлаго. Конечно, въ Горація есть уныніе, но это уныніе ведетъ къ тому, что надобно торопиться жить, пѣть и веселиться; а новѣйшее или христіанское уныніе ведетъ къ тому, что унынію есть обязанность, душа жизни. Ты говоришь: тамъ, гдѣ есть Евангеліе, не можетъ уже быть той меланхоліи, которою все запечатлѣно въ до-евангельскомъ мірѣ. Нѣтъ, гдѣ есть Евангеліе, тамъ не можетъ или по крайней мѣрѣ не должно быть отчаянія, а унынію есть мѣсто, и большое. Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію: развѣ эта молитва не есть вопль унынія? А когда Христосъ молилъ, чтобы пронеслася мимо чаша, а когда съ него падалъ кровавый потъ, а когда онъ воскликнулъ: «прискорбна есть душа моя до смерти»—развѣ это не уныніе? Религія древности есть наслажденіе: ему строили алтари и вся жизнь древняя была служеніемъ ему. Религія наша: страданіе; страданіе есть первое и послѣднее слово христіанства на землѣ. Слѣдовательно съ Евангеліемъ должно было войти уныніе въ поэзію — стихія, совершенно чуждая древнему міру, по крайней мѣрѣ въ этомъ отношеніи. Не будь безсмертія души, не будетъ и сомнѣнія и тоски. Смерть тогда—сонъ безъ пробужденія, и прекрасно! О чемъ тутъ тосковать? Все уныніе, вся тоска въ томъ, что, засыпая, не знаешь, гдѣ и какъ проснешься; тоска въ томъ, что на жизнь смотришь, какъ на ловкутокъ чего-то, какъ на программу, какъ на лотерейный билетъ, не зная, что выпется. Незамѣняемость здѣшней жизни, разъ утраченной, въ виду чего-то, въ виду живаго чувства, была бы грустью, но въ виду безчувствія, ничтожества, она, разумѣется, и сама ничто. Кажется, Сенека сказалъ: «чего бояться смерти? При насъ ея нѣтъ, при ней насъ уже нѣтъ». Вотъ вѣроисповѣданіе древняго міра. А у насъ напротивъ: «смерть начало всего». Тутъ по неволѣ призадумаешься».

3. отвѣтъ на замѣчанія.

... Жаль, что предъ глазами моими нѣтъ моего письма, напечатаннаго въ «Москвитянинѣ» безъ моего вѣдома. Я не помню, что и какъ въ немъ сказано; слѣдственно не могу защищать своихъ выраженій, можетъ быть и ошибочныхъ, ибо письмо написано наскоро. Я, правда, перечиталъ его и про себя, и потомъ съ Гоголемъ, но теперь ни слова не помню, и конечно многое въ немъ сказано неопредѣленно, и многія выраженія неточны. Мнѣ остается возражать на твои мысли и на твои слова.—Мнѣ кажется, что ты въ своихъ положеніяхъ ошибаешься, и ошибаешься отъ того, что не сдѣлалъ для себя ясной дефиниціи главнаго предмета, о которомъ говоришь. Ты смѣшиваешь два понятія, совершенно разныя: меланхолію и печаль, или скорбь [а не уныніе, какъ ты выражаешься; уныніе есть только слѣдствіе печали, оваго

дѣвшей душою и преодолѣвшей силу ея].

Что такое меланхолія? Грустное состояніе души, происходящее отъ невозвратной утраты, — или уже совершившейся, или ожидаемой и неизбѣжной. Причины меланхоліи суть причины внѣшнія, истекающія изъ всего того, что насъ окружаетъ и что на насъ извнѣ дѣйствуетъ. Скорбь или печаль есть состояніе души, томимой внутреннею болѣзнію, изъ самой души истекающею; и хотя причины скорби могутъ быть внѣшнія, но онѣ, поразивъ душу, предаютъ ее ей самой, и скорбь въ ней тогда также присутственна, какъ и сама жизнь. Меланхолія питается извнѣ; безъ внѣшняго вліянія она исчезаетъ. Скорбь питается изнутри, и если душа, ею томимая, не одолѣетъ ея, то она обращается въ уныніе, ведущее наконецъ къ отчаянію; если же, напротивъ, душа съ нею сладитъ, то врагъ обращается въ друга-союзника, и изъ разслабляющей душу силы [то есть изъ силы этой скорби, ее гнетущей] вдругъ рождается великое могущество, удвоивающее жизнь. Меланхолія есть лѣнивая нѣга, есть—такъ сказать — грустная роскошь, мало по малу изнуряющая и наконецъ губящая душу. Скорбь, напротивъ, есть дѣятельность, столько же для побѣдившей ее души образовательная и животворная, сколь она можетъ быть разрушительна и убійственна для души, ею побѣжденной. Изъ всего сказаннаго ясно, что никакъ не должно смѣшивать понятія меланхоліи съ понятіемъ скорби. Напослѣдокъ главное, существенное различіе между меланхоліею и скорбію — [я говорю здѣсь въ смыслѣ христіанина, для котораго въ семъ отношеніи нѣтъ ничего сомнительнаго, который все строитъ на твердомъ пунктѣ откровенія] — главное различіе состоитъ въ томъ, что меланхолія, грустное чувство, извлекаемое изъ невѣрности, непрочности и ничтожности всего житейскаго, ничѣмъ не замѣняемаго по утратѣ *его, не можетъ быть свойствомъ, внутреннею принадлежностію* души, по природѣ своей — безсмертной, а потому и чувствующей явно или тайно свое безсмертіе, несовмѣстное съ чувствомъ ничтожества, но что она входитъ въ душу извнѣ, изъ окружающаго ее рыхлаго міра, какъ нѣчто ей постороннее, и къ ней прилипаетъ, какъ наростъ, какъ кора, ей чуждая; тогда какъ скорбь есть неотъемлемое свойство души, безсмертной по своей природѣ, божественной по своему происхожденію, но падшей, и носящей въ себѣ, явно или тайно, грустное чувство сего паденія, соединенное однако съ чувствомъ возможности вступить въ первобытное свое величіе. Откровеніе даетъ дѣятельную жизнь сему темному врожденному чувству, приводя его въ ясность и указывая на средства исцѣлить недугъ паденія. Пока души не преобразовало откровеніе, по тѣхъ поръ она, обрѣтая въ себѣ эту, ей еще неясную скорбь, стремится къ чему-то высшему, но ей неизвѣстному, и чѣмъ сильнѣе внутренняя жизнь ея, тѣмъ сильнѣе и это стремленіе, и тѣмъ глубже проникается она этою тайною скорбію. Но какъ скоро откровеніе освѣтило душу и вѣра сошла въ нее, скорбь ея, не перемѣняя природы своей, обращается въ высокую дѣятельность, благородствуетъ душу и, не производя въ ней раздора съ окружающимъ міромъ, оцѣниваетъ его блага, ничтожныя сами по себѣ, но существенныя, когда они подчинены благамъ вышнимъ, которыя ихъ замѣняютъ, не уничтожая временной значительности ихъ въ здѣшнемъ мірѣ. Эта скорбь есть душа христіанскаго міра. Пока она не оперлась на вѣру и откровеніе, она можетъ повергнуть въ уныніе и безнадежность, ибо тогда врожденное стремленіе души не имѣетъ предмета. Съ вѣрою же [подъ словомъ вѣра я разумѣю одну только вѣру во Христа] она ведетъ къ глубокому миру, и наконецъ принимаетъ на себя свѣтлый образъ этого мира, при которомъ все земное становится яснымъ и все наше драгоцѣннѣйшее вѣрнымъ! [Это состояніе души не есть знаніе, ибо

человѣкъ не созданъ знать,—но болѣе, нежели знаніе: это вѣра, самый возвышенный, самый свободный и самобытный актъ души человѣческой, вѣра — дитя скорби. Св. Августинъ, кажется, говоритъ: «мнѣ не нужно знать, чтобъ вѣрить, но вѣрить, чтобъ знать»].

Покажется парадоксомъ, если сказать, что меланхолія есть элементъ міра древняго [здѣсь подъ міромъ древнимъ разумѣется классическій міръ грековъ и римлянъ], но оно такъ! я говорю элементъ, то есть составъ, входящій въ образованіе внутренняго характера жизни древнихъ. Они имѣли вполнѣ развитую гражданскую матеріальную жизнь, но не имѣли дополненія, необходимаго этой жизни, того именно, что ее упрочиваетъ и благородствуетъ; ихъ религія принадлежала тѣснымъ предѣламъ этой матеріальной жизни; она не входила во внутренность души, напротивъ—извлекала ее изъ самой себя, наполняя внѣшній міръ, ее окружающій, своими поэтическими созданіями, повторявшими, въ другомъ только размѣрѣ, всѣ событія ежедневной матеріальной жизни. Но замѣна земнымъ утратамъ ничто не представляло. Отецъ боговъ, Юпитеръ, самъ былъ великій развратникъ; утѣшить и подкрѣпить въ бѣдахъ онъ не былъ способенъ, принималъ экатомбы, но не могъ ничего противъ слѣпаго, безжалостнаго фатума. Всѣ сокровища были на землѣ; все заключалось въ земныхъ радостяхъ и все съ ними исчезало. Итакъ, естественно, что душа, ничего кромѣ сихъ измѣнчивыхъ благъ не имѣя, къ нимъ съ жадностію прилипала и предавалась ихъ наслажденію, отвративъ глаза отъ Парки, во всякое время съ нимъ неразлучной. У каждаго на пиру жизни висѣлъ надъ головою, на тонкомъ волоскѣ, мечъ Дамоклесовъ; но потому именно, что онъ у каждаго висѣлъ надъ головою, всѣ общею толпою шумѣли весело на пиру и спѣшили насытиться по горло. Каждый самъ про себя, ясно или неясно, чувствовалъ, что когда соберутъ со стола, ужъ другаго ему не накроютъ; но увлеченный общимъ шумнымъ порывомъ, не обращалъ вниманія на это чувство, или вопреки ему удвоивалъ свои подвиги на всемірной оргіи. Иногда какой-нибудь Горацій, но и тотъ только для того, чтобы подстрекнуть наслажденіе, восклицалъ посреди этой суматохи:

Лови, лови летящій часъ!
Онъ, улетѣвъ, не возвратится!

Эти слова меланхолически высказываютъ печальную истину; но только для того, чтобъ сильнѣе прилѣпить къ милому заблужденію, чтобъ наложить новый блестящій покровъ на скелетъ жизни. Но этотъ скелетъ во всей своей отвратительности выскакивалъ изъ цвѣтовъ, на него набросанныхъ безпечностію, когда какой нибудь простодушный Гомеръ, совсѣмъ не мысля щеголять меланхолическими картинами, приводилъ своего Одиссея къ вратамъ Аида и заставлялъ тѣни умершихъ высказывать ему тайну жизни. Все это доказываетъ, что въ мірѣ древнемъ меланхолія [въ томъ смыслѣ, который я къ сему слову привязываю], будучи печальнымъ, постояннымъ элементомъ самой жизни, потому именно не могла быть высказываема, а только временемъ бывала ощутительна въ ея внѣшнихъ явленіяхъ. Древніе брали жизнь цѣликомъ, спѣшили вполнѣ ею воспользоваться; наслажденіе было ихъ единственною цѣлью; далѣе здѣшней жизни ничто имъ не представлялось. И они умѣли употреблять ее по-своему; и это искусство употребленія жизни особенно выражается въ поэзіи и въ скульптурѣ; какая вѣрность, свѣжесть, полнота формъ, какое пластическое совершенство! И если что нибудь меланхолическое проскакиваетъ въ этихъ плѣнительныхъ, свѣтлыхъ образахъ, то это какъ будто ненарокомъ; это тайна, невольно проговорившаяся; это колодникъ, заключенный въ темномъ подвалѣ подъ чертогомъ пиршественнымъ, на минуту вырвавшійся изъ затвора и пробѣжавшій передъ толпою пирующихъ, чтобъ снова попасть въ руки тюремщиковъ и возвра-

титься въ свое темное заключеніе. Христіанство своимъ явленіемъ все преобразило. И если великъ переворотъ, въ жизни общественной [имъ] произведенный, то переворотъ, произведенный во внутренней жизни, гораздо обширнѣе и глубже. Откровеніе разоблачило передъ человѣкомъ его высокую природу и возвеличило человѣческую душу, указавъ ей ея паденіе и вмѣстѣ съ нимъ ея права на утраченную божественность, возвращенныя ей искупленіемъ. Изъ внѣшняго міра матеріальной жизни, гдѣ все прельщаетъ и гибнетъ, оно обратило насъ во внутренній міръ души нашей; легкомысленное, ребяческое наслажденіе внѣшнимъ уступило мѣсто созерцанію внутреннему; за всякое заблужденіе надежды, ласкавшейся обрѣсть вѣрное существенное въ измѣняющемъ внѣшнемъ, нашлось вознагражденіе въ сокровищницѣ вѣры, которая все наше драгоцѣнное, т. е., существенно душѣ нашей принадлежащее, застраховала на уплату по смерти, въ иномъ мірѣ. Какое же мѣсто можетъ въ этомъ христіанскомъ мірѣ найти меланхолія, которая не иное что, какъ тоска посреди разрушенія и утратъ, ничѣмъ не замѣняемыхъ—тогда какъ въ христіанскомъ мірѣ, по настоящему, нѣтъ утратъ! Гибнетъ только то, что не наше; все же, что составляетъ вѣрное достояніе и сокровище нашей души, упрочено ей на всю вѣчность. До христіанства душа, еще не воздвигнутая искупленіемъ, была преисполнена темнымъ чувствомъ паденія, тайною, часто неощутительною печалію [эта печаль относительно внѣшняго есть то, что я называю меланхоліею]. Христіанство, побѣдивъ смерть и ничтожество, измѣнило и характеръ этой внутренней, врожденной печали. Изъ унынія, въ которое она повергала, и которое или приводило къ безнадежности, губящей всякую внутреннюю дѣятельность, или насильственно влекло душу въ заглушавшую ее матеріальность и въ шумъ внѣшней жизни, — оно образовало эту *животворную скорбь*, о которой я говорилъ выше и которая есть для души источникъ самобытной, побѣдоносной дѣятельности.

Но отъ чего выраженія меланхоліи мы не находимъ въ поэзіи древней и и отъ чего имъ такъ изобильна поэзія христіанская? Древніе по той же причинѣ не выражали меланхоліи въ идеальныхъ произведеніяхъ поэзіи и искусства, по которой они ее выгнали изъ своей дѣйствительной жизни. И мы видимъ, какъ всѣ эти произведенія чисты и далеки отъ всякой туманности, отъ всякой таинственности, придающей такую прелесть произведеніямъ поэтовъ и артистовъ не-классическихъ. Жизнь древнихъ отразилась передъ ними въ созданіяхъ искусства, во всей ея пластической опредѣленности. [Ибо что иное искусство, какъ не слѣпокъ жизни и міра, сдѣланный такимъ точно, какимъ видитъ и понимаетъ его душа наша?] Какъ же очутилось выраженіе меланхоліи въ поэзіи христіанской? Сперва надобно сдѣлать въ этомъ вопросѣ маленькую поправку: не въ поэзіи христіанской, а въ поэзіи по распространеніи христіанства. Великая разница. Поэтъ, наполненный духомъ Евангелія — поэтъ христіанинъ не можетъ ни самъ предаваться той меланхоліи, о которой говорено выше, ни передавать ее поэзіи. Его вдохновеніе имѣетъ иной характеръ. Въ Данте нѣтъ меланхоліи; въ Шекспирѣ ея нѣтъ; въ Вальтеръ-Скоттѣ ея не найдешь. Но между тѣмъ она одна изъ самыхъ звучныхъ струнъ романтической лиры [то есть лиры, настроенной послѣ распространенія христіанства]. Этотъ феноменъ изъяснить не трудно. Христіанство открыло намъ глубину нашей души, увлекло насъ въ духовное созерцаніе, соединило съ міромъ внѣшнимъ міръ таинственный, усилило въ насъ все душевное — это отразилось въ жизни дѣйствительной: страсти сдѣлались глубже, геройство сдѣлалось рыцарствомъ, любовь — самоотверженіемъ; все получило характеръ какой-то духовности. Это равномѣрно отразилось

и въ поэзіи — и тогда, какъ древній поэтъ схватываетъ живо, свѣжо и рѣзко окружающіе его матеріальные образы, и только поверхностно, но съ удивительною вѣрностію изображаетъ страсти, столь же поверхностныя, какъ и ихъ изображеніе; поэтъ романтическій, менѣе заботясь о вѣрности своихъ очерковъ, менѣе заботясь о красотѣ пластической [въ изображеніи которой, впрочемъ, и не сравнился бы онъ съ древними, успѣвшими прежде его схватить всѣ главныя черты], углубляется въ выраженіе таинственнаго, внутренняго, преслѣдуетъ душу во всѣхъ ея движеніяхъ и высказываетъ подробно всѣ ея тайны. Теперь пускай поэтъ романтическій, введенный христіанствомъ во всѣ тайны души человѣческой, не будетъ въ собственной душѣ своей имѣть христіанскаго элемента; пусть будетъ онъ по своему вѣроисповѣданію язычникъ [а язычникъ - романтикъ гораздо болѣе язычникъ, нежели язычникъ-классикъ; сей послѣдній — язычникъ по незнанію, а тотъ язычникъ по отрицанію], пусть будетъ онъ христіанинъ только по эпохѣ, въ которую живетъ, и невѣрующій по своему образу мнѣнія и чувствованія—въ какую бездну меланхоліи должна погрузиться душа его, обогащенная всѣми сокровищами отрицаемаго имъ христіанства! Въ этомъ арсеналѣ—то есть въ арсеналѣ меланхоліи — найдетъ онъ самыя сильныя свои оружія, древнимъ неизвѣстныя, и тѣмъ сильнѣйшія, что они будутъ въ противоположности съ окружающимъ его міромъ, и что онъ самъ отъ оппозиціи съ этимъ міромъ присоединитъ къ сильному меланхолическому чувству силу негодованія и презрѣнія. Примѣръ Байронъ: конечно обстоятельства жизни помогли освирѣпѣть его гордому генію; но главный источникъ его меланхолическаго негодованія есть скептицизмъ. Какъ поэтическая краска, меланхолія изъ всѣхъ поэтическихъ красокъ самая сильная; поэзія живетъ контрастами. Самые привлекательные характеры [то есть поэтически привлекательные] въ поэзіи суть тѣ, которые наиболѣе возбуждаютъ чувство меланхолическое: сатана въ Мильтоновомъ Раю, Аббадона у Клопштока. Въ христіанскомъ мірѣ, гдѣ все ясно и прочно, картины меланхолическія никого не пугаютъ; мы наслаждаемся ими, какъ человѣкъ, сидящій на берегу, наслаждается зрѣлищемъ бури. И поэты романтическіе до излишества пользуются симъ дѣйствительнымъ способомъ производить поэтическое впечатлѣніе. Но ихъ меланхолическія жалобы, несовмѣстныя ни съ христіанскою скорбію, ни съ христіанскимъ покоемъ, изъ этой скорби истекающимъ, могутъ быть трогательны и дѣйствительны только тогда, когда выражаютъ не вымышленное, а дѣйствительное страданіе души, томимой чувствомъ собственнаго ничтожества и невѣрности всего, что мило ей на свѣтѣ, тѣмъ болѣе рѣзкимъ, что они сами бѣжали съ отвергнутаго ими неба, или не имѣли силы войти въ его врата, отворенныя христіанствомъ, и плачутъ о немъ, въ виду его свѣта, какъ Аббадона, или негодуютъ на него, какъ сатана, его оттолкнувшій. Самый меланхолическій образъ представляетъ намъ сатана. Онъ палъ произвольно; онъ все отвергъ по гордости; онъ все отрицаетъ, зная навѣрное, что отрицаемое имъ есть истина. Итакъ, божественное ему вѣдомо, и оно было его собственностью, и онъ, зная его, произвольно свое знаніе отрицаетъ... невѣріе съ яснымъ убѣжденіемъ, что предметъ его есть верховная истина, и что эта истина есть верховное благо — что̀ можетъ быть ужаснѣе такого состоянія души, и въ то же время что грустнѣе, когда представишь себѣ, что сей произвольный отрицатель былъ нѣкогда свѣтлый ангелъ!

Надобно кончить. Но я написалъ свое длинное разсужденіе [короче написать не успѣлъ] по поводу твоихъ возраженій, а собственно въ отвѣтъ на твои слова не сказалъ ничего. Слѣдуетъ на минуту и къ нимъ обратиться. «Ко-

нечно,—говоришь ты,—въ Горація есть уныніе, но это уныніе ведетъ къ тому, что надобно торопиться жить, пить и веселиться.» И я то же говорю; и эта поспѣшная жадность хватать наслажденіе есть признакъ боязни, что оно быстро уйдетъ и навѣки. «Христіанское уныніе ведетъ къ тому, что уныніе есть обязанность, душа жизни». Христіанскаго унынія нѣтъ, а есть христіанская скорбь; она не есть обязанность; она истекаетъ изъ самой природы падшаго и чувствующаго свое паденіе человѣка; и потому она можетъ назваться душою жизни; но она не парализируетъ, не разслабляетъ и не мрачитъ жизни, а животворитъ ее, даетъ ей сильную дѣятельность, и стремитъ ее къ свѣту. Безъ вѣры сія скорбь могла бы привесть къ унынію и отчаянію; съ вѣрою она ведетъ къ свѣтлому миру и смиренію. «Вѣрую, Господи! помоги моему невѣрію!» Эту молитву я слишкомъ знаю, но она есть крикъ не унынія, а скорби, и если этотъ крикъ вырывается изъ глубины сердца, то на него будетъ отвѣтъ несомнѣнный, ибо сердце знаетъ, къ кому вопіетъ; знаетъ, что этотъ, имъ призываемый, ему внемлетъ, что вѣра есть величайшій даръ его благодати и что онъ дастъ ее, когда произвольно и покорно протянешь руку для принятія его дара. Спаситель на горѣ скорбѣлъ, какъ человѣкъ, но онъ не унывалъ, и въ эту минуту передпослѣдняго его земнаго поприща выразился въ немъ весь имъ преобразованный человѣкъ, во всей силѣ своего земнаго страданія [душа моя прискорбна до смерти; да пройдетъ чаша мимо] и во всей божественности своего ведущаго къ небу смиренія [не якоже азъ хочу, но якоже ты]. Страданіе и молитва на горѣ Елеонской есть верховное изображеніе жизни христіанина, которая вся выражается въ одномъ словѣ: смиреніе.—«Религія древнихъ есть наслажденіе; ему строили алтари и вся *жизнь* древнихъ была ему служеніемъ». Это совершенная правда; но это говорю и я.—«Религія наша есть страданіе; оно первое и послѣднее слово христіанина на землѣ». Вѣрнѣе сказать: религія наша есть утѣшеніе! страданіе есть принадлежность жизни. Ни мы сами не найдемъ, ни постановленія гражданскія не создадутъ для насъ такого счастія земнаго, которое было бы безъ утратъ, и никто не выгонитъ изъ жизни испытующаго или губящаго ее несчастія, изъ насъ самихъ или изъ обстоятельствъ внѣшнихъ истекающаго. Одна религія—и религія христіанская [ибо другой быть не можетъ]—заговорила несчастіе, замѣнила высшими, прочными благами блага минутныя, и страданіе, столь противное безвѣрію, превратило[сь] въ драгоцѣннѣйшее земное сокровище. Что передъ этимъ наслажденіе [то есть наслажденіе, взятое какъ главная пружина жизни]? Чувственное раздраженіе души, повергающее ее наконецъ въ такое же состояніе, въ какое излишнее употребленіе опіума повергаетъ тѣло. И что должно таиться въ глубинѣ той жизни, которая этому идолу строитъ алтари и ему одному себя покоряетъ? — «Съ Евангеліемъ должно было войти уныніе въ поэзію». Правда! то же говорю и я; но это уныніе, вошедшее вмѣстѣ съ Евангеліемъ въ поэзію, не изъ Евангелія вышло. Это объяснено выше.

Послѣдняя твоя фраза весьма замѣчательна, какъ остроумное злоупотребленіе слова: «Не будь безсмертія души, не будетъ сомнѣнія и тоски; смерть тогда сонъ безъ пробужденія, и прекрасно! О чемъ тутъ тосковать? Все уныніе, вся тоска въ томъ, что, засыпая, не знаешь, гдѣ и какъ проснешься; тоска въ томъ, что на жизнь смотришь какъ на лоскутокъ чего-то, какъ на программу, какъ на лотерейный билетъ, не зная, что вынешь. Незамѣнимость здѣшней жизни, разъ утраченной, въ виду чего-то, въ виду живаго чувства, была бы

грустью; но въ виду безчувствія, ничтожества, она и сама ничто. Кажется, Сенека сказалъ: «чего бояться смерти? При насъ ея нѣтъ, при ней насъ уже нѣтъ!» Вотъ вѣроисповѣданіе древняго міра. А у насъ напротивъ: смерть начало всего! Тутъ по неволѣ призадумаешься.» Читая это, подумаешь, что оно написано не живымъ, а мертвецомъ, заснувшимъ тѣмъ непробуднымъ сномъ, который такъ пріятенъ и роскошенъ, когда онъ уже наступилъ и когда началъ нѣжить усталые члены сибарита, имъ улелѣяннаго и вбирающаго въ себя всю сладость усыпленія, всю роскошь безчувствія и самозабвенія; подумаешь, что полупробужденный на минуту какимъ нибудь гальваническимъ процессомъ, этотъ мертвецъ высказалъ, безъ своего вѣдома, свою могильную тайну живущимъ, тайну, изъ которой слѣдуетъ, что сонъ ничтожности покоенъ. Хорошо для мертвыхъ; но какая польза отъ этой тайны живущимъ, пока они живы, пока они дѣйствуютъ, любятъ, замышляютъ великое, страдаютъ, терпятъ гоненіе и проч. и проч.? Хорошо же твое вѣроисповѣданіе древняго міра! Если оно подлинно таково, то что безнадежнѣе и мрачнѣе? Если оно подлинно таково, то по неволѣ, какъ говоришь ты, призадумаешься; по неволѣ примешься потомъ плясать, пить, веселиться и пѣть, чтобы какъ нибудь докружиться до этого сна безпробуднаго, столь сладкаго, какъ мгновенное послѣднее событіе, и столь печальнаго, какъ цѣль цѣлой долговременной жизни. Чтобъ отвѣчать ясно на твою послѣднюю фразу, надобно просто ее переписать, съ нѣкоторыми только вставками. Не будь безсмертія души, не будетъ и сомнѣнія—а будетъ, напротивъ, полное убѣжденіе, что жизнь есть дѣло случая, преданная во власть слѣпой необходимости, безъ ободрительнаго будущаго, съ прошедшимъ навѣки утраченнымъ, съ одною мечтательною минутою настоящаго, которую скорѣе надлежитъ заклеймить наслажденіемъ, чтобы хоть что нибудь урвать [безъ надежды его сохранить] у мимолетящаго призрака жизни; не будетъ и тоски, то есть не будетъ стремленія ни къ чему, обѣщаемому надеждою, упроченному вѣрою, ни къ чему еще не нашему, но вѣрному и замѣняющему съ лихвою наше здѣшнее невѣрное; смерть тогда сонъ безъ пробужденія, и это совсѣмъ не прекрасно! И есть о чемъ тутъ тосковать тому, передъ кѣмъ мерещится вдали одинъ только этотъ сонъ, какъ итогъ, какъ послѣдній результатъ жизни; эта вся тоска особенно состоитъ въ томъ, что, засыпая, онъ не знаетъ, гдѣ и какъ проснется; не знаетъ потому, что смотритъ на жизнь сквозь черное стекло скептицизма, а не при свѣтѣ истины Спасителя, который говоритъ: «Да не смущается сердце ваше! вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте; въ дому Отца Моего обители многи суть; иду уготовать мѣсто ваше, да и вы тамъ будете, гдѣ Я буду». Вся тоска въ томъ, что онъ смотритъ на жизнь, какъ на лоскутокъ чего-то, какъ на программу, какъ на лотерейный билетъ, не зная, что вынется; и смотритъ такъ потому, что, заключивъ эту жизнь въ тѣсныхъ предѣлахъ здѣшняго праха, хочетъ ее разгадать своимъ умомъ, строющимъ свои доказательства изъ того же праха, по закону необходимости, признаваемой гордостью его за свободу, и не спрашивается съ вѣчнымъ откровеніемъ, которое на все даетъ отвѣтъ удовлетворительный, которое въ мнимомъ лоскуткѣ показало бы ему вѣчное цѣлое, истолковало бъ ему непонятую имъ программу, въ которой все содержаніе жизни съ ея начала до вѣчности подробно означено, и убѣдило бы его, что жизнь не билетъ лотерейный, вынимаемый Паркою изъ урны фатума, а вѣчный жребій, благодатно даруемый свободной душѣ любовію и правосудіемъ спасающаго Бога.—Слѣдующихъ строкъ я не совсѣмъ понимаю, по-

тому и прохожу ихъ мимо. А Сенека, по своему обыкновенію, сумничалъ: мысль его въ переводѣ на здравый смыслъ можно выразить такъ: пока мы живы, то еще не умерли; а когда умерли, то уже не живы. Нужно было играть словами, чтобъ сказать такую великую истину! Наконецъ послѣднее: А у насъ напротивъ: смерть начало всего! Тутъ по неволѣ призадумаешься.» Подумаешь, что поставивъ эту смерть въ противоположность съ вѣроисповѣданіемъ древнихъ, ты хочешь тѣмъ сказать, что у нихъ всему начало жизнь. Правда, у древнихъ все жизнь, но жизнь заключенная въ земныхъ предѣлахъ; и далѣе ничего: съ нею всему конецъ! У христіанъ все смерть, т. е. все земное, заключенное въ тѣсныхъ предѣлахъ міра, ничтожно, и все, что душа — нетлѣнно, все жизнь вѣчная. И все это отъ того, что у нихъ есть Одинъ, Который смертію смерть попра и сущимъ во гробѣхъ животъ дарова!

О ПРОИСШЕСТВІЯХЪ 1848 ГОДА.

ПИСЬМО КЪ ГРАФУ Ш—КУ.

...Мнѣ надоѣло слушать пелѣпые толки о Россіи. Жалко и досадно видѣть, съ какимъ легковѣріемъ самые здравомыслящіе принимаютъ за чистыя деньги слухи о завоевательныхъ замыслахъ русскаго государя и о близкой войнѣ, которою онъ будто угрожаетъ Германіи, слухи, распространяемые злонамѣренными, которые находятъ свою пользу въ тревогѣ умовъ, ими взволнованныхъ. Россія не начнетъ сама войны съ Германіею — на что ей война? Для безопасности? Но Германія, въ теперешнемъ своемъ положеніи, никому не опасна и долго опасна не будетъ: она сама себя терзаетъ и обезсиливаетъ. Ужасъ беретъ при мысли о ея будущемъ, если не найдетъ она скоро способовъ обуздать своихъ мнимыхъ освободителей, которые готовятъ ей такой же *праздникъ, какой* [вѣроятно съ ихъ вѣдома] ихъ братія попробовала дать въ Парижѣ для цѣлой Франціи. Къ счастію не всѣ званые гости собрались въ пору; но что бы было съ Германіею, когда бы этотъ сосѣдній пиръ удался вполнѣ и когда бы она, изъ благоговѣйнаго подражанія великому народу, его у себя повторила? Но дѣло не о томъ. При такихъ обстоятельствахъ на что Россіи война съ Германіею, когда Германія за нее сама съ собою воюетъ, и когда на ея западѣ есть братскій народъ, который охотно вступится въ дѣла ея и принесетъ ей войну, если она уже такъ убѣждена, что война необходима? Теперь самое безопасное, самое полезное для Россіи и въ то же время самое сходное съ политикою ея государя [которая вся заключается въ одномъ словѣ: не тронь меня, я никого не трону] состоитъ въ спокойномъ непринятіи участія ни въ чемъ, потрясающемъ нынѣ весь центръ, весь югъ и весь западъ Европы, въ сохраненіи порядка внутри, и въ твердой готовности отразить всякое нападеніе извнѣ. Германію пугаетъ сосредоточеніе русскихъ войскъ на ея границѣ; но не сама ли она подала къ тому поводъ? Не она ли такъ жарко проповѣдывала крестовый походъ противъ Россіи за Польшу, за Польшу, которая при первомъ случаѣ отблагодарила ей мятежомъ познанскимъ и помогла чехамъ приготовить ей вмѣстѣ съ Прагою новую Сицилійскую вечерню? А завоевательные замыслы Россіи... Это давнишнее привидѣніе, которое страшно только въ темнотѣ предразсудка и исчезаетъ при свѣтѣ здраваго смысла. Не расширеніе внѣшнее, а сосредоточеніе внутреннее нужно теперь для ея могущества; матеріальную часть этого могущества, т. е. обширность и неприкосновенность границъ, данныхъ необходимыми завоеваніями, Россія уже имѣетъ; дальнѣйшія завоеванія не только ей не нужны, но и вредны: они были бы не образовательныя, а разрушительныя завоеванія. Вопреки всѣмъ политическимъ предразсудкамъ, Россія никогда

не бывала завоевательнымъ государствомъ [изъ одного честолюбія или изъ жаднаго хищничества]; всѣ ея завоеванія были предписаны ей необходимостью [исключаю изъ этого раздѣлъ Польши, въ которомъ виновата однако не одна Россія; внукъ же Екатерины не обязанъ отвѣчать за преступную ошибку своей бабки— великой царицы, и теперь благословляемой русскимъ народомъ—онъ, напротивъ, обязанъ передъ самимъ собою сохранить свое царство въ той цѣлости, въ какой получилъ его отъ предковъ]. Но завоеванія честолюбивыя, особенно такія, которыхъ губительный предметъ есть созданіе монархіи всемірной, принадлежатъ исключительно Западу; они всегда извергались изъ того вулканическаго кратера, изъ котораго и теперь льется разрушительная лава, съ громомъ давно знакомыхъ, бѣдственныхъ криковъ: свобода, равенство, братство.

Пріемля живое участіе въ судьбѣ Германіи, занимающей такое высокое мѣсто въ семействѣ Европы, для которой она была донынѣ источникомъ просвѣщенія и добрыхъ нравовъ, и видя съ глубокимъ прискорбіемъ, какъ буйство нашего вѣка ниспровергаетъ великіе памятники ея исторіи, ругается надъ вѣковыми правами ея государей и оскверняетъ святыню верховной власти, превращая ее въ произволъ толпы народной, мы не можемъ однако не сказать, что бѣдствіе, ее постигшее, необходимо принесетъ великую пользу Россіи, и эта польза должна состоять въ томъ, что Россія, увлеченная силою общаго движенія, вступитъ въ новую эпоху бытія своего, эпоху богатую великимъ будущимъ: Россія теперь рѣшительнѣе оторвется отъ насильственнаго на нее вліянія Европы, у которой она заняла богатство образованности, но за которою донынѣ слишкомъ покорно стремилась. Россія вступитъ въ особенный, ея исторіею, слѣдственно самимъ Промысломъ ей проложенный путь; она не будетъ Европа; не будетъ Азія [ибо она государство христіанское], она будетъ Россія—самобытный, великій міръ, полный силы неисчерпаемой, міръ, созданный медленною работою вѣковъ, упорными борьбами, счастливыми или бѣдственными, подъ громомъ древнихъ междоусобій, подъ шумомъ половецкихъ набѣговъ, подъ гнетомъ татарскаго ига, въ бояхъ литовскихъ, въ славныхъ побѣдахъ послѣдняго времени, сплоченный вѣрою и самодержавіемъ въ одну несокрушимую, нынѣ вполнѣ устроенную громаду. Для этой Россіи пора боеваго созданія миновалась, и начинается пора созданія мирнаго. Россія, все свое взявшая, извнѣ безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страхъ, а стражъ породнившейся съ нею Европы, вступитъ теперь въ періодъ развитія внутренняго, твердой законности, безмятежнаго пріобрѣтенія всѣхъ сокровищъ общежитія; опираясь всѣмъ западомъ на просвѣщенную Европу [но теперь вдругъ освобожденная отъ нравственнаго ей подданства], опираясь всѣмъ югомъ на богатую Азію, всѣмъ сѣверомъ и востокомъ на два океана, богатая и бодрымъ народомъ, и землею для тройнаго народонаселенія, и всѣми дарами природы для животворной промышленности, она, какъ удобренное поле, кипитъ брошенною въ нѣдра ея жизнію и готова произрастить богатую жатву гражданскаго благоденствія, ввѣренная генію самодержавія. Такъ, скажу вопреки всѣмъ любимымъ теоріямъ нашего времени, судьба Россіи заключается въ развитіи самодержавія, самодержавія, нѣкогда создавшаго и упрочившаго ея силу, самодержавія, которое [столь же великое въ своемъ знаменованіи, какъ велика ввѣренная ему отъ Бога Россія] вмѣстѣ съ нею растетъ, созрѣваетъ и очищается, часъ отъ часу ближе подходя къ своему божественному смыслу, который не есть, какъ говорятъ отрицатели власти, произволъ царя и рабство народа, а слово евангельское: всякая власть исходитъ отъ Бога; въ развитіи самодержавія, которое не есть хартія, написанная рукою

человѣческою, а вѣра, глубоко врѣзанная въ душу народа рѣзцомъ судьбы его; самодержавія, которое, опираясь на Божію правду, вѣрнѣе всѣхъ бумажныхъ конституцій приведетъ народъ русскій безъ всѣхъ потрясеній, медлительнымъ путемъ законности, къ той цѣли, къ которой всѣ земные народы стремятся, къ свободѣ,— а эта свобода не иное что, какъ личное благоденствіе каждаго, хранимое властію, не жертвуемое призраку благоденствія общаго, а его въ своемъ итогѣ производящее.

Таковъ путь, отворенный Россіи роковыми событіями Европы. Чтобы увѣриться, что она съ этого пути не собьется, надобно ближе взглянуть на теперешняго вождя ея. Часто бываетъ довольно одной черты, чтобъ выставить всего человѣка наружу: разскажу со всѣми подробностями, безъ малѣйшаго украшенія, одинъ случай, котораго я самъ [и я одинъ] былъ очевиднымъ свидѣтелемъ.

Но для бо́льшей ясности и для полноты моего разсказа, я долженъ упомянуть о нѣкоторыхъ предшествовавшихъ обстоятельствахъ. Великій князь Константинъ Павловичъ былъ предполагаемымъ наслѣдникомъ русскаго престола; но онъ по причинамъ, о которыхъ здѣсь упоминать не мѣсто, отрекся отъ своего права. Объ этомъ въ Россіи не зналъ никто, кромѣ семейства императорскаго и князя Александра Николаевича Голицына, писавшаго и контрасигнировавшаго отреченіе: подлинникъ этого акта хранимъ былъ въ Москвѣ въ Успенскомъ соборѣ, а двѣ его копіи, списанныя и засвидѣтельствованныя подписью князя Голицына, находились въ Петербургѣ, одна въ сенатѣ, а другая въ государственномъ совѣтѣ; на конвертѣ подлинника было написано рукою императора Александра: распечатать по смерти моей, не приступая ни къ какому распоряженію.

Въ ноябрѣ 1825 г., покойный императоръ *Александръ* Павловичъ находился въ Таганрогѣ: императрицѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ, напуганной продолжительною болѣзнію, было нужно переселиться въ теплый климатъ юга—государь выбралъ для того Таганрогъ и самъ напередъ поѣхалъ туда, чтобы все устроить для спокойнаго тамъ пребыванія императрицы. Обстоятельства его отъѣзда были замѣчательны: онъ какъ будто предчувствовалъ, что уже не увидитъ Петербурга; переѣзжая черезъ мостъ Каменнаго острова, онъ всталъ съ своего мѣста въ колискѣ, велѣлъ ѣхать тише и стоймя, въ глубокой задумчивости, смотрѣлъ на окрестность, на Невскіе острова, на зданія покидаемаго имъ города; потомъ, передъ выѣздомъ изъ Петербурга, онъ заѣхалъ въ Невскій монастырь, вошелъ въ соборъ и долго молился тамъ передъ мощами св. Александра Невскаго. На пути въ Таганрогъ онъ останавливался во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ были приготовлены ночлеги для императрицы, и по его указаніямъ тамъ собрано было все, для нея нужное, все, къ чему она въ ежедневной жизни привыкла, такъ что на каждомъ шагу послѣдняго земнаго пути своего она вездѣ встрѣчала знаки его о ней памяти, знаки его любви, которой узы такъ скоро, но такъ не надолго, должны были на землѣ разорваться. Помѣстивъ императрицу въ Таганрогѣ въ приготовленномъ для нея домѣ, государь поѣхалъ въ Крымъ. Тамъ, объѣзжая полуденный берегъ полуострова, и именно, находясь въ монастырѣ св. Георгія, онъ простудился; эта простуда, по возвращеніи его въ Таганрогъ, обратилась въ опасную болѣзнь. Мы въ Петербургѣ не имѣли никакого о томъ предчувствія: императоръ былъ еще въ полномъ цвѣтѣ жизни; здоровое и сильное сложеніе тѣла его давали надежду, что онъ на многіе годы еще будетъ сохраненъ своему народу. Вдругъ вдовствующая императрица получаетъ отъ государыни Елизаветы Алексѣевны письмо, извѣщающее ее объ опасности императора; молва объ этомъ быстро распространяется по всей столицѣ; все приходитъ въ волненіе;

по церквамъ молятся, народъ собирается туда многочисленными толпами, ждутъ съ нетерпѣніемъ и тревогою новыхъ извѣстій. Наконецъ, 20 или 21 ноября приходитъ письмо, утѣшительное, возбудившее радостныя надежды.

Теперь я долженъ говорить о самомъ себѣ. 21 или 22 ноября [не помню навѣрно], въ 11 часовъ утра, вмѣстѣ со многими приближенными къ императорской фамиліи, я находился въ церкви Зимняго дворца: былъ благодарственный молебенъ за императора; церковь *) была полна, всѣ лица сіяли радостію: служилъ духовникъ императора Криницкій. Вдругъ, когда послѣ громкаго пѣнія пѣвчихъ, въ церкви сдѣлалось тихо и слышалась только молитва, въ полголосъ произносимая священникомъ, раздался какой-то легкій стукъ за дверями—отъ чего онъ произошелъ, не знаю; помню только то, что я вздрогнулъ, и что всѣ, находившіеся въ церкви, съ безпокойствомъ оборотили глаза на двери; никто не вошелъ въ нихъ; это не нарушило моленія; но оно продолжалось недолго — отворяются сѣверныя двери, изъ алтаря выходитъ великій князь Николай Павловичъ, блѣдный; онъ подаетъ знакъ рукою къ молчанію: все умолкло, оцѣпенѣвъ отъ недоумѣнія; но вдругъ всѣ разомъ поняли, что императора не стало: церковь глубоко охнула. И черезъ минуту все пришло въ волненіе; все слилось въ одинъ говоръ криковъ, рыданія и плача. Мало по малу молившіеся разошлись; я остался одинъ; въ смятеніи мыслей, я не зналъ, куда идти, и наконецъ, машинально, вмѣсто того, чтобы выдти общими дверями изъ церкви, вошелъ сѣверными дверями въ алтарь. Что же я увидѣлъ? Дверь въ боковую горницу отворена; тамъ императрица Марія Ѳеодоровна, почти безчувственная, лежитъ на рукахъ великаго князя; передъ нею на колѣняхъ великая княгиня Александра Ѳеодоровна, умоляющая ее успокоиться: maman, chère maman, au nom de Dieu, calmez-vous! Въ эту минуту священникъ беретъ съ престола крестъ и, возвысивъ его, приближается къ дверямъ: увидя крестъ, императрица падаетъ передъ нимъ на землю, притиснувъ голову къ полу почти у самыхъ ногъ священника. Несказанное величіе этого зрѣлища меня сразило: увлеченный имъ, я сталъ на колѣна передъ святынею материнской скорби, передъ головою царицы, лежащей въ прахѣ подъ крестомъ испытующаго Спасителя. Императрицу, почти лишенную памяти, подняли, посадили въ кресла, понесли во внутренніе покои; двери за нею затворились; я не могъ идти далѣе и возвратился на оставленное мною мѣсто въ церкви; она была пуста, царскія двери были затворены, за престоломъ стоялъ безмолвный священникъ, кругомъ меня царствовала глубокая тишина, я стоялъ неподвижно, какъ будто прикованный къ мѣсту. Не прошло десяти минутъ—какъ вдругъ снова отворяются сѣверныя двери: входитъ великій князь Николай Павловичъ. «Отецъ Криницкій, говоритъ онъ священнику, поставьте налой и положите на него Евангеліе». Это исполнилось: налой съ открытымъ на немъ Евангеліемъ поставленъ предъ царскими дверями. «Принесите присяжный листъ», продолжалъ великій князь. Присяжный листъ принесенъ.— «Читайте присягу». Священникъ началъ

*) Для бо́льшей ясности того, что здѣсь описывается, почитаю нужнымъ сказать [ибо, какъ протестантъ, вы этого въ точность не знаете] о расположеніи русской церкви. Она раздѣляется иконостасомъ на двѣ половины; восточная половина называется алтаремъ: посреди его престолъ, на которомъ совершается «безкровная жертва»; западная половина называется трапезою: тамъ стоятъ молящіеся. Въ иконостасѣ три двери: средніе [восточныя] называются царскими; въ нихъ входитъ одинъ священникъ; двѣ боковыя меньшія двери называются: одна сѣверными, другія южными. Замѣчу особенно, что за алтаремъ дворцовой церкви находилась особенная небольшая горница, изъ которой двери вели прямо въ алтарь, и въ которой императрица Марія Ѳеодоровна имѣла обыкновеніе слушать обѣдню всякій разъ, когда не желала быть видима никому изъ находившихся въ трапезѣ. *Примѣчаніе къ тексту.*

нечно,— говоришь ты,—въ Горація есть уныніе, но это уныніе ведетъ къ тому, что надобно торопиться жить, пить и веселиться.» И я то же говорю; и эта поспѣшная жадность хватать наслажденіе есть признакъ боязни, что оно быстро уйдетъ и навѣки. «Христіанское уныніе ведетъ къ тому, что уныніе есть обязанность, душа жизни». Христіанскаго унынія нѣтъ, а есть христіанская скорбь; она не есть обязанность; она истекаетъ изъ самой природы падшаго и чувствующаго свое паденіе человѣка; и потому она можетъ назваться душою жизни; но она не парализируетъ, не разслабляетъ и не мрачитъ жизни, а животворитъ ее, даетъ ей сильную дѣятельность, и стремитъ ее къ свѣту. Безъ вѣры сія скорбь могла бы привесть къ унынію и отчаянію; съ вѣрою она ведетъ къ свѣтлому миру и смиренію. «Вѣрую, Господи! помоги моему невѣрію!» Эту молитву я слишкомъ знаю, но она есть крикъ не унынія, а скорби, и если этотъ крикъ вырывается изъ глубины сердца, то на него будетъ отвѣтъ несомнѣнный, ибо сердце знаетъ, къ кому вопіетъ; знаетъ, что этотъ, имъ призываемый, ему внемлетъ, что вѣра есть величайшій даръ его благодати и что онъ дастъ ее, когда произвольно и покорно протянешь руку для принятія его дара. Спаситель на горѣ скорбѣлъ, какъ человѣкъ, но онъ не унывалъ, и въ эту минуту предпослѣдняго его земнаго поприща выразился въ немъ весь имъ преобразованный человѣкъ, во всей силѣ своего земнаго страданія [душа моя прискорбна до смерти; да пройдетъ чаша мимо] и во всей божественности своего ведущаго къ небу смиренія [не якоже азъ хочу, но якоже ты]. Страданіе и молитва на горѣ Елеонской есть верховное изображеніе жизни христіанина, которая вся выражается въ одномъ словѣ: смиреніе.— «Религія древнихъ есть наслажденіе; ему строили алтари и вся жизнь древнихъ была ему служеніемъ». Это совершенная правда; но это говорю и я.—«Религія наша есть страданіе; оно первое и послѣднее слово христіанина на землѣ». Вѣрнѣе сказать: религія наша есть утѣшеніе! страданіе есть принадлежность жизни. Ни мы сами не найдемъ, ни постановленія гражданскія не создадутъ для насъ такого счастія земнаго, которое было бы безъ утратъ, и никто не выгонитъ изъ жизни испытующаго или губящаго ее несчастія, изъ насъ самихъ или изъ обстоятельствъ внѣшнихъ истекающаго. Одна религія— и религія христіанская [ибо другой быть не можетъ]—заговорила несчастіе, замѣнила высшими, прочными благами блага минутныя, и страданіе, столь противное безвѣрію, превратило[сь] въ драгоцѣннѣйшее земное сокровище. Что передъ этимъ наслажденіе [то есть наслажденіе, взятое какъ главная пружина жизни]? Чувственное раздраженіе души, повергающее ее наконецъ въ такое же состояніе, въ какое излишнее употребленіе опіума повергаетъ тѣло. И что должно таиться въ глубинѣ той жизни, которая этому идолу строитъ алтари и ему одному себя покоряетъ? — «Съ Евангеліемъ должно было войти уныніе въ поэзію». Правда! то же говорю и я; но это уныніе, вошедшее вмѣстѣ съ Евангеліемъ въ поэзію, не изъ Евангелія вышло. Это объяснено выше.

Послѣдняя твоя фраза весьма замѣчательна, какъ остроумное злоупотребленіе слова: «Не будь безсмертія души, не будетъ сомнѣнія и тоски; смерть тогда сонъ безъ пробужденія, и прекрасно! О чемъ тутъ тосковать? Все уныніе, вся тоска въ томъ, что, засыпая, не знаешь, гдѣ и какъ проснешься; тоска въ томъ, что на жизнь смотришь какъ на лоскутокъ чего-то, какъ на программу, какъ на лотерейный билетъ, не зная, что вынешь. Незамѣнимость здѣшней жизни, разъ утраченной, въ виду чего-то, въ виду живаго чувства, была бы

грустью; но въ виду безчувствія, ничтожества, она и сама ничто. Кажется, Сенека сказалъ: «чего бояться смерти? При насъ ея нѣтъ, при ней насъ уже нѣтъ!» Вотъ вѣроисповѣданіе древняго міра. А у насъ напротивъ: смерть начало всего! Тутъ по неволѣ призадумаешься.» Читая это, подумаешь, что оно написано не живымъ, а мертвецомъ, заснувшимъ тѣмъ непробуднымъ сномъ, который такъ пріятенъ и роскошенъ, когда онъ уже наступилъ и когда началъ нѣжить усталые члены сибарита, имъ улелѣяннаго и вбирающаго къ себя всю сладость усыпленія, всю роскошь безчувствія и самозабвенія; подумаешь, что полупробужденный на минуту какимъ нибудь гальваническимъ процессомъ, этотъ мертвецъ высказалъ, безъ своего вѣдома, свою могильную тайну живущимъ, тайну, изъ которой слѣдуетъ, что сонъ ничтожности покоенъ. Хорошо для мертвыхъ; но какая польза отъ этой тайны живущимъ, пока они живы, пока они дѣйствуютъ, любятъ, замышляютъ великое, страдаютъ, терпятъ гоненіе и проч. и проч.? Хорошо же твое вѣроисповѣданіе древняго міра! Если оно подлинно таково, то что безнадежнѣе и мрачнѣе? Если оно подлинно таково, то по неволѣ, какъ говоришь ты, призадумаешься; но неволѣ примешься потомъ плясать, пить, веселиться и пѣть, чтобы какъ нибудь докружиться до этого сна безпробуднаго, столь сладкаго, какъ мгновенное послѣднее событіе, и столь печальнаго, какъ цѣль цѣлой долговременной жизни. Чтобъ отвѣчать ясно на твою послѣднюю фразу, надобно просто ее переписать, съ нѣкоторыми только вставками. Не будь безсмертія души, не будетъ и сомнѣнія—а будетъ, напротивъ, полное убѣжденіе, что жизнь есть дѣло случая, преданная во власть слѣпой необходимости, безъ ободрительнаго будущаго, съ прошедшимъ навѣки утраченнымъ, съ одною мечтательною минутою настоящаго, которую скорѣе надлежитъ заклеймить наслажденіемъ, чтобы хоть что нибудь урвать [безъ надежды его сохранить] у мимолетящаго призрака жизни; не будетъ и тоски, то есть не будетъ стремленія ни къ чему, обѣщаемому надеждою, упроченному вѣрою, ни къ чему еще не нашему, но вѣрному и замѣняющему съ лихвою наше здѣшнее невѣрное; смерть тогда сонъ безъ пробужденія, и это совсѣмъ не прекрасно! И есть о чемъ тутъ тосковать тому, передъ кѣмъ мерещится вдали одинъ только этотъ сонъ, какъ итогъ, какъ послѣдній результатъ жизни; эта вся тоска особенно состоитъ въ томъ, что, засыпая, онъ не знаетъ, гдѣ и какъ проснется; не знаетъ потому, что смотритъ на жизнь сквозь черное стекло скептицизма, а не при свѣтѣ истины Спасителя, который говоритъ: «Да не смущается сердце ваше! вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте; въ дому Отца Моего обители многи суть; иду уготовать мѣсто ваше, да и вы тамъ будете, гдѣ Я буду». Вся тоска въ томъ, что онъ смотритъ на жизнь, какъ на лоскутокъ чего-то, какъ на программу, какъ на лотерейный билетъ, не зная, что выпется; и смотритъ такъ потому, что, заключивъ эту жизнь въ тѣсныхъ предѣлахъ здѣшняго праха, хочетъ ее разгадать своимъ умомъ, строющимъ свои доказательства изъ того же праха, по закону необходимости, признаваемой гордостью его за свободу, и не спрашивается съ вѣчнымъ откровеніемъ, которое на все даетъ отвѣтъ удовлетворительный, которое въ мимомъ лоскуткѣ показало бы ему вѣчное цѣлое, истолковало бъ ему непонятую имъ программу, въ которой все содержаніе жизни съ ея начала до вѣчности подробно означено, и убѣдило бы его, что жизнь не билетъ лотерейный, вынимаемый Паркою изъ урны фатума, а вѣчный жребій, благодатно даруемый свободной душѣ любовію и правосудіемъ спасающаго Бога.—Слѣдующихъ строкъ я не совсѣмъ понимаю, по-

тому и прохожу ихъ мимо. А Сенека, по своему обыкновенію, сумничалъ: мысль его въ переводѣ на здравый смыслъ можно выразить такъ: пока мы живы, то еще не умерли; а когда умерли, то уже не живы. Нужно было играть словами, чтобъ сказать такую великую истину! Наконецъ послѣднее: А у насъ напротивъ: смерть начало всего! Тутъ по неволѣ призадумаешься.» Подумаешь, что поставивъ эту смерть въ противоположность съ вѣроисповѣданіемъ древнихъ, ты хочешь тѣмъ сказать, что у нихъ всему начало жизнь. Правда, у древнихъ все жизнь, но жизнь заключенная въ земныхъ предѣлахъ; и далѣе ничего: съ нею всему конецъ! У христіанъ все смерть, т. е. все земное, заключенное въ тѣсныхъ предѣлахъ міра, ничтожно, и все, что душа — нетлѣнно, все жизнь вѣчная. И все это отъ того, что у нихъ есть Одинъ, Который смертію смерть попра и сущимъ во гробѣхъ животъ дарова!

О ПРОИСШЕСТВІЯХЪ 1848 ГОДА.

ПИСЬМО КЪ ГРАФУ Ш—КУ.

...Мнѣ надоѣло слушать нелѣпые толки о Россіи. Жалко и досадно видѣть, съ какимъ легковѣріемъ самые здравомыслящіе принимаютъ за чистыя деньги слухи о завоевательныхъ замыслахъ русскаго государя и о близкой войнѣ, которою онъ будто угрожаетъ Германіи, слухи, распространяемые злонамѣренными, которые находятъ свою пользу въ тревогѣ умовъ, ими взволнованныхъ. Россія не начнетъ сама войны съ Германіею — на что ей война? Для безопасности? Но Германія, въ теперешнемъ своемъ положеніи, никому не опасна и долго опасна не будетъ: она сама себя терзаетъ и обезсиливаетъ. Ужасъ беретъ при мысли о ея будущемъ, если не найдетъ она скоро способовъ обуздать своихъ мнимыхъ освободителей, которые готовятъ ей такой же *праздникъ, какой* [вѣроятно съ ихъ вѣдома] ихъ братія попробовала дать въ Парижѣ для цѣлой Франціи. Къ счастію не всѣ званые гости собрались въ пору; но что бы было съ Германіею, когда бы этотъ сосѣдній пиръ удался вполнѣ и когда бы она, изъ благоговѣйнаго подражанія великому народу, его у себя повторила? Но дѣло не о томъ. При такихъ обстоятельствахъ на что Россіи война съ Германіею, когда Германія за нее сама съ собою воюетъ, и когда на ея западѣ есть братскій народъ, который охотно вступится въ дѣла ея и принесетъ ей войну, если она уже такъ убѣждена, что война необходима? Теперь самое безопасное, самое полезное для Россіи и въ то же время самое сходное съ политикою ея государя [которая вся заключается въ одномъ словѣ: не тронь меня, я никого не трону] состоитъ въ спокойномъ непринятіи участія ни въ чемъ, потрясающемъ нынѣ весь центръ, весь югъ и весь западъ Европы, въ сохраненіи порядка внутри, и въ твердой готовности отразить всякое нападеніе извнѣ. Германію пугаетъ сосредоточеніе русскихъ войскъ на ея границѣ; но не сама ли она подала къ тому поводъ? Не она ли такъ жарко проповѣдывала крестовый походъ противъ Россіи за Польшу, за Польшу, которая при первомъ случаѣ отблагодарила ей мятежомъ познанскимъ и помогла чехамъ приготовить ей вмѣстѣ съ Прагою новую Сицилійскую вечерню? А завоевательные замыслы Россіи... Это давнишнее привидѣніе, которое страшно только въ темнотѣ предразсудка и исчезаетъ при свѣтѣ здраваго смысла. Не расширеніе внѣшнее, а сосредоточеніе внутреннее нужно теперь для ея могущества; матеріальную часть этого могущества, т. е. обширность и неприкосновенность границъ, данныхъ необходимыми завоеваніями, Россія уже имѣетъ; дальнѣйшія завоеванія не только ей не нужны, но и вредны: они были бы не образовательныя, а разрушительныя завоеванія. Вопреки всѣмъ политическимъ предразсудкамъ, Россія никогда

не бывала завоевательнымъ государствомъ [изъ одного честолюбія или изъ жаднаго хищничества]; всѣ ея завоеванія были предписаны ей необходимостью [исключаю изъ этого раздѣлъ Польши, въ которомъ виновата однако не одна Россія; внукъ же Екатерины не обязанъ отвѣчать за преступную ошибку своей бабки— великой царицы, и теперь благословляемой русскимъ народомъ—онъ, напротивъ, обязанъ передъ самимъ собою сохранить свое царство въ той цѣлости, въ какой получилъ его отъ предковъ]. Но завоеванія честолюбивыя, особенно такія, которыхъ губительный предметъ есть созданіе монархіи всемірной, принадлежатъ исключительно Западу; они всегда извергались изъ того вулканическаго кратера, изъ котораго и теперь льется разрушительная лава, съ громомъ давно знакомыхъ, бѣдственныхъ криковъ: свобода, равенство, братство.

Пріемля живое участіе въ судьбѣ Германіи, занимающей такое высокое мѣсто въ семействѣ Европы, для которой она была донынѣ источникомъ просвѣщенія и добрыхъ нравовъ, и видя съ глубокимъ прискорбіемъ, какъ буйство нашего вѣка ниспровергаетъ великіе памятники ея исторіи, ругается надъ вѣковыми правами ея государей и оскверняетъ святыню верховной власти, превращая ее въ произволъ толпы народной, мы не можемъ однако не сказать, что бѣдствіе, ее постигшее, необходимо принесетъ великую пользу Россіи, и эта польза должна состоять въ томъ, что Россія, увлеченная силою общаго движенія, вступитъ въ новую эпоху бытія своего, эпоху богатую великимъ будущимъ: Россія теперь рѣшительнѣе оторвется отъ насильственнаго на нее вліянія Европы, у которой она заняла богатство образованности, но за которою донынѣ слишкомъ покорно стремилась. Россія вступитъ въ особенный, ея исторіею, слѣдственно самимъ Промысломъ ей положенный путь; она не будетъ Европа; не будетъ Азія [ибо она государство христіанское], она будетъ Россія—самобытный, великій міръ, полный силы неисчерпаемой, міръ, созданный медленною работою вѣковъ, упорными борьбами, счастливыми или бѣдственными, подъ громомъ древнихъ междоусобій, подъ шумомъ половецкихъ набѣговъ, подъ гнетомъ татарскаго ига, въ бояхъ литовскихъ, въ славныхъ побѣдахъ послѣдняго времени, сплоченный вѣрою и самодержавіемъ въ одну несокрушимую, нынѣ вполнѣ устроенную громаду. Для этой Россіи пора боеваго созданія миновалась, и начинается пора созданія мирнаго. Россія, все свое взявшая, извнѣ безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страхъ, а стражъ породнившейся съ нею Европы, вступитъ теперь въ періодъ развитія внутренняго, твердой законности, безмятежнаго пріобрѣтенія всѣхъ сокровищъ общежитія; опираясь всѣмъ западомъ на просвѣщенную Европу [по теперь вдругъ освобожденная отъ нравственнаго ей подданства], опираясь всѣмъ югомъ на богатую Азію, всѣмъ сѣверомъ и востокомъ на два океана, богатая и бодрымъ народомъ, и землею для тройнаго народонаселенія, и всѣми дарами природы для животворной промышленности, она, какъ удобренное поле, кипитъ брошенною въ нѣдра ея жизнію и готова произрастить богатую жатву гражданскаго благодѣтствія, вѣренная генію самодержавія. Такъ, скажу вопреки всѣмъ любимымъ теоріямъ нашего времени, судьба Россіи заключается въ развитіи самодержанія, самодержавія, нѣкогда создавшаго и упрочившаго ея силу, самодержавія, которое [столь же великое въ своемъ знаменованіи, какъ велика вѣренная ему отъ Бога Россія] вмѣстѣ съ нею растетъ, созрѣваетъ и очищается, часъ отъ часу ближе подходя къ своему божественному смыслу, который не есть, какъ говорятъ отрицатели власти, произволъ царя и рабство народа, а слово евангельское: всякая власть исходитъ отъ Бога; въ развитіи самодержавія, которое не есть хартія, написанная рукою

человѣческою, а вѣра, глубоко врѣзанная въ душу народа рѣзцомъ судьбы его; самодержавія, которое, опираясь на Божію правду, вѣрнѣе всѣхъ бумажныхъ конституцій приведетъ народъ русскій безъ всѣхъ потрясеній, медлительнымъ путемъ законности, къ той цѣли, къ которой всѣ земные народы стремятся, къ свободѣ,— а эта свобода не иное что, какъ личное благодѣяніе каждаго, хранимое властію, не жертвуемое призраку благодѣянія общаго, а его въ своемъ итогѣ производящее.

Таковъ путь, отворенный Россіи роковыми событіями Европы. Чтобы увѣриться, что она съ этого пути не собьется, надобно ближе взглянуть на теперешняго вождя ея. Часто бываетъ довольно одной черты, чтобъ выставить всего человѣка наружу: разскажу со всѣми подробностями, безъ малѣйшаго украшенія, одинъ случай, котораго я самъ [и я одинъ] былъ очевиднымъ свидѣтелемъ.

Но для бо́льшей ясности и для полноты моего разсказа, я долженъ упомянуть о нѣкоторыхъ предшествовавшихъ обстоятельствахъ. Великій князь Константинъ Павловичъ былъ предполагаемымъ наслѣдникомъ русскаго престола; но онъ по причинамъ, о которыхъ здѣсь упоминать не мѣсто, отрекся отъ своего права. Объ этомъ въ Россіи не зналъ никто, кромѣ семейства императорскаго и князя Александра Николаевича Голицына, писавшаго и контрасигнировавшаго отреченіе: подлинникъ этого акта хранимъ былъ въ Москвѣ въ Успенскомъ соборѣ, а двѣ его копіи, списанныя и засвидѣтельствованныя подписью князя Голицына, находились въ Петербургѣ, одна въ сенатѣ, а другая въ государственномъ совѣтѣ; на конвертѣ подлинника было написано рукою императора Александра: распечатать по смерти моей, не приступая ни къ какому распоряженію.

Въ ноябрѣ 1825 г., покойный императоръ *Александръ Павловичъ* находился въ Таганрогѣ: императрицѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ, изнуренной продолжительною болѣзнію, было нужно переселиться въ теплый климатъ юга—государь выбралъ для того Таганрогъ и самъ напередъ поѣхалъ туда, чтобы все устроить для спокойнаго тамъ пребыванія императрицы. Обстоятельства его отъѣзда были замѣчательны: онъ какъ будто предчувствовалъ, что уже не увидитъ Петербурга; переѣзжая черезъ мостъ Каменнаго острова, онъ всталъ съ своего мѣста въ коляскѣ, велѣлъ ѣхать тише и стоймя, въ глубокой задумчивости, смотрѣлъ на окрестность, на Невскіе острова, на зданія покидаемаго имъ города; потомъ, передъ выѣздомъ изъ Петербурга, онъ заѣхалъ въ Невскій монастырь, вошелъ въ соборъ и долго молился тамъ передъ мощами св. Александра Невскаго. На пути въ Таганрогъ онъ останавливался во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ были приготовлены ночлеги для императрицы, и по его указаніямъ тамъ собрано было все, для нея нужное, все, къ чему она въ ежедневной жизни привыкла, такъ что на каждомъ шагу послѣдняго земнаго пути своего она вездѣ встрѣчала знаки его о ней памяти, знаки его любви, которой узы такъ скоро, но такъ не надолго, должны были на землѣ разорваться. Помѣстивъ императрицу въ Таганрогѣ въ приготовленномъ для нея домѣ, государь поѣхалъ въ Крымъ. Тамъ, объѣзжая полуденный берегъ полуострова, и именно, находясь въ монастырѣ св. Георгія, онъ простудился; эта простуда, по возвращеніи его въ Таганрогъ, обратилась въ опасную болѣзнь. Мы въ Петербургѣ не имѣли никакого о томъ предчувствія: императоръ былъ еще въ полномъ цвѣтѣ жизни; здоровое и сильное сложеніе тѣла его давали надежду, что онъ на многіе годы еще будетъ сохраненъ своему народу. Вдругъ вдовствующая императрица получаетъ отъ государыни Елизаветы Алексѣевны письмо, извѣщающее ее объ опасности императора; молва объ этомъ быстро распространяется по всей столицѣ; всѣ приходятъ въ волненіе;

по церквамъ молятся, народъ собирается туда многочисленными толпами, ждутъ съ нетерпѣніемъ и тревогою новыхъ извѣстій. Наконецъ, 20 или 21 ноября приходитъ письмо, утѣшительное, возбудившее радостныя надежды.

Теперь я долженъ говорить о самомъ себѣ. 21 или 22 ноября [не помню навѣрно], въ 11 часовъ утра, вмѣстѣ со многими приближенными къ императорской фамиліи, я находился въ церкви Зимняго дворца: былъ благодарственный молебенъ за императора; церковь *) была полна, всѣ лица сіяли радостію: служилъ духовникъ императора Криницкій. Вдругъ, когда послѣ громкаго пѣнія пѣвчихъ, въ церкви сдѣлалось тихо и слышалась только молитва, въ полголосъ произносимая священникомъ, раздался какой-то легкій стукъ за дверями—отъ чего онъ произошелъ, не знаю; помню только то, что я вздрогнулъ, и что всѣ, находившіеся въ церкви, съ безпокойствомъ оборотили глаза на двери; никто не вошелъ въ нихъ; это не нарушило моленія; но оно продолжалось недолго — отворяются сѣверныя двери, изъ алтаря выходитъ великій князь Николай Павловичъ, блѣдный; онъ подаетъ знакъ рукою къ молчанію: все умолкло, оцѣпенѣвъ отъ недоумѣнія; но вдругъ всѣ разомъ поняли, что императора не стало: церковь глубоко охнула. И черезъ минуту все пришло въ волненіе; все слилось въ одинъ говоръ криковъ, рыданія и плача. Мало по малу молившіеся разошлись; я остался одинъ; въ смятеніи мыслей, я не зналъ, куда идти, и наконецъ, машинально, вмѣсто того, чтобы выдти общими дверями изъ церкви, вошелъ сѣверными дверями въ алтарь. Что же я увидѣлъ? Дверь въ боковую горницу отворена; тамъ императрица Марія Ѳеодоровна, почти безчувственная, лежитъ на рукахъ великаго князя; передъ нею на колѣняхъ великая княгиня Александра Ѳеодоровна, умоляющая ее успокоиться: maman, chère maman, au nom de Dieu, calmez-vous! Въ эту минуту священникъ беретъ съ престола крестъ и, возвысивъ его, приближается къ дверямъ: увидя крестъ, императрица падаетъ передъ нимъ на землю, притиснувъ голову къ полу почти у самыхъ ногъ священника. Несказанное величіе этого зрѣлища меня сразило: увлеченный имъ, я сталъ на колѣна передъ святынею материнской скорби, передъ головою царицы, лежащей въ прахѣ подъ крестомъ испытующаго Спасителя. Императрицу, почти лишенную памяти, подняли, посадили въ кресла, понесли во внутренніе покои; двери за нею затворились; я не могъ идти далѣе и возвратился на оставленное мною мѣсто въ церкви; она была пуста, царскія двери были затворены, за престоломъ стоялъ безмолвный священникъ, кругомъ меня царствовала глубокая тишина, я стоялъ неподвижно, какъ будто прикованный къ мѣсту. Не прошло десяти минутъ—какъ вдругъ снова отворяются сѣверныя двери: входитъ великій князь Николай Павловичъ. «Отецъ Криницкій, говоритъ онъ священнику, поставьте налой и положите на него Евангеліе». Это исполнилось: налой съ открытымъ на немъ Евангеліемъ поставленъ предъ царскими дверями. «Принесите присяжный листъ», продолжалъ великій князь. Присяжный листъ принесенъ.— «Читайте присягу». Священникъ началъ

*) Для бо́льшей ясности того, что́ здѣсь описывается, почитаю нужнымъ сказать [ибо, какъ протестантъ, вы этого въ точность не знаете] о расположеніи русской церкви. Она раздѣляется иконостасомъ на двѣ половины; восточная половина называется алтаремъ: посреди его престолъ, на которомъ совершается «безкровная жертва»; западная половина называется трапезою: тамъ стоятъ молящіеся. Въ иконостасѣ три двери: средніе [восточныя] называются царскими; въ нихъ входитъ одинъ священникъ; двѣ боковыя меньшія двери называются: одинъ сѣверными, другія южными. Замѣчу особенно, что за алтаремъ дворцовой церкви находилась особенная небольшая горница, изъ которой двери вели прямо въ алтарь, и въ которой императрица Марія Ѳеодоровна имѣла обыкновеніе слушать обѣдню всякій разъ, когда не желала быть видима никому изъ находившихся въ *трапезѣ. Примѣчаніе къ тексту.*

читать. Великій князь поднялъ руку; задыхаясь отъ рыданія, дрожащимъ голосомъ повторялъ онъ за священникомъ слова присяги; но когда надобно было произнести слова: государю императору Константину Павловичу, дрожащій голосъ сдѣлался твердымъ и громкимъ; все величіе этой чудной минуты выразилось въ его мужественномъ, рѣшительномъ звукѣ. Совершивъ присягу и подписавъ присяжный листъ, великій князь велѣлъ кликнуть одного изъ своихъ адъютантовъ. Кто былъ имъ посланъ и который изъ адъютантовъ явился, Кавелинъ, Перовскій или Адлербергъ, я не помню. «Сказать Михаилу Андреевичу Милорадовичу [онъ былъ тогда с.-петербургскимъ генералъ-губернаторомъ], чтобы велѣлъ приводить къ присягѣ гвардію». Отдавъ такое приказаніе, великій князь вышелъ изъ церкви.

Что прибавлю къ моему разсказу? Я съ своей стороны не знаю ни въ исторіи народовъ, ни въ исторіи души человѣческой ни одной болѣе возвышенной минуты. Великому князю извѣстно было отреченіе брата его отъ престола; онъ зналъ, что вслѣдствіе этого отреченія престолъ неоспоримо принадлежалъ ему; онъ предвидѣлъ, что чрезъ нѣсколько минутъ всенародно откроется тайна отреченія, и что ему предложено будетъ воспользоваться правомъ, ему уступленнымъ; но въ то же время онъ въ душѣ своей признавалъ неприкосновеннымъ право законнаго наслѣдника, и не могъ знать, на что рѣшится этотъ наслѣдникъ [бывшій тогда далеко]: подтвердитъ ли, уничтожитъ ли тайное свое отреченіе? Чего же требовала отъ него совѣсть, то было для него ясно; но онъ страшился, чтобы воля его не поколебалась въ выборѣ между самоотверженіемъ и самодержавіемъ; онъ не повѣрилъ одной силѣ души своей, онъ поспѣшилъ подкрѣпить ее силою Бога, поспѣшилъ явиться предъ лицо этого Бога, дабы во храмѣ Его, къ подножію *престола, на которомъ совершается жертва безкровная, положить свою* жертву земнаго величія; онъ поднялъ къ Богу свою руку съ клятвою: не принимать этого величія иначе, какъ отъ Вышней воли, которая одна всѣ земныя права даруетъ и освящаетъ. И эту клятву произнесъ онъ въ самую первую минуту великой скорби, когда вся душа обхвачена была страшною, ей самой еще непонятною мыслію, что Александра не стало; и онъ ее произнесъ одинъ, безъ свидѣтелей, безъ всякой торжественности, безъ всякаго, увлекающаго душу, людскаго одобренія, напротивъ, тайкомъ отъ толпы, наединѣ съ Богомъ. Что былъ свидѣтель, подсмотрѣвшій его въ эту великую минуту жизни, онъ того не зналъ, онъ былъ одинъ... Сообразивъ все это, какое имя дамъ я тому, что мои глаза видѣли, что поразило тогда и что теперь, при воспоминаніи, наполняетъ трепетомъ благоговѣнія мою душу? Но зачѣмъ имя, когда дѣло само себя именуетъ? Подлинное же величіе этого дѣла заключается не въ огромности принесенной жертвы, а въ томъ смиреніи, съ какимъ была принесена она, въ отсутствіи всякаго самодовольнаго къ ней уваженія, въ какомъ-то младенческомъ незнаніи ея высокости, наконецъ въ совершенномъ о ней забвеніи: ибо до сихъ поръ, кромѣ меня, случайнаго ея свидѣтеля [и весьма немногихъ, которымъ я этотъ случай въ послѣднее время разсказывалъ], никто о видѣнномъ мною не вѣдаетъ.

Исторія есть не иное что, какъ лѣтопись человѣческаго властолюбія. Пріобрѣтеніе власти, праведное или неправедное, сохраненіе или распространеніе пріобрѣтенной власти, возвращеніе власти утраченной—вотъ главное ея содержаніе, около котораго сосредоточиваются всѣ другія историческія событія. Всѣ жаждутъ власти, явно или тайно, и каждый украшаетъ свою жажду заимствованнымъ именемъ, болѣе или менѣе ей чуждымъ, именемъ патріотизма, любви къ человѣчеству, воли народа, общаго блага, свободы и проч., подлинное же имя ея:

своекорыстіе. И всякое средство—самое преступное: обманъ, клевета, измѣна, хищничество, мятежъ, междоусобіе — кажется позволеннымъ для пріобрѣтенія такого великаго блага. Немного представляетъ намъ исторія такихъ дѣйствователей на поприщѣ власти, которыхъ властолюбіе было бы совершенно чисто отъ всякой примѣси своекорыстія; еще менѣе примѣровъ пожертвованія власти изъ одной любви къ правдѣ и долгу. То, что мною разсказано, представляетъ чистѣйшій примѣръ послѣдняго: здѣсь отверженіе власти—и какой власти!—совершилось безъ всякаго своекорыстнаго вида, а просто изъ уваженія къ святынѣ права, совершилось такъ тайно, такъ тихо, что именно то обстоятельство, которое составляетъ прямое достоинство принесенной жертвы, осталось невѣдомымъ для исторіи; но тѣмъ болѣе оно вѣдомо Тому, Кто ведетъ лѣтопись не земнымъ [минутнымъ или вѣковымъ] событіямъ человѣческаго общества, а дѣяніямъ души человѣческой. Народы и имперіи, ихъ начало, величіе и разрушеніе, и весь родъ человѣческій не иное что, какъ призраки; одно посреди ихъ существенно и живо: безсмертная душа наша. Минутныя, земныя событія принадлежатъ листамъ исторіи, столь же минутнымъ и бреннымъ, какъ они—не умирающія дѣла души принадлежатъ листамъ той вѣчной книги Божіей, которая нѣкогда розогнется на послѣднемъ судѣ Его. И на одномъ изъ листовъ этой книги яркими чертами записана та великая минута моего императора, о которой, можетъ быть, ни слова не скажетъ исторія. Если же она скажетъ о ней, то она въ то же время должна будетъ признать, что слово: Божіею милостію имѣетъ свой полный смыслъ въ императорскомъ титулѣ Николая I-го: онъ прямо изъ руки Божіей принялъ свою корону и, разъ принявъ ее, мужественно отстоялъ даръ Божій въ ту роковую минуту, когда враждебная сила покусилась на его похищеніе. *Данное Богомъ, Богомъ и сохраняется*, и русскій тронъ, въ виду мятежей народныхъ, уничтожающихъ святыню власти, непотрясаемо устоитъ на твердомъ основаніи Божіей правды и вѣры въ нее царя и народа.

Я могъ бы здѣсь остановиться; но сердце принуждаетъ меня къ описанному выше прибавить нѣчто другое, къ нему не принадлежащее, но что я желалъ бы высказать во услышаніе всѣхъ и каждаго. Исполненіе нашихъ намѣреній [успѣшное или неуспѣшное] есть событіе, зависящее не отъ одной воли человѣческой, а отъ содѣйствія многихъ, ей неподвластныхъ обстоятельствъ. Событіе, скажу опять, принадлежитъ суду исторіи, которая одобряетъ успѣхъ и опорочиваетъ неудачу; дѣла души судитъ одинъ Богъ. Его суду и оправданію принадлежитъ та минута, въ которую король Фридрихъ Вильгельмъ IV, увлеченный вдохновеніемъ, чувствуя присутствіе Божіе въ душѣ своей, исповѣдалъ передъ народомъ свою къ нему любовь и свои благія для пользы его замышленія. До всѣхъ насъ дошло то слово, которое вылилось изъ души его, когда онъ въ Кёнигсбергѣ и Берлинѣ принималъ отъ народа обѣтъ подданства. Совершилось ли на дѣлѣ, что было тогда такъ прекрасно, такъ искренно сказано, на какой смыслъ перевели подданные великое слово своего монарха, какія обстоятельства помѣшали, и что въ самомъ высокомъ и чистомъ характерѣ короля, благороднѣйшаго и лучшаго изъ людей, могло противодѣйствовать исполненію сказаннаго—это сюда не принадлежитъ; но слово его было онъ самъ, было правда, чистая правда, и въ ту минуту, когда оно внезапнымъ вдохновеніемъ было вырвано изъ души монарха передъ собравшимся народомъ, чистая правда и теперь, когда онъ, сокрушенный, неузнанный, неправедно судимый, осыпаемый клеветами, стоитъ передъ развалинами своего святаго идеала, которымъ такъ давно была преисполнена душа его и который теперь такъ безчувственно, такъ повсемѣстно обруганъ,

Нельзя безъ трепета передъ непреповѣдимостью воли Божіей читать того, что написалъ о немъ Радовицъ, вѣрный повѣренный его мыслей и желаній, одинъ ихъ вполнѣ постигшій и вмѣстѣ съ нимъ сокрушенный тѣмъ роковымъ бѣдствіемъ, которое напрасно предвидѣлъ, напрасно предсказывалъ, напрасно силился отвести отъ своего государя. Такъ, трепетъ благоговѣнія предъ Всевышнимъ Богомъ [Его же пути не наши пути] проникаетъ душу при чтеніи этихъ страницъ, на которыхъ такъ просто разсказаны благія намѣренія одного изъ лучшихъ государей нашего времени и всѣхъ временъ, разсказано, какъ все, желанное для его народа и для Германіи, и имъ самимъ глубже всѣхъ современниковъ постигнутое, давно развивалось въ душѣ его, какія напрасныя усилія и опыты были имъ сдѣланы для приведенія въ сущность благихъ замышленій, и какъ сіи замышленія чистѣйшаго, самоотверженнаго безкорыстія, въ тотъ самый мигъ, когда надлежало имъ совершиться, были вдругъ опровергнуты однимъ словомъ непреповѣдимаго Промысла: поздно. Нѣсколькими днями ранѣе—и все, чего такъ давно требовала Германія и что она теперь взяла съ бунта, искаженное губительною рукою народнаго самовластія, было бы дано ей хранительною рукою законной власти, безъ нарушенія правъ, утвержденныхъ вѣками, съ уничтоженіемъ всякаго произвола, губящаго власть верховную, но безъ замѣненія его грубымъ властительствомъ толпы, надолго разрушившимъ народное благоденствіе и грозящимъ уничтожить общество человѣческое въ самомъ его основаніи *). Всѣ считали Радовица; но послышался ли хотя одинъ голосъ, отвѣчающій на его вызовъ отдать справедливость Фридриху Вильгельму IV? Какъ изъяснить то равнодушіе, съ какимъ цѣлый благородный народъ принялъ этотъ голосъ, оправды-

*) Безпрестанно повторяютъ: «Мы тридцать три года терпѣли; обѣщанное намъ не исполнено; нами ругались; мы были притѣснены; всѣ наши требованія были съ презрѣніемъ отвергнуты». Къ несчастію, эти обвинительные крики основаны на истинѣ: государи Германіи остались въ долгу у своихъ народовъ. И главная вина ихъ состоитъ менѣе въ *томъ, что они этого долга не заплатили, нежели въ томъ, что они не оказали* надлежащей рѣшительности въ его признаніи, чѣмъ и возбудили противъ себя подозрѣніе, наконецъ обратившееся въ мятежное негодованіе; если бы они мало по малу, но постоянно, въ опредѣленные сроки уплачивали проценты своего долга съ частію капитала, то въ настоящее время не было бы ни заимодавцевъ, ни должниковъ, и тѣ и другіе были бы богаты; напротивъ, теперь и тѣ и другіе разорены [Фридрихъ Вильгельмъ IV однако долженъ быть исключенъ изъ числа должниковъ двусмысленныхъ: онъ явно, при восшествіи на престолъ, призналъ свой долгъ, онъ искренно заботился о его уплатѣ; но его народъ и современники не имѣли счастія ему повѣрить; а сила обстоятельствъ опрокинула всѣ его благотворныя усилія]. Признавъ за истину сказанное выше, теперь спрашиваемъ: если правительства съ своей стороны несправедливо медлили удовлетворить требованіямъ народовъ, то сіи послѣдніе были ли умѣренны и всегда справедливы въ своихъ требованіяхъ? А ихъ неумѣренность и буйные способы, которые они употребляли, чтобы насильственно схватить то, что надлежало имъ пріобрѣсть путемъ законности и порядка, не должны ли были вооружить противъ нихъ ту самую власть, которая, чтобъ дѣйствовать съ пользою, должна дѣйствовать самостоятельно и свободно? Вы называете своихъ противниковъ демонами тьмы, но вы сами были ли ангелами свѣта? И съ виновною медлительностію правительствъ [изъясняемою вашимъ буйствомъ и опасеніемъ вашего произвола] не стоитъ ли на ряду ваша мятежная нетерпѣливость [которая впрочемъ равномѣрно можетъ быть изъяснена равнодушіемъ и недѣятельностію со стороны правительствъ]? Конечно, первая неправда: неисполненіе обѣщаннаго на сторонѣ правительствъ [а что неправда свѣтъ, то она и пожинаетъ]; но вы, заплативъ за неправду неисполненія неправдою бунта, что посѣяли? Не такую же ли неправду? Разница состоитъ только въ томъ, что первая, предшествовавшая неправда была причиною послѣдней, изъ нея исшедшей; но она ее не оправдываетъ; и плоды обѣихъ будутъ одинаковы: первая произволомъ власти державной пробудила произволъ толпы и безначалія; послѣдняя, опровергнувши всякое историческое право и своеволіе толпы признавъ за свободу, въ свою очередь пробудитъ произволъ власти, какое бы власть сія ни получила имя,

вающій честь его въ лицѣ его государя? Какимъ волшебствомъ такъ внезапно могла изгладиться въ немъ любовь къ многославному дому Гогенцоллерновъ, и исчезъ изъ глазъ его этотъ блистательный рядъ монарховъ, которые создали, возвеличили, просвѣтили, и наконецъ послѣ плачевнаго паденія возстановили Пруссію, за нѣсколько дней столь устроенную, столь полную народнаго благоденствія? Какъ могли потерять для его сердца свое очарованіе имена великаго курфирста, единственнаго Фридриха, благодушнаго Фридриха Вильгельма III, который вмѣстѣ съ сыновьями своими такъ рыцарски стоялъ передъ рядами его непобѣдимой арміи, когда она билась за свободу отечества и Германіи? Наконецъ, какъ могъ онъ эту армію, покрытую такою чистою славою, столь вѣрную знаменамъ своимъ и чести военной, обвинить въ предательствѣ за то, что она поднялась за своего законнаго государя противъ уличнаго бунта, и тогда только положила оружіе, уже побѣдоносное, когда самъ король остановилъ ея геройскую борьбу за права его?... Непостижимая справедливость нашего времени! Французское войско за то, что оно, вступаясь за свою однодневную, еще ни на какихъ правахъ не утвержденную республику, повалило своими пушками баррикады и положило тысячи друзей свободы на улицахъ Парижа, называютъ славою и спасеніемъ отечества; уличныхъ же проповѣдниковъ свободы сотнями разстрѣливаютъ и цѣлыми толпами посылаютъ за море въ ссылку; а знаменитая прусская гвардія, поднявшая оружіе за вѣковыя, неотъемлемыя права и за честь своего законнаго государя, должна быть осрамлена обвиненіемъ въ предательствѣ; подкупнымъ же уличнымъ бродягамъ и отпущенникамъ изъ тюрьмы, возмутившимъ спокойныхъ гражданъ столицы и теперь пирующимъ на счетъ ихъ посреди развалинъ порядка, совокупно съ ними разрушеннаго, должно быть дано названіе героевъ! Справедливость молчитъ передъ пахальными криками партій. Но тѣ, которые не заражены чумою нашего времени, и особенно тѣ, которымъ знакома чистая, высокая, любящая, вѣрующая душа Фридриха Вильгельма IV, тѣ знаютъ истинный смыслъ этого событія, они видятъ въ немъ одну неисповѣдимость путей Божіихъ; они ясно видятъ, что самому Провидѣнію было угодно, чтобъ Фридрихъ Вильгельмъ IV остановилъ оружіе своихъ защитниковъ въ рѣшительную минуту ихъ торжества, дабы къ святынѣ благихъ намѣреній его присоединить святыню мученичества, дабы онъ могъ въ смиренномъ принятіи величайшаго изъ испытаній, какое только было когда

республики или монархіи. И это было бы еще самою счастливою развязкою. Мы слышали страшное слово Кассандры, произнесенное однимъ изъ благороднѣйшихъ дѣятелей нашего времени: «Не одинъ прежнія формы государствъ уничтожены, говорилъ онъ, и самыя условія, необходимыя для того, чтобы создать какую-нибудь постоянную форму, не существуютъ. Эти условія суть: съ одной стороны власть верховная, съ другой богобоязненность и уваженіе долга; безъ этихъ элементовъ никакой государственный порядокъ существовать не можетъ; разъ уничтоженные, они сами собою не возродятся; ихъ можетъ родить только необходимость; а необходимость отъ воли человѣческой не зависитъ; ее приводитъ одна великая внѣшняя сила; роковое же имя этой силы — война». Но горе человѣчеству, когда допуститъ родиться той войнѣ, которую носитъ въ чревѣ своемъ настоящее время! Скорѣй, скорѣй призовите на помощь генія власти. Не бойтесь реакціи—это пароль и лозунгъ мятежниковъ. Прежнее вполнѣ возвратиться не можетъ: его враждебные элементы уничтожены; но съ ними уничтожены и добрые, а съ уничтоженіемъ послѣднихъ освободились новые, гораздо болѣе враждебные, нежели прежніе. Не дайте имъ соединиться. Иначе изъ мертвой гидры подымется живая, страшнѣйшая первой. Уничтоживъ все прежнее неправедное, а потому и разрушимое, сохраните и возстановите все прежнее праведное, вѣковое и вѣчное, бѣдственно потрясенное или опрокинутое: святыню власти, святыню богобоязненности, святыню уваженія долга. Однимъ словомъ, на развалинахъ неправды не стройте новаго зданія неправды. Оно не надолго; падетъ и васъ самихъ раздавитъ. *Примѣчаніе къ тексту.*

ниспослано душѣ человѣческой, совершить лучшее человѣческое дѣло: претерпѣть до конца и не погибнуть; они благоговѣютъ передъ его мученичествомъ, и для нихъ терновый вѣнецъ, теперь лежащій на этой царской головѣ, кажется блистательнѣе того вѣнца, которымъ бы современники и исторія украсили Фридриха Вильгельма IV, когда бы успѣхъ событій соединился съ чистымъ дѣломъ души его; они протестуютъ противъ мятежнаго суда партій и переносятъ дѣло его въ высшее судилище Божіей правды.

P. S. Нынѣ день рожденія нашего императора; музыка играетъ народную русскую пѣсню: Боже, царя храни! Давно я не слыхалъ ее; и никогда не слушалъ съ такимъ чувствомъ, какъ теперь. Народная пѣсня — въ ней заключается великое очарованіе; она то же, что звуки роднаго языка, что воспоминаніе о родинѣ, что память о далекихъ, живыхъ или умершихъ, что знамя, вѣющее надъ головою войска; она едва ли не значительнѣе всего этого, ибо она не есть что-то опредѣленное, частное, а чудный, родной голосъ, все вмѣстѣ выражающій; въ ней слышится совокупный, гармоническій привѣтъ отъ всѣхъ одноземцевъ, жившихъ прежде, къ живущимъ теперь, какое-то сводное преданіе о цѣломъ народѣ, о его прошлой жизни, о его славѣ, о его свѣтлыхъ и темныхъ дняхъ, обо всемъ, что онъ былъ и что намъ оставилъ по себѣ въ наслѣдство— вотъ отъ чего, съ тѣмъ вдохновительнымъ чувствомъ, которое возбуждаетъ въ насъ всякая народная пѣсня, соединяется такъ много меланхолическаго: ибо въ ней прошлое, уже не существующее, смѣшано съ живымъ настоящимъ, съ темнымъ предчувствіемъ будущаго. Но все это относится къ пѣснѣ народной вообще, къ пѣснѣ старинной, уже давно въ народѣ живущей. Но пѣсня народная, особенно посвященная царю и въ его лицѣ всему царству, повторяемая при всякомъ важномъ событіи народной жизни, имѣетъ глубокое, ей одной присвоенное значеніе. Очарованіе такой пѣсни наиболѣе ощутительно для насъ на чужбинѣ. Когда въ чужой землѣ послышится тебѣ простая народная пѣсня — она пробудитъ въ отечественномъ только твое личное; но когда зазвучитъ для тебя народное слово: Боже, царя храни! вся твоя Россія, съ ея минувшими днями славы, съ ея настоящимъ могуществомъ, съ ея священнымъ будущимъ, явится передъ тобою въ лицѣ твоего государя. Болѣе нежели когда нибудь почувствовалъ я это теперь, когда вокругъ меня стояла толпа равнодушныхъ слушателей, изъ которыхъ для многихъ уже не могло быть подобной пѣсни, для многихъ, которые, внезапно охолодѣвъ ко всему историческому, замѣнили его чѣмъ-то самодѣльнымъ, безъ преданій, безъ древней знаменитости, безъ всякаго живаго завѣта отъ предковъ къ потомкамъ, замѣнили живую поэзію математическою неразрѣшимою проблемою или, лучше сказать, уничтожили исторію, то есть славу, такимъ же коммунистическимъ процессомъ, какимъ просвѣтители нашего времени хотятъ уничтожить и собственность, то есть самое общество. Я смотрѣлъ на нихъ, какъ на сиротъ, безъ имени, безъ семейства, собравшихъ подъ одною кровлею пріюта, которая не есть для нихъ отеческій домъ, а только пространство, служащее имъ мѣстомъ пребыванія. И мнѣ было сладко подумать о своемъ великомъ семействѣ, о нашей Россіи, гдѣ все, что здѣсь такъ произвольно разрушено: благоговѣніе передъ святынею Божіей правды и исторіи, и благоговѣніе передъ святынею власти державной, изъ нихъ исходящей, сохранилось неприкосновеннымъ, въ залогъ настоящаго могущества и будущаго благоденствія, и въ душѣ моей глубоко, глубоко отозвался слова нашей народной пѣсни, всю эту святыню выражающія: Боже, царя храни!

$\frac{7 \text{ іюля.}}{25 \text{ іюня.}}$ 1848.

$\frac{7}{19}$ августа.

Описаніе Кёльнскаго праздника заставило меня крѣпко призадуматься, а нѣкоторыя обстоятельства его живо меня тронули. Въ предисловіи къ этому описанію, газета говоритъ о глубокомъ значеніи праздника: достроеніе древняго христіанскаго храма въ Кёльнѣ сравниваетъ она съ построеніемъ новаго политическаго храма Германіи во Франкфуртѣ; не думаю, чтобы это сравненіе было вѣрно. Между этими двумя фактами такая же разница, какъ и между словами, ихъ выражающими: тамъ достроеніе, то есть довершеніе существующаго; здѣсь построеніе, то есть новое созданіе; тамъ великому зданію, въ старину начатому, сохраняется его характеръ, и главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобы его древнее величіе, при доведеніи къ концу начатаго, вполнѣ сохранено было новыми зодчими; здѣсь все прежнее, созданное вѣками, должно уступить теоретическимъ идеямъ новыхъ строителей, и ихъ построенія суть не иное что, какъ перестроенія, то есть разрушеніе стараго и созданіе новаго по новому плану. Газета говоритъ еще о единствѣ, утверждая, что и въ изящныхъ искусствахъ главное условіе красоты состоитъ въ томъ, чтобы частное исчезло въ цѣломъ, и что тогда только можетъ быть единство. Совсѣмъ напротивъ: не только не нужно, чтобы частное исчезло, нужно напротивъ, чтобы части, безъ которыхъ не можетъ быть цѣлаго, сохранили свою необходимую самобытность, и въ стройной своей совокупности составили одно гармоническое цѣлое, но въ немъ не исчезли. Единство происходитъ не отъ мертваго единообразія, а отъ живаго соединенія: такъ и единство Германіи; оно можетъ произойти только изъ соединенія, слѣдственно и изъ сохраненія живыхъ частей ея. Какъ бы ни краснорѣчиво провозглашали свои теоріи проповѣдники церкви св. Павла во Франкфуртѣ, по иного единства имъ создать для нея не удастся. По ихъ ариѳметикѣ нѣсколько нулей могутъ составить единицу; они говорятъ Петру, Ивану, Карлу, Вильгельму: «каждый изъ васъ долженъ сперва самъ себя зарѣзать, потомъ изъ вашихъ мертвыхъ труповъ мы составимъ одного общаго, живаго человѣка»; не знаю, согласится ли кто нибудь подвергнуть себя такому химическому процессу. Или, можетъ быть, вслѣдствіе великихъ открытій, сдѣланныхъ нашимъ премудрымъ временемъ въ естественныхъ наукахъ, они нашли, что человѣкъ такой, каковъ онъ былъ донынѣ, слишкомъ сложенъ, что разные члены его тѣла ему совсѣмъ не нужны, что глаза, ротъ, носъ, голова, руки, ноги и проч. не иное что, какъ вредный партикуляризмъ, и что ихъ надобно уничтожить, дабы пересоздать стараго, слишкомъ зависимаго отъ членовъ своихъ человѣка, въ свободнаго, безчленнаго, единаго.

Но глубоко меня тронуло присутствіе короля прусскаго на этомъ праздникѣ, который Пруссіею и особенно Фридрихомъ Вильгельмомъ IV давно уже былъ приготовленъ. Въ 1842 году я имѣлъ счастіе видѣть короля въ Кёльнѣ, когда былъ положенъ первый камень достроенія; онъ уже тогда, не понуждаемый никакими обстоятельствами внѣшними, всенародно выразилъ свою надежду, что этотъ великій, древній храмъ, достроенный по своему вѣковому плану, будетъ нѣкогда символомъ единства силы и величія Германіи. И это были не одни слова; это была правда, выраженіе постоянныхъ желаній и давнишняго стремленія души его. Теперь, послѣ событій настоящаго времени, Фридрихъ Вильгельмъ IV опять на томъ же мѣстѣ, тотъ же, какимъ былъ тогда; роковыя бѣдствія, сокрушившія его сердце, его не измѣнили; онъ тотъ же полный энтузіазма къ своему царскому дѣлу, полный благоговѣнія ко всему святому, самоотверженный, искренній, безкорыстный. Вся,

что онъ говорилъ въ разныя минуты Бѣльпскаго праздника, имѣетъ глубокую значительность и носитъ характеръ чистаго прямодушія; нѣтъ слѣдовъ раздраженія, которые могли и должны бы произвести въ немъ оскорбленія, нанесенныя ему своими и чужими; съ дружбою подаетъ онъ руку ерцъ-герцогу правителю, готовый помогать ему въ важномъ его дѣлѣ съ полнымъ самоотверженіемъ [но не съ отверженіемъ того, что составляетъ достоинство его народа]. И присутствіе этого благороднаго ерцъ-герцога не наводитъ на него никакой затмевающей тѣни, напротивъ оно даетъ какой-то особенный блескъ его достоинству, которое выражается такъ привлекательно и непринужденно въ искренности его доброжелательства. То, что Фридрихъ Вильгельмъ IV готовилъ для Германіи самъ, было гораздо лучше и надежнѣе того, что вышло изъ ея всеобщаго потрясенія; но онъ съ тѣмъ же прямодушіемъ, съ какимъ устроивалъ въ мысляхъ своихъ то благо, которому судьба не дала совершиться, пріемлетъ то, что уже инымъ путемъ совершилось, и готовъ дѣйствовать въ новомъ направленіи, безъ всякаго двоемыслія, но и не поддаваясь тому, что душа его признаетъ неправдою. Уступить монаршее достоинство и монаршую власть и съ ними порядокъ общественный произволу народнаго самовластія — на это онъ не можетъ и не долженъ согласиться; но онъ будетъ искренно содѣйствовать тому, чтобы законная свобода народовъ Германіи, возможная только съ свободою и самобытностію ихъ государей, на твердыхъ основаніяхъ укоренилась: на это Фридрихъ Вильгельмъ IV подалъ руку ерцъ-герцогу Іоанну Австрійскому; онъ хочетъ достроить, а не разрушить для перестройки, древле начатый великій храмъ германскаго народа.

25-е августа. Я прочиталъ брошюру подъ заглавіемъ: Пруссія и ея король. *Авторъ ея пасторъ Либетрутъ*; имя *его, которое можно перевести:* правдолюбъ, соотвѣтствуетъ тому чистому, христіанскому характеру, который выражается въ его книжкѣ: онъ говоритъ правду и говоритъ убѣдительно потому, что любитъ правду.

Хотя я и не соотечественникъ его, но братски подаю ему руку и отвѣчаю всѣмъ сердцемъ на трогательный его голосъ: въ любви къ правдѣ мы всѣ соотечественники. Но, вѣрная, добрая, любящая душа, будетъ ли услышанъ твой голосъ тѣми, которыхъ ты такъ рвешься примирить съ королемъ ихъ, такъ убѣждаешь стать съ нимъ подъ одно знамя, подъ знамя Бога отечества и правды? Еще повсемѣстно дѣйствуетъ демоническая сила того очарованія, которое такъ несожиданно всѣхъ обуяло, у однихъ затмило разсудокъ и окаменило сердце, на другихъ навело такой неестественный страхъ, что они потеряли всякую силу для дѣятельности и не смѣютъ еще и теперь взглянуть въ глаза тому страшилищу, которое отъ одного могущественнаго движенія руки ихъ исчезло бы, какъ небывалое. Но такое обаяніе продолжиться не можетъ; уже, какъ многіе замѣчаютъ, здравый разсудокъ начинаетъ выходить изъ летаргическаго сна своего; уже начинаютъ догадываться, что это громко прославленное самодержавіе народа не иное что, какъ самовольство черни, не ея самобытная власть, а ея безумное, бѣшеное подданство немногимъ, которые играютъ ею въ пользу своихъ корыстныхъ замысловъ. Этимъ замысламъ служатъ и добрые, совѣстливые теористы, для которыхъ мѣрою всему служатъ одни ихъ школьныя идеи и которые желаютъ блага всѣмъ народамъ и преобразуютъ ихъ такъ же точно, какъ древній Прокрустъ, желая успокоить проходящихъ, укладывалъ ихъ на своей постелѣ, вытягивая тѣхъ, которые были короче ея, и обрубая ноги тѣмъ, которые были ея длиннѣе; имъ служитъ и толпа обманутыхъ самодержцевъ въ лахмотьяхъ, которыхъ нищетою, невѣжествомъ и развратомъ пользуются возмутители, дабы

присвоить себѣ все то, что они въ такихъ пышныхъ фразахъ имъ обѣщаютъ въ будущемъ, уничтожая для нихъ всякую возможность благодѣянія въ настоящемъ. Ты правъ: не можетъ быть, чтобъ зло восторжествовало; богоотступники погибнутъ своимъ безвѣріемъ, возмутители своимъ мятежомъ, развратители своимъ развратомъ. Когда оглянемся на первую революцію Франціи и на все, что произвела она, что увидимъ? Прежнее разрушено, ибо оно не могло устоять на согнившихъ ногахъ своихъ; но тверже ли стоитъ все новое, вышедшее изъ ядовитой бездны, его породившей? Оно или само собою погибло или оставило гнилой плодъ, безпрестанно падающій и ни мало не соотвѣтствующій тѣмъ жертвамъ, которыя принесены его произрастанію.

Нельзя конечно сомнѣваться, что изъ всего этого нестройнаго зла, человѣческимъ буйствомъ произведеннаго, выйдетъ со временемъ стройное благо — но то ли благо, которое замышляли разрушители-зодчіе? О нѣтъ! совсѣмъ иное— Божіе благо, о которомъ они и мечтать не могли, которое никогда не приходитъ по нашему произволу, и котораго, можетъ быть, они и не поймутъ, когда оно наступитъ.

А гдѣ самовольные дѣйствователи, вмѣнявшіеся съ такою самонадѣянностію въ дѣло Провидѣнія? Исчезли всѣ въ глазахъ своего поколѣнія, видѣвшаго ихъ начало; главные или бѣдственно погибли, или насильственнымъ образомъ сброшены съ той высоты, на которую ихъ возвела неправда, или, блеснувъ на минуту передъ глазами толпы, снова съ нею смѣшались, забыты, а если и помнятъ объ нихъ, то съ ненавистію или презрѣніемъ. И кто изъ нихъ достигъ желаннаго? Одни, раздраженные неуспѣхомъ своихъ теорій, упорствуютъ въ своихъ убѣжденіяхъ, необразумленные гибельнымъ опытомъ и готовые вступить снова въ ужасный путь свой, ибо для гордаго ума нѣтъ ни человѣчества, ни совѣсти; другіе, признавъ свое безуміе, плачутъ на днѣ той бездны, въ которую пали сами, толкнувъ въ нее современниковъ. Торжествуютъ одни только тѣ, которымъ ни въ духовной, ни въ матеріальной жизни терять уже нечего, которые и себя и другихъ ставятъ на карту въ отчаянной надеждѣ или все выиграть или вовсе погибнуть, которые, заботясь только о томъ, какъ бы въ веселомъ пьянствѣ чувственныхъ наслажденій дойти безъ помѣхи до могильной гнили, въ которой [какъ они думаютъ, а, можетъ быть, и желаютъ] все для нихъ кончится и исчезнетъ, спѣшатъ насытиться по горло на минутномъ пиру жизни, оставляя мечтателей работать для того идеальнаго блага, которому они, громко провозглашая его, сами не вѣрятъ, и смѣясь надъ толпою невѣждъ, которые за нихъ даютъ себя разорять, впадаютъ въ преступленія, губятъ другихъ и сами гибнутъ, или которыхъ они влекутъ за собою въ невѣріе и въ развратъ только для того, чтобы не имѣть въ нихъ ни строгихъ судей, ни досадныхъ свидѣтелей. Для того провозглашаютъ они свободу, самодержавіе народа, общее благо, независимость мысли и слова — обольстительныя имена, которыми они украшаютъ только мятежъ, для всѣхъ губителей, лишь ихъ замышленіямъ полезный. Наше время, которое повторяетъ всѣ ужасы прежней революціи, не столь кровавое, но, можетъ быть, еще болѣе отвратительное, этимъ внезапнымъ всеобщимъ разрушеніемъ всего, столь недавно устроеннаго, доказываетъ только то, что на основаніи неправды, которая по натурѣ своей никакой прочности не имѣетъ, можетъ быть построено только зданіе неправды, построено для разрушенія.

Но то, что изъ буйнаго дѣла человѣческаго создастъ Всемогущій Богъ, никогда не престающій дѣйствовать,—этого мы не знаемъ; мы знаемъ однако, что этотъ Всевышній Дѣйствователь есть въ то же время и вѣрный союзникъ всѣхъ, Ему покорныхъ душъ, которыя каждая на мѣстѣ, Имъ ей указанномъ въ мірѣ,

Кто призываетъ и, смиренно вѣруя, Ему служитъ. Къ этимъ служащимъ вѣрою и правдою своему Богу принадлежишь и ты, неизмѣнный другъ и слуга своего государя; всѣмъ сердцемъ дѣлу твою надежду: зло восторжествовать не можетъ; не унывай и бодрствуй, содѣйствуя вышней волѣ, провозглашая ее неустрашимо передъ врагомъ, какъ передъ другомъ, передъ ругателемъ правды, какъ передъ ея поклонникомъ. Обаяніе пройдетъ; часъ отъ часу многочисленнѣе будутъ сходиться въ оборонительный и наступательный союзъ друзья порядка, законности и вѣры; арсеналъ возмутителей начинаетъ истощаться; скоро священныя имена свободы, гражданскаго благодѣянія, любви къ отечеству, единства народовъ, до отвратительности въ наше время во зло употребленныя, возвратятъ свой истинный смыслъ, объясненный бѣдственнымъ опытомъ. Страшилище реакціи, которымъ пугаютъ лихорадочное воображеніе толпы, еще не пришедшей въ себя отъ угара той разрушительной власти, которая такъ гибельно ею была похищена, уступитъ мѣсто спасительному желанію возстановленія власти хранительной, которая одна можетъ упрочить порядокъ общественный и которая только подъ знаменами вѣры и правды можетъ свести народы къ возможному имъ благоденствію. Тогда наступитъ пора и твоего короля, столь величественно испытаннаго Промысломъ, посылающимъ подобныя испытанія только душамъ, ихъ достойнымъ; тогда спадетъ слѣпота съ очей твоихъ соотечественниковъ: они сами взумятся своему ослѣпленію; они увидятъ ясно, что не ругательствомъ оскорблять, а благословеніемъ радовать должно имъ сердце короля своего; что они въ умиленіи должны за него благодарить Бога, какъ за надежную пристань спасенія во дни всеобщей бури, все поглотить угрожающей, что бѣдственная революція, произведенная подкупными бродягами въ столицѣ Пруссіи, которой жители, какъ *лонынѣ казалось, стояли на* верхней степени цивилизаціи, не дала имъ блага, желаннаго ими и болѣе всѣхъ ихъ великодушнымъ ихъ [sic] королемъ, блага, которое теперь, вырванное изъ чистыхъ рукъ монаршихъ нечистою рукою мятежа, сдѣлалось жалкою добычею зломысленныхъ возмутителей; что не *реакціи* должно имъ страшиться, а продолженія этого повсемѣстнаго бунта черни, не дающаго дѣйствовать власти и ненавидящаго всякое устройство; что не отъ короля ихъ можетъ произойти та реакція, которою пугаетъ умы толпа злонамѣренныхъ крикуновъ, но что напротивъ, онъ одинъ можетъ обуздать враждебный бунтъ, препятствующій укорениться тому, чего со всѣми народами Германіи онъ въ глубинѣ души своей желалъ и такъ ревностно готовилъ, твердому свободному самостоятельному союзу германскихъ государей и народовъ; что ему съ полною довѣренностію надлежитъ передать исполненіе великаго дѣла, понеже его некрепняя любовь къ сему дѣлу несомнѣнна, понеже эта любовь не есть одинъ расчетъ политической мудрости, но въ то же время и страстное желаніе души, безкорыстной, истинно царской [то есть самоотверженной въ пользу общаго блага], вѣрующей, слѣдственно благоговѣющей передъ святынею того, чѣмъ возмутители такъ дерзко ругаются, пользуясь имъ для однихъ личныхъ своихъ видовъ; что, наконецъ, не грязнымъ крикунамъ площадей, не героямъ въ отрепьяхъ, не рыцарямъ клубовъ и сборищъ народныхъ, въ которыхъ проповѣдуется развратъ и безвѣріе и гдѣ систематическими образуется мятежъ противъ всякой власти, удастся построить святое зданіе государственнаго блага, а Богомъ данному королю, правнуку великихъ предковъ, рожденному, воспитанному, созрѣвшему въ высокихъ помышленіяхъ царскихъ, въ обширныхъ понятіяхъ государственныхъ, наслѣднику и продолжителю славы своихъ предшественниковъ и уже своею жизнію жертвовавшему за отечество и Германію. Однимъ словомъ, наступитъ минута, въ которую Пруссія

постигнетъ, что одинъ только Фридрихъ Вильгельмъ IV можетъ быть для нее установителемъ новаго порядка на твердыхъ фундаментахъ законности, возобновивъ все прежнее праведное, и утвердивъ все новое, необходимое, и что одинъ онъ можетъ отразить отъ нее ту реакцію, которою грозятъ ей возмутители, и которая [если оргія мятежа продолжится] наступитъ неизбѣжно сперва съ топоромъ анархіи, потомъ со штыками приликанаго ею военнаго деспотизма.

Скажу въ заключеніе: пускай теперь тѣ, которые желаютъ искренне свободы, основанной на вѣчной правдѣ, а не буйства, производящаго одинъ безпорядокъ, сравнятъ великолѣпный планъ всеобщаго преобразованія, начертанный Фридрихомъ Вильгельмомъ IV, съ тою чудовищною хартіею, которую бунтъ всеобщій вырвалъ изъ рукъ законной власти. Какая новая жизнь разлилась бы по всей Германіи, если бъ исполнились намѣренія монарха! и что вышло теперь изъ нечистой бездны бунта, вызванное оттуда вписаннымъ крикомъ французскаго мятежа, идущаго рука въ руку съ бѣшенымъ коммунизмомъ, за которымъ слѣдомъ бѣгутъ убійства, грабежъ, уничтоженіе общества, развратная одичалость, несравненно худшая, нежели первобытная неиспорченная дикость. Новый порядокъ, основанный на сохраненіи всего необходимаго, созданнаго вѣками, съ устраненіемъ всего обветшалаго и несовмѣстнаго съ нашимъ вѣкомъ, приготовленный просвѣщенною мыслію монарха, удовлетворилъ бы всѣмъ праведнымъ желаніямъ народовъ, они вступили бы въ новый союзъ путемъ закона, государи и подданные соединились подъ знаменемъ взаимной свободы, единство безъ всякаго потрясенія обхватило бы всю Германію крѣпкою неразрывною цѣпью, личная безопасность не была бы встревожена, достоинство монарховъ и въ немъ достоинство ихъ народовъ осталось бы неприкосновеннымъ, собственность не была бы предана [теперь мысленно, а скоро, можетъ быть, и на дѣлѣ] на расхищеніе, богатый бы остался при своемъ богатствѣ, а бѣдный къ этомъ чужомъ богатствѣ сохранилъ бы средство уменьшать работою собственную бѣдность и для него была бы надежда на лучшее въ будущемъ. Напротивъ, къ чему привело это чудовищное народное потрясеніе? Все или потрясено или разрушено, все, что было прежде истиною и правомъ, какъ будто ударомъ волшебнаго прута превратилось въ ложь и неправду, и наоборотъ: изъ того, что прежде называлось народомъ, то есть изъ соединенія всѣхъ состояній въ одно стройное тѣло [начиная съ вершины отъ правящаго монарха до основанія, до трудящагося земледѣльца и работника] вышелъ какой-то уродливый трупъ, у котораго обрублены голова и руки и остались только ноги, для того, чтобы все слѣпо топтать съ необузданнымъ бѣшенствомъ. Все бунтуетъ—и бунтуетъ не противъ злоупотребленія власти, а противъ самой ея сущности, противъ узды, налагаемой ею на разврат воли, на безуміе страстей, на безвѣріе; хотятъ не измѣненія и не преобразованія, а просто уничтоженія всякой границы, забывая, что свобода не есть самовольная власть надъ долгомъ въ повиновеніи страсти, а власть надъ страстью въ повиновеніи долгу; все бунтуетъ: чернь бунтуетъ противъ монарха и хочетъ сама быть монархомъ, не позволяя даже и Богу милостью своею раздавать власть земную, присяжный бунтуетъ противъ правосудія, и угождаетъ черни, оправдывая разбой и убійство, въ какомъ бы они видѣ ни являлись, въ мятежѣ ли фанатика, въ стихахъ ли поэта, бѣшено грызущаго руку, изъ которой прежде онъ принималъ произвольно благотвореніе, книгопечатаніе, органъ благородной мысли, бунтуетъ противъ здраваго смысла и истины, справедливости и чести, и обращаетъ священное человѣческое слово въ стилетъ убійцы или въ отраву разврата, проповѣдникъ Христа бунтуетъ противъ Его церкви и увлекаетъ въ безвѣріе другихъ, чтобы закрасить имъ свое отступничество,

гражданинъ бунтуетъ противъ солдата, хранящаго его жизнь и собственность, а когда ему самому придется защищать ихъ—причтется въ уголъ или поддастся подкупнымъ витязямъ баррикадъ, истиннымъ врагамъ его жизни и собственности, работникъ бунтуетъ противъ владѣльца, дающаго ему работу, и въ ожиданіи великаго событія, когда разбоемъ расхитятъ его богатство, а съ ними и собственныя средства добывать работою пропитаніе, привыкаетъ къ праздности, къ разврату, къ необузданности, къ безвѣрію; однимъ словомъ, кто теперь не бунтуетъ или не борется съ бунтомъ, кто теперь не разоренъ матеріально или нравственно, кто теперь не обѣднялъ или имуществомъ или безопасностію личною, кто не обѣднялъ уваженіемъ къ прошедшему, довѣренностію къ настоящему, надеждою на будущее? Можно ли желать, чтобы такое всеобщее землетрясеніе продолжилось, и можно ли называть реакціею его прекращенія, то есть вступленія въ тотъ новый порядокъ, который бы всюду распространился, когда бы исполнились намѣренія Фридриха Вильгельма IV.

О СТИХОТВОРЕНІИ: СВЯТАЯ РУСЬ.

[письмо кн. п. а. вяземскому].

23-го іюля. / 5-го августа. *Кронталь, близъ Содена.*

Благодарствую, мой милый Вяземскій, за твое коротенькое письмо и за донесеніе о томъ, что у васъ теперь происходитъ; это нѣсколько за васъ успокоило, хотя холерная туча все еще стоитъ надъ вашею головою. Но мнѣ на васъ почти завидно, вы окружены бѣдою, которая, выходя изъ Руки Всемогущей, выходя изъ природы, неповинной въ томъ злѣ, которое изъ нея истекаетъ, вселяетъ одинъ только ужасъ; вы дома, вы страждете въ своей семьѣ. А я на чужѣ, и вокругъ меня свирѣпствуетъ бѣда, производящая не одинъ благоговѣйный ужасъ предъ Властію Верховной, но и негодованіе противъ безумія и разврата человѣческаго. Какъ бы я былъ счастливъ, если бы уже теперь былъ дома; пускай бы тамъ холера нашла меня; по самому искать холеры, вмѣстѣ съ женою и дѣтьми, везти свою семью ей на встрѣчу и, можетъ быть, ей на жертву, на такую отвѣтственность не могу и не долженъ рѣшиться.

Между тѣмъ на бѣду мою надобно еще слышать и слушать вой этого всемірнаго вихря, составленнаго изъ разныхъ, безчисленныхъ криковъ человѣческаго безумія, вихря, который грозитъ все поставить вверхъ дномъ. Какой тифусъ взбѣсилъ всѣ народы и какой параличъ сбилъ съ ногъ всѣ правительства! Никакой человѣческій умъ не могъ бы признать возможнымъ того, что случилось и что, въ нѣсколько дней, съ такою демоническою, необоримою силою, опрокинуло созданное вѣками. Можно было слышать, и давно, давно это было слышно, что въ глубинѣ кратера, таившагося подъ слоями многихъ поколѣній, шевелилась скопляющаяся лава; и покой правительствъ, которыя лѣниво и упрямо спали на краю этого кратера, есть гибельная неосторожность, вполнѣ заслуживающая имя преступленія. Но подобнаго изверженія лавы придумать было невозможно. Шумомъ упадшаго французскаго трона пробуждается нѣсколько крикуновъ въ маленькой области Германскаго царства; нѣсколько профессоровъ, адвокатовъ, лѣкарей и марателей бумаги, никѣмъ не призванныхъ, никѣмъ не уполномоченныхъ, предводительствуя маленькою дружиною дерзкихъ журналистовъ, выходятъ въ бой противу всѣхъ законныхъ государей, окруженныхъ сильною арміею, и всѣ они разомъ, безъ боя, кладутъ оружіе и принимаютъ безусловно тѣ безсмысленные законы, которыми въ чаду своей силы [не дѣйствительной, а созданной внезапнымъ страхомъ ихъ противниковъ], наскоро, безъ всякой умѣренности, безъ малѣйшаго признанія права и правды, толпа анархистовъ уничтожаетъ всякій авторитетъ и всякую возможность порядка. Теперь

начинается что-то похожее на противудѣйствіе—но трудно повѣрить его успѣху. Слишкомъ, слишкомъ много разрушено.

Вяземскій! какъ тронули меня, при видѣ всего этого, столь болѣзненнаго и отвратительнаго, твои стихи: я не могъ читать ихъ безъ слезъ и не могу иначе перечитывать...

Твои стихи не поэзія, а чистая правда. Но что же поэзія, какъ не чистая высшая правда? Твои стихи правда потому, что въ нихъ просто, вѣрно, безъ всякой натяжки, выражается то, что глубоко живетъ въ душѣ, не подлежитъ произвольному умствованію, не требуетъ никакихъ доказательствъ разума, что живетъ въ душѣ вопреки всѣмъ софизмамъ отрицанія, вопреки даже самимъ противорѣчущимъ фактамъ, живетъ, какъ всякая Божія истина, не изъ ума человѣческаго исходящая, потому именно гордостію его отвергаемая, что она внѣ его существуетъ, потому именно и не отрицаемая, что не принадлежитъ къ области очевидности и не подвластна механической силѣ логическихъ доказательствъ. Твои стихи, поэтическій крикъ души, производятъ очаровательное дѣйствіе въ присутствіи чудовищныхъ происшествій нашего времени. *Святая Русь!* — Какое глубокое значеніе получаетъ это слово теперь, когда видимъ, какъ все кругомъ насъ валится, единственно отъ того, что оторвался отъ него этотъ общій знаменатель, къ которому нельзя уже теперь привести этихъ мелкихъ, разнородныхъ дробей, ничего цѣлаго не составляющихъ. Святое утрачено; крѣпкій цементъ, соединявшій такъ твердо камни вѣковаго зданія, по плану Промысла построеннаго, исчезъ мало по малу, уничтоженный ѣдкою дѣятельностію ума человѣческаго. Что воздвигнется и можетъ ли что воздвигнуться на этой грудѣ развалинъ—мы знать и предвидѣть не можемъ. Между тѣмъ наша звѣзда, Святая Русь, сіяетъ высоко, сіяетъ въ сторонѣ! Да сохранитъ ее Богъ отъ затменія собственнаго и отъ пагубственнаго увлеченія въ вихрь сосѣднихъ звѣздъ, готовыхъ разрушиться. Святая Русь—это слово ровесникъ христіанской Россіи. Оно дано ей, какъ говорятъ твои стихи, при ея крестинахъ, и никогда не потеряетъ своего глубокаго смысла, хотя и вошло въ разрядъ обыкновенностей (lieux communs). Скажу мимоходомъ, что я выше всего ставлю эти такъ называемыя обыкновенности: онѣ въ языкѣ и въ жизни то же, что воздухъ, невидимо насъ окружающій, безъ котораго ни дышать, ни жить невозможно. То, что вошло въ обыкновенность, принято всѣми, для всѣхъ неотрицаемо; оно потеряло свою новость отъ своей давности, но по тому самому и есть всеобщая необходимая истина. Оно пріобрѣтаетъ вдругъ характеръ какого-то откровенія, чудно выражающаго истину верховную — когда ему противоположится нѣчто, эту верховную истину отрицающее. Такъ и здѣсь: Святая Русь — какъ часто и давно это слово повторяется, какъ мы къ нему привыкли, какъ многіе употребляютъ его даже въ прическомъ смыслѣ—но сказанное теперь [въ противоположность тому, что въ нашихъ глазахъ повсемѣстно творится], не изумляетъ ли оно своею новостію и своею истиною? Не выражаетъ ли оно для насъ съ новою убѣдительностію, однимъ звукомъ всего, что въ теченіе вѣковъ сдѣлалось нашею вѣрою, любовію и надеждою? Не ясніе ли означается въ немъ этотъ особенный союзъ нашъ съ Богомъ, вслѣдствіе котораго отъ нашихъ праотцевъ перешло къ намъ и чудное имя его *Русской Богъ* [не *Россійскій Богъ*, какъ оканчиваетъ своего Димитрія Донскаго Озеровъ]. *Русской Богъ*,—*Святая Русь*, подобныхъ наименованій Бога и отечества, кажется, ни одинъ европейскій народъ не имѣетъ. Въ выраженіи *Святая Русь* — отзывается вся наша особенная исторія; это имя Россія ведетъ отъ Крещатика; но свое глубокое значеніе оно

пріобрѣло со временъ раздробленія на удѣлы, когда надъ разными подчиненными князьями былъ одинъ главный, великій, когда при великомъ княжествѣ было множество малыхъ, отъ него зависимыхъ, и когда это все соединилось въ одно, не въ Россію, а въ Русь, то есть не въ государство, а въ семейство, гдѣ у всѣхъ была одна отчизна, одна вѣра, одинъ языкъ, одинакія воспоминанія и преданія; вотъ отчего и въ самыхъ кровавыхъ междоусобіяхъ, когда еще не было Россіи, когда удѣльные князья безпрестанно дрались между собою за ея области, для всѣхъ была одна, живая, нераздѣльная Святая Русь. Всѣ имѣстѣ стояли за нее противъ нашествія и грабительства враговъ невѣрныхъ. Особенную же силу этому слову дали печальныя времена Мамая: тогда оно сдѣлалось для насъ соединительнымъ, отечественнымъ, боевымъ крикомъ; имъ утѣшала насъ наша церковь, его произносили князья наши, неся въ Орду свою голову за отечество, оно гремѣло на Куликовомъ полѣ; оно должно было получить удивительный смыслъ на устахъ Великаго Іоанна III, уничтожившаго рабство татарское и вдругъ явившагося самодержавнымъ обладателемъ *всея Россіи*. Съ того времени Россія стала государствомъ, особеннымъ достояніемъ царя, а Святая Русь осталась преданіемъ, совокупнымъ сокровищемъ царя и народа. Тамъ наше могущество, наши многообъемлющія грани, наше государственное достоинство; здѣсь наша память о жизни праотцевъ, наша народная внутренняя жизнь, наша вѣра, нашъ языкъ, все, что собственно наше русское, что никому, кромѣ насъ, принадлежать не можетъ, что нигдѣ, кромѣ Русской земли, не встрѣтится, чего никто, кромѣ русскаго человѣка, и понять не можетъ. *Россія* принадлежитъ къ составу государствъ Европы; *Святая Русь* есть отдѣльная, наслѣдственная собственность русскаго народа, упроченная ему Богомъ. *Вся святость* этой Руси и весь чудный характеръ народа русскаго [къ которомъ такой свѣтлый разсудокъ соединяется съ такою твердою, спокойною, никакимъ вдохновеніемъ не воспламеняемою самоотверженностію] особенно выразились въ ту минуту, когда бояре московскіе пришли къ Іоанну IV умолять его казнить ихъ, какъ будетъ на то его воля, но только не покидать престола русскаго. [Событіе удивительное, въ которомъ ясно означается, что правильныя понятія политическія, безъ всякаго философическаго умствованія постигнутыя здравымъ русскимъ умомъ, прямо истекаютъ изъ того источника, изъ котораго всякая истина истекаетъ, изъ христіанства, которое, несмотря на потрясеніе, претерпѣнное имъ въ наше время, возьметъ напослѣдокъ свое и сдѣлается альфою и омегою всякой правды]. Другое слово нашего народа: *Русской Богъ*, имѣетъ такое же глубокое, историческое значеніе. Подобныя слова не случайно входятъ въ употребленіе, они суть памятники, итоги вѣковой жизни народа. Слово *Русской Богъ* выражаетъ не одну вѣру въ Бога, но еще какое-то особенное народное преданіе о Богѣ, давнишнемъ сподвижникѣ Руси, видѣнномъ нашими праотцами во всѣ времена ихъ жизни, и счастливыя и бѣдственныя, и славныя и темныя; въ этомъ словѣ наше бодрое, безпечное *авось* соединяется съ крѣпкою надеждою на высшее Провидѣніе; *Русской Богъ* есть то же въ отношеніи къ вѣрѣ въ Бога, что *Святая Русь* въ отношеніи къ Россіи. Этотъ «Русской Богъ» есть удивительное созданіе нашего ума народнаго; понятіе о Немъ, отдѣльно существующее при вѣрѣ въ Бога христіанскаго, истекающей изъ божественнаго откровенія, присоединено къ ней, будучи выведено русскимъ народомъ изъ откровенія, въ его исторіи заключающагося, понятіе о Богѣ ощутительномъ, на опытѣ доказанномъ, повсемѣстно, безъ всякаго проповѣданія признаннномъ, понятіе, однимъ только русскимъ народомъ

пренесенное. Смѣшно сказать: Англійскій, Французскій, Нѣмецкій Богъ; но при словѣ *Русской Богъ* — душа благоговѣетъ: это Богъ нашей народной жизни, въ которомъ, такъ сказать, для насъ олицетворяется вѣра въ Бога души нашей, это образъ Небеснаго Спасителя, видимо отразившійся въ земной судьбѣ нашего народа.

Россія шла своимъ особеннымъ путемъ, и этотъ путь не измѣнился съ самаго начала ея исторической жизни, несмотря на безпорядки, происшедшіе отъ раздробленія на удѣлы, которое наконецъ произвело и долгое татарское иго. Двѣ главныя силы, исходящія изъ одного источника, властвовали и властвуютъ ея судьбою; онѣ навсегда сохранятъ ея самобытность, если, оставшись неизмѣнными въ своей сущности, будутъ слѣдовать за историческимъ, необходимымъ ея развитіемъ, будутъ его направлять и могущественно имъ владычествовать. Эти двѣ силы суть церковь и самодержавіе: одной, то есть самодержавію, принадлежитъ земной порядокъ и благодѣтствіе общественное, имъ охраняемое; другой, то есть церкви, принадлежитъ дополненіе земнаго благодѣтствія высшими благами иного порядка, дающими земному его истинное значеніе и возможную прочность.

Оглянувшись на западъ теперешней Европы, что увидимъ?.. Дерзкое непризнаніе участія Всевышней Власти въ дѣлахъ человѣческихъ выражается во всемъ, что теперь происходитъ въ собраніяхъ народныхъ. Эгоизмъ и мертвая матеріальность царствуютъ. Чего тутъ ожидать живаго? Какое человѣческое благо можетъ быть построено на такомъ фундаментѣ?.. У насъ — цѣлы тѣ главные, основные элементы, которыми держится бытіе государствъ христіанскихъ. Наша церковь не измѣнилась: реформація не дерзнула коснуться ея святыни; а неизмѣняемость церкви сберегла и упрочила неизмѣняемость власти державной, которая, несмотря на всѣ волненія государственныя, осталась непотрясенною въ своемъ основаніи, то есть въ понятіи о божественности ея происхожденія и въ исторической ея законности. Русскій народъ, въ которомъ никакой произволъ мятежнаго умствованія не поколебалъ вѣры въ непреложность церкви, остался равномѣрно вѣренъ и власти державной, проповѣдуемой церковію. Въ его исторіи мы видимъ перемѣны властителей, но власть и уваженіе къ ней во всякое время оставались неизмѣнными; бывали мятежи народные, но никогда не бывало провозглашаемо право мятежа, которое такъ же существовать не можетъ, какъ и право притѣсненія: ибо когда народное возстаніе опрокидываетъ законную власть, но зло употребленную, то это не есть выраженіе существующаго права — это просто событіе, неизбѣжное слѣдствіе другаго событія, неправда, рожденная неправдою, — то же, что отзывъ, естественно произведенный звукомъ. Мы видимъ, что отъ Рюрика до смерти Ѳеодора Іоанновича одинъ и тотъ же домъ царствуетъ — сквозь всѣ вѣка протянута одна непрерывная цѣпь наслѣдственной власти, непрерывная во времена междоусобій, во времена татарскаго ига и пресѣченная на короткое время въ періодѣ отъ Годунова до Романовыхъ только для того, чтобы крѣпче соединить свои звенья въ ту минуту, когда весь русскій народъ, основываясь на вѣрѣ и обычаяхъ праотцевъ и на ученіи евангельскомъ, провозгласилъ самодержавіе на выборѣ московскомъ. Это самодержавіе перешло въ руки Романовыхъ такимъ, какое оно было до ихъ избранія. Оно и теперь то же самое въ своей сущности: завѣтъ намъ отъ всего нашего минувшаго, богатство, собранное нами въ теченіе вѣковъ на дорогѣ, по которой вело насъ Провидѣніе. Съ другой стороны, надобно сказать, что если въ образованной Европѣ вѣра изъ святое истратилась отъ расточительныхъ злоупотребленій ума, то въ Россіи она сохранилась въ своей неприкосновенности, частію и отъ ея бездѣй-

ственнаго неупотребленія, такъ что на западѣ Европы существуетъ цивилизація, но добрыя начала уничтожены; а у насъ сохранены добрыя начала, но собственной цивилизаціи, изъ ихъ развитія исходящей, еще не существуетъ, а есть только ея призракъ, ея намъ чуждая, заимственная форма, которая можетъ наконецъ повредить и добрымъ началамъ. Вопросъ: что возможнѣе?—ввести ли снова въ цивилизацію уничтоженныя добрыя начала, или на существующихъ добрыхъ началахъ пересоздать чужую цивилизацію въ собственную? Думаю, послѣднее. Первое можно сравнить съ развратнымъ, состарѣвшимся, разслабленнымъ богачомъ, который доживаетъ послѣднее свое достояніе и ничего не оставитъ наслѣдникамъ, кромѣ своего мертваго трупа; послѣднее—съ молодымъ, еще неоглядѣвшимся недорослемъ, владѣльцемъ великаго богатства, котораго онъ еще употреблять не научился, но которое еще не растрачено и можетъ, увеличенное, перейти въ руки его наслѣдниковъ. Итакъ, чтобы предохранить цивилизацію Европы отъ ниспаденія въ варварство, надлежитъ возвратить ее къ началамъ, ею утраченнымъ. Чтобы дать самобытную цивилизацію Россіи, должно развить сіи добрыя начала, сохранившія всю чистоту свою, но еще не вполнѣ въ смыслѣ своемъ употребленныя. Сіи начала для Россіи суть: церковь и самодержавіе. Подъ развитіемъ церкви разумѣется болѣе дѣятельное введеніе ея ученія въ умственную и практическую жизнь истиннымъ христіанскимъ образованіемъ, оградивъ его отъ всякаго самовольнаго лжемудрія, образованіемъ, которое у насъ до сихъ поръ слишкомъ ограничено было однимъ формами. Подъ развитіемъ самодержавія разумѣется твердѣйшее укорененіе и распространеніе его патріархальнаго могущества, котораго источникъ и правило есть верховная Божія правда, но которое, съ своей стороны, должно болѣе и болѣе опредѣлить и утвердить *законность—съ одной стороны* въ дѣйствіяхъ исполнителей власти, съ другой въ общихъ о ней понятіяхъ народа, законность, которая хранитъ права, неотъемлемо всѣмъ и каждому принадлежащія и державною властію одинъ разъ навсегда утвержденныя, и которая, истекая изъ самой власти, ее не ограничиваетъ, а болѣе и болѣе упрочиваетъ посредствомъ указанія необходимыхъ вѣрныхъ путей ея дѣйствія.

ДВѢ СЦЕНЫ ИЗЪ ФАУСТА.

I.

Въ той сценѣ, которая предшествуетъ явленію Мефистофеля, то есть за минуту передъ тѣмъ, какъ овладѣла имъ враждебная сила, Фаустъ переводитъ изъ св. писанія I главу Іоанна. Онъ хочетъ поправить и выразить по своему мысль евангелиста, и такою гордостію становится доступенъ губительному искушенію. Недовольный выраженіемъ: въ началѣ было слово, онъ сперва пишетъ: въ началѣ была мысль [Sinn]—потомъ: въ началѣ была сила [Kraft]—отвергаетъ и то, и другое, и наконецъ останавливается на выраженіи: въ началѣ было дѣло [That], которое кажется ему болѣе точнымъ, нежели Іоанново, но которое столь же достойно отверженія, какъ и оба первыя.

Никакой человѣческій умъ не придумаетъ ничего выше и всеобъятнѣе этого дивнаго евангельскаго «слова»; съ нимъ на ряду можно поставить только то, которое слышалъ Моисей изъ пламенной купины: азъ есмь сый. Въ семъ послѣднемъ изображенъ Богъ безъ всякаго отношенія къ созданію; въ словѣ евангелиста изображенъ Богъ-Создатель во времени и вѣчности. Выраженіе слово [logos] разомъ объемлетъ то и другое.

Но здѣсь подъ словомъ разумѣется не одно опредѣленное, языкомъ произносимое и слухомъ принимаемое слово; но слово вообще, то есть и слово—духовное тѣло мысли, вмѣстѣ съ мыслію въ минуту ея рожденія создающееся въ душѣ

нашей, и слово—матеріальная одежда этого духовнаго тѣла, звукъ, его выражающій. По крайней мѣрѣ оно такъ въ отношеніи къ человѣку. Слово человѣческое рождается вмѣстѣ съ мыслію, мало по малу развивается, пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе опредѣленную духовную форму, и наконецъ, чтобы перейти въ дѣйствіе внѣшнее, въ сообщеніе, изъ духовнаго образа переоблачается въ образъ матеріальный, въ звукъ; во всемъ этомъ есть опредѣленный ходъ: здѣсь есть начало, развитіе, постепенность; здѣсь виденъ характеръ ограниченнаго, временнаго, человѣческаго. Слово Божіе, напротивъ, есть Богъ—и Богъ, какъ творецъ, и Богъ, какъ твореніе, отъ вѣка бывшее въ Богѣ и съ Богомъ, изъ воли его истекшее и въ немъ заключенное, но съ нимъ несліянное и съ нимъ не тождественное, имѣвшее начало, ибо оно твореніе, и безначальное, ибо оно есть непосредственное Божіе твореніе, а Богъ дѣйствуетъ въ вѣчности, въ которой было, есть и будетъ—одно и тоже. Неудачная попытка Фауста исправить евангельское выраженіе служитъ только къ тому, чтобы показать, сколь оно всеобъятно. Каждое изъ выраженій, употребленныхъ Фаустомъ: мысль, сила, дѣло, заключаетъ въ себѣ только часть того, что вполнѣ и совокупно заключается въ выраженіи евангельскомъ: слово. Для всякаго творенія нужны: мысль [намѣреніе, планъ и начало], сила [возможность и средство], дѣло [совершеніе и конецъ]; по крайней мѣрѣ таковъ ходъ всякаго человѣческаго творенія. Въ твореніи Божіемъ нѣтъ этой постепенности: его мысль есть уже и средство и дѣло, и все это онъ самъ; и все это совокупно заключается въ выраженіи евангелиста: слово, въ которомъ три понятія: мысль, форма мысли и выраженіе мысли соединяются въ одно. Слово [въ смыслѣ Іоанна] принадлежитъ только Богу; человѣку оно недоступно; онъ только имѣетъ слова, которыя суть *не иное что, какъ* атомы всеобъемлющаго Божія слова. Изъ сего слѣдуетъ, что слово Божіе—самъ Богъ и его истина—не можетъ быть выражено словами человѣческими, такъ же, какъ цѣлое зданіе не можетъ быть заключено въ пылинкѣ, взятой изъ его мелкаго обломка, хотя пылинка сія принадлежитъ къ его составу; всѣ наши слова, то есть всѣ наши невыраженныя и выраженныя, отдѣльныя и взятыя въ совокупности мысли, суть только отрывки чего-то цѣлаго; сколь бы ни была велика ихъ цѣпь и что бы она ни обнимала, все она будетъ одинъ отрывокъ, ни къ чему не принадлежащій, если первое звено ея не прикрѣпится къ вѣчному, все выражающему слову, къ Богу. Въ семъ послѣднемъ случаѣ она уже не будетъ имѣть этого характера отрывочности; она будетъ прямымъ радіусомъ, исходящимъ изъ средоточія того круга, котораго центръ, по словамъ Паскаля, вездѣ, а окружность нигдѣ.

Слово Паскаля имѣетъ необъятное значеніе: этотъ центръ, который вездѣ, неуловимый нашимъ умственнымъ зрѣніемъ, но все наполняющій, всюду самобытно присутственный и живой, это средоточіе, изъ котораго выходятъ всѣ радіусы къ этой окружности, нигдѣ не существующей и представляющей относительно къ Богу всеобъемлемость, а относительно къ человѣку границу, безъ которой мы въ своей ограниченности ничего постигнуть не можемъ—не заключается ли во всемъ этомъ какого-то чуднаго, гіероглифическаго образа, въ которомъ намъ таинственно и очевидно выражается и существо Бога [вѣчнаго слова] и отношеніе къ нему разума человѣческаго? Главное и рѣшительное въ дѣйствіяхъ нашего разума есть цунктъ отбытія [point de départ]. Прикрѣпи первое звено твое умственной цѣпи къ центру—она, потерявъ характеръ отрывочности и сдѣлавшись радіусомъ, то есть линіею, ведущею прямо къ окружности, пріобрѣтетъ по свойству радіуса и его прямизну, его неуклончивость ни направо, ни на-

лѣво, его направленіе къ одному вѣрному пункту. Напротивъ, начни цѣпь своихъ умствованій не изъ центра—она по натурѣ своей будетъ безъ направленія, и необходимо должна получить или косность или ломкость или кривизну, которыя составляютъ характеръ всякой линіи, между центромъ и окружностію проведенной, но не изъ центра исходящей. Начиная не изъ центра, мы на каждомъ шагу должны сбиваться съ пути, ибо, не имѣя передъ собою опредѣленной точки, не имѣемъ и никакого стремленія, идемъ наугадъ и ни къ чему дойти не можемъ—заблужденіе. Начиная, напротивъ, изъ центра, мы, при необходимомъ движеніи впередъ по прямому радіусу, должны становиться на каждомъ пунктѣ его ближе къ окружности, и хотя эта окружность для насъ недостижима, но стремленіе къ ней въ насъ существуетъ: и вслѣдствіе этого стремленія, при каждомъ шагѣ впередъ, мы сами въ себѣ становимся къ ней приближеніе—истина *). Это стремленіе по опредѣленной линіи къ границѣ неопредѣленной есть наша жизнь во времени. Ибо что есть время? Невидимая математическая линія, между двумя безднами идущая, между безначальностію и безконечностію; гдѣ останавливается стремленіе земной нашей жизни по этой линіи, тамъ исчезаетъ и сама путеводная линія; и двѣ бездны, ею разграниченныя, сливаются въ одну, въ оное непостижимое, неизглаголанное все, заключенное между нездѣшнимъ центромъ и нигдѣ не существующею окружностью, и котораго имя: Божія вѣчность.

*) Можетъ быть сдѣланъ вопросъ: если этотъ центръ нездѣ, то откуда бы ни начиналась наша умственная цѣпь, она все будетъ начинаться изъ центра, слѣдственно заблужденіе невозможно? Это справедливо, но только въ отношеніи къ Богу: Онъ вездѣ, а гдѣ Онъ, тамъ истина. Напротивъ, въ отношеніи къ человѣку этотъ центръ, вездѣ существующій самъ по себѣ, можетъ существовать для человѣка, только тамъ, гдѣ откровеніе укажетъ его вѣрѣ, и гдѣ, вслѣдствіе этого указанія, разумъ прикрѣпитъ къ нему первое звено своихъ умствованій. Это прикрѣпленіе не есть механическое, необходимое, несознательное—оно есть дѣйствіе человѣческой воли, свободно принимающей откровеніе, вслѣдствіе чего и всѣ прочія звенья должны сами собою изъ перваго въ смыслѣ его извиваться. *Примѣчаніе къ тексту.*

II.

Извѣстны рисунки, сдѣланные Корнеліусомъ и Ретемъ для Гетева Фауста. Ретъ строго держался истины: онъ удовлетворительно изобразилъ для глазъ то, что мы видимъ воображеніемъ, читая Фауста; въ его композиціи много разнообразія и живости; въ его сценахъ демоновъ и вѣдьмъ много фантазіи—но онъ не переходитъ за границу простой истины; въ этомъ отношеніи онъ долженъ уступить Корнеліусу, въ рисункахъ котораго есть высшая, идеальная истина, есть величавая значительность, составляющая характеръ среднихъ вѣковъ, къ которымъ принадлежитъ лицо Фауста; они сначала покажутся не столь привлекательны, какъ рисунки Рета, но когда къ нихъ прилежное всмотришься, то найдешь, что между ими и первыми такая же разница, какая между огромнымъ, бронзовымъ рыцаремъ, лежащимъ на гробницѣ съ сложенными на молитву руками, работы старинаго нѣмецкаго скульптора, и мраморною, со вкусомъ отдѣланною статуйкою того же рыцаря, легкой работы геніальнаго французскаго художника временъ новѣйшихъ.

Но здѣсь дѣло идетъ не о сравненіи Корнеліуса и Рета, а о томъ, что они оба, изображая одну и ту же сцену изъ Фауста, сдѣлали одну и ту же ошибку.

Вотъ эта сцена: ночь; Фаустъ и Мефистофель скачутъ на черныхъ коняхъ мимо лобнаго мѣста, на которомъ съ наступленіемъ утра должна быть казнена Маргарита. Тамъ передъ глазами Фауста совершается видѣніе; онъ спрашиваетъ у спутника:

«Что это? Зачѣмъ собрались они у висѣлицы?»

— Кто ихъ знаетъ, что они стряпаютъ!

«Взлетаютъ, слетаютъ, наклоняются, простираются.»

— Дрянь! ночная сволочь!

«Какъ будто готовятъ мѣсто, какъ будто его освящаютъ...»

— Мимо! мимо!

Весьма трудно сохранить въ переводѣ краткость и таинственную выразительность оригинала. Но какъ же Корнеліусъ и Речъ перевели языкъ поэта на языкъ живописи? У Реча [которому здѣсь надобно отдать преимущество передъ Корнеліусомъ] Фаустъ глядитъ изумленными глазами на мѣсто казни и хочетъ удержать бѣшенаго коня своего; Мефистофель съ пренебреженіемъ къ происходящему и какъ будто внутренно насмѣхаясь надъ своимъ сопутникомъ, безпечно покачивается на своемъ конѣ, бѣгущемъ во всю прыть. То же самое у Корнеліуса, у котораго однако въ изображеніи скачущихъ есть что-то вынскапное и преувеличенное. Но и Речъ и Корнеліусъ, оба равно ошибочно поняли таинственное видѣніе, о которомъ поэтъ только намекнулъ, оставивъ воображенію читателя дополнить начатую картину; воображеніе живописцевъ не угадало мысли поэта. И тотъ и другой собрали къ лобному мѣсту ту сволочь, о которой говоритъ Фаусту въ отвѣтѣ своемъ Мефистофель: мертвецы въ саванахъ, скелеты съ головами и безъ головъ бѣгаютъ, летаютъ, пляшутъ около эшафота, на которомъ [въ рисункѣ Реча] совершается призракъ казни: скелетъ держитъ въ рукѣ отрубленную голову женщины, другіе скелеты играютъ черепомъ ребенка, и тому подобное. Такая ли мысль поэта? И то ли думаетъ Мефистофель, называя ночною сволочью тѣхъ, которые видятся Фаусту? Нѣтъ! Это не сволочь, не демоны тьмы, а ангелы свѣта; Мефистофель ихъ знаетъ, и онъ трепещетъ; онъ силится скрыть свою робость подъ тѣмъ ругательнымъ именемъ, которое даетъ имъ; онъ кричитъ Фаусту: мимо! мимо!

Если бы кругомъ лобнаго мѣста поэтъ *полнило собралъ* адскую сволочь, то его сцена не имѣла бы никакого смысла— она была бы одно поэтическое украшеніе, ничего къ главному не прибавляющее. Зачѣмъ пугать Фауста новымъ адскимъ видѣніемъ, когда онъ уже довольно насмотрѣлся всякихъ ужасовъ, и смѣшныхъ и въ трепетъ приводящихъ, на сходбищѣ вѣдьмъ, гдѣ между прочимъ и блѣдный образъ Маргариты съ кровавымъ рубцомъ вокругъ шеи довольно ясно предсказалъ ему то, что будетъ? Но за чѣмъ же ангелы собраны къ лобному мѣсту? Это понятно: въ маленькой сценѣ своей Гёте мимоходомъ разгадалъ главную загадку первой части Фауста—торжество смиренія и покаянія надъ силою ада и надъ богоотступною гордостію человѣческою. Чистые ангелы своими руками уготовляютъ и святятъ то мѣсто, на которомъ слѣпое человѣческое правосудіе удовлетворитъ земной правдѣ, казнивъ преступное дѣло человѣка, а Божіе всевидящее правосудіе совершитъ правду небесную, принявши въ лоно милосердія покаяніе души человѣческой. Гдѣ человѣкъ будетъ скорбѣть и трепетать, тамъ ангелъ будетъ веселиться; гдѣ будетъ передъ глазами человѣка ужасъ безпощадной казни, тамъ будетъ торжество примиренія передъ глазами ангела, и съ нимъ вмѣстѣ восторжествуетъ все небо, въ жилищахъ котораго однимъ кающимся грѣшникомъ радуются болѣе, нежели десятью непискушенными праведниками. Въ ту минуту, когда губитель мчитъ за собою Фауста къ темницѣ Маргариты, уповая, что онъ, обольстивъ душу ея земнымъ спасеніемъ, отыметъ у нея спасеніе небесное, ангелы пророческимъ видѣніемъ, приводящимъ въ ужасъ самого демона, хотятъ остеречь погибающаго; но, увлеченный адскою силою, онъ мчится мимо, и только тогда становится ему понятно имъ видѣнное, когда онъ, насильно уведенный демономъ изъ темницы, слышитъ за собою напрасное призываніе Маргариты, произвольно себя предавшей суду небесному. Она погибла! восклицаетъ губитель... Она спасена! отвѣтствуютъ съ высоты... За

иной! кричитъ Фаусту испуганный демонъ... Генрихъ! Генрихъ! зоветъ изъ тюрьмы умоляющій голосъ.

О ВНУТРЕННЕЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЖИЗНИ.

Случайно попалась мнѣ въ руки маленькая книжка: *Das verborgene Leben mit Christo im Gott* [О тайной жизни съ Христомъ въ Богѣ], извлеченная изъ сочиненій Берньѐра Лувиньи. Я прочиталъ ее съ великимъ наслажденіемъ, и бросилъ на бумагу нѣсколько мыслей, возбужденныхъ ея содержаніемъ. Сообщая читателю эти мысли въ томъ порядкѣ, въ которомъ онѣ мнѣ при чтеніи приходили въ голову, нахожу нужнымъ сказать прежде нѣсколько словъ о самомъ Лувиньи. Слѣдующее есть краткая выписка изъ предисловія къ упомянутой книжкѣ.

Жанъ Берньѐръ Лувиньи, французской дворянинъ древней нормандской фамиліи, жилъ въ XVII ст. Знаменитость его рода, его добрыя свойства, его пріятность въ обращеніи съ людьми, его умъ открыли ему весьма рано дорогу къ почестямъ и къ уваженію общества. Но въ самое то время, когда онъ быстро преслѣдовалъ славу земную, былъ онъ настигнутъ на дорогѣ своей Богомъ: просвѣщенный благодатію, онъ отвратился отъ ненадежнаго земнаго счастья, и предалъ себя нераздѣлимо въ руки своего Создателя. Онъ слѣдовалъ постоянно и безъ оглядки сему призванію свыше, и до своего 57-лѣтняго возраста велъ удаленную отъ міра, святую жизнь. Его сочиненія [изданныя послѣ его смерти] свидѣтельствуютъ о его внутренней жизни предъ Богомъ, о свѣтѣ и опытности его на дорогѣ внутренняго христіанства. Онъ самъ описалъ свою жизнь; но это сочиненіе не было напечатано. О внѣшнихъ его дѣйствіяхъ извѣстно только то, что онъ щедро дѣлился свѣтскимъ добромъ своимъ съ неимущими свѣтскими братьями, *и что во всякое время* готовъ былъ подавать *имъ помощь* матеріальную и духовную. Богъ избралъ его орудіемъ для привлеченія многихъ на стезю внутренней жизни. Но вообще онъ любилъ уединеніе, чуждался общества людей, особливо людей, отчуждившихъ себя отъ Бога, и посѣщалъ ихъ по одной только необходимости. Объ немъ говорили, что онъ никогда не выходилъ изъ кабинета души своей, даже и въ обращеніи съ людьми, съ которыми нерѣдко долженъ былъ принимать участіе въ дѣлахъ, требовавшихъ напряженія всѣхъ умственныхъ его способностей.

Ученый епископъ Гюэ, жившій въ Казнѣ по сосѣдству съ нашимъ авторомъ, говоритъ о немъ слѣдующее. «Сложивъ съ себя званіе королевскаго собирателя доходовъ, онъ выбралъ для житья своего въ городѣ самое уединенное, самое далекое отъ шума человѣческаго мѣсто; тамъ онъ имѣлъ сообщеніе съ весьма немногими сходными съ нимъ въ образѣ мыслей друзьями. Онъ вполнѣ посвятилъ себя служенію Богу: благотворилъ бѣднымъ и старался всѣми средствами приносить человѣчеству пользу. Трудно опредѣлить, до какой обширности онъ распространилъ на землѣ царство Божіе примѣромъ добрыхъ дѣлъ и постоянствомъ богоугодной своей жизни. Я былъ его близкимъ сосѣдомъ, видѣлъ своими глазами всѣ его дѣйствія, и меня воспламенило сильное желаніе подражать ему. Но пылкость молодости, обольщенія свѣта и суетное честолюбіе воспрепятствовали мнѣ покориться Богу, столь благостно меня призывавшему.»

Многіе изъ ученыхъ современниковъ Лувиньи свидѣтельствовали о немъ и о сочиненіяхъ его съ великою похвалою. Аббатъ Бодранъ называетъ его великимъ, на пути внутренней жизни просвѣщеннымъ служителемъ Божіимъ.

Онъ умеръ 3 маія 1659 года на 57 году своей жизни. Смерть его была блаженная, сладостная смерть праведника, спокойный исходъ души изъ тѣла для соединенія своего въ жизни возвышеннѣйшей съ Богомъ. Это случилось, когда отъ совер-

шалъ свою вечернюю молитву. Онъ не былъ боленъ прежде, не имѣлъ никакого болѣзненнаго ощущенія и въ ту минуту, когда началъ свою молитву. Его камердинеръ, видя, что онъ долѣе обыкновеннаго не зоветъ его къ себѣ, вошелъ къ нему самъ и сказалъ: пора ложиться въ постелю, нашъ часъ давно прошелъ. Но добродушный Лувиньи съ своею всегдашнею ласковостью попросилъ его подождать еще нѣсколько времени. Камердинеръ вышелъ. Спустя четверть часа онъ возвращается и видитъ, что господинъ его стоитъ на колѣнахъ и молится— хочетъ начать съ нимъ говорить, но скоро узнаетъ, что душа его отошла. Такъ онъ въ одну блаженную минуту пересталъ умирать и началъ жить; тѣлесныя узы, которыя могли бы еще долго препятствовать ему перейти къ Отцу Небесному, были тихо разрѣшены въ сладостномъ объятіи Божіемъ, и плодъ, созрѣвшій для вѣчности, безъ потрясенія палъ въ отверстую для принятія его руку Божію.

Но святость жизни не спасла его отъ сатанинскаго гоненія враговъ Христовой церкви; онъ много претерпѣлъ посрамленія, презрѣнія и хулы.

Его сочиненія были собраны послѣ его смерти большею частію изъ его писемъ. Главное содержаніе ихъ есть внутреннее и внѣшнее согласованіе жизни нашей съ Іисусомъ Христомъ, особенно въ любви къ бѣдности, къ презрѣнію и къ страданію — согласованіе, производимое посредствомъ тѣснаго съ нимъ соединенія, постоянною духовною молитвою, младенческимъ поведеніемъ въ присутствіи Бога. Онъ писалъ отъ сердца, и слова его проникаютъ прямо въ сердце. Книги его были такъ любимы и такъ жадно читаемы въ то время всѣми, что одна изъ нихъ имѣла 12 изданій въ одинъ годъ и ея раскуплено было болѣе 30.000 экземпляровъ. Другое его сочиненіе имѣло до двадцати изданій. Можно надѣяться, что и въ наше время найдутся сердца, доступныя такому чтенію; тѣ же, для которыхъ оно не будетъ привлекательно, не должны по крайней мѣрѣ возбранять другимъ любить его, не должны порочить того, что имъ самимъ недоступно.

Блаженна душа, способная глубоко чувствовать, слѣдовательно способная любить и жертвовать своимъ любимымъ предмету любви верховной, способная предаваться ему и быть имъ преисполнена. Блаженна душа, способная глубоко мыслить и слѣдовательно постигать величіе Создателя и ничтожность созданія, и въ семъ постиженіи почерпать смиреніе. Итогъ сихъ двухъ верховныхъ блаженствъ мысли и чувства есть уничтоженіе своей воли предъ волею Божіею. Но что, если душа лишена и того и другаго блаженства, и если въ то же время она, вполнѣ ощущая свою нищету, знаетъ однако, въ чемъ состоитъ верховное благо, и, зная это, равномѣрно знаетъ, что это благо ей недоступно, что тогда? Тогда остается ей одно: принять, какъ крестъ, изъ рукъ Господнихъ сію ничтожность, сію внутреннюю, изъ нея самой истекающую бѣдность, съ такимъ же смиреніемъ, съ какимъ бы она приняла всякое внѣшнее, изъ воли Божіей непосредственно истекающее бѣдствіе, быть вѣрною смиренію и любви — безъ всякаго ощущенія ихъ блаженства или даже вопреки сему врожденному неощущенію. Одного душа не позволяй себѣ: ропота и отрицанія. Это бѣдствіе не отъ Бога. Все прочее есть имъ даруемый крестъ. Вѣнецъ терновый — все вѣнецъ, то есть цѣна и знакъ побѣды.

Умѣть во всякое время, во всѣхъ обстоятельствахъ жизни произносить смиренно: да будетъ Твоя воля, есть верховная наука жизни. Блаженъ, кто произноситъ это слово съ глубоко чувствуемымъ убѣжденіемъ, что Тотъ, къ Кому онъ его обращаетъ, соприсутственъ, близко, слышитъ и отвѣтствуетъ. Но и для того, кто не имѣетъ благодати такого чувства, великое утѣшеніе, по крайней мѣрѣ ве-

ликая душевная опора, заключается въ самомъ смыслѣ этого слова. Никому не дано постигнуть цѣли нашихъ земныхъ страданій; но каждый можетъ постигнуть, что они отъ Бога, который всемогущъ, слѣдственно источникъ одного только блага. Наше дѣло только въ знаніи, что все—его воля и есть благо. Понимать ее мы не можемъ, и не должны заботиться о невозможномъ. Принимать ее безъ толкованія и ропота, съ смиреніемъ и обожаніемъ — вотъ наше единое на потребу. Въ чемъ же бы состояла и покорность, если бы мы могли дать себѣ отчетъ въ тѣхъ причинахъ, которыя опредѣляютъ ее, и если бы могли постигнуть ясно судьбы неисповѣдимыя? Мы должны покоряться Богу потому, что онъ Богъ; а какъ покоряться ему, тому научилъ онъ самъ примѣромъ Христа, спасительнымъ его страданіемъ и смиреніемъ.

Мы отъ того впадаемъ въ сомнѣнія и въ невѣріе, что хотимъ обнять все и постигнуть всеобщій порядокъ. Тотъ, кому дано наукою разсмотрѣть частицу этого порядка, болѣе другихъ подверженъ опасности впасть въ безвѣріе, ибо онъ свою частицу принимаетъ за цѣлое, и ею это цѣлое измѣряетъ. Ему труднѣе другихъ сказать: да будетъ Твоя воля.

Одно вѣрно: Богъ существуетъ; все сотворилъ и всѣмъ управляетъ; все, что отъ Него происходитъ, есть благо, слѣдственно и все, происходящее съ нами, происходя отъ Бога, должно быть благо, и благо не потому, что мы такимъ его признаемъ, а потому оно отъ Бога. Слѣдственно—покорность безъ разбора, умствованія и ропота.

Богъ не можетъ посылать человѣку страданій только для того, чтобъ душа его страдала. Но сколько однако такихъ страданій, которыхъ мы цѣли понимать не можемъ! На что въ такомъ случаѣ *опереться? На мысль о Богѣ. Страданіе отъ Него, слѣдовательно даръ* Божій, — слѣдовательно благо. «Да не смущается сердце ваше; вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте».

Искупленіе даровало намъ возможность постигнуть Бога человѣческимъ образомъ и снова вступить съ Нимъ въ союзъ первобытный. Безъ вѣры во Христа невозможна живая вѣра въ Бога. И философическія и всѣ идолопоклонническія религіи доказываютъ только одно: необходимость воплощенія. Философическая религія доказываетъ сію необходимость невозможностію полнаго убѣжденія умственнаго, а религіи идолопоклонническія доказываютъ ее необходимостію образа человѣческаго божеству, дабы оно было постигаемо нами, какъ присутствующее, намъ содѣйствующее, насъ любящее и требующее любви нашей.

Достоинство человѣка единственно въ его смиреніи предъ Богомъ и въ его стремленіи къ Богу. Такое достоинство можетъ имѣть только христіанинъ, понеже онъ одинъ имѣетъ вѣру въ откровеннаго Бога. Вѣры въ Бога, созданнаго нашимъ умомъ, мы имѣть не можемъ: эта вѣра не имѣетъ основанія. Тамъ нѣтъ вѣры, гдѣ ей должно предшествовать убѣжденіе, основанное на очевидности. Откровеніе объясняетъ намъ и природу человѣка и отношеніе человѣка къ Богу. Природа человѣка—свободный божественный духъ, облеченный въ тѣло, которымъ онъ можетъ властвовать и быть обладаемъ. Вслѣдствіе сей свободы—паденіе, вслѣдствіе паденія искупленіе, вслѣдствіе искупленія возможность святости и спасеніе вѣчное.

Наше верховное благо состоитъ въ признаніи воли Божіей и въ то же время въ признаніи ея неисповѣдимости. Что бы мы были безъ этого верховнаго блага, посреди безчисленнаго множества бѣдствій житейскихъ, тѣмъ болѣе ощутительныхъ, чѣмъ способнѣе душа любить и мыслить. Или, не постигая

нашихъ бѣдствій, мы бы приписывали ихъ слѣпой силѣ, владычествующей всѣмъ созданіемъ и нашею судьбою. Въ такомъ случаѣ наше терпѣніе было бы не иное что, какъ механическая безнадежность въ присутствіи неизбѣжнаго, необходимаго бѣдствія,—падменная сила стоиковъ или безпечная чувственность эпикурейцевъ, или просто тупоуміе и безжизненная одеревенѣлость толпы, рабски согбенной подъ рукою желѣзнаго фатума; въ такомъ случаѣ самымъ высокимъ, самымъ естественнымъ актомъ жизни было бы самоубійство. Или мы бы старались постигнуть наши страданія и извлекать изъ этого ясное понятіе о ихъ необходимости, справедливости и всегда добрыхъ ихъ слѣдствіяхъ, наше понятіе о Божіемъ Промыслѣ. Такое напрасное усиліе ума нашего произвело бы дѣйствіе совсѣмъ противное: оно бы уничтожило нашу довѣренность къ Промыслу. Наши страданія рѣдко бываютъ для насъ понятны и въ причинахъ своихъ и въ цѣли своей и въ своихъ послѣдствіяхъ. И на этомъ понятіи непонятнаго должны мы основывать свою довѣренность къ Промыслу Божію. Не потому должны мы признавать его благимъ, что понимаемъ ясно его благость въ ея на насъ дѣйствіяхъ. Мы должны ему покорствовать потому, что онъ Богъ, и слѣдственно благъ, какъ въ ощутительномъ, ясномъ для насъ добрѣ, которое мы сами называемъ добромъ, такъ и въ неощутительномъ непонятномъ для насъ добрѣ, которое мы ошибочно называемъ зломъ. Въ такой безпрекословной покорности нѣтъ колебанія; вездѣ и всегда она для насъ одинакова; она не есть плата Богу по таксѣ, не Есть размѣнъ нашего смиренія на Его милость; она есть смиренная, любящая, покоряющая умъ и волю вѣра, вѣра, что Онъ существуетъ и что мы въ рукѣ Его,—несказанная, чудно-крѣпящая и успокоивающая душу сила заключается въ этой безусловной преданности въ Вышнюю Волю, въ которой, не стараясь ее *постигать, мы видимъ* верховную Благость, верховную мудрость, верховное могущество. Это не стоицизмъ, хвастливо опирающійся на свою независимую силу и на гордое презрѣніе судьбы—безотрадный обманъ нашего самолюбія; это не преданіе себя во власть необходимости, мертваго, механическаго предопредѣленія, уничтожающее всякую нравственность, всякое достоинство человѣческое; это — верховная свобода, верховное величіе. Мы становимся содѣйствователями самого Бога; мы говоримъ съ святымъ Августиномъ: Богъ всегда исполняетъ мою волю, ибо моя воля есть всегда Его воля.

«Кто имѣетъ Бога, тотъ легко теряетъ все ему милое, и даже радуется его утратѣ», говоритъ Лувиньи. Это не есть равнодушіе; выводить изъ любви исключительной къ Богу равнодушіе къ земному милому было бы ложною мыслію. Мы не можемъ любить Бога тою любовію, какою мы любимъ сокровище земное. Мы можемъ Его любить какъ сокровище верховное, какъ такое сокровище, которое составляетъ, такъ сказать, прямое достоинство всего, что есть прекраснаго, желаннаго и достойнаго любви въ нашей жизни. Земное счастіе можетъ быть прекрасно и драгоцѣнно только Богомъ, его дающимъ; земное страданіе теряетъ свою мрачность потому, что являетъ намъ Бога вблизи, какъ помощника, кладущаго руку свою въ нашу руку. Итакъ, изъ того, что земныя блага имѣютъ для насъ свое достоинство только Богомъ, слѣдуетъ, что сіи блага должны быть достойны Бога. Блага, Его недостойныя, или предъ Нимъ исчезаютъ, или Его для насъ заставляютъ исчезнуть. Отъ этого всякій предметъ нашей любви становится Его достойнымъ, когда эта любовь освящена любовію къ Нему; а любовь къ Нему не уничтожаетъ въ насъ нашей земной, достойной Его любви, но только даетъ ей надлежащую прочность, сдѣлавшись ея основаніемъ и опорою. Такимъ образомъ и предметы нашей любви, опираясь на нашу любовь

къ Богу, становятся неподверженными утратѣ: они или въ Немъ для насъ упрочиваются, или Онъ становится ихъ замѣною, и тогда мы, теряя ихъ, только мѣняемъ худшее на лучшее. Тратя здоровье, богатство, почести, мы выигрываемъ терпѣніе; тратя своихъ милыхъ, мы только ихъ передаемъ лучшему; за нихъ мы радуемся, за себя плачемъ, но плачемъ на груди Отца Небеснаго, Который, облекая лицо ихъ гробовымъ покровомъ, тѣмъ самымъ разоблачаетъ для насъ отеческое лицо Свое. Въ этомъ нѣтъ равнодушія къ тому, что̀ намъ мило, и любовь къ Богу не только не требуетъ такого равнодушія; она производитъ противное. Любовь къ Богу не потому благодѣтельна, что она мѣшаетъ намъ плакать о нашихъ милыхъ, а потому, что заставляетъ насъ смотрѣть на нашу скорбь съ высшей точки зрѣнія, потому что крики скорби превращаетъ въ молитву, именующую и изъясняющую Бога.

Будь чистъ сердцемъ, и будетъ въ немъ присутствіе Бога [блаженни чистые сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ]; но человѣку не дано быть непрестанно въ присутствіи Божіемъ—душа не снесла бы такого состоянія. Какъ для жизни вообще нужно поддерживать тѣло [матеріальную оболочку души] пищею, сномъ, движеніемъ и проч. [дѣйствіе чисто матеріальное]; такъ для жизни духовной, для жизни въ Богѣ нужно поддерживать жизнь душевную ея дѣятельностію посреди окружающаго ее созданія. Душа, образуемая сею дѣятельностію, устремленною на матеріальное, пріобрѣтаетъ черезъ то болѣе способности для дѣятельности духовной; тогда имѣетъ она минуты уединенныя съ Богомъ, минуты, проводимыя не въ мірѣ внѣшнемъ съ созданіями, а въ своемъ внутреннемъ святилищѣ съ Богомъ-Создателемъ. Когда душа вступаетъ въ это святилище, тогда оно отвсюду затворяется, и въ него она вноситъ одно чистѣйшее изъ внѣшняго міра: или чистую радость ощущаемаго *сію присутствія Божія*, или чистую сладость *праведности*, или чистую скорбь покаянія. Тамъ приноситъ она въ жертву все житейское, ощущаетъ всеуничтожающую прелесть божественнаго, имъ освящаетъ все земное, и оттуда возвращается она съ новымъ свѣтомъ во мракъ земнаго на указанное ей мѣсто житейской дѣятельности, которая тогда успѣшнѣе совершается въ этомъ жизнедательномъ свѣтѣ, и посреди которой не только не забываются уединенныя бесѣды въ святилищѣ, но усиливается стремленіе въ него возвратиться для утвержденія воли въ добрѣ, для успокоенія сердца въ страданіи, для рѣшенія мучащихъ умъ сомнѣній, для запасенія себя новыми силами на борьбу съ житейскимъ, посреди котораго въ свою очередь собирается потомъ новый запасъ силъ для возобновленія бесѣды съ Богомъ.

Что̀ такое присутствіе Божіе? Что̀ такое соединеніе души съ Богомъ? На эти вопросы почти такъ же трудно отвѣчать, какъ на вопросъ: что̀ такое Богъ? Это не есть мысль — всякая мысль выражается словомъ внутри души и получаетъ опредѣленный духовный образъ: какъ же втѣснить въ границы слова Бога и его присутствіе? Это не есть чувство—въ самомъ нѣжномъ чувствѣ есть нѣчто матеріальное, то есть нѣчто, непосредственно привязывающееся къ какому нибудь ощутительному предмету, или изъ него истекающее. Что̀ же оно такое, если не мысль и не чувство? Я бы сказалъ: уничтоженіе того и другаго, чистое ощущеніе своего духовнаго бытія, внѣ всякой ограничивающей его мысли, безъ всякаго особеннаго и его стѣсняющаго чувства, а просто душа въ полнотѣ своего бытія, слѣдственно душа въ Богѣ, ибо Онъ есть верховное бытіе, а душа непосредственно изъ него истекаетъ. Такое бытіе есть синонимъ смерти, истребляющей въ бытіи все недуховное. Мы можемъ имѣть только мгновенія такого бытія, несовмѣстнаго съ земною жизнію; но сіи мгновенія суть мгновенія вѣчныя, обхватывающія временное и ему дарую-

щія непзмѣняемую божественность, истребляя въ немъ мало по малу все измѣняющееся, житейское. Сіе состояніе, въ которомъ душа чувствуетъ свое чистое бытіе, или себя въ присутствіи Бога, можетъ быть постояннымъ для тѣхъ, въ которыхъ совершилось полное преобразованіе. Но и для нихъ безмятежное, постоянное пребываніе въ Богѣ не исключаетъ разнообразной дѣятельности въ мірѣ; оно, такъ сказать, ее объемлетъ, ее проникаетъ, какъ воздухъ, окружающій все созданіе. Оно возможно только христіанину. Что такое искупленіе? Возвращеніе человѣку утраченнаго имъ присутствія Божія. Въ сіе присутствіе онъ можетъ быть введенъ только Христомъ. Богъ сошелъ во Христѣ къ человѣку, человѣкъ только Христомъ можетъ возвыситься къ Богу. Азъ есмь путь.

Состояніе души въ присутствіи Бога и ея съ Нимъ соединеніе есть сладчайшее чувство нашего частнаго бытія, погруженнаго въ божественное, безъ всякой примѣси чувственнаго, безъ всякаго воспоминанія о земномъ обладаніи, чувство внутренняго, полнаго покоя, съ сладостнымъ, пропзвольнымъ смиреніемъ, съ радостною преданностію, съ глубокимъ ощущеніемъ своей безопаспости, своей дѣтской зависимости отъ благостнаго всемогущества. Въ этомъ чувствѣ нѣтъ ничего ни внѣшняго, предметнаго [objectif], ибо его предметъ не извнѣ на насъ дѣйствуетъ, ни личнаго [subjectif], ибо мы сами для себя въ немъ исчезаемъ; въ немъ соединяется и то и другое, въ какой-то необъяснимой для насъ неопредѣленности, въ какой-то неограниченной полнотѣ, ясное, но вмѣстѣ и непостижимое и невыразимое. Кто испыталъ подобное, тому конечно все иное становится безвкуснымъ и нежеланнымъ, но оно не для всѣхъ; души избранныя или очищенныя могутъ пребывать въ этомъ непзглаголанномъ состояніи,—но вообще оно есть минутное преображеніе нашей души, напоминающее о томъ преображеніи Спасителя, которое совершилось мгновенно на вершинѣ Ѳавора для избранныхъ апостоловъ и разліяло свѣтъ свой на всю ихъ жизнь, проводимую у подошвы горы, посреди заботъ житейскихъ. Иди за Спасителемъ на вершину горы Ѳавора, озарись свѣтомъ Его преображенія, но на ней ты остаться не можешь.

Обращеніе, соединеніе съ Богомъ внутри души—само по себѣ есть чувствованіе себя въ присутствіи Божества; сила, глубокость и вліяніе на насъ такого чувствованія зависитъ отъ большей или меньшей ясности для насъ присутствія Божія, отъ большей или меньшей ясности нашего понятія о самомъ Богѣ [не философическомъ, умственномъ, изъ нашей идеи извлеченномъ Богѣ, а о Богѣ откровенномъ, чрезъ Христа Спасителя вошедшемъ въ нашу жизнь]. Непзглаголанно состояніе души, въ глубинѣ которой присутствіе невидимаго Бога такъ же ощутительно, какъ присутствіе всякаго другаго видимаго предмета; но на такую высоту душа подымается не вдругъ, а на крыльяхъ, даруемыхъ благодатію и обученныхъ опытомъ держать ее на высотѣ. Инымъ избраннымъ душамъ даны рано могучія крылья: на нихъ онѣ могутъ возлетать высоко [но съ высоты падать]; онѣ по природѣ своей блаженствуютъ въ сей божественной высотѣ. Другія, менѣе одаренныя души, по природѣ своей безъ крыльевъ [но съ способностію пріобрѣсть ихъ, хотя часто обстоятельства замедляютъ развитіе сей способности и даже ему противодѣйствуютъ], онѣ медленно тянутся вверхъ, и тамъ, гдѣ другія избранныя постигаютъ блаженство обожанія и созерцанія, гдѣ другія вѣруютъ и любятъ, обрѣтая въ себѣ и во всемъ любимаго ими Бога, онѣ только знаютъ Его, какъ рѣшенную для нихъ проблему, не отрицаютъ, а смиренно покорствуютъ: въ нихъ еще нѣтъ ни надежды, ни любви, ни даже вѣры: въ нихъ одно только произвольное неотрицаніе, и вслѣдствіе его безропотная покор-

пость. Все ихъ земное сокровище состоитъ въ словѣ: есть Богъ, знаю и покоряюсь. И одинъ только Богъ Своею благодатію можетъ имъ помочь не пасть подъ бременемъ сей произвольной, смиренной, безотрадной покорности, можетъ прикрѣпить къ ихъ бѣднымъ плечамъ могучія крылья Своей благодати.

Не всѣмъ дано быть тѣмъ, что былъ Лувиньи. Отъ чего сіе различіе даровъ? Почему однимъ дано, у другихъ отнято? Мы не знаемъ, и въ томъ [какъ и во всемъ] не должны требовать отчета отъ дающаго. Ибо и самое отнятіе, происходящее отъ Его воли, есть даръ. Нашъ главный долгъ и въ то же время наше главное благо: покорность. И всякому изъ насъ открыта къ Нему дорога; но почему одна изъ сихъ дорогъ идетъ черезъ пышный лугъ, полный цвѣтовъ, а другая черезъ мерзлую тундру, это знаетъ Онъ — наше дѣло знать, что у насъ подъ ногами дорога и что она ведетъ къ Нему. Съ моей тундры я могу видѣть тотъ прекрасный лугъ, по которому идетъ Лувиньи, могу даже пользоваться цвѣтами, которые онъ ко мнѣ перебрасываетъ, но не властенъ изъ тундры моей создать его лугъ, и даже не долженъ желать перейти на сей лугъ съ указаннаго мнѣ мѣста; я долженъ покорно идти и знать, что всѣ дороги наконецъ сольются у входа въ одно общее пристанище, равно для всѣхъ, совершившихъ путь свой, блаженное. Будемъ же пользоваться цвѣтами луга твоего, избранный Богомъ Лувиньи, не завидуя твоему избранію, благоговѣя предъ твоимъ величіемъ, смиренно признавая свое недостоинство. Не испытавъ никогда вполнѣ того блаженства, которое такъ часто ощущаешь ты въ собесѣдованіи твоей освященной души съ Богомъ, и такъ понятно выражаешь твоимъ младенческимъ языкомъ, я бы желалъ изъяснить словомъ то, что было тебѣ такъ ясно безъ словъ, именно: что такое присутствіе Божіе, и что такое соединеніе наше съ *Богомъ? Мы не можемъ* бесѣдовать съ Богомъ, какъ мы бесѣдуемъ съ нашими друзьями. Чѣмъ мы уединеннѣе, чѣмъ отдѣльнѣе отъ всего внѣшняго, тѣмъ мы къ Нему ближе, тѣмъ мы, такъ сказать, внутреннѣе съ Нимъ; тѣмъ опустошеннѣе душа отъ всего житейскаго — но что же тогда въ ней? Здѣсь постигаемъ все благо и всю истину христіанства. Въ ней Богъ, Самъ по Себѣ невообразимый, невыразимый и недоступный; но въ ней и Христосъ Спаситель, въ Которомъ все земное, прекрасное, драгоцѣнное, чистое, слилось и божественно преобразилось, дабы недоступный, непостижимый, неизглаголанный Богъ вселенныя сдѣлался сокровищемъ, собственностью, яснымъ предметомъ любви и собесѣдникомъ всякой души человѣческой отдѣльно. [Сіе присутствіе Бога и чувство, наполняющее душу въ семъ присутствіи, можно сравнить съ состояніемъ больнаго, близъ задернутой постели котораго сидитъ его другъ (въ тоже время и его лѣкарь); страдалецъ знаетъ объ этомъ, и это знаніе служитъ ему отрадою въ болѣзни, которой опредѣленному ходу онъ беззаботно тогда предается]. Душа наша не снесла бы невмѣстимаго въ нее Бога: ей не дано ни понимать Его мыслію, ни познавать Его очевидностію, ни выражать Его словомъ — между Имъ и ею бездна ея паденія. Но въ Христѣ Богъ всемірный приближается къ человѣку братомъ, отцомъ, искупителемъ, наставникомъ, образцомъ, и всѣ сіи имена, не уничтожая Его неизглаголаннаго, всемірнаго величія, дѣлаютъ Его человѣчески приблизимымъ, и душа, приближаясь къ Нему, Его видитъ, слышитъ, чувствуетъ, объемлетъ и любитъ. Безъ посредника мысль Божества была бы невыносима для души нашей [и по своей необъятности и по нашему паденію]. Доказательствомъ служитъ тому то, что человѣкъ, непросвѣщенный откровеніемъ, или создастъ для себя идола, или впадаетъ въ метафизическое безвѣріе. Тамъ онъ дѣлаетъ себѣ Бога матеріально доступнымъ; здѣсь онъ Его уничтожаетъ, превращая Его въ отвлеченное понятіе, никакой самобытности не имѣющее: въ

обоихъ случаяхъ онъ безсиленъ снести истиннаго Бога безъ откровенія.

Могли ли бы мы [то есть, мы люди, съ нашею человѣческою природою] любить Бога, если бы мы были совершенно одиноки и вокругъ насъ ничто бы не существовало. Мы любимъ Бога въ нашей любви къ созданіямъ Божіимъ, въ любви къ добру, въ любви къ природѣ, въ любви ко всему, что Его достойно, и въ ненависти ко всему, что противорѣчитъ Ему. Сія любовь, обращающаяся на созданіе, есть, такъ сказать, видимый образъ нашей любви къ Создателю. Безъ первой послѣдняя здѣсь существовать не можетъ, какъ не можетъ человѣкъ существовать безъ соединенія тѣла съ душою. Но какъ тѣло должно быть подчинено душѣ, такъ любовь къ созданію должна быть подчинена любви къ Создателю; какъ изъ бреннаго союза тѣла и души на землѣ— если душа удерживаетъ надъ тѣломъ духовную власть свою — истекаетъ впослѣдствіи одна чистая, высшая жизнь духа, въ царствіи Божіемъ, такъ изъ сей любви къ созданію, подчиненной любви къ Создателю, истекаетъ наконецъ чистая любовь къ Богу—сія святость души, которой еще и въ здѣшней жизни нѣкоторымъ избраннымъ бываетъ дано достигнуть.

«Какое мнѣ дѣло до созданія, когда Создатель со мною и я съ Нимъ», говоритъ Лувиньи. Въ этой мысли, сколь ни высоко ея значеніе, есть нѣчто преувеличенное, слѣдовательно ложное. Мы на землѣ, въ кругу созданій Божіихъ, на томъ мѣстѣ, которое Имъ Самимъ намъ указано—слѣдовательно наше земное дѣло опредѣлено Имъ Самимъ; къ такому назначенію мы не можемъ и не должны быть равнодушны, ибо именно въ томъ и состоитъ наша любовь къ Создателю, что мы въ указанномъ отъ Него намъ дѣлѣ видимъ и любимъ Его волю, постоянно, заботливо ее исполняемъ, и такимъ образомъ въ границахъ созданія созрѣваемъ для Создателя; и эти границы [изъ которыхъ, пока длится земная жизнь, мы выходить не должны] стѣсняютъ только для того нашу душу, чтобы, такъ сказать, питать и увеличивать эластическую силу ея стремленія высшаго. Итакъ, созданіе, насъ окружающее, намъ нужно; только посреди созданія могу быть съ Создателемъ и Онъ со мною.

Кто скорбитъ объ отсутствіи друга, говоритъ Лувиньи, тотъ еще не узналъ вполнѣ, еще не достигъ до того свѣта, что Другъ Великій всегда съ нами. Исключаетъ ли такая скорбь ощущеніе величія и присутствія Божія? Напротивъ, она его усиливаетъ и углубляетъ въ душу. Не уничтоженіе привязанности къ созданіямъ производитъ въ насъ полную любовь къ Богу, но ея освященіе мыслію о Его присутствіи и слѣдственно любовію къ Присутствующему. Совершенное уничтоженіе такого рода привязанности столь же не нужно и безполезно, какъ уничтоженіе нашихъ тѣлесныхъ чувствъ, соединяющихъ насъ съ внѣшнею природою и не только не препятствующихъ, но дающихъ нашему внутреннему оку возможность видѣть въ ней Бога. Что бы въ противномъ случаѣ значила Божія заповѣдь: люби своего ближняго, какъ самого себя? Но конечно передъ любовію къ Богу и къ Богу Христу исчезаетъ всякая любовь къ созданію—исчезаетъ, то есть не перестаетъ быть, но становится подчиненною, не главнымъ предметомъ, а только посредникомъ между нами и главнымъ. И любовію ко Христу всякая земная чистая любовь пріобрѣтаетъ высокое свойство, ибо мы тогда любимъ то, что не въ противорѣчіи съ святостію главной нашей любви, и что, сею главною любовію освященное, пріобрѣтаетъ отъ нея и высшее неизмѣняемое достоинство.

Сія живая, нѣжная, пламенная, благодарная, соединенная со взаимностію любовь къ Богу, о которой говоритъ Лувиньи, возможна только къ Богу откро-

вѣчному, къ Богу, узнаннному нами въ Христѣ Спасителѣ. Богъ философическій, на живую нитку сшитый нашимъ умомъ изъ клочковъ его умственныхъ заключеній, есть, такъ сказать, умственный идолъ, которому мы поклоняясь, мы поклоняемся сами себѣ и собственной нашей идеѣ. Эта идея, нами созданная, есть нѣчто, не могущее имѣть съ нами никакой взаимности: въ существованіи этой взаимности не убѣдится тотъ, для кого Богъ есть одна проблема, заданная умомъ, но умомъ неудовлетворительно разрѣшенная, и не основанная ни на какой очевидности. Если нѣкоторыя возвышенныя души и поклонялись своему метафизическому богу, то это есть только вслѣдствіе ихъ особенной природы: въ нихъ происходитъ нѣчто отдѣльное отъ умственныхъ заключеній, нѣчто какъ бы внутреннее откровеніе, которое они принимаютъ независимо отъ убѣжденія умственнаго, и даже вопреки ему. Вѣра въ Бога можетъ быть только откровеніе. Богъ не есть идея; Онъ лицо, живой предметъ; наша мысль Его изобрѣсть не можетъ. Но мы судимъ о предметахъ земныхъ по впечатлѣніямъ чувственнымъ, по очевидности; слѣдственно и о Богѣ, единственномъ предметѣ внѣ всякихъ чувственныхъ впечатлѣній, мы должны также судить по очевидности, по внѣшнему. Но гдѣ очевидность? Гдѣ это внѣшнее? Въ откровеніи; то есть въ произвольномъ, отъ нашего разума не зависящемъ, явленіи самого Создателя душѣ, имъ созданной. Откровеніе есть живая, самобытная очевидность; оно дѣйствуетъ на душу безъ посредничества органовъ чувственныхъ, соединяющихъ ее съ созданіями внѣшними. И впечатлѣніе, имъ на душу производимое, есть вѣра, принимаемая не умомъ, покорствующимъ необходимой очевидности, которая механически составляетъ послѣднее звено его логическихъ выводовъ, а свободною волею, которая, покорствуя произвольно, принуждаетъ покоряться и разумъ. Вѣра есть возвышеннѣйшій актъ человѣческой воли: въ ней соединяются воедино вышняя, ее дарующая благодать, и человѣческая свобода, принимающая благое даяніе свыше; соединеніе обоихъ необходимо для произведенія вѣры.

САМООТВЕРЖЕНІЕ ВЛАСТИ.

Іоаннъ Миллеръ, заключивъ свою всеобщую исторію словами: умѣренность, порядокъ, далъ въ нихъ великій урокъ на всѣ времена царямъ и народамъ. Двѣ враждебныя силы противоборствуютъ умѣренности и порядку: страсть и произволъ. Страсть уничтожаетъ возможность умѣренности; произволъ, дитя страсти, разрушаетъ всякой порядокъ. Іоаннъ Миллеръ, выражая свое правило словами: умѣренность, порядокъ — извлекаетъ его изъ событій исторіи; но его можно извлечь и изъ начала высшаго, и выразить словомъ: Божія правда. Главный дѣйствователь на сценѣ человѣчества есть власть: она учреждаетъ и сохраняетъ порядокъ; она же его и разстроиваетъ и губитъ. Въ мірѣ христіанскомъ самодержавіе есть высшая степень власти; она есть послѣднее звено между человѣческою и Божіею властію; по своему непосредственному происхожденію отъ Бога, она имѣетъ свойство его неограниченности; по своему переходу отъ Бога къ человѣку, она должна имѣть эту самобытную подчиненность высшей власти; эту необходимую границу, которую Іоаннъ Миллеръ выразилъ въ словахъ: умѣренность, порядокъ, и которая есть не иное что, какъ Божія правда, въ ея примѣненіи къ дѣламъ человѣческимъ. Умѣренность [оставаясь при выраженіи великаго историка] даетъ верховной власти ея истинную силу и благотворность; ибо это произвольное держаніе себя въ непреступимыхъ границахъ, это свободное признаніе надъ собою владычества высшаго, это вступленіе, такъ сказать, съ нимъ въ союзъ наступательный и оборонительный въ пользу блага—есть дѣйствіе самаго неограниченнаго самодержавія, пишущаго своеручно самому себѣ

непреложный законъ, заимствованный изъ вѣчной правды, дабы этотъ чистый законъ былъ источникомъ всякаго законодательства въ дѣлахъ человѣческихъ. И вѣрность этому закону—всегда, вездѣ, во всемъ—есть твердѣйшее ограждение самой власти: ибо тогда и законъ человѣческій становится Божіею правдою: исходя изъ власти, Божіею правдою проникнутой. Когда онъ будетъ вмѣстѣ съ нею исходить изъ одного и того же источника; тогда онъ будетъ обязателенъ для всѣхъ и каждаго, какъ для дающаго, такъ и для пріемлющаго, обязателенъ по своей божественной природѣ, а не по одной силѣ человѣческой, его налагающей и берегущей его страхомъ наказанія. Величественное зрѣлище представляетъ власть, сама себя ограничивающая и отымающая у себя всяку возможность преступленія, отдавъ себя на произволъ власти всевышней и отказавшись отъ всякаго собственнаго произвола, который подъ личиною могущества есть врагъ и истребитель всякаго могущества. Такъ говоритъ Исторія, которая, по словамъ Іоанна Миллера, указываетъ намъ, куда идутъ цари и народы, когда нѣтъ умѣренности и порядка. Но благія наставленія исторіи немногимъ бываютъ полезны. Исторію можно сравнить съ кладбищемъ; на гробницахъ, которыми усыпано все пространство этого кладбища, вырѣзаны надгробія неподвижнымъ мертвымъ для живыхъ проходящихъ; живые читаютъ ихъ разсѣянно, проходятъ мимо и, оставивъ усопшимъ ихъ мирное кладбище, возвращаются въ шумную жизнь, забывъ о томъ, что мимоходомъ прочитали на камняхъ могильныхъ. Немногимъ исторія даетъ предварительную, теоретическую опытность; весьма немногіе извлекаютъ изъ нее истины вѣчныя, но весьма многіе почерпаютъ въ ней такія правила, которыя, будучи выведены изъ событій, и потому имѣя наружность практической истины, бываютъ часто въ совершенной противоположности съ правдою, то есть съ истиною Божіею. Власть неограниченная есть самый высокій и самый опасный даръ человѣку отъ Бога. Сама по себѣ она есть то же, что добро: Богъ всемогущъ, потому самому Онъ и благъ. Но человѣкъ не Богъ; чтобы не упасть подъ бременемъ всемогущества, ему надлежитъ опереться на Бога. Не для единаго блага другихъ, но и для собственнаго сохраненія онъ долженъ своимъ могуществомъ ограничить свое могущество: тогда онъ будетъ знать и объемъ своей власти, и путь, съ котораго не должно ей сбиваться. Онъ будетъ мореходецъ, полновластный господинъ корабля своего, но покорный слѣдователь указаніямъ компаса, съ которымъ, обтекая моря, при попутномъ вѣтрѣ, избѣгнетъ подводныхъ камней, а въ бурю спасетъ и корабль свой и спутниковъ и самого себя. Этотъ компасъ мореходца есть не иное что, какъ покорность вѣчной правдѣ: она одна даетъ вѣрность и стройность дѣйствіямъ власти, держа въ уздѣ страсть, которая все путаетъ и бѣшено отдаетъ на жертву настоящее будущему, необходимое желаемому и установленное причудѣ.

ЭНТУЗІАЗМЪ И ЭНТУЗІАСТЫ.

Когда наиболѣе являются энтузіасты? Во времена смутныя, во времена волненій гражданскихъ и религіозныхъ, въ которыя распространяется повсемѣстно какая-то вулканическая дѣятельность, не имѣющая яснаго предмета. Что пробуждаетъ ихъ въ гражданскомъ мірѣ? Или несуществованіе власти верховной, отверзающее двери буйству, или злоупотребленіе верховной власти, возбуждающее силу противудѣйствія. Сильное и правдивое правительство хранитъ не одинъ матеріальный порядокъ, но и самую нравственность народа. Тогда внутреннее чувство каждаго согласно съ тѣмъ, что внѣ его въ обществѣ существуетъ; мы не въ разладѣ ни съ собою, ни съ внѣшнимъ устройствомъ, и наше личное сливается съ общественнымъ въ одно: мы дорожимъ сохраненіемъ царствующаго хранительнаго

порядка. При худомъ правительствѣ все теряетъ свою ясность; нѣтъ цѣлаго; наша особенная нравственность, требующая исполненія долга, находится въ противорѣчіи съ нравственностію общею, которую тревожитъ и наконецъ превращаетъ въ безнравственность нарушеніе долга злоупотребленіемъ власти. Въ такое время энтузіасту, то есть человѣку сильнаго, страстнаго характера, самоотверженно предающемуся своимъ любимымъ идеямъ, легко отдѣлить себя отъ общаго; онъ творитъ для себя свою особенную совѣсть, и, не видя добра существеннаго, создаетъ для себя добро химерическое и дѣйствуетъ по произволу, а не по долгу, руководствуясь однимъ собственнымъ убѣжденіемъ, и все остальное ему подчиняетъ.

Могутъ ли быть энтузіасты эгоизма? Такъ же точно, какъ энтузіасты добра. Чѣмъ живетъ энтузіазмъ? Чувствомъ энергіи: что сильно, то кажется великимъ. Для одного ничѣмъ не щадить въ свою личную пользу—такая же святыня, какъ для другаго всѣмъ жертвовать общему благу. И тотъ и другой враги порядка: первый тѣмъ, что хочетъ разрушить его для себя, второй тѣмъ, что хочетъ уничтожить его для своего мечтательнаго лучшаго, которому самовольно жертвуетъ существующимъ. Кто, вооружаясь на существующее зло въ пользу будущаго, невѣрнаго блага, нарушаетъ вѣчные законы правды, тотъ злодѣй. Разбойникъ, безъ энтузіазма рѣжущій прохожаго для того, чтобы присвоить себѣ его кошелекъ, достоинъ висѣлицы. Но менѣе ли достоинъ такой награды разбойникъ-энтузіастъ, который, вышедъ утромъ на дорогу, умерщвляетъ богатаго путешественника для того, чтобы ввечеру отдать его золото нищему, котораго надѣется встрѣтить на той же дорогѣ? Но этотъ нищій можетъ ему и не встрѣтиться; и ночь прежде желанной встрѣчи можетъ застигнуть на дорогѣ обоихъ, и мечтательнаго убійцу и ожидаемаго имъ мечтательнаго путника. Сіе страстное, *ничѣмъ необуздываемое* стремленіе къ идеальному благу есть отличительный характеръ энтузіазма, который и въ самомъ благомъ направленіи можетъ быть источникомъ великихъ злодѣяній, при недостаткѣ ясныхъ, положительныхъ правилъ нравственности, легко затемняемыхъ софистическими уметвованіями страсти. Существуй для всѣхъ одна, общая нравственность, утвержденная на христіанствѣ, тогда и частная не поколеблется: общее мнѣніе будетъ ея указателемъ и поднорою. Итакъ, энтузіазмъ благодѣтеленъ только тогда, когда онъ есть пламенная любовь къ идеальному общему благу, соединенная съ твердостію положительныхъ правилъ нравственности, признанныхъ вѣками за непреложныя; скажу простѣе, когда онъ утвержденъ на вѣчномъ фундаментѣ христіанства.

ЧТО БУДЕТЪ?

[писано въ генварѣ 1848].

Мы живемъ на кратерѣ вулкана, который недавно пылалъ, утихъ и теперь снова готовится къ изверженію. Еще первая лава его не застыла, а уже въ нѣдрахъ его клокочетъ новая, и громъ вылетающихъ изъ бездны его камней возвѣщаетъ, что она скоро разольется. Одна революція кончилась, другая вступаетъ въ ея *колеины*, и замѣчательно то, что послѣдняя въ ходѣ своемъ наблюдаетъ тотъ же порядокъ, какой наблюдала первая, несмотря на различіе ихъ характеровъ. И та и другая сходны въ первыхъ своихъ проявленіяхъ; и теперь, какъ и тогда, начинаютъ съ потрясенія главной основы порядка: съ религіи. Но теперь дѣйствуютъ уже смѣлѣе и шире. Тогда стороною нападали на вѣру, проповѣдуя терпимость, теперь нападаютъ прямо на всякую вѣру и нагло проповѣдуютъ безбожіе; тогда подкапывали втайнѣ христіанство, повидимому вооружаясь противъ злоупотребленій церковной власти, теперь вопіютъ съ кровель, что и христіанство, и церковь, и власть церковная, и всякая власть не иное что,

какъ злоупотребленіе. Какая цѣль теперешнихъ реформаторовъ—я говорю о тѣхъ, которые *искренне* желаютъ *лучшаго*, искренно вѣруютъ въ дѣйствительность и благотворность своихъ умозрѣній—какая цѣль теперешнихъ реформаторовъ, вступающихъ въ тотъ же путь, которымъ шли ихъ предшественники [а куда привелъ этотъ путь, мы видѣли съ содроганіемъ, и знаемъ, что желанное *лучшее* на немъ нигдѣ не встрѣтилось]; какая цѣль теперешнихъ реформаторовъ? Этого и сами они ясно не видятъ. Весьма вѣроятно, что многіе изъ нихъ сами себя обманываютъ и, идя впередъ съ знаменами, на которыхъ сіяютъ слова нашего вѣка: *впередъ, свобода, развитіе, человѣчество*, сами увѣрены, что путь ихъ ведетъ прямо въ обѣтованную землю. И можетъ быть суждено имъ, какъ и многимъ изъ ихъ предшественниковъ, содрогнуться на краю или на днѣ той бездны, которая скоро подъ ихъ ногами разверзнется. Позади сихъ проповѣдниковъ образованія и движенія, дѣйствующихъ *открыто*, дѣйствуютъ *потаенно*, по ихъ указаніямъ, другіе, уже не ослѣпленные, съ цѣлію практическою, которую ясно предъ собою видятъ: для нихъ дѣло идетъ уже не о преобразованіи политическомъ, не о разрушеніи привиллегій и вѣковыхъ *созданій* историческихъ [это уже совершено первою революціею], а просто объ уничтоженіи различія между *твой* и *мой*, или правильнѣе сказать о превращеніи *твоего* въ *мое*. Аристократія уступила среднему состоянію, говорятъ новѣйшіе историки, среднее состояніе должно уступить народу. Что же этотъ народъ, если исключить изъ массы его классъ привиллегированный и классъ средній? Толпа пролетаріевъ, которымъ нужно имѣть чужое, дабы имѣть что нибудь свое. И уже провозглашено во услышаніе всѣмъ великое правило практическихъ преобразователей, извлеченное изъ доктринъ новѣйшей философіи и весьма понятное ихъ неученымъ адептамъ: *собственность есть кража*.

Замѣтимъ, что характеръ эпохи, приготовившей и произведшей французскую революцію, которая, какъ было кѣмъ-то сказано, *должна обойти весь свѣтъ*, состоялъ въ томъ, что скептицизмъ былъ въ особенности умничаньемъ *высшаго* общества; онъ властвовалъ и въ *среднемъ* классѣ, но еще не проникалъ въ низшій. Напротивъ, нынѣ перевѣсъ вѣры на сторонѣ высшаго класса; средній и низшій, зараженные буйствомъ вѣка, возстаютъ противъ всякаго авторитета, умствуютъ, отрицаютъ. Правда, въ наше время, громче нежели когда нибудь, раздается голосъ меньшинства вѣрныхъ, наиболѣе просвѣщенныхъ наукою и дѣятельно ратующихъ за все святое. Зато повсемѣстное, губительное разрушеніе произведено доктринами разврата въ *народѣ необразованномъ*, въ толпѣ работающихъ и бѣдныхъ, тамъ, гдѣ царствуетъ нужда, огорчающая душу, гдѣ живутъ только для того, чтобы не уронить съ плечъ тяжелаго бремени жизни, гдѣ завистливо смотрятъ съ голаго, безплоднаго берега на море наслажденій, въ которомъ роскошно купаются избранники счастья. Туда голосъ искушенія, проповѣдующій ненависть, хищничество, отверженіе всякой власти и всякаго долга, волю страстей и отрицаніе Божія Промысла, проникаетъ съ быстротою смертельной чумы, и тѣмъ быстрѣе, что всѣ предохранительныя и цѣлительныя средства противъ заразы напередъ уничтожены, и что безсмысліе невѣжества съ жадностію принимаетъ ученіе, столь благопріятное страстямъ и потворствующее раздраженію, производимому бѣдами житейскими, противъ которыхъ ничто уже не даетъ душѣ ни твердости, ни смиренія. Это всеобщее отверженіе всякой святыни называется теперь свободою, движеніемъ впередъ, торжествомъ человѣчества, освобожденіемъ разума. И что бы была Европа, когда бы въ 1847 году повторился 1846 годъ съ его повсемѣстнымъ голодомъ? Какой бы набатъ загремѣлъ повсюду, и какая бы толпа звѣрей, столь долго удерживаемыхъ

за рѣшетками ихъ клѣтокъ, вдругъ вырвалась на свободу, сокрушивъ свои заклепы удвоенною въ общемъ бѣдствіи силою?.. И что бы произвела эта *свобода*, это *движеніе впередъ*, это ниспроверженіе всякой *власти*, это неограниченное *самодержавіе народа*?

О СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

Конечно никто не читалъ безъ ужаса подробнаго описанія казни, совершившейся въ Лондонѣ надъ Маннингами, мужемъ и женою. По поводу этой казни были самыя отвратительныя сцены разврата и скотства въ безчисленной толпѣ всякаго народа, собравшагося полюбоваться зрѣлищемъ конвульсій, съ какими кончили жизнь на висѣлицѣ злодѣи. Эти сцены подали поводъ нѣкоторымъ филантропамъ для новыхъ декламацій противъ смертной казни. И вмѣсто того, чтобы нападать на уродливое, варварское, отвратительное совершеніе казни, начали нападать на самую казнь, которая не иное что, какъ представитель строгой правды, преслѣдующей зло и спасающей отъ него порядокъ общественный, установленный Самимъ Богомъ. Говорятъ: смертная казнь безполезна, ибо она никого не пугаетъ, никого не воздерживаетъ отъ злодѣйства, не исправляетъ злодѣя неоткрытаго, а злодѣя осужденнаго лишаетъ возможности исправленія. Смертная казнь, какъ угрожающая вдали своимъ мечомъ Немезида, какъ страхъ возможной погибели, какъ привидѣніе, преслѣдующее преступника, ужасна своимъ невидимымъ присутствіемъ, и мысль о ней конечно воздерживаетъ многихъ отъ злодѣйства. Но зрѣлище смертной казни—такое зрѣлище, какимъ обыкновенно забавляютъ [это слово здѣсь у мѣста] праздный народъ, столь жадно ищущій сильныхъ чувственныхъ потрясеній—отвратительно само по себѣ, безнравственно по своему впечатлѣнію, и не только не исполняетъ своей цѣли, то *есть не ужасаетъ, не остерегаетъ*, не пробуждаетъ совѣсти преступника тайнаго и не воздерживаетъ человѣка, способнаго на явное преступленіе, напротивъ дѣлаетъ, такъ сказать, привлекательною потѣхою ужасъ казни, которая для зрителей получаетъ занимательность трагедіи, а для казнимаго уничтожаетъ спасительное дѣйствіе на душу послѣдней его минуты, заставляя его кокетствовать передъ людьми своею фальшивою неустрашимостію и отвлекая его отъ мысли о Богѣ, передъ судилище Котораго онъ долженъ явиться такъ скоро. И здѣсь, какъ и во всемъ, причина зла заключается въ отсутствіи святаго, то есть въ отсутствіи того животворнаго элемента, безъ котораго все земное не иное что, какъ минутное, мимопроходящее и, наконецъ, совершенно исчезающее физическое явленіе. Эшафотъ, на которомъ совершается смертная казнь, есть мѣсто, гдѣ неумолимое земное правосудіе казнитъ преступленіе, а Божіе милосердіе принимаетъ въ свое лоно кающуюся душу. Отлучите послѣднее отъ перваго, и спасительно-грозный, величественный актъ земной казнящей правды, жертва, всенародно приносимая правдѣ небесной, обращается въ отвратительную оргію толпы. Изъ тысячи охотниковъ, сбѣжавшихся на публичный праздникъ казни, конечно не болѣе десяти [и именно такихъ, для которыхъ подобное зрѣлище менѣе нужно, ибо они менѣе другихъ способны на злодѣйства] возвращаются съ растроганнымъ сердцемъ, съ высокою мыслію о жизни, правдѣ и смерти; на всѣхъ остальныхъ зрѣлище производитъ дѣйствіе болѣе или менѣе безнравственное и вредное. И оно не можетъ быть иначе. Что отвратительнѣе этой висѣлицы, на которой нѣсколько минутъ вьется въ конвульсіяхъ живой человѣкъ, и на которую глядитъ толпа, съ любопытствомъ ожидая, какъ этотъ живой движущійся сдѣлается мертвецомъ неподвижнымъ. Еще отвратительнѣе французская гильотина: тутъ все поражающее душу исчезаетъ; человѣкъ, созданіе Божіе, отдается во власть машины, которая

безжалостно, какъ представитель неумолимаго, безчувственнаго фатума, рѣжетъ ему голову; нѣсколько палачей, рабовъ машины, укладываютъ ея работу въ коробъ, смываютъ съ нея кровь, которой ручьи, пробираясь по камнямъ мостовой, мало по малу втекаютъ въ каналы, мѣшаются тамъ съ грязью—и все кончено; толпа расходится и каждый равнодушно принимается за свою ежедневную работу. Гдѣ въ этихъ зрѣлищахъ святое? Гдѣ тутъ Богъ, Его правда, святыня власти Имъ установленной, величіе и сила закона? Все уничтожается матеріальностію самаго акта, котораго ужасъ производитъ даже какое-то пріятное, чувственное раздраженіе, будучи общимъ пиромъ многочисленной толпы. Что же дѣлать, спросите вы? Уничтожить казнь? Нѣтъ! Страхъ казни есть то же въ цѣломъ народѣ, что совѣсть въ каждомъ человѣкѣ отдѣльно. Не уничтожайте казни, но дайте ей образъ величественный, глубоко трогающій и ужасающій душу; удалите отъ ея совершенія все чувственное; дайте этому совершенію характеръ таинства, чтобы при этомъ совершеніи всякой глубоко понималъ, что здѣсь происходитъ нѣчто принадлежащее къ высшему разряду, а не варварской убой человѣка, какъ быка на бойнѣ; сдѣлайте, чтобы казнь была не однимъ механическимъ дѣйствіемъ общественной машины, или просто ариѳметическимъ вычитаніемъ одной цифры изъ общей суммы; сдѣлайте, чтобы казнь была не однимъ актомъ правосудія гражданскаго, но и актомъ любви христіанской, чтобы она, уничтожая преступника, врага гражданъ, возбуждала состраданіе къ судьбѣ его въ сердцахъ его братьевъ, чтобы его земная погибель была общимъ горемъ, чтобы всякій видѣлъ, что неумолимое правосудіе, заботясь о сохраненіи порядка общественнаго уничтоженіемъ его возмутителя, не менѣе заботится о спасеніи души осужденнаго; наконецъ, главное, сохраните для вѣчности душу несчастнаго, котораго законъ вашъ убиваетъ во времени, давъ ему возможность взглянуть съ умиленіемъ въ глаза неизбѣжной смерти, и помогите смягчиться душѣ его для покорности и покаянія. Но какъ это сдѣлать? Средство простое. Совершеніе казни не должно быть зрѣлищемъ публичнымъ; оно должно быть окружено таинственностію страха Божія; мѣсто, на которомъ совершается казнь, должно быть навсегда недоступно толпѣ; за стѣною, окружающею это мѣсто, толпа должна видѣть только крестъ, подымающійся на главѣ церкви, воздвигнутой Богу милосердія въ виду человѣческой плахи—эта неприступность и таинственность будетъ дѣйствовать на душу зрителя [ничего не видящаго, но все воображающаго] гораздо сильнѣе, и въ то же время гораздо спасительнѣе и нравственнѣе всѣхъ конвульсій висѣлицы и криковъ колесованія. Съ той минуты какъ преступникъ осужденъ и принялъ свой приговоръ отъ суда человѣческаго, онъ долженъ считаться принадлежащимъ одному суду Божію; его послѣднія минуты, какъ для спасенія души его, покидающей землю, такъ и для благотворнаго поученія на землѣ остающимся, должны быть освящены религіею. Смягчится ли его сердце или нѣтъ — это въ рукѣ Божіей; но человѣческій законъ долженъ оправдать совершаемое имъ человѣкоубійство всѣми заботами о небесной судьбѣ своей земной жертвы; чрезъ это и самая казнь получитъ знаменованіе высокое — праведнаго воздаянія, иначе она не иное что, какъ безжалостное кровопролитіе. Казнь преступника должна возбудить въ ея свидѣтеляхъ не одинъ страхъ наказанія [котораго впрочемъ она и не возбуждаетъ въ своемъ теперешнемъ отвратительномъ видѣ]; она должна возбуждать всѣ высокія чувства души человѣческой: вѣру, благоговѣніе передъ правдой, состраданіе, любовь христіанскую. Разсмотримъ ближе нашъ предметъ. Преступникъ осужденъ на смерть, и день, въ который онъ долженъ покинуть землю, объявленъ ему; этотъ день возвѣщенъ и народу. Чувства

наканунѣ этого дня призовутъ христіанъ на молитву по церквамъ о душѣ умирающаго брата, пускай во всѣхъ церквахъ слышится голосъ христіанъ, умоляющихъ Бога, чтобы грѣшникъ, приступая къ концу своему, съ Нимъ примиренный, и принялъ смерть съ покаяніемъ на очищеніе души своей, и чтобы милосердіе Божіе не отвергло души его. Такое призваніе на молитву конечно будетъ сильно и нравственно дѣйствовать, ибо тутъ молитва не просто богослужебный обрядъ, но и глубоко потрясающее душу приготовленіе къ важному событію, которое должно на другой день совершиться; не можетъ быть, чтобы она кѣмъ нибудь, или по крайней мѣрѣ большинствомъ не была услышана, не была произнесена съ тѣмъ чувствомъ, которое оставляетъ неизгладимые слѣды на сердцѣ. Между тѣмъ внутри темницы и позже на мѣстѣ казни все должно имѣть характеръ примирительно христіанскій. Осужденный знаетъ, что онъ не будетъ преданъ на поруганіе любопытной толпы; что онъ изъ уединенія темницы перейдетъ черезъ церковь въ уединеніе гроба. Эта тревога, столь многихъ приводящая къ отчаянію и къ самоубійству, не разстроиваетъ и не раздражаетъ души его; онъ оставленъ на произволъ собственнаго размышленія, которое лучше всего приготовитъ его къ присутствію Божію на послѣдней исповѣди. Если же онъ и не смягчится въ эти первыя минуты, въ которыя надобно ему вдругъ познакомиться съ непонятною, приводящею въ оцѣпененіе мыслію о скоромъ и неизбѣжномъ концѣ жизни, то, вѣроятно, при переходѣ отъ тюрьмы къ церкви, гдѣ встрѣтитъ его чаша примиренія, произойдетъ въ немъ этотъ спасительный, душевный переломъ скорѣе и рѣшительнѣе, нежели въ присутствіи толпы, развлекающей, стыдящей и окаменяющей душу своимъ оскорбительнымъ любопытствомъ; на пути отъ церкви къ мѣсту казни онъ будетъ провожаемъ пѣніемъ, выражающимъ молитву о его душѣ, и это пѣніе не прежде умолкнетъ какъ въ минуту его смерти. И когда это будетъ совершаться внутри ограды, вокругъ которой конечно будетъ собрана толпа народная, двери этой ограды будутъ заперты; изъ-за нея будетъ слышно только одно умоляющее пѣніе. Не будетъ кроваваго зрѣлища для глазъ; но будетъ таинственное, полное страха Божія и состраданія человѣческаго для души. И какое зрѣлище! Никакими глазами не увидишь того, что въ одну такую минуту можетъ показать душѣ воображеніе. А когда пѣніе вдругъ замолчитъ—что представитъ себѣ это растроганное воображеніе? И съ какимъ впечатлѣніемъ разойдется толпа, которая видѣла передъ собою наказующую смерть во всей таинственности ея ужаса и не была развлечена никакимъ всенароднымъ представленіемъ, всегда увеселительнымъ, сколь бы оно ни было ужасно? Такой образъ смертной казни будетъ въ одно время и величественнымъ актомъ человѣческаго правосудія, и убѣдительною проповѣдью для нравственности народной.

ПРИМѢЧАНІЯ.

Сокращенный планъ ученія. Письмо къ Жиллю.

Ф. А. Жилль [Gille] былъ преподавателемъ французскаго языка при наслѣдникѣ цесаревичѣ.

Записка о Н. И. Тургеневѣ.

Н. И. Тургеневъ [1789—1871], четвертый сынъ Ивана Петровича Тургенева, принадлежалъ къ семьѣ, съ которой столь тѣсными узами былъ связанъ Жуковскій. Учившись сначала въ томъ же Моск. благор. пансіонѣ, гдѣ получилъ образованіе и Жуковскій,—Николай Тургеневъ докончилъ его въ университетѣ геттингенскомъ, гдѣ главнымъ образомъ занимался изученіемъ исторіи, наукъ юридическихъ и политико-экономическихъ. Уже въ 1818 году вышла его книга: *Опыты теоріи налоговъ*, — трудъ, давшій автору быструю и почетную извѣстность и гдѣ, говоря его собственными словами, авторъ пользовался „всякой представлявшейся ему возможностью“ для нападенія, съ государственной и финансовой точки зрѣнія, на крѣпостное право или безправіе, на этого врага, съ которымъ онъ боролся цѣлую жизнь, — боролся дольше всѣхъ и, быть-можетъ, раньше всѣхъ своихъ современниковъ. Принадлежа и по рожденію, и по связямъ брата Александра къ высшему петербургскому кругу,— Николай Тургеневъ уже въ 1813 г., почти тотчасъ же по окончаніи своихъ занятій въ Геттингенѣ, былъ прикомандированъ къ знаменитому прусскому реформатору Штейну, который въ это время былъ уполномоченнымъ отъ императоровъ русскаго и австрійскаго, и короля прусскаго для организаціи Германіи,—и который о своемъ молодомъ помощникѣ замѣтилъ, что имя Николая Тургенева „равносильно съ именами честности и чести“... Передъ Николаемъ Тургеневымъ открывалась блестящая карьера; императоръ Александръ не однажды выражалъ свое мнѣніе, что только Тургеневъ можетъ замѣнить ему Сперанскаго... Событіе 14-го декабря, въ которомъ было замѣшано имя Н. Тургенева, все измѣнило. Выѣхавъ въ 1824 г. въ званіи статсъ-секретаря и еще молодымъ человѣкомъ за границу, случайно, для поправленія своего, всегда слабаго здоровья,— Николай Тургеневъ увидѣлъ Россію лишь въ 1857 году уже старцемъ... Николай Тургеневъ настойчиво опровергалъ обрушившіяся на него обвиненія Слѣдственной Комиссіи, утверждая свою непричинность въ дѣлѣ 14-го декабря; въ невинности его были увѣрены и его ближайшіе друзья,—въ ихъ числѣ и Жуковскій... Ходатайство Жуковскаго, хотя и не тотчасъ, имѣло свое дѣйствіе,—и Тургеневу, осужденному Слѣдственной Комиссіей на смертную казнь, уже въ самомъ началѣ 30-хъ гг. разрѣшено было свободное проживаніе вездѣ за границей. Императоромъ Александромъ II возвращены были Тургеневу его чины и дворянство,—а равно и свободный въѣздъ въ Россію. Въ эти послѣдніе годы своей жизни, Тургеневъ принималъ дѣятельное участіе въ обсужденіи вопроса объ уничтоженіи крѣпостного *права въ Россіи* и имѣлъ счастіе наконецъ увидѣть исполненіе своихъ завѣтныхъ надеждъ и мечтаній. Въ 1868 г., восьмидесятилѣтнимъ старцемъ, Тургеневъ писалъ: „Если... я былъ такъ преданъ Александру Первому за одно его желаніе освободить крестьянъ,— то каковы должны быть мои чувства къ тому, кто совершилъ это освобожденіе, и совершилъ столъ мудрымъ образомъ? Ни одинъ изъ освобожденныхъ не питалъ въ душѣ болѣе любви и преданности къ Освободителю, нежели сколько я питаю, видя, наконецъ, низвергнутымъ то дѣло, которое мучило меня въ продолженіе всей моей жизни!..“

Помѣщаемъ здѣсь письмо Николая Тургенева, которое было приложено къ „Запискѣ“ Жуковскаго:

„Всемилостивѣйшій государь!

„Уже скоро годъ, какъ я ношу на себѣ имя измѣнника противъ отечества и государя. Я самъ навлекъ на себя это несчастіе. Своею неявкою лишилъ я себя средствъ доказать свою невинность. Не оправдываю себя въ сей настоящей винѣ моей. Но, государь, за сію единственную мою вину, за которую въ нашихъ законахъ не положено и наказанія, мнѣ назначена казнь выше казни уличенныхъ измѣнниковъ.

„Носивъ, въ продолженіе года, въ молчаніи и съ покорностію къ Промыслу, на себѣ бремя сего осужденія, смѣю теперь думать, что я получилъ право просить прощеніе въ томъ, въ чемъ не могу совершенно оправдать себя, т. е., въ моей неявкѣ, и снять съ себя ту вину, которой не былъ причастенъ. Сія вина, вовсе мнѣ чуждая, не тяготитъ моей совѣсти, хотя осужденіемъ меня въ оной я и лишенъ навсегда и безвозвратно лучшаго изъ благъ земныхъ: возможности быть на что-либо годнымъ землѣ своей, и самаго необходимаго благополучія: жить въ землѣ своей. Чувство чистой совѣсти и обязанности мои, какъ человѣка и христіанина, требуютъ, чтобы я съ твердостью переносилъ несчастія не заслуженныя. Съ помощію Бога Всемогущаго, я надѣюсь переносить ихъ терпѣливо; но моя неявка, сія дѣйствительная вина моя, сильно бременитъ меня и, несмотря на безнадежность моего положенія, я не могу не искать облегченія отъ сего бремени въ великодушіи вашего императорскаго величества. Предъ вашимъ императорскимъ величествомъ я виновенъ. Къ вамъ, всемилостивѣйшій государь, и обращаюсь. Снятіе съ меня сего бремени, единственною моею виною причиненнаго, сдѣлаетъ меня совершенно невиннымъ и позволитъ мнѣ жить и умереть, какъ я жилъ доселѣ: съ чувствомъ ненарушенныхъ обязанностей ни въ какомъ отношеніи.

„Что побудило меня не явиться? Скажу откровенно: я былъ въ отдаленіи, не совсѣмъ оправившись отъ продолжительной болѣзни. Характеръ вашего императорскаго величества былъ мнѣ тогда неизвѣстенъ. Я зналъ, что противъ меня было сильное предубѣжденіе, основанное на образѣ мыслей монхъ, которыя я никогда не скрывалъ и обнаруживалъ, можетъ-быть, съ излишнею рѣзкостью, но щадя ничьего самолюбія, и тѣмъ самымъ подалъ поводъ къ заключеніямъ насчетъ моихъ правилъ,

неблагопріятнымъ, даже враждебнымъ, но вообще несправедливымъ: ибо, думая только объ одномъ освобожденіи отъ рабства крестьянъ, занятый исключительно сею мыслію, мыслію, любимою и покойнаго государя, я всегда былъ, и мѣшаніями, и поступками, врагомъ безпорядка и убійства. Но предубѣжденіе существовало, и я не могъ думать, что меня будутъ судить безпристрастно, тѣмъ болѣе, что и само правительство, прежде нежели судъ рѣшилъ, злодѣй ли я или нѣтъ, уже нѣкоторымъ образомъ признало меня преступникомъ; ибо мнѣ сказано было, именемъ вашего императорскаго величества, что я буду немедленно объявленъ [signalé] государственнымъ измѣнникомъ, если не явлюсь къ отвѣту. Все сіе могло рѣшить меня на поступокъ непозвительный, котораго не хочу оправдывать. Но, повторяю, не страхъ за преступленіе, коему я не былъ причастенъ, но опасеніе, что меня обвинятъ по одному предубѣжденію, рѣшило меня не явиться. Предъ тѣмъ я послалъ письменное объясненіе. Оно не могло быть ни подробно, ни удовлетворительно; ибо я не зналъ всей обширности и важности того ужаснаго дѣла, въ которомъ я казался замѣшаннымъ, и не могъ отразить тѣхъ обвиненій, коихъ не могъ ни угадывать, ни почиталъ возможными. Мое объясненіе не было принято въ уваженіе, и я, въ отсутствіи, безъ собственнаго признанія и безъ всякихъ убѣдительныхъ причинъ, осужденъ, какъ участникъ въ заговорѣ противъ отечества и жизни государя.

„Довѣренность къ вашей строгой справедливости, обязанность противъ моего отечества, которому служилъ съ пламенною любовію и безкорыстіемъ, обязанность противъ самого себя и особенно благодарность къ тому, который, зная образъ моихъ мыслей, отдавалъ мнѣ справедливость и противъ жизни котораго признанъ я неистовымъ заговорщикомъ, побудили меня обратить безпристрастный взоръ на прошедшую жизнь мою. Покойному государю наиѣстно было, что́ я въ разное время говорилъ; извѣстно было, къ какому обществу я принадлежалъ; но онъ все простилъ мнѣ—и мои рѣзкія слова, и мои рѣзкія мнѣнія, и принадлежность къ тайному обществу, впрочемъ, не преступному. Онъ не только продолжалъ употреблять меня по дѣламъ службы, но принялъ съ благоволеніемъ проектъ мой о рабствѣ, какъ пожеланіе, исполнилъ опое свято и почиталъ себя чуждымъ всего, кромѣ благодарности къ тому, кто покрылъ забвеніемъ прошедшее и съ нимъ мои заблужденія. И въ чужихъ краяхъ получалъ я предложеніе, по волѣ покойнаго государя, принять новое мѣсто; слышалъ, что и незадолго до кончины его, меня поразившей, онъ не перемѣнилъ обо мнѣ своего мнѣнія.

„Приношу, государь, къ вашему трону мою исповѣдь; въ ней все сказано. Если бы съ нею въ рукахъ явился я предъ судъ, то она опровергнула бы неосновательныя показанія моихъ обвинителей и спасла меня отъ осужденія. Судьи мои, тѣ, кои могли поставить меня на ряду съ измѣнниками и убійцами, не примутъ ея. Но вы, государь, судья моихъ судей, обратите на нее взглядъ внимательный. Именемъ вашимъ погублена моя честь предъ лицомъ моего отечества. Вы бы спасли ее, когда бы мой голосъ дошелъ до васъ прежде приговора! Но и послѣ приговора этотъ голосъ будетъ до васъ доступенъ. Екатерина сказала: лучше простить десять виновныхъ, чѣмъ наказать одного невиннаго.

„Я невиненъ, а вы на престолѣ Екатерины.

„Вашего императорскаго величества вѣрноподданный Николай Тургеневъ.

Апрѣль, 1827."

Черновое письмо

ЖУКОВСКАГО КЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНѢ ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѢ ОБЪ ЭКЗАМЕНѢ, ВОСПИТАНІИ И УЧЕНІИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА. 1828.

„Вчера кончился нашъ экзаменъ, о успѣхѣ котораго Карлъ Карловичъ [Мердеръ] донесъ уже вашему императорскому величеству; имѣю честь представить вамъ, всемилостивѣйшая государыня, и мое донесеніе. Могу сказать съ совершеннымъ удовольствіемъ, что великій князь и его товарищи отвѣчали на всѣ сдѣланные имъ вопросы такъ, какъ только желать было можно. Его высочество и Вѣльгорскій получили одинаковое число баловъ. Наткуль сказался слабѣе; но это не могло и быть иначе: онъ менѣе ихъ употребилъ времени на ученье,—во многомъ еще назади и долженъ ихъ догонять. Я увѣренъ, что вашему величеству было бы пріятно присутствовать на этомъ экзаменѣ. Государыня императрица была имъ довольна. Не могу не отдать справедливости великому князю: онъ во все время былъ чрезвычайно внимателенъ; доказалъ, что можетъ владѣть собою, выражался съ живостію, ясностію, словомъ, хотѣлъ сдѣлать, что должно—и сдѣлалъ. Я поблагодарилъ его отъ всего сердца. Не въ то же время и долженъ былъ сказать ему, что четыре дня, въ которые прекрасно была исполнена должность, весьма мало значатъ въ цѣломъ счетѣ его жизни; что онъ не долженъ слишкомъ много ими радоваться, если тѣ дни, которые имъ предшествовали, имъ не отвѣчаютъ. Государыня императрица изъ прекрасныхъ четырехъ дней экзамена могла заключить, что всѣ прежніе дни были на нихъ похожіе: но это было бы заблужденіе... Несмотря на то, всемилостивѣйшая государыня, я радуюсь нашимъ экзаменомъ. Онъ короче познакомилъ меня съ великимъ княземъ. Я теперь гораздо болѣе за него надѣюсь; вижу, что онъ имѣетъ умъ здравый; что въ этомъ умѣ все врѣзывается и сохраняется въ ясномъ порядкѣ; вижу, что онъ имѣетъ много живости; вижу, что онъ способенъ къ благородному честолюбію, которое можетъ довести его далеко, если соединится съ нимъ твердая воля; вижу, наконецъ, что онъ способенъ владѣть собою, по сему и имѣю право надѣяться, что онъ, какъ скоро пойметъ всю важность слова должность, будетъ умѣть владѣть собою. Въ этомъ отношеніи не могу не сказать, что великій князь заслужилъ за экзамены полное одобреніе ваше и государя императора. До сихъ поръ онъ только зналъ, что всѣ мы, которые окружаемъ его, которымъ государь и вы поручили его съ такою довѣренностію, любимъ его искренно; что его счастіе составляетъ единственную цѣль нашей жизни; онъ это видѣлъ на опытѣ, но теперь онъ почувствуетъ, что наша любовь для него не довольна, что ему должно стараться наконецъ заслужить и наше уваженіе, а уваженіе даромъ не достается; оно дается только за постоянство въ добрѣ: только того можно уважать... Кажется, можно теперь за него поручиться. Кажется, можно предсказать, что мы въ будущій экзаменъ, похваливъ его за хорошіе отвѣты, будемъ въ состояніи прибавить къ этой похвалѣ и другую, гораздо важнѣе: похвалу за постоянство и дѣятельность; желаю сердечно, чтобы это пророчество исполнилось совершенно.

„Здѣсь я долженъ сообщить вашему величеству прекрасную мысль Карла Карловича. Исполненіе этой мысли зависитъ отъ воли великаго князя и его товарищей и истинное, чистое счастіе будетъ ихъ наградою, если они все сдѣлаютъ, чтобы эту мысль исполнить. Вотъ мысль Карла Карловича: получить право сдѣлать добро есть величайшая награда, какую только человѣку заслужить можно. До сихъ поръ изъ денегъ великаго князя дѣлали помощь тѣмъ, кто имѣлъ въ ней нужду. Но такое добро дѣлалось безъ вѣдома великаго князя, только потому, что были деньги, на это опредѣленныя по волѣ государя императора. Тѣ, которымъ помогали, были довольны. Но какое участіе имѣлъ великій князь въ томъ добрѣ, которое дѣлалось его именемъ? Никакого. Карлъ Карловичъ полагаетъ, что и великій князь и его товарищи должны заслуживать счастіе дѣлать добро своимъ поведеніемъ и ученіемъ; и вотъ его мысль: кто въ теченіи цѣлой недѣли исполнялъ свою должность во всѣхъ отношеніяхъ, кто заслужилъ всѣ хорошія отмѣтки въ нашемъ журналѣ, тотъ получаетъ сверхъ того право внести

и нѣкоторую сумму денегъ въ особенную кассу, которая называется кассою благотворенія. Два раза въ годъ, послѣ каждаго экзамена, будетъ считаемо, сколько кѣмъ собрано денегъ и, смотря по тому каковъ былъ экзаменъ, будетъ даваться право употребить выслуженныя деньги на благотвореніе. Такого рода благотвореніе будетъ истинное, не только полезное для несчастнаго, имѣющаго въ немъ нужду, но и вполнѣ благодѣтельное для самого благотворителя: ибо онъ самъ тѣмъ, что дѣлаетъ его достойнымъ милости Божіей, пріобрѣлъ право явить эту милость налъ другимъ. Если положить, что каждый изъ троихъ товарищей въ теченіи цѣлаго полугода не потерялъ ни одной недѣли, то къ концу полугода составятся три значительныя суммы, изъ которыхъ каждая можетъ будетъ спасти цѣлое семейство. Что за радостныя мысли: я былъ благотворителемъ цѣлаго семейства, и былъ имъ потому, что исполнилъ волю Божію, утвердился въ добрѣ и самъ сдѣлался достойнѣе любви.

„Я увѣренъ, что сердце вашего величества будетъ согласно съ благороднымъ сердцемъ нашего Мердера, и что государь императоръ благоволитъ одобрить его намѣреніе. Но я долженъ здѣсь сказать, что въ теченіи слѣдующаго полугода мы еще не начнемъ собирать предположенной суммы; и вотъ по какой причинѣ. Тому уже нѣсколько недѣль, какъ прекрасная мысль Карла Карловича была у насъ объявлена, и мы думали приступить немедленно къ ея исполненію; но что же вышло? Одинъ только Вѣльгорскій, и послѣ объявленія, имѣлъ сряду двѣ недѣли, въ которыхъ всѣ отмѣтки были хорошія. Ни великій князь, ни Паткуль не выдержали. Это заставило насъ подумать, что такого рода награды еще не по ихъ силамъ, и мы положили, что въ слѣдующія полгода сумма наша собираться не будетъ; что въ эти полгода можно только пріобрѣсть право на ея собраніе, которое не прежде начнется, какъ съ будущаго года. Увидимъ, что скажетъ намъ полный разсчетъ нашей настольной книги? Тотъ, кто будетъ имѣть двѣ трети недѣль замѣченныхъ отлично, получитъ съ новаго года право начать вносить свои суммы въ кассу благотворенія; кто же не будетъ имѣть сего числа, для того это счастіе отложится на полгода. И это право можетъ быть потеряно, смотря по тому, каковъ будетъ послѣ полугодовой счетъ недѣль отличныхъ. Благотвореніе есть нѣчто святое. Не всякой, имѣющій деньги, можетъ смѣть называться благотворителемъ! Это храмъ, въ которомъ присутствуетъ Богъ и въ который надобно входить съ чистымъ сердцемъ. Но справедливость требуетъ, чтобы Вѣльгорскій, который выдержалъ двѣ недѣли, въ надеждѣ сдѣлать добро, получилъ награду за свое усиліе. Эти двѣ недѣли будутъ исключеніемъ изъ общаго правила. Также и государынѣ императрицѣ, которая была чрезвычайно довольна нашимъ экзаменомъ, угодно было утѣшить великаго князя достойнымъ его образомъ; почему и положено, чтобы за этотъ экзаменъ каждый изъ трехъ получилъ право сдѣлать добро. Само по себѣ разумѣется, что Вѣльгорскій, сверхъ общаго права съ другими, имѣетъ еще и собственное, имъ самимъ выслуженное.

„Изъ тона, съ какимъ до сихъ поръ было писано письмо мое, ваше величество могли сами замѣтить, что оно писано не для однихъ васъ; я прочиталъ его великому князю. Кажется, что оно произвело хорошее дѣйствіе. Теперь у насъ началась вакація: она продолжится до 15 августа. Въ это время будемъ только повторять старое и заниматься особенно чтеніемъ, на которое будутъ посвящаемы утренніе часы. Будемъ читать французскія, русскія и нѣмецкія книги, но еще просто занимательныя; между прочимъ, однако и статьи изъ *Иліады*. Въ Гомерѣ много привлекательнаго для дѣтей. Я ничего такъ не желаю, какъ вселить въ великомъ князѣ охоту къ чтенію. До сихъ поръ еще не было и начала ея. Боюсь, чтобы пристрастіе къ военному не зашло къ намъ въ душу и многому не помѣшало. А хорошія книги — вѣрнѣйшіе друзья частнаго человѣка и настоящіе совѣтники государей; онѣ не дьстятъ, а заставляютъ мыслить, и возбуждаютъ уваженіе ко всему человѣческому.

„Остальное время отъ чтенія и утреннихъ занятій будетъ посвящено прогулкамъ, играмъ, свободѣ; иногда будемъ читать что-нибудь пріятное и на открытомъ воздухѣ. Во время вакацій особенно займусь тѣмъ, чтобы великій князь пріучился правильнѣе выражаться по русски и получилъ навыкъ лучше читать. До сихъ поръ я обращалъ на это менѣе вниманія; но изъ писемъ его, писанныхъ по русски, которыя никогда не поправляются, ни въ слогѣ, ни въ правописаніи, можно уже видѣть, что онъ со временемъ будетъ имѣть слогъ; онъ выражается очень непринужденно и просто: пускай прежде научится думать, разбогатѣетъ идеями и чувствами, тогда получитъ и слогъ; а въ этомъ не сомнѣваюсь.

„По окончаніи вакацій, въ теченіи послѣдней половины нынѣшняго года, надѣюсь пройти все то, что служитъ для насъ приготовленіемъ къ исторіи. Особенно займемся естественною исторіею: эту часть я поручилъ академику Триніусу, который приготовилъ и прислалъ уже общій взглядъ, сообразно съ моею методою: познакомиться съ произведеніями природы и съ человѣкомъ въ отношеніи къ ней. Мы хорошо узнаемъ ту сцену, на которую приведетъ насъ исторія на будущій годъ: это сдѣлаетъ и самое преподаваніе исторіи гораздо привлекательнѣе. Судя по тому, какъ идетъ наше ученіе, я, кажется, могу сказать, что я не ошибся въ своемъ планѣ и въ своей методѣ. Мы подвигаемся впередъ медленнымъ, но твердымъ шагомъ. Мы знаемъ не много, но то, что знаемъ — наше. Это главное; тѣмъ болѣе выиграемъ времени и тѣмъ быстрѣе пойдемъ впередъ впослѣдствіи.

„Въ заключеніе почитаю обязанностью сказать, что всѣ учители, нами избранные, исполняютъ обязанность свою съ благородною ревностію. Не могу не радоваться ихъ безкорыстнымъ единодушіемъ. Что же касается до меня самого, то я совершенно счастливъ моимъ товариществомъ съ нашимъ почтеннымъ, рѣдкимъ Мердеромъ. Мы идемъ съ нимъ къ святой нашей цѣли рука въ руку: еще не было между нами ни минуты разномыслія. Будетъ ли успѣхъ, это зависитъ отъ Провидѣнія. Но отъ насъ зависитъ дѣйствовать такъ, чтобы мы не могли упрекнуть себя въ произвольномъ препятствіи успѣху.

„Оканчиваю письмо мое обыкновеннымъ, любимѣйшимъ словомъ моего сердца: сохрани Богъ васъ и государя императора."

Письмо Жуковскаго къ неизвѣстному лицу о преподаваніи наслѣднику цесаревичу свѣдѣній о Польшѣ.

„М. г. Иванъ Михайловичъ! Обращаюсь къ вамъ съ важнымъ дѣломъ. Передъ отъѣздомъ государя императора изъ Петербурга я представилъ его величеству записку о томъ, что для великаго князя настало время имѣть при себѣ настоящаго человѣка, знающаго хорошо польскій языкъ, польскую литературу и вообще Польшу. Я просилъ государя обратить свое вниманіе на этотъ важный выборъ во время своего пребыванія въ Варшавѣ. Между прочимъ я сказалъ: „При цесаревичѣ [Константинѣ Павловичѣ] находится человѣкъ, имѣющій основательныя знанія, знакомый хорошо съ Польшею и достойный уваженія по характеру: Фовицкій. Если бы могли его имѣть, то онъ былъ бы весьма намъ полезенъ; не знаю однако, можетъ ли онъ покинуть занимаемое имъ мѣсто. Во всякомъ случаѣ онъ поможетъ намъ въ пріисканіи человѣка". Вы, почтенный Иванъ Михайловичъ, хорошо знаете Фовицкаго: поговорите съ нимъ, не согласится ли онъ перемѣнить Варшаву на Петербургъ? А если не согласится, то не возьмется ли отыскать намъ такого же надежнаго человѣка, каковъ онъ самъ? Дѣло важное. Будущаго царя Польши надобно знакомить съ Польшею и заставить полюбить ее. Надобно, чтобы онъ узналъ ее такою, какова она есть, безъ предубѣжденій, безъ односторонности; надобно, чтобъ онъ узналъ, что она теперь, чего ей не-

достаетъ, что ей имѣть должно; чтобы онъ, познакомившись съ ея прошедшимъ и настоящимъ, могъ полюбить ея будущее, какъ слѣдуетъ царю, которому надлежитъ на небѣ, простертомъ надъ двумя подластными ему народами, поставить свѣтлую радугу союза. Прошу васъ, любезный Иванъ Михайловичъ, все это передать отъ меня Фовицкому, и увѣдомить меня, что скажетъ этотъ почтенный человѣкъ, которому, также какъ и вамъ, отъ всего сердца пожимаю руку. Простите. Если будете отвѣчать мнѣ, пишите въ Шепелевской дворецъ. Преданный вамъ Жуковскій.

Апрѣля 5 (1829)."

Изъ Собирателя 1829 г.

Собиратель. Первый годъ. № 1. 1829 [мѣсто изданія не означено; цензуры также нѣтъ]. Маленькая брошюра, in 8°, всего 19 страницъ. Взятыя статьи занимаютъ стр. 9—12.

К. К. Мердеръ.

К. К. Мердеръ (1795—1834) былъ воспитателемъ наслѣдника цесаревича Александра Николаевича.

Письмо Карамзина къ гр. Каподистрія.

Графъ Ив. Ант. Каподистрія [1776—1831], въ теченіи шести лѣтъ [1816—1822] занимавшій постъ русскаго министра иностранныхъ дѣлъ,—по происхожденію былъ грекъ, образованіе свое получилъ въ падуанскомъ университетѣ и сначала служилъ на родинѣ, въ Греціи; послѣ Тильзитскаго мира, Каподистрія перешелъ на русскую службу. Около 1811 г. Каподистрія назначается секретаремъ русскаго посольства въ Вѣнѣ, въ 1813 г. сопровождаетъ императора Александра въ качествѣ начальника канцеляріи, и т. д. Блестящіе таланты, обнаруженные Каподистріемъ на Вѣнскомъ конгрессѣ—быстро обезпечили ему блестящую карьеру, и въ 1816 году онъ былъ назначенъ министромъ иностр. дѣлъ. На этомъ посту онъ остается до 1822 г., работая для укрѣпленія союза между Франціей и Россіей и стараясь удерживать Александра отъ увлеченій идеями Священнаго Союза... Когда началось греческое революціонное движеніе, Каподистрія сталъ во главѣ его, — хотя не безъ колебаній и осторожностей; въ 1827 г. народнымъ собраніемъ въ Трезенѣ Каподистрія былъ избранъ „предсѣдателемъ греческаго правительства" [собственно: κυβερνήτης'омъ], — и имѣлъ, кажется, дѣйствительно честолюбивые планы стать его главой, но въ октябрѣ 1831 года былъ убитъ однимъ изъ своихъ политическихъ враговъ... Каподистрія былъ въ самыхъ близкихъ, дружественныхъ сношеніяхъ съ Карамзинымъ, Жуковскимъ, Александромъ Тургеневымъ и вообще „арзамасцами". По отзыву Карамзина [въ письмѣ къ Дмитріеву, въ 1816 г.], это — „умнѣйшій человѣкъ изъ нѣшняго двора; кажется искреннимъ, однако жъ не безъ тонкостей..." „Государь, императрица любятъ хвалить его и я безъ лести могу имъ вторить..."— пишетъ Карамзинъ къ тому же Дмитріеву, въ другомъ письмѣ, въ 1817 г.: „хотя идеи не всегда ясны, и хотя онъ иногда доказываетъ безъ доказательствъ; хотя нѣсколько мудритъ въ словахъ и любитъ метафизическія фразы: но выборъ этого человѣка дѣлаетъ честь государю..." Сколь высокаго мнѣнія былъ о Каподистріи Жуковскій, показываетъ тотъ фактъ, что уже приглашенный къ обязанностямъ воспитателя наслѣдника, Жуковскій настойчиво отказывается въ письмѣ къ императрицѣ отъ возлагаемыхъ на него этихъ высокихъ обязанностей,—рекомендуя вмѣсто себя Каподистрія...

Изъ письма къ издателю „Библіотеки для Чтенія", о романѣ „Князь Скопинъ-Шуйскій, или Россія въ началѣ XVII столѣтія", — О. Шишкиной.

„Авторъ, скрывающій настоящее свое имя подъ вымышленнымъ, въ которомъ ему принадлежатъ одни *только заглавныя буквы*, позволилъ мнѣ прочитать *всѣ четыре тома своей рукописи*; это чтеніе доставило мнѣ величайшее удовольствіе, и я убѣжденъ, сколько могу вѣрить собственному чувству, что такое же дѣйствіе произведетъ оно и надъ другими читателями. Занимательность происшествій, въ которыхъ наблюдено строгое согласіе съ Исторіею, вѣрное изображеніе дѣйствующихъ лицъ и времени, въ которое они дѣйствуютъ, пріятность и простота слога, согрѣтаго теплымъ патріотическимъ чувствомъ, составляютъ главное достоинство сего романа. Онъ скоро будетъ отданъ въ печать: между нимъ и трагедіею г. Кукольника: „Скопинъ-Шуйскій", не можетъ быть ничего общаго, хотя бы авторъ романа и встрѣтился гдѣ-нибудь, сверхъ чаянія, съ мыслями трагика. Но онъ не можетъ быть обвиненъ въ похищеніи, потому что романъ былъ конченъ прежде появленія въ свѣтъ трагедіи." Извлеченіе это изъ письма напечатано редакторомъ „Б—ки для Чтенія" при отрывкѣ изъ названнаго романа, помѣщенномъ въ журналѣ [„Б—ка для Чт.", 1835, № 2, стр. 196 sqq; отрывокъ носитъ заглавіе: *Чернецъ Уаръ. Эпизодъ изъ временъ междуцарствія*]. Отрывокъ былъ сообщенъ редакціи В. А. Жуковскимъ. Авторомъ романа—О. Шишкиной — взятъ былъ псевдонимъ: О. Шебанко.

Послѣднія минуты Пушкина.

Помѣщаемъ здѣсь нѣсколько небольшихъ записокъ Жуковскаго, такъ или иначе связанныхъ съ событіемъ преждевременной смерти Пушкина:

О Современникѣ. „Изданіе 1836. Оставшіеся экземпляры продать гуртомъ. Кто возьмется завѣдывать изданіемъ 1837? Въ объявленіяхъ упомянуть объ нихъ. Изъ вырученной суммы уплатить долгъ въ типографію, если она не захочетъ принять долгъ экземплярами.—Онѣкъ истребовать деньги отъ тѣхъ, кои получили экземпляры, черезъ комиссіонера, который получитъ офиціальную бумагу отъ опеки, или черезъ секретаря.

„Изданіе 1837. Опекѣ сдѣлать условіе съ типографіею.—Опекѣ сдѣлать условіе съ комиссіонерами [Плюшаромъ или Смирднымъ?]. — Книжки выдать по-очереди: 1-ю Плетневымъ, 2-ю Краевскимъ, 3-ю Одоевскимъ, 4-ю Вяземскимъ. — Они завѣдываютъ сношеніями съ цензурою, съ типографіею, корректорами и съ комиссіонеромъ. Составленіе статей принадлежитъ всѣмъ. Присылаемыя статьи принимать и разсматривать очередно.

„Дѣло комиссіонера. Отбираетъ деньги у книгопродавцевъ по подпискѣ; входитъ въ сношенія съ почтовою экспедиціею. — Представляетъ ихъ въ опеку и онѣ кладутся въ ломбардъ. По отпечатаніи книжки дѣлаетъ разсчетъ съ типографіею. Завѣдываетъ всею матеріальною частію изданія: переплетомъ книжекъ, раздачею, разсылкою, публикаціями.— Уплата двумъ авторамъ [изъ числа приславшихъ статьи для „Современника"]". [Напеч. было въ „Рус. Арх." 1864, № 7—8].

Отъѣзжая за границу, почитаю необходимымъ передать въ опеку, учрежденную по дѣламъ покойнаго Пушкина, всѣ бумаги его, донынѣ у меня хранившіяся. Здѣсь представляются двѣ имъ описи. Въ описи подъ № 1-мъ означены оригинальные манускрипты Пушкина; въ описи подъ № 2-мъ означены рукописи сочиненія Пушкина, найденныя послѣ его смерти и приготовленныя въ копіи для изданія въ печать.— В. Жуковскій.—24 апрѣля 1838.

Записка къ императору Николаю Павловичу о изданіи сочиненій Пушкина, оставшихся послѣ его смерти.

„Сочиненія Пушкина, оставшіяся по смерти его, собраны и скоро будутъ приготовлены къ изданію въ свѣтъ. Въ числѣ ихъ находится рукопись, содержащая *Матеріалы для исторіи Петра Великаго*, которую я уже имѣлъ счастіе представлять на разсмотрѣніе вашего императорскаго величества. Тогда вы соизволили замѣтить, что сія рукопись издана быть не можетъ по причинѣ многихъ неприличныхъ выраженій на счетъ Петра Великаго. Теперь манускриптъ пересмотрѣнъ со вниманіемъ, и все замѣченное или выброшено, или исправлено.—Исправши-

ваю всеподданнѣйше позволенія у вашего императорскаго величества напечатать сію рукопись, ибо исключеніемъ оной изъ сочиненій Пушкина прибыль отъ изданія ихъ въ пользу его дѣтей можетъ уменьшиться 25.000-ми рублями. Всеподданнѣйше испрашиваю также у вашего императорскаго величества разрѣшенія и о томъ, чтобы все собраніе сихъ сочиненій представить на разсмотрѣніе въ обыкновенную цензуру, какъ то было уже и со многими сочиненіями того же автора, напечатанными послѣ его смерти.—Февраля 1840 года."

Пожаръ Зимняго дворца.

Статья печатается по тексту, изданному академикомъ Гротомъ. „Эта записка—замѣчаетъ о статьѣ акад. Гротъ,—найдена мною въ двухъ экземплярахъ, между бумагами П. А. Плетнева, съ своеручными поправками Жуковскаго и съ такою же подписью полнаго его имени. Къ одному изъ экземпляровъ была приложена слѣдующая бумага отъ 31 января 1838 года: „Министръ императорскаго двора честь имѣетъ увѣдомить г. издателя „Современника", что онъ имѣлъ счастіе представлять государю императору возвращаемую при семъ *статью о пожарѣ Зимняго дворца*, но что на напечатаніе оной высочайшаго соизволенія не послѣдовало, поелику довольно уже было писано въ публичныхъ листкахъ о семъ несчастномъ событіи. Князь Волконскій". Статья Жуковскаго составляетъ видное дополненіе къ тѣмъ запискамъ о томъ же пожарѣ, которыя напечатаны были въ „Русскомъ Архивѣ" 1865 и 1869 годовъ. Къ нимъ слѣдуетъ присоединить еще записку князя Вяземскаго: *„Incendie du palais d'hiver à St.-Pétersbourg"*, изданную въ Парижѣ, въ 1838 году, особою брошюрою, а передъ тѣмъ напечатанную въ выходившемъ въ Петербургѣ французскомъ журналѣ [кажется, „Revue étrangère"]. „Сборникъ II Отд. И. Ак. Н.", т. XXXII, Спб., 1883, стр. 16.

Рѣчь на юбилеѣ И. А. Крылова.

Рѣчь Жуковскаго была произнесена имъ на обѣдѣ, данномъ И. А. Крылову литераторами, художниками и любителями отечественной словесности, 2-го февраля 1838 года, въ день его рожденія, въ Петербургѣ—по случаю пятидесятилѣтія литературной дѣятельности Крылова. Современное описаніе этого обѣда было помѣщено въ „Ж. М. Н. Пр." 1838, кн. I, стр. 213—223; въ одномъ изъ примѣчаній къ этому описанію помѣщена и настоящая рѣчь Жуковскаго.

Приведемъ кстати здѣсь небольшую замѣтку Жуковскаго о цензурѣ, связанную съ именемъ Крылова, — вписанную Жуковскимъ въ альбомъ гр. Растопчиной:

„Крыловъ говоритъ о цензурѣ: запрещено впускать въ горницу плѣшивыхъ. У дверей стоитъ сторожъ. Кто чисто плѣшивъ, тому нѣтъ входа. Но тотъ, у кого или лысина, или только показывается на головѣ какъ будто голое мѣсто—что съ нимъ дѣлать? Тутъ и наблюдателю, и гостю худо. А если наблюдатель трусъ, то онъ и приметъ лысину за плѣшь.

„Иванъ, Петръ, Семенъ знаютъ, что у меня въ горницѣ. На столѣ часы, на шкафахъ бюсты и прочее. Все это описано въ бранной піесѣ на меня, но имени моего нѣтъ въ ней. Цензоръ считаетъ описаніе вымысломъ и пропускаетъ его безъ всякаго опасенія. А множество читателей узнаютъ въ немъ не названное лицо по примѣтамъ имъ извѣстнымъ. Виноватъ ли цензоръ, что пропустилъ пасквиль?"

О стихотвореніяхъ Козлова.

Ив. Ив. Козловъ [1779—1840], извѣстный русскій поэтъ, одинъ изъ наиболѣе талантливыхъ представителей „Школы Пушкина", авторъ *Чернеца* [1824], *Княгини Натальи Борисовны Долгорукой* [1828], талантливый переводчикъ произведеній Байрона, Мицкевича, Муре, Вордсворта и др.,—какъ извѣстно, сдѣлался поэтомъ благодаря обрушившемуся на него несчастію: на сороковомъ году жизни Козловъ ослѣпъ. Въ этомъ тяжеломъ положеніи прошли остальныя 20 лѣтъ жизни поэта...

Три письма къ Гоголю.

Упоминаемая въ письмахъ „книга" Гоголя—извѣстная его „Переписка съ друзьями", вышедшая въ 1847 году.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

1826.

Сокращенный планъ ученія государя в. кн. Наслѣдника Цесаревича. Письмо къ Жиллю [Lettre, adressé à Gille]. . . 3

1827.

Проэктъ плана ученія государя в. кн. Наслѣдника Цесаревича, составленный для представленія Государю Императору. 11

*Записка, представленная Императору Николаю Павловичу, по дѣлу Н. И. Тургенева. 13

1829.

Изъ журнала «Собиратель».

а) Польза исторіи для государей. . 23

б) Климатъ физическій и нравственный. 24

1831.

Взглядъ на землю съ неба. 25

1834.

К. К. Мердеръ. 27

Воспоминаніе о торжествѣ 30 августа 1834. 28

Черты исторіи государства россійскаго. 32

стр.

1835.

Письмо Карамзина къ гр. Каподистріи. 50

1837.

Послѣднія минуты Пушкина. . . . 54

1838.

Пожаръ Зимняго дворца. 63

Рѣчь на юбилеѣ И. А. Крылова. . . . 71

1840.

О стихотвореніяхъ Козлова. 72

1845—1850.

Три письма къ Гоголю. 73

Нѣчто о привидѣніяхъ. 88

О меланхоліи въ жизни и въ поэзіи. . 98

Письмо къ графу Ш — ку о происшествіяхъ 1848 г. 106

Письмо къ кн. Вяземскому по поводу стихотворенія Святая Русь. . . . 120

Двѣ сцены изъ Фауста. 124

О внутренней христіанской жизни. . . 128

Самоотверженіе власти. 136

Энтузіазмъ и энтузіасты. 137

Что будетъ? 138

О смертной казни. 140

Примѣчанія. 143

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

В. А. ЖУКОВСКАГО

ВЪ 12-ТИ ТОМАХЪ.

Подъ редакціей, съ біографическимъ очеркомъ
и примѣчаніями

проф. **А. С. Архангельскаго.**

Съ приложеніемъ портрета Жуковскаго, гравированнаго на стали,
и его факсимиле.

XI.

Приложеніе къ журналу „Нива" за 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Измайловскій просп., № 29.

1845—1850.

—

ОТРЫВКИ.

I. ХРИСТІАНСКАЯ ФИЛОСОФІЯ.

ИСТИНА.

Когда мы говоримъ: *положительная истина*, всегда долженъ быть подразумѣваемъ подъ словомъ *истина* ея источникъ—*Богъ*. Найди Его, и все найдешь, и все узнаешь. Но Бога даетъ одно откровеніе; умомъ человѣкъ можетъ дойти только до убѣжденія, что умъ не даетъ ему полнаго убѣжденія. Всякая философія, ведущая насъ къ истинѣ, должна начинаться съ вѣры въ Бога, и эта вѣра должна быть первымъ звеномъ нашей умственной цѣпи.

Бытіе Бога не можетъ быть доказано. Богъ существуетъ не потому, что нашъ умъ Его постигъ и своими доказательствами убѣдилъ насъ въ Его существованіи; нѣтъ, но умъ нашъ стремится Его постигнуть и доказать Его бытіе потому, что Онъ существуетъ. Богъ *есть* [и Богъ откровенный]—это должно быть передовымъ положеніемъ, точкою отбытія всякаго философическаго умствованія. Безъ врожденнаго, то-есть безъ откровеннаго понятія о бытіи, другими словами, безъ вѣры въ бытіе [а Богъ есть бытіе, есть *сый*, то-есть, бытіе самобытное, самовѣдующее] нѣтъ возможности составить ни о чемъ никакого и самопростѣйшаго понятія. Скажу болѣе: намъ не только не можно, но и не нужно, и даже не должно искать такихъ доказательствъ бытія Божія, какими убѣждаемся мы во всякой другой доступной разсудку истинѣ: необъятность полной идеи Бога не можетъ втѣсниться въ нашу человѣческую мысль, въ наше человѣческое слово; и наши усилія заключить ее въ эти предѣлы необходимо должны ее исказить и запутать. Человѣкъ, взятый отдѣльно, ищетъ доказательствъ, часто сомнѣвается, иногда отвергаетъ; но родъ человѣческій, взятый вмѣстѣ, вѣритъ: доказательство, что эта вѣра дана *всѣмъ*, а не пріобрѣтена *каждымъ*. Родъ человѣческій никогда не достигъ бы до вѣры въ Бога работою ума своего; Богъ самъ сказался человѣку. Доказательства, извлекаемыя изъ чистаго ума, всѣ допускаютъ возраженіе и сомнѣніе, которыхъ мы ничѣмъ опровергнуть не можемъ. Непостижимость Бога есть сильнѣйшее доказательство бытія Его: высшая идея, какую только человѣкъ имѣть можетъ, должна принадлежать высшему свойству души человѣческой, не уму, а вѣрѣ.

Никто не можетъ сказать, когда началась на землѣ вѣра въ Бога; не было человѣка, который, по прошествіи многихъ временъ богопознанія, вдругъ открылъ, что Богъ существуетъ, и, явясь передъ людьми, философически доказалъ имъ Его бытіе. Вѣра въ Бога есть преданіе, переходящее отъ отца къ сыну, полученное непосредственно первымъ сыномъ отъ перваго Отца, то-есть первозданнымъ человѣкомъ отъ самого Создателя. Грѣхопаденіе окружило это преданіе своимъ мракомъ; изъ очевидности оно перешло въ область откровенія, отъ ума къ вѣрѣ. Умъ усиливается человѣчески доказать то, что въ немъ божественно поселено откровеніемъ и что свободно

принято вѣрою; и въ этихъ-то усиліяхъ извлечь прямо изъ себя, облечь въ слово и опредѣлить выраженіемъ то, что, внѣ всего этого, ясно и очевидно и что становится запутаннымъ отъ нашихъ безуспѣшныхъ толкованій, заключается источникъ всѣхъ нашихъ умственныхъ заблужденій, сомнѣнія и невѣрія. Изъ нашего безсилія схватить умомъ необъятное и выразить словомъ невыразимое, мы выводимъ невозможность его существованія, тогда какъ самое это безсиліе есть убѣдительнѣйшее доказательство самобытности сего существованія: здѣсь то, что есть непостижимость для ума, есть очевидность для вѣры.

ВѢРА.

Нѣмецкое слово *glauben* полнѣйшимъ образомъ выражаетъ понятіе христіанской вѣры; съ нимъ рядомъ стоитъ русское слово *вѣра*. *Glauben, geloben, вѣрить, вѣряться*. Разница между сими словами та, что въ нѣмецкомъ *glauben* происходитъ *отъ geloben;* а въ русскомъ наоборотъ, *вѣряться* происходитъ отъ *вѣрю*. Итакъ, и въ самой вѣрѣ, высочайшемъ актѣ души человѣческой, есть двѣ стороны: одна, такъ сказать, матеріальная, основная, первообразная, другая духовная, производная. [Всѣ сіи слова употребляются только для того, чтобы объяснить понятіе вѣры: на самомъ дѣлѣ этого, разумѣется, быть не можетъ. Вѣра есть состояніе нашей души; она недѣлима, какъ сама душа]. Во-первыхъ, вѣра есть произвольное принятіе истины, безъ помощи очевидности, покоривъ разсудокъ свидѣтельству откровенія; во-вторыхъ, вѣра есть произвольное преданіе самого себя, то-есть совершенное покореніе самой своей воли волѣ Того, чьему откровенію эта воля уже покорила разсудокъ. Если въ человѣкѣ совершились оба акта вѣры, если онъ, *повѣривъ, предалъ* себя въ полную волю того, кому повѣрилъ, если онъ *вѣруетъ* и *вѣряется*, то эта вѣра его есть вѣра живая; она выражается не одною мыслію, *но и дѣломъ, или* правильнѣе, дѣла съ нею неразлучны [дѣла, часто невидимыя человѣку, но явныя предъ всевидящимъ Богомъ]. Если одинъ только первый актъ [послѣдній не можетъ быть безъ перваго] вѣры произошелъ въ душѣ нашей, то эта вѣра не живая, не дѣятельная, она не спасаетъ души, и въ такомъ случаѣ слова апостола справедливы: вѣра безъ дѣлъ мертва есть. Но и дѣла безъ вѣры мертвы суть. Дѣла безъ вѣры составляютъ что-то несвязное, нецѣлое, не имѣющее образа. Дѣла благія, при самомъ благодѣтельномъ ихъ дѣйствіи на душу, все оставляютъ ее въ томъ состояніи несовершенства, въ какомъ она находится, состоя подъ закономъ, то-есть будучи неспособною удовлетворить вполнѣ закону, слѣдовательно навсегда отдаленною отъ Бога своимъ грѣховнымъ несовершенствомъ. Вѣра полная [оба акта ея] не даетъ сего совершенства; но она отверзаетъ дверь благодати, а благодать довершаетъ душу, даруя ей [проникнутой вѣрою и ею приготовленной для принятія даянія свыше] все то, чего сама собою не можетъ она пріобрѣсть по своему безсилію: благодать строитъ мостъ черезъ бездну, которою отдѣлена вѣрующая душа отъ Бога. Сія благодать существуетъ только для искупленнаго Спасителемъ; искупленіе совершилось для всѣхъ, но она только дверь отворенная; кто войдетъ въ дверь, тотъ принятъ, тотъ спасенъ; но онъ приводится къ этой отворенной двери одною вѣрою; на порогѣ ея благодать, призванная покаяніемъ, снимаетъ съ него все, что помѣшало бы его вступленію и что составляетъ его человѣческую, земную пошу. Въ двухъ словахъ: безъ вѣры во Христа нѣтъ спасенія; но вѣра сія не одно признаніе Спасителя, но въ то же время и преданіе себя Спасителю, или смиреніе разсудка и воли и ихъ уничтоженіе предъ высшимъ разумомъ и высшею волею.

Дѣла безъ вѣры, вѣра безъ дѣлъ — мертвы суть. И то и другое одна и та же истина для христіанина. Но сколько въ

мірѣ нехристіанъ по незнанію христіанства было, есть и долго еще будетъ! Какъ для нихъ? Можно раздѣлить дѣла на категоріи: низшая степень — благія дѣла *произвольно* отрицающаго вѣру; потомъ — благія дѣла не имѣющаго вѣры, но *желающаго* имѣть ее; далѣе — благія дѣла язычника, имѣющаго вѣру ложную; наконецъ благія дѣла *вѣрующаго* во Христа. Какъ человѣку рѣшить, что одинъ только послѣдній спасется, а другіе всѣ погибнутъ? У всѣхъ одинъ верховный судія, Богъ и Христосъ Спаситель. Намъ не извѣстенъ, нами не можетъ быть и постигнутъ судъ Божій. Мы знаемъ навѣрное одну только судьбу христіанина. Въ то же время мы можемъ знать ясно, что изъ всѣхъ, творящихъ благое, самый ближайшій къ источнику блага, то-есть къ Богу, есть вѣрующій христіанинъ. А что такое спасеніе? Созерцаніе Бога въ вѣчности.

Иначе нельзя повѣрить, какъ произвольно, то-есть не по убѣжденію, а по добровольному принятію. Но не всякой вѣритъ, кто желаетъ вѣрить. Вѣра, высочайшій актъ человѣческой свободы, есть въ то же время и высшій даръ Божіей благодати. Мы принимаемъ откровеніе, покоряя ему разсудокъ: наша вѣра есть слѣдствіе сего добровольнаго покоренія разсудка; она въ то же время любовь къ Тому, Кто даетъ откровеніе. Если, напротивъ, вмѣсто того, чтобы ему покорить разсудокъ, я его самого подчиню допросамъ разсудка, и потому только повѣрю откровенію [или, точнѣе сказать, приму откровеніе], что буду убѣжденъ въ его истинѣ, то буду имѣть не вѣру, а только убѣжденіе. Что очевидно, то не требуетъ вѣры. Очевидность есть, такъ сказать, непосредственное знаніе. Аксіомы суть выраженія очевиднаго. Мы не говоримъ: я вѣрю, что часть менѣе цѣлаго. Въ понятіи: *я вѣрю* заключается и понятіе: *я хочу вѣрить*. Вѣра свободна. Я говорю: *часть менѣе цѣлаго*, не потому, что я произвольно это принимаю, а потому, что *я* этого не могу не принять умомъ моимъ. Умъ есть рабъ очевидности. Вѣра есть свободное покореніе ума и воли откровенію.

Да не смущается сердце ваше: вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте. Въ этомъ словѣ всѣ возможныя утѣшенія, данныя напередъ человѣку на всѣ бѣды житейскія. Сперва вѣруй, потомъ уже сердце твое будетъ тихо и мирно само собою. Изъ сердечныхъ смущеній истекаетъ вѣра, изъ вѣры истекаетъ миръ. Но какъ пріобрѣсть вѣру? Умомъ я убѣжденъ, что вѣра есть вѣнецъ души человѣческой, ея прямой путь къ Богу; вѣра — мать любви; любовь — возможное совершенство души человѣческой. Но какъ дать себѣ эту вѣру? Какъ дойти до того, чтобы она была все, во всемъ и всегда? Если сердце сухо, какъ русло ручья изсякшаго, если оно холодно, какъ желѣзо, и нечувствительно, какъ камень — кто оживитъ его для вѣры? Наша воля не имѣетъ этого всемогущества. Вѣра есть ей неподвластное событіе во внутренности души нашей.

Тамъ нѣтъ вѣры, гдѣ есть очевидность или умственное убѣжденіе. Мы не властны не вѣрить тому, что̀ очевидно для чувствъ или для ума, или что̀ умъ, вслѣдствіе своихъ узаконенныхъ природою дѣйствій, долженъ необходимо принять убѣжденіемъ. Вѣра есть свободный актъ воли; но въ то же время никакая человѣческая воля безъ содѣйствія воли высшей не можетъ ввести въ душу вѣру, сколь бы душа того ни желала. Воля открываетъ или запираетъ душу для вѣры. *Разсуждая*, мы приводимъ, повинуясь законамъ логическимъ, идеи въ порядокъ, идемъ нѣкоторымъ опредѣленнымъ путемъ къ нѣкоторому опредѣленному пункту; искомый пунктъ необходимо находится на концѣ нашего пути: онъ есть или *да* или *нѣтъ* или *незнаю*. Эта операція ума вся *внутренняя*. Для вѣры нужно нѣчто *внѣшнее*. *Разсуждая*, мы произвольно дѣйствуемъ

умомъ, но по нѣкоторымъ необходимымъ, ему предначертаннымъ, законамъ. *Вѣруя*, мы принимаемъ произвольно откровеніе. Чего нѣтъ въ насъ, то мы безусловно получаемъ извнѣ отъ другаго, отъ посредника. Минуты такой вѣры встрѣчаются въ обыкновенной жизни. Но та вѣра, о которой здѣсь говорится, принадлежитъ только религіи христіанской. Я вѣрю во Христа—значитъ я произвольно покоряю свой умъ откровенію, которое даетъ мнѣ Христа, не стараясь и не имѣя нужды убѣдить мой умъ въ Его существованіи. И сіе самоотверженіе воли и ума замѣняетъ для меня убѣжденіе, истекающее изъ очевидности, убѣжденіе, которое само по себѣ есть нѣчто непроизвольное, необходимое, хотя и имѣетъ по наружности характеръ произвольности и свободы.

Умъ обработываетъ жизнь въ границахъ здѣшняго міра; свои понятія о высшемъ строитъ онъ изъ матеріаловъ низшаго. Вѣра отверзаетъ намъ дверь въ высшій міръ непосредственно. Ее производитъ откровеніе. Откровеніе есть голосъ съ того свѣта.

То, что мы называемъ *вѣрою* въ обыкновенномъ, низшемъ смыслѣ, есть произвольное дѣйствіе души, принимающей что бы то ни было *безъ* убѣжденія или *до* убѣжденія разсудка. Само по себѣ разумѣется, что между мною душою и тѣмъ, что она принимаетъ, долженъ быть посредникъ, предлагающій ей принятіе: ибо я вѣрю не себѣ, а вѣрю тому, кто меня увѣряетъ. Сія вѣра въ низшемъ смыслѣ можетъ быть подчинена переносу ея приговоровъ предъ судъ разсудка. Она не есть для насъ обязательная вѣра: она ограничена предметами, заключающимися въ предѣлахъ житейскаго, гдѣ все должно быть подчинено разуму, земному путеводителю въ земныхъ отношеніяхъ. Вѣра въ *высшемъ* смыслѣ есть вѣра въ Бога посредствомъ Христа. Эта вѣра есть *верховное дѣйствіе нашей* свободы. Она для всѣхъ обязательна, но мы ее принимаемъ произвольно, мимо разсудка, который передъ нею смиряется, не повѣряетъ ее не доказываетъ ея откровенія, а только согласно съ своимъ назначеніемъ приспособляетъ къ ней все земное, его управляющее подчиненное. Посредникъ здѣсь между Богомъ и душою человѣка есть Христос Спаситель, самъ Богъ, по воплощеніи могущій явиться лицомъ къ лицу душѣ человѣческой, а по божеству могущій соединить съ нею невидимаго, ей *одной* недоступнаго Бога. Не развивая далѣе сего общаго понятія о вѣрѣ [которая не иное что есть, какъ исключительно вѣра христіанская], скажу только, что намъ, невидавшимъ глазами Христа, Онъ представляется въ св. писаніи; въ Новомъ Завѣтѣ Онъ Самъ; съ Ветхаго Завѣта событія, предвозвѣщающія Его пришествіе. Вѣру въ св. писаніе утверждаетъ въ насъ существующая со временъ Спасителя церковь. Церковь говоритъ намъ: въ сихъ книгахъ ваше спасеніе; что въ нихъ писано, то было и будетъ; вѣрьте имъ безпрекословно. Итакъ, наша вѣра во Христа основана на нашей вѣрѣ въ говорящую о Немъ церковь; сперва надобно покориться церкви, чтобъ узнать Христа и въ Него увѣровать. Итакъ, первый актъ произвольный нашей воли есть сія покорность церкви, которой ученіе относительно Христа Спасителя и писаній, о Немъ возвѣщающихъ, должны быть для насъ непреложны. Какъ мнѣ церковь на своихъ соборахъ повелѣла принимать то, что заключается въ святомъ писаніи и какой символъ вѣры изъ него истекаетъ, то для меня и остается ненарушимымъ. Главное дѣло церкви совершено; предѣлы всѣ начертаны; теперь она только сохраняетъ ею созданное; богослуженіемъ оживляетъ память искупленія; проповѣдью толкуетъ слово святаго писанія и вводитъ его въ дѣятельную жизнь; таинствами освящаетъ главные акты нашей временной жизни—рожденіе, бракъ, покаяніе, смерть. Здѣсь ясно означаются и границы самой вѣры—церковь не есть Христосъ, а вождь

и путь ко Христу. Я вѣрю въ церковь, я вѣрю въ нее, какъ въ средство, дающее мнѣ вѣру во Христа, а не она предметъ моей вѣры. Слѣдовательно, вѣра ограничивается Христомъ и писаніемъ, о Немъ говорящимъ. Здѣсь вѣра безусловна, разсудокъ ей покоряется, вѣра владычествуетъ! Но все, что переходитъ за сію границу, перестаетъ быть предметомъ вѣры и входитъ уже подъ владычество разсудка. Писанія св. отцовъ не стоятъ для меня наравнѣ съ святымъ писаніемъ; благоговѣя предъ высокимъ духомъ писателей, я принимаю ихъ мысли и поученія сердцемъ, готовымъ вѣрить, но не запрещаю разсудку повѣрять ихъ человѣческое слово, и это не только не запрещается, но есть обязанность священная, ибо разсудокъ намъ данъ для владычества надъ всѣмъ земнымъ и для смиренія нашего передъ небеснымъ. Но небесное на землѣ заключается все во Христѣ и св. писаніи: передъ Нимъ разсудокъ смиряется; все остальное подлежитъ ему; безъ разсудка нѣтъ воли; онъ ея свѣтильникъ; безъ разсудка и воли не можетъ быть смиренія: разсудокъ понимаетъ, но онъ же видитъ и свою неспособность понимать то, что подлежитъ одной вѣрѣ, и необходимость смиренія; воля рѣшитъ: смириться или нѣтъ; она произноситъ свой приговоръ не иначе, какъ будучи прежде просвѣщена тѣмъ же разсудкомъ, который послѣ долженъ покориться ея приговору. Итакъ, самое вѣрное правило для насъ, дабы не впасть въ величайшее заблужденіе и изъ святой религіи Христовой не сдѣлать для себя фанатизма факировъ и шамановъ, самое вѣрное правило есть: сперва *безусловное принятіе вѣрою* всего, что заключается въ св. писаніи и что намъ передала церковь, утвердившая все на своихъ соборахъ, короче—вѣра въ Христа; потомъ *свободное дѣйствіе разсудка во всемъ*, что выходитъ за сію границу, но дѣйствіе разсудка въ смыслѣ вѣры, то-есть введеніе разсудкомъ въ практическую земную жизнь того небеснаго, что вѣра приняла отъ Христа Спасителя, искупившаго душу человѣческую своимъ воплощеніемъ и оставившаго ей въ писаніи свидѣтельство о семъ искупленіи. Итакъ, все, что *постановила* церковь на краеугольномъ камнѣ Христа и Его ученія, есть для меня предметъ безусловно смиренной вѣры; то же, что церковь утверждаетъ на основаніи частныхъ обстоятельствъ, на требованіяхъ времени или мѣста, то для меня есть только предметъ уваженія и покорности, но здѣсь разсудокъ свободенъ дѣйствовать, ибо здѣсь все входитъ въ его область.

ПРОМЫСЛЪ.

Я читалъ въ Journal des Débats описаніе несчастія, случившагося съ ребенкомъ. Онъ прыгалъ съ копны сѣна; внизу въ сѣнѣ торчали вилы; ребенокъ ихъ не замѣтилъ, прыгнулъ и наткнулся на вилы, которыя прокололи ему внутренность. Спасти его было нельзя, ибо зубца вилъ нельзя было вынуть изъ тѣла, онъ былъ зубецъ съ заворотомъ на подобіе острія удочки; ребенокъ былъ долженъ умереть въ жесточайшемъ мученіи. Какъ изъяснить это ужасное событіе въ смыслѣ Провидѣнія? Для ребенка оно положительное зло, безъ всякихъ благихъ послѣдствій: онъ долженъ былъ пострадать нѣсколько часовъ, а, можетъ быть, и нѣсколько дней, и все тутъ; и жизнь его, не развитая ничѣмъ человѣческимъ, кончилась вдругъ страдальческимъ перерывомъ. Какъ согласить это съ мыслію, что бѣды житейскія должны быть намъ въ пользу? Кому здѣсь польза отъ сего страшнаго мученія, обратившаго минуты въ годы и постигшаго душу, не имѣющую ни силъ для его перенесенія, ни способности для извлеченія изъ него высокой нравственной пользы? Гдѣ же благость Промысла? Можно ли обрѣсти ея въ этомъ страданіи, посланномъ безъ видимой цѣли и пользы, и падшемъ на созданіе непорочное, безсильное, не приготовленное ни снести его, ни благословлять въ немъ того, кѣмъ оно послано? Отвѣтъ на все

это простой. Мы должны не по событіямъ судить Промыслъ Божій, а событія по Промыслу Божію. Въ однихъ Онъ намъ является во всей своей благости, въ другихъ мы не видимъ своими слѣпыми глазами этой благости. Въ обоихъ случаяхъ, какъ и во всемъ, мы должны смиряться. Но живой Богъ существуетъ; Онъ дѣйствуетъ самобытно и вполнѣ во всякое мгновеніе времени, во всякомъ атомѣ и для всякаго атома въ пространствѣ, дѣйствуетъ безъ раздѣла, вполнѣ, всевластно, слѣдовательно во благо — слѣдственно во всемъ должны мы видѣть благо, не потому, что это благо намъ явно, а потому, что все истекаетъ отъ Бога, и явное благо, называемое нами добромъ, и неявное, которое кажется намъ зломъ.

Счастливъ тотъ, кому Господь пошлетъ рано, а не поздно, тяжкія испытанія. Онъ заранѣе узнаетъ свои силы или свое безсиліе, и въ обоихъ случаяхъ окрѣпнетъ, научась опытомъ дѣйствовать по волѣ Божіей. Единственное, чему мы должны и чему можемъ въ совершенствѣ здѣсь научиться, есть *произвольное повиновеніе*. Въ этомъ произвольномъ повиновеніи заключается все человѣческое достоинство и вся его свобода. Мы сами никакого добра себѣ дать и никакого добра творить не можемъ: всякое добро намъ дается; но быть покорными Богу, творцу, источнику и подателю добра, во всякое время [съ блаженнымъ ли чувствомъ любви или безъ ощущенія сего блаженства, по влеченію ли воли или противъ влеченія воли], намъ возможно; это *единое наше*. Счастливъ тотъ, кого жизнь заранѣе пріучила къ покорности, кто въ младенчествѣ получилъ привычку принимать съ благоговѣніемъ волю родителей и ей предаваться безусловно, кто мало по малу могъ понять все благо ея спасительной строгости, и кто изъ дѣтскихъ лѣтъ перенесъ въ юношескія лѣта эту привычку признавать неотрицаемость верховной власти, которая изъ образовательной, *приготовительной* отеческой обращается въ спасительную, искупительную Божію, въ то время, когда онъ вступитъ на дорогу самостоятельной, дѣятельной жизни, для страшныхъ встрѣчъ и тяжелыхъ боренія; и вдвое счастливъ онъ, если эти встрѣчи и боренія начнутся для него въ началѣ дороги, когда еще его силы свѣжи и когда еще не вкоренилось въ немъ никакихъ вредныхъ на счетъ себя самого заблужденій, а не при концѣ ея, когда силы изсякли и когда такъ ужасно, такъ безполезно вдругъ очнуться изъ заблужденій, столь усыпительно его баловавшихъ во все продолженіе лѣнивой, никакими тревогами не приводимой въ движеніе, жизни.

Если мы терпимъ только въ надеждѣ, что будущее принесетъ намъ отраду, и если только эта надежда даетъ намъ силы для терпѣнія, то наша подпора не вѣрна. Можемъ ли мы опираться на ломкой тростинкѣ ожиданія этой *перемѣны на лучшее*, которой равно можетъ и быть и не быть. Надежда на Бога—другое дѣло. Но объ этой надеждѣ надлежитъ имѣть ясное понятіе, дабы имѣть въ ней твердую подпору. Она есть не иное что, какъ безусловная покорность Его волѣ, что бы ни возложила на насъ эта воля: крестъ ли страданія или крестъ счастія. Кто дошелъ до высокаго убѣжденія [и въ комъ это убѣжденіе обратится въ смиренное, безпрестанно присутственное чувство], до убѣжденія, что нѣтъ никакого земнаго блага выше этой покорности, тотъ утвердилъ зданіе своей жизни на гранитѣ непотрясаемомъ. Будетъ ли младенецъ судить и осуждать своего отца, который подвергаетъ его трудному лишенію и строго наказываетъ? Со слезами принявъ наказаніе, младенецъ черезъ минуту ласкается къ отцу своему, и, не мысля о наказаніи, вдвое чувствуетъ къ нему привязанность, тайно понимая его всегдашнюю любовь въ его минутной строгости.

Младенецъ знаетъ одну настоящую минуту своей безпечной жизни; отецъ знаетъ его будущее. Мы младенцы въ

колыбели земной жизни, мы плачемъ отъ всего горькаго, что постигаетъ насъ въ ея быструю минуту; но Отецъ небесный знаетъ, что мы для вѣчности, и готовитъ насъ для вѣчности. Въ *неизбѣжимости* Его власти и въ *необходимости* ей покориться—заключается великая сила души нашей. Древній фатумъ есть ужасное чудовище; необходимость ему покоряться и его неизбѣжимость были безотрадное бѣдствіе. Нашъ испытатель есть живой Богъ; и сколь бы ни были непонятны для насъ и тяжки Его испытанія — для ихъ изъясненія Онъ имѣетъ для насъ вѣчность. И это изъясненіе уже дано намъ предварительно ниспосланнымъ для насъ искупленіемъ. Все здѣсь написанное есть неоспоримая истина и умъ мой ее принимаетъ. Но кто передастъ ее сердцу? Кто изъ мертваго умственнаго убѣжденія сдѣлаетъ теплую молитву и животворящую вѣру? Одинъ Богъ. И что Его милосердіе медлитъ выбить изъ камня души животекущую воду — это есть самое тяжкое изъ всѣхъ Его испытаній. Но и оно должно имѣть свое благотворное послѣдствіе. Мы должны терпѣть и бѣдствіе собственнаго, внутренняго нашего недостоинства съ тѣмъ же смиреніемъ, съ тою же вѣрою и надеждою, какъ всякое другое бѣдствіе, на насъ извнѣ нападающее.

Будьте подобны младенцамъ, ибо ихъ есть царство небесное, сказалъ Спаситель, указывая на дѣтей, Его окружающихъ. Что значитъ это слово? Что есть жизнь младенца? Незнаніе закона, слѣдственно невинность передъ закономъ; безусловная покорность отцу и матери: *да будетъ воля Твоя;* любовь къ родителямъ: *да святится имя Твое, да пріидетъ царствіе Твое;* беззаботность о завтрашнемъ днѣ: *хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь;* незлобіе: *и остави намъ долги наша, яко же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ;* незнаніе зла и бѣдъ житейскихъ: *не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго.* Младенецъ есть, невѣдомо самому ему, тотъ человѣкъ, который выраженъ въ молитвѣ Господней. Но Спаситель говорилъ не младенцамъ, а уже совершеннолѣтнимъ, знающимъ законъ; онъ требовалъ отъ нихъ, чтобы они были съ этимъ знаніемъ таковы, какъ младенецъ въ своемъ незнаніи; что въ младенцѣ незнаніе, то въ знающемъ должно быть смиреніе, то есть вѣра, надежда и любовь, взятыя вмѣстѣ.

Праведникъ-христіанинъ награжденъ уже въ здѣшней жизни. Его награда въ христіанствѣ. Эта награда не есть плата по таксѣ за каждое особенное дѣло; а общая награда, заключающаяся въ самомъ состояніи души, во внутреннемъ мирѣ ея, заговаривающемъ бѣдствія житейскія. Эту награду можетъ имѣть только христіанинъ. Утѣшеніе стоиковъ—обманъ. Метафизическій богъ есть идея; эта идея можетъ быть утѣшительна и воздаятельна для нѣкоторыхъ, но не для всѣхъ. Христіанскій Богъ для всѣхъ, и простыхъ и мудрыхъ, и сильныхъ и слабыхъ, и счастливыхъ и скорбящихъ. Въ семъ отношеніи справедливо то, что дѣла *безъ вѣры мертвы суть.* Дѣла безъ вѣры то же, что дѣйствія автомата, похожія на человѣческія, но не оживленныя душою. Въ совѣсти нѣтъ утѣшенія, если во глубинѣ ея нѣтъ живаго Бога, тамъ поселеннаго вѣрою. Одна вѣра даетъ дѣламъ ихъ освященіе и производитъ изъ ихъ отдѣльности одну общую гармонію; одна вѣра возвращаетъ человѣческой душѣ ея утраченное подобіе Божіе. И въ этой вѣрѣ всѣ награды праведника во времени; въ *вѣрѣ,* которая, будучи блаженнымъ откровеніемъ и принятіемъ невѣдомаго *здѣсь,* становится *любовію,* то есть блаженнымъ созерцаніемъ вѣдомаго *тамъ.*

ЗАКОНЪ И ГРѢХЪ.

Безъ закона грѣхъ мертвъ. Я жилъ нѣкогда безъ закона; но когда пришла заповѣдь, то грѣхъ ожилъ, а я умеръ.

Какъ понимать слова апостола? Что значитъ здѣсь слово смерть грѣха и смерть человѣка? Грѣхъ въ одномъ смыслѣ есть грѣховность, то есть наша, врожденная намъ наклонность грѣшить; въ другомъ смыслѣ грѣхъ есть дѣйствіе грѣховности, поступокъ, нарушающій заповѣдь Божію. Само по себѣ разумѣется, что пока не было заповѣди Божіей, не могло быть и ея нарушенія, то есть явнаго грѣха, грѣховнаго поступка. Съ заповѣдью произошло и ея нарушеніе, то есть человѣкъ, по натурѣ своей подверженный грѣху, или грѣховный, изъ явнаго нарушенія заповѣдей, изъ совершеннаго имъ грѣха, постигъ свою грѣховность, бывшую до заповѣди для него сокровенною. Другими словами, человѣкъ, живши въ незнаніи грѣха, *умеръ*, то есть обратился въ человѣка, знающаго грѣхъ. А грѣхъ *мертвый* для человѣка не знавшаго, что такое грѣхъ [до заповѣди], сдѣлался для него *живъ* отъ нарушенія заповѣди, или отъ запрещенія, то есть сдѣлался *знаемымъ* грѣхомъ. Слѣдовательно, слово *смерть* есть здѣсь *знаніе* и *незнаніе*. Слѣдуетъ вопросъ: когда знаніе грѣха или смерть нравственная вошла въ жизнь человѣка? Съ заповѣдями Божіими. Что же онъ былъ до сихъ заповѣдей, то есть до писаннаго закона Божія, даннаго Моисею? Какой законъ опредѣлялъ для него грѣхъ и нарушеніе какого закона производило въ немъ сію смерть душевную? До закона Моисеева было наказаніе, слѣдовательно было и преступленіе, произвольное нарушеніе заповѣди. Изгнаніе изъ рая, потопъ, погибель Содома и Гоморры и прочее. Здѣсь законъ не заключается ли весь въ той первобытной заповѣди, которая дана была первому человѣку, нарушеніе которой произвело и грѣховность человѣка, разлившуюся на весь человѣческій родъ, и знаніе грѣха въ первомъ человѣкѣ, и неразлучное съ нимъ знаніе заповѣди нарушенной, въ которой есть источникъ всѣхъ послѣдующихъ заповѣдей, однихъ—неопредѣленныхъ, выраженныхъ *въ тайномъ законѣ* нашей совѣсти, а другихъ — опредѣленныхъ, данныхъ самимъ Богомъ чрезъ Моисея народу избранному? До пришествія Христа, человѣческій родъ надлежитъ раздѣлять на два разряда: на язычниковъ и на іудеевъ. Первые принадлежали неопредѣленному закону, естественному; послѣдніе—опредѣленному, писанному, Божію; тѣ состояли подъ совѣстью, сіи—подъ закономъ Божіимъ. Нѣкоторые избранные межъ людьми, посѣщенные Божіимъ откровеніемъ, составляютъ цѣпь между первымъ человѣкомъ въ раю и народомъ израильскимъ у подошвы Синая, гдѣ наконецъ выразился Божій законъ во всей своей полнотѣ и откуда началось явно предуготовительное дѣло искупленія.

ПЛОТЬ — ДУХЪ.

Плоть—духъ. Плотское—духовное. Сія противоположность встрѣчается безпрестанно въ священномъ писаніи. Надобно объяснить сіи понятія.

«Мы дробимъ [какъ было сказано въ другомъ мѣстѣ] нашу душу на разныя способности, дѣлимъ ее, такъ сказать, на участки и къ каждому изъ нихъ приписываемъ особенную, отдѣльную ея способность. Говоря *умъ, воля* и проч., мы разными именами означаемъ одно и то же, то есть *всю душу*, въ разныхъ только образахъ ея дѣйствія; нѣтъ такой особенной части въ душѣ, которая была бы только умъ или воля; все это — вся душа, полная, всегда нераздѣлимо дѣйствующая; мы только для ясности принуждены прибѣгнуть къ раздробленію единства на части. Душа мыслитъ, избираетъ [то есть отвергаетъ или принимаетъ], творитъ, вѣруетъ — сіи разные образы дѣйствія одной и той же души мы называемъ: умъ, воля, творчество, вѣра».

Здѣсь, однако, въ словѣ *душа* сосдиняются двѣ идеи. Святое писаніе говоритъ о тройственности человѣка, о соединеніи въ немъ *духа, души* и *тѣла*. Духъ—чисто божественное въ человѣче-

скомъ; *душа* — нетлѣнное, съ нимъ нераздѣлимое тѣло духа, средина между имъ и тѣломъ, нѣчто имѣющее съ одной стороны свойство тѣлеснаго, то есть нѣкоторый опредѣленный образъ, съ другой стороны нетлѣнность и самобытность духа; наконецъ *тѣло* — матеріальная скинія духа и души на все время земной жизни, въ которой ихъ видимое, совокупное явленіе называется *человѣкомъ*. Сіи три элемента, составляющіе это названное *человѣкомъ* цѣлое—могутъ быть постигаемы и опредѣлены каждый отдѣльно. Главный элементъ есть *духъ*: въ немъ сосредоточивается вся дѣятельность человѣческой жизни; второй элементъ—*душа*, неотдѣлимая, вѣчная принадлежность духа, его, такъ сказать, двойникъ, его самобытный дѣйствователь съ одной стороны на тѣло и черезъ органы тѣла на внѣшній временный міръ, съ другой стороны обратно на него сообщеніемъ ему впечатлѣній, черезъ органы тѣла изъ внѣшняго міра получаемыхъ; наконецъ третій элементъ—*тѣло*, временная матеріальная принадлежность души, которая или имъ властвуетъ и покоритъ его силѣ духа, или ему покоряется и своею отъ него зависимостію стѣсняетъ духъ въ его дѣйствіяхъ.

Когда въ насъ происходитъ операція размышленія, то есть, какъ говорится, когда въ насъ дѣйствуетъ умъ, то изъ трехъ вышеозначенныхъ элементовъ первенствуютъ душа и тѣло, но перевѣсъ на сторонѣ души; въ процессѣ воли первенствуютъ душа и духъ, но перевѣсъ также на сторонѣ души; въ процессѣ творчества равномѣрно первенствуютъ душа и духъ, но здѣсь перевѣсъ уже на сторонѣ духа; наконецъ, въ процессѣ вѣры первенствуетъ одинъ духъ, весь перевѣсъ на его сторонѣ, другіе покоряются.

Итакъ, человѣкъ составленъ изъ духа, души и тѣла; безъ соединенія сихъ трехъ нѣтъ человѣка. Духъ — царствующая, самобытная часть человѣка; душа — посредникъ между духомъ и тѣломъ; тѣло — само по себѣ нѣчто безжизненное, матеріальное, подчиненное. Но тѣло необходимо душѣ [возьмемъ здѣсь душу въ ея обширномъ смыслѣ, то есть соединяя духъ и душу въ одну идею] для ея дѣятельности въ здѣшнемъ порядкѣ и составляетъ орудіе этой дѣятельности, обращающейся на міръ внѣшній. Сія необходимость употреблять тѣло, какъ орудіе, производитъ зависимость души какъ отъ тѣла, такъ и отъ внѣшняго, тѣлеснаго міра, съ которымъ тѣло вводитъ ее въ сношеніе. Сія зависимость есть то, что мы называемъ плотію. Говоря тѣло, мы разумѣемъ тѣлесный составъ человѣка, взятый отдѣльно, то члены и проч.; говоря плоть, мы разумѣемъ и тѣло въ его вліяніи на душу, и душу подъ вліяніемъ тѣла, подъ вліяніемъ внѣшняго міра.

Вліяніе тѣла на душу вредно со времени паденія перваго человѣка, ибо сіе паденіе поселило въ человѣкѣ грѣхъ, то есть испортило волю его; сія воля безсильна удержать первенство души надъ тѣломъ, сохранить ее отъ него въ независимости и съ нимъ отъ внѣшняго міра; она колеблется между имъ и высшимъ міромъ; сія колеблемость, сія наклонность уступать тѣлу есть состояніе грѣховное. Мы должны произвольно сохранять духовность души своей и отдалять отъ нее все плотское; но для этого воля наша безсильна. Тѣло, до паденія чистое, по своей испорченности отъ паденія сдѣлалось главнымъ врагомъ души человѣческой. Душа по натурѣ своей божественна, духъ, бываетъ по испорченности воли, произведенной грѣхопаденіемъ — плотью, то есть рабомъ тѣла и внѣшняго міра. *Душа*, какъ духъ, исключительно принадлежитъ Богу; какъ душа, стоитъ между міромъ и Богомъ; какъ плоть, исключительно покоряется тѣлу и чрезъ тѣло міру.

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНІЯ.

Причащеніе Святыхъ Таинъ есть высочайшее, всеобъемлющее, блаженнѣйшее

дѣло нашей земной жизни. Въ немъ видимо и ощутительно въ образѣ таинства повторяется передъ нами и въ насъ самихъ искупительная жертва Іисуса Христа. Кто приступаетъ къ таинству причащенія въ томъ расположеніи души, какое для того требуется, съ тѣмъ чувствомъ смиренія, покаянія, вѣры, надежды и любви, которое должно приносить къ Нему наше сердце, — на того производитъ оно чудесное дѣйствіе душевнаго и тѣлеснаго очищенія; онъ нѣкоторымъ образомъ на мгновеніе становится лицомъ къ лицу передъ самимъ Богомъ, и этотъ оживотворяющій взоръ, устремленный отъ человѣка на Бога и отъ Бога на человѣка, преображаетъ душу во мгновеніе, все ея прошедшее исчезаетъ въ блаженной чистотѣ настоящаго; она нѣкоторымъ образомъ ощущаетъ самую вѣчность; съ человѣкомъ творится то же, что съ разбойникомъ на крестѣ, когда все преступное прошедшее однимъ словомъ: *помяни мя, Господи, сіда пріидеши во царствіи своемъ*— приготовило вдругъ всю грѣшную душу къ очищенію, и когда отвѣтъ на это слово былъ отвѣтъ вѣчнаго Бога на всю вѣчность: *днесь со Мною будеши въ раю.* Таково дѣйствіе причащенія въ полномъ его смыслѣ. Какое несказанное благо оставилъ въ немъ Спаситель для своихъ вѣрующихъ! Въ немъ каждый вѣрующій сдѣлался, такъ сказать, на всю свою жизнь его современникомъ. *Самъ* Онъ къ нему является въ тѣ минуты, когда онъ—страждущій, жаждущій исцѣленія, мучимый совѣстію, нуждающійся въ утѣшеніи и въ подпорѣ — Его призываетъ. Жизнь вѣрующаго раздѣлена, такъ сказать, на періоды, которыхъ главныя эпохи суть тѣ минуты, въ которыя онъ причащается, это минуты соединенія съ Спасителемъ, утѣшителемъ, наставникомъ, подкрѣпителемъ, оправдателемъ и освятителемъ. Въ промежуткахъ этихъ великихъ, главныхъ эпохъ жизни, этихъ животворящихъ соединеній, человѣкъ остается человѣкомъ, *слабымъ, зависящимъ отъ* вліянія внѣшняго, рабомъ своихъ слабостей, бѣднымъ наслѣдникомъ грѣха первобытнаго. Но минуты, въ которыя онъ готовится къ великому свиданію, и минуты, непосредственно слѣдующія за симъ свиданіемъ, суть минуты святыя, святыя по раскаянію, по испытанію души своей, по уничтоженію себя предъ Всевышнимъ, по любви, надеждѣ и вѣрѣ, по сильнѣйшему стремленію къ добру верховному. Удаляясь отъ нихъ, грѣшная природа человѣческая вступаетъ въ права свои; мы впадаемъ въ обыкновенныя свои заблужденія, поддаемся страстямъ, развлекаемся ничтожностями міра; плоть одолѣваетъ духъ. Но очевидно и неоспоримо, что если мы не считаемъ причащенія Святыхъ Таинъ однимъ только отдѣльнымъ актомъ жизни, не связаннымъ ни съ прошедшимъ ея, ни съ ея будущимъ, если, напротивъ, видимъ въ каждомъ изъ сихъ актовъ истинныя звѣнія, составляющія цѣпь нашей жизни, цѣпь, соединяющую земное съ небеснымъ, то причащеніе въ душѣ вѣрующей составляетъ главный предметъ ея здѣшней дѣятельности: по совершеніи одного таинственнаго акта, проливающаго помилованіе на прошедшее и благодать на настоящее, мы начинаемъ идти къ другому путемъ обыкновенной жизни, но съ ожиданіемъ возобновленія испытанной нами благодати; и эта память о полученномъ благѣ, это приготовленіе души къ полученію новаго, это ожиданіе, соединенное съ страхомъ утратить его дѣйствія или сдѣлаться недостойнымъ его пріятія, всегда присутственныя посреди заботъ, страданій и бѣдствій, производимыхъ зломъ внѣшнимъ или внутреннимъ— составляетъ главную твердѣйшую опору нашей души и въ то же время, готовя ее къ новому соединенію лицомъ къ лицу съ ея Спасителемъ, совершающемуся въ таинствѣ причащенія — препятствуетъ уничтоженію того очистительнаго дѣйствія, какое должны произвести на ней всѣ прежнія подобныя минуты свиданія. И что должна быть жизнь христіанская, если

она будетъ вся составлена изъ сихъ переходовъ отъ одного благодатнаго свиданія съ Искупителемъ къ другому, изъ которыхъ каждое будетъ производить свое дѣйствіе вполнѣ, какъ таинство, очистительное въ смыслѣ вѣчности, и крѣпительно-нравственное въ смыслѣ временной жизни, и въ промежуткѣ которыхъ воспоминаніе и ожиданія, какъ Божіи звѣзды, будутъ свѣтить посреди мрака земли, безъ нихъ неисходимаго и губящаго нашу душу. Причащеніе есть, послѣ искупленія, величайшее благотвореніе, оказанное Богомъ падшему человѣку, нѣкогда въ лицѣ Адама грѣхомъ съ нимъ разлученному. Искупленіемъ разрушена стѣна, отдѣлявшая человѣка отъ Бога, и онъ можетъ, ведомый вѣрою, съ помощію благодати, переступить за сію границу. Причащеніе есть дѣйствительнѣйшій способъ, указанный Спасителемъ человѣку, для употребленія въ свою пользу блага искупленія. Вышедъ изъ своей вѣчности для человѣка въ область времени, и пробывъ съ нимъ на землѣ одно мгновеніе, Онъ не только совершилъ *Самъ* дѣло искупленія въ образѣ человѣка передъ очами тѣхъ, кого училъ, къ которымъ непосредственно обращалъ свое слово и на которыхъ Отецъ людямъ неиспослалъ Св. Духа; но Онъ хотѣлъ помочь слабости человѣческой, которой столь трудна вѣра, сдѣлавшись въ таинствѣ вечери, такъ сказать, современнымъ всему человѣческому роду до скончанія міра, возобновляя предъ глазами каждаго вѣрующаго дѣло искупленія и жертвы, и помогая спасенію души посредствомъ, такъ сказать, вещественнаго сліянія съ нею, которое производится вѣрою: не одной нашей бѣдной волѣ ввѣрилъ Онъ сіе стремленіе соединить нашу душу съ призывающимъ ее Богомъ; не одной нашей совѣсти, столь пристрастно ослѣпленной или безпечной, далъ Онъ силу просвѣщать насъ на счетъ насъ самихъ,—Онъ далъ намъ Самого Себя въ помощники, далъ, такъ сказать, матеріальный образъ нашей совѣсти въ актѣ покаянія, гдѣ нашу совѣсть представляетъ посредникъ, крестъ, Евангеліе, передъ которыми должны мы не обинуясь раскрыть свою душу; Онъ наконецъ не одною духовною силою стремленія къ Богу, къ соединенію съ Нимъ, влечетъ нашу волю; но Онъ поставилъ передъ глазами нашими чашу той вечери, которую нѣкогда Самъ подалъ изъ рукъ въ руки Своимъ ученикамъ, которую Самъ подаетъ и нынѣ изъ рукъ въ руки вѣрующимъ, чашу, въ которой наши глаза видятъ хлѣбъ и вино, а вѣра видитъ сообщающееся съ нами Божество, если только сердце приготовлено и къ принятію Его и къ Его сохраненію. И въ такомъ случаѣ безпрестанно совершается для каждаго человѣка то же чудо спасенія, которое нѣкогда одинъ разъ на всю вѣчность совершилось на Голгоѳѣ, чудо дѣйствительнаго очищенія, чудо, служащее необходимымъ дополненіемъ чуда искупленія. Тамъ Искупитель отворилъ для всего человѣчества дверь, ведущую въ святилище Божества, затворенную для него грѣхопаденіемъ; здѣсь Онъ Самъ подаетъ руку для введенія въ эту дверь своихъ вѣрующихъ. Тамъ Онъ въ одномъ дѣлѣ обнялъ все человѣчество; здѣсь повторяетъ свое спасительное дѣло для каждаго человѣка отдѣльно. Одно есть слѣдствіемъ другаго. Но кто же съ Нимъ войдетъ въ эту дверь? Кто достоинъ подать Ему руку? И какое средство пріобрѣсть это достоинство? Съ одной стороны—та же самая, ничѣмъ неограниченная благость, сказавшая на крестѣ разбойнику: *днесь со Мною будеши въ раю;* съ другой стороны—та же вѣра и то же покаяніе, которыя исторгли изъ устъ разбойника крикъ: *помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи Своемъ.* Однимъ словомъ—покаяніе. Мы должны напередъ такъ же сказать передъ самими собою и передъ Богомъ: *мы осуждены праведно и достойное по дѣламъ нашимъ пріемлемъ; Сей же ни едина зла не сотворилъ.* Если войдетъ такое покаяніе въ душу и проникнетъ ее насквозь, и въ то же время проникнетъ

ея вѣра во Спасителя, въ Кто милосердіе, то она въ это мгновеніе дѣйствительно преображается и все ея временное грѣховное прошедшее исчезаетъ изъ нее предъ глазами Того, Кто душу судитъ по душѣ, принадлежащей вѣчности, а не по дѣламъ, исчезающимъ вмѣстѣ съ временемъ; и святое таинство налагаетъ на нее очистительную печать свою. Итакъ, одна вѣра и одно покаяніе дѣлаютъ насъ достойными подать руку Спасителю для вступленія съ Нимъ въ отворенную дверь искупленія. Тогда Онъ является Самъ не въ мысленномъ, а въ тѣлесномъ видѣ, и хлѣбъ и вино въ таинственной чашѣ становится для насъ хлѣбомъ жизни и питьемъ примиренія. Чтобъ покаяніе могло совершиться, нужно два акта—одинъ простой, естественный: обвиненіе самого себя предъ естественнымъ, но невидимымъ представителемъ Божіимъ—совѣстію, которая можетъ только укорять, но ни оправдывать, ни разрѣшить не можетъ; другой актъ таинственный, передъ видимымъ представителемъ Божіимъ, которому нѣкогда въ лицѣ своихъ апостоловъ далъ Самъ Спаситель власть связывать и разрѣшать. Таинство исповѣди есть такъ же даръ любви Божіей, какъ и причащеніе; оно дано человѣку въ помощь его слабой, невѣрной воли. Когда онъ судитъ себя по одной совѣсти своей, то онъ въ одно время и обвинитель и обвиненный; въ обоихъ случаяхъ пристрастный и слѣпый; какъ обвиненный, онъ не страшится обмануть своего судью; какъ обвинитель и судья, онъ уступчивъ и не имѣетъ для предстоящаго суду его того божественнаго характера непогрѣшимости и могущества, передъ которымъ душа трепещетъ и не дерзаетъ прекословить. Такимъ образомъ судъ совѣсти, для насъ необходимый, потому что безъ него мы не можемъ знать самихъ себя, недостаточенъ, потому что не можетъ быть полонъ и вѣренъ. Но когда, перешедъ эту низшую инстанцію суда, мы переходимъ въ высшую, гдѣ не одна наша невидимая совѣсть засѣдаетъ на судилищѣ, но гдѣ есть и видимый представитель Божій, слушающій и повѣряющій обвинителя-совѣсть, тамъ душа необходимо должна сбросить съ себя всѣ свои покровы, явиться обнаженною и предаться безусловно приговору суда верховнаго. Но здѣсь же къ суду посредствомъ таинства присоединяется и отпущеніе и разрѣшеніе, чего не властна и не имѣетъ права сдѣлать наша бѣдная совѣсть, которая въ одно время есть и судія и участница нашей грѣховности. Итакъ, единственное *средство покаянія* полнаго и дѣйствительнаго заключается въ таинствѣ *исповѣди*. Она должна быть искренняя, полная, сокрушенная, вѣрующая, соединенная съ отвращеніемъ къ проступкамъ прошедшимъ и съ намѣреніемъ предохранять себя отъ нихъ въ будущемъ; на сихъ токмо условіяхъ возможно разрѣшеніе и будетъ спасительно причащеніе тѣла Христова, — будетъ *не въ судъ и не въ осужденіе, а въ жизнь вѣчную.*

Господи! отыми у меня, что отвращаетъ отъ Тебя;

Господи! дай мнѣ, что приводитъ къ Тебѣ;

Господи! возьми меня у меня и отдай меня во владѣніе Твое.

Замѣчай за собою внутри самого себя, если желаешь узнать и себя самого, и то, что отъ Бога тебя отдѣляетъ. *Грѣхъ* есть то, что препятствуетъ соединенію твоему съ Богомъ. Твоей душѣ недостаетъ только одного—ея Бога. Но, чтобы она могла принять въ себя Бога, надлежитъ ей быть свободною отъ грѣха. Очиститься же и предохранить себя отъ грѣха можетъ она только милосердіемъ Божіимъ и заслугою Іисуса Христа. Ибо какъ Богъ, изъ одной благости, даровалъ тебѣ жизнь естественную, такъ Онъ и жизнь духовную даруетъ тебѣ по той же свободной благости. Но, чтобы жизнь сію получить, ты долженъ волю свою предать въ Его волю и радостно все принимать, что Онъ ни пошлетъ на тебя.

Безъ страданія и внутренней скорби жизнь сія не можетъ въ тебѣ родиться. Чтобъ пріобрѣсть сію сверхъестественную жизнь благодати, надлежитъ тебѣ очистить себя отъ грѣха и всякой недоблести, отъ самолюбія, своеволія, своедовольства и отъ всѣхъ безпорядочныхъ вожделѣній плоти.

Недостатки и погрѣшности твои происходятъ только отъ того, что безпорядочныя твои вожделѣнія тебя всегда изъ тебя самого исторгаютъ. Возвратись во внутреннее твое и сноси безропотно свои недостатки. Учись терпѣть самого себя, тогда научишься переносить недостатки свои и чужіе.

Никто не можетъ тебѣ вредить, кромѣ тебя самого. И потому бойся только себя и ни въ какомъ случаѣ себѣ самому не вѣряйся. Благоразуменъ и остороженъ бываешь ты только тогда, когда остаешься въ самомъ себѣ, и своей болѣзни, своей немощи, своихъ недостатковъ и слабостей, своего ничтожества съ глазъ не спускаешь. Если не хочешь быть обманутымъ, держись этой основной истины: самъ по себѣ ты *ничто* и одно только можетъ пособить тебѣ, то именно, если Богъ самъ войдетъ въ твою душу, и жизнь твою самъ устроитъ.

Въ естественномъ своемъ состояніи ты самого себя познать не можешь, а потому и Богъ тебя познать Его не допуститъ [а потому и познаніе Бога тебѣ не дается]. Естественный свѣтъ сіяетъ въ тебѣ какъ мѣсяцъ, онъ прибываетъ и убываетъ; но свѣтъ отъ высоты, благодать, сіяетъ какъ солнце, и всякую свѣтлость блистаніемъ, ясностію и чистотою своею превосходитъ.

Дѣлами своими ты Богу угодить не можешь: ибо въ дѣлахъ своихъ по природѣ ты имѣешь предметомъ одну только природу — самого себя; то Богу угодно быть не можетъ. Если же будешь искать Бога, то найдешь Бога, и Онъ дастъ тебѣ праведную жизнь и сохранитъ тебя въ правдѣ, которая только въ томъ заключается, чтобы ты вопетину признавалъ, что Онъ есть Богъ и что ты самъ ничто. Все, что тебя отъ Бога и Бога отъ тебя отлучаетъ, и что всегда препятствуетъ Ему совершить въ тебѣ дѣло свое, заключается единственно въ томъ, что ты что-нибудь значишь и Богу дѣлами своими угодить желаешь: Богъ же твоихъ дѣлъ не хочетъ; Онъ хочетъ своего дѣла. Отъ этого вся бѣда и тревоги. Склонность къ добру, поелику добромъ обладать для насъ пріятно, есть самолюбіе, есть наслажденіе ради наслажденія. Такъ не должно любить ни Бога, ни людей. Люби истину ради истины и правду люби въ ней самой.

Обратись къ отеческому сердцу Бога— и все свое упованіе возложи единственно на драгоцѣнныя заслуги Іисуса Христа. Крестъ да будетъ твоею оградою. Бросься душою къ стопамъ Іисуса: въ Немъ одномъ ищи очищенія и оправданія всей твоей жизни.

II. ФИЛОСОФІЯ.

НАУКА.

Наука есть богатство ума человѣческаго, есть хранилище пріобрѣтенныхъ имъ умственныхъ сокровищъ. Каждое новое пріобрѣтеніе науки, полезное для матеріальной и для общественной жизни, усиливающее власть человѣка надъ окружающею его природою, умножающее способы нашихъ наслажденій чувственныхъ и умственныхъ, пріобщается къ пріобрѣтеніямъ прежнимъ, такъ сказать, механически, подобно тому, какъ наростаетъ капиталъ, пущенный въ ходъ промышленностію. Капиталисту, скопившему милліоны, было въ самомъ началѣ пріобрѣтеніе одного рубля труднѣе, нежели послѣ пріобрѣтеніе тысячей, которыя наконецъ легко превращаются въ милліоны. Такъ и въ наукѣ: когда уже скопилась масса открытій, новыя открытія быстро прилипаютъ къ старымъ; уму нужна только неутомимость; здѣсь геній есть Бюффоново *терпѣніе въ высочайшей сте-*

нени. Не уставай, иди впередъ: къ неизвѣстному доберешься по звеньямъ, составляющимъ непрерывную цѣпь извѣстнаго. Кольца этой цѣпи соединяются сами собою, необходимо, по закону послѣдственности [consequence]; надъ этимъ сцѣпленіемъ работаетъ умъ; но онъ не творитъ его, а только открываетъ и примѣняетъ результаты труда своего къ практической жизни, матеріальной и нравственной. Сліянная дѣятельность всѣхъ частныхъ умовъ въ своей совокупности есть то, что называется геніемъ, разумомъ, духомъ человѣческаго рода. Открытія ума, приведенныя въ систему, составляютъ науку; изъ соединенія наукъ и ихъ вліянія на жизнь человѣческаго рода истекаетъ то, что мы называемъ образованіемъ, цивилизаціею; цивилизація есть итогъ примѣненія знаній къ практической, общественной жизни, къ жизни человѣческой въ границахъ земнаго. Съ помощію цивилизаціи человѣкъ какъ членъ общества, какъ зритель и обладатель природы вещественной, становится матеріально часъ отъ часу разборчивѣе и взыскательнѣе въ наслажденіяхъ чувственныхъ, а умственно часъ отъ часу болѣе пріобрѣтаетъ способовъ лакомиться и роскошно забываться за изобильной трапезою мысли. Все это, столь важное относительно земной жизни человѣка, то есть, относительно этого минутнаго явленія нашего посреди разнообразныхъ явленій окружающаго насъ тревожнаго міра, само по себѣ не имѣетъ никакой положительной важности относительно души нашей. Въ этомъ богатствѣ матеріальномъ и умственномъ, принадлежащемъ человѣческому роду въ цѣломъ, нѣтъ еще того, что составляетъ отдѣльное, вѣчное богатство души человѣческой внѣ человѣческаго рода, вырванной изъ тѣсныхъ отношеній всего, что здѣсь составляетъ предметъ любопытства для ума нашего и вожделѣнія для нашего сердца. Все здѣсь—отъ высокаго, многообъемлющаго знанія, пріобрѣтеннаго постоянною дѣятельностію генія испытующаго, до мелкаго, мгновеннаго удовольствія чувственности — принадлежитъ скоропреходящему [назови это скоропреходящее мгновеніемъ или вѣкомъ]. Душѣ [я говорю здѣсь о душѣ, взятой отдѣльно] принадлежитъ одно неизмѣнное, то, что существуетъ внѣ пространства и времени, что, будучи извлечено изъ науки, остается въ душѣ ея самобытною, неотъемлемою, съ нею слѣпленною собственностію, независимо, какъ отъ самой науки, такъ и отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, временную нашу жизнь составляющихъ; это вѣчное есть Богъ, источникъ и предметъ всякаго знанія; всякой шагъ впередъ науки долженъ быть шагомъ, приближающимъ къ Богу, новымъ откровеніемъ въ таинствѣ нашихъ вѣчныхъ къ Нему отношеній. Все, что мы здѣсь знаемъ, принадлежа здѣшней жизни и изъ нее истекая, здѣсь съ нею и остается; но итогъ нашихъ знаній, элементъ, ихъ животворящій, то, что въ нихъ принадлежитъ исключительно душѣ и съ нею вмѣстѣ уйдетъ изъ здѣшней жизни, это есть наше знаніе Бога и знаніе нашихъ къ Нему отношеній.

Я вижу предъ собою гиганта науки; онъ обхватилъ могучимъ умомъ все, что уму на землѣ обхватить возможно, но онъ стоитъ посреди своихъ собранныхъ имъ сокровищъ, какъ тюремщикъ посреди своихъ колодниковъ, съ которыми вмѣстѣ и самъ онъ колодникъ. Послѣдній результатъ науки есть для него наслажденіе наукою, знаніе, что онъ знаетъ, благоговѣніе предъ силою своего генія, сообщеніе своего знанія другимъ, словомъ, наслажденіе столь же преходящее, какъ онъ самъ. Высшее, что онъ извлекъ изъ знанія, есть примѣненіе его къ матеріальной пользѣ общества и чувство красоты, которое само по себѣ уже выше знанія, ибо красота есть не иное что, какъ тайное выраженіе божественнаго. Но наслажденіе красотою, эта роскошь души, погружающейся въ сладкое ощущеніе чего-то, ее вполнѣ, но на минуту удовлетворяющаго, это душевное

сибаритство — есть не иное что, какъ высшая степень чувственности; для души его недовольно. Ты окинулъ окомъ просвѣщеннымъ весь необъятный міръ и все намъ высказалъ о его законахъ, ты возвысился до красоты, заключенной въ этой гармоніи цѣлаго и частей; но ты не сказалъ ни слова о главномъ, о томъ, что для души и для чего душа, и мы невольно, хотя и очарованы твоимъ краснорѣчіемъ, съ грустію по тебѣ, чувствуемъ, что для тебя вся эта бездна величія и красоты не иное что, какъ пустыня великолѣпная, гдѣ властвуетъ необходимость и посреди которой ты, ея пророкъ, скоро исчезнешь, какъ нѣкогда сама она исчезнетъ. Слушая тебя, мы остаемся съ тѣмъ впечатлѣніемъ въ душѣ, какое потрясло того несчастнаго, описаннаго Жанъ-Полемъ, который обошелъ все твореніе, искалъ повсюду Бога, и не нашелъ Его.

Изъ того, что мною сказано, не слѣдуетъ однако, что я хочу унизить науку и поклоняюсь невѣжеству. Въ наукѣ, созданной человѣкомъ, заключается истинное земное величіе человѣка, его владычество надъ природою, его личное первенство передъ всѣми живыми ея созданіями; наука есть великій памятникъ жизни человѣческаго рода, болѣе великій, нежели всѣ первозданныя горы, заключающія въ слояхъ своихъ мертвую лѣтопись міра матеріальнаго, тогда какъ умственные слои науки составляютъ живую лѣтопись міра умственнаго. Мы должны благоговѣть передъ наукою, благоговѣть передъ ея могучимъ образовательнымъ дѣйствіемъ на родъ человѣческій, передъ ея животворящимъ вліяніемъ на человѣческую душу въ предѣлахъ матеріальнаго міра. Что можетъ быть живѣе жизни человѣка, который всюду съ собою носитъ сокровище знаній, всѣми вѣками пріобрѣтенныхъ, который въ минуты уединенія, никому непримѣтный, на непримѣтной точкѣ, имъ занимаемой въ пространствѣ, можетъ просвѣщеннымъ умомъ своимъ обхватывать цѣлый міръ, которому все на землѣ знакомецъ, все собесѣдникъ, живое, мертвое, давно прошедшее, возможное, матеріальное и духовное? Нѣтъ, я хочу только сказать, что наука теряетъ свое высокое достоинство, когда сама становится своею цѣлію. Цѣль науки, и вообще жизни духовнаго человѣка, есть Богъ, создавшій человѣка не для иного чего, какъ для Себя. Земля есть колыбель человѣка; земная жизнь и все человѣчество, взятыя вмѣстѣ, суть скоропреходящія явленія, образующія и готовящія каждую человѣческую душу отдѣльно для другой высшей жизни. Наука устроиваетъ и озаряетъ для человѣка эту сцену явленій, она безпрестанно обрѣтаетъ новые способы ее украшать, разнообразить и ея зрѣлищами наслаждаться; но, если этого довольно для человѣчества, стѣсненнаго въ предѣлахъ здѣшней жизни, то все это ничтожно для души человѣческой, назначенной для иного порядка. Относительно здѣшняго, наши знанія могутъ безпрестанно умножаться и совершенствоваться могуществомъ человѣческаго генія, этой собирательной души всего человѣчества, не имѣющей личнаго бытія, но существующей какъ великое преданіе отъ поколѣній къ поколѣніямъ, которыя, уходя одно за другимъ, оставляютъ въ наслѣдство идущимъ за ними свои духовныя сокровища, ложащіяся, какъ сказано выше, слоями одно на другое и образующія великую, безпрестанно возрастающую громаду науки. Но вся эта громада принадлежитъ человѣческому роду на землѣ; то, что въ ней принадлежитъ душѣ, землѣ не принадлежащей, то, что душа исключительно присвоиваетъ себѣ во времени и сохранитъ на всю вѣчность, есть познанный ею въ глубинѣ житейскаго Богъ, — къ Нему должна вести наука. Если она не объяснитъ человѣку глубокаго смысла окружающихъ его явленій и, посреди ихъ быстраго, ежеминутнаго измѣненія, не найдетъ вѣчнаго Бога, то она и сама будетъ однимъ только явленіемъ земной жизни, которой исклю-

чительно принадлежать ся открытія, и не дастъ ничего къ приданое душѣ при ея переходѣ въ иной порядокъ. Однимъ словомъ *человѣку на землѣ нужна наука; душѣ человѣческой нуженъ только Богъ:* Онъ одинъ только дастъ знанію жизнь, Онъ одинъ, изъ глубины знанія бесѣдуя съ душою, съ нею сливается *здѣсь*, дабы не покинуть ее *тамъ*, гдѣ всякое земное знаніе, какъ сонъ, исчезаетъ.

ВѢРА И ЗНАНІЕ.

Въ наше время, когда все опрокинуто, необходимо взглянуть безпристрастными глазами на тѣ истины, которыя всему служатъ основаніемъ и которыхъ отрицаніе произвело это всеобщее разрушеніе, грозящее одичалостью человѣческому обществу.

Основная истина, корень всѣхъ истинъ, которой мы ни постигнуть, ни доказать умомъ, ни вполнѣ выразить словомъ не можемъ, есть: *Богъ существуетъ*, Богъ самостоятельное, личное самознающее бытіе, источникъ всякаго бытія, невидимый видимаго создатель.

Богъ есть положительное добро, положительная правда, положительная истина, положительная красота — все противорѣчущее добру, правдѣ, истинѣ, красотѣ, есть отрицаніе Бога. Основаніе всякаго добра, всякой правды, истины и красоты въ душѣ человѣка есть вѣра въ Бога. Изъ вѣры въ Бога исходитъ всякое добро, всякая правда, всякая истина и красота. Сія вѣра, выражаемая словомъ: *Богъ существуетъ*, есть основная аксіома, главное передовое положеніе, первая точка отбытія, съ которой долженъ начинаться всякій путь нашихъ умствованій, дабы мы могли достигнуть до вѣрнаго результата. Этотъ существующій Богъ не есть созданіе нашего умствованія; Онъ есть Богъ откровенія, Богъ тройственный, Богъ Отецъ, Сынъ и Духъ Святый, Богъ личный, содѣйствующій *внѣ своего всеобъемлющаго*, всемірнаго дѣйствія, особенно душѣ человѣческой, созданной Имъ для Себя, по Своему образу и подобію, свободною, и вслѣдствіе сей свободы разрознившейся съ Нимъ паденіемъ, но вновь соединившейся съ нимъ силою искупленія. На семъ отношеніи Бога къ душѣ человѣческой и души человѣческой къ Богу, основанъ весь земной порядокъ. Изъ сего отношенія нашъ умъ долженъ извлекать и законы земнаго порядка; имъ долженъ онъ объяснять и судьбу человѣка на землѣ во времени и пространствѣ, и судьбу души человѣческой въ вѣчности. По сему исторія человѣка распадается на двѣ: на исторію его дѣйствій въ порядкѣ земной жизни, то есть на исторію фактовъ естественныхъ, гдѣ главный, видимый дѣйствователь есть самъ человѣкъ; и на исторію его дѣйствій относительно порядка высшаго, въ которыхъ главный дѣйствователь есть Богъ откровенія, Богъ искупитель падшей души человѣка. Дѣйствіями въ порядкѣ земномъ мы приготовляемся къ жизни въ порядкѣ высшемъ: въ первомъ отношеніи, посреди событій вещественнаго міра, мы руководствуемся умомъ и совѣстію; въ послѣднемъ—насъ руководствуетъ откровеніе; въ первомъ мы властвуемъ умомъ и волею надъ событіями, въ послѣднемъ мы покоряемъ смиренно и умъ и волю волѣ всевышней—первое для послѣдняго. Соединеніе того и другаго есть земная задача, которую здѣсь бренный человѣкъ разрѣшаетъ для своей безсмертной души на вѣчность.

Принявъ все сказанное выше за основаніе, мы можемъ безошибочнѣе разрѣшить главные вопросы человѣчества. Сіи вопросы уже напередъ для всего человѣчества безмолвно разрѣшены всеобщимъ признаніемъ бытія Божія: человѣкъ во всякое время тайно и неизглаголанно ощущаетъ въ самомъ себѣ очевидность и неоспоримость сего разрѣшенія; но сія очевидность обращается въ сомнѣніе и сія неоспоримость становится отрицаніемъ всякой разъ, когда онъ беретъ на себя

извлекать ихъ изъ своихъ умствованій, утверждать на своихъ доказательствахъ, когда онъ въ границѣ своихъ тѣлесныхъ, тѣсныхъ, запутанныхъ словъ силится заключить свѣтозарное, необъятное, непостижимое Божіе слово.

Чистая умозрительная философія извлекаетъ свои понятія изъ ума; отъ ближайшаго она переходитъ къ дальнѣйшему, и такъ стремится прямымъ, логическимъ путемъ дойти до понятія о Богѣ, которое должно быть послѣднимъ результатомъ всѣхъ нашихъ умозрѣній. Христіанская философія, напротивъ, извлекаетъ все изъ идеи Бога: въ ней понятіе о мірѣ, о человѣкѣ, объ отношеніяхъ человѣка къ міру и его Создателю, суть результатъ неумотворнаго понятія о Богѣ, даннаго откровеніемъ, принятаго вѣрою. Умозрительная философія идетъ своимъ путемъ рядомъ съ религіею, и часто врозь съ нею. Философія христіанская идетъ путемъ религіи. Она есть не иное что, какъ примѣненіе умозрѣнія къ откровенію, какъ покореніе ума вѣрѣ въ откровеніе. Въ первой умозрѣнія принадлежатъ особенному метафизическому міру и отдѣльны отъ жизни; въ послѣдней умозрѣнія входятъ въ дѣятельную жизнь, съ нею сливаются, и даютъ ей, въ самыхъ простыхъ событіяхъ ежедневнаго, полноту и глубокую значительность. Первая стремится къ истинѣ и гордо мечтаетъ острымъ окомъ ума пронзить ея покрывало; послѣдняя истекаетъ изъ истины; она принадлежитъ вѣрѣ, а вѣра, свободное, блаженное принятіе невѣдомаго изъ устъ откровенія здѣсь, преображается въ блаженное созерцаніе вѣдомаго тамъ.

Философическій языкъ.

Нашъ философическій языкъ вообще еще весьма бѣденъ и неопредѣленъ. Этому причина та, что у насъ еще слишкомъ мало оригинальныхъ философическихъ сочиненій. Наши мыслители, для собственныхъ идей, принуждены заимствовать выраженія у философовъ иноземныхъ, особенно у нѣмцевъ. Нѣмецкій языкъ удивительно удобенъ для построенія новыхъ словъ: онъ чудно творитъ, по мѣрѣ нужды, выраженія новыя, преобразуетъ старыя и германизируетъ чужія. Онъ по природѣ своей языкъ философическій: онъ погружается въ глубину мысли до самаго дна ея и схватываетъ всѣ ея оттѣнки, отъ чего бываетъ часто теменъ, хотя впрочемъ эту темноту можно чаще поставить на счетъ писателя, нежели на счетъ языка его. Такихъ свойствъ русскій языкъ еще не имѣетъ. Можетъ ли онъ пріобрѣсть ихъ—не знаю; но ежели можетъ, то не иначе, какъ одними усиліями самомыслящихъ философическихъ писателей, которые для построенія собственныхъ умственныхъ зданій должны будутъ употреблять и собственные матеріалы слова. Мыслить есть говорить внутренно; всякая опредѣленная мысль есть уже слово, сказанное душою самой себѣ, слово безмолвное, которое должно быть переведено въ соотвѣтственное ему звучное. Какъ мы находимъ и то и другое—эта, безъ вѣдома нашего совершающаяся операція души навсегда останется для насъ тайною. Въ минуту рожденія каждой мысли, по какому-то духовному сродству, проявляется вмѣстѣ съ нею и соотвѣтствующее ей умственное слово. Но это происходитъ не нашею волею; нашъ разумъ чувствуетъ муку родовъ, но ни зачатіе, ни рожденіе мысли отъ насъ не зависитъ. Мы можемъ только слышать первый крикъ новорожденнаго младенца, то есть схватывать проявленіе мысли въ духовномъ, внутреннемъ словѣ, и въ соединеніи этого внутренняго слова съ выражающимъ его звучнымъ. Мы ошибаемся, полагая, что сами произвольно создаемъ свои мысли; напротивъ, мысли сами намъ даются; каждая изъ нихъ есть откровеніе, награждающее нашу неутомимость въ ея исканіи, и здѣсь справедливо выраженіе Бюффона: *геній есть терпѣніе въ высшей степени.* Мы можемъ только принимать; вся наша сила состоитъ въ неутомимости приня-

вольнаго терпѣнія; насильственно намъ взять ничего невозможно. Обращаясь къ языку, скажу, что ясность выраженія зависитъ отъ сродства, отъ совпадаемости слова звучнаго съ словомъ духовнымъ. Вотъ отъ чего намъ легче выражать собственныя мысли, нежели мысли заимствованныя. Кто почерпаетъ мысль изъ внутри себя, кто схватываетъ ее, такъ сказать, въ минуту ея рожденія, уже облеченную въ свойственный ей мысленный образъ, то есть, въ мысленное слово, тому легче найти и въ собственномъ языкѣ [который не иное что, какъ внѣшній отзывъ внутренно говорящей души] матеріальное слово, соотвѣтственное мысленному, въ которомъ оно уже заключается, какъ плодъ въ сѣмени, и изъ котораго оно вдругъ всходитъ во всей полнотѣ своей, вызванное упорною работою нашего терпѣнія. Здѣсь изъ мысли родится само собою сперва духовное слово, и изъ слова духовнаго—слово матеріальное, его выражающее; мы прямымъ путемъ переходимъ отъ мысли къ выражающему ее слову. Напротивъ, выражая чужую, уже выраженную на другомъ языкѣ мысль, мы принуждены переходить обратнымъ путемъ—отъ выраженія къ мысли; мы должны сначала присвоивать чужое, не нами найденное выраженіе, и покорить ему данному выраженію и нашу мысль и наше ее выражающее слово. Отъ этой натяжки выраженіе становится запутано, и часто затемняетъ самую мысль, ибо не можетъ вполнѣ ей соотвѣтствовать. Изъ сего слѣдуетъ, что языкъ философическій можетъ образоваться только отъ самобытнаго, а не отъ заимственнаго, подражательнаго мышленія: въ семъ послѣднемъ случаѣ мысли будутъ всегда въ разладѣ съ выраженіемъ; выражающее слово будетъ болѣе или менѣе чуждо выражаемой мысли, потому именно, что и самая мысль будетъ чужая для ея выразителя.

Напримѣръ, въ нашемъ философическомъ языкѣ, столь еще бѣдномъ опредѣленными техническими выраженіями, недавно начали употреблять слова: *субъектъ, субъективность, объектъ, объективность*, и эти слова получили уже у насъ нѣкоторое право гражданства отъ употребленія; но въ нихъ звучитъ что-то для насъ чужое. Предлагать въ замѣну имъ другія слова было бы безполезно: словъ нельзя выдумывать отдѣльно, по произволу; слово ясное и точное находится только на пути размышленія, его дастъ сила необходимости; тогда только оно бываетъ ясно, когда оно родится вмѣстѣ съ мыслію, въ связи съ другими, притягивающими его магнитическою силою сродства, и тогда только употребленіе присвоиваетъ его безъ противорѣчія. Слово не есть наша произвольная выдумка; всякое слово, получающее мѣсто въ лексиконѣ языка, есть событіе въ области мысли, можно сказать, и въ области гражданской жизни: всякое новое слово есть новый монументальный камень, входящій въ составъ той пирамиды языка, которую зиждутъ въ продолженіе вѣковъ, во свидѣтельство бытія своего, народы, и которой послѣдній верхній камень только тогда положенъ будетъ, когда созданіе остановится, то есть, когда самое существованіе народа прекратится. Всякое счастливое новое слово, сильно и живо изображающее новую мысль, есть такое же откровеніе, какъ и сама мысль; какъ вылетаетъ искра изъ кремня отъ удара стали, такъ и мысль и слово вылетаютъ изъ души отъ удара вдохновенія.

Сдѣлаемъ однако опытъ. Мнѣ кажется, что слово *субъектъ* можетъ быть замѣнено словомъ *лицо*, а слово *объектъ* словомъ *предметъ*. Такимъ образомъ понятіе субъективное, котораго содержаніе составляемъ мы сами, можно назвать опредѣлительнѣе понятіемъ *личнымъ*, а понятіе объективное, котораго предметъ внѣ насъ, передъ нами, передъ лицомъ нашимъ, можетъ быть названо понятіемъ *предметнымъ, предличнымъ*. Субъектъ есть нѣчто подлежащее, объектъ есть нѣчто предлежащее; *подлежательность*,

предлежательность кажутся мнѣ выраженіями довольно точными: они яснѣе, нежели *субъективность* и *объективность*. Говорятъ *недѣлимое*, чтобы выразить *individu*; едва ли это слово останется въ употребленіи: оно не выражаетъ вполнѣ соединеннаго съ нимъ понятія. Недѣлимость не значитъ единство; оно означаетъ одну только матеріальную сторону предмета, только его нераздѣлимость на части. Слово *лицо* выражаетъ, кажется мнѣ, его полнѣе и точнѣе. Впрочемъ, понятіе *individu* не можетъ быть выражено въ разныхъ случаяхъ однимъ и тѣмъ же словомъ; напримѣръ, мы не можемъ употреблять слово *недѣлимое*, какъ французы употребляютъ свое *individu;* никто не скажетъ: *это недѣлимое у меня нынѣче обѣдаетъ; этотъ недѣлимый очень глупъ; его недѣлимость мнѣ несносна.* Это понятіе должно быть раздроблено на многія выраженія: *лицо, личность*— когда идетъ дѣло о человѣкѣ; *единица, единичность*—для выраженія единства вообще; *недѣлимость* — для выраженія единства матеріальнаго. Не выдаю здѣсь предлагаемыхъ выраженій за счастливую находку; думаю, напротивъ, что они будутъ новымъ доказательствомъ, сколь трудно выдумывать слова отдѣльно. Слово упрямо и причудливо: его нельзя взять силою; оно прячется отъ насъ, когда мы его ищемъ и кличемъ, и вдругъ намъ является тамъ, гдѣ мы найти его не ожидаемъ. Слово есть откровеніе.

идея бытія.

Декартъ сказалъ: *я мышлю, слѣдовательно я существую.* Послѣднее не можетъ быть послѣдствіемъ перваго; ибо, чтобы сказать: *я мышлю*, надобно сказать напередъ: *я существую. Я мышлю* есть не иное что, какъ *я есмь, я существую, мысля.* Въ понятіи: *я существую* заключается уже понятіе: *я мышлю;* послѣднее безъ перваго не можетъ родиться въ умѣ нашемъ, слѣдовательно не можетъ ему предшествовать и быть его источникомъ; понятіе: *я существую* есть элементъ всѣхъ другихъ понятій, которыя безъ него и составлены быть не могутъ. Если же оно элементъ всѣхъ понятій, то никакое другое не можетъ быть его элементомъ; слѣдовательно это понятіе есть самобытное, врожденное. Какъ безъ самаго бытія ничто существующее не возможно [бытіе основа всему, но мы этой основы ни обнять чувствами, ни опредѣлить умомъ не можемъ], такъ и безъ общей идеи бытія, составляющей основу всѣхъ другихъ идей, не умомъ составляемой, но въ умѣ врожденно существующей, никакая идея существовать не можетъ; чтобы сказать: *я мыслю*, надобно сперва имѣть идею этого *я*, которое мыслитъ; это *я*—есть мое бытіе личное, отдѣльно мною постигаемое; но въ этомъ *я* заключаются двѣ идеи: одна идея самаго *бытія*, другая отдѣльности, *частности* этого бытія; слѣдовательно, чтобы получить идею этого *я*, сперва надобно получить идею самаго *бытія;* но бытіе есть нѣчто составляющее основу всему, безъ всякаго признака, безъ образа, границъ, времени, пространства и мѣста. Идеи объ немъ мы ни изъ чего пріобрѣсть не можемъ; она существуетъ въ насъ безъ нашего вѣдома; по тому самому и постигнуть самаго бытія мы не можемъ, ибо не можемъ означать исторіи происхожденія понятія о немъ въ головѣ нашей. Это понятіе начинается съ нашею жизнію. Оно есть самое обширное, или, лучше сказать, безпредѣльное, по своему объему, и самое тѣсное или ничтожное по своимъ особеннымъ признакамъ: ибо чѣмъ обширнѣе объемъ, тѣмъ менѣе признаковъ; и то, что объемлетъ все, по тому самому совсѣмъ не имѣетъ признаковъ.

свобода.

Что есть свобода? Способность произносить слово *нѣтъ* мысленно или вслухъ. Что есть свобода гражданская? Совершенная подчиненность одному закону, или совершенная возможность бе-

зать все, чего не запрещаетъ законъ. Что есть свобода въ высшемъ смыслѣ? Совершенная подчиненность волѣ Божіей всегда, во всемъ, вездѣ, и ничему иному. Въ сей подчиненности заключается свобода отъ зла, отъ судьбы, отъ людей. Что такое подчиненность волѣ Божіей? Воля человѣческая больна со времени паденія. Подпорою и руководствомъ ей служитъ естественный нравственный законъ, или, лучше сказать, остатокъ того божественнаго образа, который отразился въ человѣкѣ при его созданіи и затмился въ немъ грѣхопаденіемъ. Но этотъ законъ самъ по себѣ теменъ, и голосъ совѣсти, хотя и всегда слышенъ, но не всегда внятенъ. Этотъ голосъ совѣсти есть внутреннее выраженіе нравственнаго закона. Со времени искупленія сей внутренній голосъ выражается ясно въ ученіи Спасителя. Теперь уже нѣтъ сомнѣнія, чему слѣдовать, что дѣлать, чего не дѣлать, къ чему стремиться—все сказано Христомъ, и совѣсть не можетъ заблуждаться. Итакъ, покорность воли человѣческой передъ верховною волею Божіею состоитъ въ ея неизмѣнномъ согласованіи съ сею высшею волею, выраженною въ святомъ писаніи. Эта покорность можетъ быть или положительная, когда мы сами должны дѣйствовать; или отрицательная, когда мы должны принимать смиренно то, что на насъ дѣйствуетъ; въ обоихъ случаяхъ она есть чистое смиреніе. Блаженъ тотъ, въ комъ она есть и любовь!

твердость и упрямство.

Твердость есть сила, основанная на союзѣ разума съ волею и на ихъ равновѣсіи. Упрямство есть слабость, имѣющая видъ силы; она происходитъ отъ нарушенія равновѣсія въ союзѣ воли съ разумомъ. Въ первомъ случаѣ разумъ и воля употребляютъ совокупно силу свою въ пользу. Во второмъ случаѣ воля, въ разрывѣ съ разумомъ, или не пользуется силою, или употребляетъ ее во зло: и то и другое слабость. Твердый непоколебимо *держится* своихъ убѣжденій, пока они для него оправданы его разумомъ. Но онъ или измѣняетъ ихъ, или отъ нихъ отрекается, когда находитъ ихъ противорѣчащими разуму. Въ этомъ произвольномъ, необходимомъ, принимаемомъ волею отреченіи столько же твердости, сколько въ прежней произвольной вѣрности убѣжденію. Упрямый, напротивъ, держится своего убѣжденія, но, такъ сказать, механически; онъ не терпитъ противорѣчія, ибо слишкомъ лѣнивъ или пристрастенъ, чтобъ повѣрять свои мысли; ему легче сохранять ихъ такими, какими онѣ разъ вошли въ его голову, нежели пересматривать ихъ, имѣя въ виду одну истину, и замѣнять прежнія ложныя, новыми, истинными. Убѣжденія упрямаго суть мертвый капиталъ, никакого барыша не приносящій. Мнѣнія твердаго суть капиталъ, пущенный въ оборотъ: онъ въ безпрестанномъ движеніи, и это движеніе не есть непостоянство, напротивъ, сила, дѣйствующая постоянно.

благотвореніе.

Люби Бога всею душою, всѣми помышленіями и всѣми дѣлами; люби ближняго какъ самого себя. Въ этомъ весь законъ христіанина. Мы читаемъ ежедневно: *да святится имя Твое, да будетъ воля Твоя, хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь.* Все это надлежитъ примѣнять къ благотворенію. Оно должно быть любовь къ Богу и къ ближнему, во славу имени Божія, во исполненіе воли Бога, который даетъ намъ нашъ хлѣбъ насущный. Но такое благотвореніе исключаетъ ли заботу о себѣ и о своихъ, и должно ли не обращать самому осторожнаго взгляда на будущее, вѣруя его совершенно провидѣнію Божію? Нѣтъ! но и то и другое должно быть согласовано. Счастливъ, кто можетъ благотворить съ любовію, кто, любя Бога, любитъ потому и ближняго и не заботится о завтрашнемъ днѣ. Тогда благотвореніе возвышаетъ душу, и благотворящій ближнему стократно благотворитъ самому себѣ. Не всякой способенъ

имѣть такую любовь: она есть благодать свыше. Но всякой способенъ признавать истину заповѣди Божіей и смиренно ей покоряться, даже безъ чувства любви, даже вопреки безчувствію, бременящему сердце: болѣзнь, отъ которой можетъ исцѣлить только одинъ Богъ. Всякой случай благотворитъ есть голосъ Божій; не затворяй предъ нимъ твоего слуха и покорно исполняй то, что исполнить можешь, какое бы при томъ ни было твое чувство. Главное покорность. Отецъ семейства долженъ заботиться о будущемъ жены и дѣтей своихъ; но бываетъ минута, въ которую надобно настоящей бѣдѣ ближняго принесть въ жертву возможное собственное благо въ будущемъ: оно въ рукѣ Божіей, и потому вѣрно. Тотъ несправедливо поступаетъ, кто, опасаясь невѣрнаго зла въ будущемъ, отталкиваетъ вѣрное добро или допускаетъ вѣрное зло въ настоящемъ.

НЕСЧАСТІЕ.

Можно сравнить несчастіе съ величественнымъ гигантомъ, имѣющимъ прекрасное, свѣтозарное лицо, а ноги свинцовыя: кто самъ высокъ или кто можетъ подняться, чтобы посмотрѣть страшилищу въ глаза, тотъ станетъ лицомъ къ его лицу, озарится блескомъ этого лица, и его собственное лицо просвѣтлѣетъ; но тотъ, кто по природѣ своей низокъ или кто, приведенный въ ужасъ блестящимъ образомъ, наклонитъ голову, чтобы его не видать, тотъ попадетъ подъ свинцовыя ноги великана и будетъ имъ затоптанъ въ прахъ или раздавленъ.

Несчастіе есть громогласный проповѣдникъ Провидѣнія и вѣчности. Горе имѣющему слабый слухъ; оглушенный громозвучностію голоса, онъ не разслушаетъ вѣсти великой.

НАДЕЖДА.

Земную надежду можно сравнить съ свѣтлою радугою; она сіяетъ на темномъ облакѣ, она украшаетъ его своими яркими цвѣтами—но она одинъ оптическій обманъ. Надежду, основанную на вѣрѣ, можно сравнить съ утреннею зарею—она предвѣщаетъ солнце, и это не обманъ: солнце взойдетъ.

СЛУЧАЙ.

У одного умнаго человѣка спросили: что такое случай? Онъ отвѣчалъ: инкогнито Провидѣнія. Случая нѣтъ. Все, что ни встрѣчается съ нами въ жизни, радостное или прискорбное, ожиданное или неожиданное—есть Богъ въ разныхъ видахъ.

ВОСПОМИНАНІЕ.

О милыхъ спутникахъ, которые нашъ свѣтъ
Своимъ сопутствіемъ для насъ животворили,
Не говори съ тоской: *ихъ нѣтъ!*
Но съ благодарностію: *были!*

Нѣтъ и *были*—какая разница! Въ первомъ—потеря, въ послѣднемъ—воспоминаніе! *Нѣтъ* значитъ исчезли! *были* значитъ оставили слѣдъ бытія своего! Прекрасная жизнь тѣхъ, которыхъ мы лишились, освящаетъ для насъ и землю и жизнь нашу. Рѣшительная минута разлуки миновалась; они на вѣки переданы воспоминанію; недоумѣніе кончилось; ихъ будущее не приводитъ въ трепетъ; печаль объ нихъ обратилась изъ страданія въ благодѣтельную для сердца любовь; можемъ всѣмъ дѣлиться съ ними свободно: ихъ образъ равно свѣтелъ для насъ и при нашемъ счастіи и при нашемъ несчастіи; ни то ни другое не измѣняетъ ихъ жребія; но и въ томъ и въ другомъ они *съ нами* воспоминаніемъ, всегда неизмѣннымъ, когда не измѣнимся мы сами, возвышающимъ душу въ счастіи, ободряющимъ ее въ несчастіи, и такое воспоминаніе есть для насъ, такъ сказать, двойникъ нашей совѣсти.

Ея умирающая мать *) не могла дочитать того письма, которое получила отъ своей дочери на смертной постели:

*) Королева Луиза Прусская скончалась въ Стрѣлицѣ. За нѣсколько времени до кончины она получила письмо отъ принцессы Шарлотты (государыни императрицы Александры Ѳеодоровны) и была такъ имъ растрогана, что не могла его дочитать—и письмо навсегда осталось недочитаннымъ. *Примѣчаніе къ тексту въ рукописи.*

такъ было сильно чувство материнской любви и материнскаго счастія, наполнившее душу ея въ эту минуту! Ей недостало жизни для нѣсколькихъ строкъ— но эти недочитанныя строки имѣютъ высокое, трогательное знаменованіе! Недочитанныя строки письма, полнаго любви— то же, что остальная жизнь уже невидимая матерью, но полная тою же любовію, какую она прочитала бы въ этихъ послѣднихъ строкахъ! Безъ нее и все для нее. И эта чистая жизнь будетъ уже безъ нарушенія радовать материнскую, вѣчно близкую душу! смерть уже не придетъ оторвать ее отъ этой радости. На ея часть достались желаніе великаго и величіе въ страданіи; по дѣтямъ своимъ завѣщала она свои надежды и исполненіе чистыхъ своихъ желаній.

Іоаннъ, любимый ученикъ и апостолъ Спасителя, видѣлъ Его возлетѣвшаго на небо и глаза его подняты къ небу, пріявшему всѣ его блага—но въ этихъ глазахъ не печаль разлуки, не томительное нетерпѣніе оставить землю, но чувство глубокой, спокойной, покорной любви къ улетѣвшему, какъ будто къ присутственному. Онъ уже не на землѣ, но Онъ былъ на ней; своимъ преображеніемъ Онъ познакомилъ съ таинствомъ неба; но своею любовію, своимъ страданіемъ познакомилъ съ величіемъ жизни; небеснымъ Онъ озарилъ житейское, и не чудесное видѣніе неестественнаго представляется взору молодаго Іоанна: онъ спокойно наполненъ святымъ воспоминаніемъ, не томящимъ, не отлучающимъ отъ здѣшняго, но тихимъ, сладкозадумчивымъ, вполнѣ удовлетворяющимъ душу; онъ смотритъ на небо, на обитель удалившагося друга; не стремится туда, ибо земная жизнь оставлена ему въ наслѣдство, какъ благо, для совершенія воли учителя; но вѣритъ съ глубокою, мирною радостью, любитъ задумчиво и уповаетъ безъ нетерпѣнія! И все земное, радостное, печальное заключено для него въ одномъ словѣ, во всемъ отражается и слышится одно слово: *Спаситель твой живъ!*—

Вотъ что Ж. П. Рихтеръ написалъ въ то время, когда королева Луиза покинула землю, оплакиваемая не однимъ своимъ отечествомъ, но и всѣмъ германскимъ народомъ, который видѣлъ въ ней идеалъ женской прелести.

Въ ту минуту, когда ты въ бѣлой брачной одеждѣ,
Вышняго, тайнаго міра невѣста, земную корону
Тихо сняла и землѣ возвратила, и въ свѣжемъ изъ зрѣлой
Жатвы вѣнцѣ отъ насъ полетѣла... все зарыдало;
Плакалъ—кто только слыхалъ о тебѣ, но болѣе плакалъ
Знавшій тебя; а тѣ, кого прижимала ты къ сердцу,
Слезъ найти не могли, а послѣ ужъ ихъ не считали.
Время придетъ; намъ завидовать станутъ въ великомъ, въ прекрасномъ,
Станутъ завидовать въ счастіи, насъ посѣтившемъ, а скорби,
Скорби, съ какой отъ себя мы его проводили, не вспомнятъ.
Въ часъ тотъ, когда бытіе на землѣ для нея начиналось,
Ангелъ жизни ея прилетѣлъ предъ Судьбу и сказалъ ей:
Много вѣнцовъ у меня для младенца: изъ лилій сплетенный
Снѣжій вѣнецъ *красоты*, и *брачный* изъ мирть, и *корона*,
Есть и дубовый вѣнецъ героической *чести* германской;
Есть и *терновый*—который избрать повелишь для младенца?
Всѣ избираю, сказала Судьба. Но остался единый,
Все награждающій. Въ день испытанья, когда появился
Смерти вѣнецъ на высокомъ челѣ, унывающій ангелъ
Снова предсталъ... и одинъ лишь слезы его вопрошали.
Голосъ раздался: *воззри!* Онъ воззрѣлъ— передъ нимъ *Искупитель*.

III. ВОСПИТАНІЕ.

ЧТО ТАКОЕ ВОСПИТАНІЕ?

Что такое воспитаніе? Этотъ вопросъ разрѣшится самъ собою, когда будетъ разрѣшенъ слѣдующій: что такое здѣшняя жизнь? Здѣшняя жизнь есть приготовле-

ніе земнаго человѣка къ жизни высшей. Воспитаніе есть приготовленіе души человѣка къ принятію уроковъ здѣшней жизни. Какую бы форму ни имѣли сіи уроки, ихъ смыслъ всегда одинъ и тотъ же. Открытіе этого смысла, независимо отъ формы, которой опредѣленіе принадлежитъ Промыслу, есть высшій предметъ воспитанія. Для достиженія сего предмета должна быть въ здравомъ тѣлѣ образована здравая душа, вѣрно мыслящая, свободно дѣйствующая, чисто чувствующая, наконецъ, смиренно вѣрующая.

Цѣль воспитанія есть та же, какъ и цѣль жизни человѣческой. Сама жизнь здѣшняя не иное что, какъ воспитаніе для будущей; а вся будущая — не иное что, какъ безконечное воспитаніе для Бога. Что есть назначеніе человѣка на землѣ? Въ одномъ словѣ: возстановленіе падшаго въ немъ образа Божія. Воспитаніе должно въ первые годы жизни сдѣлать его способнымъ пройти впослѣдствіи нѣсколько шаговъ для достиженія этой цѣли. Человѣкъ образуется здѣсь не для счастія, не для успѣха въ обществѣ, не для особеннаго какого-нибудь званія, даже не для добродѣтели; онъ образуется для вѣры въ Бога [для вѣры христіанской] и для безусловнаго преданія воли своей въ высшую волю [въ чемъ истинная человѣческая свобода]: изъ этого истекаетъ все другое,—счастіе, успѣхъ, нравственность, добродѣтель.

Воспитаніе должно образовать человѣка, гражданина, христіанина. Человѣкъ — здравая душа въ здравомъ тѣлѣ. Гражданинъ—нравственность, просвѣщеніе, искусство, самостоятельность. Христіанинъ—подчиненіе всего человѣка вѣрѣ.

Природа человѣка есть то, что онъ есть отъ рожденія. Это врожденное образуется воспитаніемъ, развивается жизнію и получаетъ доброе или худое направленіе; но оно всегда остается въ человѣкѣ. Какъ въ колыбельку, такъ и въ могилку.

Первое время воспитанія особенно должно быть посвящено утвержденію хорошихъ привычекъ; основою всѣхъ другихъ привычекъ должна быть привычка къ повиновенію. Сила привычки доказывается ловкостью правой руки, которая, привыкая дѣйствовать болѣе лѣвой, несравненно искуснѣе, нежели лѣвая. Если бы въ первые годы закрыть лѣвый глазъ и глядѣть только правымъ, то, конечно, произошла бы между ими большая разница; но ихъ дѣйствіе болѣе совокупное, нежели дѣйствіе рукъ. Отъ чего нѣтъ разницы въ нашихъ погахъ? Онѣ всегда обѣ дѣйствуютъ совокупно.

Привычка производится собственнымъ опытомъ, вліяніемъ внѣшнихъ обстоятельствъ, вспомогательнымъ и постояннымъ содѣйствіемъ воспитанія. Послѣднее тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ согласнѣе съ дѣйствіемъ опыта и чѣмъ болѣе властвуетъ обстоятельствами. Привычки могутъ быть умственныя, нравственныя и физическія. Чѣмъ скорѣе угадаетъ воспитатель тайну природы, то есть врожденныя качества—и умственныя и нравственныя и физическія—воспитанника, тѣмъ удачнѣе будетъ дѣйствовать на произведеніе благихъ привычекъ, способствующихъ развитію добрыхъ и подавленію худыхъ врожденныхъ качествъ. Дѣло воспитанія состоитъ въ построеніи возможнаго лучшаго на тѣхъ условіяхъ, какія первоначально положила природа.

Что такое привычка? Утвержденный образъ дѣйствія физически или умственно или нравственно. Этотъ образъ дѣйствія отъ многократнаго произвольнаго повторенія становится постояннымъ, непроизвольнымъ, и наконецъ сливается неразрывно съ тѣломъ, умомъ и волею. Дарованіе добрыхъ привычекъ и уничтоженіе худыхъ есть дѣло воспитанія. Привычка не мѣшаетъ свободѣ; ею только облегчаются дѣйствія свободной воли. Изъ сего слѣдуетъ, что воспитаніе есть положеніе твердаго основанія дѣйствіямъ нашего ума и воли посредствомъ утвержденія добрыхъ привычекъ въ то время, когда онѣ въ насъ легко укореняются.

Привычка основана на сцѣпленіи идей;

сцѣпленіе идей основано на сходствѣ, противоположности и современности. Изученіе языка основано на сцѣпленіи идей, происходящихъ отъ современности. Ребенокъ видитъ глазами столъ, въ его умѣ происходитъ чувственное впечатлѣніе стола, умственный образъ стола; если современно съ этимъ впечатлѣніемъ произнесено будетъ слово столъ, сіе слово соединяется въ умѣ съ умственнымъ образомъ. Послѣ матеріальный видъ стола пробуждаетъ въ умѣ слово *столъ*; или наоборотъ, произнесенное слово *столъ* возобновляетъ въ умѣ умственный видъ стола, и такимъ образомъ звукъ соединяется съ понятіемъ, съ коимъ онъ современно возбужденъ былъ въ умѣ. Повтореніе сего современнаго возбужденія производитъ привычку. Такимъ образомъ всѣ предметы умственные соединяются въ умѣ съ представляющими ихъ звуками, и наоборотъ. Ребенокъ, наконецъ, имѣетъ языкъ. Ребенокъ научается ходить — отъ привычки наблюдать или сохранять равновѣсіе; научается разсуждать — отъ привычки сравнивать, замѣчать отношенія, выводить заключенія. Все привычка. Привычка есть одинъ изъ главнѣйшихъ способовъ природы и воспитанія. Не даромъ говоритъ пословица: *привычка другая природа*. Это неоспоримо—истина.

Чтобы составить себѣ ясное теоретическое понятіе о главныхъ правилахъ воспитанія, надобно сперва утвердить понятіе о назначеніи человѣка вообще, разсмотрѣть его природу, его тѣлесныя и умственныя качества, и опредѣлить вообще средства, какъ усовершенствовать его добрыя и исправить его худыя наклонности. Сей общій взглядъ на человѣка будетъ то же, что карта для путешественника, не дающая понятія о землѣ, чрезъ которую надлежитъ проходить, но необходимая, дабы знать свою дорогу; все остальное откроетъ самое путешествіе. Какъ для успѣшнаго путешествія нужно имѣть предварительное свѣдѣніе о мѣстной природѣ посѣщаемой страны, о ея исторіи, о языкѣ въ ней царствующемъ; такъ и для успѣшнаго воспитанія, сверхъ общихъ познаній о человѣкѣ и его свойствахъ, нужно знать особенную природу воспитанника и руководствоваться частными наблюденіями, дабы умѣть примѣнять практически общую теорію къ частности и сею частностію измѣнять общее. Ибо нѣтъ теоріи, которая могла бы обнимать все частное. Теорія, повторяю, есть карта, необходимая для путешественника; практика есть самое путешествіе, которое только съ картою будетъ вѣрно, безъ карты же будетъ на угадъ и не приведетъ къ цѣли или приведетъ къ ней длинными обходами съ безполезною утратою времени. Теорія безъ практики—Прокустова кровать; практика безъ теоріи—корабль безъ руля.

Въ идеѣ, которая мало по малу образуется въ ребенкѣ о силѣ, справедливости и любви къ нему родителей, заключается и то понятіе, которое послѣ онъ получаетъ о власти, правосудіи и любви Божіей. Зависимость отъ власти родителей, и впослѣдствіи безусловная ей покорность, есть приготовленіе къ живой дѣятельной вѣрѣ. Привыкнувъ чувствовать зависимость, ребенокъ научается покорности, которая есть не иное что, какъ произвольное признаніе необходимой высшей, хранительной власти. Сперва ребенокъ по привычкѣ узнаетъ непоколебимость силы, имъ управляющей, которой онъ принужденъ покориться; эта привычка обращается потомъ въ ясное понятіе о мудрой власти, которой онъ покориться долженъ. Если наблюдена будетъ сія постепенность, то произвольная покорность весьма легко будетъ согласована съ чувствомъ свободы, и не повредитъ самобытности характера. Переходъ сей необходимъ. Руссо его не опредѣлилъ: онъ хочетъ необходимости и отвергаетъ покорность. Но послѣднее выше первой.

Многія отдѣльныя замѣчанія Руссо весьма справедливы и убѣдительны; но изъ всѣхъ сихъ отдѣльно справедливыхъ

замѣчаній выходитъ въ цѣломъ что-то чудовищное. Когда въ концѣ второй книги онъ излагаетъ результатъ младенческаго воспитанія и описываетъ своего Эмиля готовымъ ребенкомъ, мы видимъ передъ собою что-то несбыточное, существо, какого нѣтъ и быть не можетъ, созданіе парадоксальнаго ума, который все насильственно втѣснялъ въ свою теорію и никогда не зналъ существеннаго. Система Руссо, такъ называемая система природы, есть уродство: онъ образуетъ своего Эмиля для такого порядка, котораго нѣтъ и быть не можетъ и никогда не бывало. Мечтая о свободѣ и о совершенной независимости отъ всѣхъ условій общества, онъ и изъ воспитанія исключаетъ всякую зависимость. Его воспитанникъ не знаетъ, что такое покорность, даже не имѣетъ никакихъ привычекъ. Онъ покоряется одной необходимости, и то, что онъ дѣлалъ вчера, не имѣетъ вліянія на то, что онъ дѣлаетъ нынче. Это легко говорить и писать; но на дѣлѣ этого быть не можетъ, и быть не должно. Въ насъ все привычка, и нынѣшній *я* есть результатъ вчерашняго и всѣхъ прежнихъ; мы привыкаемъ ходить, глядѣть, слушать, ощущать, думать, говорить — все дѣло воспитанія состоитъ въ томъ, чтобы дать тѣлу и душѣ хорошія привычки и чтобы воспитанникъ получилъ эти привычки самобытно, собственнымъ опытомъ, съ развитіемъ ума и воли, и чтобы направленіе, которое воспитаніе дастъ сему развитію, было согласовано съ полною свободою, которая не иное что, какъ произвольная, твердая, постоянная покорность долгу, сказать однимъ словомъ: уничтоженіе своей воли передъ высшею Божіею волею.

IV. ИСКУССТВО.

объ изящномъ искусствѣ.

Искусство — поэзія въ разныхъ формахъ; источникъ искусства — творческая сила человѣка, посредствомъ которой онъ посреди творенія Божія другими средствами творитъ то же, что въ глазахъ его сотворено природою; его матеріалы для творенія суть: слово, звукъ, краска, твердая матерія. Цѣль искусства — не иное что, какъ самое сіе созданіе, которое въ то же время должно быть и созданіе изящное, то есть пробуждающее въ душѣ сладостное ощущеніе красоты. Красота въ тѣсномъ смыслѣ есть истина, то есть вѣрное сходство изображенія съ изображаемымъ; въ обширномъ смыслѣ красота есть истина идеальная, то есть не одно ощутительное сходство выраженія съ выражаемымъ, но и соединеніе съ нимъ того, что неощутительно, что единственно существуетъ въ душѣ человѣческой, постигающей нѣчто высшее, внѣ видимой матеріальной природы существующее, и свойственное ея божественной природѣ. Однимъ словомъ, когда идеалъ красоты есть Богъ, явно и тайно соприсутствующій въ созданіи и ему сообщающій красоту живую, одной человѣческой душѣ откровенную. Искусство принадлежитъ землѣ; оно украшаетъ земную жизнь; его произведенія составляютъ памятники неизмѣнные посреди измѣняющихся явленій міра; но оно не переходитъ съ нами за границу земнаго.

Говоря о красотѣ природы, Гумбольдтъ исчисляетъ, какъ ее въ разныхъ народахъ, отъ древнихъ временъ до нашего, изображали поэты и живописцы. Весьма жаль, что онъ самъ не сталъ на мѣсто поэта и живописца и не пролетѣлъ живымъ воспоминаніемъ по всей землѣ, чтобы указать на разные виды красоты, въ разныхъ частяхъ міра, подъ разными зонами, посреди льдовъ полярныхъ, посреди песковъ Сахары, посреди горъ Кордильерскихъ, на океанѣ, на островахъ, на берегахъ великихъ рѣкъ, подъ вліяніемъ разнообразныхъ народовъ, ихъ нравовъ и обычаевъ, подъ вліяніемъ оставшихся отъ древности памятниковъ, говорящихъ о прошедшемъ человѣческаго рода, какъ горы и окаменѣлости говорятъ о прошедшемъ земли, подъ вліяніемъ есте-

ственныхъ феноменовъ: землетрясеній, урагановъ, сѣверныхъ сіяній и другихъ великолѣпныхъ явленій физическаго міра. Своимъ могучимъ словомъ онъ произвелъ бы нѣчто разительное, и въ его картинахъ самъ собою отразился бы, хотя и не названный имъ, Создатель міра, источникъ его красоты несказанной.

Въ молодости, предпринимая трудъ поэтическій, мы думаемъ о славѣ и вѣримъ славѣ. Въ зрѣлые дни, болѣе разсмотрѣвъ, что такое слава, и понявъ болѣе жизнь, мы трудимся для прелести труда; мысль объ одобреніи людей съ нею соединяется, но это одобреніе не есть уже цѣль. Подходя къ концу своей дороги, мы болѣе обращаемся во внутрь себя и смотримъ за границу жизни: сама жизнь становится уже нѣчто второстепенное, внѣшнее и намъ мало принадлежащее.

Цѣль искусства есть одно твореніе. Красота творенія заключается въ истинѣ. Чѣмъ ближе къ своему образцу, къ природѣ и къ ея источнику, тѣмъ прекраснѣе и совершеннѣе произведеніе искусства. Цѣль ремесла также твореніе, но твореніе для нѣкоторой пользы. Ремесло заимствуетъ у искусства матеріальную красоту, состоящую въ правильности, въ порядкѣ, симметріи, чистотѣ отдѣлки, и даже пользуется изящнымъ искусствомъ для украшенія. Но въ такомъ случаѣ искусство подчинено ремеслу, котораго характеръ не красота, а польза. Если же украшенія искусства столь значительны сами по себѣ, что они затмеваютъ пользу ремесленнаго произведенія, тогда сіе послѣднее уступаетъ произведенію искусства. Если бы Рафаэль вздумалъ расписывать дверцы кареты, то эта карета потеряла бы свое достоинство какъ карета, и ея дверцы сдѣлались бы картиною.

Характеръ генія есть могучее творчество. Онъ не творитъ новаго, то есть не даетъ бытія несуществующему. Но онъ постигаетъ истину или существующее *быстрымъ и всеобъемлющимъ* образомъ, такъ что сіе быстрое, легкое, такъ сказать внезапное постиженіе кажется созданіемъ. Геній все существующее въ природѣ и заключающееся въ наукѣ обращаетъ въ свою собственность и всему имъ пріобрѣтаемому даетъ единство. Это дарованіе единства разнообразному есть особенный характеръ генія. Для него нѣтъ безпорядка; все входитъ въ составъ одного цѣлаго. Въ произведеніяхъ искусства, поэзіи, литературы, науки—геній болѣе выражается въ планѣ и въ созданіи цѣлаго; исполненіе есть уже необходимое слѣдствіе сего созданія. Талантъ заключается болѣе въ исполненіи; онъ болѣе выражается въ совершенствѣ нѣкоторыхъ частей; онъ, такъ сказать, есть форма, есть слогъ созданія.

ИСТОРІЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ.

Три рода историковъ. Одинъ записываетъ то, что происходитъ въ настоящую минуту, не заботясь о причинахъ и послѣдствіяхъ, не имѣя даже возможности опредѣлять ихъ; онъ ограниченъ тѣснымъ горизонтомъ современности, онъ описываетъ то, что видитъ, что можетъ обнять глазомъ; его достоинство и обязанность: вѣрность, живость изображенія, богатство мелкихъ подробностей, сходство описанія съ описываемымъ; и въ этомъ описаніи равно живо выражаются и личность описателя, страсти имъ владѣющія, его любовь, его ненависть, и личный характеръ того времени, подъ вліяніемъ котораго онъ пишетъ. Это не историкъ, а лѣтописецъ. Другой историкъ представляетъ событія въ ихъ цѣломъ, онъ обнимаетъ горизонтъ обширный, изображаетъ живо, но изображаетъ не подробности, а всю массу; посреди толпы дѣйствующихъ замѣчаетъ онъ только главныхъ дѣйствователей, ихъ предпочтительно преслѣдуетъ посреди множества другихъ, имъ содѣйствующихъ, и выказывая особенно ихъ образы, приводитъ чрезъ то въ порядокъ безпорядочное движеніе многолюдства; его лица получаютъ объемъ, выходящій за границу природы, не удаляясь

отъ нея, и его истина не есть мелкая, частная, а величественная, сборная истина, результатъ ума, творящаго изъ подробностей цѣлое. Третій историкъ представляетъ событія не только въ цѣломъ,— онъ видитъ ихъ причины и угадываетъ ихъ послѣдствія. Онъ соединяетъ судьбу настоящаго съ намѣреніями Промысла; онъ изъясняетъ тайную власть неизмѣняемаго Бога посреди измѣняющагося потока событій; онъ пророчитъ судъ Божій, еще сокрытый въ тайнѣ грядущаго; онъ—вѣдатель минувшаго, зритель настоящаго, прорицатель будущаго, онъ проповѣдникъ Бога въ дѣлахъ человѣческихъ; его образы, не теряя своей естественности, получаютъ величіе символическое и становятся эмблемами невидимаго божественнаго міра посреди видимыхъ событій міра человѣческаго. Сіи три характера можетъ имѣть и живопись историческая. Или живописецъ представляетъ, какъ анналистъ, одну настоящую минуту: характеръ его тогда одна только прозаическая правда; или онъ пишетъ, какъ историкъ: тогда картина его поражаетъ огромностью композиціи; или, какъ историкъ-проповѣдникъ, выражаетъ онъ идеальное въ матеріальномъ, высшее въ ежедневномъ: тогда въ картинѣ его первенствуетъ мысль, и онъ вполнѣ удовлетворяетъ требованіямъ живописи исторической. Лессингъ въ своемъ Гусѣ есть анналистъ. Воображаю живописца, который, ничего не вѣдая о томъ, что дѣлается въ свѣтѣ, заѣхалъ въ Констанцъ во время собора. Идя по улицѣ, онъ увидѣлъ толпу народа передъ палатою засѣданій; множество тѣснилось къ дверямъ, каждому хотѣлось посмотрѣть сквозь замочную скважину. И живописцу удалось протѣсниться къ этой скважинѣ. Онъ увидѣлъ блѣднаго старика съ книгою въ рукахъ, посреди кардиналовъ, епископовъ и монаховъ; старикъ что-то простодушно изъяснялъ своимъ слушателямъ. Живописцу эта сцена понравилась; онъ нашелъ, что можетъ написать хорошую картину; и онъ написалъ, что видѣлъ — какъ видѣлъ, по и самъ не зная, что видѣлъ; написалъ прекрасно; но поставилъ зрителя своего въ то же положеніе, въ какомъ онъ самъ находился: зритель глядитъ сквозь замочную скважину; онъ видитъ сцену, не имѣющую никакой идеальной значительности, но въ изображеніи которой съ удивительнымъ мастерствомъ сохранена вся матеріальная истина.

Теперь укажу на картину, которая, хотя и не перешла еще изъ создавшаго ее воображенія на холстину, но уже въ составѣ своемъ соединяетъ всѣ достоинства исторической живописи.

Въ Берлинѣ предположено построить Campo Santo, по плану, сдѣланному самимъ королемъ. Стѣны аркадъ, которыя должны съ двухъ сторонъ примыкать къ церкви, будутъ покрыты фресками, для которыхъ картоны уже приготовлены знаменитымъ Корнеліусомъ. Въ самой же церкви будетъ только одна картина: изображеніе страшнаго суда. Идея этой картины также принадлежитъ самому королю; для ея исполненія поручено приготовить картоны тремъ первымъ живописцамъ нашего времени [первымъ вмѣстѣ съ Овербекомъ въ христіанской живописи]: Корнеліусу, Фейту и Штейнле. До сихъ поръ ни одному живописцу не удалось изобразить страшный судъ такъ, чтобы великій предметъ былъ выраженъ достойнымъ его образомъ, и чтобы вполнѣ удовлетворены были требованія искусства. Микель Анжело наполнилъ картину свою высокими образами, но главная мысль исчезаетъ въ подробностяхъ; праведники никого не плѣняютъ своимъ блаженствомъ, а осужденные и дьяволы портятъ величіе предмета отвратительными сценами, посреди ихъ происходящими. Какъ выразить въ одно время и небо, и рай, и адъ, и землю? Король рѣшилъ это. Онъ ограничился однимъ небомъ, оставивъ остальное воображенію. Все небо въ собраніи. Верховный Судія, готовый произнести свой приговоръ, возсѣдаетъ посреди него на престолѣ славы; съ одной стороны Богоматерь, съ другой Іоаннъ

Креститель, за ними всѣ образы тѣхъ, для которыхъ уже не можетъ быть страшнаго суда и которые должны быть только его свидѣтелями, всѣ представители минувшей судьбы человѣчества, всѣ дѣйствователи древняго и новаго завѣта, отъ Адама до святителей церкви, мучениковъ и царей блаженныхъ. Пространство наполнено ангелами; они летаютъ между небомъ и землею, перенося отъ людей молитвы къ Богу, отъ Бога милосердіе людямъ. Одинъ [отъ другихъ отдѣленный] стоитъ ангелъ, возвѣститель суда; въ рукахъ его труба, готовая возгремѣть наступленіе страшнаго часа; онъ ждетъ на то повелительнаго слова, и глаза его устремлены на Судію Всевышняго, и вмѣстѣ съ нимъ все небо смотритъ на этого Судію, преисполненное ожиданія. Но слово его еще не произнесено; надъ землею таинственно простираются облака, сокрывающія отъ нея происходящее въ вышнихъ. Когда наступитъ этотъ часъ, кто знаетъ? Для тѣхъ, кто на небеси, онъ уже насталъ, ибо они въ вѣчности, гдѣ все слѣвается въ настоящее; для земли онъ еще въ невѣдомомъ будущемъ. Состояніе этой ожидающей, но покровенной мракомъ невѣдѣнія земли, прекрасно и трогательно выразилъ царственный живописецъ, представивъ на ней самого себя съ семействомъ и съ современниками, молящихся и ожидающихъ. Такимъ образомъ многообъемлющій предметъ изображенъ на картинѣ весь, съ сохраненіемъ необходимаго единства. Передъ глазами одни высокіе образы, представители всего прошедшаго; ихъ ожиданіе говоритъ о неминуемомъ будущемъ, а молитва стоящихъ на землѣ выражаетъ настоящее. Воображеніе все дополняетъ, рисуя безъ красокъ то, чего не могутъ изобразить краски: воскресеніе мертвыхъ, блаженство праведныхъ и муки осужденныхъ. Этой картины одной довольно для церкви. Она представляетъ весь ходъ христіанства, котораго эпохи соединены въ одно великое соприсутствіе; она говоритъ *стоящимъ* во храмѣ: «передъ вами все, что было, и все, что будетъ: паденіе, искупленіе и послѣдній часъ временнаго, послѣ котораго наступитъ вѣчность; но когда наступитъ она, вамъ неизвѣстно. Бодрствуйте—и молитесь».

V. МЫСЛИ И ЗАМѢТКИ.

ДУША ЧЕЛОВѢЧЕСКАЯ И РОДЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКІЙ.

Родъ человѣческій принадлежитъ землѣ; человѣкъ, или правильнѣе, душа человѣческая принадлежитъ высшему міру. Общество человѣческое ограничено тѣсными предѣлами временнаго: все, служащее для развитія *общества*, имѣетъ характеръ этой ограниченности. Человѣкъ отдѣльно [т. е. душа живая, безсмертная] выше, нежели родъ человѣческій взятый вмѣстѣ, не умирающій, пока стоитъ земля, но прикованный къ ней и отъ нея неотдѣлимый. Онъ тоже, что человѣческое тѣло. Онъ не иное что, какъ театръ дѣйствія души, такъ какъ тѣло ея орудіе для сихъ дѣйствій. Умъ человѣческій роется въ пыли временнаго и творитъ свои мнимо безсмертныя созданія для временнаго. Онъ наблюдаетъ природу и ея жизнь для порядка общественнаго; цѣль его положительная польза, но она въ тѣсныхъ границахъ матеріальности; науки, искусства, гражданственность,— все это для ограниченнаго здѣшняго міра, для человѣка, запертаго въ темницу человѣческаго рода. Достаточно ли это для души человѣческой? Нѣтъ. Она принадлежитъ иному міру. То, что составляетъ ея достояніе въ этомъ иномъ мірѣ, получаетъ она независимо отъ здѣшняго— это достояніе есть Богъ, и Богъ откровенный: этотъ Богъ не есть идея ума, извлеченная имъ изъ міра матеріальнаго и его отношеній; эта идея есть собственность самой души, непосредственно изъ самаго источника истекающая: и родъ человѣческій и земля, отведенная ему на житіе, суть только явленія, посреди и на сценѣ которыхъ душа развиваетъ врожденное понятіе о Богѣ и вводится

въ непосредственное съ Нимъ соединеніе благодатію христіанства.

СВОБОДА ПРЕПОДАВАНІЯ.

Можетъ ли существовать полная свобода преподаванія въ университетахъ или нѣтъ? Конечно, нѣтъ. Преподаватель, принимая обязанность профессора, входитъ къ условію съ правительствомъ дѣйствовать согласно съ нимъ, а не противудѣйствовать установленному порядку, въ составъ котораго входитъ и публичное образованіе. Въ предметахъ чистой науки преподаватель, конечно, слѣдуетъ своимъ мнѣніямъ и не можетъ быть никакими предѣлами ограниченъ: условіе одно, чтобы онъ зналъ свое дѣло. Въ его способностяхъ и знаніяхъ правительство должно быть убѣждено предварительно. Получивъ право преподаванія, на семъ убѣжденіи основанное, онъ дѣйствуетъ самобытно,— ибо въ наукѣ и самыя заблужденія, въ кои можетъ впадать скорѣе самый знающій, служатъ къ ея распространенію. Но въ предметахъ преподаванія, кои относятся къ религіи, политикѣ и нравственности, сія самобытность должна быть ограничена предварительнымъ условіемъ съ правительствомъ, что преподаватель будетъ дѣйствовать въ смыслѣ религіи, установленнаго порядка и нравственности. Если изъ преподаванія его окажется, что онъ имъ противудѣйствуетъ, то условіе уничтожено и правительство въ правѣ удалить преподавателя отъ мѣста имъ даннаго на условіи, имъ нарушенномъ. Главный вопросъ, на который долженъ отвѣчать профессоръ теологіи [какой бы то ни было отрасли] есть: вѣришь ли ты во Христа? Если онъ отвѣчаетъ: вѣрю,—то онъ получаетъ право преподаванія. Если изъ преподаванія окажется, что онъ не вѣритъ, то онъ самъ себя онаго лишаетъ. Если онъ, не смотря на свое невѣріе, захочетъ сохранить свое мѣсто, то онъ и передъ совѣстію и передъ людьми становится лжецомъ и воромъ, и не долженъ быть терпимъ на своемъ мѣстѣ. Крикуны журналисты защищаютъ неограниченность свободы преподаванія только потому, что всякая обязанность имъ противна и что имъ въ области мысли такая же нужна анархія, какую они желали бы ввести въ самое общество. Первое они готовятъ послѣднимъ. Или лучше сказать, они дѣйствуютъ безъ ясной цѣли. Имъ въ настоящемъ дороги только двѣ вещи: необузданность мысли и дѣйствій и деньги, скопляемыя на счетъ нравственности и порядка.

ЦЕНЗУРА.

Общество гражданское въ Европѣ достигло до своего полнаго развитія въ своей матеріальной части, т. е. въ опредѣленіи отношенія человѣка къ человѣку, въ опредѣленіи правъ и въ огражденіи ихъ закономъ. Человѣкъ вышелъ изъ состоянія натуры, въ которомъ онъ враждуетъ со всѣмъ его окружающимъ, и вошелъ въ состояніе гражданства, въ которомъ онъ другъ и помощникъ и защитникъ своего согражданина, обуздавъ свою вредоносную волю закономъ.

СИЛА ЧЕЛОВѢЧЕСКАЯ.

Человѣкъ ничего не можетъ творить на будущее время. Онъ можетъ только прибавлять въ настоящемъ песчинку къ песчинкамъ, изъ которыхъ время создастъ гору. Какъ ни могуче море, оно не можетъ въ мгновеніе создать песчаной дюны: ее создастъ сила вѣковъ. Дѣйствуй въ свою минуту на своемъ мѣстѣ, во благо, какъ велитъ Богъ, тогда твое дѣйствіе въ цѣломъ будетъ благо, то есть благо самаго Бога, Который творитъ въ цѣломъ. И величайшій геній не можетъ перешагнуть минуты; его натура есть нѣчто пророчественное, предугадывающее будущее; но горе, если онъ этому дару угадывать будущее пожертвуетъ смиренною покорностію настоящему, котораго характеръ есть исполненіе воли Божіей, слѣдственно верховная правда. Сила генія есть въ то же время и великое искушеніе и великая слабость. Онъ увлекаетъ

человѣка ограниченнаго заступить мѣсто неограниченной силы, и тогда онъ только убѣждается въ своемъ безсиліи и къ разрушимости своего созданія.

ЧЕЛОВѢКЪ ВЪ ОБЩЕСТВѢ.

Мы не имѣемъ понятія о человѣкѣ въ чистомъ состояніи природы, то есть въ совершенной независимости отъ человѣка, или простѣе, внѣ всякаго общества. Такой человѣкъ, если бы онъ могъ существовать, былъ бы врагомъ всему, его окружающему, не по злобѣ, а по необходимости сохранять бытіе, какъ всякой другой хищный звѣрь, терзающій добычу свою не отъ злобы, а для утоленія голода или для своей защиты. Но человѣка внѣ общества никогда не существовало. Первый человѣкъ созданъ совершеннымъ. Въ своемъ паденіи имѣлъ онъ уже семейство; и съ той поры человѣкъ родится окруженный семействомъ, то есть родится членомъ общества болѣе или менѣе многолюднаго. Въ семействѣ всѣ начала гражданскаго общества. Гражданское общество составилось не по правиламъ, а правила извлечены изъ его постояннаго развитія. Пока сіи правила составляютъ только привычки, переходящія по преданію отъ отца къ сыну, пока они не выражены словомъ, не опредѣлены закономъ, утвержденнымъ на общемъ согласіи и служащимъ обороною для личной безопасности и собственности, но тѣхъ поръ общество въ состояніи дикомъ. Изъ дикаго состоянія въ гражданское переходитъ оно съ развитіемъ общежитія, которое производится *политически* положительнымъ гражданскимъ закономъ, опредѣляющимъ права, ограждающимъ собственность и безопасность личную, *умственно* и *нравственно* наукою,—что все дополняется христіанствомъ [не говорю религіею, ибо всякая нехристіанская религія есть только одинъ *provisorium* въ ожиданіи христіанства]. И законъ положительный и религія полагаютъ границы свободѣ личной и чрезъ то *утверждаютъ свободу* гражданскую, единственно возможную. [Свобода гражданская состоитъ въ полной возможности дѣлать все то, что не запрещено закономъ, то есть въ подчиненіи воли своей волѣ законовъ; высшая свобода, или свобода Христіанская, состоитъ въ уничтоженіи своей воли предъ высшею волею Бога Спасителя].

ОБЩЕЕ БЛАГО.

Дашковъ сказалъ: нельзя жертвовать общимъ благомъ частному, хотя бы то было основано и на несправедливости. Правительство не должно признаваться въ несправедливости, оказанной лицу частному. Это правило вредное. Надобно, чтобы правительство признавало выше всего справедливость. Благо общее, нѣчто неопредѣленное, существующее въ идеѣ, болѣе или менѣе несправедливой, можетъ ли быть предпочтено справедливости частной, опредѣленному, вѣрному? Въ такомъ случаѣ правительство дѣйствуетъ такъ же, какъ всякій мятежникъ, прибѣгающій къ преступленію въ настоящемъ для общаго блага въ будущемъ. Чтобы сіи послѣдніе не могли имѣть права дѣйствовать такъ, правительство должно подавать имъ примѣръ: дѣйствія правительства должны быть образцомъ и примѣромъ дѣйствія частныхъ. То, что есть преступленіе для лица, не можетъ быть не преступленіемъ для представителя всѣхъ лицъ, то есть для правительства.

ПОРЯДОКЪ ОБЩЕСТВЕННЫЙ.

Не государство для порядка, а порядокъ для государства. Если правитель будетъ заботиться объ одномъ порядкѣ исключительно, жертвуя ему благосостояніемъ лицъ, то это будетъ одна декорація: спереди благовидное зрѣлище, сзади перепутанныя веревки, колеса и холстина. Надобно, напротивъ, чтобы видимая сторона была благоденствіе общее и частное, а порядокъ—сокровенная задняя сторона, невидимо производящая это благовидное устройство.

ПОСТАНОВЛЕНІЯ.

Постановленія или институціи суть не ограниченіе, а свобода государей. Государь самодержавный имѣетъ только мечтательную власть. Если бы онъ могъ быть въ одно время и повелителемъ и исполнителемъ, то могъ бы ручаться за свое могущество. Но онъ только произноситъ волю, а исполненіе зависитъ отъ повинующихся. Институціи подпираютъ волю повелителя и направляютъ, опредѣляютъ повиновеніе исполнителя, подчиняя его двумъ властямъ вмѣсто одной. Институція есть дорога къ цѣли: по ней идутъ, не опасаясь заблудиться, и повелитель и исполнитель. Она есть кормило мореходца. Безъ нее державный кормчій, при всей неограниченной власти своей на кораблѣ правленія, не можетъ странствовать безопасно. Всякое странствованіе его будетъ странствованіемъ Колумба, окруженнаго мятежниками. Онъ можетъ дойти къ цѣли, угадавъ ее своимъ геніемъ; но успѣхомъ своимъ всегда обязанъ невѣрному счастію. Неограниченная власть не есть всемогущество; напротивъ, въ неограниченности заключается неопредѣленность, слѣдовательно и шаткость. Ты еще не всемогущъ, когда можешь произвольно всегда и вездѣ произносить повелительное слово — но, произнесши его, ты предаешь его на волю твоихъ исполнителей, которые, стараясь только твою волю угадывать, и не имѣя твердыхъ правилъ дѣйствовать, покорствуютъ только тебѣ, а не правиламъ, утвержденнымъ самимъ тобою, они искажаютъ волю твою своимъ рабскимъ повиновеніемъ, и дѣйствуютъ вопреки благу [цѣли твоей], ибо имѣютъ въ виду только тебя. А что, если къ тому еще примѣшаются страсти честолюбія и корысти? Институціи суть зерцало государя и подданныхъ. Они лампада правленія. При нихъ властитель видитъ и цѣль свою, видитъ и дѣйствующихъ въ исполненіи воли его, которая не иное что, какъ голосъ и сила незыблемаго закона. Институціи суть катихизисъ правители и подданныхъ. Безъ правилъ незыблемыхъ нѣтъ и власти незыблемой, нѣтъ и повиновенія твердаго.

ЛЮБОВЬ КЪ ОТЕЧЕСТВУ.

Мѣры нашего правительства клонятся къ тому, чтобы снова затворить тѣ двери, которыя Петръ отворилъ въ Европу. Вотъ для чего надобно платить по 50 талеровъ съ головы въ годъ за пребывшіе за границею, возвращаться черезъ каждые 5 лѣтъ домой, продавать имѣніе жены, коль скоро мужъ иностранецъ, и еще Богъ знаетъ что будетъ. Нельзя заставить насильно любить отечество. Принуждать не покидать отечество — есть возбуждать желаніе его покинуть. Средство фальшивое. То же, что нетерпимость. Преслѣдуй за религію, произведешь мученичество и угодишь однимъ палачамъ. Прикуй къ отечеству, и заставишь его возненавидѣть. Нѣтъ! Сдѣлайте, чтобы намъ было хорошо на родинѣ, и смѣло отворите настежь дверь на чужбину. Не мѣшайте никому жить, какъ онъ хочетъ, *про себя;* тогда онъ будетъ съ любовью жить *про васъ*. Пусть будетъ каждый покоенъ и счастливъ *дома*—тогда онъ будетъ дорожить покоемъ и счастьемъ *государства*, ограждающаго домъ. Уважайте святыню *семейной жизни*, тогда будетъ уважаема святыня *власти государственной*. Однимъ словомъ: основывайте благо *общее* на благѣ *частномъ;* тогда каждый частно будетъ другомъ *общаго блага*. Храните *законъ*, произведете *законность*.

ГОСУДАРЬ И ЧЕЛОВѢЧЕСТВО.

Государь—говорятъ—удаленъ отъ человѣчества и простыя чувства человѣческія ему чужды. Послѣднее несправедливо: государь знакомится съ человѣчествомъ въ семьѣ своей и въ этомъ отношеніи онъ равенъ всякому другому человѣку. Если по своему положенію онъ не можетъ знать всѣхъ частностей человѣческой жизни, подобно человѣку, стоящему на башнѣ, съ высоты которой не можно ему видѣть въ лицо всѣхъ людей, ее окружающихъ,

за то онъ видитъ всю ихъ массу, о которой не можетъ имѣть понятія тотъ, кто въ толпѣ.

ТЕРПѢЛИВОСТЬ ЦАРЯ.

Главная добродѣтель властителя должна быть *терпѣливость*. Онъ долженъ быть смиреннымъ исполнителемъ воли Провидѣнія; его всемогущество относительно народа должно быть смиреніемъ относительно Бога. Творя надъ народомъ Божію волю, онъ долженъ ей подчинять безусловно свою собственную. Если, посѣявъ добро на нивѣ народнаго блага, онъ захочетъ насильственно произвести всходъ своихъ сѣмянъ и пожать преждевременно плодъ ихъ, то онъ будетъ дѣйствовать только въ смыслѣ одной собственной власти, а не въ смыслѣ власти верховной. Сѣй сѣмяна блага, но жди отъ Промысла благотворнаго дождя и свѣта для созрѣнія сѣмянъ твоихъ. Иными словами: твори добро, но жди съ терпѣніемъ плодовъ его. Нетерпѣніе видѣть успѣхъ [зависящій не отъ насъ, а отъ Бога и отъ нашего постояннаго содѣйствія Его волѣ] есть эгоизмъ, весьма свойственный властителю. Онъ слишкомъ подверженъ опасности видѣть въ неограниченности власти всемогущество. Но всемогущество принадлежитъ одному Богу; горе тому, кто замыслитъ его себѣ присвоить; онъ познаетъ только слабость свою, гибельную и для него самаго, и для тѣхъ, кто подверженъ его власти. Твори благо не для себя, а для народа; не жди исполненія при себѣ добрыхъ твоихъ замысловъ; не ищи наслажденія видѣть ихъ исполненными; будь счастливъ чувствомъ своей чистоты и своего безкорыстнаго дѣйствія для блага, своимъ смиреніемъ передъ Богомъ, твоимъ всемогущимъ сподвижникомъ. Смотри въ будущее и вѣрь, что придетъ минута, въ которую Богъ благословитъ твою на Него надежду; удобряй почву царства, не мысля о жатвѣ, не надѣясь даже, чтобы и твой наслѣдникъ ее собралъ; но въ настоящемъ довольствуясь *чистымъ дѣйствіемъ* для блага, живи въ будущемъ, и вселяй твоему наслѣднику то же смиреніе—добро творитъ Богъ, а не люди. Оно будетъ, когда творящій его творитъ во имя Бога. Когда будетъ?—это Его дѣло. Намъ принадлежитъ только *одна* минута, и правда въ эту *одну* минуту и вѣра въ будущее, безъ всякаго желанія властвовать будущимъ, которое все во власти Того, Кто одинъ всемогущъ и Который равно дѣйствуетъ и въ каждое быстропролетающее мгновеніе и въ вѣчности, неизмѣнно Ему одному подвластной.

ДИСЦИПЛИНА.

Дисциплины не должно смѣшивать съ законностію. Дисциплина есть законъ такого общества, гдѣ нѣтъ гражданъ, ни собственности, ни безопасности, — гдѣ нѣтъ ничего, кромѣ огромной массы, огромной машины, подчиненной закону необходимости, совпадающему съ закономъ механическимъ.

ДЕСПОТИЗМЪ.

Тамъ нѣтъ народнаго благоденствія, гдѣ народъ чувствуетъ себя подъ стѣсняющимъ вліяніемъ какой-то невидимой власти, которая вкрадывается во все и бременитъ тебя во всѣ минуты жизни, хотя впрочемъ до тебя непосредственно и не касается. Это стѣснительное чувство, которое портитъ жизнь, бываетъ въ такомъ случаѣ, когда правительство вмѣшивается не въ одну публичную жизнь, но хочетъ распоряжать и личною и домашнею жизнію, когда ему до всего нужда, до нашего платья, до нашихъ забавъ, до нашего дома, когда мы вѣчно подъ надзоромъ полиціи. Въ такомъ случаѣ власть отъ верховнаго властителя переходитъ къ исполнителямъ власти, и въ нихъ становится не только обременительною, но и ненавистною. Въ государствѣ демократическомъ чувствуешь себя такъ же стѣсненнымъ; тамъ власть не на тронѣ, а на улицѣ, не въ порфирѣ, а въ лохмотьяхъ; властвуетъ не одинъ, а толпа; тамъ личная свобода,

ограждённая закономъ, но подчинённая верховной власти, не признаетъ въ толпѣ ни закона, ни власти. И чернь, гордая свободою, становится, такъ сказать, сама мучительнымъ закономъ, отъ котораго нѣтъ нигдѣ убѣжища; она не наблюдаетъ закона, который, въ свою очередь, давая всѣмъ одинаковую гарантію, тѣмъ самымъ отдаетъ того, кто чтитъ законъ по мѣрѣ нравственности и просвѣщенія, на жертву тому, кто, не имѣя сей узды, безпрестанно его нарушаетъ насчетъ безопасности общей.

УЧЕНІЕ И ДѢЙСТВІЕ.

Доктрины [ученія] производятъ дѣйствія, изъ дѣйствій въ свою очередь развиваются ученія: въ этомъ кругѣ все обращается. Каково ученіе, таковы и дѣйствія. Крестовые походы были слѣдствіемъ возбудительнаго ученія римской церкви, утвердившаго могущество папъ; злоупотребленіе папской власти произвело оппозицію реформаторовъ; реформація, потрясшая авторитетъ римской церкви, произвела религіозныя войны, возмущенія и, наконецъ, тридцатилѣтнею войною измѣнила политическую систему Европы,— съ одной стороны сокрушилось всемогущество Рима, съ другой образовался чудовищный деспотизмъ королей французскихъ; свобода мысли, пробужденная реформаціею, и религіозный развратъ двора Людовикова произвели сильнѣйшую, но враждебную умственную дѣятельность въ Европѣ, которая съ помощью безнравственной эпохи регентства обратилась въ разрушительную философію XVIII вѣка; сія послѣдняя, подкопавъ всѣ основанія общества, выразилась наконецъ въ революціи, которая, опершись на ея доктрины, опрокинула весь прежній порядокъ. Ученіе революціонное, обошедъ Европу и выразившись сперва въ республиканскомъ деспотизмѣ террористовъ и измѣнивъ порядокъ политическій, обратилось на порядокъ общественный; и теперь уже не скептицизмъ дѣйствуетъ своими теоріями противъ христіанства, но всюду является бѣшеное отверженіе всякой религіи; съ симъ отверженіемъ, которое есть послѣдняя инстанція реформаціи, идетъ рядомъ отверженіе всякой власти, всякаго права, всякаго ограничивающаго буйную страсть постановленія. На этой чертѣ стоитъ теперь европейское общество. Какія дѣйствія и событія истекутъ изъ подобныхъ ученій, это мы можемъ угадать, оглянувшись на прошедшее современное. Въ нашемъ вѣкѣ событія пріобрѣли быстроту неимовѣрную; они также скачутъ по желѣзной дорогѣ, на которой ролю движущей силы играетъ книгопечатаніе: легкимъ паромъ газетъ, журналовъ и брошюръ, по натурѣ своей ничтожнымъ и скоро улетающимъ, приводитъ она въ движеніе гигантскую махину мнѣній, а съ ними и все зданіе общественнаго порядка: бѣда, если отъ нерадѣнія или неразумія или запальчивости кондукторовъ произойдетъ столкновеніе или колеса выпрыгнутъ изъ желѣзной колеины релей.

САМОДЕРЖАВІЕ.

Самодержавіе есть высшая и самая простая форма верховной власти, если оно соотвѣтствуетъ смыслу своего имени. Самъ держу и самого себя держу. Надобно, чтобы власть была подъ командою воли, подвластной Правдѣ всевышней. Власть: *самъ держу*. Воля: *самого себя держу*. Самодержавіе и то и другое вмѣстѣ. Одна власть или одна воля — нѣтъ самодержавія. *Власть* безъ воли—уродливое самовластіе, восточный деспотизмъ, опирающійся на фатализмъ; *воля* безъ власти — невозможность властвовать. *Власть*, руководимая богоподвластною *волею*—самодержавіе во всей чистотѣ его и во всей благотворительной силѣ.

Любовь къ самодержавію и чувство спасительности самодержавія вкоренилось въ русскій народъ въ тѣ времена междоусобій и татарскаго ига, въ которыя одна только церковь была независима и говорила однимъ общимъ, для всѣхъ слышнымъ и для всѣхъ ободрительнымъ,

языкомъ. А что говорила церковь? Она проповѣдывала вѣрность царямъ и основывалась на томъ, что сія вѣрность есть уставъ Божій, и это тѣмъ было неопровержимѣе, что въ сей вѣрности заключалась тогда единственно возможная безопасность личная и независимость общая; иго татарское [общее бѣдствіе] наиболѣе укоренило въ народѣ это чувство, и оно сдѣлалось— не рабскимъ чувствомъ необходимой покорности, предписываемой желѣзною властію одного,— но высокимъ, произвольнымъ, отъ отца къ сыну переходящимъ, силою преданія хранимымъ, церковью освященнымъ чувствомъ, дополнительнымъ членомъ символа вѣры, голосомъ исторіи, знаменіемъ судьбы народной, синонимомъ отечества, однимъ словомъ, религіею, благоговѣніемъ всенароднымъ предъ властію высшею, перешедшею въ земную. Въ царѣ выразилось отечество, и это стало общею вѣрою; а эта вѣра облагородила, освятила покорность и сдѣлалась ея живымъ источникомъ. Эта вѣра далека отъ рабства,— отъ сей насильственной, злобно грызущей цѣпи свои, покорности тюремнаго затворника, не знающаго о своемъ тюремщикѣ или его ненавидящаго. Покорность самодержавцу есть благоговѣніе предъ святынею, которой поклонялись отцы и дѣды, отвлеченно отъ самаго лица самодержца. Восточный деспотизмъ совсѣмъ не то, что историческое русское самодержавіе. Восточные рабствующіе народы не имѣютъ понятія о святынѣ царской власти: ихъ покорность есть преданіе себя желѣзной необходимости. Одинъ только русскій народъ понимаетъ самодержавіе! И если русскій самодержецъ понимаетъ его въ смыслѣ своего народа — то оно будетъ на всѣ времена палладіумомъ бытія Россіи. Это религія наслѣдственная отъ прадѣдовъ, въ теченіе вѣковъ преподанная времена бѣдъ и славы, въ нихъ созрѣвшая и возмужавшая. Иностранцы, судящіе это народное чувство русскаго народа по своему собственному, имъ свойственному, *но* тому самому не могутъ его постигнуть; и даже нельзя его имъ сдѣлать понятнымъ, хотя бы и призвать въ свидѣтельство исторію. Русскій царь, понимая это чувство во всей его обширности, не будетъ гордиться, а преисполнится смиренія передъ недоступнымъ величіемъ того идеала, который вѣка и судьба земли русской вложили въ сердце русскаго народа. И бѣда самодержцу, когда сей идеалъ утратится въ сердцѣ русскаго народа. Сей идеалъ для царской власти былъ до сихъ поръ то же, что церковь для царства. Церковь во времена бѣдствій и ига и междоусобій сохранила цѣлость Россіи, несмотря на нашествіе всѣхъ бѣдствій разврата, произвола, рабства личнаго, неправды — сихъ враговъ, раздробляющихъ могущество власти. То же скажемъ и о самодержавіи. Россія устоитъ, окрѣпнетъ, разовьется и возблагоденствуетъ, и своимъ путемъ дойдетъ до того, къ чему дошли своими путями другіе народы, если царь ея не престанетъ олицетворять въ себѣ тотъ идеалъ самодержавія, который глубоко таится въ душѣ русскаго, вложенный въ все ея судьбою и слившійся въ ней съ христіанскою вѣрою.

Правда, правда, Божія правда— и болѣе ничего. Вотъ тайна верховной власти и самое легкое средство властвовать: умѣй только во время, не обманывая себя никакими софизмами, вѣрующимъ, полнымъ страха Божія сердцемъ примѣнять Божію правду къ дѣламъ человѣка. Самодержецъ неограниченъ въ исполненіи Божіей правды; монархъ болѣе или менѣе ограниченъ постановленіями, которыхъ сохраненіе, разъ признанное, принадлежитъ уже Божіей правдѣ; республиканское правительство такъ же точно подчинено закону Божіей правды, какъ и самодержецъ. Никто не говори: моя воля; всѣ должны говорить: воля высшая, и въ ней видѣть свою. Итакъ, ни самодержецъ, ни монархъ, ни демократія не могутъ слѣдовать одной собственной волѣ. И если свою волю кто изъ нихъ

признаетъ главнымъ источникомъ власти, то изъ законнаго владыки онъ обращается къ беззаконнаго деспота. Воля самодержца такъ же ограничена, какъ воля толпы, съ тою только разницею, что на немъ лежитъ наибольшая отвѣтственность, ибо на одномъ его лицѣ лежитъ *все*, тогда какъ монархъ имѣетъ своею подпорою и ограниченіемъ воли своей постановленія, тогда какъ демократія не лицо, а масса, и отвѣтственность лежитъ на всѣхъ вмѣстѣ, а не на каждомъ особенно. Самодержецъ не имѣетъ права быть самовластнымъ; когда онъ говоритъ: *я такъ хочу*, онъ долженъ въ то же время присоединять къ этому слову: *потому что Богъ или Божія правда такъ хочетъ*. Принимать свою волю за высшую волю есть святотатство; произволъ есть нарушеніе Божіей правды и самый опасный врагъ власти самодержавной, которая въ своей чистотѣ есть высочайшее достоинство, какое только можетъ имѣть на землѣ человѣкъ смертный. Смиреніе христіанское есть вѣнецъ самодержавія; оно должно быть святѣйшею добродѣтелью самодержца, понеже между христіанами онъ долженъ занимать ближайшее мѣсто къ Богу Спасителю. Но, представляя Бога, онъ не есть Богъ, а только самый могущественный исполнитель Божіей воли, то есть Божіей правды.

Самодержавіе есть форма державной власти самая ближайшая къ власти Божіей, изъ которой всякая власть истекаетъ; потому она можетъ быть и самою *благодѣтельною* властію, ибо она самая сходная съ божественною, и самою *бѣдственною* властію, ибо тяжелое бремя исполненія сей власти возложено на слабыя человѣческія плеча. Богъ, источникъ земной власти, не подчиненъ никакому закону; Онъ самъ законъ, и законъ неизмѣнный, законъ верховной правды. Самодержавіе высшая земная власть, истекая изъ божественной, ею одной ограничена и по тому самому должна на землѣ имѣть ея божественное свойство—должна быть на землѣ Божіею правдою, совершеніемъ Божіей воли, а не земной, человѣческой. Самодержецъ есть источникъ земнаго закона, но онъ самъ не есть законъ, а только выразитель закона Божія, который одинъ законъ, одинъ верховная правда. Если самодержецъ смѣшаетъ сіи два различныхъ понятія и свою неограниченную власть подавать законъ приметъ за источникъ закона, за правду верховную, то онъ обезобразитъ самодержавіе и уничтожитъ его божественный характеръ. Такимъ образомъ самодержавіе божественная власть, когда опирается на верховную власть Божію, обращается въ произволъ человѣческій, когда источникомъ его будетъ воля человѣческая, хищнически столкнувшая съ престола власть Божію или лицемѣрно покланяющаяся, подъ видомъ Бога, ею воздвигнутому идолу произвола. Самодержавіе—въ истинномъ смыслѣ — можно сравнить съ благоразумнымъ капитаномъ корабля, который, будучи полнымъ властителемъ своего судна [безъ чего не можетъ быть никакого безопаснаго плаванія], самъ покоряетъ свои дѣйствія указаніямъ компаса, карты и звѣздамъ небеснымъ; они ведутъ корабль чрезъ пустыню моря, спасаютъ его отъ мелей и подводныхъ камней и хранятъ его въ бурѣ: и всѣ корабельные люди безусловно и съ довѣренностію подчиняютъ себя путеводной власти, которая дѣйствуетъ спасительно, безъ произвола, руководствуясь вѣрнымъ закономъ. Напротивъ, самодержавіе-произволъ—есть корабельщикъ, негодующій на вѣчное ограниченіе своей власти и дѣйствующій по одной прихоти; онъ презираетъ компасъ, не смотритъ на карту, не смотритъ на звѣзды; его ненавидятъ, ему повинуются принужденно; нѣтъ довѣренности, нѣтъ покоя, корабль плыветъ наугадъ; когда же настаетъ буря, никто не знаетъ, *гдѣ, куда* и *что?* И весьма нерѣдко бунтъ ускоряетъ погибель корабля, ниспровергая власть, ведущую къ погибели общей.

1850.

—

РУССКАЯ И АНГЛІЙСКАЯ ПОЛИТИКА.

ПИСЬМО КЪ КНЯЗЮ ВАРШАВСКОМУ, ГРАФУ И. О. ПАСКЕВИЧУ-ЭРИВАНСКОМУ.

Беру перо съ нѣкоторымъ страхомъ для выраженія передъ вашею свѣтлостію моей поздней благодарности. Если бы вы имѣли время обо мнѣ вспомнить, то что подумали бы о моемъ молчаніи? Я уже давно имѣю передъ глазами вашъ драгоцѣнный подарокъ, и уже передъ многими имѣлъ случай имъ похвастать, а еще до сихъ поръ не изъявилъ вамъ своей сердечной благодарности. Позвольте мнѣ, для успокоенія моей совѣсти, изъяснить вамъ эту загадку; это объясненіе будетъ въ то же время грустнымъ признаніемъ и напомнитъ вамъ о томъ мѣстѣ въ Жилблазѣ, гдѣ онъ докладываетъ архіепископу толедскому, исполняя его приказаніе: monseigneur, plus d'homélies, и за эту искренность архіепископъ выгоняетъ его изъ своей службы. Въ настоящемъ обстоятельствѣ я играю роль и архіепископа и Жилблаза: принужденъ отъ самого себя выслушать досадную правду, а самого себя выгнать изъ моей службы не могу. «Что за чепуха!» скажете вы, читая эти строки. Къ несчастію, не совсѣмъ чепуха; вотъ въ чемъ дѣло. Получивъ черезъ генерала Ушакова отъ вашего имени карту Венгріи, бывшую съ вами въ вашемъ знаменитомъ походѣ, я обрадовался и дорогому подарку—который будетъ храниться въ семействѣ моемъ, какъ представитель и свидѣтель славнаго времени и чуднаго событія—и случаю побесѣдовать съ моею музою и проскакать по старой дорогѣ на старомъ моемъ пріятелѣ Пегасѣ. И подлинно, лучшаго случая для лирическаго вдохновенія мнѣ не дождаться. Самый видъ этой измятой и замаранной карты есть уже поэзія! Эти сгибы, эти пятна говорятъ о трудныхъ походахъ, о военныхъ трудахъ, о *бивакахъ; а когда глядишь* на эти листы, исчерченные линіями, вѣтвями рѣкъ и дорогъ, тебѣ мечтается широкая, магическая сѣть, раскинутая по цѣлому краю могучимъ русскимъ великаномъ, чтобы захватить въ нее цѣлую армію, возмутившуюся противъ кесаря, ею почти побѣжденнаго. Все это представилось моему воображенію при видѣ вашей венгерской карты, и я, пригласивъ мою старушку музу на поэтическое свиданіе, велѣлъ осѣдлать Пегаса, чтобы выѣхать на встрѣчу къ своей давнишней знакомкѣ; но знакомка моя не разсудила ко мнѣ пожаловать, а Пегасъ сталъ на дыбы и сбилъ меня съ сѣдла весьма неучтиво. И я послѣ такого жалостнаго паденія принужденъ былъ сказать себѣ съ Жилблазомъ: monseigneur, plus d'homélies! Чтобы все это изъяснить простымъ языкомъ, донесу вашей свѣтлости, что я хотѣлъ написать къ вамъ поэтическое посланіе, и началъ писать, но долженъ былъ оставить трудъ свой, и теперь уплачиваю вамъ мой поздній долгъ благодарности однимъ признаніемъ моего безсилія выразить эту благодарность такъ, какъ бы въ прежніе годы выразило ее мое бывалое вдохновеніе.

Но если не удалась поэзія, то по крайней мѣрѣ въ прозѣ хочу въ бесѣдѣ съ вашею свѣтлостію повеселить себя воспоминаніемъ о томъ времени, которое провелъ я въ Варшавѣ. Это была чудная минута нашей исторіи, и мнѣ явилась она съ нѣкоторой особенной стороны, съ какой не взглянетъ на нее потомство; я уже не говорю о современникахъ! Современники едва ли что-нибудь видятъ ясно. Происшествія кипятъ, бѣгутъ, суются, толкутся и толкаются передъ нашими глазами съ такою быстротою и въ такомъ безпорядкѣ, что никому нѣтъ времени ни для ихъ наблюденія, ни для ихъ оцѣнки. Міръ сдѣлался желѣзною дорогою, по которой мчатся паровозы событій во всѣхъ направленіяхъ; они, какъ призраки, мелькаютъ передъ нами, когда мы съ ними встрѣчаемся. и отъ этихъ встрѣчъ происходитъ подъ часъ ужасная давка.

Кому тутъ до спокойнаго наблюденія? Кому до оцѣнки? Кто даже имѣетъ возможность сказать чистую правду? Событія венгерскаго похода и его чудная развязка уже перешли въ разрядъ давнишнихъ преданій; ни одна изъ газетъ европейскихъ не сказала о немъ чистой правды, которой одной, безъ всякихъ прикрасъ хвалы, было бы достаточно для славы. У нихъ рука не подымается написать что-нибудь въ пользу Россіи; онѣ такъ привыкли на насъ клеветать и видѣть въ насъ записныхъ враговъ европейской безопасности и гражданственности, что и теперь, когда въ глаза имъ бросается противорѣчащее этому мнѣнію, все поютъ старую пѣсню, все Россія для нихъ есть противникъ всякаго политическаго развитія, представитель абсолютизма, дѣятельный сокрушитель политической ихъ свободы, опасный разбойникъ, ждущій только удобнаго случая, чтобы напасть на нихъ въ расплохъ и ограбить ихъ или уничтожить. Всѣмъ сердцемъ горюю, что я не имѣлъ возможности остаться на нѣсколько времени въ Варшавѣ, дабы, подслушивая животрепещущіе разсказы очевидцевъ, имѣя передъ глазами всѣ документы и слушая самого знаменитаго вождя, которому Россія обязана пріобрѣтеніемъ такой чудно-чистой славы, описать вѣрно, во всей простотѣ правды, этотъ эпизодъ нашей исторіи. Думаю, что это описаніе мнѣ бы удалось. Теперь объ этихъ славныхъ дняхъ не говоритъ уже никто, хотя не много мѣсяцевъ прошло съ той единственной въ исторіи минуты, какъ русскій полководецъ, принявъ покорность отъ цѣлой арміи, положившей передъ нимъ оружіе, и примиривъ съ этою арміею ея императора, повелъ обратно въ отечество полки свои, не оставивъ на пути своемъ ни бѣдъ, ни разоренія; и его доброе войско, совершивъ свой спасительный подвигъ, исчезло какъ призракъ, какъ величественная гроза, только освѣжившая край, посѣщенный ея ужасомъ! Думаю, что не ошибусь, если скажу, что здѣсь главною причиною такого полнаго успѣха была, при великой матеріальной силѣ, мирная энергія русскаго вождя, который началъ тѣмъ, что завоевалъ довѣренность враждующаго съ нимъ народа, и что съ одной стороны непоколебимость воли русскаго царя, который, наблюдая за своимъ войскомъ, всѣми средствами упрочивалъ ему побѣду, отняла всякую надежду на удачу сопротивленія, а съ другой его безкорыстіе, его рыцарская честность, выразившіяся въ самыхъ дѣйствіяхъ его войска, приготовили и совершили такое чудное торжество надъ цѣлымъ бунтующимъ народомъ.

Но это торжество было русское, и Европа его не оцѣнила по достоинству; единственнымъ и безпристрастнымъ цѣнителемъ былъ императоръ австрійскій, котораго свѣтлая, молодая душа прекрасно выразилась въ его рескриптѣ на имя князя Варшавскаго. Общее мнѣніе, когда оно обратится въ закоренѣлый предразсудокъ, становится упрямо до глупости и пріобрѣтаетъ неподвижность пѣтуха, который, если его, положивъ на полъ, притиснешь головою къ полу и отъ носа его проведешь мѣломъ длинную полосу, увѣренный, что онъ привязанъ, пролежитъ до тѣхъ поръ, не шевелясь, пока его сильнымъ пинкомъ не столкнутъ съ мѣста. Такъ неподвиженъ пѣтухъ Германіи въ своемъ о насъ мнѣніи. Дождется онъ сильнаго пинка, который скувырнетъ его съ мѣста, и этимъ пинкомъ по всей вѣроятности угоститъ его честная Англія.

Что сказать о Пальмерстонѣ? Это злой геній нашего времени. Геккеры, Штруве и Генце, всѣ эти грязные политическіе разбойники, на большой дорогѣ грабящіе прохожихъ съ опасностію своей жизни, кажутся мнѣ благородными героями въ сравненіи съ этимъ представителемъ великаго народа. Недавно я читалъ исторію англійской революціи Маколея; это чтеніе преисполнило меня удивленіемъ къ тому народу, который имѣетъ такую исторію, такихъ историковъ и такое могучее, стройное бытіе политическое. Но къ чему

служитъ Англіи ея чудная исторія, ея гражданственность, ея величественная свобода, ея ни въ какомъ—ни въ древнемъ, ни въ новомъ—народѣ небывалое могущество, если все это не спасаетъ ея отъ попошенія, въ которое капризная воля одного человѣка, чуждаго всякаго уваженія къ высшей правдѣ, вверглась ее передъ глазами всѣхъ современниковъ на вѣчный упрекъ исторіи и потомства? Судьбы Божіи поставили Англію на великую степень земнаго могущества. Съ своего недоступнаго острова, оберегаемаго войскомъ кораблей, пріученныхъ повелѣвать моремъ, она властвуетъ великими областями во всѣхъ частяхъ свѣта: въ ней сосредоточиваются всѣ богатства міра и по всему міру льются потоки ея чудной промышленности. И внутри этого острова царствуетъ благоденствіе [не скажемъ однако ни слова объ Ирландіи]: народъ знаетъ, что такое законъ и законность: христіанство, единственный вѣрный источникъ нравственныхъ силъ, еще не опрокинуто безвѣріемъ и дѣйствуетъ сильно на всѣ состоянія; уваженіе власти [не смотря на буйство развратнаго книгопечатанія, съ которымъ усердно борется книгопечатаніе нравственное, сильно поддерживаемое государственными постановленіями] не потрясено; литература богатая, въ которой все образовательное, возвышающее и истинно-просвѣтительное несказанно превышаетъ буйственное и развратное: устройство семейственности, безопасность всѣхъ неотъемлемыхъ правъ личныхъ, законная свобода частныхъ людей во всей ея хранительной, согласной съ общимъ порядкомъ неограниченности: прочность постановленій, утвержденныхъ на строгой законности въ настоящемъ и на почтительномъ храненіи историческаго прошедшаго, создавшаго и устроившаго это настоящее; уваженіе къ человѣчеству въ сильномъ правительствѣ и проистекающее отъ того уваженіе народа къ правительству, и высокое чувство своего человѣческаго и гражданскаго достоинства *въ каждомъ*, отъ чего и твердая, ничѣмъ непотрясаемая любовь къ отечеству, оберегающему для всѣхъ такое сокровище — вотъ Англія. Такова ея нравственная и матеріальная сила посреди всѣхъ образованныхъ народовъ. Какая же должна бы быть ея миссія на такой высокой чредѣ, отъ Промысла для нея избранной? Играть на землѣ роль этого небеснаго Промысла и быть могучимъ распространителемъ и охранителемъ не одного собственнаго, но и общаго, всемірнаго благоденствія. Какое чудное, восхитительное назначеніе! И можно ли допустить мысль, чтобы Провидѣніе Божіе для чего инаго даровало такое могущество народу, осыпавъ его всѣми дарами земныхъ благъ, и матеріальныхъ и духовныхъ? Англіи, стоящей въ головѣ просвѣщенныхъ народовъ, не остается ничего иного желать, кромѣ высокой чести предводительствовать ихъ благоденствіемъ и, такъ сказать, повелѣвать всему міру быть стройнымъ и спокойнымъ. И то, что теперь творится въ остальной Европѣ, представляетъ ей самый къ тому благопріятный случай. Какъ царица морей, какъ Виргиліевъ Нептунъ, она можетъ, въ смыслѣ всеобщаго блага, сказать бунтующимъ волнамъ европейскихъ народовъ: Quos ego! Я васъ! Но что же? Она произноситъ это слово только въ ругательномъ смыслѣ всеобщаго бѣдствія. Не обвиняю еще въ этомъ всемірномъ преступленіи всей благородной націи; послѣдствія скоро намъ скажутъ, оправдываетъ ли она его или нѣтъ. Но на бѣду нашего вѣка и къ безчестію англійскаго народа, рулемъ ея корабля управляетъ рука, недостойная такой чести и власти. Если бы природа лорда Пальмерстона соотвѣтствовала высотѣ его назначенія, если бы его душа была доступна божественному чувству любви къ человѣчеству, соединенному съ уваженіемъ Всевышней Воли, скажу болѣе, если бы онъ имѣлъ истинный патріотизмъ, который не можетъ существовать безъ уваженія къ чести народной: корабль Британіи торжественно и спокойно властвовалъ бы морями, — подъ

флагомъ общаго мира, привѣтствуемый всѣми благословляющими его хранительное шествіе народами. Но этотъ корабль обратился во враждебное судно флибустьеровъ. Англія, при всемъ своемъ народномъ величіи, не иное что, какъ всемірный корсаръ, сообщникъ сперва потаенный всѣхъ мелкихъ разбойниковъ, губящихъ явно и тайно въ другихъ народахъ порядокъ общественный, а теперь и явный разбойникъ, провозглашающій, какъ послѣдній результатъ христіанской цивилизаціи, право сильнаго и безъ стыда поднимающій красное знамя коммунизма посреди государствъ, въ подражаніе грязнымъ толпамъ черни, строящимъ по городамъ баррикады для грабежа во имя свободы. Что видѣли мы въ послѣднее время? Съ кѣмъ изъ возмутителей не дружилась Англія? Какой мятежникъ не былъ признанъ союзникомъ ея правителя? Въ какой землѣ Европы, гдѣ кипѣлъ мятежъ, не были англійскими деньгами разъярены и награждены уличные, обрызганные кровію герои? Не она ли бросила Швейцарію во власть грабителей-радикаловъ, дабы основать въ ней постыдную рабочую мятежа и разврата, которые не даютъ вздохнуть свободно Европѣ? Не она ли подала братскую руку разбойнику Кошуту, вопія противъ беззаконнаго притѣсненія, а въ то же время готовя свой безсовѣстный разбой въ Греціи, въ поруганіе всѣхъ правъ народныхъ и человѣческихъ? Сердце кипитъ отъ негодованія и презрѣнія: отъ негодованія противъ цѣлой націи, дозволяющей такое безстыдное злоупотребленіе силы и такое нарушеніе всякой правды, и отъ презрѣнія къ ея представителю: ибо какъ не презирать человѣка, который, обладая такою властію, не постигъ того величія, которое получилъ отъ Промысла народъ, ему ввѣренный, но съ непонятною, скотскою дерзостію ругается этимъ величіемъ, жертвуетъ имъ для удовлетворенія собственной личной досады и безчеститъ свою націю для нѣкоторыхъ меркантильныхъ выгодъ, которыя, можетъ быть, загромоздятъ гинеями сундуки нѣсколькихъ торгашей, за то оставятъ на Англіи пятно вѣчнаго поношенія!

Но какое дѣло лорду Пальмерстону до поношенія и отъ современниковъ, и отъ исторіи? Чего добраго, онъ, можетъ быть, еще и гордится своими дѣйствіями въ смыслѣ народнаго блага; онъ, можетъ быть, видитъ въ себѣ мученика за Англію. Анаѳема цѣлаго свѣта загремитъ противъ меня, и я самъ знаю, что дѣло мое достойно всякаго порицанія—все это принимаю и для пользы моего отечества. Для какой пользы? Къ билліонамъ славы, которые Англіи даны великими событіями ея исторіи, какъ жадный ростовщикъ, ты хочешь грабежомъ и неправдою прибавить ничтожный милліонъ деньгами, тогда какъ капиталъ твоего отечества долженъ быть пущенъ въ оборотъ на его честь и на благо всемірное. Англія говоритъ тебѣ: упрочь для меня первенство славы между народами; а ты, глухой къ этому вызову, обкрадываешь народы чужіе и обижаешь свой народъ, хвастая передъ нимъ своею кражею. Повторяю: сердце кипитъ отъ негодованія и презрѣнія. Увидимъ, должно ли это презрѣніе перейти отъ ненавистнаго правителя Англіи на самую его націю? Теперь пока всѣ голоса вопіютъ противъ разбоя: увидимъ, что произведетъ этотъ всеобщій крикъ? Устоитъ ли предъ нимъ недостойный дѣйствователь? Или, какъ это часто случается, крикъ умолкнетъ, новыя происшествія, въ которыхъ наше время такъ изобильно, заслонятъ передъ глазами націи этотъ постыдный актъ ея самовластія, и все успокоится. Нѣсколько торгашей начнутъ, считая свои барыши, благословлять лорда Пальмерстона, который, величаясь своимъ coup d'état, спокойно будетъ продолжать безчестить Англію грабежомъ и развратомъ, и безстыднымъ ниспроверженіемъ всего, на чемъ основанъ общественный союзъ народовъ.

Увидимъ, какъ стерпитъ это Англія и согласится ли она своимъ безчестіемъ за-

платить за выгоды своихъ торгашей и за удовлетвореніе капризовъ своего министра?

Гордо подымается сердце русскаго, когда, опечаленный взглядомъ на эту отвратительную политику грабежа и безстыднаго эгоизма, онъ обратитъ глаза на дѣйствія своего государя: какая противоположность между этимъ представителемъ британской свободы и этимъ самодержавнымъ русскимъ царемъ, безкорыстнымъ спасителемъ союзника, и въ немъ порядка Европы!

Обращаюсь къ моимъ воспоминаніямъ. То, чему я былъ свидѣтелемъ въ Варшавѣ, кладетъ вѣнецъ инаго разряда на это дѣло славы военной, вѣнецъ, котораго не увидитъ исторія. Это видѣніе, такъ сказать, есть моя собственность. Возвращеніе русскаго полководца изъ Венгріи должно бы быть ознаменовано встрѣчею торжественною, но этой встрѣчи не было: почти инкогнито, въ темнотѣ наступившаго вечера, проѣхалъ по тихимъ, безмолвнымъ улицамъ польской столицы князь Варшавскій къ своему дому. Тамъ ждалъ его великій князь наслѣдникъ. Императора увидѣлъ онъ безъ свидѣтелей. Отъ чего же была такая тишина, въ такую торжественную минуту? Причина неизъяснимо-трогательная: государь любитъ торжественность, и князь Варшавскій былъ бы имъ встрѣченъ съ торжествомъ необыкновеннымъ; ему бы сладостно было сказать свое царское благодарю, передъ лицомъ войска и народа, своему полководцу за его дѣло, давшее новую и въ своемъ родѣ небывалую славу царю и царству; но все это исчезло передъ скорбію сердца! Прославленный русскій царь не отходилъ отъ постели умирающаго брата, котораго минуты были уже сочтены! При слышаніи шаговъ приближающейся смерти, никакой голосъ торжества не могъ быть ему доступенъ; мысли о земномъ блистательномъ величіи исчезали передъ этимъ мрачнымъ величіемъ неизбѣжной, непобѣдимой смерти. Было что-то наполняющее *душу глубокимъ* благоговѣніемъ въ этой противоположности: съ одной стороны побѣдоносное войско и озареное его подвигами величіе царя самодержавнаго, съ другой этотъ тихій уголокъ Бельведерскій, гдѣ мало по малу гасла лампада милой жизни, которой никакое могущество человѣческое засвѣтить снова уже не было въ силахъ.

Это соединеніе двухъ даяній свыше — даянія силы и славы, разительныхъ своимъ блескомъ, и даянія великой скорби, передъ которой всякая земная слава исчезаетъ, но которая сообщаетъ душѣ безутратное величіе смиренія передъ высшею силою: вотъ что представилось глазамъ моимъ. Въ самый вечеръ моего пріѣзда въ Варшаву, я имѣлъ возможность увидѣть государя императора. Пріѣхавъ въ Лазенки, чтобы явиться къ его высочеству наслѣднику, я не нашелъ его дома; мнѣ сказали, что онъ у больнаго великаго князя вмѣстѣ съ государемъ; скоро потомъ говорятъ мнѣ, что онъ и государь идутъ пѣшкомъ и уже близко. Я сталъ тамъ у входа на лѣстницу, чтобы увидѣть государя, и какъ повернулось въ груди моей сердце, когда я увидѣлъ его, блѣднаго, со впалыми щеками, идущаго тихо, усталымъ шагомъ. Я увидѣлъ не торжествователя, полнаго чувствомъ новой славы, а блѣднаго мученика, въ которомъ скорбь по умирающемъ братѣ умертвила всякое другое чувство. И эта пытка продолжалась для него болѣе десяти дней. Не было часа покойнаго; безпрестанно извѣщали его, что смертная минута наступила, и онъ спѣшилъ къ постели умирающаго; но смерть не давалась милому страдальцу: она какъ будто щадила его для послѣдняго свиданія съ женою и дочерью, и онѣ имѣли горестную отраду! На одно мгновеніе и мнѣ удалось увидѣть его — этой минуты никогда не забуду. Двери спальни были отворены; священникъ тихо читалъ отходную; у постели стоялъ сокрушенный императоръ; великой княгини я не видалъ, видѣлъ дочь, которая, неподвижная, блѣдная, глубоко-горестная, но не плачущая, стояла

у изголовья, опустивъ глаза на тихую голову отца, глубоко втиснутую въ подушку. Черезъ часъ его не стало. Живой кусокъ оторвался отъ братняго сердца. Онъ потерялъ друга, товарища жизни отъ самой колыбели, вѣрнѣйшаго подданнаго, котораго честности могъ ввѣриться во всякое время безъ оглядки. И какъ тяжела была эта потеря для всѣхъ, которые близко знали эту простую, здоровую, полную нѣжности, чуждую всякаго притворства, правдивую и истинно благородную душу. Вечеромъ этого дня я видѣлъ государя въ минуту его отъѣзда; когда онъ сѣлъ въ коляску и когда коляска, удаляясь отъ ярко освѣщеннаго крыльца, исчезла въ темнотѣ ночи, мнѣ стало по немъ несказанно грустно: онъ въ эту минуту показался мнѣ какъ будто осиротѣлымъ. Что чувствовало его бѣдное сердце въ уединеніи этого ночнаго мрака, въ которомъ ничто не могло отвлечь его отъ овладѣвшаго имъ горя и оторвать его мысли отъ смертной постели, на которой лежало бездыханное тѣло брата! Жаль, что ни одинъ изъ нашихъ упорныхъ порицателей не видалъ въ это время нашего государя; онъ получилъ бы вѣрное понятіе не только о его нравственномъ характерѣ, но въ то же время и о необходимомъ характерѣ его политики, въ которой чисто-человѣческое и святое нравственное не подавлено разсчетами такъ называемой государственной пользы, столь часто оправдывающими вопіющую къ Небу неправду, которой элементъ есть честность и уваженіе установленнаго права. Не тронь меня, я никогда не трону; я никогда не войду въ союзъ съ мятежомъ, и своей личной выгодѣ никогда не пожертвую справедливостію.

Сіи правила, которыхъ русскій императоръ непоколебимо держался съ самаго начала своего царствованія, составляютъ разительную противоположность съ политикою нынѣшняго правителя Англіи. Но куда приведетъ, наконецъ, эта ненавистная политика? Спрашиваю мудрыхъ правителей Англіи: вы, представители народа, въ которомъ общественное образованіе дошло до величайшаго развитія, слѣдственно вы, глубже всѣхъ проникшіе въ тайну самого общества, скажите, какъ понимаете вы земное назначеніе человѣческаго рода? Къ чему идетъ оно? И къ чему вы, стоящіе впереди, ведете его? Къ тому ли только, чтобъ онъ обратился въ подвластную одной Англіи толпу работниковъ на ея торгашей и сдѣлался всемірною Ирландіею, гдѣ, въ виду благоденствующей Англіи, народъ гибнетъ тѣлесно отъ голода и нравственно отъ буйства и разврата? А изъ того, что недавно случилось предъ нашими глазами, необходимо должно заключить, что таковы замыслы Англіи на остальной міръ. Теперь ни въ одномъ приморскомъ городѣ, гдѣ бы онъ ни находился, никто не можетъ спать спокойно; надъ всѣми народами виситъ мечъ Дамоклесовъ англійскаго самовластія. Конечно, Англія не можетъ ласкаться надеждою, чтобы государства Европы съ смиреніемъ и покорностью позволили ей повѣсить этотъ мечъ надъ ихъ головами. Но что изъ этого выйдетъ? Всемірное возстаніе, которое теперь уже выражается въ ненависти всеобщей. Правда, чтобы предупредить это возстаніе, Англія напередъ парализируетъ всякое сопротивленіе, возбуждая повсюду мятежъ и разрушая вездѣ внутренній порядокъ. Но опять повторяю, что далѣе? Положимъ, что Англіи удалось опрокинуть все, что не ея островъ, и разрушить всякое, не ей принадлежащее, благоденствіе. Это будетъ не иное что, какъ въ большомъ размѣрѣ торжество того коммунизма, который въ маломъ объемѣ проповѣдуется Прудонами, Штруве и прочими. Роль пролетаріевъ въ лохмотьяхъ, которые рвутся завладѣть чужимъ достояніемъ, провозглашая великій догматъ: la propriété c'est le vol, хочетъ взять на себя могучая и богатая Англія, проповѣдуя всеобщее равенство, т. е. всеобщую подчиненность ея силѣ. Положимъ, что она успѣла провесть свой кровавый уровень надъ всѣми

народами, и что она, отрубивъ имъ головы на своей всемірной гильотинѣ, благодаря своей необъятной матеріальной силѣ и своему столь же необъятному презрѣнію къ святости правъ народныхъ, будетъ одиноко властвовать терроризмомъ на сценѣ міра — чѣмъ, опять повторяю, это должно кончиться? Безъ сомнѣнія явленіемъ казнителя Наполеона, который сокрушитъ это зданіе неправды, безумства и эгоизма. Если Англія хочетъ занять въ христіанскомъ мірѣ мѣсто языческаго Рима, то она должна ожидать и судьбы его. Исторія представляетъ намъ безпрестанно торжество могучей неправды — но торжество это одна фантасмагорія, одно временное, блестящее привидѣніе, не имѣющее никакого вѣчнаго бытія и жизни. Исторія въ настоящемъ смыслѣ своемъ есть безпрестанное оправданіе Божія промысла: неправда сама себя губитъ, и никогда, напротивъ, правда не имѣла послѣдствій губительныхъ; эта историческая аксіома не терпитъ исключеній, если только мы въ исторіи будемъ останавливаться не на одной минутѣ настоящаго, а на сцѣпленіи всѣхъ вѣковъ ея. И этотъ новый Римъ [если только удастся ему построить свое міровладычество], будетъ имѣть своихъ кесарей, которые опозорятъ его своимъ унизительнымъ тиранствомъ; онъ будетъ имѣть свое нашествіе варварскихъ народовъ, но это нашествіе совершится инымъ путемъ. Смотря на то, что происходитъ передъ нами, мы уже можемъ сказать, что свобода Англіи начинаетъ гибнуть; уже для нея началась постыдная эпоха тиранства кесарей. Какой Калигула такъ самовластвовалъ въ древнемъ Римѣ и такъ безчестилъ свой народъ, какъ этотъ министръ, который, оставляя пока въ покоѣ и личную свободу и постановленія государственныя, тиранствуетъ народною честію, и съ своего конституціоннаго престола, охраняемаго преторіанцами партій, бьетъ и рѣжетъ ея истинное бытіе, ея нравственность государственную, а *съ нею и нравственность* всѣхъ и каждаго? Нашествіе варваровъ произойдетъ въ Англіи не извнѣ, а извнутри ея. Нельзя дѣйствовать беззаконно на внѣшность, не разрушая чувства законности внутри. Одинъ и тотъ же народъ [и кольми паче народъ, пріученный своею цивилизаціею все обсуждать собственнымъ разумомъ] не можетъ въ одно и то же время вѣрить въ правду *относительно* себя, и оправдывать ея нарушеніе относительно другихъ. Эта отрава, вдыхаемая изъ внѣшняго воздуха, необходимо должна пройти во внутренность собственнаго тѣла и его заразить смертельно. Благоденствіе и могущество Англіи стоятъ на всеобщемъ чувствѣ законности въ ея народѣ, въ которомъ никакой другой народъ съ нимъ до сихъ поръ не могъ сравниться; потерявъ это сокровище, Англія утратитъ въ немъ главный элементъ своей высокой жизни, и нашествіемъ варваровъ, которые разорвутъ на части этотъ Римъ, будутъ пороки его народа, воспитанные въ немъ эгоизмомъ его правительства, которое, уничтоживъ въ немъ чувство законности своими беззаконными дѣйствіями въ пользу личнаго своего честолюбія, приготовило его къ неизбѣжному самоубійству.

Когда Ѳемистоклъ замыслилъ сжечь союзный греческій флотъ, чтобы дать Аѳинамъ владычество надъ морями, Аристидъ, котораго суду былъ преданъ этотъ дерзкій замыселъ его соперника, сказалъ передъ народомъ: ничто для Аѳинъ не можетъ быть выгоднѣе Ѳемистоклова предложенія, но и ничто не можетъ быть несправедливѣе. Народъ повѣрилъ Аристиду, и даже не захотѣлъ узнать, въ чемъ состояло предложеніе сего славнаго вождя въ Саламинской битвѣ. То была самая великая минута аѳинскаго народа; послѣ сила его обезумила, нравственность погибла. Послѣдствія намъ извѣстны. Лордъ Пальмерстонъ не Ѳемистоклъ: между нимъ и великимъ мужемъ древней Греціи нѣтъ никакого сравненія; но безаконность замысловъ, исполненію которыхъ положено начало на томъ же пунктѣ, гдѣ нѣкогда были отвергнуты замыслы Ѳемисто-

кла, несравненно ихъ беззаконнѣе, именно потому, что они принадлежатъ міру христіанскому и противорѣчатъ всѣмъ правамъ народнымъ, о которыхъ не было понятія въ вѣкъ Ѳемистокла. Увидимъ, осудитъ ли Аристидъ Англіи подражателя Ѳемистоклу и какъ приметъ Англія совѣтъ своего Аристида, уже отчасти выраженный голосомъ нѣкоторыхъ изъ ея благороднѣйшихъ, уважающихъ честь народную, публицистовъ.

Но какъ ни оскорблено сердце тѣмъ, что случилось, нельзя допустить мысль, чтобы Англія, христіанская Англія, самое устроенное изъ всѣхъ государствъ, образцовый народъ между народами, съ равнодушнымъ эгоизмомъ оправдала дѣйствія своего министра. Можетъ ли она быть ренегатомъ своей славы, ругателемъ своего величія, дорого купленныхъ вѣковыми борьбами и подвигами ея великихъ людей, которыми такъ ярко сіяетъ ея исторія, которые [одни на полѣ крови, другіе въ святилищѣ законодательства, третьи на поприщѣ науки] предали ей въ жертву свою жизнь и завоевали для нея то высокое достоинство, которымъ такъ украшено ея бытіе народное? Кто лучше Англіи долженъ теперь видѣть [особенно послѣ бурь, которыя въ наши дни потрясли человѣческое общество], что времена завоеваній и хищничества, наконецъ, также точно, какъ вулканическія допотопныя созданія въ мірѣ физическомъ, миновались; что истинное благоденствіе народовъ не въ распространеніи границъ, не въ матеріальномъ нагроможденіи богатства, а въ богатствѣ нравственномъ, въ умѣренности и порядкѣ, какъ говоритъ І. Миллеръ, т. е. [какъ бы долженъ былъ сказать великій историкъ] въ сохраненіи правды Божіей. Теперь настало время перемѣнить основныя правила политики и опереть ее не на языческихъ понятіяхъ метафизическаго государства, а на христіанскихъ понятіяхъ царства Божія, въ которомъ нѣтъ враговъ, а есть одинъ союзъ народовъ для общаго благоденствія. Всѣ борьбы для утвержденія безопасности политической кончились. Теперь всякая война въ угожденіе честолюбію и хищничеству, всякая политическая война [кромѣ войны противъ губителей нравственности и общественнаго порядка] есть безумство и безполезное преступленіе. Настала пора воздвигнуть знамя любви христіанской и соединиться подъ нимъ въ одну рать для охраненія общаго благоденствія.

Романъ, романъ! скажетъ эгоистъ въ политикѣ. Такъ, романъ; но романъ потому, что вы, распорядители судьбы народовъ, провозглашаете романомъ существенное; романъ потому, что принято за правило не признавать ничего иного существеннымъ, кромѣ настоящей, ощупываемой рукою выгоды, и что, служа въ настоящемъ одному Молоху, такъ называемой государственной пользѣ, приносятъ ему въ жертву святыню вѣчной правды; романъ потому, что уловимое, видимое въ настоящемъ, ласкающее честолюбію или корысти, кажется существеннѣе того невидимаго, вѣчно существующаго, которое одно хранитъ, образуетъ и бережетъ чистоту народовъ: романъ потому, что ослѣпительный, быстро исчезающій фейерверкъ настоящаго предпочитается тайно разлитому повсюду живительному воздуху, котораго бытіе вы отрицаете, но безъ котораго ни дышать, ни жить невозможно: романъ потому, что еще не догадались, что существующій Богъ есть Богъ живой, а не пантеистическій призракъ, и что Онъ вольный хозяинъ въ Своемъ созданіи, что во всякій мигъ Своей вѣчности Онъ на всякомъ пунктѣ Своего необозримаго созданія всѣмъ бытіемъ Своимъ присутствуетъ и произвольно заботится о каждомъ атомѣ Своего безпредѣльнаго міра, и что, наконецъ, вамъ пора съ покорностію очистить принадлежащее Ему мѣсто въ совѣтѣ человѣческаго міроправленія, гдѣ, впрочемъ, Онъ и безъ позволенія правителей соприсутствуетъ, содѣйствуя одной ихъ правдѣ и казня ихъ неправду, или ея неисповѣреніемъ въ неровной съ Нимъ борьбѣ.

или еще чаще ея собственнымъ постыднымъ успѣхомъ.

Но письмо мое сдѣлалось длинно до безконечности. Скажу въ заключеніе: сохрани намъ Богъ нашего могучаго царя! Онъ представитель прямодушія въ политикѣ; на этомъ основаніи мы стоимъ твердо и устоимъ долго. Россія имѣетъ передъ собою несказанное будущее; если она пойдетъ, безъ спѣха и безъ скачковъ, путемъ указаннымъ ей ея исторіею, она дойдетъ къ благоденствію самобытному, независимо отъ Европы, которая хочетъ ее оттолкнуть въ Азію; она не будетъ ни Европа, ни Азія, она будетъ Россія, особенный міръ, отъ всѣхъ отдѣльный, внутренно стройный, извнѣ недоступный.

Прибавлю въ заключеніе: сохрани Богъ царю и царству надолго знаменитаго вождя, который своими подвигами внесъ огромный вкладъ въ капиталъ отечественной славы! Дай Богъ еще долго этому вождю, обдержанному въ бояхъ булату, какъ говорилъ Державинъ, въ силѣ жизни, отдыхать на своихъ лаврахъ и во дни дѣятельнаго покоя помнить съ веселіемъ о дняхъ минувшихъ, о дняхъ богатырскихъ, въ которые, гуляя по царству Митридата съ храбрымъ русскимъ войскомъ, онъ русскою трубою пробуждалъ эхо, отвѣчавшее трубамъ римскихъ легіоновъ, и бивакировалъ у подошвы Арарата, въ виду второй колыбели человѣческаго рода.

Прошу вашу свѣтлость простить мнѣ мою болтовню и мое длинное письмо; смѣю даже надѣяться, что вы порадуете меня двумя строчками отвѣта.

ІОСИФЪ РАДОВИЦЪ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Въ письмѣ, которое я писалъ къ вамъ передъ моимъ отъѣздомъ во Франкфуртъ, я обѣщалъ сообщить о томъ, что увижу тамъ своими глазами и что услышу своими ушами. Вотъ уже болѣе пяти *недѣль, какъ я возвратился* изъ похода, но писать еще не могъ: имѣлъ другія занятія, которыхъ отложить мнѣ не хотѣлось, и потомъ само письмо взяло у меня много времени,—оно длинно. Вы не должны однако пугаться его огромности; прочтете его на досугѣ. Между тѣмъ на политической сценѣ многое двинулось — впередъ ли, назадъ ли, не знаю. Съ одной стороны противъ Пруссіи стали во фронтъ четыре королевства, изъ которыхъ два покинули ея знамя, и ими командуетъ Австрія; съ другой — Пруссія открыла свой Эрфуртскій парламентъ и подъ ея знаменемъ выстроили сборный свой легіонъ почти всѣ мѣньшія государства Германскаго Союза. Что изъ этого выйдетъ? Начнется ли война и который фронтъ сдѣлаетъ первый выстрѣлъ — кто знаетъ? Вамъ это должно быть извѣстно, ибо, конечно, Россія броситъ между обоими фронтами свое могучее *veto* и этой русской рогатки ни съ какой стороны перешагнуть не помыслятъ. Между тѣмъ я, для исполненія своего слова, и еще болѣе для удовлетворенія собственнаго горячаго желанія, сообщу вамъ то, что слышалъ и видѣлъ во Франкфуртѣ, сообщу единственно для того, чтобы изобразить вамъ Радовица такимъ, каковъ онъ есть; это — главная цѣль письма моего. Въ политикѣ я не судья; могу только съ нѣкоторою ясностію повторить то, что слышалъ, но не могу взять на себя произнести какой нибудь приговоръ, ибо для того нужна опытность политическая, которой я не имѣю, нужно имѣть передъ глазами *весь* ходъ происшествій современныхъ: я не могъ слѣдовать за ними съ надлежащимъ вниманіемъ на всѣ подробности, бывъ занятъ своимъ личнымъ дѣломъ. Дай Богъ, чтобы то, что для моего ума такъ ясно и что сердцу моему такъ дорого, то есть, чтобы изображеніе друга Радовица вышло изъ-подъ пера моего совершенно сходное съ тѣмъ образомъ, который болѣе двадцати лѣтъ врѣзанъ въ глубинѣ души моей. Перо весьма непокорно нашей волѣ. Между тѣмъ, что мы знаемъ вѣрно и чувствуемъ живо, и словеснымъ или пись-

меннымъ его изображеніемъ—лежитъ для многихъ глубокая бездна: почти всегда то, что живетъ внутри души, переходитъ полуживымъ подъ перо; прінскиваніе слова къ мысли и чувству можно сравнить съ работою живописца, пишущаго портретъ; почти никогда не бываетъ полнаго сходства копіи съ оригиналомъ, и это часто происходитъ именно отъ тревожнаго усилія поймать это сходство. Таково теперь мое положеніе: мнѣ слишкомъ хочется написать вамъ сходный портретъ того оригинала, который въ полной жизни стоитъ передъ моимъ внутреннимъ окомъ, но меня тревожитъ страхъ, что мысли не соберутся въ одинъ яркій фокусъ, что выраженія не дадутся и что не произойдетъ въ соединеніи ихъ того порядка, который, повидимому, зависитъ отъ нашей воли, а на самомъ дѣлѣ почти всегда есть созданіе неподвластнаго намъ вдохновенія. Помоги Богъ.

Но прежде, нежели перейду къ главному, то есть къ писанію портрета, я долженъ натереть краски и сдѣлать такъ называемую подмалевку, то есть предварительно окинуть взглядомъ происшествія нашего времени и то, что должно быть ихъ необходимымъ послѣдствіемъ. Этотъ взглядъ будетъ не мой, а только соединеніе въ одну раму всего того, что я въ разное время, и особенно теперь, отъ защитниковъ прусской политики слышалъ. Все, что слѣдуетъ, есть результатъ моего подслушиванія; передаю вамъ не свое, а чужое; не прибавлю къ нему ничего собственнаго.

«Все въ политикѣ получаетъ свое основаніе и пріобрѣтаетъ свое право (Berechtigung) отъ исторіи, а ходъ исторіи есть изъявленіе вышней, всѣмъ управляющей Воли, есть глаголъ Провидѣнія, въ который надобно вслушиваться, чтобы всегда и во всякую минуту знать, что дѣлать на своемъ указанномъ свыше мѣстѣ. То, что совершается въ настоящую минуту, есть необходимое слѣдствіе прошедшаго, есть послѣднее звено неразрывной цѣпи событій, изъ которой ни одного изъ этихъ, одно въ другое входящихъ звеньевъ, никакою силою исторгнуть не можно. Это прошедшее указываетъ намъ, какъ дѣйствовать, не нарушая правды, въ настоящемъ—дабы построить нѣчто прочное для будущаго. Должно однако сказать, что намъ не дано ничего строить особеннаго по собственному плану; мы можемъ только дѣлать пристройки къ зданію вѣковъ, котораго планъ не нами начертанъ и намъ даже неизвѣстенъ въ цѣломъ; мы можемъ только пристроивать къ тому мѣсту вѣковаго, всемірнаго зданія, близъ котораго стоимъ въ настоящемъ, и должны согласоваться съ мѣстностію такъ, чтобы наша частная пристройка гармонически входила въ цѣлое, а не была бы отъ него отдѣльнымъ, а потому и легко разрушимымъ зданіемъ. Чтобы понимать, *гдѣ, какъ* и *что*, нужно пристроить, мы должны справляться съ исторіею; она одна раскрываетъ намъ планъ Провидѣнія, котораго мы должны держаться, но обозрѣніе котораго только по ея указаніямъ для насъ возможно. Если мы будемъ хотѣть не пристроивать, а самобытно строить, то мы только будемъ разстроивать, то есть набрасывать развалины. Это самовольное набрасываніе развалинъ есть то, что называется революціею. И характеръ всякой революціи есть эта отрывочность вновь созидаемаго, которымъ хотятъ насильственно замѣнить часть зданія вѣковаго, вырвавъ эту часть изъ общаго плана и на ея развалинахъ воздвигнувъ нѣчто отдѣльное, вмѣсто того, чтобы, отдѣливъ обветшалое (само собою уже полуотдѣленное) отъ существующаго твердаго, замѣнить его соотвѣтствующимъ новымъ, и тѣмъ только дать новую крѣпость всемірному, вѣковому.

«Обращаясь къ тому, что произошло въ послѣднее время, мы должны въ той бѣдственной революціи, которая вновь потрясла Европу, видѣть послѣднее звено длинной цѣпи событій; обозрѣніе этой цѣпи приведетъ насъ къ узнанію того, что необходимо въ настоящемъ для воз-

становленія порядка, для утвержденія общаго и частнаго блага.

«Не упоминая о томъ, какое всеобщее потрясеніе произвела первая французская революція, которая перешла почти всѣ свои фазы,—начавъ съ разрушенія всего историческаго во Франціи и перешедши черезъ завоевательный деспотизмъ Наполеона къ самоубійственному деспотизму народнаго самодержавія, грозящаго разрушеніемъ не одному государству, но самому обществу, мы укажемъ на происшествія, непосредственнѣе приготовившія переворотъ, потрясшій Германію. Всеобщій энтузіазмъ, пробудившій германскую національность въ войнѣ съ Наполеономъ, учрежденіе Германскаго Союза и появленіе въ Германіи конституцій по образу и подобію французской, и съ сими конституціями фальшивое удовлетвореніе революціонному духу, родившемуся отъ того же энтузіазма, который одержалъ побѣду надъ диктаторомъ, удовлетвореніе, не давшее законной свободы, а только узаконившее духъ буйства, и вслѣдствіе этого тридцатилѣтняя вражда народовъ съ правительствами, произведенная съ другой стороны ничтожною дѣятельностію или бездѣйственною ничтожностію Германскаго Союза, который вмѣсто того, чтобы властвовать духомъ времени, только его раздражалъ пренебреженіемъ его требованій и наконецъ превратилъ въ пагубнаго демона анархіи—слѣдствіемъ всего этого было постепенное уничтоженіе нравственной силы правительствъ, по мѣрѣ ослабленія которой съ одной стороны возрастала сила буйства, съ другой—сила, которою наконецъ было подкопано все, что составляло основаніе гражданскаго порядка: религія, уваженіе власти, покорность долгу, публичная и частная правда.

«Въ такомъ положеніи была Германія, когда совершился роковой взрывъ февральской революціи; Франція затрепетала передъ своею республикою, и съ первыхъ дней ея распаленія начала съ нею бой *не на животъ, а* на-смерть. Анархисты Германіи, обрадованные появленіемъ этого чудовища, быстро воспользовались паническимъ страхомъ, который оно навело на всѣ правительства, и бросились на разслабленный союзъ ихъ, какъ вандалы на приготовленную къ паденію Римскую Имперію. Тогда совершилось невиданное и неслыханное: всѣ германскіе государи безусловно покорились малочисленной толпѣ самозванцевъ, которые сами провозгласили себя выборными германскаго народа и приказали правительствамъ, распустивъ своихъ представителей, засѣдавшихъ въ палатѣ Германскаго Союза, передать ихъ власть народному парламенту, образованному по ихъ произвольному начертанію. Что вышло изъ этого парламента, мы видѣли. Богъ, Котораго покровительство было съ циническою дерзостью отвергнуто большинствомъ этихъ представителей націи при открытіи ихъ засѣданій, навелъ на ихъ умы вавилонское затменіе — все опрокинули, ничего не построили, и Германія, обезсиленная, уже облитая кровію междоусобной войны, стоитъ теперь на краю погибели. Что же надлежитъ дѣлать? Чѣмъ возстановить и упрочить на будущія времена порядокъ? Дабы рѣшить эту задачу, надлежитъ, поглядѣвъ прямо въ глаза своему времени, предварительно отвѣчать на слѣдующіе вопросы: *что сдѣлано? какъ? для чего?* и *кѣмъ?* Тогда можно будетъ легко опредѣлить и то, что остается дѣлать.

«Что сдѣлано? Опрокинуть существовавшій историческій порядокъ и произведенъ опытъ замѣнить вѣковое, старое вдругъ вымышленнымъ, новымъ, опытъ уничтожить хартію исторіи, вырѣзанную на бронзовой колоннѣ временъ, вылитой изъ дѣйствительныхъ событій минувшаго, и вмѣсто ея на ломкомъ деревѣ вольности повѣсить бумажный конституціонный листъ, въ одинъ день склеенный изъ лоскутьевъ теоріи. Для чего? Для произведенія могучаго единства въ Германіи, какъ то означено въ титулѣ бумажной конституціи. Какъ? Насильствомъ революціи, которая, опровергнувъ законную

верховную власть, передала ее въ руки толпѣ народной, провозгласивъ ее самодержавною, и тѣмъ уничтоживъ возможность всякаго порядка и всякой правды. Что же остается дѣлать? Надлежитъ, въ томъ убѣжденіи, что всякая ложь сильна только тою истиною, которая тайно въ ней заключается, признать событія событіями, то есть не отрицая ни ихъ существенности, ни тѣхъ послѣдствій, которыя необходимо они должны имѣть, смотря по тому, какъ будутъ постигнуты тѣми, которые должны дѣйствовать по ихъ указаніямъ,—надлежитъ отдѣлить отъ ихъ губительной лжи заключающуюся въ ней спасительную истину и, давъ жизнь послѣдней, умертвить первую. Слѣдуетъ вопросъ: что здѣсь ложь и что истина? то есть, что надлежитъ принять и что отвергнуть? Ложь — сама революція и всѣ ея такъ называемыя благопріобрѣтенія (Errungenschaften), насильственною ею сдѣланныя по извѣстной методѣ практическихъ благотворителей человѣчества, которые останавливаютъ путешественниковъ на большой дорогѣ съ привѣтствіемъ: «кошелекъ или жизнь!..» Въ чемъ истина? Во-первыхъ, въ требованіи той свободы, къ которой отказать невозможно, безъ которой нѣтъ благоденствія частнаго, нѣтъ порядка общаго, нѣтъ могущества власти. Подъ истиною этой свободы революція скрыла свою ложь анархіи. Во вторыхъ, въ этомъ духѣ народности, пробужденномъ во дни борьбы съ Наполеономъ за независимость, въ теченіе тридцати лѣтъ сдавленномъ и вдругъ опять освободившемся съ удвоенною силою, но беззаконною революціею превращенномъ въ буйство, тогда какъ самъ по себѣ онъ не иное что, какъ законное стремленіе къ единству, то есть къ соединенію всѣхъ членовъ въ одно крѣпкое тѣло для дарованія этому тѣлу живой силы, съ сохраненіемъ самобытности каждаго члена отдѣльно. Итакъ, единство Германіи должно быть теперь цѣлію правительствъ. Какъ достигнуть сей цѣли? Уничтоживъ совершившуюся революцію, не проводя новой, то есть произвести хранительную реформу, умертвить анархію присвоеніемъ того блага, которое таится въ беззаконныхъ ея пріобрѣтеніяхъ. Осуществленіемъ этого блага — блага законной свободы и могучаго германскаго единства—правительства опрокинутъ дѣйствователей революціи ихъ же оружіемъ и отнимутъ всякій поводъ къ мятежу на будущее время. Кто были эти дѣйствователи? Ихъ было три рода: для однихъ цѣль была сама революція, то есть постоянный, имъ однимъ выгодный мятежъ; для другихъ сія цѣль состояла въ повсемѣстномъ утвержденіи представительнаго правительства; третьи имѣли въ виду единство Германіи; для всѣхъ революція была способомъ достиженія цѣли. Слѣдствія у насъ передъ глазами; революція могла произвести только разрушеніе. Что же теперь остается дѣлать правительствамъ? Съ первыми изъ дѣйствователей не можетъ быть никакого соглашенія, имъ должно объявить войну непримиримую, и ихъ истребленіемъ умертвить революцію. Цѣль вторыхъ достигнута: во всей Германіи учреждены представительныя правительства; рѣшеніе этого общаго процесса принадлежитъ теперь каждому государству въ особенности, онъ обратился теперь для каждаго изъ нихъ въ дѣло домашнее, и можно думать, что представительная система сама себя въ своемъ развитіи уничтожитъ, уступивъ наконецъ мѣсто чистой монархіи, опирающейся на штаты (государственные чины). Система конституціонная, которая теперь изъ теоріи обращена въ фактъ, не иначе можетъ быть опровергнута, какъ только фактомъ опыта, который одинъ можетъ обличить ея несостоятельность; конечно, этотъ опытъ будетъ тяжелый ходъ горячки, но существованія этой горячки отвергнуть уже нельзя, и горе медику, если онъ, отрицая болѣзнь, не дастъ лѣкарства, вспомогающаго натурѣ, или, отрицая дѣйствіе натуры, захочетъ насильственно

вырвать болѣзнь изъ одержимаго ею тѣла. Остаются третьи, то есть поборники германскаго единства. Одно слѣпое упрямство можетъ утверждать, что цѣль ихъ не благая. Одинъ только способъ, которымъ они хотятъ достигнуть благой цѣли, то есть революція, незаконенъ самъ по себѣ и разрушителенъ для самой искомой цѣли. Стремленіе къ единству властвуетъ теперь Германіею,—это неоспоримо; но Германія есть не одно государство, составленное изъ многихъ народовъ, а одинъ народъ, раздѣленный на многія государства. Въ первомъ случаѣ соединеніе въ одинъ народъ было бы стремленіемъ къ разъединенію, сокрушительному для цѣлаго; здѣсь напротивъ стремленіе къ соединенію должно укрѣплять каждую часть особенно, вводя ее въ сильный составъ цѣлаго, съ сохраненіемъ ея исторической самобытности. Такому стремленію удовлетворить необходимо должно, должно уже потому, что его невозможно уничтожить, оно вступило въ жизнь; если на время сила его и сдавитъ, то оно только отъ этого сдавленія пріобрѣтетъ сильнѣйшую упругость, и при первомъ толчкѣ произойдетъ новый, усиленный взрывъ и новое, болѣе обширное разрушеніе. Правительства, соединяясь прямодушно и самоотверженно подъ знаменемъ единства, должны совокупно идти къ этой цѣли, но не тѣмъ путемъ, которымъ шли дѣйствователи революціи, хотѣвшіе всѣ вѣковыя постановленія, всякую историческую самобытность государствъ, все отдѣльное, личное, и слѣдственно дѣйствительно существующее, обратить въ нѣчто общее, въ какую-то идеальную цѣлость безъ прошедшаго, безъ отечественнаго, безъ наслѣдственнаго, хотѣвшіе, однимъ словомъ, обратить всѣ историческія государства въ нули, и изъ суммы этихъ нулей составить метафизическую свою единицу подъ именемъ Германскаго народа. Чтобы дойти къ ихъ цѣли, то есть къ дѣйствительному, твердому единству, надлежитъ *только выбрать* путь противный избранному ими; правительства должны также энергически и съ такою же полною, взаимною довѣренностію соединиться для дѣйствія въ пользу порядка, съ какою соединены были для дѣйствія на общую гибель друзья безпорядка. Теперь наступило время самоотверженія, теперь нѣтъ мѣста эгоистическимъ спорамъ о первенствѣ, нѣтъ мѣста ребячеству династической гордости, нѣтъ мѣста своекорыстному хищничеству: дѣло идетъ о возстановленіи святаго, обруганнаго дерзкимъ развратомъ; о соединеніи всѣхъ силъ воедино для спасенія общаго сокровища: страха Божія, достоинства монаршаго, безопасности отъ враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ и истинной свободы, истекающей изъ благоговѣнія передъ святымъ, изъ уваженія власти, изъ покорности долгу. Извѣстно, чего желалъ для Германіи король Фридрихъ Вильгельмъ IV. За нѣсколько лѣтъ до революціи исполненіе тогдашнихъ его безкорыстныхъ предложеній, въ которыхъ на первомъ планѣ стояло предсѣдательство Австрія на совѣтѣ государей германскихъ, отвратило бы эту бѣдственную революцію и изъ рукъ законной власти Германія получила бы то, что теперь въ такомъ искаженномъ видѣ вырвало ей изъ нечестивыхъ когтей мятежа. Кто тогда отвергнулъ спасительное предложеніе Пруссіи? Австрія,—наконецъ согласившаяся принять ихъ, но уже тогда, какъ судьба Божія произнесла свое наказующее: *поздно*. И теперь Пруссія, съ тѣмъ же самоотверженіемъ, безъ всякихъ своекорыстныхъ замысловъ, предлагаетъ то же, то же конечно, но то же послѣ событій 1848 и 1849 годовъ, которыхъ уже никакая сила не вырветъ изъ роковой цѣпи временъ. Тогда дѣло шло о предотвращеніи бѣдствія, которое такъ громогласно пророчили всѣ событія; теперь дѣло идетъ уже о возстановленіи того, что совершившееся, напрасно предвидѣнное и предсказанное, бѣдствіе превратило въ развалины. Тогда всѣ правительства могли дѣйствовать самобыт-

но, со всѣмъ достоинствомъ власти, свободно благотворящей; могли даровать произвольно необходимое, требуемое вѣкомъ, даровать не въ смыслѣ анархіи, а въ смыслѣ хранительной, державной власти: заслуживъ всеобщую благодарность, они возстановили бы и утраченную свою силу; теперь всѣ правительства, покорившіяся въ минуту страха беззаконному бунту, опутаны тѣми бѣдственными уступками, на которыхъ лежитъ печать монаршаго обѣщанія; и даръ, исторгнутый принужденіемъ, вредный для самихъ пріобрѣтателей (ибо есть произведеніе беззаконнаго ихъ буйства), не возбудилъ ни въ комъ благодарности и не произвелъ примиренія между враждующими партіями. Пруссія, которая со всѣми вмѣстѣ выпила горькую чашу наказанія, и теперь, какъ прежде, предлагаетъ вѣрное средство спасенія, но средство наиболѣе исполнимое въ настоящую минуту, черезъ которую нельзя перепрыгнуть въ желаемое будущее, а это будущее необходимо наступитъ, если только безъ нетерпѣнія, безъ эгоизма будетъ постигнуто и исполнено одно возможное въ настоящемъ. Въ какомъ видѣ наступитъ желаемое будущее, знаетъ одинъ Богъ. Но Онъ говорилъ государямъ и народамъ: дѣйствуйте по правдѣ; за вашу правду нынѣ, Я воздамъ моею правдою завтра. Прусскій монархъ искренно и самоотверженно желаетъ правды, и это уже доказано дѣломъ. Не онъ вытѣсняетъ Австрію изъ Германіи,—она сама себя изъ нее вытѣснила своею конституціею; если притомъ взглянемъ на карту, то увидимъ, что Австрія всѣми своими пріобрѣтеніями выдвинута изъ Германіи, а Пруссія, напротивъ, тѣмъ же вѣковымъ процессомъ вдвинута въ ея внутренность. Итакъ, если Австрія не можетъ вслѣдствіе своей конституціи быть непосредственно въ главѣ союзной Германіи, то кому занять ея мѣсто, какъ не Пруссіи? И если второстепенныя государства отказываются признать необходимое первенство Пруссіи, то здѣсь очевидно, что личной, династической спеси приносится въ жертву общая судьба Германіи. Пруссія не только не имѣетъ въ виду замысловъ на хищническое уничтоженіе самобытности державъ, которымъ предлагаетъ союзъ свой, но она именно этимъ союзомъ упрочиваетъ ихъ самобытность и разрушаетъ замыслы анархистовъ, которые ничего такъ не желаютъ теперь, какъ возстановленія стараго, безжизненнаго союза, дабы питать имъ духъ мятежа и ненависти, продолжать по частямъ раздроблять Германію, и потомъ снова, при первомъ удобномъ случаѣ, съ бо́льшимъ успѣхомъ нанести сокрушительный ударъ свой цѣлому. Разительнымъ доказательствомъ этого служитъ то, что всѣ анархисты или отказываются содѣйствовать Пруссіи, или дѣйствуютъ противъ нее въ лагерѣ ея противниковъ. У нихъ чутье тонкое; они чувствуютъ, что единство Германіи на томъ основаніи, на коемъ хочетъ ее построить Пруссія, есть смерть революціи, обличеніе несостоятельности представительнаго правительства и необходимое возстановленіе чистой монархической власти. Однимъ словомъ: Пруссія хочетъ одной правды, чужда своекорыстію и самоотверженно готова на всякую жертву для общаго блага; въ этомъ убѣдятся современники, по крайней мѣрѣ такое свидѣтельство дастъ ей безпристрастная исторія».

Вотъ сумма того, что̀ я слышалъ и прежде и теперь отъ защитниковъ нынѣшней прусской политики. Не позволяя себѣ никакого собственнаго мнѣнія объ этомъ предметѣ, ибо не имѣю для этого достаточнаго числа собственныхъ данныхъ, скажу здѣсь только одно: безкорыстность и честность прусской политики для меня неотрицаемы, и мое доказательство состоитъ въ томъ, что душа этой политики, съ той минуты, какъ Пруссія предложила союзъ свой Германіи, есть Радовицъ. Ни для кого и ни для чего онъ не пойдетъ излучистымъ путемъ махіавелизма. Будетъ ли имѣть эта политика

успѣхъ — это другое дѣло. Главнымъ врагомъ ея можетъ сдѣлаться тотъ самый Эрфуртскій парламентъ, на которомъ она хочетъ утвердить свою силу. Но я теперь дошелъ до настоящаго предмета моей эпистолы; буду говорить о самомъ Радовицѣ.

И до 1848 года довольно много было о немъ говорено и писано; тогда болѣе въ немъ судили человѣка и писателя, и Радовицъ, котораго мнѣнія религіозныя, философическія и политическія были въ рѣзкой противоположности съ царствующими мнѣніями вѣка, слылъ, какъ католикъ — іезуитомъ, ультрамонтаномъ, какъ политикъ — проповѣдникомъ абсолютизма. По вступленіи Радовица въ покойный парламентъ, онъ все еще носилъ эти данные ему титулы; прибавилось только то, что не проходило ни одного дня, чтобы въ какой-либо газетѣ или брошюрѣ не появилась варіація на обѣ темы: *іезуитъ* и *абсолютистъ*; всѣ эти варіаціи были однако повтореніемъ одна другой; клевета не дремала: къ нападкамъ на мнѣнія, вымышляемыя или искаженныя, она присоединяла и низкую ложь на характеръ и на дѣйствія человѣка, на которомъ до сихъ поръ не лежитъ и тѣни упрека. Наконецъ, со времени призванія Радовица въ Пруссію, гдѣ онъ сдѣлался главною пружиною теперешней ея политики, тема *іезуитъ* варьируется только для того, чтобы не потерять привычки, а тему *абсолютистъ* заступила противоположная ей тема *радикалъ*. Въ какомъ чудовищномъ видѣ долженъ стоять передъ современниками этотъ повсемѣстно поносимый Радовицъ, однимъ непзмѣннымъ молчаніемъ отвѣчающій на всѣ низкія клеветы и оскорбленія, которыми съ одной стороны осыпаютъ его партіи (по натурѣ своей неспособныя быть справедливыми), а съ другой подкупные работники партій, которые въ публичныхъ листахъ безсовѣстно проповѣдываютъ и *pro* и *contra*, или враги личные, которые хотятъ удовлетворить клеветою зависти и злобѣ. Постараюсь объяснить феноменъ такой всеобщей, незаслуженной непріязни.

Радовицъ до вступленія своего въ прусскую службу былъ незнакомъ съ такъ называемымъ большимъ свѣтомъ. Жизнь его была посвящена труду уединенному и тѣсному кругу друзей, въ которомъ онъ могъ независимо предаваться безъ всякой оглядки движеніямъ сердца и свободному выраженію своихъ чувствъ и мыслей. Онъ мыслилъ вслухъ для друзей, которые понимали не одинъ его мысли, но и его душу. Эта душа проста, во всякое время готова симпатически принимать чужое чувство, чужую радость, чужое горе, въ ней нѣтъ и тѣни притворства; она младенчески довѣрчива — но къ этимъ золотымъ качествамъ не присоединялось (говорю о первомъ времени свѣтской жизни Радовица) искусство, которое такъ высоко цѣнится въ большомъ свѣтѣ, искусство ласкать всѣхъ и каждаго привѣтливымъ обхожденіемъ. Радовицъ не имѣлъ ни случая, ни досуга для образованія себя въ этомъ искусствѣ, и на сценѣ большаго свѣта, какъ въ кругу знакомыхъ съ сердцемъ его друзей, выражалъ мнѣнія рѣзко, сильнымъ, неопровержимымъ словомъ, подкрѣпляя собственныя мысли артиллеріею необычайной учености: его желѣзная діалектика была сокрушительна, и этимъ оружіемъ онъ дѣйствовалъ безпощадно, не для того однако, чтобы опрокинуть своего соперника, выказать свое надъ нимъ превосходство и тѣмъ оскорбить его самолюбіе — такого рода суетность совершенно чужда его высокому характеру—нѣтъ, онъ просто, какъ рыцарь, вѣрный своей красавицѣ, выходилъ на поединокъ за то, что признавалъ въ сердцѣ своемъ истиною; правда, живость характера не даетъ ему терпѣливо выслушивать плоскостей или болтовни невѣжества, но никто не умѣетъ быть столь внимательнымъ къ тому, что достойно вниманія, никто не имѣетъ такой терпѣливости къ чужимъ убѣжденіямъ, не отличаетъ такъ прямодушно

ошибочнаго мнѣнія отъ личности, принявъ за правило (правило любви христіанской, которому весьма немногіе слѣдуютъ) не ставить на счетъ нравственности сердца убѣжденій ума, ослѣпленнаго предразсудкомъ. Но эта рѣшительность мыслей и рѣзкость въ ихъ выраженіи изъяснена была высокомѣріемъ отъ всѣхъ, кто не былъ въ короткой связи съ Радовицемъ, которому и самые искренніе друзья его говорили: *надобно быть твоимъ другомъ, чтобы не сдѣлаться твоимъ непріятелемъ.* Тѣмъ изъ немногихъ, которые могли съ нимъ успѣшно единоборствовать на сценѣ общества, но которые желали сохранить исключительно для себя на этой сценѣ первую ролю, было вообще его присутствіе не по сердцу; многіе, которые не имѣли силъ съ нимъ бороться и которыхъ тѣмъ болѣе сердило его надъ ними превосходство, что онъ (безъ всякаго высокомѣрія, а просто отъ недостатка искусственно-ласковой свѣтскости) не заботился золотить свои подносимыя имъ пилюли, были раздражены противъ него собственнымъ самолюбіемъ, всегда непримиримымъ; а весьма многіе, которые не могли никакого имѣть при немъ голоса и которыхъ ничтожество было для нихъ самихъ и для общества ощутительно отъ его превосходства, не могли сносить этого превосходства. Прибавьте сюда всѣхъ отрицателей вѣры, всѣхъ раціоналистовъ въ христіанствѣ, для которыхъ всякая положительная религія есть предразсудокъ, а всякій строго вѣрующій—досадный обличитель ихъ безвѣрія, есть лицемѣрный піетистъ, когда онъ протестантъ, — іезуитъ, если онъ католикъ; наконецъ, сочтите всѣхъ такъ называемыхъ либераловъ, и честныхъ, то есть искренно убѣжденныхъ, и нечестныхъ, то есть анархистовъ съ выгодами своекорыстными—и тѣмъ и другимъ была ненавистна чистая, монархическая доктрина Радовица, проповѣдуемая побѣдоноснымъ его словомъ и столь же побѣдоноснымъ перомъ его. Все это, взятое вмѣстѣ, объясняетъ всеобщее противъ него возстаніе, особенно въ теперешнюю минуту, когда онъ обстоятельствами вскинутъ на высоту, на которой всѣ тридцать два вѣтра партій съ ругательнымъ свистомъ нападаютъ на него, никакой партіи не принадлежащаго, и силятся растерзать его доброе имя. Были, конечно, голоса и въ пользу Радовица, но то были капли въ морѣ. Наконецъ нашелся одинъ, Френедорфъ, отважившійся говорить о немъ безпристрастно и отдать ему надлежащую справедливость.

Надобно, однако, замѣтить, что и онъ въ своей брошюрѣ говоритъ о Радовицѣ по однимъ публичнымъ документамъ. Онъ, правда, умѣлъ отдѣлить въ нихъ истину отъ лжи, но изъ того, *какъ* онъ говоритъ о самомъ лицѣ Радовица, кажется мнѣ, можно заключить, что онъ его лично не знаетъ, или знаетъ мало; какъ бы то ни было, нельзя не изъявить благодарности человѣку, который по одному негодованію на несправедливость сдѣлался адвокатомъ обвиненнаго, безъ всякой надежды, чтобы присяжные общаго мнѣнія, которые слуги партій [по обычаю всѣхъ присяжныхъ нашего времени], произнесли свой приговоръ въ смыслѣ чистой правды.

Къ суммѣ порицаній надобно прибавить еще одно: Радовица, строгаго монархиста, называютъ теперь репетаторомъ монархическаго вѣроисповѣданія. На это отвѣчаетъ за себя онъ самъ въ лицѣ Вальдгейма, который есть представитель мнѣній Радовица, въ его «*Разсказахъ изъ настоящаго времени о государствѣ и церкви*». Вотъ что говоритъ Вальдгеймъ:

«Ich halte mich verpflichtet, die Monarchie auch in ihrer Entstellung nach allen Kräften gegen die Theilung mit der Volks-Souveränität zu vertheidigen, und die Repräsentativ-Regierung wieder eben so gegen die Republik, ungeachtet ich den Vordersatz missbillige, ungeachtet ich die nothwendigen Folgerungen durchaus nicht

stehe, ungeachtet ich das Ende des Zersetzungsprozesses schmerzlich ahnen muss».

Если прибавимъ къ этимъ словамъ Вальдгейма святыя слова изъ Евангелія: *ищите во первыхъ царствія Божія и правды его и все остальное приложится вамъ*, то мы будемъ имѣть передъ глазами всего Радовица, и политика и человѣка. Вышесказаннаго достаточно для легкаго очерка; но для живаго портрета нужны краски фактовъ. Я не намѣренъ писать біографіи; хочу только дополнить разсказъ упомянутаго біографа нѣкоторыми подробностями, которыя мнѣ, по долголѣтней, дружеской связи съ Радовицемъ, могли быть вѣрнѣе многихъ извѣстны.

Не нужно упоминать о томъ, какъ щедро природа осыпала Радовица духовными дарами: этого не отрицаютъ и закоренѣлые враги его. Предназначивъ его для великихъ земныхъ испытаній, Богъ даровалъ ему и великія силы душевныя. Практически свѣтлый, философически-глубокій и математически-вѣрный умъ, соединенный съ ребяческимъ чистосердечіемъ и съ непоколебимостію воли, которая крѣпко властвуетъ рулемъ ума, то есть правилами, разъ признанными за вѣрныя—вотъ въ немногихъ словахъ характеръ Радовица.

Часто мелкія, случайныя обстоятельства, если только можно допустить дѣйствіе случая въ правительствѣ Божіемъ, имѣютъ роковое вліяніе на цѣлую жизнь нашу. Опираясь на этомъ, я утверждаю, что простая бочка много участвовала въ умственномъ образованіи Радовица. Въ первые годы его ребячества не весьма прилежно занимались его классическимъ ученіемъ: мальчикъ былъ оставленъ самому себѣ. Вмѣсто того, чтобы играть и проказничать съ своими сверстниками, онъ любилъ сидѣть за книжкою. Случай помогъ ему сдѣлать важное открытіе. Въ подвалѣ дома, въ которомъ жили его родители, отыскалъ онъ бочку; она была полна книгъ, набросанныхъ въ нее *безъ всякаго порядка*. Вскрывъ бочку, которую съ этой минуты ребенокъ призналъ своимъ законнымъ призомъ, онъ схватилъ первую попавшуюся ему книгу и съ жадностію прочиталъ ее; за прочтеніемъ книги послѣдовало новое посѣщеніе бочки; взята опять первая, ощупанная рукою, книга, совсѣмъ другаго содержанія, нежели прежняя, и она прочтена такъ же, какъ та—жадно и скоро. Такимъ образомъ чтеніе, начавшееся съ верху бочки, дошло до дна ея. Можно себѣ представить, какимъ хаосомъ разнообразныхъ предметовъ наполнилась голова ребенка, котораго память все схватывала и ничего не теряла. Когда открылось дно бочки, прекратились и всѣ на нее нашествія хищнаго читателя; но съ этой минуты началась главная его дѣятельность. Безпорядочное пріобрѣтеніе извнѣ уступило мѣсто внутреннему, умственному созданію цѣлаго изъ разнородныхъ, въ огромный хаосъ накопившихся частей. Какую врожденную силу долженъ былъ имѣть этотъ свѣжій, молодой умъ для произведенія такого созданія! И конечно никакое методическое ученіе не укрѣпило бы такъ этого ума, какъ эта гимнастика мысли, приведшая въ движеніе всѣ его духовные мускулы. Роковая бочка отзывается и теперь во всѣхъ умственныхъ дѣйствіяхъ Радовица: это быстрое обхватываніе однимъ взглядомъ множества предметовъ, это всегдашнее соприсутствіе при всякой новой операціи ума всѣхъ матеріаловъ, въ разное время собранныхъ и сохраняемыхъ памятью, это вѣрное, легкое, какъ будто инстинктивное, угадываніе того, что необходимо, и умѣнье отбрасывать все непужное, этотъ лаконизмъ мысли и ея совпаденіе съ выражающимъ ее словомъ, эта пластическая стройность и плотная сжатость частей въ одно живое, легко объемлемое цѣлое, которое тогда является чистою истиною безъ всякой лигатуры—вотъ что мы находимъ теперь и въ дѣйствіяхъ ума и въ краснорѣчіи Радовица. Можетъ быть, все это вышло изъ роковой, взглянувшей въ подвалъ бочки. Если

бы книги, складенныя въ ней какъ ни попало, были въ порядкѣ разстановлены на полкахъ, онѣ были бы и прочтены въ порядкѣ, и умъ читателя не имѣлъ бы нужды повторять работы древнихъ гигантовъ, которые по горамъ, ими набросаннымъ въ одну груду, почти добрались до неба и до Зевса. Партизанскими набѣгами на бочку Радовицъ былъ хорошо приготовленъ къ регулярной войнѣ подъ знаменами политехнической школы, въ которую помѣщенъ былъ какъ подданный короля вестфальскаго. Какое широкое и глубокое развитіе должна была произвести математика, схваченная во всѣхъ ея отрасляхъ, на умъ, такъ самобытно и свободно возмужавшій и вдругъ подчинившій свою независимую дѣятельность строгой дисциплинѣ наукъ математическихъ! Когда изъ политехнической школы, въ которой выдержалъ блистательный экзаменъ, Радовицъ, произведенный въ офицеры артиллеріи, въ 1812 году поступилъ въ армію Вестфальскаго королевства, ему еще не было шестнадцати лѣтъ. Изъ рукъ Наполеона получилъ онъ крестъ почетнаго легіона. Въ эту эпоху замѣчательна не храбрость пятнадцатилѣтняго юноши (котораго умѣлъ замѣтить зоркій взглядъ Наполеона), а то, что для него и война и поле сраженія были, такъ сказать, продолженіемъ уроковъ политехнической школы; приложеніемъ математической теоріи къ практикѣ занимался онъ такъ же внимательно, какъ выстрѣлами пушекъ вверенной ему батареи; преслѣдуя глазами прыгающее по полю сраженія ядро, онъ изъяснялъ его убійственными скачками законы рикошета.

Возвращаюсь къ хронологическому порядку моего разсказа. По заключеніи мѣнскаго мира, 18-ти-лѣтній воинъ, который остался вѣренъ своему знамени *за* и *противъ* Наполеона, былъ сдѣланъ учителемъ высшаго класса математическихъ и военныхъ наукъ въ Кассельѣ. Этотъ періодъ его жизни, съ 1815 по 1823 годъ, былъ, можетъ быть, счастливѣйшимъ ея временемъ: онъ былъ періодомъ уединеннаго, могучаго, дѣятельнаго самосозданія, это была весна души, души высокой, пламенной, нѣжной, преисполненной сильнаго генія, открытой всему, что на землѣ прекрасно, жаждущей истины, жаждущей Бога. Что можно сравнить съ прелестію такой жизненной весны, въ которой подъ небомъ непорочной молодости, какъ подъ свѣтлымъ небомъ Италіи, разомъ расцвѣтаютъ всѣ благоуханные цвѣты жизни—цвѣты вѣры, цвѣты науки, цвѣты поэзіи, и съ ними всѣ упованія, чарующія нашу душу въ первые земные наши годы? Не могу безъ благоговѣнія думать объ этомъ творческомъ уединеніи юноши, который, въ это же время, лишенный всякой фортуны (ибо онъ отказался отъ наслѣдства отца своего, для уплаты оставшихся послѣ него долговъ), сдѣлался покровителемъ своей, нѣжно имъ любимой и достойной любви его, матери, дѣлилъ съ нею свое небогатое достояніе (жалованье имъ получаемое по званію учителя математики), а все остальное время посвящалъ наукѣ, но наукѣ въ обширномъ и высокомъ смыслѣ, то есть не одному скопленію знаній, которыя обогащаютъ нашъ умъ, дѣлаютъ его властителемъ природы и, доставляя живѣйшія наслажденія, даютъ намъ способъ служить человѣчеству въ земномъ, общественномъ порядкѣ, но такой наукѣ, которая все понимаемое нами на землѣ соединяетъ въ одинъ яркій фокусъ, въ Бога, въ Бога живаго, не дряхлымъ умомъ сотвореннаго, а самодающагося душѣ таинствомъ откровенія. Радовицъ, преданный до этой эпохи изученію математики, гдѣ все вполнѣ удовлетворяетъ мысли, гдѣ все есть чистая, неопровержимая очевидность, не былъ ни утверждающій, ни отрицающій; математика, [illegible] теоретически изучаемая, потомъ [illegible] гаемая къ дѣлу военному на [illegible] не давала въ душѣ его мѣста ни [illegible] безвѣрію. Но когда съ поля [illegible] практической жизни, еще [illegible] молодости, онъ вступилъ [illegible]

уединенія и углубился въ самого себя, когда природа и ея законы, человѣкъ и исторія человѣческаго общества, правовѣдѣніе, языки древніе, восточные и новые, поэзія, музыка, искусство и наконецъ умозрительная философія, которая должна соединять всѣ части зданія въ одинъ гармоническій составъ, сдѣлались предметомъ его изысканій, тогда почувствовала эта глубокая душа, что всѣ эти знанія, сколь бы ни былъ обширенъ ихъ объемъ, сколь бы ни была многообразна изъ нихъ извлекаемая практическая польза, не имѣютъ никакой самобытности, никакого смысла безъ откровеннаго Бога; что до тѣхъ поръ они сводъ безъ ключа, пока не скрѣпило ихъ христіанство, довершающее дѣло человѣческаго генія непосредственнымъ даромъ Божіимъ, вѣрою, которая всю систему знаній обращаетъ въ нѣчто живое (какъ огонь, безъ котораго свѣча, назначенная для освѣщенія, не имѣетъ сама по себѣ никакой самобытности), которая изъясняетъ неизъяснимое, согласуетъ противорѣчія и придаетъ земному знанію, исчезающему для насъ вмѣстѣ съ нашею земною жизнію, духовную неумираемость, то есть сливаетъ все то, что мы здѣсь постигли умомъ своимъ, все, что мыслію чувствовали и испытали, въ одну идею живаго. Радовицъ, котораго первое отрочество колебалось между протестантизмомъ и католицизмомъ, въ это время сдѣлался строгимъ католикомъ. Глубокое изученіе теологіи привело его къ вѣрѣ, а результатомъ всего этого, какъ основное практическое правило жизни, сдѣлалось вышеприведенное мною евангельское слово: *ищите прежде царствія Божія и правды его и все остальное приложится вамъ;* это правило проникло всѣ его мысли и всѣ его дѣйствія. Тѣ, которымъ его жизнь извѣстна вблизи, знаютъ это; тѣ, которые одной съ нимъ вѣры (католики и протестанты), понимаютъ это; напротивъ, тѣ, которые сами вѣры не имѣютъ, не только не вѣруютъ *его вѣрѣ, но именуютъ* ее лицемѣрствомъ, почитая въ своемъ высокомѣріи безсмысліцею все, чего сами не смыслятъ, и невозможностію все, что отрицаютъ, и Радовицъ въ глазахъ ихъ есть просто іезуитъ, ультрамонтанъ, таящій въ душѣ своей глубокіе замыслы. Какіе? До сихъ поръ никому изъ его порицателей не удалось придумать ничего вѣроятнаго въ отвѣтъ на этотъ вопросъ. Въ наше время называть іезуитомъ того, кто не принадлежитъ къ ордену іезуитовъ, есть совершенная безсмысліца. Что же касается настоящихъ іезуитовъ, то они герои нашего вѣка; они дерзко передъ его нетерпимостію носятъ на себѣ ненавистный свой титулъ и строго исполняютъ всѣ постановленія своего ордена. Для чего? Какую побѣду и надъ кѣмъ можетъ одержать эта отставная милиція папы? Какія могутъ быть ихъ надежды теперь? Они просто вѣрны своему отверженному обществу и терпятъ гоненіе за эту вѣрность. Но ихъ правила, или справедливѣе сказать ненавистное злоупотребленіе ихъ правилъ, которымъ руководствовался въ прежнее время и навлекъ на себя всеобщую ненависть ихъ орденъ, это злоупотребленіе ихъ правилъ, безъ ихъ титула, присвоено ихъ бѣшеными порицателями, которые, вступивъ въ орденъ анархіи, признаютъ всякое средство для достиженія цѣли своей позволительнымъ, проповѣдуютъ цареубійство, мятежъ, грабительство, кровопролитіе, и употребляютъ явно и тайно всѣ способы, чтобы всеобщимъ безвѣріемъ и развратомъ упрочить себѣ такое владычество надъ міромъ, о которомъ никакой изъ самыхъ закоренѣлыхъ іезуитовъ не позволялъ себѣ и грезить.—Кто-то, желая оскорбить Радовица, назвалъ его воинственнымъ монахомъ (и это было торжественно повторено всею шайкою хулителей); но въ этомъ титулѣ безъ намѣренія произнесена была похвала, а не порицаніе. Воинственный монахъ—слѣдовательно отшельникъ отъ свѣта, живущій посреди свѣта и воюющій съ свѣтомъ, отказавшійся отъ всѣхъ тѣхъ наслажденій

чувственныхъ и страстно искомыхъ благъ, въ которыхъ по горло утопаютъ всѣ не монахи, и служащій вѣрою и правдою Тому, Кто, посылая учениковъ своихъ благовѣстить о Его пришествіи, сказалъ имъ: *вы не отъ міра и міръ возненавидитъ васъ*. Такимъ монахомъ вышелъ Радовицъ изъ той келіи, въ которой онъ, добровольный затворникъ, провелъ десять лѣтъ юношеской жизни въ приготовленіи къ той войнѣ, о которой намекаетъ въ данномъ ему титулѣ воинственнаго монаха его добросовѣстный порицатель, противъ желанія похваливший его своею хулою. Въ эти святые дни чистѣйшей молодости, въ которые умъ его, скопивъ необъятныя знанія, привелъ ихъ къ одному общему знаменателю вѣры, онъ не выходилъ изъ очарованнаго круга внутренней жизни [онъ заглядывалъ въ него мимоходомъ] посвящая досуги свои нѣжнѣйшимъ заботамъ о милой матери и тѣсному кругу друзей, между которыми одинъ, избранный сердцемъ, сдѣлался товарищемъ души его на всю жизнь. Оба товарища одинакими глазами смотрѣли на жизнь и свѣтъ, для обоихъ былъ одинъ и тотъ же идеалъ; разница между ими была та, что одинъ, богатый знаніями, былъ наставникомъ другому, который съ своей стороны имѣлъ живую воспріимчивость сердца и обращалъ въ собственность дары, истекавшіе изъ души друга. Говорю о Рейтернѣ. Замѣчательно то, что въ сраженіи подъ Лейпцигомъ они находились въ противныхъ фрунтахъ; Радовицъ командовалъ артиллерійскою батареею, у Рейтерна оторвало ядромъ правую руку. Кто знаетъ? Можетъ быть, это ядро вылетѣло изъ той пушки, которой Радовицъ прокричалъ свое: *пали!* вѣрно только то, что этотъ роковой выстрѣлъ, по сцѣпленію обстоятельствъ, свелъ на одну дорогу друзей и былъ для нихъ источникомъ великаго благословенія. Обращаясь къ воинственному монаху, скажу, что первое сраженіе его въ этой монашеской войнѣ была побѣда, которой лаврами (какъ то и принадлежитъ къ характеру подобной войны) была утрата его мѣста и вмѣстѣ съ нимъ всѣхъ способовъ существованія. Радовицъ, держа сторону угнетенной слабости противъ угнетающей власти, былъ выгнанъ изъ Касселя и выдержалъ нѣсколько мѣсяцевъ заточенія въ Цигенхайнѣ. Наконецъ курфирстъ, одумавшись, возвратилъ ему свободу и, вычеркнувъ его изъ своей службы, далъ ему пенсіонъ съ оригинальнымъ условіемъ, чтобы онъ этимъ пенсіономъ пользовался внѣ границъ Гессенъ-Касселя. Радовицъ, отвѣчавъ, что онъ, не заслуживъ наказанія, не почитаетъ приличнымъ принять такого рода награду, отказался отъ пенсіона и отправился въ свое изгнаніе, не имѣя никакого достатка и никакой вѣрной цѣли передъ глазами, съ однимъ лучшимъ своимъ богатствомъ—съ своею матерью, въ которой былъ олицетворенъ передъ нимъ завѣтъ Божій, выраженный въ его пятой заповѣди. На дорогѣ изгнанія Радовицъ отдохнулъ въ гостинницѣ, отведенной ему дружбою; потомъ открылась для него болѣе широкая дорога дѣятельности. Упомяну здѣсь объ одномъ обстоятельствѣ, означающемъ и силу его воли и трезвость его ума, надъ которымъ никогда не властвовало обольщеніе минуты. Ему надлежало выбрать между второстепеннымъ мѣстомъ субальтернъ-офицера въ прусской арміи и обязанностію быть главнымъ воспитателемъ принца при такомъ дворѣ, гдѣ, исправляя должность, удовлетворительную для ума и сердца, онъ нашелъ бы самый привлекательный и образованный кругъ общества. Онъ выбралъ первое, предпочитая желѣзную подчиненность военной дисциплины пріятной независимости педагога, которая казалась сибаритствомъ его стоической душѣ, менѣе дорожившей трудомъ, крѣпительнымъ для ея силы. Радовицъ былъ призванъ въ Берлинъ въ 1823 году. Здѣсь неутомимая дѣятельность ума его приняла новое направленіе: къ математикѣ и къ военной наукѣ присоединилась политика; хотя онъ еще

и не былъ вызванъ на ея дорогу, по введенный въ общество, составлявшее кругъ геніальнаго кронъ-принца, онъ вошелъ въ сношеніе со многими знаменитѣйшими людьми нашего времени, государственными, учеными и художниками; горизонтъ его практической жизни расширился. Но главнымъ его пріобрѣтеніемъ въ эту эпоху была связь съ самимъ кронъ-принцемъ, котораго душа, преисполненная стремленіемъ ко всему высокому, нашла въ душѣ Радовица отвѣтъ на всѣ свои жизненные вопросы. Эта дружба, со стороны кронъ-принца непритворная, со стороны Радовица безкорыстная, преданная и самоотверженная, сохранилась неизмѣнно и донынѣ. Она имѣла великое вліяніе на всю послѣдующую жизнь Радовица; она сдѣлалась, такъ сказать, осью ея обращенія, особенно съ той минуты, когда на тронѣ Пруссіи мѣсто благодушнаго Фридриха III-го заступилъ Фридрихъ-Вильгельмъ IV, котораго душа такъ искренно, такъ безкорыстно, съ такою вѣрою въ Бога желала и желаетъ блага общаго и частнаго, котораго просвѣщенный геній такъ ясно понимаетъ, въ чемъ это благо состоитъ [по которому Богъ, строго испытующій своихъ избранныхъ, далъ вытерпѣть величайшее изъ земныхъ бѣдствій, допущеніе отъ нерѣшительности въ роковую минуту сокрушиться всѣмъ идеаламъ, озарявшимъ его чистую жизнь]. Фридрихъ-Вильгельмъ IV пріобрѣлъ въ Радовицѣ сокровище, немногимъ данное на тронѣ: друга по сердцу, друга, который въ своемъ государѣ любилъ и любитъ безъ всякихъ своекорыстныхъ видовъ его самого [равно нѣжно, какъ въ свѣтлые дни вдохновительныхъ упованій, говорившихъ о созданіи благоденствія отечеству и прочнаго міра народамъ, когда такъ сладостно было находить въ душѣ своего монарха такое чистое стремленіе и ему содѣйствовать, такъ и въ темные дни мятежа всеобщаго, когда остается одно: отбросивъ всякую надежду на успѣхъ, идти путемъ *правды, рука въ руку* съ государемъ своимъ, и съ нимъ вмѣстѣ устоять или съ нимъ вмѣстѣ погибнуть]. Я не пишу біографіи Радовица, а только его портретъ, и потому не считаю нужнымъ говорить о томъ, какъ изъ Берлина онъ попалъ во Франкфуртъ на Майнѣ, гдѣ ему—тогда только маіору въ главномъ штабѣ—дано было важное мѣсто, которое передъ тѣмъ занималъ генералъ-отъ-инфантеріи. Не буду повторять того, что сказано въ печатной біографіи о публичной жизни Радовица въ промежуткѣ отъ 1840 года до настоящаго времени. Дополненіемъ къ тому можетъ служить и брошюра самого Радовица, изданная въ 1848 году; она бросаетъ блистательный свѣтъ, какъ на дѣйствія короля прусскаго въ послѣдніе предшествовавшіе революціи годы, такъ и на его теперешнія намѣренія относительно устройства Германіи. Буду говорить только объ одномъ домашнемъ Радовицѣ. Послѣ многихъ напрасныхъ попытокъ осуществить благія идеи свои, которыхъ исполненіе произвело бы благодѣтельный переворотъ въ Германіи и, вѣроятно, спасло бы ее отъ разрушительнаго потрясенія, Радовицъ жилъ тихо въ Карлсру, занимая мѣсто министра при баденскомъ дворѣ и сохраняя званіе уполномоченнаго по дѣламъ военнымъ при Союзѣ Германскомъ. Его здоровье было сильно потрясено. Мудрецъ, именовавшій его воинственнымъ монахомъ, конечно, назвалъ бы эту болѣзнь заваломъ неудовлетвореннаго честолюбія. Но тѣмъ, которые знаютъ и уважаютъ истину, коротко извѣстно, что Радовицъ того честолюбія, которое можетъ производить подобные въ душѣ завалы, вовсе не имѣетъ. И они, съ своей стороны, готовы назвать его въ смыслѣ честолюбія воинственнымъ монахомъ но честолюбіе ихъ монаха будетъ не иное что, какъ исключительная любовь къ чести Божіей, которая одна есть путеводительный компасъ всѣхъ дѣйствій Радовица. Нѣтъ! при всемъ благородномъ желаніи сохранить во всей чистотѣ свое доброе имя, дѣйствовать широко и бла-

готворно на свое время, оставить по себѣ примѣръ добра своимъ дѣтямъ и добрую память потомству, Радовицъ чуждъ того честолюбія, которое тревожитъ и мучитъ душу исканіемъ власти, первенства, рукоплесканій славы, блеска фортуны. Его честолюбіе есть стремленіе смиренно и безукоризненно приносить ежедневно отчетъ свой передъ судящаго его душу Бога, дабы не затрепетать передъ тою минутою, которая нѣкогда потребуетъ послѣдняго отчета; это честолюбіе найдете въ немъ во всякое время,—такое честолюбіе исключаетъ изъ души всякое другое. Такъ! болѣзнь его могла происходить отъ многихъ горькихъ неудачъ, но не отъ неудачъ своекорыстія, — отъ неудачъ того, что умъ призналъ верховною правдою, чего сердце желало, какъ блага міру, и чему враждебно противоборствовала демоническая сила нашего времени. Утомленный такого рода неудачами, Радовицъ не желалъ ничего иного, какъ совершеннаго отстраненія отъ дѣлъ государственныхъ; онъ желалъ быть забытымъ въ томъ уголкѣ Германіи, гдѣ имѣлъ самый смиренный кругъ дѣйствія, но гдѣ съ полною свободой, не смотря на страданія тѣлесныя, предавался наукѣ и размышленію. Въ эти дни родилась его книга, обратившая на себя вниманіе всей Германіи (*Gespraeche aus des Gegenwart über Staat und Kirche. Erfurt und Leipzig. 1847*). Она была написана въ нѣсколько дней, въ то время, когда авторъ ея находился больной въ Вильдбадѣ, гдѣ пользовался теплыми водами. Въ ней ясно и полно выражены не только мысли самого Радовица, но и всѣ имъ противоположныя мнѣнія о важнѣйшихъ предметахъ государства и церкви. Чтеніе этой книги было глубокимъ наслажденіемъ для мысли въ то время, когда она появилась; но теперь нельзя ее перечитывать безъ изумленія и нѣкотораго страха: изъ нее раздается какъ будто эхо пророческаго, никѣмъ не услышаннаго, событіями оправданнаго голоса; она появилась въ свѣтъ какъ гигантская тѣнь, предвозвѣщавшая бѣду подходящую, но по которой никто не предугадалъ близости страшилища; и теперь, когда страшилище прошло, оставивъ на пути своемъ разрушеніе, та же тѣнь его тянется вслѣдъ за нимъ, и на теперешнюю глядятъ съ тѣмъ же невниманіемъ, съ какимъ глядѣли на прежнюю. Литературное достоинство этой книги стоитъ наравнѣ съ превосходнымъ ея содержаніемъ. И здѣсь отзывается роковая бочка. Какое безчисленное множество предметовъ сжато безъ всякаго порядка въ тѣсную раму этихъ вымышленныхъ разговоровъ, имѣющихъ всю легкость и всю небрежную неприготовленность разговоровъ дѣйствительныхъ! Во всѣхъ философическихъ разсужденіяхъ, имѣющихъ форму разговоровъ, драматическая часть занимаетъ мѣсто подчиненное; всѣ лица говорятъ только для того, чтобы одному главному лицу дать средство высказать свои мысли. Въ книгѣ Радовица драматическое, не будучи главнымъ (ибо въ такомъ случаѣ оно повредило бы дѣйствію цѣлаго и форма заступила бы мѣсто содержанія), имѣетъ всю живость драмы; каждое лицо отличается своею собственною физіогномією, говоритъ за себя и употребляетъ всю силу діалектики, чтобы побѣдить и убѣдить своего соперника. И какъ то бываетъ въ дѣйствительныхъ спорахъ, каждый изъ выведенныхъ на сцену актеровъ остается при своемъ убѣжденіи, а читателю должно самому рѣшить, на чьей сторонѣ правда: для него остается очевиднымъ только то, что представитель самого автора, слѣдственно и того, что самъ авторъ почитаетъ истиннымъ, не есть радикалъ-атеистъ Детлевъ, ни бюрократъ Эдеръ, ни раціоналистъ-адвокатъ представительнаго правленія Крузіусъ, ни вѣрующій протестантъ-абсолютистъ Аршбургъ (всѣ впрочемъ честные люди),—а строгій католикъ Вальдгеймъ, защитникъ чистой, на Божіей правдѣ основанной монархіи. Конечно, весьма трудно извлечь корень изъ этого философическаго квадрата; но авторъ писалъ не для дѣтей, а

для читателей, знающихъ ариѳметику, и онъ хотѣлъ дать имъ случай повторить легкимъ образомъ ту трудную операцію, которую въ своемъ ребячествѣ сдѣлалъ надъ бочкою.

Въ это время судьба Божія наслала на него великое испытаніе, которое онъ перенесъ какъ христіанинъ, нѣжный сердцемъ и твердый духомъ: онъ потерялъ единственную дочь пятнадцати лѣтъ. Она была уже въ полномъ развитіи, была прекрасна, щедро одарена природою и готовилась быть прелестью свѣта,—вдругъ у самаго входа въ этотъ свѣтъ остановила ее смерть; но, быстро уводя ее за собою, она дала ей свѣтлымъ окомъ непорочности взглянуть и на покидаемую жизнь, и на приближающуюся вѣчность. Въ немногія мгновенія отходящая, молодая душа ея, вдругъ просвѣщенная, получила все, что пріобрѣтается однимъ долгимъ здѣсь пребываніемъ и обыкновенно цѣпою тяжелыхъ испытаній; она, какъ говоритъ Боссюэтъ, привѣтливо приняла смерть. И какъ ни глубоко пронзила ея утрата сердце отца и матери, но она дала имъ увидѣть глазами то, что всего выше и всего желаннѣе: увидѣть таинство перехода души въ жизнь вѣчную во всей ея чистотѣ первобытной, во всей радости примиренія съ Богомъ, таинство, совершившееся надъ ихъ дочерью, которой послѣднія минуты останутся навсегда неисчерпаемымъ сокровищемъ сладчайшаго воспоминанія. Земныя бѣдствія получаютъ значеніе свое по мѣрѣ той ясности, къ какой они являютъ намъ посылающаго ихъ Бога. Въ этой милой, чистой, дѣвственной кончинѣ Его присутствіе ознаменовалось самымъ умилительнымъ образомъ; оно проникло душу родителей, и болѣзнь печали обратилась для нихъ въ глубокое ощущеніе Господней благодати. Чтобы означить одною чертою и твердость и нѣжность души Радовица, скажу, что во все продолженіе роковой болѣзни онъ ежедневно писалъ къ семейству друзей своихъ, которые безпокоились объ его дочери, и наконецъ *почти въ самый часъ* ея кончины самъ въ немногихъ, трогательныхъ словахъ описалъ имъ ея послѣднія минуты. На гробѣ ея стоитъ: Ich werde loben den Herrn in dem Lande der Lebendigen.

Въ этомъ надгробіи есть что-то удивительное и таинственное. Оно не только утѣшно для вѣрующаго сердца, но и сильно говоритъ воображенію. Кто видѣлъ Марію Радовицъ во всемъ цвѣтѣ красоты и молодости, и читаетъ на тихомъ гробѣ ея или про себя вспоминаетъ эти святыя слова, тому какъ будто видится эта душа, пролетающая землю живыхъ, и какъ будто слышится ея знакомый, славящій Бога Всевышняго голосъ.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1847 года (черезъ полтора года послѣ смерти дочери) начинается тревожная, политическая дѣятельность Радовица. Она описана подробно Френдорфомъ. Этотъ періодъ его жизни представляетъ неразрывную цѣпь испытаній тяжелыхъ, но выносимыхъ съ твердостью непоколебимою. Сначала безполезная поѣздка въ Вѣну для рѣшительнаго побужденія австрійскаго правительства къ преобразованію Германскаго Союза — исполненіе этого плана остановлено швейцарскими смутами; потомъ поѣздка въ Парижъ для приведенія въ порядокъ дѣлъ швейцарскихъ — швейцарскія дѣла исчезаютъ передъ февральскою революціею; Пруссія спѣшитъ вызвать Австрію на немедленное приступленіе къ преобразованію Германіи и съ ея полномочіемъ снова посланъ Радовицъ въ Вѣну — поздно: и Вѣна и вслѣдъ за нею Берлинъ падаютъ во власть анархіи. Немедленно по возвращеніи въ Берлинъ Радовицъ взялъ чистую отставку, какъ генералъ и какъ дипломатъ, и покинулъ столицу Пруссіи, гдѣ свирѣпствовалъ мятежъ во всемъ своемъ отвратительномъ безчинствѣ, не имѣвъ прискорбной отрады и взглянуть на своего государя [увлеченнаго силою обстоятельствъ на иной путь, на которомъ его вѣрный слуга не могъ уже за нимъ слѣдовать. Онъ долженъ былъ его покинуть окруженнаго такою бурею, которой приближеніе оба предвидѣли, ко-

торую оба усиливались отвратить и которая своимъ порывомъ бросила короля именно въ тотъ самый потокъ, отъ разливныхъ волнъ котораго онъ такъ желалъ защитить свое отечество]. Въ эту минуту, казалось, вдругъ пропала подъ ногами Радовица та дорога, по которой до того времени указывало ему идти Провидѣніе. Имѣя только то честолюбіе, о которомъ я говорилъ выше, и совершенно чуждый своекорыстію, онъ не пожалѣлъ о внезапной утратѣ всего, что называется въ свѣтѣ фортуною (ошибочный переводъ этого слова есть счастіе); полный тяжкой скорби о своемъ государѣ и о бѣдствіяхъ, постигшихъ отечество, но съ тишиною сердца, которое не шептало противъ него никакого упрека, Радовицъ покинулъ сцену своей публичной дѣятельности; онъ удалился въ Мекленбургъ, гдѣ нашелъ убѣжище въ семействѣ милыхъ родныхъ. Съ ноября 1847 года, слѣдовательно почти ровно шесть мѣсяцевъ, былъ онъ въ разлукѣ съ своимъ семействомъ; его жена и четверо сыновей находились въ Карлсру. Поселившись въ Гивицѣ, въ домѣ своего шурина графа Фосса, онъ написалъ къ женѣ, чтобы она покинула Баденъ и переселилась съ дѣтьми также въ Гивицъ. Здѣсь, отдохнувъ подъ гостепріимною кровлею дружбы и разобравъ то немногое, что послѣ кораблекрушенія было ему выброшено волнами на берегъ, онъ хотѣлъ на досугѣ устроить планъ своей жизни. Итогъ оставшагося ему достоянія былъ весьма скуденъ: небольшая сумма, скопленная строгою экономіею во всѣ годы службы, и пенсіонъ генеральскій, который онъ имѣлъ полное право получить немедленно, но который былъ опредѣленъ ему нѣсколькими мѣсяцами позже, такъ что въ началѣ (какъ депутатъ національнаго собранія въ Франкфуртѣ) онъ не имѣлъ никакого инаго дохода, кромѣ дѣтъ своихъ, то есть, если не ошибаюсь, трехъ или пяти гульденовъ въ день. Этимъ пенсіономъ надлежало удовлетворять всѣмъ потребностямъ жизни и давать образованіе четыремъ сыновьямъ, которые всѣ уже готовы были къ началію классическаго ученія. Но Радовицъ не даромъ учился математикѣ въ политехнической школѣ; какъ прежде онъ прилагалъ теорію рикошета къ прыгающимъ на полѣ сраженія ядрамъ, такъ и здѣсь, на полѣ инаго сраженія, онъ съумѣлъ сладить самымъ удовлетворительнымъ образомъ свой расходъ съ своимъ приходомъ, включивъ въ бюджетъ самое строгое ограниченіе жизни, которое, впрочемъ, ни для него, ни для героическаго характера его жены ничего затруднительнаго не представляло. И, вѣроятно, въ эти дни испытанія не разъ и онъ и она подумали съ умиленіемъ о той спокойной могилѣ, въ которой скрылась отъ жизни ихъ милая дочь, на которой въ то время свѣжо распускала весна свои цвѣты, тогда какъ кругомъ свирѣпствовалъ мятежъ, за которою было такъ небесно свѣтло, тогда какъ земное будущее часъ отъ часу становилось темнѣе. Эти немногіе дни, проведенные въ Гивицѣ, были для усталой души Радовица крѣпительнымъ отдыхомъ. Почитая конченымъ тотъ путь, по которому онъ до тѣхъ поръ шелъ, повинуясь указанію Промысла, онъ сдѣлалъ свои предварительные разсчеты для новой открывшейся ему дороги; эта дорога должна была его вести прямо туда, гдѣ все покоитъ, довольствуетъ и возвеличиваетъ душу, въ святилище науки, недоступное волненіямъ свѣта. Утѣшенный свиданіемъ съ семействомъ, которое, покинувъ Карлсру, соединилось съ нимъ въ Гивицѣ, онъ весело отдохнулъ на перепутьѣ къ этому желанному убѣжищу, гдѣ надѣялся наконецъ предаться вполнѣ духовной жизни, разставшись съ тревогами свѣта. Планъ его состоялъ въ томъ, чтобы поселиться въ одномъ изъ провинціальныхъ городовъ Пруссіи, гдѣ было бы жить дешево, гдѣ находилась бы хорошая гимназія для учебнаго образованія дѣтей и гдѣ былъ бы климатъ здоровый: онъ думалъ выбрать Вецларъ. Между тѣмъ, дабы пріятно раздѣлить свой досугъ съ окру-

жающими его родными, онъ вызвался преподавать имъ лекціи нѣмецкой литературы среднихъ вѣковъ. Предложеніе принято было съ радостію, и лекціи начались объясненіемъ народной нѣмецкой Иліады, *Пѣсни Нибелунговъ*. Это обстоятельство само по себѣ не заслуживаетъ особеннаго вниманія; но если вспомнить, кто и послѣ какихъ событій съ такою сладостію переходилъ изъ міра тревогъ, гдѣ на самомъ себѣ испыталъ разрушительность благъ житейскихъ, въ безмятежный міръ поэзіи, и тамъ все забывалъ, раздѣляя прелесть этой поэзіи съ сердцами, понимающими его сердце, — то невольно почувствуешь благоговѣніе передъ младенческою свѣтлостію этой души, которая, глубоко вѣдая, какая буря окружаетъ ее, также оставалась тиха при своемъ знаніи, какъ младенецъ, безстрашный отъ своего непорочнаго незнанія. Но этотъ поэтическій отдыхъ былъ непродолжителенъ. Дня черезъ три по открытіи лекцій (при которыхъ присутствовали только жена и дѣти профессора, его теща, графиня Фоссъ, и ея сынъ съ своею женою), посреди изъясненій безыменнаго Гомера Германіи, подали Радовицу письмо; онъ прочиталъ его и молча подалъ его женѣ, которая по прочтеніи письма, не задумавшись, сказала одно слово: *поѣзжай*. Письмо было отъ незнакомаго, который увѣдомлялъ Радовица, что онъ выбранъ отъ вестфальскихъ округовъ (арнсбургскаго и вестфальскаго) депутатомъ въ Франкфуртскій парламентъ. И уже въ тотъ же вечеръ Радовицъ былъ на дорогѣ въ Франкфуртъ. Это одна изъ тѣхъ героическихъ или богопослушныхъ минутъ человѣческой жизни, въ которыя совершается величайшее торжество души нашей: ея полное самоотверженіе передъ голосомъ долга, то есть въ смыслѣ Радовица и въ смыслѣ истины передъ волею вышнею. Для Радовица быть депутатомъ Франкфуртскаго парламента значило вступить въ бой со всѣми враждебными мнѣніями нашего времени, значило *броситься въ быстрый* потокъ, чтобы плыть противъ теченія и, сражаясь съ волнами, если не остановить на немъ корабль, сорванный имъ съ якоря и толкаемый на бурное стремя хищниками, уповающими обогатиться добычею отъ его разрушенія, то хотя помочь другимъ, его спасающимъ, удержать его у какого-нибудь берега и не дать ему умчаться въ открытое море. Онъ зналъ напередъ, что ему нельзя ожидать никакого успѣха, по крайней мѣрѣ того успѣха, который одинъ могъ быть для него желаннымъ, что ему надлежало вступить подъ деспотическое знамя партій и бороться съ тѣмъ всеобщимъ предубѣжденіемъ, которое въ отношеніи религіи величало его іезуитомъ, а въ политикѣ видѣло въ немъ грубаго абсолютиста и честолюбца, таящаго въ душѣ непроницаемые замыслы; онъ зналъ, что при появленіи его на сценѣ парламента крики вражды и клеветы противъ него сдѣлаются общимъ воплемъ — все это онъ зналъ, и пожертвовалъ этому призыву, разрушительному для его спокойствія, всѣми душевными благами, которыя начинали уже слетаться для него подъ кровлею построеннаго имъ воздушнаго замка въ мечтательномъ уголкѣ Вецлара.

Не буду говорить о парламентской дѣятельности Радовица въ Франкфуртѣ. Она изображена довольно подробно въ брошюрѣ Фрепедорфа. Я плохой судья въ политикѣ. Но въ политикѣ, которой слѣдуетъ Радовицъ, я лучше всѣхъ знаю, на какой оси она вертится. Эта ось есть воля Божія.

Приведу здѣсь одинъ случай, дабы яснѣе обозначить нравственный характеръ Радовица. Онъ оставилъ въ Гивицѣ все свое семейство. Черезъ нѣсколько времени по пріѣздѣ своемъ въ Франкфуртъ, онъ получилъ отъ жены письмо, въ которомъ она извѣщала его, что кругомъ ихъ бунтуютъ крестьяне, что они принуждены бѣжать изъ Гивица, въ слѣдствіе котораго уже свирѣпствуютъ мятежники. Въ это время я имѣлъ случай видѣть Радовица. Къ дѣламъ парламента, которыхъ ходъ и направленіе угнетали

его душу, вдругъ присоединилась такая страшная тревога: жена и дѣти окружены опасностію, а онъ отъ нихъ далеко и каждое письмо приноситъ извѣстія болѣе и болѣе тревожныя. Что же? Когда я, понимая эту пытку неизвѣстности (которая продолжалась каждые двадцать четыре часа въ промежуткахъ между двумя письмами), ему сказалъ: «что еще узнаешь ты завтра?»—онъ отвѣчалъ: *я узнаю самое для меня лучшее,* и онъ сказалъ это просто, какъ отвѣтъ необходимый на нѣчто ежедневное: *самое лучшее! Что бы ни случилось — все лучшее, ибо оно отъ Бога!* Признаюсь, мнѣ никогда не случалось слышать ничего, въ чемъ бы такъ выразилась вѣра въ Провидѣніе Божіе, обращенная въ постоянное, всегда въ душѣ присутственное чувство, въ ея всегдашнюю, глубокую мысль, разливающую свѣтъ и миръ на все житейское. Скоро пришли извѣстія успокоительныя и онъ продолжалъ безостановочно исполнять ближайшій долгъ свой.

На трибунѣ франкфуртскаго парламента явился Радовицъ, какъ ораторъ высшаго разряда. Многіе изъ писавшихъ о немъ утверждаютъ, что онъ предварительно сочиняетъ и пишетъ свои рѣчи. Это несправедливо. Всѣ онѣ были импровизированы. Само по себѣ разумѣется, что, готовясь взойти на трибуну, онъ составлялъ предварительно въ головѣ и, можетъ быть, записывалъ всю цѣпь своихъ предложеній; но живое слово, выражающее все въ связи, было всегда созданіемъ минуты. Его краснорѣчіе имѣетъ характеръ лапидарный: неразрывная цѣпь мыслей, для каждой мысли столько словъ, сколько нужно, ни болѣе, ни менѣе, и каждое слово точно, разительно, необходимо. Нѣтъ нигдѣ позыва на эффектъ; нѣтъ искусственнаго блеска выраженій, нѣтъ ораторскаго кокетства, повсюду господствуетъ ясность, которая даетъ слушателю легко обхватывать однимъ взглядомъ все цѣлое. Тайна этого краснорѣчія, какъ говоритъ самъ Радовицъ, заключается въ господствѣ воли надъ мыслію и словомъ, въ рѣшимости ничего не имѣть передъ глазами, кромѣ своей цѣли, и идти къ ней путемъ рѣчи, не обращая вниманія ни на что постороннее, ни на собственный успѣхъ, ни даже на вниманіе слушателей [впередъ самымъ короткимъ путемъ, дойти незамѣтно—вотъ все]. Приведу здѣсь то, что мнѣ случилось сказать въ письмѣ къ пріятелю о характерѣ этого чуднаго краснорѣчія. Я сравнилъ слогъ Радовица съ слогомъ тогдашнихъ современныхъ политиковъ: «Въ слогѣ человѣка весь человѣкъ—le style c'est l'homme, говоритъ Бюффонъ; это неоспоримо; передъ глазами моими лежатъ четыре печатныя статьи: одна—обозрѣніе 1848 года въ Новой Прусской Газетѣ (кто авторъ ея, мнѣ не извѣстно); рѣчь Бассермана о выборѣ германскаго императора, исповѣдь кандидата для выборовъ въ камеру депутатовъ Каница и рѣчь Радовица за Австрію. Всѣ эти статьи прочиталъ я съ живѣйшимъ участіемъ. Вѣрное выраженіе внѣшнимъ словомъ того, что внутри души есть истина, имѣетъ несказанную увлекательность; но оно зависитъ и пріобрѣтаетъ свои оттѣнки отъ личности выразителя. Примѣняя это къ четыремъ прочитаннымъ мною статьямъ, скажу, что истина Бассермана кажется выходящею изъ твердой души, которая, передавая ее другимъ, сама съ нею имъ не дается; отъ него принимаешь, но съ нимъ самимъ не имѣешь ничего общаго, и слово его, при всей своей убѣдительности, оставляетъ тебя въ покоѣ. Истина обозрителя, напротивъ, выходитъ изъ души горячей; ее принимаешь съ живымъ участіемъ, но и съ какою-то тревогою, которая происходитъ отъ примѣси чего-то страстнаго, чувственно-человѣческаго, къ тому, что по натурѣ своей есть чисто духовное; это сводитъ ее степенью ниже, хотя и не вредитъ ея дѣйствію. Истина Каница имѣетъ привлекательную прелесть отъ чистоты и прозрачности того языка, который ее выражаетъ, но она теряетъ

часть своего достоинства отъ какой-то легкой игривости и искусственнаго простодушія, которыя даютъ чувствовать, что выражающій ее столь же заботится о дѣйствіи своего краснорѣчія, какъ о самомъ его предметѣ. Съ Бассерманомъ не думаешь о человѣкѣ; съ обозрителемъ любишь человѣка, но тѣмъ самымъ, такъ сказать, становишь на одну съ нимъ доску его истину и не даешь ей принадлежащаго ей первенства; съ Каницемъ занимаешься болѣе самимъ человѣкомъ, который своею заботливостію объ эффектѣ уменьшаетъ простоту своей истины и вредитъ ея спокойному дѣйствію. Наконецъ истина Радовица. Присутствіе этой истины имѣетъ въ себѣ что-то сверхъестественное, что-то похожее на появленіе чистаго духа, гостя изъ вышняго порядка; эта простая, неукрашенная, непосредственно изъ души вылетающая истина увлекательнѣе для меня всякой поэзіи; сердце трепещетъ и слезы выступаютъ изъ глазъ, когда я слышу ея, какъ голосъ Эоловой арфы, глубокіе звуки; я не думаю о томъ, кто ее выражаетъ, но чувствую, что въ этой земной истинѣ присутствуетъ Тотъ, Кто одинъ ея источникъ. Я чувствую сліяніе съ нею того святаго, которое безъ словъ убѣждаетъ и одно человѣческому слову даетъ его силу. Не довольно одного дарованія быстро находить для своей истины живое, сильное, ясное или острое слово,—надобно имѣть въ нее вѣру, надобно себя забывать въ ней и приступать къ ея принятію и проповѣданію какъ къ таинству, очищающему и спасающему душу. Такова истина Радовица, таково ея на меня дѣйствіе, когда онъ ее выражаетъ перомъ и рѣчью». И въ парламентѣ франкфуртскомъ никого не слушали съ такимъ вниманіемъ, какъ его; не говорю съ такою довѣренностію, ибо въ эти дни всеобщей горячки, болѣе нежели когда-нибудь, видѣли іезуита въ христіанинѣ и строгомъ католикѣ, и абсолютиста въ проповѣдникѣ монаршей, *происходящей отъ Бога* власти. Его короткія, сильныя рѣчи произвели нѣкоторое частное добро: онѣ содѣйствовали къ отвращенію нѣкоторыхъ бѣдственныхъ постановленій: но это были капли масла, брошенныя въ волнующееся море. Обезумленный парламентъ былъ непобѣдимъ; онъ могъ только самъ, какъ двѣнадцатиглавый змѣй въ сказкѣ о Иванѣ Царевичѣ, растерзать себя собственными своими когтями. Такъ и случилось. Но еще прежде этой развязки, въ которой такъ ясно выразилось, хотя и никѣмъ не было признано, наказаніе свыше, Радовицъ уже призванъ былъ въ Берлинъ. Ему предложенъ былъ портфель министра иностранныхъ дѣлъ; онъ отказался принять его, но повинуясь волѣ своего вѣрно имъ любимаго государя, онъ согласился посвятить всю свою дѣятельность разрѣшенію трудной задачи единства Германіи, и вступилъ въ тѣсный союзъ съ героическимъ прусскимъ министерствомъ, которое такъ ярко блистаетъ именемъ графа Бранденбурга. Скажу здѣсь мимоходомъ: графъ Бранденбургъ въ моихъ глазахъ есть герой нашего времени; въ рѣшительную минуту, когда его отечество по крутому склону стремилось на дно бездны, онъ съ самоотверженностію римскаго Курція кинулся вслѣдъ за нимъ и удержалъ его на паденіи однимъ своимъ мужествомъ. Онъ сорвалъ съ революціи маску ея, и для всѣхъ сдѣлалось очевидно, что для одержанія побѣды надъ этимъ фантасмагорическимъ чудовищемъ нужно было только мужество. Какую будутъ имѣть развязку дѣйствія его министерства, этого нельзя предвидѣть; но имя графа Бранденбурга навсегда останется въ лѣтописяхъ Пруссіи символомъ любви къ отечеству и рыцарской вѣрности своему государю. Съ этимъ министерствомъ заодно дѣйствуетъ теперь Радовицъ, какъ коммисаръ правительства прусскаго въ Эрфуртскомъ парламентѣ, гдѣ идетъ дѣло о единствѣ Германіи. И здѣсь на вопросъ: что выйдетъ изъ Эрфуртскаго парламента? одинъ отвѣтъ: неизвѣстно. Оставляя предсказывать будущее

записнымъ пророкамъ политики, обращаю глаза на главнаго дѣйствователя, на Радовица. При этомъ взглядѣ двоякое чувство проникаетъ душу мою. Во-первыхъ чувство глубоко-меланхолическое, когда смотрю со вниманіемъ на его тревожную жизнь въ послѣдніе годы. По какому-то особенному опредѣленію судьбы, онъ во все это время призываемъ былъ къ дѣйствію только тогда, какъ благопріятная минута для побѣды уже была пропущена, когда оставалось только одно: угадать съ возможною вѣроятностію, какой выбрать путь, чтобы отвратить худшее. Таково было положеніе Радовица относительно къ дѣлу внутренняго образованія Пруссіи при восшествіи на престолъ Фридриха Вильгельма IV, то же самое относительно преобразованія Германіи, то же относительно къ швейцарскому вопросу. И ни въ чемъ не могло быть удачи. Радикализмъ одержалъ верхъ въ Швейцаріи; опытъ монархіи, не представительной, а монархіи штатовъ, не имѣлъ успѣха; реформу Германскаго Союза поглотила революція. То же и теперь: Радовицъ призванъ былъ въ совѣтъ короля въ ту минуту, когда разрывъ съ національнымъ собраніемъ совершился и никакой побѣды на этомъ пути ожидать уже было невозможно. Въ настоящую минуту онъ брошенъ въ потокъ, когда плотина его почти разрушена и когда нельзя предвидѣть, куда помчатся безпрестанно усиливающіяся волны. Ему никогда не приходилось выкраивать изъ цѣльной ткани, а только сшивать на живую нитку лохмотья. Обвиненіе въ неудачѣ падетъ на него — но будетъ ли оно справедливо? О, конечно, нѣтъ! И здѣсь представляется для всѣхъ, кто знаетъ Радовица, кто понимаетъ тайну его жизни, другая утѣшительная сторона предмета. Того мѣста, которое занимаетъ онъ теперь, Радовицъ не искалъ. Вецларскій уголокъ, съ своимъ очарованнымъ наукою покоемъ, увеселительно сіялъ передъ нимъ въ перспективѣ, какъ послѣдній пріютъ послѣ бури партій, въ которую такъ неожиданно бросила его покорность долгу; вдругъ, столь же неожиданно, та же покорность долгу перебросила его на другую сцену. Онъ покорился призванію короля своего; онъ принялъ роковую чашу, зная, какое горькое питье она въ себѣ заключаетъ, принялъ безъ всякаго ослѣпленія, безъ всякаго упованія на какую-нибудь выгоду или славу земную, даже безъ ожиданія успѣха. Когда обыкновенный честолюбецъ отважился схватить подобную чашу, онъ видитъ въ ней одно средство для исполненія своихъ замысловъ и гордо уповаетъ на свою силу и на удачу. Радовицъ, напротивъ, принялъ эту чашу только потому, что Всевышней руки, подающей ее, оттолкнуть нельзя; что всякой даръ этой руки надлежитъ принимать на колѣнахъ, не заботясь о томъ, какое будетъ послѣдствіе смиреннаго принятія, и что, разъ принявши поданную свыше чашу, надлежитъ пить до дна, то есть во что бы то ни стало творить то, что разумъ призналъ за истину, а сердце за правду. Я знаю, на дѣлѣ знаю, что относительно Радовица это такъ. Знаю болѣе: если бы это убѣжденіе въ истинѣ и правдѣ было перевѣшено хотя на волосъ другимъ, лучшимъ, то Радовицъ ни минуты не поколебался бы уступить этому лучшему и сталъ бы самому себѣ противодѣйствовать, прямодушно признавъ необходимость подчинить свое убѣжденіе другому, болѣе близкому къ истинѣ. Ваше чистое сердце, которое вѣритъ святому, легко приметъ свидѣтельство моего слова, равномѣрно и всякой, кто знаетъ Радовица, какъ я; изъ другихъ — многіе въ этомъ свидѣтельствѣ найдутъ одинъ романъ, и весьма многіе станутъ надъ нимъ ругательно смѣяться, или извлекутъ изъ него новый поводъ для оскорбленія и клеветы.

Въ 1848 году, въ бѣдственные дни марта, возвращаясь изъ Вѣны, гдѣ онъ былъ свидѣтелемъ быстраго сокрушенія древней монархіи передъ толпою нѣсколькихъ студентовъ, въ Берлинѣ, о бунтѣ котораго онъ услышалъ на полѣ-

дороги, Радовицъ написалъ слѣдующія строки:

«Das Recht, sowohl das der Einzelnen, als das der Staaten, ist kein Werk menschlichen Wollens oder meinens, sondern eine Entwickelung göttlicher Willensacte. Diese treten entweder unmittelbar hervor in den Offenbarungen an die Menschheit und in dem Gewissen der Einzelnen, oder mittelbar in dem Naturprozesse des geschichtlichen Verlaufes. Daher eine göttliche und eine irdische Seite im Rechte, die beide doch wieder auf denselben Urheber zurückgehen.

«In diesen Grundgedanken liegt der einzige durchgreifende Gegensatz in der Politik. Er schützt eben so sehr vor falschem Conservatismus, der nur das todte Bestehen kennt und die historische Fortentwickelung läugnet, als vor allen Systemen der Irrlehre, die sämmtlich von der Autonomie des menschlichen Geistes ausgehen.

«Dieses sage ich Angesichts der Umwälzungen, die seit vier Wochen das alte rechtliche Europa aus den Angeln heben. Im andern Sinne wende ich darauf an: was auch die Menschen sagen und thun mögen, e pur si muove! 16 März 1848».

Такое свѣтлое убѣжденіе въ такое темное время! Извѣстно, что Галилей за утвержденіе, что земля движется около солнца, былъ заключенъ въ тюрьму и наконецъ его принудили произнести отреченіе отъ этого мнѣнія. Онъ произнесъ его на колѣнахъ; но поднявшись, топнулъ въ землю ногой и сказалъ: e pur si muove,—а все она движется! Когда Галилей произнесъ свое слово, онъ былъ единственною жертвою немногихъ фанатическихъ безумцевъ, возставшихъ противъ истины, для нихъ непонятной. Здѣсь, напротивъ, это слово произносится въ такую минуту, когда все кругомъ того, кѣмъ оно повторяемо, падаетъ, когда хранительное присутствіе Промысла для глазъ его заслонено торжествомъ злаго безвѣрія и разврата, когда исполненіе лучшихъ его желаній и надеждъ вдругъ является *невозможнымъ*, когда и все зданіе собственной судьбы его разомъ опрокинуто. Такъ, Радовицъ [e pur si muove!], правда Божія жива! Что бы тебя ни ожидало, дойдешь ли до цѣли своей, которая не иное что, какъ стремленіе къ общему благу, будешь ли долженъ сойти съ пути своего побѣжденный, отворитъ ли, наконецъ, передъ тобою Всевышняя Воля двери въ твой смиренный уголокъ вецлярскій— все останутся съ тобою неприкосновенно твои три сокровища: безпорочная жизнь предъ Богомъ, свѣтъ науки и наконецъ этотъ послѣдній часъ, когда откроется передъ твоею вѣрующею душою тотъ міръ, при входѣ въ который надобно будетъ сбросить съ себя все земное и сохранить только то, что непосредственно принадлежитъ душѣ на всю вѣчность. О! это сброшенное земное будетъ та о тебѣ память, которая останется прекраснымъ наслѣдствомъ для твоего семейства, хранителемъ сердца твоихъ сыновей, предметомъ уваженія для современниковъ и для потомства; а это сохраненное на всю вѣчность будетъ тотъ пріобрѣтенный здѣсь вѣрою и созерцаемый въ глубинѣ души Богъ, во имя Котораго ты жилъ, боролся съ собою и съ тяжкими испытаніями земными, и Которому всегда, вездѣ и во всемъ покорствовалъ мыслію и дѣломъ.

ПО ПОВОДУ НАПАДОКЪ НѢМЕЦКОЙ ПРЕССЫ НА РОССІЮ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ ГАЗЕТЫ.

Въ 66-мъ номерѣ вашей газеты напечатана статья о союзникахъ Германіи; она побудила меня обратиться къ вамъ и просить васъ помѣстить приложенную статью въ одномъ изъ слѣдующихъ номеровъ вашихъ. Ваша газета отличается безпристрастіемъ и чистотою направленія; теперь книгопечатаніе свободно: чтобъ быть истинно свободнымъ, надлежитъ быть справедливымъ. Каждому свое. Вотъ почему и надѣюсь, что вы дадите мѣсто моей статьѣ въ страницахъ вашей газеты.

Во всѣхъ журналахъ и газетахъ воз-

стаютъ противъ союза съ Россіею, ужасаются той помощи, которую она можетъ подать Германіи противъ Франціи, осыпаютъ ругательствами русскаго царя и народъ русскій, и, какъ чудовищное привидѣніе, тревожитъ всѣхъ набѣгъ козаковъ и башкировъ, готовыхъ растерзать Германію и принести въ нее восточное варварство. По настоящему на все это отвѣчать не нужно: ложныя понятія сами себя опровергаютъ; но разъ навсегда надобно сказать безпристрастную правду.

Русскому царю, повелѣвающему народомъ вѣрнымъ и увѣреннымъ, что самодержавіе монархическое для сохраненія бытія его надежнѣе самодержавія народнаго,—нѣтъ никакой необходимости въ союзѣ съ Европою: онъ силенъ у себя. Во внутренность его великой державы никакой врагъ ворваться не покусится, помня судьбу Наполеоновой арміи; внѣ своихъ границъ онъ побѣжденъ быть не можетъ по той простой причинѣ, что онъ изъ нихъ не выйдетъ ни для какихъ завоеваній, ему ненужныхъ [не тронь никто Константинополя—Россія его не тронетъ]. Эта политика, предписываемая здравымъ смысломъ, есть въ то же время и личный, честный характеръ ея нынѣшняго императора; какъ ни старается безобразить его клевета злонамѣренная, Европа должна признаться, что въ его дѣйствіяхъ нѣтъ ничего криваго и двусмысленнаго. Его правила: не тронь меня, я никого не трону. Что русскій императоръ не наклонилъ головы передъ возмутившеюся Польшею, можетъ ли за это его порицать Европа? Что бы сказала она, если бы онъ сдѣлалъ противное? Не на его душѣ неправедное раздѣленіе Польши: онъ получилъ ее, какъ русскій государь, отъ своихъ предшественниковъ въ наслѣдство—онъ только сохранилъ и всегда сохранитъ неприкосновеннымъ достояніе своего царства.

Германія ни какъ защитница, ни какъ добыча—не нужна Россіи; столь же мало нужно Россіи быть защитницею Германіи—отъ этого можетъ она выиграть одну только безкорыстную славу, заплативъ за нее людьми и деньгами. Но она уже имѣетъ эту славу на всѣ времена и можетъ ею довольствоваться, не заботясь о пріобрѣтеніи новой. Эта слава, которой исторія у нея не отыметъ, есть слава той великой эпохи, когда, сладивъ со всею Европою, покоривъ всѣхъ германскихъ государей своему игу, разоривъ ихъ народы, употребивъ ихъ силы въ пользу своего самовластія,—Наполеонъ съ войсками всей этой Европы ворвался въ границы русскаго царства и сокрушился объ твердую волю русскаго царя, который сказалъ великое слово: *не положу оружія, покуда хотя одинъ врагъ останется въ предѣлахъ моихъ*—и сдержалъ это слово; слава Россіи въ пожарѣ ея древней Москвы, въ смѣломъ выступленіи за Наполеономъ изъ своихъ предѣловъ и въ громкомъ воззваніи всей Германіи на соединеніе съ нею противъ общаго врага; слава Россіи есть ея Александръ, который два раза спасъ Пруссію, который былъ центромъ соединенія силъ Германіи и воли ихъ государей во времена всеобщей борьбы, не имѣвшей бы успѣха безъ единства. Въ эту эпоху помощь Россіи была спасительна для Германіи; теперь Германія поноситъ Россію и ея боится, какъ нѣкогда римскій міръ боялся гунновъ. Какія попытки на завоеванія даютъ на это право? Но причины такого всеобщаго возстанія мнѣній противъ Россіи въ Германіи надобно искать въ другомъ источникѣ: въ совершенной противоположности тѣхъ двухъ основаній, изъ которыхъ на одномъ вѣками утверждена Россія, а на другомъ теперь вдругъ стала и хочетъ утвердиться Германія. Но объ этомъ здѣсь говорить не мѣсто.

Что же касается до страха, внушаемаго мнимымъ завоевательнымъ честолюбіемъ Россіи, то онъ самъ исчезнетъ, какъ всякое другое привидѣніе. Съ спокойнымъ невниманіемъ къ понятіямъ ошибочнымъ и къ клеветамъ злонамѣреннымъ—Россія можетъ сказать Германіи: если ты нѣкогда спасла свою самобыт-

ность, то этимъ обязана ты не одному своему собственному національному геройзму, но и вѣрному содѣйствію Россіи, которая въ тѣ времена стояла за тебя, какъ за себя. Если опять настанетъ время, въ которое такое же бѣдствіе посѣтитъ тебя и ты отвергнешь помощь Россіи, Россія отъ этого не будетъ менѣе Россіею: она не подумаетъ насильственно за тебя вступаться. О завоеваніяхъ же областей твоихъ ей и подумать невозможно, по той причинѣ, что такія завоеванія не только ей не нужны, но и вредны: не съ ея востока приходили *замышлятели всемірной европейской монархіи* и приносили всеобщій деспотизмъ, но съ запада—оттуда, гдѣ и прежде кричали и теперь кричатъ.

Русскія же завоеванія всѣ были для *самобытности*, а не для *всемірнаго владычества:* тѣ границы, въ которыя Россія мало по малу вступила, были ей *необходимы,* ибо сила нужна для самобытности; все, что для пріобрѣтенія этой силы было ей нужно, то совершено. Теперь для завоеваній дальнѣйшихъ никакого повода не существуетъ: это были бы не *образовательныя,* а *разрушительныя* пріобрѣтенія. На пограничномъ камнѣ русскаго царства стоитъ: *не далѣе.* Для Россіи теперь начинается новая великая эпоха ея бытія: *боевое* развитіе для безопасности совершено; начинается *мирное* внутреннее развитіе для благоденствія. Сіе внутреннее развитіе можетъ быть произведено въ ней только самодержавіемъ. Самодержавіе есть жизненная стихія, есть историческій путь Россіи, то есть путь, проложенный ей Провидѣніемъ. Пускай Германія идетъ своимъ путемъ, не понуждая Россію за нею слѣдовать и не понося ее за ея своебытность. Пути различны; но цѣль ихъ одна: благоденствіе народное, основанное на Божіей правдѣ.

ДОПОЛНЕНІЯ.

(Изъ неизданныхъ и черновыхъ рукописей поэта).

1800—1802.

—

ЛОЖНЫЙ СТЫДЪ.

комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ.

Г. Коцебу.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Совѣтникъ Флакслandъ.
Жена его.
Вильгельмина, ихъ дочь.
Эмма, ихъ воспитанница.
Капитанъ Эрлахъ.
Фонъ-Кугель.
Виконтъ Мальякъ.
Фрелонъ.
Мадамъ Моро.
Иванъ, садовникъ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Иванъ (*подрѣзываетъ деревья въ аллеѣ и ворчитъ про себя пѣсню. Немного спустя говоритъ*). Сколько негодныхъ растеній! здѣсь и вездѣ—только не всюду ихъ подрѣзываютъ. О! о! Когда бы мнѣ можно было съ своими ножницами забраться въ кучу этихъ молодыхъ вертопраховъ! Щолкъ! щолкъ! такъ бы и летѣли головы. (*Зачинаетъ пѣть, послѣ говоритъ*). Бѣдной мой господинъ! Прежде радость здѣсь цвѣла, какъ негодная трава, сама собою, во всѣхъ углахъ, безъ всякаго присмотра; теперь сдѣлали изъ этого мѣста густую аллею, такъ, что и солнечные лучи не могутъ сквозь нее проникнуть. А полисадникъ изъ яблонь—и пропадаетъ, какъ віола матріоналисъ, которую черви подъѣдаютъ. (*Онъ поетъ и работаетъ*).

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Эмма (*идетъ съ чулкомъ тихо по театру и говоритъ, проходя*). Здравствуй, Иванъ!

Иванъ. Здравствуйте, барышня! раненько вышли? Роса велика—вы намочите ножки.

Эмма. Солнце свѣтило мнѣ прямо въ окно! какъ же не выдти! (*Уходитъ вонъ*).

Иванъ (*вслѣдъ за нею*). Прекрасной цвѣточекъ! и она прячется, какъ созрѣлая земляника въ травѣ!.. Боже ее сохрани отъ жадныхъ воробьевъ! И паша Вильгельмина хороша,—о! очень хороша! Но жаль только, что хочетъ подражать своей матушкѣ. А изъ этого выдетъ скоро то, что будутъ говорить только: она была хороша! (*Онъ поетъ и работаетъ*).

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Фрелонъ входитъ.

Фрелонъ. Бонжуръ, метръ Жанъ!

Иванъ (*глядитъ на него, усмѣхается и продолжаетъ работать*).

Фрелонъ (*подходитъ ближе и кричитъ*). Ей! Ей!

Иванъ. Что тебѣ?

Фрелонъ. Я говорю: бонжуръ, метръ Жанъ!

Иванъ. А я говорю: поди къ чорту! Я честной старикъ—со мной не говори дурацкимъ языкомъ своимъ! Слышишь ли? мусье Бунжуръ!

Фрелонъ. Метръ Жанъ всегда ворчитъ!

Иванъ. Какой чортъ называетъ меня метръ Жанъ! Меня зовутъ Иваномъ. Типунъ бы тебѣ на языкъ, французская пустомеля!

Фрелонъ. Иванъ! Иванъ!—такъ кричатъ ослы!

Иванъ. Я это теперь слышу!

Фрелонъ. Метръ Жанъ лучше!

Иванъ. Тебѣ все лучше,—убирайся-ка прочь и не трогай меня болѣе!

Фрелонъ. Кто осмѣлится тронуть медвѣдя?

Иванъ. Да! медвѣдь и треуха дастъ! *(Онъ поетъ и работаетъ).*

Фрелонъ. Метръ Жанъ, avec permission—перестань пѣть, у тебя дуренъ голосъ.

Иванъ. Кто мѣшаетъ тебѣ идти отсюда...

Фрелонъ. Господинъ мой велѣлъ мнѣ себя здѣсь дожидаться.

Иванъ. Такъ стань же въ горохъ и пугай воробьевъ, чтобы хоть одинъ разъ въ жизни быть къ чему-нибудь полезнымъ.

Фрелонъ. Ты шутишь слишкомъ понѣмецки!

Иванъ. За нѣмецкой хлѣбъ можно стерпѣть и нѣмецкую шутку.

Фрелонъ *(махаясь).* Нынче будетъ жаркой день!

Иванъ. Въ пруду довольно тины! полѣзай въ нее, да сиди—такъ и не будетъ жарко!

Фрелонъ. A propos. Прудъ надобно заметать!

Иванъ *(вспрыгнувшись).* Что?

Фрелонъ. Я говорю: прудъ надобно заметать!

Иванъ *(глядитъ на него, усмѣхается, поетъ и работаетъ).*

Фрелонъ. Дай только моему господину жениться на твоей барышнѣ, тогда все дѣло пойдетъ другимъ чередомъ!

Иванъ. Твоему господину? на барышнѣ? на Вильгельминѣ?

Фрелонъ. Да! да! Господинъ виконтъ намѣренъ забыть все, чѣмъ онъ обязанъ свѣтлѣйшимъ предкамъ своимъ.

Иванъ. Право? Но Вильгельмина вѣрно не позабудетъ, чѣмъ она себѣ обязана!

Фрелонъ. Монъ ами, господинъ мой привыкъ кружить дамамъ головы.

Иванъ. Да вѣрно, всякая будетъ сумасшедшая, если его при себѣ потерпитъ!

Фрелонъ. Потише, метръ Жанъ,—не очень! Мнѣ стоитъ сказать одно только слово, и ты будешь въ немилости у моего господина.

Иванъ. Ei e!

Фрелонъ. Къ тому же, между нами сказано, я очень сомнѣваюсь, чтобъ онъ тебя при себѣ оставилъ!

Иванъ. Неужто?

Фрелонъ. Огородничать-то ты, можетъ быть, гораздъ, но, монъ ами—признаться, у тебя нѣтъ вкусу.

Иванъ. Ой ли?

Фрелонъ. Деревья, аллеи, тюльпаны—хороши для Голландіи, но мы этого не любимъ. Мы хотимъ хорошихъ ситовъ, необыкновенностей, эрмитажей, памятниковъ!

Иванъ. О! о!

Фрелонъ. Ты старъ, монъ ами, мало видѣлъ хорошаго. Il faut lui passer son ignorance. Ты все еще можешь остаться помощникомъ; но мы примемъ къ себѣ француза, знающаго человѣка, — ань, метръ Жанъ, тогда-то придется тебѣ пойти въ школу.

Иванъ. Мнѣ пойти въ школу! *(Сходитъ со скамьи).*

Фрелонъ. То ли еще будетъ—мы до всего доберемся. Изъ этого тинистаго пруда сдѣлаемъ Діанину купальню, а изъ бесѣдки китайской кіоскъ.

Иванъ. Кіоскъ! ахъ ты, проклятая болтушка! *(Беретъ лейку и плескаетъ ему на ноги).*

Фрелонъ *(бѣгая отъ него).* Метръ Жанъ! Метръ Жанъ! что это значитъ?

Иванъ. Діанина купальня, мусье Бунжуръ!

Фрелонъ. Метръ Жанъ! перестань! Говорятъ тебѣ перестань!

Иванъ. Если это тебѣ не нравится, такъ убирайся въ кіоскъ. *(Бьетъ за нимъ по театру).*

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Совѣтникъ и прежніе.

Совѣтникъ. Иванъ! Что ты дѣлаешь?

Иванъ. Поливаю негодную траву!

Совѣтникъ. Знаешь ли ты, чей онъ слуга?

Иванъ (*ворча*). Какъ не знать! Каковъ попъ, таковъ и приходъ.

Фрелонъ (*обтирая нотъ платкомъ*). Метръ Жанъ очень шутливъ.

Совѣтникъ. Гдѣ твой господинъ?

Фрелонъ. Конечно, еще на балѣ.

Совѣтникъ (*принужденно смѣючись*). Браво! вотъ что называется танцовать!

Фрелонъ. Передъ утромъ выслалъ онъ меня и велѣлъ здѣсь себя дожидаться.

Совѣтникъ (*все съ принужденнымъ тономъ*). Безъ сомнѣнія, господинъ виконтъ проводитъ жену мою?

Фрелонъ. О конечно! мой метръ умѣетъ обращаться въ свѣтѣ.

Совѣтникъ. Весело ли тамъ было?

Фрелонъ. О, очень! Госпожа совѣтница танцуетъ...

Совѣтникъ. Много ли было гостей?

Фрелонъ. Много! очень много! Госпожа совѣтница въ полночь окружена была престрашною толпою...

Совѣтникъ (*стараясь скрыть свое смятеніе*). Только, чтобъ она не простудилась, ѣхавши домой.

Фрелонъ. Она отпустила назадъ свой фаэтонъ, потому что господинъ Кугель предложилъ ей свою карету.

Совѣтникъ. Господинъ Кугель? онъ въ городѣ? я этому очень радъ!

Фрелонъ. Онъ прискакалъ сюда вчерась во весь опоръ—скочилъ съ лошади и прямо на балъ... Метръ Жанъ такъ меня измочилъ, что я долженъ... (*Онъ дѣлаетъ поклонъ и исчезаетъ*).

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Совѣтникъ и **Иванъ.**

Совѣтникъ. Скажи мнѣ, Иванъ—я былъ у бассейна—на что всѣ деревья оплетены цвѣточными гирляндами?

Иванъ. А я почему знаю? Госпожа совѣтница приказала! Я оборвалъ всѣ розовые кусты въ саду для этого!

Совѣтникъ. На что же это?

Иванъ. Спросите ее! Она хочетъ сдѣлать — этотъ негодяй, которой теперь ушелъ отсюда, назвалъ мнѣ это какъ-то по-французски, а мусье Роза, прикмахеръ, перевелъ—это называется—ха! ха! ха!—танцовальной завтракъ. Повара проработали всю ночь, а дѣвушки, не переставая, терли шеколадъ!

Совѣтникъ (*съ принужденнымъ равнодушіемъ*). Право?

Иванъ (*мотая головой*). Ей! ей! Уже два года, какъ такой шумъ завелся въ саду, что и соловьи всѣ разлетѣлись.

Совѣтникъ. Что жъ нужды, Иванъ! только бы радость всегда вила здѣсь гнѣздо свое.

Иванъ. Да, да, радость хорошая птичка, однакожъ, право, улетѣть ей отсюда, какъ воронѣ!

Совѣтникъ (*вздыхаетъ и ищетъ скрыть свое смятеніе*).

Иванъ. Не сердитесь на меня, милостивой государь. Я старой, сѣдой вашъ слуга, которой видѣлъ, какъ васъ крестили,—вы росли и всегда были веселы. Но, бывало, когда вашимъ товарищамъ хотѣлось во что-нибудь играть, то вы всегда играли съ ними, такъ какъ они того желали, хотя безъ всякаго для себя удовольствія. Право, вы точно то же и теперь дѣлаете! Понимаете ли?

Совѣтникъ (*смѣясь*). Если я могъ быть снисходительнымъ къ своимъ товарищамъ, то какъ же не быть къ доброй женѣ моей.

Иванъ. Но молодому человѣку можно больше снести, нежели человѣку въ лѣтахъ. Деревцо гнется, а дерево ломается. Если, напримѣръ, до пятидесяти лѣтъ проживешь одинакимъ манеромъ, то уже иначе жить не скоро захочется.

Совѣтникъ. Жена моя молода, а мнѣ ужъ за сорокъ—кому жъ быть снисходительнѣе? (*Съ жаромъ*). Притомъ же она заслуживаетъ всю мою довѣренность, она такая милая, такая добрая жена...

Иванъ. Все это очень хорошо, но только бы она не трогала моего прекраснаго саду!

Совѣтникъ. А чѣмъ она тебѣ мѣшаетъ?

Иванъ. Ахъ, любезной мой господинъ! этотъ садъ кажется мнѣ раемъ. Отецъ мой—царство ему небесное!—былъ въ немъ садовникъ; я въ немъ родился, въ немъ былъ и воспитанъ и послѣ того, научившись въ Голландіи садоводству, не выходилъ изъ него ни на пядь,—всякое плодовитое дерево выхожено мною!.. Я думалъ: тамъ за рощей есть пустое мѣстечко, заросшее травою, никто про него не знаетъ,—тамъ я посадилъ нѣсколько березъ у плетня и по вечерамъ играю тамъ на свирѣли...

Совѣтникъ. Ну!

Иванъ. Такъ думалъ я—тебѣ только стоитъ хорошенько попросить твоего господина, можетъ быть, онъ тебя и сохранитъ подъ этими деревьями...

Совѣтникъ. Не сомнѣвайся въ этомъ, доброй старикъ!

Иванъ. Боже мой! кто знаетъ, долго ли будутъ стоять бѣдныя мои березы. Госпожа совѣтница столько затѣваетъ лишняго—стѣны хочетъ сломать, весь лугъ усадить молодыми деревцами, провести кривую дорогу, сдѣлать гору для музъ—и Богъ знаетъ что!.. Тогда гдѣ уцѣлѣть моимъ березамъ!

Совѣтникъ. Твоихъ березъ никто не тронетъ.

Иванъ. Коли не хотятъ оставить этихъ липъ, то кому нужда до березъ моихъ?

Совѣтникъ. Какихъ липъ?

Иванъ *(показывая на липы).* Развѣ вы позабыли вашихъ воспитанниковъ? Вы и сестрица ваша Филиппина посадила ихъ вмѣстѣ, въ день рожденія вашей доброй матушки.

Совѣтникъ. О, я это очень помню!

Иванъ. Вы тогда были очень еще молоды, были меньше этого розоваго кусточка, а сестрица ваша немного побольше. Только что вы воткнули корни въ *землю, то обхватили* ихъ ручонками и поцѣловались, а матушка ваша обтирала себѣ слезы и сказала: Иванъ, береги эти деревья! Я это въ точности исполнилъ по сю пору. Ну теперь они стали большими деревьями, и мнѣ велятъ ихъ срубить!.. Нѣтъ, я не могу этого сдѣлать! Рука у меня затрясется, когда я съ топоромъ подойду къ нимъ.

Совѣтникъ. Кто же велитъ срубить ихъ?

Иванъ. Госпожа совѣтница говорила, что когда сидишь въ бесѣдкѣ, то эти липы портятъ перспективу.

Совѣтникъ. Нѣтъ нужды! ихъ никто не долженъ трогать! Слышишь ли, Иванъ, я отъ тебя этого требую.

Иванъ. Слышу, сударь!

Совѣтникъ. Однѣ только эти липы вспоминаютъ мнѣ о бѣдной сестрѣ моей!

Иванъ. Къ сожалѣнію!..

Совѣтникъ. Вѣрно, жена моя этого не знала!

Иванъ. Можетъ статься! Вчерась она въ первой разъ объ *этомъ* говорила. Я думаю, что замысловатой господинъ французъ ей такія вещи въ голову суетъ. Онъ тогда былъ тутъ, прыгалъ, скакалъ кругомъ ее и растопталъ здѣсь гряду огурцовъ, а тамъ земляничный кустъ. Я думаю, что госпожа совѣтница имъ очень занимается.

Совѣтникъ *(съ скрытою чувствительностію).* Неужели?

Иванъ. Она ни разу на него не покосится!

Совѣтникъ. Съ нимъ очень весело.

Иванъ. Да, болтать-то онъ умѣетъ изрядно, равно какъ и мусье его валетъ-шамбръ. Этотъ шалунъ уже хвастался свадьбою...

Совѣтникъ *(со скоростію).* Какою свадьбою?

Иванъ. Я не могу этого сказать. Только совсѣмъ не вѣрю его вранью.

Совѣтникъ *(въ сторону).* Итакъ уже слуги объ этомъ болтаютъ. *(Хочетъ говорить, но удерживается).* Довольно, Иванъ! Я помѣшалъ тебѣ въ твоей работѣ. Я худо спалъ сего дня и для того такъ рано всталъ съ постели!

Иванъ. Эмма уже съ полчаса какъ здѣсь!

Совѣтникъ. Эмма? гдѣ она?

Иванъ. Она сидитъ и вяжетъ — тамъ у розоваго куста.

Совѣтникъ *(кричa вдаль)*. Здравствуй, Эмма!

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Эмма и прежніе.

Иванъ *(опять берется за работу свою и вскорѣ исчезаетъ)*.

Эмма. Здравствуйте, батюшка! Я думала, что вы еще почивали.

Совѣтникъ. Нѣтъ, я всталъ въ одно время съ тобою! — и не зналъ, что ты здѣсь, иначе могъ бы пройти мимо твоей комнаты и не на цыпочкахъ... Но что дашь ты мнѣ, если я тебѣ скажу радостную вѣсть?

Эмма. Вы шутите, батюшка! скажите лучше возвратишь; ибо все, что я имѣю, ваше!

Совѣтникъ. Мое? совсѣмъ нѣтъ! Ты мнѣ ничѣмъ не обязана, кромѣ одной кровли, подъ которой ты живешь; за остальное платитъ удивительной другъ мой, съ рубля до полушки, изъ своего малаго жалованья.

Эмма. Но можетъ ли онъ заплатить за отеческую любовь вашу?

Совѣтникъ. О, ты сама за нее мнѣ платишь. Пріучаешь меня къ сладкой мысли, что у меня двѣ дочери. Право, когда подумаю, что нынче долженъ буду раздѣлить права свои на твое сердце, то на меня находитъ ревность.

Эмма. Нынче?

Совѣтникъ. Нынче Эрлахъ будетъ.

Эмма. Будетъ? нынче? мой избавитель! мой благодѣтель! Наконецъ, послѣ осьми лѣтъ! — Но вѣрно ли это, милый батюшка, вѣрно ли это?

Совѣтникъ. Онъ самъ пишетъ и, какъ обыкновенно, въ трехъ короткихъ строчкахъ. Это извѣстіе меня удивило, потому что при началѣ компаніи, я не думалъ, чтобы Эрлахъ посѣтилъ насъ.

Эмма. Я почти не помню и лица его! О, если бъ онъ уже здѣсь былъ! Я пойду къ нему навстрѣчу!.. По которой дорогѣ онъ пріѣдетъ?

Совѣтникъ. Почему я знаю? доброй мой Эрлахъ никогда не пишетъ ни мѣста, гдѣ онъ живетъ, ни числа, въ которое письмо отсылаетъ. Прочти: «вотъ деньги за мою Эмму — въ будущій четвергъ я буду самъ». Вотъ все.

Эмма. Конечно, два только слова; но и тѣ запечатлѣны благотвореніемъ. И есть ли ему время писать? Онъ долженъ дѣйствовать,—не правда ли, батюшка? Онъ почитаетъ тотъ часъ потеряннымъ, въ которой не сдѣлаетъ добраго дѣла.

Совѣтникъ. Тихая Эмма разгорячается! Это мнѣ пріятно!

Эмма. О, когда онъ бѣдную Эмму вытащилъ изъ горящихъ развалинъ, когда онъ дѣлилъ съ нею малое свое жалованье,—я всегда плачу, когда объ этомъ подумаю! Мое сердце принадлежитъ ему.

Совѣтникъ. Такъ и должно! Я бы радъ былъ, когда бы тебѣ удалось вылѣчить его отъ ненависти къ женщинамъ. И въ правду, чѣмъ больше смотрю на тебя, тѣмъ возможнѣе нахожу свою надежду— какъ ты думаешь, Эмма? Ты уже знаешь въ немъ человѣка; ты позабыла только черты лица его, но и тѣ благородны.

Эмма. А что красота тѣлесная безъ красоты душевной — пусть будетъ лицо его безобразнымъ, его сердце добродѣтельно, и этого довольно!

Совѣтникъ. Твоя благодарность легко можетъ обратиться въ любовь!

Эмма. А что же такое любовь, какъ не привязанность къ добру?

Совѣтникъ. Итакъ, ты не отказываешь? и даешь мнѣ волю немножко тебя посватать?

Эмма. Вы шутите, любезной батюшка, и вѣрно хотите посмѣяться моему смятенію. Но знаете ли, что шутки ваши могутъ питать во мнѣ романическія мысли, которыя уже давно родились въ головѣ моей.

Совѣтникъ. Ну, дорогая моя [illegible] канка, сказывай: что за мысли?

Эмма. Однажды вечеромъ я укралась потихоньку изъ веселой вашей компаніи, одна, въ буковую аллею, и начала строить воздушные замки, думала, какъ бы заплатить моему благодѣтелю за всѣ его милости и быть утѣшеніемъ его старости... Однако-жъ я, право, глупа съ своими разсказами,—къ счастію, вотъ и наши пріѣхали съ балу... Простите, простите!.. Я не хочу, чтобы эти разряженные господа увидѣли меня въ неглиже моемъ. *(Убѣгаетъ).*

Совѣтникъ. Наконецъ, они пріѣхали—но не ко мнѣ! Вѣрно dejeuné dansant понудилъ ихъ оставить балъ.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Вильгельмина, г. Кугель, совѣтникъ.

Вильгельмина. Здравствуйте, папинька! Лучше бы сказать мнѣ: прощайте, да и на постелю скорѣе.

Совѣтникъ. Развѣ ты устала?

Вильгельмина. До смерти.

Совѣтникъ. Господинъ Кугель! Я очень радъ, что вижу у себя деревенскаго своего сосѣда, тѣмъ болѣе, что не смѣлъ ожидать васъ въ это время года.

Кугель. Ваша правда, господинъ совѣтникъ, весною, въ деревнѣ такъ много занятій, такъ много удовольствій.

Вильгельмина. Какъ же не благодарить васъ! Вы все оставили для того, чтобъ здѣсь протанцовать со мною кадриль.

Кугель. Если бъ компанія моя была вамъ пріятна, то бы, можетъ быть, я и польстилъ себя, что заслужилъ вашу благодарность.

Вильгельмина. Лишняя скромность—та же гордость! Судите сами, папинька. Этотъ господинъ все стоялъ въ углу и смотрѣлъ, какъ другіе прыгали; наконецъ, повинуясь высочайшему моему повелѣнію, осмѣлился онъ стать со мною въ послѣднюю пару въ контрдансѣ съ тѣмъ, чтобы только фигурировать вверхъ и сойтить внизъ, если фигура покажется очень трудна. Я не ожидала ничего хорошаго; думала только, что онъ, какъ и *всѣ деревенскіе жители*, наляжетъ на меня, испортитъ всѣ фигуры, и смѣшаетъ шенъ; напротивъ того, какъ бы вы думали, онъ такъ проворно прыгаетъ и вертится со мною, какъ будто учился танцовать у самого Вестриса! А, сударь? скажите-ка, зачѣмъ стояли вы забившись въ уголъ, какъ безногой?

Кугель. Я никогда не танцовалъ въ публикѣ,—а городскіе всегда любятъ надъ деревенскими смѣяться.

Совѣтникъ. Ложной стыдъ или застѣнчивость есть единственной порокъ моего молодаго друга.

Вильгельмина. Это не все еще, папинька; за столомъ сѣла я подлѣ него, наливала ему вина, разговаривала съ нимъ по-пріятельски. Богъ знаетъ, вино ли, или мои ласки его развеселили—словомъ нѣмой господинъ Кугель началъ говорить и говорилъ такъ умно, разсказывалъ такія интересныя исторіи, что я почти забыла, что снизу въ храмѣ глупости... Скажите-жъ мнѣ, сударь, отчего вы такъ на слова скупы?

Кугель. Для того, что боюсь сказать что-нибудь глупое въ большихъ собраніяхъ.

Вильгельмина. Да для того-то и дѣлаются собранія, чтобъ всякой могъ сказать въ нихъ свою глупость. Что въ малой компаніи скромность, то въ большой называется ложной стыдъ, застѣнчивость; тамъ платье должно блестѣть, а болтаніе быть неисчерпаемымъ, — дома же требуютъ только, чтобы платье грѣло, а разговоры были разумны.

Совѣтникъ *(которой нѣсколько разъ съ безпокойствомъ оглядывался).* Гдѣ ты оставила мать свою?

Вильгельмина. Она думала, что вы еще въ постели, и поспѣшила разбудить васъ поцѣлуемъ.

Совѣтникъ. Она одна?

Вильгельмина. Одна? Какъ бы не такъ! будто можно освободиться отъ виконта Мальака, не сказавъ ему: поди къ чорту!

Совѣтникъ. Итакъ—онъ съ нею?

Вильгельмина. Не съ нею, а позади ее. Но, если они васъ тамъ не найдутъ, то вѣрно придутъ сюда.

Кугель. Вотъ они.

Совѣтникъ *(становится веселъ и идетъ навстрѣчу къ женѣ своей).*

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Совѣтница, виконтъ Мальякъ и прежніе.

Мальякъ. Господинъ совѣтникъ, nous voilà!

Совѣтникъ. Здравствуй, моя милая! Весело ли тебѣ было?

Совѣтница. Довольно весело! Я нашла тамъ нѣкоторыхъ моихъ пріятельницъ, которыхъ давно не видала. Мы смѣялись и болтали. Онѣ тебѣ кланяются и просятъ тебя, чтобъ ты не сердился за то, что онѣ такъ долго меня удержали.

Совѣтникъ. Сердиться?—помилуй, что тебѣ дѣлаетъ удовольствіе, то и меня радуетъ.

Мальякъ. Браво, г. совѣтникъ!—очень учтиво! — настоящій французскій турнюръ!—Vivent les maris raisonnables!

Совѣтница. За то я нынче цѣлой день дома съ тобою. Кое-кого позвала къ себѣ, и мы тамъ въ аллеѣ станемъ завтракать, и воображать, что мы въ Пирмонтѣ!

Мальякъ. Ха! ха! ха!—браво! Г-жа совѣтница мастерица выдумывать.

Совѣтница. Выдумки мои благодарятъ васъ.

Мальякъ. Чистосердечно сказать, mesdames, я пріѣхалъ въ Германію совсѣмъ съ другими мыслями; j'ai eu une horrible idée о нѣмецкихъ дамахъ. Дѣвушка пятнадцати лѣтъ, сказывали мнѣ, краснѣетъ отъ стыда, когда ей должно снять перчатку, и прячетъ руки подъ столъ за обѣдомъ; молча и не шевелясь сидитъ подлѣ человѣка, живущаго въ свѣтѣ, или шепчетъ, смѣючись, на ухо своей подругѣ. Дѣвушка осьмнадцати лѣтъ сентиментальна до крайности, аффектируетъ всегда какую-нибудь склонность и называетъ вѣрностью къ любовнику своему то, когда съ другими неучтива. Женщина двадцати лѣтъ думаетъ доказать добродѣтель свою, когда отступаетъ назадъ, если подойдетъ къ ней молодой человѣкъ, и разсердится, если ей скажутъ что-нибудь хорошее. Женщина двадцати пяти...

Совѣтница. Довольно! господинъ виконтъ, не трудитесь—мы лучше пошлемъ въ Ганноверъ, къ тому человѣку, которой написалъ книгу на наши пороки.

Мальякъ. Я напишу противъ его цѣлую энциклопедію, а когда я возвращусь въ мое отечество, то дурно будетъ тому, кто осмѣлится сказать хотя одно bon mot насчетъ нѣмецкихъ дамъ.

Вильгельмина. Какъ же нѣмецкія дѣвушки будутъ благодарить васъ!

Мальякъ. Конечно, и со мною, вѣрно, согласятся, что Германія, по большей части, просвѣщена эмигрантами, и что революція, которая на югѣ такъ много сдѣлала худа, распространила на сѣверѣ вкусъ и просвѣщеніе.

Вильгельмина. Ваша правда, господинъ виконтъ! простая нѣмецкая дѣвушка въ глаза бы вамъ засмѣялась, но я, будучи уже довольно образована вами, такъ стала учтива, что вамъ тотчасъ поклонъ да и вонъ *(бѣжитъ вонъ).*

Мальякъ. Ха! ха! ха! браво!

Совѣтница *(кричитъ).* Куда ты, Вильгельмина?

Вильгельмина *(возвращаясь).* Боже мой! Я хочу найти Эмму и все разсказать ей; для дѣвушки, пріѣхавшей съ балу, величайшая радость та, чтобы цѣлую недѣлю говорить объ немъ. *(Уходитъ).*

Мальякъ *(испугавшись, щупаетъ себя за плечо).* Что это такое?—дождь?

Совѣтница. Нѣтъ! небо чисто! и не испортитъ нашего завтрака.

Мальякъ. Однако-жъ посмотрите, пятно на новомъ моемъ фракѣ.

Совѣтница. Можетъ быть, капля росы съ этихъ деревьевъ.

Мальякъ. Сударыня! еще вчерась осудили вы на смерть проклятыя эти липы.

Совѣтникъ. Милая моя, пощади для меня эти деревья.

Совѣтница. Развѣ ты ихъ любишь?

Совѣтникъ. До крайности.

Совѣтница. Я этого не знала.

Совѣтникъ. Я посадилъ ихъ съ бѣдною моею сестрою.

Совѣтница *(съ удареніемъ)*. Съ сестрою? у тебя есть и сестра?

Совѣтникъ. Да, у меня была сестра, а жива ли она, Богъ знаетъ.

Совѣтница. И ты мнѣ ни слова объ этомъ не сказалъ!

Совѣтникъ. Прости мнѣ, я не хотѣлъ растравлять раны своего сердца!

Совѣтница. Да и въ твоемъ семействѣ никто не говорилъ объ ней.

Совѣтникъ. Семейство мое изъ ложнаго стыда боится произнести имя доброй сестры моей. Она, противъ воли своихъ родителей, полюбила одного молодого купца изъ Ліона, сдѣлалась виновной и убѣжала. Двадцать два года уже мы объ ней совсѣмъ ничего не слышимъ — всѣ почти позабыли о ней, но я никогда, никогда ее не позабуду.

Мальякъ. Ліонъ, Ліонъ! тамъ и я родился! Да, да! Ліонцы всѣ опасные люди!

Совѣтница *(лаская мужа своего)*. Я было чуть не сдѣлала глупости, но зачѣмъ же ты отъ меня скрывалъ такое важное обстоятельство въ своемъ семействѣ? Теперь я беру эти лины подъ свое покровительство. Прошу не прогнѣваться, г. виконтъ! новой фракъ вашъ извинитъ меня!

Мальякъ. Да! однако-жъ я долженъ буду переодѣться.

Совѣтница *(смѣясь, бьетъ его по плечу)*. Это самое благородное занятіе, особливо для насъ женщинъ, и меня ожидаетъ мой туалетъ!

Совѣтникъ. Можно ли мнѣ проводить тебя?

Мальякъ. Господинъ совѣтникъ, это слишкомъ по-нѣмецки—позвольте мнѣ *(подаетъ ей руку)*.

Совѣтница. Г. виконтъ, я еще не такъ давно ваша ученица, и все еще нѣмка. *(Подаетъ руку мужу своему)*. До свиданія, милостивые государи!

Совѣтникъ *(уходя)*. Я тотчасъ къ вамъ буду.

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Виконтъ и Кугель.

Мальякъ. Браво! это самой нѣмецкой анекдотъ!

Кугель. Я очень жалѣю о французахъ, когда такіе обыкновенные случаи почитаются у нихъ анекдотами.

Мальякъ. Что это такое? А монъ ами... Это славной сюжетъ для флоріановыхъ новостей или арнодовыхъ эпревъ дю сантиманъ.

Кугель *(съ презрѣніемъ пожимаетъ плечами)*.

Мальякъ. Вы пожимаете плечами, государь мой! Я долженъ вамъ признаться, что ваши маніеръ мнѣ совсѣмъ не нравятся.

Кугель. Очень жалѣю!

Мальякъ. Люди говорятъ, разсказываютъ, истощаютъ весь свой разумъ, но все тщетно! Вы стоите, какъ нѣмой и какъ глухой—это не хорошо.

Кугель. Я хочу походить лучше на лѣниваго ученика, чѣмъ на незваного учителя.

Мальякъ. Но это не годится, сударь. Въ ваши лѣта, съ вашей фигурой, все говорить можно. У васъ прекрасные зубы—вы должны смѣяться; у васъ большіе глаза—вы должны ихъ таращить. Ваша талія и ростъ хороши—надобно умѣть давать тѣлу своему такую позисіонъ, которая бы очаровывала женщинъ съ перваго разу.

Кугель *(смѣючись)*. Я, по несчастію, воспитывался въ кадетскомъ корпусѣ.

Мальякъ. Да, да, это и видно! Я примѣчаю, что мнѣ много труда будетъ стоить, чтобъ васъ поставить на хорошую ногу—покамѣстъ, монъ шеръ ами, если вы хотите мнѣ поручить себя...

Кугель. О, много чести!

Мальякъ. Но съ уговоромъ...

Кугель. Съ какимъ?

Мальякъ. Я, кажется, примѣтилъ, что вы что-то очень пристально посматривали на Вильгельмину Флаксландъ, это, антръ ну, очень смѣло!

Кугель. Смѣло?—да и то правда, очень смѣло любить такую милую дѣвушку!

Мальякъ. Итакъ вы любите ее?

Кугель. Я не постыжусь признаться въ благороднѣйшей склонности своего сердца...

Мальякъ. А она васъ?

Кугель. Помилуйте, сударь! по какому праву?..

Мальякъ. Какъ по какому праву? Парбле,—я хочу на ней жениться!

Кугель. И я тоже.

Мальякъ. Она хороша, богата, остра...

Кугель. Она добра, любезна, разсудительна...

Мальякъ. За мною будетъ она юнь виконтезъ!

Кугель. А за мною г-жа Кугель!

Мальякъ. Однако-жъ за обоихъ насъ она не можетъ выдти.

Кугель. Можетъ быть, она не хочетъ ни за кого.

Мальякъ. Антръ ну, монъ шеръ ами, парлонъ резонъ.

Кугель. Пожалуй, если это вамъ не трудно!

Мальякъ. Вильгельмина будетъ моя жена.

Кугель. Почему знать, можетъ быть, и моя.

Мальякъ. Но, если я вамъ скажу, что я васъ послѣ женитьбы ничѣмъ жепировать не буду?

Кугель. Какъ это?

Мальякъ. О контреръ, вы еще меня обяжите, если будете чичисбеемъ жены моей.

Кугель *(смѣясь)*. Я этому не учился въ кадетскомъ корпусѣ.

Мальякъ. Любите ее, вадыхайте, томитесь, сколько угодно, все это вамъ позволено. Вы можете начать и съ первой недѣли моей женитьбы. Лями де ля мезонъ всегда будетъ хорошо принять.

Кугель. Покорный слуга!

Мальякъ. Только до свадьбы прошу васъ не мѣшать мнѣ.

Кугель. Мнѣ очень жаль, что сердце мнѣ не позволяетъ...

Мальякъ. Но я прошу васъ, государь мой! понимаете ли вы меня? Тонъ, съ которымъ я прошу, довольно даетъ разумѣть вамъ, какое впечатлѣніе произведетъ во мнѣ юнь рефю.

Кугель. Поприще любви такъ же пространно, какъ и поприще чести; мы можемъ и оба идти по немъ—къ тому жъ такому человѣку, каковы вы, г. виконтъ, нечего бояться!

Мальякъ *(насмѣшливо)*. Бояться? о нѣтъ! только я капризенъ и не могу терпѣть соперниковъ.

Кугель. Только въ этотъ разъ вы позволите?

Мальякъ. Нѣтъ, государь мой, ничего, ничего вамъ не позволяю!

Кугель. О, это слишкомъ ужъ повелительно, слишкомъ по-диктаторски.

Мальякъ. Вы заставите меня иначе рѣшить споръ нашъ.

Кугель. Дѣвица Флакеландъ можетъ сама рѣшить его.

Мальякъ. До тѣхъ поръ дамы не будутъ рѣшать моихъ споровъ, покуда я буду носить шпагу!

Кугель. Я не люблю рыцарскихъ романовъ!

Мальякъ. Тѣмъ хуже для васъ, ибо вамъ надобно ломать копья.

Кугель. Я давно уже бросилъ свою шпагу.

Мальякъ. Для того-то я вамъ и совѣтую оставить такой театръ, на которомъ роля ваша будетъ самая сухая.

Кугель. Однако и сухія роли не всегда неудачны.

Мальякъ. И вы все настоите въ своемъ намѣреніи?

Кугель *(пожимаетъ плечами)*.

Мальякъ. Однако-жъ если я вамъ скажу безъ уловокъ, что мы должны непремѣнно биться!

Кугель. Я все это еще почитаю за шутку.

Мальякъ. Вы очень дурно дѣлаете, государь мой,—но фу! къ чорту! Ваше хладнокровіе всю кровь мою взволновало!

Кугель. Прошу васъ, г. виконтъ....

Мальякъ. Полно, сударь! Или уступи мнѣ, или вынимай шпагу!

Кугель. Мнѣ будетъ очень непріятно...

Мальякъ *(насмѣшливо)*. Я это и примѣчаю. Ты, можетъ быть, въ кадетскомъ корпусѣ никогда не видалъ крови.

Кугель. Однако, если вы такъ усиленно этого желаете... *(Надѣваетъ шляпу на голову)*.

Мальякъ. Еще даю я вамъ волю выбирать.

Кугель. Нѣтъ, мнѣ невозможно отказаться отъ Вильгельмины. *(Вынимаетъ хладнокровно пару перчатокъ и надѣваетъ ихъ)*.

Мальякъ. Я почитаю за должность, какъ дворянинъ, сказать вамъ напередъ, что я учился фехтовать у наилучшаго учителя.

Кугель. Благодарю за такое великодушіе, но оно теперь поздно. *(Вынимаетъ шпагу)*.

Мальякъ. Однако-жъ, по секрету, монъ ами, я для того только и эмигрировалъ, что имѣлъ несчастіе переколоть всѣхъ штабъ и оберъ-офицеровъ моего полка.

Кугель. Танъ пи пуръ муа! Я признаю опасность свою и дрожу. *(Становится въ позитуру)*.

Мальякъ *(съ замѣшательствомъ отступая)*. Какъ, милостивый государь, вы въ самомъ дѣлѣ?..

Кугель. Развѣ вы шутили? *(Подступаетъ ближе)*.

Мальякъ. Подумайте, въ какомъ мы мѣстѣ?

Кугель. Здѣсь очень неприлично драться!

Мальякъ. Конечно! конечно! Сохрани меня Богъ! Я никогда не позабудусь до того, чтобъ обагрить кровію то мѣсто, гдѣ я пользовался гостепріимствомъ. На границу, государь мой, на границу! тамъ я проколю васъ насквозь и убѣгу! *(Убѣгаетъ вонъ)*.

ЯВЛЕНІЕ 10-е.

Кугель *(одинъ, смѣючись, влагаетъ въ ножны шпагу)*. И такой человѣкъ имѣетъ свободной доступъ здѣсь въ домъ, *такого негодяя пускаютъ* сюда для того, что онъ хорошо танцуетъ!.. Удивительно, что глупые мужчины и глупыя моды имѣютъ надъ женщинами одинакія права; однимъ они слѣдуютъ, а другихъ терпятъ, и для того только, чтобы спустя 4 недѣли надъ обоими насмѣхаться. Право, пословица: «скажи мнѣ, съ кѣмъ ты знакомъ, и я скажу тебѣ, каковъ ты», не касается до женщинъ—для того, что и самыя разумнѣйшія женщины терпятъ дураковъ вокругъ себя *(уходитъ)*.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

[Театръ не перемѣняется. Вдали слышна музыка изъ духовыхъ инструментовъ].

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Капитанъ Эрлахъ *(входитъ)*. О, о! Здѣсь, кажется, очень весело! *(Глядитъ въ ту сторону, откуда слышна музыка)*. Шляпы, наколки, перья, танцы, карточные столы тамъ, все идетъ кругомъ—это не мое дѣло! *(Помолчавъ)*. Хмъ! и это называютъ лѣтнимъ увеселеніемъ, когда выносятъ столъ съ картами изъ горницы въ садъ; но изъ саду выгоняютъ ихъ комары; они бѣгутъ отъ дождевой капли такъ точно, какъ будто бы оно могло прожечь имъ дыру на кожѣ. А есть еще и такіе люди, которые просыпаютъ все лѣто до самаго равноденствія... И старой другъ мой терпитъ въ саду своемъ такой безпорядокъ! Мой честной, прямодушной Флаксландъ! Какъ мнѣ сообразить это? Да кто же знаетъ, можетъ быть, дочь его идетъ замужъ — если бъ только попался мнѣ какой-нибудь слуга, я бы шепнулъ ему на ухо: Эрлахъ здѣсь! а самъ ни за что не пойду въ это пестрое собраніе. Лучше уберусь въ трактиръ и стану тамъ читать столѣтній календарь... Гей! голубчикъ, поди сюда!.. Ба! да это старой Иванъ!

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Капитанъ Эрлахъ и Иванъ.

Иванъ. Ей! ей! Вы ли это, господинъ поручикъ? или, можетъ быть, ужъ господинъ капитанъ!

Эрлахъ. Все равно, если я только здѣсь—будутъ мнѣ рады.

Иванъ. О, вамъ будутъ рады больше, нежели самому лучшему алою,—рѣдокъ гость, да дорогъ!

Эрлахъ. Жаль же, если меня здѣсь станутъ принимать за гостя.

Иванъ. Какъ же господинъ совѣтникъ обрадуется!

Эрлахъ. Развѣ есть еще здѣсь время радоваться старымъ друзьямъ?

Иванъ. Вы изъ головы его не выходили! Когда цвѣли липы, когда созрѣвали дыни, то онъ говорилъ: «какъ жаль, что друга моего Эрлаха нѣтъ здѣсь!»

Эрлахъ. Я танцовалъ тогда подъ пушечною мазуркою, да подъ ядрами.

Иванъ. Онъ иногда жаловался на то, что вы рѣдко къ нему писывали.

Эрлахъ. Писать письма не мое дѣло.

Иванъ. И что никогда не зналъ, гдѣ вы!

Эрлахъ. Зачѣмъ и знать это? солдатъ—вездѣ и нигдѣ... Я жилъ въ послѣдній годъ точно такъ, какъ жидъ. А всего больше терпѣть я не могу письменно увѣрять друзей своихъ въ вѣчной своей дружбѣ. Ей! Ей! Само по себѣ разумѣете. Вѣдь, другъ не дѣвушка, которую нынче благотворишь, а завтра надъ ней насмѣхаешься. А пропо! я объ дѣвкахъ говорить началъ! Что дѣлаетъ моя Эмма? Выросла ли она?

Иванъ. Стала велика, хороша и мила, точно роза-лилея.

Эрлахъ. Это меня радуетъ. Но здѣсь гости, мнѣ кажется...

Иванъ. Къ сожалѣнію!

Эрлахъ. Ты не любишь этого, старикъ?

Иванъ. Не привыкъ.

Эрлахъ. А господинъ твой? Сперва и онъ не любилъ этого.

Иванъ. Ахъ, да здѣсь все такъ перемѣнилось!

Эрлахъ. Какъ?

Иванъ. Госпожа совѣтница...

Эрлахъ. Госпожа совѣтница?.. Какъ,—въ другой разъ женился?..

Иванъ. Вы этого еще не знали? Ужъ третій годъ.

Эрлахъ. Право? Мнѣ это непріятно, и онъ обманутъ—подѣломъ ему!

Иванъ. Добрая жена—но слишкомъ жива, слишкомъ вѣтрена.

Эрлахъ. Поди позови ко мнѣ совѣтника, но потихоньку, такъ, чтобъ никто не видалъ этого.

Иванъ. Понимаю. *(Уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Эрлахъ *(одинъ).* Неужели женитьба то же, что и пьянство? У пьяницы болитъ голова, но только что онъ немножко протрезвится, такъ опять хватается за стаканъ... Нѣтъ, Эрлахъ, ты много надѣлалъ дурачествъ въ жизни, но жениться,—ты этого никогда не сдѣлаешь; это не твое дѣло!.. Кто, стоя на берегу, видитъ, какъ люди тонутъ въ рѣкѣ, и несмотря на то самъ бросается въ воду—тотъ пускай утонетъ!

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Эрлахъ и совѣтникъ.

Совѣтникъ *(бѣжитъ къ нему).* Эрлахъ! другъ мой, Эрлахъ! *(Они въ молчаніи прижимаютъ другъ друга къ сердцу).*

Эрлахъ *(съ чувствительностью).* Старой ребенокъ!—Я очень радъ, что тебя вижу. *(Пожимаетъ ему руку).* Право, очень радъ! *(Беретъ его за подбородокъ).* Похудѣлъ, но все тотъ же!—Что это? Я думаю, ты плачешь—и! стыдись! *(Отвертывается, чтобы скрыть свои слезы).* Ха! какъ муха меня укусила!

Совѣтникъ. Да, я плачу! и благодарю тебя, что ты не пришелъ туда въ компанію: тамъ бы я долженъ скрыть эти пріятныя для меня слезы.

Эрлахъ. Но зачѣмъ у тебя такая компанія? Это не нравится мнѣ.

Совѣтникъ. Мы послѣ поговоримъ объ этомъ. Пусть ихъ играютъ и танцуютъ. Но мы уже восемь лѣтъ не видались; доброй Эрлахъ, каково ты поживаешь?

Эрлахъ. Очень хорошо. Я отставленъ капитаномъ.

Совѣтникъ. Зачѣмъ же отставленъ?

Эрлахъ. Такъ мнѣ захотѣлось. — Къ тому же одна старая тетка собралась умереть и была такъ умна, что оставила меня наслѣдникомъ своего имѣнія.

Совѣтникъ. Радуюсь! Итакъ ты будешь жить у меня? не такъ ли?

Эрлахъ. Конечно, я бы хотѣлъ этого, но...

Совѣтникъ. Къ чему же «но»?

Эрлахъ. Ты опять женился, я слышалъ.

Совѣтникъ. Предобрая жена!

Эрлахъ. Станется — по образъ твоей жизни — ты меня знаешь — это не мое дѣло!

Совѣтникъ. Неужели думаешь ты, что и я люблю это?

Эрлахъ. Зачѣмъ же ты терпишь то, что перемѣнить можешь?

Совѣтникъ. Я двадцать лѣтъ старѣе жены моей — неужели ей отказывать во всѣхъ удовольствіяхъ?

Эрлахъ. Ты могъ бы прежде все обдумать.

Совѣтникъ. Я любилъ ее...

Эрлахъ. О, это не мое дѣло!

Совѣтникъ. Развѣ Эрлахъ не нашелъ еще побѣдительницы?

Эрлахъ. Другъ мой! Любовь похожа на осну: если она въ молодыхъ лѣтахъ не придетъ, то никогда не придетъ уже, или рѣдко...

Совѣтникъ *(смѣючись).* А если придетъ, то она опаснѣе.

Эрлахъ. Но ее должно беречься.

Совѣтникъ. Но не шутя—въ теперешнемъ твоемъ положеніи нечево другого дѣлать, какъ жениться.

Эрлахъ. Что?.. Я лучше застрѣлюсь!

Совѣтникъ. Все такой же непріятель женщинъ!

Эрлахъ. Худо, если жена никуда негодится, еще хуже, когда она добра.

Совѣтникъ. Ты шутишь!

Эрлахъ. Нѣтъ, совсѣмъ не шучу!— добрую жену я буду любить!

Совѣтникъ. Тѣмъ лучше!

Эрлахъ. Тѣмъ хуже! Мужъ, которой *любитъ* жену свою, невольникъ собственнаго *своего сердца.* Одно ея желаніе, котораго онъ исполнить не можетъ, мучитъ его больше, чѣмъ ее самое.

Совѣтникъ. Добрая жена не имѣетъ такихъ желаній.

Эрлахъ. Однако-жъ, однако-жъ! — Желанія похожи на пыль! Нѣтъ ни одного ящика и закоулка, въ которой бы она не проникнула.

Совѣтникъ *(улыбаясь).* Любовь обмететъ ее!

Эрлахъ. Гмъ! Но тотъ, кто женится, долженъ отвыкать отъ многихъ маленькихъ привычекъ, которыя онъ имѣлъ десять лѣтъ или больше, а отвыкнуть отъ нихъ иногда труднѣе, чѣмъ отвыкнуть отъ какого-нибудь порока! Всякой имѣетъ такія привычки: стулъ, на которомъ онъ сидитъ, любимое его мѣсто за столомъ и тому подобныя малости—вдругъ является жена-хозяйка, и всякая вещь принимаетъ другой видъ. Мужъ хочетъ говядины, но для жены дѣлаютъ изъ нее фрикасе, онъ ѣдетъ съ нею въ каретѣ тогда, когда бы хотѣлъ ѣхать верхомъ; отвыкаетъ курить табакъ для того, что жена не любитъ табачнаго духу...

Совѣтникъ. Малость!

Эрлахъ. И маленькія деревья имѣютъ свои коренья, которыя со всѣхъ сторонъ вростаютъ въ землю,—а въ моихъ лѣтахъ и маленькаго деревца вырвать не захочешь, хотя бы оно было и негодное.

Совѣтникъ. Въ твоихъ лѣтахъ? да? ты еще ничуть не старъ!

Эрлахъ. Пусть и такъ, но безпокойства, сопряженныя съ женитьбой? — Только дорогая жена моя занеможетъ— бѣда — у нее болитъ голова, я трясусь; у нее нѣтъ аппетиту — у меня тоже; у нее лихорадка — я внѣ себя! она принуждена слечь въ постелю — я умираю съ горя... Нѣтъ, нѣтъ! Это не мое дѣло!

Совѣтникъ. Ты не говоришь ничего о супружескихъ радостяхъ!

Эрлахъ. Да, правда! ужъ не ты ли самъ образецъ супружескихъ радостей? И это шумное собраніе считаешь ты также радостью?

Совѣтникъ *(со вздохомъ)*. Это другое дѣло—это можетъ перемѣниться.

Эрлахъ. Признайся: тебя это тревожитъ? Ты любишь покой! тебѣ бы хотѣлось въ деревню...

Совѣтникъ. Изъ любви къ женѣ моей могъ бы я пріѣзжать всякую масленицу въ городъ; но цѣлой годъ здѣсь жить мнѣ невозможно,—достатокъ мой того не позволяетъ.

Эрлахъ. Зачѣмъ же ты ей этого не скажешь?

Совѣтникъ. Не могу. Въ домѣ отца своего она привыкла къ такой жизни. Еще въ невѣсткахъ спрашивала она меня съ милою довѣренностію о моихъ доходахъ? — «Я охотно поѣду въ деревню», говорила она мнѣ: «скажите все чистосердечно».

Эрлахъ. И ты этого не сдѣлалъ?

Совѣтникъ. Я—виноватъ! Я стыдился ей признаться!—«Живите по-прежнему», сказалъ я ей: «вамъ не будетъ недостатку въ деньгахъ».

Эрлахъ. И это такъ и осталось?

Совѣтникъ. Она хотѣла знать, люблю ли я уединеніе? — «Я буду такъ жить, какъ вамъ угодно», сказала она мнѣ.

Эрлахъ. А ты?

Совѣтникъ. Я не могъ преодолѣть себя и старался какъ можно меньше дать ей почувствовать, что она вышла за 40-лѣтняго человѣка.

Эрлахъ. То есть, ты стыдился лѣтъ своихъ?

Совѣтникъ. Можетъ быть!

Эрлахъ. И хотѣлъ казаться богатѣе, чѣмъ ты есть въ самомъ дѣлѣ?

Совѣтникъ. Теперь ужъ поздно это переправить.

Эрлахъ. Пустое, разумъ никогда поздно не приходитъ!

Совѣтникъ. Это еще ничего, мое сердце этимъ не трогается, но...

Эрлахъ. Еще-таки «но»?

Совѣтникъ. Тебѣ, тебѣ одному признаюсь я въ моихъ слабостяхъ. Меня мучитъ ужасное чувство ревности. Я всякой день долженъ видѣть тьму обожателей вокругъ ее. Правда, все это негодяи! Но несчастливъ тотъ мужъ, котораго безпокоятъ негодяи! Часто для провожденія времени теряетъ женщина свою добродѣтель!

Эрлахъ. Зачѣмъ же ты ей этого не скажешь?

Совѣтникъ. Она сама сто разъ спрашивала у меня: «Не ревнивы ли вы? Одно слово, и я отгоню отъ себя всѣхъ этихъ бабочекъ».

Эрлахъ. Что жъ ты ей отвѣчалъ?

Совѣтникъ. То же, что и будучи женихомъ отвѣчалъ ей—что моя довѣренность къ вамъ не имѣетъ предѣловъ.

Эрлахъ. Это значитъ, что ты стыдишься самъ своей ревности.

Совѣтникъ. Правда, добрый Эрлахъ!—Правда—но что дѣлать?

Эрлахъ. Не проклятая ли это вещь «ложной стыдъ»? И половины не было бы несчастныхъ на свѣтѣ, если бъ всякой говорилъ, не стыдясь, то, что у него на сердцѣ. Вотъ мужъ, котораго жена любитъ, хочетъ дѣлать для него все, что ему угодно, хочетъ перемѣнять все, что ему не нравится—а онъ стыдится и молчитъ.

Совѣтникъ. Я чувствую, что я не правъ, но не имѣю духу исправиться.

Эрлахъ. Если жена твоя такова, какъ ты мнѣ ее описываешь, то я могу помочь тебѣ: вотъ это мое дѣло! — Теперь скажи мнѣ, что подѣлываетъ моя дочка Эмма? Не пойти ли мнѣ за нею въ собраніе?

Совѣтникъ. Тамъ ты не найдешь ее!

Эрлахъ. Вотъ что́ меня радуетъ! Я скажу тебѣ, что у меня много кое-чего въ головѣ. Когда она будетъ побольше...

Совѣтникъ. Она и то ужъ велика.

Эрлахъ. ...и когда можно будетъ отдать ее замужъ...

Совѣтникъ. Это и теперь можно сдѣлать.

Эрлахъ. Шутишь?.. Она была еще ребенкомъ тогда, когда я въ послѣдній разъ здѣсь былъ.

Совѣтникъ. Черезъ восемь лѣтъ можно вырости.

Эрлахъ. Но она еще все слишкомъ молода. Судьба отдала мнѣ на руки эту сиротку, я хочу объ ней стараться. У меня нѣтъ ни законныхъ дѣтей, ни незаконныхъ. Она должна называть меня папинькой, какъ прежде... А когда смерть позоветъ меня къ себѣ, то ей оставлю я все свое имѣніе.

Совѣтникъ. Ты не знаешь еще ничего объ ея родѣ?

Эрлахъ. Ни крошки. Я все еще могу быть отцомъ ея!

Совѣтникъ. Зачѣмъ же отцомъ? лучше мужемъ!

Эрлахъ. Куда какъ хорошо выдумалъ!

Совѣтникъ. Она такъ радовалась твоему пріѣзду, почти такъ же, какъ невѣста жениху.

Эрлахъ. Вотъ? Радовалась? Ну, пошли же ее сюда!

Совѣтникъ. Въ минуту! *(Хочетъ идти).* Ты не велѣлъ еще перенести сюда своихъ пожитковъ?

Эрлахъ. Нѣтъ еще, братецъ! Ты знаешь меня, я хочу узнать прежде, все ли здѣсь по моему вкусу.

Совѣтникъ. Эрлахъ! Я не думаю...

Эрлахъ. Поди, поди! мы увидимъ!

(*Совѣтникъ уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Эрлахъ (*одинъ*). Прежде узнаемъ г-жу совѣтницу. Супружество часто усыпляло дружбу, а, если она хотя одинъ разъ заснетъ, то никогда ужъ не проснется. Любовь одна выпьетъ всю чашу, а для дружества не оставитъ ни капли... Сохрани меня Богъ! Бѣдной Флаксландъ! ты хочешь уговорить меня жениться! Ты!— какъ птица въ западнѣ!.. Гмъ! Пой, сколько хочешь, меня тебѣ не заманить!

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Эрлахъ. Эмма.

Эмма *(бѣжитъ къ Эрлаху съ распростертыми руками).* Избавитель мой! благодѣтель мой!

Эрлахъ *(отступаетъ назадъ съ удивленіемъ).* Что это? Что? Кто вы таковы?

Эмма. Развѣ не знаете вы своей Эммы?

Эрлахъ *(съ удивленіемъ).* Вы? Моя Эмма?

Эмма. Зачѣмъ не «ты», какъ прежде?

Эрлахъ. Неужели вы та самая Эмма, которая восемь лѣтъ была не выше этой трости?

Эмма. И которая тогда лепетала только то, что́ нынче чувствуетъ.

Эрлахъ. Которая сидѣла на моихъ колѣнахъ и боялась бороды моей?

Эмма. Та самая, которую вы всегда осыпали благодѣяніями, и которой теперь приласкать не хотите!

Эрлахъ (*колеблясь между замѣшательствомъ и любовью*). Ну, если это такъ, то это меня радуетъ — васъ — ты — вы — тьфу къ чорту!.. Поди, поцѣлуй меня!

Эмма. Вотъ такъ говорили вы прежде. *(Обнимаетъ его).*

Эрлахъ (*цѣлуетъ ее въ лобъ и глядитъ на нее съ восхищеніемъ*). Эмма! ты стала велика и прекрасна, лицо твое миловидно! Все въ тебѣ мнѣ нравится. О! теперь не промѣняю я тебя ни за что въ свѣтѣ. (*Треплетъ ее по щекамъ*). Чортъ побери! мнѣ такъ теперь весело, что—смотри, не смѣйся надо мною *(щупая глаза)*. Чортъ меня возьми, это слезы! Гмъ! Это не мое дѣло!

Эмма. Мнѣ смѣяться? Ахъ, я такъ тронута! *(Плачетъ).*

Эрлахъ. Ты плачешь?—Слушай, Эмма, я не могу терпѣть этого—я уйду—слышишь ли?

Эмма (*утираетъ слезы свои и съ пріятностію усмѣхается*).

Эрлахъ. Вотъ такъ!—Это мое дѣло—дорогая моя Эмма. Этимъ взглядомъ могла бы ты остановить цѣлой полкъ въ самомъ жару сраженія. Но, бставя шутки—говорить тебѣ «ты» не годится.

Эмма. Для чего же, батюшка?

Эрлахъ. Батюшка!—Чортъ побери!—Почему я твой батюшка? — Неужели я такъ старъ? — Гмъ! — Я вить моложе совѣтника!—Осьмью годами!—Гмъ!..

Эмма. Ваши благодѣянія...

Эрлахъ. Опять... (*Горячо*). Слушай, Эмма! (*Тихо*) милая моя Эмма—не упоминай объ этомъ, пожалуйста,—слышишь ли?.. Если ты хочешь, чтобъ я говорилъ тебѣ «ты», то пусть буду я твоимъ братомъ, это лучше.

Эмма. Сердцу моему не нужно родство для того, чтобы любить насъ.

Эрлахъ. Да родные-то развѣ лучше? Они любятъ другъ друга только заочно!

Эмма. Вы къ намъ такъ рѣдко писали!

Эрлахъ. Учитель мой бивалъ меня часто по пальцамъ, когда я, бывало, ошибусь въ письмѣ, и такъ напугалъ, что я и теперь до смерти не люблю писать. Но, вѣдь, тебѣ ни въ чемъ не было недостатку?

Эмма. Ваши милости...

Эрлахъ. Опять за милости! да позабудь объ нихъ — я не могъ много для тебя сдѣлать! Мои доходы этого не позволяли. Но впередъ буду давать тебѣ больше. Одна разсудительная тетушка сдѣлала меня своимъ наслѣдникомъ, милая Эмма! Дай Богъ ей царство небесное, она оставила намъ изрядное имѣньицо. Я выпросился въ чистую и пріѣхалъ прожить здѣсь зиму.

Эмма. О, это славно!

Эрлахъ. Но здѣшняя жизнь не по мнѣ; если всякой день такъ, какъ нынче (*качаетъ головой*), то... Совѣтникъ сказалъ мнѣ, моя милая Эмма, что ты не любишь собраній.

Эмма. Привычка къ уединенію!

Эрлахъ. Привычка только? Итакъ—не склонность?

Эмма. Неужели вы дурно думаете объ дѣвушкѣ, у которой сердце бьется тогда, когда она видитъ веселое собраніе?

Эрлахъ. Ну, зачѣмъ же ты туда не ходишь?

Эмма. Для того, что это ко мнѣ нейдетъ; для того, что я бѣдная сирота, которая живетъ чужими благодѣяніями; для того...

Эрлахъ. Ну, для того!—что тамъ еще? досказывай!

Эмма. Передъ вами я не хочу скрывать своихъ слабостей!—Для того, что тамъ станутъ смѣяться надъ простой моей одеждой.

Эрлахъ. То-есть, ты стыдишься своего гардероба?

Эмма. Стыжусь—но не здѣсь въ домѣ, гдѣ я съ лучшими друзьями своими, а тамъ! Вы знаете, каковъ свѣтъ,—онъ судитъ только по наружности.

Эрлахъ. Вздоръ, сударыня, вздоръ! Глупой, ложной стыдъ! Дѣвушка всегда хорошо одѣта, когда невинность нарядъ ея. Но тебѣ не будетъ ни въ чемъ недостатку. Такой фартукъ съ карманами очень приталъ къ тебѣ; но карманы не должны быть пусты. (*Хочетъ положить потихоньку кошелекъ въ карманъ ея*).

Эмма (*со смятеніемъ*). Нѣтъ! нѣтъ! ради Бога, нѣтъ! Вы меня не поняли! Вы меня въ стыдъ приводите! У меня больше, нежели сколько я могу требовать! Если вы любите меня, то возьмите свои деньги назадъ.

Эрлахъ. Ну, ну! Хорошо, хорошо! Только успокойся. (*Кладетъ деньги въ свой карманъ*). Извини меня, можетъ быть, я немного былъ неучтивъ. Искусство давать очень трудно, а я ему не учился.

Эмма. Я только хотѣла вамъ признаться въ моихъ слабостяхъ. Я содержана здѣсь въ домѣ, какъ дочь или сестра совѣтника. Какъ часто принуждали меня брать наряды и дорогія платья, но я всегда отказывалась, для того, что это мнѣ неприлично. Можетъ быть, у меня есть родители, которые въ бѣдности, а я буду ходить въ атласѣ! Можетъ быть, я крестьянская дочь, а буду носить бриллианты.

Эрлахъ. Крестьянская дочь? Нѣтъ, право, нѣтъ!

Эмма (*скоро, съ смятеніемъ*). Вы что-нибудь знаете о моихъ родителяхъ?

Эрлахъ. Нѣтъ, милая Эмма! только догадки.

Эмма. О, сообщите мнѣ эти догадки! Разскажите мнѣ исторію моего избавленія! Когда вы насъ оставили, за 8 лѣтъ передъ этимъ, я была еще ребенокъ и

не помнила ничего. Послѣ совѣтникъ хотя мнѣ и разсказывалъ, но онъ, вѣрно, забылъ всѣ мелкія, столько интересныя для меня, обстоятельства! Вы сами знаете, какъ часто бездѣлица можетъ открыть самое важное. Я, можетъ быть, могу помочь вамъ воспоминаніями, оставшимися мнѣ отъ моего младенчества,—я еще могу описать лицо моей матери, можетъ быть, она еще жива!.. Боже мой! можетъ быть, она жива!..

Эрлахъ. Станется! однако жъ, это не вѣрно. Слушай.—Въ одну ночь мы осаждали Карлстовинъ; наши солдаты перепились пьяны и зажгли городъ. Онъ загорѣлся со всѣхъ четырехъ угловъ. Тѣ, которые побѣжали вонъ, были всѣ почти побиты,—не было ни начальства, ни послушанія. Я не могу вспомнить объ этой ужасной ночи! Тщетно кричалъ я во все горло,—право, думаю, что и громъ не испугалъ бы ихъ. Наконецъ, день показался и освѣтилъ ужасную эту сцену. Покрытые кровью, пылью, угольями и всякою дьявольщиною, лежали наши и хрипѣли. Все было пусто и ужасно тихо. Я копалъ шпагою въ грязи и развалинахъ, бросался туда, сюда, и вдругъ услышалъ тихой стонъ у ногъ своихъ. Я зачалъ разбрасывать горѣлыя бревна, и увидѣлъ дѣтскую голову, которая кричала: «маминька!..» Это была ты, милая Эмма; тѣло твое было почти погребено подъ развалинами: удивляюсь, какъ ты не умерла! Я тотчасъ принялся тебя вытаскивать,—какъ скоро одна ручонка твоя опросталась, то ты тотчасъ сдѣлала мнѣ поклонъ. Это меня неописанно какъ тронуло... «Погоди немного, бѣдное созданье, — сказалъ я: я тебѣ помогу». Слуга мой стоялъ недалеко оттуда — я кликнулъ его, мы тебя вытащили, сохранили тебѣ жизнь. Я взялъ тебя на руки, ты спросила о моемъ имени. «Къ маминькѣ»,—сказала ты мнѣ по-англійски умильнымъ голосомъ. «Къ маминькѣ»,—повторила ты по-французски, думая, что я тебя не понимаю, а, наконецъ, и по-нѣмецки. — Кто же твоя маминька? спросилъ я.—«Она здѣсь въ узкой улицѣ, добрая женщина, въ желтомъ домѣ»... Тамъ было много узкихъ улицъ, желтыхъ домовъ и женщинъ...—нѣсколько бѣжавшихъ спрятались въ лѣсу, я и туда пошелъ; искалъ, искалъ, — нѣтъ ничего! Что дѣлать? Мы должны были отправиться на корабль. Я не могъ рѣшиться оставить тебя въ горящихъ развалинахъ, и просилъ позволенія у корабельнаго капитана взять тебя съ собой. Онъ былъ тронутъ твоею невинностію—и позволилъ. Ты была тогда такъ мала, такъ мала, что я не понимаю, какъ могла ты вырости такъ много...

Эмма. Ахъ! а больше вы ничего не знаете?

Эрлахъ *(пожимая плечами)*. Ничего! Мы пріѣхали счастливо въ Кирону, и я отдалъ тебя къ другу моему, совѣтнику.

Эмма. А имени своего я не могла вамъ сказать?

Эрлахъ. Имя твое было и тогда Эмма, и для того почелъ я тебя англичанкой. Но ты хорошо говорила по-французски и по-нѣмецки, что заставило меня судить, что ты не низкаго происхожденія. Бѣлье твое, на которомъ намѣчено *А. М.* — вотъ одинъ оставшійся признакъ.

Эмма. О, если бъ только я встрѣтилась съ моими родителями, то вѣрно бы ихъ узнала! Батюшка мой былъ смуглой, толстой человѣкъ! А матушка—о, я ее никогда не позабуду! Она была такъ блѣдна, такъ часто плакала—теперь, можетъ быть, она плачетъ еще чаще—и я не могу соединить слезъ своихъ съ ея слезами. *(Рыдаетъ)*.

Эрлахъ. Полно, Эмма, полно — перестань плакать; сюда идутъ какіе-то разряженные; они вѣрно и послѣдній остатокъ сожалѣнія теперь протанцовали.

Эмма. Осушить слезъ моихъ мнѣ невозможно, — позвольте мнѣ уйти. *(Убѣгаетъ)*.

Эрлахъ *(одинъ)*. Добрая дѣвка! Только жаль мнѣ, что стала такъ велика и такъ хороша; чортъ меня возьми, я никакъ

не могу пріучить себя говорить ей «ты»!— Велѣть внести свои пожитки.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Эрлахъ, совѣтница, Вильгельмина, г. Кугель, виконтъ Мальякъ.

Совѣтница. Добро пожаловать, г. капитанъ! Мы вамъ рады отъ всего сердца! Я услышала теперь отъ моего мужа о вашемъ пріѣздѣ.

Эрлахъ *(съ холодною учтивостію).* Конечно, я имѣю честь видѣть г-жу совѣтницу?

Совѣтница. Если это дѣлаетъ вамъ столько же мало удовольствія, сколько чести—то еще одно мое желаніе не исполнилось.

Мальякъ. Браво! браво!

Эрлахъ. Изъ этого видно, что ваши желанія очень скромны.

Совѣтница. Мы васъ такъ долго ждали!

Эрлахъ. Тѣмъ хуже для меня! Тому, кого ждешь, обыкновенно, меньше обрадуешься.

Совѣтница. Сто разъ надлежало мнѣ описывать лицо ваше для того, что если я сильно желаю узнать интереснаго для меня человѣка, то всегда даю ему совсѣмъ другой образъ. Напримѣръ, я воображала себѣ, что вы человѣкъ веселой, съ орлинымъ носомъ и пламенными глазами...

Эрлахъ. Покорной слуга!

Совѣтница. Я съ Флакеландомъ хотѣла биться объ закладъ, что ваши брови не такъ густы...

Мальякъ. Ха! ха! ха! брависсимо!

Эрлахъ *(смотря на Мальяка).* Угрюмость годится для того, чтобы стращать глупцовъ и надоѣдалъ; честный и добрый человѣкъ легко откроетъ подъ нею чистую душу.

Совѣтница. Но, г. служивой, когда хочешь быть съ кѣмъ-нибудь другомъ, то не начинаешь недовѣрчивостію, которую возбуждаетъ угрюмость,—словомъ, я, съ моей стороны, рѣшилась, во что бы то ни стало, сдѣлаться вашимъ другомъ, ибо мнѣ скучно быть вашей соперницей.

Эрлахъ. Соперницей?

Совѣтница. Да, да! государь мой, ужъ я нѣсколько разъ ревновала къ вамъ Флакеланда! Не было дня, въ которой бы онъ ни говорилъ объ васъ съ восторгомъ—и если бъ я была хотя мало недовѣрчива, то почла бы васъ вторымъ шевалье.

Мальякъ. Ха! ха! ха! браво! брависсимо!

Совѣтница. Г. виконтъ, я могу васъ охотно уволить отъ обязанности хвалить всякое мое слово.

Вильгельмина. Ха! ха! ха! браво! брависсимо!

Мальякъ *(Вильгельминѣ).* Вы мнѣ за это заплатите, г-жа насмѣшница!

Вильгельмина. Чѣмъ? Не опять ли вы сдѣлаете пѣсню?

Эрлахъ. Скоро придется и мнѣ сказать «браво»!

Вильгельмина *(Эрлаху).* Неужели вы хотите этому слову сдѣлать столько чести?

Эрлахъ *(смѣючись).* Берегъ охота, милостивая государыня!

Совѣтница. Что «за милостивая государыня»! Г. капитанъ, развѣ вы не знаете Вильгельмины, дочери своего друга?

Эрлахъ *(съ удивленіемъ).* Какъ, это Вильгельмина?.. Ахъ, виноватъ!.. виноватъ!—я хотѣлъ сказать дѣвица Флакеландъ!

Вильгельмина. Безъ церемоніи, г. капитанъ, зовите меня Вильгельминой, а то мнѣ въ первой разъ будетъ досадно, что я такъ выросла.

Эрлахъ. Выросла и похорошѣла.

Вильгельмина. И покраснѣла, г. капитанъ.

Эрлахъ. Я не люблю льстить, и скажу вамъ, что красота немного значитъ—умные люди почитаютъ добродѣтель.

Мальякъ. Ахъ, г. капитанъ, она столько же сурова, сколько прекрасна!

Эрлахъ *(къ Вильгельминѣ).* Конечно, обожатель?

Вильгельмина. Да, похожъ на него!

Совѣтница. Это—г. виконтъ Мальякъ, французской эмигрантъ.

Эрлахъ. Покорной слуга!

Совѣтница. А это—господинъ Кугель, милой нашъ сосѣдъ.

Эрлахъ. А! Вотъ это мое дѣло! Я ужъ знакомъ съ этимъ господиномъ—мы съ нимъ одного поля ягода!

Совѣтница. Руку вашу, г. капитанъ! Пойдемте въ собраніе—тамъ узнаете вы много именъ и титуловъ.

Эрлахъ. Не лучше ли пойти въ цвѣтникъ,—тамъ узнаю я не одни названія цвѣтовъ, но буду имѣть наслаждаться и ихъ запахомъ, между тѣмъ какъ въ вашемъ собраніи...

Мальякъ. Я вижу, что г. капитанъ—капитанъ новою философіею.

Эрлахъ. «Капитанъ»—браво! Выраженіе отборное! Скоро надобно будетъ построить карантинъ на границахъ, чтобъ въ немъ удерживать тѣхъ, которые «капитаны» умничаньемъ и знатностію.

Совѣтница. Ваша фамилія такъ же знатная!

Эрлахъ. Къ сожалѣнію, въ свѣтѣ фамилія важнѣе, нежели человѣкъ... Гмъ! Что мнѣ за нужда, что мой предокъ—славной Рудольфъ Эрлахъ? Развѣ я отъ того лучше? Я—Гансъ Эрлахъ, служу королю своему съ возможнымъ усердіемъ; кто меня любитъ за собственныя мои достоинства, тому и я съ дружбою подаю руку,—а для Рудольфа Эрлаха, котораго кости очень спокойно лежатъ въ Страсбургѣ, я не хочу, чтобъ кто-нибудь спялъ и шляпу предо мною.

Совѣтница. Очень хорошо, г. капитанъ! Я подаю теперь руку свою честному, доброму Гансу Эрлаху. Но онъ не долженъ также позабывать пословицы: «не плыви противъ вѣтру»!

Эрлахъ. Извините, я эту пословицу помню, но ей слѣдовать не буду.

Совѣтница. Но бѣдной мужъ мой сидитъ теперь одинъ между ими! Пойдемъ къ нему на помощь. *(Уходитъ съ нимъ).*

***Эрлахъ** (поневолѣ за ней слѣдуя).* Я вашъ невольникъ, а невольниковъ можно вести куда угодно.

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Вильгельмина, виконтъ Мальякъ, г. Кугель.

Мальякъ. Г. капитанъ немного тяжеленекъ.

Кугель. Да, онъ честенъ—а это въ модномъ свѣтѣ значитъ тяжеленекъ.

Вильгельмина. Хотите ли вы идти въ собраніе?

Мальякъ. Вы шутите. Комета никогда не спрашиваетъ у хвоста своего, хочетъ ли онъ за ней слѣдовать.

Вильгельмина. Ха! ха! ха! Знаете ли вы, что хвостъ кометы составленъ изъ водяныхъ паровъ?

Мальякъ. Изъ чего вы прикажете.

Вильгельмина. И вы то же думаете, г. Кугель.

Кугель. Я Вильгельмину не ровняю ни съ чѣмъ!

Вильгельмина *(садясь небрежно на дерновую скамейку).* Ну, хорошо, государи мои, останемся здѣсь. Мнѣ не хочется говорить—забавляйте меня, чѣмъ хотите.

Мальякъ. Если бы я могъ воспользоваться этой прекрасной минутой, чтобы любовь свою...

Вильгельмина. Нѣтъ! нѣтъ! Вы слышите—я хочу забавляться.

Мальякъ. Э бьень ну феронъ вонъ лектюръ—у меня въ карманѣ «Новая Элоиза».

Вильгельмина. Мнѣ батюшка не приказалъ читать ее!

Кугель. Вотъ Якобіевъ «Вольдемаръ»!

Вильгельмина. Я уже два раза прочла его съ Эммой!—Скажите мнѣ, г. виконтъ, отчего называютъ эту книгу «Новой Элоизой»?

Мальякъ. Капризъ сочинителя! Во всей книгѣ нѣтъ ни слова объ Элоизѣ!

Кугель *(смѣется).*

Вильгельмина. Однако-жъ это должно имѣть какое-нибудь основаніе?

Мальякъ. Конечно.

Вильгельмина. Вѣрно, Элоиза была очень хороша?

Мальякъ. Вотъ—силь ву пле—и портретъ ея. *(Подаетъ ей свою табакерку).*

Вильгельмина. Сходенъ ли онъ?

Мальякъ. Какъ двѣ капли воды!

Вильгельмина *(шутливо).* Вы вѣрно ее знали?

Мальякъ. Ее? нѣтъ! она уже нѣсколько лѣтъ, какъ умерла, но дядю ея, Фульберта. Честной старикъ! Его даже и въ картинахъ представляютъ!

Вильгельмина. Вы смѣетесь, г. Кугель?

Кугель. Помилуйте! совсѣмъ нѣтъ!

Вильгельмина. Что-жъ? дядя этотъ былъ дворянинъ?

Мальякъ. Онъ финансье; съ такими людьми хорошо обходятся—у нихъ всегда хорошій столъ.

Вильгельмина. А Абеларлъ?

Мальякъ. Онъ былъ тогда авока о парламань и пріобрѣлъ себѣ нѣкоторую славу.

Вильгельмина. Конечно, и онъ тогда былъ старъ уже!

Мальякъ. И! совсѣмъ нѣтъ!—въ самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ.

Кугель *(смѣясь).* Какъ же? ему тогда было только 6 или 7 сотъ лѣтъ...

Мальякъ. Какъ, государь мой?

Кугель. По крайней мѣрѣ, Бейль въ своемъ Диксіонерѣ говоритъ, что онъ родился въ 11-мъ столѣтіи.

Мальякъ. Онъ лжетъ! Жанъ сви сертень, киссе Бель, се стетъ кельк омъ обскюръ.

Кугель. Бейль?..—Гм!

Мальякъ. Словомъ, государь мой, когда мужчина скажетъ другому, что онъ говоритъ неправду, то онъ не французъ, и неблагородномыслящій человѣкъ.—Этому Абеларду 40 или 50 лѣтъ не болѣе—увѣряю васъ честью! Понимаете ли вы меня? Честью!.. Если же вы мнѣ не вѣрите, то я готовъ на ближайшемъ лугу васъ увѣрить... *(Онъ кланяется Вильгельминѣ, смотритъ презрительно на Кугеля и уходитъ, прыгая и поя).*

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Вильгельмина и Кугель.

Вильгельмина. Это, кажется, эйнъ карте?

Кугель. Похоже на то!

Вильгельмина. И вы не идете?

Кугель. Я знаю по опыту, что онъ побѣдитъ меня.

Вильгельмина. Смѣшно бы было, если вы за Абеларда да стали драться!

Кугель. Люди дерутся за всякую пустошь!

Вильгельмина. Правда! Мужчины въ этомъ случаѣ мученики!

Кугель. Желаніе быть всегда правымъ—страсть, а страсти воспламеняются легко, какимъ бы то ни было предметомъ!

Вильгельмина. Вамъ бы не надлежало говорить этого дѣвушкѣ.

Кугель. Почему?

Вильгельмина. Потому что вы этимъ полъ вашъ сдѣлаете недовѣрчивымъ къ любви вашего пола!

Кугель. Развѣ я говорилъ о любви?

Вильгельмина. Развѣ любовь не страсть?

Кугель. Истинная любовь не страсть—это сильная склонность ко всему доброму и любезному въ нашемъ сердцѣ.

Вильгельмина. Я не думаю, чтобъ эта дефинація всѣмъ понравилась. Страсти лишаютъ разсудка—мое самолюбіе требуетъ, чтобы вашъ разсудокъ въ дурацкой шапкѣ лежалъ невольникомъ у ногъ моихъ. Какова картина!

Кугель. Хороша! Только сухими красками, которыя портятся отъ солнца.

Вильгельмина. Дѣвушки рѣдко бываютъ знатоки въ этомъ!

Кугель. Скажите лучше, они не хотятъ быть знатоками.

Вильгельмина. Ошибаетесь, сударь!

Кугель. Докажите!

Вильгельмина. Наши доказательства въ сердцѣ, а доказательства мужчинъ въ головѣ.

Кугель. Голова и сердце должны почаще посѣщать другъ друга.

Вильгельмина. Это скучно.

Кугель. Такъ пускай они соединятся и все дѣлаютъ общими силами.

Вильгельмина. Это пахнетъ женитьбой, а я до смерти не люблю женитьбы.

Кугель. Вы вѣрно шутите — я бьюсь объ закладъ, что на своей свадьбѣ станете вы защищать женитьбу со всевозможнымъ жаромъ.

Вильгельмина. На моей свадьбѣ? Сохрани меня Богъ! Неужто я когда пойду замужъ?

Кугель. Это отъ васъ зависитъ!

Вильгельмина. Отъ меня? Какой смѣхъ! какъ будто можно сказать: нынче хочу я отдать тому-то свое сердце!

Кугель. Для чего же нельзя? Точно такъ же, какъ: нынче я преклоню ухо просящему,—нынче хочу я несчастнаго сдѣлать счастливымъ.

Вильгельмина. О премудрый мой г. Кугель! Вы увеличиваете достоинство сердца дѣвушки.

Кугель. Я говорю только о вашемъ сердцѣ.

Вильгельмина. Котораго вы не знаете.

Кугель. Мнѣ не знать вашего сердца? Я не забылъ еще веселыхъ лѣтъ нашего младенчества!.. О, куда дѣвалось это счастливое время, когда мы жили почти вмѣстѣ—всякой веселой лѣтній вечеръ соединялъ насъ; вы всегда радостно бѣжали ко мнѣ навстрѣчу, называли меня всегда Августомъ, говорили мнѣ ты. А когда рѣзвая, веселая Вильгельмина убѣгала изъ дѣтскихъ нашихъ круговъ, чтобы раздѣлить свои послѣднія деньги съ нищимъ или поднять упадшаго ребенка, когда она сберегала свои фрукты для своего батюшки, или рвала цвѣты, чтобы украсить ими свою маминьку — о, Вильгельмина! Вильгельмина!—мнѣ не знать вашего сердца!..

Вильгельмина *(съ замѣшательствомъ)*. Такъ! это было прекрасное время!

Кугель. Время невинности!

Вильгельмина. Ваша правда—ничто не можетъ сравниться съ младенчествомъ!

Кугель. Развѣ одна истинная любовь.

Вильгельмина. И она такъ же скоро проходитъ, какъ время дѣтства!

Кугель. Это замѣчаніе большаго свѣта, и въ немъ только оно справедливо. Вильгельмина, не вѣрьте большому свѣту,—въ городѣ всѣ живутъ въ однихъ изображеніяхъ: ландшафты на полотнѣ, любовь на театрахъ. Въ городѣ всякое слово выбрано, а въ деревнѣ всякое слово сходно съ чувствами. Въ городѣ кланяются и говорятъ: покорной слуга!—въ деревнѣ пожимаютъ руку и говорятъ: доброй день. Первое—учтивость, послѣднее—сердечное чувство. «Я люблю васъ», говоритъ горожанинъ съ смѣшною гримасою; «я люблю тебя», скажетъ деревенской съ пылающимъ взоромъ. Первой повторяетъ это сто разъ въ день; послѣдній одинъ разъ въ жизни. Первому любовь служитъ разсѣяніемъ; для послѣдняго она составляетъ блаженство всей его жизни; первой похожъ на цвѣтокъ, которой вянетъ отъ солнца, послѣдній—на дерево, защищающее отъ солнца, и которое никогда, никогда не завянетъ!

Вильгельмина. Я въ первой разъ слышу, что вы стихотворецъ.

Кугель *(горестно)*. Боже мой! Я долженъ молчать—истинныя чувства моего сердца принимаютъ за стихотворство!

Вильгельмина. Я начинаю васъ бояться! Помѣшательство прилипчиво!

Кугель. Помѣшательство!.. Я привыкъ слушать, какъ называютъ благороднѣйшія чувства помѣшательствомъ! Для того-то заперъ я сердце свое и не бросилъ ключъ отъ него въ бурливой океанъ свѣта, а бережливо хранилъ его, какъ мое наилучшее имущество. Я искалъ такой дѣвушки, которой бы человѣкъ постоянной понравился больше вѣтреницы; которая на балѣ не прыгала бы, глядя съ презрѣніемъ на деревенскаго жителя, для того, что онъ танцовать не умѣетъ, и которая не называла бы дуракомъ того, кто молчитъ за шумнымъ столомъ! Ахъ! мнѣ казалось, что я нашелъ ее...

Вильгельмина *(съ замѣшательствомъ и скромно).* И вы обманулись?

Кугель *(съ восторгомъ).* Нѣтъ! Нѣтъ! Я не обманулся! Это прелестное замѣшательство вамъ не измѣняетъ. Такъ, я съ восторгомъ примѣтилъ посреди всеобщаго шуму скуку, изображавшуюся на лицѣ вашемъ; я примѣтилъ, что всѣ сіи свѣтскія веселости обременяли нѣжную душу вашу. О, избѣгайте этихъ бѣдныхъ собраній, въ которыхъ карты и танцы велятъ молчать разсудку; гдѣ всякой увеселяющій васъ называется вашимъ другомъ; гдѣ союзъ, утвержденный низкимъ корыстолюбіемъ, смѣютъ называть любовью; гдѣ слываетъ благодѣтельнымъ тотъ, кто по субботамъ раздѣляетъ при нѣсколькихъ свидѣтеляхъ малое количество денегъ между множествомъ нищихъ; гдѣ почитается мудрымъ тотъ, кто съ безстыдною смѣлостью говоритъ, и часто безъ смысла, о важныхъ матеріяхъ; гдѣ бѣдной, честной человѣкъ, презирающій какого-нибудь сильнаго негодяя, долженъ передъ нимъ съ почтеніемъ нагибаться; гдѣ сожалѣютъ о несчастномъ, тасуя карты, и при началѣ игры о немъ позабываютъ; короче — гдѣ царствуетъ одинъ эгоизмъ, гдѣ страхъ раждаетъ подлость, гдѣ обычай прикрываетъ гнусность порока... Ахъ! бѣгите, бѣгите изъ этого вертепа — здѣсь воздухъ ядовитъ! — бѣгите въ деревню, тамъ всякое благородное чувство оживаетъ и становится сладостнымъ, тамъ любовь и дружба, не рѣдкія, а обыкновенныя, но всегда новыя наслажденія; тамъ почитаешь Бога, когда съ восторгомъ глядишь на лазуревое, чистое небо, тамъ молитва сладка!—тамъ также помогаютъ нищимъ, но гордость не примѣшиваетъ своихъ денегъ къ тѣмъ, которыя даетъ одно благотвореніе,—тамъ можно веселиться безъ картъ, говорить, не обижая своего ближнаго,—тамъ не стыдятся любить, не боятся называть громко подлеца—подлецомъ!.. *(Съ жаромъ).* О! я имѣю только маленькой уголокъ земли, которой могу назвать своимъ,—я спокоенъ и счастливъ въ душѣ своей, и, если ко всему этому Вильгельмина захочетъ присоединить любовь свою,—о тогда, тогда я ничего не захочу въ мірѣ, мое жилище будетъ раемъ! мнѣ останется только окружить его горами, чтобъ зависть не могла въ него проникнуть! *(Помолчавъ и тихо).* Вильгельмина, Вильгельмина! ты молчишь...

Вильгельмина *(въ замѣшательствѣ).* Г. Кугель! Мнѣ кажется, довольно доказываю вамъ свое почтеніе, когда оставляю съ вами мою вѣтренность.

Кугель. Ваше почтеніе заставляетъ меня гордиться,—но блаженство мое зависитъ единственно отъ любви вашей!

Вильгельмина *(помолчавъ).* Г. Кугель, я буду говорить съ вами откровенно... *(Помолчавъ).* Но прежде всего признайтесь мнѣ чистосердечно, какое участіе беретъ красота моя въ любви вашей?

Кугель. Ахъ! Боже мой! это никогда не приходило мнѣ въ голову! Я никогда объ этомъ не думалъ!

Вильгельмина. Такъ подумайте теперь. Мнѣ крайне нужно знать это. Рѣшились ли бы вы на мнѣ жениться, если бы я была дурна и безобразна—признайтесь чистосердечно, по совѣсти?

Кугель. Я не буду стыдиться впечатлѣнія, которое сдѣлали во мнѣ вашъ прекрасный нравъ и красота ваша. Я любилъ бы васъ такъ же, если бы вы были и безобразны; но открылъ ли бы я такъ скоро прекрасную душу вашу подъ безобразными чертами,—за это отвѣчать не смѣю.

Вильгельмина. Ну, если бы теперь, напримѣръ, вдругъ оспа изгадила лицо мое, или я была бы не то, чѣмъ кажусь вамъ?

Кугель. Какая выдумка!

Вильгельмина. Дѣвушки умѣютъ скрывать свои недостатки.

Кугель. Я это испытаю!

Вильгельмина. Нѣтъ, вы не должны этого испытывать,—кто можетъ обмануть честнаго человѣка, тотъ недостоинъ его любви! *(Беретъ его за руку).* Я—г. Ку-

тель—я васъ почитаю... можетъ быть, больше, нежели почитаю, но...

Кугель. Продолжайте, ради Бога!—ради Бога!

Вильгельмина. Я должна вамъ признаться...

Кугель *(дрожа)*. Что вы уже другому отдали сердце свое...

Вильгельмина. Оно свободно.

Кугель. Что же такое?

Вильгельмина. Я—я кажусь...

Кугель. Тѣмъ, что вы въ самомъ дѣлѣ есть.

Вильгельмина. Нѣтъ! нѣтъ! — я... *(Вдали слышенъ вальсъ)*. Танцы опять начинаются! Угодно ли вамъ идти въ собраніе?

Кугель. Какъ! не давши мнѣ отвѣту!

Вильгельмина. Такъ! я... я буду вамъ отвѣчать—только не теперь... Этотъ вальсъ мнѣ очень нравится, пойдемте танцовать.

Кугель. Мнѣ невозможно танцовать теперь.

Вильгельмина. Право!—а музыка такъ хороша,—вы не хотите?—Извините меня, я пойду сыщу себѣ кавалера *(убѣгаетъ)*.

Кугель *(глядитъ горестно за нею сельдъ)*. Возможно ли это! Боже мой! Возможно ли это? Признаніе истинной любви оставить для пустаго вальса! Она нашла честнаго человѣка и хочетъ искать танцовщика!.. Полно обманываться, бѣдное сердце! Прости, моя довѣренность къ добродѣтели и натурѣ!.. Скройся, Кугель, въ твою пустыню, поливай свой огородъ и прогоняй всякую птичку, чтобъ ея пѣніе не воспоминало тебѣ этого проклятаго вальса *(съ бѣшенствомъ уходитъ)*.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Капитанъ Эрлахъ *(входитъ)*. Ѣдятъ, пьютъ, смѣются, а пѣтъ прямой радости! Кто изо всей силы хохочетъ, тотъ, право, не чувствуетъ никакого удовольствія... Одинъ смѣется собственной остротѣ своей, а, если онъ богатъ или знатенъ, то и *другихъ заставляетъ* съ собою смѣяться; другой смѣется двусмысленному слову, которое самъ съ превеликимъ трудомъ могъ выдумать, и посматриваетъ на дамъ, чтобы потѣшиться ихъ замѣшательствомъ. Тутъ улыбается человѣчекъ, стараясь прикрыть свою несносную глупость,—а тамъ хохочетъ обезьяна тому, что у сосѣда его пучокъ великъ. Тутъ болтливая матушка разсказываетъ повѣсничества своихъ дѣтокъ и заставляетъ зѣвающихъ слушателей смѣяться... «То-то было весело», скажетъ какой-нибудь *А* какому-нибудь *Б:* «мы довольно посмѣялися». Гмъ! *(Качаетъ головой)*. Нѣтъ, это не мое дѣло! А всѣхъ умнѣе въ этой компаніи кажется мнѣ совѣтница. Она такъ любезна, такъ пріятна,—жаль только, что она не знаетъ, какъ мужъ ея безпокоится... Но, погоди! Она это узнаетъ, дай только прожить мнѣ здѣсь мѣсяца два... Какъ, Эрлахъ? Въ этомъ домѣ прожить столько времени?.. Почему же не такъ?—Флаксландъ мой другъ, а Эмма... ну, что жъ ты остановился, старой ребенокъ? Дочь, сестра, другъ?.. Что бы она ни была мнѣ—довольно!—я люблю ее—я избавилъ ее отъ смерти—да! да!—премилая дѣвка!—Только то мнѣ въ ней не нравится, что она такъ много выросла въ 8 лѣтъ...

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Эмма и Эрлахъ.

Эмма *(идетъ, оглядываясь всюду, и примѣчаетъ Эрлаха)*. Ахъ, вы здѣсь!

Эрлахъ. Здѣсь, милая моя, здѣсь! Развѣ ты меня искала?

Эмма. Нѣтъ! Я ищу—мнѣ нужда съ однимъ человѣкомъ поговорить! Онъ, Богъ знаетъ, въ какой кустъ спрятался! Извините меня. *(Дѣлаетъ ему дружескій поклонъ и уходитъ)*.

Эрлахъ *(одинъ)*. Покорной слуга!—Однако-жъ она нехорошо сдѣлала, что меня оставила—она могла бы побыть со мною хотя минуту и поговорить хоть о погодѣ!.. Хмъ! Кого же она ищетъ,—съ кѣмъ ей такъ нужно говорить?—Кто этотъ «одинъ человѣкъ»? Можетъ быть, дѣвушка,—а если мужчина?—Вѣрно такъ?—Ей, ей, миссъ

Эмма, можетъ быть тайна, твоего сердчишка?.. Ну, да что же мнѣ за дѣло?.. Какъ, что за дѣло? Я вить ея... ея отецъ! Зачѣмъ она меня отпотчивала такъ сухо своимъ «однимъ человѣкомъ»,—я надѣюсь, что достоинъ ея довѣренности? Почему не сказать мнѣ мимоходомъ: этого «одного человѣка» такъ-то зовутъ!.. *(Качаетъ головой).* Вотъ таково-то, когда дѣвушка осмью годами старше станетъ!..

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Эрлахъ и совѣтница.

Совѣтница. Любезный Эрлахъ, вы ищите уединенія?

Эрлахъ. Здѣсь трудно найти его.

Совѣтница. Это похвала или упрекъ?

Эрлахъ. У всякаго свой вкусъ!

Совѣтница. Я понимаю, но вы называете вкусомъ то, что у меня привычка и, можетъ быть, дурная.

Эрлахъ. Что мѣшаетъ вамъ отъ нее отстать?

Совѣтница. Мужъ мой хочетъ этого!

Эрлахъ. Онъ?

Совѣтница. Когда я одна съ нимъ, то онъ тотчасъ становится безпокоенъ, двадцать разъ въ минуту спрашиваетъ: не скучно ли мнѣ? не хочу ли я куда ѣхать, и по тѣхъ поръ не успокоится, покуда я не велю закладывать кареты.

Эрлахъ. И всегда самъ съ вами ѣздитъ?

Совѣтница. Очень рѣдко и то тогда, когда я очень, очень просить стану.

Эрлахъ. Что жъ дѣлаетъ онъ одинъ дома?

Совѣтница. Богъ знаетъ! *(Шутливо).* Можетъ быть, дѣлаетъ онъ золото, для того что всегда, когда я возвращусь домой, принимаетъ меня съ такою радостію, какъ будто бы нашелъ какое сокровище.

Эрлахъ. Хмъ! Это мнѣ досадно.

Совѣтница. Какъ? что вамъ досадно?

Эрлахъ. То, что другъ мой научился безъ меня притворяться.

Совѣтница. Притворяться? Какъ?

Эрлахъ. Человѣку лѣтъ его совсѣмъ не свойственна такая перемѣна.

Совѣтница. Говорите яснѣе!

Эрлахъ. Нѣтъ! Я лучше смолчу, мы еще другъ друга не знаемъ!

Совѣтница. Мы не знаемъ другъ друга? Помилуйте, г. капитанъ! Когда мужъ мой далъ мнѣ право на любовь свою, то далъ вмѣстѣ съ нимъ и право на ваше дружество.

Эрлахъ. Дружество и рейнвейнъ хороши, но не для всякаго, и не всѣ умѣютъ ими пользоваться.

Совѣтница. Вы часъ отъ часу болѣе возбуждаете мое любопытство. Прошу васъ, г. капитанъ, не считайте меня въ числѣ тѣхъ малодушныхъ твореній, которыя боятся правды, для того, что она ихъ колетъ. Наше знакомство началось недавно; но, если бы я стала подъ розовымъ кустомъ, и незнакомой избавилъ меня отъ змѣи, которой я не примѣтила, то незнакомый сей былъ бы самый старинный другъ мой.

Эрлахъ. Если вы такъ думаете.

Совѣтница. Конечно, я такъ думаю! Нравиться мужу моему—сильнѣйшее мое желаніе. Лѣта наши очень разны, правда! Не любовь привела меня въ его объятія, но почтеніе къ его добродѣтелямъ. Мы не играли романа другъ съ другомъ. Итакъ, говорите все безъ закрытія и, если вы не хотите сказать мнѣ все прямо въ глаза, то я спрячусь за это дерево—вы вообразите, что меня нѣтъ, и пожалуйста, пощадите меня въ своемъ монологѣ.

Эрлахъ. Браво! это мое дѣло!—кто такъ думаетъ, того я почитаю, а кого я почитаю, тому я говорю правду.

Совѣтница. Начинайте же.

Эрлахъ. Какъ можетъ женщина съ добрымъ сердцемъ и здравымъ разсудкомъ терпѣть около себя столько дураковъ!

Совѣтница. Ахъ, любезный капитанъ, если бы мы выгнали всѣхъ дураковъ, то компанія наша была бы очень мала.

Эрлахъ. Чѣмъ меньше тѣхъ дураковъ! Разумъ и веселость — [illegible] рые не входятъ [illegible] дятъ огонь во всѣхъ [illegible]

Совѣтница. Глупость веселитъ разсудокъ!

Эрлахъ. Онъ и безъ нее можетъ веселиться. Когда вашъ супругъ увѣрялъ васъ, что онъ любитъ такія собранія, то онъ васъ обманывалъ.

Совѣтница. Это меня огорчаетъ.

Эрлахъ. Онъ думалъ, что обязанъ вамъ снисходимостію...

Совѣтница. Ахъ! какъ онъ мало зналъ меня!

Эрлахъ. Онъ боялся, чтобы вы не замѣтили...

Совѣтница. Чего? чего?

Эрлахъ. Что онъ ревнивъ.

Совѣтница. Ревнивъ? вы шутите?

Эрлахъ. Ни мало! Напримѣръ, во всю прошедшую ночь онъ не могъ сомкнуть глазъ, промучился до самаго разсвѣту и насилу могъ собраться съ духомъ, когда услышалъ вашу карету.

Совѣтница. Удивительно!

Эрлахъ. «Это будетъ стоить мнѣ жизни», говорилъ мнѣ съ горестью,—«но я никакъ не могу преодолѣть этой глупости».

Совѣтница. Боже мой! для чего онъ не сказалъ мнѣ этого?

Эрлахъ. Ложной стыдъ, рушитель всякой довѣренности!

Совѣтница. Хорошо, г. капитанъ! Я все поправлю! Прежде всякой безъ разбору ѣздилъ въ домъ нашъ—теперь пускай онъ самъ выберетъ, кого захочетъ; пускай самъ напишетъ мнѣ имена тѣхъ, которыхъ онъ почитаетъ и съ кѣмъ желаетъ вести знакомство.

Эрлахъ. Ихъ число будетъ очень мало.

Совѣтница. Напротивъ,—очень много честныхъ и разумныхъ людей въ городѣ.

Эрлахъ. Это правда, но, чѣмъ больше гостей, тѣмъ накладнѣе человѣку, которой не Крезъ богатствомъ, угощать ихъ.

Совѣтница. Что вы хотите чрезъ это сказать? Флакландъ богатъ.

Эрлахъ. Онъ былъ богатъ!

Совѣтница. Какъ?

Эрлахъ. Онъ, конечно, и теперь не *бѣденъ, но, если богатство* его будетъ все такъ же расточаться, какъ въ прошедшіе три года...

Совѣтница. Боже мой! Вы меня пугаете!

Эрлахъ. Если расходъ будетъ всегда превосходить приходъ...

Совѣтница. Возможно ли это?

Эрлахъ. ...то, можетъ быть, онъ принужденъ будетъ похитить имѣніе дѣтей своихъ...

Совѣтница. Боже мой! Для чего онъ не сказалъ мнѣ этого?

Эрлахъ. Ложный стыдъ; чѣмъ меньше богатства, тѣмъ меньше достоинствъ.

Совѣтница. Не въ моихъ глазахъ.

Эрлахъ. Онъ давно хотѣлъ уѣхать въ деревню.

Совѣтница. Я охотно съ нимъ ѣду, хоть нынѣшнимъ вечеромъ.

Эрлахъ. Но онъ боится, чтобъ деревня вамъ не наскучила, вы такъ молоды...

Совѣтница. О, какъ мнѣ грустно, что мужъ мой не старается узнать меня, что онъ меньше и меньше имѣетъ ко мнѣ довѣренности, чѣмъ посторонній человѣкъ. Мнѣ похитить имѣніе дѣтей его? Разрушить его спокойствіе?.. Мнѣ расточить то, что родительская любовь скопила съ неусыпнымъ раченіемъ?.. Для чего онъ меня не испытаетъ? Для чего думаетъ онъ, что для меня пріятнѣе компанія вѣтреныхъ людей, чѣмъ спокойная и веселая семейственная жизнь и обхожденіе съ честнымъ, прямодушнымъ человѣкомъ. О, г. капитанъ! мужья часто бываютъ причиною нашихъ проступковъ, очень часто отъ нихъ только зависитъ насъ остеречь отъ нихъ и поправить; они думаютъ, женщины не терпятъ откровенности; они ищутъ въ насъ души здравой и отравляютъ ее ласкательствами. Но я жалуюсь и разсуждаю тогда, когда надобно дѣйствовать! Г. капитанъ, дайте мнѣ руку вашу; вы скоро признаетесь, что я достойна была вашей довѣренности (*уходитъ*).

Эрлахъ (*одинъ*). Вотъ такъ! Это мое дѣло! Если она сдержитъ слово, то я останусь здѣсь... Но, если я останусь здѣсь,

то надобно будетъ мнѣ пересучить Эмму, чтобы она отъ меня не бѣгала и отъ меня не скрывалась... Хотѣлъ бы я знать, нашла ли она этого проклятаго «одного человѣка»?..

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Кугель *(задумавшись)*. **Эрлахъ.**

Эрлахъ. Вотъ идетъ еще одинъ, которому вѣрно прожужжали уши... Добро пожаловать, г. Кугель, радуйтесь!

Кугель *(испугавшись)*. Чему?

Эрлахъ. Уединенію! Много честныхъ людей, которые подобны соловьямъ, то есть, молчатъ, когда вокругъ нихъ шумно; вѣрно вы тамъ не на своемъ мѣстѣ!

Кугель. Я тѣмъ только и похожъ на соловья, что деревня мое настоящее мѣсто.

Эрлахъ. Вы сами себѣ дѣлаете комплиментъ!

Кугель. Если бы склонность моя къ деревенской жизни была какимъ-нибудь преимуществомъ, то я охотно раздѣлилъ бы его со всякимъ поселяниномъ.

Эрлахъ. Развѣ оно бы отъ того что-нибудь потеряло?

Кугель. Въ глазахъ многихъ!

Эрлахъ. Если вы говорите про французскаго шалуна, которой здѣсь разсыпается мелкимъ бѣсомъ—то вы правы.

Кугель. Ахъ, нѣтъ! есть и лучше его люди! лучше, можетъ быть! Этотъ французъ, напримѣръ, я не смѣю судить его, но онъ нравится!

Эрлахъ. Кому?

Кугель. Имъ занимаются.

Эрлахъ. Кто?

Кугель *(со вздохомъ)*. Можетъ быть, онъ любимъ?

Эрлахъ *(больше съ сердцемъ, чѣмъ съ любопытствомъ)*. Да кѣмъ?

Кугель. Ахъ, одной дѣвушкой, которой ничего не достаетъ, кромѣ искусства узнавать сердца, и выбрать себѣ такое, которое бы ее обожало.

Эрлахъ. Кто же эта дѣвушка? Обожателя-то, можетъ быть, я знаю.

Кугель. Знаете?

Эрлахъ. И безъ вашего искусства проникать въ сердца,—но кто эта дѣвушка?

Кугель. Мнѣ кажется, не трудно отгадать! вѣдь я вамъ сказалъ, что ей ничего не достаетъ къ совершенству!

Эрлахъ. Покорный слуга! *(Въ сторону)*. Вѣрно, онъ говоритъ про Эмму! *(Громко)*. И вы думаете, что она любитъ француза?

Кугель. Я почти долженъ этого опасаться!

Эрлахъ *(про себя почти)*. Хмъ! Не онъ ли этотъ «одинъ человѣкъ», котораго она такъ прилежно искала.

Кугель *(скоро)*. Какъ, г. капитанъ? Она его искала?..

Эрлахъ. Какого-то «одного человѣка»! Чортъ его возьми!—И такъ усердно, что чуть, было, мнѣ шеи не сломила.

Кугель. Право?

Эрлахъ. Ей нужно (было) съ нимъ поговорить.

Кугель. Очень жалѣю, что она не найдетъ его, потому что недавно пришли за нимъ два повѣсы камеръ-юнкеры и увели съ собою прохаживаться.

Эрлахъ *(про себя говоритъ)*. Проклятой бѣсъ! Такая дѣвка! Во всемъ совершенна! Чортъ меня возьми! Только состарѣлась... слишкомъ состарѣлась!

Кугель. Какъ состарѣлась? ей только шестнадцать лѣтъ.

Эрлахъ. Тѣмъ хуже!

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Эмма *(входя и увидя г. Кугеля, говоритъ)*. Ахъ, вы здѣсь! Я васъ ищу!

Кугель *(съ удивленіемъ)*. Меня, сударыня?

Эрлахъ *(также)*. Его?

Эмма. Цѣлой часъ!

Кугель. Я былъ на лугу и не думалъ, что вы будете имѣть до меня нужду.

Эрлахъ. Итакъ онъ-то этотъ «одинъ человѣкъ», за которымъ вы такъ бѣжали?

Эмма. Такъ, г. капитанъ; я имѣю крайнюю нужду поговорить съ г. Кугелемъ.

Эрлахъ. И вѣрно что-нибудь тайное?

Эмма. Эмма не имѣетъ никакой тайны отъ своего благодѣтеля, но это касается до одной пріятельницы.

Эрлахъ *(чувствительно).* Да! да! Понимаю, я не люблю никого принуждать! Я на свадьбѣ узнаю эту тайну. *(Уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Эмма и Кугель.

Эмма. Г. Кугель, мнѣ дана для васъ коммиссія.

Кугель. Если эта коммиссія сдѣлаетъ меня несчастливымъ, какъ я и думаю, то я, по крайней мѣрѣ, благодарю за то, что хотятъ меня щадить, выбравши такого кроткаго посланника.

Эмма. Я надѣюсь, что буду посланникомъ мира.

Кугель. Прежде мира долженъ быть раздоръ, а я не знаю...

Эмма. Вы сказали Вильгельминѣ, что вы ее любите?

Кугель. «Сказалъ» только?

Эмма. Не привязывайтесь къ словамъ моимъ!—а отвѣчайте мнѣ!

Кугель. Признаюсь: я, къ несчастію, люблю Вильгельмину.

Эмма. Зачѣмъ же «къ несчастію?»

Кугель. Я простой деревенской дворянинъ, — и позабылъ это на минуту... Вильгельмина меня очень оскорбила, я никогда это не позабуду.

Эмма. Оскорбила! Это слово слишкомъ сильно!

Кугель. Оно не довольно выразительно для того, что̀ я чувствую. Когда на истинное признаніе пламеннаго сердца отвѣчаютъ насмѣшкой, когда говорятъ о танцахъ тому человѣку, у котораго блистаютъ въ глазахъ слезы любви, то, не правда ли, что это значитъ презрѣніе?..

Эмма. Любезный г. Кугель, не обвиняйте никого слишкомъ скоро—вы будете раскаиваться въ этой поспѣшности у ногъ Вильгельмины! Развѣ вы ни во что ставите замѣшательство бѣдной дѣвушки? Я увѣряю васъ—большая часть глупостей, которыя мы дѣлаемъ передъ мужчинами, происходятъ отъ замѣшательства,—ну, если Вильгельмина васъ любитъ? Если ее что-нибудь удерживало открыться передъ вами, если она боялась одной холодности со стороны вашей?..

Кугель *(съ горькой улыбкой).* Неужели?

Эмма. Есть такія вещи, г. Кугель, которыя нашему полу кажутся очень важными и которыя для васъ бываютъ незамѣтны! Если, напримѣръ, дѣвушка не то, чѣмъ она по наружности кажется, то она можетъ обманывать только большой свѣтъ, а не того, кто хочетъ на ней жениться.

Кугель. Вильгельмина не то, чѣмъ она по наружности кажется—я васъ не понимаю.

Эмма. Не правда ли, Вильгельмина прекрасная дѣвушка?

Кугель. О, конечно!

Эмма. Лицо прелестное?

Кугель. Зачѣмъ вы мнѣ это сказываете?

Эмма. Вы не находите въ ней никакого недостатку?

Кугель. Вы шутите.

Эмма. Мужчина и притомъ любовникъ легко не все замѣтить можетъ, но дѣвушка въ этомъ случаѣ проницательнѣе.

Кугель. Пожалуйте, объяснитесь!

Эмма. Такъ знайте же, что Вильгельмина только для того ушла отъ васъ такъ скоро, что она стыдилась—и однако за нужное почитала сказать вамъ, что она—странно, я и сама почти стыжусь... *(скоро)* что она немножко кривобока!.. Насилу договорила.

Кугель. Кривобока?

Эмма. Да, кривобока! Когда она была еще ребенкомъ, то кормилица уронила ее съ лѣстницы; портной умѣлъ все искусно прикрыть платьемъ, но въ глазахъ будущаго супруга своего Вильгельмина не хотѣла казаться лучше, нежели она какова въ самомъ дѣлѣ. Вотъ вамъ ключъ загадки! Ложной стыдъ не позволилъ ей самой сказать вамъ этого, но-

тому что почти всякая дѣвушка скорѣй согласится признаться въ недостаткахъ души своей, чѣмъ въ недостаткахъ своего тѣла. Вильгельмина не такова! Только языкъ отказался служить ей. Теперь вы все знаете. Она въ глазахъ вашихъ потеряла нѣкоторую часть красоты тѣла, но за то красота души ея совершенна. Тихо говорила она мнѣ на ухо: «Эмма, другъ мой, я люблю его! Только будь осторожна—дай ему только догадываться!..» Я сдѣлала больше, я открыла все прямо,—и эта минута покажетъ мнѣ, должна ли я раскаиваться въ своемъ поступкѣ.

Кугель *(съ восхищеніемъ)*. Нѣтъ, нѣтъ! Вы не будете раскаиваться! Вильгельмина, благородная, милая Вильгельмина! Гдѣ она! Скажите, гдѣ я найду ее?..

Эмма. Могу ли я опросить, съ какимъ намѣреніемъ?

Кугель. Возможно ли это спрашивать? Моя любезная! моя невѣста!

Эмма. Я этого и ожидала. Подите! Гдѣ она теперь, я не знаю—любовника приведетъ сердце.

Кугель *(бѣжитъ вонъ)*. Вильгельмина! Вильгельмина!

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Эмма *(одна)*. Поди! Но такъ скоро тебѣ не найти ее. Конечно, изъ проклятой ложной стыдливости, спряталась она въ какой-нибудь уголъ, и сердце ея сильно бьется при одной мысли: «теперь Эмма говоритъ съ нимъ»... *(Вздыхаетъ)*. Что это такое, я вздыхаю! Ужъ конечно—не завидуя счастію своего друга—нѣтъ! нѣтъ!.. Но признаюсь, благородный супругъ стоитъ зависти... Эрлахъ ушелъ и, казалось, съ досадою?.. ему не хотѣлось оставить меня одну съ Кугелемъ... А для чего это?.. *(Послѣ нѣкотораго молчанія)*. Эмма, Эмма, не сказывай никому, что у тебя на сердцѣ... *(Задумывается)*.

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Г-жа Моро *(входитъ, очень бѣдно, но чисто одѣтая; останавливается и оглядывается во всѣ стороны съ горестію, наконецъ, примѣтивъ Эмму—осматриваетъ ее съ головы до ногъ съ чувствительностію и любопытствомъ)*. Извините меня!

Эмма *(приходя въ себя)*. Ахъ!—кто вы таковы, сударыня? Чего вамъ угодно?

Г-жа Моро. Не домъ ли это совѣтника Флакеланда?

Эмма. Такъ, сударыня.

Г-жа Моро. Вы, можетъ быть, его дочь?

Эмма. Я бы желала и на это отвѣчать вамъ «такъ», но... Вамъ надобно говорить съ совѣтникомъ?

Г-жа Моро. Если только можно.

Эмма. Позвольте мнѣ васъ проводить къ нему!

Г-жа Моро. Онъ одинъ?

Эмма. Я думаю.

Г-жа Моро. Если онъ не одинъ, то я желала бы, чтобъ для старой бѣдной женщины, которая съ трудомъ всходитъ на лѣстницу, сошелъ онъ сюда въ садъ.

Эмма. Я это скажу ему.

Г-жа Моро. Велико ли его семейство?

Эмма. Сынъ въ службѣ и дочь.

Г-жа Моро. И вы не эта дочь?.. Это жалко!

Эмма. Вы очень милостивы, сударыня... Какъ мнѣ объ васъ сказать совѣтнику?

Г-жа Моро. Скажите просто—бѣдная, старая женщина. Я надѣюсь быть въ такомъ домѣ, гдѣ это имя не затворяетъ входа.

Эмма. Изъ вашихъ словъ видно, что вы довольно знаете совѣтника; онъ тотчасъ сюда будетъ *(уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Г-жа Моро *(одна)*. Право? Ахъ, добрая дѣвушка! Довѣренность къ людямъ—такое растеніе, котораго человѣколюбіе почти совсѣмъ не поливаетъ—оно часто, очень часто сохнетъ!.. Такъ, прежде былъ онъ кротокъ и добръ, но — и молодъ: молодость чувствительна, а ска-

рость все охлаждаетъ... Нечего надѣяться отъ него, когда сынъ мой... Тише! тише!.. не говори этого громко, бѣдная мать!.. Ты мечтала,—твои мечты исчезли... Ахъ! исчезли!.. Можетъ быть, и онъ будетъ меня стыдиться?.. Богатые люди имѣютъ тетокъ, сестеръ во всякомъ углу свѣта, а бѣдные—только въ родствѣ съ нищетою... Я подожду открываться, буду замѣчать. Можетъ быть, онъ захочетъ лучше повиноваться благодѣтельности, чѣмъ должности... Ахъ! вотъ кто-то бѣжитъ по аллеѣ—не Вильгельмъ ли это? Онъ!.. Боже мой, какъ сердце у меня бьется! Не измѣни себѣ, бѣдное сердце!.. Если изъ этого дома должно будетъ идти безъ отрады, то гдѣ найти гробъ себѣ?

ЯВЛЕНІЕ 10-е.

Совѣтникъ. Г-жа Моро.

Совѣтникъ. Мнѣ сказывали, что вамъ угодно говорить со мной? Чѣмъ могу я служить вамъ?

Г-жа Моро. Я эмигрантка! Сперва я была сама богата, у меня былъ мужъ и дѣти—теперь нѣтъ ничего, кромѣ этого посоха. Но лучше хочу умереть съ голоду, чѣмъ ходить съ нимъ и просить милостыню. Въ молодости училась я многому, что теперь въ старости можетъ доставить мнѣ кусокъ хлѣба. Я умѣю шить, варить кушанье, печь, мыть... Г. совѣтникъ, не надобно ли вамъ смотрительницы надъ домомъ?

Совѣтникъ. Сожалѣю, сударыня, что принужденъ вамъ отказать.

Г-жа Моро. Можетъ быть, имѣете вы малолѣтныхъ дѣтей—я могу ихъ учить по-французски и англійски?

Совѣтникъ. У меня сынъ и дочь, но и тѣ взрослые.

Г-жа Моро. Ахъ, Боже мой! и этотъ домъ должна я оставить безъ утѣшенія.

Совѣтникъ. Нѣтъ, сударыня, я имѣю друзей, которымъ васъ могу рекомендовать—а по тѣхъ поръ можете вы прожить у меня въ домѣ.

Г-жа Моро. Да наградитъ васъ Богъ за это!.. Не даромъ послали меня къ вамъ,—вы великодушный человѣкъ...

Совѣтникъ. Васъ послали ко мнѣ?

Г-жа Моро. Я изъ Ліона—тамъ знала я одну несчастливую женщину, нѣмку—Филиппину Моро...

Совѣтникъ. Боже мой! сестру мою! Скажите, жива ли она?..

Г-жа Моро. Она умерла.

Совѣтникъ. Умерла! *(Слезы катятся по щекамъ его—онъ отворачивается и, приклонившись къ дереву, тихо плачетъ).*

Г-жа Моро *(въ сторону, поднявъ руки).* Онъ меня еще любитъ! онъ меня еще любитъ!.. Еще есть на свѣтѣ, который меня любитъ...

Совѣтникъ *(почти про себя).* Первое извѣстіе въ двадцать лѣтъ: она умерла!

Г-жа Моро. И умерла въ нищетѣ!

Совѣтникъ. О, зачѣмъ позабыла она своего брата?

Г-жа Моро. Нѣтъ, она не позабыла его; она молчала изъ одного только стыда... «Какъ показаться», говорила она мнѣ часто—«въ этомъ рубищѣ къ своему брату?.. и проститъ ли онъ мнѣ когда-нибудь мое преступленіе!»

Совѣтникъ. Она не знала сердца своего Вильгельма.

Г-жа Моро. Ахъ, нѣтъ, она знала его—но боялась придти въ домъ родительской, боялась услышать, что ея родители, умирая, обременили ее «проклятіемъ»...

Совѣтникъ. Они благословили дочь свою!

Г-жа Моро. Благословили?.. О, для чего не могу я принести этой утѣшительной вѣсти на гробъ моей Филиппины!..

Совѣтникъ. Ахъ—я все думалъ, что она вспомнитъ о своемъ братѣ, котораго такъ любила она въ младенчествѣ...

Г-жа Моро *(съ жаромъ).* Она никогда не переставала любить его!—она никогда его не забывала!

Совѣтникъ. Я надѣялся ее увидѣть, и моя надежда росла вмѣстѣ съ этими

деревьями... Посмотрите, сударыня—эти липы посадили мы съ нею: эту я, а эту она—время соединило ихъ вѣтви, а гдѣ сестра моя?.. *(Горестно).* Гдѣ сестра моя?

Г-жа Моро *(съ чувствомъ).* Она васъ любила! она васъ любила!

Совѣтникъ. Эту бесѣдку посадила добрая наша мать за годъ предъ своею смертію. «Я не доживу до того времени»—сказала она мнѣ—«когда эти вѣтви дадутъ отъ себя тѣнь, но, можетъ быть, нѣкогда будешь ты сидѣть подъ ними съ твоей сестрою и обо мнѣ вспомнишь»...

Г-жа Моро *(тщетно скрывая слезы свои).* Нѣтъ, я не могу болѣе!

Совѣтникъ *(обнимая одну изъ липъ).* Ахъ, я завидую нашимъ предкамъ въ ихъ сладостныхъ суевѣріяхъ! Какъ желалъ бы я вѣрить, что духъ сестры моей обитаетъ въ этомъ деревѣ!..

Г-жа Моро *(шатается, опирается костылемъ своимъ и упадаетъ на полъ).* Братъ мой!.. Вильгельмъ!..

Совѣтникъ. Боже! Что это значитъ?

Г-жа Моро *(на колѣняхъ).* Вильгельмъ! братъ мой!..

Совѣтникъ *(бросается въ ея объятія).* Моя Филиппина!—это ты?!..

Г-жа Моро. Ахъ!—не отвергай меня!

Совѣтникъ. Тебя отвергнуть?.. *(Молчаніе).*

Г-жа Моро. Добрый Вильгельмъ—помоги мнѣ дойти до этихъ липъ, которыя мы посадили въ рожденіе нашей матушки... Тогда мы обняли другъ друга подлѣ молодыхъ былинокъ, и матушка, смотря на насъ, улыбалась—теперь дай мнѣ прижать себя къ сердцу подъ ихъ тѣнію, и она еще разъ улыбнется съ неба на дѣтей своихъ...

Совѣтникъ *(ведетъ къ дерновой скамьѣ, которая подлѣ липъ, тамъ обнимаетъ ее и со слезами глядитъ на небо).* Матушка, улыбнись на дѣтей своихъ—ты испросила намъ отъ неба сію минуту!

Г-жа Моро *(кладетъ голову свою къ нему на грудь).* Здѣсь дай мнѣ умереть!

Совѣтникъ. Здѣсь—у моего сердца—здѣсь возвратишь ты всѣ наслажденія милой юности—*(въ радости)* сладостныя воспоминанія! Пойдемъ, я покажу тебѣ всякое дерево, съ котораго мы любили рвать плоды, всякое мѣсто, гдѣ мы съ тобой играли... Твоя горница въ домѣ осталась по-прежнему—тамъ стоитъ еще тотъ черный столъ, на которомъ мы рисовали съ тобою, и тотъ шкапъ, въ которомъ мы клали всѣ свои работы... *(взглядываетъ на г-жу Моро, которая лежитъ почти безъ чувствъ на груди его).* Ты не слышишь меня—сестрица!.. Эта блѣдность!.. Боже мой!..—Эй! Эй! помогите!—помогите!..

ЯВЛЕНІЕ 11-е.

Эмма и **Иванъ** спѣшатъ съ разныхъ сторонъ.

Иванъ. Что сдѣлалось?

Эмма. Ахъ—бѣдная женщина занемогла!

Совѣтникъ. Она сестра моя!..

Эмма. Сестрица ваша?.. *(Съ стараніемъ помогаетъ г-жѣ Моро, которая скоро приходитъ въ себя).*

Иванъ. Какъ? барышня Филиппина?..

Совѣтникъ. Это моя Филиппина! Добрый старикъ, ты часто со мной объ ней плакалъ—теперь радуйся: она опять съ нами.

Иванъ. Опять съ нами? Ну, слава Богу; я никогда не ждалъ, чтобъ въ декабрѣ моей жизни расцвѣлъ такой прекрасной цвѣтокъ! Барышня, узнали ли вы стараго Ивана?

Г-жа Моро *(подаетъ ему руку).* Добрый Иванъ, ты живъ еще?

Иванъ. Какже, сударыня, живъ! И вашъ крестникъ тоже!

Эмма. Позвольте васъ отвести, сударыня, въ домъ—тамъ будетъ вамъ покойнѣе.

Г-жа Моро. Нѣтъ, моя милая, свѣжій воздухъ и видъ всего того, что меня окружаетъ — самое лучшее для меня лѣкарство.

Совѣтникъ. Если любовь наша приноо-

сить тебѣ утѣшеніе, то для чего же давно не возвратилась ты въ наши объятія?

Г-жа Моро. Прости мнѣ, братецъ, простите мнѣ, добрые родители! Часто, когда я рѣшалась твердо побѣдить стыдъ свой, судьба заграждала мнѣ путь страшными препятствіями. Съ мужемъ своимъ скрылась я отсюда въ Ліонъ, отечественный его городъ; его родители, которыхъ всѣ планы уничтожались нашимъ супружествомъ, ужасно на него разсердились и не приняли насъ въ домъ свой!.. Мы рѣшились положиться на всепримиряющее время и отъ него ждать счастливѣйшей перемѣны судьбы своей. Съ помощью одного вѣрнаго, но недостаточнаго, друга мы уѣхали въ Америку...

Совѣтникъ. Въ Америку?..

Эмма. Въ Америку!—позвольте спросить, въ какомъ городѣ вы тамъ жить изволили?

Г-жа Моро. Въ Карлстовицѣ!

Эмма. Боже мой!.. *(Со смущеніемъ и ожиданіемъ останавливается противъ госпожи Моро, которая не замѣтила ея движенія).*

Г-жа Моро. Прилежность мужа моего доставляла намъ самое бѣдное пропитаніе, но мы любили другъ друга и были довольны; небо укрѣпило еще болѣе союзъ нашъ, даровавшій намъ двухъ милыхъ дѣтей, сына и дочь...

Эмма. И дочь?..

Совѣтникъ. Гдѣ же она?

Г-жа Моро. Ахъ, Вильгельмъ, не спрашивай объ этомъ! Небо хотѣло наказать меня за горести, причиненныя мною добрымъ моимъ родителямъ... Война, въ которую Америка возвратила свою вольность, сдѣлала насъ безъ куска хлѣба—мы возвратились за восемь лѣтъ передъ симъ въ Европу... Мать моего мужа была жива еще—она простила насъ, мы опять наслаждались минутою спокойствія, какъ вдругъ ужасная революція во Франціи разрушила наше счастіе. Мужъ мой былъ усердной патріотъ, онъ сдѣлался жертвою *корыстолюбія* и анархіи... Сынъ мой—*обольщенный* молодой человѣкъ—эмигрировалъ съ нѣкоторыми знатными и богатыми негодяями!.. Ахъ, имъ очень удалось сдѣлать изъ него самолюбиваго и тщеславнаго безумца и заглушить въ немъ всѣ чувства природы и должности—я со стыдомъ признаюсь, что онъ былъ первой, которой мнѣ попался въ этомъ городѣ на встрѣчу...

Совѣтникъ. Въ этомъ городѣ?..

Г-жа Моро. Такъ—онъ здѣсь—я узнала его и не имѣю и того утѣшенія, чтобы въ этомъ хотя мало усумниться... Въ сопровожденіи подобныхъ себѣ негодяевъ проѣхалъ онъ верхомъ мимо меня... «Сынъ мой», вскричала я и бросилась на колѣна;—онъ услышалъ голосъ мой, обернулся—я видѣла, какъ щеки его вспыхнули, какъ узда задрожала въ рукѣ его... «Что такое», спросилъ его одинъ изъ его товарищей... Я подняла руки и вскричала: «я мать его!..» Ахъ! онъ стыдился своей матери, стоящей на колѣняхъ... «Эта старушка съ ума сошла!» сказалъ онъ и кольнулъ шпорами лошадь свою...

Совѣтникъ. Бѣдная Филиппина!

Иванъ. Боже мой! и Ты терпишь такую негодную траву въ прекрасномъ саду Своемъ!

Г-жа Моро. Я повинуюсь карающему Провидѣнію! Когда увидѣла я родительской домъ свой,—ахъ, тогда я почувствовала всю тяжесть своего преступленія; но Богъ послалъ мнѣ на встрѣчу моего сына, чтобъ равнымъ заплатить за равное!.. Я не ропщу! Рука Божія справедлива и въ милостяхъ и наказаніяхъ... Кто покидаетъ отца и мать, тотъ въ старости самъ лишится дѣтей своихъ.

Совѣтникъ. Но дочь твоя?

Г-жа Моро. Она страшнымъ образомъ погибла.

Эмма *(съ поспѣшностью).* Погибла? гдѣ? когда?..

Г-жа Моро. Должна ли я и это разсказать вамъ! Англичане и нѣмцы осаждали Карлстовицъ...

Эмма *(вніе себя).* Нѣмцы!..

Совѣтникъ. Далѣе, далѣе, любезная сестрица...

Г-жа Моро. Въ одну ужасную ночь городъ былъ разграбленъ и зажженъ со всѣхъ четырехъ сторонъ—всѣ бѣжали—и я съ моимъ мужемъ, которой несъ на рукахъ малолѣтную дочь мою, бросилась изъ города—сынъ мой бѣжалъ за нами... Только что мы дошли до городскихъ воротъ, какъ вдругъ развалившійся домъ упалъ на моего мужа... Въ ту самую минуту толпа бѣгущихъ въ узкой улицѣ разлучила меня съ нимъ и увлекла съ собою... Два дни послѣ того, блуждая, какъ вдова, по лѣсу, встрѣтилась я съ нимъ—но дочь моя—моя Эмма погибла!..

Эмма. Эмма!... Боже! *(дрожа, упадаетъ на колѣна передъ г-жею Моро).*

Г-жа Моро. Что это значитъ?

Совѣтникъ *(дрожащимъ голосомъ).* Сестрица, и эта дѣвушка называется Эммой — и эта дѣвушка была въ Карлстовнѣ вынута изъ дымящихся развалинъ...

Г-жа Моро *(съ удивленіемъ и съ нерѣшимости).* Вильгельмъ?!..

Совѣтникъ. Нѣтъ ли у тебя какой примѣты, по которой бы узнать дочь свою?..

Г-жа Моро. Ахъ, никакой, кромѣ моего сердца!

Совѣтникъ. Тогдашній возрастъ ея?..

Г-жа Моро. Восемь лѣтъ.

Совѣтникъ. На бѣлѣ намѣчено: *А. М*?..

Г-жа Моро *(вскрикиваетъ).* Амалія Моро!

Совѣтникъ. Это она! она!..

Эмма *(бросаясь въ ея объятія).* Матушка!..

(Г-жа Моро падаетъ безъ чувствъ въ руки своего брата. Иванъ рыдаетъ и отираетъ глаза. Занавѣсъ опускается).

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Эрлахъ *(входитъ скоро; останавливается вдругъ посреди театра; задумывается,—черезъ минуту съ досадой стучитъ палкой въ полъ, какъ будто хочетъ сказать: «такъ этому быть должно!»—и хочетъ идти далѣе; съ нимъ встрѣчается совѣтникъ и его удерживаетъ).*

Совѣтникъ. Куда—куда?

Эрлахъ. Вонъ отсюда.

Совѣтникъ. Что съ тобою сдѣлалось?

Эрлахъ. Ничего.

Совѣтникъ. Странной человѣкъ!

Эрлахъ. Зачѣмъ чортъ меня принесъ въ домъ этотъ?..

Совѣткикъ. Ты бредишь?..

Эрлахъ. Нѣтъ, говорятъ тебѣ, нѣтъ!—Это не мое дѣло!—и этого никогда не будетъ!

Совѣтникъ. Да что такое?

Эрлахъ. Флаксландъ!—скажи мнѣ, давно ли ты не видалъ дуракомъ? Вотъ, смотри на меня — я формальной дуракъ! — дурачина!..

Совѣтникъ. Удивительной человѣкъ!—Помилуй, что ты такое себѣ забралъ въ голову?—Мы тебя цѣлой часъ ищемъ!..

Эрлахъ. Меня?—Гмъ!—Кому до меня нужда?.. Когда бы я былъ «одинъ человѣкъ», то дѣло...

Совѣтникъ. Мы увидѣли тебя на лугу, ты ходилъ взадъ и впередъ, какъ съумасшедшій—и свисталъ въ кулакъ!..

Эрлахъ. Кому до этого дѣло?

Совѣтникъ. Я хотѣлъ сказать тебѣ...

Эрлахъ. Я все знаю!

Совѣтникъ. Невозможно!—такое неожиданное открытіе...

Эрлахъ. Зажми ротъ съ твоимъ открытіемъ! Говорятъ тебѣ, я все знаю — она невѣста—женихъ г. Кугель — ну чего жъ тебѣ?..

Совѣтникъ. Ты его знаешь? Я самъ только теперь узналъ!

Эрлахъ. Ну, вотъ видишь—я правъ!—Прощай же!

Совѣтникъ. Боже мой! да куда ты?.. Останься!..

Эрлахъ. Какъ бы не такъ!—Останься съ вами! и будешь чучелой на свадебномъ пиру! Гмъ!.. Какъ бы не такъ!

Совѣтникъ. Эрлахъ—я впервые отъ роду вижу тебя въ такомъ положеніи.

Эрлахъ. Да, я въ первой отъ роду дуракъ—но за то ужъ дуракъ настоящій!..

Совѣтникъ. Да какая тебѣ нужда до этой свадьбы?

Эрлахъ. Охъ, не мучь меня болѣе своими вопросами!.. Ну, что мнѣ отвѣчать тебѣ?.. Развѣ прикажешь себѣ все складывать?..—Гмъ! Однако-жъ я давича проповѣдывалъ тебѣ о ложномъ стыдѣ; ты также можешь подумать, что и я этой же болѣзнію боленъ... Такъ слушай же — я скажу все, хоть лопну — Я!.. чортъ побери! — я! — языкъ не ворочается—я влюбленъ!.. *(Зажимаетъ ему рукою ротъ).* Молчи! молчи! не говори ни слова!..

Совѣтникъ. Ты влюбленъ?.. ха! ха! ха!

Эрлахъ. Вотъ! покорно прошу! — онъ смѣется!..

Совѣтникъ. Нѣтъ! Я очень жалѣю! Когда бы я прежде узналъ объ этомъ...

Эрлахъ. То бы, конечно, изъ дружбы ко мнѣ уговорилъ ее? Слуга покорной! Чортъ меня возьми! Она этого и знать не должна! И, если ты хоть слово проболтаешь, то мы перевѣдаемся!..

Совѣтникъ. И кому это придетъ въ голову! Въ твои лѣта оспа или совсѣмъ не приходитъ, или очень рѣдко!

Эрлахъ. Хорошо! хорошо! Смѣйся!..

Совѣтникъ. Въ твои лѣта надобно беречься, чтобы не быть невольникомъ собственнаго своего сердца...

Эрлахъ. И это не худо!

Совѣтникъ. Лучше застрѣлиться...

Эрлахъ. Статное дѣло!

Совѣтникъ. Ты сердишься—Эрлахъ—полно, братъ, вѣрь мнѣ, хотя я и очень люблю Кугеля, но охотно промѣнялъ бы его на тебя.

Эрлахъ. Ха! ха! Какая милость!

Совѣтникъ. Теперь дай-ка разсказать тебѣ...

Эрлахъ. Я ничего не хочу слушать—пошли, пожалуйста, мнѣ за почтовыми лошадьми.

Совѣтникъ. Какъ ты въ самомъ дѣлѣ?..

Эрлахъ. Въ самомъ дѣлѣ, сударь, въ самомъ дѣлѣ!—Чортъ побери! —Если бы гдѣ только найти пустыню, въ которой нѣтъ женщинъ *(осматривается)*... Вотъ—добро пожаловать—и она сама катитъ! Съ какой умильной рожицею, вѣрно, просить моего благословенья

Совѣтникъ. Кто?

Эрлахъ *(не оборачиваясь, показываетъ позадъ себя пальцомъ).*

Совѣтникъ. Да это Эмма...

Эрлахъ. Ну, чего жъ тебѣ? — Ахъ, братъ, таково-то, когда дѣвушка осмью годами старше станетъ!

Совѣтникъ. Такъ ты объ ней говорилъ?

Эрлахъ. О комъ же?

Совѣтникъ. Невѣста г. Кугеля?..

Эрлахъ *(съ сердцемъ).* Это я ужъ наизусть знаю!

Совѣтникъ. О! вотъ это славно! Ха! ха! ха!.. Я тебя съ ней одною оставляю! *(уходитъ скоро).*

Эрлахъ *(одинъ).* Ну, что мнѣ съ нею дѣлать? Вотъ каково—влюбись, и все пропало!.. Гмъ! Лучше я уйду! На что мнѣ она?.. Прощайте, сударыня—и, если вы еще когда попадетесь подъ развалины, то чортъ меня возьми, если я... Эрлахъ! Эрлахъ! Нельзя ни за что ручаться въ свѣтѣ!.. Она идетъ, и ужъ близко—да что мнѣ до этого нужды?.. Если я уйду, то она подумаетъ, что я боюсь ее... Нѣтъ, нѣтъ, голубушка, я не боюсь тебя!—Мы сядемъ здѣсь въ бесѣдкѣ! Можетъ быть, она опять ищетъ своего «одного человѣка»... *(Садится въ бесѣдкѣ и чертитъ палкою по песку).*

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Эмма и Эрлахъ.

Эмма *(входитъ, не видя Эрлаха, приближается къ липамъ, смотритъ на нихъ съ нѣкоторымъ радостнымъ унынiемъ, и обнявши одну изъ нихъ, говоритъ съ чувствомъ).* Здѣсь пролила я первыя слезы радости! — Благодарю тебя, Боже!..

Эрлахъ *(про себя, положа подбородокъ на свою палку).* Да! да! Здѣсь нашла она его...

Эмма. Пламенныя желанія мои исполнились!

Эрлахъ. «Пламенныя желанія»... Ну, пристало ли это дѣвушкѣ?

Эмма. Теперь я буду счастлива!

Эрлахъ. Ну, Богъ знаетъ...

Эмма. Всѣ мои горести забыты...

Эрлахъ. И Эрлахъ съ ними!

Эмма *(отходя).* Надобно сыскать почтеннаго Эрлаха...

Эрлахъ. А! Пришла и моя череда!

Эмма. Какъ онъ обрадуется!

Эрлахъ. Сомнительно!

Эмма *(осматриваясь, примѣчаетъ Эрлаха).* Ахъ! вы здѣсь!

Эрлахъ *(сухо и не перемѣняя своего положенія).* Здѣсь я!

Эмма *(шутливо).* Вы меня подслушали?

Эрлахъ. Это не мое дѣло!

Эмма. Вы знаете?..

Эрлахъ. Знаю.

Эмма. Вѣрно, совѣтникъ?..

Эрлахъ. Да, мнѣ совѣтникъ сказывалъ...

Эмма. Но вы не принимаете участія въ моей радости!..

Эрлахъ. О! для чего же и нѣтъ?.. Желаю вамъ счастія.

Эмма. Такъ сухо?

Эрлахъ. Я не умѣю притворяться—и, сказать правду—я надѣялся, что вы мнѣ это скажете ранѣе.

Эмма. Ранѣе?—Да какъ было ранѣе?..

Эрлахъ. Зачѣмъ вы меня прочь отослали?—о чемъ вы перешептывались вмѣстѣ?

Эмма. Я васъ не понимаю.

Эрлахъ. Таково-то дѣлается въ свѣтѣ... Дружба пишетъ свои законы въ сердцахъ—такъ точно, какъ я эти фигуры на пескѣ: любовь дунетъ, и все пропало!

Эмма. Неужели благодѣтель мой не одобряетъ этой любви?..

Эрлахъ. О, напротивъ! — Какая мнѣ до нея нужда!—Я не участвую въ вашемъ выборѣ.

Эмма. Въ моемъ выборѣ?..

Эрлахъ. Вы его любите—онъ умной человѣкъ, богатъ, любезенъ, скроменъ...

Эмма. «Онъ»! «его»!.. Что это значитъ?—Мы вѣрно не понимаемъ другъ друга!

Эрлахъ. Напротивъ! Совѣтникъ мнѣ сказывалъ, что все согласно съ господиномъ Кугелемъ!

Эмма. Конечно!

Эрлахъ. Чего жъ вамъ болѣе?

Эмма. Развѣ это до меня касается?

Эрлахъ. До кого же?.. Вотъ еще какая странность!

Эмма. Можетъ быть—потому, что я выросла вмѣстѣ съ Вильгельминой, что мы любимъ другъ друга, какъ сестры...

Эрлахъ. Вильгельмина! Вильгельмина!.. Что вы мнѣ говорите о Вильгельминѣ?

Эмма. Вить она невѣста!

Эрлахъ. Вы шутите надо мною?

Эмма. Сохрани меня Богъ!

Эрлахъ. Развѣ не вы говорили съ г. Кугелемъ?..

Эмма. Да—это отъ имени Вильгельмины...

Эрлахъ. А дали слово?

Эмма. За Вильгельмину же!

Эрлахъ. Нѣтъ, серьезно, безъ шутокъ?—И благодарность къ этимъ линамъ — и это восхищеніе происходитъ отъ одной дружбы?.. Эмма, Эмма, какъ счастливъ будетъ тотъ, кого ты любишь!

Эмма. Какъ это пришло вамъ въ голову?

Эрлахъ. Очень натурально...—чортъ меня возьми!—я такъ запутался...—Но, тѣмъ лучше, когда солдатъ окруженъ отвсюду огнемъ, то забываетъ онъ опасность.

Эмма. Любезной г. капитанъ, ваши слова для меня загадка.

Эрлахъ. Можетъ статься—скажи полъслова, и я рѣшу эту загадку.

Эмма. Ваше холодность—ваше удивленіе—вашъ восторгъ—все это... хорошо, что мы теперь одни!

Эрлахъ. А почему?

Эмма *(шутливо)* посторонній — къ стыду вашему—почелъ бы васъ влюбленнымъ.

Эрлахъ. Къ стыду моему? Да это правда, въ мои лѣта влюбляться стыдно.

Эмма. Скажите лучше, съ вашими правилами!

Эрлахъ. Перестаньте надо мною насмѣхаться.

Эмма. Помилуйте, какъ я смѣю!

Эрлахъ. Стыдиться бросить глупыя правила будетъ стыдиться ложно... Короче всего—скажите, не примѣтили ли вы чего за мною?

Эмма. Что такое?

Эрлахъ. Совсѣмъ ничего?

Эмма. Ничего!

Эрлахъ. Гмъ! Какже это можно?.. Со мною, чортъ знаетъ, что случилось.

Эмма. Съ вами?

Эрлахъ. Отгадайте!

Эмма. Трудно.

Эрлахъ. Эхъ! Попробуй, попробуй! — Тебѣ легче отгадать, чѣмъ мнѣ разгадать.

Эмма. Если бы я была посамолюбивѣе...

Эрлахъ. То, чтобы тогда?..

Эмма. Тогда бы я подумала...

Эрлахъ. Что, что такое?

Эмма. Вы будете надо мною смѣяться?

Эрлахъ. О, мнѣ теперь совсѣмъ не до смѣху! Говорите скорѣе, что бы вы подумали, когда бы были посамолюбивѣе?

Эмма. Что... но простите меня!

Эрлахъ. Скорѣе, скорѣе!—я все вамъ прощаю!

Эмма. Что вы меня любите!..

Эрлахъ. Уфъ! Насилу выговорила!

Эмма. Я позволяю вамъ смѣяться надъ собою...

Эрлахъ. А я тебѣ позволяю быть самолюбивою...

Эмма. Только то? Немного! — Любовь моего благодѣтеля сдѣлала бы меня гордою.

Эрлахъ. А господину благодѣтелю ни гордость твоя, ни самолюбіе не принесли бы никакой прибыли... Но полно говорить объ этомъ—приступимъ къ дѣлу, и, если ты мнѣ чѣмъ-нибудь обязана, то разочтемся по-дружески?

Эмма. Я бѣдная дѣвка.

Эрлахъ. Вотъ тебѣ на! Кто не умѣетъ или не хочетъ считать, тотъ, обыкновенно, притворяется бѣднымъ. Ты, *сударыня*, говоришь слишкомъ по-свѣтски! Чортъ меня возьми! Въ свѣтѣ нѣтъ ничего добраго. Тамъ говорятъ: она хороша, умна, добросердечна, но бѣдна! — Какая до того нужда честному человѣку?..

Эмма. Все, что я ни имѣю — ваше.

Эрлахъ. Опять!—да выкинь изъ головы эту дрянь! Я замѣчаю, что ты не хочешь понимать меня... Я для тебя слишкомъ старъ—простъ—говори безъ увертокъ!

Эмма. Это похоже...

Эрлахъ. На свадебное предложеньице? Ну такъ! такъ! Теперь мы на прямомъ пути!

Эмма. Этотъ день вы дѣлаете примѣчательнѣйшимъ въ моей жизни.

Эрлахъ. Право? Что жъ это значитъ: *да* или *нѣтъ?*

Эмма. Я васъ весьма почитаю...

Эрлахъ. А больше ничего?

Эмма. Дѣвушка рѣдко въ большемъ признается... Если бы вы дали мнѣ время говорить, то давно бы узнали, что нѣсколько часовъ уже, какъ другой раздѣлилъ съ вами священнѣйшія права на мое сердце.

Эрлахъ. Раздѣлилъ? Это не мое дѣло!

Эмма. И что вамъ должно адресоваться къ моей матушкѣ.

Эрлахъ. Къ твоей матушкѣ?..

Эмма. Къ сестрицѣ вашего друга, которая нѣкогда съ супругомъ своимъ убѣжала въ Америку и тамъ въ ужасную бѣдственную ночь лишилась и имѣнія и дочери.

Эрлахъ *(въ размышленіи).* Лишилась! Какъ?

Эмма. Амалія Моро называлась оплакиваемая дочь, которую честный Эрлахъ выхватилъ изъ горящихъ развалинъ. Амалія Моро была воспитана вами и отъ васъ научилась мыслить благородно и быть благородною. Человѣкъ, подавшій мнѣ руку для извлеченія меня изъ пламени, поступилъ благородно — но, можетъ быть, многіе на его мѣстѣ то же бы сдѣлали, избавили бы плачущаго младенца отъ смерти и потомъ оставили бы его на произволъ судьбы его; но человѣкъ, которой цѣлыя восемь лѣтъ дѣлилъ со

мною бѣдное свое жалованье... О, такой человѣкъ выше всѣхъ похвалъ! Похвала и слава могутъ быть наградою героизма, для котораго иногда потребна только минута забвенія; но дѣла благородныя не всегда блистательны. Легче въ одинъ часъ принесть великую жертву, чѣмъ въ продолженіе осьми лѣтъ приносить тысячу не столь великихъ.

Эрлахъ *(который, между тѣмъ какъ она говорила съ жаромъ, различнымъ образомъ обнаруживалъ свою нетерпѣливость).* Готовы ли вы?

Эмма. Еще не совсѣмъ, г. капитанъ! *(Съ чувствомъ).* Еще не совсѣмъ, другъ мой—благодѣтель—братъ...

Эрлахъ. Братъ!—Понимаю...

Эмма. Нѣтъ! Вы меня не понимаете! Если бъ сердце мое было уже отдано другому, то бы я со вздохомъ призналась: «благородный человѣкъ! Пожалѣйте обо мнѣ, я не могу любить васъ!»—Но, благодаря Бога, сердце мое свободно; почтеніе, дружба, благодарность, такъ! сіи чувства могутъ соединиться въ одно, и это одно чувство будетъ любовь.

Эрлахъ. Эмма! Правду ли ты говоришь?

Эмма. Съ Эрлахомъ не для чего опасаться поспѣшности; къ тому же предложеніе ваше было для меня не совсѣмъ неожиданно: холодность, съ какою вы меня оставили, когда я искала и нашла г. Кугеля, открыла мнѣ то, въ чемъ, можетъ быть, вы еще и сами сомнѣвались. Сердце мое забилось при одной мысли воздать моему благодѣтелю и посвятить ему жизнь, которую онъ сохранилъ мнѣ. Такія обольщающія мечты возбудили въ сердцѣ моемъ надежды, желанія—и наконецъ, г. капитанъ — безъ всякихъ околичностей и ложнаго стыда— если для васъ довольно сердца невиннаго, исполненнаго чистѣйшею довѣренностью и благодарностью, то я охотно соглашусь быть вашею супругою.

Эрлахъ *(беретъ въ восхищеніи ея руку).* Право?.. Эмма! Эмма! что ты со мною дѣлаешь!.. Я бросился бы на колѣни передъ тобою, если бы такъ часто не смѣялся надъ колѣнопреклоненіемъ. Ну вотъ!—Я стою, какъ болванъ, не могу выговорить ни слова! Онѣмѣлъ и передъ кѣмъ же? Передъ твореньицемъ, которое за восемь лѣтъ передъ симъ, было не выше этого куста... Гмъ!.. Однако жъ коротко да ясно—ты моя жена—чортъ меня побери!—моя милая жена!—Пускай они надо мной смѣются,—плевать на нихъ! Ха! ха! ха! да мнѣ и самому смѣшно. Пускай-ка посмотрятъ на мою Эмму и удавятся съ досады! Она моя — моя — Эрлахъ поѣдетъ съ нею въ свое отечество! Въ Швейцарію!.. Чортъ меня возьми! Я никогда не бывалъ такъ веселъ! Эмма! Мы купимъ съ тобою деревушку въ альпійской долинѣ, гдѣ солнце будетъ свѣтить прямо въ окна нашего домика—мы будемъ жить, какъ жили старики наши предки, то есть счастливо! Ура! Да здравствуетъ Эрлахъ и жена его! *(Онъ подымаетъ ее на воздухъ и вертитъ вокругъ).*

Эмма. Любезной Эрлахъ, матушка идетъ сюда!

Эрлахъ. Какая матушка?.. Да! я вить и забылъ давишнюю твою сказку. Такъ это правда, чортъ меня возьми, теперь мнѣ и знать ничего не хочется. Послѣ разскажешь, какъ все случилось. Мнѣ кажется, что я теперь одинъ съ Эммой въ цѣломъ свѣтѣ.

Эмма. Попросимъ у ней благословенія!

Эрлахъ. Дѣльно! дѣльно! *(бросаетъ шляпу и палку, беретъ Эмму на руки и почти несетъ ее на встрѣчу матери).*

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Г-жа Моро и прежніе.

Эрлахъ. Благословите насъ, матушка!

Эмма. Матушка, это—мой избавитель и, если вы позволите—мой супругъ!

Г-жа Моро. Онъ—почтенный Эрлахъ? онъ хочетъ быть твоимъ супругомъ?.. Боже мой, сколько радостей въ одинъ день! Государь мой! Вы сохранили [illegible] мою отъ смерти...

Эрлахъ *(перебивъ ее).* Эхъ! [illegible]

Г-жа Моро. Вы сохранили [illegible]

слѣднюю драгоцѣнность жизни! Ахъ, сударь, слезы матери давно васъ благословили! Возьмите ее, она—ваша!

Эрлахъ. Моя? *(Вырываетъ Эмму изъ рукъ матери).* Сюда! сюда! Слышишь ты? ты моя!.. *(Смотритъ на нее).* Смотри, пожалуй, какая воструха! Ну, думалъ ли ты, Эрлахъ, когда ее вытаскивалъ изъ-подъ развалинъ, что вытащилъ жену свою?.. Почти странно!

Эмма. Пойдемте къ дядюшкѣ!

Эрлахъ. Какъ? какъ? Къ какому дядюшкѣ? *(Одумавшись).* И въ правду! Вотъ тебѣ на! Совѣтникъ сталъ моимъ дядюшкой! Ну попался-жъ я... Теперь онъ, по праву родства, присвоитъ себѣ право насмѣхаться надъ своимъ племянникомъ... Пожалуй, смѣйся! Вооружимся противъ нихъ, дорогая моя Эмма, пускай ихъ скалютъ зубы, мы на нихъ не посмотримъ.

Эмма. Чего же намъ стыдиться.

Эрлахъ. Вотъ прекрасно! Мнѣ того, что я цѣлыхъ тридцать два года былъ дуракомъ, а тебѣ того, что ты взялась сдѣлать меня умникомъ. *(Хотятъ рука съ рукою идти вонъ и встрѣчаются съ Вильгельминой и Куслемъ, которые также рука съ рукою идутъ имъ навстрѣчу; обѣ пары, не разлучаясь, останавливаются другъ противъ друга).*

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Эрлахъ. Кто идетъ?

Вильгельмина. Пріятель!

Эрлахъ. Пароль?

Вильгельмина. Амуръ и Гименей?

Эрлахъ. Браво, у всѣхъ своя пара! Это мое дѣло!

Вильгельмина. Какъ, г. капитанъ? прежде это было не ваше дѣло.

Эрлахъ. Прежде—а теперь нѣтъ!

Вильгельмина. Женитьба—старинное обыкновеніе; а вы стоите съ Эммой точно такъ, какъ женихъ съ невѣстой!

Эрлахъ. Ну что-жъ? Лафатеръ позабылъ физіономію жениха, но дѣвушка въ этомъ лучше Лафатера: она тотчасъ угадаетъ!

Вильгельмина. Эмма, Эмма! Кто бы подумалъ, чтобы человѣкъ, которой такъ обнявшись ходитъ съ тобой, былъ только твой воспитатель!

Эрлахъ. Какой чортъ, воспитатель? Она моя невѣста! Слышите ли—смѣйтесь, смѣйтесь! Я не боюсь вашихъ насмѣшекъ.

Вильгельмина. Нѣтъ, вы шутите! Кузинушка, ты молчишь!

Эрлахъ. Чего же ей говорить?—Она сказала *да* и конецъ дѣлу!

Вильгельмина *(качая головой).* Худо, худо! А вы, тетушка, и позволили!

Эрлахъ. А почему бы ей не позволить, госпожа воструха? А?

Вильгельмина. Такой ненавистникъ женщинъ!

Г-жа Моро. Тѣмъ больше чести для моей Эммы!

Вильгельмина. Такой суровой!..

Эрлахъ. И дубовая кора, жесткая на деревѣ, даетъ отъ себя тѣнь.

Вильгельмина. Все ворчитъ и бранится!..

Эрлахъ. Богъ видитъ сердце!

Вильгельмина. Да потому что можетъ его видѣть.

Эрлахъ. Это и Эмма можетъ *(трясетъ ея руку).* Не правда ли, Эмма, ты видишь мое сердце? *(Эмма улыбается)...*

Вильгельмина. Ай! ай! ай! Бѣдная моя кузина! она пропала!

Эрлахъ *(Эммѣ).* Пускай ее болтаетъ!

Вильгельмина. Г. капитанъ — второй Цесарь: пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ!

Эмма. Развѣ я его только сего дня узнала?

Вильгельмина. А онъ тебя?

Эрлахъ. Ба!—да если искра попадетъ въ пороховую бочку, то онъ въ мигъ взлетитъ на воздухъ!

Вильгельмина. Ба!—да я не знала, что у мужчинъ сердца пороховыя бочки. Однако-жъ, что сдѣлано, то сдѣлано, господинъ мизогинъ расправилъ угрюмыя морщины величественнаго чела своего... *(Приседаетъ).* Честь имѣю поздравить! — Поди сюда, милая Эмма! *(цѣлуетъ ее).* Понимаешь меня?

Кугель *(подавая руку Эрлаху)*. Господинъ капитанъ, радуюсь сердечно!

Эрлахъ *(трясетъ его руку)*. Вотъ такъ, по-нѣмецки! Это языкъ честности... Ну, дѣти, когда жъ свадьба?

Кугель. Я думаю—завтра!

Эрлахъ. Для чего жъ не нынче?

Эмма. Черезъ четыре недѣли!

Вильгельмина. Черезъ годъ!

Кугель. Кто же рѣшитъ насъ?

Вильгельмина. Вотъ тетушка!

Г-жа Моро. Остерегись, моя милая—я всегда на сторонѣ слабѣйшихъ!

Вильгельмина. Это—мы, дѣвушки!

Эрлахъ. Какъ бы не такъ!..

Г-жа Моро. Спросите у моего братца!—вотъ онъ идетъ.

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Совѣтникъ, прежніе.

Вильгельмина *(бѣжитъ къ нему на встрѣчу)*. Папинька! Южной вѣтеръ напакостилъ въ саду вашемъ—всякой ищетъ себѣ пары, всякой хочетъ жениться.

Совѣтникъ. Тѣмъ лучше!

Вильгельмина. Нашъ старикъ, нашъ брезгунъ, ворчунъ, нелюдимъ...

Эрлахъ. Благодаренъ за прекрасные титулы!

Вильгельмина. Цѣлые тридцать два года въ головѣ его былъ ледяной погребъ, которой напичканъ былъ холодными сентенціями, но *(показывая на Эмму)* эти голубые глазенки сверкнули, и ледъ растаялъ.

Совѣтникъ. Тѣмъ лучше!

Эрлахъ. Конечно, господинъ дядюшка, тѣмъ лучше—если только вамъ это не противно.

Совѣтникъ. Дорогой племянничекъ, ты болѣе счастливъ, чѣмъ сколько стоишь.

Эрлахъ. Испанцы ѣздятъ въ Америку за золотомъ, а Гансъ Эрлахъ съѣздилъ туда и привезъ такое сокровище, котораго всѣмъ копанымъ золотомъ не купить.

Совѣтникъ. Ты молчишь, Филиппина?

Г-жа Моро. Я боюсь радоваться настоящему... Ахъ, сынъ мой! сынъ мой!

Эрлахъ. Вашъ сынъ? Какъ, Эмма, у тебя есть еще и братецъ?

Эмма. Ахъ, если бъ я могла, не краснѣя, назвать его братомъ!

Эрлахъ. Гдѣ онъ? Кто онъ?

Г-жа Моро. Перестаньте говорить объ немъ, сердце мое разрывается!

Совѣтникъ. Такъ! Не станемъ помрачать этой свѣтлой минуты своими жалобами—я радъ, что наша пестрая компанія разсѣялась.

Вильгельмина. Матушка стала жаловаться головною болью, и всѣ одинъ за другимъ разъѣхались.

Совѣтникъ. Гдѣ же твоя мать? Ее одной не достаетъ здѣсь!

Вильгельмина. Она заперлась въ свою горницу.

Совѣтникъ. Заперлась? Отъ насъ? Что это значитъ?

Эрлахъ. Вѣрно что-нибудь доброе!

Г-жа Моро. Она приняла меня съ сердечною радостію и, казалось, была въ восхищеніи отъ моего неожиданнаго прибытія. «Небо», сказала она, «награждаетъ меня заранѣе! но, любезная сестрица, подите!—черезъ часъ могу я принять васъ такъ, какъ должно—черезъ часъ надѣюсь я сдѣлаться достойною этой радости».

Совѣтникъ. Непонятная загадка!

Эрлахъ. Что дашь ты мнѣ, если я тебѣ ее разгадаю?

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Иванъ и прежніе.

Иванъ *(плачетъ)*. Ахъ, господинъ совѣтникъ!

Совѣтникъ. Что съ тобою сдѣлалось?

Иванъ. Я уже пятьдесятъ лѣтъ служу вамъ...

Совѣтникъ. Ну?

Иванъ. Еще ребенкомъ пололъ я здѣсь въ саду негодную траву, гораздо до вашего рожденія... Правда, тогда я былъ глупъ и рвалъ иногда петрушку вмѣсто папоротника.

Совѣтникъ. Это и съ большими случается, другъ мой,—что же далѣе? Объ чемъ ты плачешь?

Иванъ. Объ томъ, что боюсь, чтобы и меня не выкинули отсюда, какъ негодную траву! И не правда ли, господинъ совѣтникъ,—если я не персиковое дерево въ саду вашемъ, такъ, по крайней мѣрѣ, и не репейникъ!

Совѣтникъ. Да кто тебя гонитъ?

Иванъ. По сю пору еще никто! но если рубятъ деревья одно за другимъ, то, конечно, дойдетъ и до меня очередь. Мусье Роза, парикмахеръ—мастеръ Бифстикъ, берейторъ — синьоръ Макарони, кухмистеръ—и г. Ванстманъ, приворотникъ—всѣ, всѣ отставлены въ чистую.

Эрлахъ. А! а!

Иванъ. Г-жа совѣтница призываетъ къ себѣ всѣхъ поочередно, отдаетъ имъ за полъ-года жалованье и отпускаетъ съ Богомъ на всѣ четыре стороны. Теперь управляется она съ своею французскою мамзелью, а послѣ нее примется, можетъ быть, и за меня... Подумайте, господинъ совѣтникъ, я старое дерево, меня пересаживать не годится, къ тому жъ у меня есть маленькіе отростки—куда они дѣнутся?

Совѣтникъ. Не безпокойся! Ты носилъ меня маленькаго на рукахъ, училъ меня доставать птичьи гнѣзда! Твоего гнѣзда никто не тронетъ.

Иванъ. Благодарствую, сударь! Мое гнѣздо—не воробьиное; отъ него не надобно закрывать сѣткой вишенъ и яблонь.

Совѣтникъ. Но я не понимаю...

Эрлахъ. Поймешь, поймешь — вотъ идетъ добрая жена твоя. Пойдемте отсюда, здѣсь будетъ такая супружеская сцена, при которой негодится быть свидѣтелемъ. Посмотримъ, не распущены ли и музыканты; мнѣ жаль этого будетъ, потому что я хочу танцовать и бѣситься. *(Подаетъ г-жѣ Моро руку, прочіе идутъ за ними).*

Иванъ. Моя старуха сидитъ теперь на порогѣ и плачетъ, пойду къ ней и скажу: «Не плачь старуха, покуда мы живы, по тѣхъ поръ насъ не высадятъ изъ этого саду. *(Уходитъ).*

***Совѣтникъ** (стоитъ въ глубокой задумчивости и не замѣчаетъ, что онъ остался одинъ).*

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Совѣтница *(въ самой простой одеждѣ подходитъ тихо къ совѣтнику и кладетъ руку на плечо сю).* Что такъ задумчивъ, Вильгельмъ?

Совѣтникъ. Ахъ, моя милая!—я думалъ о тебѣ.

Совѣтница. И былъ такъ печаленъ?

Совѣтникъ *(улыбаясь).* Твое присутствіе разгладило всѣ морщины на лицѣ моемъ, кромѣ однихъ морщинъ старости.

Совѣтница. Семейное счастіе и морщины старости разгладитъ.

Совѣтникъ. Слѣдственно я юноша?

Совѣтница *(беретъ сю за руку).* Не обманываешь ли ты меня?

Совѣтникъ. Какъ! Неужели ты сомнѣваешься въ любви моей?

Совѣтница. Ни мало, но для счастія двухъ супруговъ нужно нѣчто болѣе, нежели любовь.

Совѣтникъ. Болѣе, нежели любовь?

Совѣтница. Довѣренность! Безъ нее любовь скоро исчезаетъ.

Совѣтникъ *(вздыхаетъ).*

Совѣтница. Ты вздыхаешь—я вижу, ты еще не привыкъ къ откровенности—хорошо, я начну сама.

Совѣтникъ *(взялъ ее за руку).* Милая Элиза, истина, даже и непріятная, отъ тебя всегда для меня пріятна.

Совѣтница. Очень учтиво сказано! Ты теперь расположенъ говорить мнѣ комплименты—скажи, пожалуй, какова я тебѣ кажусь въ этомъ платьѣ?

Совѣтникъ. Ты такъ просто и пріятно одѣта, такъ мила, любезна...

Совѣтница. И лучше обыкновеннаго?

Совѣтникъ. О, гораздо лучше въ глазахъ моихъ.

Совѣтница. Зачѣмъ же ты поминутно даришь меня то атласомъ, то тафтою и принуждаешь слѣдовать всякой новой модѣ?

Совѣтникъ. Ты выѣзжаешь.

Совѣтница. Но должна ли я выѣзжать?

Совѣтникъ. Для чего и нѣтъ?.. для своего удовольствія.

Совѣтница. Кто тебѣ сказывалъ, что мнѣ веселѣе въ другомъ мѣстѣ, чѣмъ съ тобою? Это простое неглиже,—о! я увѣрена, что оно пристало ко мнѣ больше, нежели всѣ эти богатые праздничные уборы... Я надѣла его для тебя, единственно для тебя? *(Лукаво).* Повѣрь мнѣ, въ эти складки никогда не набьется пыль ревности.

Совѣтникъ. Ревности? Неужели ты думаешь?..

Совѣтница. Почему же не думать? Вить ты меня любишь?

Совѣтникъ. Но моя къ тебѣ довѣренность...

Совѣтница. Въ ней-то все и заключается, доброй Вильгельмъ!—ты по наружности показываешь неограниченную ко мнѣ довѣренность, а втайнѣ мучишь себя страшнымъ образомъ! Ну, не правду ли я сказала, что одной любви не довольно для счастія въ супружествѣ?

Совѣтникъ *(въ замѣшательствѣ).* Ты несправедливо обо мнѣ думаешь...

Совѣтница. Нѣтъ! нѣтъ! Я все знаю и не требую отъ тебя признанія. Тяжелую рану надобно лѣчить, но какъ можно легче до нее дотрагиваться. Я скажу только, что ты самъ насильно втащилъ меня въ большой свѣтъ—что ты самъ отворилъ входъ въ домъ нашъ негодяямъ и повѣсамъ. Ты боялся, чтобы молодая жена твоя не наскучила уединенною жизнію въ твоемъ домѣ? Это была ложная мнительность. Когда же я согласилась повиноваться твоей волѣ, то ты втайнѣ мучился странными мыслями—и въ то же время самъ ихъ стыдился... Это былъ ложный стыдъ. Мужъ и жена должны открывать другъ другу и самыя странныя мысли свои. Съ твоей стороны было бы довольно одного маповенія! Можетъ быть, я стала бы надъ тобою смѣяться; но, безъ сомнѣнія, принесла бы твоему спокойствію такую малозначущую жертву. О, какъ часто разрушалось семейственное счастіе отъ того единственно, что не было довѣренности между супругами! Какъ часто пламя становилось неутишимымъ отъ того только, что супруги не погасили первой его искры!

Совѣтникъ *(обнимая ее).* Добрая, благородная Элиза, прости меня!..

Совѣтница. Я прощаю все, но съ уговоромъ, чтобы съ сего времени ничего безъ меня не дѣлать. Ты будешь писать,—я буду сидѣть у твоего письменнаго столика съ своею работою; когда же ты отдѣлаешься, то мы будемъ всегда вмѣстѣ.

Совѣтникъ. Ты награждаешь меня вмѣсто того, чтобы наказывать.

Совѣтница. Я выдумала и наказаніе: ты любишь жить въ городѣ, я люблю жить въ деревнѣ; вообрази же, во всѣ три года мы только разъ были на своей дачѣ,—это не простительно, и въ наказаніе долженъ ты нынче пробыть цѣлое лѣто со мною.

Совѣтникъ. Элиза, это много!

Совѣтница. Нельзя иначе, и, прошу не прогнѣваться, ты будешь тамъ кушать только то, что изготовитъ намъ нашъ нѣмецъ, потому что французскаго нашего кухмистера я отпустила.

Совѣтникъ. Ты, я слышалъ, много перемѣнила въ домѣ?

Совѣтница. О, совсѣмъ другой штатъ!

Совѣтникъ. Зачѣмъ же такъ себя ограничивать?

Совѣтница. Для того, чтобъ быть довольнѣе!.. Вильгельмъ! Вильгельмъ!.. Возможно ли это? Отъ посторонняго узнала то, что ты первой долженъ былъ сказать мнѣ—то, что вся наша пышность, все наше изобиліе куплены были насчетъ твоего спокойствія—что я расхищала имѣніе дѣтей твоихъ—и за что же платила похищеннымъ? За одну разнообразную скуку!

Совѣтникъ. Вѣрно, мой Эрлахъ...

Совѣтница. Такъ—онъ! Благодарю Бога, пославшаго его сюда для моего избавленія—безъ него я была бы все еще въ ослѣпленіи, и проснулась бы, можетъ быть, поздно!.. Жестокой человѣкъ! Я все-

му этому былъ бы причиною—ты, твоя недовѣрчивость. Ты почиталъ женщинъ неспособными находить достоинства въ такомъ человѣкѣ, которой является къ нимъ съ пустыми руками—и не такъ, какъ персидскіе невольники къ своему шаху... Учись лучше знать насъ! Женщина гордится благороднымъ супругомъ своимъ, гордится болѣе, нежели пышностію и богатствомъ,—съ его почтеніемъ согласится она лучше идти пѣшкомъ, не будучи никѣмъ замѣчена, чѣмъ, лишившись любви его, ѣхать въ блестящемъ фаэтонѣ и обращать на себя вниманіе публики.

Совѣтникъ *(у ногъ ея)*. Элиза!

Совѣтница *(улыбаясь)*. Флакеландъ! въ первой разъ должна я тебѣ напоминать, что ты сорока лѣтъ! Стоять тебѣ на колѣняхъ не прилично.

Совѣтникъ. Я незналъ тебя! Прости мнѣ!

Совѣтница *(поднимаетъ его и обнимаетъ)*. Все кончено! Мы ѣдемъ въ деревню! не такъ ли? Въ нѣсколько лѣтъ поправимъ свое состояніе. О, какъ часто становится семейство бѣднымъ отъ того, что мужъ стыдится женѣ своей сказать о настоящемъ положеніи дѣлъ своихъ! Нынѣшній опытъ мой такъ увѣрилъ меня въ этой истинѣ, что я готова собрать всѣхъ отцовъ семейства и каждому изъ нихъ сказать съ пламеннымъ человѣколюбіемъ: «Довѣренность къ твоей супругѣ! Можетъ быть, ты стоишь на краю пропасти—довѣренность спасетъ тебя; побѣди ложной стыдъ—жена первой другъ твой; откройся передъ нею, и ты найдешь въ ней утѣшителя, совѣтника и помощника».

Совѣтникъ. Я стыжусь себя, Элиза,—что молодая двадцатипятилѣтняя женщина открываетъ мнѣ глаза—мнѣ, созрѣлому человѣку! Но этотъ стыдъ онять ложной—я навсегда выгоню его изъ груди своей! Съ сего времени сердце мое будетъ отверсто предъ тобою, какъ предъ Богомъ,—всѣ тайныя чувства его будутъ извѣстны! Никогда ложной стыдъ не *заставитъ меня молчать*. Я признаюсь тебѣ въ самыхъ своихъ слабостяхъ—все, все будетъ тебѣ открыто!

Совѣтница. Благодарю тебя, Боже! Надежда меня не обманула—онъ онять супругъ мой!

Совѣтникъ. Твой навѣки!.. Но, Элиза, ты не должна заключить себя навсегда въ деревню—я еще богатъ и могу...

Совѣтница. Заключить! Наслажденіе самимъ собою и натурою называетъ онъ заключеніемъ!

Совѣтникъ. Но ты не привыкла къ уединенію!

Совѣтница Изъ любви къ своему мужу жена такъ же легко перемѣняетъ свой образъ жизни, какъ и моды: я слѣдую модѣ и надъ ней же послѣ посмѣхаюсь; такъ точно и съ городскою жизнью! Дай мнѣ прожить недѣли четыре въ деревнѣ, и городская жизнь покажется мнѣ столько же смѣшною, какъ и старая мода.

Совѣтникъ. Ну, если въ самомъ дѣлѣ...

Совѣтница. Вотъ рука моя! Семейственная жизнь будетъ нашимъ блаженствомъ...

Совѣтникъ. Мирное спокойствіе въ объятіяхъ любви...

Совѣтница. Въ объятіяхъ дружбы и натуры...

Совѣтникъ. Довѣренность чистая, неограниченная!..

Совѣтница. И мы будемъ счастливы!

Совѣтникъ *(обнимаетъ ее)*. Вѣчно! Вѣчно!

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Эрлахъ и прежніе.

Эрлахъ *(съ сердцемъ)*. Проклятой бѣсъ! Когда бы кто-нибудь сломилъ ему шею!

Совѣтникъ. Что съ тобою сдѣлалось, братецъ?

Эрлахъ. Гмъ!—Чортъ меня возьми! Я взбѣшенъ, какъ дуракъ—чуть-чуть не окрестилъ я его по ушамъ своею тростію.

Совѣтникъ. О комъ говоришь ты?

Эрлахъ. О дорогомъ виконтѣ Мальякѣ, моемъ почтеннѣйшемъ зятѣ.

Совѣтникъ. Какъ зятѣ?

Эрлахъ. Такъ! — Мошенникъ этотъ

имѣетъ честь быть братомъ моей Эммы; и стыдится бѣдной своей матери. Теперь лишь разлетѣлся было онъ съ обыкновенными своими ухваточками къ намъ къ садовыя ворота—лишь только г-жа Моро его увидѣла, какъ вскричала громко: «Сынъ мой!» и такимъ голосомъ, отъ котораго бы самъ чортъ растаялъ!.. Повѣса остановился и, казалось, испугался, но безстыдство тотчасъ пожаловало къ нему на помощь.—«Madame ошибается, peut être!» — проворчалъ онъ въ носъ. Мы всѣ удивились и всякой своимъ манеромъ растолковали ему все дѣло. Эмма назвала его братомъ, а я негодяемъ. Бѣдная мать стояла между тѣмъ съ трепещущими, поднятыми руками и, казалось, ждала только знака, чтобы прижать его къ сердцу...—«Я всегда хотѣлъ»—продолжалъ этотъ бездушной—«быть въ родствѣ съ фамиліей Флакландъ, но, если для этого нѣтъ другаго средства»...—тутъ пожалъ онъ плечами, изогнулся какъ змѣя и захлопнулъ за собою дверь! «Эй, государь мой»—закричалъ я ему вслѣдъ—«изо всѣхъ родовъ ложнаго стыда самой скверной твой! Кто стыдится бѣдной своей матери, для того что боится насмѣшекъ подобныхъ себѣ негодяевъ, тотъ мошенникъ, слышишь ли?..»

Совѣтникъ. Бѣдная сестра моя! Гдѣ она?

Эрлахъ. Ее стараются тамъ утѣшить! Вотъ она! Посмотрите, какъ лицо матери скоро блѣднѣетъ отъ горести!

ЯВЛЕНІЕ 10-е.

Г-жа Моро, Кугель, Вильгельмина, Эмма и прежніе.

Совѣтникъ. Милая Филиппина!

Г-жа Моро. Братецъ, прошу тебя, не говори объ немъ болѣе, не говорите никто объ немъ! Вы будете только упрекать его—а мать не можетъ его защитить противъ вашихъ упрековъ! Ахъ, уже до того дошло, что любовь матери должна умолкнуть! О, для чего онъ не умеръ въ колыбели! я бы могла сказать теперь: «Смерть лишила меня милаго сына!»

Эмма *(ласкаясь къ ней).* У васъ еще есть дѣти!

Г-жа Моро. Потерянное дитя всегда самое любезное!

Совѣтникъ. Итакъ нѣтъ въ жизни дней совершенно ясныхъ!

Г-жа Моро. Прости меня! Я не хочу роптать... Богъ столько радостей послалъ мнѣ нынче! Ахъ, что я была за нѣсколько часовъ передъ симъ! Обнимите меня, мои дѣти! *(Обнимаетъ Эрлаха и Эмму и прижимается къ послѣдней съ величайшею нѣжностью).*

Эрлахъ. Вотъ рука моя, матушка!—я буду вашимъ сыномъ! забудьте негодяя!

Совѣтница. Что я вижу? Нашъ ненавистникъ женщинъ обратился?

Вильгельмина. Скорое обращеніе не много обѣщаетъ!

Эрлахъ. Госпожа мудрость, извольте знать, что любовь изо всѣхъ правилъ исключеніе.

Вильгельмина. Но вы столько разъ клялись вѣчною ненавистію къ женщинамъ!

Кугель. Къ женщинамъ, а не къ ангеламъ.

Эрлахъ. Вотъ славно, г. землякъ!

Вильгельмина *(къ Кугелю).* Государь мой, съ какой стати вы хвалите другихъ, а не меня! Гмъ! если вы таковы въ женихахъ, то чего ждать отъ васъ, когда вы станете господиномъ мужемъ! Учитесь у батюшки, онъ ужъ не ребенокъ! и три года какъ женатъ, а глазъ не спускаетъ съ матушки.

Совѣтникъ. Старайся ей быть подобною! Она сдѣлала меня счастливѣйшимъ человѣкомъ! Радуйся, Эрлахъ—мы ѣдемъ въ деревню!

Эрлахъ. Резонъ.

Совѣтница. Благодари ему!

Эрлахъ. Тсъ! Ни слова болѣе!

Совѣтникъ. Другъ не благодаритъ словами!

Эрлахъ. Веселитесь, дѣти! Теперь здѣсь цѣлой хороводъ счастливыхъ людей, запомъ пѣсню! *(Поетъ одинъ).*

Радость кроткая, благая!
Радость, дщерь небесъ святая!

Ой, музыканты, играйте!

(Музыка за театромъ, всѣ подаютъ другъ другу руки и, составивъ полукругъ, поютъ.)

Хоръ.

Кто нашелъ подъ солнцемъ друга,
Съ кѣмъ любезная супруга
Дѣлитъ бремя жизни сей—
Тотъ приди къ намъ, въ кругъ друзей!
Радость кроткая, благая,
Радость, дщерь небесъ святая!
Съ чистой, пламенной душой
Мы въ чертогъ вступаемъ твой!..

(Занавѣсъ опускается и послѣдніе звуки слышны уже тогда, когда совсѣмъ закрылась).

КОНЕЦЪ.

1823.

ВАЛЕРІЯ ИЛИ СЛѢПАЯ.

КОМЕДІЯ ВЪ ТРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

[ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО].

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Каролина Блумфильдъ, молодая вдова.
Валерія, ея родственница.
Графъ Эрнестъ Розенталь.
Генрихъ Мильнеръ.
Германъ, старый слуга Каролины.

Дѣйствіе происходитъ въ маленькомъ нѣмецкомъ городкѣ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Комната съ окнами и большою дверью въ садъ и съ двумя боковыми дверьми.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Каролина и Генрихъ.

Каролина. Вы здѣсь, Генрихъ! какимъ случаемъ? Я думала, что вы все утро заняты своею должностію?

Генрихъ. Ваша правда! но утромъ я никогда не имѣю свободнаго времени. Но теперь мнѣ необходимо надобно переговорить съ вами о важномъ дѣлѣ.—Вы *цѣлой день* ѣздите по визитамъ; ввечеру у васъ гости—когда же удастся сказать вамъ слово?

Каролина. Но вчера весь день провели мы одни—то есть, почти одни! Съ нами была только Валерія! но она не постороння! къ тому же слѣпа! Что же вамъ помѣшало сказать мнѣ о своемъ важномъ дѣлѣ!

Генрихъ. Я не могъ! это такое дѣло... такое важное дѣло... мнѣ такъ трудно рѣшиться къ нему приступить...

Каролина. Понимаю! вы хотите со мною говорить о моемъ разстроенномъ состояніи! Ваша разсудительность, Генрихъ, мнѣ извѣстна; знаю вашу опытность; знаю, какъ нѣжно вы съ самаго малолѣтства ко мнѣ привязаны... И напередъ признаюсь, что ваши совѣты очень благоразумны... но знайте же, что я не намѣрена слушаться вашего благоразумія.

Генрихъ. Ошибаетесь, Каролина! Я ни о чемъ благоразумномъ говорить съ вами не думалъ!..

Каролина. Какъ же вы любезны! итакъ вы хотите открыть мнѣ тайну?..

Генрихъ. Отгадали!

Каролина. Но выслушайте напередъ меня! И у меня есть къ вашимъ услугамъ тайна! Вы мой другъ! Вамъ первому и должна я открыться! Итакъ, скажу вамъ, что я выхожу замужъ.

Генрихъ. Ахъ, Боже мой! давно ли вы на это рѣшились?..

Каролина. Нынче по утру, если не ошибаюсь.

Генрихъ *(про себя).* Сумасшедшій! я опоздалъ. *(Вслухъ).* При вашей тайнѣ мои никуда не годится... Послѣ... дайте мнѣ время...

Каролина. Что съ вами сдѣлалось?

Генрихъ. Ничего... говорите... Забудьте обо мнѣ... станемъ думать объ васъ... о вашемъ счастіи.

Каролина. Вы знаете, что Блумфильдъ, мой покойный мужъ, оставилъ мнѣ шесть тысячъ флориновъ доходу! Это было очень умно съ его стороны... но вотъ что глупо: объ этомъ наслѣдствѣ начался у меня процессъ.

Генрихъ. Знаю! и такой процессъ, котораго вамъ нельзя выиграть, которой непремѣнно васъ разоритъ.

Каролина. Вы это думаете?

Генрихъ. Увѣренъ въ этомъ.

Каролина. Всѣ говорятъ то же... а мнѣ бы легко было его выиграть. Старой совѣтникъ, тотъ несносной упрямецъ, который началъ со мною тяжбу, который непремѣнно хотѣлъ на мнѣ жениться...

Генрихъ. Онъ, слава Богу, умеръ.

Каролина. Правда. Но подумайте же, какое непонятное упрямство! Его племянникъ—молодой графъ Розенталь—вы, я думаю, объ немъ слыхали?

Генрихъ. Очень мало.

Каролина. Этотъ племянникъ былъ младшій въ семьѣ своей. Онъ не могъ имѣть никакого состоянія... Теперь его вѣрно вспомнили... тотъ самый, которой за три года передъ этимъ вдругъ пропалъ безъ вѣсти.

Генрихъ. Правда ваша... я что-то подобное слышалъ.

Каролина. Подумайте же! У этого племянника, въ эти три года, умерло два родныхъ брата и нѣсколько двоюродныхъ. Теперь онъ богачъ, имѣетъ милліоны—да сверхъ того ему же досталось и все имѣніе моего упрямца совѣтника, который въ своей духовной требуетъ непремѣнно, чтобы его наслѣдникъ на мнѣ женился для прекращенія нашего спора... Вѣроятно ли?.. Но это сказалъ мнѣ нынче поутру мой повѣренный — и вотъ объ чемъ я хотѣла посовѣтоваться съ вами. Рѣшите меня! что мнѣ дѣлать?

Генрихъ. На что вы у меня спрашиваете? Вы, кажется мнѣ, рѣшились.

Каролина. До нѣкоторой степени. Графа Розенталя очень хвалятъ. Но онъ, при всѣхъ своихъ совершенствахъ, можетъ не имѣть именно тѣхъ качествъ, которыя бы сдѣлали мое счастіе; я знаю свои недостатки: я слишкомъ жива, нетерпѣлива; бываю иногда и вѣтрена; мнѣ надобенъ мужъ постоянный, спокойнаго характера, яснаго и здраваго ума, — такой, напримѣръ... не смѣйтесь!.. какъ вы! разумѣется, если бы вамъ это было угодно.

Генрихъ. Что вы говорите, Каролина!

Каролина. Впрочемъ, можетъ быть и то, что графъ Розенталь имѣетъ эти нужныя для счастія моего качества... можетъ быть, что и я соглашусь за него выдти; но знайте, что сдѣлаю это не для себя, а для тѣхъ, которые меня окружаютъ, которыхъ счастіе мнѣ дорого... Подумайте объ одной Валеріи! Не имѣй я достатка — принуждена буду съ нею разстаться! Будь я богата — мы неразлучны! тогда мнѣ будетъ возможно окружить ее всѣми попеченіями нѣжной дружбы. Слѣпота—состояніе ужасное! Она одна посреди свѣта, мертва для всѣхъ удовольствій жизни; мы вмѣстѣ и розно... Съ такою судьбою не лучше ли не жить... Для меня, по крайней мѣрѣ, такая жизнь была бы нестерпима...

Генрихъ. Для васъ, согласенъ! но для Валеріи... Она потеряла зрѣніе во младенчествѣ! Можетъ ли сожалѣть о тѣхъ удовольствіяхъ, о которыхъ никакого понятія не имѣетъ?.. Повѣрьте...

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Тѣ же и Германъ.

Германъ. Вотъ письмо. Его принесъ лакей въ богатой ливреѣ.

Каролина. Дай.

Германъ. Я учтиво просилъ его подождать. Онъ весь облитъ золотомъ.

Каролина *(распечатавъ письмо)*. Отъ графа Розенталя... Онъ въ двухъ миляхъ отсюда, — остановился на станціи... Проситъ позволенія со мною увидѣться... вѣрно хочетъ говорить о духовной своего любезнаго дядюшки.—Письмо очень милое. Какъ вы думаете, Генрихъ? Что дѣлать?

Генрихъ. Я здѣсь ничего не могу думать. Вы, можетъ быть, на меня разсердитесь, если присовѣтую вамъ не принимать его.

Каролина. Но это было бы неучтиво... Въ нашихъ обстоятельствахъ... могу ли отказаться...

Генрихъ. Не выдумывайте причинъ! Скажите просто—что вамъ этого самимъ хочется.

Каролина. Признаюсь! я любопытна, желаю его видѣть... Это же ни къ чему не обязываетъ... Германъ, поди, скажи Валеріи, что Генрихъ здѣсь... что онъ одинъ... *(Генриху)* Валерія побудетъ съ вами, а я пойду написать отвѣтъ. *(Уходитъ съ Германомъ).*

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Генрихъ одинъ.

Генрихъ. Я хорошо сдѣлалъ, что не открылся ей вчера... Это было бы для нее новымъ торжествомъ, а для меня униженіемъ... Она никогда не узнаетъ моей тайны! Какая легкость! какая вѣтреность! Для чего не имѣетъ она сердца Валеріи... *(Увидя Валерію).* Ахъ, Валерія! мой истинный, единственный другъ! помогите мнѣ!

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Генрихъ и Валерія, которую ведетъ Германъ.

Валерія. Вы здѣсь, Генрихъ!

Генрихъ. Здѣсь! нетерпѣливо жду васъ.

Валерія. Германъ, поведи меня къ нему поскорѣе. *(Подаетъ Генриху руку).* Здравствуйте, милой Генрихъ! Я заставила васъ ждать! не вините меня! не могу ходить такъ скоро, какъ бы желала.

Германъ. Однако вы скоро ходите, особливо для меня. Кто бы могъ предсказать, что въ семьдесятъ лѣтъ достанется мнѣ быть проводникомъ такой милой, такой прекрасной дѣвушки!

Валерія *(весело).* Проводникомъ... какъ въ той французской оперѣ, которую читала мнѣ Каролина!—въ «Рихардѣ»—ты мой Антоніо.

Германъ. Да... дряхлый Антоніо.

Валерія. Тѣмъ лучше... Старость твоя даетъ и мнѣ средство служить тебѣ... *Ты меня водишь*, а я тебя поддерживаю.

Германъ. *Если* бы вы хотѣли... то могли бы ходить и одни... Что ни говорите, а я не теряю надежды.

Валерія. Мой добрый Германъ, ни слова объ этомъ, прошу тебя! Ты знаешь, что всѣ здѣшніе искусные доктора признаютъ это совершенно невозможнымъ.

Германъ. Здѣшніе доктора могутъ быть очень искусны здѣсь, и большіе невѣжды въ другомъ мѣстѣ. Напримѣръ, во Франціи! Если бы вы знали, что тамъ случилось со мною. Послушайте...

Генрихъ. Валерія, мнѣ надобно говорить съ вами! отошлите его...

Валерія. Дайте ему разсказать свою исторію. Этотъ добрый старикъ любитъ разсказывать. Я бѣдна: не могу ничего ему дать.. Я его слушаю и тѣмъ плачу за его попеченія. Говори, Германъ.

Германъ. Я очень долго былъ слѣпъ, какъ вы. Прошлаго года господинъ Блумфильдъ взялъ меня съ собою въ Парижъ.

Генрихъ. Знаю.

Германъ. Тамъ весь свѣтъ прославлялъ одного глазнаго оператора, который искусствомъ своимъ дѣлалъ чудеса. Попробую счастія, подумалъ я, и велѣлъ себя отвести къ этому чудотворцу. Онъ жилъ въ богатыхъ палатахъ — въ прихожей его нашли мы толпу — я ждалъ цѣлые два часа по пустякамъ, точно какъ будто у какого министра...

Генрихъ. Говори скорѣе! Онъ тебя вылѣчилъ!

Германъ. Погодите! совсѣмъ не вылѣчилъ — даже не хотѣлъ на меня и посмотрѣть! Мнѣ нечѣмъ было ему заплатить — съ горемъ пополамъ пошелъ я домой—но на лѣстницѣ остановилъ меня молодой человѣкъ—кто онъ, не знаю! можетъ быть, ученикъ господина доктора. Онъ сказалъ мнѣ: Ты вѣрно нѣмецъ? У тебя выговоръ нѣмецкій.

Валерія. Что же ты ему отвѣчалъ?

Германъ. Что отвѣчалъ!—ja mein Herr! коротко да ясно. — Откуда ты? — Изъ Швабіи!—Знаешь ли Ольбрюкъ?—Я тамъ родился. — Какъ! родился въ Ольбрюкѣ? Какое счастіе!—Можете сами представить, какъ и мнѣ было пріятно найдти въ

Парижѣ человѣка, которой зналъ мою родину и любилъ ее.

Генрихъ. Однимъ словомъ, онъ тебѣ возвратилъ зрѣніе!

Германъ. И очень возвратилъ! Вы видите, что я теперь гляжу во всѣ глаза! Какой прекрасной молодой человѣкъ! какое искусство! И какъ же онъ терпѣливо меня слушалъ—не понукалъ меня! я могъ разсказать ему все до малѣйшей подробности.

Генрихъ *(улыбаясь)*. Понимаю... Но этотъ прекрасный, молодой человѣкъ... Скажи Германъ, сколько тебѣ это стоило?

Германъ. Сколько стоило — подлинно не помню, потому что послѣ операціи онъ всунулъ мнѣ въ руки 25 луидоровъ, и пожелалъ мнѣ счастливаго путешествія.

Валерія. Возможно ли?

Генрихъ. Полно, правда ли, Германъ?..

Валерія. Благодарствую, другъ мой! Исторія твоя очень любопытна! Но по несчастію мы не въ Парижѣ! У насъ подобныхъ чудесъ не дѣлаютъ.

Германъ. Не думаете ли, что я васъ обманываю?

Валерія. Нѣтъ, мой милый Германъ!.. Теперь поди! я болѣе не имѣю въ тебѣ нужды.

Германъ. Простите, сударыня! мнѣ и самому здѣсь оставаться нельзя! Велѣно все приготовить къ пріѣзду этого графа, которой женится на нашей барынѣ! Едва ли достанетъ у меня времени.

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Валерія и Генрихъ.

Генрихъ. Наконецъ ушелъ!

Валерія. Говорите, Генрихъ, чего вы отъ меня требуете?

Генрихъ. Вы слышали—ждутъ графа Розенталя! Онъ знатный человѣкъ, милліонщикъ... а у меня ничего нѣтъ; живу однимъ жалованьемъ.

Валерія. Что жъ нужды!

Генрихъ. Какъ что нужды?.. Онъ ѣдетъ сюда затѣмъ, чтобы жениться на Каролинѣ! Онъ вѣрно ей понравится... а я люблю ее... люблю до безумія... И ни одна душа еще не знаетъ моей тайны.

Валерія. Милый Генрихъ, а я давно ее знаю!

Генрихъ. Возможно ли?

Валерія. Да, мой другъ. Уже нѣсколько дней, какъ я замѣтила, что вы печальны... молчаливы... ни на что не обращаете вниманія... Тогда я подумала... тогда я вспомнила... *(Задумывается)*.

Генрихъ. Если такъ, Валерія, то скажите, найдется ли на свѣтѣ человѣкъ несчастнѣе меня?.. Каролина и не подозрѣваетъ любви моей!.. Когда бы она объ ней знала, то я имѣлъ бы право оспоривать ея сердце; и пріѣздъ этого графа былъ бы для меня счастіемъ. Но теперь? Могу ли его вызвать? Имѣю ли на это право? Итакъ, я долженъ быть просто свидѣтелемъ его счастія! Долженъ съ покорностію смотрѣть, какъ ее у меня отымутъ. Нѣтъ... я рѣшился бѣжать отсюда... забыть ее, вырвать изъ сердца любовь мою!

Валерія. Бѣжать!.. Повѣрьте мнѣ, другъ мой, что это ни къ чему не послужитъ... Разлука не помогаетъ! Вы не забудете ее, а только себя сдѣлаете несчастнѣе прежняго.

Генрихъ. Валерія! вы говорите о страданіяхъ любви, какъ будто сами ихъ испытали. Скажите, неужели кто-нибудь, милый вамъ, далеко отъ васъ?

Валерія *(съ чувствомъ)*. На что говорить объ этомъ... Дѣло объ васъ.

Генрихъ. Но вы въ замѣшательствѣ... Ваше волненіе... Конечно, слова мои разбудили въ васъ грустное воспоминаніе... Такъ! у васъ есть горе и вы боитесь его мнѣ повѣрить! Для чего же? Неужели одна Каролина имѣетъ право на вашу довѣренность?

Валерія. Каролина не знаетъ ни о чемъ! Она не могла угадать вашего страданія—какъ же понять ей мое?

Генрихъ. Но я... Валерія, повѣрьте, что я достоинъ принимать въ немъ участіе. И знайте, что одна только эта надежда можетъ теперь удержать меня

здѣсь! Ѣду сію же минуту, если вы мнѣ откажете въ своей дружбѣ, въ своей довѣренности! Говорите!

Валерія. Вы хотите ѣхать!.. Итакъ мнѣ надобно будетъ потерять своего единственнаго друга... Вы уѣдете, если не скажу вамъ моей тайны! Но чего вы отъ меня требуете? Жизнь моя такъ ничтожна!.. Не зная ни о чемъ происходящемъ вокругъ меня, могу разсказывать только о томъ, что̀ чувствую во глубинѣ сердца! Исторія моей жизни есть исторія моей души!.. Ее ли вы знать желаете?

Генрихъ. Говорите, прошу васъ.

Валерія. Слушайте. Будучи съ младенчества сиротою, я сохранила какое-то смутное, странное воспоминаніе о прежнемъ времени... Мнѣ кажется, что я когда-то жила въ другомъ свѣтѣ. Знаю только, что прежде было насъ много и что вдругъ я стала одна... Съ тѣхъ поръ не имѣла я ничего подобнаго этому первому воспоминанію. Я воспитывалась въ Ольбрюкѣ, въ замкѣ графини Риненбергъ, съ Эмиліею, ея дочерью—мы были однихъ лѣтъ. «Бѣдное дитя! какая жалость!»—вотъ первыя слова, которыя поразили меня! Они заставили меня подумать, что участь моя должна быть несчастна! До этой минуты я ничего не требовала, ничего не желала!.. Я не размышляла! Однажды—намъ исполнилось, я думаю, шестнадцать лѣтъ—на публичномъ праздникѣ, который данъ былъ въ Ольбрюкѣ, и я и Эмилія—какъ это случилось, не знаю, никого изъ нашихъ не было съ нами—зашли въ толпу молодыхъ людей, которые вздумали смѣяться надъ нами и позволили себѣ обидныя съ нами вольности. Эмилія упала въ обморокъ; я умирала отъ страху, не понимая, что съ нами дѣлается. Вдругъ одинъ молодой человѣкъ бросается къ намъ на помощь. О! какъ тронулъ мою душу его ободряющій голосъ. Какъ этотъ голосъ показался мнѣ сильнымъ и грознымъ, когда онъ потребовалъ, чтобъ оскорбители наши удалились. Я услышала, что спорили, бранились... Наконецъ вызовъ... все утихло... Одинъ какой-то страшный, незнакомый мнѣ звукъ доходилъ до моего слуха... Тайный голосъ сказалъ мнѣ, что нашъ защитникъ въ опасности... Я бросилась къ нему... протянула руки... и въ эту минуту почувствовала пронзительную боль и холодъ, и потомъ совсѣмъ потеряла чувство.

Генрихъ. Боже мой! вы были ранены!

Валерія. Опасно ранена, какъ мнѣ сказали послѣ!.. Ахъ! онъ самъ невольнымъ образомъ... Но вообразите же, какое счастіе! Это остановило поединокъ, и, можетъ быть, спасло его дни!.. Спустя нѣсколько недѣль—когда мнѣ возвратили жизнь... Эрнестъ *(оборотясь къ Генриху)*—его зовутъ Эрнестомъ—переселился въ нашъ замокъ; онъ училъ графиню Эмилію по-италіански и по-французски!—И я училась вмѣстѣ съ нею. Ахъ! съ какимъ чувствомъ говорилъ онъ намъ о изящныхъ искусствахъ, о любви къ наукамъ. Его животворные разговоры, его блестящее воображеніе открыли передо мною новый свѣтъ... Тогда я начала жить! Всѣ неизвѣстные предметы, которые онъ мнѣ описывалъ, одушевились въ моихъ мысляхъ... Такъ! прекрасное небо, свѣтлые ручьи, цвѣтущіе луга, о которыхъ онъ говорилъ—я ихъ видѣла! Они были передъ глазами моими, когда онъ былъ со мною...

Генрихъ. Но гдѣ же онъ? Что съ нимъ сдѣлалось?

Валерія. Тому уже три года... Онъ былъ моимъ наставникомъ, былъ моимъ другомъ! Его разговоры обогащали мой умъ, возвышали, творили мою душу; а дружба его радовала мое сердце и берегла меня съ заботливостію неизъяснимою. О! какъ я къ нему привыкла! Я узнавала его походку, угадывала его движенія... чувствовала его присутствіе, когда онъ былъ въ одной со мною горницѣ и молчалъ. И конечно, моя привязанность къ нему испугала ихъ: графиня Риненбергъ и Эмилія сдѣлались со мною неразлучны. Мы не имѣли свободы сказать другъ другу слова. Но каждое утро давалъ онъ

мнѣ свѣжій букетъ цвѣтовъ—я носила его на груди цѣлой день, а ввечеру возвращала Эрнесту... Это было единственнымъ нашимъ разговоромъ. Однажды онъ мнѣ сказалъ: «Валерія! мнѣ должно оставить замокъ. Честь принуждаетъ меня къ тому! Но я возвращусь! Я твой навѣки!..» Тогда показалось мнѣ, что жизнь для меня кончилась. Съ отчаяніемъ почувствовала я ту вѣчную ночь, которая меня окружала! Онъ удалился... Онъ не оставилъ мнѣ ничего... ничего! даже своего образа!

Генрихъ. Бѣдная Валерія!

Валерія. Напрасно бродила я по тѣмъ аллеямъ, по которымъ такъ часто ходили мы вмѣстѣ... Все исчезло! Я ничего уже не видала. Въ это время пріѣхала въ замокъ Ринсбергъ Каролина. Мы подружились. Она взяла меня съ собою. Но что же? Я думала найдти въ этихъ мѣстахъ покой—и перенесла въ нихъ всѣ свои воспоминанія, всю свою тоску... О милый другъ, на свѣтѣ одно несчастіе—разлука!

Генрихъ. Но развѣ онъ не писалъ къ вамъ ни разу!

Валерія. Къ чему же? Я не могла бы читать его писемъ!.. Но послушайте... кажется, идутъ.

Генрихъ. Боже мой! неужели Каролина?

Валерія. Вы дрожите... Ободритесь! Вотъ минута... Откройте ей свое сердце.

Генрихъ. Нѣтъ... Не могу!

Валерія. Бѣдный Генрихъ!.. Хорошо же, я буду говорить за васъ!.. Я найду способъ удалить этого графа Розенталя... Онъ мнѣ противенъ, хотя я и не знаю его.

Генрихъ. Добрая Валерія!

Валерія. Но вы останетесь, Генрихъ.

Генрихъ. Останусь, милая, останусь!

Валерія. Не смѣшно ли? Здѣсь начинается интрига, и я главное дѣйствующее лицо!.. Каролина идетъ! Оставьте насъ! *(Генрихъ уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Валерія и Каролина.

Каролина (*говоритъ, оборотясь къ двери*). Надобно въ залѣ разставить цвѣты, а дворъ поскорѣе очистить—онъ такъ малъ, такъ заставленъ, что никакая карета не можетъ въ немъ поворотиться.

Валерія. Ты ждешь гостей, Каролина?

Каролина. Да, этого графа, съ которымъ у меня тяжба.

Валерія. Чего онъ хочетъ?

Каролина. Вѣроятно, мириться!.. Что будетъ, не знаю! Всѣ права на его сторонѣ... но я прекрасна...

Валерія. Прекрасна!.. Изъясни мнѣ, Каролина, что значитъ быть прекрасною?

Каролина. Быть прекрасною, значитъ... нравиться!

Валерія. Скажи же мнѣ, прекрасна ли я?

Каролина. Обыкновенно женщины на такой вопросъ искренно не отвѣчаютъ; но съ тобою дѣло другое: ты прекрасна, Валерія!

Валерія (*съ удовольствіемъ*). Тѣмъ лучше!.. Не знаю почему, но это меня очень радуетъ. Продолжай, Каролина.

Каролина. Дѣло идетъ о замужествѣ... Я почти согласна! Признаюсь, Валерія, имѣю слабость къ богатству — можетъ быть, это отъ того, что весь свѣтъ его бранитъ, и что мое великодушіе заставляетъ меня всегда быть на сторонѣ утѣсненныхъ... Словомъ, люблю его... Мнѣ пріятно имѣть завистниковъ! И не могу терпѣть сожалѣнія. Когда говорятъ съ досаднымъ участіемъ: «Бѣдная госпожа Блумфильдъ! не имѣетъ защитника! не имѣетъ состоянія! какая жалость!»—я сержусь, а когда подумаю, что у меня могутъ быть милліоны... то готова съ досады на все!

Валерія. И для этой смѣшной причины ты хочешь продать свое счастіе?

Каролина. Нѣтъ—хочу только обезпечить твое! Мой другъ, если я выйду за графа Розенталя, то насъ ужъ ничто не разлучитъ! Мы будемъ жить вмѣстѣ

друга! Итакъ понимаешь, что я во всякомъ случаѣ буду истинно счастлива!

Валерія. Милая Каролина! какъ я тебѣ благодарна!.. Но ты ошибаешься! Мы не будемъ вмѣстѣ, напротивъ, мы разстанемся непремѣнно, если ты выйдешь замужъ за графа Розенталя!

Каролина. Что это значитъ?

Валерія. Если бы я взяла на себя защищать друга... милаго, добраго друга, которой истинно тебя любитъ... то могла ли бы согласиться быть первою причиною его несчастія?

Каролина. Ахъ! Боже мой!.. Кто же этотъ несчастный, за котораго ты такъ заступаешься? Погоди! знаю: полковникъ Зальдорфъ?

Валерія. Совсѣмъ нѣтъ!

Каролина. Совѣтникъ Кельманъ?

Валерія. Нимало... Неужели отъ меня первой должна ты узнать объ этомъ?

Каролина. Дай подумать... Ко мнѣ такъ много ѣздитъ.

Валерія. Итакъ, слѣпота въ иныхъ случаяхъ весьма выгодна! Я тотчасъ угадала, кто изъ нихъ истинно тебя любитъ. Это—Генрихъ Мильнеръ! доброй, милой Генрихъ Мильнеръ.

Каролина. Ахъ, бѣдный! А я именно ему обо всемъ сказала, именно у него просила совѣта! Я всегда имѣла къ нему большую довѣренность.

Валерія. На эту минуту могла бы ты и не имѣть ее.

Каролина. Но какъ же догадаться, что онъ меня любитъ? Онъ никогда не говорилъ мнѣ о любви ни слова, никогда мнѣ не льстилъ, вѣчно со мною бранился!.. Онъ казался болѣе угрюмымъ наставникомъ, нежели другомъ...

Валерія. Такъ... наставникъ... путеводитель... другъ! О! я бы немедленно поняла его! Каролина! это единственный человѣкъ, котораго тебѣ позволено любить, которому ты можешь принадлежать... Только съ нимъ и съ тобою могу найти и я свое спокойствіе, свое возможное счастіе! На что мнѣ изобиліе?.. Въ какомъ богатствѣ могу имѣть нужду! Для меня все излишество... все, кромѣ твоей, кромѣ его дружбы! Мнѣ нужно имѣть около себя счастливыхъ, которые и меня допустили бы къ своему счастію! Такой раздѣлъ никому не въ убытокъ!—и если бы ты знала, какъ онъ тебя любитъ! Если бъ была свидѣтельницею его печали, его отчаянія...

Каролина. Какъ! Возможно ли?

Валерія. Да! Возможно ли, что ты ничего не замѣчаешь?.. Я... я не могла его видѣть *(беретъ ее за руку)*. Но я понимала его—когда онъ молчалъ; я чувствовала, какъ рука его трепетала въ моей!.. Боже мой! такъ же точно, какъ твоя въ эту минуту... Ты тронута... ты въ волненіи... О! какъ же я хорошо сдѣлала, что ободрила его... что все ему за тебя обѣщала. Каролина! ты его любишь... Ты согласна на все... Побѣгу сказать ему о его счастіи!..

Каролина. Погоди минуту!.. *(Въ сторону)*. Съ нею нѣтъ никакого средства! При малѣйшей неосторожности—все угадаетъ! *(Вслухъ)*. Признаюсь! Любовь его меня трогаетъ... Можетъ быть, и въ моемъ сердцѣ открываетъ она мнѣ такое чувство, какого я въ немъ не подозрѣвала!.. Со временемъ...

Валерія. Нѣтъ! теперь, теперь!.. Я не могу на это согласиться... Ты должна полюбить его сію же минуту.

Каролина. Валерія! ты смѣшна съ своимъ нетерпѣніемъ!.. Если бъ я и полюбила его, то, конечно бы, въ томъ не призналась... Къ тому же... *(Останавливается)*. Что это за шумъ?

Валерія *(слушая)*. Карета, я думаю, въѣхала на дворъ.

Каролина *(бѣжитъ къ окну)*. И какая прекрасная! Какія лошади! Какая ливрея! Боже мой, да это—ландо!

Валерія. Ландо?

Каролина *(глядитъ въ окно)*. Да! Какъ мнѣ жаль, что ты не можешь видѣть.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Тѣ же и Германъ.

Германъ. Графъ Розенталь пріѣхалъ.

Валерія. Графъ Розенталь! Мнѣ бы надобно было догадаться.

Каролина. Ахъ, Боже мой!.. Я не ждала его такъ скоро! Заговорившись съ тобою, я совсѣмъ позабыла, что онъ долженъ ко мнѣ быть. Такъ принять его не могу. Мнѣ надобно принарядиться.

Валерія. Но если ты перемѣнила мысли...

Каролина. Все равно. Нѣтъ никакой нужды пугать его собою. Ты примешь его здѣсь, не правда ли?

Валерія. Нѣтъ!.. Я не желаю съ нимъ встрѣтиться.

Каролина. Введи его въ маленькую гостиную, Германъ. Выду тотчасъ. Нѣтъ ничего досаднѣе неожиданнаго визита. *(Уходитъ).*

Валерія. Германъ... здѣсь ли ты? Проводи меня въ мою горницу... О несносной ландо! все дѣло испортилъ!

(Идетъ, опираясь на Германа, который, проводивъ ее до дверей ея горницы, выходитъ въ другія двери).

конецъ 1-го дѣйствія.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Графъ Розенталь и Каролина.

Каролина. Извините меня, графъ! Вы принуждены были дожидаться!..

Графъ. Мнѣ должно просить у васъ извиненія! Я въ дорожномъ платьѣ... Но я скакалъ всю ночь... Спѣшилъ безъ памяти.

Каролина. И вѣрно ужасно устали?

Графъ. Съ начала, правда... но, приближаясь, совершенно забылъ объ усталости... Сторона прекрасная!.. Дорога удивительная!

Каролина. Что вы говорите? Дорога негодная... Рвы, пропасти... Каждый день случается какое-нибудь несчастіе.

Графъ. Неужели? Вы пугаете меня... Пожелайте же мнѣ счастливо доѣхать! Черезъ минуту я долженъ васъ оставить.

Каролина. Какъ! вы уѣзжаете, графъ?

Графъ. Обязанъ уѣхать. Дѣла, которыхъ отложить невозможно... Мнѣ еще нынче ввечеру надобно поспѣть въ Ольбрюкъ,—и я прошу у васъ позволенія не откладывая переговорить съ вами объ той духовной...

Каролина. Нѣтъ, графъ! Никакъ не позволю! Кто ѣхалъ день и ночь по такимъ дорогамъ, тому нуженъ покой. Вы здѣсь останетесь. Я сейчасъ прикажу приготовить для васъ комнату.

Графъ *(удерживая ее).* Но я уже имѣлъ честь предупредить васъ...

Каролина. Я очень васъ поняла... Но извините, считаю ваше намѣреніе безразсуднымъ. Завтра поѣдете вы въ Ольбрюкъ, а нынче отобѣдаете съ нами. Въ противномъ случаѣ не услышите отъ меня ни слова о нашемъ дѣлѣ; пришлю къ вамъ моего повѣреннаго; тогда по неволѣ останетесь до завтрашняго утра— онъ страшной болтунъ и никогда не умѣлъ кончить процесса.

Графъ. Признаюсь, это пугаетъ меня гораздо болѣе, нежели тѣ рвы и пропасти, о которыхъ вы мнѣ говорили... Я желалъ бы отъ васъ самихъ получить разрѣшеніе; вы однѣ должны быть моимъ судьею. Прошу васъ меня выслушать; въ двѣ минуты кончу. Вы знаете, что я обязанъ...

Каролина. Выбрать одно изъ двухъ: или имѣть со мною процессъ или на мнѣ жениться... Но я уже сказала вамъ, что отвѣчать нынче ни на что не буду. Что же касается до собственнаго вашего намѣренія, графъ, то можете изъявить его мнѣ самымъ легкимъ образомъ: если согласитесь у меня остаться, то это будетъ приступомъ къ миру; если же, не смотря ни на что, уѣдете въ свой Ольбрюкъ, то я приму это за объявленіе войны и приготовлюсь къ оборонѣ.

(Кланяется ему и уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Графъ *(одинъ).* Ultimatum очень пріятный; но онъ приводитъ меня въ большое затрудненіе. Госпожа Блумфильдъ любезная женщина и я не хотѣлъ бы, какъ

она говоритъ, первый начинать войну. Однако, здѣсь не останусь!.. Въ Ольбрюкъ! въ Ольбрюкъ! Чѣмъ ближе къ нему, тѣмъ сильнѣе волненіе души, тѣмъ мучительнѣе нетерпѣніе!.. Такъ и быть! Объявимъ войну! *(Кличетъ).* Кто тутъ?.. Завтра или послѣ завтра возвращусь и мы подпишемъ миръ... Есть ли здѣсь кто нибудь?

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Графъ и Германъ.

Германъ. Иду... иду. Эти большіе господа не умѣютъ потерпѣть... Но женихъ, право, хоть куда! *(Вслухъ).* Горница для вашего сіятельства готова.

Графъ. Не надобно! Я ѣду сейчасъ! Скажи людямъ моимъ, чтобъ были готовы.

Германъ. Вотъ хорошо! А я такъ хлопоталъ... *(Вслухъ).* Прикажете подавать карету?

Графъ. Да! Скорѣе.

Германъ. Пріѣздъ знатнаго господина—великая тревога. Теперь у насъ на дворѣ толпа нищихъ—сползлись отовсюду, какъ муравьи.

Графъ *(съ нетерпѣніемъ).* Отослать ихъ!

Германъ. Это легче выговорить, нежели сдѣлать... Тамъ, напримѣръ, есть одинъ слѣпой, который шумитъ болѣе десяти зрячихъ.

Графъ *(съ живостію).* Слѣпой, говоришь ты? Вотъ, отдай ему мой кошелекъ!

Германъ *(смотря съ удивленіемъ на кошелекъ).* Что это значитъ? *(Подходитъ и всматривается въ графа).* Ахъ! Боже мой!.. Какое сходство!.. Если бы ваше сіятельство не были графъ... то я бы сказалъ, что вы тотъ молодой человѣкъ, которой прошлаго года... въ Парижѣ... у доктора Форцано...

Графъ *(съ важностію).* Что такое?

Германъ. Извините, ваше сіятельство!.. Я, конечно, ошибаюсь... Мнѣ такъ показалось съ перваго взгляда!.. Но теперь *вижу разницу...* Эта богатая карета... Эти огромные лакеи... Ваше сіятельство гораздо лучше! *(Въ сторону).* Видъ благороднѣе...

Графъ. Да что ты такое говоришь?

Германъ. Ничего, ваше сіятельство... Мнѣ показалось, что вы похожи лицомъ... *(Всматриваясь въ него).* И подлинно! Какъ двѣ капли воды!.. *(Вслухъ).* Похожи лицомъ на одного молодаго человѣка, съ которымъ я встрѣтился въ Парижѣ, которой разспрашивалъ меня о моей родинѣ, Ольбрюкѣ...

Графъ. А ты изъ Ольбрюка? Знаешь замокъ Ринсбергъ?

Германъ. Какъ не знать!.. Четыре башни...

Графъ. Нѣтъ! Я говорю о тѣхъ, которые живутъ въ замкѣ—знаешь ли графиню Ринсбергъ, Эмилію, дочь ея?.. Можешь ли что нибудь сказать мнѣ объ той молодой дѣвушкѣ, которая у нихъ воспитывалась, о Валеріи?

Германъ. Валерія здѣсь... У госпожи Блумфильдъ... Онѣ большія друзья...

Графъ *(съ живостію).* Здѣсь?.. *(Удерживаясь).* Послушай, мой другъ! Я остаюсь у васъ... Скажи госпожѣ Блумфильдъ, что принимаю съ благодарностію ея приглашеніе... Намъ надобно переговорить съ нею о многомъ. Но прежде всего... Послушай... Есть ли въ этомъ мѣстѣ какой нибудь нотаріусъ?

Германъ. Есть! Одинъ... для трехъ деревень! Иногда, если понадобится написать въ то же время и свадебный контрактъ и духовную...

Графъ. Отыщи поскорѣе этого человѣка и прямо веди его ко мнѣ! Но смотри же, чтобы его никто не видалъ!.. И ты самъ никому ни слова!

Германъ. Понимаю! На этотъ разъ дѣло не о духовной... *(Посматривая на кошелекъ).* Ну! если ваше сіятельство такъ любите слѣпыхъ, то я отдамъ это моему бывшему сослуживцу *(въ сторону)*, выдѣливъ немного и другимъ—виноваты ли они, что не имѣютъ одинакихъ съ нимъ преимуществъ...

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Графъ *(одинъ)*. Боже! Какое неожиданное счастіе!.. *(Глядитъ налѣво)*. Но кто-то идетъ!.. Это она... Это Валерія!

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Графъ и Валерія.

Валерія *(въ дверяхъ своей горницы)*. Германъ! Германъ!.. Я хотѣла бы знать, уѣхалъ ли этотъ графъ?.. Германъ хотѣлъ придти за мною!.. А я... когда обо мнѣ позабудутъ... *(Услышавъ движеніе графа)*. Ты здѣсь!.. Подойди... дай мнѣ руку... *(Графъ приближается и беретъ ее за руку)*. Но это не Германова рука!.. *(Съ волненіемъ)*. О, Боже!.. Возможно ли?.. *(Кладетъ руку на сердце)*. Опять то же, что я чувствовала въ прежнее время... *(Графу)*. Ахъ, кто ты?.. Если ты не онъ, то не отвѣчай! Оставь мнѣ мое заблужденіе!.. Ты ли, Эрнестъ?

Графъ. Валерія!

Валерія. Боже!.. Онъ не забылъ меня!

Графъ. Такъ, я Эрнестъ! Все прежній... Все вѣрный тебѣ... Все тотъ же, который съ тобою разстался, который обѣщалъ быть вѣчно твоимъ... Я здѣсь! А ты, Валерія, согласишься ли возвратить мнѣ мои права?.. Позволишь ли мнѣ попрежнему быть твоимъ проводникомъ, твоимъ другомъ... Хочешь ли этого, Валерія?

Валерія *(продолжая слушать)*. Говори! говори! не умолкай, мой другъ! Мнѣ такъ необходимо тебя слышать! Такъ давно твой голосъ не доходилъ до моего сердца...

Графъ. Я ѣхалъ за тобой въ Ольбрюкъ, въ замокъ Ринсбергъ, туда, гдѣ столько для меня воспоминаній...

Валерія. Гдѣ былъ ты? Что было съ тобой? Какъ много, много тебѣ разсказывать! Открой мнѣ все — твои печали, твои опасности, — все твое должно быть и моимъ.

Графъ. А ты, Валерія, что дѣлала въ эти три года?

Валерія. Я ждала. О, Эрнестъ! Когда бы ты зналъ, какъ медленно, медленно проходили для меня минуты!.. Тебѣ, по крайней мѣрѣ, было можно считать ихъ... Но я?.. То, что вы называете днями, недѣлями, мѣсяцами — для меня не существуетъ... Съ минуты, въ которую мы разстались, была для меня одна ночь! Какая длинная ночь!.. Но не будемъ говорить объ этомъ! Мнѣ кажется, что эта ночь миновалась, что я проснулась... Ты здѣсь!

Графъ. Опять съ тобою и навсегда!

Валерія. И ты для меня ѣхалъ въ Ольбрюкъ?

Графъ. Единственно для тебя! Теперь могу предложить тебѣ руку! Ты должна быть моею женою.

Валерія. Что ты говоришь?.. Мнѣ, Эрнесту, быть твоею женою?..

Графъ. Я свободно могу располагать своею участію! Какова бы она ни была, Валерія, согласишься ли ее раздѣлить со мною?

Валерія. Мой другъ! Когда бы я послушалась только своего сердца, то, можетъ быть, и имѣла бы довольно эгоизма, чтобы согласиться на твое требованіе; но и мнѣ, въ свою очередь, пора подумать о твоемъ счастіи. *(Ищетъ его руку)*. Эрнестъ... гдѣ ты? Послушай... Въ то время, когда ты покинулъ меня... я еще не знакома была съ понятіями свѣта, совершенно для меня чуждаго... Но съ тѣхъ поръ я слышала такъ много... а то, что я слышала, заставило меня подумать о тебѣ, о себѣ... Нѣтъ! въ моемъ положеніи никогда не соглашусь соединить своей участи съ твоей!

Графъ. Валерія!

Валерія. Не стыжусь своей бѣдности; твое великодушіе легко бы мнѣ ее простило... Но могу ли принести тебѣ свое бѣдствіе въ приданое? Могу ли осудить тебя — тебя, которой дороже мнѣ всего въ жизни — на тяжкія безпрестанныя попеченія... которыя — знаю — тебѣ не стоили бы ничего, но дорого бы стоили той, которая была бы ихъ предметомъ!.. Такъ, Эрнестъ — продолжай быть моимъ путеводителемъ, моимъ другомъ, не покидай меня — этого я не переживу — но чувствуй

будетъ другая твоею женою, твоимъ товарищемъ... На это у меня достанетъ силъ! Буду знать о твоемъ счастіи, но видѣть его не буду.

Графъ. Ахъ, Валерія! такъ ли меня любишь! Какъ можешь мнѣ это говорить?

Валерія. Но, безразсудный человѣкъ! потому-то и говорю это, что любить умѣю... Эрнестъ! не хочу тебя огорчать— но вѣрь мнѣ, милый! мы бы не могли быть счастливы вмѣстѣ! Не все было бы для насъ общимъ; ты имѣлъ бы удовольствія, которыя я не могла бы дѣлить съ тобою... И подумайте, сударь, что если бы я стала ревновать!.. А это, я чувствую, весьма возможно! Что же тогда? я умерла бы съ печали. Итакъ, мой милый, теперь для тебя ясно, что мнѣ, для общаго нашего счастія, надобно быть только твоимъ другомъ, твоею сестрою.

Графъ. И ты рѣшилась на это?

Валерія. Рѣшилась... и такъ же твердо, какъ рѣшилась вѣчно тебя любить.

Графъ. Но если бы какимъ нибудь случаемъ ты возвратила зрѣніе?

Валерія *(улыбаясь)*. Ты знаешь самъ, что это невозможно.

Графъ. Но для чего же не сдѣлать опыта?..

Валерія. Думаю, что не соглашусь на это.

Графъ. Отъ чего?

Валерія. Отъ того, мой другъ, что боюсь надежды... Она возбудила бы во мнѣ мысли, желанія... и она сдѣлала бы жизнь для меня несносною, когда бы не исполнилась. Напротивъ, съ моею теперешнею участію—я спокойна... Ничего не жду и не желаю... Я счастлива... по крайней мѣрѣ съ нѣкоторыхъ минутъ.

Графъ *(смотря на нее)*. О! ты была бы вдвое счастлива, когда бы, подобно мнѣ, могла видѣть, что любишь.

Валерія. Не жалѣй обо мнѣ... мой другъ—я тебя вижу!

Графъ. Что ты говоришь, Валерія?

Валерія. Такъ! черты твои здѣсь... Мое воображеніе ихъ знаетъ, и я увѣрена, что оно не обманываетъ меня.

Графъ. Какъ? Ты думаешь, что узнала бы меня, когда бы возвратила зрѣніе?

Валерія. Въ минуту бы узнала!.. Но подумай же, сколько преимуществъ имѣю передъ тобою. Я слыхала отъ тебя о старости, о разрушительномъ дѣйствіи лѣтъ... Все это для меня не существуетъ! Ничто въ тебѣ не перемѣнится; не увижу, какъ будешь увядать... Лицо твое, какъ моя дружба... оно не состарѣется никогда!

Графъ. Но чудеса творенія, о которыхъ ты не знаешь... блестящая, утѣшительная красота неба... величественная природа, изъ которой ты какъ будто исключена... Счастіе читать свою душу въ глазахъ своего друга— когда онъ съ тобою—утѣшеніе писать къ нему, когда онъ далеко... Переписка услаждаетъ разлуку.

Валерія. О Боже! Вотъ то, чего я такъ боялась!.. На что обольщать меня понапрасну? На что говорить мнѣ о такомъ счастіи, котораго вѣчно имѣть не буду?

Графъ. Но это счастіе возможно... Что, если бы оно зависѣло только отъ тебя, отъ твоей твердости?

Валерія. Отъ меня! Говори... Готова жертвовать жизнію,—чтобъ сдѣлаться достойною раздѣлять твою.

Графъ. Слушай. У меня есть другъ... Онъ столько же твой другъ, какъ и мой... Есть ли Провидѣніе благословитъ мою надежду, то этотъ другъ возвратитъ тебѣ зрѣніе. Валерія, согласись понѣрить себя его попеченіямъ! Нынче же ввечеру... Боже мой! ты въ нерѣшимости!

Валерія. О! при одной мысли объ этомъ прихожу въ трепетъ. Подумай, Эрнестъ, о томъ, что я тебѣ сказала. Намѣреніе мое твердо! Если твой опытъ не удастся, то я никогда не буду твоею.

Графъ. Не договаривай, Валерія! Не ужасай меня такою мыслію! Скажи безъ условія, что ты согласна.

Валерія. Мой другъ, сжалься надо мною! Дай мнѣ собраться съ мыслями... Нынче ввечеру буду отвѣчать тебѣ.

Графъ. Согласенъ... Нынче ввечеру! Валерія, помнишь ли замокъ Ринебергъ?

Отдашь ли мнѣ свой букетъ по прежнему?

Валерія. Ты не забылъ объ нашемъ миломъ обычаѣ?

Графъ. Нынче приму его залогомъ согласія на вѣчный союзъ... Но идутъ! Прости, Валерія!

Валерія. Ты уходишь, Эрнестъ?

Графъ. Не надолго, милая!.. Надобно все приготовить къ вечеру. Вѣдь ты согласишься, не правда ли?

(Уходя встрѣчается съ Генрихомъ, которому кланяется).

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Валерія и Генрихъ *(смотритъ вслѣдъ за графомъ).*

Генрихъ *(про себя).* Я очень радъ, что онъ ушелъ. *(Вслухъ)* Ахъ, Валерія! я искалъ васъ... Неудача меня преслѣдуетъ!

Валерія. Какъ мнѣ этаго жаль! Я теперь такъ счастлива, что не хотѣла бы и знать, что есть подлѣ меня несчастные... Скажите поскорѣе, что съ вами случилось?

Генрихъ. Я видѣлъ Каролину—говорилъ съ нею... Словомъ, признаніе наконецъ сорвалось съ языка моего.

Валерія *(улыбаясь).* Много же новаго вы сдѣлали! Я уже обо всемъ ей сказала прежде.

Генрихъ. Знаю... Но и я наконецъ рѣшился сказать.

Валерія. Что же она отвѣчала?

Генрихъ. Много смѣялась... Но, кажется, была тронута... Я просилъ отвѣта... хотѣлъ знать, любимъ ли я... Но она сказала мнѣ, что до тѣхъ поръ не будетъ мнѣ отвѣчать, пока не уѣдетъ графъ Розенталь.

Валерія. Хорошій знакъ!

Генрихъ. Но этотъ графъ остается; вы увидите, что онъ никогда и не уѣдетъ. Онъ любитъ Каролину... Хочетъ на ней жениться. Она сама признается, что, согласившись здѣсь остаться, онъ явно открылъ свои виды... Да онъ же на бѣду чрезвычайно любезенъ; по крайней мѣрѣ, такъ думаетъ Каролина.

Валерія. Въ самомъ дѣлѣ?

Генрихъ. Вы легко можете судить объ этомъ.

Валерія. Я никогда съ нимъ не говорила ни слова.

Генрихъ. Да онъ сію минуту былъ съ вами... Этотъ молодой человѣкъ, которой отсюда вышелъ.

Валерія *(съ радостію).* Вы не знаете?.. Это—Эрнестъ!

Генрихъ. Это графъ Розенталь.

Валерія. Что вы говорите?..

Генрихъ. Я въ этомъ увѣренъ! Я видѣлъ его въ ту минуту, когда онъ выходилъ изъ своего ландо!

Валерія. Онъ?.. Вы ошибаетесь!.. Эрнестъ не графъ, не богатъ... Онъ вѣрно бы мнѣ сказалъ объ этомъ.

Генрихъ. Я этого ничего не знаю. Но съ вами былъ графъ Розенталь! Это вѣрно! И его-то вы любите?

Валерія. О! кто бы онъ ни былъ; но онъ достоинъ любви моей! Нѣтъ человѣка благороднѣе, великодушнѣе!.. Когда бы вы знали, зачѣмъ онъ сюда пріѣхалъ!.. Единственно для меня... Единственно изъ любви ко мнѣ!

Генрихъ. Дай Богъ, чтобы это была правда! но я знаю къ несчастію, что онъ пріѣхалъ сюда для Каролины. Вспомните, Валерія, что онъ не могъ надѣяться найти васъ здѣсь! Онъ долженъ былъ думать, что вы все еще въ Ольбрюкѣ.

Валерія. Боже мой! Онъ знаетъ Каролину и не сказалъ мнѣ объ этомъ ни слова... Но быть не можетъ! Онъ сію минуту предлагалъ мнѣ свою руку...

Генрихъ. Я васъ не понимаю! Вы ничему не хотите вѣрить... Но развѣ не знаете, Валерія, какъ могутъ быть коварны эти знатные богачи, которые считаютъ все для себя позволеннымъ? Зачѣмъ же онъ не сказалъ вамъ ни слова ни о своемъ графствѣ, ни о своихъ милліонахъ? Отъ Каролины онъ ихъ не скрываетъ. Итакъ, очевидно, что я правъ, и что онъ намѣренъ жениться на ней, а не на васъ.

Валерія. Сжальтесь, Генрихъ! Избавьте меня отъ вашихъ ужасныхъ доказательствъ.

Генрихъ. Извините... Но вѣдь вамъ нельзя всего видѣть такъ, какъ мнѣ... Всѣ говорятъ, что онъ очень хорошъ собою, что онъ очень любезенъ... Я этого не нахожу; мнѣ онъ совсѣмъ не понравился... Напротивъ, я замѣтилъ въ его лицѣ что-то коварное, фальшивое... Вы сами то же бы сказали, когда бы могли видѣть...

Валерія. Погодите... Въ самомъ дѣлѣ, уходя отъ меня, онъ былъ въ замѣшательствѣ... Онъ дрожалъ... Такъ точно! Онъ былъ очень смутенъ. Но какъ подозрѣвать его въ вѣроломствѣ! Голосъ его былъ все тотъ же... Все такъ же трогалъ мою душу. Нѣтъ, Генрихъ! будьте спокойны. Онъ не захочетъ меня обмануть!.. Это было бы слишкомъ легко.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Тѣ же и Германъ.

Генрихъ. Кого тебѣ надобно?

Германъ. Его сіятельство графа Розенталя.

Генрихъ. Какая тебѣ до него нужда?

Германъ. Вотъ какая! Нотаріусъ, котораго онъ велѣлъ позвать—здѣсь! Онъ дожидается.

Валерія. Нотаріусъ?.. На что нотаріусъ?

Германъ. Легко догадаться, на что!.. Всѣ уже въ городѣ знаютъ объ этомъ... Женихъ прекрасный.

Генрихъ. Вотъ! вы видите! И свадебный контрактъ готовъ!.. О! онъ въ своемъ дѣлѣ увѣренъ.

Валерія *(Герману).* Правда ли, Германъ, что нотаріусъ позванъ для свадебнаго контракта?

Германъ. Ахъ, Боже мой! Какой же я болтунъ!.. Мнѣ было запрещено сказывать... Но вы оба друзья моей госпожи! Вы вмѣстѣ со мною порадуетесь ея счастію... Пойду, нотаріусъ дожидается.

(Уходитъ).

Генрихъ. Это очевидно! Они заодно!.. Каролина искала только одной отговорки; ей хотѣлось меня удалить!.. Но я этого не потерплю! Сейчасъ иду къ ея графу! Увидимъ...

Валерія. Куда вы, Генрихъ!.. Подумайте о Каролининой чести!.. Генрихъ, имѣете ли право?..

Генрихъ. Нѣтъ!.. Но это не за нее!.. За васъ, Валерія!.. Теперь я вашъ защитникъ... Я не дамъ ему ругаться нашею довѣренностію, вашимъ сердцемъ!

Валерія. О! обо мнѣ не заботьтесь! Мнѣ теперь ничего не надобно! Пускай они покинутъ меня! пускай удалятся... Я теперь ничего не люблю на свѣтѣ! Ничего, кромѣ той глубокой ночи, которая окружаетъ меня и не даетъ ихъ видѣть... Мнѣ возвратить зрѣніе!.. Никогда! никогда! Генрихъ, гдѣ вы?.. Дайте руку!.. Не покидайте меня!

(Уходятъ).

конецъ 2-го дѣйствія.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Каролина и Валерія.

Каролина *(держа Валерію за руку).* Гдѣ ты была? Я тебя искала!.. Мнѣ такъ много сказать тебѣ надобно.

Валерія. Каролина... онъ еще здѣсь?

Каролина. Кто?

Валерія. Твой гость... графъ Розенталь.

Каролина. Здѣсь... Я въ большомъ безпокойствѣ, Валерія.

Валерія. Итакъ ты думаешь, что онъ тебя любитъ?

Каролина. Мнѣ кажется. Все заставляетъ меня это думать... Ахъ, Боже мой! Что съ тобой сдѣлалось?

Валерія. Ничего... *(про себя)* Я нахожу въ себѣ какое-то новое, тягостное чувство, въ которомъ не умѣю дать себѣ отчета... Вотъ мученія, которыхъ еще никогда я не испытала... *(Волнуясь).* Онъ любитъ тебя? Онъ тебѣ въ этомъ признался?

Каролина. Не скажу, чтобы признался, но...

Валерія. Договаривай,—что тебя безпокоитъ? что можетъ быть причиною твоей горести?

Каролина. Ахъ, Валерія! Генрихъ открылся мнѣ...

Валерія. Знаю.

Каролина. Его любовь, его печаль... Право не понимаю, какъ это случилось... Но я теперь увѣрена, что сама люблю его.

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Тѣ же и **Генрихъ**, которой медленно приближается.

Каролина. Черезъ минуту послѣ него.. въ саду... встрѣтилась я съ графомъ; съ нимъ былъ нотаріусъ; они о чемъ-то разговаривали; увидя меня, онъ замолчалъ; онъ подошелъ ко мнѣ съ такимъ выраженіемъ лица, котораго я описать не въ состояніи; онъ просилъ у меня позволенія переговорить со мною на единѣ—здѣсь... въ этой горницѣ...

Генрихъ. Прекрасно!.. Свиданіе!

Каролина (*улыбаясь*). Вы здѣсь?..

Генрихъ. Здѣсь, сударыня. Я слыхалъ только одно слово: въ этой горницѣ! За этимъ-то вы пришли сюда?

Каролина. И конечно...

Валерія. Ты согласилась?

Каролина. Надобно же узнать, чего онъ отъ меня хочетъ?

Генрихъ (*въ волненіи*). Я это узнаю прежде васъ! Не вы его здѣсь примете, а я!

Каролина. Боже мой! что вы хотите дѣлать?.. Заводить шумъ!.. Генрихъ, послушайте, если вы позволите себѣ хотя малѣйшее съ нимъ объясненіе, то знайте, что я вамъ ничего не обѣщала... Беру свое слово назадъ!

Генрихъ. Но это свиданіе...

Каролина. Да, свиданіе! — но только прощальное! Слышите ли? Не забавно ли? Я не кокетка, а у меня вдругъ два обожателя! И одинъ еще ревнивецъ! — Но, кажется, это онъ! (*Подходитъ къ двери и смотритъ въ нее*).

Генрихъ (*тихо Валеріи*). Что, Валерія?

Валерія (*тихо Генриху*). Не могу еще повѣрить! Мнѣ надобно услышать это отъ него самого... Генрихъ, скажите мнѣ, позволено ли мнѣ ихъ подслушать?

Генрихъ (*съ живостію*). Вамъ, конечно, позволено! Вы не можете видѣть.

Каролина (*возвращаясь*). Это онъ! Оставьте насъ!

Валерія (*тихо*). Генрихъ, введите меня въ тотъ кабинетъ, что на лѣвой рукѣ... Онъ долженъ быть здѣсь... (*Генрихъ подводитъ ее къ дверямъ*). А вы?

Генрихъ. Нѣтъ! (*Указавъ на Каролину*). Моя довѣренность, мое почтеніе къ ней... Слушайте за двухъ, — только не пророните ни одного слова. (*Валерія входитъ въ кабинетъ, Генрихъ выходитъ въ другія двери*).

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Каролина (*одна*). Какъ трудно отказывать!.. Хотя я и твердо рѣшилась! но всѣ тяжело!.. Поищемъ выраженій пріятныхъ!.. Пускай онъ, по крайней мѣрѣ думаетъ, что намъ его жаль.

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Каролина и **Графъ**.

Каролина. Вы, можетъ быть, вообразите, графъ, что я не имѣю никакого постоянства; я соглашаюсь васъ слушать, а за минуту объявила вамъ, что во весь нынѣшній день не буду упоминать о нашемъ дѣлѣ! Но такъ и быть! говорите, на что вы рѣшились?

Графъ. Не смѣю сказать! Но прежде выслушайте меня! Когда открою вамъ все... вы сами рѣшите!

Каролина (*про себя*). Боже мой! Что это значитъ? Не понимаю!

Графъ. Вамъ извѣстно, что я былъ младшій въ семьѣ многочисленной; это лишало меня надежды имѣть какой нибудь достатокъ. Родственники хотѣли, чтобы я вошелъ въ духовное званіе,—я не послушался ихъ и это меня съ ними поссорило. Но я хорошо учился, имѣлъ всю смѣлость молодыхъ лѣтъ, имѣлъ пылкую душу,—словомъ надѣялся пріобрѣсти

собственною силою все то, въ чемъ отказывали мнѣ судьба и фортуна. Я оставилъ свою родину, не сказавъ объ этомъ никому... Хотѣлъ объѣздить Европу... Но путешествіе мое продолжалось не долго... Я не проѣхалъ еще двадцати миль, какъ уже былъ влюбленъ страстно...

Каролина *(улыбаясь)*. Итакъ, ваша философія не устояла противъ двухъ прекрасныхъ глазъ—и та, которую вы любите...

Графъ. Она слѣпая!

Каролина *(про себя)*. Боже мой! Какое странное обстоятельство!

Графъ. Она спасла мнѣ жизнь, отдавши на жертву свою... И съ той минуты жизнь моя принадлежитъ ей! Съ той минуты я дышалъ, я жилъ одною надеждою: возвратить ей зрѣніе! О, для чего въ то время не имѣлъ я теперешняго моего богатства! Я всѣмъ бы пожертвовалъ! и моя жертва была бы ничто передъ купленнымъ мною счастіемъ! Но тогда я даже и не воображалъ, чтобы подобное чудо было возможно искусству!.. Я не имѣлъ ничего! Не зналъ, къ кому прибѣгнуть... Я прошелъ пѣшкомъ Германію, Францію, дошелъ до Парижа... Тутъ сказали мнѣ объ одномъ славномъ окулистѣ, который дѣлалъ чудесныя операціи. Я представился ему... Предложилъ ему свое время, свои труды, всю свою дѣятельность... Не требовалъ отъ него платы, но только одного наставленія... Сдѣлался не питомцемъ его, но его слугою, его рабомъ...

Каролина. Вы, графъ?

Графъ. Я самъ?.. Но я попался въ худыя руки! Мой докторъ, корыстолюбивѣйшій изъ людей, безъ всякаго понятія о великодушіи и человѣчествѣ, торговалъ своимъ искусствомъ, имѣлъ въ виду одно золото, скупился своимъ знаніемъ и боялся обѣднять, раздѣливъ его со мною.—Но я... я похитилъ у него это знаніе! Ночи просиживалъ я надъ его книгами, надъ его манускриптами...—а днемъ, свидѣтель его *чудесъ, неусыпнымъ* вниманіемъ слѣдовалъ *за его рукою и противъ* его воли проникнулъ въ его тайну! Ни его грубое со мною обращеніе, ни оскорбительное бремя неволи моей—ничто не отвращало меня! Наконецъ, по прошествіи двухъ лѣтъ, посвященныхъ трудамъ неутомимымъ, я увѣрился въ силѣ своей... Ко мнѣ явился старикъ, нѣмецъ, соотечественникъ, одинъ изъ вашихъ слугъ... Онъ былъ слишкомъ бѣденъ... Мой учитель не удостоилъ его вниманія!

Каролина. Какъ! Неужели это вы?

Графъ. О, въ какомъ я былъ волненіи! Сердце мое билось! рука трепетала!.. Наконецъ мнѣ удалось. Съ тѣхъ поръ тысяча опытовъ счастливыхъ—и я увѣрился въ своемъ талантѣ, покинулъ Парижъ, возвратился въ Германію и только тогда съ удивленіемъ услышалъ о счастливой перемѣнѣ судьбы моей... Теперь я могъ бы призвать своего учителя и заплатить ему дорогою цѣною... Но уступить ему такое счастіе! Дать другому возвратить ей драгоцѣннѣйшее благо, свѣтъ... Могу ли на это рѣшиться? Мнѣ кажется, что эту надежду я заслужилъ?

Каролина *(съ живостію)*. О, конечно, конечно! Вы заслужили ее!

Графъ. Кончу однимъ словомъ: та, которую люблю... въ которой вся моя жизнь, все мое счастіе... она здѣсь... Я ее видѣлъ... Это—Валерія!

Каролина. Что вы говорите?.. Боже!

Графъ. Теперь рѣшите! Свободенъ ли я? Позволено ли мнѣ требовать вашей руки?

Каролина *(подавая ему руку)*. Имѣете ли нужду въ моемъ отвѣтѣ?

Графъ. Нѣтъ! я читаю его въ вашихъ глазахъ! Что же касается до нашей тяжбы, отъ которой зависитъ вся ваша фортуна—то она кончена, вы ее выиграли! Справедливость на вашей сторонѣ; я уже письменно отказался отъ всѣхъ моихъ правъ. Здѣшній нотаріусъ отдастъ вамъ бумагу.

Каролина. Нѣтъ, графъ! я не могу согласиться!..

Графъ. Понимаю; вамъ хочется дать мнѣ удовольствіе принести вамъ жертву...

Хорошо! Но и вы подражайте мнѣ... пожертвуйте своею гордостію! Вѣдь мы теперь друзья, не правда ли?

Каролина. Искреннѣе! На всю жизнь!..

Графъ. Такъ, Каролина! и я сію же минуту требую отъ васъ доказательства дружбы! Помогите мнѣ согласить Валерію—она еще въ перѣшимости!.. Я сказалъ ей, что имѣю друга, которой берется возвратить ей зрѣніе.

Каролина. Какъ!.. Вы ей не открыли?..

Графъ. Нѣтъ! Избави Боже! Она не должна подозрѣвать истины! Въ такую минуту нужно спокойствіе—спокойствіе совершенное... Малѣйшее волненіе можетъ быть гибельно... Она потеряетъ всю твердость, если узнаетъ...

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Тѣ же и Валерія.

Валерія *(про себя, выходя изъ кабинета)*. Я не могу долѣе удерживаться... Какая любовь! Какое великодушіе!.. О какъ я не извинительна! *(Вслухъ)*. Эрнестъ! Не здѣсь ли ты?

Каролина *(въ то время, когда Эрнестъ къ ней приближается)*. Здѣсь, плилая! Подлѣ тебя!

Валерія. О! я это знала. *(Графу)*. Эрнестъ! мой другъ!.. Я перемѣнила мысли.. я рѣшилась! пойдемъ! веди меня къ твоему другу!

Графъ. Что я слышу?

Каролина. Какое счастіе! она согласна!

Графъ. Намъ никуда идти не нужно... Онъ здѣсь.

Валерія *(улыбаясь)*. Здѣсь! Какой же счастливой случай... Какъ кстати!

Графъ. Я удивляюсь твоей твердости, Валерія!

Каролина. Ты не боишься?

Валерія. Не боюсь ничего! *(Беретъ его руку)*. Я совершенно спокойна... Ты же будешь подлѣ меня! Не правда ли?

Графъ. Подлѣ тебя, Валерія! *(Кличетъ)* Германъ! *(Тихо Каролинѣ)*. Я все приготовилъ. *(Вслухъ Валеріи)*. Германъ отведетъ тебя въ этотъ кабинетъ.

Валерія. Иду! Дай руку, Германъ. *(Къ графу, улыбаясь)*. И ты пойдешь за мною? Не такъ ли?

Графъ. Сію минуту. *(Германъ уводитъ Валерію)*.

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Графъ и Каролина.

Каролина. Чего вы ждете? Что съ вами сдѣлалось?

Графъ. Боже! Боже! Не умѣю вамъ изъяснить того, что во мнѣ происходитъ!.. Наконецъ, наступила минута, которой желалъ я такъ страстно! Но я не узнаю себя! Твердость моя исчезла... Я весь дрожу.

Каролина. Ободритесь, мой другъ! Ради Бога, ободритесь!

Графъ. Никогда не достанетъ у меня силъ...

Каролина. Эрнестъ! Милый Эрнестъ, войдите въ себя!.. Подумайте о Валеріи! Она рѣшилась! Она васъ ждетъ!

Графъ. Валерія! Такъ, вы правы... Это имя ободрило меня! Теперь отвѣчаю за все! Дайте мнѣ руку! *(Прижимаетъ руку ея къ сердцу и бѣжитъ въ кабинетъ)*.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Каролина и Генрихъ, которой видѣлъ все послѣднее.

Генрихъ. Прекрасно!

Каролина. Ахъ! вы здѣсь, милый Генрихъ?

Генрихъ. Здѣсь; но, кажется, пришелъ не во время. Ахъ, Каролина!.. Того ли я могъ отъ васъ ожидать! На что вамъ со мною притворяться! На что вамъ прибѣгать къ хитростямъ кокетства? Развѣ сердце мое вамъ не извѣстно?

Каролина *(подаетъ ему знакъ рукою, чтобъ онъ молчалъ, и смотритъ въ ту дверь, въ которую вошелъ графъ)*. Тише! Молчите!

Генрихъ. Какая вамъ польза меня обманывать!.. Развѣ мое уваженіе къ вамъ не столь же искренно, какъ моя любовь? *(Каролина дѣлаетъ тотъ же знакъ)*.

Каролина! вы даже меня не слушаете! Вы заняты совѣмъ другимъ. Ваши мысли далеко!

Каролина *(продолжая смотрѣть въ дверь).* Признаюсь, я въ смертельномъ безпокойствѣ!

Генрихъ. Конечно, объ немъ!

Каролина. Да! успѣхъ такъ невѣренъ!

Генрихъ. Знайте же... Онъ васъ обманываетъ... Онъ любитъ Валерію!

Каролина. Знаю, знаю... Любитъ страстно.

Генрихъ. Какъ! Вы знаете?.. И все его любите?

Каролина *(посмотрѣвъ на него съ нѣжностію).* Почти столько же, какъ и васъ... Но остерегитесь! Мнѣ стоитъ сказать одно слово и вы сами будете отъ него безъ ума.

Генрихъ. Желалъ бы я знать...

Каролина. Знайте же, сударь, что онъ никого и не любилъ, кромѣ Валеріи,— что онъ пріѣхалъ сюда для одной Валеріи—что онъ хочетъ жениться на Валеріи! Слышите ли вы?

Генрихъ. Какъ! Возможно ли!.. Ахъ! Какой милой! Какой благородный человѣкъ! Бѣгу благодарить его! *(Возвращается).* Но увѣрены ли вы, что онъ на ней женится?

Каролина. Можетъ ли она ему отказать, когда, вѣроятно, въ эту минуту онъ возвратилъ ей зрѣніе!

Генрихъ. Что вы говорите?

Каролина. Вотъ онъ самъ!

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Тѣ же и Графъ.

Каролина *(бѣжитъ къ нему).* Что?.. Что?.. Говорите!..

Графъ. Не могу... Не знаю...

Каролина. Что сдѣлалось?

Графъ. Въ первую минуту... мнѣ показалось... что все удалось...

Генрихъ. Потомъ...

Графъ. Она вскрикнула... я убѣжалъ въ ужасѣ...

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Тѣ же и Валерія, за нею Германъ.

Валерія *(выбѣгая изъ дверей).* Пусти меня! Пусти меня! Я вижу! Я вижу! *(Она останавливается, какъ будто ослѣпленная свѣтомъ).* Кто меня тронулъ... Кто остановилъ меня!.. *(Открываетъ глаза и протягиваетъ руки, какъ будто желая схватить воздухъ и свѣтъ).* Гдѣ я? Какой это новый міръ? Все меня трогаетъ! И я ни къ чему не могу прикоснуться! *(Осматривается).* Боже! Я не одна! О чудо! котораго понять не умѣю!.. Такъ—это день!.. Это свѣтъ!.. Это жизнь!.. *(Падаетъ на колѣни).* Вѣчный Создатель... Благодарю!.. Я вышла изъ моей темницы... Я живу...

Каролина *(подходя къ ней).* Валерія!.. Милый другъ!..

Валерія. Боже! Какой голосъ! Это ты, Каролина? Дай мнѣ тебя узнать!.. Какъ ты прекрасна! *(Осматривается и видитъ Генриха и Эрнеста, стоящихъ рядомъ).* Ахъ! *(Смотритъ на обоихъ, медлитъ минуту, потомъ идетъ прямо къ Эрнесту и подаетъ ему свой букетъ).* Возьми, Эрнестъ!

Графъ *(на колѣняхъ).* О восхитительная награда!

Германъ *(подавая Валеріи черную повязку).* Дѣлать нечего... а надобно потерпѣть еще нѣсколько дней... Докторъ приказалъ.

Валерія. Какъ! Опять ослѣпнуть!..

Графъ. Валерія! Нынѣшнимъ утромъ ты находила это такъ пріятнымъ.

Валерія *(смотря на него).* Ахъ! — тогда я еще не видѣла!..

1800—1810.

—

Заступъ, заступъ, рой могилу!
Хлѣбъ, пристанище и силу
Все въ тебѣ имѣю [я]!..
Будь въ уборѣ, будь съ сумою,
Будешь спрятанъ подъ землею—
Заступъ, жертва все твоя!

Этотъ черепъ обнаженный,
Прежде гордый и надменный,
Преклоняться не умѣлъ!
Въ семъ разорванномъ покровѣ,
Въ семъ разбросанномъ остовѣ—
Кто бъ царя искать посмѣлъ!..

---

* * *

Герой Володьковскій да знаетъ,
Что завтра утромъ, ровно въ часъ,
Къ себѣ любезность приглашаетъ
Его на щи, на пловтъ и квасъ!
Причемъ
И съ нимъ его—во все[мъ]
Пріятность, ловкость, простоту,—
Неколкость острыхъ словъ, забавность выраженья,
И въ образѣ жены—любовь и красоту!

БАСНЯ.

Однажды въ гору, въ кругь, измученныя жаромъ,
Въ пескѣ, по колеямъ, бугристымъ крутояромъ
Шесть дюжихъ лошадей повозку волокли:
Всѣ—женщины, старикъ, монахъ—долой сошли.
Лошадки силятся, потѣютъ, бьются—стали!..
Откуда ни возьмись, пискунья-муха пырь
Навстрѣчу къ нимъ.—«Что клячи? знать устали!
Вотъ я приструню васъ! Я въ нуждѣ богатырь!»
И впрямъ искусница! Кричитъ, жужжитъ, трудится,—
То на носъ къ кучеру, то съ сердцемъ къ колесу!
—«Дружнѣй, одры! не здѣсь же поселиться!
Не срамъ ли? я одна весь трудъ за всѣхъ несу!»
Лишь клячи шагъ впередъ, а муха величаться:
«Ну, гдѣ имъ безъ меня!..»

---

* * *

Назадъ тому съ десятокъ лѣтъ,
Какъ жилъ у насъ въ краю спокойно и смиренно
Титъ—добрый человѣкъ, ближайшій намъ сосѣдъ,
Моихъ цвѣтущихъ дней
И юности моей хранитель незабвенной!
Увы! его ужъ нѣтъ!
Но память добраго поднесь боготворима:
Загладится ль когда души прелестной слѣдъ!
Благихъ святая жизнь—въ слезахъ любви хранима.
Весь Титовъ скромный вѣкъ прошелъ, какъ свѣтлый день:
Свой домикъ надъ ручьемъ, на тихомъ скатѣ луга,
Своихъ питомицъ липъ гостепріимна сѣнь,
Веселость, чистыя невинности подруга,
Незнанье нищеты, незнаніе заботъ,
Умъ ясный и душа, исполненна щедротъ—

Вотъ все, чѣмъ наградилъ Господь небесный Тита.
Кто только Тита зналъ, тотъ Тита и любилъ!
Бѣднякъ ли въ домъ его съ молитвой приходилъ—
И Титова казна молящему открыта.
Нѣтъ денегъ?—словомъ награждалъ!
Всегда утѣшенный; довольный Провидѣньемъ,
Страдалецъ отъ него съ надеждой отступалъ!
Инымъ благотворилъ полезнымъ наставленьемъ!
Въ разстройкѣ мужъ съ женой—
Титъ, добрый человѣкъ, придетъ... и вновь покой
И вновь согласіе златое между ними!
Онъ съ нѣжной кротостью проказниковъ журилъ,
Былъ съ старыми старикъ и молодъ съ молодыми,
А дѣвушкамъ мужей хорошихъ находилъ!
И недостатками чужими
Не думая скучать, нерѣдко говорилъ:
«У всякаю свое: тотъ кривъ, а тотъ безногой!
Добро и зло для всѣхъ назначено въ удѣлъ!
Участки неравны,—но всѣмъ одной дорогой
Идти небесный Царь велѣлъ!
Путь трудный!—для чего жъ въ добавокъ затрудненья?
Другъ въ друга камнями бросать!
Довольно случаевъ найдутъ для преткновенья!..»

* * *

Былъ зайчикъ-косолапъ, звѣрь добрый, но чудакъ!
Онъ вздумалъ всѣхъ скотовъ считать себѣ друзьями.
Не смѣхъ ли? Между нами
Находка—и одинъ, а два и такъ и сякъ!
Но зайчикъ мудраго запомнилъ изреченье.
Давно Аристотѣль собравшимся въ лицей
Сказалъ: Друзья! Ужъ нѣтъ друзей!..

ПРОГНА И ФИЛОМЕЛА.

Случилось прошлою весной,
Что Прогна-ласточка въ ту рощу залетѣла,
Гдѣ много, много лѣтъ бѣдняжка Филомела,
Уединенная, грустя сама съ собой,
Во мракѣ невидимкой пѣла!—
«На-силу Богъ судилъ увидѣться съ тобой,
Сестрица! Мы давно другъ съ другомъ не слетались!
Лѣтъ тысяча тому, какъ мы съ тобой разстались!
Съ фракійскихъ горестныхъ временъ
Тебя никто, нигдѣ подъ солнцемъ не видалъ,
Пустыня лишь твоей гармоніи внимаетъ.
Тебѣ ль сей горестный удѣлъ опредѣленъ?
Твое ль убѣжище лѣсовъ уединенье?...»
— Увы! найду ли гдѣ толь сладостный покровъ!—
«О небо! и кого жъ твое плѣняетъ пѣнье?
Медвѣдей, вепрей, совъ,
Ночныхъ нетопырей, а много—лѣсниковъ!
Пустыню ль украшать толь милыми дарами?
Нѣтъ, нѣтъ! Ты создана —
Въ обителяхъ людей, по селамъ и градамъ,
Блистать ихъ чудесами!
Къ тому же здѣсь во всемъ слѣды минувшихъ дней,
Пустыня, сумракъ и молчанье:
Въ подобныхъ симъ мѣстамъ пенстовый Терей...»
— Сіе-то горестей протекшихъ вспоминанье
Велитъ мнѣ обитать пустынницей въ лѣсахъ.
Увы! съ людьми я вспомню болѣ!..

СЕРТОРІЙ И ПОМПЕЙ.

ПОМПЕЙ.

Вражда не помрачитъ въ глазахъ моихъ героя!
На полѣ Марсовомъ, въ огнѣ, въ смятеньи боя
Серторія своимъ противникомъ я чту!
Но друга въ немъ всегда врагу я предпочту!
Я зрѣть хотѣлъ въ близи, каковъ сей

побѣдитель,
Сей римлянъ бичъ, сей вождь, ихъ силы сокрушитель,
Съ обезоруженнымъ отъ ужаса челомъ,
Въ бесѣдѣ искренней съ Помпеемъ—непріятелемъ!
Серторій!—юноша и воинъ предъ тобою!
Я не былъ ослѣпленъ тріумфовъ красотою,
Числомъ вѣнковъ, побѣдъ! Хочу открытымъ быть;
Признанье доблестей — не можетъ посрамить!
Я больше наученъ, Серторіемъ сраженный,
Чѣмъ прежде былъ, въ бою никѣмъ не побѣжденный:
Свидѣтель дѣлъ твоихъ, что̀ дѣлать—я учусь!
Наставленный тобой—съ тобою я сражусь!
Въ осадахъ, приступахъ, искусствѣ отступленій
Въ избраньѣ мѣстъ къ бою, къ твердынѣ укрѣпленій—
Во всемъ ты мой примѣръ, во всемъ наставникъ мой!
Ахъ! еслибъ примирилъ ты Римъ съ собой!..

* * *

Мой другъ, часы летятъ—и юность погибаетъ!
Насъ дряхлость хилая, наморщась, изъ дали
Манитъ къ себѣ клюкой и гробъ намъ отверзаетъ!
Ужъ розы дѣтскихъ лѣтъ на щёки отцвѣли,
Ужъ крылья распустивъ и юность на отлетѣ!
Хоть каждый день воловъ Плутону въ даръ,—
Вотще: всѣ будемъ пить забвенье въ страшной Летѣ!
Увидимъ черный Стиксъ! Для всѣхъ отверстъ Тенаръ!
Тамъ злой старикъ Харонъ перстомъ на насъ грозитъ
И въ лодкѣ рѣковой готовитъ мѣсто намъ!
Пристанутъ царь и рабъ къ неизвѣстнымъ брегамъ...

1811.

ВЪ АЛЬБОМЪ 8-ЛѢТНЕЙ Н. Д. АПУХТИНОЙ.

Тебѣ вмѣняютъ въ преступленье,
Что ты милѣе всѣхъ дѣтей!
Ужасной грѣхъ! И вотъ мое опредѣленье:
Пройдетъ пять лѣтъ и десять дней,
Не будешь ты тогда милѣе всѣхъ дѣтей:
Ты будешь страхъ сердецъ и взоровъ восхищенье!

1806—1814.

НАЧАЛО ПОЭМЫ: ВЕЛЬМИРА.

Вамъ скучно? Разложите
Въ каминѣ огонекъ,
Сберитеся въ кружокъ,
Дыханье притаите—
И слушайте меня.
Чудесную, друзья,
Скажу вамъ сказку я!
Ни грифовъ, ни полкановъ,
Ни чудъ-богатырей,
Ни грозныхъ великановъ,
Ни полуночныхъ фей,
Летающихъ въ коляскѣ
На жукахъ, на совахъ,
На злыхъ нетопыряхъ—
Не будетъ въ этой сказкѣ!..

РУССКОМУ ЦАРЮ.

Нашъ добрый царь, тебѣ мы пѣснь—
Да слава путь твой увѣнчаетъ!
Твой мечъ благословенъ Творцомъ—
Онъ не разитъ, но защищаетъ!
Полнѣй стаканы! Пейте въ ладъ —
Такъ пили наши дѣды!
Царю великому—виватъ!
Ему вѣнецъ побѣды!

КЪ САШѢ АРБЕНЕВУ.

Мой другъ, младенецъ несравненной,
Ты хочешь, чтобы твой поэтъ
Стихами написалъ отвѣтъ
На письмецо твое, безцѣнной?
Готовъ! И что̀ же геній мой

Воспламенитъ, какъ не прелестной,
Идущій къ сердцу, голосъ твой?
Твоей невинности святой
Короче таинство извѣстно
Восторгомъ душу наполнять,—
Чѣмъ ухищренному искусству,
Которое невнятно чувству,
И можетъ только удивлять.
И вотъ тебѣ мое посланье!
Мой милой вихорь-атаманъ,
Ты знаешь, что поэту данъ
Талантъ божественный: *предзнанье!..*
Но даръ сей нуженъ ли съ тобой?
Тебя я видѣлъ въ колыбели;
Я зрѣлъ, какъ близъ тебя сидѣли—
Слетѣвшій съ неба ангелъ твой
И мать, хранитель твой земной;
Какъ сердце матери внѣряло
Тебя въ защиту небесамъ,
Какъ Провидѣніе внимало
Ея мольбѣ, ея слезамъ...
Какого лучше предсказанья?
Вѣрь жизни! Будешь счастливъ ты!..
Но я—пророкъ, и толкованья
Хочу искать на тѣхъ чертахъ,
Которыя своей рукою
Ты по линейкамъ написалъ,
Въ которыхъ просто *всё* сказалъ,
Что̀ непорочною душою
Свободно было внушено.
Мой другъ! Я вижу въ нихъ одно:
Онѣ подобны совершенно
Знакомымъ, милымъ тѣмъ чертамъ,
Въ которыхъ повѣряетъ намъ
Всѣ тайны дружбы неизмѣнной
Твоя—нашъ добрый геній—мать!
Мой другъ! *Ее* въ *тебѣ* узнать—
Есть вѣрное знаменованье,
Что здѣшней жизни испытанье
Ты съ чистой совершишь душой,
Что вѣра будетъ спутникъ твой,
И что небесъ рукой пристрастной
[Дабы вѣрнѣй счастливымъ быть
Иль чтобы счастье замѣнить]
Тебѣ ниспосланъ: *даръ любить!*
Храни сей даръ! Съ нимъ безопасно
Пойдешь дорогою земной!
Чувствительность есть откровенье!
Оно разсудку вождь прямой,
Оно и тамъ зритъ наслажденье,
Гдѣ предъ холодною душой
Все, какъ въ могилѣ, исчезаетъ!..
Но, другъ, болтливый твой пророкъ
Совсемъ безъ нужды повторяетъ
Тебѣ знакомый сей урокъ!
Ужъ все рука Творца свершила:
Она безсмертную печать
Тебѣ на сердце положила,
И невластна земная сила
Клейма небеснаго сорвать!
Ты будешь *добрымъ* неизмѣнно!..
О гдѣ вы! Призываю васъ
Съ душой внимавшихъ восхищенной,
Когда младенца милый гласъ,
Перерываемый слезами,
За мать молился небесамъ,
И былъ внимаемъ небесами!
Что̀ сердце говорило вамъ?..
Мой другъ! Тебѣ *вѣрна* дорога:
Ужъ ты къ прекрасному привыкъ!
Уже ты знаешь тотъ языкъ,
Которымъ сердце славитъ Бога
И небесамъ передаетъ
Свое блаженство и страданье!
Мое свершится упованье,
И счастіе тебя найдетъ
Вездѣ—и вопреки судьбины:
Для добрыхъ жребій здѣсь единый...
Я другъ твой! Такъ ты подписалъ
Свое письмо, младенецъ милой;
Съ волненьемъ подпись я читалъ,
И сердце билось съ новой силой!
Казалось, ангелъ спутникъ мой,
Принявши образъ твой прелестной,
Тогда явился предо мной
И счастья вѣстію небесной
Меня обрадовалъ на часъ!..
Еще, мой милый, неизвѣстно
Тебѣ, что̀ *другъ;* твой нѣжный гласъ
За матерью лишь повторяетъ
Все то, что̀ сердце ей внушаетъ,
Что̀ такъ давно знакомо *намъ!*
Но будь угодно небесамъ,
Чтобы хоть часть пути земнова,
Какъ другъ, прошелъ съ тобою я,
Чтобъ ты сказалъ мнѣ: *Мы друзья!*—
Всю силу понимая слова!

27 генваря.

1813—1820.

ВЪ АЛЬБОМЪ КЪ НИНѢ.

Кто нашу жизнь своимъ добромъ считаетъ,
За насъ впередъ заботливо глядитъ,
О счастіи—какъ мы—за насъ мечтаетъ,
Какъ мы, отъ нашихъ бѣдъ дрожитъ,
Кто, проводивъ насъ въ дальній путь, съ тоскою,
Въ кругу семьи нашъ празднуетъ возвратъ—
Того зовемъ мы братомъ иль сестрою!
Ты мнѣ сестра, а онъ мнѣ братъ!

* * *

Другъ милой, оставь прихотливой судьбѣ
Бѣду посылать за бѣдою!
Въ замѣну ниспосланъ тебѣ отъ небесъ
Прекраснѣйшій даръ: *быть любимымъ*!
И горе и счастье, какъ тѣни, летятъ,
Всечасно смѣняяся въ жизни!
Но то, въ чемъ прямое для насъ бытіе,
Чѣмъ міръ передъ нами прекраснѣ,
Священное сердце...— надъ сердцемъ судьба
Безсильна! Оно неизмѣнно!
О другъ, въ немъ богатство прямое твое!
Ты имъ, какъ волшебною силой,
Всѣхъ добрыхъ сбираешь въ согласный твой кругъ!
Ты царствуешь въ миломъ семействѣ,—
Счастливый мечтою, любовью друзей!
Имъ сладко читать въ твоемъ взорѣ
Въ немъ видятъ они, что̀ хранится въ душѣ,
Онъ свѣтелъ желаніемъ блага!
Имъ сладостно руку твою пожимать...

КЪ М. Ѳ. ОРЛОВУ.

О Рейнъ, о Рейнъ, безъ волненья
Къ тебѣ дерзну ли подступить?
Давно ужъ ты—рѣка забвенья,
И пересталъ друзей поить
Своими сладкими струями!
На «Арзамасъ» тряхнулъ усами—
И Кіевъ дружбу перемогъ!
Начальникъ штаба, педагогъ—
Ты по ланкастерской методѣ
Мальчишекъ учишь говорить
О славѣ, пряникахъ, природѣ,
О кубаряхъ и о свободѣ—
А насъ забылъ... Но, такъ и быть!
На-страхъ пишу къ тебѣ два слова!
Вотъ для души твоей обнова:
Письмо отъ милой красоты!
Узнаешь самъ ея черты!
Я шлю его черезъ другова,
Санктпетербургскаго Орлова—
Чтобы вѣрнѣй дошло оно.
Прости! Но для сего посланья,
Орловъ, хоть тѣнь воспоминанья
Дай дружбѣ, брошенной давно!

СЪ ТОГО СВѢТА.

Онъ правъ, нашъ Вяземскій! Я думалъ, что онъ льстецъ!
Я въ истинѣ его катреня сомнѣвался!
Но въ свой послѣдній часъ вчера я самъ признался,
Что онъ тебя хвалилъ, спросясь у всѣхъ сердецъ!
И чтобъ его стихи не оправдать собою,
Чтобъ подлѣ *мудрости* свой умъ не погубить,
Чтобы хоть умереть съ здоровою душою—
Себя я поскорѣй рѣшился уморить!..
Самоубійство мнѣ, увы! не пособило!
Я уморилъ себя... но то ужъ поздно было!

* * *

Хотя по-русски я умѣю
И самъ иное сочинить,
Но, признаюсь, переводить
Irrésistible я не смѣю.
Глубокій смыслъ таится въ немъ,
Пугающій воображенье!
Во всякомъ случаѣ другомъ
Я для него бы выраженье
Свободно въ словарѣ нашелъ;
Но здѣсь хотятъ, чтобъ перевелъ—
И съ ясностью и съ полнотою—
Для васъ такое слово я...
Нѣтъ! Муза робкая моя
Здѣсь не поможетъ, какъ бывало!
Она иль скажетъ слишкомъ мало
Иль станетъ слишкомъ говорить!
Къ тому жъ бываетъ и опасно
То вслухъ для всѣхъ переводить,

Что каждому и тихомолкомъ ясно
Но если бъ слово какъ нибудь
Я *принужденъ* былъ перевесть—
Я не задумался бъ надъ нимъ,
Его бъ мнѣ сердце подсказало...—
Для той, которая, какъ вы,
Мила, достойна быть любима...

1819—1820.

Давно ужъ нѣтъ мнѣ вдохновенья!
Мы раззнакомились давно!
Не откликается оно,
Не пробуждаетъ пѣснопѣнья!
А смертно хочется писать
Стихи на ваши именины!..
Но что жъ?.. Неужто пожелать,
Какъ водится, вамъ отъ судьбины
Того, что̀ можетъ дать она!
Вѣдь это будетъ старина!
Мнѣ надоѣли мадригалы—
Товаръ парнасскій обветшалый—
Не могутъ быть достойны васъ!
Какъ жаль, что геній мой погасъ!..

* * *

Твой кабинетъ какъ храмъ!
Подъ лаковымъ столомъ
Медвѣжья распростерта шкура;
Въ трехъ трубкахъ чубуки съ янтарнымъ мундштукомъ;
Софа для грацій и амура;
На шкафѣ двѣ кисы съ душистымъ табакомъ;
Картины на стѣнѣ—прямой магнитъ для зрѣнья;
Въ углу, между поленъ, подъ скромнымъ помеломъ,
Ж[уковска]го стихотворенья—
Все, все на мѣстѣ здѣсь! Все нравится очамъ!
Да гдѣ жъ хозяинъ самъ?..

* * *

Остатки *добраго* въ сей гробъ положены!
Здѣсь мирный памятникъ утраченному другу—
Благотворителю, товарищу, супругу—
Послѣдній скорбный даръ тоскующей жены!
Здѣсь благодарное живетъ воспоминанье;
Здѣсь сердцу говоритъ изъ гроба тихій гласъ,
Что, милыхъ бывъ похитивъ, смертный часъ
Приготовляетъ намъ безсмертье и свиданье!..

* * *

Спѣша безъ всякаго роптанья
Уборъ ненужный вамъ отдать,
Считаю должностью сказать,
Что я отъ грѣшнаго желанья—
Залогъ мнѣ данный утаить
Не удержался бъ, можетъ быть,
Когда бы въ пору не открыли
Вы мнѣ, что изъ волосъ чужихъ,
А не изъ вашихъ, кудри были
Въ рукахъ обманутыхъ моихъ!
Такъ! я проститься бъ равнодушно
Не могъ съ сокровищемъ такимъ:
Шепнулъ бы умъ—разстаться съ нимъ!
Да сердце было бъ непослушно!..
Прошу жъ васъ, отъ меня, княжна,
Принять уборъ вашъ безполезной!
Для вашей прелести любезной —
Его приманка не нужна!
Природа легкою рукою
Ужъ ваши кудри завила,
И васъ прекрасно убрала
Своей невинностью святою!
Ея—покърьте—простотѣ
Противны хитрости убора,—
И вы стократъ милѣй для взора
Въ своей безпечной красотѣ!..

* * *

Согласенъ я: мой миртъ унылъ!
Но онъ таковъ не отъ природы,
Онъ прежде свѣжъ и веселъ былъ!
Не замѣчалъ дурной погоды;
Онъ цвѣлъ и лѣтомъ и зимой...
Увы! онъ вамъ былъ отданъ мной
За тѣмъ, чтобъ въ грустномъ отдаленьѣ,
Я вами не былъ позабытъ!
Но, знать, мой жребій былъ—забвенье,
И вѣрный миртъ былъ имъ убитъ!

Хотя объ немъ—изъ состраданія
Вы и заботились подъ часъ...

* *
*

И Фебъ и музы извѣстились,
Что въ царскомъ фрейлины саду,
Гуляя вмѣстѣ, на бѣду—
Безсовѣстныя, побранились!
Досель дорогою одной
Онѣ здѣсь весело гуляли,
И заодно цвѣты срывали
Подъ ихъ расцвѣтшіе рукой,—
Хотя и знали запрещенье,
Чтобы въ саду травы не мять,
Цвѣтокъ не рвать, птицъ не пугать...
Такимъ поступкомъ своевольнымъ
Нельзя и музамъ быть довольнымъ:
Весьма прогнѣванъ Аполлонъ!
И вотъ что публикуетъ онъ:
Княжна Ховапская, Хилкова,
Княжна...

* *
*

Оставьте вы свою привычку
Не вѣрить въ свѣтѣ никому,
И мнѣ свою ввѣряя птичку,
Повѣрьте сердцу моему!
Мнѣ будетъ другомъ—другъ вашъ милой,
И нѣжно, до его конца,
Любить крылатаго пѣвца
Клянется вашъ пѣвецъ безкрылый!..
Когда жъ онъ кончитъ жизнь свою,
Отдамъ я честь ему стихами,
И, обливаясь слезами,
Его соломою набью...

1822—1831.

РОДРИГЪ.

Уже давно готовилося небо
Испанію преступную сразить—
Исполнилась его терпѣнья мѣра!
Графъ Юліанъ призвалъ враговъ. Не звѣрство
Терзающихъ невинность суевѣровъ,
Не тяжкая неволя сограждапъ,
Но злоба личная вооружила
Жестокаго барона: мстя Родригу
За дочь свою, поруганную имъ,
Отверженецъ Христа ожесточенный,
Въ недобрый часъ призвалъ онъ хищныхъ мавровъ.
Какъ саранча, пагубоносной тучей
Слетѣвшая съ пылающихъ пустынь
Песчаной Африки—такъ мусульмане
Безчисленны въ Иберію нахлынули:
Могучій мавръ, сиріецъ, сарацинъ,
Татаринъ, персъ, и контъ, и грекъ отступникъ—
Исполненны единымъ изступленьемъ,
Въ губящее совокупились братство!
И волю давъ страстямъ и мщенью,
Лжевѣріемъ обманутая совѣсть
Всѣ ужасы злодѣйства освятила...

$\frac{22\text{ апрѣля}}{2\text{ мая}}$ 1822.

* *
*

По милости своей
Кирпичикъ сей изъ глины горской
Намъ подарилъ графъ Віельгорской
Матвѣй.
Кирпичъ мы взяли въ лотерею,
И очень всѣ довольны имъ—
И *благодарствуй!* говоримъ
Матвѣю.

* *
*

Тому блаженства будетъ на годъ,
Кто съѣстъ полфунта вишныхъ ягодъ.

* *
*

Звѣзды небесъ,
Тихая ночь!
Ваше молчанье
Тайными чарами
Душу покоитъ!
Звѣзды небесъ,
Тихая ночь!
О счастьѣ живомъ
Минувшихъ временъ,
Разъ улетѣвшемъ,
Не будемъ мечтать...

1827.

—

Былъ у меня товарищъ,
Ужъ прямо братъ родной!
Ударили тревогу—
Съ нимъ дружнымъ шагомъ, въ ногу,
Пошли мы въ жаркой бой.

Вдругъ свистнула картеча...
Кого изъ насъ двоихъ?
Меня промчалась мимо;
А онъ... лежитъ родимой
Въ крови у ногъ моихъ!

Пожать мнѣ хочетъ руку...
Нельзя—кладу зарядъ!
Въ той жизни, другъ, сочтемся;
И тамъ, когда сойдёмся,
Ты будь мнѣ вѣрный братъ!..

1832—1833.

—

ЦАРСКІЙ СЫНЪ И ПОСЕЛЯНКА.

Ярко солнышко играетъ;
Ярко зелень отливаетъ.
Въ рощѣ запахъ, свѣтъ и тѣнь;
Свѣжъ и тепелъ вешній день.

Въ часъ веселый, на досугѣ,
На душистомъ сидя лугѣ,
У журчащаго ручья,
Вамъ спою балладу я.

Ѣхалъ царь путемъ-дорогой.
Быстроокій, быстроногой
Конь игралъ, плясалъ подъ нимъ,
Изъ ноздрей пуская дымъ.

Царь былъ чудо красотою;
Подъ короной золотою,
Съ багряницей на плечахъ
Былъ онъ свѣтелъ, какъ въ лучахъ.

Онъ спрыгнулъ съ коня лихаго,
У потока луговаго;
Гдѣ надъ быстрою водой
Цвѣлъ шиповникъ молодой.

Было вкругъ свѣжо, душисто;
Птички пѣли голосисто;
Вторя имъ, журчалъ потокъ,
Въ листьяхъ бѣгалъ вѣтерокъ.

Отъ чего жъ такъ птицы пѣли,
Такъ струи въ ручьѣ кипѣли,
Такъ рѣзовъ былъ вѣтерокъ,
Такъ душистъ былъ холодокъ?

У ручья тогда сидѣла
Поселянка и глядѣла
Въ ясны воды, и ручей
Видѣлъ свѣтъ ея очей...

7 декабря.

---

* * *

Прочь отсель меланхолія, дочь Цербера и темной
Ночи, рожденная въ мрачной стигійской пещерѣ, при дикихъ
Вопляхъ и крикахъ, межъ призраковъ смертныхъ; сокрытая въ глубокой
Безднѣ, гдѣ хмуро-угрюмая тьма, распростершись, ревѣла...
... Сидитъ и каркаетъ воронъ ночной безъ умолку,
Псамъ надъ Эбеновой тѣнію.

1841—1843.

—

* * *

Всесиленъ Богъ! Предъ Нимъ всесильна вѣра!
Онъ намъ сказалъ: Кто вѣруетъ, вели
Горамъ идти—онѣ пойдутъ. Своими
Очами видѣлъ я, какъ совершилось
Такое чудо на землѣ. И пыпѣ,
Во славу имени Его святаго,
Рабъ недостойный Божій, инокъ Климентъ,
Передаю смиренное сказанье
О чудѣ томъ потомкамъ, чтобъ они
Предъ Всемогущимъ Господомъ признали
Свое ничтожество и въ томъ признаньи
Спасеніе души своей нашли...

⁸/₂₀ октября 1841. Дюссельдорфъ.

---

* * *

Другъ мой, жизни смыслъ терпѣнье,—
Это въ сердцѣ запиши.
Вводишь вѣру въ Провидѣнье
Имъ ты въ глубь своей души...

---

* * *

Помнишь ли, другъ мой, Егора Петровича Щетку?
Каждой зимою—когда я еще у Николы Морскаго
Жилъ—ты его видалъ у меня; онъ казался
Чуднымъ тебѣ. И подлинно, былъ онъ чудакъ...

---

* * *

Завидую портрету моему.
Холодною, безчувственною тѣнью
Онъ будетъ тамъ, гдѣ жить бы я желалъ
Внимающей, любящею душою...

11/23 марта 1843.

1845.

ЧАША СЛЕЗЪ.

Разъ матушка свою любила дочку
Такъ горячо, такъ глубоко, такъ нѣжно,
Что жизнь и свѣтъ и все, что есть на свѣтѣ,
Лишь милой дочкою ей было мило.
Но вдругъ Господь Всевышній испытанье
Великое послать благоволилъ
На сердце матери: ея малютка
Занемогла смертельно. День и ночь
Надъ нею мать сидѣла, не сводя
Съ страдалицы очей, слѣдя за каждымъ
Ея движеніемъ, ея дыханье
Съ волненьемъ слушая,—и непрестанно
Молясь, чтобъ Богъ помиловалъ ее.
Но милосердый Богъ о ней рѣшилъ
Иначе: Онъ ее призвалъ къ Себѣ
На небо, и она—какъ говорятъ иные
Безсмысленно на свѣтѣ—умерла.
Безъ всякаго осталась утѣшенья
Лишившаяся дочки мать. И съ горя
Такъ силы ослабѣли, что она,
Недѣли не прошло...

---

* * *

Часто въ прогулкахъ моихъ одинокихъ мнѣ попадался
Старый нищій. Всегда у большой дороги сидѣлъ онъ—
Тамъ, гдѣ у съѣзда съ горы положили бревно, чтобъ удобнѣй
Было садиться опять на сѣдло тому, кто съ крутаго
Спуска лошадь сводилъ въ поводахъ. Старикъ, прислонивши
Палку къ бревну и сложивши съ плеча котомку, съ какой-то
Дѣтскою радостью бралъ изъ нея одна за другою
Хлѣбныя корки, сборъ съ поселянъ, и съ лѣнивымъ вниманьемъ
Ихъ пересматривалъ. Скорчась въ дугу, безъ шляпы, на знойномъ
Солнцѣ, одинъ посреди холмовъ пустынныхъ и голыхъ,
Медленно ѣлъ онъ свой скромный обѣдъ; одною рукою
Корку держа, подъ нее подставлялъ онъ другую, чтобъ крошки
Всѣ до послѣдней сберечь; но къ ногамъ его много на землю
Падало ихъ, и галки, косясь на добычу, бродивши
Поодаль, на цѣлую палку его разстояньемъ—къ манившей
Ихъ приманкѣ порой приближались. Съ самаго дѣтства
Зналъ я его; какъ теперь, и тогда ужъ старёхонекъ былъ онъ,
Такъ, что какъ будто ни мало съ тѣхъ поръ не постарѣлъ; все тотъ же,
Такъ же все бродитъ одинъ, и съ виду такой безпомощный,
Что ни одинъ проѣзжій съ коня небрежной рукою
Мелкой монеты своей не броситъ ему, а слѣзаетъ
Съ лошади самъ, чтобъ вѣрнѣе свое подаянье въ пудую

Шляпу его положить; и каждый, ногу
вставляя
Въ стремя, за нимъ все еще слѣдуетъ
косвеннымъ взглядомъ.
Палка его неразлучно тащится съ нимъ;
онъ такъ тихо
Бродитъ, такъ слабъ и медленъ въ дви-
женьяхъ своихъ, что едва ли
Слѣдъ какой на дорогѣ его нога оста-
вляетъ.
Шавка дворовая брехать на него утомляется
прежде,
Нежели онъ успѣетъ мимо воротъ про-
тащиться.
Дѣвочка, мальчикъ, ребенокъ, взрослый,
праздный рабочій—
Всѣ обгоняютъ его, онъ у всѣхъ назади
остается.
Сборщица пошлинъ дорожныхъ, лѣтней
порою за пряжей
Сидя въ дверяхъ, лишь завидитъ его
вдалекѣ, по дорогѣ
Тихо бредущаго, просьбы его не ждетъ,
и работу
Бросивъ, сама передъ нимъ подымаетъ
шлагбаумъ. Столкнувшись
Съ нимъ на тѣсной дорогѣ, почтарь—
когда не услышитъ
Крика его старинушка—въ сторону самъ
осторожно
Правитъ и мимо, безъ грубаго слова,
даже безъ сердца,
Ѣдетъ. Одинъ одинёхонекъ ходитъ бѣд-
някъ. Не имѣетъ
Старость его товарища. Вѣчно глаза его
въ землю
Смотрятъ; онъ медленно движется вдоль
по дорогѣ; невольно
Движется съ нимъ и она, и видитъ не
то, что мы видимъ
Всѣ—не зелень полей, не холмы, не
свѣтлое небо;
Нѣтъ, одну лишь узкую полосу пыльной
дороги.
Тутъ и весь его горизонтъ! Ежедневно,
склонивши
Дряхлую голову, бродитъ съ утра онъ
до поздней ночи,
Видя, но самъ почти не зная, что ви-
дитъ,—кое-гдѣ
Клокъ соломы, вялый листъ, отпечатокъ
подковы
Или гвоздей на пыли—и все въ одномъ
разстояньи,
Все въ одномъ направленьи. Бѣдный
странникъ!..Одна лишь...

1847.

ПРОДАННОЕ ИМЯ.

Давнымъ давно—а какъ давно, о томъ
Навѣрное сказать не можемъ мы;
Извѣстно только то, что это было
Еще до лжепророка Магомета—
Въ приморскомъ городѣ, Бассорѣ, жилъ
Купецъ. Сначала онъ имѣлъ большое
Богатство, а потомъ отъ неудачъ
Въ торговлѣ обѣднялъ, и до того,
Что принужденъ былъ тяжкою работой
Насущный хлѣбъ съ нуждою добывать:
Онъ сдѣлался носильщикомъ. Когда
Входили въ пристань корабли, Рубанъ—
Такъ назывался онъ—ихъ выгружать
Усердно помогалъ. И онъ всегда
Имѣлъ работу, потому что былъ
Извѣстенъ честностью: ему безъ страха
Вверяли все, и самый дорогой
Товаръ. А въ бѣдности ему подпорой
Служило то, что на своей душѣ
Онъ никакого не имѣлъ упрека.
Онъ былъ всегда .....
Богобоязненъ и смиренно волѣ
Всевышняго покоренъ. Напослѣдокъ,
Уже достигнувъ старости глубокой,
Почувствовалъ Рубанъ, что наступилъ
Его конецъ. Онъ сына своего—
Который былъ ужъ двадцати двухъ лѣтъ
И, какъ отецъ, Рубаномъ назывался—
Призвалъ къ себѣ и такъ ему сказалъ:
«Рубанъ, послѣдній часъ мой наступилъ;
Но я его спокойною душою
Встрѣчаю: онъ меня отъ пытки жизни
Освобождаетъ. Я не сожалѣю
О свѣтѣ; лишь съ тобой однимъ мнѣ тяжко
Разстаться. Но мои ужъ сочтены
Минуты—подойди, стань на колѣна,

Мой сынъ, чтобъ отъ меня благословенье
Принять.»—И на голову сыну руку
Съ улыбкою прискорбной положивъ,
Промолвилъ онъ: «Ты былъ всегда покорнымъ,
Всегда почтительнымъ и добрымъ сыномъ;
Ты возмужалъ въ смиреніи; Господь
Тебя благословитъ: когда пути Его
Ты не покинешь, Онъ твоимъ
Сопутникомъ всегда и всюду будетъ.
Я ничего, мой другъ, тебѣ въ наслѣдство
Оставить не могу; одно мое
Наслѣдство—имя, никакой неправдой
Не опозоренное въ долгой жизни.
Его, мой сынъ, ты чистымъ сохрани,
Чтобъ Богу угодить, чтобъ все на свѣтѣ,
И радость, и печаль, тебѣ во благо
Преобразилось, чтобъ послѣдній часъ
Ты столь же мирно встрѣтилъ, какъ теперь
Его отецъ встрѣчаетъ твой. Прости
Не сѣтуй. Я, съ тобою разлучаясь,
Тебя другому, лучшему Отцу
Съ рукъ на руки передаю; при Немъ
Ты сиротой не будешь...» Тутъ рука,
Благословляющая сына, тихо
Упала; взоръ, на сына устремленный,
Потухъ, и въ легкомъ вздохѣ улетѣла
Душа. Рубанъ, на грудь отца простершись,
Напрасно силился его отъ смерти
Рыданіемъ и плачемъ пробудить:
Не пробудился онъ. И все свое
Имущество продать былъ принужденъ
Осиротѣлый сынъ, чтобъ съ честью тѣло
Отцово схоронить. И самъ остался
Безъ ничего. Когда обрядъ печальный
Былъ совершенъ, въ уныніи Рубанъ,
Домой съ кладбища возвращаясь, вдоль
залива
Шелъ тихимъ шагомъ. Солнце ужъ сходило
На западъ; пламенное море гладкимъ
Лежало зеркаломъ; и на водахъ
Его, едва примѣтно зыбясь . . . ,
На якорихъ стояли корабли.
Была полна народомъ пристань; шумъ
Торговли, бѣготня и суетливость
Работниковъ, безпечная веселость
Гуляющихъ, движенье лодокъ, быстро
Скользящихъ по волнамъ пурпурнымъ,—крики,
Музыка, пѣнье, стукъ повозокъ, ржанье
Коней, людскіе голоса, въ одинъ
Сліянные широкошумный говоръ—
Все жизнію кипѣло; но Рубанъ
Былъ ко всему безчувственъ. Онъ въ толпѣ
Людей, какъ прокаженный, всѣмъ чужой,
И никому ненужный, брелъ, потупя
Глаза. И на послѣдокъ вышелъ онъ
На взморье; въ хижину свою не въ силахъ
Былъ возвратиться онъ, и эту ночь
Рѣшилъ провесть подъ чистымъ небомъ:
На воздухѣ онъ могъ дышать свободно,
А въ хижинѣ, въ виду пустой отцовой
Постели, было для него, какъ въ темной
Могилѣ, душно. Онъ ужъ былъ готовъ
Лечь на песокъ, подушкой выбравъ камень,
Покрытый мягкимъ мохомъ—какъ его
Глазамъ явился кто-то незнакомый.
Остановясь, онъ такъ сказалъ Рубану:
«Знать у тебя на сердцѣ тяжело,
Мой сынъ, что ты не видишь и не слышишь.
Я за тобой давно иду; не разъ
Тебя я громко звалъ—все напрасно»...
—Не осуди, отвѣтствовалъ Рубанъ.
Ты угадалъ: на сердцѣ у меня
Не мало горя. Но чего ты хочешь?
Велишь ли ношу за собой какую
Нести на пристань? Я готовъ.—«Объ этомъ
Поговоримъ мы послѣ. Напередъ
Скажи мнѣ, что за горе у тебя
На сердцѣ?» Искренно ему Рубанъ
Все разсказалъ; когда жъ онъ свой разсказъ
Окончилъ,—«это правда, незнакомецъ
Отвѣтствовалъ: тебѣ достался
Удѣлъ нелегкій. Но терять надежды
Не надобно; ты молодъ, силенъ. Богъ
Тому помощникъ, кто Ему вѣряется.
Самъ помогать себѣ умѣешь. Я же
Теперь могу тебѣ къ тому подать
И средство. Тотъ большой корабль, который
Стоитъ на взморьѣ, мнѣ принадлежитъ;
Онъ нынче выйдетъ море; вѣтеръ намъ
Благопріятенъ. Но одинъ матросъ мой
Скоропостижно умеръ; я ищу
Охотника на мѣсто убылое.
Скажи мнѣ, сынъ мой, согласишься ль ты

Его занять? Ты, вижу я, смышлёнъ;
Тебѣ легко привыкнуть будетъ къ дѣлу.
Рѣшись—и мы теперь же на корабль
Пойдемъ, и съ Богомъ пустимся въ дорогу».
Рубанъ не долго размышлялъ; ему
Откладывать не нужно было; дома
Онъ никого не покидалъ; тамъ было нѣ
съ кѣмъ
Проститься; на дорогу же оттуда
Взять было нечего—и онъ сказалъ:
Согласенъ.—Тотчасъ по рукамъ они
Ударили. И вслѣдъ за Ріабаромъ—
Такъ назывался корабельщикъ—прямо
Пошелъ онъ на корабль. Тамъ было все
Къ отплытію готово. Парусами,
Какъ птица крыльями, зашевелилъ
Корабль; они расправились, ихъ туго
Попутный вѣтеръ натянулъ; корабль
Шатнулся, тронулся, пошелъ—и быстро
По голубымъ водамъ залива пролетѣвъ,
Проникнулъ въ океанъ, и посреди
Пучины водъ великихъ скрылся...

ПРИМѢЧАНІЯ.

Отрывки. I. Христіанская философія. II. Философія. III. Воспитаніе. IV. Искусство. V. Мысли и замѣтки.

Первые четыре отдѣла *отрывковъ* [какъ и предъидущія статьи, помѣщенныя въ X томѣ, начиная съ трехъ писемъ къ Гоголю] печатаются нами по недавно найденной проф. К. Я. Гротомъ въ бумагахъ акад. Грота рукописи, въ настоящее время находящейся въ И. П. Библіотекѣ [№ 99]. Рукопись—бѣловая, съ болѣе поздними, по мѣстамъ весьма значительными, собственноручными поправками поэта. Выше приведенныя заглавія: *Отрывки: I. Христіанская философія. II. Философія* и т. д. собственноручно написаны поэтомъ на особыхъ листахъ, предшествующихъ тексту статей. Въ рукописи также собственноручно написаны поэтомъ и дальнѣйшіе, болѣе мелкіе заголовки перваго отдѣла: *истина, вѣра, промыслъ* и т. д. Какъ бы въ дополненіе къ послѣдней статьѣ отдѣла [*Таинство причащенія*], въ рукописи слѣдуетъ на отдѣльномъ вшитомъ въ рукопись листкѣ, собственноручно написанная поэтомъ, помѣщенная у насъ далѣе молитва [*Господи! Отыми у меня*]. Частные заголовки въ слѣдующихъ отдѣлахъ не всѣ приводятся въ настоящей рукописи; заимствуемъ ихъ изъ другихъ черновыхъ тетрадей поэта, находящихся въ собраніи его бумагъ,—гдѣ настоящія статьи, объединенныя авторомъ въ рукописи проф. Грота общимъ заглавіемъ: „Отрывки“ и раздѣленныя имъ здѣсь на четыре группы, читаются или въ черновыхъ наброскахъ или въ окончennомъ уже видѣ и даже „исправленныя“ авторомъ. Переписанныя въ этомъ исправленномъ видѣ набѣло въ рукописи проф. Грота, статьи эти здѣсь, въ рукописи, еще разъ подверглись внимательному просмотру со стороны поэта, нося во многихъ мѣстахъ новыя собственноручныя его поправки и измѣненія. Печатая статьи по рукописи проф. Грота, издаемъ текстъ въ той редакціи, какъ онъ окончательно выправленъ здѣсь авторомъ.

Отдѣла V-го „Отрывковъ“ — нѣтъ въ рукописи проф. Грота; подъ общимъ заглавіемъ: „Мысли и замѣтки“, заимствованномъ отчасти у самого автора [ср. по „Опис.“ г. Бычкова, тетр. № 50] — объединяемъ отдѣльные отрывки и замѣчанія нашего поэта, разбросанныя въ упомянутыхъ его черновыхъ тетрадяхъ, главнымъ же образомъ, читаемыя въ двухъ изъ нихъ [по „Опис.“ г. Бычкова, въ рук. № 70, тетр. 4 и 5] и въ особой тетрадкѣ, носящей собственноручно написанный авторомъ заголовокъ: *Для Великаго Князя*. Присоединяя эти отрывочныя „Мысли и замѣтки“, по близости ихъ общаго содержанія, въ видѣ особаго отдѣла къ четыремъ предыдущимъ, печатаемъ ихъ въ полномъ видѣ по тексту сейчасъ названныхъ рукописей, и въ томъ порядкѣ, какъ отрывки слѣдуютъ въ рук. № 70, тетр. 5, л. 1 sqq. Почти всѣ эти отрывки ранѣе изданы были И. А. Бычковымъ.

Іосифъ Радовицъ.

Печатаемъ статью по тексту, изданному въ одномъ изъ дополнительныхъ томовъ къ пятому изд. „Соч.“ [1849],—съ присоединеніемъ сюда тѣхъ дополненій, въ общемъ весьма незначительныхъ, которыя сдѣланы къ этому тексту въ изд. г. Ефремова. Дополненія эти помѣщаемъ въ текстѣ въ прямыхъ скобкахъ [ ].

Іосифъ Радовицъ [Radovitz, род. въ 1797 г.; † въ 1853 г.], прусскій генералъ и государственный дѣятель, близкій другъ Фридриха-Вильгельма IV и авторъ многочисленныхъ политическихъ сочиненій,—принималъ весьма дѣятельное участіе въ выработкѣ союзнаго устройства Германіи, въ 1847—1850 гг. Радовицъ былъ другомъ Рейтерна, будущаго зятя Жуковскаго и его давнишняго пріятеля; будучи въ Берлинѣ въ 1827 году, Жуковскій впервые здѣсь черезъ Рейтерна познакомился съ Радовицемъ. „Съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался и моимъ другомъ“, замѣчаетъ Жуковскій, вспоминая объ этомъ первомъ своемъ свиданіи съ Радовицемъ. „Наше свиданіе съ нимъ было на минуту, но эта минута произвела плодъ многолѣтній“...

По поводу нападокъ въ нѣмецкой прессѣ на Россію. Письмо въ редакцію газеты.

Письмо это читается вслѣдъ за предыдущими статьями, въ той же рук. № 70, тетр. 5, л. 55 sqq., и до сихъ поръ не было издано.

Ложный стыдъ, ком. Коцебу.

Это переводное произведеніе Жуковскаго до сихъ поръ не было извѣстно. Оно встрѣтилось намъ въ рукописяхъ Центральной библіотеки Императорскихъ театровъ, гдѣ числится въ отд. I, № 7.483. Издаемъ по этой рукописи. Рукопись—въ четвертку, въ переплетѣ, писана на старой синей бумагѣ крупнымъ почеркомъ, повидимому писцомъ довольно малограмотнымъ: многихъ словъ онъ совсѣмъ не разобралъ,—встрѣчается рядъ очевидныхъ нелѣпыхъ описокъ. Кое-гдѣ мѣстами фразы остались не дописанными. На заглавномъ листѣ рукописи тѣмъ же писарскимъ почеркомъ стоитъ: *Комедія Ложный Стыдъ, въ четырехъ дѣйствіяхъ, г. Коцебу. Переведилъ съ нѣмецкаго губернскій секретаръ Василій Жуковскій.* На оборотѣ листа перечисляются „дѣйствующія лица“ комедіи, съ указаніемъ здѣсь же именъ и артистовъ, исполнявшихъ эти роли, или предназначавшихся къ ихъ исполненію. Выписываемъ сполна:

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Совѣтникъ Флаксландъ—г-нъ Померанцовъ и Грузиновъ.
Жена его—г-жа Воробьева и Баранчеева.
Вильгельмина, ихъ дочь—г-жа Насова.
Эмма, ихъ воспитанница—г-жа Бунденброкъ.
Капитанъ Эрлахъ—г-нъ Калшаковъ.
Фонъ-Кугель—г-нъ Мачаловъ.
Викентъ Мальякъ—г-нъ Украсовъ.
Фрелонъ—г-нъ Растаргуевъ.
Мадамъ Моро—г-жа Померанцова.
Иванъ, садовникъ—г-нъ Обжогинъ и Кураевъ.
Фамиліи артистовъ въ текстѣ нами опущены

Рукопись позднѣе была, кажется, кѣмъ-то дважды просматриваема или начиналась просматриваться: въ ея текстѣ кое-гдѣ встрѣчаются слѣды поправокъ,—судя по цвѣту чернилъ, сдѣланныхъ не въ одинъ разъ... Впрочемъ, поправокъ въ общемъ очень мало. Приводимый въ подлинникѣ французскія слова и фразы въ рукописи обыкновенно пишутся по-русски, русскими буквами,—повидимому, для облегченія актеровъ. Нарѣдка приводятся и въ подлинникѣ французскія слова и фразы—при этомъ рядомъ съ французской фразой, здѣсь же, въ скобкахъ, она повторяется и по-русски, русскими буквами... Въ своемъ изданіи мы не нашли нужнымъ удерживать эти русскія повторенія.

Упоминаемый на заглавномъ листѣ рукописи переводчикъ „Губернскій Секретарь Василій Жуковскій“—безспорно, нашъ поэтъ, Василій Андреевичъ Жуковскій. Приводимый здѣсь его „чинъ“ опредѣляетъ приблизительно и время перевода пьесы. Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ А. И. Тургеневу, въ 1818 году, посылая ему для чего-то свой „аттестатъ“ — Жуковскій замѣчаетъ: „О прежней службѣ своей скажу только то, что я вошелъ въ Главную дурацкую соляную контору городскимъ секретаремъ въ 1800 году, вышелъ изъ нея титулярнымъ совѣтникомъ въ 1802-мъ; остальное увидишь изъ приложеннаго аттестата“... Судя по этому указанію, переводъ пьесы относится ко времени 1800—1802 годовъ.

Авторъ пьесы Коцебу [August Fr. von Kotzebue, 1761—1819] извѣстнѣйшій въ свое время романистъ и драматургъ. Коцебу сначала былъ адвокатомъ въ Веймарѣ; женатый на русской аристократкѣ, Коцебу позднѣе [съ нач. 80-хъ гг.] переходитъ на русскую службу и служитъ въ Остзейскомъ краѣ. Литературная дѣятельность Коцебу началась еще въ Веймарѣ, но болѣе значительную извѣстность онъ пріобрѣтаетъ лишь со времени появленія своего романа: Leiden der Ortherbergischen

Familie, вышедшаго въ 1785 году [на русскій языкъ романъ переведенъ былъ въ 1802 г. подъ заглавіемъ: *Все счастіе — одна лишь мечта, или страданія Ортенбергской фамиліи*. Переводъ вышелъ въ Смоленскѣ; 2-ое изд.—вышло въ Орлѣ въ 1823 г.]. Къ 1789 г. относится наиболѣе знаменитое произведеніе Коцебу, драма *Menschenhass und Reue* [*Ненависть къ людямъ и раскаяніе*], на всѣхъ европейскихъ театрахъ державшаяся „многіе десятки лѣтъ", вскорѣ переведенная и на русскій языкъ. Въ концѣ 90-хъ гг. мы видимъ Коцебу опять за границей: онъ принимаетъ мѣсто директора Вѣнскаго театра,—но почему-то вскорѣ его оставляетъ, и предпринимаетъ поѣздку обратную въ Россію [въ Петербургѣ, въ кадетскомъ корпусѣ, у него воспитывались его сыновья],—но, не пріѣзда на русскую границу, неожиданно былъ арестованъ и сосланъ въ Сибирь... Ссылка была, къ счастію, не продолжительна: имп. Павлу Петровичу вскорѣ попала въ руки небольшая пьеса Коцебу: *Дейбъ кучеръ Петра Великаго*—и драматургъ немедленно былъ возвращенъ, осыпанъ милостями и сдѣланъ директоромъ нѣмецкаго театра. Будучи скоро, однако, опять переселяется за границу: въ 1802 г. онъ принимается въ Берлинѣ за изданіе подемическаго журнала, направленнаго противъ представителей только-что нарождавшейся тогда въ нѣмецкой литературѣ „романтической школы". При наступленіи въ Пруссіи владычества Наполеона, Коцебу опять спасается въ Россію, въ Эстляндію,—и выступаетъ патріотическимъ писателемъ противъ французовъ. Въ 1813 г. онъ слѣдуетъ за русской главной квартирой, а въ слѣдующемъ 1814 году издаетъ въ Берлинѣ газету: *„Русско-нѣмецкій народный листокъ"*... Коцебу дѣлается рьянымъ поборникомъ идеи Священнаго союза,—и врагомъ всякаго проявленія свободы мысли: извѣстность его, какъ писателя, очень скоро смѣняется крайней непопулярностью. Злыя насмѣшки его надъ нѣмецкой студенческой молодежью, злорадныя нападки на нѣмецкіе университеты, для которыхъ и безъ того наступили времена реакціи—сдѣлали имя Коцебу для многихъ въ Германіи ненавистнымъ, хотя въ дѣйствительности собственная роль его въ общемъ, наступившемъ теперь, реакціонномъ движеніи была незначительна... Въ 1819 году, заподозрѣнный въ доносахъ на нѣмецкіе университеты—Коцебу былъ убитъ студентомъ Зандомъ, какъ „измѣнникъ отечеству"...

Плодовитость Коцебу, какъ писателя, была необычайной; отъ него дошло до ста однѣхъ драмъ, не считая многочисленныхъ романовъ и повѣстей. Полное собраніе его сочиненій обнимаетъ 40 томовъ [Лейпцигъ, 1840—1841]. Необычайной плодовитости соотвѣтствовалъ и необычайный успѣхъ произведеній. До самаго конца XVIII в., Коцебу почти безраздѣльно „господствовалъ" на нѣмецкой сценѣ. Упомянутая выше его пьеса: *Ненависть къ людямъ и раскаяніе* „тотчасъ получила гигантскій успѣхъ, распространившійся далеко за предѣлами Германіи". Успѣхъ писателя, однако, вовсе не объясняется какими-либо особыми достоинствами его произведеній: напротивъ, литературная популярность Коцебу часто имѣла весьма сомнительное значеніе. Коцебу, какъ писатель, шелъ не впереди массы, а былъ ея преслѣдователемъ. Обладая замѣчательными дарованіями драматическаго писателя, отличаясь знаніемъ сцены, остроуміемъ — при всѣхъ этихъ блестящихъ дарованіяхъ, Коцебу въ своихъ безчисленныхъ произведеніяхъ чаще всего былъ только „маратедемъ, мазалъ, какъ мажутъ сапоги" [„er schmiertе, wie man Stiefel schmiert..."]. „Никто, — говоритъ современный историкъ нѣмецкой литературы, — такъ хорошо не умѣлъ понять пошлыхъ инстинктовъ массы, никто не умѣлъ такъ искусно льстить имъ и никто такъ ловко не доставлялъ эффекты для актера, какъ Коцебу. Онъ работалъ не только въ области мѣщанской драмы, но также въ рыцарскихъ пьесахъ, въ комедіи и фарсѣ. Въ немъ, какъ и въ Ифландѣ, еще отражаются вкусы литературной революціи. *Они оба берутъ* сторону Руссо за природу противъ *культуры и ведутъ весьма* скромную оппозицію противъ *существующихъ* общественныхъ порядковъ. Но твердая нравственная тенденція Ифланда—у Коцебу уступаетъ мѣсто апологіи распущенности, которая задрапирована добродѣтелью. Расслабленная снисходительность и дешевая чувствительность подрываютъ старинныя нравственныя понятія: и то, что прежде считалось непарушимымъ закономъ, теперь осмѣивается, какъ европейскій предразсудокъ. Карикатура гуманности ослабляетъ всѣ трагическія столкновенія; порокъ и нищета наглядно обнаруживаютъ свою наготу".

Едва ли не большею популярностью, чѣмъ у себя дома, Коцебу пользовался у насъ. Въ концѣ XVIII—первыхъ годахъ XIX вв. его романами и драмами была буквально наводнена русская переводная литература. Насчитываютъ болѣе ста тридцати его произведеній, обращавшихся въ это время у насъ въ переводахъ! Многія изъ нихъ выдерживали по нѣсколько изданій. „Теперь въ страшной модѣ Коцебу,—пишетъ въ 1802 г. Карамзинъ,—и какъ нѣкогда парижскіе книгопродавцы требовали „Персидскихъ Писемъ" [Монтескье] отъ всякаго сочинителя, такъ наши книгопродавцы требуютъ Коцебу, одного Коцебу. Романъ, сказка, хорошее или дурное—все одно, если на титулѣ имя славнаго Коцебу..." Русская публика до того къ нему привыкла, что почитала его „какъ бы своимъ"... Переводы сочиненій Коцебу выходили у насъ не только въ столицахъ, но иногда и въ провинціальныхъ городахъ; встрѣчаются переводы, напечатанные въ Смоленскѣ, Орлѣ, Владимирѣ...

Произведенія Коцебу занимаютъ весьма почетное мѣсто и въ средѣ новаго литературнаго кружка, который былъ основанъ въ 1801—1802 гг. ближайшими друзьями Жуковскаго,—членами кружка переводится на русскій языкъ почти „весь современный нѣмецкій театръ", и въ томъ числѣ произведенія его тогдашняго представителя Коцебу. Драмы Коцебу переводитъ и Андрей Тургеневъ, съ переводовъ Коцебу началъ свою дѣятельность и Жуковскій.

Если самъ Коцебу у себя на родинѣ велъ полемику съ молодыми романтиками, — то у насъ противъ него самого съ ожесточеніемъ выступили представители все еще продолжавшихъ у насъ удерживаться старыхъ ложноклассическихъ традицій, та самая литературная партія, которая противникомъ своимъ считала и Карамзина. Съ цѣлью противодѣйствовать успѣхамъ Коцебу и вмѣстѣ поддержать падавшія основы ложноклассицизма — у насъ былъ основанъ даже особый журналъ: „Драматическій Вѣстникъ" [1808], во главѣ котораго стоялъ кн. Шаховской, осмѣявшій „балладнаго" Жуковскаго... Эта борьба противъ Коцебу нашихъ „классиковъ" — наглядно указываетъ то мѣсто, которое занимали произведенія Коцебу въ общей исторіи нашего литературнаго развитія, а вмѣстѣ съ этимъ объясняетъ и причины ихъ необычайнаго успѣха...

Валерія, или слѣпая, комедія Окнова.

Этотъ переводъ Жуковскаго до сихъ поръ оставался не изданнымъ и былъ извѣстенъ лишь въ томъ неполномъ черновомъ автографѣ, который имѣется въ бумагахъ Жуковскаго, поступившихъ отъ П. В. Жуковскаго въ И. П. Библіотеку [по „опис." г. Вычкова, № 31]. Рукопись Публичной Библіотеки—черновой автографъ перевода лишь двухъ первыхъ дѣйствій комедіи. Полный списокъ перевода всей пьесы намъ удалось встрѣтить въ рукописяхъ той же Центральной библіотеки Императорскихъ театровъ [по каталогу библіотеки,—Отд. I, № 7.495]. Издаемъ по этому списку. Списокъ—бѣловой и цензурный: на первомъ листѣ пьесы читается цензурное разрѣшеніе: *Позволяется. № 700. 29 ноября 1823 г. Секретарь В. Са . . .* [фамилію трудно разобрать]. На оборотѣ заглавнаго листа рукописи перечисляются дѣйствующія лица комедіи,—при чемъ здѣсь же приводятся и фамиліи игравшихъ эти роли артистовъ. Приводимъ этотъ перечень сполна:

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Каролина Баумфильдъ, молодая вдова—г-жа Валб.

Валерія, ея родственница—г-жа Колосова 1-я.

Графъ Эрнстъ Розенталь—г. Брянской.
Генрихъ Мильнеръ—г. Каратыгинъ [ранѣе было написано: Сосницкой].
Германъ, старый слуга Каролины—Г. Хотяиновъ.

Текстъ пьесы, набѣло переписанный въ рукописи,—позднѣе былъ еще разъ пересмотрѣнъ Жуковскимъ, которымъ сдѣланъ въ текстѣ здѣсь же, въ рукописи, цѣлый рядъ исправленій и измѣненій. На заглавномъ листѣ рукописи стоитъ: *Валерія, или Слѣпая. Комедія въ трехъ дѣйствіяхъ. Переводъ съ французскаго.* Далѣе, ниже, на томъ же листѣ,—читается приведенное сейчасъ цензурное разрѣшеніе. Рукопись—въ четвертку, въ переплетѣ и сильно истрепана; одного листа въ текстѣ не достаетъ. Издаемъ пьесу по этому списку,—въ той редакціи, какъ текстъ окончательно выправленъ здѣсь рукою нашего поэта. Недостающую въ рукописи часть текста издаемъ по упомянутому выше черновому автографу И. П. Библіотеки.

Огюстъ Скрибъ [1791—1861] одинъ изъ позднѣйшихъ, наиболѣе пользовавшихся извѣстностью и успѣхомъ, французскихъ драматурговъ. Свои литературные дебюты онъ началъ съ 18-ти лѣтъ; но наиболѣе ранней пьесой, давшей ему извѣстность, была *Une nuit de la Garde nationale* [1816]. Благодаря своей изумительной плодовитости [имъ написано болѣе 350-ти пьесъ!] и блестящимъ талантамъ драматическаго писателя, Скрибъ быстро пріобрѣлъ популярность на всѣхъ сценахъ Европы,—съумѣвши удержать на нихъ свое мѣсто почти до самой своей смерти. Періодомъ наибольшей славы Скриба были 1820—1850 годы. Въ своихъ произведеніяхъ Скрибъ долго не выходилъ изъ области водевиля и комедій; лишь позднѣе онъ сталъ писать болѣе серьезныя вещи, болѣе или менѣе подходящія къ типу „комедій характеровъ". „Успѣхъ его комедій,—замѣчаетъ Ю. А. Веселовскій,—объясняется тѣмъ, что онѣ были вѣрнымъ отраженіемъ жизни и нравовъ той публики, которую имѣлъ въ виду драматургъ, реалистическою картиною буржуазнаго быта. Авторъ прекрасно изучилъ изображаемую имъ среду, ея предразсудки, условныя понятія, матеріалистическіе вкусы, но онъ не думаетъ выступать въ роли сатирика-обличителя; его насмѣшка, въ общемъ, отличается мягкостью и снисходительностью; онъ не хочетъ сгущать краски и въ значительной степени даже подлаживается къ міросозерцанію и уровню развитія своихъ зрителей... Настоящая сфера Скриба—легкая, веселая комедія; у него, несомнѣнно, былъ даръ наблюдательности; техника театральнаго дѣла была ему прекрасно знакома; онъ умѣлъ придумывать забавныя стеченія обстоятельствъ, занимательныя и запутанныя интриги, неожиданныя встрѣчи, смѣшныя недоразумѣнія и ошибки, разнаго рода осложненія... Въ тѣхъ случаяхъ, когда Скрибъ пробовалъ свои силы въ болѣе серьезномъ, драматическомъ жанрѣ, онъ обыкновенно приближался къ мелодрамѣ или „comédie larmoyante"; это можно сказать даже о такой извѣстной его пьесѣ, какъ *Андріенна Лекуверръ*, обошедшей всѣ европейскія сцены. Нѣкоторыя пьесы Скрибъ писалъ въ сотрудничествѣ съ другими лицами. Скрибу принадлежатъ также либретто цѣлаго ряда знаменитыхъ оперъ,—*„Фра-діаволо"*, *„Жидовка"*, *„Гугеноты"*, *„Пророкъ"*, *„Африканка"*, *„Сѣверная Звѣзда"* и др. Скрибъ пробовалъ писать также романы и повѣсти, но это была область, совершенно чуждая его таланту.

Пьеса, переведенная Жуковскимъ, была играна на сценѣ петербургскаго театра 17 декабря 1823 г., въ бенефисъ танцовщицы Колосовой [Арвповъ, Лѣт. рус. театра, стр. 346]. Комедія переведена была Жуковскимъ для артистки М. А. Колосовой [вышедшей позднѣе за Каратыгина], отчасти вслѣдствіе настоящей гр. Милорадовича, въ эти годы очень близко стоявшаго къ петербургскому театру, и покровителя многихъ славившихся въ то время артистокъ. Своимъ „пустымъ" переводомъ „посредственной комедіи" Жуковскій, однако, стѣснился,—и не желалъ придавать его огласкѣ. Въ одномъ изъ писемъ своихъ въ 1823 году къ Гнѣдичу онъ пишетъ: „Скажи Колосовой, что піеса ея у меня. Я обѣщалъ Милорадовичу найти переводчика, но до сихъ поръ не было возможности. Увѣрь ее, что переводъ будетъ, но только желалъ бы я знать, къ которому времени рѣшительно желаетъ она имѣть его: спроси и увѣдомь. Если никто не возьмется переводить, то переведу самъ, ибо желаю, чтобъ эта піеса была сыграна хорошо, а если она будетъ переведена дурно, то ее и играть нельзя. Обнадежь Колосову. Только это, т. е. мое намѣреніе переводить, должно остаться между нами: не хочу выѣзжать на сцену въ пустомъ переводѣ посредственной комедіи.—До сихъ поръ мѣшали мнѣ приняться за дѣло мои грамматическія хлопоты. Черезъ недѣлю примусь и въ недѣлю кончу. Итакъ—если чего неожиданнаго не случится — черезъ двѣ недѣли все получишь. Но все пришли мнѣ ultimatum Колосовой. Ты же будешь хранителемъ тайны — къ тебѣ пришлю переводъ; велишь переписать, а оригиналъ мнѣ возвратишь"... Пріятель Жуковскаго, повидимому, однако, проболтался, и въ ближайшемъ же письмѣ Жуковскій не безъ раздраженія укоряетъ его за болтливость, разсказывая исторію перевода: „Любезнѣйшій Николай! прочитавъ твое письмо, я увѣрился, что ты не умѣешь читать по-русски. Въ моемъ письмѣ я именно просилъ тебя, чтобы мое намѣреніе переводить „Валерію" осталось между нами, чтобы никто не зналъ объ немъ, кромѣ тебя и Колосовой. А ты, по щучьему велѣнью да не по моему прошенью, обратившись въ какую-то колокольню, вдругъ разбубенилъ объ немъ и даже прозвучалъ въ услышаніе Медеи [*Жуковскій разумѣетъ артистку К. С. Семенову, у которой „Медея" была одной изъ лучшихъ ролей*]. Признаюсь, это досадно. Вотъ исторія этого перевода. Милорадовичъ просилъ меня найти хорошаго переводчика для Колосовой—я бы и нашелъ кого нибудь, но въ это самое время, когда меня просилъ Милорадовичъ о комедіи, я просилъ его о избавленіи одного бѣдника отъ ссылки, и чтобы дать пѣсу моей просьбѣ, обѣщалъ ему угодить переводомъ. Ему нельзя было исполнить моей просьбы, а я далъ слово и долженъ его сдержать... Я же и теперь ожидаю отъ него другой услуги, не мнѣ личной, но весьма для другого важной. И такъ переводу піесу. Съ завтрашняго дня примусь за нее. Надѣюсь, что поспѣетъ въ недѣлю. Половину въ черне пришлю прежде. Могутъ начать разучивать, ибо надѣюсь, что цензурѣ здѣсь похлебать нечего. Тебя же прошу продолжать быть колоколомъ и разбубенить противное тому, что ты уже собляговолилъ разбубенить,—именно, что перевожу не я, а другой. Скажи только Колосовой тайну, но за тайну. Однимъ словомъ, не хочу выѣзжать въ публику на *Валеріи*"...

Заступя, заступя, рой могилу...
Герой Володьковскій, да знаетъ...
Однажды въ гору, въ крутѣ... и др.

Большинство этихъ, помѣщенныхъ въ дополнительномъ отдѣлѣ, мелкихъ пьесъ, за исключеніемъ лишь нѣкоторыхъ [*Въ альбомъ Анухиной, Къ русскому царю, Къ Саши Арбеневу, Въ альбомъ Инны* и нѣкоторыхъ др.], въ рукописяхъ поэта имѣются или въ черновыхъ наброскахъ или только начаты; помимо того, въ нѣкоторыхъ многія строки трудно разобрать... Въ виду этого, мы не сочли нужнымъ помѣщать эти черновые наброски въ общемъ ряду произведеній нашего поэта. Большинство изъ нихъ напеч. въ „опис." г. Бычкова. Печатаемъ по рукописямъ. Рядъ такихъ, едва начатыхъ или оставшихся лишь въ черновыхъ наброскахъ, стихотвореній Жуковскаго—по рукописямъ И. П. Библіотеки могъ бы быть пополненъ и еще другими, подобными... Стихотворенія размѣщаются нами лишь въ приблизительной хронологической послѣдовательности—и въ томъ порядкѣ, какъ они читаются въ рукописяхъ.

Саша Арбеневъ—сынъ родственницы и сверстницы Жуковскаго, Анд. Наг. Арбеневой.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

1845—1850.

стр.

Отрывки.

I. Христіанская философія.

Истина 3
Вѣра 4
Промыслъ 7
Законъ и грѣхъ 9
Плоть—духъ 10
Таинство причащенія 11

II. Философія.

Наука 15
Вѣра и знаніе 18
Философическій языкъ 19
Идея бытія 21
Свобода . . . . . —
Твердость и упрямство 22
Благотвореніе . . . . . —
Несчастіе 23
Надежда . . . . . —
Случай . . . . . —
Воспоминаніе . . . . . —

III. Воспитаніе.

Что такое воспитаніе? 24

IV. Искусство.

Объ изящномъ искусствѣ . . . 27
Исторія и историческая живопись 28

V. Мысли и замѣтки.

Душа человѣческая и родъ человѣческій. 30
Свобода преподаванія. 31
Цензура . . . . . —
Сила человѣческая. . . . . —
Человѣкъ въ обществѣ 32
Общее благо . . . . . —
Порядокъ общественный . . . . —
Постановленія 33
Любовь къ отечеству . . . . . —
Государь и человѣчество. . . . —
Терпѣливость царя. 34
Дисциплина . . . . . —
Деспотизмъ . . . . . —
Ученіе и дѣйствіе 35
Самодержавіе . . . . . —

1850.

Русская и англійская политика 38
Іосифъ Радовицъ 46
По поводу нападокъ нѣмецкой прессы на Россію 66

ДОПОЛНЕНІЯ. (Изъ неизданныхъ и черновыхъ рукописей поэта).

1800—1802.

Ложный стыдъ. Комедія въ 4 дѣйствіяхъ.
Г. Коцебу. 71

1823.

стр.

Валерія или слѣпая. Комедія въ 3 дѣйствіяхъ. 112

1800—1810.

«Заступъ, заступъ, рой могилу!» . . . 129
«Герой Володьковскій» . . . . . —
Басня. . . . . —
«Назадъ тому съ десятокъ лѣтъ...» . . . —
«Былъ зайчикъ-косолапъ...» 130
Прогна и Филомела . . . . . —
Серторій и Помпей . . . . . —
«Мой другъ, часы летятъ...» 131

1811.

Въ альбомъ 8-лѣтней Н. Д. Апухтиной . —

1806—1814.

Начало поэмы: Вельмира . . . . . —
Русскому царю . . . . . —
Къ Сашѣ Арбеневу . . . . . —

1813—1820.

Въ альбомъ къ Нинѣ 133
«Другъ милой, оставь...» . . . . . —
Къ М. Ѳ. Орлову . . . . . —
Съ того свѣта . . . . . —
«Хотя по-русски я умѣю...» . . . . —

1819—1820.

«Давно ужъ нѣтъ мнѣ вдохновенья...» . 134
«Твой кабинетъ, какъ храмъ!..» . . . —
«Остатки добраго...» . . . . . —
«Спѣша безъ всякаго роптанья...» . . . —
«Согласенъ я: мой миртъ унылъ...» . . —
«И Фебъ и музы извѣстились...» . . . 135
«Оставьте вы свою привычку...» . . . —

1822—1831.

Родригъ . . . . . —
«По милости своей...» . . . . . —
«Звѣзды небесъ...» . . . . . —

1827.

«Былъ у меня товарищъ...» 136

1832—1833.

Царскій сынъ и поселянка . . . . . —
«Прочь отсель, меланхолія...» . . . . —

1841—1843.

«Всесиленъ Богъ!..» . . . . . —
«Помнишь ли, другъ мой...» 137
«Завидую портрету моему» . . . . . —

1845.

Чаша слезъ. . . . . —
«Часто въ прогулкахъ...» . . . . . —

1847.

Проданное имя 138
Примѣчанія. 141

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

В. А. ЖУКОВСКАГО

ВЪ 12-ТИ ТОМАХЪ.

Подъ редакціей, съ біографическимъ очеркомъ
и примѣчаніями

проф. **А. С. Архангельскаго.**

Съ приложеніемъ портрета Жуковскаго, гравированнаго на стали,
и его факсимиле.

XII.

Приложеніе къ журналу „Нива" за 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Артист. завод. А. Ф. МАРКОА, Измайловскій просп., № 29.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ПИСЬМА.

1821.

—

Изъ писемъ къ великой княгинѣ
АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ.

I. Путешествіе по Саксонской Швейцаріи.

Карлсбадъ, 17 іюня 1821.

Пильницъ. Ломенъ. Ottowalde-Grund.

Время было нѣсколько туманно, когда мы [я и мой товарищъ Олсуфьевъ] оставили Дрезденъ; но въ Пильницѣ встрѣтили мы ясную погоду, и во весь этотъ день солнце [несмотря на нѣсколько дождевыхъ эпизодовъ] было къ намъ довольно благосклонно. О Пильницѣ не могу сказать вамъ ничего: окрестности его пріятны, но самъ дворецъ и садъ мало достойны примѣчанія. Напившись кофе въ трактирѣ, мы поѣхали далѣе, въ городокъ Ломенъ, гдѣ оставили свою коляску, и отсюда началось наше пѣшеходство; коляску же отправили мы, дожидаться насъ, въ деревню *Ратевальде*. Въ Ломенѣ есть старинный замокъ: съ высокой его террасы взглянули мы на рѣчку Везеницу, которая течетъ живописными берегами— видъ прекрасный! Передъ глазами часть городка и мельница, которой колеса приводятся въ движеніе быстрымъ водопадомъ. Изъ Ломена пошли мы полемъ, и скоро по крутой тропинкѣ спустились въ Ottowalde-Grund [Grund, я думаю, можно перевести словомъ: дебрь]; это не долина, а узкій, глубокій и длинный прорѣзъ между утесами, дорога, которую въ старыя времена проложила себѣ вода, проточившая камни. Внезапная противоположность той глубины, въ которой мы очутились, съ тою веселою равниною, которую мы покинули, была весьма разительна: вдругъ все дико, мрачно и сурово; идешь узкою тропинкою, между огромныхъ камней, покрытыхъ старымъ мохомъ, и въ ужасномъ безпорядкѣ набросанныхъ на дно долины; по обѣимъ сторонамъ стѣны утесовъ, покрытыя елями и соснами; надъ головою узкая полоса голубаго неба; кое-гдѣ на вершинахъ свѣтъ солнца; внизу же свѣжесть и сумракъ, и нельзя описать того разнообразія, въ какомъ представляются здѣсь утесы: то вдругъ огромная отдѣлившаяся колонна, на которой, вмѣсто капители, мохъ и сосны; то вдругъ цѣлая стѣна, треснувши, наклонилась, и грозится тебя задавить; то вдругъ странныя фигуры камней поражаютъ глаза и воображеніе, и эти странныя фигуры подали поводъ ко многимъ народнымъ баснямъ. Нашъ болтливый проводникъ [котораго на все путешествіе взяли мы въ Ломенѣ] разсказывалъ намъ біографіи нѣкоторыхъ утесовъ: такъ напримѣръ въ Ottowalde-Grund есть глубокая низкая пещера, которая называется Teufelshöhle: въ ней жаритъ свою дичь, и вѣроятно угощаетъ ею дьявола, такъ называемый *дикій охотникъ* [der wilde Jäger], здѣсь извѣстный подъ именемъ *безголоваго Дидриха*; онъ, часто по ночамъ, съ ужаснымъ крикомъ, вихремъ и градомъ, бѣгаетъ по утесамъ и забавляется охотою. Есть мѣсто, которое называется Steinernes Haus: на днѣ долины лежитъ обрушив-

шійся камень, имѣющій фигуры дома. Долина, почти вездѣ весьма узкая, вдругъ такъ стѣсняется, что едва можно пройти двумъ человѣкамъ, и нѣсколько камней, сорвавшись съ высоты, увязли въ ущельѣ и образовали кровлю: это мѣсто называется Ottowalde-Thor. Сквозь эти ворота входишь въ Raingrund, потомъ въ die Hölle, потомъ узкою дорожкою начинаешь подыматься вверхъ: вокругъ тебя все дико по-прежнему; кажется, что находишься въ такомъ мѣстѣ, гдѣ никогда не была нога человѣческая: все въ разрушеніи, все мрачно и сурово; но, взобравшись на высоту, видишь себя вдругъ на лугу: кругомъ кустарникъ и веселая густая роща; тропинка вьется чрезъ рощу, и тутъ сосгдѣ сквозь деревья начинаютъ проскакивать виды на голубую даль съ свѣтлымъ небомъ, и начинаешь подозрѣвать, что величественное зрѣлище близко... Чтобы вполнѣ насладиться неожиданностію, я не далъ воли своему нетерпѣнію; какъ ни манили меня выглядывавшіе изъ-за деревьевъ утесы, я шелъ, уставивъ глаза на свою тропинку и на вялые листья, которыми она была покрыта: наконецъ вдругъ исчезли деревья, и мы очутились на Bastey.

Die Bastey. Какъ жаль, что надобно употреблять слова, буквы, перо и чернила, чтобы описывать прекрасное! Природа, чтобъ плѣнять и удивлять своими картинами, употребляетъ утесы, зелень деревьевъ и луговъ, шумъ водопадовъ и ключей, сіяніе неба, бурю и тишину, а бѣдный человѣкъ, чтобъ выразить впечатлѣніе, производимое ею, долженъ замѣнить ея разнообразные предметы однообразными чернильными каракульками, между которыми, часто бываетъ, гораздо труднѣе добраться до смысла, нежели между утесами и пропастями до прекраснаго вида. Что мнѣ сказать вамъ о несравненномъ видѣ съ Bastey? Какъ изобразить чувство нечаянности, великолѣпіе, неизмѣримость дали, множество горъ, которыя вдругъ открылись глазамъ, какъ голубыя окаменѣвшія волны моря, свѣтъ солнца и небо съ безчисленными облаками, которыя наводили огромныя подвижныя тѣни на горы, поля, воды, деревни и замки, пестрѣвшіе передъ глазами съ удивительною прелестью! Каждый изъ этихъ предметовъ можно назвать *особеннымъ* словомъ; но то впечатлѣніе, которое всѣ они *вмѣстѣ* на душѣ производятъ—для него нѣтъ выраженія; тутъ молчитъ языкъ человѣка, и ясно чувствуешь, что прелесть природы—въ ея невыразимости. Надобно, однако, посвятить нѣсколько чернильныхъ каракулекъ описанію Bastey. Это утесъ во сто саженей перпендикулярной вышины, выдавшійся изъ ряду другихъ утесовъ надъ самою Эльбою, которая у подошвы его извилась дугою; вправо и влѣво такіе же крутые, но не столь высокіе утесы; передъ глазами всѣ горы Саксонской Швейцаріи, или, лучше сказать, огромные камни, со всѣхъ сторонъ обтесанные и неприступные: высокій Lilienstein съ кудрявою вершиною, Königstein съ своими башнями, Pfaffenstein, Pabststein и множество другихъ, влѣвѣ dee grosse Winterberg, на горизонтѣ die Erzgebirge, вправѣ Пирна, вдали Дрезденъ; деревни по берегамъ Эльбы кажутся карточными домиками, а лодки, плывущія на парусахъ по рѣкѣ, свѣтлыми тихо-ползущими мошками.

На утесахъ, торчащихъ влѣво отъ Bastey, стоялъ встарину, какъ увѣряетъ преданіе, разбойничій замокъ; еще видны скважины, означающія мѣсто бывшаго моста; нѣкоторыя щели утесовъ и теперь закладены камнями, а на нѣкоторыхъ скалахъ, по которымъ нынѣче трудно и ползти, остались еще колеи отъ колесъ: этотъ замокъ конечно былъ встарину неприступенъ; но послѣ онъ былъ разрушенъ пушками съ противоположныхъ утесовъ, которые и понынѣ называются шанцами и на которые мы взбирались. Съ нихъ предстаетъ глазамъ совсѣмъ другая картина: точно стоишь на крутой скалѣ, торчащей изъ моря; только вмѣсто волнъ окружаютъ тебя вершины елей и сосенъ, и между ними, какъ острова,

бѣлѣютъ и чернѣютъ другіе утесы, страшно разорванные и разбросанные: случай оживилъ для насъ эту картину, плѣнительную мертвымъ своимъ ужасомъ, и воображенію довольно живо представилось старое время, когда на этихъ крутизнахъ гнѣздились разбойники, *тираны окрестностей* [какъ говоритъ Делиль]. Въ то самое время, какъ мы отъ Bastey спустились по крутизнѣ на дно пропасти, на высотѣ затрубили въ рогъ: эхо проснулось, раздалось по скаламъ и все опять замолчало; опять тотъ же звукъ, тотъ же отзывъ и то же молчаніе; вслѣдъ за рогомъ заиграла арфа и запѣлъ голосъ. Какъ ни глубока была пропасть, но звуки струнъ доходили до слуха; кто игралъ, было невидимо, но окружающая дичь казалась оживленною: мы долго стояли, слушали, наконецъ пошли; скоро звуки замолкли и все опять одичало. Надобно знать, что около Bastey есть нѣсколько досчатыхъ хижинъ: тамъ можно найти обѣдъ и тамъ же всегда встрѣтишь арфистовъ: ихъ-то пѣсня намъ слышалась.

Дорога отъ Bastey въ Шанday. Съ высоты Bastey спустились мы въ Ratewalde-Grund, и ущеліями, подобными первымъ, пошли къ деревнѣ Ратевальде, гдѣ насъ дожидалась наша коляска. Тропинка вилась между такими же камнями, какъ и первые, окружающіе виды были еще живописнѣе, а утесы огромнѣе и величественнѣе: одна громада этихъ утесовъ называется, не знаю почему, die grosse Gans, другая die kleine Gans: одинъ утесъ, das Lamm, въ самомъ дѣлѣ похожъ на ягненка, лежащаго на крутой скалѣ; о другомъ утесѣ, называемомъ die Mönchssteine, разсказываетъ преданіе, что онъ есть памятникъ Божія гнѣва, наказавшаго преступную любовь; онъ есть не иное что, какъ монахъ и монахиня, окаменѣвшіе въ минуту встрѣчи на мѣстѣ назначеннаго свиданія [то же самое разсказываютъ объ одномъ утесѣ близъ Эйзенаха]. На одной высокой скалѣ видишь группу мелкихъ камней; ихъ называютъ Affensteine, ибо они должны изображать обезьянъ въ разныхъ положеніяхъ. Долиною Grünbachthal, по берегу ручья, отъ котораго она получила имя, начали мы снова взбираться на высоту: воды этого ручья въ своемъ теченіи образуютъ два водопада, которые въ началѣ весны или послѣ проливныхъ дождей, должны быть весьма живописны: но мы видѣли одинъ только мелкій, быстрый ручей, который пріятно шумѣлъ и пробирался между камней. Первое паденіе называется Amselloch, потому что камень, съ котораго падаетъ ручей, образуетъ пещеру, довольно глубокую: видишь серебряную струю, перерѣзывающую на-двое темный входъ пещеры; а, вошедши подъ навѣсъ, видишь ту же струю, которая кажется прозрачнымъ кристальнымъ столбомъ; сквозь брызги видна вся бѣгущая внизъ долина, и въ самомъ концѣ задвигаютъ ее, дымящеюся отъ паровъ громадою, огромныя скалы Affensteine. Довольно уставъ отъ своего путешествія, пришли мы, наконецъ, въ деревню Ратевальде, сѣли въ коляску и поѣхали въ Шандау черезъ Ziegenrück, съ котораго имѣли прелестный видъ на окрестность при заходящемъ солнцѣ. Шандау извѣстенъ своими минеральными водами и ваннами; мы остановились за городомъ, въ трактирѣ, гдѣ находятся и ванны. Его положеніе живописно; но намъ уже было не до живописныхъ положеній: усталость и ея родный братъ голодъ насъ мучили; отъ голода избавились мы вкуснымъ ужиномъ, а усталость прогналъ услужливый сонъ.

Kuhstall. Мы не дали себѣ воли нѣжиться, встали рано и, позавтракавъ, пустились въ путь. Нѣсколько времени—пока было можно, и чтобы не тратить напрасно силъ—ѣхали мы берегомъ источника Кирнича въ коляскѣ; наконецъ дорога наша оборотилась въ тропинку; мы пошли пѣшкомъ и начали взбираться по крутизнѣ Kuhstall. Достигнувъ съ трудомъ до высоты, пришли мы дорожкою, обсаженною стриженными елями, ко входу пещеры или, лучше сказать, къ огром-

нымъ воротамъ, сдѣланнымъ самою природою посреди утесовъ; эти ворота называются Kuhstall, потому что въ 30-тилѣтнюю войну жители окружныхъ мѣстъ прятали подъ нихъ сводомъ отъ хищничества шведовъ свою скотину; и они такъ огромны, что подъ ними могло скрываться довольно большое стадо. Въ наши времена этотъ пріютъ несчастія сдѣлался однимъ предметомъ беззаботнаго любопытства, и память минувшихъ ужасовъ только оживляетъ то удовольствіе, которое производитъ чудесный видъ пещеры и пропастей, ее окружающихъ. Сводъ ея и стѣны кажутся мозаикою: такъ испещрены они именами путешественниковъ, которые вездѣ хотятъ оставить вѣчный слѣдъ своего минутнаго пребыванія. И намъ захотѣлось отвѣдать вѣчности: Олсуфьевъ взгромоздился на лѣстницу, и пока я занимался временнымъ, то есть, утолялъ свой голодъ жаренымъ картофелемъ, начертилъ для будущихъ временъ свое и мое имя, на такомъ мѣстѣ, далѣе котораго ничья смѣлая рука не достанетъ. Въ пещерѣ есть все для этого нужное; кисти и чернила. Въ стѣнахъ ея въ одномъ мѣстѣ выдолблена кухня, въ другомъ погребъ: во все лѣто живутъ здѣсь люди, которые угощаютъ путешественниковъ обѣдомъ и кофе; нашлись также и арфисты. На утесахъ, образующихъ Kuhstall, много предметовъ, достойныхъ любопытства; нѣкоторые напоминаютъ ужасную 30-тилѣтнюю войну; напримѣръ, маленькая пещера называется Wochenbett; въ ней, по преданію, скрывалась отъ шведовъ беременная женщина, родила своего младенца и провела первые дни родовъ въ безопасности; одинъ нависшій надъ пропастью камень, съ котораго страшно смотрѣть въ глубину, называется die Kanzel: съ него проповѣдывалъ какой-то священникъ, сброшенный послѣ въ пропасть, и мѣсто, съ котораго его столкнули, наименовано Pfaffensprung. Здѣсь встарину скрывались и разбойники; ихъ замокъ, стоявшій на вершинѣ, надъ самымъ Kuhstall, назывался Wildenstein; взобраться къ нему можно только сквозь темную, узкую трещину, въ самой срединѣ утеса находящуюся, куда едва можетъ протѣсниться одинъ человѣкъ; мы кое-какъ пролѣзли и, съ высоты, гдѣ пѣтъ уже и признаковъ замка, любовались ужасомъ окрестностей. Все это мѣсто окружено лабиринтомъ пещеръ, въ которыхъ было легко и скрываться и защищаться, и въ одной изъ нихъ, называемой Schneiderloch [по имени разбойника Шнейдера, который долгое время въ ней прятался], одинъ человѣкъ могъ оборониться отъ цѣлой арміи: къ ней надобно карабкаться по узкимъ камнямъ, висящимъ надъ бездною, согнувшись въ дугу, потому что и надъ головою висятъ такіе же камни; въ самой же пещерѣ нельзя стоять: такъ она низка; но видъ изъ нея удивительный: все вокругъ тебя, передъ тобою, надъ тобою и подъ тобою въ развалинахъ, здѣсь царство разрушенія, одно только эхо здѣсь существуетъ—минутный, быстро-исчезающій житель, только разительнѣе напоминающій о ничтожествѣ. Нашъ проводникъ началъ кричать, и эхо по нѣсколько разъ повторяло его крики, и молчаніе, которое всякій разъ смѣняло голосъ, было еще разительнѣе послѣ мгновеннаго звука. Осмотрѣвъ всѣ эти предметы [ихъ можно теперь видѣть безъ всякой опасности, ибо вездѣ для проходящихъ подѣланы перилы], мы опять сошли въ Kuhstall и, провожаемые арфою, начали спускаться въ глубину долины, чрезъ которую надобно было пройти, дабы потомъ подняться на Klein-Winterberg. На днѣ долины мы остановились и увидѣли надъ головою Kuhstall, который снизу показался намъ едва замѣтною трещиною; мы увидѣли нѣсколько мужчинъ и дамъ, пришедшихъ по слѣдамъ нашимъ въ пещеру, и въ трубу могли различить, что они вальсировали подъ арфу, которой звуки намъ явственно слышались; изъ пропасти закричали мы имъ *браво* и полѣзли на Klein-Winterberg.

Klein-Winterberg. Фортуна, до сихъ

поръ къ намъ благосклонная, покинула насъ у подошвы этой горы: небо задернулось облаками, и начался дождь, сначала мелкій, потомъ довольно сильный: мы промокли до костей. Одно утѣшеніе намъ осталось: проводникъ увѣрялъ насъ, что на высотѣ горы найдемъ мы защиту. Хотя мы и шли все лѣсомъ, но это нисколько не спасало отъ дождя, напротивъ его удвоивало; вѣтеръ шаталъ деревья, и капли, сыпавшіяся съ листьевъ, составляли крупный древесный дождь, который ни мало не уступалъ небесному. Но вотъ мы на вершинѣ, и дождикъ пересталъ. Спѣшу къ обѣщанному убѣжищу—что же? Это каменная бесѣдка, со всѣхъ сторонъ открытая, въ которой бушевалъ сильный, холодный вѣтеръ. На первую минуту чувство обманутой надежды было весьма непріятно: но часто живѣйшія удовольствія находишь тамъ, гдѣ ихъ не ожидаешь. Новое чудесное зрѣлище поразило насъ: облака разорвались огромными массами и страшно летали надъ нашими головами; голубое небо выглядывало и исчезало; на всѣхъ пунктахъ горизонта появлялись тучи, однѣ уходящія, другія идущія; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онѣ были совершенно черныя, и подъ ними чернѣли далекія горы, которыя врѣзывались въ нихъ своими вершинами; въ другихъ мѣстахъ тучи сливались дождемъ съ горизонтомъ, и казалось, что тамъ былъ промежутокъ пустоты: какъ будто что-то разрушилось, и одинъ только столбъ пыли остался. Ближніе предметы были еще чудеснѣе. Лѣсистыя горы, долины, деревья, утесы—все смѣшалось въ одинъ хаосъ; дождикъ пересталъ, и со всѣхъ сторонъ начали подыматься пары: тамъ вилась ужасная бѣлая змѣя въ клубящемся облакѣ дыма; тамъ множество легкихъ облаковъ летало, какъ стая привидѣній; тамъ вершина горы была перерѣзана туманною полосою; тамъ цѣлая гора синѣлась на воздухѣ, и подъ нею волновались облака; тамъ, вдоль глубокой долины, тянулась и подымалась длинная полоса паровъ, похожая на дымъ отъ обширнаго пожара въ лѣсу, или на необъятную, разбросанную, сѣдую гриву какого-нибудь чудовища, которую раздувалъ сильный вѣтеръ—словомъ, зрѣлище было неописанное; я забылъ холодъ и мокроту, и не могъ наглядѣться на этотъ величественный хаосъ. А арфа какъ тутъ. Вошедши въ бесѣдку, мы и не примѣтили, что въ углу ея притаился старый богемецъ съ маленькою дочерью; увидѣвъ путешественниковъ, онъ принялся исполнять свою должность, заигралъ и запѣлъ, а малютка начала ему вторить. И что же они запѣли? *Прощаніе Бонапарте съ Франціею* [я списалъ эту пѣсню; она, кажется, стала народною: я слышалъ ее и на Bastey и послѣ на Schlossberg, подлѣ Тёплица]. Признаюсь, такая неожиданная гармонія, посреди туманнаго волненія между утесовъ, поразила меня. Пѣніе было неискусное, но въ соединеніи дрожащаго голоса старика со звонкимъ и еще не созрѣвшимъ голосомъ младенца было что-то трогательное; а содержаніе пѣсни разительно согласовалось съ тѣмъ мѣстомъ, на которомъ она намъ слышалась: вокругъ насъ все было пустынно и дико; утесы стояли неподвижно, и между ними легкимъ дымомъ, ничтожными призраками летали остатки минувшей бури: по неволѣ видѣлось тутъ бурное, разлетѣвшееся величіе Наполеона. И что-то было прискорбно-поражающее въ этомъ имени, недавно грозномъ, которое [безъ всякаго о немъ понятія] старикъ и младенецъ повторяли въ глухой дичи, чтобъ получить нѣсколько крейцеровъ отъ проходящаго. На наше счастіе вблизи бесѣдки, построенной для удовольствія путешественниковъ, нашлась лачужка, въ которой развели мы огонь, обсушились и даже напились кофе. Пока мы грѣлись и морщились отъ дыму, нашъ проводникъ разсказывалъ намъ сказки. Черезъ полчаса мы опять отправились въ путь; но на вершинѣ большаго Winterberg, съ котораго въ ясную погоду можно видѣть, какъ въ панорамѣ, всѣ горы Саксоніи и часть горъ богемскихъ, не видали мы

ничего: опять начался мелкій дождь, и все слилось въ однообразный непроницаемый туманъ.

Prebisch-Thor. Вздохнувъ о потерѣ удовольствія и не надѣясь переждать ненастья, которое, казалось, совсѣмъ овладѣло небомъ, пошли мы далѣе; но дождикъ вдругъ пересталъ, мы ободрились и наконецъ, миновавъ утесы, называемые die Schäfersteine, и переступивъ за границу Богеміи, очутились на высотѣ утеса, называемаго Prebisch-Thor. Съ этой крутизны имѣли мы почти такой же видъ, какъ и съ Klein-Winterberg; но впечатлѣніе, которое онъ сдѣлалъ надъ нами, было точно похоже на радость: прояснившееся небо прояснило и душу. Воспоминаніе о Prebisch-Thor есть самое пріятное изъ всѣхъ, оставшихся мнѣ отъ Саксонской Швейцаріи. Prebisch-Thor есть такая же сквозная пещера, какъ и Kuhstall, только несравненно уже и выше; сперва всходишь на верхъ того камня, который образуетъ ея сводъ, потомъ уже спускаешься подъ самый сводъ; но какъ описать это чудесное мѣсто? Вообразите узкую скалу, длиною въ десять или пятнадцать саженъ, а шириною не болѣе четырехъ аршинъ, положенную на два другихъ стоячихъ утеса; на этой узкой каменной полосѣ стоишь, будучи окруженъ спереди, справа и слѣва пропастями во сто саженъ глубиною, изъ которыхъ, какъ страшилища, высовываются другіе голые утесы; за ними зеленѣются съ трехъ сторонъ долины; позади нихъ подымаются лѣсистыя невысокія горы, между которыми также видишь дно извивающихся долинъ, а за этими близкими и зеленѣющими горами стоятъ, какъ привидѣнія, далекія, синія, и надъ всѣмъ этимъ неописаннымъ разнообразіемъ горъ и долинъ вообразите тотъ же чудесный туманъ, волнующійся, летающій, но гораздо болѣе прозрачный, такъ, что по временамъ можно было различить все, что таилось подъ его воздушными волнами; но иногда вдругъ онъ совершенно сгущался, и въ эти минуты казалось, что стоишь на краю свѣта, что земля кончилась, и что за шагъ отъ тебя уже нѣтъ ничего, кромѣ бездны неба. Рядомъ съ Prebisch-Thor находится другая скала, отдѣленная отъ первой пропастью, гораздо выше, уже и круче: она называется Prebisch-Wand. Мы лазили на нее, чтобъ взглянуть на Prebisch-Thor; съ боку—видъ несравненный: не понимаешь, для кого созданы природою, въ пустынѣ, эти таинственныя ворота и куда ведутъ они; кругомъ нихъ бездны, сквозь нихъ отверстіе виденъ одинъ волнующійся туманъ и что-то, какъ будто изъ другаго свѣта, мелькаетъ сквозь этотъ полупрозрачный сумракъ, и на высотѣ утеса, образующаго ихъ сводъ, на голомъ гранитѣ, растетъ одинокая ель: корни ея совсѣмъ обнажены; не знаешь, откуда берутъ они свою пищу; но она зелена, свѣжа, и буря ея не трогаютъ. У самой Prebisch-Wand стоитъ, какъ будто ея сторожъ, ужасная, уединенная скала Prebisch-Kegel: это гранитный столбъ, со всѣхъ сторонъ неприступный; никто, кромѣ развѣ орла, не бывалъ на его вершинѣ, и эта неприкосновенность придавала ему какое-то величіе.

Возвращеніе въ Шандау. Солнце выглянуло изъ тучъ, когда мы отъ Prebisch-Thor спустились во глубину долины по лѣсистой горѣ, называемой die heiligen Hallen, и которая, какъ необъятный разрушенный амфитеатръ, съ безчисленными ступенями подымалась позади насъ; утесы образовали стѣны, своды, ложи и галереи: надобно было идти по крутому ихъ скату почти цѣлую версту, чтобы добраться до дна долины. Все потемнѣло, когда мы спустились въ Bielgrund и по берегу быстраго ручья пошли въ Hirnischkietschen—пограничное мѣстечко, гдѣ находится австрійская таможня. Здѣсь кончается Саксонія и начинается Богемія. Въ Hirnischkietschen дожидалась насъ лодка, и мы поѣхали Эльбою на Шандау. Несмотря на вечернюю сырость, наше плаваніе было пріятно. Между утесами, которые, какъ стѣна, подымаются на пра-

вомъ берегу рѣки, одинъ достоинъ примѣчанія по своей фигурѣ; его называютъ die Königsnase: въ самомъ дѣлѣ видишь профиль огромной головы, смотрящей на воды изъ-за скалы, и эта голова съ движеніемъ лодки безпрестанно перемѣняетъ и физіогномію и положеніе; наконецъ она ложится и пропадаетъ; нѣсколько елей, выросшихъ на высотѣ, кажутся букетомъ, пришпиленнымъ ко груди каменнаго великана. Была почти ночь, когда мы возвратились въ Шандау.

Lilienstein. Brand. Hohestein. Не стану подробно описывать вамъ остальнаго нашего путешествія: ничто не будетъ ново въ описаніи, хотя видѣнные нами предметы имѣютъ, каждый, много особеннаго. Мы взбирались, въ жаръ, по песку на крутой Lilienstein, съ котораго видишь вблизи Königsstein и необъятную гористую окрестность; на краю горизонта можно различить, какъ свѣтлую точку, Нолендорфскую часовню. У подошвы Лиліенштейна, въ 1813 году, расположились укрѣпленнымъ лагеремъ остатки французской арміи, почти уничтоженной въ Россіи—и теперь еще видны баттареи. Это, какъ замѣтилъ мой товарищъ, было предсказаніемъ того, что случилось послѣ: Наполеонова армія нашла защиту подъ кампемъ Лиліи, въ виду роковой Нолендорфской часовни. Съ Лиліенштейна, чрезъ поля и свѣжую долину Tiefegrund, достигли мы, около вечера, до утеса, называемаго der Brand: онъ очень сходенъ съ Basley, и видъ съ него если не обширнѣе, то привлекательнѣе: передъ самыми глазами, въ глубинѣ зеленая долина, вдоль которой, по излучинамъ ручья, вьется дорога; къ ней примыкаетъ другая долина, также свѣжая и зеленая; за ними густая темная роща, за которою въ двухъ мѣстахъ блистаетъ Эльба и синѣются тѣ же горы, которыя видны съ Basley; вечернее солнце удивительно украшало и разнообразило эту картину. Прежде, нежели оно закатилось, успѣли мы придти въ городокъ Hohestein и осмотрѣть находящійся въ немъ старинный замокъ: можно сказать, что онъ виситъ надъ пропастію, и что скала, его держащая, всякую минуту готова съ нимъ обрушиться. Часть этой пропасти, въ которую со страхомъ глядишь съ террасы замка, обращенной нынѣ въ цвѣтникъ, называется Bärengarten. Въ ней когда-то, за высокими стѣнами, живали медвѣди, которыхъ ловили въ окружныхъ лѣсахъ; изъ оконъ замка можно было любоваться ихъ дикою домашнею жизнію. Въ замкѣ показываютъ остатки старинныхъ тюремъ. Одна изъ нихъ, темная и низкая, называлась die Marterkammer, и была опредѣлена для пытки: нынѣче хранится въ ней одинъ картофель; въ другой полуразвалившейся содержался преступникъ Клеттенбергъ [за дѣланіе фальшивой монеты]; этотъ несчастный вздумалъ было спастись, и изъ соломы, служившей ему постелью, свилъ веревку, спустился по ней изъ окна, но веревка была слишкомъ коротка; онъ прянулъ и переломилъ ногу; его поймали и казнили; а предательницу веревку и теперь показываютъ путешественникамъ. Въ Hohestein кончилось наше странствіе. Здѣсь дожидалась насъ коляска наша, пріѣхавшая сюда изъ Шандау. Было гораздо за полночь, когда мы возвратились въ Дрезденъ.

Карлсбадъ.
17 іюня 1821 г.

II. Рафаэлева Мадонна.

(ИЗЪ ПИСЬМА О ДРЕЗДЕНСКОЙ ГАЛЕРЕѢ).

Я смотрѣлъ на нее нѣсколько разъ; но видѣлъ ее только однажды такъ, какъ мнѣ было надобно. Въ первое мое посѣщеніе я даже не захотѣлъ подойти къ ней: я увидѣлъ ее издали, увидѣлъ, что предъ нею торчала какая-то фигурка, съ пудренною головою, что эта проклятая фигурка еще держала въ своей дерзкой рукѣ кисть и безпощадно ругалась надъ великою душою Рафаэля, которая вся въ этомъ чудесномъ твореніи. Въ другой разъ испугалъ меня чичероне галереи [который за червонецъ показываетъ путешественникамъ картины, и къ которому я

не разсудилъ прибѣгнуть]: онъ стоялъ предъ нею съ своими слушателями и, какъ попугай, болталъ вытверженный наизусть вздоръ. Наконецъ однажды, только было я расположился дать волю глазамъ и душѣ, подошла ко мнѣ одна моя знакомка и принялась мнѣ нашептывать на ухо, что она передъ Мадонною видѣла Наполеона, и что ея дочери похожи на Рафаэлевыхъ ангеловъ. Я рѣшился придти въ галерею, какъ можно ранѣе, чтобы предупредить всѣхъ посѣтителей. Это удалось. Я сѣлъ на софу противъ картины и просидѣлъ цѣлый часъ, смотря на нее. Надобно признаться, что здѣсь поступаютъ съ нею такъ же непочтительно, какъ и со всѣми другими картинами. Во-первыхъ она, не знаю, для какой готтентотской причины, уменьшена: верхняя часть полотна, на которомъ она написана, и съ нею верхняя часть занавѣса, изображеннаго на картинѣ, загнуты назадъ; слѣдовательно и пропорція и самое дѣйствіе цѣлаго теперь уничтожены и не отвѣчаютъ намѣренію живописца. Второе, она вся въ пятнахъ, не вычищена, худо поставлена, такъ что сначала можешь подумать, что копіи, съ нея сдѣланныя, чистыя и блестящія, лучше самаго оригинала. Наконецъ [что не менѣе досадно] она, такъ сказать, теряется между другими картинами, которыя, окружая ее, развлекаютъ вниманіе: напримѣръ, рядомъ съ нею стоитъ портретъ сатирическаго поэта Аретина, Тиціановъ, прекрасный — но какое сосѣдство для Мадонны! И такова сила той души, которая дышитъ и вѣчно будетъ дышать въ этомъ божественномъ созданіи, что все окружающее пропадаетъ, какъ скоро посмотришь на нее со вниманіемъ. Сказываютъ, что Рафаэль, натянувъ полотно свое для этой картины, долго не зналъ, что на немъ будетъ: вдохновеніе не приходило. Однажды онъ заснулъ съ мыслію о Мадоннѣ, и вѣрно какой нибудь ангелъ разбудилъ его. Онъ вскочилъ: *она здѣсь*, закричалъ онъ, указавъ на полотно, и начертилъ первой рисунокъ. И въ самомъ дѣлѣ, это не картина, а видѣніе: чѣмъ долѣе глядишь, тѣмъ живѣе увѣряешься, что передъ тобою что-то несестественное происходитъ [особливо, если смотришь такъ, что ни рамы, ни другихъ картинъ не видишь]. И это не обманъ воображенія: оно не обольщено здѣсь ни живостію красокъ, ни блескомъ наружнымъ. Здѣсь душа живописца, безъ всякихъ хитростей искусства, но съ удивительною простотою и легкостію, передала холстинѣ то чудо, которое во внутренности ея совершилось. Я описываю ее вамъ, какъ совершенно для васъ незнакомую. Вы не имѣете о ней никакого понятія, видѣвши ее только въ спискахъ, или въ Миллеровомъ эстампѣ. Не видавъ оригинала, я хотѣлъ купить себѣ въ Дрезденѣ этотъ эстампъ; но, увидѣвъ, не захотѣлъ и посмотрѣть на него: онъ, можно сказать, оскорбляетъ святыню воспоминанія. Часъ, который провелъ я передъ этою Мадонною, принадлежитъ къ счастливымъ часамъ жизни, если счастіемъ должно почитать наслажденіе самимъ собою. Я былъ одинъ; вокругъ меня все было тихо; сперва съ нѣкоторымъ усиліемъ вошелъ въ самого себя; потомъ ясно началъ чувствовать, что душа распространяется; какое-то трогательное чувство величія въ нее входило; неизобразимое было для нея изображено, и она была тамъ, гдѣ только въ лучшія минуты жизни быть можетъ. *Геній чистой красоты* былъ съ нею:

Онъ лишь въ чистыя мгновенья
Бытія слетаетъ къ намъ,
И приноситъ откровенья,
Благодатныя сердцамъ.
Чтобъ о небѣ сердце знало
Въ темной области земной,
Намъ туда сквозь покрывало
Онъ даетъ взглянуть порой;
А когда насъ покидаетъ,
Въ даръ любви, у насъ въ виду,
Въ нашемъ небѣ зажигаетъ
Онъ прощальную звѣзду.

Не понимаю, какъ могла ограниченная живопись произвести необъятное; предъ глазами полотно, на немъ лица, обведенныя чертами, и все стѣснено въ маломъ

пространствѣ, и, несмотря на то, все необъятно, все неограничено! И точно приходитъ на мысль, что эта картина родилась въ минуту чуда: занавѣсъ раздернулся, и тайна неба открылась глазамъ человѣка. Все происходитъ на небѣ: оно кажется пустымъ и какъ будто туманнымъ, но это не пустота и не туманъ, а какой-то тихій, неестественный свѣтъ, полный ангелами, которыхъ присутствіе болѣе чувствуешь, нежели замѣчаешь: можно сказать, что все, и самый воздухъ, обращается въ чистаго ангела въ присутствіи этой небесной, мимоидущей Дѣвы. И Рафаэль прекрасно подписалъ свое имя на картинѣ: внизу ея, съ границы земли, одинъ изъ двухъ ангеловъ устремилъ задумчивые глаза къ высоту; важная, глубокая мысль царствуетъ на младенческомъ лицѣ: не таковъ ли былъ и Рафаэль въ то время, когда онъ думалъ о своей Мадоннѣ? Будь младенцемъ, будь ангеломъ на землѣ, чтобы имѣть доступъ къ тайнѣ небесной. И какъ мало средствъ нужно было живописцу, чтобы произвести нѣчто такое, чего нельзя истощить мыслію! Онъ писалъ не для глазъ, все обнимающихъ во мгновеніе и на мгновеніе, но для души, которая, чѣмъ болѣе ищетъ, тѣмъ болѣе находитъ. Въ Богоматери, идущей по небесамъ, не примѣтно никакого движенія; но чѣмъ болѣе смотришь на нее, тѣмъ болѣе кажется, что она приближается. На лицѣ ея ничто не выражено, то есть, на немъ нѣтъ выраженія *понятнаго,* имѣющаго *опредѣленное имя;* но въ немъ находишь, въ какомъ-то таинственномъ соединеніи, все: спокойствіе, чистоту, величіе и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земнаго, слѣдовательно мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. Въ глазахъ ея нѣтъ блистанія [блестящій взоръ человѣка всегда есть признакъ чего-то необыкновеннаго, случайнаго; а для нея уже нѣтъ случая — все совершилось]; но въ нихъ есть какая-то глубокая, чудесная темнота; въ нихъ есть какой-то взоръ, никуда особенно не устремленный, но какъ будто видящій необъятное. Она не поддерживаетъ Младенца: но руки ея смиренно и свободно служатъ ему престоломъ: и въ самомъ дѣлѣ, эта Богоматерь есть не иное что, какъ одушевленный престолъ Божій, чувствующій величіе сидящаго. И Онъ, какъ Царь земли и неба, сидитъ на этомъ престолѣ. И въ его глазахъ есть тотъ же никуда не устремленный взоръ; но эти глаза блистаютъ, какъ молніи, блистаютъ тѣмъ вѣчнымъ блескомъ, котораго ничто ни произвести, ни измѣнить не можетъ. Одна рука Младенца съ могуществомъ Вседержителя оперлась на колѣно, другая какъ будто готова подняться и простереться надъ небомъ и землею. Тѣ, передъ которыми совершается это видѣніе, св. Сикстъ и мученица Варвара, стоятъ также на небесахъ: на землѣ этого не увидишь. Старикъ не въ восторгѣ: онъ полонъ обожанія мирнаго и счастливаго, какъ святость; святая Варвара очаровательна своею красотою: великость того явленія, котораго она свидѣтель, дала и ея стану какое-то разительное величіе: но красота лица ея человѣческая, именно потому, что на немъ уже есть выраженіе *понятное:* она въ глубокомъ *размышленіи;* она глядитъ на одного изъ ангеловъ, съ которымъ какъ будто дѣлится таинствомъ мысли. И въ этомъ нахожу я главную красоту Рафаэля картины [если слово *картина* здѣсь у мѣста]. Когда бы живописецъ представилъ обыкновеннаго человѣка зрителемъ того, что на картинѣ его видятъ одни ангелы и святые: онъ или далъ бы лицу его выраженіе изумленнаго восторга [ибо восторгъ есть чувство здѣшнее: оно на минуту, быстро и неожиданно отрываетъ насъ отъ земнаго], или представилъ бы его падшаго на землю съ признаніемъ своего безсилія и ничтожества. Но состояніе души, уже покинувшей землю и достойной неба, есть глубокое, постоянное чувство, возвышенное и просвѣщенное мыслію, постигнувшею тайны неба, безмолвное, неизмѣняе-

мое счастіе, которое все заключается въ двухъ словахъ: *чувствую и знаю!* И эта-то блаженствующая мысль царствуетъ на всѣхъ лицахъ Рафаэлевой картины [кромѣ, разумѣется, лица Спасителева и Мадонны]: всѣ въ размышленіи, и святые и ангелы. Рафаэль какъ будто хотѣлъ изобразить для глазъ верховное назначеніе души человѣческой. Одинъ только предметъ напоминаетъ въ картинѣ его о землѣ: это Сикстова тіара, покинутая на границѣ здѣшняго свѣта. — Вотъ то, что думалъ я въ тѣ счастливыя минуты, которыя провелъ передъ Мадонною Рафаэля. Какую душу надлежало имѣть, чтобы произвести подобное! Бѣдный Миллеръ! Онъ умеръ, сказывали мнѣ, въ домѣ сумасшедшихъ. Удивительно ли? Онъ сравнилъ свое подражаніе съ оригиналомъ, и мысль, что онъ не понялъ великаго, что онъ его обезобразилъ, что оно для него недостижимо, убила его. И въ самомъ дѣлѣ надобно быть или безразсуднымъ, или просто механическимъ маляромъ безъ души, чтобы осмѣлиться списывать эту Мадонну: одинъ разъ душѣ человѣческой было подобное откровеніе; дважды случиться оно не можетъ.

29 іюня 1821 г.

III. Отрывки изъ письма о Швейцаріи.

.... Я пріѣхалъ ночью въ Мерсбургъ, маленькій городъ на берегу Констанцскаго озера. На другой день, переждавъ жаркое время, въ три часа пополудни, пошелъ я на берегъ; свой Stuhlwagen отправилъ на перевозномъ суднѣ прямо въ Констанцъ, а самъ въ маленькой лодкѣ поплылъ на островъ Мейнау, находящійся въ сѣверномъ заливѣ озера. Время было ясно-тихое, но зной еще не миновался; скоро повѣялъ попутный вѣтръ; гребцы положили весла и подняли парусъ. Лодка плыла безъ движенія, и я, сидя подъ тѣнію паруса, видѣлъ передъ собою великолѣпное зрѣлище: у меня передъ глазами была, какъ будто въ сокращеніи, вся Швейцарія; я видѣлъ вдругъ три кантона ея: Тургау, Аппенцель и Санктъ-Галленъ; на берегахъ, которые отвсюду полугорою сходили къ равнинѣ озера, было разсыпано безчисленное множество селъ, замковъ, домовъ, рощъ, пажитей и садовъ; берега кантона Тургау, прелестные своимъ изобиліемъ, были плоски; надъ Аппенцелемъ и Санктъ-Галленомъ подымались Альпы; но прелестнѣйшую картину представляло самое озеро: нельзя изобразить словами тѣхъ безчисленныхъ оттѣнковъ, въ которыхъ является его поверхность, измѣняющаяся при всякомъ колыханіи, при всякомъ вѣтеркѣ, при всякомъ налетающемъ на солнце облакѣ; когда озеро спокойно, видишь жидкую тихо-трепещущую бирюзу, кое-гдѣ фіолетовыя полосы, а на самомъ отдаленіи яркой, свѣтло-зеленой отливъ; когда воды наморщатся, то глубина этихъ морщинъ кажется изумрудно-зеленою, а по ребрамъ ихъ голубая пѣна, съ яркими искрами и звѣздами; когда же облако закроетъ солнце, то воды, смотря по цвѣту облака, или блѣднѣютъ, или синѣютъ, или кажутся дымными. Плаванье мое продолжалось часъ съ четвертью. Мейнау есть маленькій островокъ, покрытый виноградникомъ, огородами; нѣкогда принадлежалъ онъ Мальтійскому Ордену, а теперь въ замкѣ Командора живетъ старая вдова съ прекрасною дочерью, и эта пустынная красавица показывала мнѣ пустынныя горницы замка; въ немъ однѣ голыя стѣны, но видъ съ балкона несравненный: я просидѣлъ на немъ около часа; потомъ взялъ проводника и пошелъ пѣшкомъ въ Констанцъ. Мейнау соединенъ съ берегомъ узкимъ мостикомъ, сдѣланнымъ для однихъ пѣшеходовъ; дорога отъ него до Констанца довольно пріятна: я шелъ по бо́льшей части лѣсомъ, который часто раскрывался, и тогда по сторонамъ представлялись глазамъ моимъ поля и пажити, освѣщенныя заходящимъ солнцемъ. Констанцъ городъ некрасивый и неоживленный: я осмотрѣлъ въ немъ нѣкоторыя зданія, достойныя примѣчанія. Дряхлая деревянная палата, въ которой

были засѣданія Констанцскаго собора, обезславившаго себя убійствомъ Гусса, есть не иное что, какъ сарай въ 80 шаговъ длины и въ 40 ширины; онъ служитъ теперь магазиномъ для складки товаровъ во время ярмарки. Въ одномъ углу этой палаты, на небольшомъ возвышеніи, стоятъ два стула, на которыхъ во время собраній сидѣли императоръ и папа, оба весьма скромные, но императорскій выше папскаго, и *рядомъ* съ ними [въ доказательство, сколь правосудно время] лежитъ кузовъ той повозки, въ которой несчастный Гуссъ отвезенъ былъ на мѣсто казни: посѣтитель смотритъ на него съ большимъ чувствомъ и уваженіемъ..... Доминиканскій монастырь, въ которомъ былъ взятъ и заключенъ въ темницу Гуссъ, огромное готическое зданіе, есть не иное что, какъ огромная развалина; кельи монаховъ обращены въ ситцевую фабрику; болѣе всего сохранилась Гуссова тюрьма: маленькій чуланъ со сводомъ, въ три шага длины и ширины; но церковь вся въ разрушеніи; кое-гдѣ на стѣнахъ видны остатки живописи; кровля упала; три ряда высокихъ столбовъ ничего не поддерживаютъ; но одно разрушенное окно служитъ рамою прекраснаго ландшафта: въ немъ расцвѣла молодая береза; легкій вѣтеръ, едва нарушая тишину развалинъ, колебалъ ея вѣтвями, и сквозь ихъ подвижную рѣшетку видно было озеро и отдаленные свѣтлые берега его. Вечеръ этого дня провелъ я на колокольнѣ каѳедральной церкви и видѣлъ удивительную картину заходящаго солнца.

.... Изъ Констанца чрезъ Фрауэнфельдъ и Винтертуръ поѣхалъ я въ Цюрихъ, гдѣ пробылъ нѣсколько дней. Отсюда по настоящему начинается мое швейцарское путешествіе. Докторъ Эбель, съ которымъ я познакомился, оракулъ всѣхъ посѣщающихъ Швейцарію, далъ мнѣ нѣсколько нужныхъ совѣтовъ, и я, нанявши проводника и оставивъ весь свой багажъ въ Цюрихѣ, пустился въ путь 3 августа н. ст. рано поутру. Завернувъ на высоту Альбиса [съ которой обширный видъ на Цюрихское и Цугское озеро], доѣхалъ я съ фурманомъ до Цуга; здѣсь сѣлъ въ лодку и прелестнымъ озеромъ Цугскимъ переплылъ въ Артъ, откуда, вооружившись длинною альпійскою палкою, полѣзъ по крутому всходу на высоту Риги. Это путешествіе продолжалось болѣе трехъ часовъ, весьма утомительныхъ. На высотѣ я засталъ захожденіе солнца, и хотя облака покрывали небо, но зрѣлище, которое видѣлъ я, было великолѣпно. Я ночевалъ въ трактирѣ на Rigi-Staffel и на другой день всходилъ на самую вершину горы [Rigi-Kulm], чтобъ видѣть первую минуту солнечнаго восхожденія. Обѣ картины были такъ плѣнительны, что, покидая вершину Риги, я обѣщался опять навѣстить ее на возвратномъ пути своемъ. Я спустился внизъ тою же дорогой, по которой взошелъ, потомъ поворотилъ вправо, и мимо ужасныхъ развалинъ горы, задавившей, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, прелестную деревню Goldau, пошелъ къ деревенькѣ Ловерцъ, полуразрушенной тѣмъ же паденіемъ, переплылъ маленькое Ловерцское озеро, посреди котораго уединенно цвѣтетъ зеленый островокъ Schwanau, и къ вечеру очутился въ Швицѣ, въ очаровательной долинѣ, полной жизни, изобилія и отвсюду окруженной великолѣпными горами. Слѣдующій день былъ одинъ изъ самыхъ утомительныхъ дней моего пѣшеходства. Я всталъ вмѣстѣ съ солнцемъ, но утро было душно. Дурными, вымощенными крупнымъ камнемъ дорожками пошелъ я чрезъ Steinen [мѣсто рожденія Штауффахера; тамъ, гдѣ стоялъ его домъ, построена теперь часовня] къ Моргартену, гдѣ была одержана первая побѣда свободы швейцарской. И на этомъ мѣстѣ также стоитъ часовня. Отсюда чрезъ Sattel, Rothenthurm въ Einsiedeln. Зной былъ несносный; дорога по камнямъ убійственна для ногъ: пришедъ въ Эйнзидельнъ, я почти ничего не могъ порядочно осмотрѣть отъ разслабленія; отдыхать было некогда; на-

добно было засвѣтло воротиться въ Швицъ, ибо возвратный путь шелъ чрезъ крутую гору Haggen. Признаюсь, Эйнзидельнъ не имѣлъ для меня ничего привлекательнаго: положеніе монастыря не живописно; я видѣлъ богатую церковь, толпу богомольцевъ и процессію монаховъ — но усталость и боль въ ногахъ мѣшали моему вниманію. Конецъ этого дня вознаградилъ за непріятное начало его: возвратный путь чрезъ зеленую долину Alpthal, всходъ на Haggen и потомъ спускъ по крутизнѣ при блескѣ начинающейся грозы въ долину Швица — останутся навсегда въ моей памяти. Гроза только украсила для меня почную картину горъ, которыя чудесно являлись и исчезали при быстромъ блистаніи молній: она началась, во всей своей силѣ, не прежде, какъ по возвращеніи моемъ въ трактиръ. Я думалъ, что на другой день ноги откажутся мнѣ служить, но проснулся свѣжъ и здоровъ, и, напившись кофе, пошелъ въ Бруннень; тамъ сѣлъ въ лодку и поплылъ въ Grütli, восхищаясь дикимъ величіемъ горъ, окружающихъ озеро *Четырехъ Кантоновъ*, самое живописное изъ всѣхъ озеръ швейцарскихъ. Grütli есть маленькая, покрытая зеленымъ дерномъ площадка, до которой въ десять минутъ можно достигнуть. На ней нѣтъ памятника; но свобода Швейцаріи еще существуетъ. Это мѣсто удивительно трогаетъ своею тихою прелестію посреди грозныхъ, кругомъ воздымающихся утесовъ. Я не могъ долго на немъ остаться: гребцы предвидѣли грозу, и надобно было спѣшить, чтобы предупредить южный вѣтеръ [Föhn], который обыкновенно здѣсь начинается полудни и бываетъ часто опасенъ въ этой части озера, окруженнаго крутыми берегами, къ которымъ нигдѣ пристать невозможно. Мы поплыли къ Теллевой часовнѣ [Tellsplatte], а оттуда къ деревнѣ Flüelen. Гроза началась, когда я пришелъ въ Альторфъ, и кончилась къ концу моего обѣда, послѣ котораго я ходилъ въ Бюрглень, мѣсто рожденія Телля. Тамъ нашелъ я живописца Триппера, который не великій артистъ, но былъ для меня привлекателенъ тѣмъ, что могъ разсказывать, какъ очевидецъ, о Суворовѣ, котораго встрѣтилъ въ этомъ мѣстѣ. Изъ оконъ башни, обросшей плющомъ, въ которой живетъ Триппереръ, взглянулъ я на вершину Кинцигкульма, доступную только горнымъ пастухамъ, чрезъ которую нашъ Аннибалъ перевелъ свое войско, томимое голодомъ, но не побѣжденное. Der Alte war doch lustig [сказалъ мнѣ Триппереръ]; er pfiff, und sang, und lachte, und sprang wie ein Kind. Мѣсто, гдѣ жилъ Вильгельмъ Телль, означено часовнею. Этотъ обычай строить, вмѣсто великолѣпныхъ памятниковъ, скромные алтари благодарности Богу на мѣстахъ славы отечественной, трогаетъ и возвышаетъ душу. Но такого рода памятники особенно приличны Швейцаріи; въ пустыняхъ Египта можно дивиться пирамидамъ и обелискамъ — что бы они были у подошвы Альповъ? За то на вершинѣ Риги стоитъ простой деревянный крестъ, и маленькая часовня Телля таится между огромными утесами: но они *не исчезаютъ* посреди этихъ громадъ, ибо говорятъ не о бѣдномъ могуществѣ человѣка, здѣсь столь ничтожномъ, но о величіи души человѣческой, о вѣрѣ, которая возноситъ ее туда, куда не могутъ достигнуть горы своими вершинами.

. . . . Въ два дни моего путешествія чрезъ Сенъ-Готаръ видѣлъ я природу во всѣхъ ея измѣненіяхъ. Близъ Альторфа всѣ горы зелены, но это печальная, однообразная зелень елей и сосенъ, между которыми въ разныхъ мѣстахъ блистаетъ свѣтлая зелень горныхъ пажитей; Рейса еще спокойна. У Амстега все становится мрачнѣе: горы круче, если рѣже, скалы виднѣе; дорога вьется надъ пропастями, въ которыхъ Рейса, то видимая, то невидимая, шумитъ, образуя безпрестанные каскады; когда я шелъ, небо было туманно; вершины горъ, исчезая въ темныхъ облакахъ, казались безконечными;

но изрѣдка проглядывало солнце и на минуту зажигало быстрыя волны и пѣну Рейсы. Чѣмъ далѣе впередъ, тѣмъ разительнѣе дикость: наконецъ у Gestinen исчезаетъ растеніе: видишь одни утесы, покрытые изрѣдка мохомъ и травою, видишь, какъ время разрушаетъ ихъ мало по малу зноемъ, холодомъ, дождемъ, морозомъ и бурями; камни, безпрестанно отваливающіеся, лежатъ повсюду живописными грудами, и эта долина камней становится, наконецъ, столь узкою, что одна только Рейса, падающая шумнымъ каскадомъ, занимаетъ ея дно; поперекъ долины, надъ самымъ каскадомъ изгибается *Чортовъ Мостъ:* къ нему съ одной стороны ведетъ узкая дорожка, до половины выдолбленная въ утесахъ, до половины поддерживаемая каменными сводами; съ другой стороны почти такая же узкая дорожка, подымаясь вкругъ, упирается въ скалу, которую пробила насквозь промышленность человѣческая: глазамъ представляется темное отверстіе, какъ будто ведущее въ глубокую бездну; но что же?.. Мое счастье и здѣсь меня не покинуло: солнце выглянуло изъ тучъ и ударило на прелестный Андерматтъ въ самую ту минуту, какъ я выходилъ изъ-подъ Урнерскаго свода. Ничто не можетъ быть очаровательнѣе этой противоположности: вдругъ послѣ густаго мрака пещеры, видишь свѣтлую, окруженную зелеными холмами долину, и въ глубинѣ ея веселая деревня. Зрѣніе обмануто, думаешь, что передъ тобою низкіе дерновые пригорки; но эти пригорки не иное что, какъ вершины высокихъ горъ, окружающія скрытую межъ ними долину и близкія къ снѣжной вершинѣ Сенъ-Готара. Я ночевалъ въ Андерматтѣ, который, чрезъ минуту послѣ моего прихода, исчезъ въ туманѣ: пошелъ дождь, смѣшанный съ снѣгомъ, но къ утру все миновалось; осталась одна клубящаяся мгла надъ высотами, и, окруженный ею, взошелъ я на вершину Сенъ-Готарской дороги: неописанное зрѣлище природы, которой здѣсь нѣтъ имени; здѣсь она ни съ чѣмъ знакомымъ не сходствуетъ; кажется, что стоишь на такомъ мѣстѣ, гдѣ кончится земля и начинается небо; предъ тобою равнина, выхощенная огромными, голыми плитами гранита; кругомъ низкіе холмы, но уже не зеленые, ибо здѣсь и трава исчезаетъ, а снѣжные или просто нагіе, растрескнутые утесы; съ одной стороны маленькое, свѣтлое озеро, не болѣе дождевой лужи, изъ него тихо бѣжитъ ручей; съ другой стороны также озеро и такой же тихій ручей: это Тессинъ и Рейса; здѣсь они навсегда разлучаются; отсюда бѣгутъ одинъ на югъ, другая на сѣверъ, и въ быстромъ теченіи разрываютъ гранитныя горы. И съ этого мѣста начинаешь быстро спускаться къ Айроло, имѣя вправѣ шумный Тессинъ, который скоро является во всемъ своемъ могуществѣ, и наконецъ, близъ самаго Айроло образуетъ каскадъ, удивительно живописный. На самой вершинѣ уже увидѣлъ я споръ свѣтлаго юга съ угрюмымъ сѣверомъ: со стороны Италіи проглядывало голубое небо, со стороны Рейсы клубились туманныя облака; и небо сдѣлалось ярко-лазурнымъ, когда я, спустившись въ Айроло, вдругъ очутился посреди роскошной италіянской природы. Уже близъ Айроло ели и сосны становятся рѣже; ихъ мѣсто занимаютъ буки, орѣховыя деревья, потомъ каштаны и, наконецъ, предъ глазами очаровательная Левантинская долина, посреди которой шумитъ Тессинъ въ тѣни зеленыхъ ольхъ, оживленная селами, церквами, замками, уже имѣющими характеръ италіянскій. Я недолго отдыхалъ въ Айроло, ибо надобно было засвѣтло дойти до Aldazzio grande, чтобъ видѣть чудесный мостъ чрезъ Тессинъ и ночевать потомъ въ Faido. Этотъ вечеръ принадлежитъ къ прелестнѣйшимъ въ жизни. Какое разнообразіе въ зрѣлищахъ! Какое удивительное захожденіе солнца! По настоящему солнце, посреди высокихъ горъ, не восходитъ и не заходитъ *для глазъ.* Оно еще высоко на небѣ, а для тебя уже его нѣтъ; но чудесно освѣщенные бока долинъ, по

утесы, которые медленно угасаютъ, долго еще говорятъ о невидимомъ. Я шелъ долиною Левантинскою; солнце уже было за горами; но Сенъ-Готаръ весь въ огнѣ стоялъ надъ Айроло и свѣтилъ въ долину, и съ одной стороны на половинѣ горъ, сливающихся въ одну стѣну, лѣса пылали; этотъ розовый пламень мало по малу подымался, черная тѣнь бѣжала за нимъ изъ долины, наконецъ осталась одна свѣтлая полоса, подобная огненной гривѣ на хребтѣ горномъ, и та скоро исчезла, и звѣзды Италіи загорѣлись... въ какомъ прозрачномъ небѣ! съ какою непзъяснимою ясностію!

.... Оставивъ Миланъ поутру рано, я былъ уже въ четыре часа пополудни въ Sesto Calende на берегу Lago Maggiore; время было [несравненное, и я поплылъ къ островамъ Борромейскимъ, остановился у Ароны, чтобы взглянуть на колоссальную статую Карла Борромея; потомъ при захожденіи солнца вышелъ на берегъ у Бельджирато, дабы дождаться луны и при свѣтѣ ея пуститься къ Isola Bella. Этотъ вечеръ былъ волшебный.

.... Отъ Domo d'Ossola начинается горная Симплонская дорога, дивный памятникъ Наполеона; но на этой дорогѣ я видѣлъ нѣчто, еще болѣе разительное, нежели сама она. Я видѣлъ лежащую на ней мраморную колонну, вытесанную изъ одного камня: эта колонна была приготовлена для тріумфальныхъ воротъ Наполеоновыхъ, полу-воздвигнутыхъ въ Миланѣ, и къ которымъ должна была примыкать дорога Симплонская. Но эта колонна лежитъ неподвижно на чудесной дорогѣ Наполеоновой, а чудесная дорога Наполеонова примыкаетъ къ развалинамъ: весь жребій Наполеона въ одномъ мраморномъ обломкѣ.

.... Я былъ въ замкѣ Фернеѣ, который нынѣче принадлежитъ гражданину Budet. Въ немъ сохранены въ прежнемъ состояніи только гостиная и спальня Вольтеровы; въ спальнѣ стоитъ кровать съ полу-истлѣвшимъ занавѣсомъ, на стѣнахъ живописные портреты Фридриха II, M-me du Chatelet, тканый портретъ Екатерины и нѣсколько гравированныхъ; на печи стоитъ деревянная, довольно дурная урна, въ ней нѣкогда хранилось сердце Вольтера. Теперь осталась одна надпись: Son esprit est partout, et son cœur est ici, но и та до половины уничтожена; отъ начала пропало *son*, а отъ конца *ici*, и вышла галиматья; въ гостиной, гдѣ на старинной печи стоитъ Вольтеровъ бюстъ, есть нѣсколько весьма дурныхъ картинъ, между которыми одна, изображающая Вольтеровъ апотеозъ, замѣтна своимъ уродствомъ: Вольтера встрѣчаетъ, кажется, Минерва, а враговъ его Фрерона и прочихъ сѣкутъ змѣями мстительные геніи. Аллея, по которой прохаживался фернейскій пустынникъ, и липовый лѣсокъ, имъ насажденный, сохранены въ цѣлости; надпись, сдѣланная имъ надъ входомъ построенной имъ церкви [*Вольтеръ Богу*], уничтожена философами революціи. Почти всѣ домы, въ Фернеѣ нынѣ существующіе, построены самимъ Вольтеромъ. Остальное время моего пребыванія въ Женевѣ посвятилъ я обозрѣнію города и Бонстеттену, у котораго былъ два раза: живой, свѣжій, веселый старикъ, съ которымъ время прошло непримѣтно; онъ много разсказывалъ о г-жѣ Сталь, І. Миллерѣ, Песталоцци и лордѣ Байронѣ, который долго жилъ въ Женевѣ нелюдимомъ. Изъ Женевы, чрезъ Лозанну, гдѣ пробылъ три дня, поѣхалъ я въ Веве, гдѣ хотѣлъ отдохнуть на просторѣ, написать письма и насладиться окрестностями Женевскаго озера; но все не удалось: дождикъ, замѣтивъ, что я сижу подъ кровлею, пошелъ ливмя, а письма помѣшало мнѣ писать мрачное расположеніе духа, котораго я не захотѣлъ передать бумагѣ. Изъ окрестностей Веве я видѣлъ, однако, Кларанъ, куда ходилъ пѣшкомъ, наканунѣ моего отъѣзда изъ Веве, и эта прогулка была прекрасна. Можно сказать, что небо было со мною въ заговорѣ: вся-

кій разъ, когда я покидалъ свой пріютъ, оно становилось яснымъ, или покрывалось живописными облаками, отъ которыхъ зрѣлище природы становилось еще великолѣпнѣе. Моимъ товарищемъ до Кларана былъ старый крестьянинъ изъ Montreux, съ которымъ я сошелся на дорогѣ. Probablement [спросилъ онъ меня] vous allez à Clarens à cause de M-r le baron d'Étange et de sa fille? Je vous montrerai la place où était autrefois leur maison.— «Est-ce que vous avez lu cette histoire?»— Oui, c'est joli comme un roman, quoique tout soit parfaitement vrai.. И онъ простодушно началъ мнѣ описывать мѣсто, гдѣ жила Жанъ-Жакова Юлія, съ полною увѣренностію, что Новая Элоиза не выдумка. Въ тотъ день, въ который я оставилъ Веве, успѣлъ я съѣздить на лодкѣ въ замокъ Шильонъ: я плылъ туда, читая the Prisonner of Chillon, и это чтеніе очаровало для воображенія моего тюрьму Бонниварову, которую Байронъ весьма вѣрно описалъ въ своей несравненной поэмѣ.

Дорога отъ Веве до Фрейбурга чрезвычайно гориста, и легко можно слетѣть въ глубокую пропасть съ повозкою и лошадьми. Я не могъ порядочно осмотрѣть Фрейбурга, видѣлъ только каѳедральную церковь, самую высокую въ Швейцаріи, и Муртенскую липу, посаженную въ день побѣды надъ Карломъ Смѣлымъ; глаза мои, разболѣвшіеся отъ зноя, помѣшали мнѣ бродить по улицамъ, но свѣжесть вечера возвратила имъ здоровье, и я могъ вполнѣ насладиться окрестностями Берна, въ которой пріѣхалъ довольно поздно. Бернская природа соединяетъ въ себѣ съ удивительною обработанностію [вездѣ чувствительно изобиліе и довольство] всѣ простыя прелести сельскія и все великолѣпіе альпійское. Ни въ одномъ изъ кантоновъ, мною видѣнныхъ, не находилъ я такихъ живописныхъ домовъ, какъ въ Бернскомъ: ихъ архитектура совершенно сельская и весьма оригинальная. Чистота внѣшняя и внутренняя плѣняютъ глаза и удовлетворяютъ чувству. Въ Швейцаріи понялъ я, что поэтическія описанія блаженной сельской жизни имѣютъ смыслъ прозаически справедливый. Въ этихъ хижинахъ обитаетъ независимость, огражденная отеческимъ правительствомъ; тамъ живутъ не для того единственно, чтобы тяжкимъ трудомъ поддерживать физическое бытіе свое; но имѣютъ и счастіе, правда, простое, неразнообразное, но все счастіе, то есть, свободное наслажденіе самимъ собою. Въ Бернѣ пробылъ я недолго: спѣшилъ воспользоваться временемъ, которое было прекрасное, хотя знойное. Я успѣлъ только осмотрѣть музеумъ и провести цѣлый день въ Гофвилѣ у Фелленберга.

.... Окрестности Луцерна, можетъ быть, самыя живописныя въ Швейцаріи. Нельзя изобразить того великолѣпія, которое представляетъ хаосъ горъ, окружающихъ озеро Четырехъ Кантоновъ и видимыхъ съ Луцернскаго моста, особливо при захожденіи солнца, когда горы снѣжныя сіяютъ и мало по малу гаснутъ. — Въ Луцернѣ есть теперь памятникъ, которому нѣтъ подобнаго въ огромности: въ высокой скалѣ высѣчена пещера и въ глубинѣ ея на щитѣ, означенномъ лиліями, умирающій левъ. Этотъ левъ ростомъ своимъ отвѣчаетъ огромному пьедесталу: передъ скалою прудъ, въ которомъ отражается вся эта громада. Торвальдсенъ сдѣлалъ рисунокъ льва, а скульпторъ есть нѣкто Ahorn изъ Констанца. Памятникъ воздвигнутъ въ честь швейцарцамъ, погибшимъ въ Парижѣ 10 августа 1792 года.

Я сдержалъ обѣщаніе, данное мною Риги, и изъ Луцерна поплылъ въ Weggis, откуда ведетъ весьма покойная и обильная прекрасными видами дорога на высоту горы, и въ этотъ разъ имѣлъ я нѣсколько незабвенныхъ минутъ: видѣлъ всю бездну горъ, освѣщенныхъ вечернимъ и утреннимъ солнцемъ. Я возвратился тою же дорогою, и изъ Вегтиса поплылъ въ Кюснахтъ, чтобъ видѣть die hohle Gasse, гдѣ Вильгельмъ Телль за-

стрѣлилъ Геслера: потомъ чрезъ Цугское озеро въ Цугъ, гдѣ наслаждался въѣздомъ папскаго нунція, принятаго съ пушечными выстрѣлами и съ колѣнопреклоненіемъ. Берегомъ Цюриха дошелъ я только до деревни Wädenswyl, откуда хотѣлъ переплыть въ Rapperswyl, чтобы потомъ богатыми деревнями, лежащими на противномъ берегу озера, идти въ Цюрихъ пѣшкомъ; но дождикъ, соединенный съ сильнымъ противнымъ вѣтромъ, помѣшалъ мнѣ исполнить этотъ планъ. Это было во второй разъ во все мое путешествіе. Но, потерявъ съ одной стороны, я выигралъ съ другой. Я поплылъ изъ Wädenswyl прямо въ Цюрихъ: сильный вѣтеръ и дождикъ меня преслѣдовали, но я видѣлъ удивительную картину волнующагося озера; было что-то величественное, разительно напоминающее о Провидѣніи, въ этой легкой лодкѣ, которая, несмотря на брызжущія кругомъ волны, все плыла своею дорогою, въ этихъ облакахъ, которыя сзади налетали съ дождемъ, но сквозь которыя впередъ проглядывало небо, и въ этомъ сильномъ вѣтрѣ, который своею бурею только быстрѣе мчалъ къ пристани. И не вдали отъ этой пристани все утихло; солнце удивительно украсило и берега, и горы, и воду, и близкій, какъ будто выходящій изъ озера, Цюрихъ. Очутившись опять на томъ мѣстѣ, съ котораго за полтора мѣсяца началось мое путешествіе, столь богатое разнообразными ощущеніями, я подумалъ, что совсѣмъ не покидалъ его. Я видѣлъ прекрасный сонъ; но воспоминаніе бережетъ прошедшее. Изъ Цюриха поѣхалъ я черезъ Эглизау въ Шафгаузенъ, чтобы взглянуть на Рейнскій водопадъ. Онъ поразилъ меня, но не плѣнилъ, какъ нѣкоторые другіе швейцарскіе водопады, гораздо болѣе живописные. Если смотрѣть на него, какъ на водопадъ, если видѣть всю полную картину паденія, то онъ не имѣетъ ничего особенно разительнаго. *Спереди* онъ не иное что, какъ невысокій водяной уступъ, пѣнящій и пѣнный, посреди котораго черпѣется нѣсколько утесовъ, изрытыхъ силою воды; *сверху* видишь всю рѣку, тихо идущую къ тому уступу, съ котораго она падаетъ, и сила паденія почти непримѣтна: плѣняешься блескомъ солнца на водѣ и радугою на пѣнномъ туманѣ. Но разительное, неописанное зрѣлище представляется глазамъ, когда смотришь на паденіе вблизи, съ галереи, построенной на берегу у самаго водопада: тутъ уже нѣтъ водопада, нѣтъ картины; стоишь въ хаосѣ пѣны, грома и волнъ, не имѣющихъ никакого образа; и это зрѣлище безъ солнца еще величественнѣе, нежели при солнцѣ: лучи, освѣщая волны, даютъ имъ нѣкоторую видимую, знакомую форму; но безъ лучей все теряетъ образъ; мимо тебя летаютъ съ громомъ, свистомъ и ревомъ какіе-то необъятные призраки, которые бросаются впередъ, клубятся, вьются, подымаются облакомъ дыма, взлетаютъ сноповъ шипящихъ водяныхъ ракетъ, одинъ другому переѣкаютъ дорогу и, встрѣчаясь, разшибаются въ дребезги; словомъ, картина неописанная. На галереѣ можно стоять безъ малѣйшей опасности; но волны такъ безпорядочны, что иногда совсѣмъ неожиданно бываешь облитъ съ головы до ногъ. Здѣсь Рейнскій водопадъ достоинъ своей славы. Посреди самаго паденія стоитъ нѣсколько утесовъ: современемъ они исчезнутъ. Одинъ изъ нихъ такъ истертъ водами, что ему не прожить и вѣка. На вершинѣ самаго высокаго стоитъ деревянная фигура; она была выкрашена; но краску смыло водою; осталась одна надпись: Deus mea spes [Богъ моя надежда]. Мысль прекрасная! Въ маленькомъ замкѣ Wörth можно видѣть весь водопадъ въ камеръ-обскурѣ: на бумагѣ представляется все паденіе, вода волнуется, солнце свѣтитъ и исчезаетъ, вѣтеръ разноситъ брызги, и страшный не вдали шумъ довершаетъ очарованіе. — Въ Шафгаузѣ я простился съ Швейцаріей.

Штутгардъ,
2 (14) октября 1821.

1830. 1832. 1837.

ПИСЬМА КЪ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ.

I.

30 марта 1830.

Вчера я имѣлъ разговоръ съ государынею императрицею на счетъ того, что было мнѣ сказано Карломъ Карловичемъ отъ имени вашего императорскаго величества; но то, что я имѣлъ несчастіе услышать отъ самой государыни, такъ неожиданно и болѣзненно сразило меня, такъ обременило мнѣ душу, что я по тѣхъ поръ не буду свободно дышать, пока не объяснюсь съ вашимъ величествомъ. Будьте милостивы, государь, избавьте меня отъ этого душевнаго паралича; позвольте увидѣться съ вами на свободѣ и высказать передъ вами все мое сердце, на коемъ нѣтъ вины ни передъ кѣмъ, а еще менѣе передъ вами.

Но я не знаю, скоро ли буду имѣть счастіе васъ увидѣть. Ждать же не могу: состояніе мое слишкомъ для меня несносно. Я долженъ объясниться письменно. Меня обвиняютъ передъ вашимъ величествомъ въ томъ, что я вмѣшиваюсь въ дѣла литераторовъ. Противъ такого обвиненія не могу принести никакого оправданія, ибо не знаю, на чемъ оно основано. Проживъ сорокъ лѣтъ безъ пятна и изъ этихъ сорока лѣтъ посвятивъ двѣнадцать исключительно семейству вашего величества, въ которомъ мой нравственный характеръ могъ сдѣлаться коротко извѣстенъ, я имѣлъ право надѣяться, что никакой доносъ не можетъ мнѣ быть вреденъ, что я по крайней мѣрѣ стою того, чтобы помедлили дѣлать на счетъ мой дурныя заключенія. И теперь, въ мои лѣта, я долженъ себя оправдывать противъ обвиненія мнѣ неизвѣстнаго. Въ защиту свою могу представить только всю прошедшую жизнь мою.

До 1817 года, съ котораго началъ я находиться при особѣ государыни императрицы, я жилъ уединенно въ кругу семейства и писалъ. То, что я писалъ, смѣю сказать, говоритъ ясно о моемъ характерѣ нравственномъ. Этотъ характеръ не былъ униженъ никакимъ недостойнымъ поступкомъ; ссылаюсь на всѣхъ, кто знаетъ меня лично, и на публику, которая съ этой стороны отдала мнѣ справедливость. Во все время моего авторства, я ни съ кѣмъ не имѣлъ литературныхъ ссоръ и написалъ только двѣ критики, когда самъ издавалъ журналъ, и эти критики были не бранныя, а просто забавныя; не отвѣчалъ ни на одну писанную противъ меня критику, не заводилъ партій, ибо писалъ не для ничтожнаго, купленнаго интригами успѣха, а просто по влеченію сердца, которое искренно выражалось въ моихъ сочиненіяхъ; не искалъ похвалы, ибо презираю всякую выпрошенную происками похвалу. Лучшіе люди были моими друзьями и остались моими друзьями; заслужить ихъ одобреніе было моею наградою, и я пріобрѣлъ его. Какъ писатель, я былъ ученикомъ Карамзина; тѣ, кои начали писать послѣ меня, называли себя моими учениками, и между ними Пушкинъ, по таланту и искусству, превзошелъ своего учителя. Смотря на страницы, мною написанныя, скажу смѣло, что мною были пущены въ ходъ и высокія мысли, и чистыя чувства, и любовь къ вѣрѣ, и любовь къ отечеству. Съ этой стороны имѣю право на одобреніе моихъ современниковъ. Стихи мои останутся вѣрнымъ памятникомъ и моей жизни, и, смѣю прибавить, славнѣйшихъ дней Александрова времени. Я жилъ какъ писалъ: оставался чистъ и мыслями, и дѣлами.

Съ 1817-го года начинается другая половина жизни моей, совершенно отличная отъ первой. Я былъ приближенъ къ особѣ государыни императрицы. Смѣю сказать, что я пріобрѣлъ довѣренность ея величества: это мой лучшій аттестатъ. Въ это время я продолжалъ еще писать. Но съ той минуты, въ которую возложена была на меня учебная часть воспитанія великаго князя, авторство мое

стрѣлилъ Геслера: потомъ чрезъ Цугское озеро въ Цугъ, гдѣ наслаждался въѣздомъ папскаго нунція, принятаго съ пушечными выстрѣлами и съ колѣнопреклоненіемъ. Берегомъ Цюриха дошелъ я только до деревни Wädenswyl, откуда хотѣлъ переплыть въ Rapperswyl, чтобы потомъ богатыми деревнями, лежащими на противномъ берегу озера, идти въ Цюрихъ пѣшкомъ; но дождикъ, соединенный съ сильнымъ противнымъ вѣтромъ, помѣшалъ мнѣ исполнить этотъ планъ. Это было во второй разъ во все мое путешествіе. Но, потерявъ съ одной стороны, я выигралъ съ другой. Я поплылъ изъ Wädenswyl прямо въ Цюрихъ: сильный вѣтеръ и дождикъ меня преслѣдовали, но я видѣлъ удивительную картину волнующагося озера; было что-то величественное, разительно напоминающее о Провидѣніи, въ этой легкой лодкѣ, которая, несмотря на брызжущія кругомъ волны, все плыла своею дорогою, въ этихъ облакахъ, которыя сзади налетали съ дождемъ, но сквозь которыя изрѣдка проглядывало небо, и въ этомъ сильномъ вѣтрѣ, который своею бурею только быстрѣе мчалъ къ пристани. И не вдали отъ этой пристани все утихло; солнце удивительно украсило и берега, и горы, и воду, и близкій, какъ будто выходящій изъ озера, Цюрихъ. Очутившись опять на томъ мѣстѣ, съ котораго за полтора мѣсяца начался мое путешествіе, столь богатое разнообразными ощущеніями, я подумалъ, что совсѣмъ не покидалъ его. Я видѣлъ прекрасный сонъ; но воспоминаніе бережетъ прошедшее. Изъ Цюриха поѣхалъ я черезъ Эглизау въ Шафгаузенъ, чтобы взглянуть на Рейнскій водопадъ. Онъ поразилъ меня, но не плѣнилъ, какъ нѣкоторые другіе швейцарскіе водопады, гораздо болѣе живописные. Если смотрѣть на него, какъ на водопадъ, если видѣть всю полную картину паденія, то онъ не имѣетъ ничего особенно разительнаго. *Спереди* онъ не иное что, какъ невысокій водяной уступъ, пѣнящій и пѣнный, посреди котораго черпѣется нѣсколько утесовъ, изрытыхъ силою воды; *сверху* видишь всю рѣку, тихо идущую къ тому уступу, съ котораго она падаетъ, и сила паденія почти непримѣтна: плѣняешься блескомъ солнца на водѣ и радугою на пѣнномъ туманѣ. Но разительное, неописанное зрѣлище представляется глазамъ, когда смотришь на паденіе вблизи, съ галереи, построенной на берегу у самаго водопада: тутъ уже нѣтъ водопада, нѣтъ картины; стоишь въ хаосѣ пѣны, грома и волнъ, не имѣющихъ никакого образа; и это зрѣлище безъ солнца еще величественнѣе, нежели при солнцѣ: лучи, освѣщая волны, даютъ имъ нѣкоторую видимую, знакомую форму; но безъ лучей все теряетъ образъ; мимо тебя летаютъ съ громомъ, свистомъ и ревомъ какіе-то необъятные призраки, которые бросаются впередъ, клубятся, вьются, подымаются облакомъ дыма, вылетаютъ снопомъ шипящихъ водяныхъ ракетъ, одинъ другому переѣкаютъ дорогу и, встрѣчаясь, расшибаются въ дребезги; словомъ, картина неописанная. На галереѣ можно стоять безъ малѣйшей опасности; но волны такъ безпорядочны, что иногда совсѣмъ неожиданно бываешь облитъ съ головы до ногъ. Здѣсь Рейнскій водопадъ достоинъ своей славы. Посреди самаго паденія стоитъ нѣсколько утесовъ: современемъ они исчезнутъ. Одинъ изъ нихъ такъ истертъ водами, что ему не прожить и вѣка. На вершинѣ самаго высокаго стоитъ деревянная фигура; она была выкрашена; но краску смыло водою; осталась одна надпись: Deus mea spes [Богъ моя надежда]. Мысль прекрасная! Въ маленькомъ замкѣ Wörth можно видѣть весь водопадъ въ камеръ-обскурѣ: на бумагѣ представляется все паденіе, вода волнуется, солнце свѣтитъ и исчезаетъ, вѣтеръ разноситъ брызги, и страшный не вдали шумъ довершаетъ очарованіе. — Въ Шафгаузѣ я простился съ Швейцаріей.

Штуттгардъ,
2 (14) октября 1821.

1830. 1832. 1837.

ПИСЬМА КЪ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ.

I.

30 марта 1830.

Вчера я имѣлъ разговоръ съ государынею императрицею на счетъ того, что было мнѣ сказано Карломъ Карловичемъ отъ имени вашего императорскаго величества; но то, что я имѣлъ несчастіе услышать отъ самой государыни, такъ неожиданно и болѣзненно сразило меня, такъ обременило мнѣ душу, что я по тѣхъ поръ не буду свободно дышать, пока не объяснюсь съ вашимъ величествомъ. Будьте милостивы, государь, избавьте меня отъ этого душевнаго паралича; позвольте увидѣться съ вами на свободѣ и высказать передъ вами все мое сердце, на коемъ нѣтъ вины ни передъ кѣмъ, а еще менѣе передъ вами.

Но я не знаю, скоро ли буду имѣть счастіе васъ увидѣть. Ждать же не могу: состояніе мое слишкомъ для меня несносно. Я долженъ объясниться письменно. Меня обвиняютъ передъ вашимъ величествомъ въ томъ, что я вмѣшиваюсь въ дѣла литераторовъ. Противъ такого обвиненія не могу принести никакого оправданія, ибо не знаю, на чемъ оно основано. Проживъ сорокъ лѣтъ безъ пятна и изъ этихъ сорока лѣтъ посвятивъ двѣнадцать исключительно семейству вашего величества, въ которомъ мой нравственный характеръ могъ сдѣлаться коротко извѣстенъ, я имѣлъ право надѣяться, что никакой доносъ не можетъ мнѣ быть вреденъ, что я по крайней мѣрѣ стою того, чтобы помедлили дѣлать на счетъ мой дурныя заключенія. И теперь, въ мои лѣта, я долженъ себя оправдывать противъ обвиненія мнѣ непзвѣстнаго. Въ защиту свою могу представить только всю прошедшую жизнь мою.

До 1817 года, съ котораго началъ я находиться при особѣ государыни императрицы, я жилъ уединенно въ кругу семейства и писалъ. То, что я писалъ, смѣю сказать, говоритъ ясно о моемъ характерѣ нравственномъ. Этотъ характеръ не былъ униженъ никакимъ недостойнымъ поступкомъ; ссылаюсь на всѣхъ, кто знаетъ меня лично, и на публику, которая съ этой стороны отдала мнѣ справедливость. Во все время моего авторства, я ни съ кѣмъ не имѣлъ литературныхъ ссоръ и написалъ только двѣ критики, когда самъ издавалъ журналъ, и эти критики были не бранныя, а просто забавныя; не отвѣчалъ ни на одну писанную противъ меня критику, не заводилъ партій, ибо писалъ не для ничтожнаго, купленнаго интригами успѣха, а просто по влеченію сердца, которое искренно выражалось въ моихъ сочиненіяхъ; не искалъ похвалы, ибо презираю всякую выпрошенную происками похвалу. Лучшіе люди были моими друзьями и остались моими друзьями; заслужить ихъ одобреніе было моею наградою, и я пріобрѣлъ его. Какъ писатель, я былъ ученикомъ Карамзина; тѣ, кои начали писать послѣ меня, называли себя моими учениками, и между ними Пушкинъ, по таланту и искусству, превзошелъ своего учителя. Смотря на страницы, мною написанныя, скажу смѣло, что мною были пущены въ ходъ и высокія мысли, и чистыя чувства, и любовь къ вѣрѣ, и любовь къ отечеству. Съ этой стороны имѣю право на одобреніе моихъ современниковъ. Стихи мои останутся вѣрнымъ памятникомъ и моей жизни, и, смѣю прибавить, славнѣйшихъ дней Александрова времени. Я жилъ какъ писалъ: остался чистъ и мыслями, и дѣлами.

Съ 1817-го года начинается другая половина жизни моей, совершенно отличная отъ первой. Я былъ приближенъ къ особѣ государыни императрицы. Смѣю сказать, что я пріобрѣлъ довѣренность ея величества: это мой лучшій аттестатъ. Въ это время я продолжалъ еще писать. Но съ той минуты, въ которую возложена была на меня учебная часть воспитанія великаго князя, авторство мое

кончилось, и я сошелъ со сцены. Я перешелъ на другую, возвышенную и, положивъ руку на сердце, могу сказать, что понимаю святость моего назначенія. Всѣ мои мысли свелись на одинъ предметъ: я не способенъ соединить съ нимъ ничего недостойнаго! Теперь ли пойду марать себя въ общество презрѣнныхъ людей, которыхъ я чуждался и тогда, когда занимался однимъ авторствомъ? Теперь пишу для одного великаго князя. Тѣ же чувства, которыя наполняли душу мою, когда я просто работалъ для чистой славы писателя, наполняютъ ее и теперь, но только для высшей цѣли. Теперь живу не для себя. Я простился съ свѣтомъ; онъ весь въ учебной комнатѣ великаго князя, гдѣ я исполняю свое дѣло, и въ моемъ кабинетѣ, гдѣ я къ нему готовлюсь; въ обществѣ никто меня не видитъ. Кто посмотритъ на мои работы, тотъ согласится, что я не могу имѣть и времени заниматься ничѣмъ посторонпимъ. Каждый изъ учителей великаго князя имѣетъ опредѣленную часть свою; я же не только смотрю за ходомъ ученія, но и самъ работаю по всѣмъ главнымъ частямъ. Въ два экзамена, въ которые ваше величество присутствовали, можно было видѣть, что сдѣлано въ два года. Но кто видѣлъ то, чего это стоило *мнѣ?* Съ дѣтской азбуки до огромныхъ картъ, таблицъ историческихъ, таблицъ естественной исторіи, христіанскаго ученія, а отчасти математическихъ, все выдумано, сочинено и написано мною; теперь прибавились еще русская исторія и статистика, и безпрестанно кругъ дѣятельности моей будетъ расширяться. Я сидѣлъ дома, чертилъ, маралъ бумагу и измаралъ ея кипы. Ничто это вамъ, государь, не было показано; вы видѣли одинъ только результатъ. Великій князь знаетъ твердо все, чему его учили: это главное! Чтобы вести такую жизнь, какую веду я, нуженъ энтузіазмъ, и его давала мнѣ до сихъ поръ высокая цѣль моя; его животворила мысль, что меня знаютъ, что мнѣ ничто не нужно для поддержанія себя въ драгоцѣнномъ мнѣніи моего государя, что за меня говоритъ вся прошедшая жизнь моя и вся настоящая моя дѣятельность и что я могу идти смѣло впередъ, не опасаясь, чтобы какое нибудь недоброжелательство мнѣ повредило. Но теперь чувствую, что и я отъ него не спасся.

Уже во все продолженіе прошедшаго года весьма часто тревожила меня мысль, что милость ваша, государь, ко мнѣ уменьшилась. Съ стѣсненіемъ сердца замѣчалъ я, что, при всей довѣренности вашей, которой главнымъ доказательствомъ служитъ то мѣсто, которое занимаю, имѣли вы ко мнѣ какую-то горестную для меня холодность, которая казалась мнѣ непзъяснимою. Какъ подданный, я навсегда привязанъ къ вамъ силою присяги; но вы для меня болѣе нежели царь; вы отецъ моего питомца, и въ этомъ отношеніи я имѣю право на ваше сердце; а къ этому-то сердцу, столь благородному, столь чистому, я не имѣю доступа, я, котораго вся жизнь передана тому, что такъ дорого для этого сердца. Государь иногда оказываетъ мнѣ благосклонность, но отецъ молчитъ со мною. Скажите, государь, что лишило меня вашей милости? Я не обманулся въ своемъ предчувствіи. Въ то время, когда я весь былъ преданъ своему дѣлу и ни о чемъ кромѣ него не думалъ и не могъ думать, тайная вражда противъ меня дѣйствовала. Я не знаю враговъ моихъ, но очевидно, что ихъ имѣю и что это враги литературные. Государыня сказала мнѣ, что ваше величество не довольны мною за то, что я впутываюсь въ литературныя ссоры и стою за Воейкова. Вотъ все, что мнѣ извѣстно. Кто обвинилъ меня? Чѣмъ подтверждено это обвиненіе? Не знаю! Могу только догадываться и никого не могу представить себѣ кромѣ Булгарина. Предварительно скажу, что я вообще не имѣю никакого сношенія съ здѣшними писателями, овладѣвшими литературою: видаюсь только съ Крыловымъ, Гнѣдичемъ и барономъ Дельвигомъ,

которыхъ уважаю. Съ другими же, которые срамятъ литературу своими непристойными перебранками, и особенно съ Булгаринымъ, у меня нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго ни въ какомъ отношеніи. Думаю, что Булгаринъ [который до сихъ поръ при всѣхъ нашихъ встрѣчахъ показывалъ мнѣ великую преданность] ненавидитъ меня съ тѣхъ поръ, какъ я очень искренно сказалъ ему въ лицо, что *не одобряю того торгуваю духа и той непристойности, какую онъ ввелъ въ литературу, и что я не могъ дочитать его Выжигина.* Вотъ обстоятельства, дошедшія до меня по слуху, которыя заставляютъ меня думать, что тайный обвинитель мой есть Булгаринъ. Когда ваше величество наказали Булгарина, Греча и Воейкова за непристойныя статьи, въ журналѣ ихъ помѣщенныя, то Булгаринъ началъ вездѣ разглашать [это даже дошло и до Москвы], что онъ посаженъ былъ на гауптвахту по моимъ происканъ и что Воейкова [коему я будто покровительствую] посадили съ нимъ вмѣстѣ только для того, чтобы скрыть мои интриги. Это сказывалъ мнѣ человѣкъ, слышавшій отъ самого Булгарина. Разумѣется, что я не обратилъ вниманія на такое забавное обвиненіе. Но до Булгарина должны были потомъ дойти *слова мои*, сказанныя мною товарищу его Гречу на счетъ другой его статьи, послѣ уже напечатанной въ «Сѣверной Пчелѣ». *Государь*, сказалъ я Гречу, *вѣрно будетъ недоволенъ этою статьею, если она дойдетъ до его свѣдѣнія.* Я полагаю, что Булгаринъ довелъ сіи слова мои до начальства, растолковавъ ихъ по своему, то есть представивъ, что *я упрожаю ему именемъ вашимъ*, такъ какъ онъ вездѣ разглашалъ, что *я* посадилъ его на гауптвахту.

Другой случай: въ Москвѣ напечатанъ Альманахъ, въ коемъ мой родственникъ Киреевскій помѣстилъ обозрѣніе русской литературы за прошлый годъ. Въ этомъ обозрѣніи сдѣланы рѣзкія замѣчанія на романъ Булгарина «Иванъ Выжигинъ». Въ то время, когда альманахъ печатался въ Москвѣ, Киреевскій, проѣздомъ въ чужіе края, находился въ Петербургѣ и жилъ у меня. Альманахъ вышелъ уже послѣ его отъѣзда. Но этого было довольно, чтобы заставить думать Булгарина, что статья Киреевскаго была написана по моему наущенію. Это бы ничего; но послѣ я услышалъ, что Булгаринъ вездѣ разславляетъ, будто бы Киреевскій написалъ ко мнѣ какое-то либеральное письмо, которое извѣстно и правительству. Весьма сожалѣю, что я и это оставилъ безъ вниманія и не предупредилъ, для собственной безопасности, генерала Бенкендорфа: ибо этимъ людямъ для удовлетворенія ихъ злобы никакіе способы не страшны. Киреевскій не писалъ ко мнѣ никакого письма, за его правила я отвѣчаю; но клевета распущена; можетъ быть, сочинено и письмо, и тайный вредъ мнѣ сдѣланъ.

Наконецъ, меня обвиняютъ въ томъ, что я держу сторону Воейкова. Это имѣетъ видъ справедливости, ибо «Инвалидъ» сохраненъ Воейкову по моей просьбѣ и предстательству государыни императрицы. Но съ самимъ Воейковымъ я не имѣю ничего общаго... Меня приковала къ нему бѣдственная судьба его жены, которая выросла на рукахъ моихъ и стоила лучшей участи; я и теперь прикованъ къ нему ея милыми сиротами. Все, что имѣютъ онѣ, къ несчастію заключается въ доходѣ, получаемомъ ихъ отцомъ отъ «Инвалида»; могу ли не желать всѣмъ сердцемъ, чтобы этотъ доходъ ему сохранился? Но въ литературныхъ перебранкахъ Воейкова я не могу участвовать.

Вотъ все, что я могъ придумать, дабы объяснить для себя передъ лицомъ вашего величества, какъ могло пасть на меня обвиненіе, столь несогласное съ моимъ характеромъ. Могу ли не скорбѣть всѣмъ сердцемъ, видя себя въ необходимости оправдываться и для того стать на ряду съ Воейковымъ и Булгаринымъ? На что же жить, когда наша жизнь ничто передъ глазами тѣхъ, кои намъ всего

дороже на свѣтѣ, когда она ничего не свидѣтельствуетъ, ни отъ чего не защищаетъ? Вы, государь, [болѣе нежели мой государь, мой благотворитель, отецъ моего воспитанника] можете носить на сердцѣ худое противъ меня мнѣніе, можете видѣть меня каждый день и не спасти меня отъ величайшаго для меня бѣдствія, отъ потери вашихъ милостей! Государь, чтобы исполнить возложенное вами на меня дѣло достойнымъ его образомъ, я долженъ имѣть бодрость; а какъ имѣть ее при убійственной мысли, что я кажусь вамъ не такимъ каковъ я есть, что вы не одобряете моего поведенія?

Умоляю ваше величество, будьте сострадательны, допустите меня къ себѣ, благоволите изъяснить, въ чемъ вина моя передъ Вами. Если въ самомъ дѣлѣ я безъ намѣренія въ чемъ нибудь виноватъ, то Вы услышите самое искреннее признаніе, и смѣю надѣяться великодушнаго прощенія, или буду оправданъ. И то и другое для меня столь же необходимо, какъ воздухъ для дыханія: съ тою тягостію, которая у меня на сердцѣ, я ни на что не могу быть способенъ.

В. Жуковскій.

II.

Я перечиталъ съ величайшимъ вниманіемъ въ журналѣ *Европеецъ* тѣ статьи, о коихъ ваше императорское величество благоволили говорить со мною, и, положивъ руку на сердце, осмѣливаюсь сказать, что не умѣю изъяснить себѣ, что могло быть найдено въ нихъ злонамѣреннаго. Думаю, что я не остановился бы пропустить ихъ, когда бы долженъ былъ ихъ разсматривать, какъ цензоръ.

Въ первой статьѣ, *Девятнадцатый Вѣкъ*, авторъ судитъ о ходѣ европейскаго общества, взявъ его отъ конца XVIII в. до нашего времени, въ отношеніи литературномъ, нравственномъ, философическомъ и религіозномъ; онъ не касается до политики (о чемъ именно говоритъ въ началѣ статьи), и его собственныя мнѣнія рѣшительно анти-революціонныя; объ остальномъ же говоритъ онъ просто исторически. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ теменъ, но это безъ намѣренія, а единственно отъ того, что не умѣлъ выразиться ясне, что не только весьма трудно, но и почти неизбѣжно на русскомъ языкѣ, въ которомъ такъ мало терминовъ философическихъ. Это просто неумѣніе писателя. Но и въ этихъ темныхъ мѣстахъ [если не предполагать съ начала дурнаго намѣренія въ авторѣ, на что нѣтъ никакого повода], добравшись съ трудомъ до смысла, не найдешь ничего предосудительнаго; ибо вездѣ говорится исключительно объ одной литературѣ и философіи, и нѣтъ нигдѣ ничего политическаго. Сіи мѣста, вырванныя изъ связи цѣлаго, могли быть изъяснены неблагопріятнымъ образомъ, особливо если представить ихъ въ смыслѣ политическомъ: но прочтенныя въ связи съ прочимъ, они совершенно невинны. Какія это именно мѣста, я не знаю; ибо я прочиталъ статью въ связи, и ничего въ ней не показалось мнѣ предосудительнымъ. Въ замѣчаніяхъ на комедію *Горе отъ ума* авторъ не только не нападаетъ на иностранцевъ, но еще хочетъ, въ смыслѣ правительства, оправдать благоразумное подражаніе иностранному, утверждая, что оно не только не вредитъ національности, но должно еще послужить къ ея утвержденію. Онъ смѣется надъ нашею исключительною привязанностью къ иностранцамъ, которая дѣйствительно смѣшна, и подъ именемъ тѣхъ иностранцевъ, на коихъ нападаетъ, не разумѣетъ тѣхъ достойныхъ уваженія иностранцевъ, кои употреблены правительствомъ, а только тѣхъ, кои у насъ [или родясь въ Россіи или переселясь въ нее изъ отечества], подъ покровительствомъ не-русскаго имени, первенствуютъ въ обществѣ и портятъ домашнее воспитаніе, вѣренное имъ безъ разбора родителями. Однимъ словомъ, онъ хочетъ отличить благоразумное уваженіе къ иностранному просвѣщенію, нужное Россіи, отъ безразсуднаго уваженія къ иностран-

намъ безъ разбора, вреднаго и смѣшнаго.

Теперь осмѣлюсь сказать слово о самомъ авторѣ. Его мать выросла на глазахъ моихъ, и его самого и его братьевъ знаю я съ колыбели. Въ этомъ семействѣ не было никогда и тѣни безнравственности. Онъ все свое воспитаніе получилъ дома, имѣетъ самый скромный, тихій, можно сказать, дѣвственный характеръ; застѣнчивъ и чистъ, какъ дитя; не только не имѣетъ въ себѣ ничего буйнаго, но до крайности робокъ и осторженъ на словахъ. Онъ служилъ нѣсколько времени въ Архивѣ Иностранныхъ Дѣлъ въ Москвѣ. Проѣзжая черезъ Петербургъ, онъ провелъ въ немъ болѣе недѣли и, это время проживъ у меня, отправился прямо въ Берлинъ, гдѣ провелъ нѣсколько мѣсяцевъ и слушалъ лекціи въ университетѣ. Получивъ отъ меня рекомендательныя письма къ людямъ, которые могли указать ему только хорошую дорогу, онъ умѣлъ заслужить пріязнь ихъ. Изъ Берлина поѣхалъ онъ въ Мюнхенъ къ брату, учившемуся въ тамошнемъ университетѣ. Открывшаяся въ Москвѣ холера заставила обоихъ братьевъ все бросить и спѣшить въ Москву дѣлить опасность чумы съ семействомъ. Съ тѣхъ поръ оба брата живутъ мирно въ кругу семейственномъ, занимаясь литературою. И тотъ и другой почти неизвѣстны въ обществѣ; кругъ знакомства ихъ самый тѣсный; вся цѣль ихъ состоитъ въ занятіяхъ мирныхъ, и они, по своимъ свойствамъ, по добрымъ привычкамъ, полученнымъ въ семействѣ, по хорошему образованію, могли бы на избранной ими дорогѣ сдѣлаться людьми дѣльными и заслужить одобреніе отечества полезными трудами, ибо имѣютъ хорошія свѣдѣнія, соединенныя съ талантомъ и, смѣло говорю, съ самою непорочною нравственностію. Объ этомъ говорить я имѣю право болѣе нежели кто нибудь на свѣтѣ, ибо я самъ членъ этого семейства и знаю въ немъ всѣхъ съ колыбели.

Что могло дать на счетъ Кирѣевскаго в. императорскому величеству мнѣніе, столь гибельное для цѣлой будущей его жизни, постигнуть не умѣю. Онъ имѣетъ враговъ литературныхъ, именно тѣхъ, которые и здѣсь въ Петербургѣ, и въ Москвѣ срамятъ русскую литературу, даютъ ей самое низкое направленіе и почитаютъ врагами своими всякаго, кто берется за перо съ благороднѣйшимъ чувствомъ. Этимъ людямъ всякое средство возможно, и тѣмъ успѣшнѣе ихъ дѣйствія, что тѣ, противъ коихъ они враждуютъ, совершенно безоружны въ этой неровной войнѣ; ибо никогда не употребятъ противъ нихъ тѣхъ способовъ, коими они такъ рѣшительно дѣйствуютъ. Клевета искусна: издалека наготовитъ она столько обвиненій противъ безпечнаго честнаго человѣка, что онъ вдругъ явится въ самомъ черномъ видѣ и, со всѣхъ сторонъ запутанный, не найдетъ словъ для оправданія. Не имѣя возможности указать на поступки, обвинятъ *тайныя намѣренія*. Такое обвиненіе легко, а оправданія противъ него быть не можетъ. Можно отвѣчать: *я не имѣю злыхъ намѣреній*. Кто же повѣритъ на слово? Можно представить въ свидѣтельство непорочную жизнь свою. Но и она уже издалека очернена и подрыта. Что же остается дѣлать честному человѣку, и гдѣ можетъ найти онъ убѣжище? Примѣръ передъ глазами. Кирѣевскій, молодой человѣкъ, чистый совершенно, съ надеждою пріобрѣсти хорошее имя, берется за перо и хочетъ быть авторомъ въ благородномъ значеніи этого слова. И въ первыхъ строкахъ его находятъ *злое намѣреніе*. Кто прочитаетъ эти строки безъ предубѣжденія противъ автора, тотъ конечно не найдетъ въ нихъ сего тайнаго злаго намѣренія. Но уже этотъ авторъ представленъ вамъ какъ человѣкъ безнравственный, и онъ, неизвѣстный лично вамъ, не имѣетъ средства сказать никому ни одного слова въ свое оправданіе, уже осужденъ передъ верховнымъ судилищемъ, передъ вашимъ мнѣніемъ.

На дурные поступки его никто указать

не можетъ, ихъ не было и нѣтъ; но уже на первомъ шагу дорога его кончена. Для васъ онъ не только чужой, но вредный. Одной благости Вашей должно приписать только то, что его не постигло никакое наказаніе. Но главное несчастіе совершилось. Государь, представитель закона, слѣдственно самъ законъ, именовалъ его уже виновнымъ. На что же послужили ему двадцать пять лѣтъ непорочной жизни. И на что можетъ вообще служить непорочная жизнь, если она въ минуту можетъ быть опрокинута клеветою?

III.

Молодой русскій писатель, уже имѣвшій счастье обратить на себя животворное вниманіе вашего императорскаго величества, Гоголь, авторъ комедіи *Ревизоръ*, отправившійся за границу для поправленія своего здоровья и терпящій тамъ всѣ бѣдствія нищеты, осмѣливается обратиться прямо къ милосердію вашему...

1833—1849.

ПИСЬМА КЪ ГОСУДАРЮ НАСЛѢДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ.

I.

1 января 1833.
Верне, близъ Веве.

Обнимаю васъ отъ всего сердца, мой милый великій князь, и поздравляю съ новымъ годомъ. Это слово поздравляю, выражающее что-то радостное и торжественное, въ отношеніи къ вамъ имѣетъ полный буквальный смыслъ свой. Для всякаго, кто перешелъ за другую половину жизни, въ такомъ поздравленіи есть что-то пророческое: поздравлять съ новымъ годомъ есть тоже, что поздравлять съ окончаніемъ прошлаго, слѣдственно съ потерею. Для человѣка въ зрѣлыхъ лѣтахъ [который долженъ уже не готовиться, не образоваться, а дѣйствовать] нѣтъ будущаго, есть одно настоящее. А что такое настоящее? Быстро пролетающій мигъ. Оно пріобрѣтаетъ бытіе только въ прошедшемъ, когда ознаменованіе бываетъ какимъ-нибудь дѣломъ, какимъ-нибудь чувствомъ или мыслію. Дѣло есть памятникъ земной жизни, мысль и чувство есть сокровище души, принадлежащее ей на все безконечное бытіе ея. Для старика поздравленіе съ новымъ годомъ есть меланхолическое напоминаніе о близкой разлукѣ съ жизнію; но въ этомъ напоминаніи есть много высокаго: указывая съ одной стороны на исчезающую здѣшнюю жизнь, оно переноситъ мысль въ иной, лучшій порядокъ вещей, въ иной міръ, въ иныя отношенія; изъ-за тумана земной жизни свѣтится жизнь безсмертная, настоящая цѣль бытія понятнѣе и ближе. Для меня нѣтъ ничего величественнѣе старика, богатаго прекрасными воспоминаніями; онъ похожъ на спокойнаго младенца съ тою только разницею, что младенецъ выходитъ изъ колыбели къ здѣшней жизни, а старикъ приближается ко гробу, который есть колыбель жизни безсмертной, и смерть въ такомъ смыслѣ не есть ли прекрасное рожденіе?

Но для васъ, мой милый великій князь, въ ваши лѣта, на границѣ между ребячествомъ и юношествомъ, поздравленіе съ новымъ годомъ имѣетъ смыслъ очаровательный. До сихъ поръ ваша жизнь имѣла характеръ младенческой безпечности; она была не иное что, какъ веселое счастіе въ настоящемъ, безъ всякой заботы о прошедшемъ и будущемъ. Хотя и часто слыхали вы отъ меня о великомъ знаменованіи этого будущаго, но по своимъ лѣтамъ вы еще не могли совершенно постигать этого знаменованія. Теперь же оно должно быть для васъ понятно. Ваша жизнь получаетъ иной характеръ, характеръ надежды. Мы не знаемъ, какую судьбу приготовило вамъ Провидѣніе въ здѣшнемъ свѣтѣ; но это не главное. Случаи жизни принадлежатъ одному Богу; наша душа принадлежитъ Ему и намъ; отъ насъ зависитъ, чтобы наша душа посреди этихъ событій, посылаемыхъ намъ Создателемъ, сдѣлалась

такою, какова она должна быть согласно со своимъ высокимъ происхожденіемъ и съ предназначенною цѣлью. Итакъ, поздравляю васъ съ новымъ годомъ, съ первымъ годомъ надежды. Будущее принадлежитъ вамъ, не то будущее, подъ коимъ обыкновенно разумѣютъ случаи жизни, но будущее души, то есть все, что составляетъ истинную жизнь нашу: чистота и высокость мыслей, знаніе долга, дѣятельность для блага, смиреніе передъ Богомъ. Это будущее еще ваше, и новый годъ, какъ Божій вѣстникъ, говоритъ вамъ: иди впередъ; дорога еще вся передъ тобою, и на ней можешь собрать много; но собирай неутомимо, ибо время безпечности миновалось, и время строгой отвѣтственности скоро наступитъ. Итакъ, съ Богомъ впередъ! Вы уже теперь въ такихъ лѣтахъ, что можете знать, чего намъ должно желать; желайте только съ жаромъ и будьте постоянно тверды въ стремленіи къ своей цѣли.

Неуспѣхъ въ достиженіи этой цѣли можетъ произойти, между прочимъ, отъ двухъ причинъ: отъ невѣжества въ своемъ дѣлѣ и отъ излишней довѣренности къ самому себѣ. Чтобы не могло быть перваго, то есть невѣжества, дорожите своимъ временемъ и будьте ревностны въ пріобрѣтеніи нужныхъ вамъ на вашемъ мѣстѣ свѣдѣній: не имѣя ихъ, будете дѣйствовать безъ правилъ, слѣдственно безъ основательности и часто со вредомъ. Отъ излишней самонадѣянности спасетъ васъ истинное смиреніе передъ Богомъ. Это смиреніе не есть ни суевѣрное богомольничество монаха, ни мечтательность мистика, но высокое, постоянное, свѣтлое чувство души, безпрестанно видящей себя въ присутствіи Бога, слѣдственно безпрестанно чувствующей и свою передъ Нимъ ничтожность, и свою подсудимость, но въ то же время и свое высокое назначеніе и свою силу, заключенную въ Его неизмѣнномъ содѣйствіи.

Вотъ мысли, кои внушило мнѣ поздравленіе васъ съ новымъ годомъ. Прошу принять ихъ съ тѣмъ чувствомъ, съ коимъ я ихъ передаю вамъ. Сожалѣю только, что въ эту минуту принужденъ ихъ выражать на бумагѣ, слѣдственно не такъ, какъ бы хотѣлось, и что въ заключеніе не могу вамъ подать руки и прижать васъ къ сердцу. Чтобы, однако, не совсѣмъ быть розно съ вами въ эту минуту, посылаю вамъ свой портретъ и не одинъ, а три портрета, нарисованные для васъ Рейтерномъ [съ которымъ живу теперь вмѣстѣ]. Я позволилъ себѣ сдѣлать вамъ этотъ подарокъ, имѣя право думать, что онъ будетъ для васъ пріятенъ [NB. Вы будете вѣроятно показывать многимъ эти рисунки; дабы предохранить ихъ отъ порчи, наклеите всѣ три тотчасъ по полученіи на особенные картоны: это защититъ ихъ отъ прикосновенія рукъ].

. . . Здоровье мое не худо и не хорошо. Я какъ будто остановился на одной точкѣ; нейду ни впередъ, ни назадъ. Радуюсь, однако, что не поѣхалъ въ Италію, ибо тревожная жизнь путешественника, безъ сомнѣнія, много бы мнѣ повредила. О климатѣ Италіи сожалѣть не имѣю причины: мнѣ удалось поселиться въ самомъ тепломъ и здоровомъ уголкѣ Швейцаріи. Отъ италіянской зимы, вѣроятно, страдалъ бы я гораздо болѣе, нежели отъ здѣшней, нежели даже отъ русской: теперь въ Италіи тепло подъ открытымъ небомъ, но въ домахъ мерзнутъ; здѣсь же, гдѣ дома лучше устроены для зимняго времени, нѣтъ почти и признака зимы: снѣгъ лежитъ на высотахъ горъ; разъ только видѣлъ я его у себя подъ ногами, но выпавъ по утру, онъ исчезъ къ вечеру, и теперь на дорогѣ пыль; до сихъ поръ еще не было болѣе одного градуса морозу; когда покажется солнце, то оно грѣетъ, какъ весеннее; нѣтъ ни дождя, ни сырости; розы цвѣтутъ на воздухѣ. Теперь 4-е января [стараго стиля], день ясный и теплый; солнце свѣтитъ съ прекраснаго голубаго неба; передъ глазами моими разстилается лазоревая равнина Женевскаго озера; нѣтъ ни одной волны; не видишь движенія, а толь-

ко его чувствуешь: озеро дышитъ. Сквозь голубой паръ подымаются голубыя горы съ нѣжными, сіяющими отъ солнца вершинами; по озеру плывутъ лодки, за которыми тянутся серебряныя струи, и надъ ними вертятся освѣщенные солнцемъ рыболовы, которыхъ крылья блещутъ, какъ яркія искры; на горахъ, между синевою лѣсовъ, блестятъ деревни, хижины, замки; съ домовъ, бѣлыми змѣями, вьются полосы дыма; иногда въ тишинѣ, между огромными горами, которыхъ громады приводятъ невольно въ трепетъ, вдругъ раздается звонъ часоваго колокола съ башни церковной: этотъ звонъ, какъ гармоника, промчавшись по воздуху, умолкаетъ, и все опять удивительно тихо въ солнечномъ свѣтѣ; онъ ярко лежитъ на дорогѣ, на которой тамъ и здѣсь идетъ пѣшеходъ и за нимъ его тѣнь. Въ разныхъ мѣстахъ слышатся звуки, не нарушающіе общей тишины, но еще болѣе оживляющіе чувство спокойствія; тамъ далекій лай собаки, тамъ скрыпъ огромнаго воза, тамъ человѣческій голосъ. Между тѣмъ въ воздухѣ удивительная свѣжесть, есть какой-то запахъ не весенній, не осенній, а зимній; есть какое-то легкое, горное благоуханіе, котораго не чувствуешь въ равнинахъ. Вотъ вамъ картина одного утра на берегахъ моего озера. Каждый день смѣняетъ ее другая. Но за этими горами Италія, и мнѣ не видать Италіи. Между тѣмъ живу спокойно, и дѣлаю все, что отъ меня зависитъ, чтобы дойти до своей цѣли, до выздоровленія. Живу такъ уединенно, что въ теченіе пятидесяти дней былъ только разъ въ обществѣ. Вѣроятно, что такое пустынничество навело бы, наконецъ, на меня мрачность и тоску; но я не одинъ. Со мною живетъ Рейтернъ и все его семейство. Онъ усердно рисуетъ съ натуры, которая здѣсь представляетъ богатую жатву его кисти, а я пишу стихи, читаю, или не дѣлаю ничего. Съ пяти часовъ утра до четырехъ съ половиною пополудни [время нашего общаго обѣда], я сижу у себя или брожу одинъ. Потомъ мы сходимся, вмѣстѣ обѣдаемъ и вечеръ проводимъ также вмѣстѣ. Въ такомъ образѣ жизни много лѣкарственнаго. Но прогулки мои еще весьма скромны, еще нѣтъ силъ взбираться на горы. За то гуляю много по ровному прекрасному шоссе, всякій день и во всякую погоду.

Теперь читаю двѣ книги. Одна изъ нихъ напечатана моими берлинскими знакомцами, Гумблотомъ и Дункеромъ, довольно четко, на простой бумагѣ, и называется Menzel's Geschichte unserer Zeit; а другая самою природою на здѣшнихъ огромныхъ горахъ, великолѣпнымъ изданіемъ. Титула этой послѣдней книги я еще не разобралъ. Но и то и другое чтеніе приводитъ меня къ одному и тому же результату. Всякій день въ два часа пополудни я начинаю свое пѣшеходство по Симплонской дорогѣ, которая мимо самаго крыльца моего идетъ по берегу Женевскаго озера, разстилающагося широкою равниною между высокихъ береговъ горныхъ. Со стороны Женевы на дальнемъ горизонтѣ, видна низкая, голубая, однообразная стѣна Юры. Со стороны кантона Вадта [Pays de Vaud], на которой находится моя деревушка [Верне между Клараномъ и Монтрё], подымаются горы, покрытыя виноградниками, усѣянныя деревнями, замками, хижинами, шалашами; низшія изъ нихъ имѣютъ пріятную круглую форму [здѣсь онѣ покрыты виноградниками, великолѣпными каштановыми, буковыми и орѣховыми деревьями]; высшія торчатъ острыми утесами, одни имѣютъ видъ зубчатыхъ стѣнъ, другія форму огромныхъ зубовъ, между которыми самый замѣтный называется Dent de Jamant; вершины этихъ утесовъ голы и истрескались отъ дѣйствія стихій; бока покрыты слоями и сосцами, между которыми весенніе и осенніе потоки прорѣзали излучистыя рытвины, которыя теперь наполнены снѣгомъ и кажутся змѣями, замерзшими отъ холода и извивающимися въ часъ охоты. На противной, Савойской сторо-

нѣ, подымаются горы болѣе огромныя, и представляютъ ужасный хаосъ утесовъ, разорванныхъ, растрескавшихъ, раздѣленныхъ глубокими долинами, въ которыхъ теперь бѣлѣетъ снѣгъ, тогда какъ самые утесы, синѣющіе отъ словыхъ лѣсовъ, покрывающихъ бока ихъ, имѣютъ видъ необъятнаго, оцѣпенѣлаго, изрубленнаго трупа. Эти горы, возвышаясь, сходятся съ противолежащими и стѣсняются въ глубокую долину, по которой течетъ Рона, впадающая близъ Вильнева въ Женевское озеро. Эту долину задвигаютъ, наконецъ, покрытыя вѣчнымъ снѣгомъ горы: впереди подымается великаномъ Dent du Midi, за нимъ конусомъ стоитъ Mont-Catogne, изъ-за него съ одной стороны выглядываетъ Mont-Velan, а съ другой Сенъ-Бернардъ, знаменитый переходомъ Наполеона и гостепріимствомъ добрыхъ отшельниковъ, которые поселились на высотѣ его съ своими собаками для спасенія путешественниковъ, теряющихъ дорогу въ снѣгахъ горныхъ. Таковы великолѣпные листы всемірной исторіи, которые разгибаются передъ глазами моими въ то время, когда я непримѣтною мошкою крадусь по тропинкѣ своей у подошвы этихъ великановъ. И мнѣ было бы весьма душно отъ ихъ ужасающей взоры огромности, когда бы мнѣ не сопутствовалъ другой великанъ, который можетъ безъ страха съ ними соперничать: этотъ великанъ—есть мысль, могущая не только въ одну минуту подняться на ихъ неприступныя высоты, но, перелетѣвъ вѣка и пространство, присутствовать при ихъ рожденіи, въ то время, когда они сами были только прахъ, кипѣвшій въ первобытной водѣ, которая, наконецъ, сгустивъ и набросавъ ихъ тѣми огромными грудами, въ коихъ онѣ столько вѣковъ стоятъ неподвижно, сама успокоилась, и теперь, тихимъ, таинственнымъ моремъ, окружаетъ нашу цвѣтущую землю, вышедшую изъ хаоса первобытнаго. Какое сходство въ исторіи этихъ безжизненныхъ великановъ съ исторіею живаго человѣческаго рода! Что представляла наша земля въ эти первые дни созданія, когда всемогущее Божіе «буди» раздалось посреди небытія, и все начало стремиться къ жизни? Каковъ былъ міръ въ то время, когда потопъ за потопомъ разрушалъ землю, когда изъ страшнаго разрушенія выходило столь же страшное созданіе, когда владыками земли были одни чудовища, которыхъ огромные, окаменѣлые скелеты, лежащіе въ земной утробѣ, свидѣтельствуя объ отдаленной эпохѣ ихъ существованія, въ то же время служатъ памятниками минувшаго безпорядка? Чѣмъ все это кончилось? Животворнымъ шестымъ днемъ созданія: потопы утихли, утесы оцѣпенѣли, ихъ страшныя груды покрылись великолѣпнымъ ковромъ плодоносной земли, на которомъ началась цвѣтущая жизнь, и на эту обновленную землю Создатель привелъ, наконецъ, человѣка; бурный періодъ образованій физическихъ дошелъ до своего предѣла; начинается жизнь человѣческаго рода и она представляетъ намъ тотъ же хаосъ, въ какомъ при началѣ своемъ является намъ міръ физическій: мы видимъ человѣка первосозданнаго; онъ сначала достоинъ своего Создателя, и на землѣ рай; но онъ падаетъ... Что же представляетъ намъ человѣческое общество послѣ паденія и что послѣ всемірнаго потопа, уничтожившаго первобытный родъ человѣческій? Не то же ли, что сей безпорядочный бой стихій и массъ физическаго міра, сквозь которыя съ трудомъ и постепенно пробивалась вышняя жизнь? И всѣ эти преданія о древнемъ мірѣ послѣ потопа, всѣ эти памятники огромныхъ минувшихъ царствъ, колоссы Индіи и Египта, завоеванія Сезостриса, Кира, Александра, и самый всемогущій Римъ... не то же ли они въ исторіи—нѣкогда живые, теперь мертвые и окаменѣлые посреди слоевъ [вѣковъ], набросанныхъ временемъ, не то же ли они, что эти огромныя чудовища, владѣвшія первобытною землею, которыхъ остовы насъ такъ изумляютъ, повѣствуя намъ о томъ,

чего давно нѣтъ и чего уже быть не можетъ? Наконецъ и для человѣческаго рода періодъ всеобщихъ бурныхъ переворотовъ дошелъ до своего предѣла, и ужасныя созданія древняго міра одѣлись великолѣпнымъ покровомъ, на которомъ началась новая, высшая жизнь; эта пелена болѣе и болѣе развивается; не все еще ею покрыто, но все когда-нибудь покроется. Волканы, наводненія, ураганы и многіе грозные феномены свидѣтельствуютъ, что еще не все въ физическомъ мірѣ утихло; но это одни минутныя, частныя явленія; они не производятъ общаго измѣненія и только показываютъ, что сила безпорядка хотя еще и не умерла, но уже издыхаетъ. То же и въ мірѣ нравственномъ: и послѣ пришествія Христова были политическіе разрушительные волканы; они являются и теперь, но характеръ ихъ болѣе и болѣе измѣняется: теперь они болѣе образовательны, нежели прежде. Напримѣръ, къ наше время міровладычество Александра и Рима невозможно, по крайней мѣрѣ непрочно. Наполеонъ у насъ передъ глазами сдѣлалъ ему опытъ, но быстрое созданіе силы его столь же быстро и сокрушилось. Конечно, еще увидимъ много потрясеній; но посреди ихъ шума голосъ мира и порядка болѣе и болѣе становится внятенъ. Христіанство, источникъ и хранитель нравственной жизни, неразрушимо, несмотря на бунтующія противъ него страсти; истекающая изъ него образованность медленнымъ, но постояннымъ своимъ дѣйствіемъ все приводитъ въ равновѣсіе; бой добра и зла продолжается—и можетъ ли быть иначе? Земля не рай, человѣкъ не ангелъ—но наше время, со всѣми его конвульсіями, лучше прошедшаго. Это лучшее само собою истекаетъ изъ зла минувшаго. И это лучшее—не человѣкъ своею силою производитъ его, но время, покорное одному Промыслу. Поколѣнія исчезаютъ; а время на гробахъ ихъ пишетъ свои истины, которыя читаютъ слѣдующія поколѣнія, и обращаютъ въ свою пользу: исчезая, они оставляютъ на гробахъ своихъ другія истины, временемъ написанныя въ пользу другихъ поколѣній. Общій же результатъ одинъ: во всякое время, человѣкъ на своемъ мѣстѣ, въ своемъ кругѣ можетъ совершить все, что онъ, какъ человѣкъ, совершить обязанъ; и если бы каждый, не сбиваясь въ пути, слѣдовалъ сему правилу, то было бы на землѣ одно царство порядка. Но человѣкъ созданъ не для тихой счастливой, а для дѣятельной нравственной жизни; онъ долженъ завоевывать свое достоинство, долженъ пробиваться къ добру сквозь страсти и неразлучныя съ ними заблужденія и бѣдствія. Въ мірѣ дѣйствуетъ не онъ, а Провидѣніе, которое дѣйствуетъ въ цѣломъ. Жизнь человѣческаго рода можно сравнить съ волнующимся моремъ: буря страстей производитъ эти минутныя волны, возстающія, падающія и безпрестанно смѣняемыя другими. Каждая изъ нихъ кажется какимъ-то самобытнымъ созданіемъ; и если бы каждая могла мыслить, то она, въ быстромъ своемъ существованіи, могла бы вообразить, что дѣйствуетъ и созидаетъ для вѣчности. Но она со всѣми своими скоропреходящими товарищами, только принадлежитъ къ одному великому цѣлому: всѣ онѣ покоряются одному общему движенію; иногда движеніе кажется бурею: бездна кипитъ; но вдругъ все гладко и чисто; и въ этомъ за минуту столь безобразномъ хаосѣ водъ спокойно отражается чистое небо. Вотъ вамъ философія здѣшнихъ горъ. То же самое прочиталъ я и въ Менцелѣ, который въ быстрой картинѣ представляетъ намъ происшествія нашего вѣка, столь богатаго великими измѣненіями.

Еще одинъ маленькій отрывокъ изъ той же горной философіи. Проѣзжая сюда черезъ кантонъ Швицъ, я видѣлъ на прекрасной долинѣ, между Цюрихскимъ и Ловерцкимъ озеромъ, развалины горы, задавившей за двадцать лѣтъ нѣсколько деревень, и обратившей своимъ паденіемъ райскую область въ пустыню. Это мѣсто

называлось тогда Goldau [золотой лугъ]. За двѣнадцать лѣтъ предъ симъ я уже видѣлъ его: съ тѣхъ поръ ничто не перемѣнилось; тѣ же голые, набросанные грудами камни, немногіе покрылись мохомъ; кое-гдѣ пробиваются тощіе кусты, но еще почти нѣтъ признака жизни: время невидимо работаетъ, но разрушеніе въ полной еще силѣ. Рядомъ съ этимъ хаосомъ камней простирается холмистая равнина, покрытая сочною травою, пышными деревьями, селеніями, хижинами, садами; но бугристая поверхность ея, согласно съ преданіемъ, свидѣтельствуетъ о древнемъ разрушеніи: за нѣсколько вѣковъ и на этомъ мѣстѣ упала гора, задавила нѣсколько селеній, и надлежало пройти сотнямъ лѣтъ, дабы развалины могли покрыться слоемъ плодоносной земли, на которой поселилось новое поколѣніе, совершенно чуждое погибшему. Вотъ исторія всѣхъ революцій, всѣхъ насильственныхъ переворотовъ, кѣмъ бы они производимы ни были, бурнымъ ли бѣшенствомъ толпы, дерзкою ли властію одного! Разрушать существующее, жертвуя справедливостію, жертвуя настоящимъ для возможнаго будущаго блага, есть опрокидывать гору на человѣческія жилища съ безумною мыслію, что можно вдругъ безплодную землю, на которой стоятъ они, замѣнить другою болѣе плодоносною. И, правда, будетъ земля плодоносная, но для кого и когда? Время возьметъ свое, и новая жизнь начнется на развалинахъ: но это дѣло его, а не наше; мы только произвели гибель; а произведенное временемъ изъ созданныхъ нами развалинъ ни мало не соотвѣтствуетъ тому, чего мы хотѣли вначалѣ. Время истинный создатель, мы же въ свою пору были только преступные губители, и отдаленныя благія слѣдствія, загладивъ слѣды погибели, не оправдываютъ губителей. На этихъ развалинахъ Гольдау ярко написана истина: «средство не оправдывается цѣлію; что вредно въ настоящемъ, то́ есть истинное зло, хотя бы и было благодѣтельно въ своихъ послѣдствіяхъ; никто не имѣетъ права жертвовать будущему настоящимъ и нарушать вѣрную справедливость для невѣрнаго возможнаго блага». Человѣкъ, во всякую настоящую минуту, можетъ быть справедливымъ; въ этомъ его человѣческая свобода. Что справедливо теперь, то несомнительно; жертвовать этимъ несомнительнымъ, единственно возможнымъ человѣку, для вѣроятной, слѣдственно сомнительной пользы, есть преступленіе или безуміе. Ибо кто отвѣчаетъ за будущее? И слѣдующій мигъ не принадлежитъ намъ: это уже область Провидѣнія. Только, оставаясь въ границахъ человѣчества, съ свѣтлымъ понятіемъ о справедливости, можемъ мы дѣйствовать благотворно, то есть нравственно; напротивъ, вступаясь въ дѣло Провидѣнія и надѣясь силою въ одну минуту произвести то, что оно медленно созидаетъ временемъ, мы губимъ и гибнемъ. Что же? Должны ли мы себя осудить на бездѣйствіе и неподвижно предаться во власть времени, подобно камнямъ, которые, не видя и не зная, что съ ними творится, даютъ ему покрывать ихъ мохомъ и растеніями? Нѣтъ. Но для человѣка довольно собственной дѣятельности и безъ дерзкаго присвоенія той, которая не принадлежитъ ему. Иди шагъ за шагомъ за временемъ, вслушивайся въ его голосъ, и исполняй то, чего онъ требуетъ. Отставать отъ него столь же бѣдственно, какъ и перегонять его. Не толкай горы съ мѣста, но и не стой передъ нею, когда она падаетъ: въ первомъ случаѣ самъ произведешь разрушеніе, въ послѣднемъ не отвратишь разрушенія, въ обоихъ же неминуемо погибнешь. Но работая безпрестанно, неутомимо, на ряду со временемъ, отдѣляя отъ живаго то, что оно уже умертвило, питая то, въ чемъ уже таится зародышъ жизни, и храня то, что зрѣло и полно жизни, ты безопасно, безъ всякаго гибельнаго потрясенія, про-

изведешь или новое необходимое, или уничтожишь старое уже безплодное или вредное. Однимъ словомъ, живи и давай жить; а паче всего блюди Божію правду!... Но довольно, отъ моей горной философіи и письмо мое сдѣлалось горою. Обнимаю васъ, мой милый великій князь; а вы обнимите за меня нашего друга Карла Карловича. Прошу васъ описать мнѣ нашъ Weihnachts-Baum; я очень думалъ о томъ, что у васъ дѣлается вечеромъ двадцать четвертаго декабря. Прошу васъ принести мое всеподданнѣйшее поздравленіе съ новымъ годомъ государю императору и государынѣ императрицѣ. Приношу мое поздравленіе отъ всего сердца ихъ высочествамъ великимъ княжнамъ. Вамъ навсегда Жуковскій.

II.

Пушкина нѣтъ на свѣтѣ. Въ два часа и три четверти пополудни онъ кончилъ жизнь тихо, безъ страданія, точно угаснулъ. Жуковскій.

[29 января 1837 г.]

III.

Посылаю вашему высочеству подарокъ въ день вашего ангела — стихи на праздникъ Бородинскій, Бородинскую пѣсню бородинскому помѣщику. Праздникъ, данный войску государемъ, былъ такъ поразителенъ, что я не могъ не тряхнуть стариною. Подъ стихами стоитъ 26-е число не даромъ: я началъ ихъ тотчасъ по возвращеніи изъ лагеря въ городокъ, кончилъ дорогою и теперь бью вамъ ими челомъ. Прошу васъ поднести одинъ экземпляръ государю императору. Въ концѣ стиховъ моихъ нѣсколько выраженій взято изъ прекраснаго, сильнаго приказа, даннаго войску; тамъ, въ немногихъ словахъ, сказано болѣе, нежели во всѣхъ двадцати строфахъ моихъ. Я хотѣлъ описать и то, что видѣлъ прежде, и то, что видѣлъ теперь, и притомъ помянуть о случившемся въ промежуткахъ Бородинской битвы и Бородинской годовщины. Но выразить величіе того зрѣлища, которое насъ всѣхъ поразило, никакіе стихи не могутъ: нельзя втѣснить въ слова той земли, политой русской кровію, на которой мы и стопятидесятитысячная армія стояли и которая такъ краснорѣчиво говорила своимъ прахомъ — прахомъ славныхъ воиновъ — и въ минуту тишины повсемѣстной, въ минуту молебственнаго пѣнія, и въ минуту великаго слова: вѣчная память царю Александру, и въ минуту того неслыханнаго ура, которое вдругъ, со всѣхъ сторонъ, такъ чудно загремѣло, какъ будто бы вся Россія поднялась и въ одинъ голосъ крикнула: слава! Какъ же не благодарить государя за то, что онъ, питая въ царской душѣ своей чувства русскаго, такъ горячо заботится о томъ, чтобы оно и въ насъ разогрѣвалось.

Однимъ изъ самыхъ привлекательныхъ эпизодовъ этой чудной картины были израненные, безрукіе и безногіе, иные покрытые лохмотьями бѣдности, бородинскіе инвалиды, которые сидѣли на подножіи памятника или, положивъ подлѣ себя свои костыли, отдыхали на гробѣ Багратіона. Нѣкоторые бѣдняки притащились изъ далека: кто пѣшкомъ, кто на телѣгѣ, чтобы увидѣть царя на своемъ праздникѣ Бородинскаго боя. Признаюсь вамъ, мнѣ было жестоко больно, что ни одного изъ этихъ главныхъ героевъ дня я послѣ не встрѣтилъ за нашимъ обѣдомъ. Они, почетные гости этого пира, были забыты, воротятся съ горемъ на душѣ во свояси, и что скажетъ каждый въ сторонѣ своей о сдѣланномъ имъ пріемѣ, они, которые надѣялись принести въ свои бѣдные дома воспоминаніе сладкое, богатый запасъ для разсказовъ, и дѣтямъ и внукамъ? И кажется мнѣ, справедливость бы требовала, что не одни теперь служащіе, но отставные раненые и немощные были включены въ число тѣхъ, кои, какъ я слышалъ, должны теперь получать то жалованье, которое въ эпоху Бородина они получали. Имъ-то оно и нужно, а ихъ такъ немного. Да что если бы изъ чугунныхъ ядеръ, най-

денныхъ на Бородинскомъ полѣ, вылить медали съ изображеніемъ на одной сторонѣ Александрова лица и 26 августа 1812 года, а на другой бородинскаго памятника съ 26 августа 1839 года. Да раздать бы эту медаль бородинцамъ, напримѣръ на завтра, въ день вашего ангела, если нельзя успѣть, то въ Москвѣ, въ день заложенія храма, на парадѣ раздать бы однѣ ленточки тѣмъ, кои будутъ на лицо, съ обѣщаніемъ медали, и послѣ самыя медали разослать всѣмъ, гдѣ кто гнѣздится. Это было бы драгоцѣннѣйшимъ даромъ отъ того, кто такъ славно царствуетъ надъ новымъ поколѣніемъ, для тѣхъ, конхъ Богъ привелъ дожить до временъ его и кои участвовали въ славѣ поколѣнія прежняго.

Я съ вами разговорился: матерія богата; но вы будете читать письмо мое въ день вашего ангела. Вы сами мой добрый ангелъ и добрымъ ангеломъ для всѣхъ стоите у трона отцовскаго, и такъ я все выскажу, что рвется изъ души моей въ эту минуту. Еще бы одно благое дѣло въ день Бородинскаго праздника: дѣло милосердія, прибавлю и царской признательности, этому дню столь приличное! Въ Бородинѣ дрался Коновницынъ, а Коновницынъ былъ честью русскаго войска. Дочь его въ молодости лѣтъ выпила всю чашу горести за чужую вину; эта дочь умолятъ государя великодушнаго взглянуть съ благоволеніемъ на преступнаго мужа ея, который не жалѣлъ жизни въ сраженіи, чтобъ загладить вину свою и заслужить ту милость, которая уже была ему оказана по просьбѣ наслѣдника престола. Нарышкинъ представленъ за храбрость въ офицеры; быть можетъ, и рано еще получить ему эту награду; но день Бородинскій, день Бородинскій громко вопіетъ къ царю: помяни милосердіемъ храбраго Коновницына!

Еще одно; но это уже къ Бородину не относится, а просто къ благостному сердцу нашего несравненнаго государя, которое не разъ удалось мнѣ подсмотрѣть въ его прелестныя человѣческія минуты. Я вижу въ Москвѣ Е. О. Муравьеву, ея положеніе на старости лѣтъ ужасно: оба сына, для которыхъ жила она, въ изгнаніи. Ни слова о ихъ преступленіи; но съ старшимъ сыномъ поѣхала въ Сибирь жена; онъ схоронилъ ее; на рукахъ его осталась дочь; эта дочь чахнетъ: уже суровый климатъ имѣлъ на нее разрушительное вліяніе; только перемѣна климата на болѣе теплый можетъ спасти бѣдную жизнь младенца. Отецъ наказанъ изгнаніемъ, строгій законъ удовлетворенъ. Къ этому наказанію судьба прибавила другое, быть можетъ горшее: смерть жены, которая вся падаетъ на преступника мужа. Вотъ уже два наказанія за одно преступленіе; но второе совершилось просто по волѣ судьбы: ничья другая воля не вмѣшивалась въ приговоръ ея. Теперь изгнаннику грозитъ наказаніе третье: смерть дочери; и уже не одна судьба, а съ нею и приговоръ государя должны рѣшить, умереть ли этому младенцу или нѣтъ. Не могу повѣрить, чтобы государь [если бы онъ это зналъ], государь, нѣжный отецъ своихъ дѣтей на тронѣ, могъ не войти въ чувства отца, который все отецъ, хотя и колодникъ. Не могу повѣрить, чтобы къ наказанію закона, вполнѣ справедливому, государь прибавилъ бы другое, тогда какъ здѣсь идетъ дѣло просто о человѣчествѣ, и благость не была бы нисколько въ противорѣчіи съ строгостію правосудія. Муравьева, какъ я слышалъ, хочетъ просить великую княгиню Марію Николаевну о заступѣ за внучку ея предъ государемъ императоромъ, въ какую минуту! когда великая княгиня сама готовится быть матерью. Это дѣло, безъ сомнѣнія, не дошло еще до свѣдѣнія государя въ настоящихъ обстоятельствахъ. Поручаю его вамъ въ день вашего ангела.

Дѣлайте изъ письма моего, что хотите: если найдете нужнымъ, покажите его государю императору. Я знаю, что онъ, хотя бы и не согласенъ со мною, одобритъ тотъ языкъ, которымъ говорю съ вами.

Мое государственное дѣло съ вами кончилось; но дѣло личное, дѣло нашей взаимной любви, которое началось отъ вашего младенчества и такъ постоянно продолжалось до этой минуты, кончится только съ моею жизнію. Вѣрность моя вамъ должна теперь состоять въ томъ, чтобы я безъ оглядки передавалъ вамъ тѣ чувства и мысли, кои будутъ мнѣ казаться правдою. Другой дани приносить вамъ не могу; но эта дань святая. Знаю, что ваше сердце моему родное, что мое всегда найдетъ въ вашемъ отголосокъ. И въ этомъ-то чистомъ сношеніи любви и правды будетъ отнынѣ моя связь съ наслѣдникомъ престола. Ни къ кому изъ постороннихъ не можете вы имѣть того отношенія, какое имѣете ко мнѣ: оно просто человѣческое. Не бойтесь съ моей стороны никакой излишней короткости; у меня на это вѣрное чувство; но границы, отдѣляющія отъ васъ другихъ, не могутъ и не должны быть моими границами: я къ вамъ ближе не по чину, а по всему нашему прошедшему, налагающему на васъ такія обязанности ко мнѣ, которыхъ вы ни къ кому имѣть не можете и отъ которыхъ и высокій санъ васъ не избавляетъ. И чѣмъ болѣе — и наединѣ, и въ присутствіи другихъ — будетъ нѣжности и внимательности отъ васъ ко мнѣ, тѣмъ болѣе возвыситесь вы и въ самомъ себѣ, и во мнѣніи другихъ. Это не будетъ уступкою непарушимыхъ правъ вашего сана, это будетъ высокое достоинство человѣка; а человѣкъ во всякомъ санѣ есть главное. Не знаю, почему все это сказалось въ эту минуту; но я могу говорить съ вами о себѣ, какъ о третьемъ лицѣ, и надѣюсь, что вы въ томъ, что сказано мною теперь, не найдете ничего похожаго на самохвальную взыскательность. Но довольно.

Обнимаю васъ всѣмъ сердцемъ въ день вашего ангела, и для меня будетъ великимъ счастіемъ, если этотъ ангелъ, нѣкогда ангелъ-хранитель всей Россіи, благословитъ успѣхомъ тѣ желанія, которыя позволилъ я себѣ такъ искренно выразить въ письмѣ своемъ. Я еще могъ бы относительно себя переговорить съ вами о многомъ, но это до поры до времени. Я еще въ Москвѣ и жду Мойера, котораго уже надѣялся найти въ ней. Итакъ, я могъ бы остаться въ Бородинѣ для вашего праздника; но если бы остался, то моя Бородинская пѣсня не поспѣла бы во время. Итакъ, поздравляю васъ заочно. Чего добраго, можетъ случиться, что вы еще застанете меня въ Москвѣ. Жуковскій.

20 августа 1839.

Прошу ваше высочество представить одинъ экземпляръ стиховъ моихъ государю великому князю Михаилу Павловичу. Теперь собираюсь писать къ ея высочеству Маріи Николаевнѣ. Праздникъ нашъ былъ такъ чуденъ, что мнѣ и къ прозѣ объ немъ поговорить хочется.

IV.

[*Въ началѣ 1840 г.*].

За Розена цѣлую вашу благодѣтельную руку; вы меня очень этимъ порадовали, и вамъ самимъ хорошо быть благотворителемъ своихъ приближенныхъ.

О Гоголѣ другое дѣло. Видно, вы не разобрали моего письма. Я не просилъ для него никакой помощи, и было бы съ моей стороны несправедливо просить ее, особливо такой большой, какую вы назначили: ибо у васъ есть кому давать, и вы уже разъ помогли Гоголю — довольно.

Еще менѣе просилъ я у васъ ему взаймы: это было бы съ моей стороны неприлично. Я просилъ у васъ просто взаймы себѣ самому, какъ то было прежде, и вы очень одолжите меня, если ссудите меня этими деньгами; а съ Гоголемъ будутъ у меня свои разсчеты. Эти деньги дамъ ему отъ себя, не вмѣшивая въ это вашего имени. Итакъ, прошу васъ убѣдительно не давать въ подарокъ назначенныхъ вами 2000 рублей; я рѣшительно отъ этого отказываюсь, благодаря васъ за доброе намѣреніе, ко-

торое само по себѣ есть уже богатый подарокъ, мнѣ сдѣланный, и прося покорно ссудить мою особу вышереченными 4000, кои нимало не потеряютъ своей натуры, если будутъ, принадлежа вамъ, покоиться въ моемъ карманѣ, откуда въ свое время съ торжествомъ возвратятся въ прежнюю великокняжескую обитель. — Жуковскій.

V.

Вотъ уже болѣе полутора мѣсяца, какъ я женатъ, а еще не писалъ объ этомъ ни къ вашему высочеству и ни къ кому изъ родныхъ и ближнихъ друзей моихъ. Не дивитесь этому и не пеняйте мнѣ. Въ эти первые дни моей новой жизни я не могъ заняться ея описаніемъ; мнѣ хотѣлось беззаботно съ нею свыкнуться и потомъ уже на просторѣ заняться ея описаніемъ. Но съ кѣмъ же лучше мнѣ говорить объ ней, какъ не съ вами, моимъ другомъ отъ вашей колыбели, отъ которой Богъ позволилъ мнѣ проводить васъ до того мѣста, на коемъ встрѣтили вы свое семейное счастіе. Хотя мы и раздѣлены съ вами полными 35-ю годами, но съ вами и со мною въ одно время случилось одно и то же. Вы въ полномъ цвѣтѣ молодости нашли жену по сердцу, которая по лѣтамъ своимъ обѣщаетъ вамъ долгое съ нею товарищество; мнѣ подъ старость досталась молодая жена, которая могла бы быть мнѣ внукою, но которая принесла неувядшей еще душѣ моей молодое, чистое счастіе. Для васъ на царской стезѣ вашей семейная жизнь будетъ не только источникомъ тайныхъ радостей сердца, но и хранителемъ нравственныхъ силъ и тѣхъ высокихъ качествъ, кои вы обязаны имѣть не для одного себя, кои вамъ необходимы для успѣха предназначенной вамъ дѣятельности публичной. Для меня семейная жизнь есть просто покойный, смиренный пріютъ передъ концомъ житейской дороги. Вы, съ пламенною живостію юноши, для котораго жизнь такъ богата еще будущимъ, наслаждаетесь благомъ, ниспосланнымъ вамъ отъ Бога; а я, принявъ то же благо отъ Бога въ такую эпоху жизни, когда уже переставъ его искать и надѣяться, смотрю на него съ благоговѣніемъ и вижу въ немъ не столько настоящую прелесть жизни, сколько ея освященіе и облагородствованіе для будущаго. Мой жребій легче и счастливѣе вашего; но вы стоите на такой степени свѣта, на которой никто не посмѣетъ оспаривать у васъ достоинства, того именно, до чего каждый человѣкъ обязанъ и можетъ достигнуть собственными силами, что возвышается въ цѣнѣ своей по мѣрѣ трудности пріобрѣтенія и значительности даннаго въ жизни удѣла и что выше и лучше счастія.

Теперь позвольте описать вамъ вкратцѣ то, что случилось со мною въ послѣднее время. Но прежде я долженъ поблагодарить ваше высочество за безцѣнное ваше письмо, написанное изъ Москвы и мною на сихъ дняхъ полученное. Благодарю особенно не за выраженіе дружбы вашей [я на нее полагаюсь и знаю, что ни отдаленіе, ни обстоятельства, насъ разлучившія, но не разрознившія, не изгладятъ ея изъ вашего вѣрнаго сердца]; нѣтъ, благодарю особенно за нѣкоторыя выраженія, которыя наполнили радостію мое сердце и вызвали слезы изъ глазъ моихъ. Вы пишете: «21-го мая я много думалъ объ васъ и молилъ Бога, чтобы онъ благословилъ васъ семейнымъ счастіемъ, величайшимъ благомъ въ семъ мірѣ, такъ какъ Онъ доселѣ насъ благословляетъ. Не могу вамъ выразить, какъ я себя чувствую счастливымъ съ моимъ ангеломъ-Маріею!» А я не могу вамъ выразить, какъ для меня трогательно и дорого это ваше воспоминаніе обо мнѣ въ важнѣйшую минуту моей жизни, которое въ то же время есть для меня свидѣтельство вашего собственнаго счастія. Да сохранитъ его вамъ Богъ во всей его чистотѣ для васъ самихъ, и для нашего общаго отечества. Мое далось мнѣ такимъ, какого я всегда желалъ въ поэтическіе дни молодости; но мнѣ суждено было встрѣтить его уже подъ старость. Когда я звалъ его, оно отъ меня убѣгало; когда переставъ его искать и добровольно

простился съ желаніемъ найти его, оно явилось мнѣ незваное, и мое сердце вполнѣ довольно своею находкою.

Вотъ исторія послѣднихъ дней моихъ. 2 [14] мая покинулъ я Петербургъ и 16 [28] былъ уже въ Ганау, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ ровно за семь мѣсяцевъ, 16 [28] октября 1840, простился со своею молодою невѣстою. Я ночевалъ въ Ганау и на другой день съ особеннымъ наслажденіемъ проснулся въ той горницѣ, гдѣ послѣднее мое пробужденіе было такъ тяжело и печально. Окружающіе предметы живо напоминали о томъ, что я чувствовалъ тогда, а самъ я былъ такъ спокоенъ: настоящее было такъ ясно, миновавшая разлука была не иное что, какъ кончившійся сонъ. Рано по утру отправился я во Франкфуртъ и оттуда, послѣ обѣда, на паровозѣ въ Майнцъ, гдѣ надѣялся въ тотъ же вечеръ или на другой день встрѣтить свою невѣсту съ семействомъ. [Такъ мы условились, дабы потомъ немедленно ѣхать въ Штутгардъ для вѣнчанія]. Въ тотъ же вечеръ узнаю, что они на другой день, 17 [29], сбираются покинуть Дюссельдорфъ, дабы 18 [30] ввечеру быть въ Майнцѣ. Предположивъ, что они изъ Дюссельдорфа переѣдутъ въ Кёльнъ, тамъ ночуютъ и на другой день, въ одинъ переѣздъ, прибудутъ ввечеру въ Майнцъ, я рѣшился отправиться къ нимъ навстрѣчу въ Кёльнъ, занявъ горницы въ майнцкомъ трактирѣ, гдѣ оставилъ свой экипажъ и пожитки. Въ 9 часовъ утра моя быстрая знакомка «Викторія» [которая одна въ прошломъ году провожала меня въ Дюссельдорфъ] помчала меня внизъ по Рейну. Въ семь часовъ послѣ обѣда я былъ уже въ Кёльнѣ. Здѣсь судьба спасла меня отъ великаго мучительнаго безпокойства, ибо тѣ, кого я искалъ, были уже въ Боннѣ. Я прождалъ бы ихъ напрасно весь вечеръ и, не дождавшись, на другой день, въ крайнемъ недоумѣніи, отправился бы въ Дюссельдорфъ; а они бы въ то время поѣхали въ Майнцъ и, не нашедши меня тамъ, пришли бы также въ большое недоумѣніе. Но Провидѣніе охранило меня отъ этой короткой, но тяжолой муки. Въ то время, когда я стоялъ на берегу Рейна и смотрѣлъ, какъ «Викторія» сдавала своихъ пассажировъ другому пароходу, плывущему въ Дюссельдорфъ, въ ту самую минуту, какъ этотъ послѣдній тронулся, изъ толпы его пассажировъ закричалъ мнѣ голосъ: Рейтернъ съ семействомъ въ Боннѣ; онъ обѣдалъ здѣсь въ Бельвю. Изумившись, бѣгу въ означенный трактиръ; подлинно: мои дюссельдорфцы были тамъ и давно уѣхали въ Боннъ. Тотчасъ беру почтовыхъ лошадей и чрезъ полтора часа я въ Боннѣ. Но не стану вамъ описывать подробностей нашего свиданія, ибо замѣчаю, что мое письмо становится слишкомъ длинно. Если послѣдняя половина его будетъ такъ же подробна, какъ и первая, то выйдетъ книга, для васъ конечно скучная, хотя вы и дружески расположены къ ея автору.

На другой день ввечеру, довольно поздно, пріѣхали мы въ Майнцъ, а на слѣдующее утро поѣхали на пароходѣ въ Мангеймъ, откуда по желѣзной дорогѣ отправились въ Гейдельбергъ, гдѣ ночевали. Мы не успѣли доѣхать на другой день до Каштада и должны были ночевать въ Людвигсбургѣ. 21-го мая рано по утру отправились мы изъ Людвигсбурга въ Каштадъ. Признаюсь, для меня эта тревога была тяжела: съ 3-го мая по 21-е я былъ въ безпрестанномъ движеніи; ѣхавъ день и ночь, былъ утомленъ отъ дороги и жара. Пріѣхавъ въ Каштадъ въ самый день, назначенный для моей свадьбы, я не имѣлъ минуты свободной для того, чтобы войти въ себя и дать душѣ свободу заняться на просторѣ тѣмъ, что ей предстояло: надобно было ѣхать тотчасъ въ Штутгардъ, отыскивать нашего священника и въ то же время все устроить, чтобы въ одно время съ греческимъ обрядомъ могъ быть совершенъ лютеранскій. Но все уладилось скоро и легко, и Богъ далъ мнѣ насладиться этою святою минутою, которой дважды въ жизни не бываетъ, во всей полнотѣ ея святости. Въ пять часовъ

послѣ обѣда покинули мы Канштадъ. Ротенбергъ, на которомъ стоитъ церковь св. Екатерины, весьма отъ него близко. Время было прекрасное: день былъ солнечный, но не жаркій, воздухъ былъ живительный и легкій.

Церковь стоитъ на высокой горѣ, отдѣляющей ее отъ всего окружающаго, одна посреди великолѣпной окрестности, надъ которою царствуетъ величественно и тихо. Когда я подходилъ къ ней [вверхъ по вершинѣ горы], то казалось, что на свѣтѣ ничего другаго не было, кромѣ этой церкви; гора закрывала отъ глазъ окрестность, и за церковью было только небо удивительно чистое. Двери были отворены: сквозь нихъ виденъ былъ алтарь, отворенныя царскія двери и горящія въ темнотѣ его свѣчи. Когда мы вошли, и двери за нами затворились, удивительная тишина окружила насъ. Посторонняхъ не было никого, священникъ съ двумя пѣвчими, отецъ, мать и сестра моей невѣсты—болѣе никого. Отецъ держалъ вѣнецъ надъ своею дочерью; надо мной не держалъ его никто: онъ былъ у меня на головѣ. Не могу описать вамъ этой минуты, какъ бы желалъ. Что-то было вокругъ меня трогательное и глубоко-значительное. Передъ глазами растворенныя царскія двери; за ними святой мракъ высшаго міра, передъ ними свѣтлый алтарь брачный; а позади насъ отворенная дверь въ область смерти [посреди церкви находится отверстіе, покрытое рѣшеткою, сквозь которую видна гробница великой княгини-королевы Екатерины Павловны]. Все это вмѣстѣ было такъ значительно въ эту минуту, главную минуту жизни. Съ одной стороны слышалось торжественное пѣніе и приходили въ слухъ умилительныя молитвы, освящавшія жизнь, а съ другой — была столь же умилительная тишина смерти, и все это передъ входомъ въ святилище Божіе, гдѣ жизнь находитъ вѣнецъ свой, а темная тайна смерти становится знаніемъ свѣтлымъ. Когда мы вышли изъ церкви, чудесная, живая, свѣтлая природа явилась глазамъ во всемъ своемъ великолѣпіи, въ восхитительной противоположности съ тѣмъ сумракомъ, который окружалъ насъ въ церкви и такъ соотвѣтствовалъ совершавшемуся въ ней таинству. Изъ русской церкви тотчасъ перешли мы въ лютеранскую. Тамъ простая трогательная проповѣдь, яснымъ поученіемъ христіанскимъ, такъ сказать, дополнила таинство нашей церкви: къ тому, что имѣло знаменованіе высшее, присоединились практическія правила жизни, правила, глубоко трогающія душу, когда ихъ слышишь передъ алтаремъ въ такую минуту, когда въ нихъ выражается судьба всего здѣшняго будущаго.

Въ Канштадѣ пробыли мы всѣ вмѣстѣ до ночи; потомъ разстались. Я съ женою отправился въ Вильдбадъ [теплыя воды на баденской границѣ Виртембергскаго королевства], куда и пріѣхали мы часовъ въ 12 утра; а отецъ, мать и сестра жены, переночевавъ въ Канштадѣ, поѣхали обратно въ Дюссельдорфъ, дабы тамъ приготовить къ нашему прибытію наше жилище. Моей вильдбадской совершенно уединенной жизни я не стану вамъ описывать, ибо нечего описывать: двѣ недѣли прошли для меня какъ одинъ день. Но эти двѣ недѣли, бѣдныя происшествіями, оставятъ неизгладимый слѣдъ на все мое будущее. Прелесть того счастія, которое я испыталъ въ продолженіе ихъ, не заключается въ его новости. Нѣтъ, я спокойно и ясно убѣдился, что въ женѣ своей получилъ изъ рукъ Божіихъ все, что мнѣ надобно. Это убѣжденіе основано не на мечтѣ воображенія, но на совершенномъ сродствѣ чувствъ и мыслей, и это сродство становится часъ отъ часу тѣснѣе; благодаря ему, я беззаботно вѣрю своему счастію. Будущее въ рукѣ Божіей; но если ему будетъ угодно сохранить мнѣ жизнь и не отнять у меня даннаго имъ мнѣ товарища, то счастіе мое не перемѣнится. Могутъ перемѣниться одни обстоятельства, отъ насъ не зависящія; но это будутъ только испытанія, а испытаній въ жизни по настоящему бояться не должно. Что жизнь безъ испытаній?

Въ испытаніяхъ душа созрѣваетъ и укрѣпляется. Житейскія испытанія суть языкъ, которымъ Богъ говоритъ съ человѣкомъ; наше дѣло понимать этотъ языкъ и, если можно, достойнымъ образомъ отвѣчать тому, кто на немъ говоритъ нашему сердцу и разуму.

Оканчивая письмо мое, обращаюсь къ вамъ, мой милый великій князь. Въ тишинѣ моего теперешняго мирнаго, смиреннаго семейнаго счастія благодарю Бога за то, что онъ даровалъ мнѣ его чрезъ васъ и что я съ настоящимъ моимъ счастіемъ могу соединить благодарность къ моему милостивому императору, благодарность къ императрицѣ, которая всегда была и навсегда останется моимъ идеаломъ [ибо я коротко знаю свѣтлую, высокую душу ея]; наконецъ, особенно благодарность къ вамъ, которому столько времени съ самоотверженною любовію была посвящена жизнь моя. Безъ этого послѣдняго чувства конечно никакое земное счастіе не могло бы быть для меня удовлетворительно. Но я знаю, что вашей обо мнѣ заботливости обязанъ я тѣмъ покоемъ, тою вѣрностію моего будущаго, кои составляютъ основаніе моего настоящаго счастія, и воспоминаніе объ васъ безпрестанно сливается съ ощущеніемъ этого счастія и оживляетъ его. Я не смѣю безпокоить государя императора личнымъ письмомъ къ его величеству; но прошу васъ быть за меня выразителемъ предъ нимъ той глубокой благодарности къ нему, которая навсегда будетъ жить въ моей душѣ и кончится только въ часъ смертный; благодарности за прошедшее: онъ съ довѣренностію отворилъ мнѣ дверь въ свое семейство и далъ мнѣ средства въ теченіе двадцати лѣтъ жить высокою жизнію; благодарности за настоящее: мое семейное счастіе есть даръ благотворной руки его; благодарности за будущее: его же царской милости обязанъ я тѣмъ, что никакая тревога о будущемъ не нарушаетъ моей теперешней жизни. Дай Богъ, чтобы я могъ остальные годы ея употребить такъ, чтобы они остались не безъ пользы и для отечества. Первые два года изъ нихъ будутъ употреблены на то, чтобы самымъ ограниченнымъ образомъ утвердить домашній порядокъ и сжиться съ семейнымъ бытомъ; потомъ.... потомъ что Богъ велитъ! Оканчиваю сердечною молитвою, чтобы то, что вы теперь имѣете, было долго, долго сохранено для васъ неизмѣннымъ. Для вашего будущаго царскаго счастія да сбережетъ Богъ жизнь государя — вашего учителя, и въ то же время да проникнетъ вашу душу свѣтомъ справедливости и теплотою милосердія; для вашего личнаго человѣческаго счастія да оградитъ отъ всякаго зла ваше семейство. Святость семейной жизни есть основа прочнаго счастія, то же святилище сердца, подпора въ печали, освященіе мыслей; все это вамъ теперь дано. Сохраните это благо для себя и для Россіи. Ваша душа способна любить все прекрасное и высокое, и для этого вы теперь имѣете надежнаго товарища.

Простите, безцѣнный великій князь; прошу васъ принести мою душевную благодарность государынѣ великой княгинѣ за милостивое обо мнѣ воспоминаніе. Смѣю быть увѣреннымъ, что она мнѣ сохранитъ и на будущее время свою милость; а моя привязанность къ ней, соединенная съ искреннимъ уваженіемъ ея высокихъ качествъ, неизмѣнна. Вашего императорскаго высочества вѣрный до гроба Жуковскій.

Дюссельдорфъ. 18/1 августа 3/13. [день моей поминки].

При своемъ прощаніи съ вашимъ высочествомъ я просилъ васъ о принятіи подъ ваше особенное покровительство молодаго Рейтерна [теперь моего родственника], служащаго въ кирасирскомъ полку, носящемъ имя вашего высочества. Онъ совершенно не имѣетъ никакихъ средствъ себя поддерживать, и недавно умеръ отецъ его [родной братъ моего тестя]. Вы обѣщали милостиво обратить на него ваше вниманіе. Прошу васъ снова о Рейтернѣ. При отъѣздѣ моемъ генералъ Веймарнъ обѣщалъ мнѣ переговорить съ вашимъ

высочествомъ объ этомъ дѣлѣ; не знаю, удалось ли ему это исполнить.

Здѣсь прилагаю письмо ко мнѣ отъ Шадова, директора здѣшней академіи, которому вы при вашемъ проѣздѣ черезъ Дюссельдорфъ заказали картину. Онъ желаетъ перемѣнить сюжетъ ея; показывалъ мнѣ рисунокъ, и я нахожу, что послѣдній сюжетъ лучше перваго. Позволите ли это сдѣлать?

VI.

Съ живѣйшимъ чувствомъ прочиталъ я письмо вашего высочества и благодарю васъ отъ всего сердца за то, что вы его мнѣ написали; благодарю за раздѣленіе со мною вашей надежды, которую да благословитъ Богъ для вашего счастія и для счастія нашего отечества. Вполнѣ понимаю, что̀ вы теперь должны чувствовать и какое освященіе долженъ былъ получить для васъ теперь союзъ супружескій. Итакъ, черезъ семь мѣсяцевъ? Это должно быть въ іюлѣ. Съ сердечною молитвою къ Богу объ васъ буду ожидать этого срока. Уже второе поколѣніе началось около государя; онъ радуется внуками. Но внукъ ему отъ васъ—какое благословеніе Божіе ему и всему царству!

О себѣ мнѣ вамъ сказать совершенно нечего: жизнь моя тиха и однообразна; она не выходитъ изъ тѣсной границы моего домика. Я принялся опять за поэтическую работу и предпринялъ довольно трудную, которая всегда мнѣ представлялась, какъ заключительная, послѣдняя, и обѣщала мнѣ много наслажденія. Я принялся за Гомерову Одиссею, которую, съ помощію знающаго весьма хорошо греческій языкъ профессора, перевожу съ оригинала. Этотъ трудъ приличенъ моимъ лѣтамъ, въ которыя нѣтъ уже въ насъ прежняго огня, но въ которыя мы еще очень хорошо можемъ разсказывать. Переводъ Одиссеи, если онъ удастся, будетъ памятникомъ, достойнымъ отечества и который, какъ вы видите, хочу я оставить ему на своей могилѣ. Трудъ этотъ весьма пріятно меня занимаетъ; его довольно будетъ, чтобы наполнить все то время, которое я предполагаю провести съ женою моею за границей, и мнѣ будетъ очень радостно возвратиться въ отечество съ новымъ поэтическимъ произведеніемъ, не совсѣмъ недостойнымъ его вниманія. Я назвалъ вамъ свой главный или, лучше сказать, свой единственный трудъ; остальное время мое исключительно посвящено домашней жизни, и ничто постороннее въ нее не входитъ. Нынѣшній день, однако, будетъ отъ другихъ отличенъ: мы ждемъ сегодня ввечеру прусскаго короля. Много было приготовленій для его принятія, но все отказано, ибо король, по своей болѣзни, остановится только для минутнаго отдыха въ Дюссельдорфѣ и никого не увидитъ. Нынче ввечеру онъ въ самомъ маленькомъ кругу будетъ ужинать у принцессы Фридрихъ; а завтра, взглянувъ на выставку картинъ здѣшней школы, для него приготовленную, отправится далѣе. Надѣюсь увидѣть его на выставкѣ. Болѣзнь его есть легкая простуда, но докторъ требуетъ осторожности.

Простите, ваше высочество. Прошу васъ изъявить передъ государынею великою княгинею мое глубочайшее почтеніе. Да сохранитъ Богъ ея драгоцѣнное здоровье!

Я хотѣлъ непремѣнно нынче написать къ вамъ отвѣтъ на письмо ваше, принесшее мнѣ такую вѣсть: нынче день моего рожденія, сколько лѣтъ сряду я его праздновалъ подлѣ васъ! Надѣюсь, что вы обо мнѣ въ этотъ день вспомнили.

Моя жена, которая все еще не оправилась отъ того, что съ нею было, приноситъ вашему высочеству сердечную благодарность за милостивое о ней воспоминаніе. Жуковскій.

29 января 1842. Дюссельдорфъ.

Въ самый день новаго года пишу къ вашему императорскому высочеству, чтобы отъ всей души принести вамъ свое поздравленіе и словами выразить безпре-

стаинное желаніе мое, чтобы ваша милая мнѣ жизнь была осыпана благословеніями свыше на долгіе, долгіе годы. Прошу васъ принести отъ меня мое всеподданнѣйшее поздравленіе ихъ императорскимъ величествамъ. Надѣюсь, что вы успѣли еще до новаго года прибыть въ Петербургъ и встрѣтили его вмѣстѣ со всѣмъ своимъ семействомъ и все дома нашли по сердцу и что ваши два ангела весело выпрыгнули къ вамъ навстрѣчу изъ своихъ колыбелей.

На сихъ дняхъ, по желанію государыни великой княгини, отправляю къ ея высочеству въ Дармштадтъ цѣлый ящикъ съ рисунками здѣшнихъ живописцевъ; надѣюсь, что нѣкоторые будутъ ей угодны. Самъ же начинаю готовиться къ своему переселенію во Франкфуртъ, которое становится нужнымъ для здоровья жены и которое послѣдуетъ вѣроятно около вашего возвращенія въ Дармштадтъ. Желалъ бы, однако, знать съ точностію, когда ваше высочество располагаетесь туда возвратиться.

Вмѣсто подарка на новый годъ хочу принести вашему высочеству просьбу, какой, можетъ быть, вы и во снѣ бы отъ меня не ожидали. Вотъ какая эта просьба: не почитайте меня католикомъ. Съ чего могла она придти мнѣ въ голову? спросите вы. Вотъ съ чего. Черезъ Парижъ узналъ я, что въ Петербургѣ, и именно при дворѣ, ходятъ толки, будто я сдѣлался католикомъ. Это пишетъ въ Парижъ дама, которая могла это слышать своими ушами. Извѣстіе такое меня разсмѣшило. Но хотя я и смѣло увѣренъ, что такіе сумасбродные толки не могутъ имѣть вліянія на мнѣніе обо мнѣ государя императора, все долженъ изъ этого заключить, что есть какой-нибудь тайный врагъ, который хочетъ мнѣ повредить, мнѣ, который ни къ кому вражды не имѣю. Прошу васъ защитить меня противъ дѣйствій этой тайной вражды. Мы съ вами были вмѣстѣ въ Римѣ; вы сами видѣть могли, что я былъ довольно равнодушенъ къ папѣ; еще менѣе могу влюбиться въ него заочно. А безъ романической страсти къ папѣ нельзя сдѣлаться католикомъ. Но въ шестьдесятъ лѣтъ не могу уже бояться, чтобы подобная страсть овладѣла моимъ сердцемъ. Другими же доказательствами убѣждать васъ вѣрить, что я не католикъ и не могу быть католикомъ, было бы для меня неприлично, а для васъ смѣшно и скучно. Итакъ, dixi одинъ разъ навсегда.

Моя жена, дочь, Рейтернъ и все его семейство приносятъ вашему высочеству ихъ усерднѣйшія поздравленія. Повѣрьте, что ни въ какой семьѣ русской не можетъ быть болѣе теплой любви къ вамъ, болѣе благодарнаго благоговѣнія къ царю и его дому, какъ въ моей. Сохрани Богъ ваше и ихъ драгоцѣнное здоровье и счастіе. Жуковскій.

¹/₁₃ января 1844. Дюссельдорфъ.

Послѣднія строки вашего письма заставили меня крѣпко задуматься. Вы выразили въ нихъ то, что давно, какъ привидѣніе, стоитъ передъ моими мыслями. Мы живемъ на кратерѣ волкана, который недавно пылалъ, утихъ и теперь снова готовится къ изверженію. Еще первая лава его не застыла, а уже новая клокочетъ въ его внутренности и скоро, скоро разольется. Одна революція кончилась, другая готова вступить въ ея колеины. И замѣчательно то, что послѣдняя, то есть та, которая намъ грозитъ, въ своемъ ходѣ наблюдаетъ тотъ же порядокъ, какой наблюдала первая, несмотря на различіе ихъ характеровъ. И та и другая сходны въ своихъ проявленіяхъ. И теперь, какъ тогда, начинаютъ [или уже давно начали] съ потрясенія главной основы порядка—съ религіи. Но теперь дѣйствуютъ уже смѣлѣе и шире. Тогда стороною потрясали вѣру, проповѣдуя терпимость; теперь нападаютъ на всякую вѣру и нагло проповѣдуютъ безбожіе. Тогда подкапывали втайнѣ христіанство, вооружаясь, повидимому, противъ злоупотребленій церковной власти; теперь вопіютъ съ кровель, что и христіанство, и церковь, и власть церковная, и всякая власть суть

злоупотребленія. Какая цѣль теперешнихъ реформаторовъ? [Я говорю о тѣхъ, которые искренно желаютъ лучшаго, искренно вѣруютъ въ дѣйствительность и въ благотворность своихъ умозрѣній]. Какая цѣль теперешнихъ реформаторовъ, вступающихъ въ тотъ же путь, которымъ шли ихъ предшественники [а куда привелъ этотъ путь, мы видѣли съ содроганіемъ и знаемъ, что желанное лучшее нигдѣ на немъ не встрѣтилось]? Какая цѣль теперешнихъ реформаторовъ? Этого и сами они ясно не видятъ. Весьма вѣроятно, что многіе изъ нихъ сами себя обманываютъ и, идя впередъ съ знаменами, на которыхъ сіяютъ слова нашего вѣка: впередъ, свобода, развитіе, человѣчество, — сами увѣрены, что путь ихъ прямо ведетъ въ обѣтованную землю. И, можетъ быть, суждено имъ, какъ и многимъ изъ ихъ предшественниковъ, содрогнуться на краю или на днѣ той бездны, которая скоро подъ ними и подъ нами разверзнется.

Но позади сихъ ослѣпленныхъ, фанатическихъ проповѣдниковъ идеальнаго лучшаго и движенія впередъ, дѣйствующихъ открыто, таясь за плечами ихъ, потаенно дѣйствуютъ, пользуясь ихъ указаніями, другіе, уже не ослѣпленные, зная, чего хотятъ и куда идутъ. Теперь дѣло [ихъ дѣло] идетъ уже не о преобразованіи политическомъ, не о разрушеніи вѣковыхъ привиллегій и созданій историческихъ [это уже совершено прежнею революціею], а просто о уничтоженіи различія между твой и мой или, лучше сказать, о превращеніи твоего въ мое. Аристократія уничтожена въ пользу средняго состоянія [bourgeoisie], говорятъ новѣйшіе историки, напр. Луи Бланъ; среднее состояніе должно уступить народу. Что же этотъ народъ, если исключить изъ него высшій и средній классъ, которые, какъ утверждаютъ, должны уступить ему?—Толпа пролетаріевъ, которымъ нужно имѣть чужое, дабы имѣть что-нибудь свое. И уже провозглашено, во услышаніе всѣмъ, великое правило, правило практическихъ реформаторовъ, извлеченное изъ доктринъ новѣйшей философіи и весьма понятное ученикамъ ея въ лохмотьяхъ: la propriété c'est le vol. И для утвержденія въ умахъ этого правила все сдѣлано. Главное разрушеніе антирелигіозное произведено доктринами разврата въ классѣ низшемъ. Туда, гдѣ царствуетъ нужда, огорчающая и раздражающая душу, голосъ искушенія, проповѣдующій ненависть, хищничество, отверженіе всякой власти, презрѣніе долга и отверженіе Божія Промысла, проникаетъ съ быстротою смертоносной чумы и тѣмъ быстрѣе, что всѣ предохранительныя и цѣлительныя средства противъ заразы напередъ уничтожены и что безсмысліе невѣжества съ жадностію принимаетъ ученіе, столь благопріятное страстямъ и потворствующее раздраженію, производимому бѣдствіями жизни, противъ которыхъ ничто не даетъ уже душѣ ни твердости, ни смиренія. Это всеобщее отверженіе всякой святыни называется свободою, движеніемъ, торжествомъ человѣчества, освобожденіемъ разума... Но что бы была Европа, когда бы въ 1847 году повторился голодный 1846 годъ? Какой бы набатъ загремѣлъ повсюду! И что бы произвело все это всеобщее бѣдствіе, которое вдругъ ослѣпило бы всѣхъ и каждаго? Что произвело бы это движеніе впередъ?.. Мы въ рукѣ Божіей. Это не значитъ, что онъ отвратитъ отъ насъ бѣдствіе. Нѣтъ, это значитъ только то, что все посылается имъ и что мы во всякую минуту бытія нашего можемъ только одно: признавать его волю и что каждый на своемъ мѣстѣ [что бы на насъ ни было ниспослано] долженъ дѣйствовать согласно съ этою волею, то есть по правдѣ. Это вы знаете, это живетъ у васъ въ сердцѣ; Богъ поможетъ и вамъ, и царю нашему, когда настанетъ трудное время.

Ваше порученіе было мною сообщено Лидену. Онъ проситъ меня изъяснить вашему высочеству его сердечную благодарность за ваше къ нему благорасположеніе. Онъ увѣренъ, что, окончивъ свое здѣсь лѣченіе, будетъ готовъ къ назначенному вами сроку

17 [29] февраля [1848].

То, что̀ мною написано въ этомъ письмѣ о возможности и близости переворота, было написано про себя за нѣсколько передъ этимъ времени. Я хотѣлъ переписать эту статью въ отвѣтъ на ваше письмо, и отъ этого отвѣтъ мой былъ нѣсколькими днями задержанъ. И что же теперь я долженъ писать вамъ вмѣсто postscriptum'а? Вотъ уже четыре дни, какъ дошло до насъ страшное извѣстіе. Лава льется волнами; все опрокинуто, и чего еще ждать въ Германіи? Въ извѣстіяхъ, здѣсь полученныхъ, нѣтъ ничего точнаго. Въ эту минуту, когда пишу, стоитъ еще въ Journal de Francfort, что извѣстіе, полученное Ротшильдомъ о контръ-революціи, произведенной О. Баро и Ляморисьеромъ въ пользу Людовика Филиппа II-го, еще не опровергнуто. Но невѣроятно. Движеніе слишкомъ сильное и повсемѣстное. Теперь держись, Рейнъ! Держись, Австрія! Теперь въ нѣсколько часовъ дѣлаются измѣненія всемірныя.

Что мы прожили въ послѣдніе три мѣсяца? И въ какихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ родилось это новое чудовище революціи. Франція вся за одно и сильна; вся поднялась твердою массою; слѣва и справа огорожена вѣрными союзниками: тамъ Бельгія [гнѣздо радикализма] и Данія, которая за гарантію Шлезвига подастъ руку противъ Германіи; а здѣсь вся Италія и Швейцарія съ Ломбардіею, которая вся теперь загорится; и вся эта масса противъ Германіи, очумленной вездѣ радикализмомъ, гдѣ всюду противъ порядка и власти, противъ монарховъ и непадежныхъ армій бунтуютъ тайно и явно всѣ состоянія и громко выражаютъ свой голосъ печатно журналами и брошюрами, которыхъ сила въ такую минуту неимовѣрна.

Что скажетъ, смотря на это, государь? Просвѣти Богъ его царскую высокую душу! Болѣе нежели когда-нибудь утверждается въ душѣ моей мысль, что Россія посреди этого потопа [и кто знаетъ, какъ высоко подымутся волны его] есть ковчегъ спасенія, и что она будетъ имъ не для себя одной, но и для другихъ, если только посреди этой бездны поплыветъ самобытно, не бросаясь въ ея водоворотъ, на твердомъ кораблѣ своемъ, держа его руль и не давая волнамъ собою властвовать. Я не политикъ и не могу имѣть довѣренности къ своимъ мыслямъ; но кажется мнѣ, что намъ въ теперешнихъ обстоятельствахъ надобно китайскою стѣною отгородиться отъ всеобщей заразы. Мнѣ кажется, что Промыслъ въ этомъ событіи выражаетъ ясно и теперешній долгъ, и будущую судьбу Россіи: она есть отдѣльный, самобытный міръ, въ самой себѣ она тверда и неприкосновенна; устремленная на внѣшнее, она только можетъ растратить свои силы и чужимъ потрясеніемъ разрушить свое собственное зданіе.

1-го марта.

Мое письмо лежитъ; не спѣшу отправлять: хочу знать, что будетъ; хочу собраться съ мыслями. Но это почти невозможно: что думаешь нынче, противно тому, что̀ думалъ вчера.

Въ эти дни уже многое рѣшительное совершилось. Кажется однако, что событіе во Франціи произвело менѣе пагубное дѣйствіе на умы, нежели какъ было можно бояться: съ революціонными надеждами оно пробудило и чувство національности; пробудились и воспоминанія прежней французской революціи и ужасовъ французскаго владычества. Сами демагоги искреннѣе, то есть тѣ, которые строятъ теоріи и сами имъ вѣрятъ, видятъ необходимость союза народовъ съ ихъ государями. Теперь еще есть минута, благопріятная для послѣднихъ; ибо всѣ, хотя нѣсколько здравомыслящіе, чувствуютъ, что теперь дѣло идетъ не о спорѣ за нѣкоторыя права, которыхъ требованіе произведено бурнымъ духомъ времени, а о борьбѣ за бытіе политическое, за независимость. Должны и могутъ быть сдѣланы уступки съ обѣихъ сторонъ, пока не успѣли восторжествовать демагоги-разбойники, пока не всколыхнулась чернь,

пока не разлилась чума по арміямъ. Надобно спѣшить воспользоваться этою минутою, воспользоваться энергически. Пошли Богъ свой свѣтъ правителямъ и управляемымъ!

На томъ пунктѣ, гдѣ теперь я, все спокойно. Франкфуртъ самъ себя держитъ. Но кругомъ все въ волненіи, и безпрестанно приходитъ множество тревожныхъ слуховъ. Говорятъ, что въ Висбаденѣ жители столицы потребовали оружія, чтобы составить городскую милицію. Герцога нѣтъ здѣсь; онъ въ Берлинѣ. Оружіе выдано, чтобы избѣжать смутъ, и всѣ успокоены обѣщаніемъ, что требованія гражданъ будутъ исполнены по возвращеніи герцога. Изъ Майнца ходили граждане [числомъ 200] въ Дармштадтъ съ петиціями о дарованіи имъ свободы книгопечатанія, милиціи гражданской и суда присяжныхъ; они спокойно возвратились назадъ, ибо имъ сказали, что гросгерцогъ боленъ и что имъ будетъ данъ благопріятный отвѣтъ по возвращеніи наслѣднаго принца. Во всемъ этомъ пока одни только тревожные симптомы. Но въ Баденѣ идетъ гораздо хуже: тамъ, какъ слышно, совершенное возмущеніе. Въ эту минуту слышу [и этотъ слухъ вѣренъ], что, несмотря на уступки, сдѣланныя герцогомъ и произведшія всеобщую радость, начались непомѣрныя, недопустимыя требованія; что толпою бунтовщиковъ предводительствуютъ Геклеръ и Штруве и что дѣло идетъ уже о томъ, чтобы свергнуть съ престола герцога; что даже было покушеніе на его жизнь, но что заговоръ открытъ и злоумышленники [кто же? — воспитанники политехнической школы] взяты. Это послѣднія вѣсти. Къ нимъ надобно присоединить еще одну, весьма огорчительную: Невшатель въ полномъ возмущеніи. Правда ли, не знаю.

Теперь у всѣхъ благомыслящихъ одно желаніе и одна надежда чтобы германская діэта вошла наконецъ въ свою жизнь и получила свою, ей принадлежащую, силу. Спасеніе Германіи въ одномъ только: единство и твердость внутренняго союза между государствами, а въ государствахъ между народами и государями. Этотъ союзъ вдругъ произведетъ діэта, если она рѣшительно займется національными, живыми вопросами для успокоенія внутренняго и энергически возьметъ свои мѣры противъ врага внѣшняго. Всѣ здѣсь ждутъ, что король прусскій станетъ впереди. Что бы то ни было, рѣшительныя мѣры должны быть взяты безъ всякаго замедленія.

5-го марта.

Герцогъ Нассаусскій пріѣхалъ вчера. Здѣсь, во Франкфуртѣ, проводили его до желѣзной дороги крикомъ и свистомъ. Онъ, какъ слышно, говорилъ самъ съ народомъ, обѣщалъ исполненіе требованій [которыя, впрочемъ, уже были до него принужденно исполнены] и теперь тамъ, то есть въ Висбаденѣ, должно быть столько спокойно, сколько это можно въ теперешнихъ обстоятельствахъ. Слухи о Баденѣ были нѣсколько преувеличены; но и того, что уже есть, довольно. Возмущеніе утушено; городовая милиція стережетъ городъ; были попытки зажигательства: домъ министра зажженъ, зажгли было деревья въ дворцовомъ паркѣ, но ихъ затушилъ Божій дождь. Думать можно, что теперь все здѣсь поутихнетъ; но надолго ли? Что будетъ эхомъ здѣшняго волненія въ другихъ областяхъ Германіи? Думать должно, что есть заговоръ всеобщій и что его сѣть широко раскинута, ибо во всѣхъ дѣйствіяхъ замѣтно какое-то единство.

А наша святая Россія? Мы стоимъ внѣ всего этого пространства, тревожимаго теперь землетрясеніемъ; мы тверды нашими внутренними силами и богаты будущимъ, но тверды у себя, а не внѣ нашихъ предѣловъ. Ходъ Европы не нашъ ходъ; что мы у нея заняли, то наше; но мы должны обработывать его у себя, для себя, по своему, не увлекаясь подражаніемъ, не слѣдуя движенію Запада, но и не вмѣшиваясь въ его преобразованіе. Въ этой отдѣльной самобытности вся сила Россіи. Она—представитель чистаго патріархальнаго монархизма. Самодержавіе въ его полномъ благотворномъ развитіи

есть ея доля, самодержавіе безъ всякой примѣси произвола. Да утвердитъ его Богъ въ рукѣ царя! Оно нѣкогда дало твердость Россіи и слило ея части; оно и предохранитъ ее отъ паденія.

6-го марта.

Въ Висбаденѣ все кончилось хорошо. Что значитъ хорошо? То, что герцогъ успѣлъ пріѣхать во-время; если бы двумя часами онъ промедлилъ, то Германія увидѣла бы здѣсь заразительный примѣръ республики. Какъ бы онъ подѣйствовалъ на остатокъ ея, кто теперь угадаетъ? Въ настоящую первую минуту [которая не уступитъ никакой силѣ], государямъ Германіи должно избѣжать дѣйствій незапнаго шквала и собрать паруса, дабы не погибъ корабль. Всѣ донынѣ сдѣланныя уступки Баденомъ, Дармштадтомъ и Нассау не могли не быть сдѣланы: не было никакой силы отразить требованія; всѣ силы правительствъ были парализованы. Но бытіе и надежда на лучшее спасены. Здѣсь многіе такъ разсуждаютъ: «Германія не Франція. Реакція благоразумія и трезвости скоро послѣдуетъ; надобно только дать время одуматься и въ первую минуту спастись отъ полнаго разрушенія: скоро всѣ станутъ стѣною за порядокъ; станутъ сами; но въ эту минуту всякая противуборствующая сила произведетъ только всеобщее раздраженіе и не дастъ умамъ свободы отрезвиться. Реакція послѣдуетъ [если только не сдѣлано будетъ какой бѣдственной ошибки, а теперь всякая ошибка есть искра въ порохъ]; но какая реакція? Приведеніе въ порядокъ того, что спасено отъ землетрясенія и пожара. Что пропало, то пропало. Прежняя власть, въ томъ смыслѣ, въ какомъ она была прежде, потеряна невозвратно. Надобно сдѣлать наилучшее употребленіе изъ того, что осталось. Теперь спасеніе состоитъ въ искреннемъ союзѣ власти побѣжденной съ лучшею стороною власти побѣдившей, дабы худшая не восторжествовала надъ обѣими и съ ними не погубила всего европейскаго гражданскаго общества. Не надобно думать объ интересѣ отдѣльномъ, надобно составить общую компактную хранительную власть, дабы произвесть перекѣсъ на сторонѣ возможнаго лучшаго, дабы элементъ разрушительный былъ изолированъ. Теперь всѣхъ глаза обращены на короля прусскаго. Къ его характеру имѣютъ довѣренность; если онъ станетъ впереди движенія и съ нимъ тѣснымъ союзомъ соединится, то еще можетъ произойти скоро возможно-лучшій порядокъ: на первый случай Германія избавится отъ раздвоенія, и противъ Франціи [которую надлежитъ оставить неприкосновенно кипѣть въ котлѣ своемъ] сохранится крѣпкая сила, основанная на общемъ національномъ чувствѣ Германіи. Въ противномъ случаѣ раздробленіе неизбѣжно, и его слѣдствія будутъ ужасныя».

Такъ разсуждаютъ здѣсь всѣ умѣренные. Я счелъ за долгъ сообщить вамъ эти мнѣнія, не зная самъ, что сказать pro и contra. Возможность реакціи доказываетъ мнѣ, однако, маленькій нашъ Франкфуртъ. И здѣсь, по примѣру Бадена, Дармштадта и Висбадена, сочли за нужное предложить правительству тѣ же требованія. [Правда, они были сдѣланы принужденно и самими предлагателями, которые чувствовали, что надлежитъ сдѣлать демонстрацію согласную со всѣми, дѣлаемыми кругомъ, дабы не навлечь на себя опаснаго негодованія]. Было собраніе, говорили рѣчи, шумѣли, наконецъ составилось предложеніе сенату по образу и по подобію всѣхъ прочихъ. Сенатъ его принялъ, и все поутихло. Но въ городѣ было волненіе не отъ жителей [здѣсь нѣтъ пролетаріевъ, которые теперь вездѣ самый опасный элементъ возмущенія], а отъ толпы всякой сволочи, собравшейся изъ окрестностей и безъ всякаго сомнѣнія подкупленной, ибо у многихъ одѣтыхъ въ лохмотье найдены деньги и оружіе. Третьяго дня вся эта сволочь до ночи шумѣла предъ ратушею. Городовое войско было собрано и слушало спокойно крикотню, не вступаясь ни во что; къ счастію, мясники, собравшіеся у каѳедральной церкви,

на которой виситъ набатный колоколъ, не дали овладѣть имъ. Ввечеру покусились было нѣкоторые ворваться на колокольню; ихъ прогнали. Но этотъ мятежъ раздражилъ гражданъ, которые всѣ вооружились противъ толпы въ лохмотьяхъ и пристали къ городскому войску. Правительство взяло спокойно свои мѣры [ибо оно въ полномъ согласіи съ гражданами, которые теперь составляютъ его вооруженную надежную силу], и теперь все стало здѣсь совершенно спокойно; и время, главный и самый могучій союзникъ въ настоящую эпоху, выиграно.

А наша святая Россія! О, она тверда собственною силою. Она еще не заражена тѣмъ тифусомъ, который теперь свирѣпствуетъ въ политическомъ тѣлѣ всей Европы! Ея сила стоитъ на святомъ вѣковомъ фундаментѣ самодержавія, и она устоитъ на немъ, если самодержавіе само своимъ могуществомъ не ослабитъ себя. У насъ еще нѣтъ пролетаріевъ; есть искусственные пролетаріи; но правительство, которое само произвело ихъ, можетъ легко ихъ и уничтожить. Необходимость самодержавія есть всеобщее народное убѣжденіе; оно еще не потрясено никакими вредными вліяніями [хотя и есть у насъ нѣсколько очумленныхъ, но они безъ вліянія и голоса].

Окруженный этою бездною волненій, въ которую бросили меня обстоятельства, смотрю съ ободрительною надеждою на Востокъ нашъ, гдѣ сіяетъ самобытное величіе Россіи, смотрю на колонну Александрову, на которой такъ твердо стоитъ ангелъ, побѣдитель змѣя, и повторяю то, что сказалъ въ ту минуту, когда открылась передъ нами эта колонна, эмблема прошедшаго и будущаго: «Не вся ли это Россія? Россія, прежде безобразная скала, набросанная медленнымъ временемъ, мало-по-малу, подъ шумомъ древнихъ междоусобій, подъ громомъ половецкихъ набѣговъ, подъ гнетомъ татарскаго ига, въ бояхъ литовскихъ, сплоченная самодержавіемъ, слитая воедино и обтесанная рукою Петра, и нынѣ стройная, единственная въ свѣтѣ своею огромностію колонна? И ангелъ, вѣнчающій эту колонну, не то ли онъ знаменуетъ, что дни боеваго созданія для насъ миновались, что все для могущества сдѣлано, что завоевательный мечъ въ ножнахъ и не иначе выпадетъ изъ нихъ, какъ для сохраненія; что наступило время созданія мирнаго; что Россія, все свое взявшая, нынѣ безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страхъ, а стражъ породившейся съ нею Европы, вступила нынѣ въ новый періодъ бытія своего, въ періодъ развитія внутренняго, твердой законности, спокойнаго пріобрѣтенія всѣхъ истинныхъ сокровищъ гражданской жизни: что, опираясь всѣмъ западомъ на Европу [но не завися отъ ея вліянія], всѣмъ югомъ на богатую Азію, всѣмъ сѣверомъ и востокомъ на два океана, богатая и добрымъ народомъ, и землею для тройнаго народонаселенія, и всѣми дарами природы для живой промышленности, она, какъ удобренное поле, кипитъ брошенною въ ея нѣдра жизнію и готова произрастить богатую жатву гражданскаго благоденствія, вѣренная самодержавію, которымъ нѣкогда была создана и упрочена ея сила и котораго символъ нынѣ открытъ передъ нею царемъ ея въ лицѣ сего крестоноснаго ангела; а имя его Божія правда.»

Мое письмо, то есть начало моего письма, покажется вашему высочеству сумасшествіемъ; но я не хотѣлъ выбросить этого начала, дабы сохранить моему письму его странно-религіозную особенность: оно начинается спокойнымъ разсужденіемъ о возможности и черезъ три строки послѣ написаннаго объ этой возможности, уже стоитъ описаніе самаго событія, всякое ожиданіе превзошедшаго... О, судьба человѣческихъ созданій! Не читайте моей, теперь ненужной, болтовни, но сохраните этотъ листокъ, на которомъ между двумя строками умѣстились въ одно мгновеніе вѣковыя происшествія.

Послѣ всего этого долженъ я на минуту обратить ваше вниманіе на меня.

Если бы были у меня крылья, я бы давно уже былъ въ Россіи; но ихъ нѣтъ. Жена лежала до сихъ поръ въ постелѣ; дорогъ нѣтъ ни водою, ни сушею; надобно выжидать, что будетъ, спокойно отдавъ себя въ волю Божію. Чувствую, что теперь мое мѣсто при васъ; но могу ли здѣсь бросить семью мою, больную жену съ двумя ребятишками? Бѣдная, бѣдная моя жена; она ожидала себѣ исцѣленія отъ Эмса; но будетъ ли возможно ей исполнить эту надежду? Прошу васъ оказать мнѣ великую милость и представить объ этихъ обстоятельствахъ моихъ государю императору. Что повелитъ онъ, то и будетъ исполнено. Цѣлую вашу милую руку. Жуковскій.

Не буду ничего новаго вамъ описывать; ибо знаю только то, что слышу кругомъ себя, и не позволяю себѣ ни въ чемъ явнаго участія показывать; намъ русскимъ должно быть теперь въ сторонѣ. Жалѣю о всѣхъ нашихъ русскихъ, которые теперь въ Парижѣ; ихъ положеніе должно быть весьма затруднительное: ни у кого нѣтъ денегъ, ибо теперь ихъ бумаги не иное что, какъ тряпки; нѣтъ дорогъ для проѣзда: вездѣ дороги ненадежны отъ множества бродягъ, а желѣзныя дороги испорчены, да еще для путешествія нужны опять деньги. Парижъ, говорятъ, пока самое спокойное мѣсто во Франціи; но долго ли это продолжится? Коммунизмъ поднялъ свою голову или, лучше сказать, свои тысячи головъ, которыя въ видѣ коммунистическихъ клубовъ зіяютъ и ревутъ по всей Франціи. А что они ревутъ? Твое теперь мое. Это текстъ ихъ всѣхъ проповѣдей. Что изъ этого будетъ? Отрезвитъ ли это Германію? И надѣяться невозможно! Опьяненіе слишкомъ сильное и всеобщее, возмутители всюду и на всѣхъ пунктахъ, и тайно и явно дѣйствующіе, не даютъ образумиться; книгопечатаніе дѣйствуетъ свободно; вездѣ и въ Германіи начнутся клубы, а власть хранительная и обуздательная парализирована. Германія падаетъ.

Съ благоговѣніемъ смотрю теперь на нашу Россію. На своемъ неприступномъ для внѣшняго врага востокѣ возвышается она теперь надъ взволнованною Европою, какъ ковчегъ, хранящій въ себѣ зародышъ новаго міра, надъ волнами потопа, поглотившаго прежній. Помоги Богъ ея царственному кормщику провести ее посреди этой бездны, не поддавшись ея волнамъ. Въ Германіи теперь всѣ кричатъ: прочь отъ Россіи; намъ не нуженъ союзъ ея, онъ намъ противенъ; мы своими силами сладимъ съ грозящею намъ Франціею. На этотъ крикъ отвѣта не нужно. Съ тою Германіею, которая рождается изъ теперешняго хаоса, у Россіи союза быть не можетъ; онъ Россіи не нуженъ. Россія сильна у себя и будетъ вдвое сильнѣе, когда все свое могущество устремитъ на свою внутренность, отгородивъ китайскою стѣною себя отъ заразы внѣшней. Къ намъ никто не придетъ, помня урокъ, данный Наполеону; мы не будемъ побѣждены внѣ границъ нашихъ, ибо не выйдемъ изъ нихъ для завоеваній; завоеванія намъ не только не нужны, но и вредны. Все, что необходимо для нашей самобытности, могучей и отовсюду неприкосновенной, все у насъ есть. Наши завоеванія никогда не были чисто-завоевательными, а только образовательными пріобрѣтеніями. Всѣ попытки на всемірную монархію, начиная съ Карла Великаго до Наполеона, выходили отъ Запада. Властолюбіе не есть характеръ Россіи. Теперешнія происшествія болѣе, нежели когда-нибудь, указываютъ ей на ея судьбу и на ея будущее великое назначеніе. Самодержавіе неограниченное, отеческое самодержавіе, хранящее Божію правду, исполняющее ее для всѣхъ и каждаго, берегущее все законное, все, на что дано отъ Бога неотъемлемое право всѣмъ и каждому, самодержавіе, нѣкогда создавшее, а теперь хранящее и одно могущее сохранить сильную самобытность русскаго царства; имъ однимъ и во дни всемірныхъ бѣдствій сохранится наше великое отечество. Мы стоимъ отъ всего въ сторонѣ, стоимъ твердо; мы можемъ

обойтись безъ Европы; мы не будемъ отброшены, какъ они кричатъ, въ Азію; мы—христіане; мы заняли образованіе у Европы и употребимъ его по своему и для себя; мы можемъ не быть принадлежностію Европы. Мы будемъ ни Азія, ни Европа, мы будемъ Россія самобытная, могучая Россія, не ботъ, прицѣпленный къ кораблю европейскому, а крѣпкій русскій корабль перваго ранга, отдѣльно отъ другихъ, подъ своимъ флагомъ плывущій путемъ своимъ. Такъ мнѣ это сдается. Сохрани Богъ русскому кораблю его великаго кормщика и вложи силу свою въ руку его наслѣдника.

Скажу теперь слово о себѣ. Можете вообразить, какъ все теперь стремитъ меня въ Россію и какую тревожную жизнь я долженъ вести, находясь въ самомъ центрѣ бури. Если къ этому присоединить, то, что, будучи свидѣтелемъ всего, что кругомъ творится, я долженъ еще быть свидѣтелемъ страданій бѣдной жены моей, которыя всю послѣднюю половину зимы усилились и на которыя дѣйствуетъ весьма сильно внѣшнее, то вы получите полную идею о тягостномъ моемъ положеніи. На первый случай мнѣ нельзя тронуться изъ Франкфурта: здѣсь теперь самый спокойный и безопасный уголокъ Европы: подъ нами буря прошла; вездѣ она только болѣе и болѣе разгорается. Дороги невѣрны, пароходства еще нѣтъ; какъ везти жену больную съ двумя ребятишками такимъ путемъ? Надобно выждать благопріятнѣйшей минуты и ею воспользоваться. Причина самая рѣшительная для всей будущей моей жизни: по назначенію Коппа болѣзнь жены моей можетъ быть искоренена только Эмсомъ; наше пребываніе тамъ въ прошломъ году было для меня цѣлительно; второй курсъ поставилъ бы ее, вѣроятно, на ноги. Если я привезу ее теперь въ Россію, то все мое пребываніе за границею останется безъ результата, а моя бѣдная жена еще надолго осуждена будетъ нести крестъ болѣзни, которая всю ея физическую и нравственную жизнь уничтожаетъ. Если двѣ недѣли предъ этимъ [можно сказать за два вѣка] мой планъ былъ перевезти ее въ маѣ въ Эмсъ, а самому ѣхать въ Россію, теперь не могу подумать оставить ее здѣсь одну, посреди этого водоворота; но не могу въ эту минуту, еще не зная, что будетъ, и лишить ее спасительнаго Эмса. Если какой-нибудь устроится порядокъ до мая мѣсяца, то воспользуюсь. По доброй волѣ мнѣ желать здѣсь остаться невозможно: желаніе возвратиться въ отечество есть теперь моя болѣзнь. Тамъ все покой, устройство, безопасность, все что любишь, все что сердцу свято; тамъ защитное пристанище для всего, что мое драгоцѣннѣйшее въ жизни. Цѣлую вашу руку и молю Бога за васъ и за ваше семейство. Спаси Господи люди твоя! Жуковскій.

[Мартъ 1848].

Вы знаете теперь все, что было въ Берлинѣ. Прусская монархія рухнула. Что будетъ слѣдствіемъ этого для всей Германіи и для всей Европы? Знаетъ одинъ все устраивающій Богъ. Всѣ надежды наши на самобытность Россіи, которая во всей своей силѣ можетъ отдѣлиться отъ Запада и стоять твердо за своею стѣною. Но не мое дѣло объ этомъ разсуждать. Сдается только, что въ эту минуту начинается новая, живая эпоха для нашего сильнаго, самодержавнаго царства, если оно только не поддастся влеченію общаго потока.

Скажу слово о себѣ и о своихъ. Мы теперь стоимъ на самомъ кипучемъ пунктѣ волнующейся Германіи; покуда здѣсь пунктъ еще самый пріютный относительно личной безопасности. Но надолго ли? А между тѣмъ все соединилось, чтобы усилить тягость моего особеннаго положенія. Съ нѣсколькихъ дней я самъ боленъ: воспаленіе въ глазу, которое мѣшаетъ всякому дѣйствію. Жена больна, и именно въ тѣ дни, когда здѣсь должно быть весьма шумно [что, конечно, не помогаетъ успокоиться нервамъ весьма разстроеннымъ], будетъ она дни на четыре прикована къ постелѣ. А между тѣмъ мысль о томъ, что теперь должно происходить

въ душѣ нашего государя, что̀ должно раздирать душу императрицы, что̀ наполняетъ вашу душу, которая такъ вѣрно предузнала все случившееся, эта мысль не отходитъ отъ меня ни на минуту: смотришь съ оцѣпенѣніемъ на непобѣдимость обстоятельствъ и на свое собственное безсиліе и только въ одномъ находишь внутреннее упокоеніе, въ томъ именно, что все это есть выраженіе Божіей воли. Можетъ случиться, однако, что буду принужденъ покинуть пріютъ мой немедленно. Поступлю какъ велятъ обстоятельства. Но тяжко, тяжко не имѣть никакихъ прямыхъ извѣстій о Россіи.—Благослови, благослови Богъ государя, васъ и Россію! Жуковскій.

Въ будущее воскресенье, то есть завтра, самоуправный сеймъ образователей Германскаго союза будетъ имѣть свое собраніе въ Гейдельбергѣ. Въ будущій четвергъ 18 [30] марта перейдетъ онъ во Франкфуртъ. Здѣсь должно произойти что-нибудь рѣшительное. Теперь вся власть и сила перешли на сторону мнѣнія, а каково это мнѣніе, вы видите довольно; но его теперешняя сила есть сила лавины, которой въ эту минуту нѣтъ препятствія. Прусскій король, который еще за десять дней предъ этимъ могъ овладѣть этимъ мнѣніемъ, все потерялъ: и матеріальная, и нравственная сила его разрушена; по крайней мѣрѣ таково оно въ эту минуту. Что̀ будетъ завтра, кто вѣдаетъ? Но я не хочу и не могу быть пророкомъ. Вся душа разрывается при мысли о королѣ прусскомъ. Его бѣдственное положеніе невыразимо. Но Богъ живъ!

Какъ было бы мнѣ теперь уютно и нетревожно дома и какъ все мнѣ здѣсь отвратительно и невѣрно! Баденъ—вулканъ, который всякую минуту можетъ начать свое изверженіе; но я переселился сюда именно въ такую минуту, когда Франкфуртъ сдѣлался изъ прежняго мирнаго кипучимъ жерломъ безпорядка. Я былъ уже въ Баденѣ, когда произошелъ этотъ взрывъ въ національномъ собраніи, который могъ бы сдѣлаться погибельнымъ для всей Германіи, сорвавъ послѣднюю узду съ анархіи, и который теперь, если, наконецъ, правительства подадутъ какой-нибудь знакъ жизни, можетъ быть началомъ благодѣтельнаго кризиса. До сихъ поръ непостижимая трусость всѣми преобладала; теперь лучшая часть ослѣпленныхъ начинаетъ протирать глаза и видѣть. На сценѣ кричатъ и дѣйствуютъ одни разбойники, которыхъ истинныя намѣренія выказываются часъ отъ часу яснѣе наружу; теористы начинаютъ подозрѣвать, что ихъ замки на воздухѣ. Минута благопріятна для возстановленія власти: но тѣ, у кого она въ рукахъ, не смѣютъ еще ей вѣрить, еще не поняли, что одна только ихъ молчаливая трусость причиною тому, что крикливая трусость ихъ противниковъ кажется мужествомъ и силою, тогда какъ она не иное что̀, какъ дерзкое буянство пьяныхъ трактирныхъ бродягъ, подкупаемыхъ разбойниками высшаго класса, поляками и жидами. Предъ этими-то врагами въ отрепьяхъ молчатъ съ покорностію правители Германіи, окруженные войсками еще имъ вѣрными. Но эта вѣрность не можетъ быть надежна. Съ одной стороны, на нее безпрестанно нападаетъ обольщеніе извнѣ; съ другой стороны, ее можетъ ослабить неуваженіе къ тѣмъ, которые должны бы стоять мужественно впереди, а вмѣсто того прячутся и бездѣйствуютъ; а нѣкоторые даже и вооружаютъ противъ себя общее мнѣніе поступками неприличными, тогда какъ дѣло идетъ о святынѣ монаршаго права и величія. Франкфуртская неудача и соединенная съ нею побѣда надъ бунтовщикомъ Штруве могутъ быть началомъ спасительной реакціи. Что̀ будетъ—скажутъ скоро немногіе дни. Я еще не читалъ послѣднихъ газетъ; подлинно ли взятъ Штруве, разстрѣлянъ ли онъ, еще не знаютъ. Дай Богъ рѣшительности и смѣлости! Послѣднее возстаніе во Франкфуртѣ есть сколокъ en miniature съ послѣдняго парижскаго. Былъ сдѣланъ регистръ тѣмъ, кого должно было зарѣзать; въ первомъ нумерѣ стоялъ Гагернъ, за нимъ Радовицъ, болѣе всѣхъ

ненавидимый, потому что онъ всегда не въ бровь, а въ глазъ говорилъ противъ бунта и его представителей. Обрушилось на Лихновскомъ и Ауэрсвальдѣ. Первый своею излишнею дерзостію накликалъ на себя погибель: онъ былъ не просто убитъ, а избитъ, изломанъ, изрѣзанъ, изстрѣлянъ, и все еще живой былъ вырванъ изъ рукъ разбойниковъ, жилъ шесть часовъ и умеръ прекрасно, простивъ врагамъ и убійцамъ и прося у Бога помилованія кающейся душѣ его.

Баденъ-Баденъ.
1848 г. 17/29 сентября.

Приношу вашему императорскому высочеству наше сердечное поздравленіе съ нынѣшнимъ общимъ русскимъ праздникомъ, съ благословеннымъ днемъ вашего рожденія. Чего вамъ желаетъ мое любящее васъ сердце, желаетъ во всякое мгновеніе моей жизни, а въ этотъ день только съ большею опредѣленностію: это вы знаете. Всякій день въ моей утренней и вечерней молитвѣ произношу ваше имя и поручаю вашу драгоцѣнную жизнь Хранителю-Богу [и по утрамъ, мои дѣти, при мнѣ], и конечно многіе, многіе на Руси произносятъ эту же молитву вмѣстѣ съ нами. Она будетъ услышана.

Пишу къ вашему высочеству въ самый день нашего праздника. Мое письмо придетъ послѣ него, но я отложилъ его написать по особенной причинѣ: мнѣ хотѣлось сдѣлать вамъ приношеніе, хотѣлось кончить Одиссею, чтобы имѣть право сказать вамъ: примите мой смиренный подарокъ. Одиссея кончена; она посвящена великому князю Константину Николаевичу; но она составляетъ послѣдніе два тома полнаго изданія моихъ сочиненій, которое вы благоволили позволить мнѣ посвятить вашему имени. Это изданіе отпечатано здѣсь, и оконченная Одиссея также почти вся отпечатана. Итакъ, въ день вашего рожденія, приношу вамъ все, что въ продолженіе 50 лѣтъ [изъ которыхъ почти половина принадлежитъ вамъ] вышло изъ пера моего. Этимъ приношеніемъ, вѣроятно, кончится моя поэтическая дѣятельность. Остатокъ [можетъ быть, уже весьма короткій] жизненнаго пути надобно посвятить другаго рода дѣятельности: если Богу угодно будетъ продолжить мою жизнь и сохранить мнѣ умственныя силы, могу еще быть полезенъ перомъ моимъ. Прошу вашего на то благоволенія.

Я давно не имѣлъ счастія писать къ вашему высочеству; это объясняется тѣмъ, что мнѣ хотѣлось, во что бы то ни стало, кончить къ сроку Одиссею, и я отложилъ всякую переписку до окончанія главнаго труда моего. Это истинный tour de force: менѣе нежели во сто дней я перевелъ XII-ть пѣсней, которыя по мѣрѣ перевода печатались и теперь совсѣмъ почти отпечатаны. Если бы я не попалъ въ Баденъ, гдѣ посреди кипятка Германіи царствуетъ полное спокойствіе, о такомъ подвигѣ было бы и подумать невозможно.

Нельзя сказать, продолжится ли это баденское спокойствіе: горизонтъ Германіи болѣе и болѣе покрывается тучами. Франкфуртскіе строители оказались мастерами разрушенія; они теперь бѣсятся, что произведенныхъ ими развалинъ не хотятъ признать за стройное, прочное зданіе, и требуютъ, чтобы король прусскій принялъ за корону красный якобинскій колпакъ ихъ фабрики. Если король устоитъ въ своемъ отказѣ, то онъ спасетъ монархію; но дѣло не обойдется безъ пушечной музыки. Какъ-то я подъ эту музыку проберусь подъ кровлю милаго отечества и что будетъ съ моею бѣдною страждущею женою! Гугертъ надѣется ей помочь; но по сію пору это одни надежды; ея лѣченіе не начиналось еще: погода мѣшаетъ; чрезъ три или четыре недѣли узнаю что-нибудь положительное.

Правда ли, что ваше высочество проведете лѣто въ Ревелѣ? Это я желалъ бы знать предварительно. Гугертъ сказалъ женѣ, что ей въ заключеніе лѣченія надобно будетъ пользоваться легкими морскими ваннами и что для этого Ревель можетъ быть весьма удобенъ. Но что скажетъ лѣченіе? И угодно ли будетъ

Богу вырвать меня изъ когтей этихъ двухъ чудовищъ, изъ когтей этой женской болѣзни, которая терзаетъ бѣдную жизнь нашу, и изъ когтей этой Германіи, которая часъ отъ часу становится мнѣ ненавистнѣе. Не могу сказать вамъ, какое уныніе нападаетъ на душу при видѣ и при слышаніи всего, что кругомъ происходитъ: это нахальное торжество безбожнаго зла хуже всякой нервической болѣзни. Какъ я благодаренъ своей уединенной работѣ, которая оковывала все вниманіе и отвлекала сердце и душу отъ всего внѣшняго. Теперь она кончилась. О, помоги Богъ бѣдной женѣ моей! И при всемъ этомъ тревожитъ мысль о томъ, что думаетъ обо мнѣ государь, что вы думаете. На письмо мое къ его величеству не было отвѣта, и вы ничего не сказали о немъ. Я осмѣлился писать съ великою княгинею къ государынѣ императрицѣ, въ прежнее время она удостоивала меня вниманія; теперь, въ такихъ тяжелыхъ для меня обстоятельствахъ, также и отъ нея не было мнѣ никакого отзыва. А виноватъ ли я, что мои таковы обстоятельства? Тяжкій, тяжкій крестъ! Протяните вы дружескую руку, чтобы его поддержать на хилыхъ плечахъ моихъ. Напишите мнѣ два слова отъ вашего сердца. Это будетъ новымъ знакомъ вашей ко мнѣ милости, которая во всякое время, и темное и свѣтлое, какъ звѣзда, сіяетъ надъ моею жизнію.

Простите. Сохрани васъ Богъ и ваше благословенное семейство. Христосъ воскресе! Жуковскій.

$^{17}/_{29}$ апрѣля 1849. Баденъ-Баденъ. Maison Kleinmann.

Мой добрый Рейтернъ послалъ другаго сына на службу русскую. Второй его сынъ Василій записался теперь въ дерптскій университетъ доучиваться и готовиться служить Россіи. Осмѣливаюсь обратить на него ваше вниманіе. А чтобы вы ясное получили понятіе о томъ, каковъ онъ и каковъ воспитавшій его отецъ, прилагаю здѣсь въ оригиналѣ письмо, которое написано было ко мнѣ отцомъ при отправленіи сына въ Россію. Waya значитъ Василій. Онъ мой крестникъ.

1838—1839.

ИЗЪ ПИСЕМЪ КЪ В. К. МАРІИ НИКОЛАЕВНѢ.

I. Очерки Швеціи.

Швеція, если судить по тому, что намъ удалось видѣть во время нашего путешествія, есть гранитное царство. Вездѣ слой земли, болѣе или менѣе тонкій, покрываетъ гладкую площадь гранитную, и вся поверхность этой площади усыпана обломками того же гранита, которые всѣ вообще имѣютъ круглую форму, подобно камнямъ, скопляющимся на днѣ быстрой рѣки, которая силой воды мчитъ ихъ и мало-по-малу округляетъ. Эти гранитные обломки, составляющіе нѣмое преданіе о какомъ-то давнишнемъ боѣ стихій, представляютъ явленія разительныя. Иногда посреди широкаго зеленаго поля лежитъ огромная скала, совершенно голая, слегка подернутая мохомъ, какъ желѣзо ржавчиною, и видно, что она откуда-то прикатилась, ибо не составляетъ продолженія той поверхности, на коей лежитъ, а только едва къ ней прикасается своею отдѣлившеюся отъ нея базою. Иногда множество гранитныхъ обломковъ лежитъ кучею, подобно зернамъ, вдругъ высыпавшимся изъ какого-то огромнаго сосуда. Иногда эти крупные и мелкіе обломки разсыпаны по плоскому мѣсту и составляютъ лабиринтъ скалъ, подобный алупкинскому саду въ Крыму, съ тою только разницею, что здѣсь камни голы, зеленый плющъ ихъ не одѣваетъ, и между ними не пробиваются лавры; а вмѣсто живописныхъ деревьевъ юга, обвитыхъ плющомъ и виноградомъ, торчатъ на ихъ голыхъ вершинахъ и бокахъ однообразныя ели и сосны и изрѣдка березы, которыхъ корни сквозь трещины гранита проникаютъ въ землю, и, переплетаясь на поверхности камня, составляютъ для него какое-то чудное, кружевное покрывало. Промежутки

между этими камнями покрыты пашнями, которыя, во время нашего путешествія [отъ долговременной засухи], не представляли большой надежды на богатую жатву.

Хижины поселянъ разсѣяны по полямъ и не составляютъ, какъ у насъ, отдѣльныхъ селеній. Въ нихъ вообще видна опрятность. Но архитектура ихъ неживописна и не имѣетъ никакого особеннаго характера: крутыя кровли [соломенныя или тесовыя]; стѣны изъ обтесанныхъ бревенъ; довольно большія окна, отъ которыхъ внутри хижинъ должно быть всегда свѣтло и слѣдственно весело — и вообще всѣ стѣны снаружи выкрашенныя темно-кирпичною краскою [сберегающею ихъ отъ дѣйствія внѣшней температуры], отчего хижины мало отдѣляются отъ окружающаго ихъ ландшафта, и тогда только бываютъ очень замѣтны, когда на нихъ ярко свѣтитъ солнце. Жители этихъ хижинъ вообще красивой наружности. Они привѣтливы. Въ ихъ обращеніи чувствительно какое-то непринужденное доброжелательство и простодушіе [сколько можно судить объ этомъ тому, кто, не зная ихъ языка, не могъ съ ними завести разговора]. Особенно между женщинами множество прекрасныхъ, бѣлокурыхъ, съ голубыми, часто весьма выразительными глазами. [Это особенно было замѣтно въ городахъ. Окна часто составляли рамы живыхъ картинъ — и въ каждой изъ этихъ рамъ являлась группа изъ пяти или шести лицъ, между коими всегда половина была прекрасныхъ].

Между этими скалами, по этимъ полямъ и лѣсамъ, проложены прекрасныя дороги. Ихъ содержатъ въ исправности нетрудно. Матеріалъ для этого почти вездѣ подъ рукою. Но онѣ вездѣ очень узки, и отъ неровности мѣстъ, отъ множества камней, повсюду разбросанныхъ, вьются, какъ змѣи. По этимъ излучистымъ, узкимъ дорогамъ, на конхъ нигдѣ нѣтъ перилъ, маленькія шведскія лошади несутся съ тобою во весь опоръ, и подъ гору быстрѣе, нежели по ровному мѣсту. Почтовая ѣзда учреждена здѣсь особеннымъ образомъ. На станціяхъ нѣтъ лошадей. Эти станціи служатъ для нихъ только сборнымъ мѣстомъ на случай пріѣзда путешественника, который [если онъ ѣдетъ въ своемъ экипажѣ] долженъ имѣть и свою сбрую и своего кучера — и этотъ кучеръ одинъ служитъ ему на все его путешествіе. Впередъ отправляется нарочный, по наряду котораго собираются на станціяхъ въ назначенный часъ нужныя лошади. Эти лошади крестьянскія, не привыкшія къ большимъ экипажамъ и неизвѣстныя тому, кто долженъ ими править. Несмотря на то, онъ бодро садится на козлы и погоняетъ безъ милосердія свою четверню или шестерню [смотря по экипажу], не заботясь о томъ, по ровному ли мѣсту онъ скачетъ или подъ гору. Иногда, при началѣ спуска, не знаешь, что подъ горою: оврагъ или рѣка, есть ли мостъ, нѣтъ ли встрѣчнаго; лошади скачутъ, кучеръ погоняетъ, и говорятъ, что здѣсь неслыхано, чтобы кто-нибудь былъ опрокинутъ. А за коляской сидитъ хозяинъ лошадей, а иногда два или три [если экипажъ запряженъ четверкою или шестеркою]. Они висятъ сзади, какъ мѣшки, уцѣпившись одинъ за другаго, и такимъ образомъ болтаются до смѣны, гдѣ имъ возвращаютъ ихъ лошадей и платятъ за проѣздъ.

Особенную красоту шведской природы составляютъ великолѣпныя озера, тамъ повсюду разсыпанныя. Зрѣлище, представляющееся на этихъ озерахъ, весьма сходно съ тѣмъ, которое представляетъ вся окружающая ихъ сторона. Вмѣсто зеленыхъ полей вообразите только равнину водъ, и вы увидите надъ водами тѣ же группы камней и скалъ, которыя являются между полями, составляя на сушѣ каменныя, покрытыя елями и соснами, возвышенія, отдѣльные голые или лѣсистые холмы — или просто отвалившіяся Богъ знаетъ откуда скалы; а по-

среди озера большіе и малые острова — то отлогіе, то крутые, то лѣсистые, то голыя и торчащія изъ водъ скалы, или отдѣльныя, или набросанныя странными грудами. Эти озера прелестны; но ихъ нельзя сравнивать ни съ озерами Швейцаріи и Тироля, ни съ озерами Италіи.

Озеро Меларнъ самое живописное изъ большихъ озеръ Швеціи. Особенную прелесть даютъ ему излучины его гранитныхъ береговъ, покрытыхъ елями, соснами и березами, некрутыхъ и даже неразнообразныхъ, но придающихъ озеру какую-то оригинальную живописность тѣмъ, что они то стѣсняются — и озеро представляетъ тогда широкую рѣку между лѣсистыми берегами, то расходятся — и тогда передъ глазами прекрасная равнина водъ, усыпанная большими и малыми островами, которые своими живописными группами составляютъ отличительный характеръ Меларна передъ другими большими озерами Швеціи. При свѣтѣ солнца, особливо въ тихую погоду, эти острова составляютъ зрѣлище очаровательное. Иногда видишь густую рощу, которой вѣтви наклоняются до поверхности воды, и которая подымается изъ озера огромною зеленою массою, скрывая отъ глазъ свое гранитное основаніе. Иногда разсыпана по водамъ группа гранитныхъ округленныхъ скалъ: иныя голы, иныя покрыты густымъ кустарникомъ, на иной торчитъ всего-на-все одна ель, какъ будто уцѣпившаяся за нее своими корнями, чтобы спастись отъ бури. Иногда совсѣмъ не видно гранита, а видно нѣсколько деревьевъ, выходящихъ изъ воды и какъ будто выросшихъ на влажной ея поверхности. Все это оживлено лодками и судами, коихъ распущенные паруса величаво поднимаются между группами малыхъ острововъ, или прелестно бѣлѣютъ на темномъ грунтѣ лѣсистаго берега. Повсюду по берегамъ, входящимъ въ озеро длинными мысами, или принимающимъ его въ себя глубокими заливами, мелькаютъ замки, церкви, крестьянскіе домы.

На берегу Меларна, во глубинѣ одного изъ заливовъ, весьма живописно лежитъ старинный замокъ Грипсгольмъ, замѣчательный и своею архитектурою и своими историческими воспоминаніями. Мы пріѣхали въ него почти въ семь часовъ вечера. На пути туда преслѣдовала насъ ужасная гроза съ проливнымъ дождемъ. Но она утихла скоро, и небо было ясно, когда мы вступили въ древнія стѣны Грипсгольма. Наконецъ я глазами увидѣлъ одинъ изъ тѣхъ шведскихъ замковъ, о которыхъ такъ много было разсказано моему воображенію во время оно. Шведскіе замки, возвышающіеся на берегу озеръ, посреди лѣсистыхъ скалъ, имѣютъ особенную репутацію: въ каждомъ гнѣздится привидѣніе. Грипсгольмъ по своей наружности болѣе другихъ достоинъ былъ такой славы. Стѣны его составляютъ неправильный многоугольникъ. По угламъ возвышаются башни. Внутри стѣнъ два тѣсныхъ двора также неправильной фигуры. Внѣшній дворъ замѣчателенъ для насъ особенно тѣмъ, что посреди его стоятъ двѣ пушки, отнятыя шведами у русскихъ въ 1581 году, и вылитыя русскимъ мастеромъ Андреемъ Чоховымъ, одна въ 7085, а другая въ 7087 году отъ С. М. Подъ сводомъ воротъ, ведущихъ на этотъ дворъ, есть тѣсная дверь, черезъ которую спускаешься въ мрачное подземелье. Тамъ въ стѣнѣ есть узкая, низкая, совершенно темная келья съ тяжелою дверью. Въ этой кельѣ умеръ отъ голода брошенный въ нее епископъ [какъ его звали, теперь не вспомню].

Мы всѣ собрались въ старинной залѣ, въ которой, во время Густава Вазы, построившаго замокъ [то есть въ половинѣ XVI вѣка], собирались сановники Швеціи, гдѣ король пировалъ съ многочисленными гостями, и гдѣ вокругъ стола его, великолѣпно убраннаго, тѣснилась, по тогдашнему обычаю, толпа зрителей. Эта палата имѣла для моего воображенія особенную прелесть тѣмъ, что въ ней все сохранилось въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ было при великомъ Густавѣ: огромныя

окна съ широкими простѣнками; деревянныя панели весьма высокія, окружающія всю залу; стѣны, обвѣшанныя портретами королей шведскихъ во весь ростъ; мѣсто для оркестра и для буфета; штучный, деревянный рѣзной потолокъ. Посреди этихъ древностей, мы, молодые и старые, пировали весело, и можетъ быть изъ насъ кто-нибудь сидѣлъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ за три вѣка передъ симъ старикъ Ваза пилъ изъ своего кубка, сидя между своими двумя сыновьями, которыхъ судьба дала такую трагическую знаменитость замку Грипсгольму.

За столомъ сказали мнѣ, что изъ всѣхъ комнатъ замка, та именно, которая была отведена мнѣ для ночлега, была особенно предпочитаема тѣми привидѣніями, кои издавна выбрали его мѣстомъ своего пребыванія. Это заставило меня задуматься — и то, что насъ окружало, получило въ глазахъ моихъ какую-то сверхъестественную таинственность. Вдругъ смотрю на зрителей [которые за нашими стульями составляли какую-то живую, подвижную картину, надъ которою огромные старинные портреты подымались неподвижнымъ фронтомъ и представляли рядъ безмолвныхъ зрителей, какъ будто пришедшихъ съ того свѣта узнать, что дѣлаетъ поколѣніе нашего вѣка] — и что же вижу! Блѣдная фигура съ оловянными глазами, которые тускло свѣтились сквозь очки, надвинутые на длинный носъ, смотритъ на меня пристально. Я невольно вздрогнулъ. Фигура тронулась, прошла мимо зрителей такъ тихо и медленно, что казалось не шла, а вѣяла, и вдругъ пропала. Кто была эта гостья — не знаю. Но мнѣ пришло въ голову, что это былъ образчикъ того явленія, которое ожидало меня ночью.

Вотъ мы отужинали. Но прежде, нежели разошлись, пошли осматривать старинныя комнаты замка — и между ними замѣтили особенно ту, которая служила тюрьмою Іоанну, сыну Густава Вазы, заключенному въ ней братомъ, королемъ Эрикомъ XIV. Въ ней ничего не перемѣнилось; а для насъ былъ особенно замѣчателенъ въ ней тотъ нишъ, въ которомъ стояла постель супруги Іоанна. Здѣсь родился Сигизмундъ, бывшій послѣ королемъ польскимъ и игравшій такую бѣдственную роль въ смутныя времена Россіи. Но эта тюрьма есть великолѣпное жилище въ сравненіи съ тою ужасною темницею, въ которой послѣ былъ заперъ Іоанномъ Эрикъ, лишенный имъ престола, потерявшій отъ горя разсудокъ, и потомъ брошенный въ ужасное подземелье, гдѣ наконецъ погибъ отъ яду. Въ этой тюрьмѣ всего-на-все одно узенькое окно, сквозь которое чуть виденъ лоскутокъ неба, сливающагося съ озеромъ въ отдаленіи. Передъ этимъ окномъ съ утра до вечера стоялъ заключенный Эрикъ, опершись на него локтемъ, которымъ вытеръ въ кирпичѣ ямку, а въ томъ мѣстѣ, гдѣ упиралась нога его, и теперь чувствительна впадина.

Наконецъ мы разстались, и я пришелъ въ свою комнату, довольно приготовленный къ тому, что меня тамъ ожидало. Вотъ ея описаніе. Узенькая, недлинная лѣстница винтомъ идетъ въ переднюю, обвѣшенную старинными портретами, съ темною каморкой, гдѣ приготовлена была постель для моего человѣка. Изъ этой мрачной передней входъ въ круглую спальню съ двумя огромными окнами, идущими отъ потолка до полу. Но эти огромныя окна едва могутъ освѣщать комнату, ибо стѣны ея аршина въ три толщиною — и окна кажутся какъ будто на концѣ коридоровъ. Стѣны этой спальни также обвѣшены огромными портретами, изъ которыхъ многіе новые, напримѣръ портреты императрицы Екатерины II и императора Павла Петровича. За то другіе кажутся выходцами съ того свѣта. Особенно не понравились мнѣ два женскихъ портрета, которые оба показались списанными съ берлинской *Бѣлой Женщины*. И всѣ эти портреты смотрятъ на тебя пристально, такъ что никуда нельзя оборотить головы, не встрѣтивъ

мертвыхъ, вытаращенныхъ на тебя глазъ. Въ простѣнкѣ зеркало, въ которомъ темно и пусто. На столѣ другое зеркало, въ которомъ такая же темнота и пустота. Противъ зеркала огромная, длинная печь, изъ темныхъ кафель, похожая на неподвижнаго великана съ отрубленной головой въ черной мантіи. Противъ оконъ глубокій темный альковъ съ старинною кроватью — и въ ногахъ этой кровати маленькая потаенная дверь, ведущая Богъ знаетъ куда, ибо, отворивъ ее, увидѣлъ я передъ собою мрачный, длинный, узкій каменный корридоръ со сводомъ, изъ котораго такъ и повѣяло на меня сыростію могилы. Къ довершенію всего, на этой потаенной дверцѣ виситъ портретъ, на который нельзя взглянуть не содрогнувшись: лицо какъ будто какого-то старика — но какія черты его? и видишь ихъ и нѣтъ; зато поражаютъ тебя глаза, въ которыхъ явственны одни только бѣлки, и эти бѣлки какъ будто кружатся и все за тобою слѣдуютъ.

Такова была храмина, приготовленная мнѣ для ночлега въ замкѣ Гриппсгольмѣ. Вотъ я раздѣлся. Человѣкъ мой ушелъ, заперся въ своей каморкѣ, и скоро его храпѣніе возвѣстило мнѣ, что онъ погрузился въ глубокой сонъ. Я остался одинъ — и, по своему обыкновенію, началъ ходить по комнатѣ, куря свою сигару. Чувствительно было, что въ замкѣ все мало-помалу засыпало. Нѣсколько разъ слышались голоса — они замолчали. Нѣсколько разъ слышались шаги идущихъ черезъ дворъ или по лѣстницамъ, или двери стучали затворяясь — наконецъ все это смолкло; стало совершенно тихо. Я слышалъ одни только собственные шаги свои, со мной ходила моя тѣнь, которая то являлась передо мною, то слѣдовала сзади, то вдругъ протягивалась по потолку — и отъ этого въ темномъ зеркалѣ, на которое я иногда косился, замѣтно было какое-то движеніе.

Было уже за полночь. Ходя взадъ и впередъ по комнатѣ, я подходилъ часто къ окнамъ. Передъ самыми окнами растутъ деревья. Сквозь нихъ видъ на озеро Меларнъ, которое вдали сливается съ горизонтомъ, и отъ этого кажется [особливо въ лѣтнюю, полусвѣтлую ночь], что за этими деревьями все оканчивается, и что замокъ стоитъ на краю пустаго пространства. И ночь была удивительно тиха. Ни малѣйшаго слѣда волны не было замѣтно на озерѣ. Можно было пересчитать листья, которые всѣ вырѣзывались на туманной бѣлизнѣ воды и неба и были совершенно неподвижны. Не помню, чтобы когда-нибудь прежде я имѣлъ такое полное, таинственное чувство тишины, которое въ то же время есть и глубокое чувство жизни. Удивительное молчаніе царствовало повсюду. Все вокругъ меня спало, кромѣ одного только паука, который работалъ въ окнѣ, то тихо опускался по длинной своей паутинкѣ, то быстро прялъ своими ножками, подымаясь вверхъ — и это движеніе безо всякаго шороха только-что увеличивало чувство всеобщаго спокойствія. Такимъ образомъ прогуливался я болѣе часу по своей комнатѣ.

Наконецъ надобно было рѣшиться загасить свѣчу и лечь спать. Что же? Я подхожу къ своей постели... Но мнѣ надобно оставить перо до слѣдующаго письма, въ которомъ доскажу, что случилось со мною въ замкѣ Гриппсгольмѣ.

4 іюня 1838.

II. Бородинская годовщина.

...Я былъ въ Бородинѣ въ самый день великолѣпнаго праздника, которымъ государь удостоилъ свою армію. Палатою для пирующихъ было Бородинское поле, а украшеніемъ палаты монументъ Бородинскаго боя съ Багратіоновымъ гробомъ у подошвы его и бородинскіе холмы, на которыхъ подъ жатвою, ихъ покрывающею, спитъ почти цѣлое войско, здѣсь погребенное со славою. Такихъ палатъ на свѣтѣ немного. Опишу вамъ просто все какъ было. Но прежде оглянемся назадъ. За 27 лѣтъ двѣ арміи стали на

этихъ полкахъ одна передъ другой; въ одной Наполеонъ и всѣ народы Европы, въ другой—одна Россія. Наканунѣ сраженія (25 августа) все было спокойно: раздавались одни ружейные выстрѣлы, которыхъ безпрестанный звукъ можно было сравнить со стукомъ топоровъ, рубящихъ въ лѣсу деревья. Солнце сѣло прекрасно, вечеръ наступилъ безоблачный и холодный, ночь овладѣла небомъ, которое было темно и ясно, и звѣзды ярко горѣли; зажглись костры, армія заснула вся съ мыслію, что на другой день быть великому бою. Тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима; въ этомъ всеобщемъ молчаніи, въ этомъ глубокомъ темномъ небѣ, котораго всѣ звѣзды были видны и которое такъ мирно распростиралось надъ двумя арміями, гдѣ столь многіе обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и несказанное. И съ первымъ просвѣтомъ дня грянула русская пушка, которая вдругъ пробудила повсемѣстное сраженіе. Описывать это сраженіе здѣсь неумѣстно, да и не умѣлъ бы этого сдѣлать, ибо не видалъ подробностей кровавой свалки. Мы стояли въ кустахъ на лѣвомъ флангѣ, на который напиралъ непріятель; ядра невидимо откуда къ намъ прилетали; все вокругъ насъ страшно гремѣло, огромные клубы дыма поднимались на всемъ полукружіи горизонта, какъ будто отъ повсемѣстнаго пожара, и, наконецъ, ужасною бѣлою тучею обхватили половину неба, которое тихо и безоблачно сіяло надъ бьющимися арміями. Во все продолженіе боя насъ мало-по-малу отодвигали назадъ. Наконецъ, съ наступленіемъ темноты сраженіе, до тѣхъ поръ не прерывавшееся ни на минуту, умолкло. Мы двинулись впередъ и очутились на возвышеніи посреди арміи; вдали царствовалъ мракъ, все покрыто было густымъ туманомъ осѣвшаго дыма, и огни биваковъ непріятельскихъ горѣли въ этомъ туманѣ тусклымъ огнемъ, какъ огромныя раскаленныя ядра. Но мы не долго остались на мѣстѣ: армія тронулась и въ глубокомъ молчаніи пошла къ Москвѣ, покрытая темною ночью. Вотъ что мои глаза видѣли здѣсь за 27 лѣтъ.

Теперь на Бородинскомъ полѣ была картина иная. Батареи на высотахъ исчезли, на нихъ переливается жатва, и одинъ монументъ бородинскій ими владычествуетъ; только тамъ, гдѣ такъ храбро дрался Воронцовъ, потерявшій здѣсь почти всѣхъ людей своихъ, гдѣ погибъ Тучковъ, не отысканный между мертвыми, остались признаки укрѣпленій; но они служатъ подножіемъ церкви, построенной вдовою Тучкова на мѣстѣ погибели ея мужа, а вмѣсто пушекъ, тогда здѣсь гремѣвшихъ, являются тихія келіи монахинь. Здѣсь, наканунѣ праздника, встрѣтилъ я нѣкоторыхъ изъ нашихъ храбрыхъ генераловъ. Одинъ изъ нихъ показывалъ своимъ товарищамъ то мѣсто, гдѣ за четверть вѣка бился; онъ самъ уже не узнавалъ его, и монахини служили ему провожатыми къ немногимъ остаткамъ тѣхъ окоповъ, на коихъ тогда пали его сослуживцы. Въ глазахъ заслуженнаго воина сверкали слезы; то были слезы глубокаго, высокаго чувства. Какъ могло не разогрѣться сердце при вступленіи послѣ столькихъ лѣтъ, послѣ столькихъ измѣненій и въ своей судьбѣ, и въ судьбѣ народовъ на то мѣсто, гдѣ совершилось одно изъ главныхъ событій жизни, гдѣ вдругъ безъ прощанья надлежало разстаться съ такимъ множествомъ храбрыхъ ближнихъ, гдѣ всѣ они лежатъ, смѣшавшись съ прахомъ земли, и гдѣ, вѣроятно, всѣ они ожили въ позднемъ воспоминаніи. На этомъ же мѣстѣ явился и другой храбрый воинъ бородинскаго дня; онъ вошелъ въ церковь, сдѣлалъ нѣсколько земныхъ поклоновъ передъ царскими дверями, поклонился гробу Тучкова и положилъ на налой образъ, вѣроятно, съ нимъ бывшій въ этомъ сраженіи, благодарною данію Спасителю-Богу.

Утро Бородинскаго праздника было такъ же ясно, какъ утро Бородинскаго боя. Тогда чувствовалась осенняя свѣжесть; теперь было тепло, отъ долговременной

засухи повсюду была ужасная пыль, которая при малѣйшемъ вѣтркѣ поднималась столбами. Войска, около ста пятидесяти тысячъ, были рано по утру сведены на мѣста имъ назначенныя; они стояли колоннами по наклону покатостей, окружая съ трехъ сторонъ то возвышеніе, на коемъ теперь стоитъ памятникъ бородинскій, и у подошвы его лежитъ Багратіонъ, на коемъ тогда произошла самая жаркая битва, гдѣ дрались Раевскій, Барклай, Паскевичъ, гдѣ раненъ Воронцовъ, гдѣ погибъ Кутайсовъ, на которое безъ умолку гремѣло болѣе двухсотъ Наполеоновскихъ пушекъ, гдѣ наконецъ всѣ перемѣшались въ рукопашной убійственной свалкѣ. Войска, видимыя съ вершины этого холма, представляли зрѣлище единственное; однимъ взглядомъ можно было окинуть стотысячную армію, сжатую въ густыя колонны, которыя амфитеатромъ одна надъ другой подымались. Пѣхота была неподвижна. По ружьямъ сверкало солнце, и они казались блестящею, подвижною щетиною огромнаго боеваго чудовища. Гдѣ стояла конница, тамъ двигалось; конскія копыта подымали пыль, она колебалась надъ колоннами, какъ черная громовая туча. Позади арміи разставлена была артиллерія. Въ срединѣ этого чуднаго амфитеатра возвышался памятникъ, у подошвы коего, внутри ограды, были собраны всѣ отставные, нѣкогда участвовавшіе въ славной битвѣ и изъ разныхъ мѣстъ собравшіеся на ея праздникъ; между ними особенно замѣчательны были нѣкоторые инвалиды, кто съ подвязанною рукою, кто съ повязкою на головѣ, кто безъ обѣихъ ногъ. Одни, въ ожиданіи торжества, сидѣли на ступеняхъ монумента; другіе, положивъ на землю клюки, отдыхали у Багратіонова гроба, который одинъ на землѣ Бородинской, величественно тихій въ виду арміи новаго поколѣнія, казался представителемъ поколѣнія прежняго, котораго воины положили здѣсь свои головы, котораго прахъ вѣчно живая природа съ такою любовію одѣла здѣсь своею сѣнью, своею благовонною жатвою. Другіе бородинскіе воины, еще находящіеся въ службѣ, сидѣли на коняхъ и выстроены были фронтомъ внѣ ограды. Явился государь, проскакалъ мимо колоннъ, грянуло повсемѣстное ура, и вдругъ все утихло: отъ Бородина съ хоругвями и крестами потянулся ходъ, священники всѣхъ полковъ, священники столицъ и позади всѣхъ преосвященный митрополитъ московскій, длиннымъ строемъ, съ торжественнымъ пѣніемъ, шли мимо арміи къ монументу, передъ которымъ былъ воздвигнутъ алтарь. Когда священники стали по мѣстамъ своимъ и митрополитъ приблизился къ алтарю, тишина невѣроятная воцарилась повсюду: ни движенія, ни шороха, какъ будто бы живые слились въ одно безмолвное братство съ безчисленными мертвыми, здѣсь подъ землею скрытыми, какъ будто бы мертвые вышли изъ праха и, ставши въ строй съ живыми, вселили въ нихъ свое неземное спокойствіе; однимъ словомъ этой минуты описать невозможно. И вдругъ изъ глубины повсемѣстнаго молчанія тихо поднялся гармоническій голосъ, раздалось повсюду: Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ! Эта минутная гармонія, какъ тихій ангелъ, пролетѣла между небомъ и землею; она не нарушила молчанія, она не умолкла, она была чѣмъ-то таинственнымъ, чѣмъ-то все выражающимъ, вдругъ совершившимся вѣдомо и невѣдомо. Началось молебствіе; молитвы и пѣніе у подошвы памятника были слышны всему войску. Какая чудная противуположность съ тѣмъ громомъ битвы, отъ котораго здѣсь, за четверть вѣка, всѣ здѣшнія окрестности трепетали! Вдругъ по всей арміи раздался звучный голосъ государя, вся армія услышала команду его: смирно! Съ глубокою повсемѣстною тишиною соединилось повсемѣстное ожиданіе, и въ это мгновенье первосвятитель возгласилъ: великому императору Александру Первому вѣчная память. Всѣ пушки грянули однимъ залпомъ, вся армія грянула единогласно:

ура. Изъ-за всѣхъ колонны, по всѣмъ мѣстамъ поднялись тучи дыма, и долго въ этомъ дыму не заглушаемый громомъ артиллеріи, но отъ него отличный, непрерывнымъ гуломъ звучалъ торжественный голосъ арміи, сливаясь съ выстрѣлами въ какую-то чудную, потрясающую сердце гармонію. И это ура, сперва всеобщее по всѣмъ высотамъ, умолкая на одномъ концѣ войска, начиналось на другомъ, опять сливаясь въ одинъ повсемѣстный крикъ, снова прерывалось и снова гремѣло и, наконецъ, только по данному императоромъ знаку мало-по-малу умолкло. Одна только эта минута какъ будто повторила то, что здѣсь было въ день Бородинскаго боя: въ залпѣ пушекъ и въ крикѣ арміи мы услышали послѣдній отголосокъ тогдашней битвы, но этотъ отголосокъ былъ: слава! Опять все умолкло, начался благодарственный молебенъ, армія пала на колѣна, запѣли: Тебе Бога хвалимъ; первосвятитель окропилъ памятникъ святою водою, потомъ священники съ хоругвями и крестами пошли обратно мимо арміи, и скоро ихъ свѣтлый строй, и кресты, и хоругви исчезли въ отдаленіи. Колонны поколебались. Государь впереди ихъ проѣхалъ мимо памятника и, отдавъ ему честь, остановился передъ нимъ, и вся армія прошла мимо его, взвивая страшную тучу пыли. Наконецъ все опустѣло, все утихло, чудесное видѣніе миновалось; остался только бородинскій памятникъ съ Багратіоновымъ гробомъ, озаряемые яснымъ небомъ, и кругомъ ихъ спокойные холмы, одѣтые жатвою.

Здѣсь, кажется мнѣ, у мѣста повторить то, что было мною сказано при открытіи Александрова монумента. Событія одни и тѣ же, и мысли ими пробужденныя одни и тѣ же. «И крестъ вѣнчающій этотъ памятникъ битвы [на колоннѣ Александровой стоитъ крестоносный ангелъ] не то ли онъ знаменуетъ, что дни боевого созданія для насъ миновались, что все для могущества сдѣлано, что завоевательный мечъ въ ножнахъ и не иначе выйдетъ изъ нихъ, какъ только для сохраненія; что наступило время созданія мирнаго; что Россія, все свое взявшая, извнѣ безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страхъ, а стражъ породнившейся съ нею Европы, вступила нынѣ въ новый великій періодъ бытія своего, въ періодъ развитія внутренняго, твердой законности, безмятежнаго пріобрѣтенія всѣхъ сокровищъ общежитія; что, опираясь всѣмъ западомъ на просвѣщенную Европу, всѣмъ югомъ на богатую Азію, всѣмъ сѣверомъ и востокомъ на два океана, богатая и бодрымъ народомъ, и землею для тройнаго народонаселенія, и всѣми дарами природы для животворной промышленности, она, какъ удобренное поле, кипитъ брошенною въ нѣдра ея жизнію и готова произрастить богатую жатву гражданскаго благоденствія, вѣренная самодержавію, коимъ нѣкогда создана и упрочена ея сила и коего символъ нынѣ воздвигнутъ передъ царемъ ея въ семъ крестоносномъ памятникѣ на полѣ битвы, а имя его: Божія правда».

Вечеръ этого дня провелъ я въ лагерѣ. Тамъ сказали мнѣ, что наканунѣ въ арміи многіе повторяли мое: «Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ», пѣснію-современницу Бородинской битвы. Признаюсь, это меня тронуло до глубины сердца. Жить въ памяти людей по смерти не есть мечта: это высокая надежда здѣшней жизни. Но меня вспомнили заживо, новое поколѣніе повторило давнишнюю пѣсню мою на гробѣ минувшаго. Это еще болѣе разогрѣло мое устарѣвшее воображеніе, въ которомъ шевелился уже прежній огонекъ, пробужденный всѣмъ видѣннымъ мною въ этотъ день. А живой разговоръ съ к. Г., съ которымъ я встрѣтился въ лагерѣ и который своимъ поэтическимъ языкомъ доказывалъ мнѣ, что пѣвцу русскихъ воиновъ должно помянуть времена прошлаго, далъ сильный толчекъ моимъ мыслямъ. Возвратясь изъ лагеря, я въ тотъ же вечеръ написалъ половину моей новой бородинской пѣсни, на другой день на переѣздѣ изъ Бородина въ Москву

кончилъ ее, она была немедленно напечатана, экземпляръ отосланъ въ лагерь, и эта пѣсня прочитана была въ арміи на праздникѣ Бородинскаго помѣщика.

Итакъ, привелъ Богъ по прошествіи четверти вѣка, на томъ же мѣстѣ, гдѣ въ молодости душа испытала высокое чувство, повторить то же, что было въ ней тогда, но уже не въ тѣхъ обстоятельствахъ. Чего не случилось въ этотъ промежутокъ времени между кровавымъ сраженіемъ Бородинскимъ и мирнымъ, величественнымъ его праздникомъ!

Съ особеннымъ чувствомъ смотрю на нашего молодаго, цвѣтущаго Бородинскаго помѣщика. Судьба какою-то таинственною нитью меня къ нему привязала: я одинъ изъ первыхъ встрѣтилъ его въ этомъ свѣтѣ, и мнѣ же довелось въ Кремлѣ, у колыбели его, тамъ, гдѣ была колыбель Петра, пророчить его будущее. Многое изъ этого поэтическаго пророчества уже совершилось. Тогда говорилъ я его счастливой матери:

Младенчества обвитый пеленами,
Еще безъ словъ, незрящими очами
Въ твоихъ очахъ любовь встрѣчаетъ онъ.
Какъ тишина, его прекрасенъ сонъ,
И жизни вѣсть къ нему не достигала...
Но ужъ судьба свой судъ о немъ сказала;
Уже въ ея святилищѣ стоитъ
Ему пенить назначенная чаша.
Что скрыто въ ней, того надежда наша
Во тьмѣ земной для насъ не разрѣшитъ...
Но онъ рожденъ въ великомъ градѣ славы,
На высотѣ воскресшаго Кремля.
Здѣсь возмужалъ орелъ нашъ двоеглавый;
Кругомъ его и небо и земля,
Питавшія Россію съ колыбели,
Здѣсь жизнь отцовъ могучая была,
Здѣсь битвы ихъ за честь и Русь кипѣли,
И здѣсь ихъ прахъ могила приняла.
Обманетъ ли сіе знаменованье?
Прекрасное Россія упованье
Тебѣ въ твоемъ младенцѣ отдастъ,
Тебѣ его младенческія лѣта.
Отъ ихъ пелены ко входу въ бури свѣта
Пускай тебѣ во слѣдъ онъ поспѣшитъ
Съ душой на все прекрасное готовой,
Наставленный достойнымъ счастья быть,
Великое съ величіемъ сносить,
Не трепетать, встрѣчая рокъ суровый,
И быть въ дѣлахъ временъ своихъ красой.
Лѣта пройдутъ, подвижникъ молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Онъ полетитъ въ путь опыта и славы...

Эта часть пророчества уже во многомъ исполнилась. Да благоволитъ Богъ, чтобы и послѣдняя часть его была также исполнена.

Да встрѣтитъ онъ обильный честью вѣкъ,
Да славнаго участникъ славный будетъ,
Да на чредѣ высокой не забудетъ
Святѣйшаго изъ званій: человѣкъ.
Жить для вѣковъ въ величіи народномъ,
Для блага всѣхъ свое позабывать,
Лишь въ голосѣ отечества свободномъ
Съ смиреніемъ дѣла свои читать:
Вотъ правила царей великихъ внуку.

И это пророчество сбудется. Порукою за событіе его тотъ, который теперь воспитываетъ примѣромъ своимъ наслѣдника Россіи и царскаго надъ ней могущества. Стихи свои, въ коихъ заключаются эти пророчества, переписываю для вашего высочества почти на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ они были тогда написаны. Но уже не достанется мнѣ благодарить Бога за совершеніе всѣхъ надеждъ, въ нихъ изображенныхъ. Дай Богъ [если бы и долго еще довелось прожить на свѣтѣ] закрыть глаза съ утѣшительною мыслію, что мое отечество продолжаетъ благоденствовать подъ державою своего пынѣшняго славнаго императора и съ надеждою, что еще долго онъ останется съ нами, не утративъ ни одного изъ сокровищъ сердца, услаждающихъ для него бремя власти...

Москва.
1839 г. 5 сентября.

1795—1811.

ПИСЬМА КЪ МАТЕРИ.

I.

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна! Я весьма радъ, что узналъ, что вы слава Богу здоровы; что жъ касается до меня, то и я также, по Его милости, здоровъ и веселъ. Здѣсь я со многими офицерами свелъ знакомство и много обязанъ ихъ ласками. Всякую субботу я смотрю разводъ, за которымъ слѣ-

дую въ крѣность. Въ прошедшую субботу, шодши такимъ образомъ за разводомъ, на подъемномъ мосту вѣтромъ сорвало съ меня шляпу и снесло прямо въ воду, потому что крѣпость окружена водою, однако по дружбѣ одного изъ офицеровъ ее достали.

Еще скажу вамъ, что я перевожу съ нѣмецкаго и учусь ружьемъ. Въ прочемъ, прося вашего родительскаго благословенія и цалуя ваши ручки, остаюсь навсегда вашъ послушный сынъ Василька.

20 ноября
1795-го года
Кекгольмъ.

II.

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементеевна! Имѣю честь васъ поздравить съ праздникомъ и желаю, чтобъ вы опой провели весело и здорово. О себѣ честь имѣю донести, что я слава Богу здоровъ. Недавно у насъ былъ графъ Суворовъ, котораго встрѣчали пушечною пальбою со всѣхъ бастіоновъ крѣпости. Сегодня у насъ маскерадъ, и я также пойду, ежели позволитъ Дмитрій Гавриловичъ. Въ прочемъ, желая всякаго благополучія, остаюсь вашъ послушный сынъ Василька.

1795-го года
декабря 20 дня
Кекгольмъ.

III.

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементеевна! Имѣю честь васъ поздравить съ наступившимъ новымъ годомъ и желаю, чтобъ вы опой и множество таковыхъ провели благополучно и здорово.

О себѣ честь имѣю донести, что я слава Богу здоровъ и веселъ. У насъ здѣсь, правду сказать, очень весело; въ Крещенье была у насъ Іордань, куда ходили съ образами, и была пушечная пальба, и солдаты палили изъ ружей. Въ прочемъ, желая вамъ всякаго благополучія, остаюсь навсегда вашъ послушный сынъ Василька.

IV.

Милостивая государыня матушка
Елизавета Дементеевна!

Григорій приготовилъ деньги за себя, только дѣло остановилось за тѣмъ, что онъ не знаетъ, куда онъ приписанъ по подушному окладу, и какимъ образомъ намъ укрѣпленъ; итакъ, извольте потрудиться объ этомъ освѣдомиться и поскорѣе ко мнѣ прислать. Да не худо бы было, когда бъ вы попросили Михайлу Ивановича, чтобъ онъ сдѣлалъ одолженіе написалъ черную отпускную, ибо я хотя и пустился въ статскіе скрипоперы, но ничего такого написать не умѣю, за что я ему отвѣшу земной поклонъ. Григорій не можетъ теперь дать болѣе 625 рублей, а другихъ 25-ти проситъ подождать, ибо теперь ихъ у него нѣтъ и — такъ какъ и Богъ кающихся прощаетъ, я чистосердечно признаюсь, что изъ вышеръченныхъ 625 рублей взялъ 25. — На что? вы спросите. — На книги, отвѣчаю я и уже вижу, что вы сердитесь. — Но вы конечно меня въ томъ простите; я увѣренъ въ этомъ совершенно, ибо учивши меня столько времени тому-сему, вы не захотите, чтобъ я это забылъ и всѣ деньги, которыя вы за меня платили въ пансіонъ, были бы брошены попапрасну.— Итакъ, какъ бы то ни было, вы конечно простите меня за то, что изъ 625 рублей взялъ я 25 на *нужныя* книги. — Съ этою сладостною надеждою остаюсь съ истиннымъ почтеніемъ и *преданностію,* милостивая государыня матушка, вашъ послушнѣйшій сынъ... Хорошъ послушный! скажете вы: 25 рублей взялъ! На это отвѣчаю еще громче— преслушный сынъ В. Жуковскій.

V.

Цѣлую ваши ручки, милый другъ матушка. Имѣю честь вамъ доложить, что я слава Богу здоровъ и что надѣюсь черезъ двѣ недѣли васъ увидѣть. Бумаги, касательно до дому, послалъ по вашему приказанію на прошедшей еще почтѣ къ

Катеринѣ Аѳанасьевнѣ; очень радъ, что домъ продается. Съ тѣхъ поръ, какъ у меня завелось очень много денегъ [въ воображеніи], чувствую, что богатѣть очень весело; мнѣ хочется привыкнуть имѣть деньги. Эта болѣзнь имѣетъ свои пріятности, хотя лѣкарствъ отъ нея очень много и хотя я самъ не изъ послѣднихъ лѣкарей. Думаю однако, что мои ближніе не заплакали бы, когда бы я занемогъ богатствомъ и занемогъ *неизлѣчимо*. Пошли мнѣ Господи эту черную немочь! Покуда, скажу вамъ еще разъ, что я здоровъ и здоровъ во всѣхъ отношеніяхъ. Цѣлую ваши ручки. Дай Богъ, чтобъ я нашелъ васъ спокойными, веселыми, здоровыми, и пр. и пр. Вашъ покорный и послушный сынъ В. Жуковскій.

1815—1820.

КЪ МАРЬѢ АНДРЕЕВНѢ ПРОТАСОВОЙ [МОЙЕРЪ].

I.

Весною 1815 г. въ Муратовѣ.

Милая Маша, намъ надобно объясниться. Какъ прежде отъ тебя одной я требовалъ и утѣшенія, и твердости, такъ и теперь требую твердости въ добрѣ. Намъ надобно знать и исполнить то, на что мы рѣшились. Дѣло идетъ не о томъ только, чтобы быть вмѣстѣ, но и о томъ, чтобы этаго стоить. Слѣдовательно, не по одной наружности исполнять данное слово, а въ сердцѣ быть ему вѣрными. Иначе не будетъ покоя, иначе никакого согласія въ чувствахъ между мною и маменькой быть не можетъ. Сказавъ ей рѣшительно, что я ей братъ, мнѣ должно быть имъ не на однихъ словахъ, не для того единственно, чтобы получить этимъ именемъ право быть вмѣстѣ. Есть ли я ей говорилъ искренно о моей къ тебѣ привязанности, есть ли объ этомъ и писалъ, то для того, чтобы не носить маски — я хотѣлъ только свободы и довѣренности. Это насъ розпило съ нею. Теперь, когда все, и самое чувство пожертвовано, когда оно перемѣнилось въ другое лучшее и нѣжнѣйшее, насъ съ нею ничто не будетъ розпить. Но, милой другъ, я хочу, чтобы и ты была совершенно со мною согласна, чтобы была въ этомъ мнѣ и примѣромъ и подпорою; хочу знать и слышать твои мысли. Какъ прежде ты давала мнѣ однимъ словомъ и бодрость, и подпору, такъ и теперь ты же мнѣ дашь и всю нужную мнѣ добродѣтель. Чего я желалъ? Быть счастливымъ съ тобою! Изъ этого теперь должно выбросить только одно слово, чтобы все замѣнить. Пусть буду счастливъ тобою! Право, для меня все равно твое счастіе или наше счастіе. Поставь себѣ за правило все ограничить одной собою, повѣрь, что будешь тогда все дѣлать и для меня. Моя привязанность къ тебѣ теперь точно безъ примѣси собственнаго и отъ этого она живѣе и лучше. Ужъ я это испыталъ на дѣлѣ — смотря на тебя, я уже не то думаю, что прежде; есть ли же на минуту и завернется старая мысль, то всегда съ своимъ дурнымъ старымъ товарищемъ, грустью; стоитъ уйти къ себѣ, чтобы опять себя отыскать такимъ, какимъ надобно; а это еще теперь, когда я отъ маменьки ничего не имѣю, когда я еще ей не братъ—что жъ тогда, когда и она съ своей стороны все для меня сдѣлаетъ. Я увѣренъ, что грустныя минуты пропадутъ и мѣсто ихъ заступятъ ясныя, тихія, полныя чистою къ тебѣ привязанностію. Вчера за ужиномъ прежнее немножко что-то зацѣпило меня за сердце — но воротясь къ себѣ, я началъ думать о твоемъ счастіи, какъ о моей теперешней заботѣ. Боже мой, какъ это меня утѣшило! Какъ еще много мнѣ осталось! Не лиши же меня этого счастія! Передѣлай себя совершенно и будь этимъ мнѣ обязана! Думай беззаботно о себѣ, все дѣлай для себя — чего для меня болѣе? Я буду знать, что я участникъ въ этомъ миломъ счастіи! Какъ жизнь будетъ для меня дорога! Между тѣмъ я имѣю собственную цѣль — работа для пользы и славы! Не легко ли будетъ ра-

ботать? Все пойдетъ изъ сердца и все будетъ понятно для добрыхъ! Напиши объ этомъ твои мысли — я увѣренъ, что онѣ и возвысятъ, и утвердятъ всѣ мои чувства и намѣренія.

Я сейчасъ отдалъ письмо маменькѣ. Не знаю, что будетъ. Въ обоихъ случаяхъ, Perseverence! Меня зовутъ! чудо — сердце не очень бьется. Это значитъ, что я рѣшился твердо...

(Продолженіе того же письма, прерваннаго разговоромъ съ Екатериной Афанасьевной).

...Мы говорили — этотъ разговоръ можно назвать холоднымъ толкованіемъ въ прозѣ, того, что написано съ жаромъ въ стихахъ. Смыслъ тотъ же, да чувства нѣтъ. Она мнѣ сказала, чтобъ я до іюля остался въ Петербургѣ — потомъ увидитъ. Однимъ словомъ той сестры нѣтъ для меня, которой я желаю и которая бы сдѣлала мое счастіе. Еще она сказала: дай время мнѣ опять сблизиться съ Машею; ты насъ совсѣмъ разлучилъ. Признаюсь, противъ этаго нѣтъ возраженія, и есть ли это такъ, то мнѣ нѣтъ оправданія; и я поступаю, какъ эгоистъ, желая съ вами остаться! Въ самомъ дѣлѣ! Чего я хочу? Опять только своего счастія? Надобно совсѣмъ забыть объ немъ! Словами и объясненіями его не сдѣлаешь! Маша, чтобы имѣть полное спокойствіе, не должно ли тебѣ возвратить мнѣ всѣхъ писемъ монхъ? Ты знаешь теперь нашу общую цѣль. Твое счастіе! Быть довольнымъ собою! У тебя есть Фенелонъ и твое сердце. Довольно! Твердость и спокойствіе, а все прочее Промыслу.

II.

(Въ Дерптѣ, весною, должно быть въ мартѣ 1815).

Расположеніе, въ какомъ къ тебѣ пишу, увѣряетъ меня, что я не нарушаю своего слова, тѣмъ, что къ тебѣ пишу. Надобно сказать все своему другу. Я долженъ непремѣнно тебѣ открыть настоящій образъ своихъ мыслей. Маша моя (теперь моя болѣе, нежели когда-нибудь), поняла ли ты то, что заставило меня рѣшительно отъ тебя отказаться? Ангелъ мой, совсѣмъ не мысль, что я желаю беззаконнаго — нѣтъ! Я никогда не перемѣню на этотъ счетъ своего мнѣнія и вѣрю что я былъ бы счастливъ, и что Богъ благословилъ бы нашу жизнь! Совсѣмъ другое и гораздо лучшее побужденіе произвело во мнѣ эту перемѣну! твое собственное счастіе и спокойствіе! Рѣшившись на эту жертву, я входилъ во всѣ права твоего отца. Другая, нѣжнѣйшая связь! Право, эта минута была для меня божественная; есть ли можно слышать на землѣ голосъ Божій, то конечно въ эту минуту онъ мнѣ послышался! Съ этимъ чувствомъ все для меня перемѣнилось, всѣ отношенія къ тебѣ сдѣлались другія, я почувствовалъ въ душѣ необыкновенную ясность; то, чего я никогда не имѣлъ въ жизни, вдругъ сдѣлалось моимъ; я увидѣлъ подлѣ себя сестру и сдѣлался другомъ, покровителемъ, товарищемъ ея дѣтей; я готовъ былъ глядѣть на маменьку другими глазами и право восхищался тѣмъ чувствомъ, съ какимъ бы называлъ ее сестрою — ничего еще подобнаго не бывало у меня въ жизни! Имя сестры въ первый разъ въ жизни меня тронуло до глубины сердца! Я готовъ былъ ее обожать; ни въ комъ, ни въ комъ [даже и въ васъ] не имѣла бы она такого неизмѣннаго друга, какъ во мнѣ; до сихъ поръ имя сестры только меня пугало, оно казалось мнѣ разрушителемъ моего счастія; послѣ совершеннаго пожертвованія собою, оно показалось мнѣ самымъ лучшимъ утѣшеніемъ, совершенною всего замѣною; Боже мой, какая прекрасная жизнь мнѣ представилась! Самое дѣятельное, самое ясное усовершенствованіе себя во всемъ добромъ! Можно ли, милой другъ, измѣнить великому чувству, которое насъ возвело выше самихъ себя! Жизнь, освященная этимъ великимъ чувствомъ, казалась мнѣ прелестною! Есть ли прежде, когда моя привязанность къ тебѣ была непозволенною, я имѣлъ въ иныя минуты

счастіе; что же теперь, когда душа отъ всякаго бремени облегчилась и когда я имѣю право быть довольнымъ собою! Разъ испытавъ прелесть пожертвованія, можно ли разрушить самому эту прелесть! Съ этимъ великимъ чувствомъ, какъ бы счастливы были мои минуты! Вмѣсто своего частнаго счастія имѣть въ виду общее, жить для него и находить все оправданіе въ своемъ сердцѣ и въ вашемъ уваженіи; быть вашимъ отцомъ [братъ вашей матери имѣетъ на это имя право], называть васъ своимъ и заботиться объ вашемъ счастіи — чѣмъ для этаго не пожертвуешь! И для этаго я всѣмъ пожертвовалъ! Такъ, что и слѣду бы не осталось скоро въ душѣ моей! Даже въ первую минуту я почувствовалъ, что падъ собою работать нечего — стоило только понять меня; подать мнѣ руку сестры! стоило ей только вообразить, что братъ ея всталъ изъ гроба и просится опять въ ея домъ, или лучше вообразить, что вашъ отецъ живъ и что онъ съ полною къ вамъ любовью, хочетъ съ вами быть опять на свѣтѣ. Съ этими счастливыми, скажу смѣло добродѣтельными чувствами, соединялась и надежда вести самой прекрасной образъ жизни. Осмотрѣвшись въ Дерптѣ, я увѣренъ, что здѣсь работалъ бы я такъ, какъ нигдѣ нельзя работать — никакого разсѣянія, тьма пособій и ни малѣйшей заботы о томъ, чѣмъ бы прожить день и при всемъ этомъ первое, единственное мое счастіе семья. Съ такимъ чувствомъ пошелъ я къ ней, къ моей сестрѣ. Что же въ отвѣтъ? Разстаться! Она увѣряетъ меня, что не отъ недовѣрчивости — а для сохраненія твоей и ея репутаціи! Милая, эта послѣдняя причина должна бы удержать ее еще въ Муратовѣ. Тамъ можно было того же бояться, чего и здѣсь. Но въ Муратовѣ она рѣшилась возвратить меня, несмотря на то, что въ своихъ письмахъ я говорилъ совсѣмъ противное тому что теперь говорю и чувствую. Нѣтъ! эта причина не справедливая! или должно было меня еще остановить въ Москвѣ! И теперь въ ту самую минуту, когда я только думалъ начать жить прекраснѣйшимъ образомъ, все для меня разрушено! Я не раскаяваюсь въ своемъ пожертвованіи — можно ли раскаяться когда-нибудь въ томъ, что возвышаетъ душу! Но я падѣялся имъ заплатить за счастіе, и я былъ бы истинно счастливъ, есть ли бы она только этаго захотѣла! есть ли бы она прямо мнѣ повѣрила; есть ли бы поняла, какъ чисто и свято то чувство, которымъ я былъ наполненъ. Что же даютъ мнѣ за то счастіе, котораго я требовалъ? Самую печальную жизнь безъ цѣли и прелести! Служить — спрашиваю, для какихъ выгодъ? отказаться отъ всякаго занятія? Въ Петербургѣ я не могъ бы заниматься, есть ли бы и имѣлъ состояніе! Убійственное разсѣяніе утомило бы душу!

[*Здѣсь въ подлинникѣ одна строка совершенно зачеркнута, такъ что прочесть нельзя*]; — «гдѣ тутъ имѣть понятіе?»

[*Еще строка зачеркнута*].

Трудиться для денегъ! Прощай энтузіазмъ! единственное, что оставалось! Ремесленничество не сходно ни съ какимъ энтузіазмомъ; но и безъ него разсѣяніе погубило бы энтузіазмъ! все разомъ въ дребезги и счастіе, которое вдругъ представилось бы мнѣ столь яснымъ, и трудъ свободный, замѣна за счастіе! Нѣтъ, милая! Голосъ брата не дошелъ до ея сердца! Чтобы тронуть его, я видно не имѣю никакого языка! Я сдѣлаюсь дорогъ тогда развѣ, когда меня не будетъ на свѣтѣ! Этотъ страхъ разстроитъ репутацію есть только придирка! Почему же онъ теперь именно, когда всѣ причины къ недовѣрчивости совершенно разрушились, пришелъ въ голову! Для чего вырвать меня изъ Долбино? Само по себѣ разумѣется, что противъ этой причины я не могъ ничего сказать! Я готовъ во всякомъ случаѣ быть за тебя жертвою — но надобно, чтобы жертва была необходима! Здѣсь, какихъ толковъ боятся? Кто подастъ къ нимъ поводъ? А прежніе

толки пропадутъ сами собою! Да я первый всѣ усилія употреблю, чтобы все привести въ порядокъ! Между тѣмъ мы были бы счастливы, счастливы въ своей семьѣ, и свидѣтель былъ бы у насъ Богъ! О! какъ бы весело было помогать другъ другу вести жизнь добродѣтельную! Я чувствую, я увѣренъ, что было бы легко и что мнѣ даже и усилій никакихъ не было бы нужно дѣлать надъ собою! Теперь что мнѣ осталось? Начинать новую жизнь безъ цѣли, безъ бодрости и за какимъ счастіемъ гнаться? Такъ и быть! все въ жизни къ прекрасному средство! Но сердце ноетъ, когда подумаешь, чего и для чего меня лишили.

III.

29 марта (1815 г. Дерптъ).

Милой другъ, надобно сказать тебѣ что-нибудь въ послѣдній разъ. У тебя много останется утѣшенія; у тебя есть добрый товарищъ: твоя смирная покорность Провидѣнію. Она у тебя не на словахъ, а въ сердцѣ и на дѣлѣ. Что могу сказать тебѣ утѣшительнѣе того, что скажетъ тебѣ лучшая душа, какая только была на свѣтѣ, твой Фенелонъ, котораго ты понимать можешь. Я благодарю тебя за то, что ты его мнѣ вчера присылала. Теперь знаю, что у тебя есть неразлучный товарищъ и такой, который всегда умѣетъ дать твердость, надежду и ясность. Я знаю теперь, что каждый день доставитъ тебѣ прекрасную минуту. Стоитъ только войти въ себя, поговорить съ добрымъ, нѣльстивымъ другомъ, и все, что вокругъ тебя, приметъ другой видъ. Читай же эту книгу безпрестанно. Въ дополненіе къ Фенелону пришлю тебѣ Массильона. Теперь чтеніе для тебя не занятіе, а жизнь и усовершенствованіе сердца и мыслей. Пусть это чтеніе напоминаетъ тебѣ обо мнѣ, о человѣкѣ, который желалъ быть твоимъ товарищемъ во всемъ добромъ. Я никогда не забуду, что всѣмъ тѣмъ счастьемъ, какое имѣю въ жизни, обязанъ тебѣ, что ты мнѣ давала лучшія намѣренія, что все лучшее во мнѣ было соединено съ привязанностію къ тебѣ, что, наконецъ, тебѣ же я былъ обязанъ самымъ прекраснымъ движеніемъ сердца, которое рѣшилось на пожертвованіе тобою—опытъ самый благодѣтельный на всю жизнь; онъ увѣряетъ меня, что лучшія минуты въ жизни тѣ, въ которыя человѣкъ забываетъ себя для добра и забываетъ не на одну минуту. Сама можешь судить, что въ этомъ воспоминаніи о тебѣ заключены будутъ всѣ мои должности. Пропади оно—я все потеряю. Я сохраню его, какъ свою лучшую драгоцѣнность. Я ввѣряю себя этому воспоминанію и право не боюсь будущаго. Что можетъ теперь въ жизни сдѣлаться ужаснаго для меня собственно? во всѣхъ обстоятельствахъ я буду стараться быть такимъ же, каковъ теперь. Обстоятельства дѣло Провидѣнія. Мысли и чувства въ этихъ обстоятельствахъ—вотъ все, что мы можемъ. И въ этомъ-то постараюсь быть тебя достойнымъ. Впрочемъ останемся беззаботны. Все въ жизни къ прекрасному средство! Я прошу отъ тебя только одного, не позволяй тобою жертвовать и заботься о своемъ счастіи. Этимъ ты мнѣ обязана. Я желалъ бы, чтобы ты болѣе имѣла свободы заниматься собственнымъ. Выпроси у маменьки нѣсколько часовъ въ дни для чтенія—въ этомъ чтеніи прямая твоя жизнь. Но не читай ничего, чтобы было только для пустаго развлеченія. Малое, но питательное для такого сердца, какъ твое. Меня утѣшаетъ теперь мысль, что маменька будетъ должна теперь къ тебѣ болѣе прежняго привязаться. Противъ остальнаго терпѣніе и твердость. Мои тетрадки сбереги. Въ нихъ нечего перемѣнять, кромѣ развѣ одного—вездѣ с е с т р а. Помни же своего брата, своего истиннаго друга. Но помни такъ, какъ онъ того требуетъ, то есть знай, что онъ, во всѣ минуты жизни, есть ли не живетъ, то по крайней мѣрѣ желаетъ жить, такъ какъ велитъ ему его привязанность къ тебѣ, теперь вѣчная и болѣе нежели когда-нибудь чистая и сильная.

Объ Воейковѣ скажу только одно слово. Мнѣ ему прощать нечего. Слѣпому человѣку нужно ли прощать его слѣпоту. Но какимъ же убѣжденіемъ можно заставить себя вѣрить, что онъ зрячій. Человѣкъ, который имѣетъ полную власть счастливить тебя и который не только этаго не дѣлаетъ, но еще дѣлаетъ противное, можетъ ли носить названіе человѣка? Этаго простить нельзя. Даже трудно удержаться отъ ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между имъ и мною нѣтъ ничего общаго. Я...

[*Двѣ строки зачеркнуты*].

...Ты мнѣ напомнишь: все въ жизни къ великому средство! Дай мнѣ способъ сдѣлать ему добро: я его сдѣлаю. Но называть бѣлое чернымъ и черное бѣлымъ и уважать и показывать уваженіе къ тому, что... [нѣсколько словъ зачеркнуто] ...въ этомъ нѣтъ величія; это притворство передъ собою и другими.

Въ этомъ письмѣ мнѣ не должно было говорить о Воейковѣ. Но должно было отвѣчать на твое письмо. Я никакъ не ожидалъ, чтобы мое пожертвованіе было такъ принято. Нѣтъ! меня хотятъ лишить всякаго счастія! Но ты не бойся! Жизнь моя будетъ тебя стоить! Выключая наперед изъ нее минуты унылости и сомнѣнія, все прочее будетъ такъ, какъ тебѣ надобно. Тургеневъ зоветъ меня къ себѣ, мы будемъ жить вмѣстѣ. У меня есть семья друзей и твое уваженіе. Я богатъ. Остальное Провидѣнію. Дурнаго быть не можетъ, если самъ не будешь дуренъ. А у меня есть вѣрная защита отъ всего: воспоминаніе и repentence!

Я бы желалъ, чтобы ты написала мнѣ поболѣе.

Это было написано вчера поутру. Маша, откланяюсь. Я отъ тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось. Рази Бога, открой мнѣ глаза. Мнѣ кажется, что я все потерялъ.

IV.

С.-Петербургъ, 27-го ноября 1815 г.

Ты хочешь говорить съ мною какъ съ отцомъ. Есть ли это имя не пустое слово, написанное безъ всякаго особеннаго смысла, то это значитъ, что мое мнѣніе для тебя такъ же важно, какъ мнѣніе отца. Милой другъ, ты мнѣ повѣришь, когда скажу тебѣ, что могу безъ всякаго эгоизма думать о твоемъ счастіи и желать его. Итакъ я буду говорить какъ отецъ, которому все то извѣстно, что дѣлается въ сердцѣ у дочери, который на этотъ счетъ не хочетъ обманывать ни себя, ни другихъ, который желаетъ счастія своей дочери для нее, который, думая объ ея счастіи, не разумѣетъ подъ нимъ одного собственнаго спокойствія. Послушай, мой милой другъ, если бы твое письмо написано было хотя полгодомъ позже, я бы подумалъ, что время что-нибудь сдѣлало надъ твоимъ сердцемъ и что привязанность къ Мойеру, произведенная привычкою, помогла времени; я бы повѣрилъ тебѣ и подумалъ бы, что ты дѣйствуешь по собственному, свободному побужденію; я бы повѣрилъ твоему счастію. Но давно ли мы разстались? Нѣтъ трехъ недѣль, какъ мое послѣднее письмо было написано къ маменькѣ! Ты знаешь то, что я чувствовалъ къ тебѣ, а я знаю, что ты ко мнѣ чувствовала—могла ли, скажи мнѣ, произойти въ тебѣ та перемѣна, которая необходимо нужна для того, чтобы ты имѣла право передъ собою рѣшиться на такой важный шагъ? Мойеру уже было одинъ разъ отказано! Онъ, вѣроятно, не дѣлалъ новыхъ предложеній! Съ чего же пришла тебѣ самой мысль за него идти? тебѣ, которая говорила, что для тебя никакого другаго счастія не надобно, кромѣ свободы, неразлучности съ маменькой и спокойствія въ семьѣ твоей? Нѣтъ, милой другъ, не ты сама на это рѣшилась! Тебя рѣшили съ одной стороны требованія и упреки, съ другой грубости и жестокое притѣсненіе! Не давши времени твоей душѣ придти въ себя, отъ тебя требуютъ послѣдняго пожертвованія на цѣлую жизнь, называя это пожертвованіе твоимъ же счастіемъ, и даже не принимая его за пожертвова-

ніе! Ты имѣешь ко мнѣ точно такую же правду, какую ты написала къ Павлу Ивановичу; основываясь на письмѣ твоемъ, скажутъ, что ты всего сама желала, что сдѣлали тебѣ угодно; и до того, что у тебя въ сердцѣ, нѣтъ дѣла. Это видитъ одинъ Богъ, а не люди! Однимъ словомъ, ты бросаешься въ руки Мойеру потому, что тебѣ другаго нечего дѣлать! Тебя тащутъ туда насильно, и еще ты же должна говорить, что ты счастлива! а я вслѣдъ за тобою, какъ твой отецъ, говорить то же! Нѣтъ! какъ твой отецъ, я не могу на это теперь согласиться. Есть ли бы я былъ твой отецъ не на словахъ, а на дѣлѣ, есть ли бы это имя не было мнѣ дано, какъ самое оскорбительное доказательство совершеннаго безсилія сдѣлать что-нибудь для твоего счастія, я бы поступилъ иначе; зная твое состояніе, я бы прежде всего старался дать тебѣ время успокоить свое сердце, я бы не сталъ, какъ самовластный деспотъ, располагать всею судьбою твоей жизни; не пожертвовалъ ею своему спокойствію, своей прихоти; зная въ своей совѣсти, что я самъ причиною всего, что съ тобою было, я не вздумалъ бы къ твоему несчастію, мною самимъ сдѣланному, прибавить другаго, совершенно непзгладимаго; я бы замѣнилъ для тебя то, что у тебя отнялъ, произвольно или принужденно, до того нѣтъ дѣла; подлѣ меня нашла бы ты всѣ вознагражденія за потерянное; я не далъ бы въ семьѣ своей дѣлать тебѣ жестокихъ непріятностей, принуждающихъ тебя все забыть, на все рѣшиться, чтобы послѣ во всемъ раскаяваться: однимъ словомъ, я былъ бы твой отецъ, утѣшитель, товарищъ! не думалъ бы объ одномъ себѣ! Ты была бы свободна, спокойна; время все бы исправило! Тогда безъ принужденія, безъ всякаго упрека совѣсти, ты выбрала бы для себя счастіе вѣрнее, то есть хорошее промѣняла бы на лучшее и не была бы жертвою моей прихоти, моего эгоизма; и я былъ бы счастливъ, потому что былъ бы тогда увѣренъ въ твоемъ счастіи! Такъ бы я поступилъ, есть ли бы былъ твой отецъ или твоя мать. Но теперь кто увѣритъ меня, что ты поступаешь свободно? То, что ты написала къ Павлу Ивановичу, можетъ быть удовлетворительно для Павла Ивановича, но не для меня. Я знаю настоящее расположеніе твоего сердца, и маменька знаетъ его [знаетъ передъ своею совѣстью и передъ Богомъ—что бы ни думали люди]—какъ же могу повѣрить, чтобы, съ такимъ расположеніемъ, писанное тобою было языкъ твой, свободной, непринужденной? Нѣтъ! Это языкъ маменьки! Ей нужно спокойствіе, спокойствіе на счетъ всего твоего будущаго? Но какъ же осмѣлится она за него поручиться, будучи не увѣрена въ настоящемъ? Ты можешь дать волю все съ собой сдѣлать, ты можешь не роптать и покориться—но болѣе не можешь ничего! Боже мой! религія запретила ей согласиться на наше счастіе; а та же религія не можетъ ей запретить принудить тебя къ нарушенію всего святаго: таинства и клятвы? Послѣ этаго могу ли подумать, что религія, а не одно желаніе исполнить волю свою, управляетъ ея поступками? Почему же здѣсь молчитъ религія, здѣсь, гдѣ дѣло идетъ о такомъ поступкѣ, съ которымъ ни сердце, ни желаніе твои не могутъ быть согласны? Я знаю языкъ ея: исполненіе должности всего святѣе! Но это для нея равно, какъ и для тебя. Твоя должность быть согласною съ ея волею. А ея должность не жертвовать тобою своей власти. И она равно должна думать о твоемъ счастіи, какъ и ты о ея. Пусть люди будутъ воображать, что ты слѣдовала собственному желанію; но она этаго знать не будетъ, она, отъ которой твоя судьба зависитъ; но Богъ не будетъ этаго знать—а Онъ судитъ не по наружности, а по намѣреніямъ. Я знаю, какъ она объ этомъ думаетъ; я помню, что сказала она мнѣ передъ отъѣздомъ нашимъ изъ Муратова [и это слово вѣчно меня приводитъ въ трепетъ]. Жалѣю, что Маша не выдана за Апухтина. Когда же это было сказано? Послѣ того,

какъ она уже обо всемъ знала, и послѣ того, какъ она совершенно узнала, какое было бы для тебя счастіе съ Анухтинымъ. Какое же понятіе имѣетъ она о супружествѣ? За что же ей не хотѣть, чтобы и ты имѣла то, чѣмъ она сама была такъ счастлива! Неужели и здѣсь можно принять за правило ея обыкновенную мысль: счастія на землѣ найти нельзя! Найти нельзя—это и я знаю; но отымать его не должно; но должно по крайней мѣрѣ искать его для тѣхъ, кто отъ насъ зависитъ! Нѣтъ, Маша, никакъ не могу повѣрить письму твоему! Оно слишкомъ противорѣчитъ всему, что я знаю, и въ чемъ былъ до сихъ поръ такъ увѣренъ. Je crois vraiment, пишешь ты, que je trouverai le bonheur et le repos avec Moyer, je l'estime beaucoup, il a une ame digne et un caractère noble et j'attends tout du temps. Милой другъ, прошу тебя нисколько не думать, чтобы я въ эту минуту помнилъ о себѣ; ты одна знаешь, какъ я искренно готовъ забыть все собственное для твоего счастія. Но скажи мнѣ, ты прежде выйдешь за Мойера, а потомъ ужъ оставишь все додѣлывать времени. Не должна ли ты, изъ уваженія къ самой себѣ, поступить напротивъ! Не святая ли это съ твоей стороны обязанность? И твои слова не служатъ ли доказательствомъ, что тебѣ не даютъ этаго нужнаго времени, что тебѣ должно спѣшить, оставя будущее на произволъ судьбы? Я самъ люблю Мойера, я видѣлъ его во всѣ минуты прекраснымъ человѣкомъ! Но давно ли вы его знаете? Есть ли бы и не было необходимой обязанности медлить, все надлежало бы дать себѣ время узнать его болѣе? А здѣсь сколько для тебя самой личныхъ причинъ не спѣшить! Спросись съ собою, имѣешь ли право такъ скоро рѣшиться? Правда, на это надобно имѣть свободу, а ты, можетъ быть, ее не имѣешь! Но скажи мнѣ, что заставляетъ васъ такъ спѣшить теперь, когда ничто уже не противится маменькиной власти? Мойеръ съ вами: всякой день бываете вы вмѣстѣ! Всякой день можетъ болѣе и болѣе тебя съ нимъ знакомить! Неужели еще года нельзя пробыть тебѣ въ той семьѣ, въ которой ты прожила двадцать лѣтъ! Въ годъ можешь узнать всю будущую жизнь свою! Годъ можетъ все заставить забыть; произведетъ свычку, привязанность и дастъ полное право располагать собою! Пожертвованіе сдѣлать легко, по надобно, чтобы оно было нужно! Спрашиваю, нужно ли оно теперь! Дѣло идетъ не о страсти—ты ее никогда не имѣла и не дай Богъ имѣть. Что маменька ни говорила и ни писала обо мнѣ, но и я никогда не имѣлъ ея; но за то имѣлъ нѣчто лучше: увѣренность въ своемъ счастіи, привязанность совершенную, привычку думать объ одномъ и все къ одному относить. Милой другъ, это не страсть. И ты теперь въ такихъ обстоятельствахъ, что все это со временемъ можешь получить и получить прежде, нежели рѣшить судьбу свою навсегда. Будучи вмѣстѣ неразлучно, привыкните другъ къ другу, и тогда переходъ изъ одного состоянія въ другое будетъ легокъ и не страшенъ. Рѣдко удается узнать того человѣка, съ которымъ надобно будетъ дѣлить судьбу свою! Тебѣ это возможно! Узнай его! привяжись къ нему сердцемъ, а не по необходимости! Поручись себѣ и мнѣ за свое счастіе: тогда я буду радъ тому, на что теперь смотрю только со страхомъ и въ чемъ теперь вижу одно непужное пожертвованіе, опасное и даже непозволенное. Къ тому же, давъ себѣ время, будете въ состояніи обдумать всѣ обстоятельства постороннія, имѣющія и, кромѣ личнаго характера, величайшее вліяніе на судьбу всей жизни. Мойеръ нѣмецъ; всѣ его связи въ Дерптѣ; онъ долженъ жить трудами рукъ своихъ; и не знаю, можетъ ли имѣть недвижимое имѣніе. Всѣ эти обстоятельства не худо обдумать напередъ! Есть ли онъ не захочетъ оставить своего края, то легко ли тебѣ будетъ со всѣми разлучиться! То счастіе, которое найдешь съ нимъ, замѣнитъ ли тебѣ все то, отъ чего надобно будетъ

отказаться! Однимъ словомъ, давъ себѣ время, ко всему напередъ можешь приготовиться и привыкнуть. Итакъ, есть ли для тебя имя отца, данное мнѣ, имѣетъ какой-нибудь смыслъ, то прошу тебя дать себѣ годъ еще свободы; не говори ни слова Мойеру, но пускай онъ имѣетъ твою дружбу. Это будетъ прекраснѣйшимъ приготовленіемъ къ вѣрному счастію! И ничто не брошено будетъ на произволъ случая. Мнѣ же дашь совершенное спокойствіе. Пусть время сдѣлаетъ все прежде, а не послѣ. Мнѣ ничего, кромѣ твоего счастія, не надобно: собственнаго ничего къ нему не примѣшано; но оно развѣ не моя уже собственность; а эту собственность ты обѣщала мнѣ беречь свято! Неужели и ее у меня отнимутъ? Неужели ко всѣмъ прочимъ радостямъ, которыми такъ богата моя жизнь, еще надобно прибавить и неизъяснимое счастіе думать, что, опасаясь меня и моихъ происковъ, поспѣшили пожертвовать тобою и отдать первому, который тебѣ встрѣтился, чтобы только отъ меня избавить! Мойеръ прекрасный человѣкъ, сколько я его знаю! Но тебѣ надобно съ нимъ счастія. Прежде узнай навѣрное, что его получишь, а тамъ уже располагай собою. Неужели нельзя тебѣ имѣть году отсрочки? Неужели я такая презрѣнная тварь, что уже мнѣ никакого утѣшенія сдѣлать не можно, что уже меня можно раздавить, не думая даже, что я могу почувствовать боль? Увѣренность въ твоемъ счастіи мнѣ нужна болѣе всего; я самъ знаю, что тебѣ надобенъ человѣкъ, который бы тебя спокоилъ и умѣлъ бы цѣнить тебя! Ты могла бы теперь имѣть много счастія дома, но я знаю, что ты его имѣть не будешь! Надобно его искать въ сторонѣ; но надобно найдти его! За что же такая поспѣшность располагать твоею участью? Вся твоя жизнь была пожертвованіе, и теперь должно бросить на жертву все остальное. Но тоже можно сдѣлать и безъ пожертвованія; навѣрное, безъ всякаго риску. Только помедлите. Скажи мнѣ, какое новое несчастіе сдѣлалось, что ты захотѣла бѣжать? Въ твоей семьѣ всѣ, начиная съ маменьки, знаютъ, что тебѣ нельзя этого желать; это желаніе само собою не могло придти къ тебѣ въ сердце; тебя принуждаютъ и гонятъ изъ семьи своей; никогда не повѣрю, чтобы ты рѣшилась сама и произвольно—съ чего тебѣ рѣшиться? Ты мнѣ говорила тысячу разъ, что тебѣ нужно одно спокойствіе и любовь твоей матери, что всякая перемѣна только испортитъ—теперь отъ чего же другой языкъ? Marie, vous m'avez dit un jour devant Dieu, que vous ne vous marierez jamais autrement que d'après votre choix et jamais par la seule obeissance. Devant Dieu, помнишь ли это? Здѣсь я напоминаю объ этомъ словѣ не для того, чтобы тебя отвратить отъ Мойера, нѣтъ! я самъ его люблю, уважаю и почитаю способнымъ дать тебѣ счастіе. Но я прошу одного: не по принужденію, свободно, не изъ необходимости, не для того только, чтобы бѣжать изъ семьи своей и гдѣ-нибудь найдти пріютъ. Вотъ мысль, которая убиваетъ меня. Неужели не могутъ позволить тебѣ самой позаботиться о счастіи своемъ? Неужели надобно самую жизнь отдать на жертву ихъ власти? Кажется, до сихъ поръ ты не жила, не думала для одной себя—все для маменьки! все было ей жертвой! Какое же награжденіе? Какъ бы имъ легко было за все занлатить тебѣ, давъ тебѣ волю быть спокойною между ими! Что тебѣ надобно, много ли? чего еще ты отъ нихъ требуешь? Кажется все для нихъ? Что же для тебя? Сердце разрывается, когда подумаю объ этой жестокости, объ этомъ холодномъ самовластіи, которое величаютъ материнскою любовію. Но скажи, Маша, развѣ ты не обязана подумать и обо мнѣ? Развѣ для тебя не нужно избавить меня отъ такой мысли, которая отравитъ всю мою жизнь, отъ мысли, что тебя принудили выйдти за мужъ, опасаясь меня! Я уже не прошу объ этомъ маменьку; она только умѣетъ называть меня братомъ, но она не упустила ни одного случая разорвать мнѣ сердце! За-

хочетъ ли она и здѣсь меня удостоить вниманія! Что ей до меня, когда она не щадитъ своихъ дѣтей! Уже она знаетъ по опыту, какъ поспѣшность гибельна — но что опытъ, что сожалѣніе, когда дѣло идетъ объ томъ, чтобы исполнить свою волю! Я прошу этаго сожалѣнія отъ тебя; я не требую, чтобы ты отказалась отъ Мойера; но требую только, чтобы ты употребила одинъ годъ на свободное размышленіе, на свычку съ нимъ, на то, чтобы старое успѣло быть забыто и замѣнено новою привязанностію! Не говори съ нимъ ничего, не обязывай себя ничѣмъ; но имѣй его въ виду; онъ все будетъ въ вашей семьѣ! Здѣсь самое гибельное—поспѣшность! Но на что къ вамъ спѣшить? Вмѣсто того, чтобы испортить что-нибудь, время все можетъ привести только въ лучшій порядокъ. Онъ будетъ вмѣстѣ съ вами, а меня можете ли вы боятся? Все кончено, и ни въ какомъ случаѣ намъ быть вмѣстѣ невозможно. Милой другъ, я не противлюсь твоему намѣренію, прошу только сдѣлать что-нибудь и для моего спокойствія; и то, чего прошу, весьма легко исполнить и совершенно согласно съ твою же пользою. Но, можетъ быть, именно потому, что я прошу, оно и не будетъ исполнено! Я въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ просилъ ее согласиться со мною только въ одномъ, дать тебѣ полную свободу! И вслѣдъ за этимъ она начинаетъ требовать, чтобы ты шла за Мойера; теперь прошу той же свободы и отсрочки—и увѣренъ, что самое сильнѣйшее желаніе ея теперь будетъ поспѣшить! Она рѣшилась отнять у меня все до послѣдняго! даже внутреннее спокойствіе, а съ нимъ, можетъ быть, и всякую привязанность къ жизни! И ей удастся!

Не бойся моей встрѣчи съ Воейковымъ и успокой на этотъ счетъ Сашу—есть ли мы увидимся, то никакихъ объясненій между нами не будетъ! Они не нужны! Что ты называешь съ нимъ помириться? Желать ему добра и всякое, какое въ моей власти, сдѣлать—это само по себѣ разумѣется! Любить его и простить ему твои огорченія—это невозможно!

28-го ноября (1815 г.).

Одно мѣсто твоего письма изумило меня, «Воейковъ, котораго я сейчасъ видѣлъ, подтвердилъ мое изумленіе: en vous mariant, en vous sacrifiant comme vous le faites, vous croyez donner à votre mère deux amis». Ты хочешь дать мнѣ свое мѣсто въ семьѣ твоей матери. Нѣтъ, Маша! я просилъ тебя тысячу разъ: не думай обо мнѣ, заботясь о своемъ счастіи! Будь счастлива для себя, тогда и все мое желаніе исполнится. Мнѣ занять твое мѣсто! Прошу на этотъ счетъ не обманываться! Заставивъ написать Павла Ивановича письмо, я хотѣлъ воспользоваться послѣднимъ способомъ—онъ не удался, и для меня все теперь навсегда рѣшено! Я совершенно отказался отъ невозможнаго. И твоей матери нечего меня бояться! Есть ли она думаетъ, что я жду смерти ея, чтобы возобновить все—этотъ страхъ напрасенъ! Для ея успокоенія ты можешь дать ей какую хочешь клятву, а я не захочу никогда взять руки твоей на гробѣ твоей матери. Она сдѣлала изъ меня какое-то чудовище, котораго боится, и этотъ страхъ даже ее самое приводитъ къ преступленію. Есть ли замужествомъ своимъ ты надѣешься дать мнѣ семейное счастіе и возвратить меня въ свою семью—эта надежда совершенно пустая. Я былъ бы истиннымъ другомъ, истиннымъ братомъ твоей матери и еще остался бы ей благодаренъ [и эта благодарность не кончилась бы и по смерти ея], когда бы видѣлъ, что она, раздѣливъ и твое и мое горе, облегчила бы его всѣмъ, что отъ нея зависитъ—думая единственно, какъ бы утѣшить тебя и тебѣ дать совершенное спокойствіе. Твое счастіе было бы величайшимъ ея благодѣяніемъ и мнѣ. Мы были бы розно [ибо вмѣстѣ быть нельзя], но это розно не разорвало бы дружбы; у насъ было бы одно—твое счастіе! И какъ легко его сдѣлать—быть просто матерью, другомъ и утѣшителемъ, а не

притѣснителемъ, который всѣмъ готовъ жертвовать своему эгоизму. Пожертвовавъ собою, не думай изъ меня сдѣлать ей друга—этимъ не замаинишь меня въ ея семью! Скорѣй соглашусь двадцать разъ себѣ разбить голову, нежели искать мѣста въ этой семьѣ! Какими глазами буду смотрѣть на нее! Какое чувство буду имѣть къ ней въ своемъ сердцѣ! Я не постигаю, какъ могла придти тебѣ въ голову такая мысль и за кого ты меня считаешь! Но скажи мнѣ, чего она боится! За что хочетъ убить тебя? Неужели надѣется найдти въ аптекахъ лѣкарство отъ твоихъ болѣзней, которыя сама производитъ?

Однимъ словомъ, чтобы все кончить, я могу только согласиться на твое счастіе—въ этомъ пожертвованіи я не вижу его; я не вижу его для тебя въ замужествѣ, по крайней мѣрѣ теперь его для тебя въ замужествѣ быть не можетъ. Развѣ забыла она своихъ двухъ сестеръ и своего брата? Развѣ забыла, что ты въ началѣ этого мѣсяца была при смерти! А что смерть предъ тою жизнью, которую она тебѣ готовитъ! Она могла бы тебя счастливить, а она тебя гонитъ отъ себя! Я не могу согласиться на замужество твое, теперь не могу! И есть ли...

V.

25-го декабря. [1815 г. Спб.].

Милая Маша, въ отвѣтъ на твое письмо я могъ бы сказать одно: перечитай мои три письма къ маменькѣ [не знаю, отдалъ ли ей Воейковъ послѣднее, съ нимъ изъ Петербурга посланное]. Въ этихъ письмахъ, несмотря на многія выраженія, вырванныя огорченіемъ, ты найдешь мои чувства и сердце. На что привязываться къ словамъ? Надобно видѣть побужденіе. А мое побужденіе и въ этихъ письмахъ ясно—одно твое счастіе; и я желаю его безъ всякихъ собственныхъ видовъ—ты въ этомъ должна быть увѣрена.

Ты пишешь: есть ли бы ты и не видалъ прежде моего образа жизни и не могъ судить о настоящемъ по прежнему, то, зная ея любовь ко мнѣ, могъ бы быть увѣренъ, что она не станетъ требовать моего несчастія. Я помню прежній образъ твоей жизни; знаю, что поправить его зависѣло и зависитъ единственно отъ маменьки. Въ этомъ образѣ жизни главное несчастіе состояло въ томъ, что Воейковъ слишкомъ властенъ былъ надъ тобою, что онъ могъ свободно дѣлать тебѣ всякаго рода огорченія, что ты все должна была терпѣть и что никогда почти не было слова, сказаннаго въ твою защиту. Такой образъ жизни ужасенъ. Но почему жъ Воейковъ имѣетъ такую власть? Зачѣмъ можетъ онъ имѣть ее? Развѣ маменька, которой все покорно въ семьѣ, не имѣетъ способовъ его останавливать! Развѣ твое спокойствіе не въ ея рукахъ! развѣ не можетъ она твердымъ и яснымъ языкомъ предписывать Воейкову его должность! Главное мученіе этого состоянія было то, что ты должна была чувствовать, какъ ты слаба, какъ ты оставлена тѣми, кто твои истинные защитники и отъ кого ты имѣла право ожидать защиты. Я самъ это видѣлъ и самъ часто обвинялъ маменьку. Есть ли она это знаетъ, есть ли она теперь видитъ поступки Воейкова [а это вѣрно, по крайней мѣрѣ теперь, ибо она читала письмо твое], то почему же этого не поправить. Воейковъ самъ никогда не будетъ знать своей должности: деликатности и благородства отъ него ждать нельзя — но напоминать ему объ этой должности можно; быть съ нимъ твердою и искреннею можно; это будетъ его обуздывать—и вотъ что можетъ сдѣлать маменька. Знай ты, что она во всемъ и всегда твое прибѣжище — что тогда тебѣ до Воейкова! Что его грубости, когда при этихъ грубостяхъ будешь чувствовать, что сердце матери твоей съ (на) твоей стороны (ѣ)! Въ прежнемъ твоемъ положеніи было еще самое тяжелое то, что мы были вмѣстѣ. Ты не могла равно-

душно видѣть меня въ томъ ужасномъ одиночествѣ посреди твоей семьи, въ какомъ я былъ всегда. Та жа зависимость отъ Воейкова, какую ты чувствовала, была и моею участью; тебя огорчало невниманіе ко мнѣ, огорчало то предпочтеніе, которое маменька во всемъ давала счастливому Воейкову передо мною, у котораго не было ничего; это и самыя грубости его съ тобою дѣлало для тебя болѣе несносными; ты знала настоящій образъ моихъ чувствъ и видѣла, что мнѣ не отдавали никакой справедливости—все это усиливало грусть твою въ такомъ жестокомъ положеніи! Надобно было молчать и терпѣть! Теперь, милый другъ, съ моимъ отсутствіемъ все бы должно перемѣниться—съ моимъ отсутствіемъ половина твоихъ огорченій сама собою исчезаетъ! Надлежало тебя избавить отъ другой половины—кто могъ это сдѣлать лучше маменьки. И неужели на это одно средство—замужество, разлука съ твоею семьею? Въ ея сердцѣ настоящія средства, легкія и несопряженныя ни съ какимъ пожертвованіемъ! Скажи жъ мнѣ, зная все это, могу ли не обвинять ее? Именно судя о настоящемъ по прошедшему, твое замужество съ Мойеромъ теперь должно было показаться мнѣ несчастіемъ! Требовать такого замужества теперь, и теперь на него соглашаться—значило въ глазахъ моихъ соглашаться на твое несчастіе! Вспомни, давно ли мы разстались? Могло ли мнѣ показаться естественнымъ, чтобы въ такое короткое время тебѣ самой, безъ всякаго принужденія, могла придти такая мысль? Не долженъ ли я былъ подумать, что ты собою жертвуешь необходимости? Не долженъ ли я былъ ужаснуться такого непужнаго, ужаснаго пожертвованія на цѣлую жизнь? И могъ ли я не обвинять маменьки, будучи увѣренъ [и тогда, и теперь], что отъ нея совершенно зависитъ тебя избавить отъ такой необходимости, зная, что ея обязанность не соглашаться на такое пожертвованіе, зная, что спокойствіе твое въ твоей семьѣ и всѣ возможныя утѣшенія, и твоя независимость отъ Воейкова совершенно въ ея власти? Что же иное могъ я подумать, какъ только то, что она требуетъ этого пожертвованія? При этомъ не долженъ ли я былъ подумать и о себѣ? Я просилъ у нея одной милости: спокойствія на твой счетъ! И это единственное, возможное благо у меня отымаютъ? Не должно ли было это показаться совершеннымъ ко мнѣ презрѣніемъ, а вспомнивъ всю прошедшую мою жизнь въ вашей семьѣ, гдѣ я долженъ былъ говорить себѣ, что я ничего для нея не значу, не могъ ли я увидѣть и въ этомъ случаѣ того же невниманія ко мнѣ, того же забвенія о моей участи. Удивительно ли, что мои выраженія были рѣзки и выражали оскорбленіе сердца, которому нельзя было не быть разорваннымъ. На все это получилъ я два слова: клеветникъ и ругатель!

Les circonstances m'ont forcés à me decider de lui parler sur ce sujet d'une manière positive; je voyais la necessité pour elle et pour nous deux d'avoir un ami, un protecteur. Какія могутъ быть эти обстоятельства? Все то, что было прежде, таково, что оно должно и можетъ быть поправлено, не прибѣгая къ средству отчаянному! Что же могло случиться новаго? Я думалъ напротивъ, что обстоятельства стали для всѣхъ васъ и легче и лучше потому, что мы уже были не вмѣстѣ. Ты всегда говорила мнѣ, что грубости Воейкова тяжелы тебѣ только потому, что я отъ него завишу; онѣ могли быть еще болѣе тяжелы тебѣ и отъ того, что всегда маменька была на сторонѣ его — теперь ни я отъ него не завишу, ни маменька не можетъ быть на сторонѣ его, ибо она теперь на его счетъ съ тобою искренна [что заключаю изъ твоего же письма]—какія же другія обстоятельства? Предполагая, что мнѣ извѣстно настоящее расположеніе твоего сердца, могъ ли я не подумать, что твое согласіе на замужество противно твоему сердцу! Могъ ли я еще не подумать и

того, что твоего замужества требуютъ, дабы избавить тебя отъ меня? Такая мысль не должна ли была ужаснуть меня? Скажи жъ, что мнѣ останется въ жизни, и можно ли имѣть какую-нибудь къ ней привязанность, когда потеряю мысль о твоемъ спокойствіи? А здѣсь не долженъ ли я непремѣнно ее потерять? Для чего же ты ни слова не говоришь мнѣ объ этихъ обстоятельствахъ? Можешь ли ты меня бояться? un protecteur pour elle et pour toi. Я здѣсь напомню о письмѣ моемъ къ маменькѣ, написанномъ въ лучшую минуту жизни, въ такую, когда все вдругъ упало съ сердца, когда счастіе быть твоимъ и ея покровителемъ представилось мнѣ столь же яснымъ, какъ день, и все замѣнило! Чего я тогда требовалъ? быть твоимъ защитникомъ отъ Воейкова! Ты это знала, а она могла это легко понять! Что есть ли бы она тогда же дала волю сердцу, отбросила отъ него всѣ подозрѣнія, сравняла меня съ этимъ низкимъ, неблагодарнымъ человѣкомъ, и дала бы мнѣ, не на словахъ, а на дѣлѣ, въ своей семьѣ одинакія съ нимъ права—сколькихъ бы огорченій не было! и какъ бы теперь были мы съ нею согласны во всемъ, что до тебя, нашего общаго съ нею блага, кажется! Нѣтъ! она заперла для меня свое сердце, и я остался въ прежнемъ горестномъ положеніи—въ такомъ положеніи ничего сдержать невозможно. Я требовалъ свободы съ тобою—она боялась, что я по слабости, а можетъ быть и съ намѣреніемъ—употреблю эту свободу во зло! Она забыла, что ея настоящая, а не наружная довѣренность будетъ моею твердостью! Призываю тебя самое въ свидѣтели: былъ ли я тогда искренень! хотѣлъ ли исполнить, что обѣщалъ? Но могъ ли? Ты сама знаешь, что между тобою и мною осталось то же принужденіе, которое все для меня сдѣлало невозможнымъ! Въ своемъ послѣднемъ письмѣ я сказалъ ей: безъ ея подозрѣній мы ужились бы съ Воейковымъ. Это не ругательство и не клевета. Вотъ какъ это понимать должно, и ты сама будь моимъ судьею: я видѣлъ обращеніе съ тобою Воейкова, видѣлъ, что я только тогда могу быть твоимъ покровителемъ, когда буду братомъ твоей матери, когда все, что насъ съ нею розняло, исчезнетъ! Но чтобы это могло быть, нужно было, чтобы сама съ своей стороны перестала со мною тяться на его счетъ, чтобы она не унижала меня, показывая мнѣ во всемъ и всякую минуту явное къ нему предпочтеніе и давая чувствовать, что я, хотя и братъ, но все же передъ нимъ ничего не значу. Есть ли бы она мнѣ говорила на его счетъ откровенно, это осталось бы между нами тайною и мы бы во всемъ поступали согласно. Къ тому же надобно было, чтобы она и тебя вѣрила мнѣ, какъ брату! Право, тогда я этого совершенно стоилъ, и ты знаешь это болѣе всѣхъ! Но все вышло напротивъ. Воейковъ, твой притѣснитель, былъ твой товарищъ; а я, готовый всѣмъ тебѣ пожертвовать, былъ тебѣ чужой; ему въ награду за всѣ эти притѣсненія—материнская любовь, а мнѣ, за мои тяжелыя горести, одно холодное подозрѣніе! Какое сердце это выдержитъ! и я, и ты равно были несчастны. Скажи сама, могли ли мы когда-нибудь оставаться вмѣстѣ спокойно и не боясь возбудить подозрѣнія? и не отъ маменьки ли зависѣло сдѣлать, чтобы мы этого подозрѣнія не боялись? А это не раздражало ли сердца? И могъ ли я быть въ ладу съ Воейковымъ? Я видѣлъ въ немъ только твоего притѣснителя, а себя видѣлъ его невольникомъ! И все отъ того, что маменька меня боялась и совершенно мнѣ не вѣрила! Напомню здѣсь два маленькихъ случая [изъ тысячи, которыхъ [illegible] помнить не можно]. Ты принуждена была въ угожденіе Воейкову, уѣхать въ Тейф.; ты поѣхала туда съ грустью, маменька осталась съ грустью, Воейковъ былъ счастливъ и торжествовалъ. Я и это все видѣлъ! я видѣлъ, какъ весело ему было сѣсть въ [illegible] тобою, чтобы тебя проводить [illegible] было въ сердцѣ въ [illegible]

говорить нечего. Я стоялъ на крыльцѣ съ маменькою, которая должна была чувствовать, что я это понимаю, и какъ нарочно удвоила въ эту минуту ко мнѣ холодность! Воейковъ возвратился и увелъ жену гулять. Я нарочно остался съ нею одинъ, желая попробовать, не выйдетъ ли чего-нибудь ко мнѣ изъ ея сердца! смотрѣлъ ей въ глаза, ждалъ, что она со мною подѣлится, мы сидѣли полчаса— ни слова! Она заговорила о газетахъ! Хотя я и былъ пріученъ къ такимъ случаямъ, но я не могу описать, какъ и тутъ у меня сердце сжалось, какъ я почувствовалъ въ эту минуту, сколько она далека отъ меня! Я увидѣлъ, что ничто, до тебя касающееся, не будетъ никогда между нами общимъ; что она не хочетъ этимъ со мною дѣлиться, что я въ отношеніи къ тебѣ такъ же чуждъ ея сердцѣ, какъ и въ жизни, что ей не нужно ни мнѣ показать участіе, ни отъ меня принять его въ такихъ огорченіяхъ, которыя для насъ обоихъ одни и тѣ же! Она смотрѣла за ними вслѣдъ, думала только объ одномъ Воейковѣ, а я въ эту минуту, со всею моею грустью, былъ забытъ, такъ же забытъ, какъ и во всѣ другія. Еще случай: помнишь ли, когда мы ѣздили причащать Катюшку? Для тебя изготовили коляску, для меня дрожки. Это мнѣ показалось досадно! Неужели и въ такую минуту не позволятъ быть вмѣстѣ, подумалъ я, и рѣшился сѣсть съ тобою, только для того, чтобы еще разъ испытать, не обманываюсь ли я, думая, что меня во всякомъ случаѣ подозрѣваютъ. Что же? мы возвратились — и маменька была цѣлый день холодна съ тобою. Такія мелочи встрѣчались ежеминутно — а изъ этихъ мелочей составлена была жизнь! Что жъ было добраго въ такой жизни? Но такое сближеніе со мною было ли удобно, чтобы утвердить мою связь съ Воейковымъ? И клевещу ли я, говоря, что ея подозрѣнія все разрушили, даже и этому согласію помѣшали! Имѣя полную дружбу ея, я могъ бы во всякомъ случаѣ говорить ему прямо, и видя на опытѣ, а не на однихъ словахъ, что я твой родной братъ и ея братъ, я былъ бы и ему родной и поступалъ бы какъ родной! Но чувствуя ежеминутно, какъ я былъ передъ нимъ униженъ, я могъ только ненавидѣть въ немъ твоего притѣснителя, передъ которымъ еще долженъ былъ молчать. Нѣтъ! Маша, я самъ знаю, что тебѣ необходимо имѣть покровителя! Есть ли Воейковъ не перемѣнится, есть ли онъ всегда властенъ будетъ тебя утѣснять, есть ли при этихъ утѣсненіяхъ ничто не будетъ тебѣ позорною, какъ оставаться тебѣ въ семьѣ своей, какъ не искать покровителя! Во всякомъ случаѣ — и тогда, когда я у маменьки просилъ согласія на наше счастіе, и тогда, когда требовалъ у нея имѣнія и правъ ея брата—это было единственною моею цѣлью. И теперь это моя прекрасная мечта: видѣть тебя спокойною въ своей семьѣ, уважаемою, какъ ты того стоишь, имѣющею всѣ семейныя радости, счастливою любовію благороднаго человѣка. Все это ты должна имѣть, и потому-то я такъ испугался, получивъ письмо твое, такъ скоро послѣ нашей разлуки написанное! Могъ ли я вообразить, чтобы тебѣ было естественно такъ скоро этого пожелать, такъ скоро увѣриться, что въ этомъ твое счастіе! Могъ ли я не вообразить, что тебя принуждаютъ—требованія ли маменьки и обстоятельства — все равно! все принужденіе! А какъ скоро принужденіе, то какое счастіе! Скажи жъ, могъ ли я и могу ли теперь не противорѣчить! Ты писала въ первомъ письмѣ: et j'attend tout du temps; теперь пишешь: я жду много отъ времени, но совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ ты принялъ. Маша, скажи мнѣ искренно, угадалъ ли я то, что подъ этими словами ты разумѣешь? Ты ждешь всего отъ времени не для себя, а для меня? Ради Бога, будь на этотъ счетъ искренна. Для чего ты унижаешь меня пустыми страхами? Я могу оправдать тебя въ собственныхъ глазахъ твоихъ! Прежде когда ты имѣть

ту же привязанность ко мнѣ, какую я имѣлъ къ тебѣ! Но твое положеніе было совершенно противное моему! Ты была всегда въ противорѣчіи съ твоею настоящею обязанностію; ты слышала безпрестанно, что такая привязанность не позволена! Это могло перемѣнить не только твой образъ мыслей, но и самое твое чувство! Но ты видѣла, что мое чувство было одинаково и не перемѣнялось! Можетъ быть, ты боялась показать мнѣ собственную твою перемѣну! Ты щадила меня и хотѣла избавить меня отъ новаго несчастія! Милая, ты ошибалась! Могла ли ты въ этомъ случаѣ бояться меня! Развѣ тысячу разъ опытъ тебѣ не доказывалъ, что одного твоего слова довольно, чтобы перемѣнить всю мою душу? Сколько разъ въ самыхъ несчастныхъ для меня обстоятельствахъ, одно твое слово давало мнѣ твердость, готовность на все, и даже въ самомъ несчастіи представляло что-то прекрасное! А теперь, когда дѣло идетъ о судьбѣ твоей жизни, развѣ я не буду согласенъ съ тобою во всемъ, что будетъ нужно для твоего спокойствія и счастія? Есть ли моя привязанность къ тебѣ казалась тебѣ заблужденіемъ, есть ли для тебя же самой этого заблужденія не было, для чего не говорила ты мнѣ ясно и рѣшительно. Вотъ еще несчастіе, котораго причиною было то принужденіе, въ какомъ я и ты жили въ одномъ домѣ. Никто бы такъ убѣдительно, какъ ты, не могъ мнѣ доказать моей обязанности и такъ совершенно перемѣнить моего сердца! Такое открытіе не прибавило бы къ моему несчастію, оно только указало бы мнѣ мою должность! Можетъ быть, въ первыя минуты сердце бы взволновалось, но оно бы скоро, скоро съ тобою согласилось! Я въ этомъ увѣренъ! увѣренъ по тому чувству, какое нахожу теперь въ себѣ! Будь же на этотъ счетъ искренна и не оставляй ничего на догадку! Теперь спокойствіе твоей души всего для меня дороже, и увѣриться, что оно ничѣмъ не разстроено, было бы для меня счастіемъ! Это бы успокоило меня на счетъ твоего будущаго. Неужели ты могла думать, что я для себя захочу сохранить въ тебѣ такое чувство, которое дѣлало бы твое несчастіе! Неужели ты думала, что я захочу его въ тебѣ произвесть и питать—пѣтъ! я только думалъ, что оно въ тебѣ было! Оно и было, но прежде; оно перемѣнилось; а ты только боялась дать мнѣ почувствовать эту перемѣну! Однимъ словомъ, ты сомнѣвалась во мнѣ! Но простая правда, сказанная твоимъ языкомъ, была бы правиломъ моихъ поступковъ! Никому, кромѣ самой тебя, въ этомъ случаѣ я не могъ вѣрить! и никто бы такъ скоро, такъ легко и совершенно не перемѣнилъ меня, какъ ты же — но это несчастное принужденіе насъ дѣлало не только чуждыми другъ другу, но даже мѣшало знать и то, что въ насъ самихъ происходило. Отъ сколькихъ бы несчастій избавила насъ свобода и полная довѣренность! Вотъ письменное доказательство этого. Написавши мое письмо къ маменькѣ въ Дерптъ, я записалъ для самаго себя, въ своей бѣлой книгѣ, слѣдующее [чтобы это повторить какъ урокъ, и я бы этотъ урокъ скоро выучилъ наизусть]:

«12-го апрѣля. Прежде я имѣлъ цѣлію быть счастливымъ вмѣстѣ съ Машею. Все въ жизни къ прекрасному средство! и это вмѣстѣ было бы для меня средствомъ къ прекрасному, которое состояло бы не въ одномъ наслажденіи собственною жизнью, но въ исполненіи съ лучшимъ товарищемъ всѣхъ обязанностей, въ добрѣ, въ пользѣ другимъ. Отъ этого должно отказаться. Совсѣмъ другое должно быть теперь для меня средствомъ къ прекрасному. Оно состоитъ въ пожертвованіи самимъ собою, въ совершенномъ забвеніи собственнаго, и все для нея. Для этого рѣшительно отказаться отъ невозможнаго, все употребить для сбереженія семейнаго покоя, твердо покориться своей судьбѣ и не слабѣть въ исполненіи труднаго. Я назвался братомъ не для того, чтобы имѣть одно это имя, и подъ этимъ именемъ имѣть невозмо-

ленныя желанія и чувства! Нѣтъ! для того, чтобы она была мною счастлива, чтобы она принадлежала мнѣ, какъ дочь моей сестры, чтобы ея судьба и отъ меня зависѣла! Спокойствіе на счетъ ея судьбы будетъ моею наградою. Съ именемъ брата должна разрушиться всякая связь между нами; надобно сказать себѣ и пріучить себя думать, что она не должна любить меня **какъ прежде**, но любить, какъ роднаго, и заботиться о собственномъ отдѣльномъ счастіи, не сливая его съ моимъ; не только надобно это **сказать себѣ**, но и исполнить на дѣлѣ, ее самое пріучить къ этой мысли, изъ ея счастія вырвать все собственное, довольствоваться однимъ ея счастіемъ; все, что прежде было общаго, уничтожить; не желать, чтобы она имѣла со мною одинакое чувство, заставить ее къ себѣ **перемѣниться** и утѣшать себя однимъ только одобреніемъ сердца, что все сдѣлано, все принесено на жертву тому, что всего ему дороже. Однимъ словомъ, мнѣ должно быть истиннымъ братомъ ея матери и поступать такъ, какъ долженъ поступать ея братъ. Въ чемъ счастіе Маши? Въ спокойствіи и свободѣ сердца, въ согласіи съ матерью, въ мнѣніи, что и я счастливъ, наконецъ и въ томъ, чтобы имѣть съ другимъ все то, что она имѣла бы со мною! Мое счастіе теперь должно состоять въ томъ, чтобы все это ей дать! Въ стремленіи къ этому есть то, что для меня осталось **прекраснаго** въ жизни! Нѣтъ нужды, что вопреки себѣ самое страданіе есть **средство** къ **прекрасному**! Та минута, въ которую я рѣшился всѣмъ пожертвовать для этой прекрасной цѣли, была восхитительна. Но это чувство восхищенія часто пропадаетъ, и я прихожу въ уныніе! Нѣтъ нужды! Не должно терять бодрости! Пусть нѣтъ ни энтузіазма, ни удовольствія: что чувство родитъ въ одну **минуту**, то твердость должна исполнить къ **теченіе** жизни. Гдѣ же было бы достоинство добродѣтели, когда бы она была и легка и пріятна. Надобно смотрѣть не на удовольствіе, а на достоинство внутреннее. Всякое исполненіе должности отдѣльной есть дорога по утесамъ; кончи ее—небо надъ головою! Мое небо ея **счастіе**! Perseverence! Итакъ, унывать не должно! Мои надежды брошены — замѣнить ихъ ея надеждами; все, чего желаю себѣ, передать ей, а самому жить настоящею минутою, настоящимъ добромъ и проч.».

Это написалъ я про себя; такъ думалъ я про себя, въ своей маленькой горницѣ, на чердакѣ, и это были минуты твердости — но сходя внизъ, я какъ будто переходилъ въ новый свѣтъ, все нападало на меня, чтобы убить во мнѣ эту твердость; наконецъ эта дорога по утесамъ для одного меня, безъ всякаго пособія, показалась слишкомъ трудною; вотъ что стоитъ въ той же книгѣ, написанное 22 апрѣля.

«Мнѣ не должно оставаться въ Дерптѣ—это будетъ моею и Машиною погибелью. Подалѣ отъ нихъ—въ этомъ словѣ и свобода, и добродѣтель! Дѣлая свое пожертвованіе, я думалъ, что я сдѣлаюсь точно братомъ Маши; быть съ нею искреннимъ, свободно дѣлиться съ нею чувствомъ и мыслію было бы для меня вознагражденіемъ за все. Я ко всему бы привыкъ, разумѣется, не вдругъ; но чувствую, что это было бы для меня возможно. Теперь же вижу, что невозможно ничто. Уѣхавъ отсюда, я по крайней мѣрѣ сохраню право на чувства свои, которыхъ здѣсь имѣть мнѣ не должно. Что значитъ для нихъ мое обѣщаніе: помочь выдать Машу замужъ — не иное что, какъ обѣщаніе быть нѣмымъ этого свидѣтелемъ. Я обѣщалъ это искренно: это значило для меня получить полное право располагать ея судьбою съ ея согласія и наравнѣ съ ея матерью. Право дать ей съ другимъ то же счастіе, какого бы я желалъ ей съ собою! Эта мысль меня радовала! Но все напротивъ! Я тутъ буду только рабомъ своего обѣщанія! Мои совѣты и противорѣчія будутъ перетолкованы! Съ именемъ брата я думалъ получить одинакія права съ Воейковымъ — напротивъ: я теперь

только въ большей отъ него зависимости! При такомъ унизительномъ принужденіи и рабствѣ можно ли отвѣчать за себя! Есть ли не сдержишь слова — тебя же обвинятъ, хотя сами всему будутъ причиною! и проч.».

Это писано было почти за годъ — не то же ли, что говорю теперь? Я здѣсь это выписываю для маменьки! Пускай она видитъ, что я не имѣлъ никакихъ дурныхъ намѣреній и что въ поступкахъ моихъ нѣтъ противорѣчія! Ничего не было бы для меня выше, какъ исполнить данное слово, исполнить его для общаго счастія; но у меня отняли силы. Въ моемъ положеніи я не могъ сладить самъ съ собою; наконецъ, потерялъ и желаніе бороться, ибо не видѣлъ никакого успѣха; я пріѣзжалъ въ послѣдній разъ только на крестины, но совсѣмъ не съ прежнимъ расположеніемъ, и не имѣлъ въ мысляхъ оставаться! Помоги мнѣ маменька, повѣрь она мнѣ, какъ должно — все бы было исполнено! Но она не поняла меня, и не захотѣла понять и вообразила, что человѣкъ мѣняется въ одну минуту! Это неестественно — для этого нужна твердость! а въ моемъ положеніи твердость зависѣла много отъ ея помощи! Но изъ всего этого ты видишь, что за меня тебѣ не должно надѣяться всего отъ времени! Для меня довольно одного твоего счастія! Мое же положеніе не то, какое твое! Мнѣ не должно никому отдавать ни руки, ни сердца. Слѣдовательно, есть ли что и останется въ сердцѣ, оно не разрушитъ ни моего, ни чужаго счастія. Для тебя же напротивъ. Есть ли въ сердцѣ твоемъ сохранилось старое чувство, то какъ отваживаться съ такимъ чувствомъ отдавать руку другому. Предполагая, что это чувство въ тебѣ таково же теперь, какое могло быть прежде, поставивъ самаго себя на твое мѣсто, не долженъ ли я былъ испугаться предложенія вашего? и единственно за тебя, а не за себя? Я не думалъ говорить тебѣ, что ты обманываешь Мойера, а я только говорилъ, что теперь ты не можешь всего сказать ему, что теперь не можешь быть съ нимъ счастлива, слѣдовательно и онъ съ тобою! Я испугался поспѣшности, просилъ отсрочки, какъ необходимаго для твоего и [прибавлю] для моего спокойствія; требовалъ, чтобы вы другъ къ другу привыкли, словомъ, не противорѣчилъ твоему замужеству, а только желалъ, чтобы все было устроено для счастія вѣрнаго, не по необходимости, но все обдумавъ съ надлежащимъ хладнокровіемъ.

Ты пишешь: ни маменька, ни я не думали не только спѣшить, но даже и такихъ близкихъ сроковъ, какъ вы съ Воейковымъ назначаете, не полагали. Теперь же скажу тебѣ, что я не могу и на это согласиться — все зависитъ отъ обстоятельствъ; легко можетъ статься, что мы гораздо больше отложимъ это, но можетъ быть и прежде — однимъ словомъ, я не могу и не хочу обѣщать ничего и имѣю на это важныя причины. Одна я. Замѣчу мимоходомъ: выраженіе: вы съ Воейковымъ — мнѣ больно разорвало сердце. Неужели и ты ставишь меня на одну съ нимъ доску. Какія бы онъ ни имѣлъ намѣренія, но мое намѣреніе въ требованіи срока все имѣетъ основаніемъ твое только счастіе и мое собственное на этотъ счетъ спокойствіе. Этого спотыкновенія я имѣлъ право требовать отъ тебя и отъ маменьки. Неужели моя жизнь ни въ какой разсчетъ ея не входитъ. Я не знаю настоящихъ намѣреній Воейкова, и кто узнаетъ его сердце. Мое намѣреніе явное и скрытное то, чтобы все сдѣлано было безъ всякой гибельной поспѣшности. Дѣло идетъ о судьбѣ цѣлой жизни. Au risque d'entuer par cent mille répétitions de la même chose, повторю здѣсь все то, что сказано было мною въ трехъ письмахъ къ маменькѣ: я не противлюсь замужеству, противлюсь одной поспѣшности; мои условія: дать время тебѣ успокоиться; оставить тебѣ полную свободу такъ, чтобы ты не считала этого замужества неизбѣжнымъ, чтобы все могла перемѣнить, по твоему про-

позволу, а для этого не говорить ни слова Мойеру, узнать его короче, съ нимъ болѣе сблизиться; между тѣмъ обдумать всѣ постороннія обстоятельства, столь важныя въ жизни! Я говорилъ: есть ли тебя изъ твоей семьи выгонять одинъ непріятности отъ Воейкова, то я считаю гораздо безопаснѣе избавить тебя отъ этихъ непріятностей [что все во власти маменьки], нежели спѣшить такимъ замужествомъ, на которое не можетъ быть, какъ я полагалъ, еще согласно твое сердце! Этого требуетъ твое счастіе, счастіе твоего мужа, обязанность твоей матери, религія, ты сама и [прибавлю опять] сожалѣніе ко мнѣ. Не давай надежды не значило на моемъ языкѣ: не кокетствуй съ Мойеромъ [Маша, можешь ли въ этомъ хотѣть передо мною оправдываться!]. Это значило: оставь себѣ полную свободу, не обязывай ни себя, ни его ничѣмъ — съ такою свободою легко будетъ узнать въ годъ того человѣка, съ которымъ должно дѣлить цѣлую жизнь. Скажи жъ мнѣ, милой другъ, гдѣ тутъ противорѣчіе? Что другое сказалъ бы тебѣ твой отецъ? Неужели можешь подумать, что я все это говорилъ для того только, чтобы выиграть время для себя? Неужели у меня съ Воейковымъ какія-нибудь тайныя условія? Подумать, что тебя принуждаютъ, я могъ, потому что для меня казалось неестественнымъ, чтобы ты сама такъ скоро могла рѣшиться. И съ этою мыслью написалъ первое письмо къ маменькѣ. Послѣ вотъ что говорилъ мнѣ Воейковъ: маменька непремѣнно требуетъ отъ тебя этого замужества; ты внутренно его не желаешь [какъ могъ и я этого не думать!], а показываешь, что его желаешь, дабы пожертвовать собою для общаго счастія [не знаю, какъ общее счастіе можетъ быть основано на твоемъ пожертвованіи] и между прочимъ для того, чтобы я могъ спять жить въ вашей семьѣ [какъ эта мысль могла придти тебѣ въ голову, право не постигаю!]. Въ доказательство того, что ты не хочешь этого въ сердцѣ своемъ, онъ приводилъ два примѣра: первое, онъ просилъ маменьку дать отсрочку, — она не соглашалась; однажды онъ сидѣлъ съ нею одинъ; ты вошла къ нимъ и спросила: не проситъ ли онъ у васъ сроку? дайте ему годъ, два, три, какъ можно болѣе! [Это не доказываетъ ли, что ты сама боишься того, чего отъ тебя требуютъ]. Въ другой разъ онъ сказалъ тебѣ о твоемъ замужествѣ [выраженіе не можетъ быть выдумано, оно точно пахнетъ Воейковымъ], ты вся перемѣнилась въ лицѣ такъ, что онъ испугался. Онъ увѣрялъ меня, что у маменьки положено было все рѣшить тотчасъ и кончить въ нѣсколько мѣсяцевъ; что она начала было уже думать о приготовленіи приданаго; что онъ насилу, и то спорами и угрозами съ нею разстаться, вымолилъ у нея отсрочки на годъ, и много тому подобнаго. Все это слишкомъ похоже на правду. И что жъ, есть ли все это правда? А могу ли слишкомъ въ этомъ сомнѣваться? Чтобы не найти этого по крайней мѣрѣ правдоподобнымъ, надобно, чтобы я потерялъ и память, и чувство! Все прошедшее не слишкомъ ли все это подтверждаетъ? И какъ все это согласить съ тѣмъ, что ты пишешь: ни я, ни маменька не полагали такихъ короткихъ сроковъ, и потомъ: теперь не могу ничего обѣщать! Есть ли вы сами согласны со мною въ отсрочкѣ [слѣдовательно и во всѣхъ другихъ условіяхъ], то въ чемъ же мое противорѣчіе. Есть ли же ничего не хотите обѣщать, то на что же требуете моего мнѣнія! Ничего не хочу обѣщать значитъ, что у васъ рѣшено все кончить теперь, а мнѣ же велите сказать мое мнѣніе, положивъ напередъ съ нимъ не соглашаться. Что жъ значитъ здѣсь мое мнѣніе! Ты говоришь: я имѣю на это важныя причины, и я одна. Признаюсь, я теперь этихъ причинъ не понимаю и мнѣ надобно знать ихъ, чтобы съ ними теперь согласиться! Но думая о прошедшемъ, ставя себя на твое мѣсто, зная или думая знать настоящій образъ твоихъ чувствъ, наконецъ слыша, что говоритъ Воейковъ, не долженъ ли я былъ

ужаснуться поспѣшности и не имѣлъ ли я права подумать, что ты поступаешь не изъ доброй воли — и что же я сдѣлалъ? Проспалъ [для вѣрности твоего счастія, для собственнаго спокойствія на остатокъ жизни], чтобы тебѣ дали время и тебя не принуждали, чтобы все устроили съ надлежащею осторожностію, съ надлежащимъ къ намъ обоимъ снисхожденіемъ — и въ отвѣтъ на все это я получилъ: клеветникъ и ругатель! Итакъ, мнѣ на все надобно было согласиться безусловно!

Ты пишешь: Воейковъ въ письмѣ своемъ обѣщаетъ мнѣ спокойную жизнь; говоритъ, что я иду замужъ, чтобы бѣжать отъ него — онъ говоритъ нескренно! Никого такъ мало его вспыльчивость не мучила, какъ меня! Но нашему горю пособить не чѣмъ! Я знаю, что мнѣ теперь осталось одно: разстаться съ Сашей. Не понимаю, Ж., какъ можешь ты такъ мѣнять образъ видѣть предметы. Не ты ли совѣтовалъ мнѣ выйти замужъ. Я иду замужъ не для того, чтобы бѣжать отъ кого, а точно для того, что люблю Мойера. Я не могу страдать за всѣхъ, и видѣть себя всему причиною. Вспомни свадьбу Сашину. Не я ли ее сдѣлала? Все это приводитъ меня въ совершенное недоумѣніе; и я никакъ не имѣю средства изъ него выйти. Подъ этимъ таится что-то такое, чего я себѣ никакъ вообразить не умѣю! Нашему горю помочь нечѣмъ! осталось одно: разстаться съ Сашею! Скажи мнѣ, что это значитъ! И въ то же время ты же говоришь, что идешь замужъ по привязанности къ Мойеру, а не для того только, чтобы бѣжать отъ Воейкова! Какъ согласить такія противорѣчія! Милой другъ, я совѣтовалъ тебѣ выйти замужъ — это правда! Но этотъ совѣтъ мой вырванъ изъ меня былъ минутою огорченія! Для меня было несносно видѣть твою беззащитность передъ Воейковымъ! Но почему же ты должна быть передъ нимъ беззащитна? Развѣ способы защищать тебя не всѣ со власти маменьки? Развѣ она всегда не можетъ быть твоимъ прибѣжищемъ и не властна перемѣнить образа обхожденія Воейкова? Вспомни и то, что ты сама говорила мнѣ: вспыльчивость Воейкова тебѣ тягостна потому только, что тутъ *я*; что тебѣ несносно видѣть, въ какомъ я передъ нимъ униженіи; что это одно дѣлало его тебѣ несноснымъ; что розно со мною ты не будешь и замѣчать его грубостей; что онъ не можетъ лично имѣть никакого на тебя вліянія; что отъ него ты не хочешь ждать ничего; что тебѣ только нужно спокойствіе и свобода, и что ты ихъ будешь имѣть, какъ скоро не будетъ съ нами меня! но что замужество тебѣ всего страшнѣе! Теперь меня съ вами нѣтъ; главная причина самыхъ чувствительныхъ неудовольствій для тебя не существуетъ! Что же новое могло принудить тебя къ такому рѣшительному поступку? И не должна ли ты мнѣ этого объяснить? Теперь я полагаю тебя въ совершенной независимости отъ Воейкова, да и онъ самъ не видитъ ли теперь ясно, что ему должно перемѣнить свои поступки, что однимъ только этимъ онъ сохранитъ свою репутацію, своихъ друзей, свой покой семейный — словомъ все! Не должно ли поддержать въ немъ этого намѣренія? Неужели нѣтъ способа всего поправить, не прибѣгая къ отчаянному средству? — я въ совершенномъ недоумѣніи! Ты называешь себя, одну себя, причиною всѣхъ огорченій! Почему же это? Ты причина всего, потому что Воейковъ грубіянъ и не имѣетъ никакой деликатности! Какъ это понять! Вспомни Сашину свадьбу! не я ли ее сдѣлала! Маша, надобно вообразить, что я сумасшедшій, чтобы мнѣ это сказать! Ты сдѣлала свадьбу Саши! И ты еще велишь это вспомнить! Есть ли это твои огорченія, то подобныхъ вспыльчивыхъ огорченій ты имѣть можешь тысячу! Стоитъ только увѣрить себя во всякомъ невѣроятномъ! Нѣтъ! Сашину свадьбу сдѣлала не ты! Есть ли ты подозрительна тогда на Воейкова, то свадьбу [illegible] не для этихъ надеждъ [illegible]

взволу, а для этого не говорить ни слова Мойеру, узнать его короче, съ нимъ болѣе свыкнуться; между тѣмъ обдумать всѣ постороннія обстоятельства, столь важныя въ жизни! Я говорилъ: есть ли тебя изъ твоей семьи выгонятъ одно непріятности отъ Воейкова, то я считаю гораздо безопаснѣе избавить тебя отъ этихъ непріятностей [что все во власти маменьки], нежели спѣшить такимъ замужествомъ, на которое не можетъ быть, какъ я полагалъ, еще согласно твое сердце! Этого требуетъ твое счастіе, счастіе твоего мужа, обязанность твоей матери, религія, ты сама и [прибавлю опять] сожалѣніе ко мнѣ. Не давай надежды ни значило на моемъ языкѣ: не кокетствуй съ Мойеромъ [Маша, можешь ли въ этомъ хотѣть передо мною оправдываться!]. Это значило: оставь себѣ полную свободу, не обязывай ни себя, ни его ничѣмъ — съ такою свободою легко будетъ узнать въ годъ того человѣка, съ которымъ должно дѣлить цѣлую жизнь. Скажи жъ мнѣ, милой другъ, гдѣ тутъ противорѣчіе? Что другое сказалъ бы тебѣ твой отецъ? Неужели можешь подумать, что я все это говорилъ для того только, чтобы выиграть время для себя? Неужели у меня съ Воейковымъ какія-нибудь тайныя условія? Подумать, что тебя принуждаютъ, я могъ, потому что для меня казалось неестественнымъ, чтобы ты сама такъ скоро могла рѣшиться. И съ этою мыслью написалъ первое письмо къ маменькѣ. Послѣ вотъ что говорилъ мнѣ Воейковъ: маменька непремѣнно требуетъ отъ тебя этого замужества; ты внутренно его не желаешь [какъ могъ и я этого не думать!], а показываешь, что его желаешь, дабы пожертвовать собою для общаго счастія [не знаю, какъ общее счастіе можетъ быть основано на твоемъ пожертвованіи] и между прочимъ для того, чтобы я могъ снять жить въ вашей семьѣ [какъ эта мысль могла придти тебѣ въ голову, право не постигаю!]. Въ доказательство того, что ты не хочешь этого въ сердцѣ своемъ, онъ приводилъ два примѣра: первое, онъ просилъ маменьку дать отсрочку, — она не соглашалась; однажды онъ сидѣлъ съ нею одинъ; ты вошла къ нимъ и спросила: не проситъ ли онъ у васъ сроку? дайте ему годъ, два, три, какъ можно болѣе! [Это не доказываетъ ли, что ты сама боишься того, чего отъ тебя требуютъ]. Въ другой разъ онъ сказалъ тебѣ о твоемъ замужествѣ [выраженіе не можетъ быть выдумано, оно точно пахнетъ Воейковымъ], ты вся перемѣнилась въ лицѣ такъ, что онъ испугался. Онъ увѣрялъ меня, что у маменьки положено было все рѣшить тотчасъ и кончить въ нѣсколько мѣсяцевъ; что она начала было уже думать о приготовленіи приданаго; что онъ насилу, и то спорами и угрозами съ нею разстаться, вымолилъ у нея отсрочки на годъ, и много тому подобнаго. Все это слишкомъ похоже на правду. И что жъ, есть ли все это правда? А могу ли слишкомъ въ этомъ сомнѣваться? Чтобы не найти этого по крайней мѣрѣ правдоподобнымъ, надобно, чтобы я потерялъ и память, и чувство! Все прошедшее не слишкомъ ли все это подтверждаетъ? И какъ все это согласить съ тѣмъ, что ты пишешь: ни я, ни маменька не полагали такихъ короткихъ сроковъ, и потомъ: теперь не могу ничего обѣщать! Есть ли вы сами согласны со мною въ отсрочкѣ [слѣдовательно и во всѣхъ другихъ условіяхъ], то въ чемъ же мое противорѣчіе. Есть ли же ничего не хотите обѣщать, то на что же требуете моего мнѣнія! Ничего не хочу обѣщать значитъ, что у васъ рѣшено все кончить теперь, а мнѣ же велите сказать мое мнѣніе, положивъ напередъ съ нимъ не соглашаться. Что жъ значитъ здѣсь мое мнѣніе! Ты говоришь: я имѣю на это важныя причины, и я одна. Признаюсь, я теперь этихъ причинъ не понимаю и мнѣ надобно знать ихъ, чтобы съ ними теперь согласиться! Но думая о прошедшемъ, ставя себя на твое мѣсто, зная или думая знать настоящій образъ твоихъ чувствъ, наконецъ слыша, что говоритъ Воейковъ, не долженъ ли я былъ

ужаснуться поспѣшности и не имѣлъ ли я права подумать, что ты поступаешь не изъ доброй воли — и что же я сдѣлалъ? Проспалъ [для вѣрности твоего счастія, для собственнаго спокойствія на остатокъ жизни], чтобы тебѣ дали время и тебя не принуждали, чтобы все устроили съ надлежащею осторожностію, съ надлежащимъ къ намъ обоимъ снисхожденіемъ — и въ отвѣтъ на все это я получилъ: клеветникъ и ругатель! Итакъ, мнѣ на все надобно было согласиться безусловно!

Ты пишешь: Воейковъ въ письмѣ своемъ обѣщаетъ мнѣ спокойную жизнь; говоритъ, что я иду замужъ, чтобы бѣжать отъ него — онъ говоритъ нескренно! Никого такъ мало его вспыльчивость не мучила, какъ меня! Но нашему горю пособить не чѣмъ! Я знаю, что мнѣ теперь осталось одно: разстаться съ Сашей. Не понимаю, Ж., какъ можешь ты такъ мѣнять образъ видѣть предметы. Не ты ли совѣтовалъ мнѣ выйти замужъ. Я иду замужъ не для того, чтобы бѣжать отъ кого, а точно для того, что люблю Мойера. Я не могу страдать за всѣхъ, и видѣть себя всему причиною. Вспомни свадьбу Сашину. Не я ли ее сдѣлала? Все это приводитъ меня въ совершенное недоумѣніе; и я никакъ не имѣю средства изъ него выйти. Подъ этимъ таится что-то такое, чего я себѣ никакъ вообразить не умѣю! Нашему горю помочь нечѣмъ! осталось одно: разстаться съ Сашею! Скажи мнѣ, что это значитъ! И въ то же время ты же говоришь, что идешь замужъ по привязанности къ Мойеру, а не для того только, чтобы бѣжать отъ Воейкова! Какъ согласить такія противорѣчія! Милой другъ, я совѣтовалъ тебѣ выйти замужъ — это правда! Но этотъ совѣтъ мой вырванъ изъ меня былъ минутою огорченія! Для меня было несносно видѣть твою беззащитность передъ Воейковымъ! Но почему же ты должна быть передъ нимъ беззащитна? Развѣ способы защищать тебя не всѣ во власти маменьки? Развѣ она всегда не можетъ быть твоимъ прибѣжищемъ и не властна перемѣнить образа обхожденія Воейкова? Вспомни и то, что ты сама говорила мнѣ: вспыльчивость Воейкова тебѣ тягостна потому только, что тутъ *я*; что тебѣ несносно видѣть, въ какомъ я передъ нимъ униженіи; что это одно дѣлало его тебѣ несноснымъ; что розно со мною ты не будешь и замѣчать его грубостей; что онъ не можетъ лично имѣть никакого на тебя вліянія; что отъ него ты не хочешь ждать ничего; что тебѣ только нужно спокойствіе и свобода, и что ты ихъ будешь имѣть, какъ скоро не будетъ съ вами меня! но что замужество тебѣ всего страшнѣе! Теперь меня съ вами нѣтъ; главная причина самыхъ чувствительныхъ неудовольствій для тебя не существуетъ! Что же новое могло принудить тебя къ такому рѣшительному поступку? И не должна ли ты мнѣ этого объяснить? Теперь я полагаю тебя въ совершенной независимости отъ Воейкова, да и онъ самъ не видитъ ли теперь ясно, что ему должно перемѣнить свои поступки, что однимъ только этимъ онъ сохранитъ свою репутацію, своихъ друзей, свой покой семейный — словомъ все! Не должно ли поддержать въ немъ этого намѣренія? Неужели нѣтъ способа всего поправить, не прибѣгая къ отчаянному средству? — я въ совершенномъ недоумѣніи! Ты называешь себя, одну себя, причиною всѣхъ огорченій! Почему же это? Ты причина всего, потому что Воейковъ грубіянъ и не имѣетъ никакой деликатности! Какъ это понять! Вспомни Сашину свадьбу! не я ли ее сдѣлала! Маша, надобно вообразить, что я сумасшедшій, чтобы мнѣ это сказать! Ты сдѣлала свадьбу Саши! И мнѣ еще велишь это вспомнить! Есть ли это твои огорченія, то подобныхъ вымышленныхъ огорченій ты имѣть можешь тысячу! Стоитъ только увѣрить себя во всемъ невѣроятномъ! Нѣтъ! Сашину свадьбу сдѣлала не ты! Есть ли ты надѣялась тогда на Воейкова, то свадьбу Сашину ее для этихъ надеждъ сдѣлала! Ты на

это не имѣла вліянія и никто не имѣлъ! Я помню отвѣтъ мой маменькѣ, когда она спросила: соглашаться ли на требованіе Воейкова! Я сказалъ: согласитесь, но оставьте себѣ способъ отказать ему! Живши съ нимъ нѣсколько времени на короткой ногѣ, въ одномъ домѣ, лучше его узнаете! И не позже какъ на другой день начали писать рекомендательныя письма къ роднымъ. Это все рѣшило. Вспомни, что маменька имѣла отъ Авдотьи Николаевны такое письмо объ немъ, въ которомъ все то подтверждалось, что намъ извѣстно было только по слухамъ. И это письмо имѣла она до свадьбы. Вспомни еще одинъ случай. Не ты ли сказала маменькѣ за нѣсколько дней до свадьбы то, что говорила Саша о Воейковѣ, я это помню потому, что... [*Далѣе нѣсколько строкъ тщательно зачеркнуто и разобрать нельзя*].

«Воейковъ требуетъ, чтобы я дала ему клятву не выходить замужъ никогда, есть ли онъ не будетъ дѣлать мнѣ огорченій. Теперь онъ боится только того, что̀ объ немъ будутъ думать? Ему сказали, что онъ будетъ извергъ, есть ли эта свадьба сдѣлается. Vous avez dit a W. que sa femme est une égoiste depuis qu'il est revenu, il ne fait que le répéter». Изъ всего этого заключаю, что по пріѣздѣ Воейкова изъ Петербурга былъ у васъ опять разговоръ объ этой свадьбѣ, что вы опять хотѣли ее рѣшить тотчасъ, что онъ опять началъ спорить, взбѣсился, и по обыкновенію своему наговорилъ много лишняго и сумасброднаго. Пріѣздъ его въ Петербургъ показался мнѣ благодѣяніемъ. Я думалъ, что своимъ письмомъ къ нему на счетъ его поступковъ я только его раздражилъ и что это отплатится вамъ, и укорялъ себя въ этомъ письмѣ. Я думалъ, что и письмо Кавелина произведетъ такое же дѣйствіе и что никакой пользы отъ сказанной правды не будетъ. Вы, кажется мнѣ, всѣ приняли эти письма въ дурную сторону. Вы приняли ихъ за упреки въ томъ, что не сдѣлалось по моему, и за требованіе, чтобы Воейковъ все передѣлалъ въ мою пользу. Нѣтъ! въ этомъ случаѣ главною нашею цѣлью было то, чтобы Воейкову открыть глаза на собственный его счетъ, испугать его разрывомъ со всѣми его друзьями, и этимъ страхомъ принудить одуматься. Того, что писалъ къ нему Кавелинъ, никогда не услышитъ онъ въ семьѣ своей — ты молчишь и страдаешь; Саша такъ же; маменька никогда ничего не скажетъ или всѣмъ довольна! Такая метода съ Воейковымъ никуда не годится — надобно, чтобы онъ слышалъ правду, и чтобы онъ въ то же время видѣлъ, что на него надѣются. Вотъ съ которой стороны пріѣздъ его въ Петербургъ можетъ быть для него весьма полезенъ. Онъ уже видѣлъ, что его поведеніе разстроило было его со всѣми друзьями. Онъ пріѣхалъ сюда и слышалъ отъ насъ самыя рѣзкія правды! И повѣрь, Маша [ты можешь и должна мнѣ повѣрить], въ тѣхъ упрекахъ, которые я дѣлалъ ему, не было ничего, чтобы относилось ко мнѣ! Я обвинялъ его только за всѣхъ васъ, и требовалъ отъ него только вашего счастія, единственно это полагалъ условіемъ общей дружбы и уваженія къ нему! Онъ признался во многомъ дурномъ [до нѣкоторыхъ признаній я самъ не хотѣлъ коснуться]. Вотъ что онъ сказалъ мнѣ и Кавелину, обливаясь слезами: Маша сказала мнѣ однажды: я наказана справедливо! я ожидала всего отъ тебя, а не отъ Бога! Итакъ, онъ знаетъ, что всѣ твои страданія отъ него! И я ему отвѣчалъ на это, что этой одной фразы довольно, чтобы быть правиломъ всѣхъ его поступковъ; помнивъ это, онъ можетъ передѣлать собственный характеръ! Онъ сказалъ еще: многое дурное сдѣлано имъ потому только, что все ему спускаютъ и все сносятъ съ лишнимъ снисхожденіемъ! Это и правда! Онъ ни отъ кого не слышитъ сильной правды! У васъ всегдашнее правило все скрывать! Не только скрывать, но все для другихъ и для себя представлять въ ка-

комъ-то лучшемъ видѣ: свидѣтель этому вашъ журналъ! Какъ же можетъ придти Воейкову въ голову себя исправить! Маменька или съ нимъ поссорится или совершенно проститъ его! и то и другое равно вредно! въ минуту ссоры никакая правда не подѣйствуетъ: бѣшенство не способно ни понять ее, ни слышать! въ спокойную минуту одинъ только ласки — а тутъ-то бы и говорить правду, яснымъ и убѣдительнымъ языкомъ! Тогда бы она была и понятна, и дѣйствительна! По крайней мѣрѣ такъ говорена ему она была здѣсь, мною и Кавелинымъ—и онъ слушалъ все безъ вспыльчивости, во всемъ признавался и все обѣщалъ поправить. Но прошу васъ не ошибаться на счетъ этого слова все поправить. На нашемъ языкѣ оно значило: дать вамъ всѣмъ спокойствіе, беречь васъ, перемѣнить характеръ, однимъ словомъ не нарушать вашего счастія, а быть вмѣстѣ съ вами столько счастливымъ, сколько можно и должно. Обо мнѣ тутъ и слова не было. Я говорилъ ему на счетъ его неделикатности и совѣтовалъ ему учиться ей у тебя, Маша; совѣтовалъ быть съ тобою искреннимъ; просилъ, чтобы для совершенной безопасности не было между вами ничего скрытнаго, чтобы и ко мнѣ не писалъ ничего такого, чего бы не могъ сказать всѣмъ, что теперь скрывать нечего, что вы должны и можете быть другъ съ другомъ совершенно откровенны, что въ этомъ вся тайна вашего семейнаго счастія! На все это онъ согласился! Я сказалъ ему еще, что во все это собственное мое ничто не входитъ, что я рѣшительно навсегда съ вами разстался, и что прошу всего этого для себя въ томъ только смыслѣ, что безъ этого мнѣ ни спокойствія, ни привязанности къ жизни имѣть не возможно! Я просилъ его сказать тебѣ особенно, что тебѣ не должно думать меня возвратить въ семью свою, жертвуя собою [какъ онъ мнѣ сказывалъ и какъ ты сама писала]; что ты обязана дать мнѣ спокойствіе на твой счетъ; что мысль о твоемъ несчастіи отравитъ всю мою жизнь, отыметъ у меня всякую бодрость и всякое желаніе что-нибудь сдѣлать; я просилъ его сказать маменькѣ, что это единственное, что она можетъ для меня сдѣлать, и что я этого прошу отъ ея сожалѣнія — и средства на это самыя легкія и всѣ во власти ея одной: довѣренность! — Ни я, ни Кавелинъ не говорили ему, что онъ будетъ извергъ, есть ли эта свадьба сдѣлается! Онъ точно будетъ извергъ, есть ли ты принуждена будешь выйти замужъ только для того, чтобы избавить себя отъ его притѣсненій! Я просилъ его, чтобы онъ препятствовалъ принужденію и съ своей стороны не доводилъ до такой жестокой крайности грубыми своими поступками; я сказалъ, что теперь считаю замужество твое несчастіемъ, ибо оно точно вынужденное обстоятельствами [хотя я и не знаю этихъ обстоятельствъ], что теперь на него согласиться не могу, но что и въ мысль мнѣ не придетъ ему препятствовать, есть ли мои условія, сдѣланныя для твоего же спокойствія, будутъ исполнены, есть ли буду самъ увѣренъ, что это замужество сдѣлаетъ твое счастіе. [Маша, чтобы повѣрить этому теперь, надобно потерять въ себѣ и память, и чувство]. Я говорилъ ему на счетъ Мойера, что люблю его самъ и уважаю его характеръ, что ты, выйдя за него безъ принужденія, можешь быть счастлива, и что я соглашусь на твое замужество съ нимъ, какъ скоро этого принужденія не будетъ, какъ скоро все сдѣлано будетъ временемъ, и какъ скоро онъ съ своей стороны своими поступками ничего не будетъ портить! Такъ, повторяю, онъ точно изверг, есть ли ты выйдешь замужъ для того только, чтобы спастись отъ него! Онъ можетъ быть твоимъ братомъ, твоимъ другомъ, а онъ мѣняетъ это блаженство на власть тебя приводить въ отчаяніе! Какъ за это всѣмъ его не презирать, не ненавидѣть — и повѣрь, что онъ будетъ ненавидимъ на словахъ и на дѣлѣ! Онъ твердитъ Сашѣ, что она эгоистъ, и въ этомъ ссылается на меня!

Правдъ, я назвалъ ее эгоистомъ, но по его же словамъ! Онъ живо описалъ мнѣ, какъ она и маменька нападаютъ на тебя, чтобы привести къ такому поступку, который еще не согласенъ съ твоимъ сердцемъ! Какъ не назовешь ихъ послѣ этого эгоистами? Какъ желать для себя пожертвованія и еще какого пожертвованія? Цѣлой жизни! Особливо Сашѣ какъ можно этого требовать! Она знаетъ, что ты чувствовала — какъ же такъ рѣшительно располагать за тебя твоею судьбою! Гдѣ участіе и сожалѣніе! — Воейкова пребываніе здѣсь весьма было много меня успокоило на счетъ вашего семейнаго согласія. Онъ признался во всемъ — передъ друзьями, онъ помирился здѣсь съ собою, онъ поѣхалъ отсюда съ тѣмъ, чтобы начать совсѣмъ другой образъ жизни. — Такому человѣку, какъ онъ, необходимо знать, что на него надѣются, дабы имѣть силу что-нибудь исполнить; по одной любви къ добру онъ ничего не сдѣлаетъ. Я знаю по собственному опыту, какъ нужно пособіе и какъ человѣкъ слабъ одинъ съ собою. Воейковъ увидѣлъ здѣсь необходимость все поправить, онъ далъ слово это сдѣлать. Но на одно слово и особенно на его слово полагаться нельзя—нужны подпоры. Онъ долженъ найти ихъ въ насъ, въ нашей къ нему довѣренности, въ нашей на него надеждѣ. Безъ этихъ подпоръ онъ погибъ. Онъ поѣхалъ отсюда, ободренный тою надеждою, какую ему показали его друзья — но нельзя же его почитать совсѣмъ преобразованнымъ! — надобно, чтобы это чувство не угасло въ немъ; надобно пробудить и воспитать въ немъ чувство добра, убитое навыкомъ къ развратной жизни. Вдругъ такая перемѣна не дѣлается. Въ немъ есть доброе — я замѣтилъ это въ нѣкоторыя минуты! Но онъ привыкъ въ одно время и къ свободѣ поступковъ, и къ скрытности [потому что эти поступки были дурны]. Чтобы отучить его отъ этого притворства, надобно быть съ нимъ откровеннымъ, не оскорбляя его самолюбія и показывая на него надежду. Онъ отъ меня слышалъ самыя жестокія вещи — и признавался. Ему нужна довѣренность къ самому себѣ. Это падшій человѣкъ, котораго надобно поднять, а не лишать силы подняться. Почему, Маша, не можешь ты сказать ему самому всего того, что говоришь мнѣ объ немъ, почему маменька не можетъ всего этого сказать ему — это было бы повтореніемъ всего, что было ему сказано мною. Разумѣется, должно употребить языкъ простой, не укоризны, а правду, сказанную отъ сердца. Устоитъ ли онъ противъ такого языка. И говоря это часто, безъ всякой скрытности, ты и маменька, не пріучите ли вы его и къ правдѣ, и къ должности! А вы что дѣлаете? Скрываетесь и приводите его въ затруднительное положеніе! Повѣрьте, что въ такомъ положеніи владѣть собою трудно! Есть ли горе въ самомъ себѣ скрывать тяжело, то вину еще тяжелѣ! Кто облегчаетъ мое признаніе, тотъ не только мнѣ даетъ ограду, но вмѣстѣ и помогаетъ исправиться. А вы безпрестанно другъ отъ друга таитесь! Есть ли онъ имѣетъ мысль, что онъ причиною твоихъ несчастій, то воспользуйтесь этою мыслію; есть ли она остается у него въ душѣ, то больше еще раздражить ее и это можетъ имѣть дурное вліяніе на судьбу Саши! Въ этомъ случаѣ все зависитъ отъ маменьки! Воейковъ точно въ ея власти, и она много можетъ перемѣнить его! Онъ поѣхалъ отсюда въ самомъ прекрасномъ расположеніи—довольный самъ по себѣ, то по крайней мѣрѣ надеждою на себя и надеждою, что будущее все въ его власти и можетъ сдѣлаться лучшимъ. Обрадованный этимъ расположеніемъ, я вообразилъ, что онъ и васъ обрадуетъ, что вы имъ воспользуетесь. Мнѣ казалось все въ порядкѣ; я вообразилъ, что при такомъ порядкѣ тебѣ возможно будетъ безъ всякой поспѣшности устроить судьбу свою и рѣшиться на замужество не по необходимости, а свободно — это успокоило меня на счетъ твоего будущаго. Собственнаго моего тутъ ничего не

было. Я даже и отъ писемъ вашихъ былъ готовъ отказаться — лишь бы только знать, что мои условія приняты и что все пойдетъ естественнымъ своимъ ходомъ. — Что же я долженъ заключить изъ письма твоего? На что рѣшиться? Чего ты отъ меня требуешь? Чему я долженъ вѣрить и что думать? Ты говоришь: напиши къ В. письмо ласковое и безъ всякихъ упрековъ; увѣрь его, что его слава, репутація и имя въ свѣтѣ не могутъ терпѣть отъ моего поведенія и что ты только желаешь моего счастія. Я изъ этого ничего ясно не понимаю. Воейковъ читалъ мое послѣднее письмо, писанное съ нимъ къ маменькѣ, и могъ изъ него видѣть, что я не противлюсь твоему замужству, а прошу только не быть поспѣшными; онъ знаетъ мое мнѣніе о Мойерѣ, знаетъ, что я почитаю его, что соглашусь на все, какъ скоро все будетъ сдѣлано не по принужденію! Я не могу сказать ему, что друзья не будутъ его почитать извергомъ, когда ты отъ него принуждена будешь выйти замужъ — этому нельзя ему повѣрить! И мнѣ нельзя этого сказать. Я просилъ тебя все устроить такъ, чтобы я могъ вѣрить твоему счастію [всѣ мои условія стоятъ ясно во всѣхъ моихъ письмахъ]. Что жъ въ этой просьбѣ невозможнаго? И что невозможнаго въ моихъ условіяхъ? Есть ли ты точно идешь замужъ не по принужденію, то отчего нельзя условій моихъ исполнить! Они легкія и всѣ для твоего же счастія! Неужели въ этихъ условіяхъ видно какое-нибудь тайное намѣреніе! Есть ли другіе могутъ видѣть его, то можешь ли ты, зная меня совершенно? Однимъ словомъ, я въ совершенномъ недоумѣніи! Куда ни обратись, все нѣтъ никакого спасенія. Я не могу рѣшиться сказать тебѣ: выдь замужъ! Этому противорѣчитъ мое собственное убѣжденіе, ибо никакъ не могу думать, чтобы это замужство было для тебя теперь счастіемъ, ибо вижу, что тебя рѣшаетъ на это какая-то непонятная для меня необходимость. Я рѣшить тебя на это не могу! Не могу такъ смѣло расположить твоею судьбою на всю жизнь! Пока не увѣрюсь, что въ этомъ твое счастіе, по тѣхъ поръ не могу дать своего согласія, и ты не можешь въ этомъ случаѣ его отъ меня требовать. Но я такъ же не имѣю духу сказать тебѣ: останься въ своей семьѣ; вижу, что ты въ ней несчастна, хотя увѣренъ, что ты легко могла бы быть въ ней и счастлива и спокойна! Это могли бы сдѣлать, и сдѣлать это было бы общимъ счастіемъ — почему не могутъ и не хотятъ — это знаетъ одинъ Богъ! Онъ тебя защититъ такъ же, какъ и судить будетъ тѣхъ, которые только губятъ, имѣя всю возможность дѣлать счастіе! Есть ли бы выбирать, я бы выбралъ для тебя остаться въ семьѣ своей, но я не могу перемѣнить сердца и души. Могу сдѣлать одно: сказать тебѣ, что ты совершенно свободна сдѣлать все для самой себя, что найдешь теперь лучшимъ. Знаю, что это не дастъ мнѣ спокойствія и, можетъ быть, будетъ причиною совершеннаго несчастія и твоего и моего, и такого несчастія, котораго уже поправить нечѣмъ — но что же я могу сдѣлать?

Чтобы выйти изъ этого несноснаго недоумѣнія, одно средство: съ тобою увидѣться, узнать настоящій образъ твоихъ мыслей отъ тебя самой. Но возможно ли это? Ты пишешь, что я дурно сдѣлалъ, что не пріѣхалъ самъ! Маша, развѣ ты забыла всю прежнюю жизнь мою въ вашемъ домѣ! Развѣ ты забыла, что въ послѣдній мѣсяцъ, я все зналъ о Мойерѣ отъ Воейкова, и ничего не слыхалъ объ немъ отъ маменьки! Ты говоришь, что мнѣ должно быть благодарнымъ ей за то чувство, которое заставило ее мнѣ обо всемъ сказать первому! Почему же этого чувства не было тогда! Ты видѣла мое обхожденіе съ Мойеромъ! Я право болѣе почувствовалъ къ нему дружбы съ той минуты, когда все узналъ, и ни съ кѣмъ не было у меня такого чувства при прощаніи какъ съ нимъ! Я любилъ его за

ту привязанность благородную и нѣжную, какую онъ имѣлъ къ тебѣ! Маменька и на этотъ счетъ была такъ же со мною не искренна, какъ и во всемъ. Что жъ я за братъ! Это имя мнѣ никакихъ правъ не дало надъ ея сердцемъ! Повѣрь, милой другъ, что въ эту минуту я могъ бы быть ей истиннымъ братомъ! Что можетъ быть для меня выше того, какъ быть учредителемъ вмѣстѣ съ тобою твоего счастія, какъ заступить мѣсто твоего отца! Заочно нельзя ничего рѣшить и ни на что рѣшиться! Но какъ пріѣхать? Я столько разъ былъ на этотъ счетъ обманутъ, столько разъ былъ отброшенъ съ холодностью, что теперь, въ такую важную минуту жизни, на это отважиться не посмѣю. Пріѣхать для того, чтобы меня боялись; говорили мнѣ братъ, а въ сердцѣ почитали бы меня тѣмъ человѣкомъ, который описанъ въ письмѣ къ Павлу Ивановичу! этого не стерпишь ни съ какимъ терпѣніемъ! Что жъ будетъ пользы въ моемъ пріѣздѣ! Я не поѣду за тѣмъ, чтобы непремѣнно сказать да; но за тѣмъ, чтобы узнать твои мысли, узнать, что дѣлается въ твоемъ сердцѣ! И я чувствую, что мой пріѣздъ такъ же былъ бы нуженъ для меня, какъ и для тебя! Но чтобы мой пріѣздъ могъ быть на что-нибудь намъ полезенъ, надобно, чтобы я могъ быть съ тобою совершенно свободенъ, всякую минуту, могъ бы говорить безъ свидѣтелей, однимъ словомъ, могъ бы свободно все устроить вмѣстѣ съ тобою! Какъ меня ласково ни прими маменька, все въ минуту почувствую, какое истинное расположеніе въ ея сердцѣ — это отъ меня скрыться не можетъ! Тотчасъ почувствую, чего отъ меня требуютъ: одного ли безусловнаго согласія или истинно братскаго пособія. Быть ей братомъ помощникомъ въ томъ, чтобы дать тебѣ покой и счастіе — на это я способенъ всегда и ты въ этомъ не сомнѣваешься! Есть ли тебѣ нужно, чтобы я пріѣхалъ, то надобно, чтобы маменька рѣшилась поступать со мною какъ сестра и чтобы ты рѣшилась сказать мнѣ все, какъ она есть — повѣрь, что скрыть правды невозможно? Надобно, чтобы она рѣшилась мнѣ вѣрить тебя безъ всякаго опасенія, рѣшилась перестать думать, что я имѣю намѣренія тайныя, рѣшилась бы уважать и мое мнѣніе, а не требовать отъ меня одного покорнаго согласія, рѣшилась бы, наконецъ, и мое собственное спокойствіе на счетъ поставить — при такомъ расположеніи намъ легко будетъ во всемъ согласиться! Я сказалъ бы все, какъ думаю, мы опредѣлили бы все вмѣстѣ для лучшаго — я бы требовалъ только одного, чтобы ничто не было рѣшено при мнѣ, чтобы это осталось между нами тайною! Не знаю, могу ли еще видѣть; но желать, и быть счастливымъ возможностію твоего счастія — это вѣрно! На что вамъ и требовать, чтобы я видѣлъ; довольно того, есть ли буду знать, что все къ лучшему! Мысли объ этомъ и внутреннюю убѣжденія для меня довольно! Итакъ, Маша, есть ли тебѣ хочется, чтобы я пріѣхалъ, напиши — я тотчасъ буду, но ты знаешь условія! Чтобы я могъ говорить съ тобою и съ одной тобою, безъ всякаго принужденія! И чтобы ты сказала мнѣ настоящую правду! Милой другъ, ее скрыть ты можешь — но ея слѣдствія будутъ несчастны! а ты сама знаешь, что эти слѣдствія непремѣнно для насъ обоихъ будутъ несчастны.

VI.

[Спб. 1817 г. Весною].

Посылаю къ тебѣ деньги, милая Маша; увѣдомь о полученіи. Письма ваши получилъ. Бѣдная Дуняша! Ангелъ Дуняша! Какъ бы къ ней полетѣлъ! Но, можетъ быть, это еще и удастся — еще не прикованъ и очень можетъ статься, что и не буду прикованъ! Тогда къ ней поѣду! Прости, милая! Писать некогда! Обними мужа и поцѣлуй ручки у нашей маменьки. Твой Ж.

VII.

Маша, милый другъ, напиши мнѣ о

своемъ малюткѣ. За неимѣніемъ твоихъ писемъ перечитываю твою книжку и, кажется, слышу тебя: это безцѣнный подарокъ! Тутъ вся ты, мой милый другъ и благодѣтельный товарищъ. Въ твоемъ сердцѣ ничто не пропало; еще, кажется, ты стала лучше; настоящая твоя жизнь, исполненіе твоихъ должностей усовершенствовали тебя, и ничто не пропало въ пустотѣ разсѣянія. Читать твою книжку есть для меня оживать. *И много милыхъ тѣней возстаетъ.*

Берлинъ.
1 ноября 1820.

1805—1844.

ПИСЬМА КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ.

I.

[Во второй половинѣ августа 1805].

Здравствуй, братъ и другъ. Отчего не пишешь ко мнѣ ни строки о возвращеніи нашемъ изъ Липецка, о здоровьи батюшки, о самомъ себѣ и прочее? Стыдно. Я отъ другихъ узнаю, что вы пріѣхали. Что ты дѣлаешь, и отчего такая лѣнь? Я не требую большаго письма, а нѣсколькихъ строкъ. Твое письмо изъ Липецка получилъ я очень поздно; не писалъ на него отвѣта для того, что уже не думалъ, чтобы онъ засталъ васъ въ Липецкѣ, и дожидался извѣстія о твоемъ пріѣздѣ въ Москву.

О нашемъ путешествіи вмѣстѣ съ Мерзляковымъ не говорю ничего: ты обо всемъ узнаешь отъ самого Мерзлякова; но очень радуюсь тому, что вмѣстѣ съ нами посылаютъ Николая. Мой планъ годъ пробыть въ Геттингенѣ, учиться; еще годъ въ Парижѣ, также учиться; потомъ годъ ѣздить по Европѣ; если жъ обстоятельства не позволятъ, то все время посвятить ученію. Путешествіе будетъ для меня важнымъ дѣломъ, особливо если удастся поѣздить вмѣстѣ съ Мерзляковымъ. Возвратясь, посвящу себя совершенно литературѣ. Надобно сдѣлаться человѣкомъ, надобно прожить не даромъ, съ пользою, какъ можно лучше. Эта мысль меня оживляетъ, братъ! Я нынче гораздо сильнѣе чувствую, что я не долженъ пресмыкаться въ этой жизни; что долженъ возвысить, образовать свою душу и сдѣлать все, что могу для другихъ. Мы можемъ быть полезны перомъ своимъ, не для всѣхъ, но для нѣкоторыхъ, кто захотятъ насъ понять. Но и кто можетъ быть для всѣхъ полезенъ? А для себя будемъ полезны своимъ благородствомъ, образованіемъ души своей. Наше счастье въ насъ самихъ! Ахъ, братъ, не надобно терять другъ друга изъ виду, не надобно оставлять другъ друга! Будемъ взаимно подавать другъ другу помощь! Надобно быть людьми непремѣнно! Я это чувствую! Мы живемъ не для одной этой жизни, я это имѣлъ счастіе нѣсколько разъ чувствовать! Удостоимся этого великаго счастія, которое ожидаетъ насъ въ будущемъ, которому нѣльзя не быть, потому что оно неразлучно съ бытіемъ Бога!—Adieu! Я радуюсь заранѣ тому, что сдѣлаетъ для меня путешествіе. Всѣ эти животворныя идеи во мнѣ усилятся! Мы будемъ вмѣстѣ съ Мерзляковымъ странствовать, всѣмъ плѣняться и всѣмъ возвышать свою душу. Покажи это письмо ему. Я хотѣлъ писать къ нему, но не стану: онъ долженъ повѣрить, что онъ въ моихъ мысляхъ. Попроси его написать ко мнѣ.

Что же моя трагедія Эдипъ? Если ты о ней не хлопоталъ и не хлопочешь, то, признаюсь, очень худо дѣлаешь. Достань ее ради Бога! Пришли пожалуйста мои книги: Histoire de l'Amérique два тома, Mémoires de Lekain, Catalogue de Laharpe, Beispielsammlung.

1805—1826.

II.

Сентября 11-е 1805-го. Бѣлевъ.

Благодарю тебя, мой любезный Александръ, за твое письмо. Оно меня тронуло до слезъ; нѣтъ ничего пріятнѣе мысли: есть добрый, прекрасный человѣкъ, для котораго я очень много значу и ко-

торой будетъ моимъ помощникомъ во всемъ добромъ, во всемъ прекрасномъ, и которой удержитъ меня, если буду слѣдовать какому-нибудь заблужденію, или ободритъ, если что-нибудь приведетъ меня въ уныніе. Вотъ вещи, которыя мнѣ всего нужнѣе и которыхъ, по несчастію, не имѣю. Иногда чувствую въ себѣ какую-то необыкновенную живость, которая дѣлаетъ для меня свѣтъ прекраснымъ, я воображаю въ дали какую-то счастливую участь, которой ожиданіе волнуетъ мою кровь. Иногда все это исчезаетъ; тѣ же самыя чувства, которыя меня радовали, приводятъ меня въ уныніе, самое тягостное, своею вялостію. Но теперь эти минуты вообще рѣже, гораздо рѣже. Мой умъ получилъ какую-то особенную твердость; по крайней мѣрѣ во многія минуты былъ очень ясенъ и дѣятеленъ. Тѣмъ тяжелѣ минуты бездѣйствія. Хотѣлъ бы все пробыть въ одинаковомъ живомъ положеніи, и огорчаешься вдвое, когда оно прекращается. Вотъ для чего желалъ бы имѣть васъ, братцы, съ собою. Какъ прекрасно быть хорошимъ человѣкомъ въ глазахъ друзей! Это я теперь очень чувствую. Напротивъ, въ глазахъ тѣхъ людей, которые васъ не понимаютъ или имѣютъ совсѣмъ другой образъ чувствъ и мыслей, дѣлаешься мертвымъ, сомнѣваешься въ самомъ себѣ, теряешь свою свободу чувствовать и мыслить, теряешь самое желаніе быть дѣятельнымъ, теряешь надежду, первую, единственную причину всякой дѣятельности. Вотъ для чего восхищаюсь необыкновенно вояжемъ: дѣятельность, свобода, разнообразіе предметовъ, и друзья-свидѣтели моихъ чувствъ и мои наставники, мои помощники. Какая прекрасная перспектива. Я буду очень несчастливъ, если этотъ планъ не исполнится. L'âme est un feu, qui s'éteint, s'il ne s'augmente, сказалъ Вольтеръ. Моя душа не имѣла еще пищи, не пробуждалась, это вѣрно; воспитаніе, или, лучше сказать, все то, что было со мною со времени моего младенчества [потому что я не имѣлъ воспитанія], вмѣсто того, чтобы образовать ее и усилить, только что ее усыпило; я былъ одинъ совершенно, то есть въ кругу множества людей, которыхъ имѣлъ съ собою, былъ нѣкоторымъ образомъ отдѣленъ отъ всѣхъ. Однимъ словомъ, прекрасно бы было всѣмъ намъ жить вмѣстѣ—я называю жить, не *дышать*, не *спать* и *пить*, но *дѣйствовать* и наслаждаться своею дѣятельностію; слѣдовательно эта дѣятельность должна вести къ чему-нибудь высокому, иначе можно ли будетъ ею наслаждаться? Но я буду отвѣчать на твое письмо; отвѣчая, много скажу о самомъ себѣ, о моей цѣли и о томъ, что мы можемъ и должны сдѣлать другъ для друга.

16 сентября. Это письмо не было послано на почту: мнѣ помѣшали писать, я долженъ былъ его оставить. Вообрази, какая досада. Иванъ Володимеровичъ былъ въ Бѣлевѣ, и я его не видалъ; мнѣ даже не сказали, что его ожидали, иначе я бы вѣрно его увидѣлъ. Очень досадно! Сказали, какъ онъ пріѣхалъ и каково батюшкѣ отъ его пріѣзда? Что у васъ дѣлается и прочее, объ этомъ ты совсѣмъ ничего не пишешь и очень дурно дѣлаешь. Буду отвѣчать на твое письмо и поговорю съ тобою посурьезнѣе. Между тѣмъ пожури за меня Мерзлякова; мнѣ кажется, онъ не только что лѣнивъ писать ко мнѣ, но даже, какъ видно, лѣнивъ обо мнѣ и подумать; а я вѣдь долженъ быть его спутникомъ!

Во-первыхъ, я не думаю и не думалъ, чтобы мы холодѣли другъ ко другу. Этого нѣтъ; а я сказалъ тебѣ, въ прошедшемъ моемъ письмѣ, что мы вообще не были такъ тѣсно связаны, какъ бы мнѣ этого хотѣлось. Это правда; можетъ быть, этому причиною обстоятельства, которыя насъ такъ надолго разлучили; а разлука, согласишься самъ, не усиливаетъ дружбы, когда она не иное что, какъ простая связь, основанная на привычкѣ быть вмѣстѣ, сдѣланная обстоятельствами, пріятная, но не такая необходимая, безъ которой бы нельзя было обойтись, которая бы составляла важную часть жизни

[я разумѣю моральную жизнь]! Такой связи между нами не было, согласишься самъ, даже и теперь нѣтъ, но будетъ, должна быть, въ этомъ я увѣренъ: надобно только увѣриться, что мы не простые друзья, не такіе, которымъ только пріятно встрѣчаться, быть вмѣстѣ, но такіе, которымъ нужно быть друзьями, на которыхъ дружба имѣетъ то же вліяніе, которое должна имѣть религія на всякую благородную душу, то есть самое благодѣтельное, святое, оживляющее, ободрительное. Нельзя сказать однимъ словомъ, мнѣ тебѣ, тебѣ мнѣ: я твой другъ; мы должны вмѣстѣ трудиться, дѣйствовать, чтобы послѣ сдѣлаться достойными дружбы и, слѣдовательно, быть друзьями. Дружба есть добродѣтель, есть все, только не въ одномъ человѣкѣ, а въ двухъ [много въ трехъ или четырехъ, но чѣмъ больше, тѣмъ лучше]. Если скажутъ обо мнѣ: онъ истинной другъ, тогда скажутъ другими словами: онъ добродѣтельной, благородный человѣкъ, оживленный *однимъ* огнемъ вмѣстѣ съ другимъ, которой ему равенъ, которой его поддерживаетъ собою, а самъ поддерживается имъ. Вотъ что значитъ дружба въ моемъ смыслѣ. Я не спрашиваю, друзья ли мы? На этотъ вопросъ ни ты, ни я, ни Мераляковъ, никто изъ насъ не можетъ отвѣтить *да!* Но какъ прекрасно соединиться для того, чтобы послѣ быть друзьями, дѣйствовать для самихъ себя, потомъ наслаждаться своимъ собственнымъ дѣломъ; жить другъ для друга, говорить себѣ во всякомъ случаѣ: я дѣлаю не для себя одного, есть свидѣтели моихъ дѣлъ, которыхъ не боюсь, но которые составляютъ для меня самое верховное судилище! Видишь ли, что я говорю не такъ, какъ энтузіастъ; что все, мною сказанное, не мечта, но можетъ и должно исполниться, потому что согласно съ цѣлію Провидѣнія, которая всему велитъ совершенствоваться. Только тѣ вещи могутъ не удаваться, которыя зависятъ отъ случая или посторонникъ обстоятельствъ; но все, что ни предлагаю, зависитъ отъ насъ самихъ, паралучно съ нами — какъ этому не исполниться! Я вамъ всѣмъ, тебѣ, Мераляку, Блудову, долженъ сказать откровенно, что не былъ никогда привязанъ къ вамъ съ отмѣнною силою, такъ же какъ и вы всѣ ко мнѣ [лучше это видѣть, нежели не видѣть, потому что, увидѣвши, узнаешь причину и поправишь]. Мы всѣ сходились вмѣстѣ *случайно*, съ удовольствіемъ; но, я не знаю, во мнѣ не было этого внутренняго, влекущаго чувства, которое бы я желалъ имѣть, будучи вмѣстѣ съ моими друзьями, однимъ словомъ чего-то не было такого, что всего вѣрнѣе къ дружбѣ—какъ это назвать, не знаю. Никого изъ васъ, это разумѣется, я не любилъ съ такою *привязанностію*, какъ брата, то есть, не будучи съ нимъ вмѣстѣ, я его воображалъ съ сладкимъ чувствомъ былъ къ нему ближе; ему подавалъ руку съ особеннымъ, пріятнымъ чувствомъ; я не знаю, какъ-то отмѣнно весело было чувствовать его руку въ моей рукѣ; между нами было болѣе сродства, по крайней мѣрѣ съ моей стороны. Но что дѣлать! Даже при жизни его мы не были то, что бы могли быть; въ то время, когда онъ былъ со мною, въ насъ было больше [то есть во мнѣ] ребяческаго энтузіазма; потомъ мы разстались, потомъ все кончилось; однимъ словомъ, моя съ нимъ дружба была только зародышъ, но я потерялъ въ немъ то, чего не замѣню или чего не возвращу никогда: онъ былъ бы моимъ руководцемъ, которому бы я готовъ былъ даже *покориться*; онъ бы оживлялъ меня своимъ энтузіазмомъ. Но, братцы, мы можемъ быть другъ для друга многимъ, очень многимъ, всѣмъ, со временемъ, разумѣется, не вдругъ! Для чего же и жить, какъ не для усовершенствованія своего духа всѣмъ тѣмъ, что есть высокаго и великаго? Одному этого сдѣлать почти не можно! Будемъ же друзьями, то есть вѣрными товарищами на пути къ добру! Дружба есть добродѣтель, еще разъ повторяю. Я забылъ сказать о причинѣ той *малой* привязанности [или, справедливѣе, *не довольно сильной*, малою ее

нельзя назвать, потому что это будетъ неправда], которая была между нами. Я думаю, та причина, что вся наша дружба была не иное что, какъ ребячество, какъ простая связь, не на твердомъ основаніи, безъ всякой цѣли, а сдѣланная случаемъ, такъ же, какъ и всѣ свѣтскія дружбы и связи. Положимъ себѣ цѣль [какую знаешь], пойдемъ по ней вмѣстѣ, не переча другъ другу, но помогая, по воспламеняя другъ друга при всякомъ случайномъ ослабленіи. Тогда не одна склонность соединитъ насъ, но *благодарность, почтеніе* взаимное и даже чувство необходимости въ такой связи, которая должна привести насъ навѣрно къ счастію. Все, что я къ тебѣ теперь написалъ, все сказано безъ особеннаго натянутаго чувства, а просто, съ нѣкоторымъ твердымъ и очень пріятнымъ увѣреніемъ. Чувства очень мѣняются, потому что все на нихъ имѣетъ вліяніе; я говорю такія чувства, которыя ни на чемъ не основаны, а *вдругъ*, на время, тебя воспламеняютъ; но чувства спокойныя, утвержденныя умомъ, тверды и навсегда остаются, потому что, имѣвши ихъ въ спокойную, *обыкновенную* минуту, всегда можешь возобновить, не выходя изъ своего обыкновеннаго положенія. Это я знаю по частому опыту. Очень нерѣдко бывалъ я въ отчаяніи, не находя въ себѣ того сильнаго чувства, которое въ другое время имѣлъ; это только отъ того, что это сильное чувство, неестественное, или лучше сказать, необыкновенное, есть феноменъ, который не всегда возобновлять можешь свободно. Теперь *дурное расположеніе*, которое такъ часто прежде меня мучило, не имѣетъ на меня вліянія, я дерусь съ нимъ умомъ и часто—*vive la raison*!—побѣждаю его.

Но я написалъ почти четыре страницы, а еще очень мало сказалъ о томъ, что думалъ прежде. Я заболтался, но, право, говорилъ то, что ты долженъ принять, и, кажется, все, сказанное мною, навсегда во мнѣ останется, тѣмъ больше, что я все думалъ, все говорилъ безъ моего прежняго энтузіазма, которой такъ вѣтренъ и перемѣченъ. Изъ этого, однако жъ, ты не долженъ заключать, что будто я хочу отказаться совсѣмъ отъ энтузіазма; напротивъ, я хочу его усилить, укоренить, только ошибить ему нѣсколько крылья, сдѣлать его спокойнѣе, постояннѣе: хочу, чтобы онъ меня освѣщалъ, а не ослѣплялъ. И это даже должна сдѣлать дружба: *одинъ* будешь не такъ смѣлъ, а то, что воспламенитъ и будетъ воспламенять *многихъ въ одно время*, то покажется не пустою мечтою, а чѣмъ-то разсудительнымъ, основательнымъ. Видишь ли, что я хочу быть энтузіастомъ по разсудку. C'est une gageure!

Оставляю до другой почты то, что я хотѣлъ тебѣ сказать о самомъ себѣ, то есть о своемъ характерѣ, о моей цѣли въ жизни, вообще о моей *частной* жизни отдѣльно отъ нашей *общей*, которую должна намъ дать дружба. Надобно объ этомъ подумать еще, сверхъ того я что-то усталъ; вѣдь не вдругъ привыкнешь къ продолжительному *размышленію*. Эта наука труднѣе всякой, особливо когда человѣкъ прожилъ 23 года на семъ свѣтѣ, не подозрѣвая, чтобы можно было находить пріятность въ размышленіи. Это отчасти мой жребій, но я знаю этому причину, слѣдовательно, перемѣню это съ вашею помощію, милостивые государи, друзья мои! Это будетъ отнынѣ моимъ обыкновеннымъ припѣвомъ.

Хотѣлъ еще написать къ тебѣ, но не буду! Некогда, опоздаю.

III.

Генваря 8-е [1806, Бѣлевъ].

Сейчасъ получилъ твое письмо и сейчасъ на него отвѣчаю. Благодарю тебя, братъ, любезный другъ: ты меня душевно тронулъ; тронулъ тѣмъ, что мнѣ захотѣлъ повѣрить свои чувства; это доказываетъ, что я тебѣ нуженъ и что ты точно хочешь любить меня. Признаюсь, я нѣсколько боялся; думалъ почти, что я не совершенно важный человѣкъ для тебя, что тебѣ можно обойтись безъ меня. Тонъ

твоего письма доказываетъ мнѣ противное; онъ трогаетъ меня душевно. Однимъ словомъ, намъ надобно быть друзьями, товарищами въ этой бѣдной жизни, въ которой ничто не радуетъ, по крайней мѣрѣ не радуетъ продолжительно; одна мысль будетъ меня всегда восхищать, мысль о такомъ человѣкѣ, какъ ты, котораго дружба должна быть для меня свѣтильникомъ. Я чувствую, братъ, что я сталъ нѣсколько способнѣе противъ прежняго быть человѣкомъ, то есть не двуногимъ животнымъ безъ перьевъ, но человѣкомъ въ твоемъ смыслѣ, нѣсколько способнѣе для дружбы. Но что дѣлать! Здѣсь я одинъ; почти все, что вокругъ себя вижу, мнѣ не отвѣчаетъ, а мнѣ нужна подпора. О, моя жизнь прошла не такъ, какъ бы должно было. Ты имѣлъ передъ собою брата, батюшку—какіе люди! но я вѣчно прозябалъ, почти одинъ, хуже, нежели одинъ, потому что не былъ оставленъ, не былъ брошенъ, слѣдовательно, не имѣлъ нужды дѣйствовать, могъ спать умомъ и тѣломъ, и спалъ, и проснулся очень недавно, и по сію пору не умѣю владѣть собою. Эта неподвижность, этотъ душевной параличъ, которой часто чувствую, приводитъ меня въ отчаяніе. Всякой разъ, когда вспомню о братѣ, то живѣе чувствую цѣну его и потерю. Что бы онъ былъ для меня теперь! Кажется, мнѣ теперь жаль его больше, нежели тогда, когда мы его лишились. Я теперь больше чувствую самого себя, больше знаю цѣну настоящую жизни и больше понимаю, для чего я живу. Дружба его, какъ она ни была коротка и какъ я ни былъ ничтоженъ въ то время, когда его зналъ, оставила что-то неизгладимое въ душѣ моей: весь энтузіазмъ къ доброму, все благородное, что имѣю, все, все лучшее во мнѣ должно принадлежать ему. Мнѣ кажется, всякой разъ, когда объ немъ вспомню, сталъ бы на колѣна, для чего—не знаю; но какое-то особливое чувство меня къ этому побуждаетъ. Ахъ, братъ, намъ надобно жить на свѣтѣ не такъ, какъ живутъ обыкновенно, жить возвышеннымъ образомъ; но я *одинъ* ничего не сдѣлаю: мнѣ необходима подпора. Я найду ее въ дружбѣ, и въ твоей дружбѣ. Дай руку, но только дай ее отъ всего сердца и не ожидай найти ничего слишкомъ отмѣннаго: я долженъ еще быть образованъ для дружбы; но кажется мнѣ, если не ошибаюсь, теперь сталъ я зрѣлѣе, нѣсколько лучше. Намъ надобно помогать другъ другу, оживлять другъ друга, дѣлами и мыслями. Бываютъ такія минуты, въ которыя жизнь кажется чѣмъ-то пустымъ, въ которыя самое добро кажется ничтожнымъ, ничего не хочешь, ничего не почитаешь нужнымъ и важнымъ; такія состоянія души часто очень долго продолжаются; надобно, чтобы какая-нибудь неожиданность ихъ уничтожила, и въ такія-то минуты всего нужнѣе дружеская подпора. По твоему письму заключаю, что ты во все это время не былъ счастливъ, страдалъ душевно; вообрази жъ, что я почти завидую этому состоянію; душа твоя была по крайней мѣрѣ не въ бездѣйствіи. Я бы даже иногда желалъ, чтобы какое-нибудь потрясеніе меня разбудило, чтобы я могъ съ чѣмъ-нибудь бороться и слѣдовательно напрягать всѣ свои силы: либо пань, либо пропалъ! Всякое состояніе имѣетъ свою горечь. Излишнее спокойствіе усыпляетъ, если оно не пріобрѣтено трудомъ, не есть отдыхъ, а всегдашнее, постоянное состояніе. Излишнее волненіе изнуряетъ, слѣдовательно можетъ быть также убійственно для души, которая, видя свою неспособность дѣйствовать, отказывается отъ дѣятельности и теряетъ бодрость. Мнѣ кажется, ты былъ въ послѣднемъ положеніи, а я часто бываю въ первомъ. Иногда не вижу передъ собою ничего, все задернуто какимъ-то густымъ туманомъ, сидѣлъ бы поджавши руки и закрывъ глаза, больше ничего! Но это состояніе отъ того такъ тягостно, что не можешь его не чувствовать, что видишь, какъ оно низко, и не находишь въ себѣ довольно силъ, чтобы изъ него вырваться; оно хуже самаго ничтожества, которое по крайней мѣрѣ

не чувствительно. Надобно, братъ, и мнѣ и тебѣ назначить себѣ постоянную цѣль; видя ее въ дали, по крайней мѣрѣ не будешь въ нерѣшимости, будешь знать, чего хочешь, и слѣдовательно будешь стараться получить. Если минуты разслабленія и случатся, то конечно не будутъ такъ продолжительны: взглядъ на будущее, на тотъ предметъ, которой самъ себѣ избралъ будетъ оживлять душу и возвращать ей прежнюю ея силу и бодрость. Такъ, братъ, я понимаю и иногда чувствую, что ничто такъ не возвышенно, какъ имѣть твердую, постоянную увѣренность въ безсмертіи: это единственная цѣль наша. Какъ должна быть велика, чиста, неподѣдима та душа, въ которой чувство безсмертія всегда живо и всегда присутственно! Вотъ все основаніе морали, и тотъ человѣкъ долженъ благословлять судьбу, кто смолоду напитанъ возвышенными понятіями о безсмертіи: онъ не можетъ не быть добродѣтельнымъ, по крайней мѣрѣ никогда не будетъ дурнымъ. Съ этой стороны ты счастливецъ. А я? Братъ! Братъ! Скажу тебѣ, какъ Карлъ Мооръ, которой смотритъ на ясное заходящее солнце и вспоминаетъ о томъ, что онъ былъ прежде. Я не вспоминаю о прошедшемъ, потому что оно мало оставило на душѣ моей; но воображаю, что бы я былъ, когда бы прошедшее было не таково, каково оно было! Въ прошедшемъ не вижу ничего, кромѣ нѣсколькихъ часовъ, проведенныхъ вмѣстѣ съ братомъ; и тѣ прошли почти непримѣтно: я былъ не въ состояніи ничѣмъ пользоваться и въ самомъ дѣлѣ ничѣмъ не воспользовался! Наша дружба была зародышъ, который совершенно увянулъ при своемъ началѣ; теперь ничего не воротишь! Воспользуемся тѣмъ, что можемъ имѣть. Мы, кажется, двое много можемъ. По крайней мѣрѣ я вмѣстѣ съ тобою! Ты долженъ быть согрѣвателемъ моей души, долженъ поддерживать во мнѣ чувство безсмертія. Если оно укоренится въ душѣ *нашей*, то жизнь наша пройдетъ не даромъ. *Главное, единственное*, что мы другъ для друга дѣлать можемъ, есть взаимное стараніе возвышать нашу душу; все прочее само собою сдѣлается. Кто далъ себѣ высокія чувства, тотъ далъ себѣ все. Въ свѣтѣ долженъ казаться страннымъ тотъ человѣкъ, который имѣетъ своею цѣлію безсмертіе, совершенство; но нашей цѣли не долженъ никто ни знать, ни видѣть; она должна быть сокрытою; взглядъ свѣта можетъ ее обезобразить въ собственныхъ нашихъ глазахъ. По крайней мѣрѣ я за себя не совсѣмъ ручаюсь, и для того-то требую подпоры, защиты противъ самого себя: я не пріученъ ни къ какой дѣятельности, ни къ душевной, ни къ тѣлесной, слѣдовательно не увѣренъ, могу ли съ чѣмъ-нибудь бороться и что-нибудь побѣдить. Я живо себѣ представляю, какое блаженство должна давать прямая религія; она возноситъ человѣка выше всего, выше самой его личности; но я только представляю это: я въ себѣ не нахожу того сильнаго, внутренняго, непзгладимаго чувства, которое должно быть твердѣйшимъ основаніемъ религіи. Все, что я видѣлъ вокругъ себя по сію пору, должно было если не отвращать, то по крайней мѣрѣ поселять во мнѣ совершенное равнодушіе къ религіи: я видѣлъ христіанъ на словахъ, которые не имѣютъ понятія о возвышенности чувствъ христіанскихъ, о безсмертіи и пр.; несогласіе чувствъ и дѣлъ съ правилами и словами, всегда замѣчаемое мною съ колыбели, должно было произвести во мнѣ это неуваженіе и равнодушіе. Я долженъ теперь, если можно, побѣдить привычку, уничтожить старое, чтобы поселить въ себѣ что-нибудь хорошее; сверхъ того необходимо нужно что-нибудь такое, что бы сильно меня къ этому подвинуло, а этой-то побудительной причины недостаетъ. Дай мнѣ понятіе о религіи твоего батюшки. Она не должна быть обыкновенною, и если ты въ ней увѣренъ, то почему я не могу быть увѣренъ? Эти вещи самыя важнѣйшія, потому что на нихъ должно основываться все наше бытіе, должны быть между нами общими, по

крайней мѣрѣ столько общими, сколько это возможно. Весело и прекрасно имѣть побудительную причину во всѣхъ случаяхъ жизни; но крайней мѣрѣ одна только побудительная причина у всѣхъ и быть можетъ: исканіе совершенства. И что же дружба, когда она не будетъ пособіемъ въ этомъ исканіи? Другъ, жена— это помощники въ достиженіи къ счастію, а счастіе есть внутренняя, душевная возвышенность.

Wem der *grosse Wurf* gelungen
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen...

Эти стихи я нынче очень чувствую. И какъ много такого, что прежде пропускалъ мимо ушей, теперь сдѣлалось важнымъ и значущимъ!

Но я все говорю о себѣ, а еще не сказалъ ни слова о тебѣ. Ты описываешь мнѣ свое душевное уныніе, а не говоришь ни слова о томъ, что произвело его. Что такое? Или не лишніе ли мои вопросы? Но съ тобою должно было что-нибудь новое случиться. Если тебѣ тяжело разсказывать, то не разсказывай. Я бы хотѣлъ быть съ тобою. Это бы, можетъ быть, полезно было бы для тебя, или хотя нѣсколько облегчительно, и для меня также полезно; но двѣ причины меня здѣсь удерживаютъ. Первая та, что мнѣ совершенно не съ кѣмъ пріѣхать; вторая та, что я *долженъ* и хочу заплатить самой важной долгъ до своего отъѣзда въ чужіе края: слѣдовательно принужденъ работать. Я и здѣсь лѣниво работаю, потому что иногда, право, ничто не идетъ въ голову, а въ Москвѣ я готово буду лѣниться и не имѣть времени. Итакъ, видишь, что мнѣ необходимо нужно здѣсь остаться, хотя и желалъ бы въ Москву. Сверхъ того построенъ домъ; я уѣзжаю надолго, надобно все оставить безъ себя въ порядкѣ, чтобы матушка не имѣла хлопотъ, и эти совсѣмъ не поэтическія занятія часто меня бѣсятъ. Однимъ словомъ, я долженъ пробыть здѣсь всю весну и лѣто; въ концѣ лѣта располагаюсь ѣхать. Думаю, вмѣсто извозчика и переѣзда изъ мѣста въ мѣсто, остаться въ какомъ-нибудь университетѣ, и именно въ Енѣ, гдѣ, говорятъ, очень дешево жить и который малымъ чѣмъ уступитъ Геттингену. Мнѣ описывалъ это мѣсто одинъ нѣмецъ, который учился въ Енѣ у Нимейера и который хочетъ мнѣ дать рекомендательныя письма. Путешествовать, въ теперешнихъ обстоятельствахъ, не совсѣмъ будетъ способно. Лучше учиться. Съ тремя тысячами, которыя дастъ мнѣ Антонскій, могу прожить безъ нужды довольно времени въ Енѣ. Ученье теперь мнѣ всего нужнѣе, потому что я совсѣмъ ничего не знаю, а, кажется, время что-нибудь знать. Что жъ Николай? Поѣдетъ ли онъ, если я поѣду? Или не раздумала ли матушка? Признаюсь, эта мысль меня радуетъ быть ему товарищемъ: мы бы вмѣстѣ стали трудиться. Онъ, мнѣ кажется, человѣкъ будетъ не пустой. Что такое онъ написалъ для акта? Нельзя ли прислать? Увѣрь его пожалуйста, что онъ во мнѣ найдетъ самаго вѣрнаго товарища. Я для себя и для него ожидаю величайшей пользы отъ путешествія. Опытность, познанія, дѣятельность—все можемъ получить въ это время. Путешествіе должно положить основаніе всей моей будущей жизни; теперь еще не знаю, что я, слѣдовательно, не знаю, на что гожусь: но тогда, конечно, узнаю. Къ тому же мнѣ необходимо надобно учиться, самому никакъ нельзя во всемъ успѣть, особливо одному, мнѣ хочется непремѣнно сдѣлать изъ себя все то, что теперь осталось мнѣ возможнымъ, все лучшее, полезное: кто это имѣетъ цѣлію, тотъ, по крайней мѣрѣ, не сдѣлаетъ ничего дурнаго. Еще разъ повторяю: будемъ помогать другъ другу, будемъ оживлять другъ друга словами, дѣлами, всѣмъ. Напиши ко мнѣ больше о себѣ; о своемъ планѣ жизни; обо мнѣ; о томъ, что намъ дѣлать обоимъ; какъ мы можемъ быть полезны другъ для друга. Мнѣ бы хотѣлось знать твои мысли о счастіи, какое тебѣ возможно и какого намъ обоимъ можно искать. Что ты

думаешь о моемъ вояжѣ и что̀ мнѣ совѣтуешь дѣлать, если не поѣду? Въ будущемъ письмѣ буду писать о томъ, какое счастіе я себѣ воображаю и какое мнѣ возможно. Но все это похоже на воздушные замки, тебѣ должны казаться смѣшными мои вопросы. Однако же, ты долженъ на нихъ отвѣчать. Не правда ли, однако жъ, что я о твоемъ и своемъ счастіи хочу разсуждать, какъ будто о какой-нибудь философической задачѣ? И въ самомъ дѣлѣ, неужели объ этой матеріи надобно разсуждать въ горячкѣ и быть всегда мечтателемъ? Надобно сдѣлать для себя какой-нибудь основательной планъ, не химерической, но утвержденный на возможности; намъ надобно другъ другу сообщать свои намѣренія и чувства, другъ другу помогая сдѣлать что-нибудь хорошее, утвердиться на чемъ-нибудь постоянно. Итакъ, напиши мнѣ о себѣ все, не полѣнись, будь моимъ путеводителемъ или, по крайней мѣрѣ, совѣтникомъ. — Что̀ дѣлаетъ Мерзляковъ? Онъ забылъ меня совершенно: я не получилъ отъ него ни строки; не знаю, что̀ онъ дѣлаетъ и что̀ наше съ нимъ путешествіе. Я самъ къ нему почти ничего не писалъ, но все писалъ, и въ твоемъ письмѣ, и одинъ разъ особенно. Напомни ему обо мнѣ. За что намъ другъ отъ друга отдаляться? Признаюсь, мнѣ обидно слышать, что ты съ нимъ рѣдко видишься: кому жъ бы другъ друга поддерживать и искать, какъ не вамъ двумъ! Что жъ значитъ это отдаленіе? Не знаю, какъ это назвать; но мнѣ кажется, что Мерзляковъ [хотя съ нимъ мнѣ всегда было весело быть вмѣстѣ, потому что онъ человѣкъ необыкновенный] не былъ со мною таковъ, какимъ бы я желалъ его видѣть; напримѣръ, между нами не было искренности; если мы и говорили другъ съ другомъ, то вообще всегда говорили о посторонникъ матеріяхъ; однимъ словомъ, мнѣ всегда казалось, что я мало для него значу, и отъ этого онъ мало на меня имѣлъ вліянія: Можетъ быть, этому причиною и то, что онъ не хотѣлъ имѣть вліянія: по крайней мѣрѣ я по сію пору еще его не знаю; онъ никогда мнѣ не открывался, даже въ самыхъ бездѣлицахъ, въ своихъ сочиненіяхъ, не только въ мысляхъ и чувствахъ. Между нами не было ничего общаго; я не могу отъ него ничего требовать: нѣтъ ничего тяжелѣ и скучнѣе, какъ насиліе и принужденность. Но онъ не имѣлъ причины мнѣ показывать обманчивой наружности; слѣдовательно я имѣю все право вѣрить тому, что онъ мнѣ показывалъ, и теперь вѣрю; только мнѣ кажется, что все было не таково, какимъ бы должно было быть между нами. Отчего такая слабая связь, такое равнодушіе между нами? Насъ должно оживлять одно, поддерживать одно! Однимъ словомъ, наша жизнь должна быть cause commune! А мнѣ кажется, что онъ меня забылъ и всегда искалъ меня меньше, нежели я его. Или не вздоръ ли я написалъ, и не похоже ли это на прицѣпки? Скажи ему обо мнѣ послова и напиши объ немъ что-нибудь. Намъ надобно жить связно и жить другъ для друга. Я признаюсь передъ вами, любезные друзья, что я самъ былъ что-то не то, но намъ надобно быть образователями другъ друга Не забывайте меня; я здѣсь имѣю въ васъ нужду, можетъ быть больше, нежели вы во мнѣ.—Но прости, братъ, на будущей почтѣ буду писать еще; то есть, получивъ отъ тебя отвѣтъ. Теперь некогда, мнѣ мѣшаютъ.—Пришли мнѣ свое Путешествіе. Я теперь занимаюсь собраніемъ русскихъ поэтовъ; скажи Мерзлякову, чтобъ онъ прислалъ мнѣ лучшіе свои стихи; не будетъ ли чего для помѣщенія въ это собраніе? Пришли Путешествіе. Неужели искреннее сужденіе дружбы не будетъ для тебя пріятно? Всѣ мои сочиненія увидятъ не прежде свѣтъ, какъ съ пропускомъ и благословеніемъ моихъ друзей.

A propos. Пожалуйста прочти Виландова Агатона. Святая книга! Я начинаю больше уважать нѣмецкихъ авторовъ. Ради Бога, пришли мнѣ что-нибудь хорошее въ нѣмецкой философіи: она возвышаетъ душу, дѣлая ее дѣятельнѣе; она больше возбу-

ждастъ энтузіазмъ. Этому причина, конечно, то, что большая часть нѣмецкихъ философовъ живутъ въ совершенномъ уединеніи, слѣдовательно больше угадываютъ людей, видятъ ихъ издали и больше примѣняютъ къ себѣ. Французскіе всѣ играютъ роль въ большомъ свѣтѣ, всѣ подчинены хорошему тону, менѣе глубокомысленны и меньше имѣютъ живости въ чувствахъ, которыя обыкновенно притупляются свѣтскою жизнію. Одинъ Руссо можетъ быть исключеніемъ, но Руссо жилъ всегда въ уединеніи. Итакъ, пришли мнѣ какого-нибудь нѣмца-энтузіаста. Мнѣ теперь нуженъ такой помощникъ, нужна философія, которая бы оживила, пробудила мою душу. Если есть Schiller's kleine prosaische Schriften, присылай. Не забудь поздравить отъ меня батюшку съ новымъ годомъ; напиши объ немъ, объ Иванѣ Володимеровичѣ. О послѣднемъ буду говорить съ тобою много, но не теперь: спѣшу, мѣшаютъ, торопятъ писать! Прости, братъ! Что Андрей Сергѣевичъ? Знаешь ли, что мнѣ приходитъ въ голову съ нимъ поближе сойтись. Намъ надобно составить отдѣльное общество. Но послѣ, послѣ!

IV.

[Въ половинѣ декабря 1806 г., Москва].

Здравствуйте, любезные друзья Тургеневъ и Блудовъ! Въ доказательство того, что я васъ помню и люблю, можетъ быть, больше прежняго, посылаю вамъ цѣлую кипу стиховъ, изъ которыхъ одно точно на ваше имя написано и въ такую минуту, въ которую я съ большимъ чувствомъ думалъ объ васъ и о прошедшемъ времени. Которые это стихи, вы сами узнать можете. Сдѣлай дружбу, братъ Тургеневъ, если напечатать Барда особенно, если можно съ виньетомъ, на которомъ бы представить ту минуту, въ которую Бардъ взбѣжалъ на холмъ и видитъ летящія тѣни. Извини, что занимаю тебя стихами тогда, когда мы всѣ должны думать объ отечествѣ; но эти стихи суть новый даръ отечеству; я желалъ бы, чтобы ты сдѣлалъ ихъ извѣстными. Если напечатаешь, то пришли и мнѣ сколько-нибудь экземпляровъ. Покритикуйте ихъ вмѣстѣ съ Блудовымъ и, если вздумаете что поправить, поправьте. Только поспѣши. Здѣсь они будутъ напечатаны въ Вѣстникѣ. О другихъ же моихъ піесахъ не заботься; онѣ будутъ напечатаны въ Вѣстникѣ же, и я смѣшонъ бы былъ, когда бы хлопоталъ объ нихъ или занимался сочиненіемъ басенъ въ такое время, каково настоящее. Всѣ эти стихи написаны въ октябрѣ, въ спокойнѣйшія минуты, а теперь ни на чемъ постороннемъ нельзя остановить вниманія. Я пріѣхалъ было въ Москву съ тѣмъ, чтобы цѣлый годъ посвятить порядочному ученію, пройти исторію и философію, и потомъ уже, имѣя основательныя знанія, приняться за что-нибудь важное и полезное; но теперешнія обстоятельства, кажется, не позволятъ заняться науками. Я не знаю, на что рѣшиться, и желалъ бы знать ваше мнѣніе объ этомъ, братцы. Теперь всякой обязанъ идти въ службу, и я чувствую свою обязанность; но служить надобно для того, чтобы принести пользу. Вы знаете мои способности; скажите, что мнѣ дѣлать? А я не желалъ бы остаться къ бездѣйствіи тогда, когда всякой долженъ дѣйствовать, но желалъ бы дѣйствовать такъ, чтобы принести пользу. Ожидаю вашего отвѣта, по крайней мѣрѣ твоего, Тургеневъ: ты не такъ лѣнивъ, какъ Блудовъ, въ которомъ одна страсть поглотила всѣ другія способности, склонности и пр. и пр. Ты долженъ непремѣнно отвѣчать мнѣ и въ скорѣйшей скорости. Если не ошибаюсь, то въ сочиненіи манифеста участвовалъ и ты: кажется, есть въ немъ сходство съ твоимъ слогомъ. Вообще написанъ хорошо; но вы забыли, государи мои, что вы говорите съ русскимъ народомъ, слѣдовательно не должны употреблять языка ораторскаго, а говорить простымъ, сильнымъ и для всѣхъ равно понятнымъ. Нынче и тотъ, кто привыкъ читать и знаетъ риторику, нѣ-

нается меньше украшеніями, нежели простотою. Вообрази, что этотъ манифестъ должны читать всѣ генерально. Кто знаетъ Цицерона, для того онъ будетъ убѣдительнѣе, хотя и на него ораторскіе обороты будутъ въ половину только дѣйствовать: языкъ оратора подозрителенъ, ибо знаешь, что краснорѣчіе все увеличиваетъ. Для простаго народа и для большей части высокого дворянскаго сословія важнѣйшія мѣста изъ манифеста будутъ почти непонятны, слѣдовательно потеряютъ большую часть своего дѣйствія. Мало и не положительно сказано о награжденіяхъ. Вы думаете все основать на чувствѣ патріотизма, которое въ большей части очень слабо, въ однихъ потому, что они безпрестанно развѣяны свѣтскимъ вздоромъ, слѣдовательно не могутъ имѣть ничего солиднаго въ головѣ; въ другихъ потому, что они слишкомъ грубы и необразованны, слѣдовательно не могутъ имѣть понятія о должностяхъ моральнаго человѣка и объ отношеніяхъ гражданина къ отечеству; а въ простомъ народѣ оно едва ли можетъ существовать: причина очевидна. Итакъ, надлежало бы говорить даже о личныхъ выгодахъ, и о личной опасности, и о любви къ государю. Для большей части народа русскаго государь знакомѣе отечества; и самой низкой народъ всегда бывалъ привязанъ къ государю, это докажетъ исторія: для грубыхъ людей натуральнѣе любить лицо государя, которое они могутъ знать и видѣть, нежели отвлеченное лицо отечества, которое существуетъ въ одномъ воображеніи. Тотъ, кто уже говоритъ объ отечествѣ и понимаетъ то, что говоритъ, можетъ назваться довольно просвѣщеннымъ; этого просвѣщенія еще нѣтъ въ нашемъ народѣ. Что жъ касается до личныхъ выгодъ и личной опасности, то надлежало бы и ихъ представить явственнѣе; надлежало бы сказать, какая именно опасность намъ угрожаетъ, и сказать самымъ простымъ, понятнымъ языкомъ: тутъ бы можно было распространиться о вѣрѣ. Вотъ случай, въ которомъ самая фанатическая вѣра можетъ быть весьма полезною: фанатизмомъ можно управлять, а теперь только того и желать должно, чтобы все покорялось безъ прекословія. Для чего не сказано ничего объ опасности, угрожающей нашей вѣрѣ? Вѣра есть имѣніе каждаго; всякой, разумѣется, вѣрующій, а какъ скоро вѣрующій, то и большой энтузіазмъ получить могущій, вступился бы за свою собственность. Этотъ предлогъ еще необходимѣе для нашихъ крестьянъ, которые не имѣютъ собственности. Представить бы опасность не риторски, а просто, сильно и языкомъ для всѣхъ понятнымъ. О награжденіяхъ сказано вообще! А это-то и требовало распространенія. Въ первую минуту энтузіазмъ могъ воспламенить ревность, но должно бы было дать подпору энтузіазму: надежда на будущія выгоды могла бы быть ему подпорою. Опредѣлить бы награду для дворянъ, что̀ меньше однако нужно, ибо дворяне могутъ больше быть убѣждены въ необходимости вооруженія; опредѣлить бы награду и для самихъ мужиковъ, и вотъ, мнѣ кажется, благопріятный случай для дарованія многихъ правъ крестьянству, которыя бы приблизили его нѣсколько къ свободному состоянію, котораго нашъ государь такъ сильно, кажется мнѣ, желаетъ: первой шагъ труденъ, и для сдѣланія сего шага нуженъ намъ непремѣнно поводъ, а теперешній случай можетъ почесться весьма сильнымъ поводомъ. Мало также и не весьма ясно говорено о распущеніи войскъ: многіе вообразятъ, что должны будутъ служить, какъ обыкновенные солдаты. Теперь много, весьма много зависитъ отъ помѣщиковъ и отъ исправниковъ: имъ бы должно было, однимъ своихъ крестьянъ, другимъ казенныхъ собрать и толковать имъ волю государеву, прочесть передъ ними манифестъ и объяснить имъ ихъ собственную должность; вселить бы въ нихъ уваженіе къ тому званію, въ которое они посвящаются; дать имъ почувствовать, что они идутъ

не насильно, а по призыванію своего государя; представить бы имъ надежду на награжденія и отличія; однимъ словомъ, уничтожить совершенно то уныніе, которое я замѣтилъ уже во многихъ, чему причиною самъ манифестъ, въ которомъ о необходимости вооруженія и должности гражданской говорено языкомъ ораторскимъ, слѣдовательно не совсѣмъ понятнымъ для всѣхъ. У большей части, по прочтеніи манифеста, остается одна только мысль о новомъ и ужасномъ наборѣ, и никакая другая о выгодѣ сего набора и объ обязанностяхъ каждаго не можетъ поколебать впечатлѣнія, имъ произведеннаго, потому что это впечатлѣніе самое главное и сильное. Надлежало непремѣнно уничтожить его другими сильнѣйшими. Наши дворяне могли бы легко его уничтожить и даже замѣнить энтузіазмомъ или, по крайней мѣрѣ, готовностію на все; но сколько на это способныхъ изъ живущихъ по деревнямъ? Еще жъ, сдва ли не больше, могли бы сдѣлать священники. Я бы написалъ проповѣдь простую, но сильную, которую бы разослалъ по всѣмъ приходамъ и велѣлъ бы читать передъ народомъ; умной священникъ къ написанному могъ бы прибавить свое словесное толкованіе, а глупой ничего бы не прибавилъ, а прочелъ бы все такъ, какъ написано. Это произвело бы великое дѣйствіе Въ проповѣди основалъ бы все на вѣрѣ; говорилъ бы о любви къ государю, къ женамъ и дѣтямъ, о потерѣ возможной имущества и о наградахъ въ здѣшнемъ и будущемъ мірѣ: однимъ словомъ, освятилъ бы вооруженіе. Между тѣмъ и для каждаго офицера приготовилъ бы такую же инструкцію, по которой онъ бы непремѣнно часто, если не ежедневно, внушалъ каждому солдату его должность; но чтобы и тѣни не было витійства: оно хорошо на каѳедрѣ, передъ народомъ аѳинскимъ, но не въ Россіи, гдѣ народъ не одаренъ живымъ воображеніемъ; больше жъ всего говорить бы о вѣрѣ, государѣ, личныхъ выгодахъ и наградахъ, которыя непремѣнно бы должно было выполнить... Вотъ тебѣ, мой любезный другъ, мои мысли, которыя осмѣливаюсь ввѣрить почтѣ, потому что онѣ основаны на желаніи блага моему отечеству. Теперь узнаемъ, каковъ патріотизмъ русскихъ. По крайней мѣрѣ исторія сохранила немного такихъ примѣровъ любви къ государю, которые заставляютъ ожидать отъ истинно русскихъ необыкновенныхъ пожертвованій. Желалъ бы узнать, куда назначаются всѣ эти семь войскъ, кто будутъ начальники? Напиши объ этомъ, если только объ этомъ писать позволено... Между тѣмъ прости, любезный другъ. Я писалъ къ тебѣ о манифестѣ для того, что почитаю тебя его авторомъ. Отвѣчай мнѣ скорѣе: что я долженъ дѣлать и что могу сдѣлать? Объ это(мъ) ты можешь сказать что-нибудь рѣшительное. Если надобно будетъ идти, то нельзя ли будетъ получить такое мѣсто, гдѣ бы я могъ употребить въ большую пользу свои способности, а именно, нельзя ли будетъ найти случая втереться въ штатъ котораго-нибудь изъ главнокомандующихъ областныхъ для письменныхъ дѣлъ, и не можешь ли ты для меня это сдѣлать? Я сталъ бы работать и душой, и тѣломъ. Впрочемъ и во фрунтъ идти не откажусь, если нужно будетъ идти, хотя за способности свои въ этомъ случаѣ не отвѣчаю. Подумай за меня хорошенько, любезный другъ; сообщи мнѣ свои мысли немедленно. Я между тѣмъ буду съ другими совѣтоваться, но ни на что рѣшительное, безъ твоего мнѣнія, не отважусь. Теперь всякой *желающій* можетъ быть хотя нѣсколько полезенъ, но чѣмъ больше, тѣмъ лучше; итакъ, надобно искать мѣста по способностямъ. Похлопочи обо мнѣ: въ этомъ случаѣ полагаюсь на тебя совершенно. Прости.

Кто жизнію дерзнетъ купить порабощенье?
Отчизны ль нашей быть добычей ихъ когтей?
Иль диво намъ карать надменныхъ.

Поспѣши напечатать эти стихи: это лепта вдовицы.

У батюшки твоего бываю. Онъ слабъ: говоритъ лучше прежняго и больше, но слабѣе. Одна только мысль и занимаетъ его: поѣздка въ Петербургъ. Я непремѣнно всякую субботу у него ночую и обѣдаю по воскресеньямъ. Въ другіе дни расположился заняться своими лекціями; но теперь не знаю, что будетъ. Отвѣчай, отвѣчай мнѣ немедленно: твой отвѣтъ будетъ для меня доказательствомъ твоей дружбы. Обнимаю васъ, любезные друзья...

Нѣтъ, нѣтъ! Пустъ всякъ идетъ по слѣдъ
судьбѣ своей,
Но въ сердцѣ любитъ незабвенныхъ!

Блудовъ, отъ тебя жду критики на мои стихи: твоя критика для меня законъ.

V.

7 ноября [1810, Бѣлевъ].

Письмо твое отъ 31 октября получилъ, мой милый Миллеръ; благодарю тебя за присылку книгъ, которыхъ еще у меня нѣтъ, и еще разъ повторяю просьбу мою доставить мнѣ всѣ остальныя, а чтобы узнать, какія онѣ, перечитай всѣ прежнія письма мои, и отложи свою обыкновенную, досадную безпечность, которая одна мѣшаетъ лишь *въ полнотѣ* восхищаться тобою.

Ты спрашиваешь, на что мнѣ нуженъ Геренъ и въ какомъ отношеніи? Я уже написалъ къ тебѣ объ этомъ въ моемъ послѣднемъ нѣсколько сердитомъ письмѣ, но написалъ коротко. Теперь напишу попространнѣе. Но въ предисловіе объясню, для чего не писалъ къ тебѣ такъ долго, и отъ чего могутъ и впередъ случаться нѣкоторые промежутки въ нашей перепискѣ. Причиною этому Миллеръ, или, лучше сказать, одно изъ его прекраснѣйшихъ правилъ: Constantiam et gravitatem werden Sie nicht eher erlangen, bis alle Ihre Stunden wie im Kloster regelmässig ausgetheilt sind. Этому правилу стараюсь послѣдовать со всею точностію трудолюбиваго нѣмца. Часы мои раздѣлены. Для *каждаго есть* особенное непремѣнное занятіе. Слѣдовательно, есть часы и для писемъ. Обыкновенно въ вечеру, наканунѣ почты, пишу письма, и такихъ эпохъ у меня двѣ въ недѣлѣ. Но я долженъ часто писать въ типографію; два раза въ недѣлю непремѣнно долженъ отправить корректуру моего собранія стихотворцевъ, котораго еще ни одинъ томъ не отпечатанъ; первый готовъ, но еще нѣтъ предисловія [слѣд. ты и не могъ получить его]; наконецъ, случаются и другія письма. Всѣ эти дѣла положено исправлять у меня въ понедѣльникъ и пятницу, по вечерамъ, отъ чего и случается иногда совершенная невозможность къ тебѣ писать; а въ этомъ порядкѣ непремѣнно хочу быть педантомъ: въ противномъ случаѣ, что ни дѣлай, все будетъ не основательно. Прибавь еще къ тому и то, что иногда въ часъ, опредѣленный для переписки, въ головѣ моей сидитъ геморой, отъ котораго душа какъ мертвая, а я хочу угощать тебя живою душою; хочу, чтобы *рука писала отъ сердца*. Но какъ писать, когда голова въ спорѣ съ сердцемъ?

Итакъ, поговоримъ о Геренѣ и братіи. Entre nous soit dit, я совершенный невѣжда въ исторіи. Не правда ли, что въ этомъ отношеніи наша переписка нѣсколько далека отъ Миллеровой съ Бонстеттеномъ? Онъ въ двадцать лѣтъ предвидѣлъ политическія перемѣны міра. Но я хочу получить объ исторіи хорошее понятіе; не быть въ ней ученымъ, ибо я не располагаюсь писать исторію, но пріобрѣсть философическій взглядъ на происшествія въ связи. Исторія изъ всѣхъ наукъ самая важнѣйшая; важнѣе философіи, ибо въ ней заключена лучшая философія, то есть практическая, слѣдовательно полезная. Для литератора и поэта исторія необходимѣе всякой другой науки: она возвышаетъ душу, расширяетъ понятіе и предохраняетъ отъ излишней мечтательности, обращая умъ на существенное. Я хочу прочитать всѣхъ классиковъ-историковъ; но для того, чтобы извлечь изъ нихъ всю возможную

пользу и чтобы идея объ исторіи была не смутная, а ясная, хочу предварительно составить себѣ общій планъ всѣхъ происшествій въ связи. Для этого и начинаю Гаттереромъ и Гереномъ. Вотъ моя метода, нѣсколько трудная и продолжительная, но для упрямой памяти моей необходимая. Прочитавъ статью въ Гаттерерѣ, имѣя передъ глазами Габлеровы таблицы, откладывая книгу и потомъ составляя нѣсколько картъ [à la Schlötzer fils] того времени, о которомъ читалъ, на картахъ въ хронологическомъ и вмѣстѣ синхронистическомъ порядкѣ изображаю главнѣйшія происшествія,—это оставляетъ въ головѣ чрезвычайно ясную идею о перемѣнахъ и ихъ послѣдствіи. Кончивъ этотъ трудъ, пишу изъ головы общее обозрѣніе происшествій прочитаннаго періода. Такъ составится у меня цѣлый курсъ всеобщей исторіи. Подробностей знать не буду; но теперь онѣ мнѣ еще и не нужны. Я хочу имѣть одинъ планъ, съ которымъ можно было бы не заблудиться посреди безчисленныхъ подробностей. Составивъ этотъ планъ, мнѣ уже будетъ весьма легко послѣ заниматься отдѣльно чтеніемъ классиковъ, изъ которыхъ ни одинъ не написалъ обо всемъ, а избралъ для себя какую-нибудь важнѣйшую часть. Эти важнѣйшія части будутъ мнѣ извѣстны подробно; а связь между ними сохранитъ мое предварительное чтеніе Гаттерера и Герена. Русская исторія однако будетъ другаго рода занятіемъ. Тутъ уже нечего думать о классикахъ, а надобно добираться самому до источниковъ. Но и для русской исторіи, прежде нежели погружусь въ океанъ лѣтописей, намѣренъ я составить такой же точно планъ, для котораго мнѣ нужна будетъ какая-нибудь краткая, но хотя нѣсколько сносная русская исторійка. Не знаешь ли чего-нибудь въ этомъ родѣ? «Владиміръ» будетъ моимъ фаросомъ; но чтобы плыть прямо и безопасно при свѣтѣ этого фароса, надобно научиться искусству мореплаванія. Вотъ что я теперь и дѣлаю. Ахъ, братъ и другъ, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта какимъ-то туманомъ *недѣятельности душевной*, который ничего не даетъ мнѣ различить въ ней. Причина этой недѣятельности тебѣ извѣстна. А теперь, другъ мой, эта самая дѣятельность служитъ мнѣ лѣкарствомъ отъ того, что было прежде ей помѣхою. Если романическая любовь можетъ спасать душу отъ порчи, за то она уничтожаетъ въ ней и дѣятельность, привлекая ее къ одному предмету, который удаляетъ ее отъ всѣхъ другихъ. Этотъ одинъ убійственный предметъ, какъ царь, сидѣлъ въ душѣ моей по сіе время. Но теперешняя моя дѣятельность, наполнивъ душу мою [или, лучше сказать, *начиная* наполнять], избавляетъ ее отъ вреднаго постояльца. Если бы онъ ушелъ самъ, *не уступивши* мѣста своего другому, то душа могла бы угаснуть; но теперь она только перемѣнила свое направленіе и, признаться, къ совершенной своей выгодѣ. Эту выгоду я очень чувствую, и ты скоро, можетъ быть, получишь отъ меня *Посланіе о дѣятельности*, о благодѣтельности этого святаго генія, которому посвящаю жизнь мою, которымъ будетъ храниться все мое счастіе. Не забудь, однако, что этотъ геній всегда рука въ руку съ геніемъ дружбы. Пускай же они будутъ моими ангелами-хранителями. Въ эту минуту желалъ бы имѣть тебя передъ собою, чтобы подать тебѣ руку, прижать тебя къ сердцу, не сказать, можетъ быть, ни слова, но за то все выразить своимъ молчаніемъ. Не подумай, однако, чтобы моя мысль о дѣйствіи любви была *общею* мыслію, а не моею; нѣтъ, она справедлива и неоспорима, но только тогда, когда будешь предполагать нѣкоторыя особыя обстоятельства; она справедлива въ отношеніи ко мнѣ. Надобно сообразить мои обстоятельства: воспитаніе, семейственныя связи и *двухъ* тѣхъ, которые такъ много и такъ мало на меня дѣйствовали. Объ этомъ хорошо говорить на словахъ, и я надѣюсь говорить объ этомъ съ тобою въ какомъ-

нибудь московскомъ уголку, въ которомъ мы будемъ двое вспоминать о прошедшемъ и располагать будущее, возобновляя душевный обѣтъ навсегда, навсегда быть добрыми спутниками въ счастіи и несчастіи. Такъ, братъ, и въ несчастіи! Видя, какъ все рушится, иногда приходитъ мнѣ въ голову мысль, что, можетъ быть, впереди готовитъ для насъ судьба что-нибудь ужасное. Я часто хотѣлъ писать къ тебѣ объ этомъ. Милый другъ! Никогда не теряй изъ головы мысли, что намъ надобно помогать, помогать другъ другу переносить бурю; что несчастіе должно соединить насъ, что намъ непремѣнно должно быть вмѣстѣ, когда начнется это испытаніе. Какое оно—не знаю. Но подумай о томъ, что были многіе эмигранты, разсыпанные по всему свѣту революціею; взгляни на то, что происходитъ около насъ, и вообрази возможности. И эти-то возможныя времена должны соединить насъ, если они настанутъ. Для двухъ несчастіе не ужасно; двое могутъ имѣть одну общую неколебимую твердость, которой каждый изъ нихъ *одинъ*, можетъ быть, имѣть не способенъ; въ глазахъ и въ рукѣ друга—надежда и сила. Признаюсь тебѣ, иногда мысль о будущемъ приводитъ меня въ уныніе. Что, если предпринятая мною дѣятельность будетъ безплодна? Но въ этомъ случаѣ надобно забывать будущее невѣрное, а только возможное; и я всегда говорю себѣ: *настоящая минута труда уже сама по себѣ есть плодъ прекрасный*. Такъ, милый другъ, *дѣятельность и предметъ ея польза* — вотъ что меня теперь одушевляетъ. Первая же моя недѣятельность происходила, можетъ быть, я отъ мысли, что *я не могу* быть дѣятельнымъ. Теперь начинаю вѣрить противному, ибо я нахожу удовольствіе даже и въ томъ, чтобы учить наизусть примѣры изъ латинскаго синтаксиса, воображая, что со временемъ буду читать Виргилія и Тацита. Теперь главныя занятія мои составляютъ: исторія всеобщая, какъ приготовленіе къ русской и къ классикамъ, и языки, пока латинскій, а черезъ нѣсколько времени и греческой. Въ «Вѣстникъ» буду посылать переводы, ибо это необходимо для кармана. Между тѣмъ, чтобы не раззнакомиться съ музами, буду дѣлать минутные набѣги на Парнасскую область, съ тѣмъ однако, чтобы со временемъ занять въ ней выгодное мѣсто, поближе къ Храму Славы. Три года будутъ посвящены труду *приготовительному*, необходимому, тяжелому, но услаждаемому высокою мыслію быть прямо тѣмъ, что должно. Авторство почитаю службою отечеству, въ которой надобно быть или отличнымъ или презрѣннымъ: промежутка нѣтъ. Но съ тѣми свѣдѣніями, которыя имѣю теперь, нельзя надѣяться достигнуть до перваго. Итакъ, лучше поздно, нежели никогда. Тебѣ, какъ доброму другу моему, надобно желать одного: чтобы обстоятельства, по крайней мѣрѣ, въ эти приготовительные годы, были благопріятны мнѣ и не столкнули меня съ дороги. А трудъ, который былъ для меня прежде тяжелъ, становится для меня любезенъ, часъ отъ часу болѣе. Я увѣренъ теперь, что одинъ тотъ только почитаетъ трудъ тяжкимъ, кто не знаетъ его; но тотъ именно его и любитъ, кто наиболѣе обремененъ имъ. Вотъ мысль Горація, которая привела меня въ восхищеніе, ибо теперь съ отмѣнною живостію чувствую истину, въ ней заключенную:

Et ni
Posces ante diem librum cum lumine, si non
Intendes animum studiis et rebus honestis,
Invidia vel amore vigil torquebere.

Не подумай однако, чтобы я хотѣлъ хвастать знаніемъ своимъ латинскаго языка. Я прочиталъ это въ переводѣ, а для тебя, какъ для латинуса, выписываю въ оригиналѣ.

Переписанныхъ моихъ сочиненій нельзя тебѣ скоро имѣть: милая переписчица улетѣла въ Москву плѣнять всѣ, что ей ни встрѣтится, слѣдовательно и переписывать ей некогда. А переписчика здѣсь нѣтъ. Терпѣніе, милый другъ. Что-ни-

будь подоспѣетъ новое, тогда вдругъ все получишь. Между тѣмъ мое *Посланіе* очень вертится у меня въ головѣ, и я бы давно написалъ его, если бы не былъ рабомъ моего нѣмецкаго порядка, — и восхищенію стихотворному назначенъ у меня часъ особый, свой. Но это восхищеніе какъ-то упрямо, и не всегда въ положенное время изволитъ ко мнѣ жаловать. Между прочимъ скажу тебѣ, чтобы поджечь твое любопытство, что у меня почти готова еще баллада, которой главное дѣйствующее лицо діаволъ, которая вдвое длиннѣе *Людмилы*, и гораздо ея лучше. И этотъ *діаволъ* посвященъ будетъ милой переписчицѣ, которая сама нѣкоторымъ образомъ по своей обольстительности—діаволъ.

Но пора кончить. Надобно еще написать письмо къ Блудову, который зоветъ, и напрасно, къ сожалѣнію моему, зоветъ меня въ Москву. Я буду въ Москвѣ не прежде, какъ въ концѣ декабря, и то на короткое время, и ты непремѣнно въ ней быть долженъ. Въ противномъ случаѣ, милый мой Миллеръ, мы можемъ опять не увидѣться, а это будетъ для меня очень грустно. Постарайся расположить дѣла свои такъ, чтобы тебѣ непремѣнно пріѣхать въ Москву около новаго года.

Въ заключеніе письма двѣ просьбы: первая, непремѣнно увидѣться съ Сѣверинымъ, и попросить его для меня самымъ усерднымъ образомъ объ отвѣтѣ на мое письмо. Онъ жалуется на мое молчаніе, а самъ пренебрегаетъ отвѣчать мнѣ тогда, когда бы надобно было тотчасъ, безо всякаго замедленія, отвѣчать; ибо я, по прежней моей съ нимъ пріятельской связи, просилъ его объ услугѣ, въ точномъ увѣреніи, что ему пріятно будетъ для меня ее сдѣлать. Его молчаніе для меня непостижимо и, признаюсь, нѣсколько обидно. Можно ли такимъ образомъ перемѣняться? Покажи ему эти строки и попроси его, чтобы онъ объяснилъ мнѣ, что̀ я долженъ подумать о его молчаніи?—Антонскій совѣтуетъ мнѣ ѣхать въ Петербургъ и пользоваться случаемъ нашего министра юстиціи. Нѣтъ, я не поѣду; не сдѣлаю той глупости, которую вздумалъ было въ началѣ послѣдняго года сдѣлать! Все увѣряетъ меня, что нашъ министръ и для своихъ пріятелей министръ. Онъ не имѣетъ того расположенія въ душѣ, чтобы воспользоваться силою для добра тѣхъ, которыхъ онъ ласкалъ и называлъ *своими* во время оно, и сдѣлать это, избавивъ ихъ отъ жестокаго труда, или лучше сказать отъ мученія, выплакивать себѣ выгоду, и предупредивъ ихъ своимъ добрымъ желаніемъ, и принаровивъ свое объ нихъ попеченіе къ ихъ собственнымъ желаніямъ и способностямъ. Онъ не Муравьевъ, который два раза, не знавши меня совсѣмъ въ лицо, присылалъ у меня спрашивать, не можетъ ли онъ мнѣ быть полезенъ, и котораго я не могу вспомнить безъ благодарнаго чувства... Но basta!

Зная теперь, какъ мнѣ время дорого, ты долженъ безъ всякаго отлагательства прислать мнѣ латинскую грамматику и греческую. И ты много одолжилъ бы меня, если бы снабдилъ меня и Эйхгорномъ и Histoire de la diplomatie. На книги твои позволяю себѣ имѣть полное право, и ты долженъ снабжать меня всѣми, какія имѣешь. Покупать ихъ не могу, ибо я бѣднякъ, а тебѣ должно быть пріятно помогать мнѣ въ нуждѣ. Только не медли!

VI.

1 декабря [1814, Долбино].

Ты ждешь отъ меня плана моего Посланія къ государю, а я посылаю тебѣ его совсѣмъ написанное. Первое условіе: прочитать вмѣстѣ съ Батюшковымъ, съ Блудовымъ, съ Уваровымъ и, если онъ состоитъ на лицо, съ Дашковымъ. Что̀ найдете необходимымъ поправить — поправляйте; на меня въ этомъ случаѣ уже не надѣйтесь. Лучше написать новое, нежели поправлять. Пока пишу, но тѣхъ поръ мараю, сколько душѣ угодно, и

эту марать; написалъ — всему конецъ! Если вздумается поправить, то для одной только порчи. Сюжетъ мой такъ великъ, что мнѣ надобно было держать себя въ уздѣ, чтобы не слишкомъ расплодиться и излишнимъ богатствомъ отдѣльныхъ частей не ухлопать цѣлаго. Не знаю, удалось ли. Мнѣ нравится, другимъ нравится; но надобно, чтобы вамъ, священный мой ареопагъ, противъ котораго нѣтъ апелляцій, понравилось! Если скажете: хорошо! то мое мѣсто въ храмѣ безсмертія свято. Скажите же ради Бога: хорошо! но только не для того, чтобы меня по губамъ помазать, а положивъ руку на сердце, какъ друзья, какъ мои заботливые квартирьеры на походѣ къ славѣ. Судьбу этого Посланія предаю въ руцѣ твои, Тургеневъ. Ты долженъ его переписать и доставить къ государынѣ императрицѣ и, если можно, скорѣе. Прошу цензировать со всевозможною строгостію приложенное письмо, переписать его, подписать за меня и подать. Признаюсь, я боюсь, чтобы не издумалось меня за это Посланіе подарить чѣмъ-нибудь. Старайся, чтобы этого не было. Пошлины съ любви и съ выраженія любви къ нашему славному царю сбирать не должно. Я многое писалъ съ восхищеніемъ, и за это счастливое чувство нечѣмъ наградить. Я такъ этого боюсь, что даже намекнулъ объ этомъ и въ своемъ посвященіи, но прилично ли? Суди самъ и сдѣлай, какъ посудишь. Изданіе поручаю тебѣ. Надобно, чтобы форматъ былъ такой, чтобы не нужно было *ломать строкъ*: ломанныя строки гадки и слишкомъ пестры. Прошу, чтобы этого никакъ не было. Если можно, уговорить бы друга Михаила Дмитріевича позаботиться о корректурѣ: никто не можетъ имѣть такой точности, какъ онъ. Попроси его объ этомъ отъ меня. Не худо бы было и виньетку; объ этомъ лучше всего попросить Свиньина: для стараго сотоварища онъ не полѣнится черкнуть раза три своею волшебною кистію. Вотъ, кажется, все, что касается до Посланія.

Прошедшіе октябрь и ноябрь были весьма плодородны. Я написалъ пропасть стиховъ; написалъ ихъ столько, сколько силы стихотворныя могутъ вынести. Всегда такъ писать невозможно: ухлопаешь себя по пустому. А почти такъ всегда писать можно и должно. Жизнь мнѣ измѣняетъ; уцѣпился за безсмертіе! Я объ немъ думаю, какъ о любовницѣ; быть стихотворцемъ во всемъ смыслѣ этого слова — прекрасная мысль! Можетъ быть, и гордая мысль! Но развѣ надобно имѣть передъ собою цѣль низкую? Писать такъ, чтобы говорить сердцу и возвышать его; а между тѣмъ, пока живешь, жить, думать, чувствовать и пр., какъ пишешь. Сверхъ того имѣть друзей — друзей твоей славы, друзей твоихъ чувствъ и мыслей, и съ ними еще *гдѣ-нибудь*. Жаль, что тебя нѣтъ въ эту минуту подлѣ меня! Какъ бы было весело пожать тебѣ руку! И всякой разъ сердце сожмется, когда вспомнишь, что лучшаго нашего товарища во всемъ прекрасномъ нѣтъ и никогда не будетъ.

Что бы тебѣ сказать одинмъ словомъ о всѣхъ моихъ подѣлкахъ, кромѣ этого Посланія? Переведены четыре баллады, да двѣ сочинены, да еще три посланія къ Вяземскому, не считая всякаго рода мелкой дряни, и годной, и негодной. Все это доставлено будетъ къ тебѣ вмѣстѣ съ прочимъ, переписанное и совсѣмъ готовое для печати. Какъ печатать, объ этомъ дано будетъ письменное подробное наставленіе. Поправокъ отъ меня не требовать. Дается вамъ право выбрасывать все, что найдете негоднымъ. Корректуру же надобно непремѣнно поручить Михаилу Дмитріевичу. Если онъ за нее не возьмется, то хоть бы и не печатать. Какъ думаешь лучше выдавать? На подписку или такъ? Подписка, вѣроятно, была бы весьма благодѣтельна для моего кармана, который пустъ, да и пустъ такъ, что ужъ ничто съ его пустотою сравняться не можетъ. Но объ этомъ послѣ. Вѣроятно, мой манускриптъ будетъ у тебя въ рукахъ черезъ мѣсяцъ.

Вы между тѣмъ подумайте вмѣстѣ о моихъ финансахъ. Перепишется скоро. За это взялся нашъ пріятель Губаревъ, котораго рукою переписано и Посланіе къ царю. А propos: придумайте вмѣстѣ и титулъ, если тотъ, который данъ мною ему, вамъ не поправится. А я теперь принимаюсь за новый подвигъ. Пѣвецъ во станѣ, предсказавшій побѣды, долженъ ихъ воспѣть; и гдѣ же лучше, какъ не на кремлевскихъ развалинахъ, посреди народа, пришедшаго благодарить Творца побѣдъ, на то же самое мѣсто, гдѣ Онъ въ первый разъ грянулъ на нашихъ новыхъ ордынцевъ. Итакъ, жди новаго Пѣвца; мѣсто Кремль; слушатели граждане Москвы; время — день Рождества Христова, день, посвященный торжеству побѣды единственной. Жди, молчи и вѣрь. Планъ сдѣланъ; начало сдѣлано, все скоро поспѣетъ. Не знаю только, будетъ ли въ твоихъ рукахъ къ 25. А хорошо бы! Пришлю съ эстафетою. Только ради Бога не разглашай. Это будетъ убійствомъ.

Очень желаю, чтобы мое Посланіе вамъ понравилось. Новыя баллады, кажется, не хуже первыхъ, и двѣ только въ *страшномъ родѣ*. Чтобы былъ полный комплектъ, осталось написать еще одну, необходимую, продолженіе 12 Спящихъ Дѣвъ; она уже и начата. Только теперь надобно заняться однимъ Пѣвцомъ. Есть и еще нѣсколько плановъ. Все это должно поспѣть въ декабрѣ.

Вѣроятно, что въ концѣ декабря я приближусь къ тебѣ на нѣсколько сотъ верстъ. Вмѣстѣ *съ ними* ѣду въ Дерптъ. О Воейковѣ переговоримъ, когда увидимся. Отъ дерптской жизни не жду ни счастія, ни покоя. Надобно имѣть подлѣ себя другіе характеры, чтобы имѣть и то, и другое. Но все замѣнится милымъ *вмѣстѣ*. Такъ и быть! Но знаешь ли, что въ головѣ моей бродитъ новая химера? Что-то похожее на надежду. Вотъ что я здѣсь слышалъ. Государыня М(арія) Ѳед(оровна) знаетъ *обо всемъ*, но, кажется, знаетъ не такъ, какъ должно. Она думаетъ, что М. моя сестра. Если она бы знала настоящее положеніе вещей, то, вѣроятно, такъ же, какъ и я и ты, считала бы возможнымъ *все*. Это одна только тѣнь надежды. Подумай самъ и сообщи мнѣ свои мысли; тогда поговоримъ обо всемъ пространнѣе. Ты занимаешь такое мѣсто, которое даетъ тебѣ доступъ къ ушамъ священныхъ нашихъ законодателей церкви. Эти двѣ силы, Тронъ и Синодъ, могли бы побѣдить предразсудокъ. Подумай и напиши ко мнѣ. А я тебѣ доставлю всѣ нужныя подробности. Чтобы заставить тебя дѣйствовать, не нужно, кажется, представлять твоему воображенію то счастіе, какимъ бы твой товарищъ наслаждался въ жизни. Другаго нѣтъ! А въ этомъ счастіи все — поэзія, слава, жизнь. На Воейкова полагаться нечего: онъ не имѣетъ характера. Я очень хорошо могу жить *съ нимъ вмѣстѣ*, но ждать отъ него нечего. Это между нами.

Вотъ тебѣ еще просьба. Если можно, исполни ее. Мнѣ очень было бы весело сдѣлать пособіе этой доброй женщинѣ, которая была дружна съ моею матерью. Изъ приложенной записки узнаешь, объ чемъ дѣло. Тутъ же и записка о ея сынѣ, объ которомъ я просилъ тебя уже нѣсколько разъ. Будучи членомъ патріотическаго общества, тебѣ, вѣроятно, будетъ легко что-нибудь выхлопотать на ея прозьбу. Постарайся.

Греческихъ книгъ ожидаю, и давно ожидаю. Хорошо бы ты сдѣлалъ, когда бы выпросилъ у Сергѣя Семеновича обѣщанныя имъ мнѣ англійскія книги; и еще попросилъ бы у него [если есть у него] Thalaba the Destroyer by Southey и Arthur or the Northern Enchantement by Hoole. Все это могло бы мнѣ пригодиться для моего «Владимира», который крѣпко гнѣздится въ моей головѣ. О, если бы милой покой, — какъ бы все шло прекрасно! Послѣдніе дни мѣсяца провелъ я почти одинъ, и каждая минута была моей; я точно спѣшилъ писать, какъ будто бы кто-нибудь говорилъ мнѣ, что

это послѣдній срокъ, что въ будущемъ все пойдетъ хуже и хуже и что мой стихотворной геній наканунѣ паралича. Дай Богъ, чтобы предчувствіе обмануло. Теперь по крайней мѣрѣ знаю, что слѣдъ мой не совсѣмъ погибнетъ. Но такой ли надобно по себѣ оставить!

Батюшкова обнимаю за его милое письмо, на которое буду отвѣчать много на слѣдующей почтѣ. Блудова обнимаю за его молчаніе: безбожникъ! Я просилъ Кавелина о Гаспари и Чайковскомъ. Напомни ему объ этомъ и обо мнѣ. Хотя бы онъ что-нибудь отвѣчалъ, дабы я имъ могъ какой-нибудь отвѣтъ сдѣлать. Прости, отвѣчай скорѣе.

Боюсь, не надѣлалъ ли ты проказъ съ своимъ нѣмецкимъ грекусомъ? Книги греческія, выписываемыя мною, не для меня, а для француза, не знающаго ни по-нѣмецки, ни по-русски. На что онѣ будутъ годны, если онѣ для русскаго и для нѣмца?

Вотъ и подпись, съ которой можешь списать, дабы за меня подписаться подъ письмомъ къ государынѣ: Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданный Василій Жуковскій.

Надобно будетъ, я думаю, сдѣлать нѣкоторыя примѣчанія къ Посланію. Постарайся объ этомъ. Мнѣ некогда; спѣшу посылать.

VII.

25 апрѣля [1817, Дерптъ].

Письмо Свѣчиной обмануло тебя, мой милой другъ, и ты безъ причины обо мнѣ трепещешь. Я не писалъ къ Свѣчиной болѣе полугода; она видѣла мое прежнее состояніе и судитъ о теперешнемъ по старому, ошибается и тебя заставляетъ ошибаться. Я былъ бы непзвинительный безумецъ, когда бы позволилъ себѣ быть безплодною жертвою. Отъ этого сумасшествія я избавленъ, и избавленъ почти безъ всякаго со стороны своей усилія. Трудно было рѣшиться. Но минута, въ которую я рѣшился, сдѣлала изъ меня другаго человѣка; и, къ несчастію, эта перемѣна сдѣлалась слишкомъ скоро. Я хлебнулъ изъ Леты и чувствую, что вода ея усыпительна. Душа смягчилась. Къ счастію, на ней не осталось пятна; за то бѣла она, какъ бумага, на которой ничто не написано. Это-то ничто моя теперешняя болѣзнь, столь же опасная, какъ первая, и почти похожая на смерть. Повѣрь мнѣ, — я передъ тобою и передъ Карамзинымъ не способенъ быть скрытнымъ. То, что я говорилъ тебѣ и ему, справедливо совершенно. Если я во все время нашей разлуки не написалъ ничего, то не изъясняй этого *прежнимъ:* съ этимъ прежнимъ я сладилъ. Мое теперешнее положеніе есть усталость человѣка, который долго боролся съ сильнымъ противникомъ, но, боровшись, имѣлъ нѣкоторую дѣятельность; борьба кончилась, но вмѣстѣ съ нею и дѣятельность. Къ этой дѣятельности душа моя привыкла: эта дѣятельность была до сихъ поръ всему источникомъ. Но не бойся! Я не унаду. Но крайней мѣрѣ я надѣюсь воскреснуть. Свѣчина пишетъ, что она не можетъ читать стиховъ моихъ: они слишкомъ сильно раскрываютъ передъ нею ея душу и въ ней пробуждаютъ то, до чего бы не надобно было прикасаться. И я не могу читать стиховъ своихъ; но причина совсѣмъ другая: они кажутся мнѣ гробовыми памятниками самаго меня; они говорятъ мнѣ о той жизни, которой для меня нѣтъ! Я смотрю на нихъ, какъ потерявшій вѣру смотритъ на церковь, въ которой когда-то онъ съ теплою, утѣшительною вѣрою молился. Это пройдетъ. Не бойся за меня Дерпта. Я смотрю на счастіе, которое не мнѣ принадлежитъ, *спокойно;* въ тѣ минуты, въ которыя болѣе способенъ я живо чувствовать, оно только радуетъ меня, и никакое другое чувство не смѣшано съ этою радостію. Но вообще похожу къ себѣ равнодушіе, для меня тяжелое, и это равнодушіе — *во мнѣ самомъ;* внѣшнихъ причинъ искать не надобно. Оно похоже на сонъ, который производитъ иногда прекрасная

музыка. Музыка моя молчитъ, и я сплю! Изъ этого-то сна должно непремѣнно выйти, и кажется, что теперь представляется мнѣ для этого средство, и взять какое. Третьяго дня проѣзжалъ здѣсь Глинка. Онъ сдѣлалъ мнѣ отъ себя слѣдующее предложеніе. Для принцессы Шарлотты нуженъ будетъ учитель русскаго языка. Мѣсто это предлагаютъ ему съ 3.000 жалованья отъ государя и 2.000 отъ великаго князя, съ квартирою во дворцѣ великаго князя и другими выгодами. Занятіе: одинъ часъ каждый день. Остальное время свободное. Глинка по своимъ обстоятельствамъ долженъ отъ этого мѣста отказаться. Онъ желаетъ знать, могу ли я принять на себя эту должность, и требуетъ моего скораго отвѣта, чтобы меня на свое мѣсто представить. Я не сказалъ ему ни да, ни нѣтъ. Безъ твоего совѣта и совѣта Николая Михайловича не рѣшусь ни на что. Мѣсто это кажется мнѣ *выгоднымъ* по многимъ причинамъ. 1-е, обязанность, моя соединена будетъ съ совершенною независимостію. Это главное! Мнѣ будетъ возможно посвятить половину своего времени другимъ работамъ. Работа же *по должности* будетъ въ связи съ моими прочими занятіями и вмѣсто того, чтобы имъ препятствовать, можетъ имъ способствовать. 2-е, опредѣляемое содержаніе [если оно таково, какъ мнѣ сказалъ Глинка] дастъ мнѣ средст(в)о жить безъ заботно въ Петербургѣ, имѣть порядочной, опредѣленный, неразсѣянный образъ жизни и располагать своимъ временемъ какъ хочу. 3-е, самая должность, которую возьму на себя, имѣетъ въ *себѣ* много привлекательнаго: это не работа наемника, а занятіе благородное. Имѣть въ такомъ занятіи [и въ любимомъ занятіи] товарищемъ образованную женщину должно быть наслажденіемъ, а не неволею. Сверхъ того и потому уже эта должность для меня выгодна, что она *должность:* въ нѣкоторомъ отношеніи мнѣ нужно подчинить себя обязанности. Слишкомъ неограниченная свобода вредитъ мнѣ, я это чувствую. Надобно только, чтобы обязанность не была для меня рабствомъ и не привязывала меня къ чему-нибудь мнѣ несвойственному. Въ настоящемъ случаѣ, кажется, этого быть не можетъ. Напротивъ, здѣсь много пищи для энтузіазма, для авторскаго таланта. Наконецъ, принявши это предложеніе [если NB оно будетъ мнѣ сдѣлано], я войду въ прекрасный кругъ, въ которомъ могу быть безъ разсѣянія; могу пользоваться пріятностями лучшаго общества, не будучи ими увлеченъ; буду ко всѣмъ вамъ близокъ, что необходимо для того, чтобы я болѣе работалъ; буду имѣть подъ рукою всѣ пособія, нужныя для работъ моихъ; могу болѣе образоваться. Вотъ выгоды. Теперь посмотримъ на изнанку. Первое [отвѣчай мнѣ на это искренно], думаешь ли, что я къ такой должности способенъ? Довольно ли имѣть стихотворный талантъ и быть хорошимъ писателемъ, чтобы учить, какъ должно, языку своему? Я знаю языкъ свой болѣе по рутинѣ, но на экзаменѣ едва ли выдержу пробу. Искусство учить не требуетъ ли особеннаго навыка, особеннаго дарованія? Что, если я возьмусь за такое дѣло, котораго не исполню, какъ должно, то есть такъ, чтобы *я самъ могъ быть доволенъ?* Въ этомъ случаѣ мнѣ будетъ мало *порядочнаго* исполненія; надобно угодить самому себѣ совершенно. Если же не угожу самому себѣ, то это не будетъ ли для меня убійственно? И я тогда не потеряю ли самый талантъ свой? Необходимость работать — прекрасное дѣло; но необходимость быть всякой день способнымъ *хорошо* работать не будетъ ли она для меня слишкомъ тягостною, для меня, который избалованъ свободою и привыкъ работать только тогда, когда вдохновеніе этого требуетъ? Еще одно: я хотѣлъ было употребить года два на путешествія, хотѣлъ было дать себѣ года два настоящей молодости, свободной, живой, окруженной прекрасными, для меня новыми впечатлѣніями. Этотъ вояжъ былъ бы факеломъ-воспламенителемъ моего дарованія. Отъ

этого надобно будетъ отказаться. Но этимъ можно будетъ пожертвовать, если только бы увѣриться, что я свое дѣло исполню, какъ надобно. Предоставляю тебѣ и Николаю Михайловичу быть моими судьями. Рѣшите за меня и дѣйствуйте. Если вы рѣшите, что мнѣ отказываться не должно, то позаботитесь о моихъ выгодахъ. Твое дѣло все устроить къ лучшему. Особенно хлопотать о жалованьѣ и квартирѣ. Безъ совершенной беззаботности о своемъ содержаніи мнѣ нельзя въ Петербургѣ ничего добраго сдѣлать. Старайся, чтобы я получилъ точно то жалованье, о которомъ говорилъ мнѣ Гликка. Однимъ словомъ, эта забота твоя, а не моя. Если вы рѣшите *согласиться*, то дай за меня слово Гликкѣ; онъ объявитъ объ этомъ вдовств(ующей) государынѣ; но знай напередъ, что мнѣ прежде конца августа въ Петербургъ пріѣхать невозможно: я отправляюсь въ Бѣлевъ, гдѣ мнѣ быть *необходимо* и гдѣ пробуду все лѣто. Эту отсрочку ты долженъ для меня выхлопотать непремѣнно. Здѣсь останусь до тѣхъ поръ, пока получу отъ тебя отвѣтъ. Еще было бы лучше, когда бы можно было отсрочить до генваря: я могъ бы *приготовиться*. *Начать тотчасъ* я не могу и не умѣю. Жду отъ тебя отвѣта. Какой онъ ни будетъ, я совершенно спокоенъ. Мнѣ *лучшаго* не надобно. Но отвѣчай немедленно, ибо я долженъ ѣхать и откладывать своей поѣздки не могу. Прошу тебя быть поспѣшнымъ.

Асмусъ? Мещевской?

VIII.

16 [28] декабря [1825, Петербургъ].

Мой милый другъ. Провидѣніе сохранило Россію. Можно сказать, что Оно видимо хранитъ и начинающееся царствованіе. Какой день былъ для насъ 14-го числа! Въ этотъ день все было на краю погибели: минута, и все бы разрушилось. Но по волѣ Промысла этотъ день былъ днемъ очищенія, а не разрушенія; днемъ ужаса, но въ то же время и днемъ великаго наставленія для будущаго. Сначала просто опишу происшествіе, какъ его былъ свидѣтелемъ [всѣхъ подробностей еще не знаю], потомъ сообщу тебѣ и тѣ мысли, которыя оно произвело во мнѣ. Начну съ того, что предшествовало. Ты теперь знаешь объ отреченіи в(еликаго) к(нязя) Константина Павловича, знаешь, почему нынѣшній императоръ отказывался отъ вступленія на престолъ и велѣлъ присягнуть Константину. Случай единственный въ нашей исторіи: борьба двухъ братьевъ не за тронъ, а о пожертвованіи чести и долгу тономъ! Междуусобіе безъ кровопролитія за добродѣтель. Вотъ что мы видѣли. Съ 27 числа ноября, въ которое мы узнали о потерѣ Александра, по 13 число декабря, въ которое узнали о вступленіи на престолъ императора нынѣшняго, мы все имѣли императора, и тронъ Россіи не былъ пустъ. Но Петербургъ былъ въ нерѣшимости. Ждали пріѣзда Константина Павловича; онъ не являлся. Слухи объ его отреченіи бродили по городу; всякой думалъ по своему; одни утверждали, что онъ приметъ престолъ [и это была бо́льшая часть]; другіе, зная характеръ его, были увѣрены, что онъ поддержитъ свое отреченіе—не измѣнитъ слову. Но это казалось невѣроятнымъ: тронъ былъ ему отданъ; ему стоило только на него взойти, и онъ бы началъ свое царствованіе безпрекословно. Но онъ, узнавъ въ Варшавѣ 25 числа о смерти императора, уже 26 числа написалъ два письма [къ императрицѣ М(аріи) О(содоровнѣ) и къ нынѣшнему императору], въ которыхъ рѣшительно подтвердилъ свое отреченіе. Но ему уже присягнули. Правда, новый императоръ могъ бы тотчасъ обнародовать письма его; но онъ дѣйствовалъ не для вида, а точно отъ чистоты сердца: онъ хотѣлъ дождаться, какое вліяніе произведетъ на душу его брата присяга, принесенная ему всею Россіею. Эта присяга ничего не поколебала; К(онстантинъ) П(авловичъ) подтвердилъ свое отреченіе. Но самъ затѣмъ не *явился*, и это единственное пятно на его прекрасномъ по-

ступкѣ; но и здѣсь оправдывается онъ необходимостію его присутствія въ Польшѣ, гдѣ по сію пору не произнесено еще никакой присяги, гдѣ царствуетъ одна только тѣнь Александра. Послѣднее письмо Константина Павловича пришло въ Петербургъ 11 числа, и 13-го рѣшились приступить къ окончательному дѣйствію. Между тѣмъ, какъ не благодарить Провидѣніе за то, что Оно выбрало именно эту, а не другую минуту [*ни прежде, ни позже*] для такого важнаго событія [такъ я думаю по моимъ замѣчаніямъ, ибо не знаю вѣрно обстоятельствъ]. Государь получилъ свѣдѣніе о существованіи заговора и имѣлъ въ рукахъ бумаги, въ которыхъ были означены всѣ тайные его участники. Государь былъ предупрежденъ. Но онъ не хотѣлъ ни къ чему приступить; онъ не хотѣлъ начать своего царствованія актомъ строгости, который отъ всѣхъ, коимъ были бы неизвѣстны обстоятельства, признанъ бы былъ актомъ самовластія, и мы бы увидѣли въ томъ, что спасало Россію, одно только дѣйствіе деспотизма. 13-го числа, въ 6 часовъ послѣ обѣда, собрался совѣтъ. Собраніе продолжалось уже до полночи, а еще не приступали ни къ какому дѣлу, ибо ждали прибытія Михаила Павловича [онъ былъ посланъ въ Варшаву]. Но онъ и къ 12 часамъ не возвратился. Тогда императоръ рѣшилъ открыть совѣтъ безъ него. Въ совѣтѣ прочитали манифестъ о восшествіи на престолъ Николая I и всѣ приложенные къ нему акты. Въ этотъ вечеръ былъ на внутреннемъ конногвардейскомъ караулѣ офицеръ к(нязь) Одоевскій. Онъ смѣнился на другой день въ 10 часовъ, и первымъ его дѣломъ было, послѣ смѣны своей, броситься [если не ошибаюсь] въ Московскій полкъ и распустить слухъ между солдатами, что во дворцѣ заговоръ, что хотятъ свергнуть императора Константина, что великій князь Михаилъ Павловичъ арестованъ и что надобно стать за императора законнаго. Между тѣмъ, повѣщено было собраться всѣмъ во дворецъ къ 2 часамъ для молебна, а до того времени должны были обнародовать манифестъ и всю гвардію привести къ присягѣ. Тутъ, думаю, были нѣкоторые безпорядки: не всѣ умѣли объяснить происшествіе солдату, не всѣ взяли на себя трудъ объяснить его; словомъ, минута оказалась самою благопріятною для людей злонамѣренныхъ; они же имѣли время къ ней приготовиться и могли бы воспользоваться сею страшнымъ образомъ для Россіи; но Провидѣніе было со стороны нашего отечества и трона.— Теперь опишу только то, чему *я* былъ свидѣтелемъ. Въ 10 часовъ утра я пріѣхалъ во дворецъ. Видѣлъ новую императрицу и императора. Присягнулъ въ дворцовой церкви. Начали всѣ съѣзжаться; всѣ были спокойны: уже большая часть гвардіи присягнула. Уже приближалось время выхода императорской фамиліи: было почти часъ. Вдругъ мнѣ сказываютъ: императоръ вышелъ изъ дворца, стоитъ посреди народа, говоритъ съ народомъ, ему кричатъ: ура! Это меня порадовало. Встрѣчаю въ залѣ Булгакова, который только что пріѣхалъ, сказываю ему о слышанномъ; онъ мнѣ не отвѣчаетъ ни слова. Къ намъ подходитъ Олениннъ; слышу, что онъ шепчетъ Булгакову: Худо!.. Что худо?.. *Солдаты не хотятъ присягать!* Тутъ Булгаковъ сказываетъ мнѣ о томъ же, что онъ самъ видѣлъ: толпа солдатъ на Исаакіевской площади, и всѣ кричатъ: ура, Константинъ! и около нихъ бездна народа. Они прислонились спиною къ Сенату, выстроились, зарядили ружья и рѣшительно отреклись отъ присяги. Въ ихъ толпѣ офицеры въ разныхъ мундирахъ и множество людей вооруженныхъ во фракахъ... Вообрази безпокойство! Быть во дворцѣ и не имѣть возможности выйти—я былъ въ мундирѣ (и) въ башмакахъ—и ждать развязки!—Тутъ начали приходить со всѣхъ сторонъ разные слухи. «Часть Московскаго полка взбунтовалась въ казармахъ; они отняли знамя; Фридрихсъ, начальникъ полка, раненъ, Фридрихсъ убитъ... Шепшинъ тяжко раненъ... Милорадовичъ

убитъ... Императоръ повелъ самъ батальонъ гвардіи [Преобр.]. Послали за другими полками. Послали за артиллеріею. Бунтовщики отстрѣливаются. Ихъ окружаютъ. Ихъ щадятъ; хотятъ склонить убѣжденіемъ. Народъ волнуется, часть народа на сторонѣ бунтовщиковъ». Вотъ что со всѣхъ сторонъ шептали, не имѣя ни объ чемъ вѣрныхъ извѣстій. Между тѣмъ уже третій часъ. Начинаетъ темнѣть, и ничто еще не сдѣлано. Артиллерія привезена; но зарядныхъ ящиковъ еще нѣтъ; они всѣ въ арсеналѣ. Каково ожиданіе! Вдругъ сказываютъ мнѣ шепотомъ: *Полки начинаютъ колебаться. Лейбъ-гренадерскій полкъ перешелъ. Морской экипажъ присоединяется къ бунтовщикамъ.* И это была правда! О, это была самая рѣшительная и страшная минута этого роковаго дня. Что, если бы прошло еще полчаса? Ночь бы наступила, и городъ остался бы жертвою 3.000 вооруженныхъ солдатъ, изъ которыхъ половина была пьяные.—Въ эту минуту я съ ужасомъ подумалъ, что судьба Россіи на волоскѣ, что ея существованіе можетъ черезъ минуту зависѣть отъ толпы бѣшеныхъ солдатъ и черни, предводимыхъ нѣсколькими безумцами. Какое чувство и какое положеніе! Вдругъ видимъ, идетъ во всемъ облаченіи митрополитъ: его позвали унѣщевать бунтовщиковъ. Страшная тишина царствовала въ залахъ дворца, наполненныхъ людьми, которыхъ праздничный нарядъ еще увеличивалъ ужасъ. Я бродилъ изъ залы въ залу, слушалъ всѣхъ и ни одной не вѣрилъ. Иду въ горницу графини Лиденъ, изъ оконъ которой видна была густая, черная толпа народу, которая казалась подвижною тучею въ темнотѣ начинающейся ночи. Вдругъ надъ нею нѣсколько молній, одна за другою. Начали стрѣлять пушки. Мы угадали это по блеску. Шесть или восемь разъ сверкнула молнія; выстрѣловъ было не слышно; и все опять потемнѣло. Что случилось? Чего ждать? Возвращаюсь въ залу общаго собранія... Вижу волненіе. Наконецъ, пришло извѣстіе. Пушечныя картечи все рѣшили! Съ нѣсколькихъ выстрѣловъ бунтовщики разбѣжались, и кавалерія ихъ преслѣдуетъ... Скоро мы услышали на дворцовомъ дворѣ: *ура!* Тамъ стоялъ колонною саперный лейбъ-батальонъ. Государь возвратился, прошелъ по рядамъ полка, и его приняли съ восхищеніемъ... Онъ прошелъ по маленькой лѣстницѣ къ императрицѣ... Черезъ нѣсколько минутъ слышимъ снова: *ура!* Государь опять вышелъ къ полку и представилъ солдатамъ своего сына. Все рѣшилось къ спасенію Россіи.

Теперь вотъ по порядку обстоятельства дѣла. Когда надобно было приводить къ присягѣ Московскій полкъ, двѣ роты его, которыя подожжены были особенно двумя офицерами того полка, Бестужевымъ и к(нязем) Щепинымъ-Ростовскимъ, подняли оружіе. Щепинъ-Р(остовскій) своею рукою разрубилъ голову Фридриксу и генералу Шеншину; они отняли знамя и пошли, сопровождаемые народомъ, на Исакіевскую площадь. Остальныя шесть ротъ остались въ казармахъ со всѣми офицерами и присягнули. Бунтовщики примкнули тыломъ къ Сенату и стояли неподвижно, окруживъ всю площадь цѣпью. Вокругъ нихъ толпился народъ. Всѣхъ ближнихъ къ нимъ они затаскивали въ свою толпу и принуждали кричать вмѣстѣ съ ними: «ура! Константинъ!» Этою толпою командовали особенно: к(нязь) Оболенскій, адъютантъ Бистрома, и Якубовичъ, извѣстный храбрецъ Кавказа. Въ ней очутились и другіе офицеры: три брата Бестужевы, полярный и два морскихъ; Одуевскій конногвардейскій и еще поэтъ Рылѣевъ; оба Кюхельбекеры, морской и другой, сумасшедшій, нашъ знакомецъ, и еще одинъ Граба-Горскій, который усѣлся передъ двумя столами, накладенными множествомъ пистолетовъ, хладнокровно ихъ заряжалъ и раздавалъ окружающимъ. Въ толпѣ же народа было множество переодѣтыхъ солдатъ и офицеровъ, которые волновали ее и возбуждали къ бунту. Противъ толпы стоялъ императоръ на маленькой выстрѣлъ ружей-

ный; около него были адъютанты всѣ пѣшіе [ибо лошадей негдѣ было взять и некогда искать] и еще нѣсколько генераловъ. Конная гвардія стояла справа къ Исаакіевскому мосту, Измайловскій полкъ примкнулъ наконецъ къ конногвардейскому манежу; но пушекъ еще не было. Первою жертвою этого дня былъ Милорадовичъ: онъ выѣхалъ впередъ, хотѣлъ говорить съ бунтовщиками; остановился противъ нихъ на пистолетный выстрѣлъ..., и ему не дали сказать слова! Нѣсколько выстрѣловъ раздалось, и онъ полетѣлъ съ лошади, пробитый насквозь пистолетною пулею. Его тотчасъ отнесли въ конногвардейскія казармы. Какое страшное начало! Но оно не произвело того дѣйствія, которое могло бы произвести надъ полками. Народъ остался въ нерѣшимомъ спокойствіи: бунтовали только тѣ, которые находились подлѣ главныхъ бунтовщиковъ. Вдругъ является къ государю Якубовичъ и вотъ что говоритъ: государь, я былъ увлеченъ несчастною минутою. Теперь узнаю свой долгъ и пришелъ самъ покориться вамъ... Государь его выслушалъ. «Если такъ, сказалъ онъ, то возвратись же къ бунтовщикамъ и убѣди ихъ своимъ примѣромъ. Ты отвѣчаешь за это головою».—Честь мнѣ дороже головы, которой я никогда не щадилъ, отвѣчалъ злодѣй, пошелъ къ оставленному имъ фронту и скоро возвратился съ извѣстіемъ, что не имѣлъ успѣха. Государь хотѣлъ послать его въ другой разъ. Я пойду, государь,—отвѣчалъ онъ—но не возвращусь: я буду убитъ наверное. И онъ остался. Какое было его намѣреніе? Выждать, что будетъ, и въ минуту успѣха рѣшительнаго застрѣлить или зарѣзать императора, сохранивъ собственную безопасность. Около сумерокъ увидѣли бѣгущій отъ Дворцовой площади мимо народа и государя лейбъ-гренадерскій полкъ. Государь хотѣлъ его остановить; но одинъ офицеръ, мальчишка Пановъ, выбѣжалъ впередъ и закричалъ: «За мною! Ура, Константинъ!» и полкъ побѣжалъ на сторону бунтовщиковъ, съ двумя только офицерами [кромѣ Панова] Сутгофомъ и Шторхомъ, сыномъ нашего; всѣ прочіе остались. За часъ прежде этого прибѣжалъ къ бунтовщикамъ морской экипажъ. Вотъ была самая страшная минута дня; но въ эту же минуту подоспѣли и зарядные ящики. Пушки зарядили, выдвинули; но прежде послали митрополита. Его не послушали. Тогда государь, истощивъ средства кротости, далъ повелѣніе стрѣлять. Сперва выстрѣлили холостымъ зарядомъ, чтобъ разогнать народъ; потомъ картечью. Съ первыхъ двухъ выстрѣловъ произошло въ толпѣ волненіе; но они еще отвѣчали ружейными выстрѣлами. Еще два пушечныхъ удара, и толпа пошатнулась и разстроилась. Одни—морской экипажъ—пошли вправо на Семеновскій полкъ; но онъ выждалъ ихъ и, только что они наступили, сдѣлалъ движеніе, раздвинулся, въ интервалъ грянули по нимъ пушки, и они ударились бѣжать по Крюковскому каналу; другіе побѣжали по Галерной; слѣдомъ за ними вдоль по улицѣ сдѣлано нѣсколько выстрѣловъ, и это совершило все. Они разсыпались; конница поскакала за бѣгущими. Галерную съ набережной и съ канала окружили. Часть ударилась черезъ мостъ и черезъ ледъ на Васильевскій островъ. Щепинъ-Ростовскій тутъ же былъ схваченъ. Тогда государь возвратился, и насъ обрадовало извѣстіе объ окончаніи ужаснаго дѣла, котораго конецъ могъ бы быть гибеленъ для Россіи.

Черезъ часъ послѣ возвращенія императора былъ выходъ: вся фамилія императорская, кромѣ государыни Маріи Ѳеодоровны, пошла въ церковь. Пропѣли только: Тебѣ Бога хвалимъ! Императоръ и императрица молились на колѣняхъ, подлѣ нихъ стоялъ ихъ сынъ. Вообрази чувство, съ какимъ можно было слушать эту хвалебную пѣснь! Но она была не за одно новое царствованіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и за спасеніе Россіи. Заговоръ точно существовалъ; волненіе не было внезапнымъ дѣйствіемъ безпорядка минутнаго. Имена заговорщиковъ были извѣстны не только новому, но и прежнему импера-

тору, и убійцы сами всѣ вмѣстѣ и въ одну минуту явились передъ отечествомъ. Всѣхъ главныхъ дѣйствователей въ ту же ночь схватили. Какая сволочь! Чего хотѣла эта шайка разбойниковъ? Вотъ имена этого сброда. Главные и умнѣйшіе Якубовичъ и Оболенскій; все прочее мелкая дрянь: Бестужевы 4, Одуевскій, Пановъ, два Кюхельбекера, Граве, Глѣбовъ, Горскій, Рылѣевъ, Корниловичъ, Сомовъ, Булатовъ и прочіе.—Милорадовичъ умеръ въ ту же ночь. Можно сказать, что Провидѣніе захотѣло покрыть послѣдніе годы его жизни кровавымъ саваномъ чести. Онъ въ рѣшительную минуту и въ послѣдніе часы жизни показался тѣмъ же человѣкомъ, котораго нѣкогда видѣли передъ войскомъ: храбрымъ и благороднымъ. Государь по возвращеніи своемъ во дворецъ написалъ къ нему трогательное письмо, въ которомъ между прочимъ находится слѣдующее: «Если бы я послушался сердца, то былъ бы уже при тебѣ; но долгъ меня удерживаетъ. Нынѣшній день для меня тягостенъ; но этотъ же день доказалъ мнѣ, что я имѣлъ въ тебѣ друга и вѣрныхъ дѣтей въ русскомъ народѣ, за котораго обѣщаюсь не жалѣть своей жизни». Это точныя слова письма. На словахъ же государь приказалъ сказать умирающему: «Мнѣ жаль того, что случилось».—*А мнѣ не жаль!* отвѣчалъ онъ. Этотъ отвѣтъ въ его слогѣ, но какъ онъ трогателенъ! Онъ положилъ письмо на сердце и съ нимъ умеръ. Я вчера приходилъ къ его тѣлу и съ благодарностію поцѣловалъ мертвую руку. Безчисленная толпа тѣснилась около дома. Всю эту ночь полки стояли на бивакахъ передъ дворцомъ; заряженныя пушки нацѣлены были вдоль улицъ. И въ эту же ночь всѣ заговорщики схвачены. Но подумай, кто еще взятъ? Трубецкой. Онъ незадолго передъ этимъ пріѣхалъ изъ Кіева съ женой. Во время дѣла онъ нигдѣ не являлся; но планъ заговора и конституціи, писанный его рукою, находится въ рукахъ императора. Сначала онъ отъ всего отрекся; но когда императоръ показалъ ему бумагу, то онъ упалъ на колѣни, не имѣя возможности ни отвѣчать, ни защищаться. По сію пору не найденъ только одинъ Кюхельбекеръ, и, признаться, это нѣсколько меня безпокоитъ. Онъ не описанъ, какъ дѣйствователь открытый: онъ и смѣшонъ, и глупъ; но онъ бѣшенъ—это родъ Занда. Онъ способенъ въ своемъ фанатизмѣ отважиться на что-нибудь отчаянное, чтобы пріобрѣсть какую-нибудь извѣстность. Это звѣрь, для котораго надобна клѣтка. Можно сказать, что вся эта сволочь составлена изъ подлецовъ малодушныхъ. Они только имѣли духъ возбудить кровопролитіе; но ни одинъ изъ нихъ не раненъ, ни одинъ не предпочелъ смерть ужасу быть схваченнымъ и приведеннымъ на судъ съ завязанными на спину руками. Презрѣнные злодѣи, которые хотѣли съ такою безумною свирѣпостію зарѣзать Россію. О, этотъ день былъ днемъ явнаго Промысла!—Слѣдующій день былъ прекраснымъ днемъ новаго царствованія. 15-го поутру государь явился передъ собранными полками гвардіи. Его приняли съ громкимъ *ура*; онъ ходилъ по рядамъ нѣшихъ полковъ и говорилъ съ солдатами. Потомъ сѣлъ на лошадь и поскакалъ къ конницѣ. Вездѣ громкое, продолженное *ура!* Заблужденные бунтовщики, возвратившіеся къ своему мѣсту, всѣ прощены; морскому экипажу возвращено его знамя, передъ которымъ онъ и присягнулъ. Это и милостиво, и справедливо. Отъ солдата было все скрыто: онъ былъ вѣренъ своей первой присягѣ и не хотѣлъ произносить новой, противъ которой его возбудили. Эта невольная измѣна была нѣкоторымъ образомъ доказательствомъ вѣрности. Измѣнники, или лучше сказать разбойники-возмутители, были одни офицеры, которые имѣли свой планъ, не хотѣли ни Константина, ни Николая, а просто пролитія крови и убійства, котораго цѣли понять невозможно. Тутъ видно удивительно-безцѣльное звѣрство. И какой духъ низкій, разбойничій! Какими бандитами они дѣйствовали! Даже не видно и фанатизма, а

просто звѣрская жажда крови, безо всякой, даже химерической цѣли. Осмотрѣвъ полки и распустивъ ихъ, государь пошелъ въ совѣтъ. Черезъ нѣсколько послѣ того времени я встрѣтился съ к(нязем) А(лександромъ) Н(иколаевичемъ) Голицынымъ, и онъ описалъ мнѣ сцену величественную. Государь говорилъ просто, сильно и рѣшительно; съ величайшею ясностію описалъ все происшествіе, изобразилъ, какъ онъ объ немъ думаетъ и какія мѣры приняты для безопасности государства. Il avait l'éloquence d'un souverain, говоритъ к(нязь) Голицынъ. Однимъ словомъ, во всѣ эти рѣшительныя минуты онъ явился такимъ, каковъ онъ быть долженъ: спокойнымъ, хладнокровнымъ и неустрашимымъ. Онъ представился намъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ; онъ покрылся честію въ минуту, почти безнадежную для Россіи.— Теперь надобно тебѣ сказать слово и о молодой императрицѣ. Она не обманула моего ожиданія. Я восемь лѣтъ знаю ее и видѣлъ ее младенчески-счастливою въ спокойной домашней жизни. Я говорилъ себѣ: она рождена для частнаго счастія. Это величайшая похвала, какую только можно сказать о душѣ человѣческой: счастіе въ моемъ смыслѣ есть высокая чувствительность, вѣра и твердый умъ посреди обстоятельствъ благопріятныхъ. Но я же всегда думалъ: она прелестна въ счастіи; но минута, въ которую душа ея покажется во всей своей красотѣ, будетъ минута испытанія. Эта минута наступила. Карамзинъ былъ вмѣстѣ съ царскою фамиліею во время волненія. Quant à votre jeune Impératrice—сказалъ онъ мнѣ вечеру того же дня—maintenant je la connais. C'est une femme admirable. Это его слова. Во все время—вообрази положеніе, мужъ подъ пулями, дѣло идетъ о тронѣ и жизни—она была удивительно спокойна, тиха и величественна, какъ вѣра въ Бога. Но въ ту минуту, въ которую послышался первый выстрѣлъ, она упала на колѣни и подняла руки къ небу съ выраженіемъ молитвы и покорности, и тогда только полились слезы. Какая незабвенная минута для Карамзина, который это видѣлъ, и какъ бы я дорого далъ, чтобы быть ея свидѣтелемъ. Въ тотъ же день ввечеру я былъ у нея. Она сидѣла передъ столомъ въ своемъ кабинетѣ; на столѣ дѣ дочери; старшая играла; сынъ подлѣ нея, и она уже была просто матерью, которая какъ будто искала утѣшенія въ томъ, что ея всѣ дѣти были сохранены и съ нею. Слѣды безпокойства душевнаго тихо изображались на лицѣ; но она была та же, какую я видѣлъ во дни спокойные; та же, какую видѣлъ на кораблѣ во время бури. Какъ при ней не имѣть твердости и чистоты душевной?.. Что же сказать въ заключеніе обо всемъ этомъ ужасномъ происшествіи? То же, что говоритъ историкъ, описывая вѣка ужасовъ, произведшіе послѣдствія благотворныя. *Хорошо, что они были. Настоящее благо есть плодъ ихъ.* Но мы прожили вѣковой день. Ввечеру его, когда уже миновался этотъ ужасъ, я думалъ, какъ бѣдственно окровавленъ этотъ торжественный день, какое будущее представляется для Россіи, какая первая минута для новаго императора, какое воспоминаніе для него на цѣлую жизнь, подъ какимъ мрачнымъ покровомъ для него Россія, какая недовѣрчивость должна вселиться въ его сердце! Все было кончено, но утѣшеніе не входило въ душу. Но на другой день совсѣмъ иная мысль. Зачинщики мятежа взяты. День былъ кровавый; но то, что произвело его, не принадлежитъ новому царствованію, а должно быть отнесено къ старому. Государь отстоялъ свой тронъ; въ минуту рѣшительную увидѣли, что онъ имѣетъ и умъ, и твердость, и неустрашимость. Отечество вдругъ познакомилось съ нимъ, и надежда на него родилась посреди опасности, устраненной его духомъ. Такое начало обѣщаетъ много. Теперь онъ можетъ утвердиться въ любви народной. На него полагаются, его уважаютъ. Онъ можетъ твердою рукою схватиться за то сокровище, которое Промыслъ открылъ ему въ минуту роковую; онъ можетъ имъ завла-

дѣть на всю жизнь, на утвержденіе трона, для блага Россіи. Будемъ надѣяться лучшаго. Прости. Писать болѣе некогда, хотя бы и много, много еще сказать желалось.— Тѣло покойнаго императора еще въ Таганрогѣ. Здоровье императрицы Елисаветы, сверхъ всякаго ожиданія, поправляется.

XI.

[Въ первой трети мая 1826, Петербургъ].

Послѣ меня останется денегъ:	
Въ ломбардѣ	5.500
По росписямъ Слѣпина и Глазунова	5.580
	11.580
Изъ нихъ, въ случаѣ моей смерти, уплатить:	
Фрейгунду Петерсену, состоящему подъ опекою профессора Мойера.	7.500
Жихареву	2.000
Графу книгопродавцу	1.115
Переплетчику Зегельхену	406
Миллеру въ голландской лавкѣ близъ Графа	200
Фрезе въ Большой Морской	100
	11.331

Останусь долженъ Перовскому 400 рублей, за которые выдать ему книгами.

Все прочее друзьямъ по рукамъ, то есть остальную все Александрѣ Андреевнѣ. Дать ей на выборъ, что кому отъ меня подарить на память. В. Жуковскій.

XII.

[Въ послѣднихъ числахъ іюня 1826, Эмсъ].

Не умѣю изъяснить твоего молчанія и не могу никакъ съ нимъ помириться. Ни ты, ни Вяземскій не вспомнили обо мнѣ въ минуту несчастія! Но я не хочу обвинять, когда надобно вмѣстѣ плакать. Вы вѣрно ко мнѣ писали; куда дѣлись письма и какъ они могли не дойти ко мнѣ, не понимаю. Вообрази мое положеніе—узнать изъ газетъ, что Карамзина нѣтъ на свѣтѣ. И вотъ все, что я знаю! Но что сдѣлалось съ ними? И какъ это бѣдствіе на нихъ грянуло? Каково это воображать и не имѣть ни откуда помощи! Его я проводилъ сердцемъ въ лучшую жизнь, уже покидая Россію. Объ немъ могу думать, какъ объ ангелѣ, котораго только лицо для меня закрылось. Но сердце его никогда не потеряетъ. Онъ былъ другомъ-отцомъ въ жизни; онъ будетъ тѣмъ же и по смерти. Бо́льшая половина жизни прошла подъ свѣтлымъ вліяніемъ его присутствія. Отъ этого присутствія нельзя отвыкнуть. Карамзинъ—въ этомъ имени было и будетъ все, что́ есть для сердца высокаго, милаго, добродѣтельнаго. Воспоминаніе объ немъ есть религія. Такія потери могутъ дѣлать равнодушнымъ только къ житейскому счастію, а не къ жизни. Кромѣ счастія есть въ жизни должность. Тутъ мысль объ немъ есть подпора,—передъ глазами ли онъ, или только въ сердцѣ. Онъ живъ, какъ вѣра въ Бога, какъ добродѣтель. Его потерять нельзя,—лишь только надобно быть достойнымъ его. Но что́ они? Неужели мнѣ еще долго не имѣть извѣстія? Не понимаю, какъ я могъ его не имѣть. И не могу рѣшиться подумать, чтобы вы могли забыть обо мнѣ при такомъ несчастіи. Я въ Эмсѣ останусь еще три недѣли, до перваго августа новаго стиля. Успѣешь ли въ это время получить мое письмо и отвѣтить на него, не знаю. Но неужели надобно было дожидаться письма моего, чтобы писать ко мнѣ? Развѣ вы не знали, что я ѣду въ Эмсъ? И развѣ нельзя было написать ко мнѣ прямо въ Эмсъ? poste restante? Во всякомъ случаѣ напиши уже въ отвѣтъ на это письмо прямо въ Эгру poste restante. Въ Эгрѣ буду около половины августа н. с.—Гдѣ онъ погребенъ? На кладбищѣ или въ церкви? Если на кладбищѣ, то надобно купить побольше мѣста около гроба. Надобно украсить это мѣсто. Похлопочи объ этомъ.—Прости. Въ Петербургѣ ли Вяземскій? Обнимаю его съ сокрушеннымъ сердцемъ. Неужели онъ имѣлъ несчастіе пріѣхать поздно? Напишите, ради Бога, какъ можно подробнѣе. Что́ думаютъ они дѣлать съ собою? Остаться

ли въ Петербургѣ или ѣхать, и куда? Я бы желалъ, чтобы они переѣхали въ Дериптъ для дѣтей. Тамъ найдутъ хорошихъ учителей. Воспитаніе дѣтей будетъ занятіемъ достойнымъ его памяти, но не разсѣяніемъ. Мое здоровье поправляется.

1823—1836.

ПИСЬМА КЪ А. С. ПУШКИНУ.

I.

1 іюня [1823, С.-Петербургъ].

Ты увѣряешь меня, сверчокъ моего сердца, что ты ко мнѣ писалъ, писалъ и писалъ; но я не получалъ, не получалъ и не получалъ твоихъ писемъ. Итакъ, Богъ судья тому, кто наслаждался ими. На послѣднее и единственное твое письмо буду отвѣчать двумя словами, ибо тремя некогда. Имя Сафіи мнѣ прекрасное и для меня столь же священное, какъ и для Греціи, но не знаю, удастся ли мнѣ почтить его такъ, какъ я бы желалъ. Поговорю съ тѣми, кто это дѣло знаетъ и кто что-нибудь по этому дѣлу можетъ. Есть ли не получишь никакого отъ меня отзыва, то знай, что не удалось. Есть ли же удастся, то лѣнь пречезнетъ, и напишу подробно.

Обнимаю тебя за своего *Демона*. Къ чорту чорта! Вотъ пока твой девизъ. Ты созданъ попасть въ боги—впередъ! Крылья у души есть, вышины она не побоится; тамъ настоящій ея элементъ. Дай свободу этимъ крыльямъ, и небо твое—вотъ моя вѣра. Когда подумаю, какое можешь сострянать для себя будущее, то сердце разогрѣется надеждою за тебя.

Прости, чортикъ, будь ангелокъ. Завтра же твой ангелъ. Твои звали меня къ себѣ, но я быть у нихъ не могу; пошлю только имъ полномочіе выпить за меня заздравный кубокъ и за меня провозгласить: Быть сверчку орломъ и долетѣть сду до солнца! Жуковскій.

II.

[С.-Петербургъ, осень 1824 г.].

Милый другъ, твое письмо привело бы въ великое меня замѣшательство, есть ли бы твой братъ не пріѣхалъ съ нимъ вмѣстѣ въ Петербургъ и не прибавилъ къ нему своихъ словесныхъ объясненій. Получивъ его, я точно не зналъ, на что рѣшиться. Вотъ первая мысль, которая мнѣ представилась: ѣхать къ Паулуччи, который здѣсь и съ которымъ NB я очень мало знакомъ, предупредить его на счетъ твоего письма къ Адеркасу и объяснить ему твое положеніе. И я это бы сдѣлалъ [ибо ничего другаго не могъ придумать]. есть ли бы не явился твой Левъ и не сказалъ мнѣ, что все будетъ само собою устроено. Безъ него, желая тебѣ сдѣлать пользу, я только бы тебѣ, вѣроятно, повредилъ, то есть обратилъ бы вниманіе на то, что лучше оставить въ неизвѣстности, и не могу поручиться, уважилъ ли бы Паулуччи мою просьбу. Тургенева, который съ нимъ хорошо знакомъ, нѣтъ въ Петербургѣ: онъ поѣхалъ въ Москву, гдѣ ожидаетъ его смерть матери.

На письмо твое, въ которомъ описываешь то, что случилось между тобою и отцомъ, не хочу отвѣчать; ибо не знаю, кого изъ насъ обвинить и кого оправдывать. И твое письмо, и разсказы Льва увѣряютъ меня, что ты столько же неправъ, сколько и отецъ твой. На все, что съ тобою случилось и что ты самъ на себя навлекъ, у меня одинъ отвѣтъ: поэзія. Ты имѣешь не дарованіе, а геній. Ты богачъ, у тебя есть неотъемлемое средство *быть выше* незаслуженнаго несчастія *и обратить* въ *добро* заслуженное; ты болѣе, нежели кто-нибудь, можешь и обязанъ имѣть нравственное достоинство. Ты рожденъ быть великимъ поэтомъ: будь же этого достоинъ. Въ этой фразѣ вся твоя мораль, все твое возможное счастіе и всѣ вознагражденія. Обстоятельства жизни, счастливой или несчастливой—шелуха. Ты скажешь, что я проповѣдую со спокойнаго берега утопающему. Нѣтъ, я стою

на пустомъ берегу, вижу въ волнахъ силача и знаю, что онъ не утонетъ, есть ли употребить свою силу, и только показываю ему лучшій берегъ, къ которому онъ непремѣнно доплыветъ, есть ли захочетъ самъ. Плыви, силачъ! А я обнимаю тебя. Увѣдомь непремѣнно, что̀ сдѣлалось съ твоимъ письмомъ.

Читалъ Онѣгина и разговоръ, служащій ему предисловіемъ: несравненно! По данному мнѣ полномочію предлагаю тебѣ *первое* мѣсто на русскомъ Парнасѣ [и какое мѣсто!], есть ли *съ высокостью генія* соединишь и *высокость цѣли*. Милый братъ по Аполлону, это тебѣ возможно! А съ этимъ будешь недоступенъ и для всего, что̀ будетъ мутить вокругъ тебя въ жизни.

III.

[С.-Петербургъ. 1825].

Мой милый другъ, прошу тебя отвѣчать какъ можно скорѣе на это письмо, но отвѣчай человѣчески, а не сумасбродно. Я услышалъ отъ твоего брата и отъ твоей матери, что ты боленъ. Правда ли это? Правда ли, что у тебя въ ногѣ есть что-то похожее на аневризмъ, и что ты уже около десяти лѣтъ угощаешь у себя этого постояльца, не говоря никому ни слова. Причины такой таинственной любви къ аневризму я не понимаю и никакъ не могу ее раздѣлять съ тобою. Теперь это уже не тайна, и ты долженъ позволить друзьямъ твоимъ вступиться въ домашнія дѣла твоего здоровья. Глупо и низко не уважать жизнь. Отвѣчай искренно и не безумно. У васъ въ Опочкѣ некому хлопотать о твоемъ аневризмѣ. Сюда перетащить тебя теперь невозможно. Но можно, надѣюсь, сдѣлать то, чтобы ты переѣхалъ на житье и лѣченье въ Ригу. Согласись, милый другъ, обратить на здоровье свое то вниманіе, котораго требуютъ отъ тебя твои друзья и твоя будущая прекрасная слава, которую ты долженъ, долженъ, долженъ взять [теперешняя никуда не годится — не годится не потому единственно, что другія признаютъ ее такою; нѣтъ, болѣе потому, что она не согласна съ твоимъ достоинствомъ]. Ты долженъ быть поэтомъ Россіи, долженъ заслужить благодарность. Теперь ты получилъ только первенство по таланту; присоедини къ нему и то, что̀ лучше еще таланта — достоинство! Боже мой, какъ бы я желалъ пожить вмѣстѣ съ тобою, чтобы сказать искренно, что̀ о тебѣ думаю и чего отъ тебя требую. Я имѣю на это болѣе многихъ правъ, и мнѣ ты долженъ вѣрить. Дорога, которая предъ тобою открыта, ведетъ прямо къ великому; ты богатъ силами, знаешь свои силы, и все еще будущее твое. Неужели изъ этого будутъ однѣ жалкія развалины? Но прежде всего надобно жить!

Напиши ко мнѣ немедленно о своемъ аневризмѣ, и я тотчасъ буду писать къ Наулуччи. Съ нимъ я уже имѣлъ разговоръ о тебѣ, и можно положиться на его доброжелательство. Обнимаю тебя душевно.

Я ничего не знаю совершеннѣе по слогу твоихъ Цыганъ. Но, милый другъ, какая цѣль! Скажи, чего ты хочешь отъ своего генія? Какую память хочешь оставить о себѣ отечеству, которому такъ нужно высокое?..

Скорѣе, скорѣе отвѣтъ. Жуковскій.

IV.

9 августа 1825 [С.-Петербургъ].

Прошу тебя, мой милый другъ, отвѣчать немедленно на это письмо. Рѣшился ли ты дать сдѣлать себѣ операцію и согласишься ли поѣхать для этого въ Псковъ? Операторъ готовъ. Это Мойеръ, дерптскій профессоръ, мой родня и другъ. Прошу въ немъ видѣть Жуковскаго. Онъ тотчасъ къ тебѣ отправится, какъ скоро узнаетъ, что ты его ожидаешь. Итакъ, увѣдоми меня съ точнѣйшею точностію, когда будешь во Псковѣ. Сдѣлай такъ, чтобы на той квартирѣ, которую займешь для себя, была горница и для моего Мойера; а я обо всемъ, что̀ къ тебѣ пишу, нынче же извѣщу его. Прошу не упрямиться, не играть безразсудно жизнію и

не сердить дружбы, которой твоя жизнь дорога. До сихъ поръ ты тратилъ ее съ недостойною тебя и съ оскорбительною для насъ расточительностію, тратилъ и физически, и нравственно. Пора уняться. Она была очень забавною эпиграммою, но должна быть возвышенною поэмою. Не хочу по пустому ораторствовать; лучшій для тебя ораторъ есть твоя судьба: ты самъ ее создалъ, и самъ же можешь и долженъ ее перемѣнить. Она должна быть достойна твоего генія и тѣхъ, которые, какъ я, знаютъ ему цѣну, его любятъ и потому тебя не оправдываютъ. Но это еще впереди; теперь намъ надобна твоя жизнь. Нельзя ли взять на себя трудъ объ ней позаботиться хотя изъ нѣкотораго вниманія къ друзьямъ своимъ? Отвѣчай мнѣ немедленно. А я обнимаю тебя сердечно. Твой Жуковскій.

Мой адресъ: въ Аничковскомъ дворцѣ, отдать для доставленія швейцару.

V.

23 сентября 1825 [С.-Петербургъ].

Ты, какъ вижу, предалъ въ руцѣ мои только духъ свой, любезнѣйшій сынъ. А мнѣ право до духу твоего нѣтъ дѣла; онъ живъ и будетъ живъ, ибо весьма живущъ. Подавай-ка мнѣ свое грѣшное тѣло, то есть свой аневризмъ. Съ этимъ прекраснымъ аневризмомъ не уцѣлѣетъ и духъ твой. Духъ же твой нуженъ мнѣ для твоего Годунова, для твоихъ десяти будущихъ поэмъ, для твоей славы и для исправленія свѣтлымъ будущимъ всего темнаго прошедшаго. Слышишь ли, Бейронъ Сергѣевичъ? Но смотри же: Бейронъ на лирѣ, а не Бейронъ на дѣлѣ; комментаріи на эту фразу найдешь къ письмѣ Вяземскаго, въ которомъ для тебя много разительной правды. Этотъ Вяземскій очень умный человѣкъ и часто говоритъ дѣло. Мнѣ лучше его ничего нельзя сказать тебѣ. Да и не нужно. Я было крѣпко разсердился на тебя за твое письмо къ сестрѣ и къ Мойеру; но твоя библейская фраза меня съ тобою помирила. Прошу покорнѣйше уважать свою жизнь и помнить, что можешь сдѣлать съ ней много прекраснаго, несмотря ни на какія обстоятельства. Слѣдовательно вотъ чего отъ тебя требую: вспомнивъ, что *настала глубокая осень* [ты обѣщалъ ею воспользоваться], собраться въ дорогу, отправиться въ Псковъ и, нанявъ для себя такую квартиру, въ которой могъ бы помѣститься и Мойеръ, немедленно написать къ нему, что ты въ Псковѣ и что ты дождешься его въ Псковѣ. Онъ мигомъ уничтожитъ твой аневризмъ. Ты возвратишься въ свою Опочку, примешься съ новымъ духомъ за своего Годунова и напишешь такого Годунова, что у насъ всѣхъ будетъ душа прыгать. Слава побѣдитъ обстоятельства, въ этомъ я увѣренъ. Твое дѣло теперь одно: не думать нѣсколько времени ни о чемъ, кромѣ поэзіи и рѣшиться прожить исключительно только для одной высокой поэзіи. Создай что-нибудь безсмертное, и тогда бѣды твои [которыя самъ же состряпалъ] разлетятся въ прахъ. Дай способъ друзьямъ твоимъ указать на что-нибудь твое превосходное, великое: тогда имъ будетъ легко поправить судьбу твою; тогда они будутъ имѣть на это неотъемлемое право. Ты самъ себя не понимаешь; ты только бунтуешь, какъ ребенокъ, противъ несчастія, которое само не иное что, какъ плодъ твоего ребячества; а у тебя такіе есть способы сладить съ своею судьбою, какихъ нѣтъ у простыхъ сыновъ сего свѣта, способы благородные, высокіе. Перестань быть эпиграммой, будь поэмой.

И я вашъ покорный слуга Жуковскій.

Увѣдомь немедленно, на что рѣшишься касательно Пскова, Мойера и аневризма.

VI.

12 апрѣля 1826 [С.-Петербургъ].

Не сердись на меня, что я къ тебѣ такъ долго не писалъ, что такъ долго не отвѣчалъ на два послѣднія письма твои. Я боленъ и лѣнивъ писать. А дѣльнаго отвѣчать тебѣ нечего. Что могу тебѣ сказать на счетъ твоего желанія поки-

путь деревню? Въ теперешнихъ обстоятельствахъ нѣтъ никакой возможности ничего сдѣлать въ твою пользу. Всего благоразумнѣе для тебя остаться спокойно въ деревнѣ, не напоминать о себѣ и писать, *но писать для славы*. Дай пройти несчастному этому времени. Я никакъ не умѣю изъяснить, для чего ты написалъ ко мнѣ послѣднее письмо свое. Есть ли *оно только ко мнѣ*, то оно странно; есть ли же для того, чтобы его *показать*, то безразсудно. Ты ни въ чемъ не замѣшанъ — это правда; но въ бумагахъ каждаго изъ дѣйствовавшихъ находятся стихи твои. Это худой способъ подружиться съ правительствомъ. Ты знаешь, какъ я люблю твою музу и какъ дорожу твоею *благопріобрѣтенною* славою; ибо умѣю уважать поэзію и знаю, что ты рожденъ быть великимъ поэтомъ и могъ бы быть честію и драгоцѣнностію Россіи. Но я ненавижу все, что ты написалъ возмутительнаго для порядка и нравственности. Наши отроки [то есть все зрѣющее поколѣніе], при плохомъ воспитаніи, которое не дастъ имъ никакой подпоры для жизни, познакомились съ твоими буйными, одѣтыми прелестію поэзіи мыслями; ты уже многимъ нанесъ вредъ непоправимый — это должно заставить тебя трепетать. Талантъ ничто, главное: величіе нравственное. Извини, эти строки изъ катихизиса. Я люблю и тебя, и твою музу, и желаю, чтобы Россія васъ любила. Кончу началомъ: не проснусь въ Петербургѣ, еще не время. Пиши Годунова и подобное; они отворятъ дверь свободы.

Я боленъ. Ѣду въ Карлсбадъ, возвращусь не прежде какъ въ половинѣ сентября. Пришли къ этому времени то, что сдѣлано будетъ твоимъ добрымъ геніемъ. То, что напроказитъ твой злой геній, оставь у себя: я ему не поклонникъ. Прости, обнимаю тебя. Жуковскій.

VII.

У меня будетъ нынче ввечеру, часовъ въ десять, Глинка, Одоевскій и Розенъ, для нѣкотораго совѣщанія. Ты тутъ необходимъ. Приходи, прошу тебя. Приходи непремѣнно. А завтра [въ субботу] жду тебя также непремѣнно часу во второмъ поутру. У меня будетъ живописецъ, и ты долженъ съ полчаса посидѣть подъ пыткою его животворной кисти. На оба запроса прошу отвѣтить: да. Жуковскій.

VIII.

Не забудь, что ты у меня нынче въ часъ будешь рисоваться. Если не найдешь меня, паче чаянія, дома, то найдешь у меня живописца. Прошу пожаловать. Жуковскій.

IX.

Не забудь, что завтра четвергъ, и что ты у меня проводишь вечеръ. Прошу привезти Онѣгина, чѣмъ очень порадуешь Жуковскаго.

Не забудь позвать Плетнева и отослать картину Шаховскому, котораго у меня не будетъ.

X.

Сейчасъ государь прислалъ у меня просить твоихъ стиховъ; у меня ихъ не случилось. Но онъ велѣлъ просить у твоей жены экземпляръ. Нехудо, когда и для государя, и для императрицы пришлешь по экземпляру, и скорѣе мнѣ доставишь экземпляры. Ж.

XI.

[29 янв. 1834].

Посылаю тебѣ, почтеннѣйшій другъ Александръ Сергѣевичъ, исторію господина Пугачева, тобою написанную съ особеннымъ искусствомъ; очень сожалительно для меня, что я не успѣлъ прочитать сего бытописательнаго отрывка, дѣлающаго честь твоему таланту. Продолжай, достойный русскій писатель, работать умомъ и перомъ къ чести Россіи и къ полнотѣ твоего кармана. А завтра я именинникъ, и будутъ у меня ввечеру семейства Карамзиныхъ, Мещерскихъ и

Вяземскихъ; и будутъ у меня два изрядныхъ человѣка графы Вьельгорскіе, и попрошу Смирнову съ собственнымъ ея нужемъ; да, можетъ быть, привлеку и привлекательную Дубенскую; вслѣдствіе сего прошу и тебя съ твоею, граціозною, стройно-созданною, богине-образною, мадоннистою супругою, пожаловать ко мнѣ завтра [во вторникъ] въ 8 часовъ откушать чаю съ бріошами и прочими вкусными причудами; да скажи объ этомъ и домашнему твоему Льву. Увѣдомь, будешь ли, а я твой богомолецъ Василій.

XII.

Раевскій будетъ у меня нынче ввечеру. Будь и ты, привези брата Льва и стихи или прозу, если боишься Раевскаго. Порастреплемъ Пугачева. Ж.

Четвергъ.

Собраніе открывается въ 9 часовъ.

XIII.

Вотъ что вчера ввечеру государь сказалъ мнѣ въ разговорѣ о тебѣ и въ отвѣтъ на вопросъ мой: *Нельзя ли какъ этого поправить? — Почему жъ нельзя! Пускай онъ возьметъ назадъ свое письмо. Я никого не держу и его держать не стану. Но если онъ возьметъ отставку, то между мною и имъ все кончено.* Мнѣ нечего прибавить къ этимъ словамъ, чрезвычайно для меня трогательнымъ и въ которыхъ что-то отеческое къ тебѣ, при всемъ неудовольствіи, которое письмо твое должно было произвести въ душѣ государя. Ты самъ будешь знать какъ поступить; мое дѣло сообщить тебѣ эти слова безъ всякаго объясненія, совершенно излишняго. Сожалѣю только, что ты ничего не сказалъ мнѣ предварительно о своемъ намѣреніи, ни мнѣ, ни Вяземскому и даже весьма тебѣ за это пеняю. Жуковскій.

Вторникъ поутру.

XIV.

Вчера я писалъ къ тебѣ съ Блудовымъ наскоро и, кажется, не ясно сказалъ то, чего мнѣ отъ тебя хочется. А ты вѣдь человѣкъ глупый, теперь я въ этомъ совершенно увѣренъ. Не только глупый, но и поведенія непристойнаго. Какъ могъ ты, приступая къ тому, что ты такъ искусно состряпалъ, не сказать мнѣ о томъ ни слова, ни мнѣ, ни Вяземскому — не понимаю! Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость. Вотъ что я бы теперь на твоемъ мѣстѣ сдѣлалъ [ибо слова государя крѣпко бы расшевелили и повернули къ нему мое сердце]: я написалъ бы къ нему прямо, со всѣмъ прямодушіемъ, какое у меня только есть, письмо, въ которомъ бы *обвинилъ* себя за сдѣланную глупость, потомъ такъ же бы прямо объяснилъ то, что могло заставить меня сдѣлать эту глупость; и все это сказалъ бы съ тѣмъ чувствомъ благодарности, которую государь въ тебѣ заслуживаетъ. Повторяю [ибо случиться можетъ, что ты еще не успѣлъ получить вчерашняго письма моего], вотъ что онъ отвѣчалъ на мой вопросъ: *Нельзя ли этого поправить? — Почему же нельзя! Онъ можетъ взять назадъ письмо свое. Я никого не держу; но разъ въ отставкѣ, все между имъ и мною кончено.* Эти слова для меня чрезвычайно трогательны. Напиши непремѣнно письмо и отдай графу Бенкендорфу. Я никакъ не воображалъ, чтобы была еще возможность поправить то, что ты такъ безразсудно соблаговолилъ напакостить. Если не воспользуешься этою возможностію, то будешь то щетинистое животное, которое питается желудями и своимъ хрюканьемъ оскорбляетъ слухъ всякаго благовоспитаннаго человѣка; безъ галиматьи, поступишь дурно и глупо, повредишь себѣ на цѣлую жизнь и заслужишь свое и друзей своихъ неодобреніе, по крайней мѣрѣ мое. Ж.

Вторникъ.

Можетъ быть, захочешь показать Бенкендорфу письмо мое. Вотъ экземпляръ, безъ галиматьи.

XV.

Я право не понимаю, что̀ съ тобою сдѣлалось; ты точно поглупѣлъ; надобно тебѣ или ножить въ желтомъ домѣ или велѣть себя хорошенько высѣчь, чтобы привести кровь въ движеніе. Бенкендорфъ прислалъ мнѣ твои письма, и первое, и послѣднее. Въ первомъ есть кое-что живое, но его нельзя употреблять въ дѣло, ибо въ немъ не пишешь ничего о томъ, хочешь ли остаться въ службѣ или нѣтъ; послѣднее, въ коемъ просишь, чтобы все осталось по старому, такъ сухо, что оно можетъ показаться государю новою неприличностію. Развѣ ты разучился писать, развѣ считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство къ государю? Зачѣмъ ты мудришь? Дѣйствуй просто. Государь огорченъ твоимъ поступкомъ; онъ считаетъ его съ твоей стороны неблагодарностью. Онъ тебя до сихъ поръ любилъ и искренно хотѣлъ тебѣ добра. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть отъ себя. Что̀ же тутъ думать? Напиши то, что̀ скажетъ сердце. А тутъ, право, есть о чемъ ему поразговориться. И, не прося ничего, можешь объяснить необходимость отставки; но болѣе всего долженъ столкнуть съ себя упрекъ въ неблагодарности и выразить, что-нибудь такое, что̀ непремѣнно должно быть у тебя въ сердцѣ къ государю. Однимъ словомъ, я все еще стою на томъ, что ты долженъ написать прямо къ государю и послать письмо свое черезъ гр. Бенкендорфа. Это одно можетъ поправить испорченное. Оба послѣднія письма твои теперь у меня; несу ихъ чрезъ нѣсколько минутъ къ Б., но буду просить его потодить ихъ показывать. Скорѣе! Ж.

Пришли мнѣ копію съ того, что̀ напишешь, хотя, вѣроятно, мнѣ покажутъ. Посылаю это письмо съ нарочнымъ. Ты же пришли съ нимъ и письмо. Можетъ случиться однако, что Бенкендорфъ въ промежуткѣ этого времени уѣдетъ въ Петербургъ, то всего вѣрнѣе отослать письмо немедленно къ нему на домъ. Объяснимся [вѣдь ты глупъ]: ты пришлешь мнѣ свое письмо съ моимъ посланнымъ, и тотчасъ пошлешь узнать, пріѣхалъ ли Бенкендорфъ. Если онъ уже пріѣхалъ, то напишешь ему другой экземпляръ письма и тотчасъ пошлешь къ нему на домъ; я же, получивъ твое письмо, тогда оставлю оное у себя. Всего важнѣе не упустить времени.

XVI.

Государь опять говорилъ со мною о тебѣ. Если бы я зналъ напередъ, что̀ побудило тебя взять отставку, я бы ему объяснилъ все; но такъ какъ я и самъ не понимаю, что̀ могло тебя заставить сдѣлать глупость, то мнѣ и ему нечего было отвѣчать. Я только спросилъ: *Нельзя ли какъ этого поправить? Почему же нельзя!* отвѣчалъ онъ. *Я никогда не удерживаю никого и далъ ему отставку. Но въ такомъ случаѣ все между нами кончено. Онъ можетъ, однако, еще возратить письмо свое.* Это меня истинно трогаетъ. А ты дѣлай, какъ разумѣешь. Я бы на твоемъ мѣстѣ ни минуты не усумнился, какъ поступить. Спѣшу только увѣдомить о случившемся. Жуковскій.

XVII.

Посылаю тебѣ билетъ эрмитажный; онъ на всю вѣчность. Его при входѣ отдавать не должно. Намъ бы надобно, то есть мнѣ, тебѣ и Вяземскому, собраться у меня и побесѣдовать о планѣ журнала, который непремѣнно надобно написать на этой недѣлѣ, и Смирдинъ послѣ Святой долженъ рѣшиться съ Гречемъ и Булгаринымъ. Будь у меня завтра въ половинѣ 8-го послѣ обѣда; скажи объ этомъ и Вяземскому. Ж.

XVIII.

Посылаю тебѣ манускриптъ Блудова. Мой писарь ничего разобрать не можетъ; ты разберешь. Я отмѣтилъ крестиками то, что̀ можно напечатать. Манускриптъ не потеряй и послѣ мнѣ возврати. Да

возврати также и мою книгу: Уроки Россійской исторіи. Манускриптъ Карамзина достань у Сербиновича; онъ для тебя сдѣлаетъ или уже сдѣлалъ выписку. Въ субботу будетъ елка. Ж.

Какъ скоро перепишешь, покажи Блудову.

XIX.

Неужели въ самомъ дѣлѣ ты не хочешь ходить ко мнѣ, Александръ Сергѣевичъ? Это производитъ въ душѣ моей непріятное колыханіе. Уповаю, что нынче наслаждусь твоимъ лицезрѣніемъ. Ж.

XX.

Съ Вортсвортомъ постараюсь перевѣдаться. А ты мою піесу унесъ и уже въ цензуру хватилъ! Нѣтъ, голубчикъ, въ первую книжку ея никакъ не помѣщай. Она годится, быть можетъ, послѣ, но для дебюта нельзя. Прошу тебя не помѣщать въ 1-мъ нумерѣ. Завтра пошлю Карамзина статью къ Е. А. У нея возьмешь. Ж.

1836.

КЪ Н. И. ПУШКИНОЙ.

Развѣ Пушкинъ не читалъ письма моего? Я, кажется, ясно написалъ ему о нынѣшнемъ балѣ, почему онъ не званъ, и почему вамъ *непремѣнно* надобно поѣхать. Императрица сама сказала мнѣ, что не звала мужа вашего отъ того, что онъ самъ ей объявилъ, *что носитъ трауръ и отпускаетъ всюду жену одну;* она прибавила, что начнетъ приглашать его, коль скоро онъ сниметъ трауръ. Вамъ надобно быть непремѣнно. Почему вамъ Пушкинъ не сказалъ объ этомъ, не знаю; можетъ быть, онъ не удостоилъ прочитать письмо мое.

[1836.]

1844—1851.

ПИСЬМА КЪ Н. В. ГОГОЛЮ.

I.

Ну, Гоголёкъ, хорошо, что вы наконецъ откликнулись; вѣдь ужъ мнѣ начинало казаться, что вы обнаруживаете передо мною бытіе свое на минуту, какимъ-то безтѣлеснымъ фантомомъ или призракомъ и что я вмѣсто васъ видѣлъ предъ собою нѣкоего, такъ сказать, исшедшаго изъ-за предѣловъ онаго міра духовнаго прихлебателя земныхъ отношеній. Слава Богу, что это не такъ, и что вы, искренно сказать, истинный Гоголь, т. е. такой же человѣкъ, осязаемый руками и видимый глазами, какъ всѣ прочіе люди, обитающіе на землѣ, производящей множество злаковъ и добрыхъ цѣлебныхъ и злыхъ ядовитыхъ. Я во Франкфуртѣ: главное дѣло сдѣлано, т. е. вся пакость, принадлежащая къ жизни человѣка безсмертнаго, созданнаго по образу и подобію Божію, столы, стулья, шкафы, перины, горшки, стаканы, стаканчики, ложки, плошки, шляпки и тряпки, все пріѣхало въ добромъ здоровьи и все лежитъ передо мною въ томъ видѣ, въ какомъ пребывалъ міръ до великаго слова: да будетъ свѣтъ! Послику я не могу сказать такого слова, то и окружающій меня хаосъ продолжится не день и не два, а можетъ быть и 14 дней или двѣ недѣли. И въ эти 14 дней [въ которые по вашему мнѣнію я долженъ быть въ нѣкоторомъ экзальтированномъ расположеніи духа] легко случится, что и пророкъ Даніилъ можетъ подъ часъ пріобрѣсти или толчокъ въ задніе регіоны бытія своего или соотвѣтствующее сему толчку русское привѣтственное и поощрительное слово. Черезъ двѣ недѣли все вокругъ меня придетъ въ устройство и свѣтлый порядокъ, и самъ я просвѣтлѣю; но вотъ оказія: тѣмъ временемъ императрица прибудетъ въ Берлинъ и я долженъ буду поѣхать туда. Еще не знаю сроку ея прибытія, потому не могу опредѣлить ни сроку моего отбытія, ни продолженія моего берлинобытія, ни вожделѣннаго дня моего возврата. Все это послѣ уладимъ на письмѣ, вы же пока живете въ Баденѣ; тамъ хорошо, сторона Божія, народу для наблюденія довольно, уединеніе для работы есть, съ нимъ и свобода;

а впереди Франкфуртъ и работа наша совокупная. Это все хорошо. Я же теперь знаю, гдѣ васъ отыскать. Только не трогайтесь съ мѣста, а если тронетесь, дайте знать. Между тѣмъ вотъ вамъ извѣстіе о нѣкоемъ дѣлѣ, которое для васъ конечно не будетъ непріятно. Я былъ долженъ великому князю наслѣднику 4.000 рублей. При отъѣздѣ его изъ Дармштата я сдѣлалъ ему предложеніе, не благоугодно ли будетъ вашему высочеству, чтобъ я заплатилъ эти деньги не вамъ, а извѣстному вамъ русскому, весьма затѣйливому писателю, господину Гоголю; такъ, чтобъ я ему сіи деньги платилъ въ годъ по 1.000 рублей, начавъ съ будущаго января [понеже вдругъ сего сдѣлать не могу, вслѣдствіе чахоточнаго состоянія моихъ моей]?—И его высочество на сей вопросъ мой изрекъ и словесное и письменное: быть по сему. Такимъ образомъ и состою вамъ долженъ 4.000 руб., съ коими и пребываю вашъ богомолецъ Жуковскій. [1844, мая 25].

II.

Милый Гоголёкъ, вы безбожно и безчеловѣчно поступаете съ нами. Для чего не увѣдомляете вы насъ о себѣ? Что съ вами дѣлается? Какъ вы? Гдѣ вы? Куда вы? Писать много не нужно; а два слова написать необходимо; и не написать ихъ грѣхъ. Мы объ васъ въ тревогѣ; и жена только о томъ и думаетъ, что съ вами дѣлается съ тѣхъ поръ, какъ проѣхалъ здѣсь Плещеевъ и сказалъ ей [я былъ въ Швальбахѣ въ это время], что вы бросили Карлсбадъ и отправились въ Гренфенбергъ. Но Богъ знаетъ, въ Гренфенбергѣ ли вы теперь или еще куда-нибудь уѣхали. Какъ же не написать? Куда же я буду пересылать вамъ и письма и деньги?—На всякой случай, пишу теперь въ Гренфенбергъ. А васъ прошу отвѣчать немедленно. Да напишите два письма, то есть двѣ коротенькія записочки, одну во Франкфуртъ, а другую въ Нюренбергъ poste restante. Я туда послѣ-завтра ѣду навстрѣчу императрицѣ. А отъ насъ вотъ какое предложеніе: возвращайтесь прямо къ намъ и поселитесь опять у насъ въ домѣ; вамъ съ вашею теперешнею слабостію разъѣзжать по свѣту не можно. Подлѣ насъ Копиъ [жаль, что вы его не послушались и въ Гастейнъ не поѣхали]; да и въ моемъ домѣ, хотя вамъ часто бываетъ и пусто, вы будете посреди своихъ; о васъ будетъ дружеское сердечное попеченіе. Жена этого требуетъ отъ васъ съ величайшею о васъ заботою, и вы не должны отказать ей въ ея просьбѣ. Прошу васъ скорѣе рѣшиться и къ намъ пріѣхать на житье. Не хотите ли, чтобы я къ вамъ прислалъ Данила, чтобы онъ васъ проводилъ изъ Гренфенберга во Франкфуртъ? Однимъ словомъ, пріѣзжайте непремѣнно; у насъ ждетъ васъ пріютъ родной и намъ у насъ будетъ спокойно и беззаботно. Отвѣчайте немедленно. [въ двухъ экземплярахъ].

4 сентября 1845. Жуковскій.

II.

Любезнѣйшій Гоголёкъ, наконецъ есть отъ васъ извѣстіе и довольно удовлетворительное. Слава Богу и благодарствуйте. Мы всею семьею радуемся тому, что вы наконецъ на мѣстѣ. Авось Римъ угомонитъ ваши нервы. Ему ли бы, кажется, съ нами не сладить, ему, побѣдителю столькихъ народовъ? Помоги ему Богъ. У насъ все идетъ довольно порядочно; въ мысляхъ готовимся мы къ переѣзду къ Россію на будущій годъ, а желаніе удерживаетъ здѣсь.—Не скоро найдется въ Россіи для меня такой покойный уголокъ, какой я здѣсь себѣ устроилъ; нигдѣ не допишется Одиссея на просторѣ такъ, какъ здѣсь; нигдѣ и первые годы дѣтей такъ беззаботно не разовьются, какъ въ тишинѣ и безпрепятственности здѣшняго уединенія. Но живи, какъ велятъ, а не такъ, какъ хочется—это русская пословица. Впрочемъ, скажу вамъ, что я все еще не принимался снова за Одиссею, и ничего поваго не сдѣлалъ съ тѣхъ поръ, какъ мы съ вами разстались: какой-то вредоносный самумъ на насъ обоихъ

повѣялъ. Но теперь снова берусь за перо. Можетъ быть, и вы начинаете острить свое. Въ часъ добрый. А хотѣлось бы, очень бы хотѣлось привезти на родину конченную Одиссею. Она будетъ моимъ гробовымъ монументомъ.

Получили ли вы вексель, отправленный мною въ Римъ на имя Бутенева. Его доставила мнѣ Смирнова, которая теперь губернаторствуетъ въ Калугѣ, что конечно не разсѣетъ ея хандры, которая, кажется, совсѣмъ ее лишила всякой бодрости. Ея положеніе тягостно. Свѣтъ ей надоѣлъ и не имѣетъ болѣе для нея прелести. Домашней жизни у нея нѣтъ; дѣти еще для нея слишкомъ малолѣтны. Внутренняя жизнь ея еще не образовалась: это переходное состояніе души мучительно; оно часто бываетъ и гибельнымъ. Напишите къ ней.—А меня увѣдомьте, полученъ ли вами вексель.—Поклонитесь Бутеневу. Слухи ходятъ, что будто нашъ императоръ будетъ въ Римѣ. Если это совершится на дѣлѣ, то опишите мнѣ его тамъ пребываніе.

Прощайте. Жена вамъ дружески кланяется. Сашка не въ порядкѣ; занимается п.....мъ. Павелъ Васильевичъ толстѣетъ и уже подалъ просьбу о произведеніи его въ быки. Вчера соблаговолилъ онъ, смотря на портретъ отца и матери, впервые произнести: Papa, Mata. Это подаетъ надежду, что онъ со временемъ будетъ владѣть русскимъ языкомъ лучше, нежели его родитель.—У Авдотьи Петровны Елагиной въ домѣ свадьба: сынъ ея Василій Елагинъ женится на Катѣ Мойеръ. Это и васъ порадуетъ.

Вашъ Жуковскій.

5 [17] ноября 1845 г.

IV.

20-го генваря [1 февраля] 1850 г.
Баденъ-Баденъ.

Наконецъ, мой милый Гоголекъ, я получилъ отъ тебя что-то похожее на письмо, послѣ двухъ лѣтъ разлуки, и какой разлуки? Во время это столько случилось съ тобою, что было бы довольно матеріаловъ для продолжительной переписки. Впрочемъ я не слишкомъ тебя обвиняю—всѣ возможныя загадки лѣни мнѣ понятны, ибо всѣ мною самимъ были разгаданы. И теперь волку отливаются овечьи слезы: всѣ мои друзья молчатъ, какъ мертвые. Ни одинъ даже изъ учтивости не поблагодарилъ меня за присылку Одиссеи. Весьма сожалѣю, что истратилъ деньги на напечатаніе ста экземпляровъ in 8° *Полныхъ моихъ сочиненій*, для раздачи моимъ друзьямъ и пріятелямъ; изъ лавки Смирдина каждый получилъ бы свой экземпляръ безъ хлопотъ; а я не остался бы въ убыткѣ. Но оставимъ это. Благодарю тебя за письмецо. Что скажу о себѣ? Я не на розахъ, по-прежнему, какъ то было при тебѣ. Жена продолжаетъ страдать, и тебѣ понятнѣе, нежели другимъ, каково ей—ты самъ испыталъ всѣ эти муки, которыя не потому такъ тягостны, что сокрушаютъ счастіе жизни, но болѣе потому, что отымаютъ у души всякую способность переносить ихъ съ покорнымъ терпѣніемъ. Убѣжденіе говоритъ: «Здѣсь все добро, и все къ добру, потому что Богъ хозяинъ въ домѣ своемъ и самъ обо всемъ заботится лично, слѣдственно все должно быть въ совершенномъ порядкѣ. Да не смущается сердце твое!» Такъ думается всегда, но не такъ чувствуется въ нѣкоторыя минуты, которыя своею тревогою сокрушаютъ душу, какъ печальное наводненіе, которое вдругъ уноситъ хижину со всѣми въ ней живущими.

Но объ этомъ предметѣ будемъ говорить послѣ. Обращаюсь къ историческому. Изъ Швейцаріи, куда мы спасались отъ нѣмецкаго колбаснаго бунта, мы переселились снова въ Баденъ-Баденъ. Зима у насъ жестокая, какой никогда здѣсь не бывало; она мѣшаетъ Гугерту приняться за лѣченіе жены; по его плану, мы должны остаться въ Баденѣ до конца іюня, провести іюль въ Остенде, потомъ возвратиться въ Россію и провести зиму въ Ревелѣ. Исполнится ли этотъ планъ—это знаетъ одинъ всевышній Хозяинъ. Межъ тѣмъ я,

побывавъ въ Варшавѣ, хворалъ и, хотя не было у меня лежачей болѣзни, но чуть не появилась смертельная—тѣмъ все поправилось. Но кончивъ свой большой трудъ, я вдругъ остался безъ дѣла, какъ корабль, который плылъ съ попутнымъ вѣтромъ на всѣхъ парусахъ и вдругъ, обхваченный штилемъ, остановился посреди неподвижнаго моря и лѣниво покачивается на одномъ мѣстѣ, производя въ пассажирахъ тошноту и рвоту. Изъ этой неподвижности я вышелъ, однако, принявшись послѣ эпической поэмы за азбуку, то есть принявшись за обученіе грамотѣ моей Сашки. И такъ какъ это дѣло должно совершаться по моей *собственной*, мною самимъ изобрѣтенной методѣ, то оно имѣетъ характеръ поэтическаго созданія и весьма увлекательно, хотя начинается чисто съ азбуки и простаго счета. Что моя метода хороша, то кажется мнѣ доказаннымъ на опытѣ, ибо вотъ уже цѣлой мѣсяцъ, какъ ежедневно [правда не болѣе получаса въ день] я занимаюсь съ Сашей, а она не чувствовала ни минуты скуки, именно потому, что я заставляю ее своею головкою работать, а не принуждаю сидѣть передо мною съ открытымъ ртомъ, чтобы принимать отъ меня жеваные мною, а потому и отвратительные куски пищи: сравненіе немного нечисто, но оно вѣрное. Изъ этихъ уроковъ можетъ составиться полный систематическій курсъ приготовительнаго, домашняго ученія, который со временемъ можетъ принести и общую пользу. Между тѣмъ беретъ меня подъ часъ и охота побесѣдовать съ моею старушкою музою; хотѣлось бы пропѣть мою лебединую пѣснь, хотѣлось бы написать моего Странствующаго жида; но это могу сдѣлать только урывками. Теперь главный мой трудъ педагогическій. Знаешь ли, что ты можешь помочь мнѣ весьма значительно въ этомъ поэтическомъ предпріятіи? Планъ Странствующаго жида тебѣ извѣстенъ: я тебѣ его разсказывалъ и даже читалъ начало, состоящее не болѣе, какъ изъ двадцати стиховъ. Что же ты тутъ можешь сдѣлать съ своей стороны? А вотъ что. Мнѣ нужны локальныя краски Палестины. Ты ее видѣлъ, и видѣлъ глазами христіанина и поэта. Передай мнѣ свои видѣнія; опиши мнѣ просто [какъ путешественникъ, возвратившійся къ своимъ домашнимъ и имъ разсказывающій, что̀ гдѣ съ нимъ было] то, что ты видѣлъ въ Святой землѣ; я бы желалъ имѣть передъ глазами живописную сторону Іерусалима, долины Іосафатовой, Елеонской горы, Виѳлеема, Мертваго моря, Пустыни искушенія, Ѳавора, Кармила, Стени, Тиверіадскаго озера, долины Іорданской — все это, вѣроятно, ты видѣлъ; набросай мнѣ нѣсколько живыхъ картинъ безъ всякаго плана, какъ вспомнится, какъ напишется, мнѣ это будетъ несказанно полезно и даже вдохновительно для моей поэмы: я увѣренъ, что къ собственнымъ моимъ мыслямъ прибавится много новыхъ, которыя выскочатъ, какъ искра, отъ удара моей фантазіи объ твою. Не полѣнись же, напиши, сдѣлаешь мнѣ дорогой подарокъ, да и самому тебѣ будетъ пріятно мнѣ его сдѣлать: поневолѣ воротишься въ Палестину. А я буду ждать твоего отвѣта—утвердительнаго или отрицательнаго, и до тѣхъ поръ не примусь за свое лебединое пѣніе.

Прости. Пришли свой адресъ. Ты такъ облѣнился, что и объ второй части Одиссеи не сказалъ мнѣ ни слова, а я ею болѣе доволенъ, нежели первою. Какъ ты?

VI.

Милый Гоголёкъ. Вотъ ужъ моя очередь передъ тобою виниться: на твое большое письмо я отвѣчалъ печатнымъ, а на твое письмо объ Палестинѣ совсѣмъ не отвѣчалъ; оно чрезвычайно оригинально и интересно, хотя въ немъ одно, такъ сказать, негативное изображеніе того, что ты видѣлъ въ землѣ обѣтованной. Но все придетъ въ свой порядокъ въ воспоминаніи. То, что не далось въ настоящемъ, можетъ сторицею даться въ *прошедшемъ*. И со временемъ твои воспоминанія о Святой Землѣ будутъ для тебя живѣе твоего тамъ присутствія. Скажу тебѣ теперь нѣ-

сколько словъ о себѣ. Но нѣтъ, еще нѣсколько словъ о тебѣ. Здѣсь въ Баденѣ Кошелевъ [который, однако, нынче отъѣзжаетъ]; онъ обрадовалъ меня извѣстіемъ, что Мертвыя души идутъ шибко впередъ. Онъ знаетъ, что ты читалъ многое Хомякову; но Хомяковъ не сказалъ, что, какъ и каково, сохраняя данное тебѣ обѣщаніе не произносить никакого сужденія. Но для меня довольно знать, что ты пишешь и что пишется — дѣло будетъ вѣрно хорошо кончено.

Теперь обо мнѣ. Я надѣюсь вѣрно возвратиться нынѣшнею весною или въ началѣ лѣта въ Россію. Прежде всего поѣду въ Дерптъ и тамъ на первый случай оставлю жену и дѣтей; самъ же въ августѣ мѣсяцѣ отправлюсь въ Москву и тамъ отпраздную коронацію и царскіе юбилеи; туда, надѣюсь, на это время съѣдутся всѣ мои родные; туда, равно надѣюсь, пріѣдешь и ты и, по образу и подобію Хомякова, дашь мнѣ хлебнуть твоихъ Мертвыхъ душъ. Я же теперь работаю много, но мои теперешнія работы всѣ ограничиваются педагогикою, то есть приготовленіемъ къ предварительному курсу ученія дѣтей моихъ. Эта работа беретъ все мое время и не позволяетъ мнѣ ни за что другое приняться. Если бы ея не было, то я бы перевелъ всю Иліаду; полторы пѣсни переведены [каталогъ кораблей сбросилъ съ плечъ: это самое трудное], все пошло бы по маслу; но трудъ по службѣ, то есть по домашнему министерству просвѣщенія, долженъ быть впереди; надѣюсь, что Иліада отъ меня не уйдетъ: великое было бы дѣло оставить по себѣ въ наслѣдство отечеству полнаго Гомера. Объ этомъ, однако, прошу тебя не говорить. Хотѣлось бы и Вѣчнаго Жида успокоить; этотъ трудъ можетъ быть результатомъ теперешнихъ трудовъ моихъ. Моли Бога, чтобы даровалъ мнѣ еще десятокъ лѣтъ здоровой жизни; я буду стараться употребить ихъ съ пользою, покоряясь святой Его волѣ; тогда послѣ меня что-нибудь дѣльное останется на добро дѣтямъ моимъ и отечеству.

Прости, Гоголёкъ. Я напишу къ тебѣ, когда поѣду отсюда или когда пріѣду въ Россію. Жена дружески тебѣ кланяется.

Твой вѣрный Жуковскій.

1 [13] февраля 1851 г.
Баденъ.

Отрывки изъ дневниковъ.

1804.

А. и Б.

30-е іюля. **А.** Нынѣшній день я провелъ весьма непріятно. Былъ недоволенъ собою, безпокоенъ, лишенъ бодрости.

Б. Отчего?

А. Не знаю, однако должна быть причина.

Б. Разумѣется! Если не видимая, то по крайней мѣрѣ скрытая. Можетъ быть, опытный глазъ могъ бы открыть ее и подать тебѣ помощь; но ты этого сдѣлать не можешь, потому что не привыкъ къ размышленію. Разскажи мнѣ порядокъ своего дня; можетъ быть, сколько-нибудь объяснится причина твоего неудовольствія на самого себя.

А. Я всталъ позже обыкновеннаго, въ исходѣ седьмаго [нарушеніе порядка — первое впечатлѣніе, и конечно непріятное, при самомъ началѣ дня; однако, мнѣ кажется, оно не имѣло замѣтнаго впечатлѣнія на мое расположеніе]. До десяти часовъ я пробылъ съ моими, пилъ кофе, говорилъ о постороннемъ, неинтересномъ; А. . . . просила меня, во время ея отсутствія, брать съ почты письма на ея имя отъ В. . . . М. . . . Я отказался, опасаясь возбудить подозрѣніе самымъ стараніемъ не возбудить его. Это однако жъ имѣло больше непріятное на меня вліяніе: мнѣ было нѣсколько тяжело не сдѣлать удовольствія, хотя А. . . . сама согласилась на мои причины. Я не переводилъ, какъ обыкновенно; читалъ Сенъ-Ламберта; голова моя была нѣсколько тяжела, я многое понималъ съ трудомъ, другаго не понималъ совсѣмъ; былъ невнимателенъ и досадовалъ на самого себя за это невниманіе, почиталъ себя

неспособнымъ ни къ какому вниманію, и чтеніе мое отъ этого становилось часъ отъ часу непріятнѣе. Потомъ сдѣлалъ свой экстрактъ. Во время чтенія завтракалъ; не знаю, не перемѣнило ли это нѣсколько моего расположенія; говорятъ, будто голова не такъ можетъ дѣйствовать во время пищеваренія... Послѣ обѣда тотчасъ взялся за книгу, не читалъ, а перебиралъ листы въ Сенъ-Ламбертѣ [Cathéchisme univ.], въ Томпсонѣ, въ Гесперѣ, въ Гервесѣ, въ Блумфильдѣ; потомъ, отбросивъ эти книги, взялъ въ руки Делилевъ переводъ Энеиды, прочелъ шестую пѣснь, безъ вниманія, безъ пріятности. Пришла матушка, говорила о строеніи, дѣлала разсчеты не весьма нужные и давно сю сдѣланные. Во время чтенія я имѣлъ глупость обременить свой желудокъ неспѣлыми яблоками, потомъ дынею, что произвело рѣзь въ животѣ. Немного спустя, постучавъ нѣсколько времени машинально на фортопіанахъ, я сѣлъ переводить; перевелъ три страницы изъ Дюкло и не совсѣмъ дурно. Кончивъ переводъ, пошелъ гулять уже съ другимъ пріятнѣйшимъ расположеніемъ; вечеръ сумрачный, однако не ненастный, пріятно на меня дѣйствовалъ, голова моя была нѣсколько свѣжѣе и способнѣе къ размышленіямъ.

Б. И ты не видишь причины своего неудовольствія на самого себя? Она однако жъ не совсѣмъ закрыта. Ты всталъ не въ обыкновенное время. Ты говорилъ въ то время, когда былъ съ своими, о постор(оннихъ) неинтер(есныхъ) вещахъ. Это, конечно, мало значитъ, но душа, будучи часто въ такихъ недѣятельныхъ состояніяхъ, въ какомъ твоя была въ это время, нечувствительно отъ нихъ грубѣетъ. Мнѣ кажется, можно бы было изъ всякой минуты выводить пользу, и ты могъ находить больше пріятности въ сихъ разговорахъ, если бы захотѣлъ принудить себя ко вниманію и дѣятельности; но ты лѣнивъ и многое упускаешь отъ нерадѣнія.

А. Какъ же пріучить себя къ дѣятельности? Какъ сдѣлаться нелѣнивымъ?

Б. Объ этомъ будемъ имѣть особенный разговоръ. Кончимъ разсматриваніе дня твоего. Отказъ, сдѣланный тобою А. . . . , хотя имѣетъ основ(ательныя) причины, однако оставилъ нѣчто непріятное въ твоихъ мысляхъ. Ты сперва было согласился, но послѣ отказалъ, не сдѣлавъ никакого предварительнаго разсужденія. Ты не умѣешь еще разсуждать, не наблюдаешь постепенность въ своихъ мыслихъ, не знаешь выводить порядочныя заключенія. Привычка этому научитъ, но должно хватать время, или опоздаешь. Нынѣшній твой отказъ не есть слѣдствіе разсужденія. Ты сперва рѣшился и потомъ началъ думать, для чего: итакъ, не можешь назвать своего поступка благоразумнымъ, потому что онъ не есть слѣдствіе благоразумія. Отчего ты читалъ безъ пріятности? Отъ невниманія и отъ напряженія понять читаемое, не обративъ на него всего вниманія. Сія неудача тебя огорчала, ты почиталъ себя непонятнымъ совершенно, и ошибался; ты былъ только въ эту минуту непонятенъ, потому что не имѣлъ вниманія и не былъ расположенъ ко вниманію: слѣдственно, всѣ непріятныя чувства твои произошли отъ неудачи. Итакъ, чтобъ быть веселымъ, надобно заниматься, но, чтобы занятіе было удачно, должно, чтобы оно было непринужденно; для этого надобно каждое занятіе согласовать со временемъ и расположеніемъ, не давая однако жъ себѣ слишкомъ воли. Напримѣръ, лѣнь надобно превозмогать. Лѣнь сама по себѣ тяжела и непріятна; желалъ бы ничего не дѣлать, но мысль, что пренебрегаешь свою должность, мучитъ тебя; то ли дѣло, когда получишь право сказать самому себѣ: теперь могу успокоиться.

А. Итакъ, мнѣ надобно знать, что, въ какое время и въ какомъ положеніи дѣлать. Если я нѣсколько разсѣянъ,—читать книги, просто занимательныя, романы, мелкихъ поэтовъ и тому подобное,

или рисовать, или заниматься какою-нибудь машинальною работою; а къ хорошемъ расположеніи приняться за что-нибудь важнѣйшее. Лучше всего каждое утро, разсмотрѣвъ себя, положить, что дѣлать въ тотъ день, чтобы не потерять его. Надобно наблюдать однакожъ, чтобы обыкновенная работа была всегда сдѣлана, отъ этого зависитъ расположеніе пріятное или непріятное остатка дня. Всегда надобно помнить, что я занимаюсь для пользы и для пріятности, а не поневолѣ.

Б. Твое принужденное чтеніе имѣло непріятное вліяніе на весь почти остатокъ дня. Въ этомъ положеніи ты хотѣлъ разбирать себя и видѣлъ въ себѣ все съ дурной стороны, не замѣчая, что въ эту минуту глазъ твой былъ невѣренъ. Надобно бы(ть) совершенно хладнокровнымъ, чтобы судить о чемъ-нибудь безъ предубѣжденія въ дурную или хорошую сторону. Сужденіе твое о самомъ себѣ въ такія мрачныя минуты не должно быть для тебя огорчительнымъ: ты не можешь себѣ вѣрить, ибо ты несправедливъ или неспособенъ быть справедливымъ. Когда будешь спокоенъ, беззаботенъ и нѣсколько пріучишься мыслить, разбери себя; этотъ разборъ необходимъ для предохраненія твоего отъ многихъ ошибокъ въ жизни. Но теперь не время, ибо ты еще лѣнивъ мыслить и не знаешь методы размышленія.

А. Какъ же научить себя мыслить?

Б. Я думаю, чтеніемъ и стараніемъ не упускать ни одного способнаго случая къ размышленію. Ты долженъ побѣдить для этого свою лѣнь, которая мѣшаетъ тебѣ и мыслить, и дѣлать. Она, можетъ быть, есть одинъ изъ главныхъ пороковъ твоего характера. Она не допуститъ тебя до дурнаго, но также и до хорошаго, которое требуетъ дѣятельности. Лѣнь есть привычка души къ бездѣйствію. Какъ же ее уничтожить? Пріучить душу дѣйствовать, какъ можно чаще, не откладывая. Пріучаясь къ одному, она отвыкнетъ отъ другаго. Это будетъ великимъ шагомъ; сперва покажется труднымъ, мало по малу облегчится; сперва будешь чувствовать одну непріятность, потомъ меньше, меньше, и, наконецъ, всѣ непріятности исчезнутъ—останется дѣятельность. Только не теряй бодрости, и все далѣе.

5-е августа. **А.** Можетъ быть, въ декабрѣ поѣду въ Петербургъ съ И. П. Тургеневымъ. Это путешествіе пріятно, потому что оно доставитъ мнѣ случай много видѣть такого, о чемъ не имѣю еще идеи; можетъ быть, узнаю нѣсколько больше общество; не бездѣлица видѣть одинъ изъ лучшихъ театровъ, слышать прекрасныхъ пѣвицъ и пѣвцовъ, посѣщать кабинеты картинъ, статуй и прочее; однимъ словомъ, съѣздивъ въ Петербургъ, запасусь, можетъ быть, многими идеями для своего уединенія.

Б. Но, чтобы съ пользою съѣздить въ Петербургъ, надобно быть для него готовымъ. Чтобы видѣть съ прямымъ удовольствіемъ кабинеты скульптуры и живописи, надобно знать что-нибудь о томъ и о другомъ, надобно имѣть понятіе о россійской исторіи, умѣть судить о театрѣ. Теперь ты ничего этого не имѣешь. Какъ же себѣ поможешь?

А. Если не могу получить всей пользы, то по крайней мѣрѣ получу одну часть ея: могу читать исторію на мѣстѣ, она больше впечатлѣется въ моей памяти. Читая трактаты о живописи, скульптурѣ и драматическомъ искусствѣ, буду имѣть случай повѣрять мысли, почерпнутыя мною изъ книгъ, впечатлѣніями, которыя буду имѣть въ кабинетахъ и театрѣ. И этой выгоды довольно.

Б. Хорошо. Но что ты сдѣлаешь, если представится тебѣ случай войти выгодно въ службу?

А. Объ этомъ надобно подумать хорошенько. Надобно рѣшиться; сдѣлать планъ своей жизни, планъ вѣрный и постоянный.

Б. Спроси у самого себя, чего ты желаешь въ жизни, чего будешь искать и что найти способенъ. Можетъ быть, это

всегдашнее безпокойство, которое тебя волнуетъ, есть слѣдствіе твоей нерѣшимости: ты еще не знаешь, чего желать и къ чему стремиться, идешь не по дорогѣ, потому что еще не видишь дороги. Первое—что ты разумѣешь подъ словомъ: служить?

А. Разумѣю дѣйствовать для пользы отечества и своей собственной, такъ чтобы послѣдняя была не противна первой.

Б. Хорошо; по степени пользы, которую можешь дѣлать, служа, не одинаковы. Ты долженъ быть долго орудіемъ, исполнителемъ чужой воли, чтобы получить наконецъ свою волю дѣйствовать. Есть мѣста такія, въ которыхъ ты можешь совсѣмъ не дѣйствовать или, что все равно, дѣйствовать безполезнымъ образомъ. Сіи мѣста могутъ быть предметомъ твоихъ желаній развѣ только потому, что служатъ лѣстницею къ высшимъ и полезнѣйшимъ; но, чтобы возвыситься, ты долженъ имѣть покровителей или найти ихъ, чего совсѣмъ не умѣешь сдѣлать: для сего нужны гибкость, проворство, умъ, осторожность, прилежность, или необыкновенныя, замѣтныя достоинства. Все это не твое дѣло! Къ тому жъ, если счастье тебѣ и послужитъ, то на что тебѣ важное достоинство? Ты возьмешь на себя такую обязанность, которой, конечно, не будешь умѣть исполнить, не имѣя способностей публичнаго человѣка, способностей дѣйствовать на общество, быть полезнымъ въ большомъ кругѣ своею дѣятельностію, своими обширными видами, способностію обнимать множество частныхъ пользъ вмѣстѣ и составлять изъ нихъ общую пользу. Польза есть цѣль службы; кто неспособенъ къ ней достигнуть, тотъ не служи и выбери для себя кругъ тѣснѣйшій, цѣль ближайшую и вѣрнѣйшую. Служить для чина хорошо тому, кто видитъ въ чинѣ усовершенствованіе собственнаго бытія своего, кто безъ наружнаго величія малъ и нипокъ, кто долженъ быть чѣмъ-нибудь передъ людьми, потому что ничто передъ собою. Большой чинъ связанъ съ большими обязанностями: ты не можешь исполнить ихъ въ совершенствѣ. Искать малаго чина есть трудъ совершенно безполезный. Служить для собственной выгоды—есть отдѣлять ее отъ общей, думать о корысти, а не о чести; къ тому жъ и для одной собственной выгоды надобно имѣть чинъ важный, мѣсто такое, съ которымъ бы соединялось великое вліяніе на общество.

1805.

13-го іюня. § 1. Даже говоря правду, надобно быть нѣсколько скрытнымъ, то-есть надобно правдѣ, самой непріятной, давать такой образъ, которой бы не могъ отвратить отъ нея того человѣка, которому ее предлагаешь. Иначе она несомнѣнно потеряетъ свое дѣйствіе и будетъ нѣкоторымъ образомъ брошена на поруганіе. Говорить истину съ грубостію и жестокостію, которыми хвалились стоики, есть нѣкоторымъ образомъ непозволенное самохвальство, совершенно противное той пользѣ, которую принести хочешь, и показывающее одинъ только эгоизмъ, сокрытый подъ маскою правдолюбія. Сверхъ того, никто не позволитъ себя учить: это противно самолюбію, слѣдовательно безполезно, потому что недѣйствительно. Учи людей такимъ тономъ, какъ будто бы отъ нихъ самъ желаешь научиться. Заставь ихъ самихъ сказать то, что бы желалъ сказать имъ. Говорить правду другу другое дѣло.

§ 2. Главная обязанность человѣка есть быть честнымъ. Счастіе, наслажденія, чувствительность, твердость характера и пр. и пр. зависятъ болѣе отъ темперамента и обстоятельствъ; честность, зависитъ отъ него самого.

§ 3. Къ началу генваря или марта 1806-го года я долженъ выплатить половину теперешняго своего долга и положить за правило болѣе не дѣлать долгу ни на полушку, не брать ни у кого денегъ, кромѣ тѣхъ, которыя получу отъ

Антонскаго для путешествія. Путешествовать 3 года, съ половины 1806-го до половины 1809-го года. Возвратясь, начать выдавать журналъ; продолжать это изданіе четыре года, въ которые выплатить весь свой долгъ. Потомъ приняться за какую-нибудь важную работу, такую, которая бы принесла пользу и сдѣлала бы меня болѣе извѣстнымъ въ литературѣ. Если жъ не поѣду путешествовать, то къ концу 1806-го года расквитаться со всѣмъ своимъ долгомъ; взять съ нач(ала) 1807-го года изданіе журнала; выдавать его четыре года, нѣкоторую часть денегъ проживать, другую откладывать, а по окончаніи журнала, какъ сказано, приняться за что-нибудь важное и посвятить себя совершенно литературѣ. Въ продолженіе четырехъ лѣтъ изданія журнала могу скопить и отложить тысячи четыре [заплатя и долгъ], которыя съ моимъ теперешнимъ капиталомъ составятъ 11 тысячъ; отдавъ ихъ въ Восп(итательный) домъ, буду получать 500 рублей годоваго дохода, вѣрнаго, чистаго, къ которому всякой годъ могу присоединять работою 500 рублей. Откладывая по тысячѣ на годъ, въ десять лѣтъ могу имѣть двадцатитысячный капиталъ, или вѣрный доходъ по тысячѣ рублей на годъ.

Вотъ мой планъ; сбудется ли онъ, не знаю. Съ моей стороны я долженъ употребить для его исполненія прилежность, постоянное терпѣніе, расчетливую бережливость и умѣренность въ образѣ жизни. Но въ продолженіе этого времени можетъ быть столько перемѣнъ! И какихъ перемѣнъ! Счастливыхъ ли, несчастливыхъ ли?—какъ знать! Но я не требую слишкомъ многаго. Хочу спокойной, невинной жизни. Желаю не нуждаться. Желаю, чтобы я и матушка были не несчастны, имѣли все нужное. Хочу имѣть нѣкоторыя удовольствія, возможныя всякому человѣку, бѣдному и богатому, удовольствія отъ занятій, отъ умѣренной, но постоянной дѣятельности, наконецъ отъ спокойной, порядочной семейственной жизни. Почему бы этому не исполниться? Проведя три года въ путешествіи, въ свободѣ самой неограниченной, возвращусь домой, начну трудиться, трудомъ получать свое пропитаніе и имѣть удовольствіе; чтеніе, садоводство и—если бы далъ Богъ—общество вѣрнаго друга или вѣрной жены будутъ моимъ отдохновеніемъ. Иногда, въ положенное время, буду ѣздить въ Москву, если не переселюсь въ нее совершенно, для свиданія съ знакомыми или для дѣлъ своихъ и проч. Избави меня, Боже, отъ большихъ несчастій, и я не буду искать большаго счастія! Спокойная, невинная жизнь, занятія, для меня и для другихъ полезныя или пріятныя, дружба, искренная привязанность къ моимъ ближнимъ друзьямъ и наконецъ, если бы было можно, удовольствіе нѣкоторыхъ умѣренныхъ благодѣяній — вотъ всѣ мои требованія отъ Провидѣнія!

§ 4. Каковъ я? Что во мнѣ хорошаго? Что худаго? Что сдѣлано обстоятельствами? Что природою? Что можно пріобрѣсть и какъ? Что должно исправить и какъ? Чего не можно ни пріобрѣсть, ни исправить [то-есть, есть ли что во мнѣ такое]? Какое счастіе мнѣ возможно по моему характеру? Вотъ вопросы, на рѣшеніе которыхъ должно употребить нѣсколько [много] времени. Они будутъ рѣшаемы мало-по-малу, во все продолженіе моего журнала.

§ 5. *1 іюля 1805, въ вечеру.* Я нынче въ какомъ-то пріятно-уныломъ расположеніи. Не думая ни о чемъ, задумчивъ. Мнѣ пріятно было смотрѣть на отдаленія, покрытыя вечернею тѣнью. Эта неясность и отдаленность всегда имѣетъ трогательное вліяніе на сердце: видишь, кажется, будущую судьбу свою неизвѣстную, но не совсѣмъ незнакомую. Какое-то тайное предчувствіе говоритъ о ней и обнаруживаетъ ее неявственно за прозрачнымъ занавѣсомъ. Ничего не можетъ быть пріятнѣе этихъ трогательныхъ минутъ, когда сердце полно — чѣмъ? не знаешь! Все тогда дѣйствуетъ на тебя

гораздо живѣе. Глядишь съ чувствомъ на небо; хотѣлъ бы всякую минуту броситься на колѣна! Любишь Бога, то-есть сильно Его чувствуешь. Въ минуту счастія и внутренняго наслажденія, которое одно можетъ назваться счастіемъ, находишь себя гораздо добрѣе, готовѣе на все прекрасное и необыкновенное. Вспоминаешь о прошедшемъ съ нѣкоторою сладкою меланхоліею. Жизнь представляется въ самомъ привлекательномъ видѣ, потому что сильно ее чувствуешь; всѣ почти предметы пріятны, потому что наша чувствительность, въ ту минуту слишкомъ наполняющая сердце, на нихъ изливается и украшаетъ ихъ въ глазахъ нашихъ. Все измѣняется вмѣстѣ съ нами: все прекрасно, когда наша душа въ своемъ натуральномъ расположеніи, довольна и спокойна; все мрачно и непріятно, когда душа наша въ волненіи, въ борьбѣ съ собою, въ неудовольствіи. Счастіе не иное что, какъ сіе тихое, ясное состояніе наше, продолженное на всю жизнь или по крайней мѣрѣ на большую часть жизни. Итакъ, оно не совершенно зависитъ отъ посторонннихъ вещей, которыя, однако, не могутъ не имѣть на него вліяніе. Душа человѣческая сперва образуется вліяніемъ окружающихъ ее предметовъ, потомъ уже сама имѣетъ на нихъ вліяніе, то-есть, нѣсколько времени бываетъ страдательною, потомъ дѣлается дѣйствительною, получитъ постоянный, твердый образъ. Но и въ семъ своемъ положеніи она остается въ зависимости отъ внѣшняго, хотя имѣетъ уже свою силу и волю. Здоровье тѣла, достатокъ или недостатокъ въ необходимыхъ потребностяхъ и удовольствіяхъ жизни, пріятность или непріятность воздуха, обстоятельства попеременно дѣлаютъ на нее впечатлѣнія: отъ нея только зависитъ принимать ихъ съ большею или меньшею чувствительностью, или, справедливѣе сказать, исправлять сіи впечатлѣнія.

§ 6. *Іюля 4-го.* Вчера и нынче я думалъ о своемъ характерѣ. Не знаю точно, какъ опредѣлить его. Я очень мало размышлялъ въ связи, и думаю, что еще долго порядочно размышлять не буду. Безъ размышленія себя не узнаешь; не познавъ себя, не исправишь своихъ недостатковъ. Буду замѣчать себя по частямъ, и потомъ изъ сихъ частныхъ замѣчаній сдѣлаю общее заключеніе.

§ 7. Безъ размышленія, кажется мнѣ, нельзя быть чувствительнымъ. Что такое чувствительный человѣкъ,—я говорю не горячій, не вспыльчивый, что иногда есть не иное что, какъ эгоизмъ, который все къ себѣ относитъ и всѣмъ, только къ нему близкимъ, трогается? Такой человѣкъ, который въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ и случаяхъ очень быстро все объемлетъ, въ которомъ натуральное чувство служитъ вмѣсто размышленія, который видитъ результатъ вещи, не сдѣлавъ по формѣ разсужденія. Быстрота, ясность ума, которыхъ дѣйствіе однако жъ противно дѣйствію простаго, методическаго размышленія, живѣе, сильнѣе и прочнѣе. Впрочемъ, объ этомъ надобно подумать хорошенько.

§ 8. *Іюля 9-го.* Что со мною происходитъ? Грусть, волненіе въ душѣ, какое-то неизвѣстное чувство, какое-то неясное желаніе! Можно ли быть влюбленнымъ въ ребенка? Но въ душѣ моей сдѣлалась перемѣна въ разсужденіи ея! Третій день грустенъ, уныль. Отчего? Оттого, что она уѣхала! Ребенокъ! Но я себѣ ее представляю въ будущемъ, въ то время, когда возвращусь изъ путешествія, въ большемъ совершенствѣ! Вижу ее не такою, какова она теперь, но такою, какова она будетъ тогда, и съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ это себѣ представляю. Это чувство родилось вдругъ, отъ чего — не знаю; но желаю, чтобы оно сохранилось. Я имъ наполненъ, оно заставляетъ меня мечтать, воображать будущее съ нѣкоторымъ волненіемъ; если оно усилится, то сдѣлаетъ меня лучшимъ, надежда или желаніе получить это счастіе заставитъ меня думать о усовершенствованіи своего характера; мысль о томъ, что меня

ожидать дома, будетъ поддерживать и веселить меня во время моего путешествія. Я былъ бы съ нею счастливъ конечно! Она умна, чувствительна, она узнала бы цѣну семейственнаго счастія и не захотѣла бы свѣтской разсѣянности. Но можетъ ли это быть? К. А., если не ошибаюсь, дала мнѣ что-то предчувствовать. Но родные? Можетъ быть, они этому будутъ противиться? Кто жъ родные? Одинъ В. и одна М.! Неужли для пустыхъ причинъ и противорѣчій гордости К. А. пожертвуетъ моимъ и даже ея счастіемъ, потому что она конечно была бы со мною счастлива: моя первѣйшая цѣль есть наслажденіе семейственною жизнію; я бы нашелъ или сталъ бы искать средства ею наслаждаться; я бы не сталъ терять въ суетныхъ, ничтожныхъ исканіяхъ драгоцѣнной жизни: литература была бы моимъ занятіемъ, любовь жены и любовь къ ней, самая нѣжная и спокойная, отдохновеніемъ; спокойствіе и счастіе окружающаго меня счастіемъ, наградою. Родные меня конечно бы не отяготили; я бы сталъ жертвовать имъ малѣйшею частію своего времени, и то для разсѣянія. Я бы былъ счастливъ дома, съ моею женою, съ К. А., съ моими ближайшими: тогда бы дѣятельность моя увеличилась, я имѣлъ бы тѣсныя связи, я зналъ бы, что любимъ прямо и имѣю право на любовь сію, то-есть могу считать ее не милостію, но отвѣтомъ на мою любовь, послѣдствіемъ моей любви. Мнѣ кажется, что я ревнивъ; это есть слѣдствіе подозрительности въ характерѣ, эгоизма, который все къ себѣ относитъ. Научившись любить жену для нея, не исключительно для себя, отучусь отъ ревности: любя жену, будешь любить и всѣ ея удовольствія, слѣдовательно не ограничишь ее однимъ безпрестаннымъ къ себѣ вниманіемъ, дашь ей свободу, видя, что всегда и всему предпочтенъ ею. Все, что на минуту отвлекаетъ ея мысли отъ тебя, не есть ни холодность, ни измѣна, но простая, всѣмъ естественная, разсѣянность, простое желаніе всѣмъ пользоваться. Неужели всякую минуту можно занимать кого-нибудь собою? Итакъ, должно одинъ разъ навсегда увѣриться, что любимъ искренно и передъ всѣмъ предпочтительно, и быть спокойнымъ. Удерживать жену принужденіемъ, когда не могъ привязать ее къ себѣ любовію, почитаю безумствомъ. Довѣренность, совершенная довѣренность и уваженіе къ своему другу, вотъ главныя подпоры супружескихъ связей: излишнія требованія ихъ ослабляютъ, потому что дѣлаютъ ихъ тягостными; они производятъ притворство или по крайней мѣрѣ принужденіе. Ревнивый любитъ только для себя; онъ хочетъ всякую минуту занимать собою, всякую минуту быть присутственнымъ, что не натурально и не можетъ не быть тягостнымъ, если сдѣлается принужденнымъ. Ревность причиняетъ то, чего боится. Какъ же отучить себя отъ ревности? Я разумѣю здѣсь неосновательную ревность. Та, которая имѣетъ причину и оправдывается поступками любимаго человѣка, есть натуральное слѣдствіе любви и неотвратима. Я говорю о той, которая происходитъ отъ безпокойнаго, подозрительнаго характера, который все увеличиваетъ или представляетъ въ черномъ видѣ. Думаю не инымъ чѣмъ отучить, какъ размышленіемъ, какъ искорененіемъ самымъ скорымъ всякаго безпокойнаго чувства при его рожденіи, какъ безпрестаннымъ увѣреніемъ себя въ любви милаго человѣка, неспособнаго быть вѣроломнымъ, какъ безпрестаннымъ желаніемъ и стараніемъ сдѣлаться еще любезнѣе, довѣренностію и откровенностію. Упреки и укоризны отдаляютъ; присмотръ и подозрѣніе тягостны; требованія возбуждаютъ принужденность; безпокойство и мнительность безполезны, когда нѣтъ зла, и конечно не отвратятъ его, когда оно должно быть. Люби, чтобы быть любимымъ, и будь совершенно спокоенъ, ибо ничто не отвратитъ несчастія, когда любовь его отвратить не въ состояніи. Итакъ, самое лучшее средство противъ женской невѣрности есть любовь и желаніе нравиться.

А лѣкарство отъ ревности есть увѣреніе, что она совершенно безполезна и только что мучительна. Надобно быть только увѣреннымъ, что все сдѣлалъ для пріобрѣтенія любви.

§ 9. *Іюля 10-го.* То, что я себѣ предназначаю въ жизни, кажется, можетъ назваться благоразумнымъ. Спокойную, но дѣятельную жизнь человѣка, упражняющагося въ наукахъ. Польза, какую бы я могъ принести службою, не можетъ сравниться съ тою пользою, какую принесу, если буду дѣятеленъ своими трудами по той части, которая ко мнѣ ближе. Одна часть моего времени должна быть посвящена собственному моему образованію, то-есть образованію моего ума, характера, безъ чего не буду совершенно счастливъ ни одинъ, ни въ своемъ семействѣ. Вдругъ это сдѣлаться не можетъ, но исподоволь, постепенно, какъ увѣряетъ Плутархъ: буду замѣчать за собою, это самое замѣчаніе будетъ нѣкоторымъ образомъ исправленія, потому что сдѣлаетъ внимательнымъ къ самому себѣ и слѣдственно осторожнымъ. Однимъ изъ лучшихъ слѣдствій моего вояжа должно быть преобразованіе моего характера: я буду совершенно свободенъ, слѣдовательно, буду имѣть больше возможности обращать на себя вниманіе. Не должно только отвращаться трудностію, и хотя мало, но все подвигаться впередъ. Итакъ, цѣль моей жизни должна быть дѣятельность, но такая дѣятельность, которая мнѣ возможна: дѣятельность въ литературѣ, или возможное извлеченіе пользы изъ авторскихъ моихъ талантовъ; дѣятельность въ образованіи моего характера; дѣятельность въ поддержаніи моего состоянія; дѣятельность въ составленіи счастія моего семейства, если его имѣть буду, и въ исполненіи общественныхъ условій.

§ 10. На сихъ дняхъ говорили за столомъ о какомъ-то человѣкѣ, который живетъ прекрасно. Что жъ называютъ прекрасною жизнію? То, что объ немъ всѣ говорятъ, что со всѣхъ сторонъ къ нему сбираются, что всѣ любопытствуютъ видѣть, какъ онъ живетъ, и прочее! Этого довольно, чтобы увѣриться, что онъ живетъ не прекрасно или, справедливѣе, несчастливо. Требуетъ ли счастіе свидѣтелей? Оно въ сердцѣ, въ тихомъ, спокойномъ наслажденіи самого себя, происходящемъ отъ порядка въ дѣлахъ, отъ невинности души, отъ занятій пріятныхъ и постоянныхъ, отъ способности быть съ самимъ собою или съ своими любезнѣйшими, что все равно. На что же тутъ свидѣтели, которымъ все это незнакомо, или которыхъ большей части незнакомо? Сверхъ того толпа, сбирающаяся къ человѣку съ любопытнымъ желаніемъ видѣть, какъ онъ живетъ, есть безъ сомнѣнія толпа любопытныхъ, которыхъ скука или бездѣйствіе гонятъ изъ мѣста въ мѣсто, которые не знаютъ, какъ убить свое время, и похищаютъ его у другихъ, по большей части столь же разсѣянныхъ и не занятыхъ. Какъ могутъ они судить о счастіи и можно ли имъ вѣрить? Человѣкъ, истинно счастливый, такъ незамѣтенъ, что его не увидитъ глазъ любопытнаго, но празднаго человѣка, не знающаго цѣны тихаго, сердечнаго, единственнаго счастія. Побѣжитъ ли толпа удивляться счастію не блестящему, счастію, которое зависитъ не отъ наружности, но отъ причинъ постоянныхъ и невидимыхъ, отъ спокойствія, устройства семейственнаго, отъ мирной души? Все это не возбуждаетъ любопытства! Одинъ, два друга могутъ раздѣлить и видѣть это счастіе, и сего довольно: многочисленная толпа его уничтожитъ, потому что нельзя дѣлить его со множествомъ, не измѣнивъ и не унизивъ.

§ 11. Читая всякую книгу, надобно обращать вниманіе на себя, все примѣнять къ себѣ. Говорить: способенъ ли я къ такой добродѣтели? имѣю ли такой порокъ? какъ пріобрѣсть первую? какъ уничтожить послѣдній? Всякое чтеніе должно имѣть цѣлію образованіе нашего характера, иногда одно удовольствіе. Но удовольствіе развѣ не есть польза? Я говорю, благородное удовольствіе.

§ 12. Всякой моралистъ предлагаетъ читателю въ самомъ совершенномъ видѣ то, что служитъ основаніемъ собственныхъ его поступковъ. Онъ открываетъ свою тайну, говоритъ: такъ я поступалъ и былъ счастливъ; послѣдуй мнѣ. Всякой моралистъ на словахъ есть лжецъ, лицемѣръ, самолюбивый остроумецъ, желающій прельщать своею маскою. Будь добрымъ, научись или по крайней мѣрѣ желай тому слѣдовать, что хочешь предложить въ примѣръ обществу, и бери перо въ руки безъ зазрѣнія совѣсти. Надобно быть добродѣтельнымъ или желать быть, чтобы учить добродѣтели съ успѣхомъ.

§ 13. Что такое зависть? Несправедливость, самолюбіе, которое не терпитъ въ другихъ того, чего въ себѣ не находитъ, низость, желающая все унизить, чтобы сравнить съ собою. Какое отъ нея лѣкарство? Увѣреніе, что все прекрасное, даже въ самыхъ нашихъ непріятеляхъ, должно быть прекрасно для души благородной; что горестно не радоваться тѣмъ, что всѣхъ радуетъ; что скорѣе приближишься къ тому совершенству, которое тебя опечаливаетъ, признавъ его и почувствовавъ, а не унизивъ и, слѣдовательно, не обезобразивъ въ глазахъ своихъ. Всякое непріятное чувство зависти должно искоренять въ ту самую минуту, когда оно рождается, заглушивъ его, такъ сказать, мыслію о совершенствѣ и прелести того, чему завидуешь, и забвеніемъ своего собственнаго несовершенства, которое надлежитъ съ нимъ сравнивать въ увѣреніи, что къ нему возвысишься, въ твердой рѣшимости на это: словомъ, зависть должно преобращать въ соревнованіе или, если соревнованіе не можетъ имѣть мѣста, въ искреннее пріятное удивленіе. Время все сдѣлаетъ!

§ 14. Какъ опредѣлить характеръ К...? Я его не знаю и не могъ знать. Будучи съ нимъ знакомъ до его женитьбы, я не старался узнавать его, вѣрилъ слухамъ о его свойствахъ, которые всѣ благопріятны и не опровержены никакимъ противорѣчіемъ; однако я не повѣрялъ сихъ слуховъ своимъ собственнымъ наблюденіемъ, слѣдствіе лѣности моего ума, который не пріученъ къ дѣйствію, хотя всегда чувствовалъ, будучи съ нимъ вмѣстѣ, нѣкоторую скуку и принужденность. Слѣдовательно, я никогда не былъ съ нимъ другомъ, нижѐ короткимъ пріятелемъ, и это также есть слѣдствіе моей лѣности, которая препятствовала мнѣ входить въ разборъ его свойствъ, а заставляла полагаться, безъ розыскапія, на мнѣніе объ немъ свѣта. Нельзя быть другомъ всякаго, впрочемъ достойнаго, человѣка. Дружба есть слѣдствіе особенной склонности душевной, сходства, если не во всѣхъ чувствахъ, то по крайней мѣрѣ въ образѣ чувствовать. Я не увѣрялъ его въ своей сердечной дружбѣ; говорилъ однако жъ, что его люблю; это и правда, но только отчасти, то-есть я люблю его такъ, какъ можно любить человѣка, прямо честнаго, благороднаго, не способнаго ни къ какой низости, но также не способнаго и къ дружбѣ, или по крайней мѣрѣ къ дружбѣ со мною. Его несходство со мною, наша съ нимъ принужденность, неоткровенность [въ которыхъ мы явно ни другъ другу, нижѐ самимъ себѣ,—по крайней мѣрѣ я,—не признавались], однимъ словомъ это не знаю что, неизъяснимое, но очень важное въ дружбѣ, тому препятствуетъ. Итакъ, отказываюсь отъ его дружбы. Разсмотримъ, каковъ онъ самъ въ отношеніи къ другимъ, къ своей женѣ, потомъ положимъ постоянное правило, по которому должно съ нимъ обходиться, чего искать въ его знакомствѣ, каковъ онъ теперь со мною, и прочее. Объ этомъ послѣ.

§ 15. *Іюля 16.* Можно сомнѣваться въ истинѣ религіи; этому многіе подвержены; я въ ней не утвержденъ, потому что не знаю или, лучше сказать, не чувствовалъ: то, что я объ ней слышалъ, чему меня учили ребенкомъ, не есть религія, но пустыя слова безъ смысла и безъ дѣйствія. Религія требуетъ сердца.

J'ai pleuré et j'ai cru, говоритъ Шатобріанъ, и иначе нельзя повѣрить, какъ въ слезахъ, въ восторгѣ. Умъ не твердъ, перемѣнчивъ въ своихъ рѣшеніяхъ: что онъ положитъ нынче, то перемѣнитъ завтра, потому что онъ ограниченъ, что ошибаться есть его натура. Кто любитъ своего друга, кто его чувствуетъ, тотъ въ немъ увѣренъ не размышленіемъ, а чувствомъ, которое дальновиднѣе и постояннѣе размышленія, потому что впечатлѣнія его сильны, неизгладимы: я не много люблю того человѣка, котораго добродѣтель долженъ доказать себѣ размышленіемъ; онъ не первый другъ моего сердца, не братъ мой, не первый любимецъ моей души. Такова вѣра. Въ ней твое счастіе, подпора. Можно ли поручить ее непостоянству разсудка, который такъ холоденъ и медлителенъ? Почувствуй ея необходимость, ея спокойство, ея великость, ея счастіе, и повѣришь, несмотря на недоумѣнія разсудка. Я еще не имѣю и не могъ имѣть сей вѣры. Она есть слѣдствіе долгаго разсматриванія природы и самого себя и увѣреніе въ ничтожности твари, въ милосердіи Творца: я еще не старался пріобрѣсть сего увѣренія и по сію пору былъ на другой дорогѣ. Что будетъ, я не знаю; но должно стараться сдѣлать себя счастливымъ: это есть законъ натуры. А вѣра есть вѣрнѣйшее средство его исполнить. Кто бранитъ религію или обнаруживаетъ къ ней свое неуваженіе въ присутствіи людей, ее почитающихъ, дѣлаетъ то же, что человѣкъ, который въ присутствіи сына бранитъ его мать.

§ 16. *Іюля 16.* Нынче я былъ у барона. Что объ немъ надобно думать, это напишу послѣ: мои мысли еще не готовы; надобно сдѣлать больше замѣчаній по частямъ, потомъ сдѣлать какое-нибудь общее заключеніе. Съ нимъ пріятно быть, потому что онъ не оставляетъ ума въ бездѣйствіи, будучи самъ очень умнымъ человѣкомъ. Я не имѣлъ еще никогда съ нимъ этой сердечной, сладкой искренности, épanchement du coeur, но я съ нимъ довольно свободенъ, довольно живъ, потому что нахожу пріятность говорить съ нимъ, и говорю о такихъ предметахъ, которые заставляютъ меня больше думать, приводятъ мысли мои въ нѣкоторое напряженіе. Мнѣ кажется только [можетъ быть, я ошибаюсь, и желаю, чтобы ошибался], что во всемъ томъ, что онъ говоритъ, напримѣръ, о добродѣтели, о религіи, о морали, заключается больше ума, нежели чувства; онъ доказываетъ умомъ, складными словами; но, слушая его, остаешься спокойнымъ, не тронутымъ въ сердцѣ, хотя занятымъ въ умѣ, ибо всѣ его мнѣнія или справедливы или показываютъ умъ; но они только мнѣнія, доказательства, не чувства; однимъ словомъ, въ его разговорахъ нѣтъ чего-то привлекательнаго: онъ ораторъ, который хорошія мысли предлагаетъ въ складныхъ, гармоническихъ фразахъ. Мы говорили о религіи, о Шатобріанѣ, котораго онъ называетъ великимъ [я еще не читалъ Génie du christianisme]. Дѣло дошло до метафизики. Онъ цитовалъ какого-то мистическаго автора, который въ нашей душѣ полагаетъ двѣ разныя стороны: одну чувственную, только принимающую впечатлѣнія чувствъ и имъ исключительно подверженную; другую умственную, разсуждающую, противящуюся усиліямъ души чувственной, а иногда [или очень часто] ей уступающую. Я напротивъ думаю, что душа есть то средоточіе, къ которому скопляются всѣ впечатлѣнія, черезъ тѣлесныя чувства получаемыя; что она объ нихъ судитъ, по нимъ дѣйствуетъ, по нимъ такъ или иначе заключаетъ. Это не значитъ, чтобы сама душа была матеріальная; это показываетъ только то, что она соединена тѣсно съ нашимъ тѣломъ, котораго всѣ впечатлѣнія до нея доходятъ и служатъ, такъ сказать, матеріалами ея умственныхъ зданій. Размышленіе есть слѣдствіе ощущенія: безъ него оно быть не можетъ такъ же точно, какъ строеніе безъ матеріаловъ. Но это еще не значитъ, чтобы способность размышлять была

результатомъ чувственныхъ впечатлѣній; они только приводятъ ее въ дѣйствіе; безъ нихъ она бездѣйственна. Способность мыслить есть даръ природы, есть душа, не тѣлесная, безсмертная; умъ есть сія способность образованная, приведенная въ совершенство тѣми многократными дѣйствіями, которыя въ ней были производимы впечатлѣніями чувства. Душа во всякомъ человѣкѣ должна быть одна, потому что она есть существо безтѣлесное, проистекающее отъ одного источника, отъ Бога, но ея образованіе [происходящее отъ различія организаціи тѣла, въ соразмѣрности съ которымъ она получаетъ и различныя впечатлѣнія, даже одни и тѣ же впечатлѣнія, различно съ другими душами] не одинаково. Итакъ, причины разнообразности умовъ должно искать въ разнообразности тѣлеснаго строенія, и главная должность человѣка есть управлять посредствомъ ума чувственными впечатлѣніями или даже преобразовать ихъ, и прочее и прочее. — У насъ теперь Марья Ивановна Протасова. Какъ пріятно ее слушать; нѣтъ ничего особеннаго въ ея разговорѣ, но умъ все украшаетъ. Б—а, которая у насъ была, казалась не на своемъ мѣстѣ, связанною. Надобно умѣть владѣть собою, привыкнуть къ этому, привыкнуть побѣждать всякое чувство зависти въ ту же минуту, въ которую оно родится, чтобы не быть несчастнымъ въ присутствіи тѣхъ людей, которые насъ выше, т. е. выше умомъ, достоинствами. М. И. была ей въ тягость. Она тотчасъ уѣхала. Несмотря на то, женщина, кажется, почтенная, хотя не особенная. Говорили у барона за столомъ о смиреніи, то-есть о такомъ качествѣ человѣка, которое не допускаетъ его величаться своими достоинствами, а только относить ихъ къ Богу. Взглянувъ на картины, висѣвшія на стѣнѣ, на которыхъ написанъ домъ одного дяди баронова, знатнаго человѣка, я сказалъ, что баронъ не забываетъ старыхъ друзей своихъ: эти картины видѣли въ другомъ его домѣ, маленькомъ, тѣсномъ. Это слово заставило барона сказать нѣсколько фразъ въ похвалу своего смиренія; онъ, можетъ быть, вообразилъ, что я приношу его чванству это выставленіе картинъ, изображающихъ большіе домы большаго господина и его дяди. Онъ сказалъ, что не самъ желалъ имѣть ихъ на стѣнѣ своей, что получилъ, кажется, отъ тещи, что сохраняетъ изъ уваженія къ ней, и прочее и прочее. Всему этому вѣрю; но для чего это говорить, для чего бояться, чтобы меня не почли человѣкомъ тщеславнымъ и суетнымъ, когда я въ самомъ дѣлѣ ни тщеславенъ, ни суетенъ? Это опасеніе неприлично христіанину, показываетъ одно самолюбіе, безпокойное и робкое. Что нужды христіанину до мнѣнія, особливо до мнѣнія молодаго человѣка? Какъ много неосновательности въ самыхъ умныхъ людяхъ.

§ 17. *Іюля 17.* Я смотрѣлъ на небо съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ: воображалъ безсмертіе! Какъ тотъ счастливъ, кто всегда имѣетъ передъ собою сію великую идею, кто нашелъ ее душою, въ комъ она запечатлѣлась неизгладимо! Сія увѣренность въ тлѣнности земныхъ вещей не есть ли тайное, врожденное въ человѣка доказательство безсмертія? Кто жалѣетъ о мертвомъ, жалѣетъ объ одномъ себѣ: если бы онъ воображалъ своего потерянаго друга жертвою ничтожности, онъ бы ужаснулся, и порадовался внутренно тому, что онъ еще живетъ и чувствуетъ. Но мы говоримъ о тѣхъ, кого мы лишились: я его не увижу! Не есть ли это въ отношеніи къ себѣ, а не къ нему? Кто можетъ быть несчастливъ, вѣря безсмертію? Что онъ теряетъ въ жизни, которая сама ничто, которой потерею должно радоваться, потому что она приближаетъ насъ къ нашей великой цѣли! Какая судьба! Безсмертіе, вѣчное, радостное бытіе, котораго подобіе находимъ здѣсь въ духовныхъ наслажденіяхъ! Что жъ насъ сдѣлаетъ способными наслаждаться безсмертіемъ, какъ не сія привычка, здѣсь, въ этой жизни, къ мыслямъ, къ чувствамъ благороднымъ;

они образуютъ душу, возвышаютъ ее и предаютъ безсмертію въ новомъ прелестномъ видѣ. Ахъ, если бы это чувство укоренилось въ душѣ моей! Какъ бы всѣ несчастія были передо мною слабы! Можетъ ли быть то ложно, что такъ возвышаетъ душу, и можетъ ли та душа быть не безсмертна, которая такъ можетъ возвышаться! Я начинаю больше мыслить, слѣдственно дѣлаюсь способнѣе къ своему усовершенствованію, способнѣе быть счастливымъ и здѣсь, и тамъ. Тамъ—какое слово, что подъ нимъ заключается! У меня на глазахъ слезы отъ сего слова! Друзья, надежды, радости, блаженство—все тамъ! О, великое Существо, великое Существо, назначившее человѣка быть безсмертнымъ!

§ 18. *Іюля 17.* Быть счастливымъ есть мыслить. Въ мысляхъ заключаются всѣ наши наслажденія. Они возвышаютъ, украшаютъ душу. Сколько путешествіе будетъ имѣть на меня вліяніе! Какъ мысли мои разовьются и распространятся!

§ 19. *Іюля 21.* Читаю теперь Гарве: О уединеніи и обществѣ. Простой, ясной и пріятной слогъ; порядокъ въ предложеніи мыслей; справедливость мыслей, основанныхъ на опытѣ. Виденъ человѣкъ, который въ спокойномъ состояніи души, передъ концомъ жизни, говоритъ о томъ, что замѣтилъ во все время ея продолженія, говоритъ просто, безъ пристрастія. Гарве можетъ назваться настоящимъ практическимъ философомъ, то есть такимъ, котораго философія можетъ быть легко примѣнена къ человѣческой жизни, потому что она основана на опытѣ, не есть умозрительная, произведенная однимъ умомъ, но есть слѣдствіе многихъ замѣчаній и многихъ опытовъ.—Уединеніе и общество могутъ дѣйствовать на образованіе ума, характера, наружности; бываютъ многихъ родовъ; имѣютъ вліяніе, большее или меньшее, на счастіе человѣка: вотъ содержаніе книги, которую теперь читаю.—О дѣйствіи общества на образованіе ума. Умъ образуется пріобрѣтеніемъ познаній и дѣятельностію. Предметъ познаній [главнѣйшій] есть человѣкъ; познавая другихъ, мы познаемъ самихъ себя больше или меньше. Наше вниманіе скорѣе обращается на людей, нежели на насъ самихъ. Мы, сравнивая ихъ достоинства и недостатки съ своими достоинствами и недостатками, обнаруживаемъ ихъ и объясняемъ. Мы должны выйти изъ самихъ себя, чтобы потомъ къ себѣ возвратиться и себя яснѣе увидѣть. Разнообразіе характеровъ возбуждаетъ наше вниманіе; разсматривая каждый особенно, мы находимъ во всѣхъ что-нибудь общее и въ каждомъ что-нибудь ему принадлежащее; эта привычка разсматривать, наблюдать и помѣщать каждый характеръ въ особенный классъ, къ которому онъ больше принадлежитъ, дѣлаетъ насъ способными скорѣе и справедливѣе заключать о другихъ людяхъ. Въ уединеніи или въ тѣсномъ кругу общественнаго обращенія, не имѣя передъ глазами такого разнообразія, не видя примѣровъ ни отмѣнной добродѣтели, ни отмѣнной испорченности, мы чувствуемъ какое-то однообразіе, пріобрѣтаемъ какую-то лѣность духа, пустоту, недѣятельность и даже не обращаемъ вниманія на тѣ немногіе характеры, которые передъ нами и которые кажутся намъ знакомыми, потому что всегда были намъ видимы; напротивъ, множество отмѣнныхъ характеровъ приводитъ умъ нашъ въ движеніе, и сія самая дѣятельность облегчаетъ наше наблюденіе за человѣческою натурою. Человѣкъ есть учитель человѣка; первыя познанія получаемъ мы изустно, и конечно изустное наставленіе можетъ почесться самымъ дѣйствительнѣйшимъ. Что говорятъ, понимаешь лучше, нежели то, что написано: въ первомъ случаѣ голосъ, движенія руки, лица, всего тѣла передаютъ ясное понятіе о предметѣ; когда же читаешь, видишь передъ собою одни мертвыя буквы, знаки мыслей. Конечно, понятія, получаемыя въ разговорѣ, не такъ полны и подробны, какъ понятія, получаемыя изъ книгъ, но зато они ощутительнѣе, живѣе, короче: первыя тре-

буютъ большаго напряженія ума, послѣдпія какъ будто сами на душѣ напечатлѣваются. Изъ книгъ нельзя узнать людей такъ ясно и подробно, какъ изъ обращенія съ ними. Особенность характера, образа мыслей человѣка производитъ особенность въ его разговорѣ и обхожденіи; замѣчая измѣненія лица его, движенія его тѣла, жесты и прочее, получишь яснѣйшее о немъ понятіе; все это должно исчезнуть въ книгѣ; для многихъ оттѣнковъ, почти незамѣтныхъ, нѣтъ словъ и выраженій. Читанное не такъ живо напечатлѣвается въ разсудкѣ, какъ видѣнное и испытанное. Въ обществѣ встрѣчаются люди, великіе умомъ и характеромъ; видя ихъ, обращаясь съ ними, привыкаешь къ чувствамъ высокимъ и благороднымъ: удивляясь добродѣтели, желаешь быть самъ добродѣтельнымъ. Видя передъ собою прекрасные примѣры, хочешь имъ слѣдовать, наблюдаешь за тѣми, кто ихъ подаетъ, узнаешь средства, которыя они употребляютъ, сравниваешь себя съ ними, узнаешь по сравненію, рѣшаешься возвыситься, наконецъ, самъ возвышаешься. Будучи принужденъ говорить передъ людьми умными, краснорѣчивыми, пріучаешься выбирать свои выраженія, предлагаешь свои мысли яснѣе, пріятнѣе и больше ихъ обдумываешь. Сія осторожность приводитъ умъ въ большее напряженіе, а сіе частое, почти безпрестанное напряженіе сообщаетъ ему большую дѣятельность и наконецъ его расширяетъ. Въ обществѣ пріобрѣтаешь многія познанія. Въ обществѣ людей знатныхъ, генераловъ, министровъ и всѣхъ приближенныхъ къ дѣламъ государственнымъ получаешь вѣрнѣйшее понятіе о происшествіяхъ, о политикѣ настоящаго времени: многія подробности, которыхъ нѣтъ ни въ какихъ книгахъ, сообщаются изустнымъ преданіемъ; въ обществѣ частныхъ людей узнаешь семейственныя обстоятельства многихъ домовъ, ихъ раздоры, причины ихъ счастія, несчастія, ихъ связи и прочее. Все сіе даетъ понятіе вообще о людяхъ. Общество дополняетъ многія познанія, которыя мы получаемъ въ тишинѣ кабинета. Иногда одно выраженіе оригинальное, остроумное свѣтскаго человѣка рѣшаетъ наше сомнѣніе въ томъ или другомъ предметѣ.—Что такое общественная жизнь и что уединенная? Общественная жизнь умнаго человѣка есть дѣятельное сообщеніе со многими людьми разнаго ума, характера, состоянія, званія. Много родовъ: семейство и друзья; большой свѣтъ и прочее. Въ первомъ мы существуемъ въ тѣсной связи съ его членами, бываемъ безпрестанно. Въ другомъ мы только играемъ извѣстную роль, бываемъ временно. Въ первомъ ищемъ счастія, во второмъ удовольствія. Въ первомъ мы являемся въ настоящемъ, натуральномъ своемъ видѣ; во второмъ соображаемся съ тою наружностію, съ которой другіе соображаются. Умный человѣкъ пользуется обществомъ, находитъ въ немъ удовольствіе потому, что можетъ въ немъ дѣйствовать умомъ, замѣчать людей, собирать сіи замѣчанія, которыя наконецъ составляютъ опытность. [Я говорю о такомъ обществѣ, въ которомъ имѣешь связь съ членами, его составляющими; толпа, люди всякаго званія, есть не иное что, какъ китайскія тѣни]. Желаніе быть умнымъ и замѣтнымъ въ обществѣ побуждаетъ къ образованію ума, научаетъ выражать хорошо свои мысли и даже лучше мыслить. Однимъ словомъ, общество есть театръ, на которомъ наши способности умственныя и душевныя дѣйствуютъ. Уединеніе есть занятіе самимъ собою, обдумываніе того, что видѣлъ въ обществѣ, изученіе натуры, занятіе какою-нибудь наукою.

§ 20. Теперь все буду говорить съ вами, ma chère maman; до этого мѣста мой журналъ былъ писанъ для меня одного, теперь буду писать его для себя и для васъ. Надѣюсь, что мысль имѣть васъ своимъ свидѣтелемъ не уменьшитъ моей искренности; я буду говорить о себѣ съ такою же откровенностью, съ какою бы говорилъ самому себѣ, и можетъ быть еще съ большею. Въ первомъ

случаѣ я могъ бы сказать или написать неправду не нарочно; теперь буду осторожнѣе, буду чаще у себя спрашивать, точно ли это такъ, какъ ты сказываешь, не представляешь ли въ лучшемъ видѣ того, что въ самомъ дѣлѣ хуже; не обманываешься ли; не хочешь ли казаться лучшимъ передъ тѣмъ человѣкомъ, который долженъ тебя видѣть такимъ точно, каковъ ты есть?—Все это будете вы читать только тогда, когда меня не будетъ съ вами; если найдете въ моемъ журналѣ что-нибудь дурное обо мнѣ, то подумайте, что все это прошедшее, что я самъ это видѣлъ, что хочу это искоренить [если только можно]. Подумайте, что я не желаю себя обманывать и казаться самому себѣ хорошимъ; что я не имѣю или не имѣлъ по сіе время такого человѣка, который бы взялъ на себя трудъ разобрать меня и сказать мнѣ: это въ тебѣ хорошо, усовершенствуй, это дурно, исправь. Несчастье, которому причины надобно искать въ моихъ обстоятельствахъ. Вы одни можете сказать, что любили меня прямо; но вы не могли принести мнѣ той пользы, которую принести способны. Что этому причина, не знаю, но увѣренъ, что не вы сами, а множество такихъ непримѣтныхъ обстоятельствъ, которыхъ почти нельзя опредѣлить словами, но которыя есть, потому что ихъ дѣйствіе очевидно. Въ этомъ журналѣ я буду стараться разсмотрѣть все, что имѣло въ прошедшемъ какое-нибудь вліяніе на образованіе моего моральнаго характера, и тѣ средства, которыми можно его усовершенствовать и исправить. Очень пріятно говорить съ вами; очень пріятно увѣрять себя въ любви человѣка, прямой, искренней, знать, что онъ оправдываетъ меня, когда я хорошо дѣлаю, извиняетъ, когда дурно дѣлаю, потому что ему извѣстнѣе всѣ мои свойства и причины моихъ поступковъ. Люди умѣютъ только осуждать по наружности то, что другіе дѣлаютъ, но для этого какъ много надобно знать такихъ вещей, которыя имѣютъ непобѣдимое вліяніе на ихъ поступки, но которыхъ знать невозможно! Тотъ же человѣкъ въ другихъ обстоятельствахъ былъ бы другимъ. Что жъ, если онъ былъ оставленъ съ однѣми своими силами на произволъ судьбы и обстоятельствъ; если онъ посреди людей, привязанныхъ къ нему одною привычкою, а не любовью, былъ одинъ, зависѣлъ отъ одного себя, долженъ былъ самъ себя образовать, не зная какъ и даже долго не думая объ этомъ, слѣдовательно, потерянъ самое лучшее время? Но объ этомъ я не одинъ разъ съ вами говорить буду. Этотъ человѣкъ —я! Что будетъ со мною впередъ, не знаю и знать этого не могу. Но должно себя приготовить ко всему. Главное дѣло человѣка: пріобрѣсть способность быть счастливымъ.

§ 20. *Августа 24.* Что мнѣ вамъ сказать? Желалъ бы все такъ точно сказать, какъ чувствую, но думаю, что умѣть не буду. Я ушелъ отъ васъ съ грустію и, признаюсь, съ досадою. Тяжело и несносно смотрѣть на то, что Машенька безпрестанно плачетъ; и отъ кого же? Отъ васъ, своей матери! Вы ее любите, въ этомъ я не сомнѣваюсь. Но я не понимаю любви вашей, которая мучитъ и терзаетъ. Обыкновенно брань за бездѣлицу, потому что Машеньку, съ ея милымъ ангельскимъ нравомъ, нельзя бранить за что-нибудь важное. Но какая жъ брань? Самая тяжелая и чувствительная! Вы хотите ее отучить отъ слезъ; сперва отучитесь отъ брани, сперва пріучите себя говорить съ нею, какъ съ другомъ. Мнѣ кажется, ничто не можетъ быть жесточае, какъ бить человѣка и велѣть ему не чувствовать боли. Ваша брань тѣмъ чувствительнѣе, что она заключается не въ грубыхъ, бранныхъ словахъ, а въ тонѣ голоса, въ выраженіи, въ минѣ; ребенка надобно увѣрить, что онъ сдѣлалъ дурно, заставить его пожелать исправить дурное, а не огорчать бранью, которая только что портитъ характеръ, потому что его раздражаетъ, а будучи частою, и дѣйствуетъ на здоровье. Можно ли го-

ворить Машенькѣ: ты не хочешь сдѣлать мнѣ удовольствія, ты только дразнишь меня, тогда, когда она написала криво строку, и тогда, когда вы увѣрены, что для нея нѣтъ ничего святѣе вашего удовольствія? Что вы дѣлаете въ этомъ случаѣ? Возбуждаете въ ребенкѣ ропотъ противъ несправедливости и лишаете его надежды угодить вамъ, слѣдовательно, дѣлаете робкимъ, а ничто такъ не убиваетъ характера, какъ робость, которая отнимаетъ у него свободу усовершенствоваться и образоваться, потому что не даетъ ему дѣйствовать или обнаруживаться. Объ этомъ буду говорить еще; напишу къ вамъ особенно. Я не умѣю говорить языкомъ о томъ, что чувствую сильно. Вы опытомъ это извѣдали. Прочту нѣсколько книгъ о воспитаніи; сравню то, что въ нихъ предписано, съ тѣмъ, что вы дѣлали, воспитывая дѣтей, и предложу вамъ свое мнѣніе о томъ, что осталось дѣлать.

§ 21. *Августа 26.* Съ двадцать-шестаго августа по десятое ноября я не принимался за свой журналъ, почти ни о чемъ не думалъ, переводилъ нѣсколько времени, а все прочее время прошло не знаю какъ; мнѣ кажется, въ совершенномъ бездѣйствіи; иногда мнѣ было весело, иногда скучно. Главная причина, отъ которой я душевно надолго разстроивался, заключается въ неудачѣ моихъ работъ, которыя не могутъ быть отмѣнно пріятны, потому что принужденныя. Теперь я въ очень дурномъ расположеніи: голова тяжела; въ умѣ такая пустота и недѣятельность; прошедшее мнѣ кажется очень дурнымъ, а настоящее скучнымъ; отъ будущаго не ожидаю ничего; всѣ мои планы исчезли; даже нѣтъ во мнѣ желанія дѣлаться лучше, образовать и умъ, и характеръ. Одиночество, совершенной недостатокъ въ пріятныхъ связяхъ, отдаленіе тѣхъ людей, которые бы могли меня оживлять и ободрять въ исканіи всего хорошаго, совершенное безсиліе души, ненадѣянность на самого себя—вотъ, что меня теперь мучитъ. Я одинъ; въ самомъ себѣ не нахожу довольно прибѣжища; чувствую, что одинъ мало могу для себя сдѣлать; мнѣ недостаетъ ободренія. Всѣ мои теперешнія работы кажутся мнѣ цѣпью, которою я къ одному мѣсту прикованъ. Одинъ не могу ни о чемъ думать, потому что не имѣю никакой матеріи для мыслей; переводы не всякой день идутъ удачно, отъ этого и разстройка моя дѣлается бо́льшею, и все другое становится такъ же неудачнымъ. Къ тому же не умѣю мыслить въ связи, это для меня утомительно, и въ теперешнемъ моемъ расположеніи не чувствую даже и нужды мыслить: такія минуты очень похожи на ничтожество и еще хуже ничтожества, потому что чувствуешь непріятное. Самое добро, самое желаніе быть добрымъ не имѣетъ въ эту минуту ничего для меня привлекательнаго. Самъ съ собою я недоволенъ и скученъ, потому что не могу ни о чемъ порядочно думать и не имѣю еще этой привычки; съ тѣми, кто вокругъ меня, я не связанъ [что этому причиною, не знаю, но долженъ узнать], слѣдовательно, не пріятно занятъ; самое общество матушки, по несчастію, не можетъ меня дѣлать счастливымъ: я не таковъ съ нею, каковъ долженъ быть сынъ съ матерью; это самое меня мучитъ, и мнѣ кажется, я люблю ее гораздо больше заочно, нежели вблизи. Я не былъ счастливъ въ моей жизни, кажется, и не буду счастливымъ. Надобно пріобрѣсть способность быть счастливымъ, а я едва ли не пропустилъ время. Какъ прошла моя молодость? Я былъ въ совершенномъ бездѣйствіи. Не имѣя своего семейства, въ которомъ бы я что-нибудь значилъ, я видѣлъ вокругъ себя людей мнѣ коротко знакомыхъ, потому что я былъ передъ ними выросшенъ, но не видалъ родныхъ, мнѣ принадлежащихъ по праву; я привыкалъ отдѣлять себя ото всѣхъ, потому что никто не принималъ во мнѣ особливаго участія, и потому что всякое участіе ко мнѣ казалось мнѣ милостію. Я не былъ оставленъ, брошенъ, имѣлъ уголъ, но не былъ любимъ ни-

кѣмъ, не чувствовалъ ничьей любови; слѣдовательно, не могъ платить любовью за любовь, не могъ быть благодарнымъ по чувству, а былъ только благодарнымъ по должности; мнѣ сказывали, что надобно быть благодарнымъ, и я вѣрилъ или, лучше сказать, повторялъ самому себѣ чужія слова. Это сдѣлало меня холоднымъ. Человѣкъ, который, будучи съ людьми, былъ однако жъ одинъ, будетъ холоднѣе того человѣка, который совсѣмъ былъ бы оставленъ, потому что послѣдній будетъ чувствовать нужду въ любви и будетъ искать ее, а первый, будучи на свой счетъ обезпеченъ и спокоенъ и долго не имѣя нужды ни въ чемъ, кромѣ ѣды, жилища и одежды, останется нечувствительнымъ въ душѣ своей, которая не научилась ни къ кому привязываться и которая теряетъ чувствительность, если не приводитъ ее часто въ движеніе. Умъ его также останется въ неразвитіи, потому чувства заставляютъ дѣйствовать умъ, а если чувства не дѣйствуютъ, то и умъ спитъ. Кто отдѣленъ отъ людей, тотъ не имѣетъ предмета для размышленія, потому что одни только наши отношенія къ людямъ служатъ началомъ нашихъ умствованій; потомъ уже онъ обращается на другіе предметы. Характеръ его дѣлается робкимъ, нерѣшительнымъ, медленнымъ, лѣнивымъ, потому что и характеръ образуется дѣятельностію. Каковъ я теперь, отъ чего таковъ; каковы мои связи и что я долженъ быть въ отношеніи къ нимъ; какую цѣль себѣ предназначить сообразно съ моими обстоятельствами? Чего искать въ свѣтѣ и отъ чего отказаться? Въ чемъ можетъ быть мое счастіе? Вотъ вопросы, которые мнѣ должно рѣшить. — Я такъ не привыкъ къ тому, чтобы меня любили, что всякой знакъ любви кого-нибудь ко мнѣ кажется мнѣ страннымъ и чѣмъ-то необыкновеннымъ, — слѣдствіе непривычки видѣть чью-либо ко мнѣ привязанность и отвѣчать на нее. Одна любовь, одна привычка отвѣчать на любовь любовью дѣлаетъ сердце нѣжнымъ и способнымъ любить, слѣдовательно, быть счастливымъ. Для чего я не имѣлъ такого человѣка, который бы дорожилъ моимъ счастіемъ, который бы былъ моимъ хранителемъ и путеводцемъ! Я бы любилъ его, какъ своего Бога! Но я былъ одинъ, всегда одинъ! Я не испорченъ, но я нимало не образованъ. Найду ли кого-нибудь для себя въ свѣтѣ? Человѣкъ, который не имѣетъ передъ собой человѣка, къ нему привязаннаго, не можетъ долго имѣть и желанія быть добрымъ. Прежде нежели научишься желать совершенства, какъ непремѣнной цѣли всякаго человѣка, долженъ научиться желать быть добрымъ въ глазахъ того, кому ты дорогъ: все хорошее основано на чувствѣ; одинъ умъ можетъ увѣриться въ его прелести, но онъ имъ не прельстится, а будетъ ему слѣдовать по одному только расчету, ибо увидитъ, что зло всегда хуже и невыгоднѣе добра.

§ 22. *Ноября 16.* Это было писано въ худомъ расположеніи духа. Странно то, что я, начавши писать, сдѣлался веселѣе и мое худое расположеніе кончилось. Это отъ того, я думаю, что мысли мои пришли въ движеніе, которое и меня самого оживило. Ничто такъ не скучно и не тягостно и ничто такъ не дѣлаетъ человѣка печальнымъ, какъ эта неподвижность и тягость ума, которая лишаетъ его способовъ пользоваться своими силами. Въ такія минуты не живешь и не чувствуешь, а только имѣешь какое-то непріятное, не живое ощущеніе своего бытія, состояніе неспокое.

Теперь хочу сдѣлать расположеніе своихъ работъ до моего отъѣзда въ Москву. Я хотѣлъ переводить Гарве, но его оставляю на время. Я ошибся, думая, что разнообразіе въ работахъ будетъ дѣлать ихъ пріятными; напротивъ, оно только что развлекаетъ мысли и не даетъ имъ заняться исключительно однимъ предметомъ. Займусь теперь сочиненіемъ моего собранія лучшихъ русскихъ авторовъ. Остатокъ ноября, декабрь и генварь посвящу чтенію эстетическихъ авторовъ,

буду дѣлать выписки; въ февралѣ переведу Эшенбурга, а въ мартѣ и апрѣлѣ напишу къ нему прибавленіе и критическія примѣчанія къ стихотворцамъ. Въ апрѣлѣ кончу переводъ Leçons, а во все это время займусь сочиненіемъ въ стихахъ. Я давно не занимался стихами и какъ будто бы потерялъ изъ виду поэзію.

Голова тяжела; писать не хочется. Завтра. Надобно подумать о томъ, какъ бы и гдѣ поучиться, что дѣлать, кончивъ ученье, и какому роду литературы больше себя посвятить. Какой родъ литературы сообразнѣе съ тѣмъ счастіемъ, котораго буду искать въ жизни? — Надобно каждый день въ своемъ журналѣ записывать то, что случилось со мною въ теченіе дня, то есть себя разсматривать. Мои работы не помѣшаютъ мнѣ думать и о морали моей: я буду читать съ Машею Геллерта.

§ 23. *Ноября 19.* Я очень медлителенъ. Этотъ порокъ можетъ лишить меня всякаго счастія въ жизни. Я думаю, что онъ однако жъ принадлежитъ къ темпераменту и что отъ него нельзя избавиться или по крайней мѣрѣ нельзя совершенно избавиться. Но какое средство отъ него избавиться? Мнѣ двадцать третій годъ, а этотъ порокъ долженъ больше всякаго другаго укорепяться съ лѣтами. Моя же жизнь была всегда такого рода, что я непремѣнно долженъ былъ наконецъ сдѣлаться недѣятельнымъ. Я никогда не былъ въ такихъ обстоятельствахъ, которыя бы требовали дѣятельности. Я не имѣлъ связей, которыя одни только могутъ принудить къ дѣйствію. Напротивъ, все нѣкоторымъ образомъ былъ останавливаемъ. Умъ пріучается мыслить, сердце чувствовать, что, будучи соединено съ привычкою дѣйствовать тѣломъ, составляетъ то, что называется дѣятельностію. Я ничего этого не имѣлъ по сію пору и даже не чувствую и теперь нужды быть дѣятельнымъ, что необходимо. Кому нужна будетъ моя дѣятельность? Одна мысль, что она принадлежитъ къ совершенству, которое должно составлять цѣль каждаго человѣка, можетъ меня воспламенять; но совершенство само по себѣ есть нѣчто отвлеченное; оно не видимо для чувствъ, слѣдовательно не такъ можетъ быть дѣйствительно.

1806.

§ 24. *Генваря 3.* Объ чемъ я буду нынче съ вами говорить? Я получилъ ваше письмо изъ Троицкаго, въ которомъ вы мнѣ говорите о нескренности и пеняете мнѣ за мою неоткровенность съ вами. Я еще не знаю, имѣю ли я откровенный характеръ; но крайней мѣрѣ увѣренъ въ томъ, что по моему воспитанію мнѣ не можно имѣть откровенности, и даже сама натуральная моя откровенность должна совершенно быть ослабленною, если не уничтоженною. Объяснять этого не нужно, потому что это уже объяснено прежде въ моемъ журналѣ, которой однако жъ по сіе время худо шелъ отъ моей лѣни; теперь онъ будетъ идти лучше и порядочнѣе, потому что всѣ мои дѣла и даже моя голова въ большемъ порядкѣ. Итакъ, чтобъ вамъ не за что было со мною ссориться, я хочу быть откровеннымъ; хотя вы долго не будете знать того, что здѣсь написано, но все когда-нибудь узнаете; я сдѣлаю свое дѣло, скажу вамъ все, облегчу себя, и довольно. Мнѣ кажется всего лучше быть правымъ передъ самимъ собою и быть спокойнымъ въ душѣ своей. Вы должны одинъ разъ навсегда быть увѣрены, что я не въ состояніи дѣлать ничего съ такимъ видомъ, который бы должно было скрывать. Иногда приходятъ въ голову дурныя мысли; я стараюсь ихъ разгонять, ихъ не слушаться или самъ ихъ обнаруживаю, чтобы себя нѣкоторымъ образомъ успокоить: это правило честности не быть скрытнымъ, не имѣть нужды въ скрытности. Я бы желалъ пріобрѣсть способность всегда слѣдовать этому правилу. Я иногда смѣшивалъ очень некстати нескрытность съ неосторожностью

и отъ этого часто бывалъ болтливъ съ намѣреніемъ, хотя нерѣдко болталъ и по глупой вѣтренности. Отъ этого порока можно избавиться. Еще я замѣтилъ, что я часто въ веселую минуту откровенности заговариваюсь, не могу остановить своихъ словъ, которыя съ излишнимъ изобиліемъ льются и, такъ сказать, всѣ выливаются вмѣстѣ, и нужныя, и вздорныя. Мнѣ весело разсуждать и быть откровеннымъ, тѣмъ больше, что это для меня новость, которою спѣшу воспользоваться и которую употребляю во зло. Но полно говорить о постороннемъ; будемъ говорить о томъ, что есть.

§ 25. *Генваря 4.* Итакъ, надобно быть съ вами искреннимъ, то есть представить вамъ себя такимъ, каковъ я есть теперь, это значитъ, каково мое теперешнее расположеніе со всѣхъ сторонъ [о томъ, что можетъ быть впередъ, ни слова; должно только стараться, чтобы все было хорошо], чего мнѣ теперь хочется. Вы должны мнѣ отвѣчать на все чистосердечно. Мои планы и желанія могутъ вамъ показаться безумными и несбыточными; вы скажете просто свои мысли, и я увѣренъ, что вы не оскорбитесь; къ тому же мнѣ показалось, если не ошибаюсь, что вы имѣете одно со мною желаніе. Воображеніе могло меня обмануть. Не забудьте, что я очень еще мало думалъ въ связи, слѣдовательно, очень легко могу ошибиться въ расчетѣ. Вамъ надобно только мнѣ сказать, что я ошибся, почему ошибся; я готовъ вѣрить истинѣ и принять ее какъ должно; но единственно мысль о томъ, чтобы не было мнѣ тяжело быть разувѣреннымъ вами лично, не позволяетъ мнѣ говорить теперь. Слѣдовательно, получу вашъ отвѣтъ и узнаю все рѣшительно не иначе, какъ тогда, когда самъ не буду съ вами. Вотъ вся причина теперешняго моего молчанія. На письмѣ изъясняться гораздо легче и способнѣе, нежели на словахъ; скажешь все, не щадя, обдумавши и яснѣе. Для того и съ вами объясняюсь письменно.

§ 26. *1 марта.* Еще остановка въ моемъ журналѣ. Онъ идетъ очень непостоянно. Теперь однако жъ [можетъ быть] буду прилежнѣе; я одинъ, могу думать безъ помѣшательства [не говорю о худомъ моемъ расположеніи, которое такъ часто мѣшаетъ мнѣ порядочно думать]. Что мнѣ дѣлать въ эти три мѣсяца, которые проживу одинъ совершенно? Надобно хорошенько обратить глаза на самого себя; привести себѣ на память, сколько можно, прошедшее; подумать о будущемъ и настоящемъ. Пора выбрать что-нибудь постоянное и быть постояннымъ въ своемъ выборѣ!

§ 27. *Мая 29.* La véritable vertu consiste à faire de toutes ses facultés l'emploi dont il résultera le plus de bien pour les hommes. Il est des vertus pour tous les degrés d'esprit, comme il en est pour tous les états. Voltaire. Вотъ правило, котораго никогда не должно выпускать изъ мыслей. Если я не могу сдѣлать большаго, то почему жъ не сдѣлать малаго? Одно мнѣ невозможно, я долженъ отъ него отказаться; другое возможно, я долженъ его искать; въ противномъ случаѣ буду похожъ на такого человѣка, который, имѣя малой ростъ, не можетъ сорвать плода съ дерева и гнушается тѣмъ, которой лежитъ у ногъ его. Самая трудная и лучшая наука есть знать цѣну того, что мы имѣемъ въ рукахъ, и умѣть извлекать изъ него истинную пользу.

§ 28. Замѣчанія на прошедшій годъ журнала съ § 1 по § 27.

§ 1. Что такое ложь? Неправда, сказанная съ намѣреніемъ или съ увѣреніемъ, что сказываемое мною несправедливо. Не думаю, чтобы такая ложь могла быть когда-нибудь позволена. Ложь можетъ быть шуточная: я могу лгать, будучи увѣренъ, что читатель или слушатель не обманутся и примутъ мои слова за то точно, за что я ихъ самъ выдаю. Такого рода ложь только что забавна, и тѣмъ забавнѣе, чѣмъ съ бо́льшею важностію разсказана. Руссо напрасно сердится на Монтескье за то, что онъ называетъ

свой Книдійскій храмъ переводомъ съ древняго манускрипта. Авторъ зналъ, что читатель рано или поздно откроетъ истину, и нимало не хотѣлъ ее скрывать, а только представилъ, такъ сказать, подъ флеромъ, для того единственно, чтобы она была пріятнѣе: онъ хотѣлъ произвести не увѣреніе, а иллюзію, которая такъ очаровательна во всѣхъ произведеніяхъ человѣческой фантазіи. Итакъ, ложь только тогда не позволена или, лучше сказать, только тогда есть ложь, когда мы должны бояться, чтобы ее не открыли и когда сіе открытіе должно быть для насъ посрамительно. Очень легко не быть лжецомъ, но гораздо труднѣе говорить правду. Я напрасно употребилъ выраженіе быть скрытнымъ; лучше бы сказать: быть осторожнымъ. Что я называю правдою? То, что мнѣ кажется справедливымъ, по нѣкоторомъ размышленіи, въ томъ или другомъ предметѣ. Я могу обманываться, но я долженъ говорить согласно съ моимъ собственнымъ, внутреннимъ увѣреніемъ, ложно ли оно или справедливо. Узнавъ его ложность, я его оставляю, но по тѣхъ поръ, пока оно мнѣ кажется истиннымъ, я долженъ его поддерживать. Твердую, постоянную рѣшимость всегда говорить и дѣйствовать согласно съ симъ внутреннимъ увѣреніемъ разсудка, во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, во всѣхъ сношеніяхъ съ людьми, есть первое правило честности; я не думаю, чтобы это правило могло терпѣть исключенія, но увѣренъ, что оно также не требуетъ и излишняго ригоризма. Кто хочетъ говорить правду людямъ, тотъ долженъ быть оживленъ или любовію къ одной истинѣ или любовію къ людямъ, къ пользѣ людей. Первое не всегда соединено съ послѣднимъ; послѣднее, напротивъ, всегда соединяется съ первымъ и не можетъ не быть соединено. Первое благородно, но рѣдко бываетъ полезно, ибо людское самолюбіе не терпитъ наставленій. Послѣднее столь же благородно, но сверхъ того всегда удачно: кто любитъ пользу людей, тотъ говоритъ правду не для того только, чтобы ее сказать и ею блеснуть, а истинно для того, чтобы ею сдѣлать добро; такой человѣкъ примѣняется къ людямъ и старается дѣлать имъ правду пріятною. Напротивъ, человѣкъ, который говоритъ правду только для того, чтобы ее сказать и, такъ сказать, бросаетъ ее, не заботясь о ея дѣйствіи, имѣетъ въ виду не пользу человѣчества, дѣйствуетъ безъ цѣли, единственно для одной гордости и для одного самолюбія; такіе люди должны быть подозрительны: они больше говорятъ, нежели дѣйствуютъ. Правду должно дѣлать пріятною для того, чтобы она могла быть полезна. Есть люди откровенные и есть люди скрытные. Одинъ говоритъ правду, потому что не можетъ не говорить ее, другой говоритъ правду потому, что обязанъ ее говорить. У перваго она вырывается, послѣдній предлагаетъ ее, помысливъ. Одному легче, другому труднѣе; одинъ слѣдуетъ своему характеру, другой съ нимъ борется; оба поступаютъ одинакимъ образомъ, ибо согласуются съ законами чести, но первый счастливѣе и даже любезнѣе, а послѣдній почтеннѣе и тверже. Какое жъ правило наблюдать, говоря правду? Никогда ни въ какомъ случаѣ не утверждать противнаго внутреннему увѣренію разсудка, но вмѣстѣ стараться не оскорблять людей, ибо жизнь съ людьми есть назначеніе человѣка. Можно быть честнымъ, не будучи ни грубымъ, ни надменнымъ, ни ѣдкимъ. Щадить самолюбіе людей, не жертвуя ему ни справедливостію, ни благородствомъ, есть обязанность человѣка, который не хочетъ зарыться въ берлогу и жить съ медвѣдями. Этому правилу надобно иногда слѣдовать даже и съ друзьями: кто любитъ прямо своего друга, тотъ будетъ любить и его пользу; но онъ конечно не забудетъ, что и въ немъ есть человѣческое самолюбіе.

§ 29. Всегда ли должно говорить правду? Всегда, когда она можетъ быть по-

лезна; всегда, когда она ни вредна, ни полезна. Напротивъ, въ т(омъ) случаѣ, когда она можетъ быть вредною, молчи и не унижай себя утвержденіемъ ложнаго. Дѣйствуй всегда согласно съ внутреннимъ чувствомъ: можешь обмануться, но никого не обманешь, а размышленіемъ предохранишь самого себя отъ обмана. Счастливъ тотъ человѣкъ, который привыкъ мыслить.—Первое правило: человѣкъ долженъ быть правдолюбивымъ, слѣдовательно онъ обязанъ говорить правду изъ любви къ должности; второе: во всякомъ дѣлѣ онъ долженъ имѣть въ виду пользу людей и добро, слѣдовательно онъ обязанъ говорить правду для пользы людей и соглашать ее съ ихъ благомъ.

§ 30. *Августа 12.* Я сердитъ на Машу. Но моя досада имѣетъ ли основаніе, или есть одна только привязка? Не сержусь ли я больше за себя, нежели за то, что она сдѣлала; больше за пренебреженіе моихъ словъ, нежели за самый проступокъ? Не хочется ли мнѣ сердиться? Ея непослушаніе, можетъ быть, не иное что, какъ вѣтренность безъ всякаго намѣренія; въ такомъ случаѣ не за что сердиться, и можно только ей дать объ немъ замѣтить. Если жъ она захотѣла не послушаться, если ея непослушаніе есть капризъ и пренебреженіе, то, признаюсь, очень досадно. Конечно, все это не можетъ быть доказательствомъ недостатка дружбы, но показываетъ дурную сторону характера: своенравіе или вѣтренность. Кого любишь, того и слушаешь во всемъ съ удовольствіемъ, хотя не всегда бываешь одинаково расположенъ. Но я не ожидалъ найти въ Машѣ своенравія или такой вѣтренности. Не хотѣть пожертвовать такимъ вздорнымъ удовольствіемъ. Найти больше удовольствія въ собакѣ, нежели въ исполненіи просьбы того человѣка, котораго любишь! Это мнѣ досадно, и не потому, чтобы мнѣ хотѣлось видѣть ее мнѣ покорною, а потому, что это показываетъ или ея невниманіе ко мнѣ, или ея своенравность, или вѣтренность. Хотя она ребенокъ, но мнѣ бы чрезвычайно было пріятно исполнять всякое ея желаніе; того же бы хотѣлъ и отъ нея! Говорить ли съ нею? Въ послѣдній разъ! Посмотримъ, какъ приметъ. Non, Marie, je ne veux pas être votre tyran, je ne veux pas que vous exécutiez aveuglement ce que je dis, car je n'exige de vous rien qui soit déraisonnable, mais je suis votre ami, je vous aime au-dessus de tout au monde, je voudrais que vous vous souveniez toujours de ce que je vous dis, que vous aimiez à me faire plaisir même dans les petites choses, et c'est précisement parce que je suis sûr que chacune de vos volontés, quelle qu'elle soit, sera sacrée pour moi et que je sentirai toujours un grand plaisir dans son exécution. C'est ce plaisir là qui est une marque certaine d'une vraie amitié. Надобно, чтобы дружба видна была во всемъ, и въ бездѣлкахъ, потому что въ бездѣлкахъ можно ежедневно ее доказывать, а важные случаи рѣдки. Кто любитъ, для того все свято и важно. Итакъ, въ послѣдній разъ буду говорить съ Машею. Не должно быть похитителемъ чужаго права, не должно никого обременять своею любовью. Можешь наскучить. А для меня всего тяжеле отягощать собою другихъ, особливо тѣхъ, кого стремишься любить всею душою. Дружба требуетъ взаимности; я требую отъ тебя того, что самъ всегда готовъ для тебя сдѣлать. Всякое, самое бездѣльное невниманіе отмѣнно больно. Я разумѣю невниманіе съ намѣреніемъ. Но Боже меня избави отъ желанія видѣть друзей моихъ со мною осторожными или принужденными. Притворное вниманіе несносно и мучительно, оно не можетъ быть вмѣстѣ съ дружбою, которая всегда и внимательна, и непринужденна. Ты будешь это читать, моя милая Маша. Если я ошибся, если ты вчера сдѣлала одну только вѣтренность, а не поступила такъ по своенравію и капризу, чего я очень желаю, то пожалуйста не забудь, что первое удовольствіе должно состоять въ доставленіи удовольствія своимъ друзьямъ; что забывать

всякую минуту просьбы своихъ друзей или, что еще хуже, пренебрегать ихъ и жертвовать ими самому пустому удовольствію есть совершенно непростительная вѣтренность. Твой поступокъ вчерашній, какъ онъ ни бездѣленъ, очень меня тронулъ; мнѣ вчера и нынѣшнее утро было досадно на тебя и вмѣстѣ грустно. Какъ можно въ ту самую минуту, когда я тебѣ напомнилъ о твоемъ обѣщаніи, опять забыть объ немъ или [что для меня очень больно] дать мнѣ почувствовать, что ты не хочешь объ немъ помнить и не уважаешь моею просьбою! Не значитъ ли это другими словами, что ты не хочешь, чтобы я чего-нибудь отъ тебя требовалъ? Носить собаку на рукахъ не грѣхъ; но когда тебя просятъ, чтобы ты ее не носила, когда тебѣ сказываютъ резоны, то какъ можно для удовольствія пяпьчиться съ Розкою, дѣлать неудовольствіе тому человѣку, который тебя такъ любитъ! Это непростительная вѣтренность! Что жъ, если это не вѣтренность, а капризъ и упрямство? Я этого не желаю; но увѣренъ, что ты мнѣ прямо откроешь свое чувство. Твоя искренность дороже мнѣ всего. Я имѣю право отъ тебя требовать дружбы и всѣхъ доказательствъ дружбы, потому что самъ люблю тебя больше всего и отъ всей души. Можетъ быть, ты и не замѣтила моей досады и очень удивишься, услышавъ мою претензію. Боюсь, чтобы я не показался тебѣ слишкомъ взыскательнымъ; но я увѣренъ, что ты будешь со мною искреннею и что конечно во всемъ со мною согласишься. Я не желаю видѣть тебя ни малодушною, ни вѣтреною, ни своенравною; всякой твой недостатокъ удивляетъ меня потому, что я цѣню тебя отмѣнно много. Очень желаю, чтобы ты мнѣ казалась точно такою, какова ты есть въ самомъ дѣлѣ, и чтобы я въ тебѣ не обманулся. Обманываться очень больно.

О томъ, что написать въ журналъ.

Разсмотрѣть свою прошедшую жизнь; разобрать свой собственный характеръ и характеръ нѣкоторыхъ знакомыхъ.

Разсмотрѣть свое настоящее положеніе.

Сдѣлать планъ для будущей жизни.

Привести въ порядокъ свою моральную систему.

Прошедшая жизнь.

1) Ребячество — что можно вспомнить. М. Григорьевна. Матушка. 1 учитель. Григорій. П. Афанасьев(на).

2) Ученіе у Роде. Первыя сочиненія. К. Засѣкинъ. См. Аф. Ивановича. Голубковъ. Обуховъ. Риккеръ. Бетхеръ. Поповъ. Котельниковъ.

3) Марья Николаевна.

4) Выходъ изъ Родева пенсіона. Отъѣздъ въ Мишенское. Сальковская жизнь. К. Афанасьевна. Чтеніе Флоріана.

5) Отъѣздъ въ Тулу. В. Афанасьевна. Ученье въ училищѣ. Рисованье у Катышева. M-e Joly. Александра Александровна. Сочиненія. Выходъ изъ училища. Поѣздка въ Мишенское. M-e Mercurini. Чичеринъ. Отъѣздъ въ Тулу и въ Кекгольмъ.

6) Кекгольмская и петербургская жизнь. M-elle Hoffmann, Grave, Бѣляева. Соколовъ. Петербургъ. Возвращеніе въ Тулу и въ Мишенское.

7) Тульская жизнь. Редуты. Болотовъ. Смерть государыни. Сатина. Отъѣздъ въ Москву.

8) Московская жизнь. Коронація. Вельяминовъ и Головинъ. Вступленіе въ пенсіонъ. Первые классы. Баккаревичъ. Первый актъ. Выборы. П. Володимеровичъ. Тургеневы. Родзянка. Мерзляковъ. Пенсіонскій образъ жизни. М. Николаевна. Собраніе. Что помѣшало хорошо воспользоваться пенсіономъ. Сочиненія пенсіонскія. Ученье.

Служба. Вступленіе въ Сол. контору М. у ручья. Грева элегія. Литературное собраніе. Знакомство съ Сековкиными. Знакомство съ Дмитріевымъ. Козлятевъ. Съ Карамзинымъ. Смерть государя. Воейковъ. Кайсаровы. Рахмановъ. Коммиссія. Блудовъ. Коронація. Отъѣздъ Тургене-

выхъ. Выходъ изъ Соляной конторы. Отъѣздъ въ деревню.

9) Отставка. Вторичный переводъ Греевой элегіи. Намѣреніе строиться въ Бѣлевѣ. Знакомство съ барономъ. Короткое знакомство съ Карамзинымъ. Жизнь въ Свирловѣ. Смерть Тургенева. Вадимъ. Женитьба Карамзина. Минина. Болѣзнь Тургенева. Отъѣздъ въ Москву. Ода для пенсіона. Женитьба Кирѣевскаго. Возвращеніе въ деревню. Свадьба. Пріѣздъ Тургенева. Поѣздка въ Петербургъ. Возвращеніе въ Москву и въ деревню. Планъ путешествовать. Антонской. Маша. Поѣздка въ Орловскую. Проташинскій. Перемѣна въ расположеніи ума. Кирѣевской. Свѣчинъ. Смерть Петра Николаевича. Перемѣщеніе въ домъ. Вендрихъ. Юшковы. Свѣчина разводъ.

10) Настоящее мое положеніе.

11) Мой характеръ.

12) Нѣсколько словъ о характерахъ моихъ прочихъ знакомыхъ. Ник. Ивановичъ. Авд. Аѳанасьевна. Николай Михайл. Михаилъ и Павелъ Михайловичъ. Анна Ѳедоровна. Катер. Семеновна. Бошнякъ. М. Семеновна. Н. Александровна. Чебышевъ. Арбеневы.

Будущая жизнь.

1) Что я долженъ и могу изъ себя сдѣлать со стороны моральнаго образов(анія).

2) Какова теперь М. и какою я ей желаю быть.

3) Какая цѣль моей жизни и какъ до нея достигнуть.

4) Въ чемъ долженъ положить свое счастіе.

5) Чего искать въ свѣтѣ и отъ чего отказаться.

6) Какъ пользоваться самимъ собою, чѣмъ заниматься и чѣмъ доставлять другимъ пользу.

7) Какъ себя образовать и какой методъ слѣдовать въ чтеніи.

8) Планъ моей жизни: семейственной; авторской; общественной.

9) Что я долженъ имѣть необходимо для своего счастія.

10) Какъ вояжировать и что дѣлать, если не поѣду вояжировать.

Моральная система

въ отношеніи къ Богу; къ ближнему; къ себѣ самому.

Къ Богу. 1) Понятіе о религіи натуральной и откровенной: на нихъ основать свои поступки. 2) Понятія о твореніи. 3) Молитва. 4) Провидѣніе.

Къ ближнему. 1) Человѣколюбіе. 2) Общество. 3) Любовь къ отечеству. 4) Учтивость, любезность. 5) Супружество. 6) Дружба. 7) Благодѣянія. 8) Свѣтскія знакомства. 9) Дуэль. 10) Любовь. 11) Обхожденіе. 12) Разговоръ. 13) Снисходительность. 14) Откровенность. Прямодушіе. 15) Мода. Странность. 16) Слуги. 17) Родные. 18) Общее мнѣніе. 19) Великодушіе. 20) Справедливость. 21) Жалость. 22) Говорить правду.

Къ самому себѣ. 1) Спокойствіе души. 2) Душа. 3) Характеръ. 4) Умъ. 5) Тѣло. 6) Добродѣтель. 7) Ревность. Зависть. Соревнованіе. 8) Вспыльчивость. 9) Гордость, кротость. 10 Экономія. 11) Умѣренность. 12) Осторожность. 13) Скромность. 14) Злорѣчіе. 15) Цѣломудренность. 16) Уваженіе самого себя. 17) Свобода. 18) Постоянство. Твердость. 19) Надежда. 20) Мужество. 21) Чувствительность. 22) Мнѣніе. 23) Честность. 24) Совѣсть. 25) Смерть. 26) Состояніе. 27) Порядокъ. 28) Образъ жизни. 29) Счастіе. 30) Слава. 31) Хозяйство. 32) Здоровье. 33) Скука. 34) Чтеніе. 35) Лѣнь, медлительность.

Мысли.

О довѣренности. О аффектаціи. Какому правилу слѣдовать въ сужденіи о людяхъ. О спорѣ. Какъ говорить правду? Откровенность и скрытность. О дѣятельности. Здравіе тѣлесное необходимо для совершенства умственнаго. Женитьба есть товарищество для совершенства. Чего требовать отъ жены и чѣмъ должно быть хорошему супругу? Какія мои занятія

должны быть ежедневныя и постоянныя? Идеалъ добродѣтельнаго и счастливаго человѣка. О Агатонѣ. Какіе вопросы я долженъ дѣлать себѣ всякой день? О христіанской морали въ сравненіи съ философической: основать послѣднюю на первой. Прочитать моральныя статьи въ Энциклопедіи и потомъ написать свои.

Замѣчанія на прошлый годъ журнала и о томъ, что мнѣ дѣлать нынѣшній годъ.

О всемъ, что будетъ написано въ моемъ журналѣ, говорить съ опытными людьми. Всѣ отдѣльныя мысли изъ журнала вынести въ особую тетрадь.

Вѣстникъ. Смерть М. Г. и матушки. Плещеевы. Милиція. Воейковъ.

1810.

Ноября 22. Прежде въ головѣ моей была одна только мысль: надобно писать! И я писалъ очень мало, потому что мой талантъ естественный всегда былъ въ противуположности съ моими способами; я невѣжда, во всей обширности этого слова. Теперь главная мысль моя: надобно учиться и потомъ писать, и я часъ отъ часу становлюсь дѣятельнѣе, по крайней мѣрѣ часъ отъ часу сильнѣе желаю быть дѣятельнымъ. Я имѣю теперь довольно твердости, чтобъ отступить назадъ и начать съ начала [Bélier, mon ami, commencez par le commencement!] дабы дойти до счастливаго конца. Мысль, что я уже авторъ, меня портила и удерживала на степени невѣжества. Между тѣмъ, я внутренно былъ неспокоенъ и не могъ быть счастливъ своимъ положеніемъ; ибо то, что я дѣлалъ, необходимо должно было казаться мнѣ пустымъ, а неувѣренность въ собственныхъ силахъ лишала меня утѣшительной надежды на успѣхъ. Рѣшившись пріобрѣсти свѣдѣнія основательнѣе, я сдѣлался и спокойнѣе, и счастливѣе. Пріобрѣтеніе свѣдѣній есть само по себѣ уже наслажденіе, а имѣя въ виду прекрасную цѣль, это наслажденіе удвоиваешь: настоящее украшается будущимъ. Вотъ два мѣсяца, какъ работы мои идутъ порядочно, какъ я доволенъ собою, спокоенъ, внутренно веселъ. Думаю, что эта привычка къ порядку, любовь къ дѣятельности и постоянство въ преслѣдованіи одного предмета болѣе и болѣе будутъ во мнѣ укореняться. Эти два мѣсяца болѣе познакомили меня и съ самимъ собою. Теперь я сдѣлался довѣрчивѣе къ своему постоянству. Прежде казалось мнѣ, что я совсѣмъ не имѣю памяти и что ученіе для меня трудъ напрасный; но теперь начинаю думать, что моя безпамятливость по большей части была слѣдствіемъ душевной недѣятельности или слишкомъ безпорядочной въ дѣятельности: каждую минуту рождалось новое занятіе, не связанное съ предъидущимъ и часто ему противное; одно истребляемо было другимъ. Могло ли что-нибудь послѣ этого въ головѣ остаться? Теперь въ работахъ моихъ постоянство; нѣтъ безпутнаго разнообразія, и память во мнѣ рождается. Надобно осудить себя на нѣсколько лѣтъ ученической дѣятельности или приготовительной, дабы набрать свѣдѣнія; надобно не скучать трудностями, болѣе всего дорожить временемъ и твердо держаться порядка. Теперь утѣшаетъ меня особенно то, что работать или мыслить о работѣ есть обыкновенное, всегдашнее мое положеніе. Работа—средство къ счастію, она же и счастіе. Я открылъ въ себѣ и способность дорожить временемъ [способность, которую однако надобно поболѣе усовершенствовать], а прежде время летѣло между пальцевъ. Между тѣмъ, работа, приносящая пользу и соединенная съ нѣкоторымъ успѣхомъ, удивительное имѣетъ вліяніе и на самое моральное состояніе души. Никогда я не былъ такъ расположенъ ко всему доброму и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ такъ хорошъ, какъ теперь: главное дѣло мое идетъ какъ должно, слѣдовательно, и все постороннее, но съ главнымъ болѣе или менѣе имѣющее связь, должно быть необходимо въ такомъ же порядкѣ. Всѣ другія должности сдѣлались для меня

любезнѣе. И не должно ли изъ этой привычки къ труду выйти, наконецъ, и большее совершенство моральное; слѣдовательно, трудясь, не достигну ли къ верховной цѣли человѣка? О! какъ благодарю ту минуту, въ которую сдѣлался счастливый переломъ моихъ мыслей, въ которую я сказалъ самому себѣ: «ты отчаиваешься, что потерялъ много времени, и теряешь надежду; но кто же мѣшаетъ исправить потерянное? Сдѣлай, что можешь сдѣлать; только трудись и трудись постоянно!» Мое настоящее положеніе весьма можетъ быть названо счастливымъ. Посредственность состоянія не ужасаетъ меня, богатство не кажется мнѣ прелестнымъ; связи мои съ матушкою становятся для меня драгоцѣнны; имѣю добрыхъ друзей, которые меня любятъ; остается быть достойнымъ и ихъ, и себя, — а средство: дѣятельность въ томъ маломъ кругѣ, который я для себя назначилъ. Прежняя моя лѣнь весьма много происходила и отъ любви, которая составляла царствующую въ головѣ моей идею и всему прочему была тираномъ. Теперь и любовь уступила трудолюбію. Одного бы желалъ, одного бы просилъ отъ Бога: не слишкомъ быть озабоченнымъ своимъ состояніемъ, имѣть необходимое, но имѣть вѣрное. Надобно себя пріучить къ расчетливости, если можно и къ скупости, ибо скупость въ моемъ состояніи есть добродѣтель. Одну половину изъ составляющаго прямое богатство я имѣю: нежеланіе многаго; надобно присоединить къ ней и другую: умѣніе дорожить малымъ и съ нимъ согласовать образъ жизни. Надобно укоренить въ душѣ утѣшительную мысль: тихая, скромная жизнь, употребляемая на исполненіе должностей и на трудъ полезный, есть самая счастливая, и Богъ благословляетъ ее всегда, и успѣхъ съ нею неразлученъ. У меня теперь двѣ должности: работать для того, чтобы быть авторомъ [съ этимъ неразлучно и собственное образованіе]; дѣйствовать для счастія матушки, имѣть его въ виду безпрестанно; но и эта послѣдняя тѣсно соединена съ первою, ибо всѣ мои средства соединяются въ авторствѣ. Авторство мнѣ надобно почитать и должностію гражданскою, которую совѣсть велитъ исполнять со всевозможнымъ совершенствомъ. Теперь не могу исполнять ее какъ бы надлежало, ибо я невѣжда; но я могу исполнять ее со временемъ, слѣдовательно, и самый приготовительный трудъ есть нѣкоторымъ образомъ уже исполненіе. Итакъ—дѣятельность! А предметъ ея—польза! А награда за нее—слава, счастіе! Это повторять себѣ каждую минуту и пріучить себя не уважать временными неудачами или худымъ расположеніемъ къ работѣ, которыя почитать только временными остановками, долженствующими случаться рѣже, по мѣрѣ прилежанія къ работѣ, что я испыталъ уже и надъ собою.

1813—1814.

23 февраля 1813 или 1814 года.

15 февраля былъ для меня день счастія и восхитительной надежды. Я поѣхалъ въ этотъ день изъ Муратова съ тѣмъ, чтобы увидѣться съ Иваномъ Владиміровичемъ. Дорога показалась мнѣ короткою, хотя я ѣхалъ изъ Муратова на нѣсколько дней и не зналъ, когда возвращусь. Эта исторія Васильиныхъ крестинъ оживила меня. Я увидѣлъ, что они имѣютъ довѣренность къ характеру Ивана Владиміровича и рѣшились ему открыться. Я ѣхалъ съ веселыми мыслями. Болѣе нежели когда-нибудь мнѣ весело было смотрѣть на ясное небо, которое было такъ же прекрасно, какъ надежда, которою въ ту минуту украшалось мое будущее, я не молился, но чувствовалъ, что Богъ, скрытый за этимъ яснымъ небомъ, меня видѣлъ, и это чувство было сильнѣе всякой молитвы. Я право съ восхищеніемъ давалъ Создателю своему сердечное обѣщаніе, быть Его достойнымъ своею жизнію въ благодарность за то счастіе, которое Онъ давалъ мнѣ предчувствовать въ этой живой надеждѣ. О! я въ эту минуту

только чувствовалъ, что можно быть счастливымъ въ этой жизни. Другая мысль несказанно меня радовала. Я видѣлъ въ будущемъ не одно неизъяснимое счастіе принадлежать ей, дѣлить съ нею жизнь и все; я видѣлъ тамъ самого себя, совсѣмъ не такимъ, какова я теперь, лучшимъ, новымъ, живымъ, а не мертвымъ. То счастіе, которое дастъ мнѣ она, совсѣмъ должно меня преобразовать; съ привязанностію къ жизни должно во мнѣ родиться сильное, дѣятельное желаніе воспользоваться жизнію въ совершенствѣ — а какъ же иначе ею воспользоваться, какъ не усовершенствовавъ себя во всемъ добромъ. Эта надежда нѣкогда увидѣть самого себя лучшимъ, восхитительна. Мнѣ представляется какъ будто сквозь какой туманъ: спокойствіе, душевная тишина, довѣренность къ Провидѣнію. Одна уже надежда дастъ мнѣ большую привязанность къ религіи, къ святой и чистой религіи. О! какъ она нужна для того, чтобы счастіе было прочно и чисто! Какъ мысль о Богѣ сладостна и ободрительна, когда представить себя въ Его присутствіи вмѣстѣ съ нею. Я точно похожъ теперь на человѣка, который видѣлъ одинъ только сонъ прекрасной жизни, и въ то же время зналъ, что это сонъ, что имъ не наслаждается и вдругъ чувствуетъ, что къ нему подходитъ ангелъ, чтобы его разбудить и сказать: «проснись, чтобы жить». И онъ готовъ жить съ полнымъ понятіемъ о жизни, съ полною готовностью ею воспользоваться, какъ человѣкъ слѣпой отъ рожденія, знавшій только по слуху о красотахъ міра и вдругъ получающій зрѣніе. Для меня все еще въ жизни будетъ новымъ, и я приготовленъ лишеніемъ къ полной радости. Теперь имѣю такую надежду, готовъ благодарить Промыслъ и за прежнія горести. Онѣ достойная цѣна такого счастія. Безъ нихъ можно было бы его бояться и ему не довѣрять. Заплативъ за него дорого, имѣешь нѣкоторое право надѣяться, что оно будетъ постоянно. О! теперь вѣра становится милѣйшею моею мыслею— вѣрить для меня теперь необходимо. Вѣра есть то святое убѣжище, въ которое перенешу счастіе въ жизни. Когда буду съ ней вмѣстѣ, когда получимъ свободу вмѣстѣ мыслить и чувствовать тогда болѣе всего будешь укоренять себя въ этой утѣшительной вѣрѣ. Пускай нашъ Творецъ, нашъ благотворитель, источникъ и хранитель нашего счастія, будетъ между нами третьимъ. Съ Нимъ и въ Немъ наше счастіе будетъ невредимо. И жизнь, порожденная въ такомъ союзѣ, должна быть раемъ или вѣрнымъ къ нему приготовленіемъ. И мое сердце полно предчувствіемъ такой жизни. Я не обманулся. Ив. Влад., которому я открылъ свои обстоятельства, одобрилъ меня. При моемъ отъѣздѣ отъ него онъ меня благословилъ. Дни, проведенные у него, только что утвердили меня въ томъ расположеніи, съ какимъ я къ нему поѣхалъ. Съ нетерпѣніемъ жду той минуты, въ которую счастіе дастъ мнѣ новую жизнь. Это возможное преобразованіе самого себя радуетъ меня наравнѣ съ тою надеждою, которая представляетъ мою Машу моимъ ангеломъ спутникомъ, участникомъ чистой, невинной жизни. Никто кромѣ матери не будетъ свидѣтелемъ такой жизни; но она будетъ тѣмъ сладостнѣе—ибо она будетъ нашею собственностію. О! какъ для меня теперь понятно лучшее имя Бога: Отецъ! Оно будетъ въ моей семьѣ, будетъ ея защитникомъ, будетъ учредителемъ нашей жизни. И какъ теперь Маша для меня безцѣнна: только съ нею такая жизнь для меня возможна. Не могу порядочно объяснить себѣ теперешняго моего понятія о будущемъ: какое-то темное предчувствіе чего-то необыкновенно счастливаго. Вижу передъ собою самую тихую и вмѣстѣ самую дѣятельную жизнь. Тихую, потому что она ограничится самымъ тѣснымъ кругомъ, гдѣ будетъ нашимъ свидѣтелемъ и судіею одна мать; дѣятельную, потому что вся обратится на себя— столько чувствъ, которыя во мнѣ погибли даромъ, вдругъ получатъ свободу:

вдругъ имѣть всѣ святѣйшія связи, о которыхъ я имѣлъ одно только понятіе безъ отвѣта и понятіе грустное, потому что оно давало только мнѣ чувствовать ихъ недостатокъ [чувство ужасное—особливо когда оно соединено съ чувствомъ одиночества, нестерпимымъ въ виду той семьи, гдѣ желалъ бы имѣть все и гдѣ всего лишенъ незаслуженнымъ подозрѣніемъ] и сверхъ всего этого вѣра живая, идущая изъ сердца вѣра, не на однихъ словахъ и наружныхъ обрядахъ основанная, но вѣра, радость души, ея счастіе, ея необходимая подпора, истинная жизнь, чувство до сихъ поръ мало мнѣ знакомое, убитое одиночествомъ и унылостью, заглушенное непривязанностію къ жизни. Такъ, ангелъ Маша, вѣра, источникъ всякаго добра, освѣтитель всякаго счастія! Что сравнится съ такимъ пріобрѣтеніемъ? И какъ не обожать того, кому будешь имъ обязанъ—а это ты! Вѣрить вмѣстѣ съ тобою благому Провидѣнію и ему вручить въ тебѣ свою жизнь и всѣ свои надежды! До сихъ поръ я часто замѣчалъ въ себѣ какое-то отдаленіе отъ религіи—я ея никогда не отвергалъ, но она казалась мнѣ причиною всѣхъ утратъ моей жизни, и я не отдѣлялъ ея отъ того предразсудка, который лишалъ меня всего! Но суевѣріе не религія! И теперь въ какомъ новомъ свѣтѣ ее вижу! Какъ почитаю ее необходимою для истиннаго счастія! И это будетъ даръ моей Маши! Вмѣстѣ съ нею искать въ религіи прямаго блага, вмѣстѣ съ нею готовиться здѣшнею жизнію для будущей; имѣть одну эту цѣль и ни о чемъ посторонемъ не заботиться—я чувствую, что сердце необыкновенно распространяется и какъ будто хочетъ принять въ себя то, чего никогда въ немъ не было. Могу ли не почитать ее средствомъ, избраннымъ отъ Промысла, дабы дать мнѣ способъ удостоиться гражданства въ Божьемъ градѣ. Я говорю безъ всякой мечтательности! Нѣтъ! Это не можетъ быть мечтою! Это для насъ двухъ! Въ эту тайну никто, кромѣ взора нашей матери, не проникаетъ! Такое наслажденіе жизнію, невидимое никѣмъ, будетъ нашимъ безъ раздѣла. Наша жизнь должна быть тихая и скрытая отъ свидѣтелей. О! такое счастіе не есть призракъ! оно внутри сердца! въ немъ только можетъ быть ощущаему, и не должно выходить изъ него наружу. Жить въ самихъ себѣ, ограничить себя скромною умѣренностью, имѣть простыя и постоянныя занятія и устремить свою дѣятельность на исполненіе своихъ обязанностей—вотъ прямая жизнь! Что передъ нею исканіе суетныхъ и перемѣнчивыхъ благъ! Вѣрю и вѣрю съ чувствомъ, что Богъ меня хранитъ и что Онъ готовъ причислить меня къ семьѣ своихъ избранныхъ, которые узнаютъ Его по своему счастію.

25—26 февраля 1814 г.
Муратово.

Говѣть не значитъ: ѣсть грибы, въ извѣстные часы класть земные поклоны и тому подобное, это одинъ обрядъ, почтенный потому только, что онъ установленъ давно, но пустой совершенно, если имъ только и ограничится говѣнье. Оно имѣетъ для меня совсѣмъ другое значеніе. Въ эти дни болѣе нежели въ другіе должно быть въ самомъ себѣ, обдумать прошедшую жизнь, разсматривать настоящее и мыслить о будущемъ и все это въ присутствіи Бога. Вотъ что есть постъ. И такъ только, а не иначе, можно себя приготовить къ священному таинству исповѣди и причастія.

Смотря на прошедшее вообще [частные, мелкіе недостатки и проступки въ сторону], я не имѣю причины упрекать себя ни въ чемъ такомъ, что бы оставляло на всю жизнь раскаяніе; но и только. Всю прошедшую жизнь мою можно назвать потерянною—для меня потерянною; я могъ бы быть совсѣмъ не то, что я теперь. Начинать быть новымъ теперь поздо; можно бы быть лучшимъ — вѣроятно, что и то не удастся. Но при всей безплодности прошедшаго мое будуще-

могло бы быть прекрасно. Если я ничѣмъ не воспользовался въ жизни, то по крайней мѣрѣ ничто во мнѣ не испорчено—я готовъ жить и жить прекрасно. Вотъ мнѣ тридцать лѣтъ—а то, что называется истинною жизнью, мнѣ еще незнакомо. Я не успѣлъ быть сыномъ моей матери—въ то время, когда началъ чувствовать счастіе сыновняго достоинства, она меня оставила; я думалъ отдать права ея другой матери, но эта другая дала мнѣ уголъ въ своемъ домѣ, а отдѣлена была отъ меня вѣчнымъ подозрѣніемъ; семейственнаго счастія для меня не было; всякое чувство надобно было стѣснять въ глубинѣ души; несмотря на нѣкоторые признаки дружбы я сомнѣвался часто, существуетъ ли эта дружба, и всегда оставался въ нерѣшимости, чрезмѣрно тягостной: сказать себѣ дружбы нѣтъ! я не могъ рѣшительно, этому противилось мое сердце; сказать себѣ, что она есть, этому многое, слишкомъ многое противилось. На что было рѣшиться? скрывать все въ самомъ себѣ, и терпѣть, и даже показывать видъ, что всѣмъ доволенъ—принужденіе слишкомъ тяжелое при откровенности моего характера, который однако отъ навыка сдѣлался и скрытнымъ. Причина всему этому одна — приди все въ порядокъ, и все перемѣнится, искренность и довѣренность сами собою возобновятся; унылость исчезнетъ — останется думать только о томъ, какъ бы жизнь была спокойна и сообразна съ волею Промысла. Но эта одна причина... долженъ ли я ее стыдиться? Могу ли себя упрекать? О, нѣтъ! я теперь сужу себя безпристрастно! Совѣсть моя спокойна: я не желаю ни невозможнаго, ни непозволеннаго. Въ этомъ никто не переувѣритъ меня — исполнится ли то, что одно можетъ дать мнѣ счастіе, это къ несчастію зависитъ не отъ меня, а отъ другихъ; но для меня останется по крайней мѣрѣ увѣреніе, что я искалъ его не въ низкомъ, не въ томъ, что противно Творцу и человѣческому достоинству, а въ лучшемъ и благороднѣйшемъ; я привязывалъ къ нему все лучшее въ жизни—не будетъ его, не будетъ и прочаго; не моя вина. Останется дожить какъ-нибудь положенный срокъ, который, вѣроятно, будетъ и не дологъ. Жаль жизни — такой, какъ я ее представляю, тихой, ясной, дѣятельной, посвященной истинному добру; но того, что обыкновенно называютъ жизнію, того совсѣмъ не жаль — и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Тогда бы могъ я упрекать себя за прошедшее, когда бы употреблялъ непозволенныя средства исполнить свои надежды—нѣтъ! я хотѣлъ и хочу счастія чистаго. Я берегъ одну надежду. Покорностію и терпѣніемъ думалъ купить себѣ исполненіе. И это исполненіе было бы не дорого куплено, хотя во всѣ послѣдніе года не помню дня истинно счастливаго; сколько же печальнаго! а все вмѣстѣ—удѣлъ незавидный. Мысль, что все можетъ перемѣниться, что настоящее замѣнится прекраснымъ будущимъ, была моею подпорою,—но эта мысль не помѣшала мнѣ пріобрѣсти совершеннаго равнодушія къ жизни, которое наконецъ сдѣлалось главнымъ моимъ чувствомъ: чувство убійственное для всякой дѣятельности. Какъ хотѣть быть добрымъ въ жизни, считая и самую жизнь ненужною? Самая вѣра не ослабѣваетъ ли при такомъ равнодушіи. Другимъ нужно несчастіе, чтобы привести въ силу ихъ душевныя качества. Мнѣ, напротивъ, нужно счастіе—то счастіе, которое можетъ быть моимъ, ибо нѣтъ общаго для всѣхъ счастія. Въ немъ одномъ вижу свое преобразованіе.

Таково мое прошедшее. Что же въ настоящемъ? Все еще одна надежда. Но должно ли этому такъ остаться? Нѣтъ! надобно выйдти изъ нерѣшимости. Но доказательствомъ, что моя надежда не есть виновная, служитъ то дѣйствіе, которое производитъ на душѣ моей вѣроятность ея исполненія. Ею пробуждаются лучшія чувства и, не знаю, какая-то живая, сладостная вѣра, необходимость любить Провидѣніе и на него полагаться.

Какъ былъ счастливъ для меня тотъ день — не помню лучшаго во всей жизни — въ который я рѣшился говорить съ Иван. Влад. Во мнѣ было увѣреніе, что онъ оправдаетъ мою привязанность. А это представило мнѣ вѣроятность, что я буду счастливъ: чувство точно воскресительное для моей души. Я видѣлъ передъ собою не одно исполненіе желанія — этого было бы мало, и счастіе не въ томъ; нѣтъ, я видѣлъ передъ собою новую жизнь, видѣлъ себя тѣмъ, чѣмъ бы я желалъ быть — не автоматомъ, напрасно живущимъ въ Божіемъ свѣтѣ. Сердце у меня билось, когда смотрѣлъ на чистое небо, и я мысленно давалъ клятву быть достойнымъ своею жизнью Божества, обѣщающаго мнѣ такое счастіе въ своемъ мірѣ: я чувствовалъ необходимость болѣе любить Его, къ Нему все относить, ибо въ Немъ видѣлъ крѣпость своего счастія. Религія есть благодарность. Въ эту минуту твердая вѣра представлялась мнѣ ясно нужнѣйшею потребностію человѣческаго сердца. Это живое чувство не обмануло меня; я увѣренъ, что оно есть голосъ Божій — Иванъ Влад. одобрилъ меня. Съ тѣхъ поръ на душѣ у меня спокойнѣе. Я увѣренъ въ чистотѣ моей надежды, и въ настоящемъ ничто не пугаетъ меня.

Но будущее! оно пугаетъ меня одною своею неизвѣстностію. Я могу здѣсь дать себѣ отчетъ въ однихъ только намѣреніяхъ. Ихъ исполненіе не въ моей власти. Но мои намѣренія моя собственность, и здѣсь всякое постороннее право исчезаетъ. Здѣсь можетъ судить одинъ только Тотъ, Кто читаетъ въ глубинѣ сердца. Пускай же читаетъ Онъ въ моемъ. Я не боюсь Его взора и то, чего желаю Его достойно, есть лучшее, что могу принесть Ему въ жертву. Истинное достоинство человѣка въ его мысляхъ и чувствахъ. Онъ невидимы для другихъ, но извѣстны Сердцевѣдцу. То, чего желаю, не сдѣлало ли бы мою жизнь лучшею? Слѣдственно не есть ли оно невинно и свято? Какія кои намѣренія? Имѣть драгоцѣнѣйшія связи; ихъ сохраненію посвятить свою жизнь; спокойствіе души, усовершенствованіе сердца, дѣятельность, мнѣ свойственная, самая религія — все для меня въ одномъ! Какъ же не желать его всѣми силами души! Что иное можетъ мнѣ быть замѣною. Не желай невозможнаго, скажутъ. Но чтобы перестать желать того, что сдѣлало бы жизнь счастливою, надлежитъ увѣриться въ его невозможности. Я ее здѣсь не вижу, не видалъ и никогда видѣть не буду. Самъ бросить своего счастія не могу: пускай его у меня вырвутъ, пускай его мнѣ запретятъ; тогда по крайней мѣрѣ не я буду причиною своей утраты. Жертвовать собою не значитъ еще соглашаться, что жертва необходима и угодна Богу, которому ее насильно приносятъ. Онъ далъ мнѣ совѣсть. Отъ чего же эта совѣсть спокойна, когда я разсматриваю желанія своего сердца и разсматриваю ихъ въ увѣреніи, что у меня есть строгій свидѣтель; отъ чего, представляя исполненными свои намѣренія, чувствую въ себѣ самую чистую радость, вижу себя лучшимъ? Неужели это доказательство, что мои намѣренія дурныя? А какое другое правило вѣрнѣе въ сужденіи о самомъ себѣ. Я же не одинъ; прекрасные люди, истинные христіане одобряютъ меня; а мнѣніе, противящееся мнѣ, само по себѣ сомнительно и для тѣхъ, которые его имѣютъ. Если бы человѣку, совершенно равнодушному, надлежало произнести приговоръ, что бы онъ сказалъ? Одно мнѣніе поддерживаетъ истинный христіанинъ, но оно разрушаетъ счастіе; другое, ему противное мнѣніе, также истинный христіанинъ защищаетъ, и оно даетъ счастіе — которое справедливо?.. Безъ сомнѣнія то, на которой сторонѣ счастіе, ибо оно имъ оправдывается. Такъ бы долженъ былъ рѣшить безпристрастный, но нашъ судья мать.

Мои намѣренія достойны моего Творца и моя молитва къ Нему: чтобы Онъ исполненіемъ ихъ далъ мнѣ единственный способъ Его удостоиться въ жизни, или чтобы

скорѣе взялъ отъ меня обратно жизнь, совершенно безплодную. Вотъ вся моя исповѣдь».

1814.

1. Планъ.

1) Занятія. 2) Обхожд(еніе) съ М(ашею), съ Екат(ериною) Аѳ(анасьевною) [мнѣ, Іосй(кову), Машѣ]. 3) Обр(азъ) жизни въ Дерптѣ. Хозяйство въ Мурат(овѣ). 4) Занимать(ся). 5) Журналъ. 6) Расположеніе времени.

Планъ счастья. Первое, чтобы мы имѣли довѣренность. Наша цѣль. Обхожд(еніе) взаим(ное). Обр(азъ) жизни сем(ейной). Жизнь для другихъ. Не имѣть никакой постор(оннеи) цѣл(и). Прошедшее. Представить, что мы . . . . . Общія средства для счастія—какого? Чтобы у насъ въ семьѣ было мирно, достаточно, дѣятельно. Слѣд(овательно), это осн(овывается) на душ(евныхъ) уд(овольствіяхъ), на усоверш(енствованіи) взаим(номъ), на дѣятельности, которая безъ . . . . Слава. Деньги. Благосл(овеніе) на дѣтей и насъ. Чтобы Екат(ерина) Аѳ(анасьевна) было весело, на это способы общіе.

Мнѣ съ Воейковымъ:

Намъ жить вмѣстѣ. Слѣд(овательно) имѣть цѣль одну: общее счастіе, общую славу. Для одного мысль, что мы этого желаемъ искренно. Имѣть въ виду сохранить уваж(еніе) другъ къ другу. Помнить во всякое время другъ о другѣ. Говорить все прямо и безъ закрышки. Поставить за правило, если одинъ заговорилъ, другому молчать и не отвѣчать до тѣхъ поръ, пока не придешь въ спок(ойное) состо(яніе). Воейкову думать, что я объ Сашѣ такъ же забочусь, какъ и онъ обо мнѣ. Мнѣ думать, что Воейковъ тоже обо мнѣ. Ему мнѣ повѣрять всѣ мысли насчетъ Саши. Не таить другъ отъ друга ничего дурного; прошлое загладить; будущее сдѣлать прекраснымъ вмѣстѣ. Воейкову быть искреннимъ на мой счетъ съ Екатерин(ою) Аѳан(асьевною). Говорить и обо мнѣ и объ Машѣ, какъ онъ думаетъ. Ручаться, что мы противъ ея воли ничего не пожелаемъ; но увѣрить, что она лишаетъ насъ счастія безъ причины.

Воейкову съ Екат(ериною) Аѳ(анасьевною):

Поставить за правило угождать во всемъ—благодарн(ость). Грубость. Средство для минутъ неудовольствія: вспоминать о Сашѣ; молчать, когда не въ состояніи не сказать груб(ости); уступать или говорить свое мнѣніе съ ласкою. Быть самому искреннему. Сказать напередъ то, что хочешь узнать, не ожидая, чтобы сказали. Главное правило: любить не смотря на непріятности, любить изъ благодарн(ости), любить для Саши. Быть терпѣливымъ въ той мысли, что это спасаетъ жизнь жены, дѣлаетъ счастіе друзей и ее самое дѣлаетъ счастл(ивою). За все награда—уваженіе и спокойствіе четырехъ человѣкъ. Не забывать, что во всякую минуту есть прибѣжище—жена.

Мнѣ съ Екатер(иною Аѳанасьевною):

Противъ холодн(ости) вооружиться терпѣ(ніемъ). Отвѣчать молчаніемъ, никогда грубостію. Вспоминать о Машѣ. Не проговорѣчить въ мнѣніи. Искать прибѣжища въ работѣ. Мысль, что мы вмѣстѣ; что каждый день будетъ такъ. Говорить искренно все. Стараться занимать. Мысль, что она не можетъ быть свободна, что это только временемъ. Довести ее до этого. Средства. Мысль, что ее надобно сдѣлать искреннею. Средства. Мысль, что она Машина мать; для этого все сносить. Воейкову наблюдать. Показывать какъ можно болѣе вниманія ко мнѣ. Сашѣ быть своб(одною) со мною насчетъ Маши.

Машѣ съ Е(катериною) Аѳан(асьевною):

Быть какъ можно своб(однѣе) на мой счетъ. Разспр(осы). Говорить всегда просто свое мнѣніе. Огорченія сносить легче. Мысль, что мы вмѣстѣ. Переносить ихъ въ общ(ій) комитетъ.

М(ашѣ) со мною:

Наша цѣль быть столько счастлив(ы-

ми) вмѣстѣ, сколько возможно. Слѣд(овательно) люб(ить). Пользоваться жизнію каждый особ(енно). Помогать другъ другу быть лучшимъ. Мнѣ все хорошее для Маши; Машѣ для меня. Любить—значитъ теперь для насъ имѣть согласіе въ чувствахъ и мысляхъ; не помнить, что мы дали слово. Съ этимъ обѣщаніемъ соглашать свои поступки. Отлич(іе) позволен(наго) отъ непозвол(еннаго). Позволенное—всѣ ласки сестры и брата. Непозволенное—все то, что нужно скрывать. Довольствоваться тѣмъ, что мы не разлучены; что мы увѣрены другъ въ другѣ. Не желать для настоящаго ничего болѣе. О будущемъ не заботиться и его стоить. Заниматься вмѣстѣ съ тою же цѣлью, съ какою бы и розно занимались. Стоить любви маменьки. Непріятности облегчать терпѣніемъ. Мнѣ надѣяться на утѣш(еніе) Маши, Машѣ на мое. Быть сколько возможи(о) свободи(нымъ) при мам(енькѣ), остор(ожнымъ) при другихъ. Во дни непремѣнно одну минуту вмѣстѣ 4-мъ, дабы польз(оваться) сов(ершенною) своб(одою), но не однимъ. Это прин(ять) къ исполн(енію). Довѣренность. Жаловаться другъ другу только другъ на друга. Что ни дѣлать, имѣть въ виду другъ друга.

М(ашѣ):

Читать. Замѣчать въ книгахъ особ(ennымъ) знакомъ тѣ мѣста, кот(орыя) дру(з)ья. Выписывать самыя лучшія мѣста. Журналъ соб(ственный). Мѣста изъ Свящ(еннаго) Писанія. Собственныя мысли и замѣчанія на другихъ

Мнѣ:

Проза—все писать такое, что было бы дост(ойно). Стихи—слава ей. Св. Писаніе—моя исповѣдь. Прививки—поск(ятить) ей. Журналъ соб(ственный). Жить какъ пишешь. Искренность насчетъ дурного. Не быть пристрасти(нымъ) въ журналѣ. Ревность. Съ маменькою насчетъ замужества. Объ этомъ написать для себя и при случаѣ отдать ей. Режимъ: взять у Фора.

М(ашѣ) съ Воейк(овымъ):

Быть искреннею въ ж(еланіи) ему счастія; готовою все сдѣлать, что пот
буетъ) минута. На этомъ чув(ствѣ) ос
ываться) пост(оянно). Въ минуты
ныя молчаніе. За то въ минуты т
правда и ясность дружбы. Сія истин
дружеская искренность будетъ связы

Воейк(ову) и Сашѣ:

Какъ скажетъ любовь. Но вотъ сво
дружбы: Воей(кову) не забывать о
ровьѣ, слѣд(овательно) горячность б
всего. Вспыльчивость произвед(етъ) не
рику). У Воей(кова) пройдетъ, но сл
останется, и здоровье нач(нетъ) п
б(ать). Слѣд(овательно) беречь Сашу
съ К(атериною) Аван(асьевною): н
г(ать) случая сердить; гораздо легче у
п(ать), нежели быть причиною разстр
ства). Все, что можетъ съ одной стор
стоить тяжелой жертвы, напередъ
того отказаться. Въ ссорахъ другъ
другомъ принимать посредниковъ то
меня и Машу. Посторонніе чтобъ и
видали. Все прочее сами знаете. С
обдумыв(ать) все, что прин(адлежитъ)
занію матери. Объ этомъ вмѣстѣ съ
шею—глав(ное) занятіе обѣихъ, и я
мощи(икъ). Чтеніе и опытъ.

Образъ жизни. Общіе предметы
зяйств(енные), обѣдъ и ужинъ. На
ч(ить) людей. Не много. 1) Чтобы б
довольны. Обд(умать) ихъ нужды
удовл(етворять) съ излиш(комъ), чт
имѣть право болѣ(е) требов(ать). 2) К
дому письменно назначить должност
внѣ ея ничего не требовать. Чтобъ
былъ порядоченъ, нужно самому под
н(яться) порядку. 3) Всѣ вещи на
писке. 4) Самимъ распредѣл(ить) с
долж(ности). Сдѣлать общую смѣту в
расхода: на домъ, отопленіе и осв
на лошадей; на жал(ованье) и одеж
людямъ; на свою одежду; чай, коф
сахаръ; вино; на годов(ой) стол(овой)
насъ для себя и людей; на ежед(невн
расх(одъ) на столъ; на ежед(невн
рас(ходъ) на людск(ую) пищу; на к
манныя деньги; на непредвидѣнное;
закупку нужныхъ мебелей для Дер
5) Должности. Машѣ: Имѣть на рук

деньги. Вести приходъ и расходъ. Этому сдѣлать образецъ и книги. Расх(одъ) и при(ходъ) вещамъ. Записка всего, что есть въ домѣ. Приказ(ывать) кухню. Сашѣ: Имѣть на рукахъ чай, сахаръ и кофе и ключи отъ всѣхъ комод(ов)ъ, чтобы знать, гдѣ что лежитъ и чтобы ничто не лежало брошено въ безпоря(дкѣ) или было забыто. Воейкову: лошади, овесъ, сѣно, дрова, люди [ихъ одежда, пища, ихъ должности]. Жук(овскому): Смотр(ѣть) за чистотою въ домѣ. Библіотека. Починки въ домѣ. Ав(дотьѣ) Мих(айловнѣ): имѣть на рук(ахъ) стол(овый) запасъ, вино, свѣчи. Выдав(ать) на кухню свѣчи, вино. Имѣть на рук(ахъ) фарфоръ, и посуду, и серебро. Записывать дневи(ой) расходъ. Мѣсячный Машѣ. Имѣть на рук(ахъ) погребъ, мыло. Стир(ка) бѣлья. 6) Общая смѣта.

Занятія: общія и частныя, семейств(енныя), общеполезныя. Общія правила: Чтобы не было во дни праздной минуты. Заниматься каждому съ своею частною цѣлью. Общая цѣль, чтобы день принесъ пользу или головѣ, или карману. Чтобъ минуты отдыха были веселы. Чтобы была и для другихъ польза.

Чтобы Екатер(ину) Ав(анасьевну) никогда не оставл(ять). Распредѣлить такъ время, чтобы при ней. Чтобъ были мину(ты), чтобы всѣ вмѣстѣ. Дневанье.

Занятія порознь. Занятія вмѣстѣ. Порознь: занятія по должности, занятія для себя полезныя. Занятія вмѣстѣ: пріятныя, разговоръ.

Занятія порознь. По должно(сти). Каждому обдум(ать) свою цѣль. 1 должность—образовать самого себя. 2 долж(ность)—исполнять то, что приличио званію. 3 долж(ность)—непосредств(енная) польза для тѣхъ, кому она нужна.

1) Чтеніе выбранныхъ книгъ. Писать для себя. Какъ читать и какъ писа(ть). Журналъ.

2) Званія:

Сашѣ, какъ матери: воспитаніе и понятіе о томъ, что каждая мать должна науч(ить) дѣтей: а) если сынъ, б) если дочь. Машѣ должность быть въ этомъ ей помощницею.

Метода, какъ заниматься.

Мнѣ и Воейкову: 1) Чтеніе. Журналъ. 2) Авторство мнѣ [назнач(ить): кажд(ый) день прозы, кажд(ый) день въ стих(ахъ)]. Вмѣстѣ: Изданіе стихотв(ореній) и проз(ы). Красоты библіи. Приготовл(еніе) къ лекціямъ. Лат(инскій) языкъ и италіанскій. Сообщ(еніе) замѣч(аній) на читанное и записки. Красоты слав(янскаго) языка. Журналъ. Изданіе календаря. Изданіе ежег(одно) луч(шихъ) піесъ въ стих(ахъ) и прозѣ.

Воспитаніе. Составить пол(ный) корпусъ изъ чит(анныхъ) книгъ. Составить нач(альную) книжку для наставленія.

Занятія вмѣстѣ. Священное Писаніе. Чтеніе духовныхъ писателей. Чтеніе своихъ сочиненій и ихъ разборъ.

Выдумать способъ, чтобъ часы, проводимые вмѣстѣ, не были скучны. Приготовл(ять) матерію для разгов(оровъ). О томъ, что читалъ. Одн(имъ) словомъ, думать объ этой минутѣ, ибо она есть отдыхъ отъ дѣятельнаго дня, въ который всѣ должны быть веселы. Задавать вопросы, которые разрѣш(ать) словесно. Чтеніе замѣченныхъ мѣстъ. Разсказы, игры — чтобы прих(одили) какъ будто невзнач(ай). Планъ кажд(аго) дня. Я и Воей(ковъ). Журналъ нашей жизни; вести Машѣ. Каждому свой журналъ и замѣчанія за другими, такъ чтобы каждый зналъ мысли другихъ о себѣ, и чтеніе другъ другу.

Занятіе полезное для другихъ. Найти бѣдную семью. Каждому съ своей стороны способствовать. Сдѣлать располож(еніе) и слѣдов(ать) ему. Но прежде всего, чтобы все вокругъ насъ было въ порядкѣ.

Прибавленіе.

1) Изъ моихъ тетр(адей) и писемъ.

М(ашѣ) съ мам(енькою): Беречь спок(ойствіе) духа. Сказать себѣ, чего желать, чѣмъ довольствоваться, какія

неизбѣжныя огорченія, какъ ихъ уменьшать, быть готовымъ къ дурному, пользоваться всѣмъ хорошимъ. Положеніе маменьки съ нами.

Жизнь вмѣстѣ. Одна цѣль. Думать. Забота каждаго о себѣ. Близко. Что возможно и что невозможно.

Новая связь, вмѣстѣ. Стар(аться) до(с)тичь съ мат(ушкою), даже и вопреки ей. Вмѣстѣ сколько непріяти(остей) съ этою цѣлію.

Ненад(обность) переписки. Замѣна чтенія; журналъ; выписки изъ книгъ; навнач. за свѣд.

Противъ ревности воспоминаніе всего прошедшаго.

Tu me dois ton bonheur particulier. Что мнѣ надобно? Что ей надобно? О замужествѣ—обдумать и написать. 1) Режимъ. Смѣло приказ(ывать) по Форову предпис(анію). 2) Спокойствіе духа. Довѣр(енность) взаим(ная). Не пит(ать) мысл(ей) унын(ыхъ). Смотр(ѣть) на вещи просто. Не приним(ать) къ сердцу. Упов(ать): всет(аки) мы вмѣстѣ. О чтеніи.

О моемъ обѣщаніи. Разговоръ. Я не могу дать. По тѣхъ поръ пок(а) не б., пока не прист. Я не могу гдѣ-то жить. Послѣ моей смерти. Изъ сожалѣнія. Счастья нѣ(тъ)—оно въ испол(неніи) д(олга). Что М. за... Я знаю, что онѣ сами были виною. Все для себя.

Шуба. Послѣдніе дни. Плач(евное) прощаніе.

Машины тетрадки. Мои тетрадки. Условіе. Régime.

Для хар(актеристики) Воейк(ова) мои посланія.

Для Е(катерины) Ав(анасьевны) мое и ея письмо.

Хар(актеры) Во(ейкова), Ек(атерины) Ав(анасьевны), Саш(и), Маш(и), Ав(дотьи) Петр(овны), кой, Плещ(еева), Ан(ны) Ив(ановны).

Сочиненія: Владим(іръ), Вост. Пѣв(ецъ), Maison de Ch., баллады, Посл(аніе) къ госуд(арю), Привѣт(ственное) посл(аніе), Оберонъ, Филоктетъ, Art poétique, Eloisa to Abel(ard), Der Mensch und die... Лекціи. Журналъ. Эпеида. Письма о воспит(аніи) и нравств(енности). Журналъ. Жизнь и сочиненія Муравьева. Романъ. Анти-Кандидъ. Прививки (sic).

Скрытыя статьи. Мнѣ съ Воейковымъ. Мнѣ съ Машею.

Вообще.

Наша цѣль: общее счастіе. Думай о себѣ, думать о другихъ. Свое особенное все приноровлять къ общему. Не желать и не дѣлать ничего, что бы противно было счастію кого-нибудь изъ насъ въ особенности, слѣдовательно общему. Дѣлать все то только, что бы къ нему способствовало.

Въ чемъ состоитъ это общее счастіе? Въ семейственномъ спокойствіи: то-есть, чтобы у насъ въ семьѣ все было весело, чтобы въ ней была полезная дѣятельность, что(бы) не было недостатка ни въ чемъ необходимомъ.

1) Чтобъ быть веселымъ, надобно быть: довольнымъ своимъ положеніемъ, довольнымъ другими, довольнымъ собою.

NB. Средства на это легкія, самыя простыя и всѣ отъ насъ зависятъ. Чтобы составить наше счастіе, намъ не надобно ходить въ даль за способами: они всѣ у насъ подъ руками; только хотѣть и не отдѣлять себя отъ другихъ,—а соглашать свои понятія объ немъ съ понятіями своихъ товарищей.

a) Для того, чтобъ быть довольнымъ положеніемъ своимъ, надобно: Не желать перемѣны. Пользоваться тѣмъ, что есть. Боязнію будущаго не портить настоящаго. Думать, что нѣтъ блаженнѣ(е) состоянія, какъ семейственнаго круга, въ которомъ всѣ добрые, вѣрять другъ другу, заботятся другъ объ другѣ, порознь трудятся, вмѣстѣ отдыхаютъ посреди искренности и не допускаютъ въ свой кругъ никакихъ огорченій, которыя бы отвратить было имъ возможно. Быть увѣреннымъ, что это положеніе наше и что отъ насъ зависитъ его сохранить.

b) Чтобъ быть довольнымъ собою, надобно: Поставить за правило не только

поступкомъ, но и намѣреніемъ не нарушать общаго покоя. Соображаться въ мысляхъ и желаніяхъ съ этою общею цѣлью. Исполнять это сколько возможно на дѣлѣ. Тогда скажешь самому себѣ съ удовольствіемъ, что ты достоинъ занимать свое мѣсто въ милой семьѣ.

c) Чтобъ быть довольнымъ другими: Имѣть къ нимъ полную довѣренность. Маленькія неудовольствія сносить спокойно или не привязываться ни къ чему мелкому. Быть откровеннымъ и требовать откровенности. Не беречь ничего на сердцѣ. Никогда не забывать мысли, что живешь между твоими товарищами, съ которыхъ счастіемъ связано и твое. Не проводить ночи въ сомнѣніи и досадѣ, чтобы утро нашло тебя такимъ, какимъ быть долженъ, то-есть съ легкимъ сердцемъ, не имѣющимъ ничего противъ своихъ друзей, полнымъ прежней ничѣмъ не омраченной къ нимъ любви.

Чтобы другіе были нами дов(ольны): Имѣть къ нимъ довѣренность. Что на сердцѣ, то на языкѣ. Не отдѣлять себя отъ нихъ, не полагать своего желанія за общее правило, но общее своимъ желаніемъ. Не требовать только отъ нихъ, но и самому все для нихъ дѣлать. Думать не объ однихъ только ихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ себѣ, но о своихъ въ отношеніи къ нимъ. Однимъ словомъ, соглашать свое съ общимъ. Полную свободу мнѣній. Смотрѣть за ними болѣе, нежели за собою, а смотрѣніе за собою повѣрить имъ и замѣченнаго не беречь на сердцѣ, а говорить прямо. Мысль о усовершенствованіи другихъ.

Всему прошедшему полное забвеніе, и кто имѣетъ себя въ чемъ упрекать, тотъ имѣй въ головѣ только мысль: будущимъ загладить прошедше(е), и чтобы каждый день это исполнялось на дѣлѣ— думать, что мы только что пускаемся вмѣстѣ въ дорогу за счастіемъ, и взять нужный для этого запасъ.

Все это необходимо для того, чтобы намъ всѣмъ порознь и вмѣстѣ было весело. А это веселье, успокоивающее душу, необходимо для того, чтобы мы каждый могли съ успѣхомъ заниматься своимъ особеннымъ дѣломъ, чтобы нашъ отдыхъ отъ дѣла былъ прямо отдыхъ, то-есть ощущеніе себя въ кругу милыхъ товарищей, гдѣ все твое, гдѣ нѣтъ заботы, гдѣ перестаешь думать о прошедшемъ и будущемъ, гдѣ доволенъ и собою, и другими. Такое только веселье, такая только дѣятельность составляютъ счастіе. Не имѣть его въ кругѣ добрыхъ значитъ не хотѣть его имѣть. Оно наше, если только сами не будемъ его разрушителями.

2) За веселъемъ—дѣятельность,— не та, которая служитъ прибѣжищемъ и спасителемъ отъ горя, которая рѣдко отъ него спасаетъ и вмѣстѣ съ такимъ худымъ товарищемъ и половиннаго успѣха имѣть не можетъ,—но дѣятельность веселыхъ въ семейственномъ кругу счастливцевъ, то-есть наша.

a) Главное правило, чтобы ни одинъ день не прошелъ даромъ, не прибавивъ намъ добра, чтобы онъ не исчезъ изъ жизни. Только изъ такихъ дней составленная жизнь можетъ назваться жизнію. Изъ дней ничтожныхъ составленная есть ничтожество. Какой же запасъ принесешь въ ту жизнь? Готовить этотъ запасъ наша обязанность; помогать другъ другу готовить — другая, а помогать нечѣмъ другимъ, какъ счастливя другъ друга, чтобы это счастіе служило вмѣсто вдохновенія. Бѣда, если горе уничтожитъ дѣятельность ежедневную, слѣдовательно всей жизни, и если это разрушитъ горе отъ милыхъ людей.

b) Имѣть каждому особенную цѣль, и чтобы къ этой цѣли в[ъ]якой день особенно приближалъ.

c) Имѣть слѣд(овательно) свое особенное занятіе, относительное къ особенной своей цѣли.

d) И эта цѣль можетъ быть двоякая: или особенная обязанность по своему званію, или обязанность общая для всѣхъ, нравственное свое усовершенствованіе.

Этимъ занятіямъ посвятить свои особенные часы, часы, собственно каждому принадлежащіе. Употребить ихъ такъ, чтобы послѣ, отдыхая съ друзьями, можно было дать имъ пріятный для нихъ и для себя отчетъ.

c) Такого же рода занятія могутъ быть и вмѣстѣ—для всѣхъ одно.

f) Наконецъ занятіе непосредственно полезное для другихъ, которые не принадлежатъ къ нашей семьѣ, должно входить въ планъ нашего счастія. Я говорю о благодѣяніи. Какое оно быть должно, впередъ нельзя сказать,—но, если можно, чтобъ каждый день былъ замѣченъ добрымъ дѣломъ, по чувству ли сдѣланнымъ или по обязанности—нѣтъ нужды: или причины, или дѣйствія все будутъ хорошія. Но это должно быть семейственною тайною.

1817.

Октябрь.

4-е, четверг. Выѣздъ изъ Петербурга. Обѣдъ въ С(арскомъ) Селѣ. Пушкинъ. Дорогою встрѣча съ курьеромъ. Спасск(ое) Полисть(е). Трактиръ. Тверь. Чертковы.

Вторникъ, 9. У Протасовыхъ. Пріѣздъ въ Москву.

10. У Вяземск(аго). У Антонск(аго). У Дмитріева. У Нарышк(ина).

11. У великаго князя.

12. Чудесный праздникъ на Воробьев(ыхъ) горахъ.

14. Напрасн(ая) попытка представиться государынѣ.

17, середа. У Булгакова. К(ано) д'Истрія, Стурдза, Рушковскій, Видберхъ. Великолѣпная мысль для храма. Неудачная поѣздка въ Астафьево. Собраніе пенсіонское.

18-е. Астафьево.

21, воскрес(еніе). Представленіе велик(ому) князю и императрицѣ. Воронежской помѣщикъ. Обѣдъ у Каченовскаго. У Офросим(ова).

22. День освоб(ожденія) Москвы отъ поляковъ. Первая лекція. Мое переселеніе. У Офросимова.

24. Письмо отъ Тургенева. Обѣдъ въ Англ(ійскомъ) клубѣ. Давыдовъ. Дмитріевъ. Качен(овскій).

25. По утру у Екатер(ины) Семен(овны). Біографія королевы Луизы. Обѣдъ у великаго князя. Бенкендорфъ: анекдотъ о крестѣ. Музыка. Народъ передъ окномъ. Храповицкій. Дурновъ. Принцъ Прусскій. Послѣ обѣда у Екатерины Семен(овны). К(нязь) Голицынъ. Совѣщаніе у Антонскаго и Вяземскаго. Эпиграммы и Пушкина басня.

26. Обѣдъ у Дружинина. Сентиментъ. Полуехтовъ. Каченовскаго болѣзнь.

27, суббота. Моей лекціи не было: в(еликая) к(нягиня) нездорова. Я люблю свою должность, и мнѣ совсѣмъ не кажется отдыхомъ тотъ день, въ который не могу ею заняться. Тѣмъ лучше. Но послѣднее счастіе быть привязанным къ тому, что должно. Я надѣюсь со временемъ сдѣлать уроки свои весьма интересными. Они будутъ не только со стороны языка сей полезны, но дадутъ пищу размышленію и подѣйствуютъ благодѣтельнымъ образомъ на сердце. Однимъ словомъ до сихъ поръ чувствую себя совершенно счастливымъ въ своей должности, и счастливымъ особенно потому, что чувствую себя со всѣхъ сторонъ независимымъ: извнѣ и внутри души. Честолюбіе молчитъ; въ душѣ одно желаніе добраго. Безъ всякаго безпокойства желанія смотрю на будущее и весь отданъ настоящему. Милая, привлекательная должность! Поэзія! Свобода! Заслуженное уваженіе по чистотѣ намѣреній и дѣлъ, желаніе добра всѣмъ и сердечная увѣренность, что не буду ни съ кѣмъ соперникомъ и не огорчусь потерею выгодъ, ибо не ищу ихъ—вотъ теперь мое положеніе. Да сохранитъ Богъ его неизмѣннымъ.—Пріѣздъ Воейкова съ стихами. Извѣстіе отъ Протас(инскаго) о Сашѣ. Поповъ. Обѣдъ у Е(катерины) Семен(овны) и письмо къ Сергѣю. Засѣда-

ніе въ Общ(ествѣ) л(юбителей) с(ловесности) и скука. Дмитріевъ и Шаликовъ. Ужинъ у В. Л. Пушкина.

28, воскресенье. Чистое счастіе дѣлаетъ религіознымъ. Все прекрасное родня. Каждое прекрасное чувство все оживляетъ въ душѣ: дружбу, поэзію; и все это сливается въ одно: Богъ. Я бы каждое прекрасное чувство назвалъ Богомъ. Оно есть Его видимый, или слышимый, или чувствуемый образъ.—Шамбо. Пріятное знакомство. — Обѣдалъ у Тютчева. Вечеръ дома.

Счастіе не цѣль жизни. Мы соединены состраданіемъ съ другими. Ихъ несчастіе общее для насъ. Мы менѣе радуемся, нежели печалимся вмѣстѣ съ другими. Несчастіе дѣлаетъ другого намъ любезнѣе, почтеннѣе—онъ въ нашихъ глазахъ возвышается, чѣмъ болѣе страдаетъ и борется, тѣмъ любезнѣе.

Мы знаемъ здѣсь одно потерянное счастіе. Счастіе нашъ предметъ; здѣсь мы имѣемъ только тѣнь предмета.

То чувство равнодушія, какое имѣетъ всегда мертвое тѣло посторонняго намъ человѣка, есть доказательство безсмертія души. Тайный голосъ говоритъ намъ, что мертвый ничего не потерялъ. Мы жалѣемъ или себя или другихъ, жалѣя о мертвомъ; видя чужія слезы, мы плачемъ объ немъ.

Видъ мертваго младенца дружитъ съ смертію.

29, понедѣльникъ. Утро у в(еликой) княгини. Поповъ. Къ Кокошкину обѣдать: Апраксинъ, Солнцевъ, Похвистневъ съ женою. Послѣ обѣда у Вяземскаго. У Попова.

3 (ноября), суббота. Утро у в(еликой) к(нягини). Я немножко опоздалъ, и мнѣ былъ какъ будто выговоръ. Она нетерпѣлива; но эта нетерпѣливость милая и добродушная. Я нашелъ у нея Нарышкина. Она занималась важнымъ дѣломъ: выборомъ камней. Она спросила у меня, люблю ли камни? — Не знаю, люблю ли, потому что никогда не имѣлъ ихъ; но больше думаю, что не люблю,— Она не выучила своей басни и съ большимъ горемъ разсказывала мнѣ, что ей было некогда. La princesse Moustache a été chez moi après dîner et a passé deux heures entières. Vous savez qui est la princesse Moustache? Quand ces dames à portrait vous arrivent, il ne faut plus badiner. Et moi j'aime tant que mon après-dînée est à moi. Только хотѣли мы начинать, явился государь. Прошло съ четверть часа. Потомъ явились принцъ и в(еликій) к(нязь). Съ послѣднимъ мы нѣжно поцѣловались.—У Вяземскаго. У Муравьева. Обѣд(алъ) у Екатерины Семеновны. Вечеръ у в(еликаго) князя. Была государыня и разыгрывала лотерею. Разгов(оръ) съ Виллам(овымъ) о Мерзляковѣ. Бенкендорфъ. Албедиль, который буфонитъ и котораго дразнитъ: совсѣмъ не въ томъ видѣ, въ какомъ я его встрѣтилъ на дорогѣ изъ Дерпта. Милорадовичъ. Трубецкой съ женою. Храповицкій. Моденъ. Пашковъ. Мухановъ. Нелидова. Ливенша. Прозоровск(ая). Волконская. Гр(афъ) Чернышевъ. Кочетова. Нелединская. Разгов(оръ) съ государ(ынею). Она разспрашивала меня о моей ученицѣ; а моя ученица насъ подслушивала и краснѣла. Разговоръ съ Дурновымъ. Отмѣнно умный, живой и проворный. Въ лотереѣ лучшимъ лотомъ было петинетовое платье; его выиграла государыня, которая потомъ изъ него сдѣлала лотерею, назначивъ его напередъ женѣ Адлерберга. Il me paraît que la familiarité du g(rand) d(uc) est inconvenable: elle embarrasse étant trop libre.

4, воскресенье. Болѣзнь Митеньки. Послѣ обѣда у Вяземскаго. Свадьба, рожденіе и смерть въ одной семьѣ.

5, понедѣльникъ. У в(еликой) к(нягини). Долженъ былъ у в(еликой) к(нягини) обѣдать, но прослушалъ приглашеніе и обѣдалъ у Офросимова. Митенькѣ нѣсколько лучше по утру; ввечеру и гораздо лучше. Но эта надежда только злая шутка. Пушкина, Е. Г. Рябинина. Аникѣева.

6, вторникъ. Нынѣшній день есть

тяжкій урокъ жизни: онъ учитъ радоваться, но не полагаться на радость; вѣрить радостямъ души, но не полагаться на постоянство счастія. День начался прекрасно; свѣтлое утро и свѣтлость въ сердцѣ. Урокъ мой былъ очень пріятенъ: въ моей ученицѣ часъ отъ часу открываю болѣе милыхъ, непорочныхъ прелестей сердца. Душа откровенная до младенчества; умъ прекрасный, но еще не напуганный опытомъ. Я говорилъ съ нею о высокой ея цѣли и о прекрасномъ образцѣ, который она имѣетъ въ своей матери. Я имѣлъ удовольствіе слышать отъ нея, и, кажется, это было искренно, что мои уроки ей нравятся. «Aucun de mes maîtres n'a été si clair que vous!» Однимъ словомъ, это утро наполнило сердце счастіемъ. Мое положеніе прекрасное. Душа жива. Могу дѣйствовать безъ принужденія; могу дѣйствовать для добра; чувствую, что буду дѣйствовать безкорыстно. На эту минуту доволенъ собою—надобно всегда быть довольнымъ собою. Да сохранитъ мнѣ Богъ всегда чистоту сердца и да пошлетъ успѣхъ добрымъ желаніямъ и способность ихъ исполнить. Послѣ былъ у Вяземскаго. Тамъ было все спокойно. Надежда жива. Это дало пріятный остатокъ для [обѣда у Булгакова и вечера у Дмитріева]. Возвращаюсь домой. У самаго крыльца нагоняетъ Вяземскаго человѣкъ. Зовутъ къ нему. Все перемѣнилось. Я засталъ нѣсколько минутъ жизни малютки. Всѣ сидѣли вмѣстѣ. Докторъ былъ надъ умирающимъ. Послышались его шаги: это было приближеніе смерти. Мать, прощаясь съ мертвымъ, говорила ему, какъ живому: прости, мой голубчикъ. Въ этомъ выраженіи что-то необыкновенно трогательное. Мы разстались въ три часа. Когда я ѣхалъ отъ Дмитріева домой, луна свѣтила ярко; Кремль былъ прекрасенъ; главы на церквахъ сіяли; на землѣ было свѣтло, и за лунным свѣтомъ, озарявшимъ землю, исчезали звѣзды. Когда я возвращался отъ Вяземскаго, все уже было иное: луна спряталась; все покрыто было туманомъ; но звѣзды сіяли гораздо ярче: все на землѣ стало темнѣе; за то на небѣ все сдѣлалось ярче. Какое разительное, живописное изображеніе этого дня и всей жизни.

7, середа. Съ Вяземскимъ у Мит(енькина) тѣла. Видъ мертваго младенца дружитъ со смертію. — Об(ѣдалъ) у С. С. Апраксина. Топъ стар(иннаго) боярства. Кажется страннымъ потому, что не похожъ на обыкновенный нынѣшній. Нѣтъ простоты; но есть величавость. Что предпочесть, Богъ знаетъ. Кажется, для большихъ собраній такой топъ лучше. Непринужденность должна быть въ маломъ кругѣ. Принужденность въ большомъ кругѣ есть синонимъ благопристойности.— Домой. Потомъ съ Пушкинымъ къ Солнцеву и къ Кологривымъ, гдѣ Вяземскіе. В. Григ. Пушкина. Разговоръ о физіономіи. Полуехтовъ съ женою. Съ нѣкоторыми людьми ловко только наединѣ; при другихъ съ ними стыдно. Вниманіе, которое показываешь къ ихъ словамъ, кажется смѣшнымъ. Наединѣ безъ притворства позволяешь себѣ быть внимательнымъ и говоришь съ этими людьми ихъ языкомъ. При другихъ, чувствуешь, что такое вниманіе есть притворство, и невольно, говоря, оглядываешься и стыдишься того, что говоришь. Ужиналъ у Кологрив(ыхъ); сидѣлъ рядомъ съ Aimée, которая мила, какъ птичка.

8, четвергъ. Ходилъ къ в(еликой) к(нягинѣ) просить позволенія не быть завтр(ашній) день. Видѣлъ одного Нарышкина. Jéricho. Балъ.

9, пятница. Поѣздка въ Астафьево.

10, суббота. У Нарышкина. Разговоръ о его дѣтяхъ. Вечеръ у Вяземск(ихъ). Обѣд(алъ) у Е(катерины) Семеновны.

11, воскресенье. Обѣд(алъ) у Похвиснева. Чтеніе Мерал(якова) стиховъ. Вилье.

12, понедѣльникъ. У в(еликой) княгини. Она не приняла урока, но приняла меня. Больна флюсомъ. Обѣдалъ у Полуехтова. Наскевичъ. — Ввечеру у Дмитріева.

Жизнь есть воспитаніе. Все въ ней

служить урокомъ. Счастіе жизни: знать хорошо урокъ свой, чтобы не постыдиться передъ Верховнымъ Учителемъ. Гдѣ употребить этотъ урокъ въ пользу — это знаетъ Учитель. Что Онъ учитъ не даромъ, это вѣрно; и въ знаніи этого вся вѣра.

13, вторникъ. Шамбо. Лодеръ. Глинка. Утро и обѣдъ у Вяземскаго. Послѣ обѣда у Яковлевой. Страшное положеніе. Черпышевъ съ женою. Вечеръ дома.

14, середа. Утро дома; обѣдалъ и вечеръ провелъ у Вяземскаго.

Русскіе глаголы надобно различать на два разряда: въ одномъ простые; въ нихъ заключается дѣйствіе, относящееся къ лицу или вещи; они изображаютъ или просто дѣйствіе лица, не относя его ни къ какому другому—средніе и общіе, — или дѣйствіе относительное къ другому лицу или вещи — дѣйствительные, возвратные и взаимные, — или состояніе лица, на которое дѣйствуетъ постороннее — страдательные. Въ другомъ разрядѣ тѣ же глаголы, но съ означеніемъ нѣкоторыхъ обстоятельствъ дѣйствія: предложные или учащательные.

29, четвергъ. Le peuple est meilleur que les cercles.

2 (декабря), воскресенье. День начатъ прекрасно; но какъ вѣрить прекрасному, даже и тому, которое въ душѣ, въ мысляхъ и чувствахъ? Какъ мы зависимы отъ всякой мелочи! И какъ истолковать самого себя! Точно во мнѣ два человѣка: одинъ—высокой, чистой, другой—мелочной и слабой. До обѣдни я былъ полонъ бодрости, надежды на себя самого, довѣренности къ своему собственному безкорыстію. Послѣ обѣдни эта бодрость упала; и самъ, и другіе стали въ глазахъ моихъ хуже. Зачѣмъ думаю я о наружности, когда мое главное, чтобы внутреннимъ, самимъ собою быть довольнымъ? Что мнѣ нужды, что я показался не такимъ, каковъ я есть... Но полно ли, только показался? Не былъ ли я въ ту минуту такимъ, какимъ долженъ былъ показаться? И не отъ того ли эта грусть, что въ самомъ дѣлѣ на эту минуту дурное обо мнѣ мнѣніе есть и справедливое? Зачѣмъ позволяю тебѣ не думать и такъ часто въ пустякахъ къ другимъ приноравливаться? Взявъ все вмѣстѣ, я хорошъ; порознь — много дурнаго! Должно себя держать въ уздѣ или, лучше сказать, должно съ величайшею внимательностію за собою слѣдовать. Я не могу быть ни спокоенъ, ни дѣятеленъ безъ оживительнаго уваженія къ самому себѣ; надобно, чтобы всякой поступокъ производилъ это уваженіе—по чувству и правилу, или по одному только правилу, вопреки самаго чувства, но согласно съ долгомъ. Дай Богъ только всегда умѣть скоро найти то, что должно. Въ этой-то скорости усмотрѣнія весь навыкъ добродѣтели. Неужели, желая искренно быть добрымъ и достойнымъ, не будешь ни тѣмъ, ни другимъ, и можешь поступать невольно вопреки этому желанію? Надобно пріучить себя менѣе уважать одобреніе другихъ и единственно довольствоваться собственнымъ одобреніемъ.

Die Prinzessin Charlotte, im kindlich reinen Sinne den Verlust einer Mutter beklagend, war fast untröstlich, dass nicht mehr das lebende Auge der Mutter auf sie geblickt, nicht mehr ihr Mund ein liebendes Wort zu ihr gesprochen hatte. Ach, klagte sie, wäre ich nur da gewesen, meine Mutter würde mir gewiss noch etwas gesagt haben! Die verwittwete Frau Landgräfin sprach darauf zu ihrer Urenkelin: Deine Mutter würde dir gesagt haben: Sei tugendhaft! Ich will dir in dem Namen deiner verklärten Mutter sagen: Sei so tugendhaft, wie sie war! Du hast die Gaben deiner Mutter empfangen, lebe auch in ihrem Geiste und nach dem Vorbilde dieses Engels. Dann wird der Segen deiner Mutter auf dir ruhen (19 July 1810, 9 Uhr).

Приписано рукою великой княгини:

Den andern Tag um 10 Uhr des Morgens ging der König mit seinen Kindern

im Garten, zeigte ihnen den Platz, auf welchem unsere liebe Mutter zum letzten Male am 29 Juny die Luft genossen hatte; hier vergossen wir bittere Thränen. Papa führte uns zu einem Rosenhügel und sagte Charlotten: «Winde einen Kranz von weissen Rosen um sie auf Mama zu strecken». Die Brüder pflückten emsig weisse Rosen, und ich sass unter einem alten Birnenbaum den Kranz windend. Jeder Bruder nahm einen Strauss und Papa eine Rose mit drei Knospen, welche Alexandrinen, Louise und Albrecht vorstellen sollten. Alsdann brachten wir diese Blumen an Mama.

1818.

Апрѣль, 17. Одинъ изъ прекраснѣйшихъ дней. Рожденіе великаго князя. Прелестное утро. Чувства веселыя, ясныя, живыя, безъ примѣси. Радость истинная. Конецъ безпокойству. Черты истинной высокости въ характерѣ матери: это великое счастіе. Чѣмъ больше причинъ къ ней привязываться, тѣмъ болѣе прелести въ жизни. Я бы желалъ найти въ ней все. И это будетъ. Она осмотрится въ своемъ мѣстѣ, узнаетъ свои должности, а эти должности усовершенствуютъ душу ея; душа ея способна совершенствоваться.—Поздр(авленіе) великаго князя, императрицы.—Ерихо.—Обѣдъ у Модена.—Прощаніе съ Перовскимъ. Вечеръ въ Кремлѣ. Къ Ланскимъ.

28 октября 1818. Я боленъ. Въ промежуткахъ болѣе высокихъ мыслей, нежели когда-нибудь. Болѣе воспоминаній, и трогательныхъ. Какое (то) общее неясное воспоминаніе, безъ вида и голоса, какъ будто воздухъ прежняго времени. Болѣзнь [думаю, всякая, и самая тяжкая, ибо всякая имѣетъ свои промежутки, а тяжелая требуетъ еще болѣе нравственныхъ усилій], — болѣзнь есть состояніе поучительное; сначала affaissement, упадокъ, потомъ усиліе, потомъ непремѣнно дойдешь къ чему-нибудь высокому. Болѣзнь знакомитъ съ религіею не страхомъ смерти, но величіемъ жизни; страданіе составляетъ настоящее величіе жизни. Это лѣстница. Наше дѣло взойти; что испытаніе, то ступень вверхъ; радости можно назвать этими площадками, которыя отдѣляютъ рядъ ступеней отъ другаго—онѣ служатъ только отдохновеніемъ и переходомъ для новыхъ усилій, для новыхъ возвышеній. Звѣзды. Тѣни, Etc. etc.

1820.

26-го (ноября 7-го). У вел(икой) книг(ини). Урока не было. У Шуваловой. У Нієнштета: кажется, человѣкъ прямодушный и откровенный. Мнѣ съ нимъ было ловко. Говорили о воспитаніи, о семействѣ короля, о нѣмецкой и русской литературѣ. Обѣдалъ у Крейтона. Ввечеру въ театрѣ: Моцартова Cosi fan tutte.

27-го (ноября 8-го). У вел(икой) книг(ини). У Шуваловой — Вмѣстѣ съ Перовскимъ къ Рауху. Прекрасное лицо: глубокость, благородство; что-то тихое и живое; простота истиннаго артиста. Онъ показываетъ намъ свои работы съ любезною готовностью; говорилъ о своемъ искусствѣ съ жаромъ, но безъ надутости. Памятникъ Шарнгорста болѣе всѣхъ мнѣ понравился: онъ представленъ въ размышленіи; положеніе спокойное; на него накинутъ плащъ, котораго складки, весьма живописныя, оживля(ютъ) сухость нынѣшней одежды; впрочемъ, костюмъ сохраненъ. Раухъ въ отчаяніи отъ того, что ему попался для этого памятника удивительно прекрасный и чистый кусокъ мрамора: нѣтъ ни одного пятна, и этотъ кусокъ долженъ быть жертвою дождя и тучъ. Гораздо было бы приличнѣе сдѣлать оба памятника изъ бронзы: она только пріобрѣтаетъ красоты отъ вліянія воздуха. Памятникъ Бюлова обыкновеннѣе; складки плаща не такъ живы; есть въ нихъ что-то тяжелое и однообразное; характеръ лица общій. Въ первомъ памятникѣ болѣе личнаго. Послѣ Шарнгорстова памятника лучшіе два Блюхеровы, одинъ бронзовый маленькій, дающій понятіе о большомъ, уже вылѣпленномъ и находя-

щемся гдѣ, не знаю; другой, осѣѣленный для отлитія. Въ обоихъ поэтически выражена живость генерала Vorwärts, который въ послѣдній разъ хотѣлъ такъ сильно—во Франціи, что послѣ него еще бы сто лѣтъ. — Памятникъ государя менѣе другихъ удаченъ: онъ представленъ въ порфирѣ, накинутой на мундиръ, вынимаетъ шпагу, на которой видна надпись: «За Русь и славу»; у ногъ двуглавый орелъ. Намъ стыдно передъ пруссаками: сколько уже у нихъ памятниковъ народной славѣ; они и Кутузова, и Барклая не забыли, а мы строимъ храмъ, который вѣчно не достроится, хотимъ благодарить Бога, Которому не нужна благодарность, и не думаемъ отдать чести тѣмъ, которые положили за отечество жизнь свою. Настоящее мѣсто для народныхъ памятниковъ не Петербургъ, а Москва: она была свидѣтельницею русскихъ подвиговъ; Петербургъ ни о чемъ не напоминаетъ: въ немъ долженъ быть одинъ памятникъ Петру.—Обѣдалъ у к(нягини) Волхонской. Въ театрѣ; новая трагедія Der Leuchtthurm von Ouwald. Много поэзіи, есть сцены разительныя; но родъ этихъ трагедій есть уродство: цѣль ея для меня еще не очень понятна.

1-го ноября. У великой княгини. У Шуваловой: разговоръ о Х. Съ Моденомъ въ католицкой церкви, въ лотерейной конторѣ, въ казино. Алопеусъ. Обѣд(алъ) у Волхонской. Въ театрѣ: Aline, die Königin von Golkonde. Ужиналъ у в(еликаго) князя; лотерея, въ которую и я даже выигралъ.

2-го. У вел(икой) княгини. Первый урокъ. Хотѣлъ ѣхать съ визитами къ Ансильону, къ Боку, къ Брюлю, къ М-е Kleist, но засидѣлся у M-elle Wildermeth. Мы проговорили часа съ полтора: о вел(икой) княгинѣ, о путешествіи. У ней много ума и при немъ есть какое-то дѣтское простосердечіе. Нарышкинъ не празъ; она болѣе, нежели кто-нибудь, удалена отъ интриги. Обѣдалъ у Алопеуса безъ хозяина: съ Ансильономъ, Перпонше и Германомъ. Послѣдній имѣетъ умъ и знанія, и любезный характеръ добродушія. Ансильонъ, мнѣ кажется, изображенъ какъ нельзя лучше счастливымъ словомъ княжны Туркестановой: «Il a beaucoup d'esprit, beaucoup de connaissance et d'éloquence, mais il fait sur moi l'effet d'un homme qui dicte. Et d'un homme, qui dicte bien, надобно прибавить. Этотъ человѣкъ много знаетъ, изъ пріобрѣтеннаго сдѣлалъ нѣчто цѣлое и порядочное; одаренъ памятью, и въ немъ, кажется, до сихъ поръ сохранился прежній проповѣдникъ; но онъ проповѣдуетъ по правиламъ краснорѣчія на заданную матерію, которую всю употребилъ; изъ него не родится собственнаго; его души не чувствуешь, и душа къ нему не стремится. Знакомство съ нимъ есть узнаніе рѣдкости, которую хорошо видѣть разъ, но не встрѣча съ человѣкомъ, съ которымъ рады бы пройти часть дороги. Я сказалъ слово о Niebuhr'ѣ; кажется по тому, какъ онъ объ немъ говорилъ, что онъ не совсѣмъ его жалуетъ. Но Niebuhr, какъ человѣкъ, болѣе имѣетъ для меня привлекательнаго. Былъ разговоръ о Бонапартѣ. Они, кажется, судили его не какъ люди, а какъ люди, имѣющіе мѣсто у двора. Одно только слово было сказано съ чувствомъ. Говорили, что онъ теперь работаетъ въ саду и любитъ стрѣлять птицъ, которыя къ нему залетаютъ: «Il faut avouer, qu'il a eu un beau jardin à cultiver, mais il n'a pas su le conserver», сказалъ Ансильонъ и съ чувствомъ сожалѣнія о Франціи и Европѣ.—Въ театрѣ: Die Brüder von Terenz. Съ масками. Деріенъ въ роли невольника Сируса былъ несправенъ и костюм(ом)ъ, и игрою.—Вечеръ у Модена. Разговоръ о печати, библіотекахъ и о русскомъ просвѣщеніи.

3-го ноября. Поутру съ в(еликою) к(нягинею) въ кунсткамерѣ; множество любопытнаго, но въ большой толпѣ видѣть всего порядочно не можно, или, лучше сказать, ничего видѣть не можно. Особенно достойны примѣчанія: сосуды и блюда изъ слоновой кости съ превосходными барельефами; серебряный сосудъ Рудольфа II, который одинъ есть поэма;

магдебургскій ящикъ, который я мало видѣлъ, но который можетъ дать точное понятіе о нѣкоторыхъ обычаяхъ 16-го вѣка, въ которомъ онъ сдѣланъ; маска Фридриха 2-го и Морò; восковая фигура великаго курфирста; цѣлая мумія; собраніе одеждъ и оружій разныхъ дикихъ народовъ; собраніе рѣзныхъ камней и медалей. Но все въ худомъ приборѣ и весьма худо разставлено. — Обѣдалъ у к(нягини) Волхонской. Видѣлъ первый актъ Kaufmann von Venedig и сожалѣю, что не могъ всю эту піесу досмотрѣть. Игра Девріена есть совершенство: онъ учитъ роли свои, какъ человѣкъ, глубоко разбирающій человѣческое сердце; разборъ его игры былъ бы разборъ человѣческой натуры; сравнивая оригиналъ и списокъ, много можно найти истинъ нравственныхъ. Можно объ немъ сказать, что онъ актеръ добросовѣстный; онъ привязанъ съ удивительною вѣрностью, съ удивительнымъ уваженіемъ къ роли своей; разъ ее постигнувъ, онъ уже ни для чего и ни для кого ея не забудетъ: онъ не мыслитъ о партерѣ и его рукоплесканіяхъ и никогда истиною не пожертвуетъ успѣху.—Я не жалѣю, что пожертвовалъ Девріеномъ для Гуфланда. Я провелъ прекрасный вечеръ. Гуфландъ привлекательный старикъ. Въ первый разъ, когда я его увидѣлъ, сердце невольно къ нему склонилось; оно рѣдко обманывается. Я былъ счастливъ и доволенъ самимъ собою, говоря съ этимъ старикомъ, смотря ему въ лицо, въ которомъ глубокомысленная важность, тонкость слиза съ какимъ-то привѣтливымъ простодушіемъ. Былъ разговоръ о Гете (которому, какъ говорятъ, сдѣлался ударъ — но это извѣстіе невѣрно). Онъ зналъ его въ молодости и говоритъ, что никогда не встрѣчалъ человѣка, въ которомъ бы физическое и моральное было въ такомъ совершенствѣ и гармоніи, какъ въ немъ. Его кто-то прекрасно теперь назвалъ Олимпійскимъ Юпитеромъ безъ бороды. Говорилъ и о Шиллерѣ. Бюсты обоихъ у него въ гостиной. Бюстъ сорокалѣтняго Гете: удивительно прекрасный профи(ль)— это работа Тика. Г(уфландъ) говорилъ прекрасно о ложныхъ мѣрахъ правительствъ насчетъ притѣсненія свободы печатанія (объ этомъ предметѣ заговорили мы послѣ Стурдзы); кончилось разговоромъ о религіи; я сказалъ ему мысль Вейрауха о Троицѣ, которой красота меня поразила. Онъ съ милою довѣренностью сообщилъ мнѣ свою собственную мысль о томъ же, которая разительна своею простотою. «Все понятіе объ Троицѣ заключилъ я въ трехъ нѣмецкихъ L. Leben— Богъ Отецъ [Создатель и Хранитель], Liebe—Богъ Сынъ, Licht—Святой Духъ. Въ этихъ трехъ L вся жизнь человѣчества и ея великое назначеніе; ея начало и конецъ». Этотъ вечеръ прошелъ для меня прекрасно, его можно причислить къ хорошимъ минутамъ жизни; я былъ сначала обрадованъ радушнымъ пріемомъ хозяина, можетъ быть это снято съ меня ту застѣнчивость, съ которою я къ нему поѣхалъ; можетъ быть, это же расположеніе было причиною и того, что мнѣ хозяинъ показался лучшимъ, или такимъ, каковъ онъ есть. Встрѣча съ человѣкомъ по сердцу есть то же, что вдругъ открывшійся глазамъ прекрасный видъ съ горы на поля, долины и рѣки. И то и другое удивительно дѣйствуютъ на душу, и то и другое пробуждаетъ въ ней все хорошее; становишься чувствительнѣе, выше, пробуждается мысль о Богѣ, о счастіи, объ друзьях), пробуждается возвышенная довѣренность къ самому себѣ. Смотря въ глаза старику Гуфланду, у меня вертѣлось на языкѣ слово Vater; онъ имѣетъ для меня прелесть Краузе, но онъ въ другомъ родѣ. Но въ чемъ же эта прелесть?—Не въ умѣ, не въ знаніи, но въ сердцѣ, которымъ мы живемъ сами и которое въ другихъ животворитъ насъ и притягиваетъ. Сердце есть истинный магнитъ человѣка, имѣющій свою отрицательную и притягательную силу. Прощаясь съ старикомъ, я отъ души пожалъ его руку, а онъ мнѣ сказалъ съ какимъ-то доброжелательствомъ: «Adieu, Sie haben

mich sehr erfreuet!» Эти слова звучали въ моей душѣ: дома невольная меланхолія меня наполнила; не могу ее изъяснить, но я готовъ былъ плакать; я увѣренъ, что въ моемъ путешествіи все трогающее будетъ имѣть надо мною это дѣйствіе.— У Гуфланда я познакомился съ докторомъ Кольраушемъ, который любитъ В(альтеръ) Скота и не любитъ Байрона; еще съ двумя русскими медиками, которые учились въ Берлинѣ, были въ Вѣнѣ и въ Англіи.

1821.

1 (13) янв(аря). Дома. Болѣлъ глазами.

2 (14). Болѣлъ; дома; обѣд(алъ) съ Пер(овскимъ), Герм(аномъ) и Олсуфьев(ымъ).

3 (15). Болѣлъ. Об(ѣдалъ) съ Перовск(имъ). Стихи.

4 (16). Болѣлъ. Об(ѣдалъ) съ Пер(овскимъ) и Крейтон(омъ). Споръ. Въ банѣ.

5 (17). Дома. Обѣд(алъ) съ Олсуфьев(ымъ). Ужинъ съ Олсуфьев(ымъ). У в(еликой) княгини.

6 (18). На площа(ди) парадъ. Обѣд(алъ) дома. Johannit. ord. Въ театрѣ. Глупая піеса L. M. F. и глупой балетъ.

7 (19). Писалъ къ Сашѣ и Тург(еневу). У в(еликой) к(нягини). У M-lle Wildermeth. Вечеръ у герцога Кумберландскаго). Ла-Мотъ-Фукэ и Шатобріанъ.

8 (20). Гулялъ въ Thiergarten. Прекрасное утро, которое подѣйствовало на душу. На долго ли? Богъ знаетъ. Но отъ чего этотъ приливъ и отливъ? Можно ли быть въ такой зависимости отъ луча солнечнаго? И это возвращеніе хорошаго безъ твоего вѣдома не есть ли доказательство, что оно въ тебѣ и что требуетъ только отъ тебя попущенія, чтобы пробудиться и быть всегда пробужденнымъ. Если утро ясное можетъ дать душѣ болѣе нравственнаго достоинства, какъ будто противъ ея воли, то почему не можетъ того же свободная воля? Но воля живетъ дѣятельностію, а я совершенно предалъ себя лѣни, лѣни во всѣхъ отношеніяхъ, и она всѣ силы душевныя убиваетъ. И чѣмъ далѣ, тѣмъ хуже. Недѣятельность производитъ неспособность быть дѣятельнымъ, а чувство этой неспособности, съ которымъ нельзя ужиться, производитъ въ одно время и уныніе душевное и истребляетъ бодрость. Можно ли жить съ такимъ унынiемъ? Надобно или истребить его (а истребить его иначе нельзя, какъ уничтоживъ его причину, слѣдовательно лѣнь), или не жить. То, что болѣе всего меня лишаетъ бодрости, есть мыслъ о моемъ теперешнемъ несовершенствѣ: вмѣсто того, чтобы сколько возможно замѣнить утраченное, я только горюю объ утратѣ и стою на развалинахъ, поджавъ руки, вмѣсто того, чтобы ободриться и построить столько, сколько можно. Надобно отказаться отъ потеряннаго и сказать себѣ, что настоящее и будущее мое. Я могъ бы быть болѣе того, что я есть, но я далекъ отъ того, чѣмъ бы могъ и долженъ бы быть; я никогда не дойду къ тому, къ чему бы могъ дойти, если бы пустился ранѣе въ дорогу и не потерялъ времени. Но развѣ отъ этого должно остановиться и отказаться отъ той дороги, которую еще теперь можешь сдѣлать? Откажись отъ того, чѣмъ бы ты могъ быть, если бы не истратилъ полжизни на ничто; рѣшись искать того, что еще можетъ быть твоимъ, если начнешь теперь къ нему стремиться и не будешь отчаяваться отъ неудачъ. Достоинство человѣка въ искреннемъ желаніи добра и въ постоянномъ къ нему стремленіи: достиженіе не отъ него зависитъ. Я могу еще имѣть религію, могу имѣть чистую нравственность, могу исполнить свято ближайшій долгъ. Вотъ главное. Ты имѣешь мало, но именно потому и не отказывайся отъ пріобрѣтенія. Положить себѣ за правило: въ обществѣ не искать никакого успѣха; думать только о томъ, чтобы пріобрѣтать хорошее отъ другихъ, а не о томъ, какъ бы казаться имъ хорошимъ; лучше казаться ничтожнымъ и пріобрѣтать, нежели казаться чѣмъ-нибудь и быть ничтожнымъ. Излишняя заботливость объ этой ложной наружности устремляетъ вниманіе только на самого себя и ли-

шаетъ возможности видѣть, слышать и пользоваться другими.—Я шелъ по улицѣ и остановился передъ печатнымъ объявленіемъ, приклееннымъ къ стѣнѣ одного дома; оно окружено было множествомъ отрывковъ старыхъ и новыхъ, оставшихся отъ объявленій, которыя были въ разное время приклеены на томъ же мѣстѣ: одни были свѣжи, другіе стары, третьи совсѣмъ истлѣли и позеленѣли отъ сырости. Это картина свѣта. Здѣсь все для прохожаго, для души человѣческой. Все, и въ частной и въ общественной жизни; самыя общества, вѣка, имперіи и народы не что иное, какъ эти объявленія для проходящаго. Читай и пользуйся. Міръ существуетъ только для души человѣческой. Богъ и душа вотъ два существа; все прочее—печатное объявленіе, приклеенное на минуту. Это сравненіе можно бы распространить.

1827.

[изъ дневника жуковскаго, веденнаго въ парижѣ въ маѣ и іюнѣ 1827 года].

Камера депутатовъ. Равель, предсѣдатель, благородная, красивая наружность. Предсѣдательствуетъ съ большимъ достоинствомъ и отмѣннымъ навыкомъ. Засѣданіе было не весьма интересно. Взошелъ на каѳедру Себастьяни. Онъ ужасно декламировалъ и декламируя горячился. Se parle en acteur. Отъ непривычки къ дебатамъ французы видятъ въ трибунѣ сцену, въ себѣ актеровъ, а въ посѣтителяхъ партеръ. Нѣтъ ничего столь мало убѣдительнаго, какъ пышное краснорѣчіе. Одна ясность, одно краснорѣчіе положительное и самобытное (l'éloquence des choses), одно вдохновеніе вспыхнувшее разомъ и неподготовленное, могутъ произвести дѣйствіе и, что называется, de l'effet. Тѣ же недостатки, которые господствуютъ въ палатѣ депутатовъ, поражаютъ насъ и въ театрѣ. Съ другой стороны, казалось бы, что французы рождены для публичныхъ преній. Никто не ловитъ на лету такъ легко, какъ французъ, каждую мысль, каждое слово. Я это часто замѣчаю на улицѣ. Спросишь прохожаго о чемъ-нибудь: тотчасъ готовъ отвѣтъ, самый короткій, ясный и приличный. Les Français pourraient être très éloquents, si le désir de produire de l'effet ne détruisait pas l'effet [французы могли бы быть очень краснорѣчивы, если бъ желаніе метить на эффектъ не убивало эффекта].

Сей даръ быстрой понятливости и живой воспріимчивости составляетъ главную принадлежность характера ихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ недостатокъ. Натура, при этомъ, какъ будто лишила ихъ потребности углубляться въ предметы, потому что они такъ легко постигаютъ и схватываютъ ихъ. Надобно имѣть большой навыкъ слушать и удерживать въ памяти слышанное, чтобы съ пріятностью слѣдовать за дебатами. Я очень многаго не слыхалъ, многаго и не слушалъ, я смотрѣлъ на слушающихъ. Изъ министровъ были Виллель, Корбьеръ, Пэроне и Шаброль. На сторонѣ министровъ большинство. Но не смотря на то, во время засѣданій имъ крѣпко достается: въ глаза судятъ ихъ безъ пощады. Эти часы должны быть для нихъ тяжелы; но, кажется, они къ этой пытки уже привыкли.

Несмотря на свой гасконскій выговоръ, Виллель говоритъ пріятно, ибо просто, и рѣдко позволяетъ себѣ фразы. Его антагонистъ [Гидъ-де-Невиль], горячился какъ ребенокъ.

Бенжаменъ Констанъ напоминаетъ Фридриха. Прекрасный профель, худощавъ, нѣсколько неуклюжъ, говоритъ безъ претензіи, но хорошо, ибо также не дѣлаетъ фразъ...

Былъ у Дежерандо. Онъ живетъ въ глухомъ переулкѣ. Горница, въ которой мы были, весьма небольшая; стѣны покрыты рисунками видовъ изъ Италіи. Есть и картины, между коими особенно замѣтны Волхвы и Святое семейство Перужжіо. На столѣ стоитъ прекрасный бюстъ хозяина, работы Кановы, и бронзовый Наполеона, также Кановы. Дежерандо—лицо добраго философа. Нѣсколько разсѣянъ и задумчивъ, привлекательной внѣшности. Онъ повелъ насъ въ школу глухонѣмыхъ. Пробыли въ ней

слишкомъ короткое время: съ охотою Тургенева (Александра) торопиться, нельзя ничего видѣть и слышать. Вотъ въ какомъ порядкѣ устроиваются отношенія между наставниками и воспитанниками. Начальныя основанія: языкъ движеній и соединеніе понятій съ письменными знаками. Сами воспитанники выдумываютъ свои знаки. Понятія о временахъ: знакъ рукою впередъ — будущее; знакъ рукой предъ собою—настоящее: знакъ рукою за себя—прошедшее. Въ высшихъ классахъ сами воспитанники помогаютъ учителямъ и служатъ монитёрами. Но, что меня наиболѣе поразило, то была дѣвушка глухонѣмая отъ рожденія и ослѣпшая на 13-мъ году. Теперь ей болѣе 13-ти лѣтъ. Въ этомъ состояніи полнаго одиночества, она не только сохранила первыя воспоминанія, но и пріобрѣла новыя понятія. Она счастлива внутреннею жизнью, которая вся религіозная. Правда, она окружена такими людьми, которые могутъ съ нею выражаться, посредствомъ осязанія и которымъ можетъ она знаками сообщать мысли свои и отвѣты. Дежерандо взялъ ее за руку. Она его узнала въ минуту и выразила знаками, положивъ руку на сердце, что это онъ. Спросили, любитъ ли ее Дежерандо. Она отвѣчала утвердительно и прибавила, что сама очень любитъ его. Я взялъ ее за руку. Спросили: кто? Она отвѣчала, что не знаетъ. Знаками сказали, что я учитель великаго князя наслѣдника русскаго престола. Она поняла.—Спрашивается: что бы она была, если бы не пользовалась 13 лѣтъ зрѣніемъ? Теперь предметы имѣютъ для нея нѣкоторую форму; тогда эту форму сообщило бы ей воображеніе. Они не были бы сходны съ существеннымъ; но все каждый предметъ имѣлъ бы свой отдѣльный, ясный знакъ, и все бы могъ существовать языкъ для выраженія мысли, ощущенія: ибо языкъ есть выраженіе внутренней жизни и отношеній къ внѣшнему. Здѣсь торжествуетъ душа.

Былъ на лекціи Вильменя. Превосходно о Генріадѣ и эпопеѣ. Ораторъ говорилъ о другихъ эпическихъ поэтахъ, представляя ихъ исторію и исторію ихъ генія: изобразилъ то, чѣмъ Вольтеръ не былъ, и то, чѣмъ онъ былъ. Превосходное изображеніе Данте и Камоэнса. Сравненіе Вольтера съ Луканомъ [латинскій поэтъ, авторъ поэмы: Фарсалія]. Вильменъ говоритъ: эпическая поэма есть выраженіе мысли всего народа, цѣлой эпохи и вмѣстѣ съ тѣмъ высшее твореніе великаго генія. Происхожденіе Генріады — не вѣкъ Генриха IV, а Вольтеровъ вѣкъ.....

Поутру писалъ къ императрицѣ. Обѣдалъ у Гизо.—Французы умѣютъ схватывать смѣшное и выражать его. Они этимъ наслаждаются. Мистификація есть важное дѣло для француза, но онъ незлостно-насмѣшливъ [malicieux]. У насъ десятой части нельзя того сдѣлать, что дѣлаютъ здѣсь, не бывъ осмѣяннымъ....

Поутру въ засѣданіи полиціи исправительной [police correctionnelle]. Дѣло студентовъ медицины. Предсѣдатель Дюфуръ. Вопросы неясные и сбивчивые. Тонъ грубый. Образъ разспросовъ очень пристрастенъ. Неприличіе смѣшивать политическое съ полицейскимъ. Краснорѣчіе французовъ всегда тенденціозно...

Давали La prise de Corinthe [во Французской операхъ], оперу Россини. Музыка оперы прекрасная, но не новая: все слышанное въ другихъ операхъ его. Пѣніе французовъ, послѣ итальянцевъ, кажется крикомъ; въ ихъ пѣніи болѣе декламаціи: все что мелодія—крикъ. Но я слушалъ съ удовольствіемъ пѣвца Нурри. Въ игрѣ французовъ вообще замѣтно желаніе производить эффектъ жестами и ихъ разнообразіемъ. У нѣмцевъ иногда слишкомъ явное стараніе рисоваться, но игра ихъ вообще проще. Французы скрываютъ свое кокетство лучше, но за то они безпрестанно на сценѣ. Все картина....

Балетъ Joconde. Танцы прелестны, но болѣе всего аплодируютъ сильнымъ прыжкамъ.

Во Французскомъ театрѣ Радамистъ и Зенобія. Трагедія теперь въ упадкѣ. Дюшенуа произвела надо мною непріятное впечатлѣ-

піе. Она старуха. Я не могу вообразить, чтобы когда-нибудь могла быть великою актрисою.

Да, въ трагедіяхъ французскихъ нельзя быть актеромъ. Все дѣло состоитъ въ декламаціи стиховъ, а не въ изображеніи всего характера съ его нюансами, ибо такихъ характеровъ нѣтъ въ трагедіяхъ французскихъ. Ихъ лица суть не что иное какъ представители какой-нибудь страсти. Какъ въ баснях левъ представляетъ мужество, тигръ жестокость, лисица хитрость, такъ, напримѣръ, Османъ, Ипполитъ, Орестъ представляютъ любовь въ разныхъ выраженіяхъ; но характеръ человѣка тутъ не виденъ. Отъ этого великое однообразіе въ піесахъ и въ игрѣ актеровъ. Актеръ долженъ много творить отъ себя, чтобы дать своей ролѣ что-нибудь человѣческое. Таковъ былъ одинъ Тальма. За трагедіей слѣдовала забавная комедія: Le jeune mari. Въ комедіи французы не имѣютъ соперниковъ. Удивительный ensemble.

Меропа. Засталъ послѣднюю сцену и не пожалѣлъ. M-lle Duchenois не говоритъ моему сердцу. Дебютантъ Varlé въ ролѣ Эгиста—песносный крикунъ. За то и партеръ безъ вкуса. Апплодируютъ тому, что надобно освистывать. Исмена была какъ бѣшеная въ описаніи того, что происходило во храмѣ, что совершенно противно натурѣ. А партеръ все-таки хлопаетъ, ибо каждый стихъ отдѣльно былъ выраженъ съ пышностью. Франція не имѣетъ трагедіи; она во гробѣ съ Тальмою: онъ одинъ оживлялъ пустоту и сухость напыщенныхъ французскихъ трагедій.

Давали La dame blanche. Музыка Боельдьё прелестная, но піеса глупая.

Театръ Федо. L'amant jaloux. Музыка Гретри. [Представленная въ первый разъ въ 1778 г.]. Музыка еще не устарѣла.

Въ Théâtre Français: Le Cid. Почтенный старикъ Корнель. Простота и сила его стиховъ. Нѣтъ характера. Одни отрывки. Всѣ говорятъ по очереди. Многое прекрасно, часто не къ мѣсту. Послѣ комедіи: Lestrois quartiers. Простодушіе Жоржеты, благородная вѣжливость графини, пошлость негоціанта, безцеремонность банкира [ton dégagé], пошлость и плоскость выскочки [parvenu], гибкость прихлебателя [la souplesse du parasite], все было выражено въ совершенствѣ. Смотрѣть и слушать истинное наслажденіе.

У Свѣчиной: разговоръ о Пушкинѣ... Съ Гизо о французскихъ мемуарахъ... Онъ высказывался помочь мнѣ въ пріисканіи и покупкѣ книгъ... Разговоръ о политическихъ партіяхъ: крайняя лѣвая сторона подъ предводительствомъ Ляфайета, Ляфита, Бенжаменъ-Констана. Крайняя правая сторона: аристократія согласна сохранить хартію, но съ измѣненіями. За республику большая часть стряпчихъ, адвокатовъ, врачей, особенно въ провинціи.

Обѣдъ у посла. Комната съ Жераровыми амурами [знаменитый французскій живописецъ]. Портретъ государя Доу. Великолѣпный обѣдъ. Виллель, Дамасъ, Корбьеръ, Клермонъ-Тоннеръ, Талейранъ; фельдмаршалъ Лористонъ, папскій нунцій, весь дипломатическій корпусъ; изъ русскихъ: Чичаговъ, Кологривовъ [братъ кн. Александра Николаевича Голицына], кн. Лобановъ, Дивовъ, князья Тюфякинъ, Долгоруковъ, князь Потоцкій...

Палерояль есть нѣчто единственное въ своемъ родѣ. Это обращикъ всей французской цивилизаціи, всего французскаго характера. Взгляни на афиши и познакомишься съ главными нуждами и спотѣніями жителей; взгляни на товары—получишь понятіе о промышленности; взгляни на встрѣчающихся женщинъ и получишь понятіе о нравственной физіономіи. Колонны Палерояля, оклеенныя афишами, могутъ познакомить съ Парижемъ. Удивительное искусство привлекать вниманіе размѣщеніемъ товаровъ и даже пайклейкою афишъ.....

Споръ съ Тургеневымъ и моя безсовѣстная вспыльчивость....

Въ комедіи: Глухой или полная гостинница, актеръ спрашиваетъ:

Que font les vaches à Paris.

— Des vaudevilles [des veaux de ville].

Quâgel est l'animal le plusé?

— Le mouton, car il est l'ainé [lainé]...

ПРИМѢЧАНІЯ.

Какъ дополненіе къ „Соч.“ нашего поэта, помѣщаемъ вмѣстѣ съ отрывками изъ „дневниковъ“—рядъ писемъ, наиболѣе важныхъ въ историко-литературномъ и автобіографическомъ отношеніяхъ.

Изъ писемъ къ в. кн. Александрѣ Ѳеодоровнѣ.

Помѣщаемые три отрывка, въ видѣ отдѣльныхъ статей и подъ тѣми же заглавіями, уже въ 1826 г. внесены были авторомъ въ собраніе его „Соч.“,—читаются и во всѣхъ послѣдующихъ изданіяхъ. Всѣ три отрывка взяты изъ писемъ Жуковскаго къ в. кн. Александрѣ Ѳеодоровнѣ, писанныхъ имъ изъ-за границы въ 1821 году.

Письма къ императору Николаю Павловичу.

По поводу перваго письма П. И. Бартеневъ замѣчаетъ: „Недоразумѣніе скоро прекратилось. Покойная Авдотья Петровна Елагина [Кирѣевская] передавала намъ, со словъ самого Жуковскаго, что Николай Павловичъ, послѣ одного изъ такихъ своихъ омрачений [навѣянныхъ на него изъ III-го отдѣленія собственной канцеляріи], встрѣтивъ проходившаго по Зимнему дворцу Василія Андреевича, подозвалъ его къ себѣ, обнялъ и съ сердечностію сказалъ: „Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ!“ [„Рус. Арх.“, 1895, I, стр. 114]. Въ самомъ началѣ письма упоминается о Карлѣ Карловичѣ Мердерѣ, воспитателѣ наслѣдника цесаревича Александра Николаевича.

Второе письмо относится къ 1832 году и было написано по поводу неожиданнаго запрещенія [на 2-й книжкѣ] журнала „Европеецъ“, только начавшаго выходить въ этомъ году, предпринятаго И. В. Кирѣевскимъ.

И. В. Кирѣевскій [род. въ 1806 г.; † 1856], старшій сынъ Авдотьи Петровны Кирѣевской, ближній родственникъ Жуковскаго, былъ однимъ изъ основателей такъ-называемаго „славянофильства“ и вообще однимъ изъ выдающихся писателей нашей тогдашней литературы... Печатаемое письмо Жуковскаго дастъ лучшую характеристику и предпринятаго Кирѣевскимъ журнала, и самого Кирѣевскаго. Официальная бумага, присланная по поводу запрещенія „Европейца“, между прочимъ гласила: „Въ № 1-мъ издаваемаго въ Москвѣ Иваномъ Кирѣевскимъ журнала подъ названіемъ „Европеецъ“, статья *Девятнадцатый вѣкъ* есть не что иное, какъ разсужденіе о высшей политикѣ, хотя въ началѣ оной сочинитель и утверждаетъ, что онъ говоритъ не о политикѣ, а о литературѣ. Но стоитъ обратить только нѣкоторое вниманіе, чтобы видѣть, что сочинитель, разсуждая будто бы о литературѣ, разумѣетъ совсѣмъ иное, что подъ словомъ просвѣщеніе онъ понимаетъ свободу, что дѣятельность разума означаетъ у него революцію, а искусно отысканная середина не что иное, какъ конституція“... и т. д. [Барсуковъ, Жизнь Погодина, т. IV, стр. 7—8]. На первыхъ порахъ Кирѣевскому грозила крѣпость,—но энергическое заступничество Жуковскаго спасло его отъ ссылки... Запрещеніе „Европейца“, какъ это видно изъ письма Жуковскаго, было результатомъ доносовъ столь печальнаго своей навѣтностью Булгарина... Запрещеніе было тѣмъ печальнѣе, что журналъ Кирѣевскаго на первыхъ порахъ имѣлъ всего 50 подписчиковъ [?..]

Письма къ наслѣднику цесаревичу Александру Николаевичу.

Въ III-мъ письмѣ Жуковскій называетъ великаго князя „бородинскимъ помѣщикомъ“—такъ какъ Бородино принадлежало наслѣднику цесаревичу, „въ печатномъ формулярѣ котораго значилось, что у него имѣніе, столько-то душъ при селѣ Бородинѣ“ [„Рус. Арх.“ 1895, II, 438].

III. *Коновницынъ былъ честью русскаго войска. Дочь его...*

Дочь Коновницына была замужемъ за декабристомъ Нарышкинымъ.

Я видѣлъ въ Москвѣ Е. Ѳ. Муравьеву...

Ек. Ѳ. Муравьева—вдова М. Н. Муравьева. Оба сына ея были замѣшаны въ дѣло декабристовъ и сосланы.

VI. *За Розена цѣлую вашу благодѣтельную руку...*

О Гоголѣ другое дѣло...

Въ одномъ изъ предшествовавшихъ своихъ писемъ Жуковскій писалъ наслѣднику: „Баронъ Розенъ получилъ свою отставку; всего нажитого у него теперь только 400 рублей годового пансіона. Этого достаточно только для того, чтобы на первую треть года не умереть съ голоду. Прошу васъ не оставить Розена. Если вы сохраните ему то, что было ему отъ васъ опредѣлено сверхъ того жалованья, которое онъ получалъ на своемъ мѣстѣ, то для васъ большой траты не будетъ; а у него будетъ вѣрный, хотя, впрочемъ, весьма скудный, кусокъ хлѣба.

Еще одна просьба. Гоголь въ самомъ стѣсненномъ положеніи: взялъ изъ института сестеръ; а маленькое имѣньице, какое у него было, пропадаетъ. Ему нужно 4.000 рублей. Я хотѣлъ-было ихъ собрать, но это не удается. Не можете ли меня ссудить этою суммою? Я перешлю ее Гоголю, а вамъ заплачу, когда это мнѣ будетъ удобно, впрочемъ, въ теченіе года или черезъ годъ. Отъ васъ же самихъ помощи не прошу, ибо знаю, что вы бы охотно помогли, но что этого теперь нельзя сдѣлать: слишкомъ много другихъ расходовъ“...

Въ VI-мъ письмѣ упоминается объ А. А. Ивановѣ [род. 1805; † 1858], авторѣ знаменитой картины: „Явленіе Христа народу“, надъ которой онъ работалъ болѣе 20 лѣтъ [1836—1857]. Авторъ умеръ, пораженный холерою,—во время выставки этой картины...

Упоминаемый въ XI-мъ письмѣ „бунтовщикъ Штруве“—извѣстный дѣятель революціоннаго движенія 1848 года, Густавъ Струве [† 1870].

Изъ писемъ къ в. кн. Маріи Николаевнѣ.

Оба помѣщаемые нами отрывка были напечатаны въ видѣ отдѣльныхъ статей, подъ тѣми же заглавіями, еще при жизни автора, — въ „Современникѣ" 1838—1839 гг. Первый отрывокъ помѣченъ въ журналѣ: *4 іюня 1838*. Второй въ подлинномъ текстѣ письма [печатаемъ по этому тексту] имѣетъ дату: *Москва, 5 сентября 1839*.

Письма къ матери.

По указанію П. И. Бартенева, первыя три письма писаны Жуковскимъ на 13-мъ году его жизни. Упоминаемый во II-мъ письмѣ, Дмитрій Герасимовичъ Постниковъ, тульскій помѣщикъ, по просьбѣ М. Г. Буниной возившій Жуковскаго въ Кексгольмъ для поступленія на службу въ нарвскій пѣхотный полкъ, куда Жуковскій, по тогдашнему обычаю, былъ записанъ еще ребенкомъ и гдѣ нѣкогда служилъ и самъ старикъ Бунинъ... Упоминаемый въ IV письмѣ „Михаилъ Ивановичъ" — Звѣревъ, управляющій у П. Н. Юшкова, зять М. Г. Буниной, которая, по кончинѣ супруга своего А. И. Бунина, по его завѣщанію, укрѣпила за Жуковскимъ деревню съ крестьянами въ орловской губерніи". Въ V письмѣ рѣчь идетъ о домѣ Жуковскаго въ Бѣлевѣ. Мать Жуковскаго скончалась 25 мая 1811 года. [См. примѣчанія П. И. Бартенева, при текстѣ писемъ въ „Рус. Арх.", 1873 г., col. 2363—2366].

Письма къ М. А. Протасовой [Мойеръ].

Печатаемъ всѣ письма, насколько сохранилось,— первыя шесть, какъ они изданы по подлинникамъ проф. Висковатовымъ въ „Рус. Ст." 1883 г.; послѣднее—по тексту, изданному И. А. Бычковымъ въ „Рус. Арх." 1900 г. Два послѣднія письма [VI-е и VII-е] писаны Жуковскимъ къ М. А. Протасовой уже по выходѣ ея замужъ за проф. Мойера [свадьба была 11 янв. 1817 г.]. Упоминаемый въ письмахъ Павелъ Ивановичъ—Протасовъ, дядя М. А. Протасовой, братъ ея отца. Въ вопросѣ о бракѣ Жуковскаго на М. А. Протасовой П. И. Протасовъ былъ на сторонѣ Жуковскаго.

Письма къ А. И. Тургеневу.

Обширное собраніе писемъ Жуковскаго къ А. И. Тургеневу, болѣе или менѣе полное—по рукописямъ, находящимся въ И. п. б-кѣ, издано недавно, съ подробными примѣчаніями И. А. Бычкова, въ приложеніяхъ къ „Рус. Архиву" 1895 г. [и отд. м., 1895 г.]. Позднѣе, въ „Рус. Старинѣ" 1901 года издано еще десять писемъ. Помѣщаемыя нами письма печатаемъ по тексту, изданному И. А. Бычковымъ,— пользуясь и имѣющимися въ томъ же изданіи подробными примѣчаніями г. Бычкова.

Александръ Ивановичъ Тургеневъ былъ вторымъ сыномъ Ивана Петровича Тургенева и вмѣстѣ со своимъ старшимъ братомъ, Андреемъ, начальное образованіе получилъ дома, въ семьѣ. Послѣ домашняго воспитанія Тургеневъ учился въ московскомъ благородномъ пансіонѣ, гдѣ тогда въ томъ же пансіонѣ учились Жуковскій, Дашковъ, Кайсаровы, Соковницъ, потомъ въ геттингенскомъ университетѣ, гдѣ слушалъ курсъ историко-политическихъ наукъ. Геттингенскому университету Тургеневъ былъ обязанъ очень многимъ, какъ и вообще пребыванію въ Германіи: Тургеневъ на всю жизнь остался „записнымъ нѣмцемъ"... Нѣкоторое время потомъ Тургеневъ проводитъ въ путешествіи по славянскимъ землямъ, собираетъ здѣсь рукописи... Вернувшись въ Россію, при своемъ широкомъ образованіи и блестящихъ способностяхъ, Тургеневъ скоро занялъ видное мѣсто въ бюрократическомъ мірѣ: опредѣлившись въ 1806 г. въ комиссію составленія законовъ, Тургеневъ уже въ слѣдующемъ 1807 году, во время заграничнаго путешествія императора Александра, является прикомандированнымъ къ свитѣ государя, и дѣлается лично извѣстнымъ и ему, и императрицамъ Маріи и Елизаветѣ. Въ 1810 г. Тургеневъ назначается директоромъ департамента духовныхъ дѣлъ,—а черезъ два года помощникомъ статсъ-секретаря въ государственномъ совѣтѣ... Послѣ паденія въ 1842 г. министерства Голицына и особенно дѣла декабристовъ, въ которомъ случайно замѣшано было и имя его брата, Николая, служебная дѣятельность Тургенева прекращается; за все послѣдующее время онъ не принимаетъ уже значительнаго участія въ административныхъ и государственныхъ дѣлахъ, и, не имѣя никакого офиціальнаго положенія, чаще всего проводитъ время за границей, живя подолгу въ Парижѣ и Англіи. Путешествуя по Европѣ, Тургеневъ довольно много трудился надъ собираніемъ иностранныхъ документовъ, относящихся до русской исторіи; въ 1837 г., въ Швеціи, въ б-кѣ упсальскаго университета, Тургеневымъ, между прочимъ, была найдена подлинная рукопись извѣстнаго сочиненія Котошихина *О Россіи въ царствованіи Алексѣя Михайловича*... Тургеневъ скончался въ Москвѣ 5 декабря 1845 г. Имя Тургенева, замѣчаетъ В. И. Саитовъ, тѣсно связано съ именами наиболѣе выдающихся представителей русской литературы. Не говоря уже о Дмитріевѣ и Карамзинѣ, которому Александръ Ивановичъ оказалъ немаловажныя услуги въ дѣлѣ собиранія источниковъ для „Исторіи государства Россійскаго", друзьями Тургенева были почти всѣ арзамасцы, между которыми первенствующее мѣсто занималъ Жуковскій, многимъ обязанный Тургеневу въ упроченіи своего внѣшняго положенія. Самъ Тургеневъ былъ дѣятельнымъ членомъ арзамасскаго общества... Участіемъ и покровительствомъ Тургенева пользовались Баратынскій, Батюшковъ, Воейковъ, Козловъ, Милоновъ и А. С. Пушкинъ, котораго онъ опредѣлялъ въ лицей, и онъ же, по высочайшему повелѣнію, провожалъ тѣло его въ Святогорскій монастырь... Въ числѣ близкихъ къ Тургеневу лицъ находился и П. А. Плетневъ. По словамъ кн. Вяземскаго, Тургеневъ находился также въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ представителями славянофильскаго кружка сороковыхъ годовъ, хотя самъ, по своимъ понятіямъ и привычкамъ, принадлежалъ скорѣе къ „западникамъ". [„Соч." Батюшкова, I, 370—371].

I. *О здоровьи батюшки...* — Жуковскій разумѣетъ отца А. И. Тургенева, Ивана Петровича Тургенева.

Вмѣстѣ съ нами посылаютъ Николая...—третьяго изъ сыновей Ив. Петровича Тургенева, Николая Ивановича. Въ 1807 г. Николай Ивановичъ Тургеневъ былъ отправленъ для довершенія образованія въ геттингенскій университетъ. Упоминаемый здѣсь же Мерзляковъ—извѣстный впослѣдствіи профессоръ московскаго университета [1778—1830]. Въ 1805 г. Мерзляковъ былъ адъюнктомъ. Жуковскій былъ въ дружественныхъ отношеніяхъ съ Мерзляковымъ еще съ московскаго пансіона.

Пришли мнѣ свое Путешествіе... — Жуковскій разумѣетъ журналъ А. И. Тургенева, веденный имъ во время пребыванія за границей, — отрывокъ изъ котораго былъ позднѣе напечатанъ Жуковскимъ въ „В. Евр." 1808 г. [„Путешествіе русскаго на Брокенъ въ 1803 году"].

О своемъ чтеніи „Агатона" Виланда [1733—1813] Жуковскій въ декабрѣ 1805 г. пишетъ изъ Бѣлева къ одному изъ своихъ сосѣдей по деревнѣ, Ѳ. Г. Вендриху: „Принялся читать Виланда, вашего пріятеля. Читаю Агатона; удивительная книга! Я думаю, это лучшее его сочиненіе. Какой слогъ! Какое знаніе свѣта и человѣческаго сердца! Какъ все прекрасно описано: и аѳинскія собранія, и уборная Динаи, и дворъ Діонисія! И какая философія! Я зачиналъ читать эту книгу прежде, давно, во французскомъ переводѣ; признаюсь, тогда она мнѣ наскучила: первое, потому что переводъ былъ дуренъ и что почти невозможно хорошо перевести книгу, написанную такимъ единственно прекраснымъ слогомъ, какъ Агатонъ; второе, потому что эта книга меньше романъ, нежели философическое изображеніе человѣка; а тогда я не могъ такъ любить философическое, какъ люблю теперь, и меньше могъ понимать философію Агатона. Трудно найти книгу столько полезную, какъ эта, для молодаго человѣка съ нѣкоторою живостію въ воображеніи. Я прочелъ только два первые тома, теперь начинаю третій, но по оглавленію, кажется, понимаю планъ и цѣль Виланда.

Онъ представляетъ молодаго энтузіаста добродѣтели во всѣхъ положеніяхъ жизни, онъ сличаетъ его вдохновенную философію съ убійственною философіею свѣтскихъ развратниковъ, эгоистовъ по правиламъ, однимъ словомъ Гиппіасовъ. Это сличеніе имѣетъ великую пользу. Въ свѣтѣ обыкновенно смѣются мечтамъ и чувствамъ пылкихъ молодыхъ людей; называютъ ихъ понятія о добродѣтели химерами; въ самомъ дѣлѣ, они химеры въ большомъ свѣтѣ, для котораго они существуютъ, и который привыкъ все обращать въ смѣшное; но они не химеры для того человѣка, который заключаетъ свое счастіе меньше въ грубой чувственности, нежели въ наслажденіяхъ духовныхъ. Виландъ хотѣлъ согласить сіи двѣ противоположности: мечтательность, которая разлучаетъ человѣка съ людьми и переселяетъ его въ жилище духовъ, и грубую тѣлесность, чувственность, которая слишкомъ унижаетъ человѣка и лишаетъ его моральнаго и первѣйшаго достоинства, единственно отличающаго его отъ скотовъ. Жить одними идеалами негодится, но не имѣть совсѣмъ идеаловъ столь же негодится: середина есть то, что всякій человѣкъ съ нѣкоторымъ особеннымъ образомъ чувства избирать долженъ. Я еще не дочиталъ Агатона, но мнѣ кажется, что Виландъ, при концѣ, въ видѣ Архитаса представилъ настоящаго мудреца, истиннаго моральнаго человѣка. Я бы желалъ, чтобы всякій молодой человѣкъ съ пылкою, платоническою душою, предъ своимъ вступленіемъ въ свѣтъ, бралъ въ руки Агатона, прочитывалъ его нѣсколько разъ и приготовлялъ себя симъ чтеніемъ къ тѣмъ многочисленнымъ, иногда труднымъ опытамъ, которые для всѣхъ насъ, бѣдныхъ грѣшниковъ, приготовлены. Онъ бы изучилъ не ввѣряться своей мечтательности [Schwärmerei], которая сама по себѣ вредна и опасна, но будучи обуздана здравою опытною философіею, можетъ быть источникомъ совершеннѣйшаго земнаго счастія; въ то же время онъ бы вооружился противъ обольстительной философіи свѣтскихъ эгоистовъ, которыхъ вся доктрина методически представлена Гиппіасомъ, и самымъ лучшимъ образомъ опровергнута въ продолженіе всей исторіи Агатона: я думаю, что Архитасъ долженъ быть противоположность Гиппіаса, и тѣмъ лучше, что его философія оставлена для конца: послѣднее впечатлѣніе,—самое сильнѣйшее. Однимъ словомъ, Агатонъ прекраснѣйшая книга Виланда, не смотря на то, что онъ часто отдаляется отъ матеріи. Главное достоинство его состоитъ въ томъ, что онъ не даетъ уму заснуть и всегда возбуждаетъ много мыслей...

Упоминаемый во II-мъ письмѣ „Иванъ Володимеровичъ"—извѣстный Лопухинъ [† 1816], масонъ и авторъ „Записокъ".

Никого изъ васъ, это разумѣется, я не любилъ съ съ такою привязанностью, какъ брата...

И въ III-мъ письмѣ:

Всякій разъ, когда вспоминаю о братѣ...

Жуковскій разумѣетъ своего друга, Андрея Ивановича Тургенева [† 1803].

А въ Москвѣ и поготово буду лѣниться...

„Поготово, поготову замѣчаетъ И. А. Бычковъ—престонародное, пуще, болѣе".

III. Упоминаемый въ концѣ письма Андрей Сергѣевичъ—А. С. Кайсаровъ, товарищъ Жуковскаго и братьевъ Тургеневыхъ по моск. пансіону. По окончаніи курса въ пансіонѣ, Кайсаровъ поступилъ было въ военную службу, но потомъ отправился за границу, слушалъ лекціи въ геттингенскомъ и Эдинбургскомъ университетахъ; вернувшись въ Россію былъ профессоромъ въ Дерптѣ,—въ 1812 году поступилъ въ ополченіе, и былъ убитъ въ сраженіи при Гайнау [14 мая 1813 г.]

IV. ...*Блудовъ, въ которомъ одна страсть поглотила всѣ другія способности...*

Жуковскій разумѣетъ увлеченіе Блудова княжной А. А. Щербатовой. Далѣе въ письмѣ идетъ рѣчь о манифестѣ 30 ноября 1806 г. [напеч. 3 декабря], о народномъ ополченіи,—по поводу войны съ Наполеономъ.

V. *Мой милый Миллеръ...*

Жуковскій называетъ Тургенева именемъ знаменитаго швейцарскаго историка Іоганна Миллера [р. 1752; † 1809], въ благодарность за то удовольствіе, которое доставили Жуковскому присланныя Тургеневымъ „Письма" Миллера, а также имѣя въ виду любовь А. И. Тургенева къ историческимъ занятіямъ и его высокій характеръ. „Письма" Миллера вышли по-нѣмецки въ 1802 г., и написаны къ другу автора, Карлу Бонештеттену [† 1832]. Увлекаясь чтеніемъ этимъ писемъ и сравнивая шутя свою переписку съ Тургеневыми съ письмами Миллера къ Бонештеттену,—и называя Тургенева Миллеромъ, Жуковскій самъ въ одномъ письмѣ подписывается: „Твой Бонештеттенъ"... Отрывки изъ „писемъ" Миллера были переведены тогда же Жуковскимъ [помѣщены въ „В. Евр." 1810 г.,—съ примѣчаніемъ: „Мы увѣрены, что эти письма, въ которыхъ изображается характеръ славнаго человѣка, будутъ пріятны читателямъ"]... Въ какой степени Жуковскій увлекался „письмами" Миллера,—показываютъ слѣдующія его слова въ одномъ изъ писемъ къ А. И. Тургеневу: „А *Миллеровы письма* должны быть катехизисомъ того человѣка, который хочетъ посвятить себя наукамъ. Я почти дочиталъ ихъ, но увѣренъ, что буду еще перечитывать, и что никогда перечитывать не стану"...

А. Геренъ [† 1842], извѣстный историкъ. Въ одномъ изъ предшествующихъ писемъ къ А. И. Тургеневу Жуковскій пишетъ: „Герена, ради Бога, Герена! Очень онъ мнѣ надобенъ"... Упоминаемые ниже въ томъ же письмѣ Гаттереръ [† 1799], Эйхгорнъ [† 1827], Габлеръ, Шлецеръ-сынъ—болѣе или менѣе извѣстные историки, сочиненія которыхъ въ это время изучалъ Жуковскій. Въ концѣ письма упоминается Муравьевъ, Михаилъ Никитичъ [1757—1807], извѣстный писатель, близкій другъ Ив. П. Тургенева, съ 1803 по 1807 гг. попечитель Московскаго университета.

Милая переписчица улетѣла въ Москву... — А. А. Протасова, рукою которой дѣйствительно переписано не мало произведеній нашего поэта въ дошедшихъ до насъ его бумагахъ. Далѣе разумѣется посвященная А. А. Протасовой баллада „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ".

„Владимиръ" будетъ моимъ фаросомъ...

Жуковскій разумѣетъ извѣстную свою поэму „Владимиръ", которой онъ такъ много занимался, и которая, какъ извѣстно, такъ и осталась имъ не доконченной...—Обѣщаемое далѣе „Посланіе о дѣятельности", кажется, также не было написано,—по крайней мѣрѣ остается совершенно неизвѣстнымъ...

VI. Упоминаемый здѣсь Михаилъ Дмитріевичъ — М. Д. Костогоровъ, товарищъ Жуковскаго и Тургеневыхъ по моск. пансіону, Павелъ Петровичъ Свиньинъ, извѣстный въ свое время издатель „Отеч. Записокъ", былъ „старымъ сотоварищемъ" Жуковскаго по московскому пансіону. Увлеченный страстью къ живописи, Свиньинъ одно время былъ въ академіи художествъ. Съ 1808 по 1813 г. Свиньинъ состоялъ при нашемъ посольствѣ при Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Ум. въ 1839 г.

VII. М. Н. Свѣчина, сестра Авд. Ник. Арбеневой, была одной изъ многочисленныхъ племянницъ Жуковскаго черезъ Буниныхъ, дочерью Натальи Аѳанасьевны, въ замужествѣ Вельяминовой. Далѣе идетъ рѣчь о Н. М. Карамзинѣ и Григоріи Андреевичѣ Глинкѣ [1777—1818]. Послѣдній съ 1802 по 1810 г. состоялъ профессоромъ русской словесности въ дерптскомъ университетѣ, а съ 1811 года — „кавалеромъ" при великихъ князьяхъ Николаѣ и Михаилѣ Николаевичахъ. Ранѣе Глинка преподавалъ русскій языкъ императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ и великимъ княжнамъ. Принцесса Шарлотта — невѣста великаго князя Николая Павловича, впослѣдствіи великая княгиня Александра Ѳеодоровна. — Объ упоминаемомъ въ концѣ письма Асмусѣ Жуковскій въ одномъ изъ своихъ писемъ замѣчаетъ: „Асмусъ былъ учителемъ въ уѣздной дерптской школѣ. Онъ взялъ отставку, но урочное время выслужилъ. Ему слѣдуетъ чинъ гу-

бернскаго секретаря: не получить его при отставкѣ обиды; а такихъ людей, каковъ Асмусъ, надобно не обижать, а золотить. У него теперь воспитывается въ собственной школѣ 50 мальчиковъ: всѣ они вѣрно выйдутъ изъ нея съ прекрасно образованнымъ сердцемъ. Слѣдовательно, Асмусъ можетъ быть и титулярнымъ совѣтникомъ"... Мещевскій - очень мало извѣстный поэтъ, сосланный за что-то въ Сибирь; Жуковскій какъ-нибудь хотѣлъ помочь ему, и упоминаетъ о немъ не разъ въ своихъ письмахъ къ Тургеневу. „Вы хвастаете своимъ Арзамасомъ, — пишетъ, между прочимъ, Жуковскій, А. И. Тургеневу въ началѣ 1817 года: — хвастайте, хвастайте, голубчики! Правда, вы запаслись Рейномъ [М. Ѳ. Орловымъ], пожина славная! Но, милые друзья, надобно помнить и о томъ, что ближе къ Арзамасу: Мещевской въ Сибири, а вы, друзья, очень весело пожинаете въ Петербургѣ! Если вы не собрались еще о немъ вспомнить отъ разсѣянности, то это срамъ и ребячество! Если жъ отъ холодности къ его судьбѣ, то это... Что это? Я не знаю, какъ назвать это! На что жъ намъ толковать о добрѣ, о общей пользѣ, о хорошихъ возвышающихъ стихахъ? На что смѣяться надъ Шаховскимъ и Rivarol? Ни на то, ни на другое не имѣемъ мы права, если способны быть столь безпечными, когда дѣло идетъ о судьбѣ, можетъ-быть, о жизни, а, можетъ-быть, [что еще важнѣе], о нравственномъ спасеніи человѣка, который намъ себя ввѣряетъ! Признаться, мнѣ больно быть хлопотуномъ за Мещевскаго, безсильнымъ его орудіемъ. Своихъ способовъ нѣтъ, а вы не помогаете! Если бы у меня была сила въ рукахъ, я бы вамъ не поклонился!"... И въ концѣ другого письма, того же времени: „Смотрите, хлопотать о Мещевскомъ!"...

VIII. Упоминаемые здѣсь офицеръ кн. Одоевскій извѣстный поэтъ, кн. А. И. Одоевскій. Далѣе упоминается, вѣроятно, петербургскій почтъ-директоръ, К. Я. Булгаковъ, стоявшій близко къ литературному кружку Жуковскаго. А. Н. Оленинъ извѣстный археологъ, въ то время статсъ-секретарь. Бестужевъ „полярный" А. А. Бестужевъ, издававшій съ Рылѣевымъ „Полярную Звѣзду".

Первою жертвою этого дня былъ Милорадовичъ...

Гр. М. А. Милорадовичъ былъ въ это время петербургскимъ генералъ-губернаторомъ. „Увѣряютъ, что первый выстрѣлилъ и убилъ его Горскій, а другіе говорятъ Кюхельбекеръ", дѣлаетъ къ этому мѣсту примѣчаніе самъ Жуковскій.

По сію пору не найденъ одинъ только Кюхельбекеръ...

Кюхельбекеръ 14 декабря скрылся изъ Петербурга, чтобы бѣжать за границу, но былъ арестованъ въ Варшавѣ.

XI. Записка эта писана Жуковскимъ передъ выѣздомъ его за границу.

1823 1836. Къ А. С. Пушкину.

Первое въ ряду помѣщенныхъ нами писемъ изъ въ „Рус. Арх." 1876, № 8, и перепеч. г. Ефремовымъ въ VI т. „Соч." Ж го изд. 1878 г. Остальныя въ „Рус. Арх." 1889, III, стр. 112—124, съ примѣчаніями издателя, П. И. Бартенева. Изъ послѣднихъ пользуемся здѣсь нѣкоторыми.

I. „Сверчокъ" - шуточное прозвище Пушкина въ арзамасскомъ обществѣ, избравшемъ его своимъ членомъ, когда онъ еще былъ въ лицеѣ. Вигель говоритъ, что члены „Арзамаса" смотрѣли на выпускъ Пушкина изъ лицея „какъ на торжество, особенно Жуковскій, воспріемникъ его въ Арзамасѣ, казался счастливъ, какъ будто бы самъ Богъ послалъ ему милое чадо". Сверчокъ поминается въ балладахъ Жуковскаго, откуда арзамасцы брали себѣ прозвища. „Въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ Петербурга замѣчаетъ Вигель по поводу этого прозванія, данаго Пушкину, спрятанный въ стѣнахъ лицея, прекрасными стихами подавалъ онъ оттуда свой звонкій голосъ" [Вигель. Воспоминанія. V. 52].

По поводу читаемыхъ въ письмѣ жалобъ на полученіе писемъ, П. И. Бартеневъ замѣчаетъ „Въ ту пору благочестиваго государственнаго фарисейства особенно дѣятельно занимались вскрытіемъ чужихъ писемъ. Въ 1824 г. Пушкинъ потерпѣлъ исключеніе изъ службы и вторичную ссылку на основаніи перехваченнаго письма его изъ Одессы въ Москву къ князю Вяземскому"... И далѣе, по поводу дальнѣйшаго содержанія письма: „Пушкинъ просилъ Жуковскаго приспѣть въ Петербургѣ малолѣтнюю сироту Родосю Сафіаносъ, дочь грека, падшаго въ Скулянской битвѣ за освобожденіе Греціи [1821]; она воспитывалась у бессарабской вице-губернаторши Крупенской. Намъ неизвѣстно, успѣлъ ли Жуковскій что-либо сдѣлать въ ея пользу" - „День своего ангела Пушкинъ праздновалъ 2-го іюня, на память Александра, архіеп. константинопольскаго.

II. Второе письмо Жуковскаго написано по поводу слѣдующей исторіи, случившейся въ Михайловскомъ вскорѣ по пріѣздѣ сюда Пушкина, - приводимъ относящееся сюда письмо Пушкина къ Жуковскому: „Милый, прибѣгаю къ тебѣ, — писалъ 31 октября 1824 года изъ Михайловскаго къ Жуковскому Пушкинъ: - посуди о моемъ положеніи! Пріѣхавъ сюда, былъ я всѣми встрѣченъ какъ нельзя лучше; но скоро все перемѣнилось. Отецъ, испуганный моею ссылкою, безпрестанно твердилъ, что и его ожидаетъ та же участь. Пещуровъ, назначенный за мною смотрѣть, имѣлъ безстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку; короче—быть моимъ шпіономъ. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мнѣ съ нимъ объясниться: я рѣшился молчать. Отецъ началъ упрекать брата въ томъ, что я преподаю ему безбожіе. Я все молчалъ. Получаютъ бумагу, до меня касающуюся. Наконецъ, желая вывести себя изъ тягостнаго положенія, прихожу къ отцу моему и прошу позволенія говорить искренно болѣе ни слова... Отецъ осердился. Я поклонился, сѣлъ верхомъ и уѣхалъ. Отецъ называетъ брата и повелѣваетъ ему знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé. Жуковскій, думай о моемъ положеніи и суди. Голова моя закипѣла, когда я узналъ все это. Иду къ отцу; нахожу его въ спальнѣ и высказываю все, что у меня было на сердцѣ цѣлыхъ три мѣсяца: кончаю тѣмъ, что говорю ему въ послѣдній разъ... Отецъ мой, воспользовавшись отсутствіемъ свидѣтелей, выбѣгаетъ и всему дому объявляетъ, что я „его билъ"... Потомъ, что „хотѣлъ бить"!.. Передъ тобою не оправдываюсь. Но чего же онъ хочетъ для меня съ уголовнымъ обвиненіемъ?.. Рудниковъ сибирскихъ и лишенія чести? Спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ. Не говорю тебѣ о томъ, что терпятъ за меня братъ и сестра... Еще разъ спаси меня!.." Затѣмъ приписка: „Посѣщи: обвиненіе отца извѣстно всему дому. Никто не вѣритъ, но всѣ его повторяютъ. Сосѣди знаютъ! Я съ ними не хочу объясняться. Дойдетъ до правительства; посуди, что будетъ. А на меня и суда нѣтъ. Il bois de loi". И далѣе вторая приписка: „Надобно тебѣ знать, что я уже писалъ бумагу къ губернатору, въ которой прошу его о крѣпости, умалчивая о причинахъ... Признаюсь, мнѣ немного на себя досадно: да, душа моя, голова идетъ кругомъ"... Упоминаемое Пушкинымъ письмо его въ псковскому губернатору, Б. А. Адеркасу, дошло до насъ, приводимъ его здѣсь: „Милостивый государь, Борисъ Александровичъ! Государь императоръ высочайше соизволилъ меня послать въ помѣстье моихъ родителей, думая тѣмъ облегчить ихъ горесть и участь сына. Но важныя обвиненія правительства пали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нѣжной любви его къ прочимъ дѣтямъ. Рѣшаюсь для его спокойствія и своего собственнаго, просить его императорское величество, да соизволитъ меня перевести въ одну изъ своихъ крѣпостей. Ожидаю сей послѣдней милости отъ ходатайства вашего превосходительства [„Соч." Пушкина, изд. лит. фонда, V, стр. 88—89]. Жуковскій не замедлилъ принять

свои мѣры, — „поспѣшилъ успокоить обѣ стороны, прочелъ нотацію легкомысленному родителю. Вскорѣ семья поэта уѣхала изъ Михайловскаго, — остался здѣсь поневолѣ только А. С. Пушкинъ съ старухой няней... Уже черезъ двѣ недѣли послѣ своего отчаяннаго письма къ Жуковскому Пушкинъ писалъ брату: „Скажи моему генію-хранителю, моему Жуковскому, что, славу Богу, все кончено. Письмо мое къ Адеркасу [губернатору] у меня. Наши уѣхали, а я живъ и здоровъ"... Въ концѣ ноября Пушкинъ писалъ и самому Жуковскому: „Мнѣ жаль, милый, почтенный другъ, что я надѣлалъ эту всю тревогу: но что мнѣ было дѣлать! Я сосланъ за строчку глупаго письма. Что было бы, если бы правительство узнало обвиненіе отца? Отецъ говорилъ послѣ: „Дуракъ! Въ чемъ оправдывается! Да и бы связать его нелѣпъ!" Зачѣмъ же обвинять было сына? „Да какъ онъ осмѣлился, говоря съ отцомъ, непристойно размахивать руками?"—Это дѣло десятое.—„Да, онъ убилъ отца словами"... Каламбуръ и только!.. Воля твоя — тутъ и поэзія не можетъ..." [Сумцовъ. В. А. Жуковскій и Н. В. Гоголь. Харьковъ. 1902, стр. 40—41]. Послѣднія слова представляли уже отвѣтъ на совѣтъ Жуковскаго въ его письмѣ—отдаться всецѣло поэзіи... Упоминаемые въ письмахъ: Пещуровъ—уѣздный предводитель дворянства, гдѣ жилъ Пушкинъ и ближайшему наблюденію котораго онъ былъ порученъ. Паулуччи — рижскій генералъ-губернаторъ.

III. Въ концѣ третьяго письма, послѣ словъ: „...отечеству, которому такъ нужно высокое"—нѣсколько словъ въ подлинникѣ нельзя разобрать.

V. Пятое письмо служитъ отвѣтомъ на письмо Пушкина къ Жуковскому отъ 17 авг. 1825 г., начинающееся словами: „Отче, въ руцѣ твои предаю духъ мой..."

VII—XII. Письма VII—XII, по указанію П. И. Бартенева, „относятся уже къ тому времени, когда оба поэта, Жуковскій и Пушкинъ, жили въ Петербургѣ. Передъ тѣмъ они не видались въ теченіе семи слишкомъ лѣтъ, и свиданіе ихъ могло быть только въ исходѣ 1827 г., когда Жуковскій возвратился изъ чужихъ краевъ, а Пушкинъ былъ уже свободенъ".

XIII—XVI. Письма XIII—XVI, относятся къ іюлю 1834 года, когда Пушкинъ, измученный петербургской жизнью, задумалъ было бросить столицу и переселиться въ деревню, для чего и подалъ прошеніе объ отставкѣ. Женѣ своей, находившейся у родныхъ подъ Калугою, онъ писалъ въ началѣ іюля 1834 г.: „Зависимость, которую налагаемъ на себя изъ честолюбія или изъ нужды, унижаетъ насъ. Теперь они смотрятъ на меня, какъ на холопа, съ которымъ можно имъ поступать, какъ имъ угодно. Онала легче презрѣнія. Я, какъ Ломоносовъ, не хочу быть шутомъ ниже у Господа Бога"... [„Соч." Пушкина, изд. Лит. фонда, V, стр. 353. „Рус. Арх.", 1889 г. III, 112].

О необыкновенно тѣсныхъ взаимныхъ отношеніяхъ Жуковскаго и Пушкина проф. И. Ѳ. Сумцовъ между прочимъ замѣчаетъ: „Вся жизнь, вся литературная дѣятельность Пушкина прошли на глазахъ Жуковскаго. Жуковскій былъ старше Пушкина на 16 лѣтъ, хорошо былъ знакомъ съ его родителями и стоялъ въ дружескихъ отношеніяхъ къ дядѣ его, В. Л. Пушкину. Онъ полюбилъ Александра Пушкина съ малыхъ его лѣтъ, былъ для него образцомъ на школьной скамьѣ, ввелъ его, по окончаніи лицея, въ кругъ друзей общества „Арзамасъ", познакомилъ съ выдающимися литературными дѣятелями, выслушивалъ, исправлялъ нѣкоторые стихи и, вообще, въ первое время былъ его руководителемъ преимущественно на своихъ субботнихъ литературныхъ вечерахъ. Жуковскій выручалъ Пушкина изъ опасныхъ и затруднительныхъ положеній, отстаивалъ его передъ властями и литературными противниками, присутствовалъ при кончинѣ, написалъ прочувствованный некрологъ и редактировалъ нѣкоторыя его печатныя произведенія... Поэзія Жуковскаго, его личность были примѣромъ для Пушкина; такъ смотрѣлъ самъ Пушкинъ. Нравственно чистая, мягкая, мечтательная муза Жуковскаго вносила кротость и примиреніе въ бурную, страстную душу Пушкина, что прекрасно выражено въ извѣстномъ стихотвореніи Пушкина „Къ портрету Жуковскаго" 1818 г.:

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль.
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
Утѣшится безмолвная печаль
И рѣзвая задумается радость.

„Подражаніе Пушкина Жуковскому, обнаруживается во многихъ его раннихъ лицейскихъ стихотвореніяхъ. Еще Бѣлинскій отмѣтилъ рядъ раннихъ стихотвореній Пушкина [„Къ принцу Оранскому", „Сраженный рыцарь", и др.], въ которыхъ „преобладаетъ элегическій тонъ въ духѣ музы Жуковскаго...; въ самомъ взглядѣ на предметъ видна зависимость ученаго отъ учителя". Проф. Незеленовъ признавалъ что вліяніе Жуковскаго на Пушкина „было могущественно"... [И. Ѳ. Сумцовъ. В. А. Жуковскій и Н. В. Гоголь. Харьковъ, 1902. 36—37].

XV. Въ отвѣтныхъ письмахъ Пушкина читаемъ: „Подалъ я въ отставку въ минуту хандры и досады на всѣхъ и на все. Домашнія мои обстоятельства затруднительны, положеніе мое невеселое, перемѣна жизни почти необходима".—„Въ глубинѣ сердца моего я чувствую себя правымъ передъ Государемъ. Гнѣвъ его меня огорчаетъ; но чѣмъ хуже положеніе мое, тѣмъ языкъ мой становится связаннѣе и холоднѣе".

XX. По предположенію П. И. Бартенева, въ письмѣ говорится, вѣроятно, про отрывокъ изъ *Записки* Карамзина „О древней и новой Россіи", помѣщавшійся въ пушкинскомъ „Современникѣ".—Подъ инициалами: Е. А. разумѣется Екатерина Андреевна Карамзина.

Записка къ Н. Н. Пушкиной.

Трауръ Пушкинъ въ это время носилъ по матери своей, скончавшейся въ день Свѣтлаго Воскресенья 1836 года.—По поводу баловъ во дворцѣ, о чемъ идетъ рѣчь въ запискѣ, П. И. Бартеневъ замѣчаетъ: „На придворныхъ балахъ Пушкину бывало, просто, скучно. Покойная Л. Д. Шевичъ передавала намъ, какъ, стоя возлѣ нея, полузѣвая и потягиваясь, онъ сказалъ два стиха изъ старинной пѣсни:

„Неволя, неволя, боярской дворъ.
„Стоя наѣшься, сидя наспишься"...

[„Рус. Арх.", 1889, III, 124].

1844—1851. Письма къ Н. В. Гоголю.

Въ концѣ 1828 г. 19-ти лѣтній юноша Гоголь оставилъ Малороссію и переселился въ Петербургъ, съ розовыми надеждами, съ кучей рекомендательныхъ писемъ къ разнымъ вліятельнымъ лицамъ, но съ весьма малыми деньгами, малымъ запасомъ знаній и малой личной настойчивостью. Петербургъ сразу обдалъ его холодомъ. Съ первыхъ же шаговъ Гоголь терпитъ жестокія неудачи и испытываетъ сильное разочарованіе. Бросается онъ то на службу, то въ заграничное путешествіе; но вездѣ передъ нимъ стѣной становится матеріальная необезпеченность и разныя неудачи... Новыя встрѣчи и знакомства въ литературномъ мірѣ поддержали молодого, начинающаго писателя: „Что за люди — писалъ Гоголь марта 1830 г. изъ Петербурга, не называя ихъ по именамъ.—Не говоря объ ихъ талантѣ, я не могу не восхищаться ихъ характеромъ и обращеніемъ. Узнавши ихъ, нельзя отвязаться отъ нихъ на вѣки. Какая скромность при величайшемъ талантѣ. Объ чинахъ и въ поминѣ нѣтъ, хотя нѣкоторые изъ нихъ статскіе и даже дѣйствительные статскіе совѣтники."... Гоголь не называетъ по именамъ этихъ новыхъ своихъ знакомыхъ, такъ его всехитившихъ, — но именно къ этому времени относится сближеніе его съ Дельвигомъ, Жуковскимъ, Пушкинымъ,—переносясь, сближаясь съ ними, „изъ душнаго департамента въ свѣтлый міръ мысли и чувства"... Жуковскаго и Пушкина проф. Сумцовъ называетъ довольно мѣтко „настоящими духовными отцами Гоголя"—подъ защитой которыхъ геній Гоголя прокладываетъ путь

къ славѣ и развертывается въ красотѣ и силѣ „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“... „Пушкинъ, Гоголь и Жуковскій замѣчаетъ проф. Сумцовъ—тѣсно сошлись въ 1831 году. Гоголь уже авторъ своего „поросенка“, какъ онъ называлъ „Вечера на хуторѣ“, жилъ лѣтомъ 1831 г. въ Павловскѣ и въ Царскомъ Селѣ. „Почти каждый вечеръ собирались мы, Жуковскій, Пушкинъ и я“, писалъ впослѣдствіи Гоголь. Онъ былъ въ восторгѣ отъ этой высокой дружбы, въ восторгѣ отъ поворота Жуковскаго и Пушкина къ народной поэзіи. „Жуковскаго узнать нельзя, писалъ Гоголь. Кажется, появился новый обширный поэтъ, и уже чисто русскій“...

Въ письмѣ Жуковскому 22 декабря 1847 г. Гоголь оставилъ такое воспоминаніе объ ихъ первой встрѣчѣ: „Вотъ уже скоро двадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я, едва вступившій въ свѣтъ юноша, пришелъ въ первый разъ къ тебѣ, уже совершившему полдороги на этомъ поприщѣ. Это было въ Шепелевскомъ дворцѣ. Комнаты этой уже нѣтъ. Но я ее вижу, какъ теперь, всю до малѣйшей мебели и вещицы. Ты подалъ мнѣ руку и такъ исполнился желаніемъ помочь будущему сподвижнику! Какъ былъ благосклонно-любовенъ твой взоръ!... Что насъ свело неравныхъ годами? Искусство. Мы почувствовали родство. Отъ чего? Отъ того, что оба чувствовали святыню искусства“.

Гоголь придавалъ огромное значеніе первой встрѣчѣ съ Жуковскимъ. Онъ пріурочивалъ къ этому времени коренное измѣненіе въ направленіи своей творческой дѣятельности. „Не два ли не со времени этого перваго свиданія нашего, писалъ Гоголь Жуковскому въ 1847 г., искусство стало главнымъ и первымъ въ моей жизни, а все прочее вторымъ. Мнѣ казалось, что уже не долженъ я связываться никакими другими узами на землѣ, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина и что словесное поприще есть тоже служба“... Въ началѣ 1839 г. Жуковскій цѣлый мѣсяцъ проводитъ съ Гоголемъ въ Римѣ - вмѣстѣ осматриваютъ который, вмѣстѣ рисуютъ виды... Гоголь и Жуковскій нѣсколько разъ и потомъ видѣлись и жили вмѣстѣ - за границей. Такъ, въ 1843 г. Гоголь гоститъ у Жуковскаго въ Дюссельдорфѣ; въ 1844-мъ во Франкфуртѣ; лѣтомъ 1847 года Гоголь на короткое время пріѣзжаетъ къ Жуковскому въ Эмсъ... [См. Н. Ѳ. Сумцовъ, Жуковскій и Гоголь, стр. 47—63].

Изъ дневниковъ.

Помѣщаемые нами отрывки *1804—1814 г.* представляютъ все, что дошло до насъ отъ такъ-наз. *дневниковъ* Жуковскаго и другихъ этого рода матеріаловъ за періодъ 1804—1814 годовъ, все, что извѣстно въ настоящее время по рукописямъ и печатнымъ изданіямъ изъ этого рода трудовъ нашего поэта. Помѣщаемъ полностью эти сохранившіеся, болѣе ранніе, автобіографическіе матеріалы—какъ наиболѣе цѣнные и къ тому же болѣе другихъ обработанные авторомъ. „Дневники“ за послѣдующіе годы начинаются съ 1817 года, продолжаясь до сороковыхъ годовъ, хотя также съ перерывами. Изъ этихъ, болѣе позднихъ, матеріаловъ, дневникъ за *1817 г.* помѣщаемъ также сполна, насколько онъ сохранился; изъ всего остальнаго беремъ лишь - дальнѣйшую небольшую часть дневника *1818 г.* и отрывокъ изъ дневника, веденнаго въ Парижѣ, въ маѣ и іюнѣ *1827 г.* Основной текстъ „дневниковъ“ и относящихся сюда другихъ матеріаловъ печатаемъ по текстамъ, издаваемымъ „Русской Стариной“, съ примѣчаніями И. А. Бычкова [изданіе еще не окончено]; не вошедшіе въ это изданіе небольшіе отрывки дневниковъ *1810 г.*, *1811 г.* и упомятый отрывокъ дневника *1827 г.*, за май и іюнь, веденнаго въ Парижѣ -- по ранѣе изданнымъ текстамъ этихъ отрывковъ [въ „Рус. Архивѣ“ 1876 г.—отрывки парижскаго дневника; въ „Рус. Стар.“, 1883 г.—отрывки дневника 1811 г.; въ „Рус. Архивѣ“ 1895 г. отрывокъ дневника 1810 года]. Общую довольно вѣрную характеристику „дневниковъ“ Жуковскаго даетъ кн. Вяземскій. „Жуковскій замѣчаетъ онъ, не лѣнивъ былъ сочинить но писать былъ лѣнивъ. Работа, рукописное писаніе были ему въ тягость. Съ начала велъ онъ дневникъ свой довольно охотно и горячо; но позднѣе этотъ трудъ потерялъ прелесть свою. Замѣтки его стали короче, а иногда и односложны... Дневникъ его - не систематическій и не подробный. Часто отмѣтки его просто колья, которые путешественникъ втыкаетъ въ землю, чтобы означить пройденный путь, если придется на него возвратиться, или заголовки, которые записываетъ онъ для памяти, чтобы послѣ, на досугѣ, развить и пополнить“... [„Полн. Собр. Соч.“, VII, 481].

Дѣлаемъ необходимыя поясненія къ помѣщаемымъ отрывкамъ—пользуясь упомянутыми выше примѣчаніями И. А. Бычкова.

1804.

Кого разумѣлъ Жуковскій здѣсь и далѣе подъ инициалами *А. Б.* *А. В.* и *М.*—неизвѣстно.

Читалъ Сенъ-Ламберта... Saint-Lambert [† 1803] французскій поэтъ и философъ. Нѣсколькими строками ниже упоминаемое Сочиненіе Сенъ-Ламберта *Principes des moeurs chez toutes les nations ou Cathéchisme universel* вышло въ Парижѣ въ 1798 г.

Томсонъ [† 1748], авторъ *The Seasons*. Гесперъ [† 1788], извѣстный швейцарскій поэтъ. Джемсъ Гервей [† 1758], англійскій богословъ и моралистъ. Робертъ Блумфильдъ [† 1823], англійскій поэтъ.

Пришла матушка, говорила о строеніи... Рѣчь идетъ о начатой въ 1804 г. Жуковскимъ постройкѣ дома въ Бѣлевѣ.

Перевелъ три страницы изъ Дюкло...

Charles Duclos [† 1772], французскій моралистъ, авторъ сочиненія: *Considerations sur les moeurs*.

1805.

Антонскій -- А. А. Прокоповичъ-Антонскій, профессоръ моск. университета, съ 1791 по 1821 г., стоявшій во главѣ моск. университетскаго пансіона, гдѣ учился Жуковскій.

Она уехала! Ребенокъ...

Здѣсь разумѣется племянница Жуковскаго, Марья Андреевна Протасова, которой въ это время было 12 лѣтъ [род. въ 1793 г.]. „Вотъ съ какого времени, замѣчаетъ, И. А. Бычковъ, зародилась въ Жуковскомъ его любовь къ М. А. Протасовой!...“

К. А., если не ошибаюсь, далъ мнѣ что-то предчувствовать...

Подъ инициалами К. А. разумѣется Е. А. Протасова; подъ *В*—вѣроятно, дядя М. А. Протасовой Василій Ивановичъ Протасовъ, подъ *М*—вѣроятно, его сестра, Марья Ивановна Протасова.

Какъ опредѣлить характеръ К.?

Едва ли не разумѣется здѣсь В. И. Кирѣевскій, въ 1805 году женившійся на Авдотьѣ Петровнѣ Юшковой и умершій въ 1812 г. Жуковскій познакомился съ нимъ ок. 1803—1804 г.

Нынче я былъ у барона... -- Ив. И. Черкасова, имѣніе котораго Володьково находилось не вдалекѣ отъ Бѣлева.

Б—а, которая у насъ была... Не баронесса ли Черкасова?

Читаю теперь Гарве... Нѣмецкій философъ Христіанъ Гарве [† 1798]. Сочиненіе его: „Ueber Gesellschaft und Einsamkeit“, вышло въ Бреславлѣ, въ 1797—1800 гг. Ниже Жуковскій замѣчаетъ, что онъ имѣлъ въ виду переводить это сочиненіе, но „на время“ оставилъ это намѣреніе...

Теперь все буду говорить съ вами, ma chère maman... Жуковскій обращается къ Е. А. Протасовой, которую обыкновенно называлъ „маменькой“.

Займусь теперь сочиненіемъ моего собранія лучшихъ русскихъ авторовъ...

„Я теперь занимаюсь собраніемъ русскихъ поэтовъ“, писалъ Жуковскій А. И. Тургеневу въ январѣ 1806 г., изъ Бѣлева... „Собраніе“ вышло лишь въ 1810—1811 гг., въ 5 т.

Въ февралѣ переведу Эшенбурга... Жуковскій, вѣроятно, разумѣетъ переводъ сочиненія Іог. Эшенбурга [† 1820], весьма извѣстнаго, въ свое время, нѣмецкаго эстетика и историка литературы - „Entwurf eine. Theorie und Literatur der Schönen Wis-

senschaften" [Берлинъ, 1783], отрывки переводовъ изъ котораго имѣются въ дошедшихъ до насъ бумагахъ Жуковскаго, и относятся, судя по бумагѣ, на которой писаны, къ 1805—1806 гг.

Геллертъ [† 1769] извѣстный нѣмецкій баснописецъ и моралистъ.

1806.

О чемъ я буду нынче съ вами говорить... Жуковскій обращается къ Е. А. Протасовой.

Киндійскій храмъ... — сочиненіе Монтескье „Le temple de Gnide".

1806.

О томъ, что написать въ журналѣ.

М. Григорьевна—Бунина. *Матушка*—Елизавета Дементьевна. *Григорій* — крѣпостной человѣкъ Буниныхъ. *И. Афанасьевна* — одна изъ дочерей А. И. Бунина, вышедшая замужъ за Вельяминова, мать упоминаемой ниже неоднократно Маріи Николаевны, по мужѣ Свѣчиной, подруги дѣтства Жуковскаго.

А. И. Бунинъ † въ концѣ марта 1791 г. *Голубковъ*—товарищъ Жуковскаго по пансіону Роде. Далѣе перечисляются, повидимому, также ранніе товарищи Жуковскаго.

Салково, деревня не вдалекѣ отъ Бѣлева.

Сочиненія... Жуковскій, вѣроятно, разумѣетъ здѣсь свои первыя произведенія, написанныя имъ, когда онъ жилъ въ домѣ Юшковыхъ: *Камиллъ, или Освобожденный Римъ* и *Павелъ и Виргинія*. Пребываніе Жуковскаго въ Кекегольмѣ относится къ концу 1795 г.,— какъ видно изъ его писемъ къ матери.

Выборы...—въ основанное Жуковскимъ въ пансіонѣ литературное общество „Собраніе воспитанниковъ университетскаго благороднаго пансіона".

И. Володимеровичъ—Лопухинъ, извѣстный масонъ и другъ И. П. Тургенева.

Родзянко—товарищъ Жуковскаго по пансіону.

Литературное Собраніе...—разумѣется учрежденіе „Дружескаго Литературнаго Общества", уставъ котораго, или, какъ онъ названъ, *Законы*, подписаны были Жуковскимъ и другими учредителями 12 янв. 1801 г.

Протасинскій — побочный сынъ А. И. Протасова, отца М. А. Протасовой.

Смерть Петра Николаевича—Юшкова, † 4 декабря 1805 г. *Переѣзженіе въ домъ* — въ свой домъ, построенный въ Бѣлевѣ. Жуковскій переселился въ концѣ 1805 г. *О. Г. Вонлярл* — сосѣдъ Жуковскаго по деревнѣ.

Вѣстникъ. Смерть М. Г. и матушки... Милиція. Воейковъ.

Какъ указываетъ И. А. Бычковъ, эти строки приписаны Жуковскимъ позднѣе; событія, въ нихъ упоминаемыя, относятся къ 1808—1813 гг. „В. Европы" издавался Жуковскимъ въ 1808—1810 гг. М. Г. Бунина † 13 мая 1811 г. Мать Жуковскаго, Елизавета Дементьевна † 25 мая того же года. Въ ряды московскаго ополченія Жуковскій поступилъ 12 авг. 1812 года. Воейковъ познакомился съ Протасовыми только въ концѣ 1813 года.

1814.

15 февраля былъ для меня день счастія... Отрывокъ относится къ поѣздкѣ Жуковскаго къ П. Вл. Лопухину. Въ вопросѣ о бракѣ Жуковскаго съ М. А. Протасовой Лопухинъ былъ на сторонѣ Жуковскаго и хлопоталъ за него.

Говятъ, не молчитъ есть грибы... Относится къ Ек. А. Протасовой.

1814.

Планъ.

Настоящій „Планъ" писанъ собственноручно Жуковскимъ, относится къ концу 1814 года, и представляетъ въ себѣ набросокъ того, въ какія отношенія Жуковскій, по его мнѣнію, долженъ былъ теперь стать къ Ек. А. Протасовой, ея дочерямъ и къ Воейкову, за котораго только что передъ этимъ вышла младшая дочь Протасовой. Въ 1814 г. Жуковскій еще разъ пытался склонить Е. А. ну на бракъ свой съ М. А—ной, но получилъ рѣшительный отказъ: ему было позволено лишь жить вмѣстѣ съ семьей Протасовыхъ и Воейкова въ Дерптѣ, куда переселялась теперь Е. А— на съ старшей дочерью, вслѣдъ за молодыми Воейковыми.

Сочиненія: Владиміръ... *Оберонъ*... *Филоктетъ*... *Жизнь и сочиненія Муравьева*...

Въ черновыхъ бумагахъ Жуковскаго имѣются небольшіе отрывки, свидѣтельствующіе о попыткахъ его переводить Виландова *Оберона* и *Филоктета* Лагарпа. Не состоялось и изданіе сочиненій М. Н. Муравьева, надъ чѣмъ одно время работалъ Жуковскій, по предложенію вдовы Муравьева.

Выраженіе: ***зримыми(?)***, употребленное и выше — остается непонятнымъ.

1817.

Передъ отъѣздомъ Жуковскаго изъ Петербурга въ Москву для занятій съ вел. кн. Александрой Ѳеодоровной его провожалъ А. С. Пушкинъ. Праздникъ на Воробьевыхъ горахъ данъ былъ по случаю закладки храма Христа Спасителя.

Первая лекція...— вел. кн. Александрѣ Ѳеодоровнѣ, которой преподавать русскій языкъ былъ приглашенъ Жуковскій.

Мое переселеніе... Жуковскому, на время пребыванія высочайшаго двора въ Москвѣ, было отведено помѣщеніе въ одной изъ келій Чудова монастыря, куда онъ и переселился...

Екатерина Семеновна—Тургенева, мать столь близкихъ Жуковскому, братьевъ Тургеневыхъ.

Пушкина басня—Василья Львовича.

Саша — какъ и въ другихъ мѣстахъ, А. А. Протасова, вышедшая замужъ за Воейкова, племянница и крестница Жуковскаго.

Шамбо, И. И. — секретарь вел. кн. Александры Ѳеодоровны.

Обѣдалъ у Тютчева...—Н. И. Тютчевъ [† 1818], отецъ поэта.

Алебедилъ—вице-президентъ придворной конторы. И далѣе—придворные чины и фрейлины.

Болзань Вяземскаго—сына П. А. Вяземскаго.

Пушкина, Е. Г. — жена А. М. Пушкина, москвичка, славившагося своими оригинальностями и остротами [† 1825].

Іерихо — вѣроятно, „La prise de Iéricho" [Взятіе Іерихона], опера.

Лодеръ—знаменитый анатомъ, проф. моск. у-та.

Гамка вѣроятно, Григорій Андреевичъ [† 1818].

Die Prinzessin Charlotte и пр.

Все это мѣсто до конца, по предположенію И. А. Бычкова, вѣроятно, выписка, сдѣланная Жуковскимъ изъ дневника г-жи Вильдерметъ, бывшей съ 1805 года гувернанткою принцессы прусской Шарлотты [вел. кн. Александры Ѳеодоровны].

1818.

Рожденіе великаго князя—Александра Николаевича, будущаго воспитанника Жуковскаго.

В. А. Перовскій, другъ Жуковскаго, въ это время былъ адъютантомъ вел. кн. Николая Павловича.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ПИСЬМА.

1821.

стр.

Изъ писемъ къ великой княгинѣ Александрѣ Осодоровнѣ . . . . . -
I. Путешествіе по саксонской Швейцаріи 3
II. Рафаэлева Мадонна 9
III. Отрывки изъ письма о Швейцаріи. 12

1830. 1832. 1837.

Письма къ императору Николаю Павловичу 19

1833—1849.

Письма къ государю наслѣднику цесаревичу 24

1838—1839.

Изъ писемъ къ в. кн. Маріи Николаевнѣ.
I. Очерки Швеціи 18
II. Бородинская годовщина 52

1795—1811.

Письма къ матери 55

1815—1820.

стр.

Къ Маріѣ Андреевнѣ Протасовой [Мойеръ] 58

1805—1826.

Письма къ А. И. Тургеневу 81

1823—1836.

Письма къ А. С. Пушкину 107

1836.

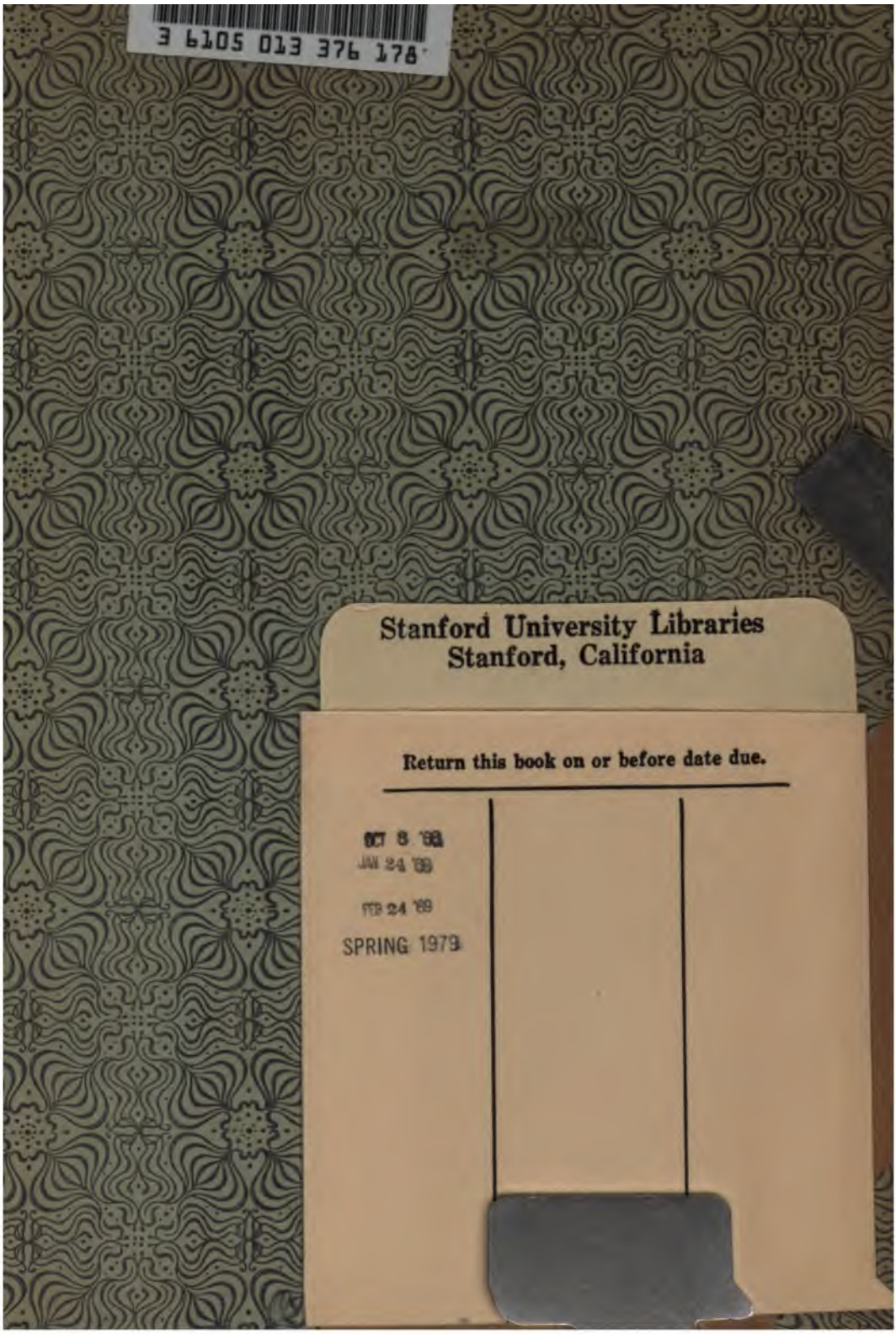
Къ Н. Н. Пушкиной 113

1844—1851.

Письма къ Н. В. Гоголю . . . . . -

ОТРЫВКИ ИЗЪ ДНЕВНИКОВЪ.

1804 А и Б 117
1805 120
1806 133
1810 139
1813 1814 140
1817 150
1818 154
1821 157
Примѣчанія 161


3 6105 013 376 178

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

OCT 8 '68
JAN 24 '69
FEB 24 '69
SPRING 1979